Къ Гражданамъ Россіи.

Временное Правительство низложено. Государственная власть перешла въ руки органа Петроградскаго Совѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ Военно-Революціоннаго Комитета, стоящаго во главѣ Петроградскаго пролетаріата и гарнизона.

ВЛАДИСЛАВ АКСЁНОВ



СЛУХИ, ОБРАЗЫ, ЭМОЦИИ





МАССОВЫЕ НАСТРОЕНИЯ РОССИЯН В ГОДЫ ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ

ВОЗЗВАНІЕ

Исполнительнаго Комитета представителей рабочихъ и солдатъ.

1914–1918

ИЗВѢСТІЯ ПЕТРОГРАДСКАГО СОВѢТА Рабочихъ депутатовъ.



СЛУХИ, ОБРАЗЫ, ЭМОЦИИ

Институт российской истории Российской академии наук

Владислав Аксенов

СЛУХИ, ОБРАЗЫ, ЭМОЦИИ

МАССОВЫЕ НАСТРОЕНИЯ РОССИЯН В ГОДЫ ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ

==1914–1918 ==



Новое
Литературное
Обозрение

2020

УДК 316.75(47+57)«1914/1918»
ББК 63.3(2)53-72
А42

Рекомендовано к печати Ученым советом Института российской истории РАН

Рецензенты: д-р ист. наук С. В. Леонов, канд. ист. наук А. В. Голубев

Аксенов, В. Б.

А42 Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914–1918) / Владислав Аксенов. — М.: Новое литературное обозрение, 2020. — 992 с.: ил.

ISBN 978-54448-1210-5

Годы Первой мировой войны стали временем глобальных перемен: изменились не только политический и социальный уклад многих стран, но и общественное сознание, восприятие исторического времени, характерные для XIX века. Война в значительной мере стала кульминацией кризиса, вызванного столкновением традиционной культуры и нарождающейся культуры модерна. В своей фундаментальной монографии историк В. Аксенов показывает, как этот кризис проявился на уровне массовых настроений в России. Автор анализирует патриотические идеи, массовые акции, визуальные образы, религиозную и политическую символику, крестьянский дискурс, письменную городскую культуру, фобии, слухи и связанные с ними эмоции. По мнению автора, к 1917 году эмоциональное восприятие действительности стало превалировать над рассудочно-логическим, а конфликт традиционного и модернового мировоззрений не позволил сплотить российское общество на основе патриотических идей, выстроенных вокруг устаревшей самодержавной мифологии. Во время революции 1917 года слухи во многом определяли течение политических событий. Владислав Аксенов — специалист по социальной истории России начала XX века, старший научный сотрудник Института российской истории РАН.

УДК 316.75(47+57)«1914/1918»
ББК 63.3(2)53-72

На 1-й стор. обложки: фрагмент карикатуры Д. Моора «Ленин и Каледин», фрагмент карикатуры Б. Кустодиева «Вступление», анонимная карикатура «Попал Вильгельм к черту в лапы», анонимная фотография «Манифестация инвалидов в Петрограде» (журнал «Нива», 1917. № 17). На 4-й стор. обложки: плакат К. Малевича «Шел австриец в Радзивилы…», анонимный плакат «Военный заем», 1916 г. На корешке: фрагмент фотографии казака К. Крючкова (журнал «Искры», 1914. № 33). Также в оформлении использованы фрагменты газетных публикаций начала XX века и текст листовки «К гражданам России», 1917 г.

Введение

Первая мировая война стала событием, на долгие десятилетия определившим вектор развития Европы. Еще большую роль она сыграла в судьбе России, став колыбелью российской революции и во многом определив формы революционного насилия как в разрушительном, так и в созидательном измерениях. Не случайно Э. Хобсбаум связывает с Первой мировой крушение западной цивилизации XIX столетия и начинает отсчет «короткого XX века», а также обращает внимание, что «для людей, родившихся до 1914 г., слово „мир“ обозначало эпоху до начала Первой мировой войны»[1]. Подобные ощущения были характерны для населения разных стран — участниц мирового конфликта. А. А. Ахматова вспоминала окончание своего дачного сезона 1914 г.: «Мы вернулись не в Петербург, а в Петроград, из XIX века сразу попали в XX, все стало иным, начиная с облика города»[2]. Период 1914–1918 гг. изменил мир, сознание современников, восприятие исторического времени и потому изучение ментальных процессов представляется исключительно важным для понимания истории всего XX в.

Вместе с тем исследование тех или иных пластов массового сознания — политического, повседневного, религиозного — показывает, что ментальный кризис назрел еще на рубеже XIX–XX вв., он виден в столкновении традиционной культуры и модерна. В России этот конфликт проявился особенно остро ввиду активного демографического переформатирования общества, запущенного «великими реформами». Хлынувшая в города масса молодого крестьянства несла с собой потенциал архаичного бунтарства, пространство города становилось полем столкновения разных культур. Однако не избежали культурного раскола и старые городские элиты: поиски новых, модерновых форм самовыражения далеко не всегда встречали понимание среди

[1] *Хобсбаум Э.* Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век. 1914–1991. М., 2004. С. 32.
[2] *Ахматова А.* Избранное. М., 1993. С. 10.

консервативной общественности. В 1905–1907 гг. усилились социально-политические противоречия: самодержавная власть не желала мириться с парламентским статусом Государственной думы, провоцируя конфликт с общественными организациями, деревня болезненно переживала столыпинские преобразования, кризис взаимоотношений как с властью, так и с прихожанами переживала Церковь. Эти и многие другие проблемы были усугублены начавшейся мировой войной.

Настоящее исследование посвящено изучению массовых настроений российского общества в 1914–1918 гг. Понятие «массовые настроения» употребляется в науке достаточно давно, со времен Платона и Аристотеля. С его помощью определяются те или иные политические симпатии народа, вместе с тем подчеркивается их временный, подчас стихийный характер. В русской исторической традиции изучение настроений связано с трудами В. О. Ключевского. В «Курсе русской истории», описывая настроения общества после Смуты, историк охарактеризовал их с помощью таких категорий, как тревога, страдание, терпение, недовольство, раздражительность, впечатлительность, тем самым подчеркнув их чувственно-эмоциональную природу[1]. На рубеже XIX–XX вв. изучение массовых или общественных настроений получило толчок в социальной психологии, в качестве обобщающего появился термин «массовая психология». Г. Лебон основополагающими элементами «психологии масс» называл как рациональные идеологические конструкции (политические, религиозные), так и иррациональные чувства, эмоции[2]. В XX в. в исторической науке массовая или общественная психология изучалась, как правило, путем исследования народной ментальности или общественного сознания. Вместе с тем между этими понятиями имеются принципиальные различия: в то время как менталитет народа может основываться на неотрефлексированных, но закрепленных в традициях, обычаях и практиках императивах, в основе массового сознания лежит осознанная коллективом, отрефлексированная установка, ценность. В отличие от термина «менталитет», размывшегося на протяжении его изучения в XX в., понятие «массовые настроения» кажется более предпочтительным, особенно с учетом перспектив развития эмоциологического направления в истории. В сравнении с ментальностью коллективные настроения отличаются большей динамичностью, подвижностью, а потому лучше передают отношение тех или иных социальных групп к меняющимся событиям социально-политической истории.

Следует отметить, что в современной социально-психологической литературе «массовое сознание» противопоставляется «коллективному сознанию» и «общественной психологии». Определяющим здесь выступает понятие массы

[1] См.: *Ключевский В. О.* Курс русской истории.

[2] См.: *Лебон Г.* Психология народов и масс. СПб., 1995.

(толпы) как специфической социально-психологической общности, в поведении которой большую роль играют стихийные факторы. В этом плане массовое сознание и массовое настроение оказываются не равнозначными, а подчиненными терминами. Так, массовые настроения становятся элементом массового сознания в работах Д. В. Ольшанского, который в качестве структурных компонентов последнего выделяет первичный эмоционально-действенный уровень и вторичный рациональный: «В основе массового сознания обычно лежит яркое эмоциональное переживание некой социальной проблемы, вызывающей всеобщую озабоченность. Это может быть война, революция, масштабный экономический кризис и т. д. Крайняя степень переживания проблемы выступает как системообразующий фактор массового сознания… Оно порождает потребность в немедленных действиях — потому и определяется как эмоционально-чувственная основа (иногда — как „ядро“) массового сознания… На основе „ядерного“, базисного эмоционально-действенного уровня постепенно образуется более рациональный уровень… По своему психологическому составу рациональный уровень массового сознания включает в себя более статичные (типа оценок и ожиданий, ценностей и „общих ориентаций“) и более динамичные (типа массовых мнений и настроений) компоненты»[1]. При этом Ольшанский подчеркивает важность изучения именно массовых настроений тем, что они являются переходными состояниями от непосредственных эмоций к осознанным мнениям, предшествующим массовым действиям[2]. Отметим, что на практике «осознанное мнение» не всегда является обязательным условием для перехода к действию — примеры массовых бунтов демонстрируют типы аффективного поведения, — а потому констатация переходного состояния «настроения» может вызывать определенные вопросы. Тем не менее это лишь доказывает важность изучения данного феномена социальной психологии в историческом контексте.

Изучение массовых настроений предполагает определение форм их выражения, что имеет особенное значение в исторической науке, так как позволяет уточнить источниковую базу работы. Так, настроения могут иметь ментальные формы, выражаться в символических продуктах творческой деятельности (устные, письменные, визуальные тексты), а также непосредственно проявляться в социальных действиях, поступках (жестах) людей. Поэтому помимо исследования непосредственно ментальных элементов массового сознания (идеи, образы, символы) внимание уделено и действенным формам выражения настроений как акции протеста, манифестации (верноподданнические или оппозиционные), погромы и пр.

В монографии присутствует сквозная нумерация семи разделов. В каждом из которых делается акцент на определенной форме выражения массовых

---

[1] *Ольшанский Д. В.* Психология масс. СПб., 2002. С. 20–21.

[2] Там же. С. 140.

настроений, при том что эти формы в качестве «второстепенных» появляются и в других разделах, что обеспечивает системность исследования. В первом разделе, условно посвященном идейным выражениям массовых настроений, изучается парадоксальная природа концепции патриотизма, которую власти и представители различных кругов общественности безуспешно пытались превратить в рациональную политическую идеологию. Выясняется природа социального протеста с точки зрения веберовской теории социального действа. Отдельное внимание уделено разбору и критике концепции «отложенной революции», предполагавшей, что в июле 1914 г. в столице сложилась классическая революционная ситуация, которая не переросла в революцию лишь по причине начавшейся Первой мировой войны. Несмотря на условность данной схемы, она демонстрирует, что революция 1917 г. не явилась порождением исключительно Первой мировой войны. Во втором разделе, «Действо», исследуются массовые акции периода мобилизации, показана их стихийная природа, приводившая к тому, что патриотические манифестации легко превращались в погромы. Кроме того, в данном разделе использован социально-стратификационный подход, позволяющий определить роль и формы отношения к войне различных социальных групп (с точки зрения как классового, так и гендерного деления общества). Третий раздел, «Слово», посвящен восприятию войны и власти носителями устной деревенской культуры, исследуется интертекстуальный характер деревенских слухов, в которых переплетались архетипическо-мифологические и фактические явления. Здесь же предпринята попытка реконструкции крестьянского мифологического дискурса о войне в форме сказки. В четвертом разделе, «Текст», анализируются слухи в письменных текстах городской среды, указывается на постепенную иррационализацию пространства городских слухов, что, помимо прочего, отражается в росте популярности мистицизма и динамике психических заболеваний, выступающих в качестве лакмусовой бумажки анализа психологического состояния общества в целом. Пятый раздел, «Образ», посвящен визуальным материалам Первой мировой войны, здесь раскрывается источниковый потенциал таких изобразительных документов, как высокая живопись и лубок, журнальная карикатура и почтовая открытка. Обращается внимание на то, что в визуальном пространстве отобразились те же общие тенденции, что были характерны для сельских и городских слухов, в частности интерпретация современности в контексте эсхатологических ожиданий. Шестой раздел, «Символ», относится к сфере политико-символического пространства. В нем произошла окончательная дискредитация категорий «православие», «самодержавие», «народность», и новыми смыслами наполнились иные символы — такие, как, например, Государственная дума. Дума теоретически могла сцементировать власть и общество — она воспринималась последним в качестве альтернативы катастрофы, но власть относилась к Думе враждебно. В седьмом разделе, «Эмоции», рассматривается

психическо-эмоциональное измерение российской революции, анализируются слухи в качестве революционного фактора, образы, возникавшие на определенных этапах, выстраивается эмоциологическая периодизация 1917-го — начала 1918 г. Изучение психической динамики городских слоев населения заставляет выйти за рамки «малой» революции 1917 г. и проследить процессы (динамика самоубийств, рождение определенных психических теорий) вплоть до окончания Гражданской войны. В заключении рассматриваются ощущения времени обывателями в годы Гражданской войны на календарном, историческом и религиозном уровнях, интерпретируется убийство отрекшегося императора в июле 1918 г. как закономерный и ожидавшийся многими «конец истории».

В качестве ключевых в исследовании выделяются три формы, вынесенные в название книги, — слухи, образы, эмоции. Слухи нам важны как типичный источник информации в условиях информационно-политического кризиса, который способствует формированию искаженных образов, альтернативных официальной пропаганде картин внутренней ситуации в империи, что приводит к выраженному общественному недовольству, эмоциональным всплескам, аффективным действиям, особенно ярко проявившимся в российской революции 1917 г. Тем самым выстраивается последовательность: слух — образ — эмоция — действие.

Источниковая база исследования включает в себя максимально широкий и репрезентативный круг письменных и визуальных документов, среди которых наибольшей важностью обладают те, которые обнаруживают характеристики массового источника, позволяют изучать настроения большинства населения. К таковым следует отнести материалы перлюстрации (по гражданскому ведомству хранятся в Государственном архиве Российской Федерации в фонде № 102 Министерства внутренних дел, опись № 265, а также письма с фронта из Российского государственного военно-исторического архива, фонда военной цензуры при главном почтамте в Петрограде № 13838, опись № 1, в общей сложности насчитывающие более 100 000 документов[1]), протоколы дознаний обвиняемых в оскорблении представителей правящей династии в соответствии со статьей 103 Уголовного уложения (дела из фондов губернских жандармских управлений Государственного архива Российской Федерации, а также доклады по Министерству юстиции из фонда № 1405, описи № 521, дела № 475 и 476 Российского государственного исторического архива, в общей сложности около 1500 дел), лубочные картинки и плакаты (коллекция из фонда Изобразительного отдела Российской государственной библиотеки, коллекция из фонда Российской государственной публичной библиотеки России, собрания

[1] Частично эти документы опубликованы в книгах: Представительные учреждения Российской империи в 1906–1917 гг.: Материалы перлюстрации Департамента полиции / Отв. ред. В. В. Шелохаев, сост. К. А. Соловьев. М., 2014; Письма с войны 1914–1917 / Сост. А. Б. Асташов, П. А. Симмонс. М., 2015.

Государственного центрального музея современной истории России, около 500 изображений[1]), а также иллюстрированные почтовые открытки (коллекция из фонда Изобразительного отдела Российской государственной библиотеки, более 500 единиц). Из визуальных источников необходимо отметить и журнальные иллюстрации, в том числе карикатуры. Большой интерес в рамках выбранной темы представляют доносы обывателей в Департамент полиции МВД, также обладающие характеристиками массового источника. По ним можно реконструировать массовые фобии, самая сильная из которых — шпиономания — приобретала характер невротического расстройства (а в некоторых случаях и психического, когда сопровождалась галлюцинациями). Доносы также выявляют издержки патриотической пропаганды. В департаменте полиции отмечали, что «ярый патриотизм» нередко был симптомом умопомешательства. Помимо доносов «бдительных подданных», использовались донесения агентов Охранного отделения. Показательно, что накануне революции 1917 г. они строились вокруг распространенных в обществе слухов, в результате чего власти получали искаженные картины действительности и теряли контроль над ситуацией, что проявилось во властных «конвульсиях» января — февраля 1917 г.

В процессе исследования использовались документы, не являющиеся массовыми, но позволяющие дополнить картину общественных настроений: это дневники современников и мемуары (98 наименований), различные сведения из периодики (криминальная и светская хроника, вести и слухи, бытовые зарисовки из 59 изданий), газетная и журнальная публицистика, отчеты чинов полиции по результатам наружного наблюдения, статистические данные, в которых отражались социальные процессы (статистика самоубийств, душевных расстройств, конфликтов с представителями власти и пр.). Ко многим из них применялся квантитативный анализ с целью выстраивания динамики тех или иных процессов, частотности явлений. Помимо статистических данных, к которым естественно применение количественного анализа, проводился сплошной подсчет упоминаний войны, политических слухов на страницах дневников тех авторов, которые регулярно вели свои записи, что позволило выстроить на их основе динамику настроений. Особенный интерес в этой связи представляли дневники тех российских подданных, которые изначально демонстрировали аполитичность и нехотя обращались к военным или внутриполитическим сюжетам — упоминания в них войны и политических коллизий, как правило, отражали пики общественного беспокойства.

Следует заметить, что источниковый потенциал документов меняется в зависимости от особенностей политической системы государства, поэтому рассматриваемый период условно делится на три этапа: староцензурный (1914–1916),

[1] Коллекция из собрания ГЦМСИР опубликована в двухтомнике «Лубочная картинка и плакат периода Первой мировой войны. 1914–1918 гг.» В 2 т. М., 2014; коллекция ГПИБ выложена на сайте http://vvpmv.shpl.ru/.

бесцензурный[1] (1917) и новоцензурный (с 1918). На первом этапе именно цензурно-судебная система собирала документы, отражавшие массовые настроения (перлюстрация, судебные дела, доносы подданных и донесения филеров). В 1917 г. цензура была отменена, но, несмотря на исчезновение прежних групп массовых источников, освобожденная от политического контроля периодика в плане информативности и репрезентативности массовых настроений заняла их место. С 1918 г. (точнее, уже 27 октября 1917 г. в Декрете о печати вводились первые цензурные ограничения) цензура восстанавливается, но появляются «новые» источники — донесения, журналы сотрудников советских надзорно-карательных инстанций (в первую очередь ВЧК).

Тем самым источниковая база исследования позволяет изучить слухи, образы, эмоции рассматриваемого периода. Источниковедческий потенциал отражающих их документов раскрывается в основной части исследования, однако сейчас можно сделать несколько методологических замечаний, поясняющих подход к источникам. Прежде всего следует отметить, что материалы перлюстрации, протоколы дознаний, дневники современников интересны своей интертекстуальностью, тем, что включают в себя голоса «молчаливого большинства» — цитируют устные высказывания третьих лиц, т. е. содержат устные исторические источники. Среди последних большое значение для реконструкции массового сознания и настроений имеют слухи, которые выполняют в обществе несколько важных функций. Главная из них — информационная. Слухи содержат актуальную информацию и делают ее массовой, доступной для многих. Другая функция — коммуникативная, когда значение имеет не сама информация, а развитие каналов, по которым она распространяется. Третья функция — алармистская, призванная обращать внимание власти и общества на проблемы, получающие в слухах массовое распространение. Четвертая и наименее очевидная функция — провидческая (часто слухи опережали события, иногда предопределяли их). Кроме того, слухи являются вместилищем народных традиций, представлений, что проявляется в наслаивании архаичных, мифических пластов, интерпретации полученной информации в фольклорном ключе, что повышает их источниковый потенциал.

Слухи не просто искажают информацию, они трансформируют актуальные для обывателей известия в соответствии с массовыми ожиданиями, отражая представления общественного сознания о том или ином предмете. Интертекстуальность слухов отчасти определяется тем, что стимулами для их возникновения и распространения могут выступать как внешние факторы повседневной, политической жизни, так и некие внутренние архетипы, поднимающиеся в кризисные времена из глубин подсознания. Так, например, когда с весны

---

[1] Как известно, несмотря на формальную отмену цензуры, в 1917 г. были ликвидированы черносотенные издания. Кроме того, театральная милиция осуществляла в 1917 г. цензуру по вопросам нравственности.

1915 г. начинается «сахарный голод», рождается слух о том, что весь сахар отправляет в Германию императрица-шпионка (Александра Федоровна в представлениях городских слоев, Мария Федоровна — сельских). Здесь мы наблюдаем в первую очередь повседневный стимул слуха. Однако общее недоверие к императрицам поднималось из архетипического уровня, главным аргументом их предательства выступало утверждение, что они «плачут, когда бьют немцев, и смеются, когда убивают наших», что уходит корнями в мифологические описания природы дьявола. В этой же группе находятся эсхатологические слухи о том, что Николай II являлся Антихристом.

Некоторые слухи, оперировавшие архетипическими образами, настолько укоренялись в массовом сознании, что превращались в мифологемы. Одним из ярких примеров стал появившийся в 1917 г. слух о «черных авто», сохранявшийся в разных вариациях на протяжении всего XX и даже начала XXI в. («черная маруся», «черный воронок», «черная волга»).

К слухам как историческому источнику всегда было приковано внимание историков. Еще у Гомера слух выступает источником знания, когда Антиной обращается к Телемаху, чтобы тот отправился «в Пилос священный и слухи собрал об отце многославном». Телемах собирает слухи об участии отца в Троянской войне («по слухам, / вместе с тобою под Троей сражался и город разрушил»). Слухи выступают источником информации, могут как относиться к актуальным событиям, так и выступать легендами прошлого. Важно, что для Гомера слух не равнозначен вымыслу и дезинформации, это всего лишь способ передачи сообщения. В исторической науке, в отличие от литературного эпоса, с самого ее зарождения авторы противопоставляли информацию устную, рассказанную третьими лицами, и информацию, полученную опытным путем, из свидетельств непосредственных участников событий. Некоторое пренебрежение образованного человека к слухам обнаруживается в древнерусской книжной культуре: «Я, грешный, первый был очевидец, о чем и расскажу не по слухам, а как зачинатель всего того», — писал автор «Повести временных лет». Еще раньше правдивость слухов была поставлена под сомнение Геродотом: «Что до меня, то мой долг передавать все, что рассказывают, но, конечно, верить всему я не обязан»[1].

В XX в. благодаря развитию социальной психологии изучение слухов получает необходимую методологическую основу. В 1902 г. немецкий ученый В. Штерн исследовал способность слухов искажать информацию по принципу «испорченного телефона» (в западноевропейской традиции — «китайского телефона»)[2]. Со временем исследователи слухов перестали ограничивать их роль исключительно функцией передачи информации, обращая внимание

[1] *Геродот*. История. Кн. VII. 152.

[2] *Stern W.* Zur Psychologie der Aussage. Experimentelle Untersuchungen über Erinnerungstreue. Zeitschrift für die gesamte Strafechtswissenschaft. Vol. XXII. Cahier 2/3, 1902.

на то, что слухи отражают психологическое состояние социума. Г. Олпорт и Л. Постман показали, что функционирование слуха предполагает три действия: «выравнивание» (исключение малозначимых, лишних деталей), «обострение» (концентрация и выделение общественно важных деталей) и «ассимиляция» (искажение информации в результате подсознательной интерпретации)[1]. В 1944 г. Р. Кнапп в «Психологии слухов» отметил такую их важную функцию, как выражение эмоциональных потребностей общества[2]. Д. В. Ольшанский, отмечая, что слухи практически никогда не бывают достоверными (само по себе не слишком корректное замечание, так как проблема достоверности как тождественности слова событию относительна), считает, что в слухах присутствует сильный эмоциональный компонент, который компенсирует недостаточную достоверность[3]. С точки зрения эмоциональных характеристик слухов Ольшанский выстраивает не бесспорную классификацию: слухи-желания, слухи-пугала, агрессивные слухи, нелепые слухи[4]. Объясняя последний тип, психолог замечает, что они особенно характерны для периодов «перелома массового сознания, когда люди находятся в растерянности в связи с тотальной сменой систем ценностей», и в качестве примера приводит булгаковское описание московских слухов 1920-х гг.: «Что в Москве творится — уму непостижимо человеческому! Семь сухаревских торговцев уже сидят за распространение слухов о светопреставлении, которое навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже называла точно число: 28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика Стефана земля налетит на небесную ось». Однако данный пример представляется некорректным ввиду того, что упоминание «небесной оси» является не нелепым, а вполне типичным способом интерпретации настоящего с помощью эсхатологического фольклора. В этом аспекте слухи следует отличать от других форм бытования устной информации — городских легенд, мифов, сказок и пр. Очевидно, что для более полного понимания феномена слухов социально-психологическую теорию необходимо существенно дополнять историческим, фольклористическим, этнографическим материалом. В целом следует признать, что в социальной психологии и современной фольклористике слухи давно уже стали вполне традиционным предметом исследования[5].

В исторических исследованиях слухи стали привлекать внимание ученых с конца XIX в. В. О. Ключевский по слухам реконструировал массовые настроения XVII в. Особое внимание слухам было уделено в трудах представителей французской школы «Анналов». М. Блок, участвовавший в Первой мировой

---

1 *Allport G., Postman L.* Psychology of Rumor. Russell and Russell. 1951. P. 75.

2 *Кnapp R.* A Psychology of Rumor. Public Opinion Quarterly. 8/1. 22–37. 1944.

3 *Ольшанский Д. В.* Психология масс. С. 276.

4 Там же. С. 276–279.

5 См. социально-психологическую историографию слухов в статье: *Осетрова Е.* Слухи в современной социокультурной среде: историографический обзор // Антропологический форум. 2011. № 15. С. 55–82.

войне, вспоминал, как в среде немецких солдат слухи о наличии бойниц в домах бельгийских крестьян, порожденные незнанием местных архитектурных традиций, катализировали страх и ненависть к мирному населению[1]. Французский историк обратил внимание на то, что окопная повседневность, архаизировавшая массовое сознание, приводила комбатантов к мысли, что правдой может быть все что угодно, кроме печатного слова. Подобное противопоставление устного слова и письменного или, шире, «устной культуры» и «письменной культуры» представляется особенно важным в контексте настоящего исследования. В 1932 г. Ж. Лефевр исследовал феномен массового распространения слухов накануне Французской революции. Эти слухи породили «великий страх», ставший катализатором революционной активности[2].

С конца 1990-х гг. слухи как индикатор массовых настроений в период 1914–1917 гг. привлекают внимание российских исследователей. В 1999 г. Б.И. Колоницкий исследует отражение процесса десакрализации монархии в политических слухах в годы Первой мировой войны, еще раньше, в 1997 г., В.П. Булдаков показывает роль слухов в революционном насилии 1917 г.[3] В 1997 г. В.В. Кабанов одним из первых акцентировал внимание на роли слухов о недостатке хлеба в событиях 23 февраля 1917 г., также он предпринял попытку классификации слухов исходя из их роли в обществе, выполняемых функций[4]. Так, было предложено делить слухи на причины и катализаторы событий, «слухи-формулы», передававшие массовые представления о функционировании какого-то явления, «слухи-легенды», оставшиеся в исторической памяти народа. В качестве другого варианта классификации Кабанов предлагал деление на «оптимистические» и «пессимистические», а также «сбывшиеся» и «несбывшиеся». Последняя особенность слухов нуждается в отдельном пояснении.

Массовые слухи демонстрировали способность массового сознания предчувствовать и предугадывать развитие событий даже в ситуации общественно-политического хаоса тогда, когда сильны ощущения «конца истории» (например, о «красном» и «белом» терроре в ноябре 1916 г., тогда же — о неизбежности революции в 1917 г., летом — осенью 1917 г. — о предопределенности «Корниловского мятежа» и большевистского переворота, в июне 1918 г. — о казни Николая Романова и т.д.). Чувственно-эмоциональная природа слухов предопределяет их чуткость к внешним процессам и оказывается более эффективной в плане прогнозирования, чем попытки рационального анализа. Вместе с тем нельзя отрицать и того, что стихийно распространявшиеся слухи сами могли стать неким

---

[1] *Блок М.* Апология истории, или ремесло историка. М., 1986.

[2] *Lefebvre G.* La Grande peur de 1789. Suivi de Les foules révolutionnaires. Paris, 1988.

[3] *Колоницкий Б.И.* К изучению механизма десакрализации монархии (слухи и «политическая порнография» в годы Первой мировой войны) // Историк и революция. СПб., 1999. С. 72–86; *Булдаков В.П.* Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997.

[4] *Кабанов В.В.* Источниковедение истории советского общества: Курс лекций. М., 1997.

сигналом к действию, предопределить ту или иную развязку. Эмоциональная атмосфера кануна революции, в которой главной эмоцией оказывалось чувство страха, предполагала самые трагические сценарии политической развязки.

Найти объяснения прогностических способностей слухов можно в философско-социологической теории. Австрийский и британский социолог К. Поппер, критикуя историцизм, использовал понятие «Эдипова эффекта» — «влияние предсказания на предсказанное событие (или, шире, влияние информации на ситуацию, к которой эта информация относится); причем несущественно, направлено ли это влияние на осуществление или на предотвращение предсказанного события»[1]. Еще раньше У. и Д. Томас в 1928 г. объяснили похожий феномен тем, что события конструируются представлениями людей о них: «Если люди считают ситуации реальными, то они оказываются реальными по последствиям»[2]. На основе «теоремы Томаса» Р. Мертон разработал теорию «самоисполняющегося пророчества» («the self-fulfilling prophecy»), согласно которой ложное предсказание, кажущееся современникам истинным, будет влиять на поведение людей так, что их действия сами приведут к исполнению этого предсказания[3]. В. П. Булдаков выдвинул оригинальную концепцию «хроники заранее объявленной революции» (оммаж Г. Маркесу), согласно которой слухи подготовили массовое сознание к идее неизбежности революции, тем самым запрограммировав общество на нее[4].

Изучение визуальных образов также нуждается в методологических пояснениях. Несмотря на модное ныне направление «визуальной истории», в исторических исследованиях «визуальный поворот» все еще не произошел вследствие того, что многие историки, обращающиеся к изобразительным источникам, отводят им второстепенную, иллюстративную роль. В историографии образы изучаются преимущественно имагологическим направлением, в основе которого лежит изучение представлений о «своих» и «чужих». К нему относятся работы таких авторов, как А. В. Голубев, О. С. Поршнева, Е. С. Сенявская, Т. А. Филиппова и др.[5] Однако имагология далеко не всегда в полной мере раскрывает потенциал изобразительных источников, так как часто ограничивает исследование формальными образами тех или иных (этнических, социальных) групп, тогда как понятие «образа» шире подобного подхода и часто включает в себя абстрактные категории. Для преодоления этого парадокса необходимо признать,

---

1 *Поппер К.* Нищета историцизма // Вопросы философии. 1992. № 8. С. 49–79.

2 *Thomas W. I., Thomas D. S.* The child in America: Behavior problems and programs. New York: Knopf, 1928. P. 571–572.

3 *Merton R. K.* Social Theory and Social Structure. Free Press, 1968. P. 477.

4 *Булдаков В. П.* Метанарративы и микронарративы Русской революции: к переосмыслению сложившихся представлений // Столетие русской революции 1917 года и ее значение в мировой истории и культуре. Будапешт: Russica Pannonicana, 2018. С. 77–90.

5 См.: *Сенявская Е. С.* Противники России в войнах XX века: эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. М., 2006; *Голубев А. В., Поршнева О. С.* Образ союзника в сознании российского общества в контексте мировых войн. М., 2011; *Филиппова Т. А., Баратов П. Н.* «Враги России». Образы и риторики вражды в русской журнальной сатире эпохи Первой мировой войны. М., 2014.

что визуальный образ является текстом, обладающим интертекстуальностью. В нем (в зависимости от типа, жанра изобразительного произведения) присутствует авторский интенциональный пласт (осознанный или нет), обнаруживаются явные или скрытые, на уровне содержания или формы, переклички с предшествующими художественными произведениями, а также косвенно или прямо отражается современная эпоха (так как автор творит в конкретно-исторических условиях). Тем самым художественное произведение говорит не только о самом авторе, но и о его времени. Отдельной проблемой является соотношение визуального и вербального текстов. В некоторых случаях текст задает вектор интерпретации, дешифровки визуального сообщения, а в других, наоборот, может уводить зрителя с верной дороги (особенно это касается случаев, когда название произведения пишется для цензора). Имеющиеся подписи к картине, рисунку вовсе не исчерпывают содержания произведения. Современные исследователи признают, что визуальный образ несет в себе больше информации, чем вербальный текст[1]. Большое значение имеет анализ собственно визуального языка, который может нести в себе информацию о способах эмоционального коннотирования тех или иных образов, позволяет уйти от денотативного (буквального) прочтения изобразительного сообщения.

Для полного раскрытия источникового потенциала изобразительного текста историкам следует использовать наработки смежных дисциплин — искусствоведения, культурологии, философии и культурной антропологии. На протяжении XX в. методы работы с визуальными произведениями постоянно совершенствовались. Так, Э. Панофски от иконографического метода перешел к иконологическому, совершенствуя выдвинутые А. Варбургом идеи, Р. Барт применил методы структуралистского и постструктуралистского подходов к визуальному сообщению, У. Митчелл, указав на текстуальность изображения и визуальность вербального текста, призвал совершить пикториальный поворот и т.д.[2] В 2001 г. Дж. Роуз выпустила научно-методическое пособие «Визуальная методология. Введение в интерпретацию изобразительных произведений», в котором продемонстрировала способы анализа изобразительных источников с точки зрения семиологии, психоанализа, дискурс-анализа, а также особенностей контент-анализа[3]. В 2018 г. Н.Н. Мазур подготовила антологию визуальных исследований, в которую вошли ранее не публиковавшиеся на русском языке статьи ведущих западных исследователей[4].

---

[1] *Голиков А.Г., Рыбаченок И.С.* Смех — дело серьезное. Россия и мир на рубеже XIX–XX веков в политической карикатуре. М., 2010. С. 5.

[2] *Панофски Э.* Этюды по иконологии. СПб., 2009; *Барт Р.* Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М., 1989; *Барт Р.* Camera lucida. М., 1997.

[3] *Rose G.* Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of the Visual Materials. London: SAGE Publication, 2001.

[4] Мир образов. Образы мира. Антология исследований визуальной культуры / Ред.-сост. Н.Н. Мазур. М.; СПб., 2018.

Конечно, важно учитывать вид изобразительного искусства, к которому относится произведение. Очевидно, что «высокая» станковая живопись, документальная фотография, народный лубок требуют специального подхода. Варианты исследования этих источников будут продемонстрированы в основной части монографии. В нашем исследовании также раскрывается потенциал квантитативных методов на примере журнальной карикатуры: рассчитываются частотно-динамические характеристики образов внешнего и внутреннего врага, развитие «позитивных» и «негативных» образов и т. д.

Одна из особенностей художественных произведений — их выраженная эмоциональность, что делает их исключительно актуальными в контексте нашей темы исследования. Дэвид Фридберг, Витторио Галлезе выдвинули концепцию «телесной имитации и эстетического переживания», базирующуюся на открытых в конце 1990-х гг. зеркальных нейронах, объясняющую природу эмоциональной «власти образа» над зрителем: «Автоматические эмпатические реакции представляют собой базовый уровень реакции на изображения и произведения искусства. В основе этих реакций лежит процесс телесной имитации, позволяющий непосредственно воспринимать интенциональное и эмоциональное содержание образов… Исторические, культурные или контекстуальные факторы не противоречат важности изучения нейронных процессов, которые приводят к эмпатическому восприятию произведений визуального искусства»[1]. Открытие зеркальных нейронов у приматов, отвечающих за возбуждение при наблюдении за выполнением определенных действий, раскрывает подражательную природу эмоций, прежде всего чувства эмпатии, сочувствия у человека[2]. «Нейроанатомической основой эмпатии являются система зеркальных нейронов и лимбическая система, причем особое внимание уделяется миндалине и островку», — считает В. Косоногов[3]. Вероятно, они также объясняют природу «душевной контагиозности» — заразительности определенных психических состояний, открытой В.Х. Кандинским. Душевная или, точнее, эмоциональная контагиозность оказывается важной характеристикой массовых реакций и социальных действий, исследуемых в настоящей монографии, объясняет бессознательные коллективные акции толп, в которых исследователи зачастую тщетно силятся обнаружить идейную сознательность.

Эмоции запечатлевались в разных документах и проявлялись в разных формах. Изучение социально-политической роли эмоций требует внимания к соответствующей методологии. С 1980-х гг. в англоязычной литературе усиливается

---

[1] *Фридберг Д., Галлезе В.* Движение, эмоция и эмпатия в эстетическом переживании // Мир образов. Образы мира… С. 485.

[2] См.: *Риццолатти Дж., Синигалья К.* Зеркала в мозге: О механизмах совместного действия и сопереживания. М., 2012.

[3] *Косоногов В.* Зеркальные нейроны: краткий научный обзор. Ростов н/Д., 2009. С. 10.

интерес к эмоциологии как гуманитарной смежной дисциплине, пользующейся наработками в области психологии, нейрофизиологии, этнологии. Этот интерес не исчезает и в XXI в.[1] Ян Плампер, изучив историографию истории эмоций, предлагает бинарную схему ее развития как противопоставление взаимоисключающих подходов, что предопределено интересом к данному феномену со стороны как естественных, так и гуманитарных наук[2]. В то время как психология и особенно нейрофизиология ищут биолого-природные основания эмоциональной системы человека, антропология и этнология обращают внимание на культурно детерминированные эмоциональные практики, отличающиеся друг от друга в различных обществах. В результате рождаются два подхода: один отрицает существование универсальных эмоций, другой, наоборот, признает общие переживания и эмоциональные реакции людей вне зависимости от культурных традиций. Примечательно, что оба подхода имеют экспериментальное подтверждение. Вместе с тем решением данного парадокса может быть, во-первых, разделение эмоций на первичные, или базовые (природно детерминированные), и вторичные (культурно детерминированные), а во-вторых — отделение изучения собственно эмоций от способов их выражения. Вместе с тем полного единения ученых относительно количества базовых эмоций нет.

Критики универсалистской концепции указывают, что те или иные мимические реакции носят подражательный характер и больше относятся к сфере культурных традиций, нежели биологии. Вместе с тем даже наличие двух противоположных мимических реакций на общий эмоциональный стимул не доказывает различие внутренних чувств, переживаний испытуемых субъектов, а всего лишь констатирует различные традиции, практики выражения тех или иных эмоциональных состояний. При этом на биохимическом уровне сами состояния выражаются едиными процессами, протекающими в организме человека: тревога связана с выработкой адреналина, злость — норадреналина, чувство удовлетворения — серотонина, печали — мелатонина и т. д.

Источник эмоционального переживания может быть как внутри самого человека (возникший в голове образ, воспоминание), так и во внешнем мире (внешняя опасность или близкий человек). В первом случае обнаруживается

[1] *Zeldin Th.* France, 1848–1945. Vol. 1: Ambition, Love. Oxford: Oxford UP, 1979; *Stearns P. N., Stearns C. Z.* Emotionology: Clarifying the History of Emotions and Emotional Standards // The American Historical Review. 1985. Vol. 90. № 4. P. 813–836; *Elias N.* The Civilizing Process. Oxford: Blackwell, 1994. P. 292; *Reddy W. M.* The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions. New York: Cambridge University Press, 2001. XIV. 380 p.; *Rosenwein B. H.* Emotional Communities in the Early Middle Ages. Ithaca: Cornell University Press, 2006; *Gross D. M.* The Secret History of Emotion: From Aristotle's Rhetoric to Modern Brain Science. Chicago: University of Chicago Press, 2006. X. 194 p.; Российская империя чувств: Подходы к культурной истории эмоций. Сб. статей / Ред. Я. Плампер, Ш. Шахадат, М. Эли. М., 2010; *Виницкий И.* Заговор чувств, или русская история на эмоциональном повороте // Семиотика августа в XX веке: трансформация жизни частного человека в эпоху социальных катаклизмов. Новое литературное обозрение. № 117. 2012.

[2] См.: *Плампер Я.* История эмоций. М., 2018.

связь между идеей и эмоцией, мыслью и чувством. Кэррол Изард, изучая эмоции как нейрофизиологические процессы, вводит понятие аффективно-когнитивной структуры, представляющей собой комбинацию драйва, эмоции и когнитивных процессов[1]. Комплекс из различных аффективно-когнитивных структур становится основой для мировоззрения или идеологии. В годы Первой мировой войны официальная пропаганда эксплуатировала патриотические эмоции российских подданных, в журнальной публицистике, визуальном пространстве можно обнаружить следы подобных аффективно-когнитивных структур, однако комплексного мировоззрения так и не возникло.

Одна из главных проблем, возникающих при изучении эмоций посредством методов гуманитарных дисциплин, в первую очередь историками и лингвистами, заключается в несоответствии переживаемых эмоций и средств их вербального выражения. Зачастую для точного описания переживания слов оказывается недостаточно. Кроме того, человек крайне редко испытывает одну-единственную эмоцию, как правило, эмоции перетекают друг в друга, вызывая нечто вроде цепной реакции. Последовательность этих реакций может быть индивидуальной, связанной с личным опытом субъекта. На основании этого некоторые исследователи отрицают существование дифференциальных эмоций. Вместе с тем в том или ином эмоциональном букете, или аккорде, можно обнаружить одну доминирующую эмоцию. К. Изард, автор психологии дифференциальных эмоций, вводит понятие эмоциональных триад. Психолог обращает внимание на то, что гнев, отвращение и презрение, являясь дискретными эмоциями, тесно взаимодействуют друг с другом, активируются при одних и тех же ситуациях, что позволяет говорить о них как о «триаде враждебности». По этой же аналогии можно выстроить «триаду доброжелательности». На материале 1917 г. — периода, когда эмоции, по меткому замечанию М. Горького, определяли политику, — будет показан потенциал эмоциологического подхода.

Для настоящего исследования важность представляют концепции «эмоциональных сообществ» и «эмоциональной навигации», введенные в научный оборот соответственно Барбарой Розенвейн и Уильямом Редди. Б. Розенвейн на материале Средних веков показала, что выражение эмоций в определенных кругах (например, вспышки ярости у королей) не было проявлением эмоциональной незрелости, а, наоборот, представляло собой расчетливо используемые знаки символической коммуникации[2]. При этом Розенвейн указывает, что в Средние века человек мог принадлежать одновременно к разным эмоциональным сообществам. У. Редди, разрабатывая собственную иерархию эмоциональных категорий на пути достижения человеком «эмоциональной свободы» (минимизации эмоционального страдания), изучает особенности

[1] *Изард К.* Психология эмоций. СПб., 1999. С. 28, 39.
[2] *Rosenwein B. H.* Emotional Communities in the Early Middle Ages. Ithaca: Cornell University Press, 2006.

«эмоциональной навигации» — маневрирования субъекта между различными «эмоциональными режимами» (ансамбль эмоциональных символических практик)[1]. Понятия «эмоционального сообщества» и «эмоционального режима» сближают теории Розенвейн и Редди, так как «эмоциональный режим» оказывается характеристикой «эмоционального сообщества». В настоящем исследовании концепция «эмоциональной навигации» между «эмоциональными сообществами» используется при описании социальных конфликтов, вызванных миграцией крестьян в городскую среду, а также появлением в городах праздношатающихся солдат, дезертиров. Очевидно, что способы выражения эмоций в деревне и городах, на фронте и в тылу отличались друг от друга (например, для деревни было характерно сочетание публичной сдержанности проявления романтических чувств с открытым проявлением физиологических влечений, в то время как для городского эмоционального сообщества все было наоборот). В целом деревенское сообщество отличалось большей эмоциональной открытостью, несдержанностью, чем городское (Н. Элиас полагал, что развитие цивилизации предписывает ужесточение контроля за эмоциями). В социальных конфликтах 1914–1918 гг. обнаруживаются характерные признаки столкновений разных эмоциональных режимов.

Введение понятия «эмоциональные сообщества» углубляет используемый в исследовании социально-стратификационный подход, позволяет обнаружить в различных общественных стратах не только «объективные» материально-правовые характеристики, но и ментальные отличия, которые не поддаются регистрации традиционными методами классового подхода. Однако, помимо выявления различий между разными группами населения, не менее важной представляется попытка обнаружения общих характеристик современников описываемых событий как определенного поколения эпохи войны и революции, являющихся носителями некоторых универсальных психологических черт. Одним из используемых обобщающих терминов является понятие «обыватель». В повседневной речевой практике начала XX в. (в отличие от XVIII в., когда термин обозначал сословную принадлежность, или от второй половины XX в., когда он наполнялся определенным морально-этическим, мировоззренческим содержанием) под обывателями понималось население, постоянно проживающее на определенной территории без различия сословного происхождения. Именно в этом значении понятие используется в настоящей работе. Оно удобно тем, что позволяет сконцентрироваться на неких усредненных универсальных значениях, в равной степени актуальных для большинства населения. В этом смысле термин «обыватель» сближается с понятием «маленького человека», применяемого в социально-исторических исследованиях.

---

[1] *Reddy W. M.* The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions. New York: Cambridge University Press, 2001.

Стремление уйти от жесткой классовой стратификации ради поиска универсальных психологических черт обнаружилось в советской историографии в так называемом «новом направлении». Так, еще в 1964 г. П.В. Волобуев попытался «нарисовать образ среднего русского кадрового пролетария», выделяя в качестве классовых его особенностей «чувство собственного достоинства», «здравый смысл», «выдержку и стойкость»[1]. Данные черты, естественно, никак не могут являться классовой характеристикой ни пролетариата, ни какого другого класса, так как являются личностными особенностями, которыми может обладать любой индивид, вне зависимости от классовой принадлежности. Тем не менее в работе Волобуева показательна попытка расширения рамок «классовой истории», постановки принципиально новых проблем, пусть не всегда корректных с точки зрения современной социологии и психологии, в результате чего помимо пролетариата советские историки начинают изучать поведение, историю «средних слоев», мещан, что создает предпосылки для ввода в научный оборот термина «обыватель» (в 1970-х гг. это Н.И. Востриков, Э.Р. Гречкина; в 1980-х — В.П. Булдаков, В.В. Канищев)[2].

Пересмотр постулатов «Краткого курса» приводил к расширению классового подхода за счет обращения к социально-психологической проблематике. Помимо вопроса классовой сознательности, внимание привлекала тема стихийного творчества масс, что нашло отражение в публикациях А.Я. Грунта, Я.С. Драбкина, Б.Ф. Поршнева, Е.Н. Городецкого, М.Я. Гефтера и др.[3] Г.Л. Соболев затронул проблемы «психологического климата» и общественной психологии в период революции 1917 г., обратившись к изучению такого массового источника, как «письма во власть»[4].

На современном этапе термины «обыватель», «маленький человек» оказываются центральными в истории повседневности, которая через описание быта граждан раскрывает характерные социально-психологические черты времени. Данное направление представлено трудами таких авторов, как И.В. Нарский, С.В. Яров, А.К. Соколов, С.В. Журавлев, Н.Б. Лебина, Е.Ю. Зубкова, Н.Н. Козлова, Е.А. Осокина, Ш. Фитцпатрик и др.[5] При этом историки во многом

---

[1] *Волобуев П.В.* Пролетариат и буржуазия России в 1917 г. М., 1964.

[2] См.: *Востриков Н.И.* Борьба за массы. М., 1970; *Гречкина Э.Р.* Средние слои на пути к социализму. Таллин, 1976; Изменение социальной структуры советского общества. Октябрь 1917—1920 гг. М., 1976; Борьба за массы в трех революциях в России. Пролетариат и городские средние слои. М., 1981; Городские средние слои в Октябрьской революции и гражданской войне. М., 1984; Городские средние слои в трех российских революциях. М., 1989.

[3] См.: Историческая наука и некоторые проблемы современности. Статьи и обсуждения. М., 1969.

[4] *Соболев Г.Л.* Письма в Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов как источник для изучения общественной психологии в России в 1917 г. // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1968. Т. 1. С. 159–173.

[5] *Нарский И.В.* Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917–1922 гг. М., 2001; *Яров С.В.* Горожанин как политик: революция, военный коммунизм и НЭП глазами петроградцев. СПб., 1999; *Журавлев С.В., Соколов А.К.* Повседневная жизнь советских людей в 1920-е годы //

пересматривают тот образ «маленького человека», который сложился в русской классической литературе благодаря А.С. Пушкину, Н.В. Гоголю, А.П. Чехову, — в период социально-политических потрясений 1914–1922 гг. он становился одним из самых зловещих героев российской смуты, предвосхищая идущим снизу стихийным насилием репрессии властей[1].

Обращение к истории повседневности «маленького человека» в условиях глобальных трансформаций ставит перед исследователем проблему соотношения объективного и субъективного, закономерного и случайного в истории. Эти вопросы на материале революции 1917 г. уже поднимались в советские годы представителями «нового направления», однако в связи с разработкой синергетики как метанауки, которая исходит из нелинейности и сложности социальной реальности как системы открылись новые перспективы. Г. Хакен, К. Майнцер, И. Стенгерс, И. Пригожин, Л.И. Бородкин подчеркивают неустойчивость развития сложных динамических систем, которые характеризуются такими понятиями, как бифуркации (точки разветвления), аттракции (точки привлечения состояния динамической системы) и флуктуации (случайные отклонения, характеризующие хаотичность системы)[2]. Наиболее последовательно синергетические процессы эпохи «смуты начала XX века» на историческом материале разбираются В.П. Булдаковым[3]. В настоящем исследовании анализ устных слухов, визуальных образов, эмоциональных реакций обывателей в контексте определенной логики внутриполитического развития России, противостояния различных политических групп, позволяет опровергнуть тезис о линейном развитии социума и показать сквозь призму массовых настроений российское общество как сложную динамическую систему, в которой кризисные моменты усиливали значимость стихийных флуктуаций.

Социальная история: Ежегодник. 1997. М., 1998. С. 287–232; *Журавлев С.В.* «Маленькие люди» и «большая история»: иностранцы московского электрозавода в советском обществе 1920–1930-х гг. М., 2000; *Лебина Н.Б.* Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930-е годы. СПб., 1999; *Зубкова Е.Ю.* Мир мнений советского человека. 1945–1948. По материалам ЦК ВКП (б) // Отечественная история. 1998. № 4. С. 99–108; *Зубкова Е.Ю.* Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953. М., 1999; *Козлова Н.Н.* Советские люди. Сцены из истории. М., 2005; *Осокина Е.А.* За фасадом «сталинского изобилия». М., 2008; *Фитцпатрик Ш.* Повседневный сталинизм. М., 2008.

[1] См.: *Булдаков В.П.* От войны к революции: рождение «человека с ружьем» // Революция и человек. Быт, нравы, поведение, мораль. М., 1997. С. 55–75; *Нарский И.В.* Жизнь в катастрофе. С. 566.

[2] См.: *Пригожин И., Стенгерс И.* Порядок из хаоса. М., 1986; *Майнцер К.* Сложносистемное мышление: Материя, разум, человечество. Новый синтез. М., 2009; *Бородкин Л.И.* Вызовы нестабильности: концепции синергетики в изучении исторического развития России // Уральский исторический вестник. 2019. № 2 (63). С. 127–136.

[3] См.: *Булдаков В.П.* Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997; *Булдаков В.П.* Хаос и этнос. Этнические конфликты в России, 1917–1918 гг. М., 2010; *Булдаков В.П.* Утопия, агрессия, власть. Психосоциальная динамика постреволюционного времени. Россия, 1920–1930. М., 2012; *Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г.* Война, породившая революцию. М., 2015.

Несмотря на уделенное внимание методологическим подходам, особенностям работы с разными группами исторических источников, обозначенный предмет исследования — массовые настроения обывателей — оказывается порой слишком «тонким» в своих нюансах для точного описания. Одна из методологических проблем подобных работ — проблема «перевода» эмоциональных состояний, невербальных форм выражения настроений на вербальный, логический язык научного исследования. Отчасти восполнить этот недостаток призван так называемый «суггестивный» метод, под которым понимается предоставление читателю возможности самостоятельного погружения в мир образов, эмоций, значений прошлого. По этой причине значительное место в книге отводится цитированию источников личного происхождения, которые позволяют «услышать» голоса прошлого и «прочувствовать» атмосферу эпохи, дух времени. Часто важным оказывается не то, *что* пишет автор, а *как* он передает свою мысль, как выстраивает предложение и связывает слова, какие использует термины, прилагательные и т. д. Синтаксис предложения определяет его семантику. Например, повторение одних и тех же слов может свидетельствовать об определенном психологическом состоянии автора, злоупотребление заглавными буквами часто отражает состояние возбуждения (последнее встречается в дневниках и письмах обывателей кануна революции). С этой же целью исследование снабжено значительным количеством иллюстраций, дополняющих вербальные тексты визуальными образами. Конечно же, суггестивный метод является второстепенным, уступающим аналитическому исследованию, однако для того чтобы реконструкция прошлого не «убила» живую историю, а также с целью преодоления презентизма, важным видится предоставление источникам собственного, иногда параллельного исследовательскому, голоса.

Цитирование определенных источников личного происхождения требует отдельных замечаний, тем более что практика публикации дневников, воспоминаний некоторыми современными издательствами игнорирует научно-справочный аппарат и вводит читателя в заблуждение относительно видовой принадлежности источников.

Так, например, «Кучково поле» в серии «Военные мемуары» переиздало литературное произведение И. А. Зырянова (написанное под псевдонимом В. В. Арамилев) «В дыму войны. Записки вольноопределяющегося. 1914–1917», не удосужившись снабдить его хотя бы кратким предисловием. Следует заметить, что произведение написано на основе личных впечатлений, воспоминаний Зырянова, прошедшего Первую мировую войну (хотя и не в качестве вольноопределяющегося), и в большинстве случаев авторские зарисовки подтверждаются разнообразными документами. В настоящей работе литературно-оформленные впечатления Зырянова цитируются в качестве дополнений к скупым отчетам представителей администрации или сведениям из эпистолярного наследия современников.

В другом случае это же издательство опубликовало дневник П.Е. Мельгуновой-Степановой, снабдив книгу предисловием, примечаниями и указателями[1]. Однако их автор В.Д. Лебедев, работая в архиве с текстом, не смог понять, что перед ним не первоначальный дневник, а поздняя рукопись, составленная при подготовке материалов к публикации и содержащая вставки. К чести Мельгуновой нужно отметить, что все позднейшие дополнения помещены ею в квадратные скобки[2], однако Лебедев в нарушение всех мыслимых правил археографии превратил квадратные скобки в круглые, объединив изначальные авторские пояснения в круглых скобках и последующие редакторские вставки.

Схожая ситуация с дневниками З.Н. Гиппиус, также цитируемыми в настоящем исследовании. Как показал Б.И. Колоницкий, поэтесса, готовя издание «Синей книги», переработала свой дневник, смягчив, в частности, многие жесткие характеристики Николая II после его убийства[3]. Вместе с тем общий тон записок и общие оценки действительности соответствовали настроениям современников, реконструируемым по широкому кругу источников, что оправдывает обращение к данному историческому документу.

Изучение отразившихся в разнообразных источниках фольклорных сюжетов позволяет в некоторой степени реабилитировать другую проблемную книгу — «Народ на войне» С.З. Федорченко. Писательница призналась, что, работая сестрой милосердия, она не делала никаких записей, но впоследствии по памяти воспроизводила запомнившиеся высказывания раненых. Действительно, многие фразы и по форме, и по содержанию соответствуют настроениям и риторике представителей низших сословий, хотя считать книгу Федорченко собранием фольклорного материала в строгом смысле нельзя. Тем не менее признание ее мемуарного характера снимает многие вопросы использования.

Также нельзя не упомянуть записи А.Н. Яхонтова, которые он вел на секретных заседаниях Совета министров в 1915–1916 гг., известные сегодня в двух опубликованных вариантах — пространных «Тяжелых днях», вышедших в 1926 г. в гессенском «Архиве Русской революции», и более лапидарных первоначальных карандашных записок, перепечатанных его вдовой и изданных в 1999 г.[4] Р.Ш. Ганелин и М.Ф. Флоринский, сопоставив оба варианта, отметили, что в ряде случаев изменена очередность выступлений министров, авторство не-

1 *Мельгунова-Степанова П.Е.* Дневник: 1914–1920 / Вступ. ст., коммент., именной указ. В.Д. Лебедева. М., 2014.

2 ГА РФ. Ф. Р5881. Оп. 2. Д. 781.

3 *Колоницкий Б.И.* К вопросу об источниках «Синей книги» З.Н. Гиппиус // Русская эмиграция: Литература, история, кинолетопись (Материалы международной конференции, Таллинн, 12–14 сентября 2002). Таллинн, 2004. С. 23–34.

4 *Яхонтов А.Н.* Тяжелые дни (Секретные заседания Совета министров 16 июля — 2 сентября 1915 года) // Архив русской революции. Т. XVIII. Берлин, 1926; Совет министров Российской империи в годы Первой мировой войны. Бумаги А.Н. Яхонтова (Записи заседаний и переписка). СПб., 1999.

которых высказываний, отдельные выступления приводятся более полно[1]. Однако исследователи допустили, что при подготовке «Тяжелых дней» Яхонтов использовал иные, помимо наспех составленных во время заседаний Совета министров записок, источники с целью заполнения смысловых лакун, воссоздания контекста дискуссий. Вопреки заявлениям Яхонтова какая-то часть дискуссий воспроизведена им по памяти. Тем не менее авторы приходят к выводу о беспристрастности Яхонтова как протоколиста в «Тяжелых днях», которые считают «ценнейшим источником»[2]. Учитывая некоторую бессвязность первоначальных записей Яхонтова, в настоящей монографии цитаты будут приводиться по «Тяжелым дням» с вынесенными в примечания комментариями и сравнениями с первоначальными записками по изданию «Совет министров Российской империи в годы Первой мировой войны. Бумаги А. Н. Яхонтова».

Настоящее исследование стоит на междисциплинарном перекрестке. Однако в первую очередь это исследование историческое. Несмотря на использованную методологию, теорию смежных гуманитарных дисциплин, в монографии изучается прошлое не с высоты наукоемких концептуальных схем, а сквозь призму исторических источников, раскрывающих мышление людей в конкретно-историческую эпоху. Именно приоритет герменевтического подхода, постоянное обращение к историческому документу как главному свидетелю (а также его источниковедческая критика) позволяют разрушить прокрустово ложе монофакторных (социологических, психологических, экономических, политических и пр.) интерпретаций истории, особенно когда речь заходит о таких сложных и переломных периодах, как Первая мировая война и российская революция.

---

[1] *Ганелин Р. Ш., Флоринский М. Ф.* А. Н. Яхонтов и его «Тяжелые дни». История текста и издания // Средневековая и новая Россия. Сборник научных статей. К 60-летию профессора Игоря Яковлевича Фроянова. СПб., 1996. С. 670–703.

[2] Там же. С. 699.

Раздел 1

Идея

«Патриотические» настроения 1914 г.: историографические стереотипы и их критика

Период Первой мировой войны очень важен для понимания природы так называемой Великой (или Большой) российской революции 1917–1921 гг. В современной российской историографии пока еще сильно наследие советской периодизации, которая, по меткому замечанию Е.Н. Городецкого, после выхода «Краткого курса» «пристегнула» Февраль 1917 г. к мировой войне, а Октябрь 1917 г. — к советской истории[1]. В результате Первая мировая война выпала из истории революции, хотя ее «эхо» долго звучало после захвата власти большевиками. Западная историография оказалась более свободной в определении хронологических рамок. Некоторые историки — например, Лора Энгельштейн, Питер Холквист — рассматривают 1914–1921 гг. как единую эпоху кризиса, другие (Орландо Файджес, Джон Санборн, Стивен Смит) вполне оправданно позволяют себе еще более широкие обобщения, начиная изучение «русской смуты» с пореформенного периода[2]. В любом случае каузальная связь революции 1917 г. с Первой мировой кажется более тесной, чем революции 1905 г. с Русско-японской войной, что позволяет рассматривать 1914–1921 гг. как единое целое. В современной отечественной историографии постепенно устанавливается взгляд на события 1914–1917 г. как одну эпоху[3].

---

[1] *Городецкий Е.Н.* Обсуждение доклада Драбкина Я.С. Нерешенные проблемы изучения социальных революций // Историческая наука и некоторые проблемы современности. Статьи и обсуждения. М., 1969. С. 251.

[2] См.: *Engelstein L.* Russia in Flames: War, Revolution, Civil War, 1914–1921. Oxford University Press, 2017; *Holquist P.* Making War, Forging Revolution. Russia's Continuum of Crisis, 1914–1921. Cambridge, Mass.; London, 2002; *Figes O.A.* People's Tragedy: The Russian Revolution, 1891–1924. New York, 1998; *Sanborn J.* Drafting the Russian Nation: Military Conscription, Total War, and Mass Politics, 1905–1925. Dekalb, 2003; *Smith S.A.* Russia in Revolution. An Empire in Crisis, 1890–1920. Oxford, 2017.

[3] См.: *Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г.* Война, породившая революцию. М., 2015.

На первый взгляд, один из центральных вопросов здесь — как патриотический подъем 1914 г. трансформировался в революционные настроения кануна 1917 г.? Но такая постановка вопроса во многом некорректна. Во-первых, тезис о патриотическом подъеме 1914 г. не безупречен (не будем забывать о росте революционных настроений в июльские дни, позволявшем отдельным советским авторам констатировать складывание революционной ситуации, ставящим под сомнение их неожиданное растворение после 19 июля); во-вторых, некорректно само противопоставление патриотических и революционных настроений, так как в российском обществе в начале марта 1917 г. патриотизм был одним из доминировавших настроений. С этой точки зрения революция 1917 г. была для многих патриотической революцией: власть свергали ради спасения России. Другое дело — если под патриотизмом понимать не любовь к Родине, а любовь к власти. В этом случае история Первой мировой войны демонстрирует процесс десакрализации монархии Николая II. Однако даже в отношении власти патриотизм по-разному проявлялся у различных социальных слоев: патриотические концепции русских монархистов явно отличались от патриотических ментальных традиций русского крестьянства. Вместе с тем было между ними и нечто общее, что основывалось на традиционном, патриархально-патерналистском восприятии власти. Другая часть интеллигенции, исповедовавшая либеральные идеи, считала патриотизм структурой гражданского общества. Некоторые исследователи рассматривают проблему патриотических настроений 1914 г. именно в контексте столкновения традиционного и гражданского патриотизмов[1].

Отдельной проблемой выступает определение места патриотизма в ментальной системе координат: является ли он идеологией или, может быть, не поддающимся рациональному осознанию чувством, эмоцией. В то время как публицисты пытались выработать патриотическую идеологию, обосновать ее рационально-сознательную базу, массы простого народа своими «патриотическими акциями» демонстрировали, что патриотизму в ряде случаев свойственно бессознательное проявление, нередко граничащее с аффектом. Очевидно, что без комплексного подхода к патриотизму как сложному ментальному явлению не удастся понять феномен «настроений 1914 г.».

Концепция «отложенной революции» и ленинская теория «революционной ситуации» как модель описания настроений 1914 г.

Проблема патриотических настроений 1914 г. практически сразу оказалась в фокусе теоретических дискуссий. В то время как в официальной прессе

[1] См.: *Леонов С.В.* Эволюция массового сознания в России в Первую мировую войну // Россия в мировых войнах XX века: Материалы научной конференции. М.; Курск, 2002. С. 61–73.

публиковались восторженные заметки о всеобщем национально-патриотическом подъеме, большевики расценивали этот «подъем» как проявление шовинистического угара и даже позицию «оборончества» в социалистическом лагере определяли как социал-шовинизм. При этом В.И. Ленин считал, что шовинизм (в это понятие он включал и патриотизм) беднейших слоев населения имел внешний, пропагандистский и, следовательно, временный характер: «Среди крестьянства правящей клике при помощи буржуазной печати, духовенства и т.д. тоже удалось вызвать шовинистское настроение. Но, по мере возвращения солдат с поля бойни, настроение в деревне, несомненно, будет меняться не в пользу царской монархии»[1]. В мае — июне 1915 г. В.И. Ленин в работе «Крах II Интернационала» признавал, что и пролетарские слои поддались этой «заразе»: «Пролетарские массы, от которых, вероятно, около 9/10 старого руководительского слоя отошло к буржуазии, оказались раздробленными и беспомощными перед разгулом шовинизма, перед гнетом военных положений и военной цензуры»[2], однако спустя пару месяцев в работе «Социализм и война» утверждал обратное: «Единственным классом в России, которому не удалось привить заразы шовинизма, является пролетариат. Отдельные эксцессы в начале войны коснулись лишь самых темных слоев рабочих… В общем и целом рабочий класс России оказался иммунизированным в отношении шовинизма»[3]. Последующая советская историография, объясняя причины резкого спада стачечной борьбы после начала Первой мировой, все же была вынуждена наперекор классику использовать тезис о заражении шовинизмом части пролетариата.

Одним из центральных вопросов в дискуссии о политических настроениях рабочих стал вопрос о революционной ситуации: имела ли она место в июле 1914 г. или рабочее движение не носило осознанно-революционного характера. В 1926 г. М.Г. Флеер сформулировал концепцию «отложенной революции», справедливо сопоставив масштаб рабочего протеста в январе 1905 г. и июле 1914-го: «Как и в 1905 году, июльское 1914 года движение носило очень бурный характер, сопровождалось вооруженными столкновениями рабочих с полицией, баррикадами, и непосредственный переход забастовок к вооруженному восстанию был естествен и неизбежен. Движение достигло наивысшего напряжения, удар, занесенный над самодержавием, должен был привести к решительному концу. 19 июля 1914 года была объявлена всеобщая мобилизация, и удар этот был отсрочен, потому что та сила, которая должна была нанести его, не могла ни распылиться, ни исчезнуть»[4]. Следует оговориться, что Флеер ошибся, когда главную роль в отступлении революции

[1] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 26. С. 331.
[2] Там же. С. 264.
[3] Там же. С. 332.
[4] *Флеер М.Г.* Рабочее движение в России в годы империалистической войны. Л., 1926. С. 6.

отвел объявлению войны. В действительности резкий спад забастовочного движения произошел за неделю до начала войны и за пять дней до мобилизации — 12 июля фабриканты отказались от локаута и большинство рабочих вернулись в свои цеха (А.Г. Шляпников писал, что рабочие стачки прекратились 13 июля, а Л. Хаймсон впоследствии продлил их до 17 июля, очевидно имея в виду участие революционизированных рабочих в патриотических манифестациях[1]). Вероятность массовых расчетов, наподобие локаута 20 марта 1914 г., когда за один день было уволено более 70 000 бастовавших рабочих, пугала представителей пролетариата. Фактически не начало войны положило конец июльскому рабочему движению — оно само продемонстрировало низкую степень политической, антисамодержавной направленности, пойдя на компромисс с администрацией. Кроме того, события июля — августа 1917 г. выявили недостаточную с точки зрения марксистко-ленинской теории классовую сознательность рабочих, проникнувшихся патриотической идеологией и принявших участие в проправительственных манифестациях средних городских слоев в связи с началом войны.

Развивая ленинский тезис об антишовинистической прививке пролетариата, Флеер, ссылаясь на воспоминания А.Г. Шляпникова, пытался доказать антивоенный настрой большинства рабочих в июльские дни[2]. В это же время Б. Граве отрицала патриотические настроения пролетариата в период мобилизации, отмечала попытки организации антивоенных митингов в Петербурге и Москве, однако, в отличие от Флеера, она не считала, что война сорвала революцию. Обращая внимание на тот факт, что массовые рабочие забастовки закончились за несколько дней до начала мобилизации, Граве объясняла это сознательной тактикой большевиков: считала, что Петербургский комитет РСДРП(б) целенаправленно ликвидировал стачку, понимая, что момент для вооруженного восстания еще не наступил («слишком мало сплочены рабочие массы, слишком слаба организационно партийная организация, вооружения нет»)[3]. Тем самым Граве выводила пролетариат из-под обвинения в патриотизме, объясняя прекращение забастовочного движения не стихийным распространением «шовинистической заразы», а сознательным ходом партии. Тем не менее, повторяя слова Ленина о руководящей роли большевиков, Граве явно переоценила степень их идейно-тактической консолидации: фактический материал не позволяет считать тезис о неподготовленности к вооруженному восстанию распространенным в их среде, так как в действительности даже

---

[1] *Хаймсон Л.* Развитие политического и социального кризиса в России в период от кануна Первой мировой войны до февральской революции // Россия и Первая мировая война (материалы международного научного коллоквиума). СПб., 1999. С. 22.

[2] *Флеер М.Г.* Рабочее движение… С. 6–7.

[3] *Граве Б.* К истории классовой борьбы в России в годы империалистической войны. Июль 1914 — февраль 1917. Пролетариат и буржуазия. М.; Л., 1926. С. 89.

22 июля в Петербурге появлялись большевистские прокламации, призывавшие рабочих к вооруженному восстанию и свержению Николая II[1]. Таким образом, едва ли можно согласиться с мнением о тактическом характере прекращения рабочих забастовок 12 июля.

Одновременно с отрицанием патриотических настроений в рабочей среде Флеером и Граве зазвучали признания обратного. Так, И. Меницкий характеризовал настроения московских рабочих на начальном этапе войны: «Монархистам совместно с кадетами удалось на первых порах отравить ядом шовинизма значительную часть рабочего класса, не говоря уже о мелкобуржуазном мещанстве, которое с восторгом встречало всякую ура-патриотическую манифестацию, состоящую из шпиков, проституток и воров»[2]. Эта концепция сохранялась и в 1970-х гг., в частности в работах И. П. Лейберова, вслед за Меницким считавшего, что «шовинистический угар ослабил революционную энергию пролетариата»[3]. Однако если в 1920-е гг. преобладала концепция «молчания рабочего класса как антивоенного протеста» и историки по крупицам собирали информацию об антивоенных митингах рабочих в первые месяцы войны, пытаясь доказать сохранение классовой сознательности[4], то впоследствии Ю. И. Кирьянов писал о сильно преувеличенной в историографии роли антивоенных стачек, а беспорядки в период мобилизации охарактеризовал в качестве стихийных пьяных бунтов[5], при этом С. В. Тютюкин отмечал, что летом — осенью 1914 г. «отношение пролетариата и различных социалистических течений к войне еще только выкристаллизовывается из хаоса противоречивых мнений», оправдывая рабочих, поддавшихся патриотической пропаганде, тем, что и среди большевиков имели место колебания и споры[6]. Историографические парадоксы вынесения оценок июльским демонстрациям по шкале «антивоенные — патриотические» хорошо видны на следующем примере. Так, если Тютюкин в 1972 г. писал, что в июле 1914 г. под руководством большевиков «забастовки и демонстрации протеста против войны прошли в Петербурге, Риге, Москве, Твери, Киеве, Самаре и некоторых других городах», то Кирьянов в 1998 г. пересмотрел эту позицию: «С момента объявления первой мобилизации 16–17 июля и до конца 1914 г. в России не было ни одной антивоенной стачки», и упоминает лишь о попытках организации трех антивоенных

---

1 *Тютюкин С. В.* Война, мир, революция… С. 18.

2 *Меницкий И.* Революционное движение военных годов (1914–1917). Т. 1. Первый год войны (Москва). М., 1925. С. 63.

3 *Лейберов И. П.* На штурм самодержавия: Петроградский пролетариат в годы Первой мировой войны и Февральской революции (июль 1914 — март 1917 г.). М., 1979. С. 26.

4 *Флеер М. Г.* Рабочее движение… С. 7.

5 *Кирьянов Ю. И.* Были ли антивоенные стачки в России в 1914 году? // Вопросы истории. 1994. № 2. С. 43–52; Он же. Социально-политический протест рабочих России в годы Первой мировой войны (июль 1914 г. — февраль 1917 г.). М., 2005.

6 *Тютюкин С. В.* Война, мир, революция… С. 10.

демонстраций в Петербурге 19 июля[1]. Хотя Тютюкин также согласен с преувеличением антивоенных настроений рабочих в советской историографии, он вместе с тем остается верен теории «молчаливого протеста», противопоставляя настроения в рабочей среде настроениям представителей прочих социальных групп: «Угрюмое молчание народа красноречиво контрастировало с патриотической эйфорией, охватившей господствующие классы, часть интеллигенции, студенчества, городского мещанства, казачества»[2].

Одно из противоречий советской модели рабочего протеста лета 1914 г. в историографии обнаруживается в том, что, несмотря на явно исключительный характер событий, сопоставимый с 1905 г., ему так и не нашлось должного определения в исторической науке, во многом по причине узкой трактовки революционной ситуации в марксистско-ленинской теории и повышенной требовательности к классовой сознательности пролетариата. Сам Ленин был склонен к преувеличению политической грамотности и интуиции рабочих. Показателен случай, когда большевики, планируя организовать 4 апреля демонстрацию в знак протеста против локаута 20 марта 1914 г. и в память о Ленском расстреле, но не решаясь в «Пути Правды» прибегнуть к прямому призыву рабочих выйти на улицы, решили использовать туманный намек, сославшись на решение марксистов от февраля 1913 г.: «Сознательные рабочие очень хорошо знают и некоторые конкретные формы повышения (рабочего движения. — *В.А.*), исторически неоднократно испытанные и „непонятные“, „чуждые“ только ликвидаторам»[3]. По мысли Ленина, эта фраза, даже не содержащая скрытого призыва в форме повелительного наклонения, а всего лишь констатирующая некое знание, должна была воскресить в памяти рабочих опубликованную более года назад нелегальную резолюцию, в которой на 11-й странице писалось о формах революционной борьбы, и на основании этого вывести рабочих на улицы города. «Русская полиция и прокуроры не поняли намека. Но сознательные рабочие поняли его», — писал Ленин в июне 1914 г. Демонстрация действительно состоялась, но более значимую роль в деле агитации рабочих сыграла не опубликованная заметка с сильно завуалированным намеком, а распространенные Санкт-Петербургским комитетом РСДРП(б) в рабочей среде листовки, содержащие открытый призыв к выходу на демонстрацию. Тогда же Ленин поспешил провозгласить победу большевиков в борьбе за умы пролетариев: «Рабочая масса встала на сторону партии (большевиков. — *В.А.*) и отвергла ликвидаторство»[4].

---

[1] *Тютюкин С.В.* Война, мир, революция… С. 19; *Кирьянов Ю.И.* Рабочие России и война: новые подходы к анализу проблемы // Первая мировая война. Пролог XX века. М., 1998. С. 438.

[2] *Тютюкин С.В.* Первая мировая война и революционный процесс в России (роль национально-патриотического фактора) // Первая мировая война. Пролог XX века. М., 1998. С. 240.

[3] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 25. С. 379.

[4] Там же. С. 372.

Вместе с тем сам тезис о высокой степени политизированности рабочего движения неоднозначен. Кирьянов указывает на известные методологические сложности разграничения экономических и политических стачек, отмечает искусственную политизацию рабочего стачечного движения в советской историографии, «подтягивание» экономических забастовок до уровня политических, игнорирование стихийных погромов как формы борьбы и, кроме того, наличие стачек, не поддающихся однозначному определению в качестве экономических или политических (например, направленных против конкретных представителей администрации)[1]. Все это заставляет критически воспринимать известную статистику рабочего движения, тем более что зачастую именно стихийно вспыхнувшие акции протеста приводили к наиболее ожесточенным столкновениям с властями. Нельзя также игнорировать факт перетекания стачки из экономической в политическую: очень часто революционные бунты вспыхивали по незначительным, на первый взгляд, экономическим поводам, но затем перерастали в мощное антиправительственное движение. В самом начале февральских протестов 1917 г. многие современники склонны были недооценивать характер движения, считая его обычным хлебным бунтом. А.Я. Грунт, рассуждая о соотношении стихийного и организационного в борьбе пролетариата, обратил внимание на подготовленность массовых стихийных протестов глубокими объективными причинами, тем самым разделив категории стихийного и случайного: «В самой стихийности движения, коль скоро она имеет место, необходимо видеть и еще одну сторону: само по себе стихийное выступление масс есть показатель того, что движение имеет глубокие корни»[2].

Парадоксы советской историографии во многом были предопределены уязвимостью самой ленинской теории «революционной ситуации». В начале 1913 г. В.И. Ленин, анализируя стачечную борьбу предшествующего года, писал о «массовой революционной стачке», констатируя начало новой стадии революционной борьбы, а в статье «Маевка революционного пролетариата» назвал митинги и шествия 1 мая 1913 г. «открытой демонстрацией революционных стремлений»[3]. Именно в этой работе Ленин впервые подошел к определению подхваченной впоследствии в историографии концепции «революционной ситуации» — правда, поначалу употребляя другие термины — «непосредственный революционный кризис» и «революционное состояние», — главным признаком которой был назван рост революционного стачечного движения пролетариата,

---

[1] *Кирьянов Ю.И.* Рабочие России и война: новые подходы к анализу проблемы // Первая мировая война. Пролог XX века. М., 1998. С. 432–433.

[2] *Грунт А.Я.* О характере и механизме развития революционного творчества масс (из опыта Октябрьской революции 1917 г.) // Историческая наука и некоторые проблемы современности. Статьи и обсуждения. М., 1969. С. 61.

[3] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 23. С. 298.

«раскачивавшего» крестьянство и армию. В 1915 г. в работе «Крах II Интернационала» появляется классическое определение революционной ситуации, выраженной тремя объективными признаками (кризис верхов; обострение выше обычного нужды и бедствий угнетенного класса; значительное повышение активности масс) и одним субъективным (способность революционного класса на революционные массовые действия)[1]. Совокупность всех четырех признаков, по мысли Ленина, должна приводить к революции.

Вместе с тем указанные признаки носят слишком общий характер для того, чтобы считать их верифицируемыми критериями определения революционной ситуации. Например, при более глубоком изучении темы возникает вопрос о роли буржуазии в период революционного кризиса, насколько оправданно ее отнесение в модели революционной ситуации к «верхам». Данная проблема была поднята в дискуссии вокруг теории М.Н. Покровского о «двух заговорах» — царизма (с целью выхода из войны путем заключения сепаратного мира) и буржуазии (с целью осуществления дворцового переворота для расширения собственного влияния). Эта теория позволяет противопоставлять их интересы интересам народных масс, т.е. низов[2]. И.И. Минц в написанной им главе «Канун буржуазно-демократической революции» для «Истории Гражданской войны в СССР», отредактированной И.В. Сталиным, развил эту теорию, сместив акцент с противоречий между царизмом и буржуазией на их совместный поход против народных масс: сепаратный мир и дворцовый переворот рассматривались как средство спасения от революции[3]. Впоследствии в ряде работ отмечалось упрощение проблемы в подобной схеме, политическая неоднородность как буржуазных, так и великокняжеских кругов[4]. Если Б. Граве рассматривала убийство Распутина в декабре 1916 г. как первый акт готовившегося дворцового переворота, то в ряде работ более позднего периода оно преподносилось в качестве попытки спасения в первую очередь самой царской семьи и отмечалась неспособность буржуазии взять власть в свои руки[5]. Критикуя отождествление буржуазии с царизмом, А.Я. Аврех отмечал, что Ленин под «верхами» имел в виду политически господствующий класс, в то время как до февраля 1917 г. у российской буржуазии подобного статуса не было, на основании чего историк предлагал разделять понятие «верхи» в узком (непосредственно правящий слой) и широком (правящий класс) смыслах и, говоря о складывающейся революционной

---

[1] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 26. С. 218–219.

[2] *Покровский М.Н.* Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX веков. М., 1924. С. 201.

[3] История Гражданской войны в СССР. Т. 1. М., 1935.

[4] См.: *Черменский Е.Д.* Россия в период империалистической войны. Вторая революция в России. (1914 — март 1917). М., 1954; *Дякин В.С.* Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны (1914–1917). Л., 1967, и др.

[5] См.: *Аврех А.Я.* Распад третьеиюньской системы. М., 1985.

ситуации, предпочитал не относить к верхам буржуазию накануне второй российской революции[1].

Не меньшие трудности возникают при определении «низов». Например, с классовой принадлежностью «рабочей аристократии», представители которой явно не выказывали сочувствия революционным лозунгам, вследствие чего были названы Лениным «агентами буржуазии». Также не могут являться верифицируемыми критериями количественные показатели ленинского определения революционной ситуации в виде фраз «выше обычного» или «значительное повышение». Историческая наука не знает метрологического выражения того предела, после пересечения которого социальный протест выливается в революционные формы, кроме того, очевидно, что понятие обычного, нормы — относительно и изменчиво во времени.

Тем не менее более или менее верифицируемым признаком ленинской теории революционной ситуации оказывается третий объективный критерий — повышение активности масс, что может быть измерено с помощью данных о численности рабочих забастовок и соотношении экономических и политических стачек. Вместе с тем Ленин, отталкиваясь от имевшихся в его распоряжении данных о семнадцатикратном росте протестной активности рабочих в 1912 г. по сравнению с 1910 г., а также превосходящем количестве политических забастовок над экономическими, в резолюции Краковского совещания ЦК РСДРП, проходившего с 26 декабря 1912 г. по 1 января 1913 г., преждевременно констатировал начало революции в России: «Россия снова вступила в полосу открытой революционной борьбы масс. Новая революция, начало которой мы переживаем, является неизбежным результатом банкротства третьеиюньской политики царизма»[2]. Вероятно, именно эта допущенная ошибка, в которой Ленин выдал желаемое за действительное, заставила его в будущем делать более осторожные прогнозы. Так, в 1915 г. признавая складывание революционной ситуации в 1914–1915 гг., он задавался вопросом: «Долго ли продержится и насколько еще обострится эта ситуация? Приведет ли она к революции? Этого мы не знаем, и никто не может знать этого. Это покажет только опыт развития революционных настроений и перехода к революционным действиям передового класса, пролетариата»[3]. Выступая в Цюрихе 9 января 1917 г. перед социалистической молодежью, Ленин сделал еще более пессимистический прогноз: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции»[4].

В теории революционной ситуации выявляется противоречие, когда она сталкивается с конкретно-фактическим материалом: подъем забастовочного

---

[1] *Аврех А.Я.* О некоторых вопросах революционной ситуации // Вопросы истории КПСС. 1966. № 5. С. 40.

[2] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 22. С. 258.

[3] Там же. Т. 26. С. 221.

[4] Там же. Т. 30. С. 328.

движения, который в мае — июле 1914 г. был выше уровня января 1905 г. и, по отдельным показателям, выше января — февраля 1917 г., не приводит к революции и, согласно логике ленинской теории, свидетельствует о недостаточной степени революционизации рабочего класса. Тем самым единственные верифицируемые количественные показатели в теории революционной ситуации растворяются в субъективных оценках «способности революционного класса на революционные массовые действия» и вызывают новые вопросы, в частности каким образом пролетариат, проявивший революционную способность в 1905 г. и получивший необходимый практический опыт, утратил все это в 1914 г.

Попытка некоторого вуалирования противоречий ленинской теории была предпринята в 1960-х гг. А. Я. Аврехом, писавшим о двух типах революционной ситуации — общей и непосредственной[1]. Аврех признавал, что сам Ленин об общей и непосредственно-революционной ситуации не упоминал, однако предпринял попытку отождествления употребленного им в статье «Крах II Интернационала» термина «объективная революционная ситуация» с понятием «общая революционная ситуация», чем допустил определенную натяжку, так как если общая ситуация противопоставляется частной, т. е. непосредственной, то объективную ситуацию следует противопоставлять субъективной. В то же время Ленин употреблял понятие не «субъективная революционная ситуация», а «субъективный признак революционной ситуации»; это говорит о том, что Аврех отождествил частный признак явления с самим явлением, что представляется неверным. Кроме того, данная концепция, смещающая акценты с частных признаков на общую характеристику, по-прежнему не решает отмеченные проблемы верификации.

Вместе с тем примечательно, что Аврех не являлся автором гипотезы о двух типах революционной ситуации. Историк ссылался на тезисы XIV партконференции РКП(б), прошедшей в апреле 1925 г., по понятным причинам, не называя фамилии докладчика, разработавшего данную концепцию, — Г. Е. Зиновьева, до реабилитации которого в момент выхода статьи Авреха оставалось еще 22 года. «Я думаю, что надо различать три вещи, — говорил Зиновьев на партконференции. — 1) Революционную ситуацию вообще, 2) непосредственно-революционную ситуацию и 3) прямую революцию»[2]. Однако Зиновьев разработал и озвучил данную концепцию исходя из прагматичных задач партии и возглавляемого им Коминтерна: необходимо было примирить тезис о социально-экономической стабилизации середины 1920-х гг. в Европе и СССР с курсом на мировую революцию и выработать соответствующую стратегию. Так, Зиновьев заявлял: «Надо признать, что в такой стране, как

[1] *Аврех А. Я.* О некоторых вопросах революционной ситуации // Вопросы истории КПСС. 1966. № 5. С. 30–44.

[2] Четырнадцатая конференция Российской коммунистической партии (большевиков). Стенографический отчет. М.; Л., 1925. С. 231–232.

Германия, которая в 1923 г. стояла в центре событий, непосредственно-революционной ситуации нет, но общая революционная ситуация, общая, как и во всей Европе, несомненно, осталась; она обостряется в мировом масштабе медленно, но неуклонно — через Восток, через колониальный вопрос, через Юго-Восток. Это нужно учитывать и не терять революционной перспективы»[1].

Применительно к рассматриваемому нами периоду следует отметить, что на основании выступления Зиновьева партконференция постановила время с 1908 по 1915 г. включительно считать общей революционной ситуацией, а 1916 г. — непосредственной. Открытое выступление Зиновьева против Сталина на XIV съезде ВКП(б) и последующий разгром «ленинградской оппозиции» предопределили дальнейшую судьбу как самого автора, так и его концепции, изъятой из официальной истории (что, в частности, видно по отредактированному самим Сталиным Краткому курсу Истории ВКП(б)), пока она не была реанимирована Аврехом в 1960-е гг. Вместе с тем слабость концепции двух революционных ситуаций состоит в том, что, по сути, любой период, в котором обнаруживается хоть какая-то степень недовольства низов, можно подогнать под определение общей революционной ситуации. Повторяя вслед за Зиновьевым тезис о том, что общая революционная ситуация способна сохраняться даже в период реакции, Аврех заявлял, что все начало XX в. в России вплоть до 1916 г. являлось одной сплошной общей революционной ситуацией (исключая лишь период 1905–1907 гг. — период «прямой революции»), что представляется упрощением проблемы и попыткой уклонения от разрешения внутренних противоречий ленинской теории[2].

Неопределенность употреблявшихся Лениным терминов спровоцировала возникновение дискуссии по вопросу соотношения таких понятий, как «революционная ситуация» и «общенациональный кризис», что в итоге привело к отказу от рассмотрения июльских событий 1914 г. в качестве революционной ситуации в пользу 1915 и даже конца 1916 г.[3], а протест лета 1914 г. стал называться всего лишь «грандиозной забастовкой»[4]. В 1998 г. С.В. Тютюкин высказался более определенно: «Было бы преувеличением считать, что в канун войны, летом 1914 г., Россия вновь стояла на пороге революции»[5]. По большому счету вывод Тютюкина лишь констатировал неспособность решения данного вопроса в рамках господствовавшей теории.

---

[1] Четырнадцатая конференция Российской коммунистической партии… С. 234.

[2] *Аврех А.Я.* О некоторых вопросах… С. 38.

[3] См.: Первая мировая война. 1914–1918. Сб. статей / Ред. А.Л. Сидоров. М., 1968; *Лаврин В.А.* Возникновение революционной ситуации в России в годы Первой мировой войны. М., 1984; Нарастание революционного кризиса в России в годы Первой мировой войны (1914 — февраль 1917 г.). Межвузовский сборник научных трудов. Л., 1987.

[4] *Тютюкин С.В.* Война, мир, революция. Идейная борьба в рабочем движении России 1914–1917 гг. М., 1972. С. 14.

[5] *Тютюкин С.В.* Первая мировая война и революционный процесс в России (роль национально-патриотического фактора) // Первая мировая война. Пролог XX века. М., 1998. С. 241.

Формы рабочего протеста: парадоксы целерационального и аффективно-эмоционального социального действа

Отмеченные парадоксы революционной ситуации легко разрешаются в случае, если мы отказываемся от теории классово-сознательной, рационально-политической детерминированности революции. В конце концов именно высокие требования к политической сознательности пролетариата сыграли с Лениным злую шутку, не позволив ему вовремя распознать в февральских событиях 1917 г. начинавшуюся революцию. Дать верную оценку январско-февральским дням ему помешало то же, что имело место и в июле 1914 г., а именно — преобладание стихийных процессов над организованными. Надо сказать, что эти обстоятельства ввели в заблуждение многих профессиональных революционеров-современников. В феврале 1917 г. в Петрограде царил хаос: разгоравшееся в хлебных «хвостах» возмущение обывателей приводило к разгрому лавок, мука и хлеб при этом уничтожались, разбрасывались по улице. Помимо хлебных и мясных лавок, громили ювелирные магазины, а освобождению первых перешедших на сторону восставших солдат-павловцев из Петропавловской крепости предшествовал разгром толпой спиртоочистительного завода на Александровском проспекте.

Помимо безусловно присутствующих в нем политических мотивов, играющих мотивационную роль, революционный энтузиазм имеет и психофизическую природу, обеспечивающую движительные функции, связанную с определенными изменениями индивидуального и коллективного сознания, ломающую привычные поведенческие практики обывателей, изменяющую их представления о структурах повседневности и их значении (понижение значимости традиционных форм повседневной жизни и возрастание роли новой революционной реальности), в силу чего в действиях значительной части общества начинают проявляться признаки архаичного бунтарства. В.П. Булдаков на материале 1917 г. убедительно показал скрытую, психофизиологическую природу революции, имевшую явные признаки психопатологии[1]. В современной историографии революции 1917 г. — в исследованиях Ц. Хасегавы, В.И. Мусаева и некоторых других авторов — отмечается разгул преступности под революционными лозунгами. Хулиганские формы поведения, стихийно вспыхивавшие акты насилия, порой основанные на слухах и фобиях, не позволяли идейным современникам июльских дней 1914 г. охарактеризовать переживаемый период в качестве революционной ситуации[2].

[1] См.: *Булдаков В.П.* Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997; Он же. Хаос и этнос: Этнические конфликты в России, 1917–1918 гг. Условия возникновения, хроника, комментарий, анализ. М., 2011.

[2] См.: *Мусаев В.И.* Преступность в Петрограде в 1917–1921 гг. и борьба с ней. СПб., 2001; *Hasegawa Ts.* Crime and Punishment in the Russian Revolution. Mob Justice and Police in Petrograd. Harvard University Press, 2017; *Аксенов В.Б.* Слухи и страхи петроградцев и москвичей в 1917 году // Социальная история: Ежегодник, 2004. М., 2005. С. 163–200.

Примечательно, что если в среде социал-демократов и последующих марксистских историков стихийные акции протеста, выливавшиеся в криминальные формы, не рассматривались в качестве революционных актов, то либеральная научная общественность, наоборот, усматривала в этом истинную физиономию революции. Член ЦК октябристов А. А. Столыпин (брат убитого премьер-министра) писал в 1913 г. в статье о рабочих забастовках: «для таких не поддающихся учету и измерению величин, как настроение людской массы, должно существовать и другое, более тонкое мерило, чем мертвый язык статистики», относя к этому мерилу «запах революционной атмосферы» — «политический психоз»[1].

На самой заре формирования социологии и психологии как самостоятельных научных дисциплин начинает развиваться и такое смежное направление, как психология толпы или масс. Изучению особенностей поведения индивидов в толпе и формам активности больших уличных масс посвящали работы Г. Лебон, Г. Тард, Н. Михайловский, Х. Ортега-и-Гассет, З. Фрейд, Э. Дюркгейм и др.[2] Отмечая высокую степень подражательности и превалирование эмоционального восприятия событий над рационально-логическим, ученые констатировали стихийность и иррациональность действий толпы. Эти же вопросы привлекали внимание психиатров. Один из основоположников русской психиатрии В.Х. Кандинский еще в 1880-х гг. писал о феномене психических эпидемий, распространение которых объяснял «душевной контагиозностью» — инстинктом подражания, объяснявшего заразительность чувств и эмоций, — и в качестве примеров приводил массовые религиозные движения, а также революции: «В сфере побуждения и чувства значение способности человека приходить в унисон с другими людьми еще более велико. Вместо того, чтобы называть эту способность подражательностью, здесь приличнее употреблять термин душевная контагиозность… Заразительность настроения известна каждому. Веселое общество развлекает и грустно настроенного человека, наоборот, в кругу людей печальных и самый веселый человек настраивается на тоскливый лад»[3].

Если марксистко-ленинская теория рабочего движения кануна войны столкнулась с парадоксом, согласно которому революционный и, следовательно, классово-сознательный энтузиазм испарился с началом мировой войны (нежелание Ленина признать очевидные факты патриотических настроений

---

[1] Новое время. 1913. 28 сентября.

[2] См.: *Лебон Г.* Психология народов и масс. СПб., 1995; *Тард Г.* Социальная логика. СПб., 1901; *Сигеле С.* Преступная толпа // Преступная толпа. М., 1998; *Михайловский Н.К.* Герои и толпа: В 2 т. М., 1999; *Бехтерев В.М.* Избранные работы по социальной психологии. М., 1994; *Московичи С.* Век толп. М., 1998, и др.

[3] *Кандинский В.Х.* Общепонятные психологические этюды // Санкт-Петербургская психиатрическая больница св. Николая Чудотворца. К 140-летию. Том III. В.Х. Кандинский. СПб., 2012. С. 111–112.

в рабочей среде, вероятно, является попыткой избежать логического противоречия), то этот парадокс легко разрешается в рамках социально-психологического подхода, обнаруживающего сходство антиправительственных и проправительственных акций протеста в июле 1914 г. Теория психологии толпы отмечает функционирование толпы в качестве специфического социально-психологического организма, которому, в силу преобладания эмоционального восприятия над рассудочно-логическим, свойственно впадать в различные крайности. Вместе с тем, согласно исследованиям социальных психологов, не в любой уличной акции протеста обнаруживается психология толпы. Последняя формируется в качестве черты массового сознания и, сохраняясь в коллективе некоторое время, определяет формы социального действия. Одним из ее признаков выступает способность разогнанной толпы тут же стихийно собираться в другом месте, что говорит о сильном эмоциональном возбуждении, не проходящем после первого столкновения с полицией. Примечательно, что обыватели весной — летом 1914 г. обращали внимание на эту особенность рабочих демонстраций. Так, например, хотя питерским рабочим 1 мая не удалось организовать общегородскую демонстрацию в центре города, полиция фиксировала, что как только где-то разгоняли мелкие манифестации, они тут же возникали неподалеку. То же самое впоследствии содержалось в полицейских донесениях о беспорядках февраля 1917 г.[1]

Видный немецкий социолог, современник революционных потрясений России Макс Вебер еще в 1906 г. предсказал крах реализации марксистского варианта революции в России, отмечая низкий уровень политической грамотности россиян. Если Ленин в январе 1917 г. утверждал, что 1905 г. «окончательно похоронил патриархальную Россию»[2], то Вебер, наоборот, подчеркивал амбивалентность русской революции, обеспечивавшей ей быстрый переход в сторону реакции: «Аграрный коммунизм оказывается идеальной почвой, на которой происходит постоянное качание между идеей „творческого акта“ „сверху“ и „снизу“, между реакционной и революционной романтикой»[3]. Примечательно, что между Вебером и Лениным тянулась заочная полемика с 1906 г.: тогда Вебер назвал подготовленное «группой Ленина» декабрьское вооруженное восстание в Москве 1905 г. «бессмысленным путчем», Ленин впоследствии, в свойственной ему высокомерно-пренебрежительной манере общения с оппонентами, поставил под сомнение профессиональные качества ученого: «В немецкой так называемой „научной“ литературе господин профессор Макс Вебер в своей большой работе о политическом развитии России назвал московское восстание „путчем“… Суждение буржуазной „науки“ о декабрьском восстании не только

[1] ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 1. Д. 74. Л. 5—14 об.

[2] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 30. С. 314.

[3] *Вебер М.* К положению буржуазной демократии в России // Политическая наука. Россия: опыт революций и современность. М., 1998. С. 5–121.

нелепо, оно является словесной увerткой представителей трусливой буржуазии, которая видит в пролетариате своего опаснейшего классового врага»[1].

Отталкиваясь от теории психологии толпы, М. Вебер разработал теорию социального действия, в котором выделил несколько форм исходя из возможной мотивации участников: целерациональное; ценностно-рациональное; аффективно-эмоциональное; традиционное. С точки зрения ленинской теории подлинно революционным действием может быть лишь то, которое укладывается в рамки целерационального, т.е. характеризуется высоким уровнем политической сознательности индивидов, однако сам Вебер отмечал условность границ между этими формами, определяемую тем, что мотивация участия индивида в том или ином событии может быть связана как с рационально осознанными целями, так и с неосознанным подражанием на основе эмоционального восприятия событий: «Причина недостаточной четкости границ объясняется в данном, как и в других случаях, тем, что ориентация на поведение других и смысл собственного действия далеко не всегда могут быть однозначно установлены или даже осознаны, а еще реже — осознаны полностью. Уже по одному этому далеко не всегда можно уверенно разграничить простое „влияние“ и осмысленную „ориентацию“»[2]. Стихийные формы революционной активности как в 1914-м, так и в 1917 г., выражавшиеся в аполитичных хулиганских акциях, таким образом, относятся к аффективному типу социального действия.

Социальное действие активных участников партийной жизни, как правило, целерационально, однако участие тех индивидов, которые подверглись агитации со стороны профессиональных революционеров, оказывается подвержено аффектам. Тем самым в революционной ситуации всегда обнаруживается несколько пластов поведения: и сознательно-политический, и эмоционально-аффективный. Имея в виду эту особенность, можно разрешить и следующее противоречие: угасание революционного энтузиазма в июле — августе 1914 г. В действительности, с точки зрения массовой психологии и теории социального действия принципиальной разницы между революционными демонстрациями начала июля и патриотическими акциями второй половины июля 1914 г. не было (тем более, если иметь в виду перетекание патриотических манифестаций в погром немецкого посольства и иностранных магазинов 22 июля 1914 г.). По форме они соответствовали друг другу.

Тем не менее с 1912 г. планомерно росло рабочее забастовочное движение. В результате постепенной революционизации пролетариев уже первая половина 1914 г. дала в масштабе России большее количество стачек, чем весь 1905 г. В забастовках участвовало около полутора миллионов человек, причем 80% стачек носили политический характер (при том что разделение стачек

---

[1] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 30. С. 325.

[2] *Вебер М.* Основные социологические понятия // Западноевропейская социология XIX — начала XX века. М., 1996. С. 455–491.

на политические и экономические носит условный характер, следует отметить, что о политизации забастовок говорили и современники, это же отмечалось в статистических сведениях, собиравшихся санкт-петербургским Обществом заводчиков и фабрикантов). А. Г. Шляпников отмечал усилившуюся психологическую напряженность и нервозность в рабочей среде: «Атмосфера весною 1914 года в фабрично-заводских районах была напряжена до крайности. Все конфликты, от малого и до великого, независимо от их происхождения, вызывали стачки протеста, демонстративные окончания работ за час до конца работ и т. п. Политические митинги, схватки с полицией были явлениями обыденными. Рабочие начали заводить знакомства и связи с солдатами близлежащих казарм. Велась революционная пропаганда и в лагерях. Весьма активная роль в этой пропаганде выпадала на долю женщин-работниц, ткачих и других текстильщиц»[1].

В 1914 г. забастовочным движением были охвачены такие города, как Петербург, Москва, Киев, Баку, Варшава, Таганрог, Рига и др. Если, по данным петербургского Общества заводчиков и фабрикантов, в столице за весь 1913 г. произошли 624 забастовки, причем из них политическими было 59%, то только за июнь — июль 1914 г. в Петербурге было зафиксировано 337 забастовок, и уже 81% из них относился к политическим[2]. Кроме того, общее число потерянных рабочих дней за 1913 г. составляло 1 132 324, тогда как лишь за июнь — июль 1914 г. — 1 020 039.

В масштабах всей России соотношение примерно такое же. Так, за весь 1913 г. количество потерянных рабочих дней составляло 3 868 257, в то время как в 1914 г. (фактически, за первые полгода, так как число забастовок после начала войны резко сократилось) — 5 755 072. Примечательно, что количество потерянных рабочих дней за революционный 1917 г. составило всего 3 822 656[3].

Ощущения надвигавшейся революционной бури достигали даже Сибири. Один из находившихся в окруженном болотами Нарыме политических ссыльных с горечью писал друзьям в июне 1914 г.: «Дело в том, что меня страшно мучает мое вынужденное бездействие. Теперь везде, везде в России страшное оживление, и вот когда мы, не складывавшие руки в самые мрачные времена, должны сидеть здесь молчаливыми наблюдателями, — то это страшно угнетает»[4].

В июле 1914 г. в Петербурге количество забастовок возросло более чем в три раза по сравнению с предыдущим месяцем[5]. 4 июля в столице была

---

[1] *Шляпников А. Г.* Канун семнадцатого года. Семнадцатый год: В 3 т. Т. 1: Канун семнадцатого года. М., 1992. С. 40.

[2] РГИА. Ф. 150. Оп. 1. Д. 669. Л. 12, 77.

[3] Мировая война в цифрах. М.; Л., 1934. С. 88.

[4] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 975. Л. 73.

[5] РГИА. Ф. 150. Оп. 1. Д. 669. Л. 77.

расстреляна демонстрация Путиловских рабочих, выступивших в поддержку продолжавшейся с 28 мая забастовки Бакинских нефтяников. В итоге два человека были убиты и около пятидесяти ранены. Это вызвало широкий общественный резонанс, рабочие организации Москвы, Киева, Варшавы, Риги принимали резолюции и устраивали в поддержку путиловцев собственные акции протеста. Применение столичными властями оружия развязало руки рабочим и направило ход стачечной борьбы в русло событий 1905 г.: в Петербурге стали возводить баррикады, опрокидывая телеграфные столбы, переворачивая телеги и трамвайные вагоны, опутывая их проволокой, вступали в вооруженное противостояние с полицией и казаками. 7 июля баррикады из восьми опрокинутых вагонов конки возникли на Безбородкинском проспекте, а шестиэтажный дом по соседству превратился в своеобразную крепость, из которой рабочие вели прицельный обстрел полиции, срывая всяческие попытки штурма здания. 8 июля в городе прекратилось трамвайное движение, пошли массовые погромы магазинов, ресторанов, не прекращавшиеся даже по ночам[1]. Петербуржец так описывал происходившее в письме от 10 июля 1914 г. своему московскому адресату: «Уведомляю тебя, что у нас на заводе началась забастовка. Сейчас у нас в Петербурге идет забастовка против расстрела Путиловских рабочих, трамвайное движение остановлено ввиду того, что рабочие разбили много вагонов, да и служащие боятся ехать, что теперь делается у нас в Петербурге близко к тому, что у вас было в Москве в 1905 году. Местами строятся баррикады и идет перестрелка с полицией и казаками. Есть убитые. Одно горе мало оружия. На Выборгской стороне рабочие нападают на полицию и избивают их ихним оружием. Одного околоточного его же шашкой изрубили, что будет дальше не знаем»[2].

Днем казаки в рабочих кварталах еще пытались поддерживать видимость порядка, однако с наступлением сумерек они покидали рабочие районы. Находившийся в те дни под видом иностранного рабочего в Петербурге А.Г. Шляпников вспоминал, как при попытке пройти в свой район он был остановлен казаками, которые, увидев перед собой «иностранца», стали отговаривать его от этой затеи, но при этом сами не решились его сопроводить до дома: «С наступлением сумерек полиция и казаки не решались углубляться в рабочие кварталы, и до глубокой ночи там слышались революционные напевы»[3].

Москва не сильно отставала от северной столицы: из-за начавшихся демонстраций в городе также почти прекратилось трамвайное движение, статистические данные которого могут являться косвенным свидетельством динамики социального протеста — резкий спад обычного уровня пассажирских

[1] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1914. 4–14 июля.

[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 975. Л. 64.

[3] *Шляпников А.Г.* Канун семнадцатого года. С. 43.

перевозок, не вызванный техническими проблемами, обратно пропорционален численности пешеходов, сознательно или нет влияющих на протестную уличную активность. За 8–9 июля в Москве трамвайный пассажиропоток, в обычные июльские дни составлявший около 800 000 человек в день, в сумме сократился до 487 047 пассажиров за два дня, т.е. снизился более чем в три раза[1]. Помимо Петербурга и Москвы, протестное движение было поддержано рабочими и студентами Киева, Варшавы, Риги, Баку и других крупных городов Российской империи.

Сравнение с революцией 1905 г. часто встречается в перлюстрированных письмах современников. «Революция стучится в дверь», — написал петербургский рабочий Иван, а варшавский обыватель, отмечая, что столичные события эхом откликнулись и в Польше, с нетерпением ждал будущего, полагая: «оно принесет нам кое-что…»[2]. Даже житель французского Гренобля делился с адресатом в Казанской губернии настроениями в Европе: «Говорят, в России готовятся к революции»[3]. Более осторожные в оценках свидетели тех дней предпочитали говорить если не о революции, то о переходе некоего Рубикона, после которого возврат к прошлому представлялся уже невозможным: «Это не революция, до революции еще далеко, но это грозный симптом. Alea jacta est (Жребий брошен. — *В.А.*)»[4].

13 июля градоначальник Петербурга князь А.Н. Оболенский ввел запрет на проведение митингов в столице. Однако эта мера, совершенно неожиданно, оказалась вредной для самих властей, так как с началом 17 июля частичной мобилизации революционная риторика уличных митингов стала приобретать патриотический характер, что позволило пустить революционный энтузиазм масс в выгодное для правительства русло.

Вместе с тем не стоит переоценивать сознательность рабочих акций протеста. Даже революционно настроенные современники с горечью констатировали, что местами рабочие беспорядки обретали форму банального пьяного хулиганства. В этом взгляды некоторых социалистов и консерваторов на природу событий июльских дней совпадали. В «Новом времени» вышла статья под заголовком «В тине революционного хулиганства», в которой обращалось внимание как на стихийную природу бунта, так и на организационную[5]. Если переворачивание трамваев с целью постройки баррикад можно было отнести на счет сознательной революционной активности, то начавшаяся волна погромов торговых заведений ей противоречила. Так, например, 7 июля толпа рабочих в количестве около 3000 человек подошла к ресторану «Выборг»

[1] Подсчитано по: Ежемесячный статистический бюллетень по г. Москве. 1914. № 7.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 975. Л. 75 об., 80.
[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 10.
[4] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 975. Л. 65.
[5] Новое время. 1914. 11 июля.

и перебила в нем стекла; ночью 10 июля были разбиты все фонари на Забалканском проспекте; та же толпа громила попадавшиеся на пути магазины, рестораны и пивные[1]. 11 июля большая толпа рабочих разгромила трактир «Бережки». Разбив все оконные рамы, она перешла к расположенному поблизости трактиру «Яр», где также начался разгром. Лишь подоспевшие казаки, пустив в ход нагайки, прекратили дальнейшее уничтожение трактиров и пивных лавок. Концентрация фактов столкновений рабочих и полиции рядом с местами продажи алкогольной продукции не кажется случайной. В рамках борьбы с подобными формами протестной активности рабочих власти столицы пошли на закрытие всех питейных заведений в городе[2]. Петербуржцы писали в частных письмах накануне войны: «У нас в Петербурге разыгралась даже не забастовка, а прямо хулиганская оргия, которая окончательно вооружила против себя всех благоразумных людей»; «В Петербурге — гнусные времена. На три четверти все манифестации хулиганские, а что еще хуже, так это заражение рабочей среды националистическим духом»; «Тебя интересуют наши июльские дни. Разочаруйся, голубчик, они прошли до нельзя отвратительно. Вещи идейные нельзя переплетать с хулиганскими выходками, а это-то последнее в наших июльских днях и преобладало»[3].

Многие современники по инерции отказывались признавать революционный характер событий на том основании, что ни участники беспорядков, ни сторонние наблюдатели не видели внятных политических лозунгов, целей протестов, логики действий. З. Н. Гиппиус тем не менее была поражена их иррациональностью, она была склонна усматривать некую скрытую, мистическую силу, которой подчинялась толпа: «Меня, в предпоследние дни, поражали петербургские беспорядки. Я не была в городе, но к нам на дачу приезжали самые разнообразные люди и рассказывали, очень подробно, сочувственно… Однако я ровно ничего не понимала, и чувствовалось, что рассказывающий тоже ничего не понимает. И даже было ясно, что сами волнующиеся рабочие ничего не понимают, хотя разбивают вагоны трамвая, останавливают движение, идет стрельба, скачут казаки. Выступление без повода, без предлогов, без лозунгов, без смысла… Что за чепуха? Против французских гостей они, что ли? Ничуть. Ни один не мог объяснить, в чем дело. И чего он хочет. Точно они по чьему-то формальному приказу били эти вагоны. Интеллигенция только рот раскрывала — на нее это, как июльский снег на голову. Да и для всех подпольных революционных организаций, очевидно»[4]. В действительности именно с того момента, когда толпа выходит за границы рационального, и начинаются революции, в основе которых лежит мощный социальный взрыв, заставляющий

---

1 Биржевые ведомости. Веч. вып. 1914. 11 июля.

2 *Меницкий Ив.* Революционное движение… С. 39–40.

3 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 975. Л. 99; Д. 976. Л. 1; Д. 967. Л. 111.

4 *Гиппиус З. Н.* Собрание сочинений. Т. 8. Дневники: 1893–1919. М., 2003. С. 155.

рационально-организованное начало подчиняться стихийно-аффективному. Когда в феврале 1917 г. революция будет разгораться с хлебных беспорядков, Гиппиус точно так же по привычке станет отрицать их революционный характер: «Так как (до сих пор) никакой картины организованного выступления не наблюдается, то очень похоже, что это обыкновенный голодный бунтик, какие случаются и в Германии»[1], — запишет поэтесса в дневнике 23 февраля 1917 г.

По сообщениям начальников губернских жандармских управлений, очень часто инициаторы забастовок описывались в политически нейтральных характеристиках как «хулиганистые молодые люди»[2]. Довольно часто именно подростки проявляли повышенную инициативу и агрессию. Во время июльских забастовок недалеко от станции «Новая Деревня» Петербургской губернии толпа рабочих в количестве 2000 человек, большую часть которой, согласно докладной записке губернатора, составляли подростки, заблокировала движение двух пассажирских поездов[3]. Тем самым в рабочем протестном движении обнаруживается заряд пубертатного бунтарства.

Следует заметить, что в ряде случаев во время массовых выступлений рабочих полиции приходилось защищать их участников друг от друга: между разными артелями вспыхивали нешуточные споры, переходившие к выяснению отношений с помощью камней, арматуры и даже огнестрельного оружия. Так, петербургское Охранное отделение сообщало, что 5 мая 1914 г. в Выборгской части и на Охте произошел «выдающийся случай кровавого столкновения рабочих двух артелей каталей каменного угля»[4]. Предыстория «побоища» следующая: работавшая на Медно-прокатном и трубочном заводе артель каталей за частое хищение с завода металлических изделий была заменена другой артелью, причем последние, чтобы получить работу, снизили расценки на оплату своего труда. На этой почве между двумя группами рабочих возникла неприязнь. 5 мая рабочие уволенной артели решили побить одного из членов второй артели, но он успел от них скрыться. В свою очередь его товарищи, узнав об этом, подстерегли и побили зачинщика из первой артели. По окончании работ катали первой артели, желая отомстить за нанесенную своему товарищу обиду, на углу Тимофеевской улицы и Полюстровской набережной вступили в драку с каталями второй артели, возвращавшимися на квартиры на Охту. Провожавший своих рабочих подрядчик Христофор Разсенис в целях самообороны произвел выстрел из револьвера в воздух, и в то же время к месту происшествия подоспел наряд городовых, и нападавшие разбежались. Затем, когда рабочие первой артели, которых было около шестидесяти, прошли с версту, на них снова напала толпа рабочих второй артели — их было несколько

---

[1] Там же. С. 206.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 244. ДП-ОО. Д. 341л. Б 1. Л. 206—206 об.
[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 123. Д. 61, ч. 2. л. Б. Л. 12—12 об.
[4] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 123. Д. 108, ч. 61 Л. А. Л. 19 об.

сотен. Последовала общая свалка, в ход пошли камни. Побоище прекратилось по прибытии на место наряда полиции. Трое рабочих первой артели были направлены в больницу, получив тяжкие, но не угрожающие жизни травмы. Следует заметить, что и во время проведения политических демонстраций рабочие, бывало, наносили друг другу ножевые ранения.

В историографии нередко преувеличивалась степень противостояния рабочих и полиции. Эти две силы рассматривались как антагонистические. Не касаясь темы сотрудничества рабочих с полицией, а также неформального общения околоточных и городовых с проживающим в их районах населением, обратим внимание на конфликтные столкновения представителей двух сил во время массовых акций. Если внимательно почитать отчеты департамента полиции, то окажется, что толпе бунтующих рабочих в количестве несколько сотен человек, как правило, противостояли 3–4 полицейских чина. Так, например, во время массового протеста 9 июля в 11 часов утра из села Рыбацкое Санкт-Петербургской губернии по направлению к Усть-Славянке вышла толпа рабочих Обуховского завода в количестве около 500 человек. Протестующие несли красный флаг и пели революционные песни — этого было достаточно, чтобы записать демонстрацию в разряд политических. Целью манифестантов было снять рабочих механического завода Шульца и лесопильного Лебедева в Усть-Полянке, но при переходе через реку Славянку рабочие были встречены урядником Кондратенко с тремя конными стражниками. Урядник не только отобрал у рабочих флаг, но и арестовал троих наиболее активных[1]. Толпа в 500 человек не пыталась оказать сопротивление четырем стражам порядка и защитить революционное знамя и своих товарищей. Того же числа в Дубовой Роще императора Петра Великого в «Дубках» собралась толпа в 300 человек. Рабочие были вооружены, стреляли в воздух, однако при приближении полиции все разошлись[2].

Тем не менее толпе не свойственно рациональное поведение. Она подчиняется эмоциям, поэтому, когда в ней присутствуют истеричные молодые люди, подростки, толпа становится агрессивной и склонной к насилию. Так, 19 марта в Петрограде происходили забастовки, связанные с массовым отравлением женщин-работниц т-ва «Треугольник». На Большой Зелениной улице собралась толпа в 300 человек и с пением «Вставай, подымайся» направилась к Большому проспекту. На углу Колпинской улицы и Малого проспекта дорогу ей перегородил постовой, городовой 2-го участка Петербургской части Самкович, потребовавший прекратить пение. Самкович позвал себе на подмогу нескольких дворников. Толпа подчинилась, и городовой арестовал ее «руководителя» — 18-летнего крестьянина Ивана Федорова. Однако когда дворники

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 123. Д. 61, ч. 2. л. Б. Л. 12 — 12 об.

[2] Там же. Л. 14 — 14 об.

захотели увести молодого человека, тот стал вырываться, кричать и просить помощи у толпы: «Товарищи, выручайте!» Только после этого рабочие набросились на городового, повалили его на мостовую и стали избивать. Лежа на земле, Самкович смог вынуть револьвер и трижды выстрелить в толпу. Рабочие разбежались. Двое, включая Федорова, оказались ранены[1]. Следует заметить, что в периоды более сильного эмоционального напряжения, как, например, в феврале 1917 г., пытавшихся стрелять городовых толпа убивала на месте, в лучшем случае — отбирала оружие и избивала. При этом надо учесть, что к 1917 г. образ полицейского в глазах народа претерпел одно принципиальное изменение, вызывавшее негативные эмоции: к нему стали относиться как к предателю, уклоняющемуся от воинской повинности. Также стоит отметить, что после начала войны роль эмоционального катализатора в толпе вместо подростков чаще начинали играть женщины, что накладывало свои особенности на поведение демонстрантов.

В некоторых случаях большее возмущение рабочих вызывали действия не полицейских, выполнявших свои профессиональные обязанности, а дворников. Так, 22 марта на Петергофском шоссе в сторону Путиловского завода двигалась толпа с пением революционных песен. И в этом случае городовой разогнал манифестантов с помощью дворников соседних домов. При этом один из рабочих выплеснул свой гнев именно на дворника — ударил его напильником, нанеся колотое проникающее ранение[2].

Учитывая низкую степень политической сознательности рабочих, не приходится удивляться тому, что определенную роль в динамике массовых выступлений играли стихийные факторы: технологические аварии или погодные условия. Так, говоря о массовости демонстрации 4 апреля, посвященной годовщине Ленского расстрела и в знак протеста против локаута 20 марта, необходимо принимать во внимание, что из-за аварии на электростанции в ночь с 3 на 4 апреля в Петербурге остановилась почти половина трамваев, вследствие чего горожанам пришлось добираться до работы пешком, вынужденно пополняя численность вышедших на улицу манифестантов[3]. Также стоит отметить зависимость проведения городских демонстраций от погодных факторов. После протестных акций 4 апреля на повестке встало проведение первомайской общегородской демонстрации на Невском проспекте и ряда районных демонстраций на окраинах, но если 1 мая на фабриках и заводах рабочие смогли отметить праздник, то из-за дождя, шедшего с ночи до полудня, городские манифестации провалились: «Вчера, 1 мая, вопреки всем тревожным ожиданиям, день прошел удивительно спокойно. Все сделал сильный

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 123. Д. 108, ч. 61. л. А. Л. 12 об. — 13.

[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 123. Д. 4, ч. 3. л. А. Л. 15 — 15 об.

[3] Петербургский листок. 1914. 4 апреля.

дождь, который начался еще ночью и беспрерывно лил до двенадцати часов вчерашнего дня»[1]. Одна революционно настроенная жительница Петербурга, праздновавшая 1 мая, в письме своему знакомому в Енисейскую губернию рисовала картину всеобщей рабочей забастовки, в которой приняло участие свыше 250 000 человек, но при этом сокрушалась, что «забастовки прошли везде и всюду очень энергично, но только по случаю дождя не было демонстраций, хотя и были, но слишком мелки»[2]. Незначительная часть «сознательных рабочих» вечером все же выбралась в город, где у них произошло столкновение с полицией, в котором сложно обнаружить революционный мотив. Около 7 часов вечера на углу Большого Сампсониевского проспекта под трамвай попала пятилетняя дочь столяра. Хотя девочка осталась жива, прибывшим чинам полиции не удалось самостоятельно извлечь ее из-под трамвая, в результате чего было принято решение дождаться техпомощи с домкратами. Тем временем на проспекте собралась толпа рабочих, в которой было много пьяных по случаю праздника. В произошедшем обвинили полицейских и принялись забрасывать их камнями. Когда прибыл поезд с домкратом, рабочие забросали и его, ранив машиниста. Для прекращения беспорядков были вызваны отряды конной полиции. 10 человек были арестованы[3].

Следует отметить, что впоследствии сами революционеры признавали недостаток организованности рабочего движения и некоторый фактор стихийности в его развитии. А.Г. Шляпников так описывал рабочую среду весной 1914 г.: «Чувствовалось, что рабочие индивидуально значительно выросли. Однако отсутствие профессионального объединения давало себя знать. Внутренние, не писаные, а действительные порядки в мастерских были чрезвычайно разнообразны, менялись не только от одного завода к другому, но были неодинаковы даже между цехами одного и того же завода… Опыта в повседневной упорной борьбе было мало, профессиональные союзы были слишком слабы и жили под угрозой закрытия, а поэтому и не могли воспитать и дисциплинировать профессиональную борьбу рабочих масс»[4].

В июльские дни питерские рабочие выказывали недовольство тем, что их товарищи из Кронштадта не поддержали забастовочное движение. Агент охранки передавал, что было решено в будущем чаще высылать в Кронштадт пропагандистов[5]. Примечательно, что в самом Кронштадте среди рабочих 20 июля распространился слух, что «происходившие за последние дни рабочие забастовки в Санкт-Петербурге и в других городах были организованы немцами, которыми для этой цели были затрачены значительные денежные

---

[1] Петербургский листок. 1914. 2 мая.

[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 244. ДП-ОО. Д. 101–Б. Л. 2.

[3] Петербургский листок. 1914. 2 мая.

[4] *Шляпников А.Г.* Канун семнадцатого года. С. 35–37.

[5] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 244. ДП-ОО. Д. 341 л. Б1. Л. 141.

суммы»[1]. Впрочем, вероятнее всего, распространение подобных слухов было делом рук правых партий. Революционная и охранительная пропаганда часто использовали общие методы борьбы, по-разному интерпретируя одни и те же события. Так, например, в марте 1914 г. на резиновой фабрике «Треугольник» отравились женщины-работницы. Прошли массовые акции протеста против администрации, к которым присоединись рабочие табачного, бумагопрядильного и металлургического производства, требовавшие улучшения условий труда. Ситуация широко освещалась в западной социалистической прессе, где выходили статьи под заголовками «Царизм травит русских рабочих»[2]. В результате было проведено официальное расследование, которое подтвердило факт отравлений, однако черносотенные авторы заявили, что «отравления среди рабочих — дело рук шайки революционеров-отравителей»[3]. Осенью 1914 г., во время расцвета шпиономании, газеты распространяли слух о том, что во всем виноват служащий фабрики «Треугольник» немец-химик Келлер — у него дома якобы нашли переписку на немецком языке, в которой речь шла об удушающих газах[4].

Революционеры-современники не строили иллюзий относительно классовой сознательности рабочих, признавая, что даже питерские рабочие-металлисты, считавшиеся наиболее революционизированными, не отличались развитой профессиональной солидарностью[5]. Чтобы собрать рабочих на митинг, иногда приходилось прибегать к хитростям: так, например, когда после окончания смены рабочие устремлялись из своих цехов во двор предприятия, несколько партийных «товарищей» блокировали выход, создавали в дверях «пробку», и прежде чем по вызову администрации прибывала полиция, успевал выступить оратор и рабочие выносили свое «решение».

Основная масса рабочих достаточно добродушно относилась к партийным товарищам, нередко на словах поддерживая их инициативы, не вдаваясь в нюансы политической программы. После продолжительного рабочего дня участие в спонтанном митинге казалось забавой, способом психологической релаксации. 3 июля 1914 г. во дворе Путиловского завода кто-то из рабочих запел «Похоронный марш» («Вы жертвою пали»), другие тут же подхватили. Исполнили почти весь репертуар рабочих революционных песен, пока не прибыла полиция и не начались задержания. Всего было арестовано 65 человек[6]. По местам их проживания прошли обыски, однако в ряде случаев никакой компрометирующей литературы найдено не было. Из показаний следовало, что

[1] Там же. Л. 147.
[2] Там же. Л. 67.
[3] Там же. Л. 68.
[4] Минская газета-копейка. 1914. 6 сентября.
[5] *Шляпников А. Г.* Канун семнадцатого года. С. 40.
[6] ГА РФ. Ф. 111. Оп. 5. Д. 506. Л. 2–4.

некоторые рабочие случайно оказались во дворе завода, плохо понимали, что происходит, но, очевидно, поддавшись всеобщему настроению, наступившей эйфории от коллективного исполнения знакомых песен, остались на импровизированном митинге. Пение песен объединяло людей на эмоциональном уровне, однако политическая подоплека репертуара формально способствовала их революционной идентификации. Любопытное наблюдение можно сделать на основе письма из Самары, где 14 июля прошла рабочая манифестация: первоначально по Дворянской улице рабочие ходили маленькими группами, но когда раздались слова «Похоронного марша», они тут же объединились в толпу в 400 человек и двинулись в сторону Саратовской. Прибывшие конные городовые без труда разогнали манифестантов[1]. Эти примеры показывают, как эмоциональное состояние собравшихся, возникшее благодаря коллективному пению, становилось стержнем массового социального действа.

Говоря о соотношении политического и экономического, организованного и стихийного в рабочем движении, необходимо затронуть еще одну проблему, сравнительно недавно поставленную в историографии, — проблему нравственно-этической мотивации социального протеста. Ю.И. Кирьянов, разбирая рабочие требования к заводской администрации, отдельно отмечает стремление рабочих к вежливому обращению: во время всеобщей забастовки 1903 г. в Киеве 71% рабочих требований касался повышения заработной платы, 68% — сокращения рабочего дня и 66% — вежливого обращения по отношению к себе[2]. Исследователь в качестве общей черты ментальности высших, средних и низших категорий рабочих называет «потребность и стремление к материальному достатку, к обустроенной „человеческой“ культурной жизни, к защите своего достоинства, своих прав человека и рабочего»[3]. Н.В. Михайлов обращает внимание, что приехавшие в город молодые рабочие обладали таким маркером маргинальности, как грубость, однако по мере социализации, адаптации к новой субкультуре перенимали новые поведенческие практики, в частности становились вежливыми[4].

Американский историк Леопольд Хаймсон также делает акцент не на политической, а на социальной мотивации рабочего протеста. Отталкиваясь от статьи Л. Клейнборта «Очерки о рабочей демократии» 1913 г., автор отмечает стремление рабочих к социализации в городском социуме. Рассуждая о революционном движении весны — лета 1914 г., Хаймсон говорит о бессмысленности вопроса, произошла бы в 1914 г. революция, если бы не война, и обращает

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 244. ДП-ОО. Д. 341 л. Б1. Л. 175 — 175 об.

[2] *Кирьянов Ю.И.* Менталитет рабочих России на рубеже XIX–XX вв. // Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революций 1861 — февраль 1917. СПб., 1997. С. 57.

[3] Там же. С. 58–59.

[4] *Михайлов Н.В.* Самоорганизация трудовых коллективов и психология российских рабочих в начале XX в. // Рабочие и интеллигенция… С. 152.

внимание на то, что рабочие стачки первой половины 1914 г. «были направлены не только против политических представителей власти, но и являлись протестом против всех проявлений унизительного отношения к рабочим со стороны властей, администраций предприятий и даже представителей цензового общества»[1]. Эти идеи развивает другой американский ученый — Марк Стейнберг. Рассматривая место универсальных категорий личности в представлении российского пролетариата, требование вежливого к себе обращения он считает не просто одним из требований рабочих, а обнаруживает в нем «глубинное этическое видение, через призму которого они рассматривали свою собственную общественную и политическую жизнь… Именно естественные права человека, а не партикуляристские интересы класса, лежали в основе социальных представлений»[2]. Возможно, Стейнберг несколько переоценивает глубину проникновения в массовое сознание рабочих категории естественных прав человека, вместе с тем представляется верным, что личностная самоидентификация городских рабочих отличалась от сельского населения.

Однако для более взвешенной оценки необходимо определить, во-первых, в чем именно заключались расхождения представлений о личности сельского и городского населения, во-вторых, понять, насколько сильно новый пролетариат был связан с крестьянскими традициями. Очевидно, ответ на первый вопрос подразумевает изучение общинного мышления крестьян, при этом исследователи субкультуры городских рабочих отмечают сохранность общинных структур в промышленной среде. Так, Н. В. Михайлов обращает внимание на то, что и в рабочих землячествах, и в коллективах промышленных предприятий сохранялся опыт общинной организации. Исследователь объясняет это с точки зрения психологии (стремление оказавшегося в городе крестьянина преодолеть психологический дискомфорт через воспроизведение привычного общинного уклада жизни) и демографии (ускоренная динамика урбанизации городов, не способствовавшая «выветриванию» из сознания новых рабочих традиционного мышления)[3]. Заметим, что Стейнберг также указывает на традиционные элементы в массовом сознании пролетариата, в частности на сохранение сказочных образов, а также на сознательное использование социалистической пропагандой религиозной риторики, понятной простому народу[4].

---

[1] *Хаймсон Л.* Развитие политического и социального кризиса в России в период от кануна Первой мировой войны до февральской революции // Россия и Первая мировая война (материалы международного научного коллоквиума). СПб., 1999. С. 18–19.

[2] *Стейнберг М.* Представление о «личности» в среде рабочих интеллигентов // Рабочие и интеллигенция… С. 96–97.

[3] *Михайлов Н. В.* Самоорганизация трудовых коллективов и психология российских рабочих в начале XX в… С. 150, 163.

[4] См.: *Steinberg M. D.* Voices of Revolution, 1917. New Heaven; London, 2001; *Steinberg M. D.* Proletarian Imagination. Self, Modernity, and the Sacred in Russia, 1910–1925. Itaca; London, 2002.

Представляется вероятным, что на развитие в рабочей среде личностной самоидентификации и самоуважения повлиял переход от деревенской устной культуры к городской письменной. Чтение было в большей степени свойственно городской среде, в том числе рабочей, чем крестьянской. Приобщение к культуре печатного текста раздвигало мировоззренческие рамки бывших сельских жителей, заставляя по-новому смотреть на себя и на свое место в городском социуме. Симптоматичны в связи с этим известные размышления начитавшегося умных книжек обитателя ночлежки Сатина, персонажа пьесы М. Горького «На дне»: «Че-ло-век! Это — великолепно! Это звучит… гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека! Не жалеть… не унижать его жалостью… уважать надо!»

Нельзя утверждать, что проблема универсальных нравственно-этических категорий полностью отсутствовала в советской историографии. Хотя П.В. Волобуев и признал в 1997 г., что американские историки ушли вперед, так как их советские коллеги просто не имели возможности браться за изучение новых тем[1], сам он в 1964 г. в монографии «Пролетариат и буржуазия в 1917 году» попытался выявить психологические характеристики «среднего русского кадрового пролетария»[2]. В 1970-е гг. вопросы нравственного облика пролетариата поднимали Ю.И. Кирьянов и В.Ф. Шишкин[3]. А.Я. Аврех писал о революционном характере рабочего протеста в 1913–1914 гг., но при этом обратил внимание, что стачка на заводе «Новый Лесснер», длившаяся все лето 1913 г., произошла из-за самоубийства рабочего, ложно обвиненного мастером в воровстве. Рабочие не выдвинули никаких требований, кроме увольнения мастера-клеветника. Новолесснеровцев поддержали товарищи со «Старого Лесснера»[4]. Тем не менее важно то, что факт совершения самоубийства рабочим переводит конфликт в психологическую плоскость и демонстрирует необходимость применения социально-психологического подхода для исследования форм рабочего протеста.

Вероятно, следует учесть, что реакции на нравственные категории имеют не только сознательный характер (насколько чувство собственного достоинства осознанно и принято за норму личностью), но и эмоциональный: протест рабочего могла вызвать не содержательная часть оскорбительного высказывания, а эмоциональная, та форма, в которую она была облечена. По крайней мере со стороны рабочих реакции, как правило, имели весьма яркую эмоциональную окраску. С этой точки зрения можно дополнить теорию «нравственного

[1] *Волобуев П.В.* Дискуссии // Рабочие и интеллигенция… С. 200–201.

[2] *Волобуев П.В.* Пролетариат и буржуазия России в 1917 г. М., 1964.

[3] *Кирьянов Ю.И.* Об облике рабочего класса России // Российский пролетариат: облик, борьба, гегемония. М., 1970. С. 100–140; *Шишкин В.Ф.* 1917 год в нравственном развитии пролетариата // Там же. С. 242–255.

[4] *Аврех А.Я.* Царизм и IV Государственная дума (1912–1914). М., 1981. С. 98.

протеста» достижениями исторической эмоциологии[1], в частности концепцией «эмоциональных сообществ»: городская среда предусматривала больший контроль за проявлением эмоций (более строгий эмоциональный режим), чем сельская, в результате чего столкновение двух режимов приводило к конфликтам разных эмоциональных сообществ. В современных исследованиях подчеркивается, что изучение экономических и политических проблем в качестве единственных источников межгрупповых конфликтов является грубой ошибкой, так как эмоциональные репрессии по отношению к тем или иным сообществам часто оказываются важными факторами ответной жестокости и насилия[2].

Город накладывал отпечаток на поведение и мышление бывших крестьян. Предписывалось подавление эмоций: на улицах городов запрещалось шуметь, за чем следили стражи порядка, дворники; к собеседникам полагалось обращаться вежливо и т. п. Многие из этих правил были чужды крестьянской ментальности и вызывали в первое время конфликты. Вместе с тем более серьезной проблемой для рабочих было то, что требовавший от них вежливого обращения «город» сам не спешил придерживаться тех же правил по отношению к ним. Вчерашние крестьяне, прибывавшие в города, сталкивались с «тыканьем», грубостью, а иногда и физическим насилием со стороны полицейских чинов, дворников, заводской администрации.

Запрет на пение также можно рассмотреть в контексте эмоциональных конфликтов, ведь совместное публичное исполнение песен способствовало не только политической самоидентификации рабочих, но и эмоциональному единению. Вмешательство полиции и пресечение публичного пения означало подавление эмоциональных потребностей толпы, что порождало негативную реакцию и конфликты с полицией. В силу определенных возрастных и психологических факторов пение запрещенных песен использовалось в качестве провокации, некой демонстрации удали. Заметим, что в крестьянской среде песня также рассматривалась как средство политической идентификации и эмоционального единения. Вологодский крестьянин И. Юров вспоминал, что в молодости мечтал познакомиться с «политическими», но пока это ему не удавалось, они с друзьями распевали революционные песни. В некоторых случаях пение носило хулиганско-провокационный характер. Так, оказавшись на празднике у своего родственника, где сидел подвыпивший урядник, Юров на просьбу урядника спеть что-нибудь затянул с товарищами

---

[1] *Stearns P. N., Stearns C. Z.* Emotionology: Clarifying the History of Emotions and Emotional Standards // The American Historical Review. 1985. Vol. 90. № 4. P. 813–836; *Elias N.* The Civilizing Process. Oxford: Blackwell, 1994. P. 292; *Reddy W. M.* The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions. New York: Cambridge University Press, 2001. XIV. 380 p.; *Rosenwein B. H.* Emotional Communities in the Early Middle Ages. Ithaca: Cornell University Press, 2006; *Plamper J.* The History of Emotions. An Introduction. Oxford University Press, 2015.

[2] *Scheff T.* Repression of Emotion: A Danger to Modern Societies? // Emotions in Politics. The Affect Dimension in Political Tension. Palgrave Macmillan, 2013. P. 84.

«Отречемся от старого мира»: «Глотки у нас были молодые, и мы так гаркнули, что дрожали рамы… А рожа урядника черт-те на что и похоже была. Он так растерялся, что и после того, как мы кончили песню, еще долго не мог прийти в себя. Потом, очухавшись и даже как будто протрезвев, он начал нас упрашивать больше таких песен не петь. Я сказал: „Верно ребята… Давайте лучше другую", — и начал: „Вихри враждебные веют над нами…"»[1] Следует отметить, что Юров и его друзья-крестьяне революционерами не были и политическими делами не занимались. Совместное пение выступало одним из ритуалов, широко распространенных в народной среде, но когда с помощью пения открывалась возможность пощекотать нервы представителю власти, молодежь легко меняла свой репертуар на политический. При этом исследователи обращают внимание на слияние в народном песенном творчестве политических произведений с тюремными и бродяжьими: в последние нередко встраивался революционно-пропагандистский дискурс[2]. По подсчетам М. и Л. Джекобсонов на 1906–1914 гг. пришелся пик издания арестантского песенного фольклора[3]. К началу Первой мировой войны пение стало важным фактором политической идентификации, но, говоря о ритуале политического пения рабочих, необходимо учитывать также и эмоционально-возрастной аспект.

Другим ритуалом, который пыталась нормировать полиция, были рабочие похороны. Естественные причины смерти не привлекали внимания больших масс пролетариев, а гибель рабочих от несчастных случаев на производстве, самоубийства, в которых усматривался социально-политический подтекст, и убийства при подавлении властями протестных акций вызывали в рабочей среде возмущение. В этих случаях устраивались массовые похоронные процессии, за которыми следила полиция. Однако у властей были свои представления о ритуале рабочих похорон: кроме запрета на исполнение «Похоронного марша», «Вечной памяти», запрещалось декорировать гроб красными лентами, сопровождавшим процессию не разрешалось нести в руках траурные венки, не говоря уже о знаменах и транспарантах. 21 марта в Петербурге состоялись похороны рабочих, погибших 17 марта при взрыве паропроводных труб. Хоронили их по отдельности, и самая большая процессия сопровождала гроб с рабочим Романовым — первоначально попрощаться с однофамильцем царя пришло 500 человек, но по мере следования толпа увеличилась до 1000 человек, причем помимо рабочих в нее вливались и студенты. Полиция сопровождала процессию, пресекая попытки запеть «Вечную память» и снимая с гроба

[1] *Юров И.* История моей жизни. Рыбинск, 2017. С. 133–134.

[2] *Лурье М.* Политические и тюремные песни в начале XX века. Между пропагандой и фольклором // Русский политический фольклор. Исследования и публикации. М., 2013. С. 15.

[3] *Джекобсон М., Джекобсон Л.* Преступление и наказание в русском песенном фольклоре (до 1917). М., 2006. С. 14.

красные ленты, тем самым раздражая собравшихся[1]. На кладбище была попытка произнести политическую речь, что также было пресечено представителями власти.

Современные эмоциологические концепции хорошо коррелируют с теорией М. Вебера, выделяющей аффективно-эмоциональный тип социального действа. Данный аспект представляется крайне важным для понимания природы революционного движения, так как выводит последнее из-под давления политического или экономического детерминизма и позволяет рассматривать его в более широком социокультурном контексте.

Дискуссии о феномене «патриотического настроения 1914 г.»: эмоции, идеи, патологии

Западная историография давно обратила внимание на феномен патриотических настроений 1914 г., захлестнувших с началом Первой мировой войны все страны-участницы[2]. В Берлине, Париже, Лондоне проходили массовые патриотические манифестации. Исследователи отмечают, что в ряде случаев толпа демонстрировала признаки состояния аффекта, то впадая в эйфорию и проявляя верноподданнические настроения, то требуя расправы над врагами. Политические действия театрализировались, и это придавало манифестациям массовость. Д. Санборн, В.П. Булдаков пишут о праздничном, карнавальном эффекте патриотических манифестаций в июле 1914 г., которые не могли оставить равнодушными зрителей, завлекая случайных прохожих[3]. Массовый патриотизм, как правило, преподносится как общеевропейская тенденция, характерная для всех стран-участниц. Возникают попытки определить, какая же страна сумела особенно отличиться на этой почве. Большинство отечественных исследователей соглашаются с тем, что «летом 1914 г. в России не было того массового шовинистического психоза, который наблюдался на Западе» или что Россия «не достигла уровня немецкого организованного энтузиазма»[4]. Вероятно, сказались, с одной стороны, неразвитость институтов гражданского общества, а с другой — страхи российских властей перед стихийными общественными движениями — еще не была забыта картина массового рабочего протеста начала июля. При этом В.П. Булдаков в качестве российской

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 123. Д. 4, ч. 3. л. А. Л. 12 — 12 об.

[2] См., например: *Joll J.* The Origins of the First World War. London; New York, 1984; *Ferguson N.* The Pity of War. London, 1998.

[3] *Санборн Д.* Беспорядки среди призывников в 1914 г. и вопрос о русской нации: новый взгляд на проблему // Россия и Первая мировая война. СПб., 1999. С. 203–206; *Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г.* Война, породившая революцию. М., 2015. С. 32.

[4] *Тютюкин С.В.* Первая мировая война и революционный процесс в России... С. 240; *Айрапетов О.Р.* Участие Российской империи в Первой мировой войне (1914–1917). Т. 1. 1914 год. Начало. М., 2014. С. 60.

особенности отношения к войне справедливо отметил повышенную тягу к асоциальному поведению (пьяные бунты и погромы)[1]. Заметим, что не случайно петербургский градоначальник в конце концов запретил проведение уличных патриотических манифестаций после того, как они все чаще начали приобретать черты хулиганских погромов — сказывалась инерция погромных акций рабочих. Вместе с тем Хубертус Ян обращает внимание на то, что, в отличие от Запада, в России патриотические манифестации носили кратковременный характер[2]. При этом исследователь также относит их к стихийным, непредсказуемым событиям, вызывавшим подозрения властей.

Однако обстоятельные сравнения отечественного и западного патриотизма пока отсутствуют в историографии. При этом в качестве контраргументов версии о меньшем накале «шовинистического психоза» в России можно привести и серию погромов толпой немецких магазинов в разных городах империи (в том числе погром в германском посольстве в Петербурге 22 июля 1914 г.), и многочисленные письма российской творческой интеллигенции, в которых провозглашался отсталый характер немецкой культуры в сравнении с российской, запрет на исполнение классических музыкальных произведений немецких и австрийских композиторов и многое другое. В конце концов германофобия и шпиономания превратились в стратегию военных и гражданских властей по отвлечению внимания населения с внутренних проблем на внешние, но вряд ли оправданно винить в этом исключительно представителей власти. Конечно, специфика патриотической пропаганды и ее восприятия во многом зависит от культурных особенностей страны, однако патриотизм имеет и биологическую природу, связанную с бинарным противопоставлением «свой — чужой», а также выраженную эмоциональную подкладку, что позволяет говорить об универсальных категориях этого феномена. Следует заметить, что современные западные исследователи также считают сильно преувеличенными представления о патриотизме в Германии, Франции, Англии[3].

Тем не менее вопрос о распространении патриотических настроений в широких социальных слоях Российской империи остается дискуссионным. Советская историография исследовала не только тему «шовинистической заразы» в пролетарских рядах, но и динамику патриотизма среди буржуазии. В. С. Дякин выстраивал линеарную схему политических настроений либерально-буржуазных кругов: от «патриотического воодушевления» начального

---

[1] *Булдаков В. П.* Россия, 1914–1918 гг.: война, эмоции, революция // Россия в годы Первой мировой войны, 1914–1918: материалы Междунар. науч. конф. М., 2014. С. 17.

[2] *Ян Х.* Патриотический Петроград: культурная жизнь и массовые развлечения во время Первой мировой войны // Опыт мировых войн в истории России: сб. ст. Челябинск, 2007. С. 388.

[3] State, Society, and Mobilization in Europe during the First World War. Cambridge, 1997. P. 225; *Ferguson N.* The Pity War. London, 1998. P. 177; *Ziemann B.* War Experiences in Rural Germany. 1914–1923. Oxford; New York, 2007. P. 19–23.

периода войны через чувство «патриотической тревоги» весны 1915 г. до «всеобщего недовольства царизмом» осенью 1916 г.[1]

Консервативно настроенная часть общества искренне приветствовала царский манифест об объявлении войны. С.В. Тютюкин обозначил социально-групповые (классовые) различия в отношении к войне: «Угрюмое молчание народа красноречиво контрастировало с патриотической эйфорией, охватившей господствующие классы, часть интеллигенции, студенчества, городского мещанства, казачества. Основная же масса крестьян и рабочих восприняли войну как страшное стихийное бедствие»[2]. Большинство современных авторов, в том числе западные исследователи, соглашаются с данной формулой. Л. Хаймсон считает, что патриотизм был характерен в первую очередь для цензового общества, а если под его воздействие попадали рабочие, то исключительно в результате наступившей психологической растерянности и дезориентации[3]. Даже те историки, кто считает возможным говорить о патриотизме как характерной составляющей массовых настроений лета 1914 г., признают отличия психологии различных социальных групп. О.С. Поршнева не сильно изменила вывод Тютюкина, записав, что «в звуках патриотического энтузиазма первого месяца войны голоса крестьянства слышно почти не было»[4]. Вместе с тем исследовательница хоть и говорит о гетерогенности массового сознания на начальном этапе войны, в целом характеризует российское общество как объединенное патриотическими идеями и эмоциями, отмечает, что вступление России в войну «вызвало мощный подъем патриотических настроений, охвативший *все общественные слои* (выделено мной. — *В.А.*) и регионы страны». Это противоречит ранее выдвинутому тезису о гетерогенности массового сознания[5]. По-видимому, используемый массив источников и пестрота отраженных в них мнений не позволяют структурировать и более точно сформулировать собственное понимание проблемы, вынуждая выражаться чрезмерно расплывчатыми формулировками. В.П. Булдаков критикует такую позицию авторов, пытающихся «спрятаться от реальных сложностей истории за „глубокомысленным“ наукообразием»[6].

Е.С. Сенявская также полагает, что в самом начале войны российскому правительству «удалось обеспечить общий патриотический подъем», который

---

[1] *Дякин В.С.* Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны (1914–1917). Л., 1967. С. 70, 254.

[2] *Тютюкин С.В.* Первая мировая война и революционный процесс в России… С. 240.

[3] *Хаймсон Л.* Развитие политического и социального кризиса в России в период от кануна Первой мировой войны до февральской революции // Россия и Первая мировая война (материалы международного научного коллоквиума). СПб., 1999. С. 27.

[4] *Поршнева О.С.* Крестьяне, рабочие и солдаты России накануне и в годы Первой мировой войны. М., 2004. С. 88.

[5] *Поршнева О.С.* «Настроение 1914 года» в России как феномен истории и историографии // Российская история. 2010. № 2. С. 185.

[6] *Булдаков В.П.* Август 1914-го: природа «патриотических» настроений // Вестник Тверского государственного университета. Серия «История». 2014. № 4. С. 11.

затем иссяк по причине ошибок пропаганды[1]. Автор справедливо обращает внимание на то, что абстрактность и высокопарность официальной пропагандистской риторики не находили сочувствия в сердцах простых людей, однако при этом упускает из виду, что в низах война изначально вызывала скептическое отношение. Вслед за А. А. Брусиловым Сенявская пишет о малограмотности и политической неподкованности крестьян как главной причине отсутствия патриотизма и отмечает, что «низкий образовательный уровень, культурная ограниченность, зачастую даже мировоззренческая примитивность солдат требовали адекватных форм обращения к личному составу армии: простоты идей, близких народному сознанию понятийных категорий, упрощенной лексики, разговорного языка»[2]. Вместе с тем вряд ли стоит переоценивать значение пропаганды в поддержании патриотических настроений. Имея эмоциональную природу, они рано или поздно иссякают под воздействием отягчающих психологических факторов военного времени. Тем не менее обильная пропаганда прошлого влияла не только на определенные круги современников Первой мировой, но и на современных историков, попадающих под «обаяние» документа. При этом исследования средств психологического воздействия являются важной и перспективной темой. Авторы отмечают, что война привела к росту интереса крестьян к политическим вопросам, что вызвало увеличение числа подписчиков газет. В результате политическая грамотность народа возросла, и защита страны от врага стала осознанной необходимостью[3]. Однако, учитывая роль печати в распространении патриотизма, данные настроения можно считать «привнесенными» в массовое сознание части российских крестьян, у которых отношение к войне формировалось под воздействием разных факторов: особенностей проводившейся властями мобилизации, вспомоществования семьям солдат, призванных на войну, реквизиции скота и лошадей. Также нельзя не учитывать ментальных особенностей сельских жителей, на отношение к войне которых оказывали влияние религиозно-мистические представления.

При том что неграмотность российских крестьян действительно создавала определенные препятствия для пропаганды (впрочем, не будем забывать о распространении лубочных открыток и плакатов, которые компенсировали недоступность печатного слова), не стоит измерять патриотические настроения степенью образованности ее носителей, ведь грамотному человеку в большей степени свойственно критическое отношение к действительности. Более верным будет иметь в виду мировоззренческие основы, формирующиеся в процессе хозяйственной и социальной деятельности субъекта. Именно они создавали

---

[1] *Сенявская Е. С.* Психология войны в XX веке. М., 1999. С. 171–172.

[2] *Сенявская Е. С.* Противники России в войнах XX века. Эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. М., 2006. С. 66.

[3] *Александров Н. М.* Общественное сознание сельского населения в начальный период Первой мировой войны (по материалам Костромской губернии) // Россия в годы Первой мировой войны, 1914–1918 гг.: Материалы Международной научной конференции. М., 2014. С. 142–144.

определенный образ войны, которая в глазах одних была битвой за цивилизацию, культуру, а других — за землю. Также с этой точки зрения важно учесть огромное влияние начавшейся войны на течение жизни определенных групп населения. Очевидно, что мобилизация перевернула повседневность всех призванных на войну, однако если для части художественной интеллигенции война казалась возможностью более действенного служения народу, отечеству, то для подавляющего числа крестьян она означала крайне несвоевременное сворачивание сельскохозяйственных работ, что могло поставить под угрозу выживание их семей. В декабре 1914 г. Ф. Сологуб отметил эти два разных взгляда на войну: «Когда мы думаем о войне, мы думаем не столько о прерванном для войны труде мужика тамбовского, или ганноверского, или бретонского, сколько о разрушенном Лувене, о Реймсском соборе, о нехороших поступках курортных германских врачей, о газетных статьях германских публицистов, поэтов, ученых, об их ненависти к нам, русским, которых они зовут варварами, и о том особенно, оказалась ли германская культура на высоте тех гуманных идей, которыми мы, среди всего неустройства и зла жизни нашей, так дорожим. Словом, думаем обо всей роскоши и накипи интеллигентского бытия. И вот в этом узле для нас завязывается трагедия, которая рязанскому мужику так же мало понятна и доступна, как и другие наши радости и огорчения, но которая нам дошла до сердца и исторгает из нас то гневные, то скорбные речи»[1].

Признание всеобщего патриотического энтузиазма со вступлением России в войну порождает противоречие с протестной активностью кануна войны по крайней мере рабочей среды. В этом случае пришлось бы признать некую волшебную метаморфозу, случившуюся с пролетариатом. Впрочем, некоторые историки поддаются искушению упростить психологическую атмосферу июля — августа 1914 г., не далеко уходя от ленинского тезиса о захватившей рабочих шовинистической заразе. Так, Н. В. Савинова наивно полагает: «Первая мировая война обусловила всплеск патриотических настроений среди населения Российской империи. В день ее объявления тысячи рабочих, которые еще накануне участвовали в революционных забастовках, направились по улицам различных городов с патриотическими манифестациями»[2]. Вместе с тем критичное отношение к источникам позволяет отделить исторические факты от патриотической пропаганды.

Большое значение имеет ввод в оборот новых источников, позволяющих лучше понять психологию современников. Н. М. Александров, исследующий настроения населения Костромской губернии, обращается к анкетам Костромского научного общества по изучению края, с помощью которых составители пытались «подметить то русло, по которому в связи с войной начинает течь

---

[1] *Сологуб Ф.* Выбор ориентации // Отечество. 1914. № 6. 14 декабря.

[2] *Савинова Н. В.* Антинемецкие настроения населения Российской империи в 1914–1917 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2007. Сер. 2. Вып. 2. С. 179.

жизнь народа». Историк в итоге приходит к выводу, что «в общественном сознании российской деревни в этот период отсутствовали элементы, указывающие на ее нелояльность власти»[1]. Однако, во-первых, этот вывод противоречит массовым источникам — например, протоколам, составленным по обвинению крестьян в оскорблении императора, о которых речь пойдет ниже, материалам перлюстрации, а во-вторых, автор сам признается, что ответы дали лишь 8% респондентов. Очевидно, что нелояльно настроенные крестьяне опасались принимать участие в анкетировании, не говоря уже об основной массе неграмотного народа. В первую очередь именно грамотные участники анкетирования, бывшие объектом газетной пропаганды, зафиксировали свое отношение к войне и власти. В некоторых случаях и вовсе печатная пропаганда выдается за подлинные настроения. Так, Д. Г. Гужва патриотическо-пропагандистские публикации центральной прессы считает следствием роста патриотических настроений в обществе, не проводя при этом различий между публикациями известных общественных деятелей и политиков и настроениями рядовых подданных[2].

Следует отметить, что современники отмечали условность проводимых опросов в среде крестьян и раненых солдат. В 1915 г. Ф. Сологуб, сохранявший оптимизм по поводу роста народного энтузиазма и перспектив войны, тем не менее опубликовал статью, в которой весьма точно подметил психологию мужика, не позволяющую верить всевозможным опросам и анкетам:

> Русский мужик, воюющий ныне, сохранил еще в значительной степени привычку быть недоверчивым и осторожным в разговорах с барами. Говорит то, что может понравиться барину, и думает свое, — Бог его знает, что он думает.
>
> — Ну, что, побьем немца?
>
> — Как есть, побьем!
>
> — Ну, что, не справиться нам с немцем?
>
> — Он, немец-то, хитер, с ним не так-то просто!
>
> Бодрый спрашивает выздоравливающего:
>
> — Рвешься в бой?
>
> — Да уж только бы добраться до немчуры, мы ему покажем!
>
> Того же солдата спросит другой иным тоном:
>
> — Не хочется опять в бой?
>
> — Да уж мы свое перевоевали. Известно, кто раз в бою побывал, тому боязно.
>
> И каждый спрашивающий из расспросов выносит свое же. И все загадочен лик народный. Кому же верить?[3]

[1] *Александров Н. М.* Общественное сознание сельского населения в начальный период Первой мировой войны. С. 146.

[2] *Гужва Д. Г.* Военная печать как основное средство укрепления морального духа военнослужащих русской армии в годы Великой войны // Россия в годы Первой мировой войны… С. 574.

[3] Биржевые ведомости. Утр. вып. 1915. 22 июня.

Другим историческим источником, способным при некритическом подходе ввести исследователя в заблуждение, являются донесения чинов жандармского управления. Так, В. В. Крайкин использует рапорты жандармских чинов о прошедших в Орловской губернии патриотических манифестациях 17–21 июля и делает вывод о том, что большая часть населения восприняла начало войны с энтузиазмом[1]. При этом автор отмечает, что в последующие недели и месяцы подобных манифестаций не повторялось. В связи с этим было бы уместно задуматься об организации патриотических мероприятий членами правых партий, тем более что упоминаются косвенные признаки — хорошая обеспеченность манифестантов средствами визуального воздействия (царские портреты, хоругви); обращает на себя внимание деятельность представителей церкви, устраивавших молебны перед началом или по окончании патриотических актов. Однако Крайкин игнорирует подобные вопросы.

Особенный интерес к патриотической тематике наблюдался в работах отечественных авторов в 2014 г. Он был связан со столетней годовщиной начала Первой мировой войны, а также с известными международными политическими событиями. Вкупе и то и другое приводило авторов к преувеличению патриотических настроений, лишний раз доказывая готовность части исторического сообщества интерпретировать события прошлого в современном ключе, навязывая им собственную логику. О. С. Поршнева очевидно идеализировала общественное сознание лета 1914 г., приписывая современникам, несмотря на свои прошлые куда более сдержанные оценки, характерные патриотические стереотипы: «Религиозный подъем, жертвенность, преодоление эгоизма во имя общих интересов были одними из проявлений духовной атмосферы начала войны… В полной мере эти настроения проявлялись и в России, имея такие поведенческие измерения, как участие в мобилизации, добровольческом, благотворительном движении»[2]. Следует заметить, что попытка доказать высокий патриотический подъем добровольчеством и участием населения в благотворительности является весьма распространенным приемом. И. Б. Белова, исследовавшая патриотические настроения на материалах Калужской и Орловской губерний, выводит их из участия населения в мобилизации: «Мобилизационные мероприятия 1914 г. в регионе, как и по всей стране, прошли организованно, чему, без сомнения, способствовал общий подъем патриотических настроений»[3]. При этом имевшие место случаи пьяных бунтов, в которых участие принимали как мобилизованные, так и местное население, не попавшее

---

[1] *Крайкин В. В.* Начальный период Первой мировой войны в сознании провинциальных жителей (на материале Орловской губернии) // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. № 96. С. 52.

[2] *Поршнева О. С.* Эволюция общественных настроений в России в годы Первой мировой войны (1914 — начало 1917 г.) // Россия в годы Первой мировой войны, 1914–1918… С. 136.

[3] *Белова И. Б.* Первая мировая война и российская провинция: 1914 — февраль 1917 г. По материалам Калужской и Орловской губерний. Дис. … канд. ист. наук. Калуга, 2007. С. 231.

под призыв, она считает «не носящими массового характера» и не противоречащими тезису о высоком патриотизме ввиду того, что они не имели в своей основе пораженческих настроений. Однако иных взглядов придерживается Д. Санборн, считающий, что пьяные бунты новобранцев выходили за рамки простого поиска алкоголя, а помимо прочего означали протест против войны[1]. Вероятно, точка зрения Санборна ближе к истине: конечно, пьяные беспорядки не были формой антивоенных выступлений, так как мобилизованные в своей массе фаталически воспринимали призыв на войну, однако они являлись формой протеста против власти, нарушавшей сложившиеся традиции проводов новобранцев. Повсеместно погромщики вступали в столкновения с полицией, повторяя сценарии периода рабочей революционной борьбы. В некоторых местностях вышедшие из-под контроля толпы мобилизованных от погрома винных складов перешли к погрому помещичьих имений. Более подробно особенности проводившейся мобилизации и пьяные беспорядки мы рассмотрим ниже.

Санборн не считает возможным вести речь о «всеобщем патриотическом подъеме» и, в частности, критикует Е.С. Сенявскую и Х. Яна за то, что они используют слишком узкую источниковую базу и не включают события, подобные пьяным беспорядкам, в более широкий контекст. Санборн пытается структурировать общественные настроения по поводу войны и выделяет три распространенных типа реакций: 1) частные реакции на угрозу войны и трудности, которые она влекла за собой; 2) гласная общественная поддержка; 3) активное общественное неприятие[2]. При этом сам автор явно переоценивает степень гражданского самосознания российского крестьянства и его сознательность в деле неприятия войны, оспаривая распространенный тезис о том, что российскому крестьянству не хватало национальной самоидентификации. Все же большинство современных авторов соглашаются с тем, что «начало войны было воспринято широким общественным мнением как свершившийся факт, как данность, однако происхождение большой войны и преследуемые в ней цели массой российского населения так и остались непонятыми… Учитывая уровень гражданского сознания, культуры и образованности народных масс, трудно было рассчитывать на осмысленное и мотивированное отношение большинства к войне»[3].

Изучая патриотическую деятельность на Дальнем Востоке, Т.Я. Иконникова обратила внимание, что хотя начало войны с Германией стало неожиданностью

---

[1] *Санборн Д.* Беспорядки среди призывников в 1914 г. и вопрос о русской нации: новый взгляд на проблему // Россия и Первая мировая война (материалы международного научного коллоквиума). СПб., 1999. С. 208–209.

[2] Там же. С. 206.

[3] *Гребенкин И.Н.* «За что воюем?» Национальные интересы и цели России в общественном восприятии // Россия в годы Первой мировой войны, 1914–1918: материалы Международной науч. конф. М., 2014. С. 44.

для местного населения, которое полагало, что очередная война непременно должна быть с Японией, оно почти мгновенно включилось в мощные патриотические акции, «показавшие стремление поддержать царя»[1]. Вместе с тем автор указывает и на стремление части населения уклониться от военного призыва, что плохо коррелируется с ее предыдущими обобщениями. Е.Д. Борщукова постаралась выявить разные оттенки патриотических настроений и указала на два их вида: «патриотизм государственный, связанный с осуществлением политики Российской империи, и народный, возникший на волне противодействия вражескому вторжению на земли нашей страны», а также справедливо обратила внимание, что «архаика общественных отношений налагала определенные особенности на формирование патриотических настроений населения страны». Исследовательница пришла к выводу, что патриотизм являлся мощным мобилизующим фактором и улучшал боевой потенциал армии[2]. Однако последний вывод противоречит тезису о сохранении архаичных форм сознания, ставших частью патриотических настроений, так как они мешали консолидации общества, понижали и боевой потенциал русской армии. Общая ошибка авторов, рассуждающих о патриотизме в 1914 г., — недостаточное использование массовых источников, позволяющих вскрыть пласты массового сознания широких слоев населения. Как будет подробнее показано в дальнейшем, архаичные формы сознания способствовали формированию коллаборационистских настроений среди крестьян уже в первые месяцы войны. Одна из причин — несоответствие народных, патерналистских представлений о царе образу Николая II, которого народная молва лишала волевых качеств. Как верно заметил Б.И. Колоницкий, «в основе антимонархических настроений многих современников лежала патриархальная, по сути монархическая ментальность: императору в вину вменялось то, что он не был „настоящим“ царем»[3]. В.П. Булдаков вместо «патриархальной ментальности» предпочитает употребление термина «патернализм», но обращает внимание на скрытый в нем потенциал архаичного бунтарства, а также на «латентный конфликт между „городской“ (чиновничьей, предпринимательской, „барской“) и „сельской“ (традиционной) культурами», который в условиях войны приобретал антивоенную и антиправительственную направленность[4].

Амбивалентность патриотических настроений подразумевает неоднозначность не только отношения к войне или власти, но и соотношения таких понятий, как «власть» и «отечество». Патернализм предполагает их отождествление,

[1] *Иконникова Т.Я.* Дальневосточный тыл в годы Первой мировой войны, 1914–1918. Дис. … канд. ист. наук. Хабаровск, 1999. С. 399.

[2] *Борщукова Е.Д.* Патриотические настроения россиян в годы Первой мировой войны. Автореферат дис. … канд. ист. наук. СПб., 2002.

[3] *Колоницкий Б.И.* К изучению механизмов десакрализации монархии (слухи и «политическая порнография» в годы Первой мировой войны) // Историк и революция. СПб., 1999. С. 86.

[4] *Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г.* Война, породившая революцию. М., 2015. С. 332.

в то время как более развитое гражданское сознание — разделение. Вместе с тем С. В. Тютюкин настаивал на том, что в значительной части российского общества понятия «власть» и «отечество» были отделены друг от друга[1]. Можно согласиться, что в крестьянском сознании это происходило в процессе десакрализации царской власти, кризиса патриархально-патерналистского сознания. С. В. Леонов рассматривает патриотические настроения 1914 г. в условиях, когда «традиционный патриотизм» переживал кризис, а новый «гражданский патриотизм» только формировался[2]. При этом автор хоть и считает имеющиеся в источниках (прежде всего материалах перлюстрации) свидетельства в пользу отсутствия в российском обществе патриотизма авторскими преувеличениями, тем не менее вслед за Тютюкиным отмечает, во-первых, прагматический характер крестьянского патриотизма («Ежели немец прет, то как же не защищаться?»), а во-вторых — его изначальную обреченность на затухание вследствие разрушения лежащих в его основе традиционных ценностей (монархизма, православности и пр.)[3]. Булдаков предпочитает начинать разговор о патриотизме (который он берет в кавычки) не с социально-групповых или идеологических отличий, а с индивидуально-психологических, обращая внимание, что в одном человеке может умещаться несколько уровней патриотизма (естественного, т. е. природного, и противоестественного), способных к своеобразным метаморфозам: «Не приходится сомневаться, что в основе всякого патриотизма лежит естественное ощущение неразрывной — по месту рождения и взросления — связи с определенной культурной средой. Всякий человек — „природный“ патриот. Однако при известных условиях патриотическое чувство может испытывать противоестественные метаморфозы»[4].

Исследователи при разговоре о патриотизме анализ массового сознания часто подменяют описанием так называемой патриотической деятельности — мобилизации, благотворительности. Однако они не являются безусловным доказательством патриотических настроений. В ряде случаев авторы считают самодостаточным факт участия в помощи фронту, игнорируя выяснение мотивов участников благотворительности (не говоря уже о том, что искренняя филантропическая деятельность совсем не обязательно совпадает с поддержкой политики власти и сочувствием военным планам России). Известно, что некоторые частные фирмы, особенно принадлежавшие российским подданным с немецкими фамилиями, вынуждены были «откупаться» от властей активной благотворительностью. Например в условиях усиливавшейся критики

---

[1] *Тютюкин С. В.* Первая мировая война и революционный процесс в России (Роль национально-патриотического фактора) // Первая мировая война. Пролог XX века. М., 1998. С. 240.

[2] *Леонов С. В.* Эволюция массового сознания в России в Первую мировую войну // Россия в мировых войнах XX века. Материалы научной конференции. М.; Курск, 2002. С. 61–73.

[3] Там же. С. 67.

[4] *Булдаков В. П.* Август 1914-го: природа «патриотических» настроений // Вестник Тверского государственного университета. Серия «История». 2014. № 4. С. 18.

кинопредприятий, обвинявшихся в разлагающем влиянии на население (некоторые губернаторы и архиереи призывали к запрету кинематографа), ряд электротеатров был вынужден устраивать в своих помещениях благотворительные вечера, жертвовать часть своих доходов соответствующим организациям под угрозой закрытия. А. Ковалова прямо указала, что владельцев кинотеатров в годы Первой мировой войны власти заставляли жертвовать деньги[1]. Т.Г. Леонтьева, не отрицая общественного патриотического подъема, обратила внимание на корыстные интересы ряда патриотов-энтузиастов, например на то, как санитары расхищали продукты, предназначавшиеся раненым, а также спирт, резко поднявшийся в цене после введения сухого закона[2]. Молодой врач Ф.О. Краузе писал в августе 1914 г. из действующей армии: «Что для многих коллег война — это только способ всякими путями урвать от казны лишний кусок, это верно»[3]. С.В. Куликов обращает внимание, что объемы государственного финансирования благотворительной деятельности Земгора не позволяют рассматривать эту деятельность в качестве исключительно филантропической деятельности[4]. С Куликовым полемизирует Г.Н. Ульянова, обращая внимание на народные пожертвования, приходившие Земгору, но вместе с тем, также не касаясь проблемы меркантильных интересов в благотворительности и идеализируя, романтизируя тем самым эту деятельность[5]. Тему благотворительной активности Земгора, по всей видимости, нельзя вырывать из политического контекста — усилившегося в годы Первой мировой войны противостояния общественных и государственных институтов на фоне усугублявшейся хозяйственно-экономической ситуации. Ряд консервативных деятелей, испытывавших страх перед общественной активностью, усматривали в деятельности Земгора, военно-промышленных комитетов подрыв авторитета верховной власти. Несмотря на явное преувеличение «опасности», ряд либеральных и демократических лидеров полагали, что в результате активизации работы Земгора и ВПК в дальнейшем от государства можно будет добиться расширения роли общественных организаций в политической жизни страны. А.Б. Асташов обратил внимание, что «организационная структура ВСГ (Всероссийского союза городов. — *В.А.*) представляла собой зародыш

---

[1] *Ковалова А.* Российские кинотеатры в годы Первой мировой войны // Первая мировая война в зеркале кинематографа. Материалы международной научно-практической конференции. М., 2014. С. 56.

[2] *Леонтьева Т.Г.* «Победа зависит не от количества штыков и снарядов»: Настроения Тверской провинции в 1914–1917 гг. // Вестник Тверского государственного университета. Серия «История». 2014. № 1. С. 30.

[3] *Краузе Ф.О.* Письма с Первой мировой (1914–1917). СПб., 2017. С. 36.

[4] *Куликов С.В.* Финансовые аспекты деятельности Российских благотворительных организаций военного времени (июль 1914 — февраль 1917 г.) // Благотворительность в истории России. Новые документы и исследования. СПб., 2008. С. 369–396.

[5] *Ульянова Г.Н.* Благотворительная помощь общества жертвам войны в 1914–1918 гг. // Россия в годы Первой мировой войны, 1914–1918: материалы Международной научной конференции. М., 2014. С. 230–237.

правового государства на уровне местной власти», что вступало в противоречие с политической системой Российской империи[1]. В силу указанных политических обстоятельств патриотическая деятельность «снизу» и патриотическая деятельность «сверху» вступали в нездоровые конкурентные отношения, что способствовало падению авторитета государственной власти и общей революционизации общества.

Кроме того, отдельной темой является благотворительность в отношении беженцев, часть которых — например, депортированные евреи — были не столько жертвами войны, сколько жертвами политики власти, затеявшей насильственное переселение людей, безосновательно подозревавшихся в массовом шпионаже. Поддержка этих наиболее уязвимых групп населения может рассматриваться как некая естественная стратегия выживания общества в экстремальных условиях, что являлось безмолвным укором в адрес высшей власти.

Добровольческое движение также не выступает безусловным доказательством высокого патриотического подъема. Успехи мобилизации были подпорчены усилившимся с началом мировой войны дезертирством из армии, что убедительно показал А. Б. Асташов[2]. В. П. Булдаков отметил, что добровольческое движение частично объяснялось желанием вольноопределяющихся самостоятельно выбирать род войск[3]. М. В. Оськин упоминает о шкурном интересе ряда добровольцев (хотя и считает это исключением из правила)[4]. В воспоминаниях Ф. А. Степуна, И. Зырянова также упоминается о подозрительном отношении солдат к охотникам и вольноопределяющимся[5]. В отношении некоторых студенток, отправившихся на фронт в качестве сестер милосердия, можно и вовсе говорить о сексуальных перверсиях (что подробнее будет показано ниже).

На теме благотворительности пытались наживаться отдельные дельцы. Генерал Н. А. Епанчин расследовал в Киевском военном округе дело чиновника А. Мошина, который под видом организации благотворительных аукционов выпрашивал у известных художников картины, этюды. Письма художникам под видом сестры милосердия писала его сожительница[6]. Таких случаев было достаточно много. К сожалению, подобная «оборотная сторона» российского патриотизма в целом не получила должного освещения в исследованиях и пока еще уступает «патриотической историографии».

---

[1] *Асташов А. Б.* Всероссийский союз городов. 1914–1918 гг. Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1994. С. 13.

[2] *Асташов А. Б.* Дезертирство и борьба с ним в царской армии в годы Первой мировой войны // Российская история. 2011. № 4. С. 44.

[3] *Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г.* Война, породившая революцию… С. 320.

[4] *Оськин М. В.* Неизвестные трагедии Первой мировой. Пленные. Дезертиры. Беженцы. М., 2011. С. 237.

[5] *Степун Ф. А.* Из писем прапорщика-артиллериста. М., 1918. С. 76; *Арамилев В. В.* В дыму войны. Записки вольноопределяющегося. М., 2015.

[6] *Епанчин Н. А.* На службе трех императоров. Воспоминания. М., 1996. С. 449.

Проблема изучения настроений широких социальных слоев заключается как в поиске репрезентативной источниковой базы, так и в выработке определенной методологии. Коль скоро речь идет о психологии, то психологический подход должен применяться и к самому источнику. В этом случае донесения чинов жандармского управления, например, которые чаще всего используются в качестве объективного, стороннего свидетельства о настроениях провинциального населения, оказываются не такими уж беспристрастными, как может показаться на первый взгляд: будучи носителями верноподданнической психологии, они одними из первых поддались соответствующим ура-патриотическим настроениям, сквозь призму которых рассматривали манифестации, прошедшие в большинстве российских городов после объявления войны. Вместе с тем более пристальный взгляд на эти манифестации позволяет различить в них самые разные оттенки патриотизма, имеющие в том числе антимонархическую направленность. Также определенные сложности возникают при работе с эпистолярным жанром, источниками личного происхождения — появляется искушение выдать яркое свидетельство одного современника за настроения определенной группы. Вероятно, массовые настроения следует реконструировать по документам, оставленным рядовыми обывателями, впитавшими в себя оценки и мнения окружающего большинства, в то время как высказывания крупных политиков и общественных деятелей несут на себе сильную печать субъективизма, авторской концепции. С методологической точки зрения также важно определить структуру изучаемого социума для того, чтобы понять как общие, так и различные элементы общественного сознания отдельных групп.

В широком смысле дискуссия о патриотизме лета 1914 г. сводится к вопросу об отношении к войне. Но с этой точки зрения необходимо описать весь спектр эмоций, царивших в российском обществе и отдельных его группах. Кроме того, настроения 1914 г. необходимо исследовать в более широком контексте дискурса о войне предшествующего периода. С. В. Тютюкин, считая, что война вызвала бурный подъем патриотизма, задается вопросом, почему патриотизм не смог «сцементировать российское общество»[1]. Историк обращает внимание на важный момент, который нельзя игнорировать при описании настроений лета 1914 г.: накануне войны представители либеральных и консервативных кругов писали, что война может вызвать в России революцию. Тем самым в настроениях 1914 г. заранее было отведено место страху. Но страх 1914 г. был связан не только с опасениями перед революцией или иными глобальными катаклизмами: обывателей мучила тревога за свое ближайшее будущее и судьбу своих близких, в первую очередь тех, кому предстояло идти на войну. Британский историк Н. Фергюсон обращает внимание на религиозный пласт патриотических

[1] *Тютюкин С. В.* Первая мировая война и революционный процесс в России (Роль национально-патриотического фактора) // Первая мировая война. Пролог XX века. М., 1998. С. 236.

настроений и называет их эсхатологическим страхом и тревогой[1]. В.П. Булдаков соглашается с данной позицией, отмечая, что людьми во время массовых акций часто руководил «не столько патриотический энтузиазм, сколько потребность заглушить испуг»[2]. При этом исследователь дополняет тему эсхатологических настроений, когда пишет о присутствии в определенных кругах интеллигенции ощущения «оптимистического апокалипсиса», связанного с надеждами на то, что война приведет эпоху Просвещения к своему логическому итогу — наступлению века Разума, Прогресса, Счастья[3].

Другой распространенной эмоцией лета 1914 г. следует признать любопытство (интерес). Именно оно гнало на улицу часть подданных во время проходивших манифестаций. Не случайно современники отмечали большое количество детей и подростков на улицах городов в дни демонстраций. Д. Санборн, пытаясь понять психологические мотивы участия людей в массовых патриотических акциях, приходит к выводу, что жители небольших провинциальных городов просто не могли проигнорировать организованные шествия, которые стали частью новой городской повседневности, приметой нового времени, пришедшей на смену рутинным заботам прошлого: «Трудно представить, как многие жители… могли остаться дома и заниматься стиркой белья в самый волнующий день года, независимо от того, что думали о войне»[4]. Даже в губернском Минске патриотическое поведение использовалось как средство борьбы со скукой и тишиной предшествующего времени: «В последние дни наш тихий, скучный Минск в связи с разыгравшимися на мировой арене событиями засуетился… На улицах, в ресторанах, кофейнях только и слышны слова: „война, Сербия, Австрия“. И все превратились в тонких знатоков политики, всякий уверенно и „авторитетно“ высказывает свои дипломатические взгляды… Интерес к газетам необычайный»[5]. Корреспонденты отмечали, что толпа выкрикивала те или иные лозунги от скуки и из любопытства.

Студент Московского университета Д. Фурманов так отозвался о прошедшей 17 июля 1914 г. патриотической манифестации в Москве по поводу объявленной мобилизации: «Был я в этой грандиозной манифестации… Скверное у меня осталось впечатление. Подъем духа у некоторых, может, и очень большой, чувство, может, искреннее, глубокое и неудержимое — но в большинстве что-то тут фальшивое, деланное. Видно, что многие идут из любви к шуму и толкотне»[6]. Со студентом был согласен и генерал: «Патриотические

---

[1] *Ferguson N.* The Pity of War. London, 1998.

[2] *Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г.* Война, породившая революцию… С. 33.

[3] *Булдаков В.П.* Россия, 1914–1918 гг.: война, эмоции, революция // Россия в годы Первой мировой войны, 1914–1918: материалы Международной науч. конф. М., 2014. С. 12.

[4] *Санборн Д.* Беспорядки среди призывников… С. 206.

[5] Минская газета-копейка. 1914. 17 июля.

[6] *Фурманов Д.* Дневники (1910–1921). Собр. соч. М., 1961. Т. 4. С. 47.

манифестации и взрывы энтузиазма являлись, по-видимому, лишь дешевым фасадом, за которым скрывалась невзрачная действительность»[1]. «Шум и толкотня» приходили на смену довоенной тишине, царившей в тех городах, которые не были охвачены рабочим движением. При этом нельзя утверждать, что такие же стремления отсутствовали у пролетариев больших промышленных центров, так как объявление войны, безусловно, взволновало всех подданных. М. Стейнберг, рассмотрев доминировавшие социальные эмоции в российском обществе начала XX в., пришел к выводу о господстве накануне Первой мировой войны меланхолии, которая была мрачнее меланхолии в России XIX в. и мрачнее современных ей западноевропейских настроений[2]. О затянувшемся после Первой революции психологическом кризисе упоминает С.В. Леонов[3]. С этой стороны настроения лета 1914 г. можно рассмотреть в русле перехода от затянувшейся меланхолии к возбуждению, гипертимии: определенные круги общества (в первую очередь горожане, так как именно город был рассадником меланхолии) проснулись от спячки и воодушевились открывавшимися перспективами.

Тем самым в патриотических настроениях лета 1914 г. обнаруживается эмоциональная основа, состоящая из негативных и позитивных эмоций. Вероятно, первоначальными можно считать интерес и страх, причем первый приводил к радости (воодушевлению, эйфории), а второй к ненависти (проявлявшейся в германофобии). Эта дуалистическо-амбивалентная природа патриотизма определяла многообразие оттенков мышления и патриотических концептов. Не случайно один из современников назвал это время «днями великого гнева, торжественного настроения»[4] — сочетание противоположностей затрудняло выработку единого патриотического концепта.

Многие современники если до конца и не осознавали, то чувствовали, что в условиях всеобщего «гнева и торжества» эмоции захлестывали обывателей, подменяя рациональное мышление восторженно-чувственным восприятием действительности. А затянувшиеся или чересчур сильные эмоции в конце концов достигают, согласно психологической теории, так называемого «токсического уровня», при котором одна эмоция доминирует и тормозит появление других, разрушая контакт организма со средой, сужает восприятие до тоннельного, ведет к потере ориентации и способности к тестированию реальности, подмене реальности представлениями и фантазиями о ней. При этом

---

[1] *Данилов Ю.Н.* Россия в мировой войне 1914–1915 гг. С. 112.

[2] *Стейнберг М.* Меланхолия Нового времени: дискурс о социальных эмоциях между двумя революциями // Российская империя чувств: Подходы к культурной истории эмоций. Сб. статей / Ред. Я. Плампер, Ш. Шахадат и М. Эли. М., 2010. С. 202–226.

[3] *Леонов С.В.* Эволюция массового сознания в России в Первую мировую войну // Россия в мировых войнах XX века. Материалы научной конференции. М.; Курск, 2002. С. 62.

[4] *Коральник А.* Германская идея // Русская мысль. 1914. № 12. С. 42.

возникает предельное возбуждение и состояние непереносимости данной эмоции. Следствием становится стресс, развивающийся до состояния невроза или психоза. Нужно заметить, что психиатрическая терминология использовалась современниками при описании общей атмосферы кануна и первых месяцев войны не случайно. «Обрушившаяся на Европу война замечательна тем, что в самом характере ее начальных действий чувствовались элементы политической неврастении или даже психопатии», — писал в августе 1914 г. Б. Эйхенбаум[1]. Токсический уровень патриотизма оборачивался психическими отклонениями. Начало Первой мировой войны ознаменовалось увеличением числа сумасшедших как в городских больницах в тылу, так и на фронте (более подробно об этом пойдет речь в соответствующей главе)[2]. Одной из форм массового психоза стала шпиономания, выливавшаяся у отдельных подданных в слуховые и зрительные галлюцинации. Даже сотрудники Департамента полиции обращали внимание, что в среде ярых патриотов особенно много сумасшедших. В связи с этим уместно говорить о психопатологической форме патриотизма. «Этот современный взрыв патриотических чувств я не могу назвать иначе, как психозом всеобщим, массовым», — писал обыватель из Иркутска в Одессу в августе 1914 г.[3] Заметно меняется лексика и здоровых людей, в письменной речи которых появляются абсурдные, эмоционально окрашенные метафоры, гиперболы. Один из современников без тени иронии писал в сентябре 1914 г.: «Деревня и город неузнаваемы… Бабы, дети, скотина повеселели, ожили, оделись и стали по-человечески говорить»[4].

Идейные противоречия «патриотизма 1914 г.» и психологическая структура массового «патриотического» сознания

Начавшаяся война вызвала брожение умов российской интеллигенции. У кого-то патриотическая эйфория своей искусственностью провоцировала протест и мысли о противоречивости патриотизма в случаях, когда обнаруживается противостояние народа и власти. «Что такое отечество? Народ или государство? Все вместе. Но если я ненавижу *государство* российское? Если

---

[1] *Эйхенбаум Б.* Проблема вечного мира // Русская мысль. 1914. № 8. С. 117.

[2] *Фридлендер К.* Несколько аспектов шелл-шока в России, 1914–1916 // Россия и Первая мировая война: Материалы международного научного коллоквиума. СПб., 1999. С. 315–325; *Плампер Я.* Страх в русской армии в 1878–1917 гг.: К истории медиализации одной эмоции // Опыт мировых войн в истории России: сб. ст. Челябинск, 2007. С. 453–460; *Асташов А. Б.* Русский фронт в 1914 — начале 1917 года: военный опыт и современность. М., 2014; *Аксенов В. Б.* «Революционный психоз»: массовая эйфория и нервно-психические расстройства в 1917 году // Материалы Международной научной конференции. М., 2017. С. 465–474; *Merridale C.* The Collective Mind: Trauma and Shell-Shock in Twentieth-Century Russia // Journal of Contemporary History. 35. Heft 1. (January 2000). P. 39–55.

[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 977. Л. 28.

[4] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 995. Л. 1497.

оно — против моего народа на моей земле?»[1] — рассуждала З. Н. Гиппиус 2 августа 1914 г., приходя к выводу, что в настоящее время такие мысли высказывать рано. Тем не менее на одном из собраний у М. А. Славинского поэтесса произнесла пацифистскую речь, доказывая, что любая война при любом исходе сеет зародыши новой войны. Подобная позиция преследовалась властями. Осенью 1914 г. под следствием оказалась группа толстовцев, распространявших воззвания «Опомнитесь, люди-братья!» и «Милые братья и сестры!» Автором первого из них был бывший секретарь Л. Н. Толстого В. Ф. Булгаков, гостивший в Ясной Поляне у С. А. Толстой. Последняя вспоминала, что полиция ночью 26 октября ворвалась в дом и устроила Булгакову допрос, а спустя два дня арестовала толстовца вместе с 27 подписантами. В первом воззвании говорилось: «Совершается страшное дело. Сотни тысяч, миллионы людей, как звери, набросились друг на друга, натравленные своими руководителями… забыв свои подобие и образ Божий, колют, режут, стреляют, ранят и добивают своих братьев… Наши враги — не немцы… Общий враг для нас, к какой бы национальности мы ни принадлежали, — это зверь в нас самих…»[2] Однако летом — осенью 1914 г. такие самокритичные взгляды были не популярны в обществе. Патриотизм завладел умами интеллектуалов, вот только понимали они его по-разному. В. П. Булдаков и Т. Г. Леонтьева отметили, что начавшаяся война вызвала в интеллигентской среде «ужас перед неизвестным», проявившийся в патриотической разноголосице[3]. Верное наблюдение о природе патриотизма В. В. Розанова сделал А. Л. Юрганов, отметив, что философ считал причиной поражения в Русско-японской войне отсутствие у народа воодушевления[4]. Тем самым патриотический подъем 1914 г. мыслился некоторыми философами в качестве противоядия нового поражения и был в этом отношении вынужденным, искусственным явлением, настоянным на подсознательных страхах. Пацифизм же воспринимался в контексте пораженчества и предательства. Симптоматично, что октябрь — ноябрь 1914 г. ознаменовались началом следствия над толстовцами-пацифистами и большевиками-пораженцами.

Помимо разной эмоционально-психической природы патриотических настроений исследователи отмечают идейные различия патриотизма. Философы, публицисты безуспешно пытались превратить патриотизм в идеологию, но он каждый раз оказывался лишь функцией того или иного идеологического подхода. Еще В. С. Дякин, анализируя патриотические настроения российской буржуазии, указал на идеологические различия в интерпретациях

---

[1] *Гиппиус З. Н.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 157.

[2] *Булгаков В. Ф.* Опомнитесь, люди-братья!: история воззвания единомышленников Л. Н. Толстого против Мировой войны 1914–1918 гг. Т. 1. М., 1922. С. 36.

[3] *Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г.* Война, породившая революцию… С. 83.

[4] *Юрганов А. Л.* Первая мировая война и кризис русского модернизма // Россия XXI. 2017. № 1. С. 97.

патриотизма[1]. 2 августа 1914 г. в «Русских ведомостях» была опубликована статья князя Е. Н. Трубецкого «Патриотизм против национализма», в которой он представил войну России с Германией как битву патриотизма с национализмом. Трубецкой подчеркивал, что патриотическое единение России происходит не на национальной, а на «сверхнародной» основе: «Никогда единство России не чувствовалось так сильно, как теперь, и — что всего замечательнее — нас объединила цель не узко национальная, а сверхнародная»[2]. На близких позициях стоял А. А. Мейер, обращавший внимание на несоответствие национализма христианским добродетелям: «Нет сомнения, что самоутверждение нации с точки зрения христианской религиозности является грехом. Проблема национальности может быть разрешаема в националистическом направлении лишь при условии отказа от истин, утверждаемых христианством. К христианству гораздо ближе те сторонники интернационализма, которые совсем игнорируют национальность, чем выдающие себя за христиан националисты. Это так ясно, что, казалось бы, не стоило об этом и напоминать. Однако грех национального самоутверждения прикрывает себя иной раз идеологиями, способными соблазнить даже искренних христиан, — особенно в те моменты, когда жизнью действительно выдвигается вопрос об уяснении нацией своей исторической миссии»[3].

Однако эта концепция не встречала полного понимания. П. Б. Струве писал в декабре 1914 г.: «Великая Россия есть государственная формула России как национального Государства-Империи. Россия есть государство национальное. Она создана развитием в единую нацию русских племен, сливших с собой, претворивших в себя множество иноплеменных элементов… Война 1914 г. призвана довести до конца внешнее расширение Российской Империи, осуществив ее имперские задачи и ее славянское призвание»[4]. Не забывал Струве и о концепции «Святой Руси», содержавшейся в царском манифесте. В ней он видел духовное содержание Великой России как империи: «Если в Великой России для нас выражается факт и идея русской силы, то в Святой Руси мы выражаем факт и идею русской правды». При этом Трубецкой предупреждал об опасности территориальных претензий России: «Обладая огромной территорией, Россия не заинтересована в ее увеличении: политика захватов может привлечь нам не пользу, а только вред: нам нужно сохранить, а не умножить наши владения»[5]. Вместе с тем историками разрабатывались и обосновывались геополитические стратегии. А. А. Кизеветтер, П. Н. Милюков доказывали, что

---

[1] См.: *Дякин В. С.* Русская буржуазия и царизм…

[2] Русские ведомости. 1914. 2 августа.

[3] *Мейер А. А.* Религиозный смысл мессианизма // Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге. История в материалах и документах. Т. 3. 1914–1917. М., 2009. С. 7.

[4] *Струве П. Б.* Великая Россия и Святая Русь // Русская мысль. 1914. № 12.

[5] *Трубецкой Е. Н.* Война и мировая задача России // Русская мысль. 1914. № 12. С. 89.

истинные цели войны для России лежат на Балканах, приводя в доказательство многовековую историю противостояния России с Османской империей. Н.И. Кареев, наоборот, рассматривал историю международных отношений как динамическую систему, в которой появление новых элементов, интересов, перестраивает ранее сложившиеся блоки и союзы, и доказывал, что Россия вступила в Антанту ради сохранения в Европе мира[1]. На близкие позиции встал Р.Ю. Виппер, которого начавшаяся война заставила пересмотреть теорию прогресса и склониться к циклическому характеру истории[2]. При этом, как отмечают исследователи, в значительной части либеральной интеллигенции, в том числе среди ученых, университетской профессуры, проступали «рецидивы имперского мышления», что особенно активно проповедовали лидеры кадетов, выступая за присоединение к России Галиции, Угорской Руси, всей Польши, Армении, не говоря уже о проливах[3]. Особенность «настроений 1914» заключалась в том, что великодержавно-шовинистическим психозом заражались представители разных политических взглядов. Однако при этом оттенки шовинистического патриотизма были разные.

Председатель Московского религиозно-философского общества памяти В. Соловьева Г. Рачинский переводил дискуссию из сферы материалистических концептов и прагматических вопросов о территориальных приобретениях в сферу философско-культурных построений, связывая их с теорией германского милитаризма как сущности германской культуры (что довел до абсурда В. Эрн в докладе «От Канта к Круппу»): «Переживаемая нами мировая война имеет одну многознаменательную особенность: это — не война государств и их правительств, а война национальностей и культур… Мы боремся и будем бороться до конца с тем звериным ликом, который неожиданно и грозно глянул на нас, когда скинута была Германией маска культурного идеализма, за которую пятьдесят лет прятался обнаглевший милитаризм и пошло-буржуазный эгоизм и вандализм»[4]. Начало войны актуализировало вопрос о судьбе культурно-нравственных ценностей европейской и христианской цивилизаций. В связи с этим некоторые современники воспринимали ее в первую очередь как проверку духа, нравственного стержня народов. «Война есть великое нравственное испытание, в котором неисчислимо значение нравственного достоинства поставленной цели», — писал барон Б.Э. Нольде[5]. Н.А. Бердяев умудрялся великодержавно-шовинистические построения из международно-политической

[1] *Варустина Е.Л.* Доктрины либерально-кадетской интеллигенции о войне // Историк и революция. СПб., 1999. С. 89.

[2] *Виппер Р.Ю.* Теория прогресса и всемирная война 1914 г. // Виппер Р.Ю. Кризис исторической науки. Казань, 1921.

[3] *Варустина Е.Л.* Доктрины либерально-кадетской интеллигенции… С. 93.

[4] *Рачинский Г.А.* Братство и свобода // Русская мысль. 1914. № 12. С. 84.

[5] *Нольде Б.Э.* Начало войны // Русская мысль. 1914. № 10. С. 140.

сферы перевести в сферу духовной жизни, предрекая в будущем начало духовно-идейной экспансии России: «Русское государство давно уже признано великой державой. Но духовная культура России… не занимает еще великодержавного положения… После великой войны творческий дух России займет, наконец, великодержавное положение в духовном мировом концерте»[1]. При этом Бердяев критиковал за излишний мистицизм патриотические взгляды В.В. Розанова, также считавшего, что война укрепляет народный дух, «сжигает в нем нечистые частицы»[2].

«Утро России» освещало лекцию философа С.М. Соловьева, прочитанную в университете Шанявского, отмечая, что его основной задачей стало «показать антихристианский характер германской культуры»: «Анализируя творчество Канта и Гёте, Шопенгауэра и Ницше, Гарнака и Штейнера, лектор приходит к выводу, что в этом творчестве отразилось реставрированное язычество, стоицизм, платонизм и буддизм; только одного нет в нем — подлинного христианства. Усовершенствованный, умеренно-благоразумный, „научный“ подход к христианству породил только лютеранство и в последнее время подделку под христианство — теософию Штейнера. Наше святоотеческое православие является хранительницей подлинного христианства»[3].

Вероятно, самым резонансным стал доклад философа В.Ф. Эрна «От Канта к Круппу», который в концентрированной форме выразил наиболее шовинистические заблуждения современной интеллигенции. Эрн взял Канта за точку отсчета как выразителя истинного «германского духа». «Я убежден, во-первых, что бурное восстание германизма предрешено *аналитикой* Канта; я убежден, во-вторых, что орудия Круппа полны глубочайшей философичностью; я убежден, в-третьих, что внутренняя транскрипция германского духа в философии Канта закономерно и фатально сходится с внешней транскрипцией того же самого германского духа в орудиях Круппа», — формулировал Эрн свои основные тезисы[4]. Феноменализм Канта он называл «железобетонным завоеванием германского духа», а самого немецкого классика — «палачом старого и живого Бога». Отсюда следовал вывод о том, что кантовское теоретическое богоубийство «неизбежно приводит к посюстороннему царству силы и власти, к великой мечте о земном владычестве и о захвате всех царств земных и всех богатств земных в немецкие ручки»[5]. Тем самым из «Критики чистого разума» Эрн выводил природу германского милитаризма рубежа XIX–XX вв., а орудия Круппа считал «самым вдохновенным, самым национальным и самым кровным детищем немецкого милитаризма»: «Генеалогические орудия Круппа

---

[1] *Бердяев Н.А.* Душа России. М., 1915. С. 5.
[2] См.: *Розанов В.В.* Война 1914 года и русское возрождение. Пг., 1914.
[3] Утро России. 1914. 10 ноября.
[4] *Эрн В.Ф.* От Канта к Круппу // Меч и крест. Статьи о современных событиях. М., 1915. С. 21.
[5] Там же. С. 25.

являются таким образом детищем детища, т.е. внуками философии Канта». В конце своего доклада Эрн наделял Первую мировую войну признаками последней войны, эсхатологической битвы: «Люциферианская энергия с крайним напряжением, особенно в последнем столетии, сгрудились в немецком народе — и вот, когда теперь нарыв прорывается, все человечество в согласном порыве ощущает всемирно-исторический катарсис»[1].

Даже патриотически настроенные современники неоднозначно встретили этот доклад, отметив натянутый характер связи Канта и Круппа и обратив внимание, что Эрн сильно недооценил гуманистическое направление германской философии и многое другое. Некоторые и вовсе оценили выступление Эрна как предательство памяти его учителя В.С. Соловьева, полагая, что последний не одобрил бы таких вульгарно-упрощенных теоретических построений. Современник писал из Тулы в Москву 18 октября 1914 г.: «В последнее время я стал ужасно раздражаться всеми проявлениями „антинемецкого настроения". Я не говорю о немецких погромах. То — простое хулиганство. Я говорю о той дикости, которая проникает в интеллигенцию, в газеты, иногда попадает контрабандой даже в „Русские ведомости". Оплевывать Лютера, Канта, как делал Эрн, значит плевать на своих духовных предков. Если бы Соловьев был жив, он бы жестоко отделал Эрна»[2].

Вместе с тем В.П. Булдаков сделал очень важное предположение по поводу доклада Эрна, допустив, что «за подобного рода патриотическим философствованием прорывается амбивалентное отношение к собственной власти. Со времен славянофилов русская интеллигенция под видом критики Запада подсознательно выражала свое негативное отношение к бюрократической этатизации российской общественной жизни»[3]. Анализ философских и публицистических текстов должен учитывать дискурсивный контекст, включающий не только внешние связи и переклички автора с единомышленниками и оппонентами, но и невербализованные интенции.

С резкой критикой Эрна выступил Д.С. Мережковский. «Утверждение, будто бы Германия — страна малокультурная, легкомысленно и невежественно. Связь Канта с Круппом сомнительна»[4]. Мережковский справедливо обращал внимание, что мировая война порождена не одним только германским национализмом, а кризисом всей европейской цивилизации: «Настоящая война — продолжение „отечественных", „освободительных" войн с Наполеоном (1812–1815 гг.), — по внешности тоже освободительная, „народная" война с империализмом Германии, выразившимся будто бы исключительно в „прусской

[1] Там же. С. 34.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 997. Л. 1652.
[3] *Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г.* Война, породившая революцию... С. 108–109.
[4] *Мережковский Д.С.* О религиозной лжи национализма // Религиозно-философское общество... С. 16.

военщине". Но это именно только по внешности: в действительности существует неразрывная связь между империализмом и национализмом не в одной Германии, но и во всех ее „противниках"! У всех современных европейских народов под пеплом национализма тлеет огонь империализма, в большей или меньшей степени: тут количественная, а не качественная разница»[1]. Исследователи отмечают, что восприятие войны как краха материалистических основ всей новоевропейской цивилизации было характерно для многих русских философов, определяя их понимание мировой войны как некоего рубежа между старой и новой эпохами[2].

Как и Трубецкой, Мережковский считал, что патриотизм несовместим с национализмом, причем обращал внимание, что по своей сути патриотизм лежит вне рамок понятия государства, писал о «внегосударственном патриотизме»: «В плоскости духовной, внутренней, понятие родины шире, чем понятие государства: самое живое, личное в быте народном не вмещается в бытии государственном. В плоскости материальной, внешней, понятие государства шире, чем понятие родины: в одном государстве может быть много народов, много родин. Это значит, что патриотизм может быть и внегосударственным»[3]. Такой подход к патриотизму лишал его политического содержания, переориентировал от государства, власти как объектов поклонения, к народу, культуре, природе — тому, что составляет подлинное содержание понятия Родины в широком смысле.

А. В. Карташев, выступая 26 октября 1914 г. в прениях по докладам А. А. Мейера и Д. С. Мережковского, пытался реабилитировать патриотизм как национальное чувство, сводя его к инстинкту самосохранения, признавая в нем не христианскую, а языческую природу: «Но, говорят, идеал единства нации — языческий идеал. Истинно так. Согласен… То поразившее и смутившее умы интеллигенции, так называемое „единение правительства и общества", которое в известном смысле стало фактом с момента этой войны. Это — просто фатальный закон военного самосохранения нации, проявляющейся почти с физической непосредственностью»[4].

Можно утверждать, что начало войны оказало травмирующее воздействие на психику современников, многие из которых временно утратили способность воспринимать события в рационально-аналитическом, сдержанном ключе. С. Н. Булгаков не далеко ушел от своего современника, писавшего о повеселевшей и заговорившей по-человечески скотине, когда описывал картины

[1] *Мережковский Д. С.* О религиозной лжи национализма… С. 18.

[2] *Борщукова Е. Д.* Русская религиозно-философская мысль о характере и вероятных последствиях Первой мировой войны // Вестник Костромского государственного университета. 2014. № 5. С. 75.

[3] *Мережковский Д. С.* О религиозной лжи национализма… С. 18.

[4] *Карташев А. В.* Прения // Религиозно-философское общество… С. 30–31.

единения царя и народа в свадебной риторике. Восторженное описание передавало не то, что было в реальности, а то, что Булгаков желал увидеть в этом «брачном часе». 3 августа он писал А.С. Глинке: «Живу, как все, как и Вы, потрясенный, умиленный, смущенный, возрадованный. Никогда Родина не переживала такого брачного часа, никогда еще народ не познавал так своего Царя, а Царь своего народа (как прекрасен, как смиренен и мужественен наш Государь, какие слова нашел он для выражения чувства всей России. Воистину, Господь с ним!). Какая молитвенность загорелась, как воссияла Мать Наша, Православная Церковь! Куда делась вся интеллигентская и партийная мерзость, распря, вражда! Совершилось воистину чудо, и радостно умереть при этом: „ныне отпущаеши…“ Что бы ни было впереди, но мы увидели Русь, и она сама себя увидала! Это неотъемлемо и это бесценно!»[1] Исключительная эмоциональность восприятия происходивших событий приводила современников к пограничному состоянию психики.

Российская интеллигенция, увлеченная размышлениями о судьбах России и цивилизации, вместе с тем не забывала и о насущно-прагматических вопросах. Некоторые деятели акцентировали внимание на том, что патриотизм должно понимать как консолидацию общества и государства на платформе развития общественных органов самоуправления, системы образования, заботы о наиболее уязвимых категориях граждан, в частности о детях, тем самым еще более расширяя и размывая содержание понятия[2]. В этом случае «гражданский патриотизм» противопоставлялся этатизму и тем самым становился фактором конфликта общества и самодержавной власти (что выразилось, в частности, в недоверии со стороны представителей власти к Земгору и ВПК). М. Стокдэйл отметила в различных патриотических нарративах 1914 г. большее стремление к построению справедливого демократического будущего, чем к сохранению «мнимых традиционных ценностей»[3].

Однако значительная часть общества не отделяла патриотизм от верноподданничества. В.П. Булдаков определяет этот «оттенок» патриотизма как «догражданский», отличительной чертой которого была слепая готовность «идти в указанном властью направлении»[4]. Вероятно, подобная вера во власть, лишенная здорового критицизма, свидетельствовала о состоянии психологической растерянности и о подсознательном страхе перед будущим. Патернализм оказывался психотерапевтическим средством, позволявшим снять с себя ответственность за исход патриотической мобилизации общества. В этом отношении

---

[1] Взыскующие града. Хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах и дневниках. М., 1997. С. 585.

[2] *Обухов А.* Война и дети // Русская мысль. 1914. № 10. С. 88–93.

[3] *Stockdale M.* Mobilizing the Nation: Patriotic Culture in Russia's Great War and Revolution, 1914–20 // Russian Culture in War and Revolution, 1914–22. Book 2: Political Culture, Identities, Mentalities, and Memory. Bloomington, Indiana, 2014. P. 6.

[4] *Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г.* Война, породившая революцию… С. 144.

война способствовала архаизации массового сознания. Рассматривая идейные искания русских писателей и философов в контексте соответствия модернистских представлений реалиям военного времени, А.Л. Юрганов приходит к выводу о постепенном угасании модернизма русского Возрождения, который не выдержал схватки «с некнижной реальностью мировой войны»[1]. Забегая вперед, дополним, что в конечном счете текстовая культура образованных слоев отчасти была ассимилирована устной традицией, что проявилось, в частности, в архаизации неформально-информационного пространства города. В какой-то степени этому поспособствовали публицисты консервативного направления.

В консервативной печати в годы войны резко возросла антилиберальная и антибуржуазная риторика, что мыслилось правыми в качестве истинного патриотизма, основанного на традиционализме и патриархальном укладе. Согласно проведенному М.В. Лыкосовым контент-анализу правой периодики, уже в июле 1914 г. появляются публикации (5%), в которых главным внутренним врагом называется буржуазия. Впоследствии этот процент растет: в июле — августе 1915 г. — 18%, а с сентября 1915-го по февраль 1917-го — 35,6%[2]. Часть националистической общественности летом 1914 г. была готова принять некоторые реформы, но при условии, что они пойдут сверху, а не снизу. Протоиерей И. Восторгов писал в августе епископу Макарию в Нижний Новгород: «Какой момент мы переживаем! Это единение всех в России, грядущие победы, в которые я верю, новая конъюнктура условий церковно-политической жизни… отсутствие необходимости давать уступки и реформы по требованию снизу, и возможность дать их сверху, по свободному волеизволению власти…» Однако далее член Главной палаты Русского народного союза имени Михаила Архангела определил границы свободы и реформ, которые он готов принять, демонстрируя никуда не девшийся антисемитизм и шовинизм: «Несомненно нас ждут реформы и против наделения крестьян землей и рабочих законодательством, обеспечивающим их права, мы и сами не будем говорить. Но впереди автономия Польши и эмансипация еврейства, впереди расширение прав народного представительства, сужение прав Государственного Совета, впереди умаление прав православной Церкви и прав коренного населения. На это как мы будем реагировать?»[3] Юдофобия, как и германофобия, была спутницей патриотизма консервативных кругов. Правда, летом 1914 г. антисемитские высказывания чаще раздавались в южных губерниях России, чем в центральной части. Впрочем, война активировала различные формы этнофобий: между русскими и татарами, армянами и грузинами и т.д.

---

[1] *Юрганов А.Л.* Первая мировая война и кризис русского модернизма (окончание) // Россия XXI. 2017. № 2. С. 53.

[2] *Лыкосов М.В.* Антибуржуазная кампания в русской консервативной печати периода Первой мировой войны (июль 1914 — февраль 1917) // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия «История, филология». 2011. Т. 10. Вып. 6: Журналистика. С. 19.

[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 993. Л. 1209.

Некоторые националисты шли еще дальше и подводили под патриотизм расовую теорию. Член-учредитель Союза русского народа и председатель его Санкт-Петербургского отдела С. А. Володимеров писал в черносотенной «Земщине», что столкновение германизма и славянства — это борьба двух разных рас[1].

Церковная печать преподносила войну как решающую битву православия[2]. Царский манифест об объявлении войны уповал на Всемогущий Промысел, упоминал Святую Русь, чем наделял вооруженный конфликт религиозным содержанием. Церковная печать поддерживала данный пафос противопоставления Святой Руси погрязшей в грехе Германии[3]. Архимандрит Илларион, рассуждая о европейской теории прогресса, сводил ее к германскому милитаризму, рассматривал как часть учения об эволюции и призывал отказаться от идеи прогресса как чуждой патриархальным истокам православной соборности[4].

В целом правоконсервативная идеология, проявившая свою традиционалистскую косность, неэластичность в условиях менявшегося в годы войны общества, была окончательно дискредитирована к 1917 г.

Изучая настроения низших слоев общества, в первую очередь крестьян, необходимо обратить внимание на любопытный источниковедческий парадокс: если массовые источники, отразившие их настроения, позволяют говорить о процессах десакрализации монархии и даже фиксируют коллаборационистские настроения, то материалы перлюстрации солдатских писем (тех же крестьян) по военному ведомству рисуют в первые месяцы войны патриотическую атмосферу. А. Б. Асташов обращает внимание, что цензурные отчеты о настроениях в русской армии опровергают тезис советской историографии о том, что новобранцы якобы изначально не хотели воевать[5]. Впрочем, автор отмечает, что военные цензоры даже в январе 1917 г. описывали настроение солдат как бодрое, ставя под сомнение репрезентативность этого источника[6]. Тем не менее в солдатских письмах не содержится критики верховной власти, которая присутствует в материалах перлюстрации по гражданскому ведомству, отражается в заведенных на крестьян уголовных делах за оскорбление членов императорской фамилии. В воспоминаниях офицеров также имеются свидетельства распространенности среди солдат оскорбительных для представителей династии слухов[7]. Некоторые солдаты, возвращавшиеся в свои деревни в отпуска, часто принимались ругать

---

[1] Земщина. 1914. 21 июля.

[2] *Леонтьева Т. Г.* «Победа зависит не от количества штыков и снарядов»: Настроения Тверской провинции в 1914–1917 гг. // Вестник Тверского государственного университета. Серия «История». 2014. № 1. С. 28.

[3] Московские церковные ведомости. 1914. № 30–31. 26 июля. С. 554.

[4] Московские церковные ведомости. 1914. № 47–48. 28 ноября. С. 953.

[5] *Асташов А. Б.* Русский фронт в 1914 — начале 1917 г.: военный опыт и современность. М., 2014. С. 114.

[6] Там же. С. 124–125.

[7] Три брата (То, что было): Сборник документов / Сост., авт. предисл. и коммент. К.Н. Морозов, А.Ю. Морозова. М., 2019. С. 439.

власть и правительство, чего, возможно, не позволяли себе в окопах. Вероятно, для объяснения этой особенности необходимо иметь в виду два фактора: во-первых, солдатские письма чаще всего для отправки по почте подавались офицерам в незапечатанном виде — было хорошо известно, что их выборочно будет просматривать военный цензор; во-вторых, оказавшийся на фронте вчерашний крестьянин приобретал новую психологию комбатанта, которая предполагала адаптацию к чрезвычайным условиям военной повседневности. Для выживания в этих условиях необходимо было стать частью армейского коллектива, переняв соответствующую коллективную психологию, основанную на позитивных категориях. Солдаты обращали внимание на то, что заранее можно было предсказать, кто будет убит: потерявшие веру, отчаявшиеся солдаты на фронте не выживали. При этом Асташов указывает на пессимистический, или страдательный, патриотизм солдат: «Несмотря на то, что в солдатских письмах присутствуют патриотические высказывания, однако большинство таких высказываний окрашено страдательной интонацией, ставящей под сомнение личную осознанность мотивов этой борьбы»[1]. Также исследователь усматривает разные оттенки крестьянского фатализма, в том числе «жизнерадостного», выражающегося в готовности к самопожертвованию, в осознании коллективных обязательств[2].

Таким образом, мы видим, что историки, изучающие феномен патриотических настроений 1914 г., указывают на их неоднородную, гетерогенную структуру. Необходимо добавить, что гетерогенность массовых настроений подразумевала присутствие бинарных оппозиций (поддержка войны при поддержке или неприятии царской власти), строилась на совершено разных идейных основах. Однако политико-идеологический подход к исследованию патриотических настроений не позволит понять данный феномен в полной мере ввиду того, что в основе универсальных характеристик «патриотизма 1914» лежали не идеи, а чувства, эмоции, причем как позитивной (любовь), так и негативной (ненависть) направленности.

Современные исследователи патриотизма признают, что этот феномен лежит вне научно-аналитического русла, а относится к сфере политического языка, пропаганды. Не случайно исследования патриотизма и национализма неизбежно поднимают проблему роли эмоций в политической жизни[3]. Патриотизм, выражаясь на чувственном уровне, т. е. будучи эмоцией, является одновременно и порождением, и катализатором новых эмоций. Попытавшись применить к патриотизму аналитический подход, Р. Брубакер отметил его амбивалентный характер, а также сделал важное замечание о его эмоциональной функции: патриотизм провоцирует не только положительные эмоции (радость, гордость),

---

[1] *Асташов А. Б.* Русский фронт… С. 134.

[2] Там же. С. 128.

[3] Nation und Emotion: Deutschland und Frankreich im Vergleich. 19. und 20. Jahrhundert (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft). Gottingen, 1995; *Westen D.* The Political Brain: The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation. New York, 2007.

но и отрицательные (стыд, гнев). Последние могут стать основой для оппозиционных настроений общества[1]. В этом случае проведенная властью патриотическая мобилизация общества, не оправдав ожиданий населения, может обернуться против нее самой. Еще Е. Хантер отмечал протестный и антиэтатистский потенциал патриотизма, а Э. Хобсбаум считал, что с 1789 г. патриотизм становился идеологией революционеров[2]. Но патриотизм 1914 г. не стал идеологией в России, он оказался химерой, обреченной на вымирание по причине внутренних противоречий, а также сложной социокультурной структуры российского общества, переживавшего духовный и психологический кризис.

Для выявления структуры патриотических настроений 1914 г. необходимо на базе вышеприведенного материала выделить несколько пластов, их формирующих. В основе будут лежать четыре парные эмоции (интерес — восторг; страх — ненависть), которые определяли положительную или отрицательную коннотацию того или иного концепта (как, например, отмечавшийся оптимистический или пессимистический патриотизм, оптимистическая или пессимистическая эсхатология, патриотизм, основанный на ненависти или любви, и пр.). Помимо эмоций, отношение человека к действительности (в нашем случае к войне, что является ядром патриотических настроений) определяется тем типом мышления, которое больше всего ему соответствует в определенный момент: религиозное патриотическое мышление, научно-теоретическое (политическое в данном случае) и обыденное. Следует заметить, что все три уровня присутствуют в сознании большинства людей, однако в силу культурных, образовательных, психологических различий имеют разные степени выражения. Мышление задает определенный вектор развития идеи, которая оформляется в ту или иную форму, концепт. В рамках обыденного мышления, доминировавшего у людей, активно не вовлеченных в политику, формировались следующие патриотические формы: фаталистический патриотизм (он мог быть оптимистического или пессимистического характера), патерналистический (который часто путают с монархизмом), прагматический (имевший как альтруистические, так и эгоистические степени выражения), психопатологический (в случаях, когда основанный на страхе и ненависти патриотизм разрушал психику субъекта). В рамках политического мышления: революционный (война ради свержения в ее процессе самодержавия), либеральный (от общественно-демократического до великодержавно-шовинистического оттенка), националистический. В рамках религиозного мышления: православно-миссионерский патриотизм (концепция священной войны Святой Руси с германизмом), эсхатологический (пессимистической и оптимистической степени). Конечно, описанная палитра патриотических

---

[1] *Brubaker R.* In the name of the nation: reflections on nationalism and patriotism // Citizenship Studies. 2004. № 8 (2). С. 121.

[2] *Hunter E.* A sociological analysis of certain types of patriotism. New York, 1932. P. 22–26; *Hobsbaum E.* Nations and nationalism since 1870: programme, myth, reality. Cambridge, 1990. P. 87–88.

форм не содержит всех возможных его оттенков. Можно предложить и другую классификацию патриотизма по отношению к объекту поклонения: царистский, этатистский, имперский, общественный, народный, культурный и т. д. Тем не менее предложенная схема позволяет увидеть, что патриотические настроения 1914 г. не являлись (и не могли являться) целостным мировоззрением, на эмоциональном и идейном уровнях они распадались на широкий спектр взаимоисключающих элементов. По большому счету патриотические настроения 1914 г. — это всего лишь дискурс о войне, совокупность высказываний по теме, объединенная общим отношением. Таким образом, учитывая крайнюю степень неопределенности «патриотического» дискурса, мы не можем положительно решить вопрос о наличии патриотизма как общей идеи летом 1914 г. На эмоционально-психологическом уровне он может быть описан как состояние сильного возбуждения, вызванного разными эмоциями — страхом, интересом, восторгом, ненавистью — с различным теоретическим наполнением.

* * *

Канун Первой мировой войны отличался сложной социально-политической обстановкой в стране. В крупных промышленных центрах рос рабочий протест, на фоне Сараевского убийства и осложнения международной ситуации развивалось патриотическое движение. Вместе с тем рассматривать динамику массовых настроений как раскачивание от революционного полюса к патриотическому было бы серьезным упрощением по ряду причин. Во-первых, в советской историографии оказались сильно преувеличены политические, идейно-сознательные мотивы рабочего протеста. В одних случаях рабочие боролись не за политические или экономические, а морально-этические права, в других случаях столкновения с полицией и вовсе являлись результатом чрезмерной концентрации энергии молодежи, недавно приехавшей в город. В этом проявились как психолого-возрастные особенности определенных категорий «бунтовщиков», так и проблемы аккультурации — столкновения разных эмоциональных режимов (деревенского и городского), предписывавших разные формы публичного поведения. Во-вторых, само противопоставление революционности и патриотизма некорректно. В основе революционных и патриотических акций подчас лежали одни и те же эмоции, факторы архаичного бунтарства, приводящие к тому, что такие разные, на первый взгляд, формы социального действа протекали по одному сценарию. Этот парадокс объясняет теория М. Вебера об аффективно-эмоциональном социальном действии. Кроме того, анализ патриотического дискурса лета — осени 1914 г. показывает, что в его основе лежали слишком разные, порой взаимоисключающие концепты. На уровне идейном их спектр задавался достаточно широкими рамками: от революционного патриотизма до национально-шовинистического. В следующем разделе парадоксы революционного сознания будут продемонстрированы на примере патриотических действий периода мобилизации.

Раздел 2

Действо

Мобилизация общества в гендерно-возрастном измерении: от манифестаций взрослых к детскому протесту

Отмеченные противоречия патриотической риторики начального периода Первой мировой войны не решают окончательно вопрос о степени патриотизма российского общества, в первую очередь потому, что между мыслями, словами, с одной стороны, и коллективными действиями — с другой, нет строгой взаимозависимости. Рассуждения о необходимости сплочения общества и власти перед лицом врага могут сопровождаться уклонением от воинской службы или подразумевать эгоистические, меркантильные интересы. Кроме того, так называемая «патриотическая историография», признавая гетерогенность сознания российского общества на первом этапе войны, апеллирует к массовым действиям, якобы доказывающим исключительный патриотический энтузиазм широких слоев населения. Как правило, среди аргументов — массовые патриотические манифестации июля, успехи мобилизации 1914 г. (прежде всего приводятся данные о высокой явке запасных), добровольческое движение, связанное в первую очередь с патриотизмом в среде молодежи — студентов и курсисток. При этом в советской историографии традиционно недооценивалась степень студенческого протеста в сравнении с изучением динамики революционных настроений рабочих и, в меньшей степени, крестьянства, хотя среди университетской молодежи, даже той, что поддержала войну, отношение к власти оставалось совсем не однозначным. Классовый подход игнорировал гендерно-возрастное деление общества, хотя гендерные и возрастные психологические особенности накладывали печать на поведение тех или иных категорий населения в период мобилизационных мероприятий. Особый интерес в связи с этим представляет изучение детских (от дошкольного до гимназического возраста) реакций на мобилизацию и войну в силу того, что дети обладают более непосредственным взглядом на окружающий мир,

подчас подчеркивая детали, ускользающие от внимания взрослых. Реакции детей на окружающую действительность периода войны, таким образом, могут служить лакмусовой бумажкой для изучения общественных настроений рассматриваемой эпохи.

Учитывая, что в практическом выражении патриотизм чаще предстает в эмоциональной, нежели идейной форме, очень важно рассмотреть эмоциональный климат России периода мобилизации.

Парадоксы «патриотических» манифестаций

Самая известная патриотическая манифестация, о которой писали газеты и журналы в июле 1914 г., состоялась в Петербурге 20 июля — в день оглашения царского манифеста о вступлении России в войну. По свидетельству корреспондентов, на Дворцовой площади стотысячная толпа в порыве верноподданнических чувств опустилась перед вышедшим на балкон императором на колени. При этом печать по естественным причинам умолчала о не менее масштабном и символическом действе — в тот же день в Лысьве Пермской губернии рабочие и призывники загнали полицию вместе с заводской администрацией в контору и подожгли ее. В ряде городов во время «патриотических» манифестаций толпы пели революционные песни. Подобный дуализм является характерной приметой июльских дней.

Первая июльская патриотическая манифестация произошла в Петербурге еще до объявления мобилизации — она сопровождала эскорт президента Франции Р. Пуанкаре, прибывшего в столицу 8 июля 1914 г. От Царской пристани на Английской набережной и до Зимнего дворца расположились группы патриотически настроенных и просто любопытствующих подданных. Из окон домов, фасады которых выходили на набережную, свисали национальные флаги. Играли оркестры. Накануне на улицах столицы продавали маленькие французские и русские флажки с надписями «Россия приветствует дорогих гостей» и «Добро пожаловать», которыми теперь махали обыватели[1].

У современников не было сомнений в том, что «патриотические» толпы были искусственно собраны властями: «Власти были озабочены организацией встречи. Ко дню приезда Пуанкаре в самый Питер полиция мобилизовала для встречи в качестве фигурантов „русского народа“ — дворников. Полицию и казаков также стянули туда, и на местах, соединяющих окраину с городом, были поставлены патрули, чтобы не пропускать рабочих-демонстрантов», — писал А. Г. Шляпников[2]. Но если большевика можно заподозрить в субъективизме, желании нивелировать патриотические настроения заказным характером

---

[1] Вечернее время. 1914. 7 июля.

[2] *Шляпников А. Г.* Канун 17-го года… С. 43.

манифестаций, то свидетельства французского посла, в целом отмечавшего подъем энтузиазма столичного общества, представляются беспристрастными. М. Палеолог, сопровождавший Пуанкаре во время его посещения Петербурга, записал в дневнике 8 июля: «На всем пути нас встречают восторженными приветствиями. Так приказала полиция. На каждом углу кучки бедняков оглашают улицы криками „ура" под наблюдением полицейского»[1]. Впрочем, помимо бедняков в толпе, согласно сохранившимся фотодокументам, было достаточно много представителей средних городских слоев, женщин в дорогих платьях и модных шляпках, мужчин в костюмах, а также студентов. О показушности патриотических акций 8 июля писал корреспондент «Вечернего времени» в статье «Убогая роскошь». Автор возмущался тем, что власти города решили наспех украсить улицы по пути следования президента старыми, выцветшими флагами, приходил к выводу, что подобная форма чествования носила характер халатности, и, помимо этого, выказывал раздражение ролью полиции и дворников, задаваясь вопросом: «Неужели всегда и всюду необходима диктатура полиции и дворников? Неужели хоть раз нельзя было отрешиться от казенщины?» В конце статьи корреспондент иронизировал на эту же тему: «И если французы, быть может, не получили ясного представления о военной нашей мощи, то наверное преисполнились удивления перед полнотой полицейского могущества»[2].

В то же самое время, когда «патриоты» под контролем полиции и дворников встречали французского президента, на Выборгской стороне рабочие строили баррикады. По воспоминаниям А. Г. Шляпникова, в рабочей среде появилась идея отправиться встречать Пуанкаре, чтобы демонстративно заявить: «У нас в доме непорядок и нам не до гостей»[3]. Под звуки «Варшавянки» рабочие начали движение с Выборгской стороны, но были рассеяны казаками. Современникам, плохо представлявшим себе рабочее движение, в условиях сгущавшейся международной ситуации казалось, что это дело рук Германии. «Мой осведомитель, хорошо знающий рабочую среду, утверждает, что движение было вызвано немецкими агентами», — записал в дневнике М. Палеолог[4]. «Вечернее время» также распространяло эту версию, достаточно наивно предполагая, что в прекрасный летний день рабочие по собственной воле не вышли бы на манифестации, и забывая о том, что рабочее движение в России активно набирало силу с мая 1914 г.: «Опять Петербург переживает тревожное время… И это — в прекрасный летний день, когда глава французской нации приехал в Россию… Ведь эта забастовка выгодна только немцам»[5]. Черносотенная «Земщина» традиционно усматривала в рабочем движении происки «иудейских

[1] *Палеолог М.* Дневник посла. М., 2003. С. 18.
[2] Вечернее время. 1914. 9 июля.
[3] *Шляпников А. Г.* Канун 17-го года… С. 44.
[4] *Палеолог М.* Дневник посла. М., 2003. С. 16.
[5] Вечернее время. 1914. 9 июля.

наемников»[1]. Впоследствии, в условиях распространявшейся шпиономании, людям, склонным к конспирологии, казалось, что развитие революционного движения — дело рук внешних или внутренних врагов. Большинство — германофобы — подозревали немецких агентов, но существовала и англофобская партия, искавшая британский след.

Смешение искусственных патриотических и естественных рабочих манифестаций в сознании обывателей создавало образы протестных акций чуть ли не общенационального масштаба. Испуганное сознание порождало слухи. Так, еще 7 июля, накануне прибытия Пуанкаре, в столице появился слух, что к рабочей забастовке добавилась забастовка интеллигентов — свидетели видели, как толпа хорошо одетых мужчин и женщин, перейдя мост, хлынула на Литейный проспект. Однако позже выяснилось, что этими людьми были пассажиры трамвая, который неподалеку потерпел аварию[2]. По-видимому, трамвай был остановлен рабочими: во время манифестаций последние нередко отбирали у вагоновожатого ключи, а вагоны трамвая порой переворачивали, сооружая баррикады, или просто сдвигали с рельсов, преграждая путь другим вагонам и вынуждая пассажиров присоединяться к уличным толпам. В конце концов на некоторых линиях было прекращено трамвайное движение. Минимум пассажирских перевозок пришелся на 9 июля, когда было перевезено 87 826 человек, при средней норме в 900 000[3]. Санкт-Петербургский городской голова И. И. Толстой записал в дневнике 8 июля: «Толпа рабочих, к которым присоединились „хулиганы“, остановила движение трамваев на Выборгской стороне; целый ряд вагонов спихнут толпою с рельсов, у других камнями разбиты все стекла и т. п. Полиция бессильна что-либо, будто, сделать. Был ряд столкновений с пострадавшими с обеих сторон. Бастующих в Петербурге ок. 150 000, и движение угрожает разрастись»; 9 июля ситуация принципиально не изменилась: «Сегодня было в городе беспокойно: бастуют не менее 150 000 рабочих, причем на окраинах продолжились нападения на трамвайную прислугу и на вагоны. Были столкновения с полицией и казаками… Вагоны по городским путям курсируют только в минимальном числе»[4]. По ощущениям Толстого, пользовавшегося личным транспортом, трамвайное движение в столице восстановилось 11 июля, однако согласно статистическим сведениям городской управы, обычный пассажиропоток восстановился лишь в первый день мобилизации — 18 июля, составив 940 593 человека[5]. При подавлении рабочих беспорядков применялось оружие. С 4 по 10 июля было убито 7 рабочих и 14 ранено[6].

---

[1] Земщина. 1914. 11 июля.

[2] Вечернее время. 1914. 7 июля.

[3] Еженедельник статистического отделения Санкт-петербургской городской управы. 1914.

[4] *Толстой И. И.* Дневник. 1906–1916. СПб., 1997. С. 519, 521.

[5] Еженедельник статистического отделения Санкт-петербургской городской управы. 1914.

[6] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 123. Д. 108, ч. 61 л. А. Л. 25 об.

Была и другая версия «происшествия на Литейном мосту»: якобы на него вышли прибывшие с Пуанкаре французские матросы и запели «Марсельезу». Казаки же, не разобравшись и приняв их за русских рабочих, а также не отличив французский национальный гимн от русскоязычной «рабочей Марсельезы» («Отречемся от старого мира...»), набросились на них с нагайками и всех разогнали[1]. Этот слух стал символичным, так как приезд Пуанкаре рассматривался многими как прямой вызов Германии, тогда как в плане политической системы Россия походила куда больше на Германию, чем на Францию. Известный поэт В. П. Мятлев отреагировал на приезд Пуанкаре «поэмой», в которую включил и эпизод «сражения» казаков с французскими матросами. Заканчивалась, правда, поэма воцарением прежнего сплина после отъезда президента:

Он уехал. Стало тише.
В Петергофе тот же сплин.
Хуже раненному Грише,
Очень сердится Берлин.
А во внутреннем режиме
Непроглядней, чем в дыре.
Помоги мне, Серафиме,
Не оставь, Пуанкаре![2]

В действительности рабочий протест в столице лишь набирал силу. «Патриотическое» и «революционное» действо с улиц перемещалось на воду. На Неве прибывших французских гостей приветствовали празднично декорированные флагами пароходы, два французских миноносца, однако поодаль, на Большой Невке, дрейфовали баржи, на которых рабочая молодежь распевала революционные песни. Полиция ничего не могла с ними поделать, так как рабочие предварительно разобрали мостки и шестами не подпускали к себе городовых[3]. Тем не менее полиции удалось воспрепятствовать рабочим испортить патриотические торжества в центре города, изолировав их на окраинах.

Помимо «патриотов» и «революционеров» в те дни были еще одни пассивные участники массовки. «Вечернее время» описывало контрасты Петербурга 8 июля: «Центральные улицы столицы разукрашены флагами, гирляндами, затейливыми мачтами и транспарантами... А на окраинах другая картина. По откосу Обводного канала раскинулся настоящий бивак: какие-то убогие сундуки, обломки мебели, грязные постели, поломанная и побитая домашняя утварь свалены в одну кучу, и на этой куче буквально сотни детей, женщин и стариков. Это все погорельцы, лишившиеся крова на последнем страшном пожаре, бывшем пять дней назад. Их две тысячи человек». Пуанкаре обратил

---

[1] *Аксакова-Сиверс Т. А.* Семейная хроника: В 2 кн. Кн. 1. Париж, 1988. С. 238.

[2] Там же.

[3] *Шляпников А. Г.* Канун 17-го года... С. 45.

на них внимание и сделал пожертвование в размере 1000 рублей[1]. Во время массовых шествий первых дней мобилизации подобная контрастная картина состояния столичного общества принципиально не изменилась.

Вместе с тем в глазах современников разыгрывавшиеся события все больше напоминали начало революции. 10 июля петербуржец Иван писал своему знакомому в Ижевск, описывая форму и масштаб рабочих акций протеста: «В некоторых частях города, особенно Выборгский район, пытаются возвести баррикады, для чего подпиливаются телеграфные столбы, опрокидываются телеги и все это опутывается проволокой. Дело иметь рабочим приходится с казаками. При каждом столкновении на месте остаются убитые и раненые, хотя и в небольшом количестве. На дружные залпы казацких винтовок рабочие могут ответить только отдельными выстрелами и градом камней. Из последних событий видно, что желанная для многих рабочих, но не вовремя пришедшая революция стучится в дверь. Удастся ли удержать более сознательных рабочих, своих более пылких товарищей от выступлений это сказать трудно, но что стараются, это факт… Что будет дальше, поживем увидим»[2]. Другой свидетель петербургских беспорядков, и, возможно, один из их участников, писал в тот же день в Москву: «У нас на заводе началась забастовка… протест против расстрела Путиловских рабочих, трамвайное движение остановлено в виду того, что рабочие разбили много вагонов, да и служащие боятся ехать, что теперь делается у нас в Петербурге близко к тому, что у вас было в Москве в 1905 году. Местами строятся баррикады и идет перестрелка с полицией и казаками есть убитые… Одного околоточного его же шашкой изрубили»[3]. На некоторых улицах разыгрывались настоящие боевые действия. Шляпников отмечал, что наиболее ожесточенный характер события приняли около клиники Вилье, у которой рабочие опрокинули два столба, перегородив улицу, а проволочными заграждениями перекрыли для казаков обходные пути через переулки: «Столкновение около клиники Вилье имело характер организованного сражения; при этом обороняющиеся были почти без оружия и пользовались баррикадою и проволочными заграждениями как прикрытием, из-за которого осыпали полицию и казаков камнями. Собиранием камней, дерганьем их из мостовой занимались дети и приносили их рабочим в подолах своих рубах. Только револьверной и ружейной стрельбой удалось полиции и казакам взять баррикаду и очистить площадь»[4].

Тем не менее с 12 июля рабочее движение пошло на спад после того, как администрация заводов отказалась от угрозы локаутом (по всей видимости, не без участия властей, предчувствовавших возможную развязку, в чем были

---

1 Вечернее время. 1914. 8 июля.

2 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 967. Л. 75—75 об.

3 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 975. Л. 64.

4 *Шляпников А. Г.* Канун 17-го года… С. 45.

уверены некоторые современники[1]), однако, согласно отчетам Охранного отделения, локальные рабочие забастовки продолжались вплоть до 17 июля[2]. Параллельно ослаблению рабочего протеста активизировалась деятельность правых сил, небезуспешно организовывавших локальные патриотические манифестации в различных городах России. Те, кто следил за международной обстановкой, предчувствовали приближение войны. 13 июля в «Минской газете-копейке» появился раздел «Накануне войны», в котором, помимо взаимоотношений Австро-Венгрии с Сербией, говорилось о распространившихся в Петербурге слухах о неизбежности мобилизации в России[3]. Слухи гнали людей на улицы. 14 июля манифестация прошла в Москве на Тверской, раздавались лозунги «Долой Австрию и Германию», около полуночи толпа пыталась пройти к зданию Германского консульства, но была рассеяна конными городовыми[4]. Последний инцидент показал, что поддержанные полицией патриотические акции очень быстро выходили из-под контроля, грозя перерасти в стихийный погром. Именно по этому сценарию впоследствии развивались события 22 июля 1914 г. в Петербурге или майский погром в Москве в 1915 г., в обоих случаях власти, спровоцировав массовые акции, не справились с ними и потеряли контроль над ситуацией. В условиях нараставшей международной напряженности правые и желтые газеты постоянно делали акцент на локальных «патриотических» манифестациях: «Многочисленные патриотические манифестации, происходившие за последние дни в столицах и других местах Империи, показывают, что твердая и спокойная политика правительства нашла сочувственный отклик в широких кругах населения», — писало «Вечернее время» 15 июля 1914 г., еще не зная об объявлении войны Австрией Сербии.

В половине первого ночи с 15 на 16 июля вышли «летучки» и «прибавления» к газетам с одним заголовком — «Война». Несмотря на поздний час, их вмиг разобрали у газетчиков на Невском. В Москве на Тверской вокруг газетчиков собралась толпа, состоявшая преимущественно из публики, вышедшей из сада «Аквариум». На следующий день посетители увеселительного сада были представлены в газетах как главные патриоты города, следящие за международной обстановкой даже по ночам. Помимо сообщения об объявлении Австрией войны Сербии, описания отношений к войне в разных странах Европы, газеты опубликовали правительственное сообщение, в котором говорилось: «Черпая силу в подъеме народного духа и призывая русских людей к сдержанности и спокойствию, Императорское правительство стоит на страже достоинства и интересов России»[5]. Тем самым власти задавали

[1] Там же. С. 48.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 123. Д. 108, ч. 61. л. А. Л. 26.
[3] Минская газета-копейка. 1914. 13 июля.
[4] Вечернее время. 1914. 15 июля.
[5] Там же. Прибавление к № 816.

направление пропаганды — демонстрацию национального сплочения перед возможной войной, что должно было оказать определенное воздействие на австрийских и германских дипломатов в России. «Подъем народного духа мы видели в эти дни, — писали правые корреспонденты в условиях, когда в различных частях Петербурга еще проходили столкновения рабочих с полицией и стояли баррикады. — Он проявился во всех слоях населения, проявился неудержимым потоком, проявился с тем спокойствием и с той внушительностью, какие умеет показать в серьезные исторические минуты русский народ»[1]. Основой сплочения должны были стать панславистские идеи: «Сербия, Россия, Славянство в опасности. Сплотимся все до единого для защиты достояния наших предков. С нами Бог», — писали газеты 15 июля 1914 г.[2] Подобная риторика не могла вызвать сочувствие в широких социальных слоях, однако одной из целей пропаганды было заглушить негативный эффект рабочих забастовок, представить их в качестве случайных событий, противоречащих стремлениям рабочего класса. Поэтому причинами рабочего протеста, в дополнение к «немецкой версии», назывались провокационные действия рабочей молодежи и хулиганов, якобы осужденные большей частью рабочих[3]. Пытаясь создать видимость общественного единения, правые силы искали тех, на кого можно было переложить ответственность за беспорядки начала месяца. Не удивительно, что ими стала рабочая молодежь — наиболее маргинализированная часть столичного пролетариата. 15 июля газеты поспешили объявить о том, что рабочие прекратили забастовки и раскаялись в своих действиях, осудив провокаторов. 17 июля в «Земщине» вышла статья «Счастливый поворот», описывавшая избавление русских рабочих от влияния хулиганов и преступных агитаторов[4]. Таким образом, можно утверждать, что 15 июля стало началом официального мифотворчества (не считая «пробы пера» в день посещения столицы французским президентом), создания видимости патриотического сплочения нации, тем более что значительная часть обывателей, действительно, была встревожена международными известиями, многие в ночь с 15 на 16 июля не могли заснуть, группы людей ходили по центральным улицам столицы и делились информацией, читали друг другу сообщения из последних газет.

Городские власти всячески содействовали массовым патриотическим шествиям, порой присоединяясь к толпе. 15 июля в Москве помощник градоначальника В. Ф. Модль лично возглавил патриотическую манифестацию, он ехал на своем автомобиле и направлял движение масс. 16 июля в Петербурге прошел молебен в Казанском соборе, митинг у памятника Александру III, около Сербского, Английского и Французского посольств. «Манифестации

---

[1] Вечернее время. 1914. 15 июля. Прибавление к № 816.

[2] Там же.

[3] Там же.

[4] Земщина. 1914. 17 июля.

захватили весь город. Повсюду слышатся восторженные крики, всюду царит лихорадочное возбуждение. В 5 часов дня тысячная толпа с национальными флагами и с импровизированным белым знаменем, на котором резко выступает фраза „Да здравствует Сербия!“ двинулась по Невскому к памятнику Александра III», — писало «Вечернее время»[1].

Социалисты считали, что в эти дни суворинское «Вечернее время» чуть не стало печатным органом «союзников» (сочувствующих и членов Союза русского народа). Согласно фотодокументам, именно перед зданием редакции «Нового» и «Вечернего времени» собирались группы «патриотов», там же караулили манифестантов фотографы[2]. «Панславистские круги… принялись за „работу“. Уличная и полулиберальная пресса подготовляла почву для патриотических манифестаций. Последние ждать себя не заставили и стали „стихийно“ рождаться в центральных частях города и заканчивались в первые дни у сербского посольства. Ядром этих манифестаций были дворники, торговые служащие, интеллигенты, дамы „общества“ и ученики средних учебных заведений. „Стихийно“ выносились заранее спрятанные флаги, плакаты, портреты царя, и под охраной усиленного наряда конной полиции совершали хождение по „союзникам“. Снимание шапок являлось обязательным, и первые дни в центре города все были терроризованы этими хулиганствующими патриотами. Данную им „свободу“ они довели до логического конца, то есть до погрома здания немецкого посольства и других частных предприятий по совету „Вечернего времени“, но за это были лишены „права манифестаций“», — вспоминали современники[3]. Несмотря на то что обыватели справедливо отмечали пестрый социальный состав участников патриотических шествий (при доминировании представителей средних городских слоев), говорить об их многочисленности вряд ли корректно. Газеты сообщали о многотысячных толпах манифестантов, однако, судя по сохранившимся фотографиям, их численность не превышала несколько сот человек, основную массу составляли мужчины в костюмах и шляпах, а также гимназисты. Многие фотографы снимали демонстрации с нижней ракурсной точки, в результате чего создавалось ощущение, что толпа уходит чуть ли не за горизонт. Именно такие кадры чаще всего и публиковала правая пресса. Вместе с тем есть фотографии, снятые с верхнего ракурса, позволяющего приблизительно оценить количество демонстрантов[4]. Судя по отдельным кадрам, прохожие с любопытством рассматривали манифестантов, не спеша к ним присоединяться, выглядывали из окон проезжавших мимо трамваев, не прерывая поездок. Нужно заметить, что в период действительного общенародного единения и экстаза, как, например, в феврале — марте 1917 г.,

---

[1] Вечернее время. 1914. 16 июля.
[2] ЦГА КФФД СПб. Ед. хр. Г19; Д2014.
[3] *Шляпников А. Г.* Канун 17-го года… С. 49.
[4] ЦГА КФФД СПб. Ед. хр. Г20.

обыватели не пользовались трамваем, предпочитая находиться в толпе, среди народа, демонстрируя свою лояльность моменту. Учитывая порядок, с которым двигались группы в июле 1914 г., едва ли их можно считать стихийными, импровизированными образованиями, подтверждающими тезис об искреннем и всеобщем воодушевлении всех слоев населения.

Подобные манифестации проходили во всех более или менее крупных городах империи, где были ячейки Союза русского народа и прочих правых организаций, клубов. Товарищ министра внутренних дел и командир корпуса жандармов В.Ф. Джунковский, находившийся в эти дни в Баку, получал телеграммы из различных городов, в которых отмечалось, что патриотические манифестации организуются правыми партиями, обществами, причем помимо патриотических чувств выражают и ненависть относительно немецких и австрийских подданных, угрожая погромами. В Тифлисе, например, манифестанты пытались прорваться к австрийскому консульству, но полиция их не пропустила[1]. М. Палеолог собирал информацию об общественных настроениях в России из газет, разговоров с официальными лицами — Н.А. Маклаковым, С.Д. Сазоновым, — личными информаторами, а потому попадал под влияние официальной патриотической пропаганды, писал о великолепно организованной мобилизации, всеобщем патриотическом единении. Когда Германия объявила войну Франции, перед французским посольством собралась очередная «патриотическая» толпа, что растрогало Палеолога; вместе с тем, будучи наблюдательным человеком, он не мог не обратить внимания на организованность манифестаций, на то, что одна толпа манифестантов сменяла другую через равные промежутки времени: «Весь день перед посольством проходили шествия, с флагами, иконами, криками: „Да здравствует Франция! Да здравствует Франция!“ Толпа очень смешанная: рабочие, священники, крестьяне, студенты, курсистки, прислуга, мелкие чиновники и т.д. Энтузиазм кажется искренним. Но в этих манифестациях, столь многолюдных и появляющихся через такие правильные промежутки времени, какую часть инициативы надо приписать полиции?..»[2] Кадет Н.И. Астров, описывая московские ночные манифестации 17 июля, также обращал внимание, что они проходят под контролем полиции: «По вечерам на улицах ходят толпы рваного народа с флагами, с пением гимна и криками „ура“. Это патриотические манифестации, покровительствуемые полицией. Толпы ведут себя пока чинно»[3]. Некоторые убежденные монархисты не менее скептично воспринимали патриотизм тех дней. Доцент Юрьевского университета Б.В. Никольский записал в дневнике 18 июля: «Что касается манифестаций, то к ним я равнодушен. Это все бутафория»[4].

[1] *Джунковский В.Ф.* Воспоминания. Т. 2. С. 371.

[2] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 50.

[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 990. Л. 939.

[4] *Никольский Б.В.* Дневник. 1896–1918. Т. 2: 1904–1918. СПб., 2015. С. 195.

Тем не менее после объявления всеобщей мобилизации, начавшейся в Петербурге 18 июля, психологическая атмосфера изменилась. Современники обратили внимание, что приказ был отпечатан на листках кровавого цвета — расклеенные на улице, они сразу бросались в глаза, однако вряд ли способствовали росту энтузиазма среди тех, кому предстояло самим отправиться на фронт или проводить туда своих близких. Особенность массовых шествий мобилизационного периода в том, что если в предыдущие дни стихийные рабочие акции протеста и организованные патриотические шествия средних слоев проходили в разных частях города, то теперь происходило смешение в центре представителей разных социальных и политических групп населения. При этом бунтарские настроения рабочей среды никуда не делись, однако были приглушены грандиозностью происходящих событий. Эту «приглушенность» некоторые современники, поддавшиеся патриотической эйфории, приняли за энтузиазм. М. Палеолог, которого различные официальные лица постоянно заверяли в национальном подъеме и всеобщем воодушевлении в предчувствии надвигавшейся войны, описал день 18 июля в патриотических тонах: «Приказ об общей мобилизации опубликован на рассвете. Во всем городе, как в простонародных частях города, так и в богатых и аристократических, единодушный энтузиазм. На площади Зимнего дворца, перед Казанским собором раздаются воинственные крики „ура“»[1]. Желтая пресса тиражировала ту же информацию, описывая всеобщий подъем духа. Передавали, что на Дворцовой площади толпа в 10–12 тысяч человек опустилась на колени, а на Исаакиевской площади перед зданием Военного министерства митингующие кричали: «Мы рады умереть, но победить! Пора проснуться!» «Петербургский листок» так сообщал о первом дне мобилизации в столице: «Вчера, 18 июля, первый день мобилизации Санкт-Петербурга и Петербургской губернии прошел на редкость спокойно. Серьезное и, вместе с тем, преисполненное долгом настроение толпы чувствовалось на каждом шагу, на любой улице… Казенные винные лавки и портерные были закрыты. На улицах почти не было заметно лиц в нетрезвом состоянии. У многих зданий сборных пунктов останавливались толпы манифестантов, устраивавшие шумные овации по адресу призывных. Интересные сцены наблюдались на трамвайной линии. Многие из вагоновожатых и кондукторов получили извещение по выходе из парков. Их жены, получившие извещения, немедленно бросились в тревоге искать мужей, опасаясь, что их ждет какая-либо кара за просрочку явки. Жены находили мужей на линиях и „снимали“ их, с разрешения контролеров, с вагонов. Вагоны возвращались в парк… Но публика мирилась с отсутствием полного количества вагонов и терпеливо ждала на остановках»[2]. В желании засвидетельствовать патриотический подъем

[1] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 42.

[2] Петербургский листок. 1914. 19 июля.

корреспонденты «Петербургского листка» явно перестарались, описав психологическое состояние жен мобилизованных через единственное чувство «тревоги, что их ждет какая-либо кара за просрочку явки». В действительности, представить подлинное состояние жен не сложно, тем более что они описаны в многочисленных неофициальных свидетельствах, позднейших воспоминаниях.

Сообщения о проходивших в рабочих районах митингах интерпретировались по подобию патриотических шествий центральной части города. Полиции было приказано не провоцировать рабочих в первый день мобилизации и не вмешиваться в их краткосрочные и локальные уличные собрания. Вместе с тем непосредственные свидетели настроений жителей рабочих окраин оставляли наблюдения, резко контрастировавшие с официальной информацией: «Утром по всему городу красовались темно-красные объявления о мобилизации и белые листки с расценкой за приносимые мобилизуемыми вещи, как, например: сапоги, белье и т. д. Около листков — кучи людей, толковавшие на все лады о событиях; тревожно-унылое настроение сковывало всех. Около полицейских участков, превращенных в сборные пункты, толпились сотни семей рабочего люда. Женщины плакали, причитали и проклинали войну… И опять, как в дни мобилизации сил труда для протеста против режима угнетения, улицы пригородов наполнялись людьми, и тысячные толпы манифестировали по улицам с пением революционных песен и с криками „Долой войну“. Нередко и стоявшие около участка заплаканные и убитые горем женщины кричали сквозь слезы „Долой“ и призывали кричать других. Полиция была не так груба, пыталась разгонять, как и в июльские дни протеста, но, встретив энергичный протест запасных, считала за лучшее исчезать. Около полудня потянулись к центральным, городским сборным пунктам первые партии мобилизованных, окруженных слабым конвоем городовых. К ним быстро примыкала толпа, и создавалась манифестация с красными лентами или плакатами, привязанными на тросточки. Во время таких проводов бывали случаи столкновения с полицией, но манифестанты при активном содействии запасных всюду одерживали верх. Такие сцены происходили в различных частях города и даже в самом городе — в Коломенской части. Из пригородов особенно грандиозный характер манифестации имели за Невской заставой и на Выборгской стороне. В первом случае толпа в несколько десятков тысяч людей провожала запасных с пением революционных песен и красным знаменем вплоть до Знаменской площади, где имела столкновение с патриотами, была рассеяна полицией. На Выборгской в различных частях были манифестации почти весь день»[1].

19 июля превзошел по накалу страстей предыдущий день в связи с объявлением Германией войны России. Как и в первый день мобилизации, в ночь с 19 на 20 июля многие не могли заснуть и ходили по центральным улицам

[1] *Шляпников А. Г.* Канун 17-го года… С. 50–51.

города: «Можно смело сказать, что вчера весь Петербург не спал,— писал корреспондент склонного к преувеличениям «Петербургского листка».— До рассвета по улицам столицы ходили манифестанты. Особенно грандиозной вышла манифестация у Зимнего дворца, а затем на Марсовом поле»[1]. В день объявления войны России манифестации приобрели новую особенность: толпа останавливалась перед ресторанами и требовала, чтобы их оркестры исполняли музыкальные произведения. На панели Невского проспекта играл оркестр румын из ресторана «Квисисана», на Садовой — оркестр балалаечников[2]. Поздно ночью 21 июля толпа потребовала у заведующего Зоологическим садом, чтобы он направил в Александровский парк симфонический оркестр, что и было сделано. В парке на радость публике и под крики «ура» симфонический оркестр Владимирова играл национальные гимны вместе с военным оркестром[3]. Однако в музыкальном сопровождении патриотических шествий раздавались тревожные нотки: демонстранты требовали исполнения гимнов союзных держав, но когда оркестры принимались исполнять гимн Франции, кое-кто из нелояльной публики начинал напевать слова «Рабочей Марсельезы».

Вопреки тому, что пресса характеризовала шествия на Невском проспекте как исключительно патриотические, обыватели в частной переписке делились друг с другом совсем иными наблюдениями. 19 июля петроградский студент описал в письме товарищу «патриотическую» манифестацию, двигавшуюся от Лавры к Дворцовой площади: «Сегодня утром Миша отрывает меня от занятий и зовет на балкон посмотреть, какая надвигается со стороны Лавры большая толпа. Что же я увидел и услышал? Рабочие, запасные и провожающие их поют „Марсельезу“ со словами „Царь вампир пьет народную кровь…“, которые, ты знаешь, для царя нелестны. Не особенно приятны для него „Варшавянка“ и „Похоронный марш“, которые они пели. При пении „Похоронного марша“ офицеры и городовые снимали фуражки. Естественно, я выбежал на улицу и присоединился к густой толпе»[4]. Современники передавали, что кое-где между «патриотами-союзниками» и нелояльными подданными вспыхивали конфликты, переходившие в драки, которые тут же пресекались полицией и прочими участниками шествий. 18 июля в Екатеринославе произошла неудачная попытка организации патриотической манифестации членом Союза русского народа: во время призыва запасных чинов «союзник» Мартынов явился с национальным флагом, пытаясь вызвать патриотическую демонстрацию, но рабочие завода набросились на него, вырвали флаг и избили[5]. Многие современники из тех, кому предстояло по мобилизации отправиться на фронт,

[1] Петербургский листок. 1914. 20 июля.
[2] Там же.
[3] Вечернее время. 1914. 22 июля.
[4] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 23.
[5] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 123. Д. 138. Л. 34.

с недоверием и даже раздражением встречали патриотические митинги и их организаторов, справедливо полагая, что о патриотизме громче всего кричат и «трясут патриотическими штанами те, которые никогда на фронт не поедут»[1].

Историк, археолог В. А. Городцов отмечал диссонанс, порожденный видом «народных» (стихийных) и «союзнических» (организованных) манифестаций в Москве. Первые отличались тревожным настроением и сосредоточенностью; вторые — не только лучшей организованностью и оснащением (флагами, портретами, лозунгами), но и хулиганским поведением: мальчишки-оборванцы, подстрекаемые черносотенцами, во время пения гимна подбегали к прохожим и сбивали с них шапки. «Вообще все манифестанты-флажники производили на меня нехорошее впечатление и казались собранными черной сотней для проявления их гнусного патриотизма, приведшего Россию к настоящим дням», — записал ученый в дневнике 20 июля 1914 г.[2]

Следует также учесть, что в рядах искренних патриотов оказались те оппозиционно настроенные россияне, которые приветствовали войну как начало конца самодержавной России, предчувствуя, что она породит революцию. М. Палеолог обращал внимание на то, как по-разному представители власти и общества объясняли природу патриотизма: в то время, как министр внутренних дел Н. А. Маклаков радовался тому, что война положила конец рабочим забастовкам, другие объясняли это переходом протеста на новый уровень — в результате национального единения должна была расшириться социальная база противников самодержавного строя:

> Один из моих осведомителей Б., который вращается в прогрессивных кругах, говорит мне:
>
> — В этот момент нечего опасаться ни забастовки, ни беспорядков. Национальный порыв слишком силен… Да и руководители социалистических партий на всех заводах проповедовали покорность военному долгу; к тому же они убеждены, что эта война приведет к торжеству пролетариата.
>
> — Торжество пролетариата… даже в случае победы?..
>
> — Да, потому что война заставит слиться все социальные классы; она приблизит крестьянина к рабочему и студенту; она лишний раз выведет на свет нечестность нашей бюрократии, что заставит правительство считаться с общественным мнением; она введет, наконец, в дворянскую офицерскую касту свободомыслящий и даже демократический элемент, свойственный офицерам запаса. Этот элемент уже сыграл большую политическую роль во время войны в Маньчжурии… Без него военные мятежи 1905 года не были бы возможны[3].

---

[1] *Арамилев В. В.* В дыму войны… С. 14.

[2] *Городцов В. А.* Дневники ученого. 1914–1918: Из собрания Государственного исторического музея. В 2 кн. Кн. 1. М., 2019. С. 24.

[3] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 48–49.

Вместе с тем в первые дни мобилизации настроения тех, кому предстояло идти на войну, вопреки газетным сообщениям, едва ли можно описать как восторженные. На кинохронике, снятой оператором фирмы «Братья Патэ» 19 июля 1914 г. на улицах Петербурга, видно, что радостно-восторженное настроение прежде всего у мальчишек, которые, сопровождая резервистов, машут кепками, смеются, позируют перед кинокамерой и корчат оператору рожи. Проходящие мобилизованные настроены куда более серьезно, редко обращают внимание на камеру, разговаривают друг с другом или молча курят. Привлекает внимание пьяный резервист, шатающейся походкой подошедший к камере и начавший активно размахивать кепкой. Толпа на него особого внимания не обращает. В условиях прекращения продажи алкогольной продукции пьяный призывник — это редкость. Вместе с тем кинохроника доказывает, что официальные сообщения печати о мгновенном отрезвлении нации — явное преувеличение. На основании кинокадров создается впечатление, что люди погружены в себя, в свои мысли. А вот проходящие по другой стороне улицы казаки, наоборот, веселы, улыбаются в камеру. В целом праздничное настроение, описанное в официальной прессе, не ощущается, несмотря на попытки отдельных прохожих весело поприветствовать оператора[1]. Нет однозначных свидетельств праздничного настроения (флаги, веселые лица, соответствующая жестикуляция) и на фотодокументах, оставленных фотографами ателье К. Буллы. Мобилизованные из числа простых людей несколько напряженно и даже враждебно смотрят в объектив фотокамеры, кое-кто прячет лицо за платком[2].

Охранное отделение с тревогой отмечало, что 19 июля в связи с призывом запасных по мобилизации войск возникла забастовка на 21-м предприятии, с общим числом рабочих до 27 000 человек. Забастовка, так же как и предыдущие, сопровождалась демонстративными выступлениями, причем толпа демонстрантов с фабрики Эриксона, увидев партию запасных около 100 человек, следовавшую в сопровождении околоточного надзирателя и двух городовых на сборный пункт, встретила их криками «долой войну!» и, окружив тесным кольцом, стала сопровождать партию с пением «Рабочей Марсельезы», требуя от полиции роспуска запасных по домам. Далее означенную партию запасных (частью смешавшихся с демонстрантами) встретила вторая толпа демонстрантов-«леснеровцев» и с криками «бей полицию!» набросилась на чинов полиции, сопровождавших запасных, причем все три полицейских чина были ушиблены камнями, а у одного из городовых, упавшего от удара камнем, кто-то из толпы отобрал револьвер. Демонстранты были рассеяны прибывшим разъездом конных городовых. Разбежавшиеся запасные прибыли на сборный пункт частью сами, а частью были собраны на месте происшествия. Другой случай

[1] Mobilisation of Russian Army at start of World War One. Br. Pathé. https://www.britishpathe.com/video/russian-army-1.

[2] ЦГА КФФД СПб. Ед. хр. Г46.

имел место на Невском проспекте около двух часов дня. Когда партия запасных нижних чинов, шедшая из Шлиссельбургского участка, проходила мимо здания Городской думы, позади запасных сгруппировалась толпа человек из пятидесяти и стала кричать «долой войну!», выкинула красный флаг с надписью «От товарищей, в память 21 марта 1912 года» и запела «Марсельезу». После этого на них набросилась группа патриотов и устроила драку, которую остановила подоспевшая полиция[1].

Похожей была атмосфера и в других регионах России. В. Ф. Джунковский так описал настроения бакинских рабочих 19 июля 1914 г.: «На промыслах царило нервное настроение, рабочие-запасные готовились к призыву, другие их провожали, были и выпившие. Вечером совершенно неожиданно в предместье города запасные учинили беспорядок, разгромили винную лавку, и когда пристав бросился в толпу, чтобы схватить главаря, то был ранен камнем в голову. Подоспевшим нарядом толпа была рассеяна»[2]. Вместе с тем Джунковский, как и большинство современников, не связывал настроения рядовых обывателей, представителей низших слоев с тем патриотическим официозом, который демонстрировался политически лояльными подданными. Манифестации и адреса последних ему казались более репрезентативными свидетельствами всеобщего патриотического энтузиазма. В сознании политических элит, особенно тех, в чей адрес звучали приветствия, происходила некая аберрация, заставлявшая под определенным углом зрения рассматривать общественную атмосферу первых дней войны: «Объявление войны встречено было с огромным энтузиазмом по всей России, были забыты распри, вражды, мысли всех сосредоточились в одном единодушном порыве поддержать честь и достоинство России», — писал Джунковский, ни малейшего внимания не обращая на то, что эти слова вступали в противоречие с ранее отмеченным им нервным настроением рабочей среды и тем фактом, что патриотические шествия были организованы правыми партиями[3].

Рабочий-большевик А. Пирейко описывал антивоенные настроения пролетариата и запасных в Риге, выливавшиеся в столкновение с «союзниками»: «Хотя демонстрация против войны и была устроена с участием как рабочих, так и запасных, но это была чисто стихийная демонстрация: скоплялись по центральным улицам; толпой запасных и рабочих был разорван в центре города, у памятника Петру Великому, патриотический флаг демонстрации черносотенцев; выбросили красное знамя с лозунгом „долой войну!“, запели „марсельезу“»[4]. Пирейко сетовал на то, что движение было неорганизованным

---

1. ГА РФ. Ф. 102. Оп. 123. Д. 108, ч. 61 л. А. Л. 26 — 26 об.
2. *Джунковский В. Ф.* Воспоминания. Т. 2. С. 373–374.
3. Там же. С. 375.
4. *Пирейко А.* В тылу и на фронте империалистической войны. Воспоминания рядового. Л., 1926. С. 8–9.

и носило стихийный характер, вместе с тем именно стихийно вспыхивавшие акции демонстрировали подлинные настроения обывателей.

Можно с полным основанием утверждать, что реальная психологическая атмосфера в российских городах, где проходила мобилизация, соответствовала картине, описанной москвичкой Варей в письме от 22 июля 1914 г.: «Если бы ты, дорогой Ш., знал, что у нас делается! В городе тоска,— стыдно смотреть, кругом горе, всюду едут, идут с узлами, глаза заплаканные, женщины кричат. Где же подъем, о котором пишут газеты? Везде чувствуется, что войны не хотят. Ты, наверное, читаешь про оживление, про манифестации. Вечером ревут,— жутко становится,— двери запирают. Представь себе толпу без конца из подростков и хулиганов и полицейских. Лица неинтеллигентные, красные носы, нахальные глаза. Кричат, а сами смотрят, кому бы в зубы дать. Сегодня получила письмо из деревни, пишут: кругом один ужас, крики, стоны, рыдания не прекращаются»[1].

Так как совсем обойти молчанием тему антивоенных настроений было невозможно, редакторы правых газет списывали нелояльность части населения на национальные особенности, русофобские настроения. «Вечернее время», описывая патриотическую манифестацию в Гельсингфорсе, отмечало, что в ней приняло участие только русское население, а финляндцы оставались безучастны и уезжали из города в глубь великого княжества. При этом в самом Гельсингфорсе некоторые торговцы-финны отказывались принимать русские деньги[2]. О паническом бегстве населения из Финляндии писал в дневнике живший в Куоккале К. И. Чуковский, приводя в пример выдержку своего соседа — И. Е. Репина[3]. В Юго-Западных губерниях в нелояльности обвиняли евреев, на Кавказе — персов. В Центральной России с подозрением относились к полякам, украинцам, в Поволжье — к татарам и т. д. Война спровоцировала всплеск этнофобий. Один из авторов письма из Тифлиса, армянин Ованес, обвиняя грузин в том, что они не прекращали бастовать в дни мобилизации, утверждал, что «подлые грузины ставили выше всего свои личные интересы, а вовсе не интересы общества и государства»[4].

Другой характерной приметой времени стала паника, развившаяся в пограничных с Германией и Австрией регионах. Особенно перепугались дачники, которые, штурмуя поезда, бросая вещи на перронах, битком набивались в вагоны. В. В. Шульгин вспоминал, как на одной из станций в его купе, когда он направлялся из Киева в Петербург, ворвались возбужденные женщины и вынудили его отдать им свое место. Пытаясь по возможности охватить разные стороны общественных настроений, не выходя при этом за границы патриотической

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 14.
[2] Вечернее время. 1914. 21 июля.
[3] *Чуковский К. И.* Дневник. 1901–1929. М., 1991. С. 68.
[4] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 992. Л. 1131.

пропаганды, газеты нередко впадали в противоречия. Так, «Вечернее время» умудрилось на одной полосе совместить заметку «Напрасная паника», в которой шла речь о панике среди русского населения Финляндии, с описанием общественных настроений в соседней колонке: «Решимость и воодушевление, ни тени подавленности или угнетения. И что главное — никакой паники»[1].

Пропаганда продолжала развивать миф о всеобщем патриотическом настроении, ухватившись за очередное событие: 20 июля Николай II, подписав манифест о вступлении России в войну, вышел на балкон Зимнего дворца поприветствовать собравшуюся толпу. Газеты писали, а впоследствии повторяли и современники, что при виде императора стотысячная толпа, занявшая всю Дворцовую площадь, в один миг опустилась на колени и запела национальный гимн. «Русский инвалид» сообщал: «Государь Император и Государыня Императрица изволили выйти на балкон Зимнего дворца, где единодушно были приветствуемы собравшимся на площади стотысячным народом. Когда Их Величества вышли на балкон, весь народ опустился на колени; национальные флаги склонились и пение гимна „Боже, Царя храни“ и громовое „Ура“ огласили площадь. Государь Император и Государыня Императрица изволили милостиво отвечать на приветствия народа наклонением головы»[2]. Иллюстрированный журнал «Нива» опубликовал семь фотографий манифестации на Дворцовой площади 20 июля, снабдив их подписью «Стотысячная масса народа, опустившись на колени, со склоненными национальными флагами, приветствует царя гимном и громовым „ура“»[3]. Показательно, что, упоминая о манифестации на Дворцовой площади, «Вечернее время» сокрушалось по поводу того, что там было слишком много полиции, конных офицеров и общей показушности. В заметке «Не профанируйте духа народного» корреспондент акцентировал внимание читателей на том, что «народа сюда никто не привел… Ему не надо показывать путь ни к храмам, ни ко дворцу… Он сам идет туда, движимый одними и теми же мыслями и чувствами»[4]. При этом автор раздражался гарцевавшими на конях офицерами, что, по его мнению, создавало впечатление заранее спланированного мероприятия, хотя и нет сомнения в том, что значительная часть обывателей пришла на Дворцовую площадь по собственному желанию, зная о предстоящем оглашении царского манифеста.

События 20 июля 1914 г. на Дворцовой площади стали центральным элементом позднейшего конструирования мифа о всеобщем патриотическом подъеме 1914 г., причем количество манифестантов иногда увеличивалось вдвое. В работах некоторых современных исследователей также встречаются сильно завышенные цифры, поспешно заимствованные из периодики того времени.

---

[1] Вечернее время. 1914. 21 июля.

[2] Русский инвалид. 1914. 22 июля.

[3] Нива. 1914. № 31. С. 617.

[4] Вечернее время. 1914. 21 июля.

Так, О. Р. Айрапетов говорит более чем о четверти миллиона человек, М. Стокдэйл приводит чуть более «скромную» цифру — 200 000[1]. Вместе с тем изучение многочисленных фотографий, сделанных в тот день на Дворцовой площади с разных точек фотографами ателье К. Буллы, вызывает как минимум три вопроса: какова была численность толпы, имел ли место факт массового коленопреклонения, была ли эта акция спланирована заранее.

Начнем с того, что, по официальным данным, максимальная вместимость Дворцовой площади составляет около 100 000 человек, в то время как на всех фотографиях, сделанных 20 июля 1914 г., видно, что передний край толпы находится примерно на середине расстояния от Александровской колонны до фасада Зимнего дворца[2]. При этом ракурс большинства снимков, сделанных от дворца, не позволяет оценить ни плотность толпы, ни ее дальний край. Некоторые фотографии, в том числе те, которые публиковались в «Ниве» и других иллюстрированных периодических изданиях, создают впечатление, что собравшиеся тесно стоят друг к другу вплоть до арки Генерального штаба. В действительности это не так. На снимках тылов толпы, сделанных с противоположной стороны, видно, что люди стоят не плечом к плечу[3]. Плотные ряды доходили лишь до Александровской колонны, а далее до арки Генерального штаба любопытствующие обыватели прогуливались свободно. С учетом того, что площадь была занята народом лишь наполовину и что толпа на периферии была редкой, едва ли можно говорить, что там собралось более 25 000 человек.

Следует отметить, что в память о манифестации 20 июля была выпущена открытка «Война России с немцами. День объявления войны», ставшая одним из первых образцов визуальной патриотической пропаганды. Художник, по-видимому, находившийся в тот час на Дворцовой площади, запечатлел редкие ряды «патриотов». Вместе с тем, чтобы не выбиваться из патриотического тренда, он изобразил многочисленные национальные знамена в толпе, что противоречило истине.

Фотодокументы демонстрируют, что флаги, транспаранты и портреты царя держали в руках немногочисленные «союзники» (несколько десятков человек), стоявшие в первом ряду перед дворцом, которые к тому же были отделены от основной массы народа полицией. В толпе же, кроме поднятых шапок, никаких иных жестов приветствия не наблюдалось. Также газеты преувеличили количество коленопреклоненных в момент выхода императора на балкон. Фотографы, снимавшие манифестацию с разных точек Дворцовой площади, засвидетельствовали коленопреклонение лишь все тех же «союзников»,

---

[1] *Айрапетов О. Р.* Участие Российской империи в Первой мировой войне (1914–1917). Т. 1. 1914 год. Начало. М., 2014. С. 61; *Stockdale M.* Mobilizing the Nation: Patriotic Culture in Russia's Great War and Revolution, 1914–20 // Russian Culture in War and Revolution, 1914–22. Book 2: Political Culture, Identities, Mentalities, and Memory. Bloomington, Indiana, 2014. P. 3.

[2] ЦГА КФФД СПб. Ед. хр. Г76; Г78.

[3] ЦГА КФФД СПб. Ед. хр. Г34.



Ил. 1. Первый ряд из членов Союза русского народа на Дворцовой площади 20 июля 1914 г. Иллюстрированная почтовая карточка



Ил. 2. Война России с немцами. День объявления войны. Иллюстрированная почтовая карточка

да и то не всех. Никакого массового, общенародного опускания на колени не было — это обстоятельство вряд ли бы осталось без внимания многочисленных фотокорреспондентов. Мероприятие закончилось проходом по площади запасных, направлявшихся в казармы.

Изучив сохранившиеся фотодокументы, можно реконструировать расположение групп людей в тот день. Реконструкция демонстрирует, что, как ни старались сотрудники «Вечернего времени» доказать обратное, манифестация 20 июля была организована и срежиссирована (ил. 3). Основная масса народа выполняла роль статистов, в то время как отделенные от нее кордоном полиции группы «союзников», запасных солдат, офицеров создавали видимость патриотического экстаза. Большинство обывателей демонстрировали те же смешанные чувства, что и во время манифестаций 18 и 19 июля: любопытство, тревогу, восторг и неприятие начавшейся войны. Правда, свидетельств, что в тот момент на площади пели «Варшавянку» или «Рабочую Марсельезу»,



Ил. 3. Примерная реконструкция манифестации на Дворцовой площади 20 июля 1914 г.

звучавшие на Невском накануне, нет, но это не значит, что протестные настроения петербуржцев за сутки исчезли.

Москва встретила царский манифест 20 июля массовыми демонстрациями и митингами, продолжавшимися всю ночь. В час ночи толпа подошла к дому градоначальника и потребовала снять все вывески на немецком языке и рассчитать всех германских подданных на предприятиях. Многие современники были уверены, что ночные манифестации отличаются от дневных бóльшим количеством хулиганствующего элемента. Постепенно подобное выражение «патриотизма» начинало тяготить и вызывать раздражение. Один из обывателей писал: «3–4 шалопая поднимают на ноги порядочное количество публики. Вечером окон нельзя открыть — …уж больно орут исступленными голосами… Рабья психология покорности и готовности. Этот слюноточивый патриотизм и раздул страсти. Что в России, что у немцев»[1]. В «патриотических» толпах происходило брожение ксенофобских настроений, которое, повышая градус напряженности, ненависти, готово было вылиться в немецкие погромы. Однако одним из первых и самых масштабных погромов стал погром 22 июля в Петербурге.

В этот день на Невском проспекте состоялся очередной патриотический митинг «союзников». Как всегда, несли национальные флаги и портреты императора. Толпа разрасталась за счет присоединения к ней зевак. Прозвучало предложение двинуться к германскому посольству. В Москве, Тифлисе и других городах толпы «патриотов» уже предпринимали попытки прорваться

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 15.

к консульствам враждебных держав, однако тогда их сдерживала полиция; в этот же раз власти предпочли не вмешиваться, тем более что было известно, что сотрудники посольства к тому времени успели покинуть здание (как позже выяснилось, не все). Перед тем как добраться до посольства, толпа «разогрелась» на редакции газеты «Цейтунг», забросав окна камнями. На улице Гоголя с ресторана «Вена» манифестанты сорвали флаги. Подойдя к посольству, толпа сломала ворота, высадила двери и ворвалась в здание. Как писала пресса, в первую очередь погромщики устремились на крышу, где располагалась массивная скульптура Диоскуров. Статуи обнаженных «отроков Зевса» скульптора Э. Энке были установлены в 1913 г. и вызвали неоднозначную реакцию общества: консервативные обыватели с возмущением заявляли, что языческие персонажи, соседствовавшие с Исаакиевским собором, оскорбляют их религиозные чувства. Также критиковали и само здание, спроектированное архитектором П. Беренсом в неоклассическом стиле, которое выбивалось из архитектурного облика площади. Подобные замечания высказывали А.Н. Бенуа, Н.Н. Врангель, Г.К. Лукомский и др. Вполне определенно высказался о здании М. Палеолог, как бы оправдывая действия черни, которую обвинил в акте вандализма: «Отвратительное как произведение искусства, строение это очень символично: оно утверждает с грубой и явной выразительностью желание Германии преобладать над Россией»[1].

Теперь же обывателям представилась возможность зараз «удовлетворить» свои художественные и политические амбиции. Свидетели сообщали, что толпа первым делом устремилась на крышу, сняла немецкий флаг и подняла на флагштоке российский, сбросила с крыши немецкий герб. Погромщики устроили символический самосуд над государственным символом Германии — утопили герб в Мойке[2]. Также пытались сбросить и Диоскуров, но смогли одолеть только одну фигуру возницы, вторая повисла на выступе крыши. В.Ф. Джунковский вспоминал, что сброшенных гигантских коней толпа тоже безуспешно пыталась утопить в Мойке[3], однако некоторые газеты на следующий день опубликовали фотографии «нового вида» посольства — кони по-прежнему возвышались на крыше здания: вероятно, в Мойке пытались утопить одного из сброшенных Диоскуров[4]. После того как толпа закончила действия на крыше, приступили к погрому внутренних помещений, в одном из которых обнаружили притаившегося германского подданного переводчика Альфреда Катнера[5]. Его приняли за шпиона (с 20 июля в газетах началась пропаганда об организованном Германией массовом шпионаже в России, поэтому возбужденная толпа была

1 *Палеолог М.* Дневник посла… С. 51.
2 Петербургский листок. 1914. 23 июля.
3 *Джунковский В.Ф.* Воспоминания. Т. 2. С. 382–383.
4 Вечернее время. 1914. 23 июля.
5 В некоторых источниках указан как Альфред Маврикиевич Кетнер.

склонна в любом иностранце видеть шпиона) и убили на месте, нанеся «глубокие кинжальные раны». Впоследствии говорили, что его застали якобы за сожжением каких-то секретных бумаг, которые покидавшие в спешном порядке столицу работники посольства забыли захватить с собой (по другой версии, он прятался от громил на чердаке за ящиками, по третьей — был убит, спасая от вандалов статуи Диоскуров на крыше). Полиция тщетно пыталась прекратить погром, были вызваны пожарные, которые поливали из шлангов разбушевавшихся «патриотов», однако, когда бесчинствующая толпа, разбив мебель и хрусталь, добралась до винного погреба, стало ясно, что погром быстро не остановить. К тому же погромщики не собирались сдаваться полиции: попытки штурма здания отражались градом камней и прочих предметов, попадавшихся под руку. Одному из жандармов разбили голову. Погром продолжался до семи часов утра 23 июля. Разгромив немецкое посольство, толпа отправилась к австрийскому, но полиции удалось не допустить погромщиков к зданию[1].

Периодическая печать сочувственно отнеслась к подобному выражению народного гнева, частично оправдывая действия толпы возмущением, вызванным оскорбительными действиями немцев по отношению к вдовствующей императрице Марии Федоровне, чей поезд, направлявшийся из Дании в Россию, был задержан в Берлине и отправлен обратно в Копенгаген. Кроме того, газеты упоминали об аналогичных эксцессах, произошедших с русским посольством в Берлине: после отъезда посла С. Н. Свербеева немецкая толпа ворвалась в посольство и разгромила его и православную церковь[2]. При этом газеты переносили груз ответственности на представителей низших слоев общества, хулиганов, которые якобы и были единственными инициаторами и участниками погрома. Газета «Вечернее время» сообщала, что первоначально стихийный митинг был организован представителями интеллигенции, которые, пропев гимн перед Исаакиевским собором, с криком «бей немцев!» разворотили мостовую и закидали булыжниками окна здания, после чего отошли в сторону, но «в этот момент появились обычные спутники манифестаций — подростки и хулиганы. Раздались крики: „Надо громить! Идем внутрь“... Толпа хулиганов и подростков через ворота миссии ворвалась внутрь и забралась на крышу. Интеллигентная масса, участвовавшая в манифестации (и забрасывании посольства камнями. — *В. А.*) начала поспешно отходить назад»[3].

Другие современники признавали разношерстность публики, участвовавшей в разгроме, отмечали даже роль великосветских дам: «В этом погроме, как я узнал, участвовали и хулиганы, и много лиц даже из высшего общества, не исключая и титулованных дам. Одна такая графиня мне через несколько лет

[1] *Спиридович А. И.* Великая война и февральская революция. 1914–1917. Кн. 1. Нью-Йорк, 1960.

[2] Московский листок. 1914. 9 августа.

[3] Вечернее время. 1914. 23 июля.

случайно в разговоре созналась, что и она тоже была не безгрешна при погроме посольства. Градоначальник, не найдя настоящих виновников и, вероятно, опасаясь в обвинении в бездействии власти, арестовал и посадил в тюрьму несколько десятков каких-то мальчишек. Когда мне директор Департамента полиции Брюн де Сент-Ипполит доложил об этом, я, переговорив с градоначальником, приказал их немедленно освободить», — вспоминал В. Ф. Джунковский[1]. Генерал-майор отдельного корпуса жандармов А. И. Спиридович, наблюдавший погром, обратил внимание, что среди погромщиков, выбрасывавших вещи из окон посольства, особенно выделялась суетливостью «какая-то барышня в шляпке»[2].

Впоследствии «патриотическая» общественность пыталась забыть этот погром как черное пятно в процессе консолидации общества, однако многие усматривали прямую связь между «патриотическими» манифестациями 17–20 июля, разжигавшими национальную ненависть, пробуждавшими хулиганские инстинкты толпы, в которой новоявленные «патриоты» чувствовали свою безнаказанность, и погромом 22 июля. «Это последствие допускавшихся все эти дни патриотических манифестаций, принявших несомненно хулиганский вид», — записал 23 июля в своем дневнике городской голова И. И. Толстой о минувших событиях[3].

Несмотря на хулиганскую природу погром немецкого посольства отразился в патриотическом символическом пространстве. Поэт Б. Садовской посвятил ему стихотворение «Перед германским посольством»:

Оно вздымалось глыбой серой
И в белом сумраке ночном
Казалось сказочной химерой,
Тяжелым и недвижным сном.
Два гладиатора держали
Коней железных под уздцы
И терпеливо выжидали
Победу, славу и венцы…
…Когда же вспыхнул пыл военный
В сердцах, как миллион огней,
Они низринулись мгновенно
С надменной высоты своей…[4]

Случай в германском посольстве представляет интерес с точки зрения изучения психологии толпы, в которой происходит смешение сознания как образованных, так и необразованных индивидов, подчиняющихся единым эмоциональным порывам. Не случайно во время погрома «титулованные дамы»

---

[1] *Джунковский В. Ф.* Воспоминания. Т. 2. С. 383.
[2] *Спиридович А. И.* Великая война и февральская революция. 1914–1917. Кн. 1. Нью-Йорк, 1960.
[3] *Толстой И. И.* Дневник. 1906–1916. СПб., 1997. С. 526.
[4] Аполлон. 1914. № 6–7. С. 13.

слились с массой обычных хулиганов, чье внимание очень быстро от символов германского имперства переключилось на содержание винного погреба. Кроме того, этот немецкий погром продемонстрировал развитие конспирологического мышления на почве шпиономании — пытаясь оправдать в смерти переводчика русских «патриотов», газеты выдвинули версию, что Катнера убили свои же немцы. Газета «Вечернее время», которая 23 июля в убийстве переводчика обвинила хулиганов, 24 июля изменила позицию. Была выдвинута версия, что погромщики обнаружили разложившийся труп Катнера, который был убит сотрудниками посольства за то, что «слишком много знал» и мог бы выдать оставшихся в столице немецких шпионов: «Катнер был прекрасно осведомлен относительно всех являвшихся в посольство. Он знал тех лиц из обывателей, которые поддерживали непрерывное сношение с посольством, и мог бы вероятно рассказать не мало любопытного из области сношения чинов полиции с немецкими подданными, проживающими в Петербурге… Катнер много знал. После отъезда посольства его нашли мертвым»[1]. Этой же версии придерживалась «Земщина», добавлявшая, что «при осмотре здания Германского посольства на чердаках и в подвалах найдены сундуки, наполненные громадным количеством возмутительных прокламаций, призывающих русских рабочих к забастовкам и революции на случай мобилизации»[2]. Впоследствии шпиономания охватила всех представителей российского общества — от неграмотных крестьян, считавших, что все велосипедисты — это шпионы, отравлявшие колодцы, до дворян, полагавших, что Александра Федоровна выдает немцам военные тайны. Также ходили слухи, что когда немецкий посол Пурталес отправлялся на вокзал, его сопровождали две таинственные дамы в черном. Однако на вокзале одна из них исчезла. Впоследствии образ «дамы в черном» (иногда использовался более драматичный образ «черной вдовы») регулярно возникал в шпионских слухах столичного общества. 15 июля 1915 г. на имя великой княжны Ольги Николаевны пришло анонимное письмо, в котором рассказывалось о появлении в Новом Петергофе таинственной дамы, выдающей себя за француженку по фамилии Эмбло, которая под видом уроков французского языка втирается в доверие к высокопоставленным лицам, имеющим доступ к военным тайнам. Адресанта настораживало то, что Эмбло постоянно возила с собой какой-то матрац, на основании чего автор заключал: «Существует предположение и довольно основательное, что г-жа Эмбло мужчина и немец, и что не есть ли она одна из тех двух дам „в черном“, которые сопровождали германского посла Пурталеса на Финляндский вокзал в день его отъезда и исчезли неизвестно куда»[3]. Ходили толки, что одной из таинственных дам была завербованная немцами сотрудница Петербургского телеграфного агентства.

[1] Вечернее время. 1914. 24 июля.
[2] Земщина. 1914. 25 июля, 26 июля.
[3] ГА РФ. ДП-ОО. Ф. 102. Оп. 245. Д. 33. Т. 3. Л. 282 об.

22 июля «Земщина» распространила слух об аресте некой телеграфистки Н., которая регулярно посещала германское посольство.

Российская полиция хоть и предпочитала не вмешиваться в проявления народного патриотизма (Палеолог, Джунковский обвиняли ее почти в пособничестве громилам), 24 июля градоначальник князь А. Н. Оболенский все же напомнил жителям столицы о действующем с 13 июля запрете на проведение митингов, но демонстраций от этого меньше не стало. В меньшем масштабе, но локальные погромы иностранных фирм продолжались. По подсчетам исследователей, с 22 по 25 июля в Петрограде были разгромлены, помимо германского посольства, мебельный магазин фирмы «Братья Тонет», магазин инструментов для обработки металла и дерева торгового дома «Шухардт и Шютте», книжный магазин «А. Излер», магазин «Венский шик», «Кафе Рейтер», редакция газеты «St.-Petersburg Zeitung»[1]. Спустя некоторое время в печати стала появляться информация о том, что толпа в ряде случаев наносила ущерб русским подданным: «St.-Petersburg Zeitung» представляло собой русскую газету, выходившую на немецком языке, а кафе «Рейтер» принадлежало русской дворянке. Хозяйка кофейни, Варвара Николаевна Рейтер, урожденная Васильева, написала в редакцию «Вечернего времени» письмо: «Вчера в моей кофейне, на углу Невского проспекта и Садовой, были повреждены вывески и разбиты окна. Фамилия „Рейтер“ ввела возбужденную толпу в заблуждение. Я русская столбовая дворянка. Мой муж Чех, удостаивавшийся неоднократно Высочайших подарков и наград за долголетние заслуги. Мои трое детей воспитываются в здешних гимназиях. Я не только понимаю, но сочувствую волнению, которое охватило все наше общество. Я понимаю невольное заблуждение толпы и, как патриотка, прошу принять от меня на нужды военного времени 500 рублей»[2].

Петербургский немецкий погром, от которого пострадали русские подданные, был не единственным эксцессом тех дней в России. Погромами сопровождалась проводившаяся мобилизация. В тот же день, 22 июля, произошел погром в Барнауле, в процессе которого начался пожар, чуть не спаливший деревянный город. В Барнауле сказалось большое скопление мобилизованных солдат, до 20 тысяч, и начавшийся разгром винного склада, вследствие чего пьяная толпа решила выплеснуть свой гнев на представителей вражеских государств и разграбила по ошибке шесть датских торговых фирм (при посредничестве императрицы Марии Федоровны, этнической датчанки, Совет министров принял решение возместить ущерб). Следует заметить, что даже трезвые толпы москвичей и петроградцев во время погромов нередко громили магазины союзных держав — от стихийного бунта не следует ждать рационального исхода.

---

[1] *Савинова Н. В.* Антинемецкие настроения населения Российской империи в 1914–1917 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2007. Сер. 2. Вып. 2. С. 179.

[2] Вечернее время. 1914. 23 июля.

Патриотическая манифестация 20 июля, погром 22 июля стали в известном роде символами эпохи и обрели определенную коннотацию в исторической памяти: если 20 июля рассматривалось как пример позитивного единения общества и царя, то события 22 июля демонстрировали, во что может вылиться вульгарно понимаемый «патриотизм», в основе которого лежит страх перед образом внешнего или внутреннего врага и ненависть к нему. Тем не менее, как все символы, они приписывают значение событиям прошлого, чье реальное содержание было шире и многозначнее. Как уже упоминалось, в масштабе империи 20 июля ознаменовалось событиями разного порядка. Символу патриотического единения (сильно преувеличенному, как было показано) можно противопоставить событие — символ народного протеста. Одним из ярких примеров последнего, наверное, будут беспорядки рабочих и запасных, произошедшие в небольшом рабочем поселке Лысьва Пермской губернии, ставшие тем не менее одним из самых резонансных событий, которые пришлось расследовать на самом высоком уровне и которые обыватели обсуждали вплоть до конца 1914 г.

На Лысьвенском заводе с мая 1914 г. тянулась перманентная череда конфликтов (преимущественно экономического содержания) рабочих с заводской администрацией, однако объявление о мобилизации подлило масла в огонь: рабочие и запасные потребовали выплаты зарплаты за два месяца вперед и пособия из средств, которые ранее были пожертвованы графом П. П. Шуваловым на просветительские цели. Управляющий Онуфрович не смог договориться с толпой и решил применить насилие — достал револьвер и выстрелил (после того как один рабочий его ударил). Затем заперся в здании заводского управления, в котором, помимо управляющего, находились помощник исправника, полицейский надзиратель, околоточный надзиратель, четыре стражника, а также главный бухгалтер Крепышев, помощник Семенов и счетовод Никулин[1]. Толпа пыталась ворваться в здание, но осажденные забаррикадировались и держали оборону. Это только еще больше возбудило толпу, у которой появилось оружие. Так, следствием было установлено, что по крайней мере один человек — запасной нижний чин из мастеровых Павловской волости и завода Алексей Касьянов — из ружья стрелял по окнам заводской конторы[2]. Когда осаждавшие поняли, что в здание им ворваться не удастся, появилась идея сжечь осажденных заживо. С этой целью из подвала соседнего здания купца Чащина выкатили три бочки с керосином и, черпая керосин ковшами и ведрами, принялись поливать стены заводоуправления. Заодно выплескивали керосин на соседние административные постройки. Кроме того, в керосине мочили тряпки и куски рогож и швыряли их в окна. Первым вспыхнуло здание лесничества, затем дома служащих

---

1 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 123. Д. 138. Л. 67–68; Пермские ведомости. 1914. 17 ноября.

2 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 211. Д. 1516. Л. 11 — 11 об.

завода, потом дом купца Чащина, но каменный дом управления не загорался. «Тогда часть толпы направилась к волостному пожарному сараю, сломала замки у дверей и выкатила пожарную машину, приемный рукав которой вложили в одну из бочек, и стала качать керосин в главное здание, которое после этого и загорелось… Прибывший для оказания помощи брандмейстер заводской пожарной команды Иванов, пытавшийся приступить к тушению пожара, был толпой зверски убит… Между тем осажденные в здании Управления, видя приготовление толпы к пожару, решили бороться с огнем, чему много способствовал оказавшийся наверху, во втором этаже здания, большой бак с водой, откуда шел резиновый рукав. Пока вода не истекла, что продолжалось почти до 3-х часов дня, огонь удалось заливать, но затем положение стало совершенно критическим и безвыходным. Жар и едкий дым не давали осажденным возможности оставаться долее в горевшем здании и пришлось ретироваться… Часть служащих, бывших до того в здании, успела уйти из пылавшего здания, все остальные почти одновременно выскочили через окно во двор. Было около 4 часов дня. Киселев и Онуфрович с Епимаховым выскочили вместе, причем последнему удалось перебежать улицу. Но в это время он был замечен толпой, которая извлекла его из-под экипажа, куда он пытался спрятаться, и начала его избивать кольями, жердями, кирпичами и поленьями. Несчастный был тотчас же убит. Некоторые тут же обыскали его карманы и взяли револьвер. Выбежавшему Онуфровичу толпа сразу преградила путь возле здания конторы лесничества. Видя неизбежный конец и не желая отдаваться живым в руки разъяренной черни, Онуфрович пытался покончить с собой выстрелом из револьвера, но толпа окружила его и не дала возможности привести в исполнение это намерение… подвергла его самому зверскому избиению и прикончила. Помощнику исправника Киселеву удалось забежать во двор одного дома и укрыться в погребе. Бросившаяся толпа за ним не могла долго овладеть Киселевым, который стрелял из погреба в пытавшихся проникнуть туда. Тогда толпа стала при помощи жердей выворачивать пол погреба, затем притащили пожарную машину и стали лить воду, но за неимением воды вскоре перестали. Тогда, с целью извлечь Киселева решили поджечь постройку и с этой целью была принесена солома, но бывшие в стороне люди не дозволили поджога из опасения сжечь селение. После этого в Киселева стали тыкать жердями с надетыми на концах вилами… Лишь после снятия досок с верха погреба удалось выстрелами ранить Киселева и извлечь его оттуда с помощью веревочной петли за ноги. Но и тут еще не удалось овладеть им: Киселев уперся о ступеньки крыльца и со связанными ногами удерживал несколько минут револьвером напор толпы и лишь, израсходовав все патроны, переломил на колене револьвер и со словами: „не вам и не мне“ швырнул его в сторону, по очереди очутился в полной власти нападавших, которые добили его палками и жердями. На остальных выбежавших из здания людей толпа также набрасывалась и немедленно убивала, преимущественно ударами палок

и камней по голове», — рассказывали впоследствии «Пермские ведомости»[1]. Толпа не просто убивала представителей власти, но и предварительно издевалась над ними — в раны умирающих вставляли папиросы[2]. Особая роль принадлежала женщинам, которые своими истеричными криками поднимали градус нервозности и жестокости. Женщины-солдатки, лишавшиеся своих мужей-кормильцев, оказывались вследствие мобилизации в самом уязвимом положении, поэтому призыв положил начало серии бабьих бунтов, превосходивших, как отмечают некоторые исследователи, своей жестокостью «мужские» погромы[3].

Хотя беспорядки в Лысьве в целом носили стихийный и неорганизованный характер, в действиях толпы просматривался и рациональный момент — чтобы воспрепятствовать прибытию войск, бунтовщики перерезали телеграфные и телефонные провода, подожгли деревянный мост соединительной железнодорожной ветки[4].

Примечательно, что в беспорядки пытался вмешаться протоиерей с характерной фамилией Добротворский. Он поднял колокольный звон и намеревался пойти с небольшой группой прихожан с иконами к толпе, чтобы предотвратить задуманное убийство. Однако в церковь вбежал рабочий, унтер-офицер Майер, который, достав револьвер, потребовал прекратить звон и воспрепятствовал протоиерею выйти на улицу, угрожая убийством[5]. Впоследствии, провожая и благословляя запасных на вокзале, Добротворский узнал Майера, садящегося в вагон, но побоялся предпринять какие-то действия. Полиция сообщала, что после этих беспорядков в Лысьве среди местного населения долго сохранялись панические настроения[6].

В ходе беспорядков было убито 13 и ранено 10 человек[7]. Более 100 человек арестовано. Начатое дело было изъято из общего порядка и передано военно-окружному суду. 84 человека предали суду, правда 17 обвиняемых из числа мобилизованных успели отправиться в действующую армию, дела нескольких погромщиков-подростков выделили в отдельное делопроизводство. Суд шел медленно, так как процесс был открытым и свидетели обвинения боялись мести со стороны друзей и родственников подозреваемых. Часть населения Лысьвы была на стороне последних и относилась к ним сочувственно. 14 ноября

---

[1] Пермские ведомости. 1914. 17 ноября.

[2] *Забуга Н.А.* Протестные выступления рабочих Лысьвенского завода в 1914 г. // Исторические исследования в Сибири: проблемы и перспективы. Сборник материалов четвертой региональной молодежной научной конференции. Новосибирск, 2010. С. 136.

[3] На особенную эмоциональность женского бунтарства и ее роль в революционных событиях обращает внимание, в частности, В.П. Булдаков. См.: *Булдаков В.П.* Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997.

[4] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 123. Д. 138. Л. 38.

[5] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 211. Д. 1516. Л. 45.

[6] Там же. Л. 41 об.

[7] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 123. Д. 138. Л. 68.

приговором военного суда 38 человек были оправданы, 45 обвиняемых признаны виновными, из них двадцати двум назначили смертную казнь, однако позже, испугавшись народного возмущения, к смертной казни через повешение приговорили десятерых[1].

С символической точки зрения в этих событиях важно не то, что начались они с экономического недовольства, а то, что они были направлены против власти. В условиях патерналистского массового сознания и авторитарной (самодержавной) системы управления любой бунт в империи автоматически приобретал политический характер. Критика местной администрации легко переходила в адрес царя, во время пьяных мобилизационных беспорядков, как будет показано в следующей главе, звучали революционные песни, а также сжигались портреты царя. События на Лысьвенском заводе и аналогичные им эксцессы периода мобилизации, прокатившиеся по всей стране, как минимум опровергают тезис об общенациональном единении и примирении общества и власти в связи с началом войны. Наоборот, мобилизация и война создавали новую взрывоопасную почву в отношениях власти и общества.

Таким образом, мы видим, что так называемые «патриотические» манифестации июльских дней в действительности не являлись безупречными свидетельствами всеобщего национального подъема и единения общества и власти, как это пыталась представить дореволюционная пресса и, вслед за ней, некоторая современная историография. В тех манифестациях важно выделить следующие характеристики: организованность правыми партиями и полицией, условно-массовый характер (количество демонстрантов завышалось патриотической прессой), присутствие среди патриотов определенной части революционно настроенных рабочих, хулиганский характер сопутствующих «патриотических» акций, вылившихся в Петрограде в разгром германского посольства. Сопоставление массовых действий 20-х чисел июля в Петербурге, Москве, Барнауле, Лысьве и прочих городах демонстрирует не только сохранение протестного антиправительственного потенциала, но и, в некотором смысле, обострение конфликта на почве мобилизации и сопутствующих ей процессов (запрет на продажу алкоголя, вздорожание продуктов и т. д.).

«Успехи» мобилизации: явка и формы протеста

Мобилизация русской армии занимает особое место в дискуссии «патриотов» и «скептиков». Если патриотические манифестации в городах можно отнести на счет активности узких интеллигентских слоев общества, то военный призыв охватывал все слои населения, и в первую очередь ту массу «молчаливого большинства», которую не было слышно в период городских акций солидарности

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 211. Д. 1516. Л. 33, 39 об.

народа и власти, — крестьянство. Однако с начала 1920-х гг. в эмигрантской среде при попытках переосмысления катастрофы 1914–1922 гг. возникает дискуссия об истинных значениях мобилизации, как количественных, так и качественных. В 1924 г. бывший военный министр В. А. Сухомлинов повторил официальную версию, полемизируя с теми, кто начинал обращать внимание на отдельные ее эксцессы: «Наша мобилизация прошла как по маслу! Это навсегда останется блестящей страницей в истории нашего Генерального штаба, как бы отрицательно об этом теперь ни отзывались»[1].

У сторонников иных оценок мобилизации скептицизм вызывало в первую очередь не количество мобилизованных, а настрой, с которым запасные шли на призывные пункты. Генерал Ю. Н. Данилов назвал в 1924 г. патриотическую пропаганду «дешевым фасадом», поставив под сомнение истинный патриотизм русского солдата, а высокую явку призывников объяснил тем, что русский крестьянин привык исполнять все, что от него требовала власть[2]. Отрицали патриотизм у большинства новобранцев из крестьян, как уже говорилось в предыдущем разделе, генералы А. И. Деникин, А. А. Брусилов, Ю. Н. Данилов, политик П. Н. Милюков. Последний в своих воспоминаниях о Первой мировой войне, описывая настроения крестьян, использовал словосочетание «вековая тишина», взятое им из известного стихотворения Н. А. Некрасова:

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России, —
Там вековая тишина.
Лишь ветер не дает покою
Вершинам придорожных ив,
И выгибаются дугою,
Целуясь с матерью землею,
Колосья бесконечных нив…

Милюков обращал внимание, что патриотическое сознание российских крестьян ограничивалось масштабом их губернии: «В войне 1914 г. „вековая тишина“ получила распространенную формулу в выражении: „Мы — калуцкие“, то есть до Калуги Вильгельм не дойдет. В этом смысле оправдалось заявление Коковцова иностранному корреспонденту, что за сто верст от больших городов замолкает всякая политическая борьба»[3]. «О патриотизме крестьян (тем более — рабочего) говорить не приходится», — писал в своих воспоминаниях офицер-артиллерист и участник Гражданской войны В. В. Савинков[4].

---

[1] *Сухомлинов В. А.* Воспоминания. Берлин, 1924. С. 313.

[2] *Данилов Ю. Н.* Россия в мировой войне. Б.м., 1924. С. 111.

[3] *Милюков П. Н.* Как принята была война в России? // Воспоминания. М., 1991. С. 157–162.

[4] Три брата (То, что было): Сборник документов / Сост., авт. предисл. и коммент. К. Н. Морозов, А. Ю. Морозова. М., 2019. С. 438.

В 1926 г. генерал Н. Н. Головин вступил в полемику с данной скептической позицией, утверждая: «Объявление войны Германией вызвало в России большой подъем национального чувства. Насколько широкие народные массы охватил этот подъем, можно судить по тому, как протекала мобилизация… Русский рабочий шел на призыв с таким же сознанием своего долга, как и русский крестьянин»[1]. Головин ссылался на воспоминания М. В. Родзянко, который в радужных тонах описывал общественные настроения лета 1914 г. При этом, соглашаясь, что «субъективизм участника событий накладывает свою печать» на описание такой тонкой материи, как чувства, эмоции людей, Головин призывал учитывать «объективный показатель» — явку мобилизованных на сборные пункты. Он отмечал, что в России не было уклонений от воинской повинности, так как при явке в 96% оставшиеся проценты приходятся на расхождение на 10% между расчетным и фактическим числом подлежавших призыву (не доказывая, что расхождение было именно в большую, а не меньшую сторону, так как в противном случае явка бы составила не 96%, а 86%, что, впрочем, все равно остается достаточно высоким показателем)[2]. Тем самым Головин произвольно «подтягивал» явку к 100%. В 1939 г. он повторил свою аргументацию, уже в открытую полемизируя с Б. А. Энгельгардтом и Ю. Н. Даниловым, причем помимо старых количественных аргументов попытался подойти к вопросу с другой стороны: «Может ли читателю… прийти сомнение в наличии патриотизма и готовности к жертвенному долгу среди нашей солдатской массы? Кровь миллионов и миллионов убитых и раненых, принесенная на алтарь Отечества, вопиет против такого обвинения»[3]. Тем самым Головин занимал позицию, согласно которой последствие события определяет его причину, «кровь миллионов убитых» не позволяет историку сомневаться в искренности и целесообразности принесенных жертв. К сожалению, подобные квазинаучные построения встречаются до сих пор в трудах некоторых представителей «патриотической» общественности, путающей историю с политикой, а факты с мифами. Как видим, современная историографическая дискуссия о патриотических настроениях 1914 г. уходит корнями в столкновение «политической» и «исторической» традиций.

В июле — августе 1914 г. в российском обществе начали формироваться две картины военной мобилизации. Первая являлась пропагандистской конструкцией, вторая, неофициальная, передавалась в частных письмах, разговорах. В какой-то момент эти две картины окончательно разошлись, дискредитировав средства официальной информации в глазах народа.

Патриотическая пресса описывала энтузиазм, который якобы охватил новобранцев сразу после публикации приказа о призыве. «Вечернее время»

---

[1] *Головин Н. Н.* Из истории кампании 1914 г. на Русском фронте»: В 4 т. Т. 1. Начало войны и операции в Восточной Пруссии. Прага, 1926. С. 83.

[2] Там же. С. 85.

[3] *Головин Н. Н.* Россия в Первой мировой войне. Париж, 1939. С. 376.

сообщало на второй день мобилизации: «Сегодня к шести часам утра вся столица приняла необычный вид. Со всех концов города тянулись группы направлявшихся в полицейские участки… Подъем духа среди призывников необычайный… Чем больше вглядываешься в толпу, тем спокойнее становится на душе. Серьезные, трезвые люди, собравшиеся истово исполнить свой долг, без шуму, без истерических выкриков. И кажется, что у всех глаза потемнели от внутренней мысли, от решимости»[1]. В литературных журналах спешно печатались небольшие рассказы, посвященные злободневным темам. В некоторых из них сборные пункты запасных были описаны как некие светские салоны, куда пришли покрасоваться кавалеры и провожавшие их дамы, где царило веселье, бравада и в воздухе витало ожидание грядущих побед, геройства. Вот как описывал атмосферу на сборном пункте Л. Григоров: «На сборном пункте запасных вольноопределяющихся было шумно, царило оживление, раздавался даже смех; по большим комнатам прогуливались группами и парами призванные воины; среди них находилось много провожающих дам в модных платьях и шляпках; шел непринужденный говор, слышались шутки — и вовсе не было похоже на то, что отсюда людей отправляют на битву, на смерть — казалось, что собрались они по какому-то другому делу, простому, далекому от опасностей, не страшному и не будничному, обыкновенному, а похожему на какой-то праздник, может, на праздник смерти; но он не вызывал ни малейшей жути, а создавал подъем в груди, шевелил нервы, будил спавшие мирно чувства»[2]. Мобилизация становилась частью романтическо-героического дискурса.

При этом авторы художественных произведений не приводили оригинальные диалоги, высказывания, которые звучали на призывных пунктах. Вместе с тем сами мобилизованные впоследствии воспроизводили тамошнюю атмосферу. Будущий пролетарский писатель И. Зырянов (В. В. Арамилев), отправившийся на фронт, спустя несколько лет вспоминал врезавшиеся ему в память частушки и народные песни, которые исполнял один запасной из крестьян Вятской губернии во время стрижки новобранцев. Эти куплеты были придуманы не им, они отражали традиционное отношение народа к царской службе, повторяющееся и в мобилизации 1914 г.:

Во приемну завели,
Во станок поставили,
Во станок поставили,
Ремешочком смерили.
Ремешочком смерили
И сказали — приняли.
Из приемной вышел мальчик,
Слезоньки закапали,

[1] Вечернее время. 1914. 19 июля.
[2] Нива. 1914. № 32. С. 631.

Слезоньки закапали,
Мать, отец заплакали.
Думал, думал — не забреют,
Думал — мать не заревет.
Из приемной воротился —
Мать катается, ревет[1].

Посетивший 31 июля Управление воинского начальника в Крутицах В. А. Городцов отметил грубость чиновников в отношении нижних чинов, а также, что все комнаты управления были набиты просителями и плачущими женщинами[2].

Конечно, раздавались и веселые песни, шутки-прибаутки, однако в первую очередь это было самоуспокоением новобранцев. Вологодский крестьянин И. Юров вспоминал, как его партия мобилизованных добиралась до Устюга на перекладных: «В пути, чтобы заглушить тоску, мы, хотя были все трезвы… горланили песни, неуклюже шутили, беспричинно хохотали, словом, вели себя как ненормальные… Смеяться мне, конечно, не очень хотелось, внутри точила, не давала покоя грусть, мысленно я был со своей любимой семьей… Так мы всю дорогу заглушали в себе то, о чем было тяжело говорить. Но про себя каждый думал тяжелую думу: придется ли вернуться домой и увидеть своих родных?»[3] Раненый солдат схожим образом описывал мобилизацию: «Эх, вначале, как погнали нас семнадцатеро из деревни, ничего не понятно, а больше плохо… Ух и заскучали мы… На каждой станции шум делали, матерно барышень ругали, пели чточасно, а весело не было…»[4] Порой раздавались политические куплеты. Генерал Н. А. Епанчин вспоминал, что «когда во время войны производились частые призывы огромного числа запасных и новобранцев, они иногда не стеснялись, шляясь по городу, распевать: „За немецкую царицу взяли парня на позицу“»[5].

Медсестра С. Федорченко, собиравшая характерные высказывания народа, фольклор Первой мировой, привела типичные слова крестьянина о начале войны: «Как громом меня та война сшибла. Только что с домом справился — пол настлал, крышу перекрыл, денег кой-как разжился. Вот, думаю, на ноги стану, не хуже людей. А тут пожалуйте! Сперва было пить задумал, а только сдержался, — на такую беду водка не лекарство»[6]. Важным фактором крестьянского недовольства было то, что война началась в разгар сельхозработ. Непосредственно наблюдавшие за деревенской жизнью современники отмечали это в своих дневниках. Раздражение крестьян по поводу мобилизации

[1] *Арамилев В. В.* В дыму войны. Записки вольноопределяющегося. 1914–1917 гг. М., 2015. С. 84.
[2] *Городцов В. А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 37.
[3] *Юров И.* История моей жизни… С. 160–161.
[4] *Федорченко С.* Народ на войне. М., 1990. С. 25.
[5] *Епанчин Н. А.* На службе трех императоров. Воспоминания. М., 1996. С. 226.
[6] *Федорченко С.* Народ на войне… С. 24.

отмечала семидесятилетняя вдова Л. Н. Толстого в Ясной Поляне: «Все в унынии; те, которых отрывают от земли и семьи, говорят о забастовке: „Не пойдем на войну!“», — и семнадцатилетняя гимназистка в г. Скопине: «Сколько слез, рыданий, горя! Остаются семьи без кормильцев, пора рабочая, хлеб не убран, у многих до сих пор стоит в поле. И все эти молодые, полные сил люди обречены на смерть»[1].

Официальная «Летопись войны» напоминала читателям о том, как развивались события в период мобилизации, глядя на них сквозь призму религиозного чувства: «На дерзкий вызов Австрии по адресу Сербии и всего славянства Россия спешно стала мобилизоваться. Энтузиазму русского народа не было конца. Как будто наступил великий светлый праздник. Вся Русь, от края до края, жила теперь одними мыслями и чувствами. Ни днем, ни ночью не прекращались восторженные манифестации по всей России… Любо было смотреть и на лихих молодцов — русских орлов, призванных из запаса с разных концов России к своим частям. Лихо, заломив шапки, группами идут они по улицам. Сзади тянутся провожающие их жены с грудными ребятами, но без слез… Ни тени печали на лице, ни слезы на ресницах… Превосходя все ожидания, мобилизация войск у нас прошла с такой быстротой и успехом, что неоднократно учреждения и чины… удостаивались Высочайшего одобрения… Порядок везде был образцовый. Чувства патриотического воодушевления безграничны»[2].

Примечательно, что, описывая патриотический подъем запасных, корреспонденты чаще всего ссылались на городские манифестации, т. е. подменяли одно массовое действие другим. Очевидно, что ни масштаб, ни социальная структура, ни организационные особенности манифестаций и мобилизации не совпадали, поэтому их следует рассматривать по отдельности.

Пропаганда настолько искажала восприятие читателей, что даже спустя много лет, когда уже были известны факты о пьяных бунтах, дезертирстве и пр., современники упрямо воспроизводили ее штампы. Так, В. В. Шульгин вспоминал о мобилизации: «Железные дороги были охвачены смерчем патриотизма, которого никак нельзя было ожидать. Патриотизмом была захвачена в то время вся Россия. Запасные являлись всюду, в полном порядке и даже не произвели бунта, когда продажа водки одним решительным ударом была прекращена во всей империи. Это было чудо. Неповторимое»[3]. Конечно, никакого чуда не было, как не было и полного порядка при следовании запасных. В то время как официальная печать в первые дни после начала мобилизации описывала высокую сознательность и подъем народного духа среди новобранцев,

---

[1] *Толстая С. А.* Дневники в двух томах. Том 2. Дневники 1901–1910. Ежедневники. М., 1978. С. 411; Две тетради. Дневник Н. А. Миротворской / Публ. Д. Иванов. М., 2010. С. 17–18.

[2] Летопись войны. 1914. № 1. С. 22.

[3] *Шульгин В. В.* Последний очевидец… С. 237–238.

россияне в частной переписке рисовали совсем иные картины. Один из екатеринбуржцев так описывал настроение мобилизованных и населения в городе 5 августа 1914 г.: «Начну с настроения русских доблестных войск или, вернее, мобилизованных рабочих и крестьян. Об энтузиазме речи быть, конечно, не может, даже прыткие корреспонденты и сотрудники „Русского слова“ черпают свой энтузиазм скорее в редакционных комнатах, чем от общения с воспылавшей патриотическим гневом толпой. Какой уж там энтузиазм. За все время мобилизации, шатаясь по городу, могу сказать, что не видел не только энтузиазма, но даже не встречал просто веселой физиономии. Если бы была возможность опрашивать всю эту разношерстную публику, то, наверное, мы бы получили курьезнейшие ответы относительно причин войны; полная апатия по отношению к личности и намерениям внешнего врага и очень осмысленное и яро враждебное отношение к внутреннему врагу — в первую очередь к полиции. Полицию всюду встречали камнями и кошачьими концертами. Здесь полицейских сняли с многих постов, дабы не возбуждать запасных. В первый день мобилизации здесь было крупное столкновение со стражниками. Убито было 3 и ранено 3. Дней пять тому назад вышло распоряжение, запрещавшее запасным ездить бесплатно на трамваях. Для поддержания порядка поставили городовых на каждый трамвай. Запасные взяли штурмом вагоны, повыкидывали городовых и навели панику на полицию. Вызвали солдат и вооруженных стражников, приехал губернатор, который обещал на другой день пустить несколько вагонов специально для запасных»[1].

Как видно из писем обывателей, раздражение выплескивалось не только на полицию, но звучали оскорбления и в адрес верховной власти. В письме некой Кати из Нижнего Рыбинска от 30 июля сообщалось: «Здесь мужики с большим неудовольствием шли на призыв, даже бранили государя, говоря, что, вот, они идут на войну, а их семьи остаются без работников, голодные и „сирыя“. Требовали водки, угрожая разгромить казенки»[2]. Мобилизация крестьян не способствовала единению народа и власти, наоборот, становилась очередным источником политической опасности для существующего строя. Националистически настроенный житель Армавира, в условиях раздувавшегося печатью патриотического «психоза» не потерявший заряд скептицизма, обнаружил весьма любопытную причину разговоров о внезапно охватившем всех патриотизме. По его мнению, причина мнимого патриотического единения заключалась во временном «протрезвлении людей» ввиду закрытия на период мобилизации трактиров: «Наши либеральные газеты видят какой-то подъем духа в народных массах, которые призываются в войска. На мой взгляд, тут простая ошибка. Народ в дни мобилизации не пил, т. е. ему не давали пить,

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 48.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 992. Л. 1104.

и это есть результат того спокойствия и серьезности, какие мы наблюдали в настоящую войну. Народного подъема не было — ходили с портретами и иконами небольшие кучки истинно русских людей и только»[1]. Зырянов подмечал не спокойствие и серьезность мобилизованных крестьян, а с трудом сдерживаемое раздражение от того, что их оторвали от привычной жизни: «Мужику помешали жить, растревожили его, как медведя в берлоге. Он сердится, но пока еще сам толком не знает, на кого: на немцев, на царя, на бога, на Отечество»[2]. Князь А. Д. Оболенский 12 августа 1914 г. отмечал, что в Калужской губернии настроение спокойное и выжидательное, самоуверенный тон столиц отсутствует, однако крестьяне находятся в состоянии «спокойной грусти» и «некотором печальном недоумении»[3]. В. А. Городцов описывал настроение крестьян села Дубровичи Рязанской губернии перед отправкой мобилизованных как тревожное: «Во многих домах слышался плач и причитания. Мужики угрюмо бродили по улицам или сидели у ворот, толкуя о набежавшей беде»[4].

В отличие от В. В. Шульгина, писавшего, что колонны призванных запасных двигались в полном порядке и в приподнятом настроении, М. Палеолог 25 июля в дневнике описал иную картину. Наблюдая встретившуюся ему на пути маршевую колонну, посол отметил беспорядочность следовавших транспортных средств, а также большое количество женщин, сопровождавших мужей. В этой картине было мало от ура-патриотической атмосферы официально-пропагандистских изданий: «В течение всей поездки мой автомобиль догонял и затем проезжал мимо пехотных полков, находившихся на марше с полным полевым снаряжением. За каждым полком нескончаемой вереницей следовали транспортные средства, фургоны с боеприпасами, багажные повозки, грузовые средства передвижения армейских технических служб, санитарные повозки, военно-полевые кухни, телеги, линейки, крестьянские повозки и т. п. Транспортные средства следовали одно за другим в полнейшем беспорядке; иногда они съезжали с колеи и пересекали поля, натыкаясь друг на друга и создавая такую красочную неразбериху, что напоминали нашествие азиатской орды. Пехотинцы выглядели прекрасно, хотя их походу мешали дожди и дорожная грязь. Большое число женщин присоединилось к армейской колонне, чтобы сопроводить мужей до первого привала и там в последний раз попрощаться с ними. Некоторые женщины несли на руках своих детей. Вид одной из них весьма тронул меня. Она была очень молодой, с нежным лицом и красивой шеей. Красно-белый головной платок был повязан на ее светлых волосах, а кожаный пояс стягивал на ее талии сарафан из синей хлопчатобумажной ткани. К груди она прижимала младенца. По мере своих сил она старалась не отставать

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 977. Л. 6.

[2] *Арамилев В. В.* В дыму войны… С. 7.

[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 993. Л. 1237.

[4] *Городцов В. А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 65–66.



Ил. 4. Мобилизованный прощается с семьей. Июль 1914 г. Село Вечканово Самарской губернии. Фотограф А. Вяйсянен. Музейное ведомство Финляндии. Фотоархив



Ил. 5. Мобилизованный целует ребенка на прощание. Июль 1914 г. Село Вечканово Самарской губернии. Фотограф А. Вяйсянен. Музейное ведомство Финляндии. Фотоархив

от шагавшего в конце колонны солдата, красивого парня с загорелым лицом и с развитой мускулатурой тела. Они ничего не говорили, но шли, не спуская друг с друга любящих, полных душевного мучения глаз. Я видел, как трижды подряд молодая мать протягивала солдату младенца для поцелуя»[1].

Плачущая женщина становилась одним из самых ярких символов мобилизации. Призванный по мобилизации рижский рабочий А. Пирейко вспоминал отправку своего эшелона: «Когда начали нас погружать в вагоны, раздались душераздирающие крики и плач женщин, родственников и близких мобилизованных… Жены мобилизованных от горя рвали на себе волосы, цеплялись за буфера вагонов, чтобы остановить отходящий поезд с близкими людьми. Вой поднялся такой, что казалось, будто отправляют людей на кладбище»[2].

Плакали не одни женщины. Вологодский крестьянин И. Юров, зачисленный в ратники ополчения из-за больной ноги, описывал отправку первых партий мобилизованных: «Огромная толпа простонародья — мужчин, женщин и детей. У многих мужчин, как они ни крепились, из глаз лились слезы, а все женщины истерически рыдали или скулили каким-то нечеловеческим голосом, держась обеими руками за своих мужей. Мужчины каким-то помертвевшим взглядом смотрели на оставляемых жен и детей. Глядя на все это, хотелось и самому завыть по-звериному от бессилья против этого великого и ужасного бедствия… В Устюге нам рассказывали, как женщина, имевшая пятерых детей, прощаясь с мужем, сошла с ума, а муж, видя это, от отчаяния удавился»[3]. Один молодой сельский дьячок рассказывал, как расплакался, наблюдая отправку запасных своего прихода: «Взяли N, знаете, у него осталась жена с пятью детьми. Идет он, а у самого лица нет. Один ребенок — на его руках, другого жена несет, а прочие ухватились за подол отца и матери и бегут по бокам. Мать причитает, плачет и дети ревут; аж жутко. И меня прошибла слеза»[4].

Официальная визуальная картина мобилизации, формировавшаяся из нейтральных фотографий покорно следовавших на сборные пункты запасных, сегодня может быть дополнена частными фотографиями, которые составляли «другую», подпольную визуальную картину рассматриваемого периода. Непостановочные документальные кадры воссоздают моменты прощания близких, не оставляющие сомнения в том, какая именно психологическая атмосфера сопутствовала призыву. Уникальным визуальным документом является фоторепортаж из мордовского села Вечканово Самарской губернии, снятый в июле 1914 г. финским этнографом Армасом Вяйсяненом. На не всегда правильно сфокусированных, экспонированных кадрах жители выражают неподдельное горе, присутствие фотографа немного смущает их, так как многие отворачиваются

---

[1] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 56–57.

[2] *Пирейко А.* В тылу и на фронте империалистической войны. С. 14.

[3] *Юров И.* История моей жизни… С. 155.

[4] *Городцов В. А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 66.



Ил. 6. Товарищи прощаются перед отъездом на войну. Июль 1914 г. Село Вечканово Самарской губернии. Фотограф А. Вяйсянен. Музейное ведомство Финляндии. Фотоархив



Ил. 7. Женщина оплакивает своего мужа, ушедшего на войну. Июль 1914 г. Село Вечканово Самарской губернии. Фотограф А. Вяйсянен. Музейное ведомство Финляндии. Фотоархив

от фотокамеры или закрывают лицо руками. На одной из фотографий, запечатлевшей рыдания женщин после отъезда мужчин, можно опознать по торчащей из одеял руке зарывшуюся в них женщину, которую пытаются утешить ее соседки (ил. 7). Эта подлинная картина народной войны вступала в противоречие с официальным ура-патриотическим визуальным дискурсом.

Проводы на войну всегда были тягостным психологическим испытанием, поэтому народная традиция предполагала компенсаторный ритуал, позволявший снизить градус напряжения. Он предусматривал употребление алкоголя как средства релаксации. Однако военные власти боялись пьяных беспорядков, которыми ознаменовалась мобилизация периода Русско-японской войны. Даже из тыловых районов винный след тянулся вплоть до театра боевых действий. Именно на это делал упор военный министр В.А. Сухомлинов, выступая за ограничение мест продажи питей в империи в период мобилизации[1]. Из событий 10-летней давности были извлечены уроки. 14 мая 1914 г. Государственный совет одобрил законопроект Н.А. Маклакова о передаче заведывания делами и учреждениями о попечении народной трезвости из Министерства финансов в МВД. Законопроект предусматривал передачу на местах попечения о народной трезвости земским и городским органам самоуправления, находившимся под контролем МВД.

13 июля Сухомлинов в письме Маклакову под грифом «секретно» подал сигнал о скорой мобилизации, предлагая принять «все меры к полному прекращению всякой торговли спиртными напитками во всех районах, где будет объявлена мобилизация»[2]. 15 июля Маклаков в соответствии с ходатайством военного министра в шифрованной телеграмме попросил губернаторов и градоначальников теперь же сделать все необходимые предварительные распоряжения на этот счет, а также «на всех путях следования запасных в войска и частей войск в районы сосредоточения на весь срок с первого момента объявления и до закрытия сборных пунктов»[3]. Уже 17 апреля 1914 г. министр внутренних дел Н.А. Маклаков разослал губернаторам и градоначальникам циркуляр, согласно которому «в случае объявления высочайшего повеления о мобилизации, торговля крепкими напитками должна незамедлительно прекращаться в пределах мобилизованных уездов»[4]. Данные мероприятия были официально закреплены в указе императора об ограничении продажи алкогольной продукции до 15 августа 1914 г.

Следует заметить, что у сухого закона был не только военно-прагматический, но и политический мотив. В свое время идея проведения антиалкогольной реформы, продвинутая князем В.П. Мещерским и графом С.Ю. Витте не

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 71. Д. 74. Л. 1.

[2] Там же. Л. 1.

[3] Там же. Л. 3.

[4] Там же. Л. 2.

без участия Г. Распутина, оказалась удобным предлогом для снятия «неудобного» премьер-министра и министра финансов В. Н. Коковцова[1]. Новый министр финансов П. Л. Барк в январе 1914 г. в царском рескрипте на свое имя получил задание разработать проект питейной реформы, однако он продолжал проводить прежний финансовый курс, при котором государственный бюджет на четверть формировался за счет доходов от винной монополии. Ограничительные мероприятия в сфере питейной торговли мыслились Барком как временные, принятые лишь на период мобилизации, однако неожиданное решение царя «воспретить продажу водки навсегда» создавало серьезные финансовые затруднения, преодолевать которые было решено за счет денежной эмиссии и внешних займов.

«Летопись войны» с первого своего номера пыталась убедить читателей в том, что призывники чуть ли не с восторгом встретили запрет на алкогольную торговлю: «За все дни мобилизации Россия была в буквальном смысле слова трезвою. Все, где можно найти хоть бутылку водки или вина, было закрыто… И, заметьте, ни слова недовольства, наоборот, даже заядлые пьяницы благословляли такую мудрую меру правительства. Да и можно ли было пить в такие минуты всеобщего гражданского воодушевления»[2]. Официальная картина не соответствовала тому, что творилось в России. Зырянов описывал торговлю алкоголем в небольшом уездном городке в первые дни мобилизации: «В городке много пьяных. Винные и пивные лавки закрыты, но, очевидно, не казенкой единой пьяна Русь. Появились шинкари. Продают запрещенное вино по неслыханно высоким ценам»[3]. Причем пили не только мобилизованные крестьяне в маленьких провинциальных городках, но и рядовые горожане, так как запрет на продажу алкогольной продукции не распространялся на рестораны I разряда. Тем не менее алкоголя не хватало, поэтому начинались погромы. Современники даже выстраивали их последовательность: толпы мобилизованных и провожавших их рабочих и крестьян начинали с разгрома казенного винного склада, потом переключались на шинкарей, которые уже были не рады такому интересу со стороны жаждавших выпивки, а затем внимание части погромщиков переключалось на публичные дома — вполне типичная и естественная картина в условиях возобладавших биологических инстинктов[4].

С началом мобилизации по губерниям прокатилась волна разгрома запасными казенных винных лавок. Уже 21 июля на имя министра финансов из Стерлитамака была направлена срочная телеграмма от городского головы, занявшая целых пять телеграфных бланков: «Стерлитамаке более десяти тысяч запасных начались беспорядки угрожающие разгрому всего города. Разгром

---

[1] Более подробно см.: *Аксенов В. Б.* «Сухой закон» 1914 г.: от придворной интриги до революции // Российская история. 2011. № 4. С. 126–139.

[2] Летопись войны. 1914. № 1. С. 22.

[3] *Арамилев В. В.* В дыму войны… С. 7.

[4] Там же. С. 12–13.

уже начался с винного склада который растащен. Надзиратель и помощник ранены полицейской стражей. Начались выстрелы. Магазины и лавки закрыты. Ожидаются их разгром и имущества жителей…»[1]

Наиболее тревожные донесения в Главное управление неокладных сборов и казенной продажи питей поступили 22 июля из Томской губернии. За неполные пять дней в разных местах было разгромлено более двадцати винных лавок и складов. В Кузнецке склад был взят приступом и в течение нескольких дней находился в руках запасных. Опасаясь проникать внутрь, полиция снаружи наблюдала за происходящим, прислушивалась, сообщая о доносившихся изнутри глухих «ударах железа»[2]. В процессе разгрома склада в Барнауле начался пожар. Тревожным симптомом бунта стало то, что к запасным начали присоединяться и крестьяне. Управляющий акцизными сборами Томской губернии Лагунович прямо телеграфировал в Петербург: «Возмущение запасных Томской губернии принимает характер мятежа»[3]. Вместе с тем пьяные барнаульские беспорядки оказались окрашены в патриотические цвета: перепившая толпа, в которой очень часто возникали ксенофобские настроения, после разгрома винных складов приступила к разгрому промышленных заведений, причем, как уже упоминалось, с наибольшим ожесточением были разрушены представительства шести датских фирм, ошибочно принятых толпой за германские[4]. В итоге министр финансов разрешил томской власти начать уничтожение алкогольных запасов.

Хотя в периодической печати информация о подобных происшествиях отличалась известной скупостью, молва, а также частная корреспонденция разносила известия по всем уголкам империи. Так, 17 августа Л. Блудова писала из Барнаула в Одессу: «Мобилизация в Барнауле прошла с очень плохими последствиями: призванные запасные и ополченцы произвели разгром винного склада и магазинов с винными отделениями, сожгли их и целые два квартала у пристани. В пожаре погибло до четырехсот человек, грабивших вино и товары, а немало было убито выстрелами солдат, которых вызвали из лагерей для усмирения мятежа. В последнем участвовали жители окраин города — „шпана“, как их здесь называют, люди отчаянные, готовые на что угодно. С родителями шли и дети-подростки, о чем свидетельствуют их трупы, найденные под развалами сгоревших магазинов. Убытки от пожара исчисляются в 5 миллионов рублей. А началось все из-за пустяков: запасные были недовольны едой, другим ничего не досталось от казенной пищи, и вот они решили „с горя“ выпить и разбили винный склад, где совершенно случайно вспыхнул спирт и начался пожар»[5].

---

[1] РГИА. Ф. 560. Оп. 26. Д. 1219. Л. 3.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 71. Д. 74. Л. 20.
[3] Там же.
[4] Особые журналы Совета министров… 1914. С. 618.
[5] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 993. Л. 1294.

Характерной особенностью барнаульских беспорядков было то, что когда вечером 22 июля пожарная команда прибыла на винный склад на Луговой улице, обыватели не позволили ей потушить пожар. «Жизнь Алтая» позже описывала ситуацию: «В толпе стали раздаваться крики: „Не давай, ребята, тушить, пускай горят!“ Крики возымели действие: пожарных начали стаскивать с бочек, с машин, бросать в них камнями и палками. Наконец стали делать на них нападения с целью избить. После этого пожарники отступили. Огонь охватил надворные постройки и дома Кочанова и Трещаловой. В толпе начались подстрекательства к разгрому и грабежу. В окна дома Смердина полетели кирпичи. Вытащенное из домов имущество начали расхищать, а затем начался настоящий кошмар. Грабители начали разбивать склады, магазины, имущество из которых понесли и повезли по всем направлениям города. Тащили мужчины, женщины и подростки»[1].

Не отставал от Сибири и Урал. В июле в Пермской губернии было разгромлено 29 складов; так же как и при погромах в других местностях, в событиях активное участие принимали крестьяне, женщины и подростки[2]. Напряженная обстановка складывалась в Поволжье. В г. Вольск Саратовской губернии 19 июля призванные на военную службу, узнав о закрытии не только трактиров, но даже чайных в городе, разгромили три казенных винных склада, после чего взломали оружейный магазин Мейнца и пошли на штурм полицейского правления[3]. Таким образом, «трезвая мобилизация» способствовала отработке военных действий пьяными призывниками перед отправкой на фронт.

В Центральной России дела обстояли не многим лучше. В Рязанской губернии к 22 июля было разгромлено «всего лишь» два казенных винных склада, вследствие чего губернатор Н.Н. Кисель-Загорянский предписал установить усиленную охрану на сборных пунктах запасных и по всем путям их следования, а также подготовиться к экстренному вывозу алкоголя в другие районы или к его уничтожению[4]. Вместе с тем меньший масштаб пьяных погромов в ряде губерний компенсировался более частыми случаями употребления суррогатной продукции, за которыми нередко следовало тяжелое отравление, иногда с летальным исходом. Так, того же 22 июля в городе Нижний Ломов Пензенской губернии провизор Г.И. Юнеев стал распространять среди запасных нижних чинов бальзам собственного приготовления, в результате чего 50 ополченцам потребовалась срочная медицинская помощь и 11 человек из них вскоре умерли[5].

Ситуацию усугубляла еще и неготовность местных военных властей должным образом организовать новобранцев, обеспечить их провиантом и обмун-

---

[1] Жизнь Алтая. 1914. 25 июля.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 74. Д. 9ч. Д. Л. 9 об.
[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 58.
[4] ГА РФ. Ф. 102. Д. 2. Оп. 71. Д. 74. Л. 51.
[5] Там же. Л. 97.

дированием[1]. Но если прокормить себя мобилизованные были не в состоянии, то достать алкогольные напитки или суррогаты оказывалось намного легче, вследствие чего вспыхивали бунты с участием нескольких сотен человек[2]. Сами власти уже не знали, что лучше: продолжать сдерживать тягу новобранцев к традиционному способу релаксации или ослабить этот контроль. В Пензе решение пришло само собой. После закрытия сборных пунктов до отправки эшелона с новобранцами к месту дислокации власти губернии решили на три часа открыть винные лавки. Трех часов оказалось более чем достаточно, чтобы все ополченцы тут же перепились и по городу покатилась волна пьяных драк, с трудом сдерживаемых полицией[3]. В результате пензенский губернатор А. П. фон Лилиенфельд-Тоаль отправил письмо на имя министра внутренних дел с ходатайством о дальнейшем воспрещении торговли вином хотя бы до начала сентября, к которому предполагалось сплотить ополченцев в воинские части с воинской дисциплиной. Причем губернатор отмечал, что с подобными предложениями к нему уже обращалось военное начальство, а также полицейские чины и земские начальники.

Телеграммы с подобными предложениями приходили на имя министра внутренних дел из различных губерний. Из этих телеграмм, в частности, становится ясно, что окончательное формирование ополченцев в воинские подразделения задерживалось по ряду причин как организационного, так и финансового характера. Самарский губернатор, также высказываясь за продление запретительных мер, описал сложившуюся ситуацию в губернии: «В настоящее время в местах расквартирования призванные по мобилизации запасные и ратники ополчения, хотя и размещены в подлежащей части, но полное сформирование этих частей еще не закончено. Не говоря уже о том, что в мобилизованных запасных частях и ополченческих дружинах не замещен еще весь штат офицерского состава, нижние чины не введены в режим казарменной жизни и в разрозненном виде праздно проводят время по обывательским помещениям. При всем этом нельзя не обратить внимания на то, что многие из призванных еще не обмундированы и это обстоятельство в значительной степени создает затруднения в должном наблюдении за ними со стороны военного начальства. Таким образом, собранные части запаса представляют собой в данный момент огромную по числу недисциплинированную массу, надзор за которой, в силу указанных условий, представляется физически невозможным»[4].

Изучая обстоятельства каждого отдельно взятого пьяного бунта, нельзя не согласиться с выводами самарского губернатора о плохой организации призыва. Именно неспособность местных властей по ряду причин обеспечить

[1] Там же. Л. 113—113 об.

[2] Там же. Л. 149.

[3] Там же. Л. 84.

[4] Там же. Л. 113—113 об.

своевременный сбор, содержание и отправку запасных без проволочек вызывала недовольство последних и, как следствие, рост бунтарских настроений. Так, например, в Верхотурском уезде Пермской губернии 20 июля произошли беспорядки, в которых участвовало более 500 новобранцев. Все они прибыли на станцию «Шайтанка» для дальнейшей отправки на сборный пункт, но на станции выяснилось, что эшелон будет подан лишь спустя несколько часов. Все это время новобранцы были предоставлены сами себе и отправились гулять по окрестностям. Некоторые из них выяснили, где можно тайно приобрести вино, и к назначенному времени отправления на станцию явились уже изрядно подвыпившими. Однако на месте оказалось, что эшелона все еще нет, а станционное начальство не в состоянии обеспечить новобранцев ни крышей над головой, ни питанием. Пьяные, голодные и уставшие новобранцы попытались собственными силами решить свою дальнейшую судьбу, для чего ворвались в кабинет начальника станции с требованием хлеба и попытались захватить телефон с телеграфом для связи с вышестоящим начальством. В результате всех этих действий зданию станции был нанесен серьезный урон, а когда дело дошло до поиска виновных, то «крайним» оказался содержатель ренсковых погребов крестьянин П.В. Оленев, якобы тайно продавший запасным вино. Объявленный главным виновником беспорядков, по решению Пермского губернатора он был выселен из губернии и отправился в г. Барнаул[1].

О плохой организации призыва сообщалось и в письме из Казани от 8 августа: «Работы тут много. Каждый день пригоняют все новых и новых запасных. Уж даже девать некуда. Ни обмундировки, ни оружия, конечно, нет. И все это ходит грязное, оборванное. Как выведут, никак нельзя подумать, что это войско, а прямо сброд всякий. Есть и хулиганы, понятно… Постоянно массы народа недосчитываешься — где-то себе гуляют. Повидимому, организация всего этого дела пребезобразная. Например: к нам понаслали массу пехоты, а теперь велят обратно куда-то пересылать»[2]. В другом письме сообщалось о бесчинствах новобранцев в Чистопольском уезде Казанской губернии, устроенных при попустительстве администрации: «Я все еще сижу в Лаишеве и завтра надеюсь кончить прием ратников. Несмотря на полный беспорядок, внесенный военным начальством, здесь обошлось все пока благополучно. В Чистополе же не совсем удачно. Народ там все разбойники, и можешь себе представить, их бросили на произвол судьбы, отправляя огромные партии по малым дорогам без провожатых. Шесть дней подряд проходили мимо моей усадьбы и все шесть дней поджигали мое имение в разных местах, и только благодаря дождю у меня остался сосновый лес… Кроме меня пострадали все лежавшие по дороге усадьбы, но только там не жгли, а грабили рожь и овес в снопах и разбивали

---

1 ГА РФ. Ф. 102. Д. 2. Оп. 71. Д. 74. Л. 149.

2 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 992. Л. 1189.

стекла в окнах. Вообще видно, что идеи 1905–06 гг. глубоко пустили корни…»[1] Автор письма лично жаловался губернатору Боярскому, но тот оправдывался лишь тем, что в других местах все еще хуже. Выше уже приводилось письмо Казанского губернатора, в котором он хвастался, что в его губернии призыв ратников идет без эксцессов и ему не приходится прибегать к помощи войск. Вероятно, в этом проявлялась стратегия администрации: пуская сбор ратников на самотек, избегать больших скоплений призывников в крупных административных центрах, вследствие чего массовые беспорядки по типу барнаульских заменялись множеством локальных конфликтов. Войска не были привлечены к призыву в Казанской губернии, Боярский хвастался отсутствием массовых бесчинств, и только помещики, чьи имения располагались по пути следования запасных, оплакивали свое имущество на пожарищах.

Аналогичные бесчинства запасных имели место в Киевской, Минской, Могилевской губерниях. Запасные двигались отдельными партиями по 200–300 человек, часто без надлежащего воинского надзора. Запасные нижние чины, призванные из Игуменского уезда Минской губернии, шли пешком в Минск по Игуменскому тракту, громя по пути винные лавки, заходя в близлежащие имения, вымогали деньги, забирали вещи, грабили и поджигали усадьбы[2]. В Могилевской губернии в имении Почаевичи графа Хрептовича-Бутенева крестьяне и запасные вырубили лес, забрали дрова[3]. Причем доставалось не только помещикам, но и крестьянам «чужих» деревень: по сообщению киевского губернатора, мобилизованные поджигали находящийся на полях в снопах овес, били стекла в домах, ломали изгороди[4].

Плохая организованность переброски маршевых команд запасных провоцировала конфликты на этой почве. Так, в ряде случаев запасные заявляли воинским начальникам, что не желают идти пешком, а требуют подводы. Те, кто получал подводы, требовали поездов или пароходов. Нередко мобилизованные предъявляли еще большую щепетильность. В.Ф. Джунковский вспоминал, что в Сабунчах запасные при посадке на поезд убили полицмейстера Панина и разбежались. Поводом стал поданный поезд, состоявший из теплушек. Запасные, увидев это, стали забрасывать машиниста камнями, крича: «Не поедем в телячьих вагонах, давай классные». Когда Панин с несколькими казаками попытался усмирить толпу, его убили брошенным камнем. На следующий день Джунковский лично решил проводить запасных и увидел следующую картину: «Запасные сидели в вагонах, пьяных масса, градоначальник выкрикивал разные воодушевляющие патриотические слова, часть запасных кричали „ура“, другие же с озлобленными лицами показывали градоначальнику

---

1 Там же. Л. 1101.

2 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 123. Д. 138. Л. 37.

3 Там же. Л. 42.

4 Там же. Л. 36.

кулаки, из вагонов сыпались ругательства. Картина была омерзительная»[1]. Когда Джунковский выезжал на автомобиле со двора сборного пункта, кто-то из запасных бросил в его автомобиль камень. По дороге из Баку в Петербург товарищ министра внутренних дел наблюдал картины пьяных бесчинств запасных, которые на железнодорожных станциях бросались первым делом на штурм казенных винных лавок[2].

Пермский губернатор сообщал 21 июля, что в Осинском уезде запасные в количестве 5000 человек заявили, что не хотят ехать в Пермь на подводах, а требуют пароходы[3]. В некоторых случаях запасных действительно пытались отправлять на сборные пункты на пароходах, вследствие чего пассажиры последних оказывались на несколько дней заложниками мобилизованных солдат. Известны случаи изнасилования женщин на пароходах ратниками[4]. Сексуальные перверсии часто сопутствуют алкогольным злоупотреблениям. Жажда релаксации приводит к тому, что субъект «расслабляется» до животного состояния, биологическое полностью вытесняет в нем социальное. Скопление раздраженных мужчин в большую и плохо организованную толпу способствует подобным процессам. Впрочем, погромы и сексуально-перверсивные акты сопутствовали не только отправке запасных на пароходах и передвижению пеших маршевых рот — запасные бесчинствовали и по всем линиям железных дорог, и сопровождавшие их команды ничего не могли поделать. И. Зырянов описал отправку партии мобилизованных в Петербург, где переплелись различные архаичные традиции массовой релаксации: пьянство, коллективное пение, драки стенка на стенку, грабежи, насилие и прочее: «Едем в Питер. Шестьсот новобранцев. Специальный поезд — двадцать теплушек. В вагон натолкали по тридцать душ. Тесно. Шумно… На вокзале тягостная сцена прощания. У каждого вагона голосят бабы — матери, жены, сестры… Никаких патриотических восторгов не видать… Вой сливается в истерические выкрики. Последний звонок… Толчок, царапающий нервы, лязг буферов… Толпа пришла в движение, смяла патрули и бросилась вслед за убегающими вагонами… Едем, едем, едем… Долго стоим на узловых станциях, на разъездах. Скорость — двести километров в сутки… В каждом вагоне множество туесов, бочонков с пивом и бражкой… Пьянка, веселье… На каждой остановке все вываливаются из нутра вагонов на платформу. Бесстыдно пристают к бабам, к девушкам, продающим ягоды, молоко… На каждой остановке — драки. Вагон на вагон, стенка на стенку… Заводские на деревенских. Уезд на уезд. В Вологде догнали эшелон новобранцев-вятичей, отправляющихся в Москву в пехоту. Через пять минут разыгрался форменный бой. Первое „крещение“. Вятичи в драке виртуозы. Пехота одолела

---

[1] *Джунковский В. Ф.* Воспоминания. Т. 2. С. 376–377.

[2] Там же. С. 380.

[3] Там же. С. 65.

[4] Там же. С. 119.

императорскую гвардию. С диким гиканьем, с соловьиным разбойным посвистом гоняли вятичи наших под вагонами, обстреливая щебнем и увесистыми галями. Некоторых угнали за станцию, ловили поодиночке и избивали. Человек двадцать получили серьезные ранения: головы и лица в синяках, в крови. Одному распороли финкой живот… Когда драка приняла особо значительные размеры… начальник конвоя вызвал для ликвидации драки городскую пожарную команду. Старинный русский способ. Помогает, между прочим… Двенадцать душ так и не нашли. Пропали без вести… В вагоны натаскали груды щебня и песка. Во время движения поезда настежь открыты обе двери теплушки. И горе прохожему, попадающему в „сферу досягаемости“… Когда камень удачно попадет в висок или в темя прохожего, из вагонов несется одобрительный хохот… Кое-где в вагоны затащили девок и держат на положении арестованных… На станции „Уклейка“ разгромили буфет, разграбили все до последнего кусочка. Теперь громят на каждой станции… Ни увещевания генерала, ни назидания священника впрок не пошли. На первой же станции опять разгромили буфет, проломили голову буфетчику… Чем ближе подъезжаем в Петербургу, тем сильнее неистовствует и озорует эшелон. Бьют стаканы на телеграфных столбах, стекла в сторожевых будках и вокзалах, обрывают провода. В нашем вагоне появились ящики с продуктами, картинки, окорока, связки колбас, баранок. Трофеи. На одной немудрой станции встретили чуть не в штыки. О наших художествах была дана телеграмма местному начальнику гарнизона. Он выслал на вокзал дежурную полуроту в полной боевой готовности… Кое-кому из наших забияк пришлось познакомиться с прикладом русской трехлинейной винтовки… Архангелы с винтовками разгуливали под бортами вагонов, ехидно улыбаясь и многозначительно подмигивая. Только после третьего звонка из вагонов полетели камни, цветистая ругань, горсти песка. Наши мстили полуроте за „обиды“. Петербург. Все как-то сами по себе стушевались и вошли в „норму“»[1].

То же самое происходило на других железнодорожных направлениях. 25 июля в департамент полиции пришла телеграмма из управления Сибирских железных дорог от жандармского полковника Бардина: «Следующие по Сибирской железной дороге эшелоны запасных громят вблизи станции закрытые винные лавки и опьяненные буйствуют на станциях, разбивают окна, в вокзалах грабят буфеты, избивают жандармов и стражников»[2].

За время мобилизации в Департамент полиции поступали сведения о беспорядках призывников из следующих губерний: Астраханская, Бакинская, Витебская, Владимирская, Вологодская, Волынская, Вятская, Дагестанская область, Донская область, Екатеринославская губерния, Елисаветпольская,

[1] *Арамилев В. В.* В дыму войны… С. 16–25.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 123. Д. 138. Л. 111.

Енисейская, Иркутская, Казанская, Киевская, Ковенская, Кубанская область, Курская губерния, Минская, Могилевская, Нижегородская, Новгородская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Пермская, Подольская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Семиреченская область, Симбирская губерния, Ставропольская, Сувалкская, Тамбовская, Терская область, Тифлисская губерния, Тобольская, Томская, Тургайская, Уфимская, Ферганская область, Харьковская губерния[1]. Таким образом, 42% губерний и областей Европейской России, Привислинского края, Сибири, Кавказа, Среднеазиатских владений были охвачены погромами запасных. При этом в других губерниях и областях также проходили возмущения, которые тем не менее не приводили к массовым разгромам винных складов и лавок ввиду своевременных действий местной администрации, а также потому, что в них, в силу мобилизационного плана, не происходило скопления большой массы призванных на войну. Так, министр внутренних дел в письме губернатору Акмолинской области выразил благодарность за то, что тот своими действиями «воспрепятствовал дальнейшему распространению в области возникших в отдельных местностях волнений среди запасных и крестьян»[2].

Парадокс «трезвой» мобилизации 1914 г. заключался в том, что если открытая винная торговля в 1904 г. приводила к пьянству запасных и бесчинствам, то запрет винной торговли в 1914 г., введенный с целью недопущения пьяных беспорядков, имел еще более печальные последствия — мятежи растягивались на несколько дней. По-видимому, все-таки истина заключалась не в вине и его доступности для призывников, а в просчетах в организации сборов новобранцев и их доставки в воинские части. Кроме того, сам по себе запрет на продажу алкоголя очень скоро окрасился в цвета политической борьбы.

С начала XX в. инициатива пропаганды трезвенничества принадлежала земскому движению, а в период 1905–1907 гг. и вовсе приобрела революционное содержание, так как создававшиеся в разных городах Советы рабочих депутатов запрещали торговлю спиртным и закрывали кабаки в промышленных районах, вызывая недовольство Управления акцизных сборов. Проходивший в Петербурге с декабря 1909 г. по январь 1910 г. Первый Всероссийский съезд по борьбе с пьянством и вовсе закончился арестами отдельных «заговорившихся» «трезвенников», а у полиции появилась привычка брать на учет рабочих-трезвенников как лиц, не внушающих доверия и представляющих определенную опасность для существующего строя[3]. Однако в условиях разгоравшегося в России в июле 1914 г. рабочего протеста оказалось выгодным пойти на уступки общественности в вопросе, приобретшем в связи с мобилизацией особенную актуальность. По воспоминаниям Барка, не придворное

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 123. Д. 138. Л. 119—130 об.
[2] Там же. Л. 132.
[3] *Такала И. Р.* Веселие Руси. СПб., 2002. С. 160.

окружение и министры, а именно народные депутации «убедили» Николая II пойти на введение сухого закона[1]. После введения первых ограничительных мер уже не только сочувствующие земству, но и рьяные монархисты принялись восхвалять царскую мудрость в этом решении. На имя императора, а также различных министров, губернаторов направлялись восторженные дифирамбы в духе приводившегося письма о «повеселевшей скотине», в которой рисовались поистине фантастические картины внезапного отрезвления целого народа. Вот одно из писем, отправленное отставным поручиком М. Филуановым 4 августа 1914 г. на имя министра внутренних дел Н. А. Маклакова:

> Ваше высокопревосходительство.
>
> Я старик, имею 55 лет от роду, но за всю свою жизнь я ныне вижу наш русский народ таким очаровательным и прекрасным, только впервые теперь за всю свою жизнь и не могу нарадоваться.
>
> А народ наш стал таким хорошим и милым с того момента, как закрылись кабаки и водка, вино и пиво стали запретны.
>
> Вот прошло две недели как народ отрезвился, только две недели, и уже я вижу, что оголтелые пьяницы, люди приносившие своим близким одно тяжкое горе своим вечным пьянством, взялись за работу и их семьи ныне ликуют.
>
> Я знаю, что хулиганы, бывшие люди, босяки и золоторотцы опять получили обличье людей. Разве это не великая метаморфоза!!
>
> ...Ваше Высокопревосходительство!
>
> Окажите своей Родине незабвенную услугу: предстательствуйте пред Государем о продлении срока закрытия всех заведений торгующих спиртными напитками до окончания войны. В возмещение убытков за эту трезвость пусть будет народ, все мы, обложены особым налогом и мы заплатим этот миллиард по разверстке[2].

Однако эпистолярные источники, не ангажированные политической мотивацией, рисовали иное отношение простого народа, как сельского, так и городского, к сухому закону. Прежде всего потому, что питейно-запретительные мероприятия предусматривали определенную социальную дискриминацию: не распространялись на рестораны первого разряда, в которых действовал дресс-код и доступ в которые низов был закрыт. Правда, указом от 27 сентября 1914 г. сельским и городским общественным управлениям было позволено возбуждать ходатайства о воспрещении торговли спиртными напитками в ресторанах первого разряда, но не все Городские думы и Земские собрания воспользовались этим правом. В итоге реформа, ограничившая привычные формы досуга низов в большей степени, чем верхов, становилась катализатором

[1] *Барк П. Л.* Воспоминания // Возрождение. 1965. № 158. С. 80–81.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Д. 2. Оп. 71. Д. 74. Л. 156–157.

социального антагонизма. Крестьянин Вологодской губернии А. Замараев записал в своем дневнике: «Нынче пьяных нет, вина нет. Но в городе, говорят, в иных домах есть и водка. Значит, богачам все возможно»[1]. В городах, где рестораны первого разряда сохранили право продажи спиртных напитков, бедные слои населения обходили дресс-код, надевая на повседневную одежду белые воротнички и манжеты. Однако со временем и рядовые горожане начинали с завистью смотреть на аристократические слои. Петроградцы завидовали царскосельским обитателям: «Теперь в Петрограде и даже Павловске не только водки — вина не достать. Вот только Царское Село оказалось счастливее в этом отношении… Правда, то Царское Село», — писал музыковед-историк Н.Ф. Финдейзен в мае 1915 г.[2]

При этом нельзя говорить и о том, что сухой закон отрезвил страну, сократив употребление алкоголя. Так, например, если в 1913 г. с июля по август в Петербурге смертность от белой горячки возросла с 56 до 93 случаев в месяц, то в 1914 г. она, наоборот, сократилась с 75 до 30[3]. Но уже с сентября началось плавное возрастание кривой смертности от алкоголизма. Пик смертей в 1915 г. пришелся на май и составил 72 случая, против 71 случая за 1913 г., сравнявшись с показателем мая 1914 г. С другой стороны, за 1913 г. в Петербурге всего от алкоголизма умерло 895 человек, в то время как в 1915 г. — 569. Именно последние цифры использовались сторонниками сухого закона в качестве аргумента успеха кампании. При этом не учитывался банальный факт сокращения трудового населения городов в связи с мобилизацией на фронт мужчин — главных потребителей алкоголя.

Была еще одна, не менее существенная, причина такой статистики. Практически сразу с введением ограничительных мер на продажу алкоголя началось массовое употребление суррогатной продукции, в результате которого увеличилась смертность от отравлений. Алкоголики просто «не доживали» до своей «профессиональной» кончины. Обыватели, издеваясь над официальными сообщениями о снижении количества алкоголиков в стране, шутили, что уменьшение их числа доказывается увеличением числа смертных случаев от «ханжи» — суррогатных напитков из политуры и денатурата[4].

Лучше всего отношение низов к запрету на торговлю алкогольной продукцией передают дела по обвинению в нарушении статьи 103 Уголовного уложения 1903 г. об оскорблении членов императорской фамилии. Введенный сухой закон занимал видное место среди причин ругани в адрес императора. В первую очередь из-за закрытия винных лавок оскорбляли государя новобранцы.

---

[1] Дневник тотемского крестьянина А.А. Замараева. 1906–1922 гг. М., 1995. С. 103.

[2] *Финдейзен Н.Ф.* Дневники. 1915–1920. СПб., 2016. С. 151.

[3] Подсчитано мной по Еженедельнику статистического отделения петроградской городской управы за 1913–1914 гг.

[4] Петроградский листок. Иллюстрированное приложение. 1915. № 58. С. 6.

Так, 24 июля 1914 г. в селе Курье крестьянин Вятской губернии Сергей Чернышев, получивший извещение о мобилизации, явился в числе других к казенной винной лавке, и когда стражник сказал ему, что лавка закрыта по повелению царя, ответил: «Все воры, такой же вор и государь император… (площадная брань); он призывает на службу, а винные лавки закрыл»[1]. В поселке Луговском Томского уезда на сельском сходе при обсуждении распоряжения о прекращении продажи спиртных напитков на время военных действий, когда сельский староста разъяснил собравшимся, что указ об этом подписан государем, присутствовавший на сходе Николай Алтухов просто произнес: «Вот царь подписал указ, вот и дурак, что подписал, зачем было подписывать»[2]. 28 ноября крестьяне Уфимской губернии Горшков, 25 лет, Уваров, 30 лет, Макаров, 20 лет, зашли в поселке Альшеевском в дом крестьянки Журавлевой за «кислушкой», где Макаров, вероятно, недовольный качеством продукта, сказал: «Если бы сейчас попался нам государь — мы бы его за закрытие винных лавок сейчас же бы разорвали…»[3]

Сухой закон, закрывший официальные публичные места торговли винной продукцией, открыл подпольные притоны по выкуриванию «кислушек», самогоноварению и торговле водочными суррогатами, цена на которые была не ниже прежней «монопольки», но вот для их приобретения приходилось немало побегать, сохраняя известную конспирацию. Крестьянин Томской губернии Григорий Зубов в разговоре с односельчанами на вопрос одного из них, как он провел масляную неделю 1915 г., ответил, что прогулял много денег без толку, причем добавил: «а все потому, что наш царь… (брань) казенки прикрыл. Кабы он не прикрывал, я скорее бы напился и деньги при мне были, а чтоб ему…»[4]. Неприятие антиалкогольной реформы порождало потенциальных участников погромов винных хранилищ, делая такие акции распространенным явлением не только периода мобилизации 1914 г., но и последующих лет военного времени.

Следует заметить, что подоплека бунтарства мобилизованных солдат выходила за рамки банальной жажды алкоголя. Во время «пьяных погромов» проявлялся широкий спектр накопившихся конфликтов и противоречий с местной администрацией, военными властями и полицией, разочарование в верховной власти и пр. Толпа мобилизованных, рабочих, крестьян, собиравшаяся разгромить винную лавку, легко переключалась на другой раздражитель — административные здания и представителей местной власти. 19 июля в поселке Макеевка Области Войска Донского толпа запасных нижних чинов вместе с рабочими местных заводов подошла к поселковому полицейскому управлению

---

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 142 об.

[2] Там же. Л. 146.

[3] Там же. Л. 521 об.

[4] Там же. Л. 157.

и потребовала от пристава Ломовцева немедленного открытия винных лавок. Так как Ломовцеву не удалось убедить толпу разойтись, а агрессивность людей только возрастала, был вызван взвод казаков, который разогнал народ. Однако люди собрались в другом месте и начали громить лавки, бросали камни в окна и двери. Полиция и взвод казаков, пытаясь разогнать толпу, открыли огонь. В образовавшейся суматохе жандармский унтер-офицер Агеев был оттеснен толпой, из которой в его адрес раздались крики «бей его!». Агеев сумел скрыться от толпы в одном из дворов, в доме некой Анастасии Бегляровой. Толпа, не найдя Агеева, начала уже было расходиться, но в это время из дома вышла маленькая дочь Бегляровой и сказала: «Дядя у нас». Толпа стала требовать выдачи Агеева. Тот вышел добровольно, надеясь, что ему удастся успокоить буйствовавших, но едва появился на пороге, как был убит камнем. Тем временем другая толпа ранила сидельца Гончарова, убила его сына, разбила лавку, напилась и двинулась к другой лавке, которую тоже разбила. Прибывшая полусотня казаков рассеяла толпу и арестовала нескольких человек. На другой день толпа явилась к полицейскому участку, требуя освобождения своих товарищей. Казакам пришлось открыть огонь, убив трех и ранив двух человек. После этого толпа направилась на станцию Бузановку, где в этот день должна была производиться отправка запасных, прогнала машиниста с паровоза поезда, в котором должны были отправляться запасные, выпустила пар из паровоза и, наконец, стала громить саму станцию. Прибывший взвод казаков открыл стрельбу, было убито 10 человек и ранено 15. На этом беспорядки прекратились, но запасные разбежались[1]. Понадобилось некоторое время, чтобы собрать их вновь. В отчете начальника Донского областного жандармского управления в департамент полиции указывалось, что беспорядки не имели никакой политической подоплеки, а были исключительно пьяным делом. Вместе с тем преследования полицейских чинов и препятствие отправке запасных указывают на вполне рациональный и политически мотивированный характер действия пьяной толпы, для которой разгром винной лавки был скорее прелюдией к дальнейшим действиям.

Конфликты с представителями власти являлись не только отголоском былого противостояния на революционной почве, борьбы с полицией как символом внутреннего политического и классового врага. Выдвигались претензии, вызванные мобилизацией: запасные были недовольны, что полицейских не отправляют на фронт, и требовали, чтобы мобилизация распространялась и на них. Так, например, 23 июля в Череповце толпу из запасных и частных лиц, намеревавшуюся разгромить винную лавку, остановили несколько полицейских. Собравшиеся начали обвинять последних в том, что они не идут на войну, пытались учинить насилие в отношении представителей власти, но последние открыли

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 123. Д. 138. Л. 28—29 об.

огонь, двое были убиты[1]. Во время бунта в Самаре запасные потребовали, чтобы стражников также отправили на фронт, после чего напали на них и на полицию[2]. В Барнауле 22 июля началась форменная охота запасных на всех полицейских[3]. Во время мобилизационных беспорядков толпа запасных, случалось, поднимала красные флаги и выкрикивала политические лозунги, что произошло, например, 22 июля в Томске около сборного пункта[4]. Также имело место сознательное осквернение царских портретов, что случилось, например, в Барнауле и селе Ребриха во время разгрома запасными местного волостного управления[5].

Один политический ссыльный, следовавший в Сибирь в то время, когда из Сибири вывозили эшелоны с новобранцами, писал брату в Петроград: «Когда я ехал по Сибири был как раз разгар мобилизации. Всюду шли разгромы казенок, убийства исправников и воинских начальников. Были попытки освобождения тюрем. Все это часто сопровождалось стрельбой по запасным, массовыми арестами и убийствами. Интересно, что запасные всюду относились к нам сочувственно, приветствовали, передавали газетку, разговаривали о войне и пр.»[6] Сочувственное отношение к политическим ссыльным могло объясняться как завистью, что они не будут гибнуть на войне, так и предчувствием, что война приведет к революции.

Высокая явка запасных не свидетельствовала об их желании идти на войну. Приходившие на сборные пункты запасные иногда заявляли воинским начальникам, что на войну идти не хотят, вследствие чего подвергались арестам[7]. Свидетели рассказывали, что некоторые сибиряки отказывались идти защищать Россию, аргументируя это тем, что «у нас, де, своя земля, а до чужой нам дела нет»[8]. В воспоминаниях рядовые участники Первой мировой признавались, что являлись к войсковым начальникам от безысходности — некуда было бежать, а чтобы скрываться, нужны были деньги. В материалах перлюстрации встречаются письма запасных родным и знакомым, в которых авторы просят сообщать полиции и военным чинам неверные адреса проживания, чтобы до них не доходили призывные повестки[9].

Некоторые рабочие, предвидя, что не получат «бронь», на последние деньги меняли место жительства, переезжали в другие губернии (часто по поддельным паспортам) и пытались там устроиться на военные заводы. За места на последних начиналась конкуренция. Те, кто был побогаче, давали взятки

---

1 Там же. Л. 55.
2 Там же. Л. 79.
3 Там же. Л. 106.
4 Там же. Л. 101.
5 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 211. Д. 1988. Л. 1.
6 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1003. Л. 15.
7 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 123. Д. 138. Л. 119 об.
8 *Городцов В.А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 131.
9 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 21, 22.

управляющим, другие писали на управляющих и друг на друга анонимные доносы, добиваясь увольнений[1]. В одной из анонимок сообщалось, что проживавший в Петрограде ратник 2-го разряда Матвеев за 500 рублей был зачислен на пароход матросом и на основании подложного списка получил освобождение от призыва[2]. Был более простой и чуть более дешевый вариант — в условиях начавшегося дровяного кризиса в городах крестьяне покупали лодки (лодка-соминка, передвигавшаяся с помощью шеста, стоила 450 рублей) и получали разрешение на перевозку дров, за что полагалась отсрочка[3]. Штаб-офицер для поручений разведывательного отделения штаба 6-й армии сообщал в Особую поверочную комиссию по незаконному и неправильному освобождению военнообязанных, ссылаясь на полученные агентурным путем сведения: «Крестьянин деревни Нижние Лужицы, Лужицкой волости, Алексей Константинов Иванов призыва 1913 г. до объявления войны состоял учителем, а в 1915 г. по болезни был освобожден от исполнения воинской повинности и перечислен в ратники второго разряда. 6-го февраля сего года Иванов должен был явиться к местному воинскому начальнику. С целью уклониться от исполнения воинской повинности, располагая сравнительным достатком, Иванов зачислился на службу простым матросом к судовладельцу крестьянину той же деревни А. А. Егорову. По тем же сведениям, инженер Перново-Ревельского железнодорожного пути некто Кох (Камышев) пользуется репутацией взяточника и занимается определением на железнодорожную службу лиц призывного возраста. При содействии железнодорожного мастера некоего Семана, им были устроены на железнодорожную службу после объявления мобилизации следующие лица призывного возраста: Я. Тохвер, из Лайкскарской волости, усадебовладелец Я. Вилеп, из Каркуской волости, усадебовладелец И. Пярница, из Улаской волости, усадебовладелец И. Ризенберг из Вольтветской волости, А. Росман из Мойзекюля и др. По спискам, означенные лица числятся ремонтными рабочими, однако же очень часто отлучаются домой. В связи с приемом на службу новичков, увольняются старые рабочие, чему может служить пример увольнения некоего Пирса старшего служащего. По всей железнодорожной линии подобных фиктивных рабочих, будто бы, свыше ста человек»[4].

С подозрением относились к военным музыкантам. Ходили слухи, что музыкальные команды были созданы именно для уклонения от «настоящей» воинской службы. Один аноним за подписью «военный» сообщал председателю Комиссии по поверке призыва запасных и ратников ополчения генерал-лейтенанту Кохно о музыкантах лейб-гвардии Семеновского полка: «Ваше Превосходительство. Я знаю из достоверного источника, что в музыкальной команде

---

[1] РГВИА. Ф. 763. Оп. 1. Д. 16. Л. 105.
[2] РГВИА. Ф. 763. Оп. 1. Д. 27. Л. 471.
[3] Там же. Л. 153 — 153 об.
[4] Там же. Л. 222–223.

Л. Гв. Семеновского полка есть много присосавшихся негодяев, которые не хотят служить Царю и родине. Между ними главную роль играет и состоит главным вербовщиком богатых людей в эту милую команду рядовой этой команды, который тоже укрылся от прямого долга, Иван Свинтусов, с помощью которого устраиваются за деньги в эту команду числются там и совершенно службы не посещают, заплатив деньги старшему музыканту. Для примера могу вам указать, хотя бы на двух лиц вот этот негодяй Свинтусов и его ставленник Михаил Курицын и много других артельщики, артисты и пр.»[1] Вместе с тем подозрения в отношении людей творческих профессий были небезосновательны: музыканты, художники, артисты получали известные поблажки при призыве, либо в виде брони, либо их отправляли по ходатайствам известных персон в относительно «тихие» места.

По мере ухудшения продовольственной ситуации, в частности хлебного вопроса, в том числе из-за нехватки пекарей, подлежавшие призыву мужчины устраивались в хлебопекарни, периодически меняя места работы и не информируя об этом полицию, тем самым уклоняясь от учета и отбывания воинской повинности, о чем сообщал в декабре 1916 г. петроградскому градоначальнику председатель комиссии по поверке призыва генерал Н. И. Филипповский[2].

Мобилизацию крестьяне восприняли покорно, как очередную повинность. Однако 96-процентная явка на призывные пункты не означала, что вся эта масса призывников отправилась на фронт — многие требовали немедленного медицинского освидетельствования или предъявляли уже заранее подготовленные справки о негодности к строевой службе. В результате массовых масштабов достигла выдача белых билетов и зачисление в нестроевую службу. Уже осенью 1914 г. военные власти озаботились этим и была создана комиссия по переосвидетельствованию белобилетников и ратников 2-го разряда. Не последнюю роль в создании комиссии сыграло массовое доносительство, поощряемое властями. 23 января 1916 г. Петроградский губернатор писал в комиссию по поверке призывов чинов запаса и ополчения: «Заявления о неправильном освобождении от воинской службы стали поступать ко мне 26 июля 1914 г… в чрезвычайно большом количестве и продолжают поступать и ныне»[3].

При рассмотрении в Государственной думе законопроекта о порядке призыва ратников было высказано пожелание о переосвидетельствовании всех лиц, признанных негодными к исполнению воинской повинности. Министерство внутренних дел нашло это предложение полезным, в том числе «в видах успокоения общественного мнения»[4]. Министерство внутренних дел по соглашению с военным ведомством разработало ряд правил, одобренных Советом

[1] РГВИА. Ф. 763. Оп. 1. Д. 28. Л. 11 — 11 об.

[2] РГВИА. Ф. 763. Оп. 1. Д. 37. Л. 25.

[3] РГВИА. Ф. 763. Оп. 1. Д. 16. Л. 1.

[4] Особые журналы Совета министров Российской империи. 1915. С. 458.

министров 27 октября 1915 г. Эти правила должны были стать основой для специального закона. В то же время массовое переосвидетельствование, начавшееся осенью 1915 г., вызвало панику в рабочей среде: многие рабочие частных предприятий срочно начали переводиться в казенные или переезжать в другие губернии, чтобы прекратить свои «дела»[1].

В некоторых местностях необоснованные освобождения от службы получала половина прошедших медицинское освидетельствование. Так, в Саратове с августа 1914 г. по 20 июля 1915-го воинским присутствием было переосвидетельствовано запасных и ратников, по частным жалобам на неправильное освобождение от службы, 285 человек, и было признано из них годными к службе 142, т.е. ровно половина[2]. При этом всего по Саратовской губернии было определено на переосвидетельствование 25 000 человек. Сложность организации процесса переосвидетельствования обусловливалась тем, что никакого учета белобилетников не велось, поэтому агентурные сведения и доносы соседей оставались главным источником информации для властей. С этой целью в газетах печатались объявления с призывом к местному населению сообщать об известных случаях уклонения от службы, что вызывало шквал анонимок. Сам процесс переосвидетельствования растягивался на неопределенное время. Комиссия по поверке призыва 20 ноября 1915 г. направила рапорт начальнику мобилизационного отдела главного управления Генерального штаба, в котором высказала необходимость подвергнуть переосвидетельствованию 41 человека. Дело затянулось до марта 1916 г. и в результате из 41 белобилетника 24 были признаны годными к службе, 11 годными в ополчение 2-го разряда и 5 признаны навсегда негодными[3].

Следует заметить, что 50% незаконно освобожденных от службы — это скорее исключение из правила. Общей статистики по России, по-видимому, нет, однако можно найти примеры куда меньшего злоупотребления полномочиями сотрудниками призывных комиссий. Как правило, подозрение вызывали отдельные участки, дававшие наибольшее количество освобожденных. В Петрограде выделялся 4-й участок Нарвской части, по которому на начало декабря 1915 г. вызывал подозрение 191 человек, получивший освобождение. По результатам проверки оказалось, что без должных оснований в нем от службы были освобождены чуть более 20%. В уездном городе Луга воинским начальником были освобождены 204 человека, и при перепроверке лишь 10 были признаны годными, а 85 получили отсрочку от призыва для поправки здоровья. Согласилась с освобождением Комиссия лишь в отношении 109 человек[4]. Конечно, приведенные цифры не позволяют выстроить полную картину уклонения

[1] Саратовский листок. 1915. 30 октября.
[2] Саратовский листок. 1915. 22 июля.
[3] РГВИА. Ф. 763. Оп. 1. Д. 36. Л. 301–306.
[4] РГВИА. Ф. 763. Оп. 1. Д. 38. Л. 28.

от службы по медицинским показаниям, однако в какой-то мере объясняют высокую явку на призывные пункты: призывники стремились пройти медицинское освидетельствование и получить незаконное освобождение от призыва, что является одним из контраргументов тезиса об исключительном всеобщем патриотическом настрое мобилизованных.

Мобилизация, начавшаяся для крестьян в разгар сельскохозяйственных работ, предполагавшая реквизицию лошадей и скота, вызывала не только критику власти, но и череду социальных и этнических конфликтов. В некоторых анонимках содержались достаточно точные данные о процедуре получения белого билета, включая существовавшие расценки. Так, стоимость полного освобождения от воинской службы у врача колебалась от 400 до 500 рублей. Естественно, что позволить себе такую сумму могли лишь состоятельные граждане, учитывая, что средний годовой доход рабочего был около 320 рублей. Неудивительно, что в обществе усиливалась социальная напряженность, росла ксенофобия. Лужский мещанин Иван Игнатьев сообщал председателю Комиссии по поверке запасных и ратников ополчения: «Я заявляю Вашему Высокопревосходительству, что у нас находится один еврей, владелец часового магазина Генрих Минкович, проживающий в г. Луге по Успенской улице в д. № 2. Я знаю, что его не по закону освободили от военной службы. Прошу Вас освидетельствовать его, по какой статье его освободили от военной службы. У нас в городе ходят слухи, что он освобожден за деньги и он однажды сам говорил мне, что пусть служат те, кому надо, но я не дурак служить теперешнее время за даром и лезть под немецкие пули, пусть воюют русские, а наш брат еврей пусть погуляет за их здоровье. Это он говорил, когда был пьяный, но как не обидно нашему русскому человеку слышать такие слова от паршивого жида»[1]. Начавшаяся в отношении Генриха Минковича проверка установила, что освобожден от службы он был правильно.

Подозревали в уклонении от службы далеко не одних евреев. Некий аноним за подписью «местный» доносил на своего знакомого: «Прошу Ваше Превосходительство сделать соответствующее распоряжение о вызове на переосвидетельствование ратника 2-го разряда призыва 1913 г., дворянина Михаила Семеновича Павловича, призывавшего по первой мобилизации в сентябре прошлого года в г. Ямбурге и освобожденного безусловно неправильно. Он вполне здоровый человек и освобожден лишь благодаря тому, что является владельцем богатого имения в Ямбургском уезде, а также хорошо знаком с уездными врачами»[2]. Из-за анонимных заявлений сын владельца петроградской гостиницы «Маяк» (в доносе гостиница называлась притоном) белобилетник Александр Чистяков (писали, что он хвастается, что за деньги и здорового можно

[1] РГВИА. Ф. 763. Оп. 1. Д. 16. Л. 130.

[2] Там же. Л. 13 об.

признать больным) вынужден был три раза проходить освидетельствование; все три раза подтвердили его непригодность к воинской службе[1]. Некоторые белобилетники поступали на службу на предприятия, работавшие на оборону, чем вызывали подозрения своих односельчан[2].

В качестве альтернативы покупки белого билета нижними чинами из бедных слоев общества рассматривались самопоранение (самострельство, отрубание пальцев, впрыскивание под кожу растворов карболовой или азотной кислоты и др.), а также дезертирство. Иногда военнообязанные вместо себя на медицинское освидетельствование отправляли больных людей, которые для них получали освобождения от службы[3].

Членовредительство как способ уклонения от воинской службы практиковалось задолго до мировой войны. Еще в конце XIX в. подростки из беднейших слоев отрубали себе пальцы, лишь бы не идти в армию. Исследовавший это явление А. Б. Асташов обратил внимание даже на своеобразную географию членовредительства: в одних областях преобладали искусственные опухоли, в других — флегмоны, в третьих — грыжи[4]. Все это свидетельствовало о сформировавшейся традиционной практике уклонения от службы, связанной с нежеланием воевать и погибать «за Веру, Царя и Отечество».

В воспоминаниях русских офицеров встречаются истории, как русские крестьяне занимались членовредительством, лишь бы не идти на службу. Подобное отношение к воинской повинности сохранялось, вероятно, с эпохи рекрутских наборов, бывших для русских крестьян одной из форм крепостного рабства: «На том заседании, на котором пришлось мне присутствовать, добрая половина дня была посвящена разбору дел о членовредительстве… Я не верил своим ушам, когда читали обвинительный акт: подсудимый, молодой крестьянин, узнав о своем призыве в армию, отрубил себе топором указательный палец на правой руке, чтобы не быть годным к военной службе. Несчастный, чахлый маленький человечек, охраняемый двумя громадными кавалергардами в касках, слушал все это с полным равнодушием… Суд, состоявший из украшенных орденами гвардейских полковников, приговорил подсудимого к пяти годам арестантских рот. Тяжелое чувство вызвал во мне этот суд. Впервые я увидел с полной наглядностью, что для русского крестьянина наша армия была чем-то вроде каторги»[5].

В 1914 г. членовредительство достигло больших размеров и приобрело более осознанный, целенаправленный характер. Согласно подсчетам Асташова,

---

1 РГВИА. Ф. 763. Оп. 1. Д. 27. Л. 7597 — 62 об.

2 РГВИА. Ф. 763. Оп. 1. Д. 16. Л. 424 об.

3 РГВИА. Ф. 763. Оп. 1. Д. 37. Л. 515 — 1 об.

4 *Асташов А. Б.* Членовредительство и симуляция болезней в русской армии во время Первой мировой войны // Новый исторический вестник. 2012. № 34 (4). С. 6.

5 *Игнатьев А. А.* Пятьдесят лет в строю. М., 1986. С. 63–64.

в некоторых партиях призывников, прибывавших на медицинское обследование от уездных воинских начальников, насчитывалось до 12% симулянтов[1]. Причем практиковали это не только запасные, но уже принесшие присягу рядовые солдаты. Так, например, военным прокурором военно-окружного суда Киевского военного округа в 1914 г. было заведено в 2 раза больше дел, чем за 1913 г.[2] Как правило, пальцы себе отрубали люди малообразованные, не понимавшие, что за такое деяние им будет грозить уголовное преследование. При этом они в большинстве случаев не пытались обмануть призывную комиссию, а прямо заявляли, что не хотят служить. Один из таких самопораненцев угрожал в участке, что «прыгнет в окно или еще что-нибудь сделает, а служить не будет, так как это ему тяжело»[3]. Однако в действительности членовредительство не спасало от службы. 29 декабря 1914 г. ратник Никита Блоха в Харькове отрубил себе топором указательный, средний и безымянный пальцы левой руки, за что был приговорен к тюремному заключению на 2 года и 6 месяцев, но после окончания войны, а до тех пор был отправлен на фронт[4]. Также относительно легко вычисляли случаи самострельства, что встречалось даже среди офицеров[5]. Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта генерал Н. И. Иванов, понимая массовый, угрожающий характер симуляций и членовредительства, уже 10 октября 1914 г. запросил верховного главнокомандующего о «принятии решительных мер против разразившегося среди нижних чинов армии умышленного членовредительства»[6]. Тем не менее явление разрасталось. Как отметил М. В. Оськин, в 1915 г. на Северном фронте самострелы составляли до 25% от всех ранений[7].

Более «прогрессивным» способом самопоранений было введение шприцем под кожу различных веществ, вызывавших гнойники и опухоли. В некоторых случаях врачи затруднялись определить, каково происхождение опухоли — искусственное или естественное. Так, в декабре 1915 г. рядовой 87-го пехотного Нейшлотского полка Яков Гроссман был заподозрен в умышленном производстве у себя паховой грыжи. Чтобы разобраться в ситуации, были приглашены два специалиста по грыжам. Мнения экспертов разделились: один констатировал искусственное происхождение, другой — естественное. Экспертизу повторили, и опять врачи пришли к противоположным выводам. Дело в итоге передали во Врачебное отделение Петроградского врачебного правления[8].

---

[1] *Асташов А. Б.* Членовредительство и симуляция... С. 9.

[2] РГВИА. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 1403–65.

[3] РГВИА. Ф. 1352. Оп. 1. Д. 1821. Л. 3, 6.

[4] РГВИА. Ф. 1615. Оп. 1. Д. 503. Л. 2–26.

[5] *Асташов А. Б.* Членовредительство и симуляция болезней... С. 10.

[6] Цит. по: *Асташов А. Б.* Членовредительство и симуляция болезней... С. 11.

[7] *Оськин М. В.* Российские дезертиры Первой мировой войны // Вестник ПСТГУ. Серия 2: История. 2014. Вып. 5 (60). С. 52.

[8] РГВИА. Ф. 1352. Оп. 1. Д. 1960. Л. 452–453.

Подобные способы уклонения от участия в боевых действиях практиковались на протяжении всей войны. 23 сентября 1916 г. стрелок Латышского стрелкового запасного полка Рудольф Кунус, узнав о скорой отправке своей маршевой роты из Лифляндии на фронт, ввел себе под кожу в области шеи при помощи шприца можжевеловое масло, что привело к воспалению. В результате Кунус на фронт отправлен не был[1]. Асташов отмечает, что в годы войны среди населения распространялись целые списки способов уклонения от военной службы путем членовредительства[2], авторы которых внимательно следили за принимавшимися дополнениями к «Расписанию болезней» и предлагали соответствующие способы самопоранений.

Массовый характер на всем протяжении мировой войны носило и дезертирство. Отправленные в действующую армию после присяги новобранцы, случалось, убегали целыми вагонами. Начальник штаба главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта М. В. Алексеев отмечал, что побеги нижних чинов с поездов в 1914 г. составляли 20%. Часто побеги носили коллективный характер[3]. Иногда в дезертиры подавалось по 500–600 человек — более половины едущих в железнодорожном составе[4]. Некий прапорщик Соколов, отправлявший маршевую роту из Калуги, радовался, что из 250 солдат убежало лишь 30[5]. По мере затягивания войны дезертирство только усиливалось. Хотя в эмигрантской историографии с подачи М. В. Родзянко устоялась цифра в 195 тысяч дезертиров, А. Б. Асташов считает ее сильно заниженной и полагает, что к 1917 г. 1–1,5 млн солдат русской армии «прошли путь дезертира»[6].

Согласно канцелярии военного прокурора Петроградского военно-окружного суда, в 1914 г. больше всего дел на нижние чины было заведено за неподчинение офицерам — 18,3%, а на втором месте оказались случаи дезертирства — 14,6%[7]. К 1917 г. структура правонарушений меняется: в год революции больше всего дел было заведено за побеги со службы — 28,5%[8].

27 ноября 1915 г. во исполнение высочайшего повеления был издан приказ начальника штаба верховного главнокомандующего № 290 по организации военно-полицейского надзора в тылу армии для прекращения бродяжничества нижних чинов и задержания мародеров и дезертиров. Для этого создавались специальные отряды военной полиции, летучие конные разъезды, а по линиям железных дорог учреждались офицерские подвижные заставы, в обязанности

[1] РГВИА. Ф. 1352. Оп. 1. Д. 1988. Л. 73.

[2] *Асташов А. Б.* Членовредительство и симуляция болезней… С. 8.

[3] РГВИА. Ф. 1352. Оп. 1. 1916. Д. 1960. Л. 393 — 393 об.

[4] *Асташов А. Б.* Русский фронт в 1914 — начале 1917 г.: военный опыт и современность. М., 2014. С. 469.

[5] *Городцов В. А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 316.

[6] *Асташов А. Б.* Русский фронт… С. 480.

[7] РГВИА. Ф. 1352. Оп. 1. Д. 1830–2008.

[8] РГВИА. Ф. 1352. Оп. 1. Д. 2009–4376.

которых входила проверка документов всех нижних чинов (вероятно, по этой причине дезертиры предпочитали переодеваться в офицерскую форму). Кроме того, в городах нижним чинам запрещалось выходить на улицу после 9 часов вечера и ездить в трамваях[1].

Вместе с тем внимательного изучения требуют мотивы дезертирства: в одних случаях солдаты сознательно бежали с фронта, не желая воевать, проклиная войну, в других же объявлялись дезертирами по причине незнания устава, из-за самовольных отлучек. В случае побега всегда существовала проблема, где спрятаться. Отыскать дезертира, вернувшегося в родное село, не составляло для полиции большого труда. В чужих селах беглецов могли выдать крестьяне. При этом определенный процент беглецов отыскать все равно не удавалось, что породило слухи о формировании в России тайных сект «бегунов» и «скрытников». О них, в частности, сообщал в Синод крестьянин Ярославской губернии Иван Осокин. Он рассказывал, что крестьяне укрывают дезертиров, разыскиваемых полицией, но Синод не принял во внимание сообщение как не соответствующее действительности[2].

Часть крестьян бежала не столько боясь войны, сколько опасаясь за свои семьи, брошенные в разгар сельскохозяйственных работ. Еще во время мобилизационных беспорядков одной из главных претензий запасных к властям был вопрос о том, кто будет убирать поля и заботиться об оставленных женах и детях. Поэтому часто солдаты из крестьян бежали к себе на родину навестить близких, а спустя некоторое время возвращались в части. Обычно эти побеги носили сезонный характер (праздники, засев и жатва). В переписке военного прокурора Петроградского военно-окружного суда с командирами воинских частей встречается множество подобных дел. Так, нестроевой рядовой команды Красносельского военного госпиталя Иван Гаврилов, направленный 4 августа 1915 г. по выписке из лечебного заведения из Управления Новгородского уездного воинского начальника одиночным порядком по месту прохождения службы, в свою часть не явился, а двинулся на родину в пределы Новгородской губернии и прибыл в Красносельский военный госпиталь лишь 15 августа 1915 г. При этом в выданном ему проходном свидетельстве он подложно переправил даты[3]. Нестроевой младшего разряда команды Красносельского военного госпиталя Иван Петров 27 июля 1915 г. самовольно направился на родину в пределы Гдовского уезда Петроградской губернии, пробыв в таковой отлучке до 31 июля, когда добровольно вернулся в свою часть[4]. Случались и массовые побеги на малую родину: 15 сентября 1915 г. восемнадцать солдат

[1] Приказы начальника Штаба Верховного главнокомандующего за 1915 год. № 1–423. 6 сентября — 31 декабря. Б. м., 1915.
[2] РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 2 отд. 3 ст. Д. 102. Л. 14 об.
[3] РГВИА. Ф. 1352. Оп. 1. Д. 1960. Л. 340 — 340 об.
[4] Там же. Л. 390.

6-го запасного саперного батальона в Петрограде отлучились самовольно из казармы и отправились к себе родину в г. Ревель. 17 сентября четырнадцать человек из них добровольно вернулись в свою часть, а остальные были задержаны в Ревеле полицией и военным патрулем[1]. Эти случаи демонстрируют, что большинство «дезертиров» впоследствии возвращались в свои части.

В мае 1915 г. «Саратовский листок» опубликовал заметку о незадачливом добровольце: отправившись по патриотическим мотивам на войну, он, просидев несколько месяцев в своей части в тылу, самовольно оставил ее и бежал на фронт, где был пойман в качестве дезертира и помещен под арест. Но подобные случаи были редкостью.

Часто солдаты уходили из своих частей в город для продажи казенных вещей. Как правило, это происходило накануне отправки маршевых рот, когда солдатам выдавали походное снаряжение[2]. Например, рядовые 26-го пехотного запасного батальона Георгий Масленко и Силантий Соболев отлучились из своей части, расквартированной в г. Верро, и направились по железной дороге в Порхов, где через сутки были арестованы патрулем. Успели промотать: 2 котелка, 2 патронные сумки, 2 полотнища для палатки, 2 полустойки, 2 веревки и 2 приколыша, вещевой мешок, 3 сухарных мешка, при этом унесли из части 2 утиральника, 2 фуфайки, теплые портянки, 4 носовых платка[3].

Нередко причиной бегства становились неуставные отношения в армии, произвол со стороны офицеров. Конфликты между офицерами и рядовыми обострялись на всем протяжении войны. Солдаты жаловались на физическое насилие со стороны командного состава, на вымогательство взяток за предоставление отпуска, на то, что офицеры обвешивали их сухарями и сахаром, из которых сами гнали самогон, и т.д.[4]

В то же время для кого-то армия представлялась социальным лифтом, и иногда некоторые рядовые, кому во время службы не удавалось подняться по карьерной лестнице, подделывали документы офицеров и по ним устраивались в городах. Показательна в этом отношении история потомственного дворянина Виктора Викторовича Беляева, который, участвуя с 167-м пехотным Острожским полком в боевых действиях против неприятеля и будучи в означенной части ранен в левую руку, прибыл в начале ноября 1915 г. в Петроград, где стал ложно именовать себя прапорщиком. При этом он встал на учет в офицерской комиссии, стал получать офицерское довольствие и успел подать 12 рапортов. Самовольно надел и носил не принадлежавший ему орден Св. Георгия 4-й степени[5]. То же самое произошло с уроженцем Кишинева

[1] РГВИА. Ф. 1352. Оп. 1. Д. 1960. Л. 393—393 об.
[2] РГВИА. Ф. 1352. Оп. 1. 1916. Д. 1988. Л. 25—25 об.
[3] Там же. Л. 76—76 об.
[4] Там же. Л. 71.
[5] РГВИА. Ф. 1352. Оп. 1. Д. 1960. Л. 84—84 об.

Николаем Ивановичем Ган-Ган: участвуя с 249-м пехотным Дунайским полком в боях, он был ранен, 23 января 1915 г. прибыл в Петроград и стал ложно именовать себя прапорщиком, встал на учет, свидетельствовался в офицерских комиссиях, получал офицерское содержание и подал 4 служебные записки[1]. Крестьянин Радомской губернии Александр Вядерный, отправившийся в армию добровольцем, после увольнения присвоил себе звание прапорщика, а заодно и титул князя[2]. Очевидно, что в рассмотренных случаях мы сталкиваемся с примерами службы в армии из корыстных интересов, но никак не осознанного долга по защите Родины от врага.

Следует заметить, что сам по себе феномен переодевания заслуживает отдельного разговора с точки зрения как психологической, так и социокультурной подоплеки. Офицерское платье являлось знаком принадлежности к высшему обществу, и интерес к нему со стороны рядовых солдат из крестьян и рабочих в контексте классовой конфронтации понятен. Причем переодевавшихся рядовых прельщали, по всей видимости, далеко не одни материальные блага (лучший паек, удобства размещения в госпиталях, членство в офицерских комиссиях и пр.), но и психологический бонус — новые самоощущения от принадлежности к военной элите. Рядовых раздражали определенные порядки в армии, унижавшие их чувство собственного достоинства, — обращение на «ты» и зуботычины, необходимость отдавать честь при встрече с офицерами, а в некоторых городах, как уже говорилось, рядовым запрещался проезд в трамваях. Уход в самоволку и переодевание в офицерскую форму давали возможность попасть в другой, элитарный мир. В этом отношении практика переодевания отражала не всегда осознанные стремления отдельных представителей низших слоев стереть формальные социальные различия между людьми, что в более явной форме проявилось в период российской революции. Все это свидетельствовало о том, что часть населения не устраивали существовавшие в императорской России возможности вертикальной социальной мобильности.

Таким образом, мы видим, что с самого начала войны у власти и общества формировались две разные картины, два разных представления о мобилизации. В одном случае акцент делался на 96-процентной явке, в другом же — в частных письмах и разговорах — обыватели делились друг с другом информацией, заставлявшей усомниться в наличии искреннего патриотического подъема среди низших слоев населения. Факты массовых бунтов призывников, насилие над представителями власти, осквернение портретов императора и угрозы в его адрес, дезертирство и членовредительство ясно указывают, что мобилизация вызвала народный протест. Однако в высших слоях общества отношение к мобилизации и войне было иным. Образованным людям,

---

[1] Там же. Л. 92 об.

[2] Там же. Л. 354.

попадающим под власть модных теорий, бывает очень сложно среди наукообразных концепций разглядеть подлинные реалии современности. В официальной печати и в высшем свете актуальными были разговоры о цивилизационной миссии России, о ее обязательствах перед союзниками: дворянские и интеллигентские круги находились под властью геополитического дискурса, вступавшего в противоречие с народным дискурсом. Геополитические интересы России начинали противоречить интересам российского народа, слишком дорого платившего за амбиции властей. Поэтому в «патриотических кругах» о настроениях низов говорилось лишь в ключе констатации полного осознания ими важной миссии России в войне. Современники в дневниках отмечали пропасть, очередной раз образовавшуюся между интеллигенцией и народом: «Народ ни малейшей войны не ведет, он абсолютно ничего не понимает. А мы абсолютно ничего ему не можем сказать. Физически не можем. Да если б вдруг, сейчас, и смогли… пожалуй, не сумели бы. Столетия разделили нас не плоше Вавилонской башни», — писала З. Н. Гиппиус в августе 1914-го[1].

Очень немногие в верхах осмеливались на озвучивание альтернативной точки зрения. Один из посетителей некой госпожи О., занимавшейся благотворительностью, в феврале 1915 г. подошел к французскому послу М. Палеологу и обрисовал «народный» взгляд на войну: «Слишком много мертвых, раненых, вдов, сирот, слишком много разорения, слишком много слез… Подумай о всех несчастных, которые более не вернутся, и скажи себе, что каждый из них оставляет за собою пять, шесть, десять человек, которые плачут. Я знаю деревни, большие деревни, где все в трауре… А те, которые возвращаются с войны, в каком состоянии! Господи Боже!.. Искалеченные, однорукие, слепые!.. Это ужасно!.. В течение более двадцати лет на русской земле будут пожинать только горе»[2]. Звали этого человека Григорий Распутин. Неудивительно, что в столицах распространялись слухи о том, что он является немецким шпионом.

Женский взгляд на мобилизацию: от слез к погромам

Условно погромы, которые стали обыденной формой проявления массового протеста периода Первой мировой войны, можно разделить на несколько типов, взяв за основу классификации критерий причинности: пьяные беспорядки, националистические погромы, погромы на почве продовольственного кризиса. При этом чаще всего эти причины перемешивались, обнаруживаясь в одних и тех же протестных акциях. Это неудивительно — все три вопроса стояли очень остро и вызывали одинаковое раздражение масс. В результате

---

[1] *Гиппиус З. Н.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 167.

[2] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 260.

вспыхнувшие на почве продовольственного кризиса беспорядки обрастали националистическим контекстом (немцы или евреи подняли цены на продукты), а оказавшиеся в толпе любители крепких напитков под шумок громили винные склады, подпитывая алкоголем чувство праведного гнева по отношению к внутреннему врагу. Уже упоминавшиеся барнаульские беспорядки июля 1914 г., вспыхнувшие на почве запрета продажи алкоголя, привели к разгрому не только винного склада, но также и фирм союзной России Дании.

Однако помимо критерия причинности можно классифицировать погромы и с точки зрения участвовавших в них социальных групп. Накануне начала войны массовые акции протеста, захватившие ряд крупнейших промышленных центров России, проходили под знаменем рабочего движения. Многие тогда заговорили о революции, однако революции, в отличие от политических переворотов и восстаний, опираются на куда более широкие социальные слои, нежели одна страта общества. Внутренние социально-экономические и политические процессы в стране периода мировой войны актуализировали и для других слоев, помимо рабочих, участие в массовых акциях протеста. Так, заметно усилилось и политизировалось студенческое движение, росло недовольство крестьян, а также своеобразной визитной карточкой российских погромов 1914–1917 гг. стал бабий бунт.

В историографии женское измерение Первой мировой войны уже привлекло внимание исследователей. На Западе гендерные аспекты российской действительности рассматриваемой эпохи изучают Лора Энгельстейн, Диана Конкер, Барбара Энгл, Ричард Стайтс, Марк Стейнберг, Уилльям Розенберг, Стивен Смит и другие авторы[1]. Чаще всего эта тема рассматривается сквозь призму борьбы женщин за свои права. Вместе с тем феномен женского бунтарства 1914–1917 г. в России мало связан с феминистическим движением, но является характерным и значимым элементом социально-психологических процессов. Неудивительно, что так или иначе проблемы гендера поднимаются в исследованиях историков, изучающих социокультурное пространство Первой мировой войны и революции, в частности в трудах А. Б. Асташова, В. П. Булдакова, Б. И. Колоницкого, П. П. Щербинина и др.[2]

---

[1] *Koenker D., Rosenberg W.* Strikes and Revolution in Russia. Princeton, 1989; *Smith S.* Class and Gender: Women's Strikes in St. Petersburg, 1895–1917 and in Shanghai, 1895–1927 // Social history. 1994. № 19; *Stites R.* The Women's Liberation Movement in Russia: Feminism, Nihilism and Bolshevism, 1860–1930. Princeton, 1990; *Engelstein L.* The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siècle Russia. Cornel University Press, 1992; *Энгл Б.* Не хлебом единым: женщины и продовольственные беспорядки в Первую мировую войну // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2010. № 1. Т. 4. История. С. 148–178.

[2] *Асташов А. Б.* Русский фронт в 1914 — начале 1917: военный опыт и современность. М., 2014; *Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г.* Война, породившая революцию. М., 2015; *Колоницкий Б. И.* «Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М., 2010; *Щербинин П. П.* Военный фактор в повседневной жизни русской женщины в XVIII — начале XX века. Тамбов, 2004.

Женское бунтарство в 1914-м — начале 1917 г. являлось реакцией на вызовы военного времени, отражало отношение женщин как к войне вообще, так и к отдельным сопутствующим ей явлениям: мобилизации, хозяйственной разрухе, ухудшавшимся условиям труда и т. д. В дни июльской мобилизации едва ли не самым ярким символом России стал образ плачущей женщины, который врезался в память многим свидетелям. Схожие картины воспроизводятся в письмах, дневниках, воспоминаниях разных современников, как «изнутри» — офицерами и мобилизованными солдатами, — так и сторонними наблюдателями. Офицер И. Ильин описывал психологическую атмосферу на железнодорожной станции 19 июля 1914 г., где ему, согласно мобилизационному плану, нужно было взять лошадей: «На станции Спасская Полесть стон и плач. Откуда-то вдруг взялась масса женщин. Пристают, спрашивают — правда ли, что война? Одна баба так рыдает, что меня даже зло взяло: и чего ревет! Ведь даже точно ничего еще не знает. Она была в шляпке и, видимо, не крестьянка, бабы попроще, деревенские, ее же утешали»[1]. И. Зырянов вспоминал отправку запасных в губернский город: «В деревне самый разгар полевых работ, а бабы, приехавшие в городок с мобилизованными мужьями, ни за что не хотят уезжать домой, дожидаются отправки. Они как тень, как жалкие, покорные собачонки бродят за мужьями, голосят, причитают… Горе сразило баб. Лица у баб красны и опухли от слез… Бабы задержали отправку поезда на два часа. Они точно посходили с ума… После третьего звонка многие с причитанием бросились под колеса поезда, распластались на рельсах, лезли на буфера, на подножки теплушек. Их невозможно было оторвать от мужей. Это проводы… На вокзал сбежалось все уездное начальство. Вид у начальства растерянный, жалкий. Не знают, как быть с бабами… вызвали специальный наряд из местной конвойной команды. Конвойные бережно брали на руки присосавшихся к рельсам и вагонам баб, уносили их с перрона куда-то в глубь вокзала. Бабы кричали так, как будто их резали»[2].

Показательно, что во время проводов запасных на фронт происходили случаи коллективных самоубийств подростков — психика молодых людей не выдерживала трагических картин; стон, стоявший в селах, городах, на станциях, вводил в депрессию современников (далее тема самоубийств среди взрослых и детей будет рассмотрена подробнее). Пресса из патриотических соображений об этом не писала. Если попытаться воссоздать эмоциональную картину первых дней мобилизации, то, вопреки официальной пропаганде, писавшей о воодушевлении народа, истинным общим чувством будет чувство глубокого горя от расставания с близкими.

Тем не менее в некоторых приходивших с мест донесениях отмечалось, что призыв в подавляющем большинстве проходил организованно, «без женских

---

[1] Скитания русского офицера. Дневник Иосифа Ильина. 1914–1920. М., 2016. С. 19.

[2] *Арамилев В. В.* В дыму войны. Записки вольноопределяющегося. 1914–1917 гг. М., 2015. С. 8–10.

воплей и причитаний». Уже само по себе акцентирование внимания официальным представителем власти на «женских причитаниях» указывает на неоднозначность тезиса. И все же некоторые историки, например А.И. Репинецкий, склонны верить подобным отчетам, повторяя тезис о том, что все российское общество в первые месяцы войны было охвачено патриотическими чувствами[1]. Однако необходимо отметить, что проводы на призывной участок живущих в том же городе обывателей отличались от деревенских проводов запасных, уезжавших на подводах в губернские города. Последние всегда сопровождались женскими слезами и причитаниями. Не менее трагичные картины разворачивались на вокзалах во время отхода эшелонов с новобранцами, так что констатация «мужественного» поведения женщин у призывных пунктов, когда еще у супругов оставалось время для прощания, не доказывает их смирения и идейной солидарности с властью, развязавшей войну.

Можно оговориться, что женский плач, причитания, стенания — это неотъемлемый атрибут проводов мобилизованных на войну. Л. Олсон и С. Адоньева обращают внимание, что акт причитаний стал частью фольклорной традиции и даже привел к появлению в русских деревнях «профессиональных» причетниц, плакальщиц и вопленицу[2]. Традицию причитаний необходимо также включить в контекст «эмоциональных практик», под которыми этноисторик Моника Шеер понимала «манипуляции тела и ума с целью либо вызвать чувства там, где их нет, либо сфокусировать диффузное возбуждение и придать ему понятную форму, либо уже возникшие эмоции изменить или устранить»[3]. Эмоциональные практики, согласно Шеер, играют важную роль в различных обществах и выполняют мобилизующую, именующую, сообщающую и регулирующую функции[4]. Вероятно, можно дополнить, что проводы в целом и причитания как эмоциональная практика были тесно связаны и с магическими представлениями деревенских жителей: причитания в адрес мобилизованных как некая форма оплакивания должны были спасти их души. Мобилизованные оказывались потенциальными смертниками, поэтому в их адрес необходимо было провести обряды, функционально близкие отпеванию. Подобные практики регулировали эмоциональный режим крестьянского мира, однако было бы ошибочным рассматривать их как автоматизированные, бесчувственные акты. Хотя в некоторых случаях причитания могут показаться сугубо механическими, ритуализированными действиями, засвидетельствованные

---

[1] *Репинецкий А.И.* Женщины и дети в годы Первой мировой войны (на материалах Поволжья) // Война и повседневная жизнь населения России XVII–XX вв. (к столетию начала Первой мировой войны). СПб., 2014. С. 457–462.

[2] *Олсон Л., Адоньева С.* Традиция, трансгрессия, компромисс: миры русской деревенской женщины. М., 2016. С. 61.

[3] Цит. по: *Пламппер Я.* История эмоций. М., 2018. С. 433.

[4] *Scheer M.* Are emotions a kind of practice (and is that what makes them have a history?) A Bourdieuan approach to understanding emotion // History and Theory. 2012. № 51/2. P. 199.

в многочисленных источниках акты расставаний жен со своими мужьями не позволяют усомниться в искренности эмоций, горя, которые испытывали провожавшие к провожаемым. Семнадцатилетняя гимназистка из г. Скопина отмечала, что поезда с запасными отправлялись со станций под громкие женские причитания: «Сколько в них горя, безвыходности! Часто причитания бывают искусственны, но много и искренних, сердечных, выражающих столько неподдельного страдания»[1].

Во всех уголках Российской империи вне зависимости от местных национальных традиций наблюдались одни и те же картины. Молодая дворянка Х.Д. Семина, жена военного врача, описывала похожие сцены в г. Шемаха Бакинской губернии, когда после объявленной мобилизации «поднялся такой плач и вой женщин и детей, что прямо жутко стало. Гул этого плача стоял во всем городе день и ночь. А партии призванных на войну запасных с утра уже шли мимо нашего дома на станцию для отправки в полки... Я не могла оторваться от окна и смотрела на людей в разной одежде, совсем не похожих на солдат... Иные пели, другие громко разговаривали... Многие утирали глаза и сморкались — плакали... Женщины шли рядом с ними, держась обеими руками за руку мужа, отца или брата. Многие дальше моего домика не шли, а как подкошенные падали на пыльную дорогу и выли, и причитали так жалобно, что не было сил слышать этот плач»[2]. Дорогу на станцию, проходившую мимо ее дома, Семина назвала «дорогой слез».

Первая мировая война изменила положение женщин в обществе, в первую очередь — представительниц низших слоев. Оставшиеся без мужей женщины вынуждены были взвалить на свои плечи значительную часть повседневных забот, вследствие чего патриотическая эйфория прошла мимо них. При этом в газетах особенно акцентировалась тема женского патриотизма, указывалось на то, что отдельные женщины вслед за мужьями рвались на войну. Печать представляла это как пример патриотизма, в газетах обсуждалась идея создания отряда амазонок[3]. «Вечернее время» писало о тяге русских женщин на фронт в статье под названием «Кого родит эта женщина»: «Русские женщины просятся в строй, они хотят сражаться в открытом бою наравне с мужчинами. Были предложения об образовании целых отрядов амазонок»[4]. С инициативой создания отряда амазонок выступила слушательница Бестужевских курсов Петрограда Софья Павловна Юрьева, которая через газеты обратилась с письмом-призывом: «В эпоху, которую мы переживаем, эпоху великой европейской войны, все стремятся принести на алтарь отечества свои силы, все стараются дать хоть что-нибудь своей родине. Мы, женщины, тоже не

---

[1] Две тетради. Дневник Н.А. Миротворской... С. 60.

[2] *Семина Х.Д.* Записки сестры милосердия. Кавказский фронт. 1914–1918 гг. М., 2016. С. 24.

[3] Вечернее время. 1914. 2 октября.

[4] Там же.

хотим оставаться праздными зрителями великих событий — многие из нас идут в ряды войск сестрами милосердия, чтобы облегчать, по мере сил своих, страдания раненых героев. Я тоже горю желанием быть полезной дорогой родине, но я не чувствую призвания быть сестрой милосердия — я хочу идти добровольцем в действующую армию и прошу богатых людей откликнуться на мой призыв и дать мне необходимые средства на исполнение моей заветной мечты — образование отряда амазонок, воинов-женщин… Я хочу пролить кровь за отечество, отдать свою жизнь родине!» Автор статьи в «Вечерних ведомостях» пытался доказать, что стремление женщин на фронт вызвано не политической борьбой феминисток за равноправие, а искренним патриотическим чувством. При этом сам автор скептически относился к подобной затее, полагая, что женщина должна проявлять прежде всего милосердие. В качестве аргумента приводились распространившиеся слухи о том, что немецкие медсестры «воюют» после боя, добивая русских раненых солдат. Автор приходил к выводу, что женщина-медсестра может родить только героя, а женщина-убийца — разбойника.

Отряд амазонок так и не был сформирован, женщинам требовалось получить особое разрешение на то, чтобы воевать наравне с мужчинами, поэтому некоторые переодевались мужчинами и тайно проникали в действующую армию. Такие истории широко освещались российской прессой. В ряде случаев авторы публикаций явно увлекались полетом собственной фантазии. Так, «Русское слово» со ссылкой на «Киев» опубликовало заметку о доброволице Тычининой, которая получила отказ на сборном пункте и, срезав косу и переодевшись в солдатскую амуницию, уехала с вокзала вместе с запасными. Тычинина участвовала в боях у Островца, Опатово и Сандомира, получив якобы шесть пулеметных ран в грудь (sic!). Лишь после того, как она попала в лазарет «Утоли моя печали» в Москве, была раскрыта ее личность[1].

Однако мотивы у женщин были разные. Если слушательниц высших женских курсов можно заподозрить в искреннем патриотизме, то в других случаях определяющим были личные интересы — желание вырваться из опостылевшей действительности. В качестве примера можно привести известный случай Марии Бочкаревой, ушедшей добровольцем на фронт осенью 1914 г. Война застала ее в Иркутской губернии, куда она отправилась в добровольную ссылку за своим гражданским мужем Яковом Буком. Однако тот стал пить, избивать жену, несколько раз чуть не убил, в результате у нее возникло желание бежать от него (как она бежала от предыдущего официального мужа). Начало войны дало повод. Бочкарева вспоминала впоследствии: «Покинуть Яшу ради собственного блага казалось мне почти немыслимым. Но оставить его и пойти на фронт во имя бескорыстного самопожертвования — нечто совершенно

[1] Русское слово. 1914. 12 ноября.

иное. Идея отправиться на войну все сильнее и сильнее овладевала всем моим существом, не давая покоя»[1]. Бочкаревой казалось, что начавшаяся война откроет для нее двери к новой жизни, в том числе поможет искупить некоторые грехи юности (соучастие в грабежах, прелюбодеяния и проституцию, покушения на убийство). У Марии «возникло неясное предчувствие того, что к жизни пробуждается новый мир, очистившийся от скверны, более счастливый и близкий к Богу». Очевидно, что эмансипированной столичной курсисткой Юрьевой и оказавшейся в сибирской ссылке крестьянкой Бочкаревой двигали разные мотивы. При этом общим оказывалось восприятие начавшейся войны как начала эпохи, открывавшей новые горизонты. Тем самым война способствовала распространению милленаристских ощущений, для одних связанных с чувством страха перед приближающимся концом, для других — с восторгом в предчувствии начала новой жизни. Однако, говоря о женском добровольчестве, нужно учитывать, что в ряде случаев оно было вызвано проблемами в личной жизни, бытовой неустроенностью и порой являлось бегством, способом ухода от тяжелой жизненной ситуации.

Реалии новой жизни не устраивали и оставшихся в тылу солдаток, что вызывало к жизни совсем иные реакции: вместо бегства на фронт — скандалы и бунты в тылу. Слухи о массовых бабьих погромах доходили до армии, и солдаты объясняли это просто: «Бабы бастуют. Мужиков стало мало, а баб много»[2]. При этом в пространстве слухов происходила характерная гиперболизация явления, порождавшая новые слухи о том, что в оставшихся без мужиков деревнях бабы устраивают охоту на мужчин, и когда поймают — замучают. Рядовой с укором писал своей знакомой: «Мы слышали, что вы ловите мужиков. 10 баб поймают одного мужика и замучают до смерти»[3].

Барбара Энгл считает изучение женского бунтарства недооцененной темой в истории российской революции, при этом прелюдией 23 февраля 1917 г. она называет продовольственный погром в г. Богородске Московской губернии, случившийся 1–4 октября 1915 г.[4] Исследовательница справедливо полагает, что ухудшение продовольственной ситуации в империи провоцировало «бабьи бунты», но спорит с Д. Конкер и У. Розенбергом, делающими акцент в активности женского движения на событиях 1917 г. Однако сама Энгл игнорирует более ранние проявления женского бунтарства — погромы солдаток июля — августа 1914 г. Вероятно, именно их следует рассматривать в качестве «прелюдии» бабьих бунтов периода мировой войны и революции. Предопределенные, как

---

[1] *Бочкарева М.* Моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы. Койданава, 2013.

[2] РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1486. Л. 237 об.

[3] Там же.

[4] *Энгл Б.* Не хлебом единым: женщины и продовольственные беспорядки в Первую мировую войну // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2010. № 1. Т. 4. История. С. 148–178.

и продовольственные беспорядки, проблемами потребления (бунты солдаток в первые месяцы войны были вызваны задержками выплаты денежных пособий), они демонстрируют вместе с тем и гуманитарную сторону женского протеста, связанную с разрушением семейных отношений, переживаниями за жизнь мужчин, ушедших на фронт, оставшихся без отцов несовершеннолетних детей. Очевидно, что именно комплекс проблем, а не только банальная «жажда хлеба», толкал российских женщин на проявления жестокости и насилия. Кроме того, именно солдатки на протяжении всей войны оставались самой «взрывоопасной» категорией женщин.

Бабьи бунты в истории протестного движения в России важны еще и тем, что при их подавлении войска действовали более сдержанно, до последнего не применяя силу. Б. Энгл допускает, что в событиях февраля 1917 г. участие женщин повлияло на отношение казаков и войск гарнизона к беспорядкам, которые могли видеть в них жен и матерей солдат, воюющих на фронте[1]. Еще накануне первой революции крестьяне выработали своеобразную погромную стратегию, в которой прикрывались женщинами, пуская их первыми в «бой». П. С. Кабытов на материале крестьянских восстаний начала XX века затронул тему бабьих бунтов и обратил внимание, что очень часто крестьянский погром начинался с того, что громить усадьбу принимались женщины, а мужчины присоединялись только после того, как удостоверялись в отсутствии карательных инициатив представителей власти. Управляющий имением Трепке Полтавского уезда сообщал в 1902 г. следственной комиссии: «Сначала явились бабы и занялись мелким хищением, а мужчины прятались, выглядывая по временам из-за изгородки и вошли в дело лишь тогда, когда убедились в безнаказанности баб»[2].

В 1914 г. новый статус множества женщин — солдаток — определял их оппозиционность. Хотя правительство и назначало пособия женам запасных, ушедших на фронт, денег не хватало, пособия задерживали, а в деревнях никакие пенсии не могли заменить рабочих рук. Поэтому в то время, как газеты упивались рассказами о патриотизме русских женщин, эти же русские женщины громили казенные учреждения, ругая правительство и царя за то, что забрали их мужей. «…его матери, нехай верне мини мужа, я его грошами не нуждаюсь», — матерно обругала Николая II тридцатилетняя крестьянка Киевской губернии Александра Побережная, в ответ на напоминание о том, что царское правительство заботится о солдатках, выплачивая им пособия[3].

Уже обращалось внимание на то, что в мобилизационных беспорядках определенную роль играли женщины-солдатки, которые своими истеричными криками подхлестывали агрессию мужской половины толпы. Исследователи

---

[1] Там же. С. 174.
[2] Цит. по: *Кабытов П. С.* Русское крестьянство в начале XX века. Самара, 1999. С. 57.
[3] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 388.

указывают, что в погроме на Лысьвенском заводе женщинам принадлежала исключительная роль по возбуждению запасных и рабочих. Вместе с тем лысьвенские беспорядки нельзя отнести к собственно женским бунтам, так как основной движущей силой погрома были мобилизованные солдаты и пролетарии.

Один из первых непосредственно женских бунтов произошел в последних числах июля в Царицыне: собравшаяся у здания мужской гимназии толпа женщин стала требовать письменного удостоверения относительно выдачи дальнейших пособий и после отказа принялась избивать полицейских. К ним присоединились запасные и студенты. В итоге были вызваны войска, открывшие огонь по толпе. В частном письме указывалось, что при подавлении беспорядков было убито 20 и ранено 80 человек[1].

Ярая монархистка, член РНСМА, беспощадный борец со своими соседями-немцами С. Л. Облеухова вынуждена была признать, что власти не справляются со взятыми обязательствами поддержания семей запасных. В письме от 11 августа 1914 г. она так описывала сложившуюся в Петрограде ситуацию: «Дело в том, что несмотря на широко поставленную помощь семьям запасных, во многих попечительствах относятся к ним с возмутительной грубостью и денег не дают. Происходят сцены прямо невероятные. 400–500 женщин приходят каждый день за пособием, им ничего не объясняют и гонят прочь. В другом месте на 600 женщин сторож выбрасывает в толпу 150 билетиков на право получения нескольких рублей. Происходит свалка, жандармы на лошадях врезаются в толпу и „оттесняют“ женщин. Сегодня в 7-й роте, д. 10, во время давки из-за брошенных билетов задавили насмерть ребенка. Я не верила всему этому, но ко мне лезут бабы с детьми, плачут и клятвенно уверяют, что это правда»[2].

Судя по частной корреспонденции, самое сильное возмущение солдаток вызывало отношение к ним властей в Одессе. Здесь в течение трех недель не выдавали пособий. В итоге протест одесситок вылился в погром, в котором проявились не только экономические, но и политические мотивы: женщины, вероятно, в память о бунтах 1905 г., наспех сооружали красные знамена, которые затем у них отбирала полиция. В письме из Одессы от 12 августа мы читаем: «Вчера здесь был бабий бунт. Жены запасных, не успевшие получить в Гор. Думе денег, собрались, вероятно, под влиянием чьей-то агитации, большой толпой и направились к зданию Думы. Здесь они учинили дебош: побили стекла и т. д. Между прочим, ранен пристав один. Затем, устроили они дебош в „Европейской“ гостинице, у кондитерской Робина и др. местах. В конце концов у одной отобрали „знамя“, какую-то широкую деревяшку, аршина два длинны. Потом, группы одесских „суфражисток“, человек по десять, заходили в магазины и просили денег»[3].

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 992. Л. 1121.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 993. Л. 1225.
[3] Там же. Л. 1242.

Протестные выступления солдаток в Одессе продолжались весь август. Монархист, председатель Одесского союза русских людей Н. Родзевич писал 1 сентября 1914 г., делая акцент на язвительных замечаниях в адрес женщин — членов городских управ с немецкими фамилиями: «В здешней городской управе оппозиция крепнет. Недавно бабы, жены запасных, разгромили камнями всю городскую управу, — снаружи не осталось ни одного целого стекла. Три недели их водили за нос, приказывая придти „завтра". Вдобавок С. Альбрандт предложил им заработок на Дерибасовской улице, — это и было искрой. Едва усмирили. Потом толпа пошла по городу, врываясь в магазины съестных припасов и требуя хлеба. Только к вечеру все успокоилось. Около 40 баб арестовали, а управская сволочь осталась безнаказанной»[1].

Конечно, помимо бытовой германофобии, в критике монархистами (Облеуховой, Родзевича) работы городских управ просматривается их давнишняя борьба с общественным самоуправлением, подрывавшим устои самодержавия. Вместе с тем местные органы самоуправления денежные средства для презрения семей нижних чинов запасных получали из Государственного казначейства, поэтому недостаток или задержка причитавшихся средств — целиком вина царских правительственных учреждений. Однако была еще одна сложность в получении солдатками положенных денег: чрезмерная бюрократизация процесса. Хотя женщины могли рассчитывать на значительные суммы — от 30 до 45 рублей в месяц, закон о призрении семей солдат, призванных на войну, принятый еще 25 июня 1912 г., гласил, что за счет государственных средств финансировалась так называемая «малая семья», в то время как в российской деревне проживали большие патриархальные семьи[2]. Отец, мать, дед, бабка и другая родня могли рассчитывать только на помощь местных попечительств, для чего нужно было составлять прошение в земство или попечительский комитет. Неграмотные крестьянки часто просто не могли правильно составить текст прошения. Известны случаи, как солдатки обивали пороги трактиров, чайных и прочих городских заведений, где можно было встретить сочувствующих грамотных мужчин, которые составляли за них требовавшиеся бумаги[3]. Не обходилось без курьезов: прошения составлялись то на имя военного министра — он построже, — то архиерея — он помилостивее, вместо того чтобы писать в земскую или городскую управу.

Получив пособие, невесткам приходилось либо отдавать его свекрам со свекровями, либо идти на конфликт, отстаивая собственную финансовую независимость. Но последнее грозило перераспределением патриархальных ролевых

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 994. Л. 1393.

[2] См.: *Пушкарева Н.Л., Щербинин П.П.* Организация призрения семей нижних чинов в годы Первой мировой войны // Журнал исследований социальной политики. 2005. Т. 3. № 2.

[3] *Щербинин П.П.* Военный фактор в повседневной жизни русской женщины в XVIII — начале XX века. Тамбов, 2004. С. 272–273.

функций в больших семьях, против чего активно выступали крестьяне. В Костромской губернии в феврале 1915 г. во время ссоры свекрови и невестки из-за денежного пайка свекровь, обругав царя, возмутилась: «Солдатским женам выдал книжки для получения пособия, а матери выходят дешевле жен»[1]. Мать солдата в народном сознании имела больше прав на компенсацию, лишение же ее данного права становилось переоценкой сложившейся социальной иерархии в деревне. В результате многие крестьянки, опасаясь за сохранность денежных пайков, тратили деньги сразу после получения, покупая вещи, которые не могли позволить себе раньше: кофточки, галоши, духи, помаду[2]. Естественно, это не снижало напряжения в семьях, а, наоборот, формировало в деревенском общественном мнении уверенность в том, что невесток деньги развращают: «Наш государь дурак за то, что много дает пособия солдаткам, которые ведут праздную жизнь»[3]. Со временем получение денежных пособий стало восприниматься как предательство, принятый крестьянками откуп за убитых мужей: «Солдатки за деньги продали своих мужей; им царь за них выдает деньги, не хотят ли они, чтобы царь и х.. им купил?»[4]

Таким образом, система призрения семей солдат как ввиду излишней забюрократизированности, так и из-за недостатка государственных средств не только усугубляла социальные проблемы в деревенской среде, но и служила поводом для выражения женского протеста в различных административных центрах.

Помимо мобилизации мужчин, перебоев с выплатами денежных пособий, фактором женского бунтарства стала реквизиция лошадей и крупного рогатого скота для нужд армии. Собственно, подобные реквизиции коснулись всех слоев населения: еще 17 июля 1914 г. было утверждено Положение о военно-автомобильной повинности, предусматривавшее принудительную реквизицию автомобилей у населения с возмещением стоимости. Однако если автомобиль в те годы мыслился как роскошь, от которой можно было временно отказаться, то лошадь в крестьянской семье играла совершенно иную роль, от нее нередко зависело выживание людей. Комиссии по реквизициям оценивали лошадь с точки зрения ее выносливости и годности для армии, признанных негодными лошадей возвращали, за других назначали денежную компенсацию, однако сумма компенсации нередко определялась произвольно, среди крестьян ходили слухи о том, что за взятку можно и хорошую лошадь признать негодной или, в крайнем случае, получить хорошую компенсацию. В частной переписке обыватели указывали друг другу на злоупотребления властей, а также

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 101 об.

[2] *Пушкарева Н.Л., Щербинин П.П.* Организация призрения семей нижних чинов в годы Первой мировой войны. С. 151.

[3] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 123.

[4] Там же. Л. 530 об.

местных перекупщиков-спекулянтов. Так, один современник сообщал о действиях некоего Карыма, который покупал за бесценок лошадей у крестьян, которых накануне комиссия признала негодными для армии, а затем получал за них казенные деньги, повторно предъявляя их комиссии[1]. По подсчетам Г. И. Шигалина, за время войны из сельского хозяйства было изъято 10% лошадей, причем взрослых, наиболее работоспособных, в то время как в деревне увеличивался процент молодняка и жеребят (до 22%), а также старых кляч[2]. При оценке лошадей члены комиссии далеко не всегда принимали во внимание, что ценность лошади в семье, лишившейся мужчин, сильно возрастала. Тверской уездный предводитель дворянства В. И. Гурко в воспоминаниях писал: «Мобилизации проходили при полном спокойствии… Посадка в поезда происходила в отменном порядке. Разумеется, провожавшие уходившие поезда женщины усиленно плакали, заметно было волнение и на лицах солдат, но шли они бодро и уверенно. Менее спокойно прошла реквизиция лошадей по военно-конской повинности, производившаяся почти следом за людской мобилизацией. Во множестве крестьянских хозяйств главами оставались женщины, и именно они проявляли и крайнее недовольство, и даже полное отчаяние, когда у них стали отбирать лучших лошадей. Здесь пришлось видеть несколько весьма тяжелых сцен: бабы буквально выли. Наблюдая за осуществлением военно-конской повинности, я несколько раз не мог выдержать тяжелых сопровождавших ее сцен и, признаюсь, вполне произвольно оставил на месте нескольких добрых коней, признав их вопреки очевидности негодными»[3]. По логике мемуариста, отстаивавшего официальную версию о спокойном течении мобилизации, но признавшего «полное отчаяние» женщин при реквизициях, выходило, что скотина солдаткам была дороже мужей.

Впоследствии к реквизициям лошадей и рогатого скота добавились и реквизиции зерна, что также способствовало росту протестных настроений среди крестьянок. Часто стали звучать угрозы в адрес царя. Так, например, 2 марта 1916 г. 38-летняя крестьянка Тобольской губернии Прасковья Тимофеева, муж которой был призван в армию, находясь в возбужденном состоянии при реквизиции у нее овса, в присутствии свидетелей сказала: «Что это за цари такие. Мужа и лошадь взяли, а теперь хотите и овес забрать. Надо бы всех царей под пулю»[4]. В составленном протоколе было отмечено, что ранее Тимофеева ни в чем предосудительном замечена не была и отличается безупречным поведением.

Разразившийся в империи общий продовольственный кризис размыл границы бунтарства солдаток. Из-за значительного роста цен на продукты

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 980. Л. 28.

[2] *Шигалин Г. И.* Военная экономика в Первую мировую войну. М., 1956.

[3] *Гурко В. И.* Черты и силуэты прошлого. М., 2000. С. 643–644.

[4] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 214.

и исчезновения ряда товаров из продажи ценность пособия понижалась, а желание бунтовать появлялось не только у одних жен призванных запасных, но и у всех, кто вел домашнее хозяйство. Повышение цен на продукты началось практически сразу после объявления войны, поэтому петроградская толпа, громившая 22 июля немецкое посольство, «делегировала» женщин на разгром продовольственных рынков. 25 июля в селе Смоленском за Невской заставой вспыхнул женский бунт на почве повышения цен на пищевые продукты. Газеты сообщали: «Вчера хозяйки, явившись в рынок, узнали о новом повышении цен почти на все продукты первой необходимости. Они напали на ларьки торговцев и уничтожили весь товар. Разгром рынка отличался не меньшей жестокостью и не меньшим озлоблением, чем разгром немецкого посольства… Торговцы понесли весьма существенные убытки и после этого согласились понизить цены на все продукты до прежней нормы»[1]. 28 июля разгрому подвергся рынок в Петербурге, на Безбородкинском проспекте (Выборгская сторона)[2]. В следующем году ситуация с женскими погромами торговых заведений осложнилась. Исследователи отмечают, что только за 1915 г. в России было зафиксировано 654 бунта, вспыхнувших на почве роста цен и недостатка продовольствия, а с января по май 1916 г., т.е. за неполные полгода, произошло уже 510 выступлений[3].

Продовольственный кризис был вызван объективными причинами и усугублялся субъективными инфляционными ожиданиями торговой части населения. Уменьшение трудоспособного населения деревни сказывалось на сельскохозяйственном производстве[4]. В первый же год войны сельское хозяйство недосчиталось 7,5 млн человек. Во второй и третий годы войны в армию было призвано еще 6 млн жителей деревни. В результате большое количество хозяйств осталось без мужских рабочих рук: например, в Московской губернии — 44% хозяйств, в Амурской — 43%, в Томской — 42%, в Тамбовской и Вологодской — 36%, в Киевской — 37%, в Харьковской, Саратовской и Уфимской — 30%[5]. В декабре 1914 г. обыватель из села Ильинское Калужской губернии писал лидеру кадетов П.Н. Милюкову: «Сегодня объявлена четвертая мобилизация. Призываются ратники начиная с 1902 года. Канун Нового года сделался днем плача и рыданий. Призываются единственные кормильцы семей, где из 10-ти человек 8 неработоспособных. Необходимо внести в устав о воинской повинности поправку. Иначе для страны станет непосильным содержать

---

1 Петербургский листок. 1914. 26 июля.

2 Петербургский листок. 1914. 29 июля.

3 *Щербинин П.П.* Военный фактор в повседневной жизни русской женщины в XVIII — начале XX века. Тамбов, 2004. С. 266.

4 *Шигалин Г.И.* Военная экономика в первую мировую войну. М., 1956. С. 195.

5 Северные записки. 1917. № 1. С. 184; *Сириков М.А.* Очерки по аграрной статистике. 1924. С. 397–404.

такие семьи. Наша Калужская губерния по последней народной переписи значится в числе вымирающих. Мужское население у нас очень сильно поредело. Следовало бы военному начальству при назначении мобилизаций считаться с этим обстоятельством, иначе дело выйдет очень плохо. Деревни запустеют»[1].

Продовольственные погромы начинались, как правило, с «бабьего бунта», к которому впоследствии присоединялись хулиганствующие подростки, демобилизованные солдаты, рядовые обыватели. В отличие от узкосоциальных бунтов (например, рабочих, студенческих беспорядков), погромы, устраивавшиеся женщинами, имели одну важную отличительную особенность для самих погромщиков: конная полиция и войска действовали крайне нерешительно, редко открывая огонь на поражение. Поэтому к женскому погромному движению так любили присоединяться «профессиональные» громилы. При этом сами женщины были способны на проявление большой жестокости. 7 августа 1915 г. женский погром произошел в Колпине Петроградской губернии, в котором участвовало 400 человек. Поводом стал рост цен на овощи. В полдень одна из покупательниц обвинила торговца в спекуляции, вспыхнула ссора, женщины устроили погром, но вскоре были разогнаны полицией. Однако они не успокоились и отправились за подмогой к своим мужьям. К 5 часам вечера собралась уже смешанная толпа мужчин и женщин, с которой полиции пришлось биться 6 часов. Лишь в 11 часов вечера погром был остановлен. Любопытно, что разгрому подверглись заведения разного характера: не только продовольственные лавки, но и парикмахерская (вероятно, украли одеколон, который поднялся в цене в условиях сухого закона), табачные и писчебумажные лавки. В итоге полиция арестовала 10 женщин-зачинщиц[2]. В начале сентября 1915 г. в Петрограде на Охте случился бабий бунт, во время которого были разбиты все лавки по Пороховской улице. Для усмирения вызвали конных городовых. По свидетельству очевидцев, один городовой был убит[3].

Одновременно с беспорядками на Охте, носившими, в общем-то, локальный характер, начался настоящий бунт в Астрахани, продолжавшийся два дня — 8–9 сентября 1915 г. Помимо привычного стихийного течения, он отличался и вполне рациональным и в некотором роде «героическим» поведением женщин: свидетели отмечали, что в то время, как одни погромщики просто уничтожали товар, другие, преимущественно женщины и дети, аккуратно его заворачивали и забирали с собой. Многих удивляло, с какой легкостью некоторые женщины убегали от полиции с мешками-пудовиками (16,3 кг) с мукой. После мучного ряда погромщицы переключились на магазин швейных машин компании «Зингер».

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1003. Л. 8.

[2] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1915. 8, 9 августа.

[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1008. Л. 24.

В июне 1915 г. в селе Гордеевка Нижегородской губернии 10-тысячная толпа женщин устроила «ревизию» запасов сахара в лавках. Полиция ничего не могла поделать с женщинами, в то время как последние вели себя агрессивно по отношению к стражам порядка, кидали в них камни. Б. Энгл отмечает, что, в отличие от европейских продовольственных погромов, в которых также участвовали женщины, русский «бабий бунт» изначально был ориентирован на насилие. Исследовательница объясняет это традицией крестьянского доиндустриального бунтарства[1].

14 февраля 1916 г. серьезные беспорядки на продовольственной почве вспыхнули в Баку. Казалось, что все они разыгрываются по одному и тому же сценарию: пришедшие на базар женщины возмутились очередным ростом цен на продукты, вступили с торговцами в спор, переросший в драку. Сила оказалась на стороне женщин, которых поддержали местные деклассированные элементы, а также хулиганствующие подростки. Власти попытались остановить разгром рынка, вызвав конных городовых и пожарную команду, но это не помогло: толпа вырвалась за пределы рынка и направилась громить магазины в центре города. Погром продолжался еще два дня, причем самым страшным днем, согласно письмам очевидцев, было 15 февраля. На следующий день власти приняли решение стрелять в толпу, и беспорядки прекратились[2].

Та же картина описана в письме из Красноярска от 7 мая 1916 г.: «Дикое, непомерное взвинчивание цен крупными оптовиками и никем и ничем не сдерживаемая спекуляция мелких торговцев съестными припасами еще с осени породили глухое недовольство беднейшей части населения... Город напоминал собой пороховую бочку, в которую достаточно было попасть искре, чтобы получился грандиозный взрыв. Это и случилось 7 мая около 8 часов утра. В мясной лавке крупного торговца Марксона бедная солдатка затеяла спор по поводу отпущенного ей недоброкачественного мяса с приказчиком лавки, как говорят евреем — пленным австрийцем. Во время перебранки последний куском мяса ударил покупательницу два раза по лицу... Кто-то крикнул: „Жиды бьют солдаток", — и началась свалка. Первой разгромили мясную лавку Марксона на базаре, а потом начали громить все лавки подряд, а спустя 20–30 минут толпа женщин и подростков громила окна магазинов на Большой ул., сначала без разбора, а позже только еврейские. Одновременно с разгромом начался грабеж. По городу в разных местах одновременно толпы баб и разных подонков общества в 20–30 человек разбивали и грабили магазины, мелочные лавки, еврейские дома, торговые бани и проч. К 10-ти часам утра базарная площадь была занята бесчисленным количеством конных и пеших патрулей, казаков. Однако, ни усиленные наряды полиции, ни солдаты, ни тем

[1] *Энгл Б.* Не хлебом единым... С. 157.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1044. Л. 37–38.

более казаки не препятствовали толпе бесчинствовать и грабить… Можно было наблюдать такие картины: у мелочной лавки стоят 15–20 человек солдат с винтовками. Лавку громит толпа в 5–10 человек баб и подростков, которая, выходя из разграбленной лавки, угощает награбленными папиросами солдатиков… По городу носятся упорные слухи, что солдаты убили прикладами жандармского ротмистра, зарубившего солдата за неисполнение приказа бить баб прикладами. Несомненно одно, что настроение воинских частей было самое дружелюбное к погромщикам. Утром на базаре избили несколько городовых и пристава, а днем били евреев. Сцены разгрома не поддаются описанию: ломали, уничтожали все, что ни попадалось, подушки, перины разрывали и содержимое пускали по ветру. Не щадили ни женщин, ни стариков, избивали, уродовали всех. За день разгромлено не менее ста лавок и домов. Разграбленное уносили на руках, увозили на извозчиках на глазах полиции и войск. К вечеру все стихло, но поручиться, что утром не вспыхнет с новой силой — нельзя»[1].

Важно отметить, что в ряде случаев, когда женщины поднимали крик на рынках, требуя снизить цены, торговцы шли им на уступки. Тем самым практика женского бунтарства оправдывалась: распространявшиеся по России слухи о женских зверствах по отношению к спекулянтам и мародерам пугали рыночных торговцев и позволяли хозяйкам иногда участвовать в регулировании цен на продукты. Как правило, тон задавали именно солдатки. Б. Энгл пишет, что в 1915 г. около 200 солдаток, собравшихся у управы в ожидании выплаты пособий, зашли в ближайший магазин и потребовали снизить цену на муку до 60 копеек за пуд. Но когда продавец отказался, одна из солдаток схватила мешок со словами «тащите, девки!», что сделало приказчика более сговорчивым[2]. В июле 1915 г. на таганском рынке Москвы женщины подняли крик по поводу повышенных цен на молодой картофель, угрожая разгромом рынка, в результате чего купцы снизили цены. Тем самым женщины вырабатывали определенную протестную тактику, которая в конце концов вылилась в массовые акции первых дней революции 1917 г. Не случайно в своих воспоминаниях генерал-майор отдельного корпуса жандармов А. И. Спиридович называл женщин и детей «застрельщиками революции»[3].

Как отмечают исследователи, в конце 1916-го — начале 1917 г. практически по всем городам Поволжья прокатилась волна «бабьих бунтов». 12 июля 1916 г. «бабий бунт» в Симбирске, во время которого погибло три человека и десяток оказались ранеными, обсуждался на секретном заседании Совета министров[4].

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1045. Л. 40 — 40 об.

[2] *Энгл Б.* Не хлебом единым… С. 155.

[3] *Спиридович А. И.* Великая война и февральская революция. 1914–1917 гг. Т. 3. М.; Берлин, 2017. С. 36.

[4] Совет министров Российской империи в годы Первой мировой войны. Бумаги А. Н. Яхонтова (Записи заседаний и переписка). СПб., 1999. С. 348.

Крупный погром, вызванный недовольством хозяек от продажи тухлого мяса, произошел в Самаре 5 ноября 1916 г., во время которого было разгромлено 56 лавок и магазинов[1]. При этом, помимо продовольственного кризиса как причины бунтарства, историки обращают внимание на такой фактор, как изменившееся сексуальное поведение новой категории рабочих, получавших бронь. С. Г. Басин обратил внимание на то, что участившиеся случаи сексуального домогательства рабочих к солдаткам вызывали протест последних и усугубляли психологическую атмосферу в обществе[2]. Следует отметить, что о перверсивных практиках, участившихся в годы Первой мировой войны, писали многие современники. Правда, по понятным причинам, чаще всего это касалось поведения мобилизованных солдат и дезертиров.

Другим фактором, влияющим на усиление протестных настроений женщин, стало ухудшение условий работы на предприятиях и неравная оплата труда. А. И. Репинецкий указывает, что удельный вес женщин на предприятиях Поволжья к началу 1917 г. составлял 30,5%, женщины работали по 12 часов в день, плюс 2–4 сверхурочных часа, получая при этом только ¾ заработной платы мужчин. Тяжелые условия труда приводили к физическому и психическому истощению работниц. Один из рабочих Трубочного завода Самары писал в «Волжское слово»: «Вхожу я в проходную (Трубочного завода в Самаре), смотрю на полу лежит девушка и еле дышит. Я спрашиваю ее что с тобой? Она повернулась ко мне и заплакала: „Не могу работать, а домой не пускают… я наверное умру, со мной второй год чахотка… от усиленной работы болит грудь, бок. Прихожу в 6 часов утра, ухожу в 8 часов вечера и не вижу ни дня, ни воздуха… Я-то, ладно, хоть давно работаю, а которые недавно поступили и тоже кандидаты на тот свет. А их человек 30“»[3].

Женские погромы отличались повышенной эмоциональностью и чаще всего были спровоцированы слухами, принимавшимися крестьянками на веру. Если рациональное восприятие действительности предполагает критически-сдержанное отношение к ним, то эмоции, которые захлестывали малообразованных солдаток, торговок, простых хозяек, провоцировали повышенную агрессию. В условиях превалирования чувственно-эмоционального восприятия реальности вызревали слухи, которые, согласно исследованию Л. Олсон и С. Адоньевой, играли важную практическую роль в жизни деревенских женщин[4]. При этом слухи, как отмечали Д. Олпорт и Дж. Постман, связаны с упрощенной

[1] *Репинецкий А. И.* Женщины и дети в годы Первой мировой войны (на материалах Поволжья) // Война и повседневная жизнь населения России XVII–XX вв. (к столетию начала Первой мировой войны). СПб., 2014. С. 457–462.

[2] *Басин С. Г.* Самара в период империалистической войны (1914—февраль 1917 г.) // Учен. зап. Куйбышевского гос. пед. ин-та. Вып. 15. Куйбышев, 1955. С. 122.

[3] Цит. по: *Репинецкий А. И.* Женщины и дети в годы Первой мировой войны…

[4] *Олсон Л., Адоньева С.* Традиция, трансгрессия, компромисс: миры русской деревенской женщины. С. 272.

эмоциональной гиперболизацией информации[1]. Передача подобного сообщения предопределяла эмоционально-психологическую контагиозность, повышала возбудимость принимающего субъекта и создавала почву для насилия. В периодической печати описывались случаи неконтролируемого стихийного насилия, вспыхнувшего от чувства страха перед шпионами, провоцировавшего агрессию необразованных женщин. Так, например, «Петроградский листок» сообщил о происшествии в лесу графа П. П. Шувалова 10 сентября 1914 г. Около 2 часов ночи через лес шли женщины деревни Касимово, которые заметили сквозь деревья подозрительный свет, оказавшийся большим костром. Женщины тут же решили, что перед ними либо затаившиеся конокрады, либо тайная встреча немецких шпионов. Женщины бросились к местному десятскому Ивану Макееву, разбудили его и вместе с 20 односельчанами отправились в лес. Когда толпа подошла к костру, обнаружилось, что рядом с ним спали двое мужчин. Недолго думая, толпа набросилась на спящих и начала их избивать. Когда бить устали, выяснили, что незнакомцы — служащие имения графа Шувалова лесник Владислав Мороз и егерь Яков Богданов. Последним повезло, что они выжили, хотя и получили серьезные увечья[2].

Распространявшиеся в городах слухи подстегивали фантазию и приводили к рождению различных фобий, наиболее массовая из которых — шпиономания. Следствием массовой шпиономании становились немецкие погромы. Самый известный, но далеко не единственный из них — Московский погром конца мая 1915 г., спровоцированный серией абсурдных слухов: служащие на военных заводах этнические немцы являются шпионами, устраивают взрывы на складах с боеприпасами, распространяют холеру, отравляя артезианские колодцы, а в кондитерских магазинах, принадлежащих немцам, продаются отравленные сладости (по этой причине во время погрома толпа не разворовывала кондитерские изделия в магазинах Эйнем у Ильинских ворот и Динга[3]).

В историографии нет общего мнения, с какого именно числа уместно начать его отсчет. Традиционно началом тех событий считают патриотическое шествие 28 мая, непосредственно вылившееся в разгром торговых заведений. Также указывается на рабочие беспорядки 26 мая, когда полторы тысячи рабочих ситценабивной мануфактуры Гюбнера объявили забастовку, выдвинули требование увольнения с мануфактуры всех служащих-эльзасцев и с национальными флагами, портретами царя под выкрики «Долой немцев» попытались прорваться на территорию оружейного завода Прохорова, где недавно произошел взрыв, который молвой был приписан немецким шпионам. Однако американский историк Эрик Лор в провоцировании массовых беспорядков

---

[1] *Allport G., Postman J.* Psychology of Rumor. New York, 1947.

[2] Петроградский листок. 1914. 10 сентября.

[3] *Джунковский В. Ф.* Воспоминания. Т. 2. С. 564.

переносит вину с рабочих на женщин-солдаток, которые 26 мая в количестве ста человек собрались на Тверской улице в надежде получить от Комитета великой княгини Елизаветы Федоровны свою еженедельную работу — шитье для армии[1]. Но им было объявлено, что нет пошивочного материала. Тогда женщины стали возмущаться. Проходивший в те часы по Тверской журналист И. В. Жилкин описал толпу: «Преобладали женщины, бедно одетые, в платочках, исхудалые, утомленные. У некоторых были дети на руках. Женщины эти или принимались что-то выкрикивать с надрывом и болезненным озлоблением, или замолкали, поджимая губы, с какой-то угрозой на темных лицах»[2]. Корреспондент отметил, что одним из факторов раздражения был стоявший у входа большой, шикарный черный автомобиль. Толпа ждала, кто выйдет и сядет в него, вероятно, не из простого любопытства. Кто-то крикнул, что работы нет потому, что «немка» великая княгиня отдала все заказы немецкой фабрике «Мандль» (следует заметить, что заказы действительно были переданы бывшей австрийской фирме «Мандль», которая была преобразована в акционерное общество во главе с графом Татищевым, но по решению не великой княгини, а интендантского ведомства[3]). Слухи о предательстве верхов уже давно будоражили общество, в числе главных подозреваемых среди малообразованной публики числились обе сестры — императрица Александра Федоровна (будто бы сообщавшая по телефону императору Вильгельму II военные планы России) и великая княгиня Елизавета Федоровна (будто бы скрывавшая в своем Марфо-Мариинском монастыре великого принца Гессенского), — поэтому данная версия была легко принята на веру. В сторону проезжавшего экипажа с великой княгиней раздавались проклятия, летели плевки и камни. К тому времени толпа распаленных женщин увеличилась до нескольких сот и стала угрожать штурмом здания, но подоспевший наряд полиции предотвратил беспорядки. Тем не менее по городу поползли слухи о произошедшем бабьем бунте на Тверской, возбуждая часть москвичей[4].

В дальнейших событиях, местами продолжавшихся до 5 июня, женщины также продолжали играть активную роль, на что указывали современники и открыто признавали газеты[5]. Особенность московского погрома заключалась в том, что начавшийся по «патриотическим» мотивам как расправа с местными немцами, он с 29 мая приобрел более широкий контекст, когда рабочие начали вступать в столкновение с полицией. Джунковский вспоминал, что, согласно донесениям, рабочие, участвовавшие в погроме, говорили: «Это ничего,

---

[1] *Лор Э.* Русский национализм и российская империя: кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны. М., 2012. С. 43.

[2] *Жилкин И. В.* Московский погром // Вестник Европы. 1915. № 9. С. 300.

[3] *Джунковский В. Ф.* Воспоминания. Т. 2. С. 563.

[4] *Жилкин И. В.* Московский погром... С. 301.

[5] Речь. 1915. 7 июня.

что с немцев начали,—доберутся и до всех, кому следует „накласть“»[1]. Таким образом, националистический погром, разогретый агрессивными женщинами-солдатками, нес в себе заряд революционного бунтарства.

Начало войны ознаменовалось серией женских бунтов, с него же началась и революция 1917 г. Едва ли это случайно. И дело не только в том, что женщины особенно пострадали от войны,—затянувшаяся война создавала в обществе исключительно нервозную обстановку, в условиях которой протестная тактика крестьянок, отличавшаяся повышенной эмоциональностью, соответствовала общей социально-психологической атмосфере кануна революции. Не удивительно, что одним из визуальных символов приближавшейся революции стала красная баба Ф. Малявина—в стихии женского бунтарства современники узнали природу революционной бури.

Студенческий «патриотизм»: добровольчество и оппозиционность

Официальная печать особое внимание уделяла студенческому патриотизму, конструируя на его основе патриотическую мифологию. Своеобразной «проверкой на патриотизм» стала отмена отсрочек для студентов от призыва в армию 30 сентября 1914 г. В 1901 г. на основе принятых 29 июля 1899 г. «Временных правил» студенты Киевского университета были лишены отсрочек от воинской повинности и отданы в солдаты, что вызвало волну студенческих беспорядков в разных городах России. Однако осенью 1914 г. в столице, наоборот, прошла серия патриотических манифестаций учащихся высших учебных заведений, которые если не с энтузиазмом, то с пониманием встретили отмену отсрочек от призыва. Вместе с тем, несмотря на манифестации и запись вольноопределяющимися, студенты России не забывали о традициях политической борьбы, тем более что в начале XX в. роль студентов в общественно-политической жизни росла вместе с их численностью.

Изучая массовые настроения российского студенчества, необходимо учитывать психовозрастные особенности этой группы: их восприятие действительности было романтизированным, в его основе лежал не столько личный опыт, сколько полученные из книг теоретические знания, в некоторых случаях несопоставимые с социально-политическими реалиями. Исследовательница Сьюзан Мориссі, обращая внимание на политический раскол между студентами-академистами и не-академистами, предлагает рассмотреть причины этого размежевания не с точки зрения идеологических разногласий, т.е. раскола «по горизонтали», а с точки зрения поколенческого конфликта по «вертикали»: между студентами старших курсов, которые являлись носителями традиций

[1] *Джунковский В.Ф.* Воспоминания. Т. 2. С. 565.

политической борьбы 1905–1907 гг., и младшекурсниками, в большей степени подверженными патриотической пропаганде, для которых чувство долга перед Родиной было важнее преданности идеалам революционного активизма[1]. Конечно, в действительности среди студентов разных курсов обнаруживались сторонники как «охранительного», так и «революционного» патриотизма. Вместе с тем данная позиция заставляет внимательнее отнестись к проблеме «зрелости» молодежи: помимо зрелости биологической, определяемой возрастом студента, необходимо учитывать зрелость эмоционально-психологическую. В ряде случаев не столько знания/незнания, сколько психологическая незрелость толкала молодежь в сторону правого или левого радикализма. Так студенты как политически и эмоционально активная группа становились важными акторами социально-политической истории.

Накануне войны численность студентов постоянно возрастала за счет открытия инженерных и сельскохозяйственных институтов, чему способствовало промышленное развитие и аграрные реформы, а также внутренняя, академическая специфика: временное закрытие в период Первой российской революции ряда высших учебных заведений с сохранением набора на первый курс привело к тому, что многие студенты не успели выпуститься в срок. В итоге численность студентов превысила установленные государством лимиты, и для увеличения пропускной способности были открыты новые учебные заведения, а в прежних университетах и институтах вместо курсовой системы обучения была введена предметная, согласно которой студенты сами выбирали индивидуальный учебный план, сроки сдачи экзаменов и не были обязаны посещать лекции. Как следствие — изменение среднего возраста студента в связи с растягиванием сроков обучения в новой предметной системе. Так, например, в Петербургском горном институте в 1914 г. студентов старше 26 лет было около 30%, в то время как в 1892 г. — всего 12%[2]. В период Первой мировой войны активно развивались неправительственные вузы, численность которых увеличилась на 40%, как правило, это происходило за счет открытия женских учебных заведений. Согласно данным А. Е. Иванова, с конца XIX в. по 1917 г. численность студентов в России постоянно возрастала: в 1897/98 учебном году в России было около 32 000 студентов, в 1907/08-м — более 83 000, в 1913/14-м — почти 121 000 и в 1917 г. — около 135 000. Правда, по количеству студентов на душу населения Россия отставала от европейских стран. Так, в 1908 г. в России на 100 000 человек населения приходилось 66 студентов, в то время как в Австрии — 102, а в Германии — 114. В 1917 г. данный показатель

[1] *Морисси С.* Между патриотизмом и радикализмом: петроградские студенты в годы Первой мировой войны // Россия и Первая мировая война (материалы международного научного коллоквиума). СПб., 1999. С. 291.

[2] *Иванов А. Е.* Студенчество России конца XIX — начала XX века. Социально-историческая судьба. М., 1999. С. 175.

в России увеличился до 88 студентов на 100 000 жителей[1]. Вместе с тем в связи с ростом численности студентов и увеличением срока обучения вкупе с необязательным посещением занятий российское студенчество превращалось в многочисленную и хорошо организованную маргинальную группу, принимавшую активное участие в политических событиях. Высокая концентрация студентов в крупных городах тем более способствовала активизации их роли в жизни общества.

Политическая роль студентов была хорошо известна с 1905–1907 гг. Именно в период революции не только произошло становление студенческой идентичности как политической силы, но и, наоборот, возникло оппозиционное движение внутри учащихся вузов, выступавших за деполитизацию студентов. Последние с 1908 г., при поддержке правительства в лице П. А. Столыпина, начали организовывать академические союзы и лиги, выступавшие за невмешательство студенчества в политическую жизнь страны. В действительности студенты-академисты не были так уж далеки от политики, так как, выступая против политических акций своих товарищей, нередко действовали под прикрытием правых монархических организаций. Так, С. Мориссил считает, что первая патриотическая демонстрация студентов накануне войны состоялась еще в марте 1913 г., когда около 500 человек прошли по Петербургу под лозунгами объединения славянства, отказались подчиниться требованиям полиции разойтись и пытались устроить митинг протеста у здания посольства Германии. Один из их лозунгов в те дни — «Долой жидовскую дипломатию!»[2]. В то же время их оппоненты нередко солидаризировались с оппозиционными партиями кадетов, эсеров и социал-демократов и являлись непримиримыми противниками любых ксенофобских проявлений. Противостояние двух групп студенчества стало особенно заметным в период 1914–1917 гг.

Студенты не оставались в стороне от набиравшего силу рабочего движения весной — летом 1914 г. В дни, когда питерские рабочие устраивали акции протеста против отравления работниц фабрики «Треугольник», студенты Императорского Санкт-Петербургского университета и Политехнического института устраивали летучие сходки. Первыми отреагировали студенты Политеха, собравшись 13 марта в 2 часа дня в вестибюле здания института в количестве 400 человек, однако по требованию администрации института сходка была прекращена[3]. 14 марта в главном коридоре Императорского университета состоялась летучая сходка студентов в количестве 300 человек, причем была объявлена резолюция о забастовке на один день в знак протеста против событий,

---

[1] Там же. С. 178.

[2] *Мориссил С.* Между патриотизмом и радикализмом: петроградские студенты в годы Первой мировой войны // Россия и Первая мировая война (материалы международного научного коллоквиума). СПб., 1999. С. 289.

[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 123. Д. 4. Ч. 3. Л. А. Л. 7 об.

имевших место на Ленских приисках в 1912 г. После сходки студенты с пением прошли по всему коридору, а затем пытались сорвать занятия, что, однако, не было допущено нарядом полиции[1]. В тот же день «Вечную память» пропели студенты Политехнического института. Увещевания директора ни к чему не привели, в результате чего он вызвал полицию, при появлении которой студенты пение прекратили и разошлись. 4 апреля на Невском проспекте появились группы студентов и рабочих, пытавшихся собраться вблизи Казанского собора с целью устроить демонстрацию в связи с годовщиной Ленского расстрела, но все они были рассеяны полицией[2].

Из сообщений начальников губернских жандармских управлений следует, что в некоторых случаях именно студенты руководили нелегальными рабочими собраниями[3]. Охранное отделение полагало, что студенты возглавляли рабочие кружки и вели революционную агитацию в среде последних[4]. Современники обращали внимание на «естественные» основы союза студентов и рабочих: часто между рабочими и студентками возникали романтические отношения.

Министерство внутренних дел было достаточно враждебно настроено к столичному студенчеству. Весной 1914 г. оно направило петербургскому градоначальнику сообщение, что учащиеся высших учебных заведений науками не занимаются, а сбивают с толку рабочих политической агитацией[5]. Охранное отделение высказывало беспокойство по поводу организуемого Студенческого съезда, отмечая, что среди членов его организационного комитета много тех, кто свою главную задачу видит в политическом воспитании студентов с целью «организовать кадры „борцов", объединить студенчество для выступлений»[6].

Война произвела на студенчество особое впечатление — как вследствие возрастных психологических особенностей, так и по причине высокой политической грамотности в сравнении с широкими слоями общества. Вместе с тем патриотический подъем в студенческой среде, о котором писали газеты, в некоторых случаях был понят неверно. За воодушевлением молодежи нередко скрывались оппозиционные настроения. С. Мориссы обращает внимание, что «выражая готовность выполнить свой гражданский долг в этот трудный час, они (студенты. — *В. А.*) надеялись, что наградой за единение во имя победы и отказ от внутренних политических разногласий послужит политическая оттепель»[7]. В некоторых случаях студенты и вовсе приветствовали войну как первый шаг

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 123. Д. 4. Ч. 3. Л. А. Л. 8 об.

[2] Там же. Л. 21.

[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 244. ДП-ОО. 1914. Д. 341л. Б 1. Л. 147 об.

[4] ГА РФ. Ф. 97. Оп. 1. Д. 51. Л. 48.

[5] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 123. Д. 61, ч. 5. л. А. Л. 151—5 об.

[6] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 123. Д. 61, ч. 9. л. А. Л. 343—4 об.

[7] *Мориссi С.* Между патриотизмом и радикализмом: петроградские студенты в годы Первой мировой войны // Россия и Первая мировая война (материалы международного научного коллоквиума). СПб., 1999. С. 291.

к революционным изменениям в России. Так, некий московский студент Владимир был воодушевлен тем, что война, по его мнению, должна привести к государственному перевороту и свержению самодержавного строя: «Настает великое время и великое дело, перед которым вся грандиозная война померкнет. Подготовляется государственный переворот, готовый все переменить и наладить по-новому. Зарождается новая жизнь и новое счастье. Грандиозно уже тем, что хотят провести дело без капли крови. Последний день войны будет первым днем русской революции. В интересное время мы живем и будем жить. На днях открываем свой „студенческий лазарет“»[1]. Примечательно здесь упоминание лазарета — революционные планы отнюдь не мешали молодым людям вносить свою лепту в дело благотворительности и тем самым косвенно поддерживать войну и политику власти в этом направлении. Некая Варя рассуждала в письме из Москвы о том, идти или нет в сестры милосердия при пацифистских настроениях: «Я ненавижу войну, но не думаю, как Леля, что идти в сестры на войну значит признавать ее»[2]. В данном случае мы сталкиваемся с очередным парадоксом патриотического сознания: антивоенные настроения при готовности послужить обществу (раненым воинам). Однако патриотизм мог включать в себя не только пацифистские взгляды, но и революционно-антимонархические. Так, петроградский студент в письме товарищу описывал прошедшую студенческую манифестацию и делал очень важные уточнения о природе студенческого патриотизма: «Говорилось много на тему „мы умрем“, но когда кто-нибудь произносил слово „государь“, — раздавались свистки и громкие голоса протеста. На тему „умрем“ один студент произнес речь, в которой сказал, что „мы идем на войну, повинуясь силе, но будем умирать не за настоящую Россию, а за Россию будущую“»[3]. Даже террорист Б. В. Савинков проникался патриотическими идеями и писал, что готов отдать жизнь за Россию, но для него война — это в первую очередь шанс «в борьбе обрести свободу свою». Таким образом, известный эсеровский лозунг приобретал патриотическую окраску[4]. К возрастным психологическим особенностям, составившим основу патриотизма в среде молодежи, также можно отнести любопытство и жажду новых впечатлений: «Я решил записаться санитаром, не из человеколюбия, а из двойного интереса; во-первых — интереса к войне, во-вторых, чтобы лучше разузнать „дух“ солдатский»[5]. Действительно, многие студенты, ушедшие на фронт вольноопределяющимися, вели дневниковые заметки, чем нередко раздражали начальство. Впоследствии подобные записи были опубликованы И. Зыряновым, Д. А. Фурмановым, бывшей медицинской сестрой С. Федорченко и др.

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 977. Л. 94.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 14.
[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 978. Л. 16.
[4] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 979. Л. 24.
[5] Там же. Л. 90.

Патриотические настроения студентов имели принципиальные отличия от настроений рабочих и крестьян. С одной стороны, студенчество в силу своей образованности понимало те геополитические задачи войны, о которых твердило правительство. С другой стороны, снобизм части учащихся высших учебных заведений, преимущественно академистов, доходил до презрения по отношению к крестьянам, не испытывавшим патриотического восторга. Вероятно, причина этого — в особенностях возрастной психологии и отсутствии жизненного опыта: плохо систематизированные знания без достаточной практики применения, незнание некоторых сторон жизни определенных категорий людей не способствовали выработке эмпатии, заставляли некоторых молодых людей свысока смотреть на необразованный народ, порой отказываясь видеть в нем людей. Вот как Арамилев описывал своего знакомого студента юридического факультета, пошедшего вольноопределяющимся: «Патриот. Крепко и убежденно ругает немцев. Пламенно любит французов. Читает в оригинале Бодлера, Мюссе, Гюго. Считает себя западником, передовым человеком… Показывая пальцем на всхлипывающих у воинского присутствия баб, он с жаром заговорил: — Какое жалкое создание эта русская баба!.. Я вот смотрю на них из окна каждый день и думаю: не ошибка ли природы? Зачем, для чего они живут на свете? Ходят по городу и канючат вместе с ребятами. Кого это трогает? Плачущая баба „заслуживает не больше внимания, чем босой гусь“»[1]. В данном случае можно предположить, что знакомый Арамилева — пример вышеупомянутой эмоционально-психологической незрелости, вследствие чего у него была слабо развита способность к эмпатии. Отношение таких студентов к действительности контрастировало с отношением к войне среди простого народа на эмоционально-чувственном уровне. В этом можно усмотреть столкновение двух эмоциональных режимов: сдержанного, предписанного более или менее усвоенной мировой культурой, приводящего к снобистскому отношению к представителям другого — свободного, предполагавшего открытую демонстрацию чувств и эмоций, порой в гипертрофированной, «ненормальной» с точки зрения первого режима, форме. Как уже было отмечено, плачущая женщина — мать, жена, сестра — стала одним из символов мобилизации. Некоторые молодые люди не желали замечать эту подлинную сторону войны, подменяя в своих высказываниях окружающие эмоции горя патриотическим восторгом.

Нельзя не назвать и ту группу студентов, на которых начало войны не произвело особых впечатлений в силу их увлеченности научными вопросами, тайнами бытия. Так, семнадцатилетний Лев Британишский, учащийся рисовальной школы Общества поощрения художников, считал войну чепухой и в дневнике впервые упомянул о ней лишь в записи от 12 сентября 1914 г.

---

[1] *Арамилев В. В.* В дыму войны… С. 8.

в связи с тем, что у него из-за войны «рухнула стипендия»[1]. Впрочем, другая, куда сильнее войны волновавшая Британишского проблема — отсутствие у него барышни.

Важно, что выделенные две условные группы эмоционально и психологически «зрелых» и «незрелых» студентов никак не коррелировали с их политической классификацией. Вероятно, молодость и склонность к активности перевешивали политическую сознательность, в силу чего и «охранители-академисты», и «революционеры» нередко опускались до банального хулиганства — били стекла торговых заведений, забрасывали камнями полицию, когда та пыталась предотвратить погром. Как уже упоминалось, в петербургском погроме 22 июля участвовали и представители студенчества, вполне вероятно — представители обеих политических групп. «Русский инвалид» отмечал, что произошедший в тот день разгром издательства газеты Zeitung был исключительно делом рук молодежи[2]. Вместе с тем отдельная патриотическая манифестация студентов, в которой происходила их политическая самоидентификация, состоялась несколько позднее общегородских манифестаций, так как оказалась реакцией на отмену отсрочек от призыва.

Положение Совета министров от 30 сентября 1914 г., отменявшее отсрочки от призыва в армию, было встречено российскими студентами с большим энтузиазмом. Как сказано выше, «Временные правила об отбывании воинской повинности воспитанниками учебных заведений, удаляемыми из сих заведений за учинение скопом беспорядков», принятые в июле 1899 г., привели к массовому протестному студенческому движению, вылившемуся в бунт студентов Харькова, Москвы и Петрограда в феврале 1901 г. Генерал А.И. Спиридович отводил им видное место в политической истории начала века: «Студенческие беспорядки 1899–1901 гг. послужили началом того общественного движения, которое, нарастая затем постепенно, захватывало все новые и новые слои населения, слилось с революционными и вылилось в первую, 1905 г., революцию, принесшую России хотя и несовершенную, но все-таки конституцию»[3]. Отмена отсрочек в сентябре 1914 г., наоборот, приводила в восторг новоиспеченных патриотов.

Вероятно, объединяющей платформой для разных политических групп студентов становилась распространяемая пропагандой в обществе германофобия, которой волей-неволей поддавались молодые умы. Ксенофобские акции проходили в стенах учебных заведений. «Вечернее время» осветило «патриотическую манифестацию в университете» 3 октября 1914 г., которая, по существу, являлась хулиганской выходкой ксенофобски настроенных студентов

[1] *Британишский Л.Р.* Дневник 1913–1915 / Публ., вступ. заметка и примеч. Владимира Британишского. СПб., 2014. С. 93.

[2] Русский инвалид. 1914. 24 июля.

[3] *Спиридович А.И.* Записки жандарма. Харьков, 1928. С. 82.

по отношению к профессору римского права Карлу Фридриховичу фон Зеллеру, русскому подданному. Зеллер, как и многие отдыхавшие в Европе русские, после начала войны был задержан немцами, а когда вернулся в Петроград, то в первый же день чтения лекций в Императорском петербургском университете услышал в свой адрес выкрики студентов «Вон немцев», «Долой пруссаков», «Вам здесь не место»[1]. Занятия были сорваны, а об инциденте доложили министру народного просвещения Л.А. Кассо. Зеллера обвинили в том, что он симпатизирует немцам (назвал их «добродушной нацией») и плохо говорит по-русски. Был поставлен вопрос о дальнейшей судьбе этнических немцев в Императорском университете.

8 октября в утренних выпусках газет появился текст положения Совета министров об отмене отсрочек. Явившиеся в учебные заведения студенты устроили митинги и приняли решение не приступать к занятиям и идти на демонстрацию. Студентов университета поддержал ректор Э.Д. Гримм, произнесший перед ними патриотическую речь, закончившуюся пением гимна и «Спаси, Господи». После этого студенты большой толпой вышли из университета и с пением песен и национальными флагами в руках направились по Дворцовому мосту через Сенатскую площадь к Зимнему дворцу. К ним присоединились студенты Политехнического института, Лесного, курсистки петроградских женских курсов. На Дворцовой площади толпа студентов при пении «Спаси, Господи, люди твоя» «как один человек пала на колени». Газеты в красках описывали студенческую манифестацию 17–20 июля: «Сегодня Петроград пережил высокие дни патриотического подъема, такие же, как и в дни предъявления ультиматума Германии нашему правительству. Сцены, свидетелями которых были все петроградцы, рисовали изумительный народный подъем. Многие плакали от умиления, видя огромную студенческую массу, которая с национальными флагами, при пении «Боже, Царя храни» и «Спаси, Господи», двинулась по главным улицам столицы. Сцены эти неповторимы и свидетельствуют о силе и глубине народного чувства, охватившего всю Россию»[2]. Отдельные группы студентов ходили по улицам столицы весь день, при этом газеты специально отмечали, что «порядок царил безукоризненный». Студенческая манифестация в Петрограде прошла и на следующий день. 9 октября студенческие манифестации прошли в Москве, Одессе и других городах. В Петрограде и Москве из-за скопления студентов временно было прекращено трамвайное движение.

Вместе с тем московские манифестации отличались большей агрессивностью. Патриотизм, основанный на ненависти к врагу, давал о себе знать. Первоначально толпы студентов, как и в столице, ходили с флагами, портретами

---

[1] Вечернее время. 1914. 3 октября.

[2] Вечернее время. 1914. 8 октября.

императора и пели песни. На Тверской опустились на колени перед памятником М. Д. Скобелеву, в Кремле опустились на колени перед памятником Царю-Освободителю. Однако двигаясь по Петровке, студенты остановились перед немецким магазином готового платья «Мандль» и потребовали немедленного его закрытия, что перепуганные служащие тут же исполнили, также по требованию студентов-патриотов был закрыт магазин «Эйнем». В последнем произошла стычка с двумя дамами, протестовавшими против закрытия магазина, что потребовало вмешательства полиции. Однако на следующий день, 10 октября, в Москве начался настоящий немецкий погром, в котором участвовали как студенты, «союзники», так и уличная шпана. В этот день на улицах Москвы встретились потоки представителей разных социальных групп, вдохновленных известиями о победах на фронте и решивших подкрепить успех войск успехами внутренней борьбы с немецким засильем. В газетах сообщалось, что главными инициаторами разгрома немецких магазинов были рабочие. Первой пострадала немецкая фирма «Эйнем» в Верхних торговых рядах. Уже в полдень рабочие сорвали с нее вывеску и потребовали закрытия магазина. Нарядом полиции толпа была рассеяна, но к трем часам пополудни собралась вновь, более многочисленная. Невзирая на слабые попытки полиции не допустить погрома, разбила окна, ворвалась внутрь магазина и уничтожила весь товар — варенье, конфеты, шоколад, пирожные и пр. Кроме того, пострадали магазины «Дрезден» на Мясницкой улице, «Мандль» на Софийке и Неглинном проезде, «Гаррах», «Циммерман» и «Фирман» на Кузнецком мосту, «Братья Боген» на Неглинном проезде[1]. Из-за погромов в отдельных частях города было прекращено трамвайное движение. Однако из частной корреспонденции мы узнаем дополнительные подробности немецкого погрома 10 октября в Москве. Во-первых, свидетели отмечают весьма активную роль студентов, называя именно их, а не рабочих, зачинщиками беспорядков. Во-вторых, помимо немецких фирм, громились и магазины других иностранных держав, в том числе и французские. Свидетель погрома В. Мошков писал из Москвы 14 октября 1914 г.: «Ужасно обидно, что Москва осрамилась: горсть каких-то мерзавцев разгромила магазины „немецких подданных“ — не забыв, конечно, и свои карманы. В числе „немецких“ магазинов попали и Кутюрье, Сий и Лоок, Кузнецов, Бландов, Сущевский завод и др., не говоря о множестве немцев — русскоподданных»[2]. Другому свидетелю погромов они напомнили революционные беспорядки 1905 г. Он счел их не патриотическими порывами, а прежде всего проявлением хулиганских инстинктов: «Последние дни самое мрачное настроение вследствие ужасных погромов немецких фирм: буквально вся Москва разгромлена и магазины заколочены досками. Хулиганы

[1] Московский листок. 1915. 11 октября.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 997. Л. 1621.

буйствовали два дня и жутко было смотреть на попустительство начальства. Это так живо напомнило погромы 1905 г., и так больно задело за живое»[1]. Менее масштабные погромы немецких фирм повторились в Москве 24 ноября, и вновь не без участия студентов, которые 10-го отмечали «толстовский день», а 23 ноября вышли на улицы с акцией протеста против ареста депутатов от социал-демократической фракции Думы.

25 октября 1914 г. в Петрограде студенты Института инженеров путей сообщения устроили массовую манифестацию по поводу взятия союзниками-японцами порта Циндао[2]. Петроградский студент писал в Москву в ноябре 1914 г.: «В нашем студенчестве подъем такой же, как и в других слоях, только без „казенного патриотизма“ и без „Б. Ц. х“ (Боже, Царя храни. — *В. А.*). Мы отчисляем из наших скудных средств деньги на раненых, а также посильным трудом стараемся дать хоть что-нибудь родине»[3]. Конечно, подобные обобщения являются крайне условными и неточными. Значительная часть студентов-академистов пела «Боже, Царя храни» и вместе с толпой на Дворцовой площади опускалась на колени. Из письма от 15 октября 1914 г. из Петрограда в Москву: «Только что узнал подробности о Московских безобразиях, творившихся в день опубликования высочайшего указа об отмене отсрочек. А мы, брат, не лучше, а возможно и хуже: наши лазали на коленях перед пустым Зимним дворцом. Это уже скандал…»[4]

Часть студентов не скрывала своего участия в первом московском немецком погроме, причем оправдывала это как чувством священного долга, так и различными случайностями. Например, разбитую витрину магазина Манделя объясняли тем, что в толпе «у кого-то случайно, во время бега, снялась галоша и полетела в витрину магазина»[5]. Желание оправдать очевидные, сознательные акты вандализма студентов приводили к созданию не менее наивных картин. Московский студент, отвечая на письмо петроградского знакомого, в котором последний осуждал московские беспорядки, оправдывал поведение своих товарищей следующей, по его мнению убедительной, историей: «Стоит Сережа перед еще целой вазой в магазине Эйнема, глаза горят, видно, что хочется ему чем-нибудь выразить свою ненависть к враждебной нации. К сожалению, под руками нет ни одного твердого предмета; но вот к Сереже подходит мальчик, в шапке у него камни. „Барин, купите — маленькие по пятаку, большие по гривеннику“. — „Дай-ка десяточек побольше“, — говорит Сережа и дает мальчишке целковый. „Ваше благородие, посторонитесь, не ровен час, — зашибем“, кричит он подошедшему было полицейскому. Городовой отходит и самая красивая

1 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 997. Л. 1616.
2 Петроградский листок. 1914. 26 октября.
3 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 978. Л. 99 об.
4 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 997. Л. 1630.
5 Там же. Л. 1673.

из ваз разлетается вдребезги. „Я этому в Берлине выучился", — самодовольно говорит Сережа»[1].

Из писем студентов узнаем, что среди них было достаточно много сторонников социалистической идеологии, осуждавших развязывание войны, в чем они вслед за социал-демократами обвиняли царское правительство. 14 октября 1914 г. студент писал из Петрограда: «У нас разделилось студенчество на две партии: одна требует амнистии и против войны, другая против них идет. Вчера такие горячие споры были, просто ужас... А в Университете, я слыхал, будто еще более резко разделено студенчество. Что-то будет!»[2] Часть студенчества, которой по жеребьевке не пришлось идти в армию, стремилась попасть на фронт по идейным соображениям: увлеченные социалистическими идеями, они желали быть поближе к народу, особенно к «человеку с ружьем», чтобы изучить настроения масс.

Хотя отмена отсрочек была встречена российским студенчеством в целом с пониманием, она содержала в себе положение, которое провоцировало новый виток конфликта между студенчеством и властью: в то время как русских православных студентов, католиков и лютеран, мусульман принимали в военные училища, где они могли получить офицерский чин, студенты-евреи, даже православного вероисповедания, вынуждены были идти на фронт обычными рядовыми. Еврейский вопрос достаточно остро стоял среди образованной части российского общества, оставаясь принципиальным в его взаимоотношениях с властью.

При этом студенты-евреи в своей массе хоть и с обидой, но спокойно встретили свою новую перспективу. Московский студент Коля писал знакомому 10 октября 1914 г.: «Вряд ли на мою долю выпадет работать над моим изобретением дальше. Слухи о привлечении студентов к отбыванию воинской повинности оправдались раньше, чем можно было ожидать. Я не печалюсь по поводу предстоящего призыва. Одно обидно, я, как „лицо, не имеющее права по существующим законоположениям быть офицером", пойду солдатом. Само по себе это было бы ничего, но получать оскорбления перед тем, как ты идешь рисковать жизнью, — это неприятно. Впрочем, надо быть выше этого»[3].

Практически подавляющее большинство студентов не-академистов поддерживало товарищей-евреев. Определенная часть академистов, стоявшая на монархических позициях, наоборот, именно студентов-евреев обвиняла во всех студенческих акциях политического протеста. В своей корреспонденции они предпочитали делить студенчество не на «академистов» и «неакадемистов», а на «русских» и «жидов». Харьковский студент писал своему товарищу Беляеву в Киев 19 октября 1914 г.: «Харьковские студенты в массе,

---

[1] Там же.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 978. Л. 46.
[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 996. Л. 1584.

несмотря на жидовское растлевающее влияние, оказались вполне русскими людьми, горячо любящими свою родину… После патриотической манифестации студентов жиды явились в Университет и давай подстрекать, как мы должны „реагировать“ на участников манифестации… Состоялась сходка, на которой поносились патриотизм и правительство, требовали прекращение войны… и даже оскорблен был Государь. Вот как бесчинствовала жидовская революционная шайка»[1].

Фактически слово «жид» в студенческой риторике теряло свое первоначальное этническое содержание и наполнялось политическим смыслом. Антисемитизм студентов-академистов подпитывался и соответственными высказываниями профессорского состава. Примечательно, что среди них были немцы, которых германофобия не излечила от юдофобии. Так, выраженно антисемитскую позицию занимал директор Киевского бактериологического института В.К. Линдеман, возглавлявший комиссию по противохимической защите в годы войны. В январе 1915 г. он писал в Москву: «Последовала уже отмена циркуляра Кассо о государственных экзаменах и получен новый, дающий полную возможность расширения черты оседлости. Бороться с этим я, естественно, не могу, и приходится своими руками пускать в свой научный храм стадо свиней»[2].

Одиозный министр просвещения Л.А. Кассо, поспособствовавший в 1911 г. уходу из Московского университета 130 сотрудников, выразивших протест действиям полиции при подавлении студенческих беспорядков, а в 1912 г. — увольнению всех слушательниц женского медицинского института за «политическую неблагонадежность», проводил политику ограничения автономий университетов, закрывал студенческие союзы, за исключением организаций «академистов», вводил в высших учебных заведениях усиленный контроль за студентами. В частности, это проявилось в закреплении студентов за определенными факультетами, что для многих студентов, привыкших к «предметной» системе, позволявшей посещать любые лекции, было неудобно. Кроме того, посещение лекции предусматривало получение «входного билета» в канцелярии факультетов; получив такой пропуск, студент должен был предъявлять его при входе в университет и при переходах из одного корпуса в другой, а также при входе в аудиторию. Для функционирования этой системы приходилось нанимать специальный персонал. Студент Московского университета жаловался по этому поводу члену Государственной думы, кадету А.И. Шингареву в марте 1916 г.: «У каждых ворот входа в Университет стоят двое проверяющих билеты и для большей помпезности стоит дворник с револьвером; таких ворот три в старом здании и одни в новом; но в новом здании на каждом факультете стоят

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 997. Л. 1657.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1012. Л. 253.

эти неумолимые „церберы" и требуют билеты. Кроме того, в каждой аудитории Университета существуют еще другие, которые наблюдают за поведением и разговорами студентов; они одеты в костюмы швейцаров, но считают себя более высокой породой людей; эти господа неизменно ходят, заложа руки за спину и незаметно интересуются каждой беседой, происходящей между двумя студентами, не говоря уже о большом количестве собеседующих, тогда прямо вызывается экзекутор… Не найдете ли возможным в беседе с министром народного просвещения коснуться этого вопроса?»[1]

За это Кассо пользовался дурной славой среди либеральной профессуры и студентов не-академистов. Когда началась Первая мировая война, в печати появились сообщения, что Кассо, застигнутый событиями в Берлине, был избит на вокзале немецкой полицией. Однако столичное студенчество упорно повторяло слух, что избит он был не немцами, а в одном случае — узнавшими в нем ненавистного министра-реакционера русскими эмигрантами, в другом же случае — ехавшими с ним в одном вагоне русскими попутчиками[2]. В ноябре 1914 г. Кассо умер, два месяца его место занимал ближайший помощник барон М. А. фон Таубе, пока в январе 1915 г. его не сменили, в том числе и из-за начавшейся в стране германофобии, либерально настроенным П. Н. Игнатьевым. Последнего невзлюбили уже академисты, прозвав «жидовским министром» по причине предложенной им реформы образования, предусматривавшей демократизацию средней школы, в частности создание при гимназиях общественных комитетов. При Игнатьеве возрождались многие из закрытых студенческих союзов, открывались новые высшие учебные заведения.

Студенты не прекращали проводить акции протеста против ущемления прав товарищей-евреев вплоть до начала второй российской революции. В марте 1916 г. в Московском университете состоялась летучая сходка студентов, выразивших протест по поводу призыва студентов-евреев в действующую армию простыми рядовыми без права поступления в военные училища и школы прапорщиков. Сообщалось, что при выходе из университета студенты собирались в группы и пели революционные песни, по поводу чего был вызван наряд полиции, разогнавший молодежь[3]. Антисемитствующий обыватель писал из Киева 12 декабря 1916 г.: «На этих днях у нас произошел в высшей степени грустный инцидент, свидетельствующий о глубоком упадке нашей русской интеллигенции. Произошли студенческие беспорядки. И знаешь на какой почве? Представь себе, студенты, готовящиеся в школе прапорщиков, заявили, что они не желают посещать школу, если евреям не дадут равноправия…»[4]

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1044. Л. 60.

[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 978. Л. 48 об.

[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 246. ДП-ОО. 1916. Д. 59. Л. 17.

[4] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1066. Л. 1652.

Таким образом, патриотические настроения части студенчества не были тождественны верноподданническим чувствам. Студенческому расколу и полевению способствовала политика властей относительно представителей оппозиции. Так, например, сильный резонанс в студенческой среде вызвало «дело Бурцева». В.Л. Бурцев приобрел широкую известность в 1908–1909 гг. благодаря сенсационным разоблачениям тайных агентов Охранного отделения Департамента полиции в боевой организации эсеров, ЦК РСДРП, революционных организациях российской эмиграции: Е.Ф. Азефа, Р.В. Малиновского, З.Ф. Гернгросс-Жученко, А.М. Гартинга, А.Е. Серебряковой и др. С началом Первой мировой войны Бурцев, находившийся в политической эмиграции, занял «оборонческую» позицию, заявил о поддержке российского правительства и в августе вернулся в Россию, где был тут же арестован. Студенты, возмутившиеся тем, как власти поступили с оппозиционером, протянувшим им руку, включали в прокламации требование немедленного освобождения В.Л. Бурцева[1].

Еще больший раскол произошел в студенческой среде в ноябре 1914 г., когда правительство обвинило пятерых депутатов Государственной думы, представителей социал-демократической фракции, в антигосударственном заговоре. Они были лишены депутатской неприкосновенности, арестованы и в начале 1915 г. приговорены к ссылке на поселение в Туруханский край. Во время студенческих сходок требования всеобщей амнистии перемешивались с антицарскими лозунгами. Иногда студенты настолько распалялись, что пускали в ход кулаки. Так, в ноябре состоялась манифестация, а затем политическая сходка студентов Харьковского университета, на которой выступали как с революционными, так и с патриотическими речами. Студенты не-академисты заметили, что член Союза русского народа студент Белый записывал в блокнот все, что говорили его оппоненты. Председатель сходки потребовал от Белого огласить свои записи, тот отказался, тогда студенты принялись его бить. Правда, блокнот так и не был отобран и в результате на следующий день два наиболее одиозных оратора были арестованы[2]. В архиве имеется письмо того самого Белого с его версией произошедшего: он отрицал свою связь с полицией, а сделанные заметки объяснял сбором материала для издания брошюры, разоблачавшей антипатриотическую позицию студентов-евреев[3].

Ноябрь был месяцем традиционного брожения студенческой среды, так как 7 и 10 ноября студенты отмечали день смерти и день похорон Л.Н. Толстого, что имело политическую окраску. В эти дни студенты, как правило, пропускали лекции, устраивали массовые шествия, пели «Вечную память», а также революционные песни, что приводило к столкновениям с полицией. В период Первой мировой войны «толстовские дни» активно отмечались в 1914 и 1915 гг.

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 997. Л. 1630.

[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 979. Л. 3.

[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 997. Л. 1657 об.

Киевский студент писал в декабре 1914 г.: «В Институте и вообще во всех высших учебных заведениях Киева и всей России спокойно. Только в юбилей Толстого в Коммерческом институте и на высших Медицинских курсах были небольшие волнения. Медичкам Совет курсов дал выговор, а нас Директор только просил не предпринимать ничего, указывая на военное положение Киева. Причина волнений — смертные казни военного времени. Я впервые был свидетелем студенческого брожения и приходится отметить, что студенты действуют серьезно и чересчур смело… Я решил, согласно твоим просьбам и советам не предпринимать в беспорядках активного участия»[1].

10 ноября 1914 г. в Петрограде проходили массовые акции студентов, сопровождавшиеся пением «Рабочей Марсельезы», «Варшавянки», собирались пожертвования в пользу политических ссыльных, распространялись карточки с портретами революционных деятелей, в частности «бабушки русской революции» (Е. К. Брешко-Брешковской), картинки ленского расстрела рабочих[2]. 7 ноября 1915 г. в ряде крупнейших университетов России в Петрограде, Москве, Юрьеве были сорваны занятия по причине неявки студентов[3]. Другим днем студенческих акций был «Татьянин день» — день основания Московского университета, который студенты отмечали 12 января в качестве своего «профессионального» праздника. Студент Владимир писал из Москвы в январе 1915 г.: «12 января была назначена студенческая вечеринка в университетской столовой „Трезвая Татьяна“… Пели песни. Потом читали рефераты врачи и кое-кто из профессоров университета. Часов около 12 все собрание, человек 300–400, двинулось по улицам Москвы с пением, представь себе, русской революционной марсельезы и „Вихри враждебные веют над нами“. Пошли к памятнику Пушкина, пропели вечную память ему и Толстому, а заодно и градоначальнику Адрианову и с криками „долой Адрианова“ двинулись по Тверскому бульвару. Часов до 4–5 ночи шествие продолжалось все возрастая и возрастая, так как все, кто попадались навстречу, должны были присоединяться к нему. Произносились очень и очень горячие революционные речи, покрываемые ураганами аплодисментов и пением все новых и новых революционных песен… И представь себе, полиция, бывшая при этом, даже намека не делала, что она что-нибудь видит и слышит»[4].

Опасным сигналом для властей была начавшаяся консолидация студентов и рабочих. Если участие тех и других в беспорядках октября 1914 г. в Москве, закончившихся немецким погромом, можно считать стихийным, то с осени 1915 г. устраиваются организованные совместные акции протеста. Часто это происходило благодаря родственным связям: курсистки — жены рабочих поддерживали

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 980. Л. 21.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 979. Л. 16.
[3] РГИА. Ф. 733. Оп. 201. Д. 509. Л. 29, 30.
[4] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1003. Л. 74.

мужей, призывая сокурсниц и студентов присоединяться к рабочим манифестациям. В письме из Петрограда за подписью «Лена» от 5 марта 1916 г. читаем: «Вчера мы, а сегодня и все другие высшие учебные заведения бастуют. Стоит Путиловский завод и много других. Дело очень сложное. Не знаю, чему верить, чему нет, но наша делегатка — курсистка, жена рабочего, и многие другие освещали дело так: на Путиловском заводе, не говоря уже о материальном положении, были недовольны тем, что там полно немцев-инженеров; что за малейшую провинность отправляют на позиции без оружия в руках, а на место хороших, нужных мастеров ставят лакеев графа и поваров князя и пр. Тогда рабочие вывезли на мусорных тачках нескольких инженеров и главных мастеров, одного даже убили камнем. Их схватили, расстреляли человек 20 и теперь идут аресты, а завод делают казенным, причем все рабочие будут туда приходить через воинского начальника. Словом, они будут на положении солдат»[1].

Вероятно, самой трагичной совместной акцией студентов и рабочих стали московские манифестации сентября 1915 г., вызванные целым рядом факторов: досрочным роспуском четвертой сессии Государственной думы IV созыва 3 сентября 1915 г., неудачами на фронте (потеря в конце августа — начале сентября Польши и Виленской губернии), призывом рабочих в армию, усугублением продовольственного вопроса и топливного кризиса. В начале сентября в Москве прошла трамвайная забастовка, 10 сентября начались забастовки рабочих-призывников, которые срывали свою злость на городовых и околоточных, били стекла в казармах. Однако всеобщий бунт начался с инцидента, случившегося 14 сентября в 6 часов вечера на Страстной площади. В трамвае разбуянился подвыпивший раненый солдат, и кондуктор попросил постового городового вывести его из вагона. Городовой вывел солдата, но тот не унимался и между ними произошла потасовка, во время которой городовой оторвал солдату рукав и орден Св. Георгия. Собравшейся к тому времени толпе это показалось достаточным поводом для того, чтобы выплеснуть на городового накопившуюся ненависть к полицейским. Два других городовых с трудом отбили у толпы своего избитого товарища, но всем троим пришлось отступить и укрыться в трамвайной станции, которую толпа взяла в осаду. Людей пытался успокоить наряд конных городовых, но когда это не удалось, был вызван эскадрон жандармов, открывший стрельбу. В результате более 10 человек были убиты, несколько десятков ранены. Среди пострадавших были представители разных сословий и профессий, в том числе и студенты. Однако последние восприняли убийство нескольких студентов именно как провокацию против них, и студенты Московского университета, Женских высших курсов и других заведений объявили трехдневную забастовку. В учебных заведениях распространялись следующие прокламации:

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1044. Л. 46.

Товарищи студенты.

Глубоко возмущенные неоднократными дикими расправами наших товарищей, мы не можем больше переносить возмутительных выходок обнаглевшего правительства, потерявшего всякое понимание серьезности момента, привыкшего обагрять руки кровью невинных и достигшего апогея наглости расстрелом безвинной толпы 14 сентября. Кровь жертв призывает Вас к единодушному протесту в знак чего объявляем забастовку до 21-го[1].

Товарищи.

14 сентября погиб наш товарищ студент-юрист Н.С. Лашкевич, убитый полицией во время расстрела ею беззащитной толпы на Страстной площади. 16 сентября Студенчество вынесло свою резолюцию протеста по этому кошмарному делу и теперь призывает товарищей не забыть исполнить свой долг перед невинной жертвой правительственной провокации: возложить на его гроб венок и почтить его память своим присутствием на похоронах[2].

К весне 1916 г. «патриотизм» российских студентов заметно иссяк. В Московском университете в марте 1916 г. пришлось проводить жеребьевку для отправки на фронт лишенных отсрочек студентов, так как на весь вуз нашлось только 17 добровольцев[3]. 13 апреля в Харькове произошла массовая манифестация студентов первого и второго курсов, призванных для отбывания воинской повинности. Толпа студентов двинулась по главным улицам города с пением «Рабочей Марсельезы» и с плакатами «Долой полицию!», «Долой жандармов!», «Требуем для товарищей-евреев прав поступать прапорщиками в ряды армии!». Конные городовые пытались нагайками разогнать студентов, но манифестации продолжались до позднего вечера[4]. Серьезные студенческие беспорядки повторились в Харькове осенью 1916 г. К этому времени еще явственнее обозначилось противостояние студентов с полицией. Здесь к известному политическому фактору добавилось и то, что призываемых в армию студентов возмущало освобождение полиции от мобилизации. Рабочие, которым в случае участия в забастовках грозил расчет и отправка на фронт, консолидировались со студентами и устраивали совместные акции протеста. Студент писал 11 октября 1916 г.: «У нас здесь ужас что делается. Происходят большие митинги. Призывают студентов 1-го курса. Вот уже третий день идет забастовка во всех высших учебных заведениях. Дня 3–4 тому назад были большие манифестации, чтобы забирали полицию в войска. Полиция разгоняла нагайками. Побоище было сильное. Много избитых стражников, одного

[1] РГИА. Ф. 733. Оп. 201. Д. 509. Л. 22.
[2] Там же. Л. 24.
[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1044. Л. 61.
[4] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1045. Л. 16.

чуть не убили… На днях готовится новое выступление студентов и курсисток с рабочими»[1].

Студенческие беспорядки в Харькове проходили с 6 по 17 октября и, возможно, продлились бы дольше, если бы «слабым звеном» не оказались харьковские курсистки. Следует отметить, что в отличие от крестьянок или работниц, чьи акции протеста по жестокости нередко превосходили мужские, курсистки в своей массе заметно уступали в революционном энтузиазме товарищам-юношам. Это объяснялось рядом объективных факторов, например более ущемленным по сравнению со студентами-юношами правовым положением слушательниц: в памяти было свежо исключение из женского медицинского института всех слушательниц за «неблагонадежность». Внутривузовская политическая деятельность курсисток, как правило, велась тайно: в уборных разбрасывали прокламации или, когда желали сорвать лекцию, часто рассыпали в аудиториях нюхательный табак. Так поступили слушательницы Петроградских женских курсов 11 февраля 1915 г., когда решили сорвать занятия в знак протеста против суда над членами думской социал-демократической фракции. Правда, акция не удалась, так как по соседству оказалась пустая аудитория, куда и была перенесена лекция[2]. Для сравнения скажем, что студенты-юноши открыто организовывали митинги-летучки прямо в коридорах между занятиями, врывались в аудитории, где шли лекции, пытаясь снять с них своих студентов-товарищей, могли бросить в лицо реакционно настроенному профессору мокрую тряпку. Принципиальную позицию по недопущению курсисток Харьковских высших женских курсов к студенческим манифестациям заняла администрация учебного заведения, пошедшая на некоторую хитрость: 7 октября, зная, что курсисток попытаются «отбить» студенты, руководство курсов закрыло двери здания и заблаговременно предупредило полицию. Когда около 13 часов к главным воротам явились студенты и обнаружили их запертыми, они отправились к черному ходу, у которого их перехватили конные стражники. Все это время курсистки смотрели из окон аудитории на своих товарищей; когда же они увидели, как студентов теснят конники, да еще услышали звуки выстрелов, то, как написал попечитель Харьковского учебного округа в донесении министру просвещения, «произошла форменная паника, раздались крики „избивают“, „стреляют“ и некоторые слушательницы упали в обморок»[3]. Хотя администрации удалось не допустить слушательниц до участия в манифестациях, из-за всеобщей их взволнованности занятия были отменены и девушки разошлись по домам. Вплоть до 17 февраля занятия на курсах проходили с перебоями.

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1046. Л. 93.

[2] РГИА. Ф. 733. Оп. 201. Д. 509. Л. 9.

[3] Там же. Л. 38.

Тем не менее, хотя в своей массе курсистки представляли менее агрессивную и деятельную среду, чем студенты, современники обращали внимание на появившийся новый типаж студентки: эмансипированной, уверенной в себе, нередко фанатично преданной революционному делу девушки. Многие из них умели со вкусом одеваться, превосходно владели искусством спора, последовательно отстаивая свои тезисы. В Петрограде в модных кафе, ресторанах вокруг них формировались группы преданных поклонников-студентов. М. Палеолог наблюдал одну из таких групп на Васильевском острове: «Наблюдать за студентками, которых здесь достаточно много, не менее поучительная задача. Я обратил внимание на одну, выходившую из кафе в сопровождении четырех молодых людей: они остановились на тротуаре у выхода из кафе, продолжая начатый спор. Высокого роста, очаровательная девушка с живым и твердым взглядом глаз, блестевших из-под каракулевой шапочки, она говорила авторитетным тоном, не допускавшим возражений. Вскоре из трактира вышли еще два студента, которые присоединились к группе, окружавшей девушку. Здесь перед моими глазами предстал, возможно, один из самых самобытных типов русской женственности: миссионерка революционной веры… Как объяснить ту притягательную силу, которую революционная деятельность имеет для русских женщин? Очевидно, что они находят в ней нечто такое, что удовлетворяет сильнейшие инстинкты их души и темперамента — их потребность в возбудительных стимулах, их сострадание к невзгодам простых людей, их склонность к самопожертвованию и лишениям, их обожествление героизма и пренебрежение к опасности, жажда сильных эмоций, стремление к независимости, вкус к таинственности, приключениям и к волнующему, экстравагантному и мятежному существованию»[1]. Очевидно, что война стала вдохновляющим фактором для молодых эмансипированных курсисток, пытавшихся в тылу заменить ушедших на фронт политически активных студентов.

В 1916 г. политический протест российского студенчества еще более возрастает. Как педагоги, так и сами учащиеся отмечали, что заниматься становилось крайне тяжело по психологическим причинам, вызванным внутренними социально-политическими и экономическими событиями. Студент Боря писал из Москвы в Саратов 12 ноября 1916 г.: «До последних дней почти все время проводил за учебниками, готовясь к декабрьским экзаменам. Хотя я не бросаю это делать и теперь, но, вследствие общей политической атмосферы последних дней, которая особенно сильно чувствуется здесь в Москве и проявляется положительно везде, где только встречаются несколько человек и начинают о чем-то говорить, выдерживать „учебный дух“ стало чрезвычайно трудно. И в частных кружках, и в организациях только и разговоров, что о думских речах, которые разошлись по всей Москве и дальше,

[1] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 235–237.

и построение выводов на них… По слухам, в Саратове настроение в общем такое же, как и здесь»[1].

Показательно, что именно студенты в ноябре 1916 г. печатали и распространяли поддельную речь П. Н. Милюкова, в которой содержались прямые обвинения царской фамилии в государственной измене. В конце 1916 г. происходило объединение студенческих организаций под революционными лозунгами. В Москве «коллектив представителей ста студенческих организаций» в начале декабря распространял прокламацию, в которой заявлял, что российское правительство ведет войну против собственного народа, и призывал студенчество возглавить революционное движение «малосознательных масс»[2].

Таким образом, российское студенчество, готовое поддержать правительство летом — осенью 1914 г., вернулось к прежней революционной риторике. Причиной этого послужили антидемократические действия властей: арест депутатов думы, роспуски думы, запрет призванным евреям-студентам поступать в военные училища. Кроме того, связь студентов с рабочими организациями, возмущение освобожденными от призыва полицейскими также способствовали революционизации российского студенчества. Изучение истории вовлечения молодежи в революционную деятельность показывает значимость морально-этических факторов, когда политический протест начинается с осознания несправедливости политической системы. Исследователи отмечают, что часто личностная мотивация революционной борьбы превалировала над идейно-политической[3]. В некоторых случаях подпольная работа и вовсе приобретала форму семейного подряда, когда младшие братья «наследовали» деятельность старших (примером чего могут служить семьи Ульяновых, Савинковых, Цедербаумов и др.). Все это наполняло студенческое движение высокой степени экспрессивностью и эмоциональностью, что нередко приводило к пограничным состояниям психики.

Детское восприятие войны: героическая эйфория или психотравма?

Патриотическую пропаганду 1914 г. нельзя себе представить без эксплуатации детской тематики. Главным сюжетом в ней было бегство детей на фронт и их последующее героическое служение Отечеству. «Летопись войны», «Огонек», «Нива» и прочие иллюстрированные периодические издания публиковали на своих страницах фотографии юных героев, награжденных медалями, сопровождая портреты рассказами о подвигах молодых бойцов. Подобная пропагандистская стратегия была направлена не только на закрепление тезиса

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1047. Л. 33.

[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 246. ДП-ОО. 1916. Д. 59. Л. 99 об.

[3] Три брата (То, что было): сборник документов / Сост., авт. предисл. и коммент. К. Н. Морозов, А. Ю. Морозова. М., 2019. С. 29.

о всеобщем единении и сплочении общества, но должна была вызвать эмоциональный отклик читателя/зрителя, подвести под идеологическую базу Отечественной войны чувственный фундамент. Визуальная пропаганда эксплуатировала не только образы детей-воинов, увешанных медалями, но также тиражировала фотографии раненых детей[1]. Очевидно, та и другая группа детских образов были направлены на решение разных задач. К. Келли обращает внимание на два распространенных в разных культурах мифа о ребенке — символе нации: один миф о ребенке-спасителе, другой — о ребенке-мученике. Во втором случае ребенок представлялся квинтэссенцией национальных страданий[2]. Образы растерзанных или распятых мальчиков и девочек оказывались исключительно актуальными, мотивационными символами, призванными поднять нацию на бой с врагом. Однако в конце концов такая навязчивая пропаганда приводила к противоположным последствиям — выработке острого чувства неприятия, брезгливости от псевдопатриотической пропаганды.

История детства уже стала заметным историографическим направлением, в рамках которого проводятся исследования в социальном, антропологическом, психологическом и культурном ключах. При этом исследователи обращают внимание на сохраняющуюся недооценку вопросов детства, связывая это с тем, что «история детства находится за рамками интеллектуальной истории, поскольку связь детства с „бытом“, который относится к исследовательской проблематике „истории повседневности“, делает ее не очень значимым объектом научных изысканий, второстепенным для исследователей политической и социальной истории, поскольку дети в ряду социально-экономических понятий маргинальны и их трудно классифицировать»[3]. Вместе с тем история советского детства, особенно раннего времени, периода социальных трансформаций, оказывается наиболее востребованной, так как позволяет преодолеть кажущуюся «рутинность» исследования за счет погружения в «бурлящую» эпоху. Быт советских детей в контексте политики власти, столкновение официальной и реальной картины детства, демографические вопросы изучаются в работах Т.М. Смирновой, С.В. Журавлева, А.К. Соколова, Э.М. Балашова, В.Б. Жиромской, Н.А. Араловец, А.А. Сальниковой, отражены в западных исследованиях К. Келли, Л. Киршенбаум, К. Кройзигер, Л. Бернстейн и многих других[4]. В историографии существует дискуссия о том, какой именно период

---

[1] *Жердева Ю.А.* Чрезвычайная следственная комиссия сенатора А.Н. Кривцова и ее роль в формировании визуальной культуры войны // Россия в годы Первой мировой войны, 1914–1918: материалы Международной научной конференции. М., 2014. С. 539.

[2] *Келли К.* Об изучении истории детства в России XIX–XX вв. // Какорея. Из истории детства в России и других странах: Сб. статей и материалов / Сост. Г.В. Макаревич. М.; Тверь, 2008. С. 27.

[3] *Келли К.* Об изучении истории детства… С. 18.

[4] *Смирнова Т.М.* Дети страны Советов: От государственной политики к реалиям повседневной жизни. 1917–1940 гг. М.; СПб., 2015; *Журавлев С.В., Соколов А.К.* Счастливое детство // Социальная история: Ежегодник 1997. М.: РОССПЭН, 1998. С. 159–203; *Балашов Э.М.* Школа

в истории российского детства можно считать наиболее значимым, и если К. Келли выделяет здесь 1890-е гг.[1], то Т.М. Смирнова обращает внимание на то, что октябрь 1917 г. открыл новый этап в истории России и тем самым истории детства. При этом исследовательница отдельно отмечает, что «нельзя забывать также и о том влиянии, которое оказали на положение детей, их менталитет и отношение к ним общества Первая мировая война, а затем революция и Гражданская война, которые, как любые социальные катаклизмы, наиболее сильно ударили по самым социально незащищенным слоям населения, в первую очередь — по детям, вне зависимости от их социального происхождения»[2].

Центральным вопросом истории военного детства является вопрос о степени влияния войны на психику подраставшего поколения. А.А. Сальникова констатировала факт раннего «взросления» детей в 1914–1922 гг.[3] Однако указанные хронологические рамки «эпохи войн и революций» слишком широки. Очевидно, что они распадаются на три этапа (Первая мировая, революция и Гражданская война), в отношении каждого из которых уместно задуматься о степени влияния на детскую психику. Сальникова справедливо полагает, что «милитаризация» детства имела место и до 1914 г., а многократно усилилась в войну гражданскую. А.Б. Асташов считает возможным говорить о формировании именно в 1914–1916 гг. двух когорт нового поколения, которые были по-своему травмированы войной. Первая когорта 13–17-летних детей (1901–1906 гг. рождения) пошла по стопам отцов в годы Гражданской войны, отмечаясь явной склонностью к разного вида насилию: самовольным обыскам и реквизициям, злоупотреблению служебным мандатом, растратам вверенных казенных сумм, изнасилованию задержанных женщин, служебным подлогам и пр.; вторую когорту составили дети, родившиеся в 1905–1910 гг., на формирование личности которых большое влияние оказало отсутствие отцов и тяготы военного времени: «Усталые от потрясений детства и начала юности, эти люди мечтали о сытости, удобствах, спокойствии, в целом были склонны к консерватизму. Для этого сознания характерна установка не на изменение, а на сохранение существующих социальных отношений, вообще культивирование

в российском обществе 1917–1927 гг. Становление «Нового человека». СПб., 2003; *Жиромская В.Б., Араловец Н.А.* Российские дети в конце XIX — начале XXI в.: историко-демографические очерки. М., 2018; *Сальникова А.А.* Российское детство в XX веке: история, теория и практика исследования. Казань, 2007; *Kelly C.* Children's World: Growing Up in Russia 1890–1991. Yale University Press, 2007; *Kirschenbaum L.A.* Small Comrades: Revolutionizing Childhood in Soviet Russia, 1917–1932. London: Routledge, 2003; *Creuziger C.G.K.* Childhood in Russia: Representation and Reality. Lanham, Maryland: University Press of America, 1996; *Bernstein L.* Fostering the Next Generation of Socialists. Patronirovanie in the Fledgling Soviet State // Journal of Family History. 2001. Vol. XXVI. № 1. P. 66–89.

[1] *Келли К.* Об изучении истории детства… С. 21.

[2] *Смирнова Т.М.* Дети послереволюционной России, 1918–1922 гг. Историография и источники // Россия в годы Гражданской войны, 1917–1922 гг.: очерки истории и историографии. М., 2018.

[3] *Сальникова А.А.* Конец сказки: Первая мировая и Гражданская войны в восприятии детей-современников // Опыт мировых войн в истории России: сб. ст. / Ред. И.В. Нарский, О.С. Нагорная, О.Ю. Никонова, Ю.Ю. Хмелевская. Челябинск, 2007. С. 418–437.

ценностей семьи, образования, достатка, патриотизма. Думается, что именно эти установки и стали основой поведения поколения, которое называют „сталинским“. Это поколение вышло на арену жизни, когда внесемейное влияние выполнило свою революционную роль по переделке нового человека»[1].

При всей обоснованности данной гипотезы представляется, что проблема воздействия экстремальных условий на детскую психику требует более тщательного исследования. В первую очередь необходимо учитывать особенности возрастной психологии, которые предполагают различные реакции детей на внешние раздражители. Те обстоятельства, которые могут травмировать взрослых, для детей могут проходить совершенно безболезненно. Ссылаясь на психологов и специалистов в области международного права, А.А. Сальникова обращает внимание, что наблюдаемые детьми военные действия как таковые не могут привести к серьезной психологической травме ребенка, если рядом с ним находится взрослый защитник, которому он полностью доверяет[2]. В психологии используется понятие зоны комфорта, которая для детей связана с семейным кругом. Пока зона комфорта ребенка не нарушена, что бы ни происходило за ее границами, какие бы тревожные сигналы внешний мир ни посылал, ребенок будет чувствовать себя в безопасности. Внешний мир не так реален для него, еще не дан ему в опыте, как мир семейного, внутреннего круга. И только процесс взросления заставляет ребенка пугаться внешнего мира за счет выстраивания более сложных причинно-следственных связей, осознания тесного взаимодействия малого и большого миров.

Война сильно сказывалась на жизни детей: в прифронтовой зоне особенно быстро росло количество сирот и беспризорников, тяжелым оказывалось положение семей с детьми, бежавших, эвакуированных или депортированных с театра военных действий. Их повседневная жизнь принимала экстремальные черты. В статье В.М. Левитского «Беспризорные дети и война» указывалось на то, что источником беспризорничества в годы войны стали солдатские семьи, в которых дети вынуждены были идти работать[3]. Юные труженики не выдерживали нагрузок, бросали работу и подавались в бега, из-за страха физического наказания или морального осуждения не решаясь вернуться домой и признаться взрослым в том, что новые обязанности слишком тяжелы для них. Современники обращали внимание, что в крупных городах в первые месяцы войны возросло количество дел по малолетним преступникам[4].

Психолог и педагог М.М. Рубинштейн в 1915 г. в статье «Кризис семьи как органа воспитания» обращал внимание на то, как уход отцов на фронт вкупе

---

1 *Асташов А.Б.* Военное детство Первой мировой войны как фактор социальной истории России первой трети XX в. // Труды Историко-архивного института. Т. 38. М., 2011. С. 61.

2 *Сальникова А.А.* Конец сказки… С. 418.

3 *Левитский В.М.* Беспризорные дети и война // Дети и война. Сб. ст. Киев, 1915. С. 9.

4 Там же. С. 15.

с ухудшением материального положения провоцировал распад семейных уз и рост детской преступности: «При колоссальной дороговизне в городах, как и во всей современной жизни культурных стран, у огромной массы семейств уже нет возможности жить собственной семьей. Не говоря уже о том, что родители, а часто и дети рассеяны на весь день по фабрикам и заводам, мастерским и т.д., большинство живет в скверных сырых подвалах, где даже днем приходится сидеть при лампе; более того, — большинство не имеет возможности собственными силами нанимать отдельную комнату-квартиру и вынуждено делить ее на углы, которые сдаются, а это уже означает большой надрыв, а то и полное уничтожение семейной жизни: дети и родители не одни, между ними и рядом с ними становятся чужие и часто совершенно неподходящие люди»[1].

Анализируя детские реакции на внешние раздражители, необходимо также учитывать такую особенность детского восприятия, как сильная впечатлительность. Последняя формирует в детском сознании фобии, непонятные взрослым. Советский писатель В. Шефнер вспоминал, как в раннем детстве, пришедшемся на конец Первой мировой войны, революцию и Гражданскую войну, он испытал сильный страх при виде зонтика. При этом появившийся незадолго до этого гроб в прихожей оставил его полностью равнодушным. Причина заключалась в том, что зонтик вызывал ассоциацию со страшным образом летучей мыши, однажды увиденной в книжке, покойник же никаких ассоциативных цепочек не запускал[2]. Левитский обращал внимание на то, что, по признанию детей-беглецов, они оставляли фабрики из-за страха перед машинами: железные, гремящие они вызывали ассоциации с чудовищами, хищными животными. Сознание ребенка не сразу примирялось с тем, что мертвая металлическая махина может двигаться, работать. «Я как увидел, что машина крутится, так и убежал», — признался один из беспризорников[3].

Дети, оказавшиеся в прифронтовой полосе, в местностях, по которым прошла война, а также ставшие «сынами полка», начали проявлять жестокость. А.Б. Асташов отмечает, что в районе театра военных действий (15-верстной полосы фронта) оказалось не менее 200 000 детей. Их психика и общее физическое состояние подверглись экстремальным испытаниям. Исследователь приводит примеры огрубения детских чувств, утраты ими эмпатии, а также проявления неприкрытого садизма: дети выкалывали глаза раненым австро-немецким солдатам и наблюдали за агонией жертв, с восторгом рассказывая затем об этом в своих воинских частях[4]. Современники, побывавшие на линии фронта, наблюдали, как местные дети играли с трупами убитых немцев и австрийцев, зимой втыкали их в сугроб и использовали как остов для лепки снежной

---

1 *Рубинштейн М.* Кризис семьи как органа воспитания // Вестник воспитания. 1915. № 3. С. 65.

2 *Шефнер В.* Имя для птицы, или чаепитие на желтой веранде. М., 1975.

3 *Левитский В.М.* Беспризорные дети и война. С. 10.

4 *Асташов А.Б.* Дети идут на войну... С. 108.

бабы: «Я подошел ближе, заглянул в детские лица и ужаснулся. Я увидел их оживленными и радостными, и услышал смех… Значит — привыкли»[1]. Вместе с тем данные примеры показывают адаптацию ребенка к условиям агрессивной среды. Нет оснований утверждать, что безразличное отношение к смерти, трупам, свидетельствует о полученной психологической травме. Скорее верно обратное: веселье играющих с трупами детей свидетельствует о том, что вид смерти не стал травматическим опытом. Признаком психотравмы является психическое или неврологическое расстройство, усиливающееся при повторной встрече с ее источником, вследствие чего источник вызывает у больного чувство бессознательного страха. Отсутствие страха говорит об отсутствии психотравмы, вместе с тем не исключает травму моральную. Однако в этом случае разговор из области психологии следует перевести в область этики.

Периодическая печать обращала внимание читателей на разворачивавшуюся гуманитарную катастрофу в связи с массовым беженством. В мае 1915 г. особенно тяжелая ситуация сложилась в Поволжье. Из Саратова, в частности, сообщали: «В Саратов прибыла партия в 104 русских крестьян из Сувалкского, Августовского и Сейнского уездов, дважды перенесших тяжелые испытания от нашествия германцев. Беженцы поместились на углу Астраханской и Нижней улиц, на постоялом дворе Беспалова. Помещение весьма антисанитарное. В грязном подвальном этаже, наполовину загороженном нарами, 18 семей теснят друг друга. Дети разных возрастов, женщины и мужчины спят на нарах, на полу и под нарами… Нет ни умывальника, ни кадушки с водой. Все беженцы старообрядцы поморского толка. Среди них 70 детей»[2]. В сентябре 1915 г. тревогу забили «Русские ведомости»: «Огромный поток беженцев заливает страну. Беженцев, впрочем, значительно меньше, а больше выселенцев — людей, оторванных насильственно от родной земли, имущества и привычных условий труда. Плетутся пешком, движутся на бесчисленных подводах, едут на платформах товарных поездов и на крышах вагонов. И среди этого огромного людского потока до 60% детей… Земский союз собирает детей и высылает их на восток партиями до двухсот человек»[3]. Больше всего за детей переживали матери, которые в некоторых случаях весьма пессимистично смотрели на их будущее. Одна мать-беженка признавалась земскому служащему: «Нет, не за себя, не за себя я боюсь. Но вот мои мальчик и девочка. Эти, вероятно, вынесут, дети выносливы. И через несколько лет моя девочка будет проституткой, а мальчика, которого вы сейчас кормите, вы же, может быть, будете сажать в тюрьму»[4]. Таким образом, мать признавала, что психика ее детей устойчива, адаптировалась к новым условиям, однако дальнейшая их жизнь в силу

---

[1] *Левитин С.* Война и дети // Русская школа. 1915. № 7–8. С. 91.

[2] Саратовский листок. 1915. 3 мая.

[3] Русские ведомости. 1915. 13 сентября.

[4] Там же.

ухудшения материальных условий и падения социального статуса, скорее всего, изменится в худшую сторону.

Вместе с тем судить о том, как воспринимали войну все дети на примере беспризорников и беженцев, как заложников экстремальной повседневности, не совсем корректно. На большинстве детей средних и высших городских слоев война отразилась опосредованно. Тринадцатилетняя Ольга Саводник записала в дневнике, что причиной ее волнений в день объявления войны стали волнения взрослых, которые передались детям[1]. С друзьями она решила погадать по облакам об исходе войны, и, хотя дети переживали, когда выбранное облако-Россия стало закрываться тучкой, в целом им «было весело и хотелось дурачиться».

Хоть многие дети лишились отцов и старших братьев, но в условиях сохранявшихся традиционных отношений отцы, как правило, не играли существенной роли в воспитании отпрысков, дети состоятельных семей большую часть времени проводили с гувернантками, матерями, братьями и сестрами. Уход отцов на фронт, конечно же, менял общий эмоциональный климат в семьях, но не становился в большинстве случаев причиной психологической травмы. Однако разговоры о войне взрослых, попадавшаяся на глаза лубочная продукция постоянно напоминали детям о войне, о которой у них складывалось свое представление, отличное от представления о ней взрослых.

Неожиданное исчезновение отцов, которое объяснялось детям малопонятным словосочетанием «ушел на фронт», рождало в голове новые образы, приводило к формированию определенных стереотипов. Это пугало многих современников, которые с высоты гуманистических идеалов рассуждали о катастрофических психологических последствиях войны для детей. М.М. Рубинштейн писал в 1915 г. в журнале «Вестник воспитания»: «Война по всему ее характеру способна заложить в душе детей такие семена, из которых в будущем могут вырасти сорные травы, способные заглушить все злаки, все, взлелеянное многовековыми усилиями миллионов людей. Тут, как нигде больше, поднимается тяжкое опасение, как бы война не породила огрубения и одичания»[2]. Те же опасения в популярном журнале «Нива» высказывал журналист и будущий детский писатель К.И. Чуковский: «Все многомиллионное детское царство в Европе и Азии захвачено ныне войной. Что станет с этим роковым поколением, взрастающим среди громов и пожаров?»[3]

Для опасений педагогов были все причины, так как в беседах с детьми, при наблюдении за поведением младших школьников обнаруживались некоторые поведенческие и психические изменения. Квазипатриотическая пропаганда

---

[1] Дневники сестер Саводник. Вступительная статья, подготовка текста и комментарии В.С. Савчука // Новое прошлое. 2016. № 1. С. 201.

[2] *Рубинштейн М.М.* Война и дети // Вестник воспитания. 1915. № 2. С. 5.

[3] *Чуковский К.И.* Дети и война // Нива. 1915. № 51. С. 949–952.

средств массовой информации, проникнутая ксенофобской и человеконенавистнической риторикой, которая через разговоры старших, чтение периодики доходила и до детей, превращала войну в символ грозной опасности, вселявшей страх в сердца детей. Одна мать писала в «Вестник воспитания», рассказывая о том, как изменился досуг ее сыновей 8 и 9 лет: «Чтение всех статей и заметок как в местных, так и в „Русских Ведомостях", вытеснило и заменило чтение детских книг, читаются и собираются старшими все рассказы раненых, все даже беглые заметки Дионео об Англии прочитываются с большим интересом… Когда я принесла для игры вырезанных из бумаги солдатов, — причем в магазинах здесь нашлись исключительно австрийцы и немцы всех родов оружия, — старший не взял себе ничего, сказав: „пусть ими играет Платоша, он еще маленький, не понимает, а я сам сделаю себе солдатов; этими играть не буду"»[1]. В ряде случаев отмечалось повышение нервозности детей. Так, некий семилетний Коля, оставшись с одной матерью, часто слушал ее рассказы о немецких зверствах, почерпнутых из газет. Постепенно мальчик все чаще стал замыкаться в себе, у него нарушился сон, а потом по ночам он иногда начал кричать: «Мама, я боюсь! Немцы пришли в Москву, они нас зарежут, они меня душат! Мама, спаси меня!»[2] В данном случае есть все основания говорить о перенесенной ребенком психологической травме, приведшей к неврологическим последствиям (нарушение сна, приступы паники). Многим война, фронт мыслились чем-то вроде наказания: пятилетняя Нина, рассердившаяся на маму за то, что та наказала ее братика, воскликнула: «Вот пусть бы ее послали на войну, чтобы она знала, как обижать Колю!»[3]

В среде психологов, педагогов не было однозначного мнения по поводу того, стоит ли ограждать детей от пропаганды, описывавшей ужасы войны. В статье «Современная война и задачи воспитания» Н.Н. Володкевич рассуждал об опасности пробуждения в детях «звериной злобы»: «Сообщая детям о жестокостях немцев в Бельгии и Польше, о разрушении ими памятников искусства, о разграблении ими всякой занятой их войсками страны, и уясняя, что это не единичные случаи, а результат системы, последовательно проводимой идеи, мы не должны бояться возбудить в детях святое чувство негодования против варварских поступков современных Атилл. Но опасно возбуждать слепую, звериную злобу к отдельным людям и к целому народу; негодование должно быть обращено на поступки, а не на людей, которых можно только жалеть за их ослепление. Нужно научиться отделять поступок от совершившего его человека, и, возмущаясь первым, прощать и жалеть второго»[4].

---

[1] *Звягинцев Е.* Отношение детей к войне // Вестник воспитания. 1915. № 4. С. 143.

[2] *Рубинштейн М.М.* Война и дети… С. 10.

[3] Там же.

[4] *Володкевич Н.Н.* Современная война и задачи воспитания // Дети и война: Сб. ст. Киев, 1915. С. 34.

Согласно анкетированию, проведенному Фрёбелевским обществом в Киеве среди 94 детей в возрасте от 6 до 13 лет, на вопрос, следует ли жалеть пленных, положительно ответили 47,5%, остальные посчитали, что жалеть не нужно. При этом больше сочувствия вызывали дети пленных врагов: 61% опрошенных признались, что детей врагов им жалко[1]. Причиной отсутствия сочувствия к пленным врагам был неосознанный страх ребенка перед войной. Причем чем старше ребенок становился, тем легче ему было этот страх контролировать и проявлять гуманизм. Так, всего в страхе перед войной призналось 77% детей, но в возрасте до 9 лет это чувство встречается у 85% опрошенных, а старше 9 лет — у 57%. Страх перед войной не исключал интереса детей к рассказам и сказкам о войне. 85% детей признались, что хотели бы послушать сказки про войну, но один мальчик ответил, что они его пугают. Зеньковский обратил внимание, что сказка и реальность вызывают в детской душе одинаковый эмоциональный отклик, детская эстетика не допускает характеристики объектов эстетических переживаний как иллюзорных, поэтому в детской психологии мир вымышленный и мир реальный пребывали в тесной взаимосвязи[2].

Как и взрослые, дети задумывались о причинах войны и, как и взрослые, ответы находили в стереотипных поведенческих практиках, известных по личному опыту, в том числе почерпнутому из сказок. Рубинштейн приводит диалог двух мальчиков, шестилетнего Вити и семилетнего Володи, перед сном, лежа в кроватках:

> Витя: А зачем он (Вильгельм) начал воевать?
>
> Володя: Да он и не хотел. Знаешь, он ушел в город за покупками, а сыновья его остались одни; вот они взяли и объявили войну.
>
> После некоторого молчанья и, по-видимому, раздумья над данным ему объяснением Витя произнес: «Ну, а что же смотрела их мама?»[3]

Примечательно, что данное объяснение начала войны, в действительности, выглядит не наивнее тех предположений и слухов, которые рождались в деревенской среде. По крайней мере, печать сообщала о сыновьях императора, сражавшихся в немецкой армии. Представляя Вильгельма в Берлине, а его сыновей на войне, дети делали вполне логичные выводы о том, кому из них война была нужнее. Возможно, опытно-архетипическое образное мышление, свойственное малым детям и неграмотным крестьянам, не вовлеченным в мировую текстовую культуру, предопределяло общие принципы рождения образов и значений.

Повторяя за взрослыми их разговоры, дети в беседах друг с другом нередко поднимали серьезные политические темы: начинали обсуждать послевоенное

---

1 *Зеньковский В.В.* О влиянии войны на детскую психику // Дети и война… С. 59.

2 Там же. С. 50.

3 *Рубинштейн М.М.* Война и дети… С. 20.

устройство мира (Россия должна получить всю Германию, а немцам оставить один Мюнхен), судьбу Вильгельма II (дети-школьники предлагали сослать его на о. Св. Елены), повторяли за старшими ксенофобские высказывания: «С горечью приходится отметить, что до детской среды докатились и волны человеконенавистничества нашего домашнего свойства. Среди детских мнений, хотя и в очень небольшом количестве, встретились указания на евреев, как на причину войны и недоброжелательную среду. Правда, тут же другие мальчики из той же народной среды выразили, что евреи-солдаты „хорошо воюют"... Были попытки травли учеников-немцев и пр. Во всех этих случаях можно было без труда установить связь через семью с газетами соответствующего направления», — писал М. Рубинштейн[1].

Определенные опасения педагогов вызывали детские игры, в которых дети не только копировали события взрослого мира, но и переосмысливали их на свой лад. Учителя обращали внимание на то, что игры в детских, на школьных переменах, на улицах, как в зеркале, отражали в себе «не только жизнь и переживания членов семьи, но интересы и события всего общества»[2]. В Киеве на одной из улиц зимой 1915 г. появился огромный снеговик, рядом с которым стоял мальчуган лет шести с деревянным ружьем на плече. На вопрос прохожего, кого солдатик караулит, ребенок ответил: «Вильгельма». Куклы девочек превращались в раненых солдат, которым маленькие сестры перевязывали раны, давали лекарства, измеряли температуру. А. А. Сальникова обращает внимание на милитаризацию детских игрушек: повышение спроса на игрушечные ружья и шашки, появление в продаже фигурок под названием «Кровавый Вильгельм» и т. д.[3] В поддержание милитаристских детских игр среди учащихся средних учебных заведений вносило свою лепту и Министерство народного просвещения. С первых месяцев 1916 г. в мужских гимназиях появилась допризывная военная подготовка, в стране росла сеть военно-спортивных комитетов. Продолжительность военных занятий была определена в 45 минут при трех занятиях в неделю, она включала в себя гимнастику, лазание, ходьбу, бег, строевую подготовку, изучение устава и полевой службы. При этом, как отметил Н. С. Ватник, в мае 1916 г. в ряде учебных заведений проводились занятия исключительно по военному делу: учащиеся тренировались с 9 до 12 часов утра и с 3 до 6 часов пополудни, кое-где учащиеся выезжали в армейские палаточные лагеря[4].

Педагоги высказывали опасения в связи с тем, что игры мальчиков становились более жестокими. Любимые «казаки-разбойники» сменились игрой

---

[1] Там же. С. 31.

[2] *О. Я. И. и Н. В. Т.* Война в рисунках детей // Дети и война... С. 98.

[3] *Сальникова А. А.* Конец сказки... С. 427.

[4] *Ватник Н. С.* «Германская война» и повседневная жизнь учащихся средних школ России в 1914–1917 гг. // Россия в годы Первой мировой войны, 1914–1918: Материалы Междунар. науч. конф. М., 2014. С. 263.

«немцы-русские». Увлекшиеся дети иногда довольно сильно били представителей «вражеской» команды, в связи с чем никто не хотел быть «немцем». Определение в эту команду происходило либо по жребию, либо в нее записывали провинившихся в чем-то детей. Мать, озабоченная проявлениями жестокости в играх сыновей, писала из Киева в «Вестник воспитания»: «Мои мальчики целые дни воюют. Крыша нового чердака — их излюбленная позиция, а груши, немилосердно срываемые с дерева, — пули. Женя (9,5 лет) большею частью занимает крышу, неся с собой старый железный кувшин, наполненный грушами. Сережа (6,5 лет) и Андрюша (сын кухарки, 8 лет) — внизу. Перед ними большая корзина, с которой ходят на базар, тоже с пулями. Сражение жаркое. По двору пройти нельзя. Я удивляюсь, как они не плачут от получаемых ударов. Чувствую, что здесь много вредных моментов и не знаю, как на них реагировать. Допустимо ли такое разгорание страстей. Особенно Сережа возбуждается. Он прибежал как-то ко мне весь красный, потный, с горящими ненавистью глазами. На щеке пятно от удара грушей. Оказывается, он с Андрюшей выгнали Женю со двора и погнали по улице… Ненависти и злобы в этой игре много… Меня удивляет, что даже маленький Миша, которому всего 3,5 года, так проникся воинственным духом. Он целыми днями либо марширует по двору с палкой вместо ружья или сражается с пятилетним Колей (сын дворника)»[1]. Однако во время уличных детских боев в ход шли далеко не одни яблоки да груши. «Саратовский листок» сообщал, что в апреле в селе Лох группа мальчиков затеяла игру в войну, и в азарте битвы 12-летний Трофим Щербаков, назвавшись «неустрашимым казаком Кузьмой Крючковым», выхватил нож и нанес рану в бок своему сверстнику «немцу» Ивану Щербакову. Раненого отправили в больницу[2]. В другом случае, во время игры в стрельбу по воображаемым германцам, один из мальчиков выстрелил из мелкокалиберного пистолета-монтекристо в лицо своего тринадцатилетнего товарища[3].

Такие же тревожные сообщения приходили и летом, причем корреспонденты отмечали, что не только деревенские, но и городские дети из обеспеченных слоев избивали друг друга до крови[4]. Согласно анкетированию, проведенному киевским Фрёбелевским обществом, 88% мальчиков до 11 лет играли в войну. Среди девочек этот процент был много ниже — 50% (до 9 лет), причем многие девочки отказывались играть в войну по причине чрезмерной жестокости мальчиков. Девочки признавались, что мальчики «ужас, что делают в игре: царапаются, дерутся»[5].

---

[1] *Звягинцев Е.* Отношение детей к войне // Вестник воспитания. 1915. № 4. С. 136–137.

[2] Саратовский листок. 1915. 11 апреля.

[3] Саратовский листок. 1915. 5 января.

[4] Саратовский листок. 1915. 10 июня.

[5] *Зеньковский В. В.* О влиянии войны на детскую психику // Дети и война. Киев: Издание Киевского Фрёбелевского общества, 1915. С. 51–52.

Также детская жестокость проявлялась в тех случаях, когда, не найдя кандидатов на роль «немцев», дети в них определяли дворовых кошек и собак. Часто такие игры заканчивались гибелью бедных животных[1]. М. Рубинштейн пришел к выводу о том, что в отношении животных не только мальчики, но и девочки часто склонны были проявлять большую жестокость, причем педагог провел параллель с обнаружившейся за годы войны склонностью к насилию взрослых женщин: «Встречаются у детей позывы к жестокому обращению с врагом. Так, в одном случае на улице кошка, изображавшая германцев, была задушена. Интересно, что как женщины проявили большое неожиданное озлобление и склонность к жестоким приговорам в эту войну, так и девочек их большая эмоциональность и внушаемость уводят иногда в ту же сторону. Среди них попадаются отдельные лица, рекомендующие ответные жестокости: „А я бы, говорит одна, на поле сражения убила немца, а если бы увидала раненого, то тоже добила бы его“»[2].

По-видимому, игры в войну потеряли актуальность в 1916 г. По дневникам сестер Ольги и Натальи Саводник можно проследить некоторую эволюцию детских уличных забав: накануне войны они вместе с мальчиками играли в казаков-разбойников, затем в войну с немцами, а в 1916 г. играли в котов (подражали миру животных) и «запорожцев» (скакали на палках)[3].

Игры детей старшего возраста носили более разнообразный и сложный характер, были наполнены фантазиями на основе прочитанных книжек, выдуманных стран и миров. Отчасти в этом проявлялось стремление детей поскорее обрести независимость от взрослых. Л.О. Дан вспоминала свое детство: «Как это часто бывает в больших семьях (восемь детей. — *В.А.*), наш детский мир был очень отдален от мира взрослых, и мы, дети, жили тесно связанные между собой; была у нас своя мораль, свои законы, свои интересы. И во всем этом причудливо переплеталось взрослое и детское, для всех нас, и старших, и младших детей, одинаково обязательное»[4]. Братья и сестры разыгрывали сценки, прочитанные в книгах, повторяли диалоги литературных героев, нередко выдумывали свой собственный мир, с собственным языком. Тем самым беллетристика, лубочная продукция (литература и изобразительное творчество) накладывали свой отпечаток на детскую картину мира.

Вместе с тем война приучала детей и к состраданию. Многие жители городов брали в свои дома раненых, которым не хватало места в больницах. Отмечались случаи, как маленькие дети предлагали раненым свои кроватки, отдавали самые любимые игрушки. Одна шестилетняя девочка просила мать взять к себе двух бельгийских мальчиков и двух девочек: «Я отдам им свою

---

[1] *Рубинштейн М.М.* Война и дети… С. 25.

[2] Там же. С. 26.

[3] Дневники сестер Саводник // Новое прошлое. 2016. № 3. С. 196, 200.

[4] *Дан Л.О.* Семья // Мартов Ю.О. Записки социал-демократа. М., 2004. С. 413–414.

кровать, а мы с тобой ляжем вместе. Я буду за ними ухаживать»,— говорила она[1]. Детская наивность и непосредственность как нельзя лучше отражала различные грани социально-психологической динамики общества. Когда по городам прокатилась первая волна германофобии, отразившаяся в том числе в травле детьми своих одноклассников с немецкими фамилиями, часть детей сочувственно отнеслась к ним, не поддавшись общественным настроениям. Вероятно, в этом сказывалось влияние домашних разговоров. Так, мать 12-летней гимназистки писала: «Сегодня прибегает девочка из гимназии и рассказывает, как им жалко было одну немку, с которой сделалось дурно в гимназии в то время, когда 8-классницы устроили манифестацию довольно шумную, бегали с телеграммой в руках, радуясь победе над немцами. И вот, зная, что немцев теперь высылают, дочка начала упрашивать меня: возьмем, мама, и спрячем эту немку к себе, спрячем в ванную, пока кончится война»[2].

Дети пытались внести свою лепту в дело победы, чему способствовала школа: согласно изданным Министерством народного просвещения циркулярам, школьники шили белье воинам, теплые вещи, упаковывали перевязочный материал, устраивали кружечные сборы. Впрочем, многие семьи включились в благотворительную деятельность задолго до министерской отмашки: в августе 1914 г., когда дети с родителями отдыхали на дачах, в повседневный досуг вошла практика патриотических митингов-концертов, устраивавшихся силами самих дачников. Принимали в них участие и дети: разыгрывали спектакли на злобу дня с участием своих кукол, читали стихи, играли на музыкальных инструментах, продавали взрослым собственные поделки, а полученную выручку отправляли в фонды помощи воинам[3].

Опасный размах с первых месяцев войны приобрело детское бегство на войну. Среди детей стали ходить небылицы о чудесах героизма, которые проявляли их сверстники, о том, какими почестями их награждали по возвращении домой. Когда же становилось известно, что таким беглецом-героем был не абстрактный мальчик, а конкретный знакомый со двора, то идея убежать из дома на войну из фантастической превращалась в реальную. Анкетирование, проведенное Фрёбелевским обществом, показало, что увидеть военные действия хотели бы 64% детей, причем чем старше был ребенок, тем сильнее оказывалось это желание: до 9 лет — 61%, после 9 лет — 76%. Однако готовность пойти на войну сражаться выразили только 37% (40,5% мальчиков и 33% девочек)[4].

В декабре 1914 г. ученикам двух классов петроградской начальной школы Тименкова-Фролова было предложено написать сочинение о войне в форме письма к другу. В некоторых сочинениях детей фигурировали такие беглецы.

---

[1] *Рубинштейн М. М.* Война и дети… С. 13.

[2] *Звягинцев Е.* Отношение детей к войне // Вестник воспитания. 1915. № 4. С. 155.

[3] Петербургский листок. 1914. 18 августа.

[4] *Зеньковский В. В.* О влиянии войны на детскую психику… С. 62.

Из одной работы становится известно, что из их школы на фронт убежали два ученика, в другом сочинении-письме учащийся Н. Воронов рассказал историю мальчика Коли. Колю согласился взять с собой солдат на Варшавском вокзале Петрограда. Мальчик забрался под лавку, солдат задвинул его чемоданом, накрыл подушкой и таким образом они доехали до Варшавы. В Варшаве кондукторы очередной раз обыскали поезд на наличие мальчиков-беглецов, поймали нескольких ребят, но Колю не нашли. В дальнейшем Коля добрался до фронта, путешествуя в солдатской шинели, которую ему подарил солдат. По словам мальчика, он «побывал на войне и озяб и заболел лихорадкой»[1]. В конце концов Коля вновь оказался в Варшаве, где его поймал начальник станции и с кондуктором отправил домой. Рассказанная история не выглядит правдоподобной, скорее всего мальчик не добрался до фронта, а был схвачен вскоре по прибытии в Варшаву, однако гордость не позволила ему признаться, что на войне он так и не побывал. В то же время на Воронова, пересказавшего эту историю, она, безусловно, сильно подействовала.

Под влиянием подобной героики бегство детей на фронт чуть было не приобрело массовый характер. 14 октября 1914 г. в Петрограде была пресечена попытка коллективного побега мальчиков на фронт. В ней участвовало 11 учеников различных гимназий в возрасте от 12 до 13 лет[2]. В ряде случаев у младших школьников бегство на фронт воспринималось в качестве игрового действия, в нем не было осознанной патриотической подоплеки. Психологи отмечали, что мальчики бежали на фронт «за медальками», полагали, что их раздают всем прибывшим туда детям. «Саратовский листок» скептически отреагировал на попытку несовершеннолетнего сына председателя городской ревизионной и бюджетной комиссий В. П. Минкевича сбежать на фронт, отказывая ему в осознанном патриотизме: «Он и его товарищи, мечтающие о том, чтобы быть добровольцами, совершеннейшие еще дети. Их прельщает надежда получить Георгиевский крест и тогда учиться бесплатно, за свой счет, благодаря самим себе. Стремление бежать в армию заразило не только мальчиков. Дочь св. В. П. Космолинского тоже чуть было не уехала на передовые позиции»[3]. В июле 1914 г. тринадцатилетняя Ольга Саводник подумывала о бегстве на войну, чему способствовали прочитанные ею рассказы о подвиге героини войны 1812 г. Нади Дуровой, а также детская влюбленность в императора, за которого она хотела «пострадать»[4]. Но нежелание расставаться с матерью отогнало эту мысль.

Любопытным источником к изучению психологии детского восприятия являются рисунки военного времени, отражавшие те явления, которые больше

---

[1] Школьные сочинения о Первой мировой войне // Российский архив. Вып. 6. М., 1995. С. 456–457.

[2] Петроградский листок. 1914. 15 октября.

[3] Саратовский листок. 1915. 28 января.

[4] Дневники сестер Саводник // Новое прошлое. 2016. № 1. С. 203.

всего поражали, трогали детей. Рисунки детей не могли не беспокоить взрослых запечатленными на них ужасами войны: лужи крови, отрубленные головы и прочие части тела, раненые воины, взрывы снарядов — все это, преломляясь в сознании детей, находило отражение в их художественном творчестве. Вместе с тем специалисты отмечали, что то, что вызывало содрогание взрослого человека, у ребенка порождало лишь любопытство, в связи с чем излишнюю детализацию воинских увечий на рисунках объясняли не проснувшейся детской жестокостью, а характерной для данного возраста игровой формой познания мира[1].

Педагоги отмечали, что в силу большей политизированности городов война сильнее отразилась на психике городских, нежели сельских детей или жителей небольших уездных городков. Провинциальный педагог так характеризовал психологическую атмосферу в своем училище, заявляя, что для детей война проходит незаметно: «В нашем училище резких перемен не замечаю. Правда, три ученика в два приема бегали на войну. Но из них только один, лет пятнадцати, серьезен, а два других просто искали приключений. Заметен некоторый подъем патриотического духа, но небольшой. Шовинизма не заметил. Большую роль в этом играет, очевидно, захолустное положение нашего городка — 10 верст от станции боковой ветки. Раненых помещается в городе очень немного, их не видно. Война не бросается в глаза и детям почти незаметна»[2]. Большой город с его бурной жизнью давал пищу детской фантазии, порождал в сознании образные фантастические картины, дети додумывали то, что не могли знать. В среде крестьянских детей была заметна созерцательность. При этом отказать в образном мышлении сельскому ребенку нельзя, только образы эти чаще всего брались из окружающей природы. Характерно сочинение учащегося III отделения сельской школы под заглавием «Грустные люди», в котором образно, но вместе с тем весьма точно передаются настроения крестьян периода первой мобилизации: «Объявила Германия войну. Из городов тронули солдат, которые не отслужили начальную службу. Пошел слух по всем деревням, стали набирать солдат и ополченцев. Жены и матери услыхали, стали плакать да вопить. По всей деревне пошел вопль, крик, а мужики ходят печальные, на глазах слезы. На другой день повезли солдат в город, а жены плачут, обнимают мужьев, не пускают их, а они утешают жен. После этой наборки в деревне стало скучно, грустно. Деревня стоит, как лес дремучий. Бабы на колодцах говорят про войну, про мужьев, кого куда назначили. Все бабы и мужики невеселые, как будто осенний цвет. У окон деревья стоят, по верхушкам ветер плывет, словно волна. В деревне тихо, смирно, ни одной птицы не слышен звук, а по улице широкой пыль идет, взвивается столбом»[3].

---

[1] *Воронов В.* Война в рисунках детей // Вестник воспитания. 1915. № 2. С. 53.

[2] *Звягинцев Е.* Отношение детей к войне // Вестник воспитания. 1915. № 4. С. 139.

[3] *Потемкин И.Е.* Отражение войны в детской психике // Вестник воспитания. 1915. № 8. С. 202–203.

Вместе с тем в сочинениях деревенских детей ярче запечатлелся трагизм проводов на войну запасных солдат. Большой город предписывает эмоциональную сдержанность, в то время как маленькие деревни утопали в женском плаче, причитаниях, что фиксировали юные писатели. Ученик 2-го класса сельской школы писал в сочинении под названием «Проводы солдат»: «Погнали моего дядю, и стали все плакать, потому что было жалко, и не могли, чтобы не плакать, и все плакали. Мы пошли к ним, осталась у нас дома одна моя мать да двое маленьких. Пошел он к нам прощаться, пришел к нам и стал прощаться… Моя мать заплакала и мой дядя заплакал и пошел домой, а моя мать еще плакала и никак не уймется. Когда моего дядю проводили приехали из города и все плакали…»[1] Другая школьница схожим образом описывала июльские дни 1914 г.: «Староста ходил по деревне и объявлял солдатам идти на войну. Когда повезли солдат на войну все очень плакали. Мне было жалко солдат и сирот. У нас у одной матери взяли на войну троих сыновей, а если еще будет набор, то и последнего возьмут»[2]. Очевидно, что подобные беспристрастные свидетельства детей о настроениях взрослых в период мобилизации перевешивают заявления официальных лиц и поддавшихся пропаганде обывателей о всеобщем распространении патриотизма, заставляют скептически относиться к докладам офицеров губернских жандармских управлений, заявлявших, что в их местностях на призывных участках не было женских слез и причитаний. Е. Звягинцев отмечал, что в восприятии деревенскими детьми войны больше реализма и рассудительного спокойствия, в отличие от детей из культурных городских слоев, попадавших под влияние пропаганды, абстрактных разговоров и теоретических споров взрослых: «На детей деревни и некультурной среды выпало меньшее бремя новых слов, туманных выражений, смутных слухов и злободневных толков», — заключал он[3]. Однако, как видно, они от этого не стали менее эмоционально насыщенными. Третьеклассник сельской школы сделал зарисовку атмосферы в доме под названием «Без хозяина и дом сирота», после получения тревожной весточки с фронта от главы семейства: «В комнате глухо, тихо; только одна бабенка на стуле сидит, перед ней печка топится, стоит возле печки кровать. На кроватке детки сонные лежат, закрыли глазки и к друг дружке прижались. Только мать их на стуле сидит, печально на деток глядит, думает-гадает, как ей будет с детками маленькими жить… Муж вчера весточку с войны прислал, погнали в бой. Думает про мужа: „Жив ли он теперь? Бог его знает“»[4].

Сравнивая деревенскую и городскую детские картины войны, можно предположить, что традиции проводов на войну в деревне, сопровождавшиеся

---

[1] Там же. С. 196.

[2] *Звягинцев Е.* Отношение детей к войне // Вестник воспитания. 1915. № 4. С. 145.

[3] Там же. С. 146.

[4] *Потемкин И. Е.* Отражение войны в детской психике // Вестник воспитания. 1915. № 8. С. 195–196.

общим плачем и стенаниями, отличались от более праздничной атмосферы городских проводов новобранцев, организованных представителями правых партий. В психике деревенских детей война, таким образом, изначально была наполнена семантикой горя, в то время как в городе — семантикой геройства, праздника. Однако по мере затягивания военных действий, ухудшения материальных условий жизни эти две картины приходили к общему знаменателю, лишая детей поводов для радости и предоставляя новые поводы для печали.

В целом, анализируя влияние Первой мировой войны на психологию школьников, специалисты не находили признаков полученной детьми психологической травмы. В то время как педагоги и литераторы били тревогу, предупреждали об огрублении детских нравов, психологи успокаивали общественность. В.В. Зеньковский, ссылаясь на анкеты Фрёбелевского общества, писал: «Прежде всего, мы имеем основание сказать, что война не вызвала ни взрывов злых чувств, ни слепой самоуверенности, ни беспощадной ненависти к врагам, — война не внесла огрубления в детские души. Моральный экзамен дети наши сдали превосходно, обнаружив истинно золотые сердца… Опираясь на данные анкеты, я считаю возможным сделать вывод, что перед нашим обществом не стоит никаких особых задач по моральной охране детской души… Детское сердце так хорошо разбирается в вопросах, поставленных жизнью, оно таит в себе столько гуманности, что наша задача заключается лишь в использовании добрых переживаний, путем приложения их к той или иной активной работе гуманного характера»[1]. Конечно, этот вывод нельзя распространить на все категории детей, учитывая к тому же специфическую развивающую форму воспитания по фрёбелевской системе. Можно предположить, что «моральный экзамен» сдали прежде всего дети-фрёбелевцы, а также учащиеся из благополучных семей, однако и на них затянувшаяся война, через настроения взрослых, начинала оказывать угнетающее воздействие.

Рано или поздно дети испытывали разочарование, геройский налет с образа войны слетал, открывая будничные и неприглядные стороны военного времени. В школьных сочинениях наблюдается последовательная динамика психического состояния детей в первые месяцы войны — от любопытства и радости через удивление и разочарование до грусти и страдания за близких людей. Первые положительные эмоции были связаны с появлением новых, первоначально безопасных явлений повседневной жизни — патриотические митинги на улицах, которые интересно было рассматривать и слушать, новые темы разговоров родителей и т.д. Ученик Е. Федоров так описал свой привычный досуг: «После школы я занимаюсь чтением книг, слушаю грамофон, поиграю вместе с братом… и еще занимаюсь выпиловкой из дерева… Но больше всего я интересуюсь войной! Читаю газеты, но люблю слушать, когда старшие

[1] *Зеньковский В.В.* О влиянии войны на детскую психику… С. 63–65.

рассказывают о войне…»[1] Другой мальчик отметил, что ему очень нравится солдатское пение, которым сопровождаются бесконечные учения солдат[2]. Митинги, солдатские песни и учения ассоциировались в сознании детей с каким-то общенациональным праздником, во время которого всем должно быть весело. Однако дети вскоре обнаружили, что кроме них никто не веселится: «Наутро вместо великой радости, веселого смеха и песен послышались рыдания и вопли. Все должны были отправлять мужей, отцов или сыновей»[3]. Как и взрослые, учащиеся чувствовали фальшь патриотического официоза. Четырнадцатилетняя Ольга Саводник описала в дневнике за 10 марта 1915 г. устроенный в московской Чернявской гимназии молебен в честь взятия Перемышля, в конце которого все пели «Боже, царя храни» и кричали «Ура», заметив, что «как-то весело и вместе с тем хочется убежать и плакать, плакать. У нас многие плакали, особенно Антонина Афанасьевна, да как же — у ней муж пропал, кажется, в плену, как дядя Митя, жалко ее ужасно, хочется подбежать, поцеловать и утешить»[4].

Школьники обращали внимание на неожиданные перемены, происходившие с их знакомыми: «Рядом с нашей дачей была дача № 16, там жил дворник по имени Николай… Жена его была всегда веселая, бывало, посмотришь, а она ходит по дороге, да песни поет, а теперь посмотришь — она только плачет»[5]. Вскоре прежние веселые игры стали терять значение для детей: «Погода в Петрограде ничего, все снег идет… а на коньках редко когда катаюсь», — и тут же причина объясняется: «Дома не особенно весело. Владимиру надо призываться 3 февраля»[6].

Тем не менее война не занимала значимого места в сознании детей привилегированных слоев. На страницах дневников сестер Ольги и Наташи Саводник за 1914–1916 гг. из 67 записей война упоминалась лишь шесть раз, причем только старшей Ольгой (при этом четыре упоминания пришлись на лето 1914 г.): 21 июля, когда узнали о войне, 22 июля в связи с игрой в солдатики, 9 августа в связи с мыслями об уходе на войну добровольцем, 15 августа в связи с игрой в войну, 1 января 1915 г. в связи с пленением дяди, 10 января по поводу упомянутого молебна в честь взятия Перемышля. Остальные страницы были посвящены домашнему досугу и школьным шалостям, казавшимся актуальнее далеких боевых действий. Другое дело, когда произошла революция — она значительно сильнее войны повлияла на восприятие городских детей: «Ну и события переживаем мы, никогда не думала, что придется столько

[1] Школьные сочинения о Первой мировой войне // Российский архив. Вып. 6. М., 1995. С. 458.
[2] Там же. С. 456.
[3] Там же. С. 451.
[4] Дневники сестер Саводник // Новое прошлое. 2016. № 1. С. 207.
[5] Школьные сочинения о Первой мировой войне… С. 452.
[6] Там же. С. 454.

видать и слыхать. Революция, да, великая русская революция», — начала такими словами свою запись за 5 марта 1917 г. Ольга, а октябрьские бои в Москве сопроводила комментарием: «Ну вот, мы и тоже на войне»[1]. Согласно позднейшим воспоминаниям детей, именно революция и Гражданская война заставили их повзрослеть особенно быстро[2].

Таким образом, мы видим, что война неоднозначно повлияла на детей Российской империи. Выводы некоторых современников-«патриотов» о том, что война вызвала воодушевление у детей и тем самым положительно отразилась на их психологическом состоянии, не соответствуют действительности. Вместе с тем и опасения тех педагогов, которые считали, что война приведет к массовому психическому травмированию детей, не подтвердились. Война нанесла психическую травму некоторой части молодого поколения России, для других она имела также неблагоприятные психологические последствия, разрушая привычный эмоциональный климат в семье, но многие сумели адаптироваться к новым условиям. Пострадавшими в первую очередь оказались несколько сотен тысяч детей прифронтовой полосы, беженцы, беспризорники. А. Б. Асташов совершенно справедливо поставил вопрос об их позднейшем участии в Гражданской войне, карательных мероприятиях красных и белых, сталинском терроре. Учитывая, что это поколение начинало иначе относиться к жизни и смерти, в их поведении современники обнаруживали садистические наклонности. Однако подобные изменения в поведении детей не свидетельствовали о полученной психотравме, проявляющейся в психических и неврологических расстройствах, а были следствием адаптации детской психики к условиям военного времени. Следствием подобной адаптации становилось недоразвитое чувство эмпатии, неусвоенность морально-этических норм, характерных для мирного времени. Вероятно, дети средних и зажиточных городских слоев, представители благополучных семей реагировали на войну более спокойно, по отношению к ним нельзя говорить о полученной психотравме, так как на ребенка, живущего в узком кругу своих близких, события «дальнего круга» оказывают меньшее воздействие. Да и психика ребенка более эластична, чем психика взрослого. Поэтому выводы психологов об отсутствии в целом огрубления нравов у учащихся младших и средних учебных заведений представляются вполне оправданными. Вместе с тем уход на фронт отцов и братьев, появление новых бытовых обязанностей, отвлекавших детей от привычного досуга и игр, безусловно, оказывали влияние на их настроение. В эмоциональном отношении увеличивалась доля негативных переживаний, что приводило к ухудшению общего эмоционального климата. Тем самым война оказывала в целом угнетающее воздействие на настроение школьников,

[1] Дневники сестер Саводник // Новое прошлое. 2016. № 3. С. 220, 222.

[2] См.: Дети русской эмиграции. М., 1997.

становилась фактором тревожности, беспокойства. Последующие за ней события — революция и Гражданская война — наложившись на «благодатную» психологическую почву, оказали уже более сильное, разрушающее воздействие на детскую психику в первую очередь по причине ломки привычной повседневности и перевода ее в экстремальное русло.

Тем не менее анализ детского восприятия войны в контексте вопроса о психотравме будет неполным без изучения такого феномена, как подростковый суицид. Парадокс суицида заключается в его амбивалентности, в том, что он в равной степени выступает как форма активного протеста против несправедливости внешнего мира, так и, наоборот, является следствием апатичного, депрессивного состояния. Однако в обоих вариантах истоки детских самоубийств, как показывают случаи рассматриваемой эпохи, демонстрируют наличие семейных неурядиц. Склонность к самоубийству наблюдалась у части детей старшего возраста, как правило, находящихся в пубертатном периоде.

Тема суицида стала весьма популярной в российском обществе начала XX в., заняла значимую часть художественных произведений. Рано повзрослевшая молодежь, увлекшаяся идеей всеобщего осчастливливания, оказывалась в группе риска в первую очередь. Собственно говоря, именно среди молодежи еще в XIX в. развивались народнические революционные, анархические идеи, создавая в среде интеллигенции платформу будущих революционеров. В начале XX в. не только в высших учебных заведениях, но уже и в средней школе полным ходом формировались тенденции бунтарства. В целом поводом к студенческим и школьным волнениям, конечно же, была не столько политическая ситуация в стране, сколько более узкие вопросы университетского и школьного управления, выплаты стипендий, пособий и пр. Цены на учебу постоянно росли, вследствие чего некоторым приходилось прекращать занятия. Для остро чувствующей несправедливость молодежи, начитавшейся французских просветителей, английских утопистов, немецких социалистов и пр., это казалось высшим проявлением социальной дисгармонии. Характерная для этого возраста жажда справедливости толкала их на различные формы протеста. Примечательно, что эпицентром подобного неповиновения выступали отнюдь не политические группы. Инициаторами являлись члены всевозможных литературно-философских кружков, существовавших практически в каждой гимназии, не говоря уже об университетах. Несмотря на тайный надзор полиции, кружки занимались распространением и революционных, чаще социалистических, листовок, брошюр. Изучение философских теорий, перемешанных с восточными мистическими учениями, чтение запрещенной социалистической литературы создавали тот психологический настрой, при котором неудовлетворенная жажда справедливости моментально сменялась извращенным пониманием самопожертвования, доводя психику индивида до критической отметки: юные революционеры, каковыми они себя считали, довольно быстро

расставались с жизнью при малейшей иллюзии крушения своих идеалов или провала запланированных кружком мероприятий. В этом случае молодые люди оставляли после себя предсмертные записки, «объяснявшие» причины самоубийства. Чаще всего это было разочарование в политической системе общества, не способствовавшей гармоничному развитию внутреннего мира человека. Понимая невозможность непосредственного изменения сложившегося уклада, молодые люди предпочитали действовать опосредованно — через суицидальные акты влиять на общественное мнение. С другой стороны, взрослым людям, разбиравшимся в причинах этих происшествий, становилось ясно, что под политическим налетом скрывались более серьезные социально-психологические проблемы, свойственные молодому поколению России начала века, спровоцированные все той же опоздавшей модернизацией общества.

Молодые люди реагировали в соответствии с возрастными особенностями психики — не имея возможности рассчитаться с истинными причинами социально-политической несправедливости, они сводили счеты с собственной жизнью. А. Б. Лярский обратил внимание, что этапы социально-политической самоидентификации молодежи иногда выстраивались в последовательность школьник — революционер — самоубийца[1]. В Петрограде в одной только Введенской гимназии с сентября по ноябрь 1912 г. по подобным «политическим мотивам» совершили самоубийство свыше 45 учеников. В феврале 1912 г. петербургская, а затем и московская пресса начала публикацию серии сенсационных сообщений о действующих в столицах клубах Лиги самоубийц[2]. Хотя эта информация очень сильно напоминала известные циклы рассказов Р. Л. Стивенсона «Клуб самоубийц» и «Алмаз Раджи», сведениями заинтересовалась полиция, которая провела собственное расследование, но так и не сумела собрать убедительных доказательств существования организации[3]. Единственным документом оказалось письмо варшавского студента С. Оглоблина профессору Петербургского университета Н. И. Карееву от 5 апреля 1914 года, в котором он рассказывал, что как-то провел несколько дней в этой Лиге. По свидетельству Оглоблина, в ней состояло 10–15 человек, «юные, мятущиеся души — шесть гимназисток, три студента, два юнкера, три гимназиста 8-го класса»: «Я помню, как они пели гимн смерти и слали укоры грубой жизни… Звали и меня к себе, но я устоял, хотя перспектива близкой смерти меня соблазняла… Недавно получил известие, что две барышни из этой Лиги ушли из жизни. На меня это подействовало самым удручающим образом, потому что с одной из них я очень близко сошелся и выслушивал ее стоны.

[1] *Лярский А. Б.* Самоубийства учащихся как феномен системы социализации в России на рубеже XIX–XX вв. СПб., 2010. С. 183–184.

[2] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1912. 6 февраля; Вечернее время. 1912. 10 февраля; Голос Москвы. 1912. 16 февраля; Земщина. 1912. 16 февраля.

[3] *Могильнер М. Б.* Мифология «подпольного человека». М., 1999. С. 194–196.

В поисках неведомого высшего счастья, в справедливом презрении к житейским устоям, она приготовляла себя к роковому шагу и приняла его, как единственный выход из неизбежной пошлости»[1]. Но ни Департамент полиции, ни Охранное отделение не смогли с помощью своих тайных агентов подтвердить содержавшиеся в письме сведения. Интересно также и то, что, по показаниям «свидетелей», Лига была образована в конце 1900 г., т.е. того года, когда издательство П.П. Сойкина выпустило шеститомное полное собрание сочинений автора «Приключений принца Флоризеля». Вероятно, рассказы о Лиге следует отнести на счет популярной в студенческой среде городской легенды, хотя нельзя исключать попыток некоторых молодых людей ей подражать.

На семиотическом пространстве русской культуры начала XX в. лежала декадентско-символическая печать эпохи модерна, поэтому тема смерти, в том числе и добровольного ухода из жизни, объединяла писателей совершенно разных направлений: М. Арцыбашева, Ф. Сологуба, Л. Андреева, В. Иванова, А. Куприна и др. Двум первым было суждено стать главными «певцами смерти», именно их общественность заподозрила в организации Лиги самоубийств, а написание романа Арцыбашева «У последней черты», посвященного самоубийству семерых человек, хронологически совпавшее с общественными дискуссиями вокруг «эпидемии самоубийств» в 1910–1912 гг., только укоренило общественное мнение в идее причастности литературы к данной социальной проблеме.

Очевидно, что связь семиотического и бытийного пространства многовариантна и характеризуется взаимовлиянием. Семиосфера реагировала на вызовы времени и революционное насилие, террор, охватившие российское общество и отраженные в литературе, кинематографе, изобразительном искусстве, формировала новое мировоззрение, в котором уход из жизни мыслился как акт свободного волеизъявления. Как отметила М.Б. Могильнер, «самоубийство превращалось в альтернативный выход для эстетствующих интеллектуалов из тупика безвременья»[2]. А.Б. Лярский обвиняет писателей начала XX века в том, что утверждаемое в их работах «право на смерть» как итог познания формировало определенную мифологию самоубийства[3]. Однако значительная часть учащихся средних учебных заведений к этой субкультуре прямого отношения не имела, но была связана с ней опосредованно, через общие психофизиологические характеристики, предопределявшие романтическую увлеченность, питавшуюся широко тиражируемыми беллетристикой новомодными идеями декаданса.

Любопытно, что при расследовании причин самоубийств учащихся в анкетах часто указывалось, увлекался погибший беллетристикой или нет. А учитывая, что кинематограф тиражировал идеи той же самой упадочнической литературы,

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 244. Д. 226. Л. 3.

[2] *Могильнер М.Б.* Мифология «подпольного человека»... С. 196–197.

[3] *Лярский А.Б.* Самоубийства учащихся как феномен системы социализации... С. 126–128.

некоторые губернаторы издавали распоряжения, запрещавшие посещение кинематографа детьми ввиду его «разлагающего влияния»[1]. И хотя проследить прямую причинно-следственную связь между кинематографическим суицидом и самоубийством отдельного гимназиста довольно сложно, случались самоубийства детей, потративших причитавшиеся для оплаты квартиры деньги на кино и мороженое[2].

Кроме упомянутой «беллетристической теории», в специальной литературе существовало несколько подходов, объясняющих детские самоубийства: учебный фактор (стрессы как от переводных экзаменов, контрольных работ, так и от психологического давления со стороны учителей), семейные проблемы (жестокое обращение со стороны родственников, непосильные домашние заботы), личные причины (несчастная любовь, ссора с друзьями), ухудшение общей социально-экономической обстановки в стране. Однако у каждого из подходов есть свои существенные недостатки. Так, например, М.Я. Феноменов отмечал, что рост числа самоубийств школьников в начале XX в. шел параллельно с увеличением общего числа детских самоубийств, что едва ли позволяет говорить о доминировании учебного фактора среди причин суицидов[3]. Хотя самоубийства детей в возрасте до 20 лет и составляли до 42% от всех случаев, из них на самоубийства учащихся приходилось не более 10%[4], что заставляет усматривать преобладание психолого-возрастных особенностей над социальным фактором. Д. Жбанков, Н. Григорьев и другие, изучая самоубийства, группировали их по причинам. Однако в этом случае исследователь становился заложником всей системы расследования, участниками которой являлись члены педагогического совета школы, полиция, семья, врачи и духовенство. Церковь не прощала грех самоубийства и запрещала совершать православный обряд отпевания, но при этом делала исключения для тех, кто покончил с собой в состоянии психического расстройства, поэтому при расследовании причин самоубийства нередко присутствовал негласный сговор полиции, педагогов, врачей и членов семьи покойного, стремившихся представить самоубийство временным умопомешательством. При этом самоубийства гимназистов, имевшие ряд общих признаков, вполне можно выделить в отдельную категорию.

Начало Первой мировой войны проявилось в феномене детского суицида неоднозначно. С одной стороны, бурные события должны были отвлечь внимание молодежи от прежних проблем, предоставить новые темы для рассуждений. С другой стороны, переживаемая деревней трагедия мобилизации не могла не отразиться на впечатлительной детской натуре. Так, в августе в селе Поповка Полтавской губернии случилось коллективное самоубийство: счеты

---

[1] РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Д. 221. Л. 1–2.

[2] РГИА. Ф. 733. Оп. 199. Д. 328. Л. 156.

[3] *Феноменов М.Я.* Причины самоубийств в русской школе. М., 1914. С. 24.

[4] Статистик. Самоубийство как социальное явление. СПб., 1913. С. 142–143.

с жизнью свели два друга, учащиеся двухклассного Петровского земского народного училища Дорофей Олексенко, 15 лет, и Иван Черненко, 14 лет. Священник Николаевской церкви села Поповка в рапорте от 17 августа 1914 г. обратился с просьбой в епархиальное начальство о разрешении ему совершить отпевание несчастных по христианскому обряду, предполагая, что самоубийства «произошли в состоянии острого психоза, вызванного обстоятельствами войны, которые особенно сильно могли подействовать на душу самоубийц, а именно: неожиданно большой призыв запасных в селе Поповке, вызвавший столько слез и воплей, что жутко стало в селе; потрясающие сцены проводов запасных со станции города Константинограда, где нельзя было удержаться от слез… чтение газет, ярко изображающих жестокое обращение немцев с русскими»[1]. Дело это рассматривалось вплоть до октября следующего года, и в итоге священнику отказали, так как епископ Полтавский и Переяславский Феофан, а также вслед за ним и Синод не сочли доказанным то, что самоубийство произошло в приступе безумия.

Любопытно, что расследования самоубийств были тем редким случаем, когда общество в лице семей погибших и их близких могло испытывать к полиции благодарность: когда не было явных улик, указывающих на самоубийство, полиция иногда предпочитала оформить происшествие в качестве несчастного случая, чтобы родственники могли захоронить погибшего по православному обряду. В случаях с повешенными подсказывали близким, что обойти церковные нормы можно, добыв врачебную справку о сумасшествии самоубийцы. Но даже в этом случае последнее слово оставалось за священником, который мог пойти против полиции и врачей, настояв, что имело место самоубийство во вменяемом состоянии.

Как уже было отмечено, влияние войны на детскую психику было неоднозначным. Бурные события первых военных месяцев для некоторых потенциальных суицидентов стали своего рода разрядкой, что подтверждается статистическими данными. Так, например, в Москве ежемесячно с января по июль 1914 г. сводили счеты с жизнью в среднем 32,4 человека, в то время как за период с августа по декабрь — «всего» 13,4[2]. Снижение суицидальной активности почти в два с половиной раза произошло во многом за счет молодежи, внимание которой теперь полностью было поглощено событиями на фронте. В средних и высших учебных заведениях создавались различные союзы молодежи, устраивались заседания, выносились резолюции по различным общественно-политическим вопросам, организовывались манифестации, и все это отвлекало молодых людей от дурных мыслей. Московская студентка Е. Ушакова писала своей знакомой в Пермь: «Не знаю как в Перми, а здесь

[1] РГИА. Ф. 796. Оп. 201. Отд. 6. 2 ст. Д. 82. Л. 7 об.
[2] Подсчитано по: Ежемесячный статистический бюллетень по г. Москве. 1914.

студенчество уже зашевелилось. Вчера, на собрании „Студенческого дома“ было сделано внеочередное заявление о докладе Керенского в Юридическом Обществе о последних событиях в Петрограде… Вообще, жизнь здесь начинает быть интересной и я решила на время отложить попытку повеситься: интересно, что будет»[1].

Однако общественное оживление оказало лишь кратковременный эффект на тех, для кого мысль о самоубийстве становилась навязчивой. За период войны встречается достаточно много писем подростков-суицидентов, в которых они жалуются на скуку, бессмысленность существования. Так, покончила жизнь самоубийством семнадцатилетняя Юлия Скляренко, ученица 7 класса Валуйской Мариинской женской гимназии Воронежской губернии. В отчете отмечалось, что девушка застрелилась без видимых на то причин, так как училась хорошо, романа не имела, но жила без отца. Кроме того, на фронте воевал ее брат, с которым она всегда была близка, откровенна. Накануне самоубийства Юля написала ему письмо: «Дорогой милый мой Коляша, братишка мой, так тяжко, бесконечная тоска захватывает своими щупальцами и давит сердце. И без причины бы; мутно, мутно на душе; не верю и не надеюсь ни на что; просто скучны мне все и все до тошноты. Ничего неожиданного, неизвестного; пресно, как вода, и известно, размечено, распределено. Все закономерно и регулярно, как машина. Знаешь, что вчера, сегодня и завтра одно и то же; что Волга вспять не потечет (из разнообразия хотя бы), что лампа — это лампа и папироса — папироса, и не в силах обмануть себя и принять папиросу за лампу. Даже вот иллюзий нет. Брр! Какая серая скука заползает во все уголки пустой души, как холодные змейки свернулись там клубком и лежат, лежат неподвижно, одинаковые, бесцветные»[2]. Перед самоубийством, тихонько взяв револьвер, Юлия сказала мальчику-квартиранту: «Скоро ты услышишь большую новость» — и, выйдя во двор, застрелилась. Очевидно, данное состояние Ю. Скляренко было вызвано ее субъективно-личными переживаниями. Нельзя не учитывать и образовательного фактора: с получением новых знаний у ребенка усиливается контраст между открывшимися границами, горизонтами (в том числе почерпнутыми из литературы) и собственной размеренной жизнью в провинциальном городе. Следует отметить высокий образовательный уровень жителей небольшого провинциального Валуйка: только в 1916 г. в Валуйском уезде Воронежской губернии было открыто 20 учебных заведений. Мариинская же гимназия, где училась Скляренко, считалась наиболее престижной.

Приведенное письмо Скляренко важно для понимания особенностей восприятия окружающей реальности, общественных событий, подростками.

---

[1] ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1047. Л. 29.
[2] РГИА. Ф. 733. Оп. 199. Д. 360. Л. 65.

Строчки Юлии о скуке, закономерности и регулярности происходящего вокруг, о том, что известно, что «вчера, сегодня и завтра одно и то же», вряд ли позволят читателю догадаться, когда было написано письмо. А писала его школьница в июле 1917 г. — когда стремительность происходивших в стране событий не позволяла строить четких планов даже искушенным политикам. Однако девушка жила в своем собственном мире личных переживаний. При этом ее старшая современница московская студентка Е. Ушакова, как уже выше отмечалось, наоборот, под впечатлением от забурлившей жизни отложила намерение повеситься. Причинами таких разных реакций могут быть различия в возрастной психологии (Ушакова студентка, а Скляренко школьница), индивидуального психотипа, провинциальной и столичной жизни.

В отличие от «сумасшествия» как причины суицида более вероятным фактором являлось переутомление от учебного процесса и связанный с ним «сбой» в обучении, плохие отметки, провал экзамена или недопущение до выпускных испытаний. Получение гимназического аттестата давало право поступления в высшее учебное заведение и открывало возможности для карьерного роста, позволяло преодолеть некоторые сословные ограничения, поэтому препятствия на данном пути мыслились молодежью как настоящая катастрофа. Однако при детальном изучении каждого дела становится ясно, что за подобным «сбоем» в процессе обучения стояли куда более болезненные для детской психики проблемы: насилие в семье, отсутствие внимания со стороны родителей, обязанность выполнять непосильную работу по содержанию неполной семьи и т. д. В этом случае неудача в школе являлась не более чем катализатором принятия решения свести счеты с жизнью.

Кроме того, в начале XX века наблюдалась общая тенденция к росту числа суицидов. Как отметил М. Я. Феноменов, с 1880 по 1904 год абсолютное количество самоубийств росло параллельно увеличению населения, но с 1906 года их относительный коэффициент возрос в полтора раза[1]. Главными «поставщиками» самоубийц были крупные города. Если в 1910 году коэффициент суицидов на один миллион жителей составлял для всей России 46 случаев, а для Европейской части — 49, то для Московской губернии он равнялся 70, а для Санкт-Петербургской — 116[2]. При этом сохранялась тенденция к увеличению: количество самоубийств в Санкт-Петербурге с 1903 по 1910 год возросло в 4,7 раза, в Москве — в 3,5, в Одессе — в 11,6[3].

Публицисты били тревогу и в связи с ростом числа детских самоубийств. В столице их доля увеличилась с 10% в 1904 г. до 18% в 1912 г.[4] Отчасти это можно связать с особенностями воспитания в так называемой нуклеарной семье,

---

[1] *Феноменов М. Я.* Причины самоубийств в русской школе… С. 24–25.

[2] Там же. С. 27.

[3] Там же. С. 34.

[4] Там же. С. 53.

формировавшейся именно в городах, во многом вследствие социально-экономической модернизации России. Об этом, как о возможном факторе роста числа самоубийств, писали известный юрист А.Ф. Кони[1] и врач Г.И. Гордон. Последний, в частности, отмечал в 1912 г., что рост детских самоубийств «находится в теснейшей связи с тем тяжелым и затяжным социально-экономическим кризисом, который переживает Россия в последние годы»[2].

Впрочем, в историографии существует обоснованное мнение, что рост зафиксированных статистикой самоубийств школьников отражает лишь возросшее внимание к ним со стороны общественности и Министерства народного просвещения (с 1904 г. Министерство народного просвещения начинает регулярно собирать сведения по самоубийствам учащихся). Вместе с тем А.Б. Лярский, критикуя статистику детских самоубийств, не отрицает в целом роста их числа в начале XX в., однако при этом пытается ответственность за детский суицид переложить на российскую интеллигенцию, которая в педагогических изданиях навязывала детям, в соответствии с «имплицитной теорией личности», собственные социальные каноны[3]. Современники, в частности К.И. Чуковский, также критиковали «буржуазную педагогическую систему», считая, что она посредством выпуска детских журналов воспитывает «онаниста и потенциального самоубийцу»[4]. Соглашаясь с тем, что суицид в ряде случаев является следствием когнитивного конфликта между реальностью и собственными образами, представлениями о ней, едва ли можно в качестве единственной причины называть систему воспитания, тем более что среди суицидентов рассматриваемого периода были дети совершенно разных сословий. Весьма любопытные данные о причинах самоубийств несовершеннолетних по Петербургу и Москве на 1909 г. привел В.К. Хорошко. Согласно его статистике, у девушек 40% суицидов произошло по сексуальным причинам, на втором месте — семейные (25%), у юношей на первом месте (30%) социально-экономические причины, на втором также семейные (15,6%)[5]. По-видимому, феномен суицида школьников следует изучать в контексте кризиса детской повседневности, связанного как с субъективными, так и с объективными факторами.

Основными сферами повседневного существования учащихся были дом и школа, в меньшей степени — улица с ее «взрослыми» соблазнами, самостоятельностью. Сфера школы была строго организована, структурирована, предлагала учащимся в процессе их социализации очевидную последовательность действий. Вместе с тем широкий круг общения, куда входили не только

---

[1] *Кони А.Ф.* Юридический и бытовой характер самоубийства // Право и жизнь. 1923. № 1.
[2] Русская мысль. 1912. 10 мая.
[3] *Лярский А.Б.* Самоубийства учащихся как феномен системы социализации… С. 31, 237–239.
[4] Цит. по: *Лярский А.Б.* Самоубийства учащихся как феномен системы социализации… С. 239.
[5] *Хорошко В.К.* Самоубийства детей. М., 1909. С. 71–75.

сверстники, но и учителя, и имевшие место со стороны последних карательные санкции, делали эту сферу повседневности «чужой», в отличие от «дома», в котором можно было скрыться от внешних проблем в кругу близких людей. Однако когда «дом» терял свои охранительные функции в силу семейных неурядиц, а «школа» более не предлагала ясной последовательности действий в случае угрозы исключения или даже оставления на второй год, ребенок искал альтернативные выходы, стремился к упорядочиванию-упрощению своего пространства повседневности, что нередко приводило к самоубийству. Начавшаяся Первая мировая война, ломавшая привычную повседневность, создавала условия для роста суицидальной активности школьников.

Распространенным было сведение счетов с жизнью подростков, которых родители не отпускали на фронт. Здесь также переплетались наивные юношеские мечты стать героем и желание разрушить приевшийся, наскучивший быт, особенно тогда, когда он выступал источником тех или иных проблем. В последнем варианте желание уйти на войну можно рассматривать как бегство от текущих проблем. Так, в ночь на 8 января 1915 г. повесился ученик VI класса Екатерининско-Александринской Луганской мужской гимназии девятнадцатилетний Сергей Сахновский. Директор гимназии поручил помощнику классных наставников А. Альбрехту разобраться в причинах, и тот в рапорте сообщил со слов отца самоубийцы, священника Сахновского, что причиной стал его категорический отказ отпустить сына в действующую армию до сдачи экзаменов за VI класс, для чего священник Сахновский отобрал у сына паспорт. При этом отец не был против ухода сына на фронт после сдачи всех экзаменов, в связи с чем еще 23 декабря 1914 г. подал письменное прошение о своем согласии на допущение сына к испытаниям в январе и на поступление его добровольцем в армию. Сам же Сергей не только не подал письменное прошение о допущении его к ускоренным испытаниям, но даже устно не заявил о том администрации гимназии. Скорее всего, затея с уходом в армию была вызвана именно боязнью экзаменационных испытаний вкупе с домашними неурядицами. Как стало известно, священник Сахновский был вдов и один воспитывал шестерых несовершеннолетних детей. С Сергеем у него складывались самые сложные отношения. В рапорте о случившейся трагедии Альбрехт отмечал: «К сему должен добавить, что условия домашней жизни бывшего ученика 6-го класса Сахновского вообще были в высшей степени неблагоприятны, и между отцом и сыном давно установились не столько молчаливые, сколько обостренные и даже враждебные отношения, о чем приходится слышать и от членов учебно-воспитательной корпорации, и от товарищей ученика, и от сторонних лиц»[1]. Усугубляла обстановку и низкая успеваемость Сергея: в 1912 г. он был оставлен на второй год в IV классе, при переходе в V и VI классы

[1] РГИА. Ф. 733. Оп. 199. Д. 328. Л. 54.

имел «хвосты» по некоторым предметам; в его кондуите содержались замечания по поводу курения на улице, дурного поведения вне стен гимназии, общения с хулиганами. Мысль об уходе в армию добровольцем пришла Сергею сразу с началом войны, о чем он и начал упрашивать отца. Но Сахновский-старший был непреклонен и требовал от сына получить сначала свидетельство хотя бы за шесть классов.

Характерным было суицидальное поведение у детей беженцев, особенно некоренной нации. 7 февраля 1915 г. в г. Андижан Ферганской области в городском саду пыталась покончить жизнь самоубийством, выпив раствор карболовой кислоты, шестнадцатилетняя ученица Андижанской женской прогимназии еврейка Сара Непомнящая[1]. Как отмечалось в протоколе, вероятной причиной являлись частые ссоры с больной матерью из-за плохой успеваемости Сары. Девушку удалось спасти. В феврале 1916 г. председатель педагогического совета Черкасской женской гимназии А. В. Самойлов сообщал в Министерство народного просвещения о покушении на самоубийство 16 ноября 1915 г. ученицы VII класса Любови Кабаловой, выпившей раствор нашатырного спирта. Причиной покушения на самоубийство, согласно оставленному ученицей письму, было беженство, а также удрученное состояние в связи с гибелью на войне жениха — военного летчика. Люба приехала в Черкасск из г. Пинска Минской губернии и до несчастного случая училась в гимназии менее месяца. Попытка суицида не удалась, и девушка осталась жить[2]. Директор народных училищ Петроградской губернии писал в Министерство народного просвещения о суициде ученика Нарвского высшего начального училища шестнадцатилетнего эстонца Эдуарда Лемона. Он был круглым сиротой, жил в собственном доме вместе с беженцами. На перемене между занятиями выбросился из окна второго этажа. Причинами самоубийства назывались тяжелый быт и плохая успеваемость юноши[3].

Нельзя не учитывать и того, что покушения на самоубийство подчас выступали как форма шантажа. Давно замечено, что выбранный способ ухода из жизни связан с силой желания расстаться с жизнью: как правило, те, кто пытается отравиться, до последнего надеются на спасение. 15 марта 1915 г. Станислава Суботковская, учащаяся Пинской женской гимназии, решила свести счеты с жизнью в здании гимназии. Накануне она написала несколько прощальных писем. Одно из них, самое подробное, было адресовано учителям гимназии. В нем девушка просила никого не винить в своей смерти и описывала свои бытовые тяготы: вынужденные занятия репетиторством, чтобы прокормить семью, ухаживание за больным отчимом, малолетней сестрой,

---

[1] РГИА. Ф. 733. Оп. 199. Д. 328. Л. 162.

[2] Там же. Л. 106–111.

[3] Там же. Л. 51 — 51 об.

в результате которых она отставала в школе и в конце концов не была допущена к экзаменам. «Как Вы бы поступили на моем месте? Что бы Вы сделали? — задавалась вопросами Станислава. — Сгореть со стыда или умереть. Одно из двух. Умереть, значит хоть немного сделать добра своим подругам потому что будут легче экзаменовать, если не захотят новых самоубийц, которыя еще не говорят, как и я до последней минуты… Мне очень хотелось окончить вместе с Вами гимназию. 1 мая быть свободной и вольной птичкой. Но увы? Судьба иначе решила и так должно быть»[1]. Вероятно для усиления эффекта Суботковская просила не нести ее тело домой, а похоронить на территории гимназии. Впрочем, на письме имелись следы слез, поэтому нет сомнений в общей искренности переживаний девушки. Однако автор письма не хотела умирать, а потому ее покушение на самоубийство во многом преследовало цель привлечь к себе внимание. 19 марта 1915 г. она явилась в гимназию и выпила морфий, тут же сообщив об этом учительнице. Врачи из соседнего госпиталя, которых вызвала учительница, сделали ученице промывание желудка (в котором следов морфия обнаружено не было). Протокол заседания педагогического совета Пинской женской гимназии заканчивался следующим описанием: «Явившийся же ок. 6 часов вечера гимназический врач нашел покушавшуюся на отравление воспитанницу с приподнятым и возбужденным настроением: пообедав, она громко и оживленно беседовала с сестрой милосердия и много пела. Так как родители ученицы были в отъезде для лечения в Петрограде, и она требовала за собой еще наблюдения, то главная надзирательница взяла Суботковскую на свою квартиру, где она и находится до настоящего времени, не изъявляя ни малейшего желания отправиться в свой дом». Так как у Суботковской были неудовлетворительные отметки по русскому языку и геометрии, она не была допущена до экзамена, но, учитывая обстоятельства, ей в виде исключения разрешили сдать выпускные экзамены в августе.

Детские самоубийства, как вызывавшие повышенный эмоциональный отклик у читателей, в условиях разворачивавшихся пропагандистских кампаний нередко использовались в политических целях. Так, во время разгоравшейся германофобии пристальное внимание в школах уделялось учителям немецкого языка, использование которого де-факто было запрещено в публичных местах. Общественность, реагируя на сообщения о самоубийствах детей, традиционно винила в этом педагогическую систему. Однако в период войны внимание российских подданных было особенно приковано к вопросу, по каким именно предметам не успевал ученик. Если оказывалось, что учащийся имел низкую успеваемость по немецкому языку, то на преподавателя обрушивалась травля, заканчивавшаяся, как правило, его увольнением.

---

[1] Там же. Л. 327—330 об.

Подобная история разыгралась в Мелитополе Таврической губернии 3 марта 1915 г., когда ученица VII класса городской женской гимназии Вера Ефимова застрелилась из револьвера. В тот день Вера на уроке письменного немецкого языка была поймана за списыванием преподавательницей Е. Ф. Фидлер. Фидлер отобрала у ученицы листок со словами: «Я полагала, что в 7-м классе на письменном ответе могу сидеть спокойно, в полной уверенности, что ученицы при исполнении работы ни в коем случае не позволят себе пользоваться недозволенными средствами… Вы же, Ефимова, позволили себе попытку обмануть меня. Я думала, что вы девушка честная, оказывается, я ошиблась. Вы поступили нечестно, и я вынуждена доложить об этом г. директору»[1]. Вера упрашивала учительницу не сообщать директору, но та ничего определенного ей не обещала. Правда, Фидлер позволила Ефимовой переписать работу еще раз, но Вера по результатам получила только 3 балла. Хотя по показаниям подруг она на следующих уроках была совершенно спокойна, придя домой, рассказав о случившемся брату, Вера получила ответ, что за списывание могут и исключить из гимназии. После этого она застрелилась. Начальница мелитопольской женской гимназии в показаниях предположила, что истинные причины самоубийства были семейные: «Разговаривая со многими лицами о причинах самоубийства Ефимовой, мне пришлось не раз слышать указания на семейные отношения, главным образом отца к матери, правда, как слухи. Сообщали, будто бы сын просил отца и мать прекратить ссоры, иначе он покончит с собой. Говорили также, что когда сын узнал о самоубийстве своей любимой сестры, он крикнул: „Ты меня предупредила. Виноват отец“»[2]. Однако история стала достоянием гласности, ее принялись освещать в провинциальной печати, и скоро она появилась даже в петроградском «Новом времени» с новой интерпретацией произошедшего на уроке диалога между учительницей и ученицей: «…А, у вас шпаргалка!.. — злобно прошипела г-жа Фидлер. — Ну, голубушка, не считала вас способной на такую мерзость. Конечно я доложу об этом педагогическому совету… Но не беспокойтесь, — наказания вам за это не будет: за такие вещи только исключают из гимназии…»[3] Статья заканчивалась словами: «Г-же Фидлер следовало бы действовать в рядах генерала Гинденбурга, а не занимать место в русской школе». Тем не менее председатель педагогического совета мелитопольской женской гимназии в своем заключении причинами самоубийства назвал «неблагоприятные домашние обстоятельства», сославшись на показания ее близкой подруги Ронько, которой не было на уроке немецкого и которая о случившемся узнала от самой покойной: «Ронько, встретившись с Ефимовой после урока на перемене, ничего ненормального в ее настроении не заметила, и о самом случае

---

1 РГИА. Ф. 733. Оп. 199. Д. 328. Л. 286 — 286 об.

2 Там же. Л. 293.

3 Там же. Л. 297.

Ефимова ей рассказала настолько спокойно, что Ронько не придала ему никакого значения»[1]. Однако в докладе попечителя Одесского учебного округа от 27 мая 1915 г., наоборот, утверждалось, что случай на уроке немецкого произвел на девочку очень сильное впечатление; родительский комитет также решил, что поводом к самоубийству Веры явилось «грубое, жестокое, бессердечное издевательство, проявленное над нею г-жей Фидлер на уроке немецкого языка». В результате председатель педагогического совета изменил свои показания, дополнив их новой характеристикой Фидлер, в которой отметил: «Фидлер женщина неумная, всегда нетактичная, отличается самомнением, что объясняется недостатком ее умственного кругозора, который, однако, не имеет влияние на ее преподавание»[2]. Примером нетактичности указывалось то, что учительница немецкого языка Фидлер иногда в учительской позволяла себе говорить по-немецки. Правда, новая характеристика дела не спасла председателя: итогом раздутого в обществе скандала стало увольнение Фидлер, освобождение от должности председателя педагогического совета статского советника Александровского и объявление строгого выговора начальнице гимназии г-же Петровой.

Другим веянием военного времени стало разнообразие категории самоубийств, совершавшихся на романтической почве, — появились самоубийства по причине обреченной любви между русскими девушками и офицерами. Учебные заведения поощряли переписку учащихся с воинами, но это могло приводить к нездоровым отношениям. Так, в июле 1917 г. в Таганроге покончили жизнь самоубийством (бросились в море) две гимназистки, оставленные на второй год. При этом у одной из них оказался дополнительный фактор — невзаимная любовь к офицеру[3]. Коллективные самоубийства не были редкостью. Некоторые психологи склонны были объяснять их тягой к подражательности, усматривая в них порой эпидемический характер.

Еще более трагичной для школьниц оказывалась любовь к австрийским пленным. Нужно сказать, что правительство активно боролось с нехваткой рабочих рук в городах и особенно в деревне путем привлечения к работам военнопленных, главным образом австрийцев, казавшихся более лояльными России, нежели немцы. По сведениям Главного управления Генерального штаба, к 1 сентября 1915 г. в разного вида работах было задействовано 553 247 военнопленных[4]. Первоначально военнопленные привлекались лишь к казенным и общественным работам, но с 1915 г. новые правила предусматривали использование их труда в частных хозяйствах[5]. Пленные в городах

[1] Там же. Л. 295 об. — 296.
[2] Там же. Л. 304.
[3] РГИА. Ф. 733. Оп. 199. Д. 360. Л. 58–59.
[4] Земледельческая газета. 1915. № 44. С. 1215.
[5] Земледельческая газета. 1915. № 6. С. 169.

прикреплялись к предприятиям, выходили на полевые работы в деревнях, свободно общаясь с местными жителями и в отдельных случаях не имели препятствий к перемещению внутри назначенного для поселения административного центра. Такое положение военнопленных возмущало обывателей. Один из них писал из захваченной русскими войсками Галиции в декабре 1914 г.: «Что делается во Львове, так просто поражаешься: пленные гуляют себе по улицам без всякого присмотра, народу разного сколько угодно; никто ни за чем не смотрит, и воображаю, сколько там немецких шпионов»[1]. Осенью 1915 г. корреспондент «Земледельческой газеты» возмущался бескультурьем пленных боснийцев, которое проявлялось в требовании восьмичасового рабочего дня[2].

В российской глубинке к пленным относились спокойнее, скорее с любопытством, чем с подозрением в шпионаже. В сельской местности русские бабы, мужики и пленные австрийцы вместе устраивали перекуры в поле, сидели на мельницах, ожидая своей очереди, беседовали на различные темы. Местная администрация положительно оценивала их работу. Так, предводитель дворянства г. Аткарск Саратовской губернии фон Гардер писал в апреле 1915 г.: «У нас сев идет благополучно и не дорого благодаря военнопленным; они работают недурно»[3].

В условиях острого дефицита мужского населения брачного возраста русские девушки воспринимали пленных как потенциальных женихов. Причем препятствием не считались не только национальная принадлежность, но даже сочувствие пленных врагам России в войне. Некоторые девушки под воздействием слов своих возлюбленных заражались коллаборационистскими настроениями. Так, молодая мещанка из Барнаула Анна Косачева, влюбившаяся в пленного австрийского офицера Костю, говорила в апреле 1915 г.: «Надо застрелить нашего государя и всех союзных, тогда кончится война, и я с Костей поеду во Львов, где и будем подданными Франца Иосифа»[4].

Трагическая история любви русской девушки, ученицы VII класса Бирюченской женской гимназии Харьковского учебного округа Марии Веретенниковой к пленному австрийскому офицеру Людвигу случилась летом — осенью 1915 г. Из составленного по результатам расследования причин ее самоубийства отчета окружного инспектора, действительного статского советника В. В. Шихова, не лишенного определенного литературного дара, мы узнаем о деталях этой трагедии. Свой художественно-оформленный отчет Шихов начал с описания города, в котором росла М. Веретенникова: «Бирюч — один из маленьких захолустных городков Воронежской губернии. Хотя он и расположен близ

---

[1] ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1003. Л. 6.
[2] Земледельческая газета. 1915. № 43. С. 1184.
[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1005. Л. 82.
[4] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 362.

железной дороги, всего 14 верст в сторону, но этот небольшой проселок по мягкому суглинку, среди волнистой степи, в осеннее и весеннее время становится почти непроходимым. Сам городок, расположенный на скате холмов и в ложбине, около полузаросшей тростником речки Сосенки, похож более на большое разбросанное село, с громадною, неровною, грязною бесконечной площадью около старинной церкви. Дома строились, вероятно, без всякого плана. Всякий соблюдал свои удобства. На немощеных улицах грязь подходит к самим зданиям, так что пешеход должен прямо без разбора идти в липкую жидковатую грязь. Извозчиков не существует. Общественная жизнь развита слабо, все живут замкнуто». Характеризуя Веретенникову, статский советник отмечал, что «она всегда чувствовала потребность заглянуть за этот горизонт, который отделял Бирюч от остального мира». Далее инспектор переходил к тому, какое оживление в городе вызвало прибытие австрийских пленных офицеров: «Офицер из Западной Европы. Это представитель той нации, которая, завладев всеми науками, искусствами и воспользовавшись их силами, задумала покорить себе весь мир. Это люди высшей расы, их ездят смотреть далеко за моря, а они сами явились в Бирюч. Воистину было что-то сказочное! Нужно было хоть посмотреть на них издали. Оказалось, что некоторые из них даже говорят, хотя и ломаным, но русским языком — понять их можно». Веретенникова знакомится с одним из них и между ними начинается тайная переписка, оба признаются друг другу в любви. В переписке с австрийцами участвовали и другие воспитанницы, и до Веретенниковой доходят известия, что ее офицер общается с еще одной ученицей. Между ними происходит ссора, но офицер убеждает Марию, что любит только ее. Однако после устроенного у пленных австрийцев обыска вся корреспонденция попадает в руки воинскому начальнику, который ставит в известность классную надзирательницу Александровскую. Последняя вызывает Веретенникову и отчитывает ее. Шихов попытался воссоздать психологическое состояние гимназистки по воспоминаниям ее подруг, восполняя пробелы своей фантазией: «Все расходятся и Веретенникова прощается со своими двумя подругами и выйдя из гимназии остается одна сама с собой, среди полумрака туманного, неприветливого, холодного осеннего вечера с лихорадочно разгоряченной головой. Ужас ее положения представляется во всей полноте ее воспаленному воображению. За несколько часов перед тем полная жизни, счастливая, гордая своим счастьем и чудными мечтами о будущем, никогда не знавшая горя, Веретенникова вдруг очутилась одна, несчастная, осмеянная, униженная, покинутая, чуждая всем. Чудный мир, с которым она сжилась, сроднилась — исчез навсегда, прежнее уже не интересовало ее — она уже не жила в нем, она отстала от него и он ее не понимал. Она одна, кругом пусто. Куда идти, куда деться от этой давящей пустоты, от сосущей сердце тяжкой обиды, которой никто в мире не поймет. Что может принести ей завтрашний день? И вот этот ужас полного

отчуждения от всего охватил бедную лихорадочно разгоряченную голову девушки и произвел в ней тот страшный таинственный переворот, когда инстинкт жизни исчезает, когда всем существом овладевает навязчивая идея освободиться от гнета жизни и когда внешние чувства не в силах бороться против новой могучей силы»[1].

Любопытно, что первоначальная интерпретация трагедии, предпринятая местным приставом Курепиным, переносила акцент с романтической составляющей истории на педагогическую ошибку, допущенную начальницей гимназии Сагатовской. В протоколе мы читаем: «1915 года октября 25 дня пристав 2-го стана Бирюченского уезда Курепин составил настоящий протокол о нижеследующем: сего числа ко мне в канцелярию явился крестьянин слоб. Землянщины, Засосенской волости Илья Захарович Веретенников, проживающий в г. Бирюч в собственном доме и заявил, что 23 октября с. г. около 5 часов вечера начальница Бирюченской женской гимназии для личных переговоров в гимназию вызвала его дочь ученицу VII класса Марфу Веретенникову. После переговоров с начальницей гимназии его дочь Марфа домой не явилась и в этот вечер неизвестно куда скрылась. Через расспросы учениц он выяснил, что некоторые ученицы, в том числе и его дочь Марфа Веретенникова, вели любовную переписку с военнопленным австрийским офицером, и когда об этой переписке узнала начальница гимназии, то сейчас же послала за его дочерью Марфой Веретенниковой и потребовала выдать все письма, которые она получила от военнопленных австрийских офицеров. Познакомившись с содержанием писем, начальница гимназии стала запугивать его дочь, что она уволит ее из гимназии по волчьему билету, здесь на эти слова его дочь заявила, что ее больше в гимназии она не увидит, и вышла из комнаты. Вследствие чего он просит произвести розыск его дочери и допросить начальницу гимназии»[2]. Педагогический совет гимназии именно Сагатовскую обвинил в смерти девушки, однако инспектор Шихов с таким выводом не согласился. Вероятно, исследуя детские самоубийства, в которых роль иррационально-чувственного несоизмеримо выше, чем в самоубийствах взрослых людей, необходимо учитывать весь комплекс объективных и субъективных причин, выделяя психофизиологические возрастные особенности. Конечно, в этом случае повышенная ответственность ложится на педагогический коллектив. Тем не менее Шихов был совершенно прав в том, что сам сюжет романтических отношений между девушками-крестьянками и пленными офицерами играл важную роль, был весьма распространенным в годы Первой мировой войны.

Разбирая самоубийства школьников в каждом отдельно взятом случае, мы можем выделить несколько интенциональных пластов, которые, обретая

[1] РГИА. Ф. 733. Оп. 199. Д. 328. Л. 7—14 об.
[2] Там же. Л. 24.

общий вектор и вступая во взаимодействие, приводили субъекта к суициду: здесь и природная впечатлительность, эмоциональность ребенка (то, что нередко относили к психической неуравновешенности), семейные неурядицы и бытовые проблемы, не позволявшие «дому» стать той сферой повседневности, в которой можно скрыться от внешних проблем (ломка структур повседневности как фактор самоубийств учащихся), препятствия в системах социализации индивидов (угроза исключения из гимназии), психолого-возрастные особенности учащихся, заставлявшие, в частности, болезненно переживать неудачи на романтической почве, и др. В связи с этим Первая мировая война не стала в пространстве детской повседневности главным фактором самоубийств, хотя наблюдались даже случаи коллективного сведения счетов с жизнью подростков под воздействием тяжелых сцен проводов родственниками запасных на фронт[1]. Война скорее подготовила ряд испытаний, которые при прочих условиях могли оказаться поводом к добровольному уходу из жизни.

* * *

Изучая «патриотические» действия в период мобилизации и первых месяцев войны, нельзя однозначно констатировать единение власти и общества. В первую очередь настораживает организованный характер мероприятий, к которому приложили руку «союзники» — монархисты. Кроме того, ход патриотических демонстраций обнаруживает сходство с массовыми протестами кануна войны — роль эмоционально-аффективного поведения не позволяет говорить о высокой степени патриотической или национальной сознательности участников. Разгром германского посольства демонстрирует преобладание тех же инстинктов толпы, что действовали и во время рабочих беспорядков, и во время бунта призывников. Случаи последнего к тому же демонстрировали сохранение революционного духа и политических идей: с так называемыми «пьяными» беспорядками мобилизованных были связаны случаи оскорбления политических символов империи, включая уничтожение портретов императора. Вместе с тем пропаганда всеми силами стремилась нарисовать картину патриотического единения власти и общества. Печать сообщала, что мобилизованные отправляются на призывные участки с осознанным чувством долга. Эта картина не соответствовала реальности, вызывала возмущение в народной среде, для которой мобилизация в первую очередь была горем, трагедией. Именно негативные эмоции — грусть, страх, ненависть — определяли эмоционально-психологическую атмосферу этого периода. Социально-стратификационный подход подтверждает этот вывод: солдаты, рабочие, крестьянство, студенчество, женщины и дети во многом негативно восприняли начало войны.

[1] РГИА. Ф. 796. Оп. 201. Д. 82. Л. 7—7 об.

В некоторых случаях война, вскрывая несовершенство политической системы, становилась причиной революционизирования населения, в котором большую роль играло эмоциональное восприятие событий. Отдельные группы населения, особенно чутко реагируя на несправедливость внешнего мира, проникались оппозиционными настроениями, протестуя против различных форм насилия. Война не столько стала фактором единения, сколько породила источники для новых социальных проблем и конфликтов и тем самым сыграла разъединяюще-деструктивную роль. Как ни странно, следующий после лета 1914 г. сопоставимый по силе бурливших страстей патриотический всплеск пришелся на февраль — март 1917 г. Эти два всплеска находились в своеобразной оппозиции: патриотический подъем российской революции был направлен в том числе на преодоление искусственной пропагандистско-патриотической мифологии, с помощью которой власти безуспешно пытались сплотить российское общество, полное противоречий. Об этом подробнее — в следующих разделах.

Раздел 3

Слово

Устная деревенская культура и война

Рассмотренные примеры социальной активности отражают массовые настроения определенных групп населения, однако в ряде случаев они выражаются бессознательно. Поведение человека в толпе очень часто оказывается подчиненным инстинкту подражания, а также эмоционально-психической контагиозности. В этом случае между словами и поступками индивидов могут быть расхождения. Обращение к вербальным источникам изучения массового сознания позволяет соотнести слова и действия, сознательное и бессознательное отношение современников к тем или иным явлениям общественной жизни. Вместе с тем сфера вербального должна быть разделена на слово устное и слово письменное. Американский историк культуры Уолтер Дж. Онг показал, что устный и письменный миры отличаются на ментальном уровне, предполагают различия в мировосприятии человека[1]. Отчасти это объясняется культурными особенностями: дописьменной речи человека было в меньшей степени свойственно использование абстрактных понятий и строгой логики, она уходила корнями в тот пласт пралогического мышления, о котором писал еще Л. Леви-Брюль[2]. Ей свойственна метафоричность, оперирование мифологическими конструктами. Если рассматривать в качестве носителей устной культуры российских крестьян, то нельзя не обратить внимания на образность их мышления. Даже в письменной речи грамотных крестьян сохраняются многие элементы устного слова.

Вместе с тем противопоставление устного письменному как сферы грамотности и неграмотности кажется упрощением: элементы устной культуры обнаруживаются в высказываниях представителей высших слоев общества.

---

[1] *Ong W. J.* Orality and Literacy. The Technologizing of the Word. London; New York: Routledge, 2002.

[2] См.: *Леви-Брюль Л.* Первобытное мышление. М., 1980.

Французский антрополог Л. Леви-Брюль, выделяя различные структуры массового сознания, рассматривал их как динамические системы, находящиеся в той или иной форме взаимодействия: «Не существует двух форм мышления у человечества, одной пралогической, другой логической, отделенных одна от другой глухой стеной, а есть различные мыслительные структуры, которые существуют в одном и том же обществе и часто, — быть может, всегда — в одном и том же сознании»[1]. Вероятно, следует признать, что «устный» пласт сознания, когда речь определяется самим ее потоком, а не продумывается заранее, присутствует почти в каждом человеке.

Кроме того, устная речь как более эмоционально окрашенная благодаря интонации, громкости говорения кажется в определенных ситуациях предпочтительнее. Переход на эмоциональные высказывания, порой доходящие до аффектов, свойствен моментам, когда рациональное восприятие затрудняется. В этом плане в годы Первой мировой войны городская повседневность заполнялась устной культурой, причем не только за счет приезжих крестьян (запасных солдат, дезертиров), но и за счет тех образованных горожан, которые, разочаровываясь в официальной подцензурной информации, обращались к альтернативным источникам — в первую очередь к слухам, игравшим в формировании представлений и настроений широких социальных слоев России исключительную роль.

Тем не менее в настоящей главе речь пойдет преимущественно о массовом сознании российских крестьян. Будет показано, как причудливо переплетались в нем разные уровни сознания: мифологическое, рационально-повседневное, политическое. Именно в крестьянской среде рождались наиболее абсурдные слухи, которые тем не менее впоследствии проникали в городскую среду и «заражали» часть образованных слоев.

Особенности крестьянской ментальности начала XX в. в современной историографии

Понятие ментальности было введено в научный оборот историками французской школы «Анналов», причем, как отметил Д. Филд, впервые М. Блок сформулировал проблему менталитета в выступлении перед обществом психологов в 1938 г., говоря о привязанности крестьян к рутинным методам хозяйства[2]. Из всех сословий именно крестьянство в силу наибольшей традиционности жизненного уклада и определенной инертности лучше всего годится на роль субъекта ментальности. При этом термин «ментальность» пересекается с такими родственными категориями, как массовое сознание, общественная психология,

[1] *Леви-Брюль Л.* Первобытное мышление. М., 1980. С. 131.

[2] *Филд Д.* История менталитета в зарубежной исторической литературе // Менталитет и аграрное развитие России (XIX–XX вв.) Материалы международной конференции. М., 1996. С. 10.

мировоззрение, мировосприятие и пр., что в известном смысле затрудняет исследовательские поиски в этом направлении неопределенностью и размытостью научного аппарата. Французские исследователи Р. Шартье, А. Баро отмечали, что история ментальности формировалась как своеобразная антитеза интеллектуальной истории или истории идей. В то время как интеллектуальная история могла похвастаться известной строгостью понятийного аппарата, структурированностью, история ментальности, наоборот, часто скрывалась за расплывчатыми формулировками и неструктурированным предметом исследования. Впрочем, Ж. Ле Гофф эту слабость пытался обернуть силой истории ментальности, указывая, что расплывчатость предмета позволяет уловить «осадок» исторического анализа, смещая исследовательский фокус с формальных общественных институтов на представления о них людей той или иной эпохи[1]. По мнению французского исследователя, менталитет характеризуется глубинными образами, предполагающими то или иное восприятие реальности. Интеллектуальная история — история преимущественно письменной культуры, в то время как история ментальности приоткрывала дверь в культуру устного слова и сопутствующих ему образов. Это обстоятельство определяло главные проблемы истории ментальности — подбор и критику источников, а также уход в сторону смежных дисциплин, одной из которых оказывалась социальная психология.

Попытки более строгого, формализованного подхода к проблеме изучения «народного духа» были предприняты в исторической психологии. Еще в 1900–1920-х гг. немецкий психолог В. Вунд написал двадцатитомную «Психологию народов. Исследование закона развития языка, мифов и обычаев». Вунд пытался построить универсальную, фундаментальную модель развития народов, причем, как он писал, «объектом этой будущей науки должны служить не только язык, мифы, религия и нравы, но также искусство и наука, развитие культуры в общем и в ее отдельных разветвлениях, даже исторические судьбы и гибель отдельных народов, равно как и история всего человечества. Но вся область исследования должна разделяться на две части: абстрактную, которая пытается разъяснить общие условия и законы „национального духа“ (Volksgeist), оставляя в стороне отдельные народы и их историю, и конкретную, задача которой — дать характеристику духа отдельных народов и их особых форм развития. Вся область психологии народов распадается, таким образом, на „историческую психологию народов“ (Volkergeschichtliche Psychologie) и „психологическую этнологию“ (Psychologiche Ethnologie)»[2]. Главная заслуга Вундта заключалась в том, что ему удалось уйти от господствовавшего в романтический период и сохранявшегося в начале XX в. представления о «национальной душе»

---

[1] См.: История ментальностей, историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М., 1996.

[2] См.: *Вундт В.* Проблемы психологии народов. М., 1912.

как независимой субстанции, сверхдуше, и перейти к изучению результатов психической деятельности человека. Несмотря на принципиальные методологические различия с более поздней историей ментальности поколения Ж. Ле Гоффа, оба направления объединял интерес к продуктам духовной жизни человеческого общества. Кроме того, на заре истории ментальности Л. Февр призывал исследовать духовный облик эпохи в статье «История и психология»[1]. Таким образом, оба направления оказывались генетически связанными.

Важность изучения психологии больших общественных групп была понятна и на заре советской историографии, пытавшейся сделать предметом своих исследований не народы, а классы. Изучение классового сознания должно было объяснить политическую позицию тех или иных групп населения. В вышедшем в 1930 г. трехтомнике «Гражданская война. 1918–1921 гг.» (под редакцией А.С. Бубнова, С.С. Каменева, М.Н. Тухачевского и Р.П. Эйдемана) предпринималась попытка выстроить социально-психологическую географию эпохи; авторы описывали царившие в том или ином регионе настроения масс, связывая их с национальными, хозяйственными, социальными особенностями территории[2]. Появившийся в 1938 г. «Краткий курс ВКП(б)» на долгие годы приостановил развитие психологического направления в истории, однако с конца 1960-х гг. интерес к этой теме возрождается. На прошедшем в 1964 г. заседании секции общественных наук Президиума АН СССР ряд ученых высказался за то, что история должна отражать все проявления человеческой психики, эмоций и страстей, массовые настроения, порывы и увлечения[3]. Результатом стал выход исследований Б.Ф. Поршнева, Б.Д. Парыгина, Г.Л. Соболева, посвященных вопросам исторической психологии[4]. В 1971 г. под редакцией Б.Ф. Поршнева и Л.И. Анцыферовой вышел сборник «История и психология». В нем Б.Г. Литвак одним из первых в советской историографии крестьянского движения поставил задачу «изучить психологию „микромира“, дойти до ее самых первичных пластов… В этих целях необходимо совместить изучение конкретно-исторического материала крестьянских выступлений с осмыслением его в категориях социальной психологии»[5].

Литвак вслед за В.И. Лениным оперировал понятием «крестьянской личности»: по его мнению, наиболее примитивные виды крестьянских выступ-

[1] См.: *Февр Л.* Бои за историю. М., 1981.

[2] Гражданская война. 1918–1921 гг. В 3 т. / Ред. А.С. Бубнов, С.С. Каменев, М.Н. Тухачевский, Р.П. Эйдеман. Т. 3. Оперативно-стратегический очерк боевых действий красной армии. М.; Л., 1930.

[3] *Парыгин Б.Д.* Социальное настроение как объект исторической науки // История и психология. М., 1971. С. 90–91.

[4] См.: *Поршнев Б.Ф.* Социальная психология и история. М., 1966; *Парыгин Б.Д.* Общественное настроение. М., 1966; *Соболев Г.Л.* Проблемы общественной психологии в исторических исследованиях // Критика новейшей буржуазной историографии. Л., 1967.

[5] *Литвак Б.Г.* О некоторых чертах психологии русских крепостных первой половины XIX в. // История и психология. М., 1971. С. 201.

лений — акты мести и пассивное сопротивление — были связаны с процессом личностной самоидентификации крестьян, обретения ими чувства собственного достоинства (мы уже рассматривали схожую историографическую традицию объяснения конфликтов рабочих с мастерами, управляющими фабрик и заводов). В то же время в деревенской среде имели место факты социальной мимикрии, когда крестьяне старались предстать в глазах помещика беднее и неразумнее, чем были на самом деле. Литвак делает важное замечание относительно психологической особенности крестьянского движения: под давлением внешних обстоятельств оно быстро определялось с тем, *против* чего оно было направлено, но крайне медленно определялось с тем, *за* что оно[1]. По мнению В. И. Ленина, личностная самоидентификация крестьянства была результатом развития капиталистических отношений, которые оторвали крестьянина от крепостных уз и создали «подъем чувства личности»[2]. Ленин выстраивал схему, согласно которой развитие крестьянской личности способствовало становлению классовой сознательности и предопределяло распад общинно-патриархальных, коллективистских отношений. Однако эта гипотеза не подтверждается конкретно-историческим материалом: в начале XX в. индивидуализм как этап личностной самоидентификации в хозяйственной сфере не был характерен для российской деревни, в которой сохранялось отрицательное отношение к единоличникам — хуторянам и отрубникам. Таким образом, было бы правильнее в центр историко-психологических исследований крестьянских конфликтов поместить не категорию «личности», а категорию «справедливости», определявшей действия крестьян. Коллективные представления о социальной справедливости выступали координирующим фактором социальной активности крестьян, формируя среди них феномен «коллективной личности», для которой было характерно сохранение традиционно-патриархального мировоззрения. В связи с этим любопытной представляется поднятая Литваком проблема «подражательности» крестьянских выступлений. Возникает вопрос, связано ли быстрое распространение протеста крестьян с ростом их политической сознательности или является примером архаичной формы бунтарства, в котором сохранялись бессознательные реакции. По крайней мере, концепция о «коллективной личности» и ее «бессознательной подражательности» заставляет пересмотреть свойственную советской историографии линейную схему развития крестьянских движений как становления классовой сознательности (тем более что основные массы крестьянства, по мнению советских историков, так и не доросли до уровня пролетариата).

Сам Литвак подошел к решению проблемы «подражательности», когда упомянул, что коллективные выступления крестьян базировались на эмоциональных

---

[1] Там же. С. 205.

[2] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 1. С. 434.

состояниях, определявших их стихийность[1]. Как известно, эмоции заразительны. Вместе с тем эмоциям характерно быстрое угасание (в отличие от идей — сознательного решения). По мнению Литвака, эмоциональная составляющая массовых крестьянских движений предопределила практику «увещательного умиротворения» — по мере приближения к 1861 г. удельный вес крестьянских выступлений, подавляемых силой, снижался, и за 1857–1861 гг. 50–70% из них заканчивались «мирным увещанием»[2].

Советская историография концентрировалась преимущественно на изучении конфликтов крестьян со своими главными классовыми антагонистами — помещиками. Вместе с тем для изучения массового сознания деревенских жителей не менее важно обратить внимание на локальные, внутриобщинные конфликты. Американский историк Стивен Фрэнк исследовал крестьянские самосуды как неотъемлемую черту культуры крестьянского мира[3]. Он отрицал стихийный характер самосуда как явления, выделяя три организационных формы деревенского «правосудия»: 1) ритуализированное публичное срамление без применения насилия; 2) физическое наказание за преступления против собственности; 3) физическое наказание колдунов и ворожей. По его мнению, самосуды являлись своеобразной формой самоорганизации и самозащиты общинного мира, отстаивавшего собственное право на суд перед усиливавшимся внешним вмешательством (помещика или государства в целом). Фрэнк отмечает, что в глазах крестьянского мира самосуды обладали законностью. Близкую позицию занимал Б.Г. Литвак, по мнению которого, «понятие „законности“… представляет собой причудливое сочетание действительно существовавших норм и норм, желательных для крестьян»[4].

В трудах отечественных крестьяноведов изучение массового сознания сельских жителей, как правило, происходит либо в связи с крестьянскими движениями, либо в связи с общинным хозяйствованием. В.П. Данилов и Л.В. Данилова справедливо отметили, что «ментальность крестьянства — это общинная ментальность, сформированная в рамках замкнутого локального сообщества, в сельской соседской организации»[5]. Причем обращается внимание на то, что община выступала гарантом семейного хозяйства и тем самым являлась оплотом патриархальности. Следует уточнить, что община сохраняла неприкосновенность большой патриархальной семьи, но при этом сдерживала развитие малой, нуклеарной. Вместе с тем на рубеже XIX–XX вв. происходили

---

[1] *Литвак Б.Г.* О некоторых чертах психологии… С. 210.

[2] Там же.

[3] *Frank S.* Popular Justice, Community and Culture among the Russian Peasantry 1870–1900 // The World of the Russian Peasant: Post-Emancipation Culture and Society / Ed. B. Eklof and St. Frank. Boston: Unwin Hyman, 1990.

[4] *Литвак Б.Г.* О некоторых чертах психологии… С. 209.

[5] *Данилова Л.В., Данилов В.П.* Крестьянская ментальность и община // Менталитет и аграрное развитие России (XIX–XX вв.): Материалы международной конференции. М., 1996. С. 22.

демографические процессы, приводившие к изменениям брачного поведения, в частности к усилению конфронтации молодых женатых сыновей с отцами-большаками. Строгая иерархия патриархальной семьи создавала препятствия для самореализации ее младших членов, поэтому было бы ошибочно считать общину гарантом стабильности социального существования крестьян; оставаясь архаичной по своей форме, община не успевала за модернизационными изменениями начала XX в. При этом в условиях крестьянского малоземелья, как пишут исследователи, общинное землевладение было единственно возможным, так как «частная собственность домохозяина на землю в глазах крестьян означала либо быстрое измельчание земельных наделов… либо введение единонаследия, что вело бы к нарушению равенства членов семьи»[1]. Так община аккумулировала противоречия между старыми и новыми формами социально-экономических отношений, становилась источником конфликтов, стихийно выливавшихся в протестные акции крестьян.

Отмеченный локализм крестьянской общинной ментальности возвращает нас к уже затронутой проблеме наличия национального самосознания деревенских жителей. Очевидно, что хотя термины «русский», «российский» присутствовали в лексиконе крестьян (при этом было бы интересно сравнить, какое прилагательное употреблялось чаще в связке с существительным «крестьяне» — русские, российские или вятские, псковские и т. д., представляется, что все-таки второй вариант был бы более распространенным), их чувство национальной идентичности не достигало уровня самосознания образованных слоев российского общества. Говоря о локализме, Данилов не считает, что крестьянский мир находился в изоляции от мира внешнего, государственного: «локальное крестьянское сообщество было вписано в макросистему, общинное сознание переносило на нее сложившиеся стереотипы управления и организации, господства и подчинения»[2]. При этом обнаруживаются разительные различия в понимании категории справедливости, отношении к собственности: «Мощный подъем крестьянского движения, послуживший основой всей российской революции, явился в конечном итоге проявлением и торжеством именно общинно-уравнительной ментальности. Эгалитаризм сельской общины — это не равенство современного гражданского общества, а уравнительность в распределении объективных условий хозяйствования и существования»[3]. Определение крестьянской общины как локального сообщества созвучно теории американского исследователя Роберта Рэдфилда о сельском «малом сообществе», которое он рассматривает как самодостаточную «экологическую систему», в которой нормы передаются из поколения в поколение[4].

---

[1] Там же. С. 29–30.

[2] Там же. С. 35.

[3] Там же. С. 34.

[4] См.: *Redfield R.* The Little Community, and Peasant Society and Culture. Chicago; London, 1960.

Изучение влияния сельскохозяйственного труда на ментальность крестьян неизбежно подводит исследователя к теме «человек и природа». Подавляющее большинство исследователей согласно с тем, что «специфические черты ментальности крестьянства связаны… с характером его производственной деятельности, с хозяйствованием на земле в тесном и непосредственном общении с природой»[1]. Л. В. Милов, указывая на исключительно тяжелые и неблагоприятные для ведения сельского хозяйства климатические условия на большей части России, которые нередко сводили на нет результаты труда крестьян, приходит к выводу, что природный фактор способствовал укоренению идеи о всемогуществе и огромной роли в жизни крестьян бога, что соответствовало архаичной языческой картине мира[2]. При этом, как ни парадоксально, природа способствовала и формированию вполне рационально-прагматического мировосприятия: «Русский селянин накапливал опыт познания природы почти исключительно с точки зрения влияния ее на свою жизнь и жизнь своих домочадцев, на здоровье семьи, на свое благополучие, на судьбу своего хозяйства со всеми многочисленными его элементами»[3]. Милов пишет, что тяжелые природные условия, «диктовавшие необходимость громадных трудовых затрат на сельскохозяйственные работы… имели своим следствием не только необычайное трудолюбие, поворотливость и проворность как важнейшие черты русского менталитета и характера, но и многие особенности, противоположные этим чертам»[4]. Среди последних историк перечисляет небрежность в работе, отсутствие пунктуальности, безразличие к собственному хозяйству, а также леность, обман, ложь, воровство. При этом Милов объясняет способность русских крестьян выживать в тяжелых условиях вопреки отрицательным чертам национального характера влиянием общины, которая в экстремальные времена организовывала и сплачивала селян. Американский историк Рональд Сиви писал об «этике праздности», стремлении к минимизации трудозатрат как чертах, характерных для общинной деревни[5]. Исследователь аргументировал тезис, в частности, тем, что в условиях Первой мировой войны Россия поддерживала производство продовольствия на довоенном уровне, хотя 40% крестьян было мобилизовано на войну, из чего сделал вывод, что по крайней мере 40% крестьянского трудового потенциала в мирное время съедает «праздность». Последний аргумент, конечно, несостоятелен ввиду некорректности сравнения мирной экономики с мобилизационной — в годы войны в отдельных губерниях вводились продовольственные реквизиции, кроме того, 1915 г. оказался урожайным — на европейской

[1] *Данилова Л. В., Данилов В. П.* Крестьянская ментальность и община… С. 22.

[2] *Милов Л. В.* Природно-климатический фактор и менталитет русского крестьянства // Менталитет и аграрное развитие России (XIX–XX вв.): Материалы международной конференции. М., 1996. С. 44.

[3] Там же.

[4] Там же. С. 54.

[5] См.: *Seavoy R. E.* Famine in Peasant Societies. New York; London, 1986.

части России хлеба собрали на 10,6% больше, чем в среднем[1]. Характеризуя крестьянский мир как «культуру шаривари», Сиви не учитывал компенсационного характера деревенских празднеств, следовавших после долгого, изнурительного труда. Тем не менее само по себе обращение автора к этике или даже культуре праздности важно, так как расширяет проблемное поле истории крестьянской ментальности, которое пока еще в целом ограничивается исследованием общественной психологии в условиях революционной борьбы. Несмотря на то что «этика праздности» Сиви перекликается с отдельными высказываниями Милова, отечественный исследователь критически воспринял положения Сиви, указав, что приведенные им схемы плохо коррелируются с российской действительностью[2]. При этом В. В. Кондрашин, В. В. Бабашкин, А. П. Корелин были менее категоричны в оценках монографии американского историка[3].

Исследователи признают, что Первая мировая война оказалась испытанием для общины и общинного сознания крестьянства. При этом существуют два историографических направления: одни авторы считают, что война усилила архаизацию сельской жизни и общественной психологии, другие, наоборот, отмечают усиление самоорганизации крестьян, повышение уровня политической сознательности. Отправной точкой в выстраивании динамики крестьянских настроений выступает период мобилизации, по-разному характеризующийся крестьяноведами. В предыдущем разделе уже рассматривался вопрос об отношении крестьян к мобилизации, сейчас же мы кратко обозначим основные историографические позиции, связывающие отношение крестьян к войне с их ментальными особенностями. Здесь по-прежнему выделяются «патриотическая» и «скептическая» точки зрения. В рамках первого направления некоторые историки пытаются объяснить свидетельства сельского патриотизма с помощью фактора религиозности. Так, О. А. Сухова некритично воспроизводит сообщения периодической печати о литургиях и молебнах, проходивших в деревнях, якобы свидетельствовавшие о патриотическом подъеме, повторяя вслед за официальными сообщениями, что «удушающая затхлость общественной атмосферы сменилась всеобщим ликованием и радостным оживлением, а массовые манифестации по случаю объявления войны напоминали скорее масленичные народные гуляния»[4]. Мы уже обращали внимание на то, что в основе оживления общественной жизни лежали не столько сознательная поддержка широкими слоями общества правительственной политики или внезапный подъем религиозности, сколько эмоционально-психологический

[1] Ежегодник. Торгово-промышленный мир России. Год войны. Ч. 4. Отдел V. Пг., 1916. С. 3.

[2] Современное крестьяноведение и аграрная история России в XX веке / Ред. В.В. Бабашкин. М., 2015. С. 448–449.

[3] Там же. С. 436–440, 444–446, 449–451.

[4] *Сухова О.А.* Десять мифов крестьянского сознания. Очерки истории социальной психологии и менталитета русского крестьянства (конец XIX — нач. XX в.) по материалам Среднего Поволжья. М., 2008. С. 386.

фактор — известие о войне не могло оставить равнодушным ни городские, ни сельские слои, однако имевшее место массовое возбуждение нельзя трактовать исключительно в патриотическом ключе, тем более что уже приводились факты, когда от возбужденных войной обывателей доставалось «союзникам»-черносотенцам и представителям духовенства. Вместе с тем Сухова, настаивая на религиозном воодушевлении крестьян, упомянула, что в ряде мест известие о начале войны вызвало шок и слезы сельских жителей, полагая, по-видимому, что это были слезы религиозного восторга[1].

Противоречивую картину отношения крестьян к войне рисует О.С. Поршнева. Справедливо обращая внимание на то, что война, отрывавшая крестьян от земли, мыслилась ими как зло, историк отмечает, что единственным вариантом легитимации войны в глазах крестьян могло стать приращение земли в результате войны[2]. Однако далее Поршнева делает спорный вывод о том, что крестьянство мыслило войну в качестве «крестового похода за землю и веру, в котором присоединение новой земли означает одновременно и расширение ареала истинной веры»[3]. Схожая концепция, действительно, навязывалась церковной печатью, среди солдат из крестьян распространялись слухи о том, что за участие в боевых действиях они будут получать землю, тем не менее нет достаточных оснований утверждать, что подобное отношение к войне было характерно для крестьянства с самого ее начала. В.П. Булдаков обращает внимание на то, что некоторые крестьяне шли на войну не за германской, а за помещичьей землей, рассуждая, что «если победит Россия — земля будет от дворян-помещиков отобрана и отдана в надел крестьянам, так как они, главным образом, являются защитниками Родины и победителями врага»[4]. Тем самым война в представлении части крестьян вписывалась в давнишнюю борьбу за землю и ее ареал отнюдь не соответствовал геополитическим амбициям некоторых политиков. С этих позиций война мыслилась не в религиозном, а прагматическом ключе, не в качестве «крестового похода за землю и веру», а как способ выслужить себе землю, что уже имело исторические прецеденты.

Тем не менее ряд крестьяноведов не поддерживают тезис о крестьянском патриотизме. Так, А.В. Гордон пессимистически оценивает крестьянский патриотизм в период первой мобилизации, задаваясь справедливым вопросом: насколько отражает действительность утверждение, что «настроение инициированного властью, монархическими объединениями и купеческой верхушкой торжества распространилось и на деревню?»[5] Описывая восприятие войны

---

[1] *Сухова О.А.* Десять мифов крестьянского сознания… С. 387.

[2] *Поршнева О.С.* Крестьяне, рабочие и солдаты России… С. 90.

[3] Там же.

[4] *Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г.* Война, породившая революцию. М., 2015. С. 322–323.

[5] *Гордон А.В.* Война в крестьянском сознании: преображение традиций // Русское крестьянство и Первая мировая война: сб. научных статей. М., 2016. С. 107.

крестьянами в 1914 г., автор использует мифологему «катастрофы», верно отмечая ее последующую трансформацию в сторону эсхатологических ожиданий. В.П. Булдаков и Т.Г. Леонтьева сообщают, что добровольческое движение крестьян было связано с желанием найти себе место в армии потеплее, так как добровольцы получали право выбора рода войск[1].

Даже те авторы, которые пишут о крестьянском патриотизме, интуитивно сознавая противоречивость данной концепции и явные различия в понимании патриотизма крестьянами и теми, кто писал о нем в официальной прессе, делают акцент на бессознательном, стихийно-иррациональном патриотизме народа. Так, например, О.А. Сухова объясняет парадоксальную природу крестьянского патриотизма 1914 г. психологической теорией защитной реакции психики на внешний раздражитель: «Мощный всплеск стихийного крестьянского патриотизма, осознание себя в качестве жертвы… были своего рода проявлением стереотипной реакции на угрозу военной опасности. Только в этом случае участие в военных действиях приобретало сакральный смысл, что, в свою очередь, позволяло снизить психологическое напряжение»[2]. Однако данная попытка объяснить патриотизм бессознательной психической реакцией не снимает всех противоречий. Помимо того что тезис о «мощном всплеске крестьянского патриотизма» вызывает серьезный скепсис и кажется следствием некритического подхода к официальным источникам, возникает вопрос: действительно ли война в глазах массы крестьян приобрела сакральный смысл? Проблема в том, что, как будет показано в дальнейшем, крестьянская ментальность отличалась причудливым сочетанием архаичного мифологизма (что теоретически могло стать основой для сакрализации войны, к чему стремилась церковная пропаганда) и рационального прагматизма. Представляется более вероятным, что начало войны, оторвавшее крестьян от семей, земли, лежало в рамках прагматического восприятия и вызывало злобу и раздражение, проявившиеся, в частности, в массовых беспорядках призывников, а затем женщин-солдаток. В отдельных дневниках грамотных крестьян с началом войны связывается чувство досады, вызванное необходимостью отрываться от сельхозработ[3]. Кроме того, исследование религиозно-мифологического пласта сознания крестьян и в особенности рядовых солдат обнаруживает не столько сакрализацию, сколько инфернализацию войны в русле народной эсхатологии.

Отчасти историографические парадоксы исследований крестьянской ментальности связаны с ее синкретичностью и амбивалентностью многих составных элементов. В стремлении дать непротиворечивое объяснение отношения крестьян к тому или иному объекту авторы забывают о противоречивости

---

[1] *Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г.* Война, породившая революцию… С. 320.

[2] *Сухова О.А.* Десять мифов… С. 391.

[3] Дневник тотемского крестьянина А.А. Замараева. 1906–1922 годы. М., 1995. С. 86.

самого крестьянского сознания. Исследователи уже указывали на противоречия целей и средств в крестьянском мышлении. О.Г. Буховец обратил внимание на синкретизм крестьянского политического сознания, который усмотрел в нестыкуемости привнесенных и традиционных компонентов, в сочетании адекватных представлений о своих социальных целях и иллюзий относительно путей их достижения[1]. О «сочетании несоединимого» в крестьянской ментальности писал А.В. Гордон[2].

Хотя исследователи и расходятся в вопросе восприятия начала войны крестьянами, тезис о том, что в процессе войны произошли определенные ментальные сдвиги селян, в целом не подвергается сомнению. Проблема, правда, в том, в какую именно сторону были эти сдвиги направлены. Некоторые авторы полагают, что война способствовала архаизации жизни крестьян и соответствующим образом отразилась на их психологии. Н.А. Дунаева, О.А. Сухова считают, что начало мировой войны привело к возврату к истокам, «традиционному укладу» жизни деревни. Н.А. Дунаева указывает, что националистический угар начала войны в деревне «трансформировался в традиционную идею „черного передела“», а также стал сигналом для разрешения назревших противоречий внутри общины: бунта молодых общинников против «стариков», общинников против хуторян и отрубников и т.д.[3] Сухова, рассматривая массовое движение крестьян в 1917 г., соглашается с позицией В.П. Булдакова и Д.И. Люкшина, отмечающих значимую роль иррационально-аффективных форм поведения[4], доминирование которых Сухова объясняет архаизацией массового сознания и победой в нем локализма[5].

С этой позицией полемизирует А.В. Гордон, настаивающий на многоукладности крестьянского сознания и акцентировании в годы войны сознательных его пластов, делающих возможным крестьянскую самоорганизацию. При этом Гордон признает, что начало войны породило общую атмосферу народного бедствия, к которому «крестьянство отнеслось по вековечной традиции покорности высшим силам и приспособления к обстоятельствам», что соответствовало архаичному пласту сознания[6]. Вместе с тем сложность подобных обобщений демонстрирует вариативность крестьянских реакций на войну,

---

[1] *Буховец О.Г.* Социальные конфликты и крестьянская ментальность в Российской империи начала XX века. М., 1996. С. 225.

[2] *Гордон А.В.* Крестьянство Востока: исторический субъект, культурная традиция, социальная общность. М., 1989. С. 91, 205.

[3] *Дунаева Н.А.* Характер общественных настроений Поволжского крестьянства в условиях Первой мировой войны // Русское крестьянство и Первая мировая война: Сб. научных статей. М., 2016. С. 127, 128.

[4] См.: *Булдаков В.П.* Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997; *Люкшин Д.И.* Вторая русская смута: крестьянское измерение. М., 2006.

[5] *Сухова О.А.* Десять мифов… С. 602.

[6] *Гордон А.В.* Война в крестьянском сознании: преображение традиций // Русское крестьянство и Первая мировая война: сб. научных статей. М., 2016. С. 108.

например массовые погромы призывников, в которых отразились как политические (оскорбления в адрес императора, убийства представителей местной власти, требование отправки на фронт полицейских чинов и пр.), так и социальные конфликты (поджог и разгром помещичьих имений, конфликты призывников-общинников с крестьянами-единоличниками). На синкретизм и парадоксальность крестьянского мышления в годы войны указывают В.П. Булдаков и Т.Г. Леонтьева. Обращая внимание на то, что распространявшиеся по России слухи о вредителях-шпионах и спекулянтах подталкивали крестьян к правдоискательству, выработке рациональных стратегий по борьбе с внутренней изменой (правда, в примитивно-традиционном духе: спекулянтов убить, имущество конфисковать и раздать крестьянам), авторы отмечают, что подозрительность селян вкупе с поиском виновных могла вылиться в гремучую смесь[1].

Многие историки отмечают кризис монархического сознания крестьян в годы мировой войны на примере дискредитации образа Николая II. П.С. Кабытов связывает это, в частности, со слухами о двусмысленной роли при дворе Г. Распутина и о вмешательстве Александры Федоровны в государственные дела[2]. О.С. Поршнева также считает, что распространявшиеся слухи о похождениях Распутина и его влиянии на царя дискредитировали образ последнего в глазах сельских жителей[3]. Вместе с тем эти слухи были характерны не для деревни, а для города и фронта. Из числа изученных 1474 дел по статье 103 Уголовного уложения имя Распутина ни разу не упоминалось крестьянами в оскорбительном контексте, при этом чаще всего в измене крестьянами подозревалась не Александра, а Мария Федоровна. Убеждение в том, что во дворце — разврат, было в первую очередь связано, как ни парадоксально, с известиями о благотворительной санитарной деятельности царицы и дочерей, что более подробно будет показано дальше.

Вероятно, одна из самых категоричных позиций в вопросе о степени рационализации общественного сознания крестьян принадлежит В.П. Данилову и Л.В. Даниловой, которые посчитали, что в ходе Первой мировой войны «крестьянский менталитет становится республиканским с решительным отрицанием любой возможности единовластия»[4]. Авторы сослались на «Примерный наказ» 1917 г. Вместе с тем этот наказ, отредактированный эсерами, отражал не только массовое сознание крестьянского сообщества, но и идеологию определенной политической группы, которая игнорировала явственные черты патернализма крестьянской ментальности, чуждые республиканским идеям. Письма крестьян во власть периода Гражданской войны также сохраняют

---

[1] *Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г.* Война, породившая революцию… С. 324–325.

[2] *Кабытов П.С.* Русское крестьянство в начале XX века. Самара, 1999. С. 126

[3] *Поршнева О.С.* Крестьяне, рабочие и солдаты России… С. 107.

[4] *Данилова Л.В., Данилов В.П.* Крестьянская ментальность и община… М., 1996. С. 37.

признаки патерналистского отношения к адресатам[1]. Также следует учесть специфику политической культуры как всей эпохи, так и конкретных социальных групп: крестьяне могли вкладывать в понятие республики совсем не то значение, которое соответствует современной научной традиции. Так, известны случаи, когда, соглашаясь с республиканской формой правления, крестьяне интересовались, кто же при этом будет царем.

О распаде патриархальной психологии крестьянства и повсеместном росте революционных настроений в ходе войны пишет П.С. Кабытов[2]. При этом автор согласен с тем, что под воздействием правительственной пропаганды в деревне распространялись патриотические настроения, но преимущественно среди зажиточного крестьянства и середняков: «Иногда эти настроения и „добросовестные заблуждения“ крестьян в первые месяцы войны выливались в фольклорные формы, получая при этом своего рода моральную санкцию традиции»[3].

При всем этом не сложно заметить, что в упомянутых работах исследовались преимущественно формы активности крестьян, социально-политической или хозяйственной. Историки отмечают, что именно период исторических кризисов, трансформаций представляет особенный интерес для исследователя ментальных сфер. С этим трудно не согласиться, однако нужно иметь в виду, что менталитет относится, по выражению Ф. Броделя, к структурам большой длительности (в отличие, например, от политических настроений, которые могут меняться изо дня в день под влиянием быстро развивающихся событий). Это означает, что не менее ценным оказывается изучение ментальности в «тихие» периоды. Ю.П. Бокарев не без сарказма заметил, что, «просматривая бесконечные тома „Крестьянское движение в России“, издававшиеся в 50–60 годы под редакцией Н.М. Дружинина, можно проникнуться убеждением, что состояние непрерывного бунта было нормой крестьянской жизни»[4]. Историк обращал внимание на то, что в поведении российских крестьян сочетаются периоды отчаянного бунта с временами чрезмерного смирения, причем периоды бунтарства не коррелируют с временами ухудшения материального положения крестьян. Причину этого Бокарев усматривал в ментальных особенностях сельских жителей: традиционализм крестьян сопротивлялся непонятным нововведениям, даже если они применялись властями во благо народа. По мнению исследователя, «не столько сама действительность управляла крестьянским поведением, сколько ее преломление через особенности крестьянской

[1] См.: *Аксенов В.Б.* Массовые настроения в эпоху Гражданской войны: историографические традиции и перспективы изучения // Россия в годы Гражданской войны, 1917–1922 гг.: очерки истории и историографии. М.; СПб., 2018. С. 514.

[2] *Кабытов П.С.* Русское крестьянство в начале XX века. Самара, 1999. С. 119.

[3] Там же. С. 120.

[4] *Бокарев Ю.П.* «Умом Россию не понять» (поведение крестьян в революционную эпоху) // Революция и человек. М., 1996. С. 80.

ментальности», в результате чего «крестьянский менталитет являл настолько искаженную, иллюзорную картину происходящего, что связь между реальными изменениями и движением крестьян оказывается очень размытой»[1]. Таким образом, изучение традиционного сознания «тихих времен», характерных для крестьян мировоззренческих категорий, является ключом к пониманию народного бунтарства. Бокарев, в частности, обращает внимание на огромную роль слухов, часто совершенно абсурдных, в крестьянских движениях, которые возникали в результате своеобразных когнитивных конфликтов: столкновения крестьянских представлений о том, как должно быть, с намерениями властей.

Экстремальные времена приводят к ментальным трансформациям, однако для того чтобы изучить вектор этих трансформаций, необходимо определить точку отсчета — представлять состояние умов в докризисный период. Это позволит преодолеть объективный недостаток современных историко-крестьяноведческих исследований — недостаток внимания к духовной сфере, культуре крестьянской повседневности.

П. С. Кабытов сводит изучение духовного облика крестьянина преимущественно к проблеме образования, причем отмечает, с одной стороны, тягу крестьян к знаниям, а с другой — препятствия, которые чинили им в этом представители местной губернской власти, помещики и духовенство[2]. Автор обращается к описанию языческих элементов крестьянской картины мира лишь постольку, поскольку они являются, по его мнению, следствием незнания научных законов: «Незнание законов природы порождало веру в леших, водяных, домовых, ведьм и пр.»[3] Неточность данной формулировки в том, что вера в леших и прочую нечистую силу являлась изначально именно формой познания природы. Передаваясь через сказки в раннем детстве, эта форма знания во многом формировала крестьянскую натуру, впоследствии же, когда крестьяне обретали рациональные знания, в их сознании могли сохраняться обе формы, и мифические представления, оставаясь на уровне архаично-мифологического пласта сознания, вполне могли соседствовать с научными знаниями и рациональной картиной мира. Крестьянское сознание было не только синкретичным, но и во многом амбивалентным, поэтому жесткая оппозиция «знание — суеверие» не всегда может адекватно описать парадоксы народного мышления.

Религиозный пласт мышления российских крестьян нашел отражение в научных исследованиях. При этом некоторые авторы — например, А. В. Буганов — явно преувеличивают степень православности русского неграмотного крестьянина. Отдавая предпочтение источникам, близким к церкви, автор приходит к выводу, что «первейшим критерием оценки монархов и крупнейших полководцев была их верность православной идее, высшим религиозным

---

[1] Там же. С. 80–91.

[2] *Кабытов П. С.* Русское крестьянство… С. 36.

[3] Там же. С. 50.

ценностям», а затем добавляет к этому «патриотический подход»[1]. Буганов не отрицает, что в 1914–1916 гг. в народном сознании происходила дискредитация образа Николая II, но считает это делом рук революционеров[2]. Конечно, фактический материал периода Первой мировой войны полностью опровергает этот тезис. О.С. Поршнева также считает, что война усилила крестьянскую религиозность, полагая, что рост числа посещений крестьянами церквей свидетельствует об интеграционных процессах между народом и властью. Вместе с тем Т.Г. Леонтьева обращает внимание, что народная религиозность носила в большей степени обрядовый характер, местами доходивший до фарисейства, что выразилось в распространении всевозможных суеверий[3]. Народная вера, настоянная частично на языческих, частично на христианско-сектантских традициях, не могла стать основой для патриотического единения народа и власти через институт православной церкви. Религиозный синкретизм крестьянского мышления отмечается большинством ученых.

Живучесть языческой ментальности российских крестьян Л.В. Милов связывает с большим значением в их жизни природно-климатического фактора[4]. Не отрицая искренность христианской веры деревенских жителей, он считает тем не менее, что в русском крестьянине было больше язычника, чем христианина, обращает внимание, что вера в Христа совмещалась с отчуждением от официальной церкви[5]. Зависимость от природы результатов сельскохозяйственных работ вынуждала деревенских жителей уповать на высшие силы, верить в сверхъестественное, в результате чего все важные этапы аграрного цикла ритуализировались. Крестьяне проводили обряды, по форме напоминавшие языческие мистерии. Веря в необходимость присутствия служителей культа во время проведения ритуалов для их своеобразной культовой легитимации, селяне приглашали православных священников. Тем не менее отношение самих крестьян к этим «христианизированным» обрядам оставалось прежним, шло из языческих времен. Так, например, М.М. Громыко описала «празднование на зеленя», распространенное в Орловской губернии и описанное этнографами в 1898 г. с пометкой, что «обычай этот ведется исстари». Формально он представлял собой весенний молебен в поле, когда только-только всходили озимые (зеленя). Проводил его местный священник. Однако помимо собственно молебна «празднование на зеленя» включало в себя несколько мелких обрядов, которым крестьяне давали название в соответствии с языческой традицией. Один из них назывался «поднятие *богов* (выделено

---

1 *Буганов А.В.* Личности и события истории в массовом сознании русских крестьян XIX–XX вв. Историко-этнографическое исследование. М., 2013. С. 278, 281.

2 *Буганов А.В.* Личности и эпохи в исторической памяти русских крестьян XIX — начала XX в. // Социология власти. 2003. № 2. С. 104.

3 *Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г.* Война, породившая революцию... С. 261.

4 *Милов Л.В.* Природно-климатический фактор... С. 45.

5 Там же. С. 51, 53.

мной. — *В.А.*) на зеленя» и представлял собой всего лишь обход поля с высоко поднятыми иконами Спасителя и Богоматери (иконы несли не священники, а мужики)[1]. Также «празднование на зеленя» предусматривало обычай «катать батюшку по зеленям» — священника бросали на землю и начинали валять по полю. Этнограф XIX в. С.В. Максимов замечал, что священника сбивали с ног, как правило, бабы и, повалив, начинали кататься рядом с ним, приговаривая: «Нивка-нивка, отдай твою силку, пусть уродится долог колос, как у нашего батюшки-попа волос»[2]. Надо сказать, что батюшки активно сопротивлялись, и этот обряд постепенно вышел из обихода.

Однако не только аграрное производство способствовало сохранению языческих традиций. В.П. Данилов справедливо полагал, что сама организация общинной жизни требовала определенной ритуализации: «Групповое сознание крестьян-общинников идеологически закреплялось серией обрядов, обычаев, традиций и ритуалов. Важную роль в этом играло совместное проведение бытовых и религиозных праздников, пиров»[3]. Обряды русской православной церкви далеко не всегда могли удовлетворить потребности общинного сознания, в результате чего крестьяне сохраняли верность языческим ритуалам. Более подобно вопрос о трансформации религиозных представлений крестьян в годы войны будет рассмотрен в соответствующей главе, а сейчас можно заметить, соглашаясь с Миловым, что постоянное наблюдение за природой приводило крестьян к ее одушевлению, вследствие чего языческая картина мира оказывалась в сознании деревенских жителей более естественной, чем христианская. В то же время христианство давало крестьянам то, что в явной форме отсутствовало в язычестве, — систему морально-нравственных ориентиров. Британский исследователь Теодор Шанин обратил внимание, что в крестьянских наказах периода первой революции содержалось много рассуждений на моральные темы, о том, что хорошо, а что плохо, часто в библейских категориях[4]. Утверждение, что «земля — Божья», кажется автору основным моральным постулатом и примером того, как религиозные представления влияли на экономические взгляды.

Однако этические нормы крестьян регламентировались не только религией, но и традиционным фольклором — преданиями, сказками, — опять-таки насыщенным языческими мотивами. Этическая система выстраивалась в процессе социализации крестьян в общине, ценностные ориентиры формировались в ходе наблюдения за природой. В этом отношении нельзя не отметить созерцательности мышления крестьянина. Размышляя, он сам находил ответы

---

1 *Громыко М.М.* Традиционные нормы поведения и формы общения крестьян в XIX в. М., 1986. С. 119.

2 *Максимов С.В.* Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903. С. 274.

3 *Данилова Л.В., Данилов В.П.* Крестьянская ментальность и община… С. 32.

4 См.: *Shanin T.* Defining Peasants. Essays concerning Rural Societies, Expolary Economies, and Learning from them in the Contemporary World. Oxford, 1990.

на вопросы, без помощи религиозной традиции. Это формировало определенный психотип селянина. В.В. Бабашкин, обращаясь к литературной традиции, обратил внимание на образ крестьянина-романтика, практически не изученный историками[1]. Вместе с тем обращение к дневниковым записям грамотных крестьян позволяет раскрыть такую сторону «романтической натуры», как визуальная образность мышления, вытекавшая из созерцательности[2]. О.А. Сухова отмечает, что «основным постулатом современных исследований в сфере изучения российской ментальности все чаще называется признание за русским народом склонности больше не к рефлексии, а к верованию»[3]. Изучение дневников грамотных крестьян способно поставить под сомнение указанный постулат. С другой стороны, жесткое противопоставление рефлексии и веры в определенных случаях кажется искусственным.

Картину мира чувств сельских жителей необходимо дополнить эмоциональностью. Уже упоминалось, что культура устного слова не предписывает эмоциональную сдержанность, наоборот, способствует эмоциональной открытости. Деревенские празднества отличаются безудержным и затяжным весельем, причем под воздействием алкогольных напитков, которые также тесно вписаны в эмоциональный ритуал, позитивные эмоции нередко мгновенно сменяются негативными, и всеобщее празднество переходит в коллективное побоище. Это не только особенность карнавальной культуры, амбивалентной, согласно М.М. Бахтину, в которой «высокое» и «низкое» находятся во взаимовращении, но и следствие того, что деревенский праздник несет в себе функцию релаксации, предписывающую выплеск как позитивных, так и негативных эмоций. Последние являются чертой тяжелого сельскохозяйственного труда, который в условиях традиционного аграрного производства не может гарантировать защиту от голода. Еще Жак Ле Гофф считал, что на умы и души людей Средневековья особенно влияла неуверенность в материальной обеспеченности и неуверенность духовная, вследствие чего страх преобладал над надеждой, и «ментальность, эмоции, поведение формировались в первую очередь в связи с потребностью в самоуспокоении»[4]. Американский историк Джеймс Скотт показал, что организация аграрного хозяйства в Китае во многом определялась страхом крестьян перед голодом[5]. Учитывая актуальность голода для российской деревни, мы можем провести параллели и с Россией.

---

[1] *Бабашкин В.В.* Крестьянин как романтик. Златовратский Н.Н. Устои. История одной деревни. М.: Гос. изд-во худ. лит., 1951 // Крестьяноведение. 2017. Т. 2. № 3. С. 152–161.

[2] *Аксенов В.Б.* Убить икону: визуальное мышление крестьян и функции царского портрета в период кризиса карнавальной культуры 1914–1917 гг. // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. Вип. 6. 2012. С. 386–410.

[3] *Сухова О.А.* Десять мифов… С. 189.

[4] *Ле Гофф Ж.* Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 302.

[5] См.: *Scott J.C.* Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Haven; London, 1976.

Однако эмоциональный режим общинной деревни характеризовался не только рациональным страхом перед голодом, но и иррациональным эсхатологическим предчувствием. Народная эсхатология, имевшая мало общего с каноническим Откровением Иоанна Богослова, была основана на народной апокрифической традиции, тесно связанной с сектантством. Е. А. Мельникова пишет, что на рубеже XIX–XX вв. ряд российских публицистов обращает внимание на массовое распространение в деревне слухов о грядущем конце света[1]. Вероятно, это характерная черта конца столетия, так как апокалипсис был назначен на 1 ноября 1899 г. Однако масла в огонь сельских страхов подливали ученые, ожидавшие появления кометы Галлея в 1910 г. Исследователи отмечают, что столкновение Земли с кометой упоминалось чаще всего в крестьянских слухах в качестве причины апокалипсиса. Когда же комета не оправдала эсхатологических ожиданий, очередное светопреставление было назначено на 25 марта 1912 г. Для понимания природы деревенских слухов и настроений периода Первой мировой войны важно учитывать эсхатологические ожидания российских крестьян, тем более что начало войны совпало с еще одним апокалиптическим предзнаменованием: 8 августа 1914 г. в России было видно полное солнечное затмение. Внезапное наступление темноты трактовалось крестьянами как предвестие конца света, говорили, что тьма наступит, когда Земля собьется со своего пути и улетит от солнца, отсюда и восприятие войны как начала апокалипсиса. Существовали и локальные знамения на местах. Так, например, в день объявления войны в Архангельске случился ураган, сорвавший с собора крест, что также навело местное население на эсхатологические интерпретации[2].

К сожалению, попытки комплексного изучения крестьянского менталитета, духовной жизни деревни, практикуемые в среде этнографов и фольклористов, пока еще остаются исключением для историков. Этнографический материал не всегда удается соотнести с конкретными социально-политическими событиями и показать его связь с историческим процессом. Лучше всего это изучено на материале XVIII в., исторические повороты которого определили судьбы российского крестьянства и отразились в фольклоре. Р. Г. Пихоя исследовал отражение событий от раскола XVII в. до Пугачевского восстания в мировоззрении населения Урала, указал на языческие пережитки, влияние апокрифической литературы, на основании чего изучил такие вопросы, как представления о времени горнозаводского населения и его отличия от ощущений времени крестьянами, теологические представления уральских рабочих, отношение к богу и дьяволу, роль «тайного знания» в повседневном труде рудничных рабочих и старателей и т. д. Одним из тезисов ученого, который далее будет раскрыт на материале уголовных дел против крестьян за оскорбление

[1] *Мельникова Е. А.* Эсхатологические ожидания рубежа XIX–XX вв.: конца света не будет? // Антропологический форум. 2004. № 1. С. 250–266.

[2] *Юров И.* История моей жизни… С. 154.

представителей династии, является констатация материализации болезни, что позволяло использовать соответствующие магические практики как для лечения, так и для насылания порчи[1]. Следует заметить, что материализация и даже персонификация болезней, например лихорадок как дочерей царя Ирода, сохранялась и в начале XX в. Источники показывают, что в начале XX в. проклятия и связанные с ними «темные» обряды совершались не только колдунами, но и обычными крестьянами в адрес верховной власти, тем самым «тайное знание» растворялось в повседневных практиках, отчасти теряло свою сакральную природу и переходило в сферу профанно-политических актов.

В 1986 г. М.М. Громыко предприняла попытку системного исследования традиционного поведения крестьян в XIX в., указав на то, что в общественном сознании сельских жителей существовали устойчивые, зафиксированные нормы поведения, уходящие, с одной стороны, в давнюю традицию, регламентируемые религиозными представлениями и общиной, с другой стороны — подвижные нормы, определявшиеся актуальными, прагматическими задачами хозяйственной жизни[2]. Еще ранее К.В. Чистов показал диалектическое единство варианта (импровизации, инициативности) и инварианта (традиции, стереотипа), сохранявшееся в народной среде[3]. По его мнению, традиция как система связей настоящего с прошлым регулирует реакции на повторяемые, типовые ситуации, однако изменчивость среды предполагает и вариативность традиции. Таким образом, вариант и инвариант, опыт стереотипного поведения и готовность к импровизации, постоянно присутствуют в народной психологии, определяя ее синкретичность и амбивалентность. Громыко при этом дополняла, что соотношение вариативности и традиционности в крестьянском сознании и поведении для тех или иных исторических периодов оказывается разным. Будет справедливым предположить, что периоды бурных реформ, войн и революций, менявшие привычную крестьянскую повседневность, характеризовались переходом от инвариантной системы к вариативной. Именно в эти моменты крестьяне демонстрировали повышенный интерес к политической жизни, начинали выписывать газеты, интересоваться государственными вопросами. Л.М. Иванов обратил внимание на повышение социально-политической активности крестьян в годы Русско-японской войны и пришел к выводу, что она «открывала глаза крестьянам на самодержавие как на виновника войны, развязанной в интересах буржуазии и помещиков» и способствовала краху монархических настроений[4]. Как известно, согласно другой концепции,

[1] *Пихоя Р.Г.* Записки археографа. М., 2016. С. 215.

[2] См.: *Громыко М.М.* Традиционные нормы поведения и формы общения крестьян в XIX в. М., 1986.

[3] *Чистов К.В.* Традиция и вариативность // Советская этнография. 1983. № 2. С. 14–22.

[4] *Иванов Л.М.* Дела о привлечении крестьян к ответственности по 103 и 246 статьям как источник для изучения крестьянских настроений кануна первой русской революции // Проблемы источниковедения. М., 1959. Т. VIII. С. 134.

крах наивного монархизма, веры в доброго царя произошел после 9 января 1905 г. Подобные поиски точки бифуркации крестьянского монархизма, вероятно, обречены на провал в силу того, что монархические представления народа нельзя изобразить в качестве нисходящей или восходящей прямой, более точным будет график, описывающий циклические колебания. С 1907 г. начался определенный «откат» крестьянской психологии к традиционному мышлению и стереотипным социальным практикам, но Первая мировая война вновь усилила вариативность мышления и поведения. Вместе с тем изучение крестьянских инициативных актов, связанных, например, с протестом против определенных действий власти, показывает их типичность относительно аналогичных периодов истории. Вариативность периода потрясений, кризиса повседневности оказывалась инвариантом народной ментальности, что является очередным примером синкретичности крестьянского менталитета.

В 1991 г. М.М. Громыко попыталась расширить круг изучаемых проблем мира крестьянской деревни и выпустила книгу, показавшуюся по ряду причин существенно менее удачной, чем монография 1986 г.[1] И не только потому, что, ориентированная на широкие круги читателей, она была написана в публицистической манере, с сильно сокращенным научным аппаратом, а главным образом по причине ее тенденциозности и односторонности, приведшим к мифологизации отдельных сторон жизни российской деревни. В работе «Традиционные нормы поведения и формы общения крестьян в XIX в.» были недостатки, которые можно было бы устранить в последующих трудах. Главным образом это касается того, что, изучая нормы поведения крестьян, Громыко проигнорировала формы девиантного и делинквентного поведения сельских жителей (воровство, разбои, убийства, поджоги, сексуальные перверсии, бунтарство и пр.) и варианты реакции на них крестьян — в основном, по-видимому, из-за того, что эти формы не получили достаточного отражения в этнографическом материале, составившем источниковую основу исследования. Вместе с тем свидетельства крестьянской преступности хорошо известны по другим источникам, которые автор оставила без внимания и в 1991 г. Кроме того, вопреки этнографическому материалу, была переоценена роль православной религиозности. В разделе «Вера» описывается ее официально-обрядовая сторона, посещение крестьянами церкви считается достаточным аргументом их православности. При этом исследовательница пытается дискутировать с некоторыми своими оппонентами: «Сейчас иногда приходится слышать утверждение о том, что неграмотные крестьяне, мол, не знали православия, так как не читали священного писания. Это представление людей, которые не бывают в церкви и не имеют понятия о том, что служба постоянно включает чтение разных мест из Евангелия, Деяний и Посланий апостолов,

[1] См.: *Громыко М.М.* Мир русской деревни. М., 1991.

Ветхого Завета»[1]. Аргумент Громыко малоубедителен в силу того, что она не проводит различий между устным и печатным словом. Очевидно, что у человека, читавшего священные тексты, и у того, кто только слышал отдельные места из них, при прочих равных условиях формируются разные представления о религии как системе. С таким же успехом автор могла бы добавить, что иконы с фресками рассказывают о христианстве, а потому и службу посещать необязательно. Однако исключительно визуальное изучение религии, как и исключительно устное, без культуры письменного текста, не позволяет получить адекватное и глубокое представление о предмете. Не указывает Громыко и на значение апокрифической литературы, роли русского сектантства, сохранявшихся языческих представлений в сознании народа, что не позволяет сводить проблему крестьянской веры исключительно к православной обрядности. Ссылаясь на тенденциозные работы А.В. Буганова и приводя в качестве источника народное песенное творчество, Громыко обнаруживает высокий уровень национального самосознания крестьян, пронизанного патриотизмом: «Нетрудно заметить, — пишет автор, — что исторические представления и знания крестьян буквально пронизаны патриотизмом. С позиций интересов Отечества оцениваются события, деятели, отдельные поступки»[2]. Как уже отмечалось, офицеры и генералы во время Первой мировой войны опровергали подобные утверждения, характерные для официальной пропаганды. Вместе с тем следует иметь в виду, что народная историческая песня — специфический жанр народно-героического эпоса, который сам по себе предполагает высокий героический пафос, оперирование абстрактными понятиями, чуждыми крестьянам в повседневной жизни. Поэтому повседневное мышление следует отделять от мышления художественного. В итоге Громыко рисует идеалистическую картину мира крестьянской деревни, в которой высокий нравственный уровень сельских жителей соседствовал с правовой сознательностью, православной религиозностью, национально-патриотическим самосознанием.

Среди комплексных исследований крестьянской ментальности, закрепленной в традициях сельской повседневности, можно отметить монографию В.Б. Безгина «Крестьянская повседневность (традиции конца XIX — начала XX века)»[3], в которой, помимо описания земледельческих традиций, взаимоотношений крестьянства с разными уровнями власти, изучаются гендерные аспекты деревенской повседневности, структура крестьянской семьи и отношения между ее членами. В главе «Сельские пороки» автор пишет о пьянстве, плотских утехах, абортах и убийстве новорожденных, показывая, что, вытекая

---

[1] *Громыко М.М.* Мир русской деревни. С. 112.

[2] Там же. С. 229.

[3] См.: *Безгин В.Б.* Крестьянская повседневность (традиции конца XIX — начала XX века). М.; Тамбов, 2004.

из реалий сельской жизни, они являлись вполне типичными ее явлениями. Отмечая патерналистскую основу народного восприятия верховной власти, Безгин оспаривает тезис В.П. Данилова о том, что к 1917 г. крестьянский менталитет стал республиканским, пишет о разочарованности крестьян в царской власти в начале XX в., подчеркивает также огромное значение православия в жизни русского крестьянина, но при этом подходит к вопросу с иной стороны: отмечает, что православность характеризовалась не знанием канонов и догм, а глубоко личной верой в бога. С одной стороны, констатируя сохранение языческих представлений и верований, а с другой — подчеркивая православную форму веры русских крестьян и считая, что она определялась не уровнем знаний о религии, а уровнем духовности (еще один абстрактный термин, затрудняющий познание предмета и уводящий исследователя в сторону), Безгин впадает в противоречие, которого можно было бы избежать, введя понятие «народное православие», которое он тем не менее сознательно отвергает. При этом автор признает, что православные традиции в процессе модернизации общества были подвергнуты сильной деформации.

О.А. Сухова, исследуя массовое сознание крестьян, также признает, что модернизация привела к его секуляризации, стала вызовом традиционализму русской поземельной общины[1]. Она использует термин «бессознательная религиозность», которая уживалась с распространявшимися антиклерикальными настроениями, а также критикует В.Б. Безгина за то, что он считает термины «двоеверие», «бытовое православие», «обрядоверие» искусственными[2]. Сухова делает важное замечание о том, что образ приходского священника всегда исключался крестьянами из категории «мы», а глубокая убежденность в «бытии Божием» сочеталась с незнанием религиозных истин и догматов, молитв и заповедей. При этом если в отношении архаичных пластов мифологического сознания Безгин, признавая значимую роль языческих представлений, считает их вторичными относительно православной веры, то Сухова пишет, что «язычество не просто сосуществовало с христианством, но, пожалуй, могло поспорить с ним в степени воздействия на процесс формирования религиозных представлений крестьянства»[3]. Вероятно, многих противоречий в дискуссии о степени религиозности русского неграмотного крестьянина удалось бы избежать, если бы некоторые авторы не смешивали понятия «православие» и «христианство» (веру в единого бога и традицию обращения к нему в трудную минуту нередко выдают за чисто православную традицию, как будто не типичную для представителей других христианских церквей), а также не пытались доказывать глубину народной веры ритуализированными обрядовыми практиками, в некоторых случаях навязывавшимися властями. Вера,

---

[1] *Сухова О.А.* Десять мифов… С. 179.

[2] Там же. С. 191.

[3] Там же. С. 194.

религия и церковь — разные и самостоятельные категории, к каждой из них в общественном сознании может быть свое собственное, отличное от других отношение.

О. А. Сухова затрагивает проблему соотношения сознательного и стихийного в крестьянском движении и делает очень важный вывод, показывающий искусственность оппозиции «стихийное — сознательное»: «Анализ действий повстанцев позволяет отметить, что наличие определенного алгоритма в действиях крестьян при осуществлении регулярных сверхсильных переживаний при проявлении массовых настроений не отрицает, а, наоборот, подчеркивает стихийный характер поведенческой практики»[1]. Действительно, традиция крестьянских выступлений выработала совокупность стереотипных реакций (то, что относится к инвариантно-архаичной природе массового сознания), но она же предполагала большую роль эмоциональной составляющей, предопределявшей вариативность развития конкретных случаев бунтарства. Эмоциональный режим русской деревни, характерный для носителей устной, традиционно-архаичной культуры, приводил к причудливому симбиозу сознательного и стихийного.

Таким образом, мы видим, что вопросы крестьянской ментальности в историографии в основном поднимаются применительно к изучению народных движений, общинного уклада жизни и особенностей сельскохозяйственной деятельности, а также религиозных представлений сельских жителей. При этом говорить о комплексном изучении массового сознания крестьян как многоуровневой структуры, в которой присутствуют как рациональные, так и иррациональные элементы, не приходится. В некоторых случаях исследователи в желании понять и объяснить поведение крестьян приписывают последним шаблоны психологии человека письменной культуры, с его последовательностью и логичностью поведения, игнорируя противоречивое, амбивалентное мышление людей «устного мира». Говоря о массовом сознании, необходимо иметь в виду его структуру, в которой выделяются три пласта-уровня: архетипическо-мифологический, прагматический и теоретический. В устной культуре доминируют два первых, даже знакомство малограмотных людей с отдельными достижениями научного знания не позволяет в полной мере ими пользоваться по причине неразвитости абстрактного мышления. Мышление в устной культуре образно-метафорично и предметно-иконично, конфликт мифологической и прагматической интерпретации внешнего мира приводит к противоречивым, амбивалентным суждениям, что во многом определяет синкретическую особенность массового сознания крестьян. Отношение крестьян к основным проблемным категориям — земля, община, труд, власть, бог — во многом определяется контекстом и внешними обстоятельствами, что делает

[1] *Сухова О. А.* Десять мифов… С. 590.

их систему ценностей подвижной, готовой к инверсиям и переходам от одной крайности к другой. Так, например, мифологический уровень сознания предполагает веру в сверхъестественное и, в частности, в бога. Война, усилившая эсхатологические предчувствия, способствовала росту страхов и тревожности населения, следствием чего стало обращение к религии, главным образом обрядовой ее стороне. Вместе с тем крестьяне, изо дня в день сталкиваясь с порожденными войной бытовыми трудностями и разочаровываясь в царской власти, начинали позволять себе богохульные высказывания. Это не означало атеизации сельских жителей, их мышление при этом оставалось мифологическим, однако вторжение прагматико-профанных проблем в область сакрального приводило к инверсии высокого и низкого. Точно так же рост оскорблений императора в годы войны нельзя рассматривать как безусловное доказательство разочарования крестьян в монархических устоях и распространения в их среде республиканских идей — патернализм оставался главной характеристикой представлений крестьян о власти, поэтому изменение социального поведения сельских жителей и новые черты их общественной психологии происходили при сохранявшихся глубинных характеристиках менталитета, что соответствует отмеченному единству варианта и инварианта, стереотипному и импровизационному поведению селян. Вместе с тем война катализировала социальные конфликты в деревне и переводила многие из них в политическую плоскость, поэтому концепция вызревания революционно-бунтарских настроений крестьянства именно в период Первой мировой войны представляется верной.

Оскорбители и оскорбленные: народ и власть в свете статьи 103 Уголовного уложения 1903 г.

22 марта 1903 г. Николай II утвердил новое Уголовное уложение, которое должно было прийти на смену Уложению 1845 г. В третьей главе «О бунте против Верховной Власти и о преступных деяниях против Священной Особы Императора и Членов Императорского Дома» было девять статей (с 99 по 107), причем три из них (за посягательство на жизнь императора, императрицы или наследника престола, попытку изменения государственного строя, порядка наследования престола или отторжение от России какой-либо территории) предусматривали высшую меру наказания — смертную казнь[1]. Вместе с тем в сравнении с Уложением 1845 г. заочное оскорбление императора по статье 103 хоть и предусматривало ту же максимальную меру наказания — восьмилетнюю каторгу, отменяло нижний шестилетний порог каторги и не содержало наказания плетьми с клеймением (были отменены указами в 1903–1904 гг.). Б. И. Колоницкий отмечает, что оскорбление представителей царствующего

[1] Новое Уголовное Уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. СПб., 1903. С. 42–45.

дома было самым распространенным государственным преступлением в России. Так, в 1911 г. 62% лиц, осужденных за государственные преступления, проходили по статьям третьей главы Уложения 1903 г.[1] В правоприменительной практике самой «популярной» статьей третьей главы оказалась статья 103, в которой говорилось:

> Виновный в оскорблении Царствующего Императора, Императрицы или Наследника Престола, или в угрозе Их Особе, или в надругательстве над Их изображением, учиненных непосредственно или хотя и заочно, но с целью возбудить неуважение к Их Особе, или в распространении или публичном выставлении с тою же целью сочинения или изображения, для Их достоинства оскорбительных, наказывается: каторгою на срок не свыше восьми лет.
>
> Если же заочные оскорбления, угроза или надругательство учинены, хотя и при свидетелях, или публично, или в распространенных или публично выставленных произведении печати, письме или изображении, но без цели возбудить неуважение к Особе Царствующего Императора, императрицы или Наследника Престола, то виновный наказывается: заключением в крепости.
>
> Если же заочное оскорбление, угроза или надругательство учинены по неразумению, невежеству или в состоянии опьянения, то виновный наказывается арестом[2].

Можно заметить, что в аналогичной статье 268 Уложения 1845 г. отсутствовал второй абзац статьи 103, где речь шла о заочном оскорблении «без цели возбудить неуважение», что предусматривало меньшее наказание. Единственным смягчающим обстоятельством в Уложении 1845 г. оказывалось состояние опьянения. Кроме того, из Уложения 1903 г. исчезло наказание за недонесение свидетелями о преступлении. Тем самым можно констатировать, что Уложение 1903 г. было гуманнее своего предшественника, тем более что между «оскорблением с целью возбудить неуважение», предусматривавшим каторгу, и «оскорблением без цели возбудить неуважение», предусматривавшим крепость, была очень тонкая грань. Как правило, во время дознания обвиняемые отрицали намерение сознательно оскорбить представителей царствующего дома, ссылались на то, что были в состоянии аффекта, не понимали, что говорят, поэтому на практике максимальное наказание по данной статье не применялось. Вместе с тем между формулировкой «оскорбление без цели возбудить неуважение» и «оскорбление по неразумению, невежеству или опьянению» грань оказывалась еще тоньше. В этом случае гарантированным способом получить арест вместо крепости было указать на собственную неграмотность или состояние опьянения. Б. И. Колоницкий пишет, что в 1911 г. в 97% случаев (1167 из 1203 дел)

---

[1] *Колоницкий Б. И.* «Трагическая эротика»... С. 44–45.

[2] Новое Уголовное Уложение... С. 44.

обвиняемые отделывались арестом, часто кратковременным[1]. Большое количество упоминаний в уголовных делах состояния опьянения обвиняемых не соответствовало реальному положению дел и не может служить аргументом в пользу того, что ругали царя подданные исключительно по пьяни.

Тем не менее статья 103 и общая правоприменительная практика предоставляли достаточно формальных поводов для обвинений. Так, например, использование в одной фразе матерного оборота и имени императора позволяло начать дознание в оскорблении государя. То же самое касалось матерного выражения в помещении, в котором висел портрет императора, даже если имя его не упоминалось. В последнем случае нарушителю обычно сначала делалось замечание, и уже в зависимости от его реакции свидетели или представители власти, если речь шла о присутственном месте, начинали действовать в рамках закона. Крестьяне — люди эмоциональные, поэтому на сделанное замечание, как правило, следовало новое, еще более агрессивное заявление.

Начавшаяся война подарила представителям разных социальных групп России новые поводы для обсценных высказываний в адрес верховной власти. К сожалению, прямое соотношение количества дел по статье 103 Уголовного уложения довоенного и военного периода окажется нерепрезентативным в силу проведенной мобилизации, изменившей демографическую структуру общества, в результате чего многие потенциальные «буяны» оказались на фронте. В 1918 г. Е. Н. Тарновский, ссылаясь на официальные данные уголовной статистики, обращал внимание, что уголовная преступность в России с 1914 по 1916 г. возросла на 28%, вместе с тем количество политических преступлений, в том числе по статье 103, снизилось[2]. Однако изучение жандармских отчетов по отдельным губерниям рисует противоположную картину. Так, Б. И. Колоницкий указывает, что в Самарской губернии количество обвинений по статье 103 с 1914 по 1916 г. выросло с 19 до 105, т. е. в 5,5 раза[3]. Это неудивительно, так как по мере затягивания войны слухи, компрометировавшие династию, все более распространялись по России. 2 октября 1915 г. начальник московского охранного отделения полковник А. П. Мартынов доносил директору департамента полиции о «резко оппозиционном» настроении Москвы и росте «антидинастического настроения»: «Особенно интенсивно рост этот замечается в низах общества, где он питается самыми нелепыми, дикими сплетнями и слухами»[4]. Современники отмечали, что в 1916 г. люди без стеснения,

---

[1] *Колоницкий Б. И.* «Трагическая эротика»... С. 45.

[2] См.: *Тарновский Е. Н.* Война и движение преступности в 1911–1916 гг. // Сб. статей по пролетарской революции и праву. Пг., 1918.

[3] *Колоницкий Б. И.* «Трагическая эротика»... С. 66.

[4] Донесение начальника московского охранного отделения директору департамента полиции о заседании московского отдела центрального комитета к.-д. // Буржуазия накануне Февральской революции. М.; Л., 1927. С. 64.

публично — в трамваях, в очередях за продуктами — обсуждали истории о похождениях Распутина, измене Александры Федоровны, отношении ко всему этому Николая II. 29 февраля 1916 г. вышла очередная сводка московского охранного отделения «О настроении общества», в которой, в частности, отмечалось: «В данном случае приходится говорить даже более чем о падении престижа верховной власти, — налицо признаки начавшегося и неуклонно развивающегося антидинастического движения… движения острого и глубокого раздражения против особы государя императора… С болью приходится констатировать, что если бы реагировать на все случаи наглого и откровенного оскорбления величества, то число процессов по статье 103 достигло бы небывалой цифры. И это — настроение столько же низов, тяготеющих к крайним левым, сколько и буржуазии средней и высшей»[1]. Колоницкий находит верное объяснение расхождению официальной уголовной статистики с отчетами жандармских офицеров и офицеров охранки: «К официальным данным уголовной статистики следует относиться с большой осторожностью, ибо в различные периоды власти по-разному реагируют на совершение одних и тех же преступлений, по-разному регистрируют их на разных этапах делопроизводства»[2].

Вместе с тем у Е. Н. Тарновского, констатировавшего спад уголовных преступлений, были оппоненты. Так, в 1916 г. М. Фигурин указал, что одним из основных источников, подтверждающих спад преступности в годы войны, являются справки о судимости, количество которых неуклонно сокращалось. Однако попытавшись разобраться с причинами этого явления, Фигурин обратил внимание, что в официальных объяснениях, связывавших спад преступности с мобилизацией и прекращением алкогольной торговли, скрываются недомолвки: мобилизация привела в первую очередь не к сокращению преступлений, а изменениям подсудности (из гражданских судов преступники были переведены в юрисдикцию военных), а прекращение официальной продажи спиртных напитков способствовало росту незаконного корчемства. Кроме того, на выдаче справок о судимости отразилось беженство, так как теперь совершалось меньше преступлений по месту жительства. Все это затрудняло сбор полной статистики, в результате чего Фигурин делал вывод, что убедительных статистических данных о сокращении преступности в целом по России нет, и поэтому могут быть районы, в которых в связи с оттоком населения преступность действительно снижалась, а могут быть другие, где она, наоборот, возрастала[3].

В любом случае, по ходу Первой мировой войны общественная обстановка накалялась и в адрес верховной власти раздавалась все более жесткая критика,

---

[1] Сводка московского охранного отделения о «настроении общества» на 29 февраля 1916 г. // Буржуазия накануне февральской революции. М.; Л., 1927. С. 77.

[2] *Колоницкий Б. И.* «Трагическая эротика»… С. 66.

[3] *Фигурин М.* Об уменьшении преступности за время войны и о возможных причинах этого // Журнал министерства юстиции. 1916. № 3. С. 197.

попадавшая под статью 103. В 1916 г. в интересах власти было не замечать в отдельных случаях факты публичного оскорбления императора, главным образом тогда, когда задержание виновного грозило народным возмущением, могло подтвердить справедливость оскорбительного высказывания о власти в глазах толпы. Массовое распространение таких случаев вынуждает Николая II, дабы не усугублять психологическую атмосферу в обществе, подписать 10 февраля 1916 г. высочайшее повеление ограничить привлечение к уголовной ответственности за оскорбление царя и членов императорской семьи, в результате чего министр юстиции А. А. Хвостов распорядился прислать ему на пересмотр заведенные дела для возможного помилования обвиняемых или смягчения наказания. Коллекция из кратких сводок протоколов подобных дел (по которым приговор уже вынесен или дознание продолжается) в форме докладов по Третьему Уголовному отделению I Департамента Министерства юстиции сохранилась в фонде 1405 Министерства юстиции Российского государственного исторического архива, кроме того, полные дела по статье 103 отложились в фондах губернских жандармских управлений Государственного архива Российской Федерации.

Следует заметить, что дела по статье 103 давно привлекают внимание исследователей, главным образом тогда, когда речь заходит о массовых настроениях крестьян, так как именно они чаще представителей других сословий становились фигурантами процессов (о причинах этого будет сказано ниже). Вместе с тем далеко не всегда используется весь потенциал этого исторического источника. Чаще всего цитируются отдельные высказывания крестьян о власти в подтверждение тезиса о дискредитации правящей династии в глазах простого народа. Реже обращается внимание на контекст, обстоятельства, приведшие к нарушению статьи 103, и тем более на анализ документов с источниковедческой точки зрения. Одним из первых исследований указанных дел в качестве исторического источника стала статья Л. М. Иванова, в которой он, разбирая оскорбительные высказывание крестьян в годы Русско-японской войны, отметил важность подобных материалов для изучения настроений и политических взглядов сельских жителей[1]. Иванов заметил, что этот исторический источник раскрывает «целый мир крестьянского сознания: здесь и наивная вера в царя, и озлобление против него за то, что он не дает земли, и ожидание „мятежа“, который приведет, наконец, к тому, что земля перейдет в руки крестьян»[2]. Сравнивая выявленные Ивановым особенности массового сознания крестьян, можно обратить внимание на стереотипные практики мышления и поведения, характерные для периодов Русско-японской и Первой мировой

---

[1] *Иванов Л. М.* Дела о привлечении крестьян к ответственности по статьям 103 и 246 как источник для изучения крестьянских настроений кануна первой русской революции // Проблемы источниковедения. М., 1959. Т. VIII. С. 119–134.

[2] Там же. С. 125.

войн: отрицательное отношение к мобилизации, непонимание причин войны и попытки домыслить их на доступном для себя уровне, роль слухов в информационном пространстве русской деревни, дискредитация царя, усиление конфликтов с помещиками, которые воспринимаются в качестве изменников, и пр. Тем не менее статью Иванова едва ли можно назвать полноценным источниковедческим исследованием, так как в ней не затрагивался ряд важных вопросов, например степень репрезентативности этой группы документов. К делам по статье 103 из докладов министру юстиции обратилась О.С. Поршнева, которая выделила несколько типов крестьянских высказываний, обращая внимание на аргументированные, повторявшиеся не менее трех раз[1]. Тем самым были отделены типичные характеристики власти от случайных, нетипичных, что позволяет вести речь о массовом сознании. Вместе с тем внимание только к аргументированным суждениям сужает исследовательский фокус анализом осознанных и артикулированных характеристик как элементов политического сознания, оставляя за его границами случайные эмоциональные высказывания как элементы настроений. Представляется, что сочетания осознанных, рациональных высказываний с неосознанными, иррациональными выражениями своих чувств (как вербальными, так и невербальными, например жестами, упоминавшимися в протоколах) составляют одну из уникальных особенностей данных исторических документов.

Наиболее полный на сегодня источниковедческий анализ дел по нарушениям статьи 103 Уголовного уложения за 1914–1916 гг. проведен в монографии Б.И. Колоницкого[2]. Так, исследователь перечислил наиболее типичные ситуации, при которых звучали оскорбления в адрес представителей династии («случайные», «карнавальные», «конфликтные» и др.), использовал квантитативный анализ с целью выявления динамики оскорблений по годам в отдельных местностях, выяснения мест, где чаще всего звучали обсценные высказывания (10% в 1914 г. были зафиксированы в присутственных местах), какие эпитеты, которыми награждали власть, были наиболее распространенными, а также определения наиболее распространенных объектов критики. Среди последних по частоте упоминаний следовали: император Николай II, великий князь Николай Николаевич, вдовствующая императрица Мария Федоровна, императрица Александра Федоровна[3]. В отличие от Поршневой, Колоницкий учитывал каждый случай оскорбления императора, но также обращал внимание на повторяемость высказываний и сюжетов. Дискутируя с В.Б. Безгиным, отметившим, что чаще всего оскорбления царя носили пьяный характер и звучали в трактирах, Колоницкий пишет о том, что по мере приближения к 1917 г.

---

[1] *Поршнева О.С.* Крестьяне, рабочие и солдаты России… С. 100.

[2] См.: *Колоницкий Б.И.* «Трагическая эротика»…

[3] Там же. С. 70.

обсценные высказывания становились все более «трезвыми». При этом автор отметил и ограничения, налагаемые данным материалом: характер фиксации правонарушения и смягчение правоприменительной практики в феврале 1916 г. не позволяют выстроить график динамики оскорблений по годам в масштабах всей империи. Впрочем, этот недостаток может быть восполнен иными историческими источниками. В любом случае территориальный охват и распространенность определенных высказываний о власти, а также имеющееся количество зафиксированных фактов позволяют считать их массовыми и использовать для изучения массового сознания в качестве выборки.

Несмотря на указанные достижения по изучению данной группы источников их потенциал все еще не раскрыт в полной мере. Представляется актуальным дальнейшее изучение дел по статье 103, и в первую очередь самих высказываний крестьян с привлечением квантитативного (исследование, например, половозрастной структуры обвиняемых), семиотического (изучение тех или иных слов и образов как знаков, отсылавших к архетипическому или иному уровням сознания), дискурсивного (рассмотрение высказываний как системы значений, характеризующейся интертекстуальностью и формирующей определенные практики) и других анализов.

Всего было изучено 1474 случая оскорбления императора и членов его семьи. Как уже отмечалось, исходя из того, что на отдельных этапах изучаемого периода полиция с разной степенью служебного рвения преследовала подданных за оскорбление царственных особ, а также учитывая локальные, территориальные особенности, едва ли изученные дела позволяют выстроить динамику политических настроений населения в 1914–1916 гг. Однако эти документы являются ценным историческим источником по изучению социальных и психологических вопросов, так как представляют собой вполне репрезентативную выборку всей эпохи. Дела позволяют изучить сословный, гендерный и возрастной состав хулителей, распределить случаи фиксации оскорблений по губерниям. Особенную ценность в контексте проблематики данной главы представляет то, что высказывания крестьян передают нам устную речь «молчаливого большинства», а также позволяют исследовать особенности крестьянского «эмоционального режима» — не только обсценные обороты речи, но и жесты, которыми они сопровождали свои слова для придания им большей выразительности и эмоциональности. Жесты, направленные в сторону портретов членов царской семьи, также фиксировались в протоколах по статье 103 как факты оскорбления.

Среди поступивших в Министерство юстиции дел в связи с высочайшим повелением 10 февраля 1916 г. по 268 (19%) уже были вынесены приговоры по происшествиям 1914–1916 гг., которые позволяют оценить степень строгости судебных инстанций в вопросах оскорбления императора и понять общую практику правоприменения статьи 103. Прежде всего нужно заметить, что из числа

изученных дел не обнаружено ни одного, когда обвиняемому была бы присуждена высшая мера наказания, предусмотренная статьей,— восьмилетняя каторга (см. табл. 1). В 63,4% упоминавшихся в докладах дел предусматривался арест при полиции от двух суток до шести месяцев. При этом преобладали малые сроки — от двух суток до месяца, что составляло 83,5% от всех случаев ареста. Заключение в крепости назначалось в 34% случаев, причем большинство приговоров приходится на срок от двух недель до месяца. Сроки от года до трех лет назначались в 23% от всех случаев заключения в крепости, или в 8% случаев от всех видов наказания. Самое строгое наказание — ссылка на поселение с лишением прав состояния — составило 2% от всех приговоров.

Таблица 1. Наказания, вынесенные по статье 103 Уголовного уложения за 1914–1916 гг.

	Арест при полиции						**Заключение в крепости**													**Ссылка на поселение**	**Итого**
	От 2 суток до 1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.	От 2 нед. до 1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.	7 мес.	8 мес.	9 мес.	10 мес.	1 год	2 года	3 года		
Кол-во осужденных	142	11	13	2	0	2	20	8	14	4	3	14	0	4	3	1	18	2	1	6	
Общее кол-во	170						92													6	268

Разбор конкретных дел и назначенных наказаний показывает, что при одних и тех же обстоятельствах совершенного преступления обвиняемые могли получить разные сроки. Сказывались как тонкие различия между пунктами 1, 2 и 3 статьи 103, так и иные факторы, связанные с психологической атмосферой в обществе (в частности, с распространением шпиономании и ксенофобских настроений), местными национальными особенностями и т.д.

Минимальная мера наказания, встречающаяся в докладах в Министерство юстиции,— помещение под арест на 2 дня. Такое наказание вынес Красноярский окружной суд по адресу мещанки г. Бирска Уфимской губернии 45-летней Парасковии Кузнецовой, которая в августе 1915 г. в Красноярске заявила, что «наша старая государыня, немка, в какой-то город передавала провизию для германцев и ее теперь арестовали»[1]. На суде Кузнецова признала, что произносила эти слова, но отрицала, что ее намерением было оскорбить императрицу,— она просто передавала слух. В докладе было отмечено, что Кузнецова неграмотна, старообрядка, имеет троих детей. Это позволило расценить преступление как «оскорбление по невежеству». При этом судьи не учли, что

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 591 об.

распространение именно таких слухов сильнее всего дискредитировало верховную власть, нежели ругательства в адрес императора. Решение о трехдневном аресте приняла Московская судебная палата 24 февраля 1916 г. (т.е. после выхода высочайшего повеления) в отношении 42-летнего крестьянина Тверской губернии Якова Андреева. 22 мая 1915 г. на поле близ деревни Гагиной Андреев в присутствии местного сельского старосты поссорился с крестьянином Васильевым из-за потравы скотом Андреева огорода Васильева. Во время ссоры Васильев сказал: «Ну что же, Государю на тебя жаловаться, что ли?» На что Андреев выматерился: «… (брань) с Государем, я не признаю ни Государя, ни другое начальство»[1]. Такая же мера наказания была принята Сарапульским окружным судом 10 декабря 1915 г. в отношении крестьянина Федора Кусаргина, который в мае того же года, зайдя в дом крестьянина Трошкова, в разговоре о войне произнес: «У нас дело плохо насчет войны. Мать государя отправилась в Германию — значит, изменила»[2]. Обвиняемый свою вину не признал и настаивал, что сказал лишь, что императрица поехала в Германию и там попала в плен. Еще один случай трехдневного ареста связан с двумя крестьянами Ставропольской губернии, которые рассказывали, что «государыня императрица Мария Федоровна имеет двух незаконнорожденных сыновей. Она просила государя императора, чтобы этих ее сыновей почитали в церквях, в чем государь император отказал. Тогда она уехала с этими сыновьями в Германию и из-за этого началась война»[3]. Оба крестьянина признали себя виновными. Показательно, что ни один из обвиняемых не находился в состоянии алкогольного опьянения, неграмотным являлся лишь один, однако судьи усмотрели в этих случаях пункт 3 статьи 103 «оскорбление по неразумению, невежеству или опьянению». На этом фоне кажется суровым приговор в отношении неграмотного 86-летнего крестьянина Сахалинской области Семена Варфоломеева, который был присужден к месяцу ареста за то, что 20 октября 1914 г. в присутствии нескольких свидетелей на замечание одного из них, что скоро будут брать новобранцев в Сахалинской области, матерно выругался в адрес царя: «… (брань) я ему дам, что он кормит моих сыновей, поит… (брань)»[4]. На относительной суровости приговора в отношении старого человека сказалось, вероятно, то, что Варфоломеев был бывшим каторжником, осужденным в 1876 г. на 5 лет за убийство, а также, по-видимому, использованный по адресу императора крепкий матерный оборот, опущенный в докладе по Третьему уголовному отделению. Вместе с тем с точки зрения репутационного вреда верховной власти высказывание Варфоломеева представляется менее серьезным преступлением, чем вышеприведенные случаи

[1] Там же. Л. 170 об.
[2] Там же. Л. 227.
[3] Там же. Л. 354.
[4] Там же. Л. 229.

распространения слухов, рисующих измену членов царской семьи. Такое же наказание — месяц ареста при полиции — получил 73-летний мещанин г. Смоленска Семен Детков за то, что произнес: «Государя нам не нужно, надо его убить… (брань)»[1]. Как видим, фразы обоих — Варфоломеева и Деткова — содержали матерное оскорбление императора, но при этом Детков призывал к убийству царя, а получил за это такое же наказание, как и Варфоломеев. Смягчающим обстоятельством было то, что Детков произносил слова в состоянии опьянения. Однако мера наказания так и не была принята в отношении обоих обвиненных, так как в соответствии с высочайшим повелением от 10 февраля 1916 г. они были помилованы.

Более суровым наказанием являлось заключение в крепости. Законодательство допускало, что заключение в крепости могло сопровождаться лишением прав состояния, однако такие случаи по статье 103 выявлены не были. Как и в случае с арестом, наиболее распространенным сроком крепостного заключения был срок в пределах одного месяца. Минимальным временем оказалось двухнедельное содержание. Именно такой приговор вынесла Харьковская судебная палата в отношении 25-летней фельдшерицы Сони Гельфгат, которая в октябре 1914 г. во время разговора в аптеке с фельдшером Кореневым на замечание последнего, что немцы зверски обращаются с мирным населением, ответила: «А разве наш государь делал лучше, устраивая в городе Одессе и других местах погромы и проливая кровь» и вдобавок назвала императора «недалеким»[2]. В данном случае, хотя крестьяне получали за более оскорбительные высказывания куда меньшие сроки, сказалось, вероятно, еврейское происхождение фельдшерицы. Кроме того, подчас грубо-обсценное и абсурдное, настоянное на слухах высказывание крестьян списывалось на эмоциональность сельских жителей, тогда как рациональное обвинение мыслилось отягчающим фактором. Образованный человек, отдававший себе отчет в произнесенных словах, мог получить больший срок. Так, две недели крепости получил 56-летний мещанин Екатеринбурга Виктор Петер, управляющий конторой, за то, что в феврале 1915 г. в разговоре с рабочими о мобилизации ратников сказал: «В японскую войну вас дураки обманули, не дали земли и теперь обманут, не дадут. Издали вам манифест и то его Никулка скрыл». На вопрос, кто обманет, Петер ответил: «Ваш Никулка»[3]. В докладе отмечено, что Петер православный, домашнего образования, женат и имеет четырех детей.

По количеству приговоров к заключению в крепости на втором месте после месячного срока стояло годовое заключение. 30 декабря 1915 г. Томский окружной суд приговорил к заключению в крепости на один год и четыре месяца

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 66.
[2] Там же. Л. 248 — 248 об.
[3] Там же. Л. 375.

19-летнюю еврейку, мещанку г. Каинска Мере Трескову за то, что, присутствуя на проводах на войну мужа своей знакомой, она напевала революционные песни (некий Самойлов играл их мелодии на балалайке) и, в частности, произнесла, имея в виду императора: «Если бы я была там (на войне. — *В. А.*), то всадила бы ему первую пулю»[1]. Отягчающим обстоятельством стали политические рассуждения Тресковой. В частности, она возмущалась тем, что «нас евреев на войну в первую голову гонят, а надела не дают». В докладе не отмечалось, была ли Трескова пьяна (очевидно, что собравшиеся проводить призывника пили не только чай), однако сочетание революционного фольклора, политических высказываний с еврейской национальностью обвиняемой представлялось достаточным основанием для серьезных опасений на ее счет, в результате за аналогичное высказывание с Детковым (оскорбление и угроза убийством императору) Трескова получила куда более серьезное наказание. Еще один земляк Тресковой, 70-летний еврей Мовша Малкин, проживавший в деревне Богатихе, получил год крепости за то, что в январе 1915 г., вернувшись домой из Каинска, на вопросы находившихся в его доме крестьян о городских новостях сообщил, что из пяти сыновей его свата один умер, а четырех взяли на войну, после чего произнес: «… (брань) вашего государя, чтоб он околел»[2]. В отличие от Тресковой, Малкину не вменялись в вину революционные высказывания, однако отягчающим обстоятельством была его трезвость и национальность. Правда, в соответствии с царским повелением на это дело резолюцию наложил министр юстиции А. А. Хвостов: «Полагал бы возможным это дело прекратить ввиду… преклонного возраста и состояния нарушенного душевного равновесия, вызванного призывом 4 сыновей близкого человека». Другой еврей, киевский купец I гильдии 49-летний Борук Бродский, также получил год крепости за то, что прокомментировал сообщение «Русского слова» о поездке императора в действующую армию словами: «Государь император должен был ехать из Петрограда прямо в Варшаву, а поехал кругом, вот сукин сын»[3]. В данном случае, несмотря на относительно нейтральное высказывание в сравнении с другими известными упоминаниями царской особы, отягчающим обстоятельством была «история» обвиняемого, который уже был подвергнут крепостному заключению на один месяц за оскорбление городового, а также был выслан из Киева под гласный надзор полиции в г. Цивильск. Тем не менее значительный процент евреев среди приговоренных к крепостному заключению не кажется простым совпадением в условиях развивавшейся в России ксенофобии и шпиономании.

Помимо евреев, в крепость по статье 103 часто отправлялись этнические немцы. Так, год заключения получил крестьянин Самарской губернии Генрих

---

[1] Там же. Л. 129.

[2] Там же. Л. 162 об.

[3] Там же. Л. 240 об.

Гинтер за то, что в июне 1915 г. в разговоре с двумя десятниками о войне на замечание одного из них, что русские войска собираются оставить Львов, со смехом произнес: «Они, немцы, возьмут Львов, но даже придут в Петербург. Будут… царевых дочек, их у него много, и до самой царицы доберутся и ее…»[1] 28 февраля 1916 г. был осужден к годовому крепостному заключению германский подданный Готлиб Классен за то, что якобы с самого начала войны и до весны 1915 г. в г. Бердянске Таврической губернии регулярно в присутствии свидетелей оскорбительно отзывался об особе императора. Классен родился в России, происходил из семьи немецких колонистов Екатеринославской губернии, его дети были российскими подданными, причем два сына сражались на войне против Германии. Классен не признал себя виновным и направил ходатайство о помиловании и принятии в русское подданство. Однако министр юстиции Хвостов отклонил прошение о помиловании, оставив приговор в силе[2].

Было бы неверным утверждать, что среди хулителей, получавших длительные сроки заключений, не было русских. Все же доминировали в качестве обвиняемых именно русские крестьяне (при этом привести точную статистику по национальностям вряд ли удастся, так как национальная принадлежность, как и вероисповедание, указывалась не всегда). Достаточно их было и в крепостях. Причем возвращавшиеся с фронта рядовые солдаты из крестьян также пополняли число хулителей. Так, например, находившийся в отпуске по ранению рядовой лейб-гвардии Егерского полка из крестьян Курской губернии Михаил Усов в разговоре с сельскими жителями о войне в декабре 1914 г. заявил, что «германцы 40 лет готовились к войне и крепости строили, а наш царь водкой торговал и строил монопольки. Наш царь после пяти месяцев войны уже побирается»[3]. Харьковская судебная палата приговорила Усова к заключению в крепости на два года с заменой наказания с заключением в дисциплинарной части на тот же срок. В итоге Усов вернулся на фронт.

Максимальное заключение в крепости на три года, из числа рассмотренных случаев по докладам министру юстиции, получил мещанин города Балтийского Порта Эстляндской губернии 40-летний эстонец Христиан Педдер за то, что осенью 1914 г. в разговоре с рабочими неоднократно позволял себе оскорбления императора и, в частности, произнес: «Русский император глупее, чем свинья, и ему не победить германца»[4]. В данном случае мы имеем дело с периодом расцвета шпиономании, когда доставалось всем носителям нерусских фамилий. В отношении прибалтов, как и поляков, евреев, немецких колонистов, власти отличались особенной подозрительностью.

---

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 198 об.

[2] Там же. Л. 115.

[3] Там же. Л. 111 об.

[4] Там же. Л. 14 об.

Приговоренными к ссылке и лишению всех прав состояния в докладах министру юстиции были упомянуты шесть человек: один дворянин (этнический немец), двое мещан (русский и еврей) и трое крестьян (русские). Рассмотрим кратко эти случаи.

1. Потомственный дворянин Александр Германович фон Бюллер 12 декабря 1914 г. в Тифлисе по поводу причин войны заявил: «Вильгельм, узнав о готовящемся нападении на Германию четырех хулиганов, не ожидая такового, первый начал войну», после чего пояснил, что под хулиганами он имел в виду Николая II, Георга V, а также Францию и Бельгию[1]. Отягчающим обстоятельством, помимо немецкой фамилии, стало образование обвиняемого, полученное в Германии.

2. В июле 1915 г. 50-летний мещанин г. Нарыма Николай Савин был приговорен Томским окружным судом к лишению прав состояния и ссылке на поселение за то, что в присутствии свидетелей произнес: «Вашего Николая скоро поведут на поводу как русскую собачонку»[2]. В деле указывалось, что Савин ранее проходил в качестве обвиняемого по статье 103. А. Хвостов отказался помиловать его.

3. Мещанин Таврической губернии еврей Давид Рудман с начала мобилизации, когда была запрещена торговля алкогольными напитками, подвергся серии обысков со стороны полиции, подозревавшей его в нелегальной торговле. В сентябре 1915 г., находясь в своей бакалейной лавке и жалуясь на притеснения со стороны полиции, Рудман произнес: «Государь наш — мошенник, хабарник, пьяница. Он не может воевать с немцами, а может только трусить у Рудмана водку и сажать его за это в тюрьму. Его кредитные билеты теперь ничто, а имеет ценность только золото и серебро»[3]. Как видим, обвиняемые получали куда меньшее наказание за куда более оскорбительные высказывания в адрес императора с угрозами убийства.

4. Барнаульский окружной суд приговорил 28-летнего крестьянина Петра Маклакова к ссылке на поселение с лишением прав за то, что, услышав, что один его знакомый собирается вставить в рамку портрет императора, сказал: «Его … (брань) не застеклить, а облить керосином и сжечь надо. Да его самого-то, …, убить надо, чтобы не мучал крестьян и солдат»[4]. На замечание окружающих, что нельзя так отзываться об императорской особе, Маклаков заявил, что царя нужно выбирать, как выбирают старост. Хотя в докладе и отмечалось, что Маклаков ранее не привлекался по политическим статьям, указывалось, что он отбывал в тюрьмах сроки по другим статьям Уложения о наказаниях (за подлог в карточной игре, за разбой и умышленное убийство).

---

[1] Там же. Л. 160 об.

[2] Там же. Л. 106.

[3] Там же. Л. 113.

[4] Там же. Л. 133.

5. 45-летняя крестьянка Тобольской губернии Мария Агафонова была приговорена к ссылке с лишением прав за то, что 12 февраля 1915 г. в разговоре о войне заявила: «Вы, русские, дураки, царь ваш дурак и царствует подурацки. Как он женился, так и подавился. Он сам дает себе … в рот. Царь пьет, а русские страдают от его похмелья»[1]. В докладе отмечалось, что Агафонова ранее судима не была, неграмотна, странствует по святым местам, торгуя священными предметами и собирая пожертвования на масло к мощам преподобного Макария. Вызывает удивление, что при наличии смягчающих обстоятельств — неграмотность и отсутствие судимости, богоугодные занятия — Агафонова получила столь суровое наказание. Вероятно, в данном случае сыграл роль характер самого высказывания о царе. Впрочем, приговор впоследствии в отношении странницы был отменен.

6. Крестьянина Тверской губернии 51-летнего Федора Лобанова осудили на ссылку с лишением за то, что в мае 1915 г., рассуждая об отступлении русских войск из Галиции, сказал: «Вот бы нам Вильгельма вместо нашего государя, а то он ничего не делает», после чего грязно обругал императора[2]. Однако сам Лобанов заявил, что его оклеветали односельчане, питавшие к нему неприязнь с тех пор, когда он, занимая должности сельского старосты и волостного старшины, принимал строгие меры к взысканию накопившихся за сельским обществом недоимок. Любопытно, что опрос свидетелей показал разделение их на две группы: одни подтверждали, что Лобанов регулярно неуважительно высказывался о царе, другая группа, включая полицейского стражника, защищала Лобанова, подтверждая его слова об оговоре. Тем не менее судебная палата признала крестьянина виновным и отказала в помиловании, несмотря на то что на попечении Лобанова значились жена, дочь и три сына, один из которых ушел на фронт. В апреле 1916 г. А. А. Хвостов помиловал Лобанова.

Власти применяли к фигурантам дел еще одну меру, не предусмотренную статьей 103, — принудительное психиатрическое обследование. Так, в лечебницу для душевнобольных по решению суда был отправлен крестьянин Тверской губернии Никита Брюнгин за то, что 19 апреля 1915 г. он заявил, что «государя императора у нас нет уж четыре года и за него у нас кто-то там правит»[3]. Следует заметить, что реакцию властей в данном случае едва ли можно признать адекватной — слухи о подменном, похищенном или сбежавшем царе во все времена были распространены в крестьянской среде, а Первая мировая война и непосредственно практика посещений царем линии фронта дала новый толчок к развитию этой темы. В этом смысле Брюнгин был вполне «нормален», так как демонстрировал стереотипное мышление, свойственное, как

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 150.
[2] Там же. Л. 64 об.
[3] Там же. Л. 99 об. — 100.

говорилось в предыдущей главе, общинному крестьянству. Тем не менее объективно Первая мировая война способствовала невротизации российского общества и увеличению случаев психических расстройств, о чем подробнее будет сказано в дальнейшем.

Таким образом, мы видим, что судебные инстанции хотя и не приговаривали обвиняемых к каторжным работам, достаточно субъективно интерпретировали части статьи 103, оценивая не только осознанность — неосознанность обсценного высказывания, но и его характер, национальность обвиняемого. Сравнивая приговоры, можно заметить, что за более грубое и политически окрашенное высказывание вероятно было получить меньшее наказание, как, например, в случае Рудмана, лишенного прав состояния и отправленного в ссылку за то, что в трезвом уме назвал царя мошенником, и Деткова, призывавшего в пьяном виде убить императора, за что получил всего лишь месяц ареста при полиции. Конечно, трезвое состояние Рудмана являлось отягчающим фактором, однако его случай вполне мог быть интерпретирован по части 2 статьи 103 — «оскорбление без цели вызвать неуважение», тем более что в материалах дела отмечалось, что Рудман был спровоцирован действиями полиции.

В то же время можно заметить, что если по отношению к немцам и евреям власти, как правило применяли более строгое наказание, то представители других малых народностей или определенных социальных групп могли рассчитывать на некоторые поблажки. Так обстояли дела с казаками, дела которых рассматривали родные окружные суды. Например, Усть-Медведицкий окружной суд приговорил 57-летнего казака Николая Ромашкина всего лишь к недельному аресту при полиции за то, что тот в июне 1915 г. заявил: «Наш государь глупого рассудка и если бы не было Николая Николаевича, то война давно бы уже была проиграна»[1]. При этом еврей, произнесший, что государь «только кушает, пьет и с курвами гуляет, а за порядком не смотрит», получил три месяца крепости[2].

Примечательно, что во время следствия полиция нередко становилась на сторону обвиняемого и пыталась указать на смягчающие обстоятельства. Бывало, составители протоколов отмечали, что крестьяне произносили ругательства «без всякого смысла, по привычке»[3]. Так, например, в Тобольской губернии была распространена идиома «царь не в копейку», связанная с временами, когда на копейке изображался всадник с пикой или саблей и царской короной на голове (XVI–XVIII вв.). Фраза употреблялась для выражения ценностного несоответствия одного объекта другому, носила абстрактный характер. Тем не менее

---

[1] Там же. Л. 420 об.
[2] Там же. Л. 421.
[3] Там же. Л. 121 об.

в 1916 г. за употребление этих слов тобольский крестьянин Николай Коровин, 46 лет, был направлен под надзор полиции[1]. В ряде случаев высказывания крестьян следует интерпретировать в контексте местных фольклорных традиций. Как уже упоминалось, безадресное матерное ругательство во фразе, где упоминался император, также влекло ответственность. Так, в характеристике на крестьянина Пермской губернии 39-летнего Афанасия Осокина, выматерившегося в адрес императора, говорилось, что Осокин — порядочный человек, но на слова неосторожный и подвержен «постоянной матерной брани»[2].

Французский посол Морис Палеолог, блестяще знавший русскую литературу и живо интересовавшийся психологией простого народа, отметил своеобразное отношение русского крестьянства к уголовным преступлениям: «Сострадание к пленным, к осужденным, ко всем, кто попал в страшные когти закона, свойственно русскому народу. В глазах мужика нарушение уголовного кодекса не является проступком, тем более бесчестием. Это просто несчастный случай, неудача, злой рок, которые могут случиться с каждым, если на то будет Божья воля»[3]. С этой точки зрения уголовные преступления, включая и хулу по адресу верховной власти, являлись неотъемлемой частью повседневного существования и происходили в соответствии с божьей волей. Хула на царя, как наместника бога на земле, в глазах отдельных представителей сельского мира поднимала социальный статус оскорбителя, иногда представляла его юродивым, что считалось формой святости.

Однако крестьяне быстро учились получать выгоду от Уголовного кодекса. В некоторых случаях начатые расследования по статье 103 были результатом сведения доносчиками личных счетов с обвиняемыми. Особенно это было эффективно, когда обвиняемыми оказывались этнические немцы. Так, например, горничная Анна Лукс была уволена в мае 1915 г. за лень и дурное поведение своей хозяйкой, мещанкой г. Ревеля Гульдой Шель, в прошлом германской подданной. Шель была заведующей школой-садом при приюте Эстляндского немецкого общества. Школа-сад была закрыта по распоряжению властей, и из кабинета школы дворник принес в квартиру Шель картину, изображавшую царскую семью. Однако Шель не захотела повесить картину в квартире и приказала дворнику унести ее. Уволенная Лукс донесла об этой истории властям, заявив, что Шель бросила царский портрет под стол со словами «такого хлама я не потерплю в своей комнате». На дознании Шель заявила, что картина была плоха по исполнению и не подходила к обстановке ее квартиры[4]. Полиция согласилась с тем, что горничная оклеветала хозяйку, и министр юстиции Хвостов прекратил расследование.

---

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 121 об.

[2] Там же. Л. 533 об.

[3] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 241.

[4] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 30—30 об.

Разбирая общую структуру крестьянского хулительного дискурса, нельзя не обратить внимание на то, что доносчики и обвиняемые демонстрировали один тип мышления, употребляли одни и те же слова и выражения. Исследуя отношение к царской власти населения Урала в XVIII в., Р.Г. Пихоя заметил, что «доносчики в некоторых случаях формулировали слухи… смелее, чем то, что им удавалось подслушать»[1]. То же самое осталось справедливым и в начале XX в. С этой точки зрения было бы неверным интерпретировать дела по статье 103, порожденные доносами, как борьбу значительной части крестьянства с одиночками-хулителями царской власти, и делать на этом основании вывод о том, что такие дела относятся не к норме, а к исключениям социально-политической жизни. Наоборот, доносчики зачастую разделяли мнение того, на кого доносили, однако пользовались этим случаем для сведения личных счетов. Бывало, что писали взаимные доносы друг на друга по статье 103. Подобным образом проявился конфликт между псаломщиком церкви села Перевесья Пензенской губернии потомственным почетным гражданином Алексеем Феликсовым и священником этой же церкви Николаем Тиховым (конфликты между церковно- и священнослужителями были распространенным делом). Священник Тихов донес на Феликсова, что, когда 26 июля 1915 г. он зашел в квартиру последнего узнать, готовы ли метрические выписки на подлежащих призыву на военную службу, псаломщик ответил: «На кой они черт нужны, все равно и этих людей переколотят. Варшаву и Ивангород немцы взяли и наших перекрошили. Наставил жопников, например, Фредерикса, вот они и работают. Раз к ним народ относится враждебно, то начерта их держать»[2]. Феликсов заявил, что Тихов возвел на него ложное обвинение, так как давно старается выжить его из прихода, при этом сообщил, что Тихов в мае 1915 г. при свидетелях, обвиняя правительство в бездеятельности, сказал: «А наш государь окружил себя министрами-немцами ослами, да и сам-то выходит осел»[3]. Вероятнее всего, в данном случае оба персонажа, и священник, и псаломщик, позволяли себе ругательства в адрес верховной власти.

В сословном отношении хулители большей частью относились к крестьянам, которые упоминаются в качестве обвиняемых в 72% случаев из 1474 дел. На втором месте шли мещане (17%), затем поселяне (5%), казаки (2%), дворяне (1%). В изученных протоколах в качестве обвиняемых были представлены все слои населения: рабочие, купцы, духовенство, чиновники и пр. Встречается дело, заведенное в отношении урядника полицейской стражи: 11 апреля 1916 г. в селе Дорогорском Архангельского уезда произошла ссора между крестьянином Поповым и урядником полицейской стражи Чащиным, с одной стороны,

---

[1] *Пихоя Р.Г.* Записки археографа. М., 2016. С. 168.

[2] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 271—271 об.

[3] Там же. Л. 271 об.

и фельдшером Нерядихиным — с другой. Последний был изгнан из квартиры Попова без шапки. Когда же фельдшер потребовал вернуть ему шапку «с гербом государя императора», Чащин и Попов крикнули ему в ответ: «… (брань) Государя!»[1] В деле было отмечено, что Чащин и Попов находились в состоянии алкогольного опьянения, что являлось смягчающим вину обстоятельством. Б. И. Колоницкий пытается определить сословную динамику преступлений по статье 103, обращая внимание на примере Киевской судебной палаты на то, что если до войны и в ее первые месяцы оскорбления императора были в основном крестьянским уделом, то по мере затягивания войны возрастало число обвиняемых по этой статье среди мещан[2]. Тем не менее сводки Министерства юстиции позволяют утверждать, что в целом по стране до 1916 г. лидерство в качество фигурантов политических дел сохраняли крестьяне.

Таблица 2. Социальный состав оскорбителей

Социальная группа	*Процент от общего числа оскорблений*
крестьяне	71,8
мещане	16,9
поселяне	5,0
казаки	2,4
дворяне	1,3
солдаты	1,2
духовенство	0,6
почетные граждане	0,6
чиновники	0,3
купцы	0,3
рабочие	0,2

Вместе с тем доминирование сельского населения в расследованиях не должно создавать иллюзии, что антидинастические настроения развивались лишь в низах общества. Донесения и сводки охранного отделения, жандармских управлений, письма и дневники рядовых подданных позволяют констатировать, что настроения, отразившиеся в делах крестьян по статье 103, были характерны для всего российского общества, правда, с некоторым тематическим разнообразием, о чем будет сказано позже. Морис Палеолог еще осенью 1914 г. писал, что для высшего столичного общества оскорбление императора в частных беседах было обычным делом[3]. В образованной среде шутили по поводу

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 402 об.
[2] *Колоницкий Б. И.* «Трагическая эротика»… С. 66.
[3] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 162.

любовных отношений между царем и балериной М. Кшесинской, которые якобы не прекращались и после венчания Николая II и Александры Федоровны. 21 сентября 1914 г. гости К.И. Чуковского режиссер Н. Евреинов и художник Ю. Анненков нарисовали в рукописном альманахе «Чукоккала» ребус, расшифровывавшийся как «Кшесинская, „станцуя“ краковяк в Берлине, захваченном русскими, докажет мощь царя»[1]. Чуковский дорисовал ребус указаниями статей Уголовного уложения, за которые полагалось судить авторов, включая и 103-ю. Помимо любовных похождений императора потешались над его интеллектуальным уровнем. Даже в среде монархистов признавали посредственный ум Николая II[2]. По мере приближения к 1917 г. ситуация только ухудшалась.

Объяснение преобладания крестьян в числе обвиняемых лежит в эмоционально-психологической плоскости. Это уже отмечавшаяся эмоциональная несдержанность, характерная для традиционного, общинного мира, низкая правовая культура, невежество крестьян, не понимавших, когда, что и где можно произносить, а также определенные социальные практики, как, например, доносительство. Если преступление, предусмотренное статьей 103, произошло не в присутствии представителя власти, то для заведения уголовного дела требовался донос. Для высших слоев общества доносительство не было характерной чертой, считалось постыдным занятием. Для деревни, особенно периода войны и учащения социальных конфликтов, доносы становились обычным способом сведения счетов.

Б.И. Колоницкий выделяет следующие типичные оскорбления императора: «случайные» оскорбления, «карнавальные» оскорбления, оскорбления, связанные с конфликтами на селе, мотивированные религиозные оскорбления и осознанные политические оскорбления[3]. Оправданным будет предположение, что по мере дискредитации царской власти и приближения к революции оскорблений последнего типа становилось все больше. Вместе с тем это не означало совершения оскорбителями сознательного политического выбора, перехода на социалистические, республиканские позиции, разочарование в монархизме. Речь в первую очередь идет о массовой дискредитации личности Николая II, политическая же самоидентификация российского крестьянства, в силу низкого уровня политической культуры, была слишком аморфна. Разочаровывались в Николае II даже те, кто был в свое время удостоен царского внимания. Так, например, 19 декабря 1914 г. 70-летний казак Терской области Захар Челканидзе во время тоста за императора прервал тостующего словами «мать … с вашим самодержцем», после чего стал рассуждать на тему, что простые казаки, раненные на войне, ничего не получают, а хорунжих засыпают деньгами[4].

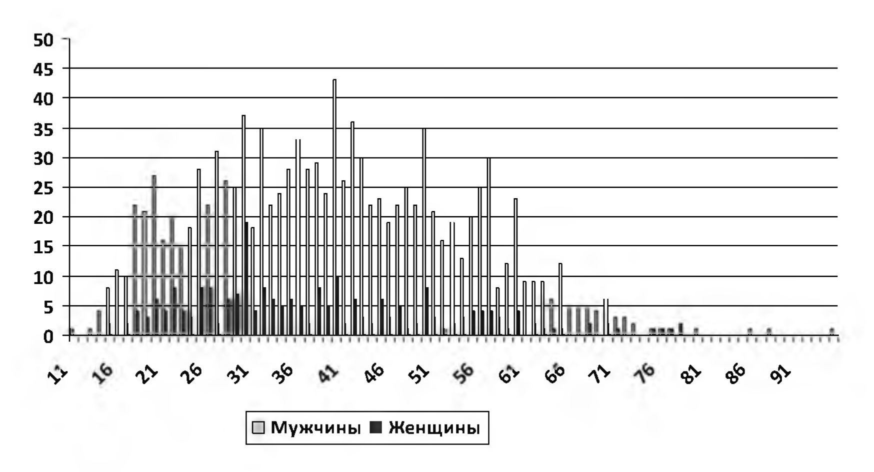
---

1 Чукоккала. М., 1979. С. 69–70.

2 См.: *Никольский Б.В.* Дневник. 1896–1918. Т. 2: 1904–1918. СПб., 2015.

3 *Колоницкий Б.И.* «Трагическая эротика»… С. 46.

4 РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 103 об.



Ил. 8. Половозрастной состав хулителей

Ругали императора не только умудренные опытом российские подданные, но и молодежь. Анализ половозрастных характеристик обвиняемых позволяет нарисовать портрет типичного хулителя: им окажется мужчина-крестьянин в широком возрастном диапазоне — от 20 до 60 лет. В гендерном отношении доля мужчин составляла 84%, женщин, соответственно, 16%. При этом мужчины не только чаще ругали представителей правящей династии, но и раньше начинали и позже заканчивали: так, самому юному обвиняемому было 11 лет, а самому пожилому — 95. Среди женщин самый ранний случай зафиксирован в 15 лет, самый поздний — в 78. Пик оскорблений у женщин пришелся на 30-летних (19 случаев), а у мужчин на 40-летних (43 случая), причем если 30-летние женщины составляли 7,9% от общего числа хулительниц, то 40-летние мужчины — всего 3,7%. Это говорит о том, что принадлежность к определенной возрастной группе играла большую роль в случае женщин, чем мужчин. По всей видимости, 30-летние женщины — это солдатки, которые имели претензии к власти как в связи с призывом в войска их мужей-кормильцев, так и из-за задержек в выплате денежных пособий. Ситуация с 40-летними мужчинами менее ясная. Согласно данным Н.Н. Головина, в армию забирали в основном 20–29-летних — их было 49%, ко второй по численности группе относились 30–39-летние (30%), 18–19-летних среди призванных было 16%, а лиц 40, 41, 42 и 43 лет — всего 5%, да и те были призваны ратниками I и II разрядов[1]. Если распределить обвиняемых по аналогичным возрастным группам и сравнить с группами призванных на войну, то прямых совпадений мы не обнаружим: наибольшая группа мобилизованных 20–29-летних дает лишь третий результат по числу оскорблений, а наименьшая группа мобилизованных 40–49-летних занимает второе место (табл. 3). Чаще всего ругали представителей династии Романовых 30–39-летние (24%), однако группу 40–49-летних

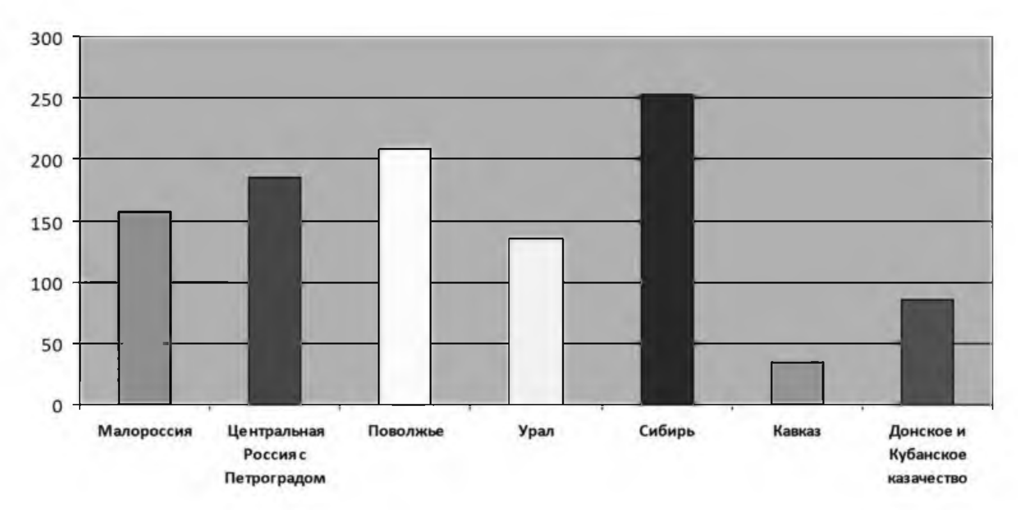
[1] *Головин Н.Н.* Военные усилия России в мировой войне. Т. 1. Париж, 1939. С. 84–85.

они опережали ненамного (23,3%). При этом 26% всех оскорблений приходится на возрастные группы, не затронутые мобилизацией. Таким образом, мы не наблюдаем прямой корреляции между нежеланием призывника отправляться на фронт и нарушением статьи 103, поэтому попытки объяснить массовые оскорбления правящей династии недовольством лишь определенных кругов населения — призывников и солдаток — не выдерживают критики. Причины недовольства верховной властью, катализированного войной, касались широких сфер жизни и не ограничивались одной мобилизацией. При этом следует заметить, что большинство крестьян, привлекавшихся по статье 103, ранее по подобным делам не привлекались.

Таблица 3. Распределение обвиняемых по статье 103 и призванных по мобилизации по возрастным группам

Возрастная группа	% оскорблений	% призванных
10–19	6,7	16
20–29	19,8	49
30–39	24,1	30
40–49	23,3	5
50–59	17,3	–
60–69	7,5	–
70–79	1,5	–
80–95	0,3	–

Отсутствие прямой связи между мобилизацией и оскорблениями подтверждается территориальным распределением обвинений по статье 103. Так, например, лидером по числу оскорблений была Томская губерния (135 оскорблений), за ней следовали Саратовская (109), Московская (84), Область Войска Донского (69), Пермская (58), Казанская (57), Харьковская (55), Херсонская (55), Уфимская (50), Петроградская (49), Киевская (46), Тобольская (37), Вятская (30), Оренбургская (23), Виленская (23), Вологодская (20), Екатеринославская (19), Пензенская (19), Гродненская (18), Тифлисская (18), Енисейская (17), Кубанская область (17), Приморская область (17), Новгородская (16), Волынская (16), Акмолинская (16), Самарская (16), Воронежская (15), Курская (15), Варшавская (15), Минская (14), Витебская (13), Владимирская (13), Лифляндская (13), Псковская (13), Могилевская (12), Тамбовская (12), Терская область (12), Бессарабская (11) и т. д. Однако распределение губерний по числу призванных на фронт мужчин от числа трудоспособного мужского населения показывает, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в Акмолинской губернии (60,6% мобилизованных от числа трудоспособных мужчин), которая в нашем списке занимает лишь 27-е место, на втором месте шла Амурская область с 55,8% мобилизованных (заняла лишь 53-е место с восемью зафиксированными случаями

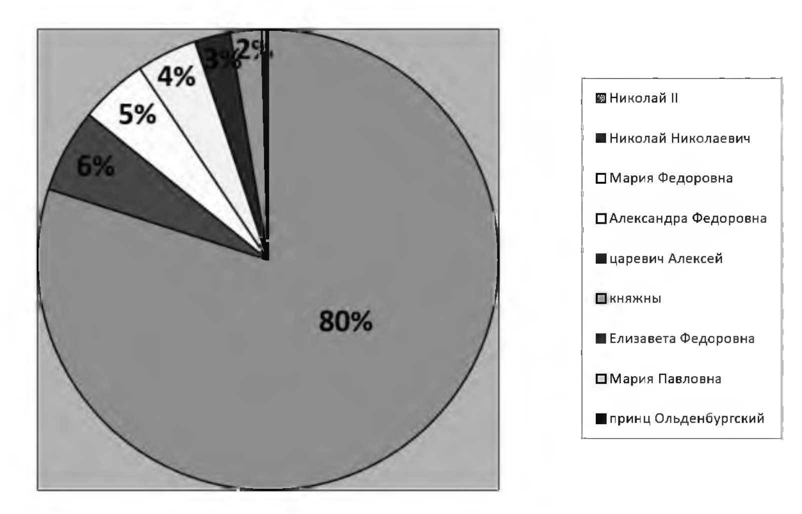


Ил. 9. Распределение оскорблений по регионам

оскорблений), на третьем — Забайкальская с 54,8% (65-е место с тремя зафиксированными случаями оскорблений), на четвертом — Алтайская с 53,6% (случаев оскорблений не выявлено)[1].

Распределение числа оскорблений по регионам России показывает, что наиболее тревожной ситуация была в Сибири (Акмолинская, Тобольская, Томская, Семипалатинская, Енисейская, Иркутская, Забайкальская, Амурская, Приморская области и губернии), далее шло Поволжье (Астраханская, Саратовская, Самарская, Симбирская, Казанская, Нижегородская губернии), Центральная Россия (Московская, Владимирская, Ярославская, Рязанская, Тверская, Смоленская, Тульская, Костромская, Калужская губернии, также для удобства подсчетов сюда был отнесен Петроград), Малороссия (Киевская, Черниговская, Полтавская, Харьковская, Екатеринославская, Подольская губернии), Урал (Уральская, Оренбургская, Уфимская, Пермская), Области Донского и Кубанского казачества и Кавказ, включая область терского казачества (ил. 9). В Сибири со значительным отрывом от остальных лидировала Томская губерния, дав 53% дел по статье 103 по всему региону (на втором месте шла Тобольская с 14,6%). Вероятные причины этого заключаются в концентрации в губернии определенного числа ссыльных поселенцев, также это можно объяснить высокой концентрацией студенчества: высшее образование вкупе с традициями бунтарства давало гремучую смесь антидинастических настроений. В Поволжье наибольшее число оскорблений верховной власти было зафиксировано в Саратовской губернии (52,4%), при этом ее отрыв от Казанской (27,4%) был менее значительным, чем разница в Сибири между Томской и Тобольской губерниями. В Центральной России вместе с Петроградом лидировала Москва с 45,4% против 26,4% у Петрограда. В целом, конечно же, европейская часть России

[1] *Головин Н.Н.* Военные усилия... Т. 1. С. 120.



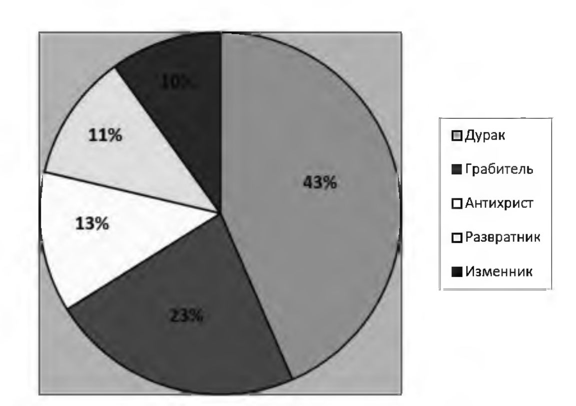
Ил. 10. Упоминания представителей правящей династии в оскорбительных высказываниях

дала большее количество оскорблений, чем Сибирь. Однако не будем забывать о том, что речь идет о зафиксированных оскорблениях преимущественно среди низших слоев населения. При этом в разных регионах представители власти, в соответствии с местными национальными, культурными, хозяйственными особенностями, по-разному реагировали на нарушение статьи 103. Распределение зафиксированных случаев на карте России показывает, что оскорбление представителей династии носило не только всесословный и всевозрастной характер, но было распространено на всей территории империи.

Разобравшись с портретом типичного обвиняемого, территориальными особенностями, рассмотрим теперь структуру высказываний и то, как народ представлял себе объект оскорблений.

Как уже отмечалось, по понятным причинам с большим отрывом в оскорбительных высказываниях лидировал Николай II — на его долю пришлось 80% упоминаний. Далее с 6% следовал великий князь Николай Николаевич, до лета 1915 г. бывший главнокомандующим; затем шла вдовствующая императрица Мария Федоровна с 5% оскорблений, далее — императрица Александра Федоровна с 4%, царевич Алексей с 3%, на долю всех княжон приходилось 2% упоминаний и менее 1% было у великой княгини Елизаветы Федоровны, великой княгини Марии Павловны — старшей (Макленбург-Шверинской) и принца А. П. Ольденбургского (ил. 10). Вместе с представителями династии ругали генералов, правительство, а также встречались случаи богохульства.

Б. И. Колоницкий подсчитал, что самым распространенным оскорблением Николая II было слово «дурак» — так называли царя в 43% случаев. Добавим, что за «дураком» шли следующие оскорбительные слова: «грабитель» — 23%, «Антихрист» — 13%, «развратник» — 11%, «изменник» — 10% (ил. 11). В данном случае при подсчете в определенную группу заносились близкие по смыслу



Ил. 11. Структура оскорблений императора

оскорбления. Например, в группу «дурак» попали характеристики «глупый», «неграмотный», «ничего не понимает», «плохой хозяин», «сумасшедший», в группу «грабитель» — обвинения в том, что забирает скотину и повышает налоги, к группе «Антихрист» были отнесены эпитеты «дьявол», «черт», «леший», обвинения в убийстве детей, потому что он отправлял их на войну (характеристика Ирода), в группу «развратник» вошли обвинения в распутном образе жизни (включая пьянство) и сексуальных перверсиях, в группу «изменник» — обвинения в продаже России Вильгельму II (за бочку золота), в выдаче военных тайн (за миллион рублей), помощь Германии (преимущественно поставками хлеба). При этом нужно отметить, что эти «ипостаси» пребывали в диалектической связи. Так, например, царя могли назвать «грабителем» потому, что он «дурак» или «Антихрист», или «дураком», потому что предается плотским утехам во время войны. Крестьянка Черниговской губернии Дарья Колосова, вернувшись из Екатеринодара и рассказывая о посещении города императором, сказала: «Он не раненых посещал, а был целых два часа в блядском институте. Он такой же дурак, как Лукашка шестипалый, у него голова с мой кулачок, у него мозги совсем не работают» (Лукашка — известный в селе калека. — *В.А.*)[1]. Глупость царя иногда связывалась с его алкоголизмом. Так, мещанин г. Скопина Рязанской губернии Федор Ходеев, беседуя на улице 19 июля 1915 г. с соседями, сказал: «Царь дурак, пьяница, гуляет, а за делами не смотрит»[2].

Градация «дурости» царя была достаточно широкой: от констатации бесхозяйственности и банальной необразованности (Николай II якобы был неграмотный и умел писать только свое имя, почему и подписывался одним именем, без фамилии[3]) до врожденной умственной отсталости, дебилизма, которую крестьяне обнаруживали, сравнивая портреты царя с лицами известных им местных умалишенных. При этом эпитеты «дурак» и «сумасшедший» иногда

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 334.
[2] Там же. Л. 105 об.
[3] Там же. Л. 263.

следовали в паре[1]. Часто глупость Николая II отмечалась через сопоставление с Вильгельмом II. Крестьяне нередко использовали фразу: «У Вильгельма больше ума в пятке, чем у Николая в голове»[2]. В этом контексте тождественным эпитетом было определение «бестолковый хозяин» или «бестолковый главнокомандующий». Так, о принятии Николаем II верховного главнокомандования крестьянин Тверской губернии Степан Кукушкин отозвался весьма лаконично: «Он не генерал, а полковник, и вояка херовый»[3]. В августе 1916 г. нижний чин, прибывший из армии в отпуск в вятскую деревню, рассказывал, что государь император находится «на поруках», так как он «бестолковый», и что наследник цесаревич не сын государя императора, а брат[4].

Следует заметить, что анализ народных высказываний о царе в первую очередь демонстрирует отношение к нему на эмоциональном уровне; было бы неверно говорить о существовании рационально-осознанного и оформленного портрета. Портретов этих было множество, но главное, что они находились в динамическом состоянии, постоянно обмениваясь своими признаками. Часто это приводило к противоречиям: обвиняя императора в глупости или даже безумии, крестьяне и мещане тут же приводили в пример вполне рациональную мотивацию, некий продуманный план его действий. Так, 3 ноября 1915 г. мещанин местечка Светиловичи Гомельского уезда Могилевской губернии Тимофей Ковалев, 55 лет, в разговорах с рабочими на станции Грузкое в пределах Путивльского уезда Курской губернии сказал: «Царь наш Николай II дурак, идиот, продал Россию Вильгельму и войну затеял с целью уничтожить людей, чтобы не наделять их землей»[5].

Глупость Николая II прочно вошла в фольклор. «От Петербурга до Алтая нет глупее самодержца Николая» — пели по всей России крестьяне, студенты, арестанты. Творчество последних особенно часто было связано с нарушением статьи 103 Уголовного уложения.

Образ царя-грабителя был связан, с одной стороны, с образом царя-дурака (грабит потому, что плохой хозяин), а с другой — царя-дьявола (грабит, потому что желает уничтожить людей). Простой народ не понимал, для чего ведется мировая война и гибнут люди, для чего уводить в армию сельских тружеников. Некоторые полагали, что ответ есть разве что у черта: «Черт его знает государя, что он думает, берет он народ и разоряет этим всех», — сказал об императоре в июле 1914 г. 55-летний Никита Андреев во время проводов сына на войну[6]. «Царь у нас кровосос и только истребляет народ», — говорили о царе

[1] Там же. Л. 443.
[2] Там же. Л. 41 об.
[3] Там же. Л. 102.
[4] Там же. Л. 491 об. — 492.
[5] Там же. Л. 27.
[6] Там же. Л. 117.

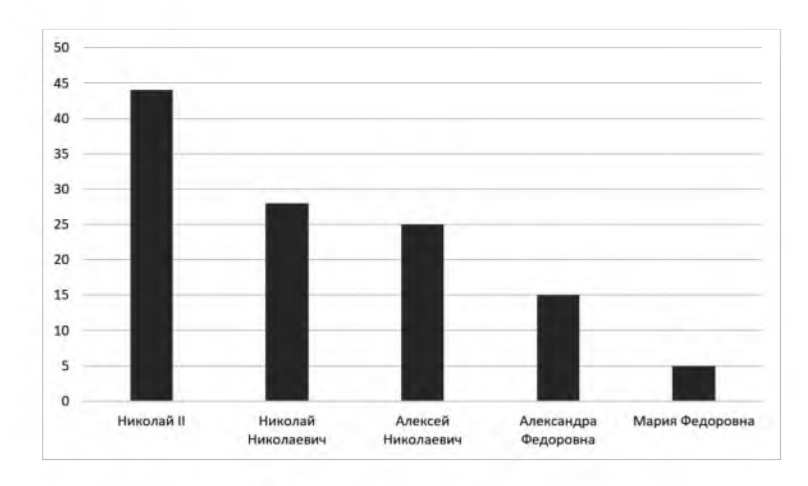
крестьяне Вологодской губернии в ноябре 1916 г.[1] Во время ссор крестьян с мелкими чиновниками, когда те пытались вразумить своих оппонентов напоминанием, что они служат государю, иногда следовала типичная фраза: «Черту ты служишь, а не царю». Царских детей, бывало, называли «чертенятами»[2]. На формирование образа царя-Антихриста влияла старообрядческая традиция, а также недовольство православного духовенства синодальным положением церкви. «Государь, как взявший в свое ведение, помимо светских, и церковные дела, — антихрист», — произнес 69-летний крестьянин Саратовской губернии Алексей Алексеев в ноябре 1915 г.[3]

Важно отметить, что 44% всех оскорблений Николая II несли в себе угрозу убийства или иного физического насилия или пожелания смерти (пусть его убьют). В одних случаях это были спонтанные проклятия, произнесенные в состоянии аффекта, в других же звучали вполне осмысленные оскорбления и даже угрозы, сопровождавшиеся «мотивировочной частью». Иногда мотивы были достаточно наивны, связаны с появлявшимися новыми повседневными заботами. Так, в сентябре 1914 г. 78-летняя крестьянка Смоленской губернии Пелагея Чижова жаловалась, что из-за мобилизации, забравшей сыновей, ей приходится самой ходить на скотный двор доить коров, и, помимо прочего, сказала: «Пущай вашего царя убьют, пусть первая пуля попадет ему в грудь»[4]. Крестьянка Полтавской губернии Ульяна Шерстюк мыслила более широко и помимо ухода мужей в качестве претензии царю выдвигала земельный вопрос: «Нашего государя надо короновать коликом из-за угла за то, что забрал наших мужей и земли не дает»[5]. При этом следует заметить, что, несмотря на бунтарскую активность солдатских матерей и жен, царский «хулительный дискурс» на 86% был мужским. Причем ругали царя и желали ему смерти не только те, кому предстояло идти на войну. Уже 22 июля 1914 г. крестьянин Уфимской губернии Семен Тебейкин, вернувшийся с призывного участка, где получил освобождение по состоянию здоровья, сказал о царе: «Вымазать бы его дегтем и поджечь»[6].

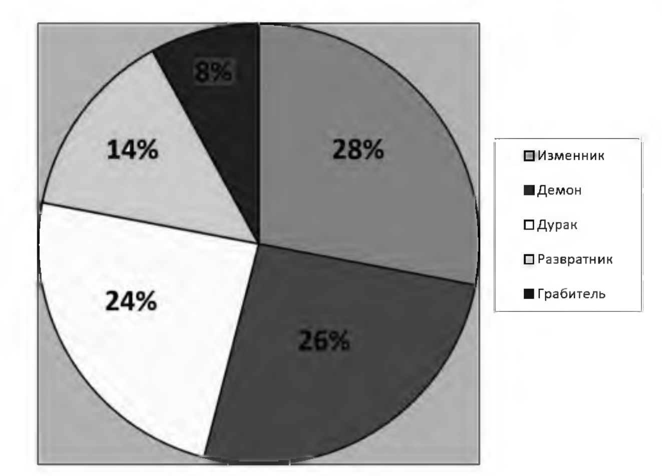
По количеству пожеланий смерти из всех членов династии Николай II занимал первое место. На втором месте находился Николай Николаевич (28% пожеланий смерти из всех оскорблений в его адрес), на третьем — царевич Алексей (25%), на четвертом — Александра Федоровна (15%), а Марии Федоровне, опередившей по количеству оскорблений своих невестку и внука, смерти желали лишь в 5% случаев оскорбительных упоминаний. Обращает на себя внимание

---

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 125.
[2] Там же. Л. 432.
[3] Там же. Л. 443 об.
[4] Там же. Л. 24 об.
[5] Там же. Л. 338.
[6] Там же. Л. 522 об.



Ил. 12. Пожелания смерти и угрозы убийством членам династии в процентном отношении от общего числа оскорблений



Ил. 13. Структура оскорблений великого князя Николая Николаевича

большой процент пожеланий смерти в адрес царевича Алексея при том, что среди оскорбленных членов династии он занимал лишь пятое место, уступая обоим родителям, бабушке и двоюродному дедушке. Вероятно, это связано не столько с личной неприязнью к персоне царевича, сколько с ненавистью ко всей династии, продолжателем которой он являлся (ил. 12).

Следующим после Николая II по количеству оскорблений шел его дядя, великий князь Николай Николаевич, до лета 1915 г. — верховный главнокомандующий. Структура оскорблений в целом соответствует оскорблениям, произносившимся в адрес царя (ил. 13). Мы можем выделить те же пять групп, однако располагаются они в иной последовательности. В глазах большинства крестьян Николай Николаевич, в отличие от императора, был не дураком (глупость заняла лишь третье место), а в первую очередь изменником, продавшим Россию за бочку золота.

При этом следует отметить, что характеристики «изменник», «демон» и «дурак» набрали почти равный процент, что не позволяет говорить о доминировании какого-то одного, определенного образа Николая Николаевича. Так,

например, слова тамбовского крестьянина Сергея Матвеева о том, что «великий князь Николай Николаевич продал Карпаты и Россию за бочку золота и теперь война проиграна»[1], характеризуют великого князя не только как изменника, но и как дурака, явно продешевившего со сделкой. В другом случае цена измены главнокомандующего поднималась: мещанин из Стерлитамака Григорий Петров сообщал, что Николай Николаевич продал одну только Варшаву за 16 пудов золота[2]. В этой же связи Николаю Николаевичу приписывались демонические характеристики, что он «седым чертом» наставляет императора и сворачивает того с истинного пути[3]. Глупость главнокомандующего связывалась с его разгульным образом жизни. Так, московский мещанин Михаил Калинин в июле 1915 г. произнес: «Забрали Ригу, Либаву и Варшаву. Скоро заберут и Брест-Литовск. Великий князь Николай Николаевич дурак из дураков. Был охотником в Тамбовской губернии, где отбивал чужих жен. Откуда его выкопали такого дурака? У него голова набита опилками. Его следовало бы повесить ... (брань)»[4]. Обвиняли главнокомандующего и в пьянстве: «Николай Николаевич во время боя напивался и валялся в канаве», — рассказывала крестьянка Кутаисской губернии Метвея Гогучадзе 20 апреля 1916 г.[5] Встречались и более рациональные обвинения главнокомандующего, приближавшиеся к его личным качествам человека, жестко расправлявшегося с провинившимися офицерами. Мещанин г. Лиды Виленской губернии Зальман Молчадский рассуждал так: «Всему виновен верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич — он зверски расправляется со всеми генералами: талантливый генерал Рузский находится в Кисловодске, генерал Артамонов (генерал Л.К. Артамонов отдан под следствие после провала Восточно-Прусской операции, но был оправдан, переведен в резерв, умер в 1932 г. — *В.А.*) повешен ранее взятия Перемышля... казнены великим князем и многие другие генералы, имена которых станут известны лишь после войны... Нельзя так жестоко обращаться с генералами — толку не будет... Генералы разозлились и не стали выполнять планов главнокомандующего... поэтому нас немцы и бьют»[6].

Как и в случае с Николаем II, убийство великого князя рассматривалось как способ окончания войны: «Кабы этого самого черта дядю государя Николая Николаевича убили, то и война бы кончилась», — говорил крестьянин Томской губернии Людвиг Мертынш летом 1915 г.[7]

1 РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 181.
2 Там же. Л. 234 об. — 235.
3 Там же. Л. 231.
4 Там же. Л. 68.
5 Там же. Л. 439 об.
6 Там же. Л. 167 об.
7 Там же. Л. 125.

Вместе с тем в оскорблениях, адресованных императору, встречались и позитивные характеристики великого князя. Так, крестьянин Уфимской губернии Симского завода Иван Уренцев, 49 лет, 18 февраля 1916 г. в разговоре о войне и о дороговизне обругал Николая II и заключил: «Не ему, а Николаю Николаевичу нужно быть царем»[1]. В июне 1915 г. казак области войска Донского Николай Ромашкин, 57 лет, оскорбил императора, назвав дураком, и заметил: «Если бы не было Николая Николаевича, то война давно уже была бы проиграна»[2].

Оскорбления, направленные против императора и верховного главнокомандующего, были связаны с выполнением ими своих должностных функций и, в этом смысле, носили некоторый функционально-рациональный характер. А вот оскорбления императриц, в сумме дававшие 9% от всех оскорблений представителей династии, т. е. больше, чем оскорбления Николая Николаевича, были не функциональными, а связанными с ошибочно приписываемыми им характеристиками. Причем в фигурировавших в слухах и оскорблениях образах Александры Федоровны и Марии Федоровны было довольно много общих черт: обе они «немки», двоюродные сестры Вильгельма II, по телефону/телеграфу якобы передавали секретные сведения в Германию, переправляли туда собранные на благотворительных акциях теплые вещи и деньги, хлеб, снаряды, а также участвовали в организации взрывов на военных заводах и складах в России. Кроме того, обеих подозревали в сексуальных перверсиях. Как видно по первым двум позициям, характеристики Александры Федоровны (немецкое происхождение) крестьянами автоматически переносились на вдовствующую императрицу. Были и характеристики, связанные с их семейным статусом: Александра Федоровна изменяла мужу и родила незаконнорожденного наследника, Мария Федоровна также имела незаконнорожденных детей, хотела их сделать членами дома Романовых, а на императорском престоле желала видеть своего младшего сына Михаила. Говорили, что царевич Алексей на самом деле сын Марии Федоровны[3].

Можно предположить, что в некоторых случаях крестьяне просто путали, какая из императриц является матерью, а какая супругой императора. Так, например, характерно упоминание в одном высказывании императрицы Марии Федоровны и великой княгини Елизаветы Федоровны (сестры императрицы Александры Федоровны): «Машку и Лизку надо удавить, тогда война будет выиграна»[4]. Создается впечатление, что произнесший эти слова крестьянин Тверской губернии Иван Виноградов искренне полагал, что Мария Федоровна и Елизавета Федоровна являются сестрами. Впрочем, общее отчество вполне могло смутить малообразованную публику.

---

[1] Там же. Л. 244.

[2] Там же. Л. 420 об.

[3] Там же. Л. 491 об. — 492.

[4] Там же. Л. 54.

В деревне Мария Федоровна была более «популярна», нежели супруга императора. Крестьяне преимущественно ругали вдовствующую императрицу, в то время как представители образованных слоев, знавшие, что немкой является именно Александра Федоровна, а также под воздействием слухов о ее связях с Распутиным, адресовали свою ненависть супруге императора. Как ни парадоксально, в делах по статье 103 практически не встречается упоминание Гришки Распутина (Б. И. Колоницкий обнаружил лишь один случай, в котором обвиняемым был казак). Этот постоянный герой городского политического фольклора отсутствовал в пространстве обсценно-политических слухов российской деревни. Тем самым и у Александры Федоровны оставалось меньше причин быть героиней крестьянского фольклора.

Анализ обстоятельств и контекста оскорбительных высказываний крестьян о Марии Федоровне позволяет предположить наличие нескольких групп причин. К первой можно отнести псевдоисторические высказывания, в которых Мария Федоровна обвинялась в том, что крестьянам не дали землю. По этой версии она якобы была любовницей П. А. Столыпина и отговорила его от земельной реформы[1]. В другом варианте крестьяне, отрицательно относившиеся к своим односельчанам, пытавшимся выйти из общины, винили во всем Столыпина, а Марию Федоровну, как его любовницу, заодно с ним. Помимо Столыпина, в любовники вдовствующей императрицы назначали генерала П. К. Ренненкампфа и министра путей сообщения, председателя Совета министров А. Ф. Трепова. Негативные образы Ренненкампфа и Трепова (первого считали немцем-изменником, второго реакционером и предателем) дискредитировали Марию Федоровну. К этой же группе причин можно отнести неверно интерпретированное в народе решение отменить празднование тезоименитства. Тезоименитство вдовствующей императрицы приходилось на 22 июля — день, близкий началу Первой мировой войны. Императрица решила прекратить отмечать его на период войны по моральным соображениям, но в народе нашли этому иное объяснение: «Праздник 22 июля был раньше, но теперь отменен, так как государыня императрица Мария Федоровна является сторонницей германского народа и изменницей России»[2]. К слову, день рождения наследника престола царевича Алексея 30 июля 1914 г. был отмечен декорированием городов флагами и торжественными богослужениями в церквях[3].

Другую группу причин можно связать с фольклором и традициями обсценной лексики. Наиболее часто встречающимся прилагательным, обозначавшим вдовствующую императрицу, было «старая». Также использовался эпитет «злая царица»[4]. Злая старая царица в фольклоре соответствовала образу антигероя

---

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 377.

[2] Там же. Л. 252.

[3] Петроградский листок. 1914. 31 июля.

[4] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 527.

(мачехи, вдовы, свекрови), черты которого переносились крестьянским сознанием на Марию Федоровну. Так, например, рассказывали, что она пыталась сварить в ванне царевича — характерный поступок сказочного антагониста[1]. Нельзя игнорировать и более простое объяснение частого присутствия имени Марии в обсценных высказываниях крестьян. Б.И. Колоницкий совершенно верно отметил здесь влияние русской матерной традиции — ругань царя «по матери» автоматически в политическом дискурсе переадресовывалась Марии Федоровне[2]. При этом, если вспомнить историю матерной лексики, изначально брань «по матери» адресовалась богоматери — деве Марии. Отголоски этой богохульной традиции можно встретить в арестантском фольклоре, где часто звучат оскорбления в адрес не только царя, но и бога. Например, известностью пользовалась следующая строчка: «Бога нет, царя не надо, губернатора убьем, мы, мазурики-арестанты, всю Россиюшку пройдем!»[3] В другом варианте в качестве сакрального персонажа вполне могла выступить и богоматерь: «Иду в Сибирь, кляну Россию, еб* царя и мать Марию»[4]. Мать Мария трансформировалась в императрицу Марию Федоровну.

Третье объяснение также связано с фольклорной традицией и патерналистским сознанием россиян. Патернализм предполагал не только восприятие царя как батюшки, «отца Отечества», но и царицы как матушки. Правоверные верноподданные нередко на старый манер ласково называли Александру Федоровну царицей-матушкой. В крестьянском сознании образы царицы-матушки Александры и императрицы-матери Марии сливались.

Сравнивая структуру оскорблений Александры Федоровны и Марии Федоровны в крестьянских высказываниях, можно обнаружить, что вдовствующая императрица лидирует по большинству характеристик: она на 40% больше изменница, чем Александра Федоровна, на 39% больше развратница, чем ее невестка, а также, в отличие от Александры Федоровны, именно она виновна в грабеже крестьян. По этой причине крестьянское сознание наделяло Марию Федоровну инфернальными характеристиками, но, как ни странно, на 60% чаще убить предлагали Александру, а не Марию. При этом единственной характеристикой, в которой императрица-супруга опередила императрицу-мать, была глупость: крестьяне не называли Марию Федоровну глупой, а считали хитрой, коварной (ил. 14).

Таким образом, дела по статье 103 позволяют реконструировать народное слово о царских особах, в котором отразился достаточно сложный образ верховной власти. Отмеченные дела обладают признаками массового источника, позволяющего исследовать массовое сознание. Оскорбления представителей

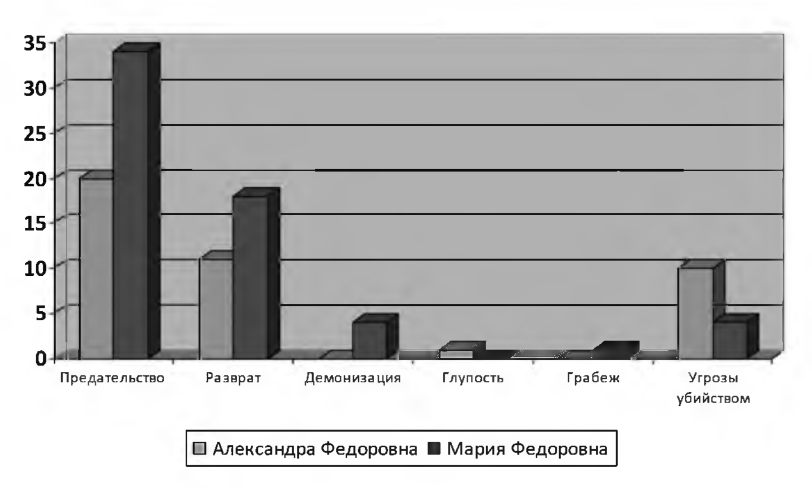
---

[1] Там же. Л. 336.

[2] *Колоницкий Б.И.* «Трагическая эротика»... С. 521.

[3] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 286 об.

[4] Там же. Л. 34.



Ил. 14. Сравнительная диаграмма оскорблений Александры Федоровны и Марии Федоровны

династии были характерны для представителей всех сословий, полов и возрастов. При этом в силу определенных культурных отличий чаще всего под действие статьи 103 попадали неграмотные и малограмотные подданные. Вместе с тем, несмотря на массовость звучавших оскорблений, власти достаточно лояльно назначали наказания, ни разу не применив максимальную меру — восьмилетнюю каторгу. Однако при вынесении приговоров судьи часто оказывались в плену распространявшихся слухами стереотипов о том, что этнические немцы и евреи сочувствуют Германии и являются потенциальными шпионами, вследствие чего им при прочих равных условиях выносились более строгие приговоры. Важно, что «хулительный политический дискурс» не был особенностью какого-то одного региона — например, столичного, — а распространялся по всей России. Как видим, по числу оскорблений лидировала Сибирь, далее следовало Поволжье и лишь на третьем месте шла Центральная Россия. По понятным причинам наиболее частым объектом критики выступал император Николай II, за ним располагался главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, а третье место занимала вдовствующая императрица Мария Федоровна, опережая свою невестку. Последнее объясняется тем, что проанализированный «хулительный дискурс» на 72% был крестьянским, а крестьяне намного чаще упоминали в оскорбительном контексте императрицу-мать, чем императрицу-супругу. При этом обеим приписывались одни и те же грехи (немецкое происхождение, политическая измена, развратный образ жизни), но те слухи, которые в городской среде ходили на счет Александры Федоровны, крестьяне переадресовывали Марии Федоровне. Несмотря на то что оскорбления в ряде случаев носили экспрессивно-аффективный, эмоциональный характер, в целом они выражали вполне осознанную народом дискредитацию верховной власти. Присутствовавшие в оскорблениях мотивировочные части демонстрируют, что император и верховный главнокомандующий наделялись

персональной ответственностью за обрушившиеся на народ несчастья, и массовое сознание приходило к выводу, что для избавления от всех невзгод необходима смерть главных виновников. Поэтому 44% оскорблений императора и 28% оскорблений великого князя заканчивались угрозами убийства или пожеланием смерти. Показательно, что занимавший лишь пятую позицию по числу оскорблений царевич Алексей по соотношению числа оскорблений к пожеланиям смерти находился на третьем месте (25%). При этом крестьяне не считали его ответственным за свои беды, наиболее часто встречавшиеся по отношению к нему характеристики — это «незаконнорожденный» и «хромой». Однако частые пожелания смерти наследнику престола свидетельствуют о том, что массовое сознание народа желало конца роду Николая II.

Образы войны и власти в крестьянском политическом сознании: от неприятия войны до коллаборационистских настроений

Как уже говорилось, объявление о начале войны и мобилизации в среде русских крестьян было встречено с раздражением. Во-первых, потому что для необразованных крестьян, не следивших по газетам за нагнетавшейся международной напряженностью, война оказалась полной неожиданностью (впрочем, накануне войны скептически о вероятности ее начала высказывались и некоторые представители высших слоев общества), во-вторых, потому что пришлась на разгар сельскохозяйственных работ, в-третьих, потому что ее причины не были понятны народу, в результате чего она представлялась бессмысленной бойней. Крестьянин Вологодской губернии А. Замараев в своем дневнике не без досады отозвался о начале мобилизации (запись от 18 июля 1914 г.): «Утром в пятницу как громом всех ударило вестью о мобилизации всего запаса сил... Предвидится война с коварной Австрией. Чорт бы ее побрал, эту лоскутную империю. В разгаре самого сенокоса утром увели с пожней всех солдат: Серова, Крутова, Макарова. Эти сенокосили близко от нас. С ними ушли и жены, и матери»[1]. Тем не менее общинная психология не одобряла индивидуальных протестных акций, направленных против царского закона, поэтому, несмотря на недовольство, крестьяне предпочитали подчиниться новой повинности и хоть и не без ропота, но следовать на призывные участки. В подчинении закону о мобилизации обнаруживается не патриотизм, а фатализм, присущий крестьянской ментальности.

Распространение фаталистических настроений, в отличие от рационально-критических, свидетельствует о проявлении архаичных пластов мышления. Вместе с тем и протестная активность во время беспорядков призывников демонстрировала формы архаичного, стихийного бунтарства, хотя формальные

[1] Дневник тотемского крестьянина А. А. Замараева. 1906–1922 годы. М., 1995. С. 86.

претензии, предъявлявшиеся властям, выглядели более чем рационально: требование гарантий, что будут вовремя убраны поля и семьи не останутся голодными на зиму, что женам будут выплачены пособия и пр. Тем не менее дать однозначный ответ на вопрос, какие пласты сознания — архаичные или рациональные — были в первую очередь активированы начавшейся войной, нельзя в силу уже упоминавшейся синкретичности крестьянского мышления. Исследователи справедливо обращают внимание на то, что война волей-неволей пробудила интерес народа к внешней политике. В деревнях выросло число подписчиков газет. Мышление крестьян постепенно начинало выходить из узких локальных рамок своей деревни, уезда, губернии. Однако врожденный прагматизм, не позволявший оперировать абстрактными понятиями, теориями, приводил к весьма примитивным характеристикам. Так, теоретические рассуждения столичной печати о том, что Россия победит в войне потому, что блок Антанты занимает более выгодное географическое положение и обладает большим запасом ресурсов, были не очень понятны крестьянской массе. Рассуждая о перспективах войны, крестьяне в поиске аргументов обращались к примерам недавней истории, и в первую очередь к Русско-японской войне. Можно сказать, что ее негативный опыт надолго подорвал веру народа в боеспособность русской армии. Причем главным фактором поражения считались действия императора, который, в силу собственной глупости, без подготовки суется в чужие дела. Крестьянин Тверской губернии Леонтий Моисей в марте 1915 г. произнес: «Какой он государь, это сволочь — Японскую войну просрал, теперь и эту хочет просрать»[1]. Петр Вылегжанин, крестьянин Вятской губернии, запасной нижний чин, уволенный из действующей армии по болезни в продолжительный отпуск, в беседе с односельчанами 10 января 1915 г. развил эту мысль, настаивая на том, что царя нужно свергнуть с престола: «Давно бы его надо грязной метлой с престола смести; он всюду суется без всякой надобности, так же и в Японскую войну сунулся»[2]. По этой причине представлялось, что Россия обречена на поражение в войне, а значит нельзя идти в армию. Крестьянин Псковской губернии Иван Жук, в мае 1915 г. освобожденный от армии по состоянию здоровья, распевая песни, выкрикнул: «Сдадут в солдаты, служить не буду Николаю дураку»[3].

Чтение газет не во всех случаях просвещало крестьянские умы, так как восприятие печатного слова человеком устной культуры может быть весьма своеобразно: интерпретации крестьянами прочитанного не всегда коррелировали с вложенной в тексты авторской интенцией. В ряде случаев крестьяне и вовсе собирались послушать публичные чтения газет лишь для того, чтобы

---

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 94.
[2] Там же. Л. 108 — 108 об.
[3] Там же. Л. 190.

прокомментировать их в издевательском ключе. Так, например, в октябре 1915 г. начальнику Воронежского губернского жандармского управления поступило заявление о том, что в селе Мечетке Бобровского уезда местные крестьяне регулярно собираются в чайной лавке, читают газетные статьи и телеграммы, которые «сопровождаются разными насмешками по отношению высшего начальства и по поводу войны»[1]. Надо сказать, что в чайных лавках велась активная нелегальная торговля спиртными напитками, поэтому неудивительно, что лавки эти становились средоточием народного юмора. При этом различия между карнавальными и политическими оскорблениями представителей верховной и высшей власти постепенно стирались, крестьяне все чаще готовы были мотивировать свои слова, выдвигая властям конкретные обвинения.

Одно из основных обвинений касалось начала войны. Причины мирового конфликта, известные письменной городской культуре, в деревне интерпретировали на свой лад, исходя из прагматических соображений. Поскольку для крестьян остро стоял земельный вопрос, была популярна земельная причина конфликта; в ней наблюдались два варианта: оптимистический и пессимистический. Первый уже упоминался: крестьяне верили, что в результате войны они получат помещичью землю. По этому поводу случались недоразумения между различными начальствующими лицами и демобилизованными по причине ранений солдатами-крестьянами. Горожане, участвовавшие в благотворительной работе общественных организаций в деле помощи раненым воинам, в письмах делились подобными историями: «Подходит, например, с ампутированной рукой солдатик и спрашивает: „Это вы записываете, кому сколько земли дать?“ Я раньше не поняла, а оказывается, что он думает, что от немцев отобрали землю и дают нашим крестьянам. Оказался он крестьянином Смоленской губернии, только что вышел на хутор, обзавелся и все его мысли около земли… А земельные мечты даже страшны немного,—подходящая почва для будущих недоразумений»[2]. В пессимистическом варианте война, наоборот, казалась затеянной для того, чтобы не давать людям землю. Согласно этой версии, царь «продал Россию Вильгельму и войну затеял с целью уничтожить людей, чтобы не наделять их землей»[3]. Представление о войне как о бессмысленном побоище доминировало в крестьянском сознании. Уже в декабре 1914 г., задолго до начала череды военных неудач русской армии, пришедшие за покупками в томскую артельную лавку крестьяне рассуждали: «Вы думаете, эта война идет из-за каких-нибудь наших интересов? Нет, ничего подобного—просто-напросто наш государь Николай и германский Вильгельм как раньше пили шампанское вино, так и теперь пьют его вместе; войну же ведут

[1] ГА РФ. Ф. 102. ДП-ОО. Оп. 245. Д. 33. Т. 4. Л. 436.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 997. Л. 1628.
[3] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 27.

из-за того, чтобы уничтожить миллионы порядочных людей»[1]. Единственным рациональным объяснением этой бессмысленной для крестьян бойни выступало предположение о «решении» с помощью войны земельного вопроса путем уничтожения претендовавших на нее крестьян.

Постепенно в людях зрело недовольство, укрепляя во мнении, что война — еще один способ обмануть и обобрать народ. Как следствие, в крестьянской патриотической психологии произошло разделение понятий «царь» и «отечество». Призванный в армию 22-летний крестьянин Костромской губернии Александр Метлин 16 августа 1915 г., выпивая со своими друзьями в чайной и будучи в нетрезвом состоянии, сказал: «Я иду служить за веру и отечество», — после чего матерно обругал императора[2]. Находившийся на побывке в Вологодской губернии 27-летний крестьянин Василий Кузнецов, георгиевский кавалер, в ноябре 1916 г. произнес: «А мне что царь: я не царю служу, а за веру и родину. А царь у нас кровосос и только истребляет народ»[3]. Все чаще люди налагали на императора персональную ответственность как за развязывание бессмысленной с их точки зрения войны, так и за военные неудачи России. 26 июля 1915 г. в Тобольской губернии на сельском сходе в деревне Крашеневой, когда после обсуждения текущих дел разговор зашел о войне, некоторые крестьяне предложили чаще молиться за государя и главнокомандующего великого князя, на что 59-летний Елизар Горбунов возразил: «Надо молиться за воинов и за великого князя Николая Николаевича. За государя же что молиться, он снарядов не запас, видно прогулял да проблядничал»[4]. Так образ царя постепенно исчезал из народных патриотических настроений и становился лишним в крестьянской картине мира.

Крестьяне, недовольные «Николашкой», все чаще спрашивали друг друга: «Кто его выбирал, этого государя?»[5] Сама постановка такого вопроса была равносильна отречению народа от своего царя, намекала на возможность переизбрания или выбора нового монарха: «Что государь? Наплевать на государя. У нас в деревне выберут мужика в старосты, и он также может распоряжаться, как царь, и он может быть такой же царь»[6].

Другим показательным примером внутреннего отречения народа от Николая является использование с существительным «царь» вместо притяжательного местоимения первого лица («наш») притяжательного местоимения второго лица («ваш»). Так, в марте 1915 г. мещанин Томской губернии Николай Савин во время спора со своей квартирной хозяйкой произнес: «Вашего Николая скоро

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 136 об.
[2] Там же. Л. 52.
[3] Там же. Л. 125.
[4] Там же. Л. 53.
[5] Там же. Л. 84.
[6] Там же. Л. 476.

поведут на поводу как русскую собачонку»; крестьянка Тобольской губернии Ксения Гришакова в январе 1916 г., возмущаясь запретом на торговлю пивом, кричала: «Насеру я на ваш закон и на государя, он даже извел весь народ»[1]. Вместе с этим Отечественная война также из «нашей» становилась «вашей»: «К … (брань) войну вашу и царя вашего», — произнес крестьянин Уфимской губернии в феврале 1916 г.[2]

Внутреннее отречение от Николая и исключение его из народной военной драмы приводило к коллаборационистским настроениям. В сентябре 1915 г. крестьяне Черниговской губернии рассуждали: «Скорее бы немцы взяли Петроград, тогда всю сволочь эту выгнали бы оттуда»[3]; крестьяне Новгородской губернии были того же мнения: «За нашим царем последняя жизнь. Пусть Германия победит, за тем царем будет лучше жить»[4]. Еще радикальнее прозвучали обещания астраханского легкового извозчика Полякова в феврале 1916 г.: «Если меня будут брать на войну, я все равно не пойду, а если пойду, то за Вильгельма, и вместе с ним всажу нашему царю осиновый кол в задницу»[5]. Примечательно, что в составленном протоколе в качестве характеристики Полякова было указано: «политически благонадежен».

Разочарование в собственном государе заставляло искать альтернативу в заморском царе; часто происходило сравнение двух императоров по их личным качествам. В Тверской губернии в мае 1915 г. крестьяне беседовали в чайной: «Вот бы нам Вильгельма вместо нашего государя, а то он ничего не делает»[6]. Вынося оценки Николаю, крестьяне, как правило, иллюстрировали их картинками фольклора, ставили в пример сюжеты знакомой повседневности: «Германский император на войне, а наш государь на печи сидит»[7]. Рассуждая об императоре с позиции мужика-хозяина, народ приходил к неутешительным выводам о его «профессиональных» качествах управленца: «Он как плохой крестьянин в хозяйстве, не умеет распоряжаться и совершенно глупый», «ему бы только дворником быть у Вильгельма»[8].

Любопытно, что нередко в качестве доказательства царского слабоумия ссылались на его внешность, сравнивая ее с внешностью местных юродивых: «Наш-то государь император дурак, у него и рожа-то, если посмотреть, так похожа на Ельку Абрамовского (местный дурачок-пропойца. — *В. А.*)», «Он ничего не понимает, не может править этим делом на войне, государь наш — Акимиха

[1] Там же. Л. 106, 121.
[2] Там же. Л. 244.
[3] Там же. Л. 38—38 об.
[4] Там же. Л. 141.
[5] Там же. Л. 178.
[6] Там же. Л. 62 об.
[7] Там же. Л. 263.
[8] Там же. Л. 120, 38—38 об.

(местная умственно-отсталая крестьянка. — *В. А.*)»[1]. В период мировой войны в деревне появлялось множество афоризмов, в которых высмеивались умственные способности Николая[2]. Другим распространенным эпитетом после «дурака» был «пьяница», а также «шинкарь», «пробочник»[3]. Убеждение крестьян в том, что государь к войне не готовился, «а только водкой торговал», как ни парадоксально, отчасти было спровоцировано самим императором, вводом серии мероприятий, ограничивавших винную торговлю в стране, пожелавшим продемонстрировать народу заботу о его здравии. В результате антиалкогольных мер народ пить меньше не стал. Монополька в деревне была заменена продуктом домашнего производства, а в городах — денатурированным спиртом. Сами крестьяне отмечали обратное явление: раньше быстро напивались и быстро трезвели, а после введения сухого закона приходилось рыскать по местам продажи контрафактной продукции, тратя на это куда больше денег и времени. Озлобление народа от пропавшей выпивки приковывало внимание к винной теме, представившей повод вспомнить давнишние обвинения царя в спаивании народа и возложить на него ответственность за военные неудачи: «Наш государь готовил пробки, заткнул бы теперь бутылкой … а германцы готовились к войне»; «Говорят, государю некогда делами заниматься — он всегда пьяный», «Наш царь дурак, пьяница — гуляет, а за делами не смотрит», «Не подготовился наш царь к войне, дурак он, только водкой торговал, а о снарядах не думал»[4].

Пожелания смерти императору встречались и в денотативной, буквальной форме. Особенно часто их произносили крестьянки, страдавшие от диспропорции мужского и женского населения в деревнях. Так, 19-летняя крестьянка Тульской губернии Марфа Шишкова во время оргиастических забав деревенской молодежи в июне 1916 г. обратилась к участвовавшим в хороводе парням и девушкам: «… этого царя, какой это царь, не с кем мне … побрали всех моих милаков, если бы этот царь попался мне на глаза, то я бы его зубами и руками раздернула, а если бы попало мне ружье, то я бы его из ружья застрелила»[5]. Согласна с ней была и замужняя крестьянка Пермской губернии Устиния Першина: «Нашего царя и царицу надо убить»[6]. Тот же выход для себя нашла и упомянутая в предыдущем разделе 23-летняя мещанка из Барнаула Анна Косачева, влюбившаяся в пленного австрийского офицера Костю: «Надо застрелить нашего государя и всех союзных, тогда кончится война, и я с Костей поеду во Львов, где и будем подданными Франца Иосифа»[7].

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 61, 102.
[2] Там же. Л. 331.
[3] Там же. Л. 150.
[4] Там же. Л. 80 об., 81, 105 об., 126 об., 150.
[5] Там же. Л. 506.
[6] Там же. Л. 542.
[7] Там же. Л. 362.

Царь наделялся персональной ответственностью за все обрушившиеся на народ внешние и внутренние беды. В. П. Булдаков и Т. Г. Леонтьева отметили, что политика Николая II как будто разливала вокруг него обреченность: вместо того чтобы избегать личной ответственности, царь «словно намеренно принимал на себя весь груз провалов власти»[1]. Поэтому тема убийства виновника всех бед автоматически всплывала в массовом сознании в контексте отмщения: «На войне убили много наших солдат, может быть и нас убьют, а все это из-за царя… Его самого надо убить», — рассуждал призванный по мобилизации крестьянин Пермской губернии Петр Полушкин в мае 1915 г.[2] Убийство царя воспринималось не только в контексте мести, но и как способ остановить войну, начатую по его желанию. Уже упомянутая крестьянка Пермской губернии Устиния Першина считала, чем скорее будут убиты царь с царицей, тем скорее вернутся мужья с войны[3]. Крестьян раздражал не только масштаб мобилизации, но и то, что ее проводили в несколько этапов. Создавалось впечатление, что власти ежегодно набирают людей на убой. Во время отправки очередных призывников повторялись трагические сцены первой мобилизации. Л. А. Тихомиров 8 сентября 1915 г. записал впечатления от проводов: «Сегодня был на вокзале, и никогда не слышал таких страшных рыданий: это провожали новых рекрутов. Бабы голосили отчаянно, крича во всю глотку. Это совсем молодые люди, последние отпрыски, отрываемые у матерей, сестер и невест»[4]. В 1916 г. распространялись слухи о новой мобилизации ратников II разряда, пугавшие как деревенских, так и городских жителей: «В народе широко ходит слух о новом огромном наборе: „всех остальных позабирают“»[5]. Напуганным людям казалось, что цель царя — истребить всех людей на земле.

В ряде случаев в оскорблениях и угрозах в адрес царя звучала сильная личная неприязнь, эмоционально окрашивавшая высказывания. Народ не скрывал подробностей того, как именно следует разделаться с ненавистным императором: «Надо бы нашему государю стрелять в рот, чтобы пуля вышла в жопу», — выступал на сельском сходе крестьянин Вятской губернии Василий Фоминых 26 декабря 1914 г.[6] Крестьянин Томской губернии Павел Плеханов, сына которого забрали на войну, желал не просто смерти Николаю II, а мучений: «Во всем виноват государь. Ему надо голову отрубить, но не острым топором, а тупым, чтобы подольше помучился»[7]. Полицейские обращали внимание, что среди проходивших по статье 103 крестьян многие ранее не были

---

[1] *Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г.* Война, породившая революцию. М., 2015. С. 398.

[2] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 319 об.

[3] Там же. Л. 542.

[4] Дневник Л. А. Тихомирова. 1915–1917 гг. / Сост. А. В. Репников. М., 2008. С. 121.

[5] Там же. С. 293.

[6] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 148 об.

[7] Там же. Л. 301 об.

судимы, но не знали или почти не знали грамоту. Повышенную экспрессивность отчасти можно объяснить недостатком образования, которое способствует выработке контроля над эмоциями. Вероятно, эмоциональнее всего в адрес Николая высказывались малограмотные женщины-крестьянки: «Когда его поймают, то я первая выколю ему глаза вилкой и чтобы его порубили на котлеты», «Если бы он мне попался, я бы его, сукина сына, так, вот так разорвала», «Взяла бы я царя и разорвала его пополам за то, что он требует недоимку», «Если бы этот царь попался мне на глаза, то я бы его зубами и руками раздернула, а если бы попало мне ружье, то я бы его из ружья застрелила», «Если бы я теперь встретила этого глупого Николашку, то вцепилась бы в него и вырвала бы ему кишки»[1].

Данные экспрессивные заявления, конечно, не имеют ничего общего с подлинными революционными настроениями, часто произнесенные в состоянии аффекта, они свидетельствуют о внутреннем, личном отречении от императора, об исключении его из собственной картины мира, однако никак не о готовности совершить цареубийство в качестве политического акта индивидуального террора. Начальнику петроградской сыскной полиции 4 октября 1914 г. оставшаяся неизвестной женщина сообщила по телефону, что ее знакомая Мария Михайловна Яковлева, из потомственных дворян, спланировала убийство царя за то, что ее мужа забрали на фронт. Для этого она якобы собиралась 5 октября выехать в Царское Село и, совершив цареубийство, прикинуться сумасшедшей. За Яковлевой было установлено наружное наблюдение, которое выяснило, что она в действительности в Царское Село в указанный день не собиралась, более того, женщина не проявляла никакого интереса к дням высочайших приездов государя в столицу, никогда не появлялась на пути проезда царского кортежа. Постоянное наружное наблюдение было снято и впредь возобновлялось лишь в дни высочайших посещений столицы. При этом за Яковлевой было установлено негласное наблюдение полицейского надзирателя, который отметил нервозность и болезненное состояние женщины, оставшейся одной с двумя детьми 5 и 7 лет и пребывавшей в постоянной тревоге за мужа[2].

В массовом сознании российских крестьян Николай II был не единственным антигероем. Война, которая породила противоречивые и абсурдные «земельные» версии мирового конфликта, обострила земельные отношения в деревне. Современники отмечали участившиеся случаи захвата помещичьих земель, поджогов усадеб. Также велась война с соседями-единоличниками. Начальник Симбирского жандармского управления сообщал в августе 1915 г. в департамент полиции: «Среди крестьянского населения в Сенгилеевском уезде распространялись слухи об общем переделе земли по окончании войны,

---

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 77—77 об., 216 об., 309, 423, 506.
[2] ГА РФ. Ф. 102. ДП-ОО. Оп. 245. Д. 33. Т. 1. Л. 5–6.

благодаря которым солдатские жены враждебно относятся к работам землеустроительных комиссий по выделению из общинного пользования надельных участков»[1]. С мая 1915 г. власти приостановили землеустроительные работы, фактически прекратив столыпинскую реформу под давлением большинства крестьян. При этом смекалка крестьян позволяла им использовать в своих интересах развернувшуюся в обществе шпиономанию: возросло количество доносов на немцев-колонистов, что они якобы занимаются шпионажем. В доносах фигурировали какие-то механизмы, которые немцы свозят на свои хутора (крестьяне полагали, что это были аэропланы для ведения ночной разведки). Очевидно, что русские крестьяне, понимая свою низкую конкурентоспособность в сравнении с немецкими хозяйствами, пытались таким образом уравнять шансы. В это время современники, следившие за настроениями деревни, делились своими наблюдениями, отмечая усиливавшиеся тенденции к «баловству»: «Деревенские жители рассказывают, что у них, по деревням, очень „большое баловство", т.е., другими словами, — грабежи. Очень плохой признак. Бабы говорят, что жить стало страшно», — писал в октябре 1916 г. Л.А. Тихомиров[2].

Газеты писали, что в 1916 г. война уже практически не интересовала крестьян — дороговизна и дефицит отдельных продуктов переключали внимание сельских жителей на внутренние проблемы. В некоторых местностях исчезли сахар, соль, мука. Накануне революции крестьяне Гороховецкого и Вязниковского уездов Владимирской губернии были вынуждены ездить за мукой в Нижний Новгород, а нижегородские мукомолы, чтобы сберечь свои запасы от приезжих, стали продавать ее по паспортам. Корреспондент «Земледельческой газеты» описывал появившиеся поезда «мешочников» (тогда их иронично называли «пилигримами»): «В дешевом (IV класс) поезде ежедневно можно наблюдать любопытную картину, как на станции „Сейма" входили в вагоны целые толпы женщин и подростков с пудовичками под мышкой... Это покупатели с Сеймы разъезжались домой с закупленной мукой. Железнодорожники рассказывают, что часто в проходах пассажирских вагонов получаются настоящие склады пудовичков с мукой „крупчаткой": „пассажирское" движение превращается в „товарно-пассажирское", но с этим незаконным, в сущности, превращением, слава Богу, не борются. Интересно отметить, что „за мукой" приезжают не только с ближайших к Сейме железнодорожных станций, но и верст за сто и из еще более дальних мест. Хуже обстоит дело с сахаром»[3].

Таким образом, неприятие и непонимание начавшейся войны способствовало народному внутреннему отречению от царя, которое проявлялось в наделении его персональной ответственностью за все неудачи и пожеланиями смерти.

---

[1] Цит. по: *Кабытов П.С.* Русское крестьянство... С. 124.

[2] Дневник Л.А. Тихомирова. 1915–1917 гг. / Сост. А.В. Репников. М., 2008. С. 295.

[3] Земледельческая газета. 1916. № 46. С. 1198–1199.

При этом часть крестьян проявляла коллаборационистские настроения, заявляя, что при немцах жить будет лучше. В целом война обострила внутренние противоречия российской деревни, став фактором роста бунтарских настроений.

Сказка о царе и мировой войне, или реконструкция крестьянского мифологического дискурса

Как уже было отмечено, протоколы обвинений по статье 103 дают возможность изучить не только обстоятельства преступления и выявить непосредственные характеристики объекта критики, но и понять мировоззрение субъекта — коллективные настроения, образы, запечатленные в народном сознании. Указанная роль фольклорных мотивов в крестьянских высказываниях позволяет предположить, что фольклор (мифы, сказки, легенды) преломлялся в политических слухах и вырабатывал стереотипные реакции крестьян, заставляя их действовать определенным образом. В этом отношении мифологическо-архетипический пласт сознания нес в себе скрытый механизм крестьянских реакций. Кроме того, учитывая формально-функциональную структуру мифа и сказки, представляется актуальным в рамках реконструкции массового крестьянского сознания провести реконструкцию «сказки о царе и мировой войне», которая существовала в народном сознании в виде множества разрозненных сюжетов, которые тем не менее в соответствии с морфологией волшебной сказки, изученной В.Я. Проппом, могут быть сложены в единый нарратив.

Изучение вопросов социальной истории невозможно без учета ментальных особенностей тех или иных групп общества. Политические идеологии, религиозные верования, научная картина мира — все это в совокупности влияет на социальную динамику, во многом определяя те или иные исторические события. Длительное время в советских и российских научных исследованиях, посвященных крестьянскому общественному сознанию, недооценивалась роль мифологии, не говоря о том, что сама проблема изучения ментальности была крайне бедно представлена в историографии[1]. Даже те немногие работы, в которых поднимались вопросы общественной психологии, преимущественно уделяли внимание росту классового сознания народа, хотя их авторы и не могли игнорировать «религиозно-мистические лохмотья», в которые были обернуты крестьянские идеи[2]. В то же время англоязычная историография обращала внимание на религиозные мотивы политической активности сельских жителей[3]. В последние десятилетия эта тема вызывает новую волну интереса. Значимая

---

[1] См.: *Филд Д.* История менталитета в зарубежной исторической литературе // Менталитет и аграрное развитие России. XIX–XX вв. М., 1996. С. 7–22.

[2] *Литвак Б.Г.* О некоторых чертах психологии русских крепостных крестьян первой половины XIX в. // История и психология. М., 1971. С. 199–214.

[3] См.: *Field D.* Rebels in the Name of Tsar. Boston, 1976.

роль религиозных представлений в политическом сознании народа отмечается в монографиях В.П. Кожевникова, Г.В. Лобачевой, А.В. Буганова[1]. Вместе с тем нередко обнаруживается иная крайность: преувеличение православной религиозности в жизни крестьян, в то время как в более специализированных исследованиях, например в работах Л.А. Тульцевой, А.А. Панченко, отмечается наличие архетипических пластов крестьянской речи, хранящих древние мифологические представления, народную демонологию, которые вступают в противоречие с православными канонами[2].

Непосредственным проявлением специфики массового сознания крестьян является большое влияние слухов на политическую активность сельских жителей. Хотя ряд исследователей и обращают внимание на рационализацию крестьянской жизни в начале XX в., усиливавшуюся благодаря деятельности земского движения, традиционный уклад деревни сохранялся. Японский исследователь К. Мацузато, изучая рациональные изменения крестьянской жизни благодаря деятельности агрономов, фельдшеров, вместе с тем указывает на постоянную текучесть кадров и эпизодичность появления земских деятелей в удаленных от уездных центров деревнях[3].

Однако едва ли даже длительное проживание агронома или фельдшера могло в рамках одного поколения привести к существенным ментальным сдвигам. В связи с этим примечательны отчеты корреспондентов Этнографического бюро князя В.Н. Тенишева: в ряде из них отмечалось, что, несмотря на распространение земской медицины, сельское население предпочитало ходить к колдунам и знахарям, а не к врачам и фельдшерам, некоторые же болезни, например лихорадку, и вовсе считало порчей, перед которой наука бессильна[4]. Проникавшее в деревню научное знание, даже если оно и приживалось, вступало в довольно причудливые симбиотические сплетения с народными традициями: крестьяне конца XIX в. в своем большинстве уже не считали небо хрустальным шаром, допускали, что никакого загробного мира нет, но были уверены, что падающая звезда — это свержение черта с неба, звезды вообще — глаза ангелов, а загоревшийся от молнии дом нельзя тушить водой, но только молоком, так как молнии — это стрелы, которыми Бог гоняет чертей[5].

---

1 *Кожевников В.П.* Менталитет российской цивилизации: история и методология исследования. М., 1998; *Лобачева Г.В.* Самодержавец и Россия: образ царя в массовом сознания россиян (конец XIX — начало XX в.). Саратов, 1999; *Буганов А.В.* Личности и события истории в массовом сознании русских крестьян XIX–XX вв. Историко-этнографическое исследование. М., 2013.

2 *Тульцева Л.А.* Божий мир православного крестьянина // Менталитет и аграрное развитие… С. 304; *Панченко А.А.* Исследования в области народного православия. Деревенские святыни Северо-Запада России. СПб., 1998.

3 *Matsuzato K.* The Fate of Agronomists in Russia: Their Quantitative Dynamicsfrom 1911 to 1916 // The Russian Review. 1996. April. Vol. 55. P. 174–180.

4 Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Материалы «этнографического бюро» кн. В.Н. Тенишева. Т. 1. Костромская и Тверская губернии. СПб., 2004. С. 48, 87, 415.

5 Там же. С. 67, 438, 441.

Чрезвычайную инертность традиционного сознания иллюстрирует тот факт, что даже в 1917 г. в психологии пролетариата, порвавшего со своим крестьянским прошлым, проявлялись пережитки народной мифологии, на что обратили внимание М. Стейнберг и Е. Бетехина, анализируя революционный рабочий фольклор и обнаруживая в нем сказочные образы (например, жар-птицу)[1]. В собственно крестьянской среде мистический пласт сознания продолжал играть значительную роль и в 1920–1930-е гг., что показали исследования Л. Вайолы, С. Смита, отмечавших распространенность апокалиптических настроений и суеверий в советской деревне[2]. Е. Мельникова обращает внимание на две историографические традиции подхода к народной эсхатологии: согласно одной, всплеск ожиданий конца света свидетельствует об «эсхатологическом кризисе»; согласно другой, апокалиптические ожидания являются своеобразным пластом народной культуры, постоянно живут в сознании части населения[3]. Вероятно, следует признать правоту обоих подходов, которые на самом деле описывают лишь разные циклы народной эсхатологии. Так, А. Панченко, отмечая значительное влияние апокалиптических ожиданий на формирование фольклора и связывая эсхатологию с процессами аккультурации, выделяет в ней два типа эсхатологического поведения: «эсхатологические ожидания» и «эсхатологические движения»; и если первый тип не исключает привычных моделей поведения своих носителей, то второй характеризуется определенными формами девиации — от массовых самоубийств до революций[4].

В связи со сказанным выше период 1914–1916 гг. можно считать переходной фазой от «эсхатологического ожидания» к «эсхатологическому действию» революции 1917 г. и последовавшей Гражданской войны, охватившей широкие крестьянские массы России. Обращение к поиску сказочных форм в народных высказываниях во время Первой мировой войны не случайно. Сказка вобрала в себя предельно широкий круг сюжетов народной мифологии, в том числе и ее эсхатологического пласта, а потому в ряде случаев интерпретация крестьянами современных политических событий посредством сказочных форм, как будет показано в дальнейшем, являлась отражением представлений о «последних временах» — заключительном перед Страшным судом этапе борьбы Христа и Антихриста.

---

[1] *Betekhina E.* Style in Lower-Class Writing in 1917 // Steinberg M. Voices of Revolution, 1917. New Heaven; London: Yale University Press, 2001. P. 331–333.

[2] *Viola L.* The Peasant Nightmare: Visions of Apocalypse in the Soviet Countryside // The Journal of Modern History. 1990. Vol. 62. Is. 4. P. 747–770; *Смит С.* Небесные письма и рассказы о лесе: «суеверия» против большевизма // Антропологический форум. 2005. № 3. С. 280–306.

[3] *Мельникова Е.* Эсхатологические ожидания рубежа XIX–XX веков: конца света не будет? // Антропологический форум. 2004. № 1. С. 250–251.

[4] *Панченко А.А.* Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная культура русских мистических сект. М., 2002. С. 352–354.

Далее будет предпринята попытка реконструкции сказочно-мифологического пласта крестьянских политических представлений периода Первой мировой войны. Отталкиваясь от исследований В.Я. Проппа, изучившего морфологическую структуру сказки, мы рассмотрим те сказочные формы и сюжеты, с помощью которых крестьяне интерпретировали политическую обстановку в империи, и попытаемся связать их в онтологически последовательное повествование. Ограничение сказочной интерпретации устными высказываниями и отсутствие их в форме аутентичного письменного текста обусловливает необходимость использования дискурсивного подхода.

Беглый взгляд на контекст употребления понятия «дискурс» в исторических работах обнаруживает известную противоречивость: он используется в значениях индивидуального мировоззрения, социальной фразеологии, политической идеологии, национальной ментальности[1]. Нельзя не согласиться с Ф. Эдером, что неопределенное употребление термина «дискурс», а также отсутствие методологии дискурсивного анализа девальвируют его значение в современной исторической науке[2]. Однако в работах М. Бахтина, Р. Барта, М. Фуко, Ю. Кристевой отмечаются характерные признаки дискурса, важным из которых в свете поднимаемых в настоящей главе вопросов выступает полидискурсивность, исследуемая сегодня в рамках французской школы анализа дискурса и когнитивной лингвистики[3]. Полидискурсивная структура может содержать такие элементы, как интердискурс (внешние по отношению к дискурсу «источники», «преконструкт», «прототекст»), дискурсивные практики (формы непосредственных высказываний по предмету), интрадискурс (внутренние формы дискурса, дискурс по отношению к самому себе) и метадискурс

---

[1] См.: *Suny R.G.* The Making of the Georgian Nation. Indiana University Press, 1994; *Suny R.G.* The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution and The Collapse of the Soviet Union. Stanford, 1993; *Edith W.* Clowes The Limits of Discourse: Solov'ev's Language of Syzygy and the Project of Thinking Total-Unity // Slavic Review. 1996. Fall. Vol. 55. № 3; *Krylova A.* Reginald E. Zelnik, and Igal Halfin Discussion of Anna Krylova's «Beyond the Spontaneity-Consciousness Paradigm: „Class Instinct“ as a Promising Category of Historical Analysis» // Slavic Review. Vol. 62. № 1; *Smith S.A.* Citizenship and the Russian Nation during World War I // Slavic Review. Vol. 59. № 2; Achim Landwehr Historische Diskursanalyse. Frankfurt/Main, 2008 etc.

[2] *Franz X.* Eder Historische Diskursanalysen. Genealogie, Theorie, Anwendungen. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2006. S. 11.

[3] См.: *Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965; *Barthes R.* The Discourse of History // Comparative Criticism. 3. 1981; *Фуко М.* Археология знаний. Киев, 1996; *Кристева Ю.* Бахтин, слово, диалог, роман // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1993. № 4; *Пеше М.* Прописные истины. Лингвистика, семантика, философия // Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М., 1999. С. 266–270; *Чернявская В.Е.* Интертекст и интердискурс как реализация текстовой открытости // Вопросы когнитивной лингвистики. 2004. № 1. С. 106–111; *Тубалова И.В.* Фольклор как прототекстовая среда полифонического текста бытовой культуры: к проблеме полидискурсивности // Вопросы когнитивной лингвистики. 2009. № 1. С. 96–102; *Белоглазова Е.В.* Полидискурсность в контексте идей о дискурсной гетерогенности // Актуальные проблемы современной лингвистики. Вып. 2. СПб., 2010. С. 105–111; *Link J., Link-Heer U.* Diskurs / Interdiskurs und Literaturanalyse // Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik. 1990. № 2. S. 88–99.

(рожденная в результате диалога новая форма высказывания о первоначальном предмете).

Под крестьянским политическим дискурсом будет пониматься совокупность высказываний на определенную тему (власть в период Первой мировой войны), обнаруживающих интертекстуальные связи (текст в широком смысле этого слова, не ограниченный только письменной практикой). Учитывая, что интертекстуальность (полифонизм) дискурса свидетельствует о некоторых общих особенностях коллективного мышления, заставляющих ряд индивидов схожим образом высказываться по отношению к событию, можно предположить, что структура дискурса находится в известной корреляции со структурой общественного сознания.

Архаичное мышление во многом формировалось под воздействием постоянного, длительного наблюдения человека за природой, в результате которого происходило выстраивание универсальной модели — мифа, направленного, как отметил К. Леви-Стросс, «в равной мере, как на прошлое, так и настоящее и будущее»[1]. Р. Барт определял миф прежде всего как коммуникативную систему, создающую свои способы означивания, формирующую определенный метаязык, в котором значение объекта сменяется его образом, а рассудочность переходит в форму смутных ассоциаций[2]. По существу, это означает синкретичную структуру мифологического сознания, сочетающую как рациональные, так и иррациональные пласты, которые, по мнению французского семиотика, находятся в состоянии вращения[3]. Специфика мифа и мифологического дискурса во многом определяется его образно-архетипической природой, в результате чего мифологизированному сознанию свойствен поиск знаков-символов.

Последнее мы обнаруживаем, в частности, в различных списках Повести временных лет. Так, летописцы уделили внимание трем предзнаменованиям, случившимся в 1065 г., — появлению кометы, рождению больного ребенка и солнечному затмению: «В эти времена было знаменье, на западе явилась звезда великая… Звезда эта была как бы кровавая и предвещала кровопролитие. В это же время в речку Сетомль был выброшен ребенок. Этого ребенка вытащили рыбаки в неводе, рассматривали его до вечера и снова бросили его в воду. Был же он таков: на лице у него были срамные уды, об ином и сказать нельзя срама ради. Пред этим и солнце изменилось, и не было светлым, но как луна стало»[4]. Спустя без малого девятьсот лет К.С. Петров-Водкин в автобиографической повести «Хлыновск» описал схожее поведение крестьян, узнавших о врожденном уродстве ребенка: «В средине поста в слободке у одной

---

[1] *Леви-Стросс К.* Структурная антропология. М., 2001. С. 217.

[2] *Барт Р.* Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 72–88.

[3] Там же. С. 88.

[4] Полное собрание русских летописей. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Вып. 1. Повесть временных лет. Л., 1926. С. 164.

женщины родился урод-младенец: без ног, вместо рук — маленькие крылышки, и только головка как есть человеческая. Много перебывало любопытных в слободке, и на уродышка медяков надавали немало… Успокаивались уже и тем, что на младенце ни когтей, ни шерсти, словом, никаких животных отличий не было»[1]. Очевидно, что поиск «животных отличий» обусловливался эсхатологическими представлениями, сохранявшимися в сознании крестьян в XX в. Концу света должно было предшествовать рождение дьявола-антихриста, которого традиционно изображали с животными атрибутами (шерсть, копыта, рога), вот эти признаки и искало архаичное сознание крестьян.

Мифологизированность крестьянского массового сознания во многом обусловливалась, с одной стороны, характером хозяйствования — длительная работа на земле развивала визуальное мышление, вырабатывала привычку созерцания-наблюдения за природой, уделяла внимание знакам-приметам, с другой же — невовлеченностью в рациональную «текстовую культуру» по причине неграмотности большинства сельских жителей. В итоге между субъектами разных дискурсов, основанных на различиях массового сознания, возникало непонимание, столкновение дискурсов приводило к когнитивному диссонансу. Чаще всего у деревенского населения подобные конфликты возникали с сельскими священниками — носителями «текстовой культуры», — порождая насмешливо-пренебрежительное отношение к последним, выразившееся, в частности, в употреблении просторечного слова «поп» и создании серии сатирических сказок про попов, а также распространенной в деревнях примете, согласно которой встретить по дороге священника — к беде[2]. Примером диссонанса крестьянского и священнического дискурсов может послужить конфликт, произошедший в марте 1917 г. между священником села Турищева Елецкой епархии и его прихожанами, когда священник решил объяснить крестьянам значение революции 1917 г., прибегнув к притче-аллегории, в которой были следующие слова: «Выпущенная из клетки на свободу птичка часто не имеет сил жить на свободе и погибает. Часто она вновь стучится в окно, в клетку, спасаясь от холода и голода; часто она, неразумная, вновь попадает в расставленную сеть птицелова. Братья мои! Как бы не случилось и с нами, когда мы освободимся от немецкого ига… Как бы нам опять не попасть под немцев»[3]. Однако крестьяне расценили слова своего попа как пронемецкую агитацию за сохранение старого строя, по поводу чего отправили донос елецкому епископу. Подобные случаи когнитивных конфликтов были характерны для разных мест[4].

---

[1] *Петров-Водкин К.С.* Хлыновск. Моя повесть. М., 2008.

[2] Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Материалы «этнографического бюро» кн. В.Н. Тенишева. Т. 1. Костромская и Тверская губернии. СПб., 2004. С. 94, 443.

[3] РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 3 отд. 5 ст. Д. 22. Л. 197—197 об.

[4] Там же. Л. 290 об. — 291.

С точки зрения особенностей крестьянской психологии главная причина того, что притча сработала не так, как мыслил священник, заключалась в использовании аллегории, в которой семантика птицы не соответствовала крестьянской традиции, в силу чего возник определенный когнитивный диссонанс. В русском фольклоре птица ассоциировалась с существом из другого мира, часто обеспечивавшим переход туда главного героя[1]. В христианской символике обнаруживается схожая семантика образа: душа умершего человека или святой дух. Согласно народным приметам, птица в доме — знак смерти: «Дятел мох долбит в избе — к покойнику», «Нетопырь залетает в дом — к беде», «Ласточка в окно влетит — к покойнику»[2]. Если птица залетала в избу, ее следовало поймать и свернуть шею, приговаривая: «Прилетела на свою голову». Правда, та же ласточка или голубь на воле обретали уже иное символическое значение: «Голубь и ласточка — любимые богом птицы»[3]. Таким образом, птица в клетке в избе — явление чуждое крестьянской повседневности. Освобождение ее из клетки могло интерпретироваться крестьянским мифологизированным сознанием в качестве метафоры смерти, а попытка возвращения обратно в клетку и вовсе в качестве какого-то мистического ритуала.

Помимо поговорок, важным фольклорным вместилищем мифического сознания крестьян в начале XX в. выступала русская сказка. К. Леви-Стросс, рассматривая миф как логическую модель, призванную разрешать мировоззренческие противоречия архаичного сознания, не находил структурных различий между мифом и сказкой; В. Я. Пропп различия между мифом и сказкой усматривал в их социальных функциях. Развивая эти мысли, Е. М. Мелетинский обратил внимание на десакрализацию мифического героя в сказке, более четкую территориальную и временную локализацию сюжета, в силу чего сказка обретала дидактический характер[4].

Рассказывая детям сказки, родители знакомили их с моделями социального поведения, морально-нравственными и этическими ценностями. В результате сказочные сюжеты иногда даже взрослыми воспринимались как практические рекомендации по поведению в конкретных ситуациях. Любопытный пример попытки практического применения сказки сохранился в рассказе солдата о том, как он, заблудившись, набрел на дорожный указатель: «Стоит столб, на ем слова, а прочесть я не в силах. Дороги за столбом разошлись, вот и иди куда знаешь. Сел, стал сказку вспоминать. А по сказке-то той, куда ни кинь — все клин, куда ни глянь — все дрянь. Я и пошел без пути, посередке, да еле из трясины и выбрался. Чем сказки-то сказывать, лучше бы грамоте выучили»[5].

---

[1] *Пропп В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С. 292.
[2] *Даль В. И.* Пословицы и поговорки русского народа. М., 2009. С. 461.
[3] Там же. С. 463.
[4] См.: *Мелетинский Е. М.* Миф и сказка // Фольклор и этнография. М., 1970.
[5] *Федорченко С.* Народ на войне. М., 1990. С. 27.

Последняя фраза солдата иллюстрирует рационализацию массового сознания крестьян в начале XX в. Однако противопоставлять волшебную сказку рациональному знанию нельзя. Вобрав в себя элементы разных структур мышления, сказка отреагировала на вызовы времени, дополнив мифологическую морфологию новым второстепенным сюжетом о спасительной и социализирующей функциях знания. Первая из них представлена в группе сказок, легших в основу гоголевского «Вия»: солдат выстоял ночью против одолевавших его демонов только благодаря тому, что не переставал читать книгу; вторая функция отразилась в идее сословно-культурного равенства: «скоро они научились грамоте, и боярских и купеческих детей за пояс заткнули»[1]. Присутствовал в сказках и важный педагогический момент в том, что атрибутом истинной мудрости называлось обучение грамоте собственных детей[2].

Сказка относилась к устному народному творчеству, но иногда проникала в крестьянскую жизнь и в качестве письменного знания. Крестьянин Иван Юров вспоминал, что в детстве читать ему особенно было нечего: в доме были только Псалтырь, Евангелие и Часослов, но торговцы мелочью продавали и книжки. Однажды его отправили на богомолье в соседнюю деревню и дали 10 копеек на молебен и свечки, которые он все потратил на книжки, преимущественно сказки: «Были у меня сказки и о Еруслане Лазаревиче, и о Бове-королевиче»[3]. При этом отец Ивана предпочитал средневековый рыцарский роман, в частности «Историю о храбром рыцаре Францыле Венциане и о прекрасной королеве Ренцывене».

Выучившиеся грамоте, крестьянские дети не забывали о «сказочном дискурсе». Так, вызывают интерес сочинения деревенских детей о войне, написанные в 1914–1915 гг.: нередко увиденная, вполне реалистичная история облекается в сказочную форму и снабжается сказочной фразеологией. Приведем в качестве примера сочинение, написанное ученицей II класса сельской школы: «У одних угнали отца, и они были очень бедны. А отца угнали, они и вовсе стали бедны, а у них было шестеро детей. Один раз сидели они за чаем. Мать и говорит: „Эх! Вы детки-сиротки, кто вам будет доставать хлеб?“ Один самый большой мальчик и говорит: „Мама, я пойду в пастухи, в лето заработаю рублей пятьдесят, а вы пятеро небось прокормитесь“. А самый маленький мальчик и говорит: „А я пойду в город в пекаря, буду носить хлеб мамке“. Мать и говорит: „Все вы работники, а отца у вас нету“. Одна девочка сказала: „Я пойду в нянька, поработаю месяца три и принесу на хлеб“. Мать сказала: „Все вы уйдете, а меня одну оставите“. Все закричали: „Не оставим!“»[4] В данном случае признаками сказочной интертекстуальности выступают: структура повествования (текст разбит на характерные три части, каждой из которых присуща своя функция),

[1] Народные русские сказки А.Н. Афанасьева: В 3 т. Т. 2. М., 1957. № 273, 275; Т. 1. № 155.

[2] Там же. Т. 2. № 180.

[3] *Юров И.* История моей жизни… С. 20.

[4] *Потемкин И.Е.* Отражение войны в детской психике // Вестник воспитания. 1915. № 8. С. 200.

наличие трех главных героев и связанных с ними вариантов действий (дети и их предложения), фольклорная фразеология, типичные для народной сказки обороты речи (собирательный образ персонажей и времени действия — «у одних», «один раз», — обороты «мать и говорит», «мальчик и говорит»), а также морально-дидактическая направленность.

Метафорическая иносказательность сказки, свобода интерпретации заложенного в ней сообщения помогали крестьянам, чье массовое сознание формировалось под воздействием в большей степени устной, архетипической, нежели письменной, логической традиции, избежать трудностей формулировок. Хотя в деревнях были распространены коллективные чтения светской и духовной литературы, литературный слог романа или Священного писания казался народу чуждым, непонятным, в результате чего корреспонденты Этнографического бюро писали: «Если кто возьмет книгу, Историю Ветхого или Нового завета, будет читать вслух, сначала слушают, и то нехотя, а другой мужик, пожалуй, скажет: „Ты бы прочитал нам лучше сказку, и то, какую посмешнее“»[1]. В итоге крестьяне признавались: «Дела никакого простыми словами не объясним, а сказками про что хошь расскажем»[2].

Учитель народной школы вспоминал, что народное неприятие духовенства было закреплено в сказках, которые крестьяне рассказывали друг другу осенне-зимними вечерами: «Еще в то время, когда я не был в семинарии и все время находился среди деревенской жизни, я замечал, как недоверчиво, с каким пренебрежением относится мужик к духовенству. Часто в осенние и зимние вечера, собравшись у кого-либо в избе, мы слушали сказки. Много было сказок про богатырей, про Кощеев, но немало их существует и про попов. И что это за сказки! Даже наше не стесняющееся ничем крестьянство рассказывало их там, где баб поменьше, а тем паче девиц. И надо сказать правду, сказки про попов слушались со вниманием»[3]. Таким образом, мифологичность крестьянского мышления, связанная с известными стереотипными представлениями, была закреплена в фольклоре, предписывавшем определенные отношения и модели поведения в ситуациях, которые могли быть интерпретированы в качестве знаково-архетипических.

Нельзя не отметить еще один фактор дидактической значимости сказки — народническую традицию пропаганды революционных идей в сказочной форме. Дебора Перл именно в народнической сказке усматривает истоки революционной культуры рабочего класса начала XX в.[4] Среди наиболее популярных

[1] Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы… С. 96.

[2] *Федорченко С.* Народ на войне… С. 148.

[3] Книга и читатель, 1900–1917: Воспоминания и дневники современников / Сост. А.И. Рейтблат. М., 1999. С. 15.

[4] См.: *Pearl D.* Creating a Culture of Revolution. Workers and the revolutionary movement in Late Imperial Russia. Bloomington, Indiana, 2015.

революционных сказок исследовательница отмечает «Хитрую механику» экономиста В. Варзара, «Сказку о четырех братьях» в те годы еще революционера Л. Тихомирова, «О правде и кривде» С. Степняка-Кравчинского. Патриотическая пропаганда Первой мировой войны также воспользовалась сказочной формой. В газетах и журналах в форме лубка издавались сказки на тему борьбы русских героев с немецкими злодеями. Одна из сказок под названием «Сказ про мужика лукавого Василия Федорова, что в земле немецкой царем сидел», рассказывала о том, как Илья Муромец победил Вильгельма II (ил. 15). «За горами, за лесами, в земле немецкой басурманской, жил был царь, что Василием Федоровым прозывался, а по ихнему, по поганому просто Вильгельмом», — так начинался рассказ.

Сказка обладала низкой степенью актуальной информативности, поэтому, оставаясь мировоззренческим фундаментом, как источник информации она уступала место такому явлению, как народная молва, слух. Последний нередко облачался в фольклорные формы, что значительно повышало степень его информативности и объективности в глазах крестьян. Как отметил на материалах XIX в. Ю. П. Бокарев, не столько объективное ухудшение условий деревенской жизни, сколько сбивавшие с толку крестьян слухи вызывали волнения и бунты[1]. Связь слуха со сказкой, фольклором, усиливала его достоверность, создавая полидискурсивную структуру, в которой аллюзии на различные «источники» считались достаточной доказательной базой.

Б. И. Колоницкий, пытаясь выяснить природу политических слухов периода Первой мировой войны, последовательно разбирает такие версии, как салонное происхождение, фабрикация как социалистическими, так и монархическими партиями, либеральной интеллигенцией, а также рассматривает их как результат германской пропаганды[2]. Однако ни одна из версий не может объяснить то количество образов, интерпретаций политических событий, которое обнаруживается в крестьянском политическом дискурсе. Более того, слухи, циркулировавшие среди крестьян, имели некоторые существенные отличия от тех, что были распространены в городской среде: например, крестьяне, в отличие от горожан, не упоминали имени Г. Распутина, а также часть своей ненависти адресовали не «немке» императрице Александре Федоровне, а датчанке, вдовствующей императрице Марии Федоровне. Кроме того, деревенский дискурс был наполнен отсылками к фольклорным сюжетам. Все это говорит о том, что крестьянский политический дискурс складывался как синтез архетипическо-мировоззренческой и политико-идеологической картин мира, являлся примером дискурсивной полифоничности.

Питательной средой для слухов выступал общинный уклад русской деревни, благодаря которому массовое сознание, мнение мира превалировало над

---

[1] *Бокарев Ю. П.* Бунт и смирение (крестьянский менталитет и его роль в крестьянских движениях) // Менталитет и аграрное развитие России XIX–XX вв. М., 1996. С. 170.

[2] *Колоницкий Б. И.* «Трагическая эротика»... М., 2010. С. 530–551.





Ил. 15. Сказ про мужика лукавого Василия Федорова, что в земле немецкой царем сидел. Лубок. Российская государственная библиотека, Москва

индивидуальным, наделялось почти сакральным смыслом, что отражается в паремиологическом материале: «что мир порядил, то бог рассудил», «мир никем не судится, одним богом», «что миром положено, тому быть так»[1]. На сельских сходах решению прагматических вопросов хозяйствования нередко сопутствовало обсуждение известий, принесенных народной молвой. Показательно, что когда сельский сход должен был разобрать дискуссионный вопрос, окончательное решение всегда принималось единогласно, но не в силу найденного консенсуса, а по причине подчинения индивидуального мнения коллективному — несогласные присоединялись к мнению большинства[2].

Хотя в начале XX в. на деревенских сходах патриархи-мироеды все чаще сдавали позиции грамотным односельчанам, по-прежнему высочайшим кредитом доверия у крестьян пользовались калики-перехожие — нищие странники, вызывавшие у народа архетипические ассоциации. Сюжет странствования сказочных героев был неотъемлемой частью фольклорной морфологии. Кроме того, архетип странника четко проявлялся в народных христианских легендах о житиях святых и самого Христа. На последний тип источников, помимо сказки, оказала влияние христианская апокрифическая литература. В качестве примера можно привести распространенную в Костромской губернии легенду о неканоническом Архангеле Рафаиле, который, странствуя, встретил вышедших из моря 12 дев, оказавшихся лихорадками, царя Ирода с дочерьми, направлявшихся к христианам ломать их кости[3]. Помимо христианско-апокрифического следа, упоминания ветхозаветного Ирода (показательно с точки зрения особенностей функционирования сказочного дискурса, что образ Ирода в период Первой мировой войны обнаруживается крестьянами в личности Николая II, о чем будет сказано ниже), сюжет живущего в море царя с дочерьми отсылает к сказочным морским царям, чертям, змеям и прочим фольклорным персонажам. Также к апокрифическим текстам относятся распространенные в народе «сны богородицы»; в 1920-е гг., как показал С. Смит, семантически близкие им «письма богородицы» формировали эсхатологическое сознание крестьян[4]. В формировании народной картины мира была велика роль апокрифической литературы, поэтому христианские миссионеры занимались их уничтожением, а собранные А. Н. Афанасьевым народные легенды были запрещены Синодом к публикации в России.

Далекие от текстовой культуры крестьяне, весьма туманно представлявшие себе содержание Священного писания, заполняли лакуны богословского образования собственными фантазиями, по сути, создавая альтернативное

---

[1] См.: *Даль В. И.* Пословицы и поговорки русского народа. М., 2009.

[2] *Безгин В. Б.* Крестьянская повседневность. Традиции конца XIX — начала XX века. М.; Тамбов, 2004. С. 49.

[3] Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы… С. 48–49.

[4] См.: *Смит С.* Небесные письма и рассказы о лесе… С. 280–306.

Евангелие. В народных легендах Христос или апостолы в виде нищих-убогих странствуют по деревням, беседуют с жителями, просятся на ночлег, проверяя добродетельность хозяев, дают добрым людям полезные советы[1]. Примечательно, что в легендах Христос наказывает не только недобродетельных мужиков, но и жадных попов — тем самым был создан истинно народный образ Иисуса, выведенного за пределы церковной компетенции и целиком предоставленного народному творчеству. Это в свою очередь указывает на то, что даже крестьянский религиозный дискурс обладал интертекстуальностью, выходящей за рамки официальной религии.

Легенды о Христе-страннике, прочно вошедшие в крестьянскую картину мира, не только обеспечивали надежный доход тем, кто избирал путь собирания милостыни, но и гарантировали почет. Часто в протоколах, составленных по обвинениям нищих-странников в распространении ложных слухов, отмечалось, что крестьяне относятся к ним с уважением, считая людьми «не глупыми» и «бывалыми». Именно последняя характеристика наделяла человека в глазах крестьян кругозором, позволявшим судить о делах высоких. В период Первой мировой войны число убогих странников пополнялось возвращавшимися с войны ранеными солдатами, бежавшими дезертирами, рассказывавшими крестьянам собственную, отличную от официальной печати, историю войны.

Чаще всего слухи рождались в местах массового скопления народа: на сельском сходе, во время покоса, в период ожидания своей очереди помола зерна на мельнице. Вот тут-то и наступал момент, когда «бывалые» крестьяне делились своими знаниями. Так, в августе 1914 г. собравшиеся на мельнице крестьяне Самарской губернии слушали рассказы 52-летнего скитальца Игнатия Сетяева, который, беседуя о виденном и слышанном во время странствий, заявил, что вдовствующая государыня Мария Федоровна «слюбилась с министром Столыпиным и от него прижила ребенка» и что потому «крестьянам и земли не дали»[2]. Составитель протокола отметил, что «Сетяев по показаниям свидетелей человек не глупый, бывалый, но не работал, а собирал милостыню».

Данный слух удачно вписывался в крестьянский политический дискурс по следующим причинам: во-первых, земельный вопрос сохранял свою актуальность со времен освобождения крестьян от крепостной зависимости; во-вторых, образ вдовы в фольклоре имел неоднозначные коннотации, часто неблаговидное поведение вдов становилось причиной трагедий; в-третьих, земельный вопрос рассматривался крестьянами как причина начала войны; в-четвертых, как мы увидим в дальнейшем, прелюбодеяния представителей власти воспринимались крестьянами в контексте эсхатологических ожиданий.

---

[1] См.: Народные русские легенды, собранные Афанасьевым. Лондон, 1859.

[2] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 377.

Присутствие в рассказе архетипического образа вдовы автоматически объясняло как провал столыпинского проекта, так и начало мировой войны.

Помимо слухов-рассказов, в качестве интратекста крестьянского политического дискурса выступали и простые высказывания-обвинения в адрес власти, в том числе и касавшиеся объяснения начала войны. Причины мирового конфликта крестьяне интерпретировали посредством знакомых архетипических ассоциаций: царя обвиняли в том, что он продал Россию за бочку золота (мера, не типичная для метрической системы повседневной жизни, но встречающаяся в сказках и легендах), проиграл ее в карты или пропил.

Уже было показано, что рационально-патриотические настроения крестьян летом 1914 г. были сильно преувеличены официальной пропагандой. И если на фронте офицеры могли дать своим солдатам краткую политинформацию и тем самым повлиять на национальную самоидентификацию крестьянства, то в российской глубинке, несмотря на усилия грамотных крестьян донести до односельчан содержание газет, народ в массе своей так и оставался в неведении относительно причин и масштабов конфликта. Поэтому и находили наиболее доступными для понимания те слухи, которые перекликались с сюжетами народного мифотворчества.

Вслед за упоминавшейся «земельной» причиной мирового конфликта по популярности следовала «сватовская» версия. Так, летом 1915 г. нижнеомские крестьяне Акмолинской области предположили, что Николай II рассердился на австро-венгерского императора Франца Иосифа за то, что наследный принц Франц Фердинанд «хотел обмануть» Ольгу Николаевну[1]. В этом слухе произошло причудливое объединение сказочно-архетипического с историко-фактологическим.

В русских сказках и преданиях сватовство нередко было сопряжено с прохождением опасного для жизни испытания. Исторические корни этого можно обнаружить в хорошо известных в Древней Руси скандинавских сагах. В одной из них вдова шведского короля Сигрид Гордая приказала сжечь заживо в бане своих женихов, среди которых был и русский князь Всеволод Владимирович. В сказках, собранных А.Н. Афанасьевым, Елена Премудрая отрубала головы женихам, не прошедшим испытание, и вешала их на колья перед дворцом, а Анастасия Прекрасная предлагала всем сватавшимся к ней помериться силами. Часто сватовство выводило царства на порог войны, о чем рассказывали пермские крестьяне в сказке А.Н. Зырянову в 1850 г.: «какой-то царь сватал царевну у этого царя и не высватал; за то объявил войну»[2]. Как показала О.М. Фрейденберг, в первобытном сознании ритуальная сторона брака была метафорическим выражением дуализма жизни — смерти, а облачение невесты и жениха в одеяния царицы и царя символизировало состязание, борьбу

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 211.

[2] Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. Т. 1. № 125.

двух начал[1]. В.Я. Пропп объяснял кровавые свадебные испытания в сказках традицией архаичного обряда кровосмешения перед свадьбой[2]. Таким образом, понятия состязания-войны и сватовства-брака имели семантическое сходство в мифологизированном крестьянском сознании.

Однако сватовская версия начала войны появилась не из-за одной только архетипической ассоциации. Материалом для связывания сказочных сюжетов с политической ситуацией 1914 г. послужили реальные исторические факты. При всей абсурдности версии о сватовстве 51-летнего Франца Фердинанда, состоявшего к тому же в официальном морганатическом браке с чешской графиней, нельзя не вспомнить историю сватовства к княжне Ольге Николаевне наследного принца Румынии Карола, приехавшего в начале 1914 г. с этой целью в Петербург. В мае начали распространяться слухи о предстоящей свадьбе Карола и Ольги, однако по вине русской стороны помолвка не состоялась. След румынского сватовства обнаруживается также в слухах, ходивших по Курляндской губернии: «Не Германия виновата, а Россия: одна сволочь (Николай II. — *В.А.*) поехала в Румынию заводить сватовство, чтобы привлечь на свою сторону, а другие сволочи, русские министры, поехали в Сербию подготовить убийство австрийского наследника престола»[3]. Связав неудавшуюся помолвку Карола и Ольги с начавшейся вскоре войной, поменяв действующих лиц и роли сторон в этой истории, народная молва создала доступную и удобную для понимания в деревенской среде версию.

Следующая группа слухов с фольклорно-сказочной атрибутикой касалась объяснения причин поражений российской армии. Доминирующим мотивом здесь была тема предательства и шпиономании, достаточно изученная в историографии Первой мировой войны и непосредственно не связанная с архетипическими представлениями современников[4]. Шпиономания вытекала из патриотического дискурса, формирующего идентификационную модель «свой — чужой»: определение «своих» шло параллельно поиску «чужих», которых начинали винить во всех бедах и неудачах. Так как с ходом военных действий ситуация не улучшалась, «чужих» стали обнаруживать и среди правящей династии. Вероятно, отмеченная «нелюбовь» крестьян к вдовствующей императрице, помимо упомянутой фольклорной традиции демонизации образа вдовы, объясняется механизмом функционирования дискурса, вырабатывавшего свой собственный метаязык с помощью определенных средств коннотации (например, обсценной лексики).

---

[1] *Фрейденберг О.М.* Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 67–69.

[2] *Пропп В.Я.* Исторические корни… С. 376–380.

[3] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 426.

[4] См.: *Колоницкий Б.И.* Конспирологический резонанс: шпиономания как потребность («Дело Мясоедова» в общественном сознании, 1915–1917) // Пятые чтения памяти Вениамина Иоффе. Право на имя. Биографика XX века. Эпоха и личность: ракурсы исторического понимания. СПб., 2008; *Фуллер У.* Внутренний враг. Шпиономания и закат императорской России. М., 2009; *Jahn Hubertus F.* Patriotic Culture in Russia During World War I. Ithaca; London, 1995, etc.

Можно отметить и другие причины поиска врагов среди членов царской семьи. Во-первых, архаизированное сознание традиционно рассматривает национальные беды в качестве божьей кары за грехи; во-вторых, императорская семья в годы войны выбирает модель поведения, расходящуюся с народными представлениями о том, как должен себя вести благочестивый царь, что позволяет рассматривать его в качестве главного подозреваемого в прегрешении перед богом.

Изучение паремиологического материала приводит к выводу, что степень ответственности народа и царя перед богом была разной. Во взаимоотношениях с богом к царю предъявлялись более строгие требования, чем к народу: «за царское согрешение бог всю землю казнит, за угодность милует», «коли царь бога знает, бог и царя и народ знает», «народ согрешит — царь умолит; царь согрешит — народ не умолит». В связи с этим виновным во всех бедах оказывался богонеугодный царь-грешник, по поводу чего крестьяне с досадой спрашивали друг у друга: «Кто его выбирал, этого государя?»[1] Постепенно «официально-народная» идея богоизбранности царя стала сменяться идеей эсхатологической, в которой царь считался не кем иным, как Антихристом. Особое распространение подобные высказывания получили в Саратовской губернии среди старообрядцев, причем, как правило, крестьяне аргументировали эту версию вмешательством царя в светские и религиозные дела[2]. Персонификацией Антихриста в фольклоре считался царь Ирод. Любопытно, что крестьянское сознание проводило параллель между убиением невинных в Первой мировой войне и убиением младенцев. Иудейский царь-детоубийца награждался чертами Антихриста, и крестьяне Воронежской губернии ожидали его второго пришествия: «Говорят, что народится Ирод. Вот и народился Ирод — это наш царь Николай»[3]. Также характерными эпитетами из разряда «нечистых», которыми награждали царя, были «черт» и «леший»[4].

Параллельно закреплению за царем характеристик Антихриста происходило и создание подтверждающего данные слухи мифа о нравственном падении царской семьи. В этом плане интересно отметить, что даже такой благовидный поступок, как вступление царевен в общество Красного Креста в качестве сестер милосердия рассматривалось многими крестьянами как доказательство их грехопадения. Дело в том, что образ царевны — сестры милосердия, ухаживающей за ранеными и выполняющей «грязную» работу по перевязке, обмыванию, бритью и т. д., не соответствовал царственному статусу, противоречил исконным представлениям крестьян. Кроме того, в годы Первой мировой войны активно распространялись слухи о том, что сестры милосердия оказывают раненым

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 84.
[2] Там же. Л. 442, 443 об.
[3] Там же. Л. 332.
[4] Там же. Л. 443 об.

и иные услуги, флиртуя с солдатами[1]. Возможно, вытекали они из появившейся практики переодевания девиц легкого поведения в форму медицинских сестер. Случалось, что военная полиция задерживала в городах переодетых в офицерскую форму и обвешанных не принадлежавшими им георгиевскими крестами дезертиров, которые прогуливались с сестрами милосердия «подозрительного вида», оказывавшимися после проверки проститутками[2]. Любопытно в связи с этим, что если часть дезертиров спешила избавиться от военной атрибутики и затеряться в толпе гражданского населения, продавая шинели и прочие элементы обмундирования, то другая часть, наоборот, демонстративно стремилась повысить свой статус, наряжаясь в офицерскую форму. Примечательно, что в фольклористике мотив переодевания связывается с традиционным карнавальным ряженьем и сказочными сюжетами, в которых выступает способом сокрытия (как героями, так и антагонистами) своего социального статуса, помогает скрыться от преследования[3]. Учитывая упомянутую дидактическую функцию сказок в крестьянской повседневности и не отрицая того факта, что доминирующим мотивом выступало вполне прагматическое стремление скрыться от военных властей (равно как и меркантильное желание улучшить материальное положение за счет получения офицерского пайка в случаях, когда вместе с формой рядовые добывали себе и документы старших чинов), связь подобной практики с фольклорными сюжетами представляется оправданной.

Тем не менее, если заметного снижения статуса офицеров в результате переодевания в их форму рядовых не происходило, то ряженье проституток сестрами милосердия дискредитировало последних в глазах народа. Крестьяне Енисейской губернии в ноябре 1915 г., комментируя известие о том, что Николай II наградил сестер милосердия георгиевскими медалями, объяснили это просто: он спал с ними, — высказав сожаление, что сестрам стоило кресты повесить на другое место[4]. В Курляндской губернии рассуждали о том, что происходит в Центральной России: «Там нет никакого порядка: офицеры разъезжают на автомобилях с … а сестры милосердия смеются в то время, когда раненые стонут»[5]. Ниже мы увидим, что речевой оборот «смеются, когда плачут (стонут)» являлся частью религиозно-эсхатологического дискурса и его использование в отношении медицинских сестер означало их демонизацию.

Дискредитированный в глазах низов образ сестры милосердия приводил к дискредитации и членов императорской семьи. Так, в декабре 1915 г. мещанин Витебска Ицко Забежинский заявил: «Старая государыня, молодая государыня

---

[1] См.: *Колоницкий Б. И.* «Трагическая эротика»…; *Щербинин П. П.* Военный фактор в повседневной жизни русской женщины в XVIII — начале XX в. Тамбов, 2004.

[2] РГВИА. Ф. 1352. Оп. 1. Д. 1960. Л. 67 — 67 об.

[3] *Краюшкина Т. В.* Мотивы состояний персонажей в русских народных волшебных сказках: системный анализ. Автореферат дисс. … д-ра филол. наук. Улан-Удэ, 2010.

[4] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 390.

[5] Там же. Л. 398.

и ее дочери … (брань); для разврата настроили лазареты и их объезжают»[1]. Утверждение, что дочери государя ведут развратный образ жизни, неоднократно встречалось в делах по обвинению населения в нарушении статьи 103 Уголовного уложения[2].

Однако не только слухи о распутстве медицинских сестер ниспровергали образ богоизбранной семьи. Выбранная «демократическая» модель поведения, заключавшаяся в саморепрезентации власти в качестве народной, вступала в противоречие с архетипическими ассоциациями крестьян, предписывавшими царю и царицам иные поведенческие практики. Так, еще Дж. Фрэзер писал о древних царях: «Царь является точкой опоры, поддерживающей равновесие мира; малейшая неточность с его стороны может это равновесие нарушить. Поэтому он должен принимать величайшие предосторожности, и вся его жизнь до мельчайших деталей должна быть отрегулирована таким образом, чтобы никакое его действие, произвольное или невольное, не расстроило и не перевернуло установленный природный порядок»[3]. Особенные опасения вызывала возможность наведения на царя сглаза или порчи, которая могла распространиться и на весь народ, приведя к национальным бедам. Как следствие — табу на выезд из дворца, практика изоляции царской семьи, известная в Японии, Китае, Эфиопии, Мексике, Риме, Ирландии. В.Я. Пропп, изучая русские сказки, также обнаруживает в них отголосок подобных обычаев, обращает внимание на типичные сюжеты запирания царями своих детей в тайных комнатах или подземных палатах[4]. Любопытно, что одним из табу, распространяемых на царских дочерей в русском фольклоре, был запрет на общение с мужчинами: «И приказал царь в земле выстроить комнаты, чтоб она там жила, день и ночь все с огнем, и чтоб мужского пола не видала»[5]. Поэтому неудивительно, что активная благотворительная деятельность дочерей Николая II в среде неграмотной части населения, сохранявшей пережитки архаического мировоззрения, воспринималась неоднозначно.

Летом 1915 г. в Хабаровске возвратившийся с войны солдат произнес: «У нас идет везде блядня в Петроградском Дворе, да и княжны тут же»[6]. Несмотря на всяческие усилия по патриотической саморепрезентации власти, в частности официальные сообщения о создании в Зимнем дворце лазарета для военнослужащих имени цесаревича Алексея Николаевича, крестьяне только еще больше убеждались в том, что Дворец — это средоточие разврата. Примечательны в этом плане слухи, по жанру относившиеся к политической порнографии.

---

[1] Там же. Л. 481 — 481 об.

[2] Там же. Л. 107, 484.

[3] *Фрэзер Дж.* Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М., 2010. С. 182.

[4] *Пропп В.Я.* Исторические корни… С. 134–136.

[5] Цит. по: *Пропп В.Я.* Исторические корни… С. 135.

[6] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 484.

В одном из них, переданном в октябре 1914 г. на мельнице во время разговора крестьян о царе, речь велась о нравах столичного общества и, в частности, о практике посещения некоего музея (возможно, его прототипом выступал Эрмитаж, соединенный с Зимним дворцом). Имея весьма смутные представления об этом заведении, но зная по рассказам, что в музее есть «голые бабы», мужицкое сознание нашло прагматичный ответ на вопрос, что они там делают: «Ходит он царь в свой музей, там женщин ставят на кресла и сзади их употребляют, а когда таких женщин не находится, тогда мать государя тоже приходит туда и ее употребляют сзади желающие»[1].

Нарушение архаичных стереотипов царской поведенческой саморепрезентации приводило к появлению слухов об исчезновении Николая. Так же как и первая поездка за границу русского царя Петра I породила после его возвращения слухи о его подмене, так и в XX в. разъезды Николая II приводят к появлению схожего мифа[2]. В распространенных среди крестьян слухах об исчезновении царя можно обнаружить эсхатологические мотивы. Один из них особенно интересен присутствием фольклорного сюжета о бегстве Николая по тайному подземному ходу. В августе 1915 г. крестьянин Вятской губернии Иван Машковцев рассказывал своим односельчанам: «У нас Николка сбежал; у нашей державы есть три подземельных хода в Германию и один из дворца, быть может туда уехал на автомобиле. У нашего государя родство с Вильгельмом»[3]. В данном случае помимо рационального пласта слуха — родства Николая II с германским императором, — обнаруживаются сказочные аллюзии к апокалиптическому мотиву исчезновения царя.

Сказочный срез этой истории представлен тремя ходами как тремя дорогами, которые ведут героя «за тридевять земель, в тридесятое царство — иншее государство». Тридесятое царство, согласно исследованиям Проппа, есть аллегория потустороннего мира[4]. На это же указывает прилагательное «иншее» — иное, вместо которого иногда дается географический ориентир «за огненной рекою», т. е. в потустороннем мире.

Показательно, что царь отправляется в «иншее государство» не по одной из трех дорог, а едет своим собственным, доступным только ему четвертым подземным путем, избегая тем самым сказочного выбора-испытания «направо пойдешь — коня потеряешь…», который был обязательным для положительного героя. Архетип подземного хода, как и «тридесятого царства — иншего государства», носит тот же потусторонний характер, являясь проходом между двумя мирами: в сказке о Елене Премудрой Иван попадает через подземный ход в подземный мир к шестиглавому змею (огнедышащий змей — возможная

---

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 83 об. — 84.

[2] Там же. Л. 99 об. — 100.

[3] Там же. Л. 261 об. — 262.

[4] *Пропп В. Я.* Исторические корни… С. 360.

персонификация огненной реки), подземный ход также выступает аналогом пещеры глубокой, в которой живет Змей Горыныч в былине о Добрыне Никитиче и пр. Любопытно, что семантика подземного хода-пещеры связана как с христианским мотивом разверзания земли, землетрясения, предшествующего Апокалипсису, так и с семантикой матерной брани. Церковь, борясь с матом как пережитком языческого прошлого, использовала в качестве аргументации суеверия, согласно которым от мата разверзается земля. Кроме того, в духовных стихах о Страшном суде атрибутом последнего, помимо землетрясения, являлась огненная река: «Да будет последнее время: / Тогда земля потрясется, / И камени все распадутся, / Пройдет река огненная, / Пожрет она тварь всю земную. / Архангелы в трубы вострубят / И мертвых из гробов возбудят: / И мертвые все восстанут…»[1] В итоге выстраивается семантическая последовательность топографически связанных архетипов: подземный ход — огненная река — тридесятое-иншее государство. Из последнего и восстают мертвые в день Апокалипсиса согласно приведенному стиху. Таким образом, мифологические представления народа о топографии Ада, сохранившиеся в волшебной сказке, проявились в интерпретации слухов о бегстве императора.

Однако понять полидискурсивную природу крестьянских высказываний нельзя методом анализа, выявления одних только интертекстуальных пластов. Для выяснения модальности — отношения субъектов высказывания к высказываемому — необходимо коснуться и проблемы метаязыка, т.е. коннотаций, речевых особенностей, коррелирующих многовариантную интерпретацию дискурса в каждом отдельном случае.

Как уже отмечалось, нередко крестьяне попадали под действие статьи 103 из-за неумышленного использования местного фразеологизма в неоднозначном контексте. Так, в качестве примера можно привести земельный спор полтавских крестьян, во время которого на замечание одного из них, что «земля ни моя, ни твоя, а царская», 62-летний Яков Копыло ответил: «срака царская», вследствие чего был обвинен в оскорблении императора[2]. На самом деле семантика употребленного выражения не очевидна, и, скорее всего, мы имеем дело с фразеологизмом-парафразом известной поговорки: «душа божья, голова царская, жопа барская»[3]. Среагировав рифмически-ассоциативно, Яков Копыло не давал оскорбительного названия части тела императора, а в рамках земельного спора указывал, что именно «срака» принадлежит императору, а не земля. Правда, с такой же вероятностью возможна интерпретация выражения как эпитета, употребленного в адрес оппонента (что именно он являлся той самой частью тела царя).

---

[1] Цит. по: *Успенский Б.А.* Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии // Успенский Б.А. Избранные труды. Т. 2. М., 1994. С. 80.

[2] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 536.

[3] *Даль В.И.* Заветные пословицы и поговорки.

Изучение контекста высказывания позволяет уточнить отношение крестьян к объекту высказанного оскорбления. Как уже было показано, эпитет «дурак» было самым распространенным по отношению к императору. Однако это ругательство может рассматриваться и как вердикт умственным способностям, подкреплявшийся доказательной базой, и как архетип царя, носящего в том числе и положительный окрас в сказках об Иванушке-дурачке, царе-дураке. Последний часто противопоставлялся царю злому, чем наделялся позитивным содержанием: «Дубинка бросилась, раз-другой ударила и убила злого короля до смерти. А дурак сделался королем и царствовал долго и милостиво»[1]. М.М. Бахтин объяснял позитивное значение эпитета «дурак» спецификой карнавальной культуры, в которой подобные образы были «лишены цинизма и грубости в нашем смысле»[2]. Кроме того, ученый отмечал амбивалентность этого слова, рассматривая глупость в качестве «изнанки правды», «вольной праздничной мудрости, свободной от всех норм и стеснений официального мира, а также и от его забот и его серьезности»[3].

Тем не менее во время войны чаще всего слово «дурак» несло в себе не позитивный, а негативный смысл. Вынося оценки Николаю, крестьяне, как правило, иллюстрировали их фольклорными картинками, ставили в пример сюжеты знакомой повседневности: «Германский император на войне, а наш государь на печи сидит»[4]. Портрет сказочного Емели-дурачка создавал целостный образ безвольного и глупого императора. Рассуждая об императоре с позиции мужика-хозяина, народ приходил к неутешительным выводам о его «профессиональных» качествах управленца.

Помимо постоянных эпитетов крестьянский политический дискурс содержал и характерные обороты речи, имевшие ярко выраженные религиозные корни и использовавшиеся в адрес определенных персонажей. Так, по отношению к императрицам (как вдовствующей, так и супруге Николая) в доказательство их предательства использовался оборот «плачет когда …, радуется когда …». В ноябре 1914 г. в Минской губернии 28-летняя Мария Барановская (дворянка) произнесла в адрес Александры Федоровны: «Наша государыня плачет, когда русские бьют немцев, и радуется, когда немцы побеждают», в начале 1915 г. 42-летний крестьянин Владимирской губернии сказал о царице: «Она радуется, когда бьют наших, и плачет, когда бьют врагов», то же твердили в Ярославской губернии, но о вдовствующей императрице: «Когда русских солдат бьют, то радуется, а когда наши бьют германцев, то плачет»[5].

1 Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. Т. 2. № 216.

2 *Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 83.

3 Там же. С. 148.

4 РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 263.

5 Там же. Л. 97—97 об., 107, 170—170 об.

Широкое распространение данного оборота речи в разных губерниях и представителями разных сословий свидетельствует о единых архетипических истоках выражения.

В трудах М.М. Бахтина, Д.С. Лихачева, В.Я. Проппа, О.М. Фрейденберг оппозиция «смех — плач» рассматривается как архетипическая, имеющая непосредственную связь как с языческой культурой, так и с христианской[1]. В.Я. Пропп, разбирая природу крестьянских представлений о веселье, сделал очень меткое замечание: «Если нельзя представить себе смеющимся Христа, то дьявола, наоборот, представить себе смеющимся очень легко»[2]. Описание смеющегося над человеческим горем дьявола было характерно для древнерусской оригинальной письменной традиции. Так, в Повести временных лет мы обнаруживаем оппозицию «плачет — смеется» в пересказе ветхозаветных легенд: «Адам и Ева плакали, а дьявол радовался», а также при комментировании некоторых событий русской истории[3].

Данный оборот речи использовался и в западноевропейском литературном дискурсе от Дж. Байрона: «И плачет ангел там, где сатана смеется» («Паломничество Чайльд-Гарольда»), — до Т. Манна: «Тот, кому от природы дано якшаться с искусителем, всегда не в ладу с людскими чувствами, его всегда подмывает смеяться, когда другие плачут, и плакать, когда они смеются» («Доктор Фаустус»)[4]. Все это указывает на христианские истоки выражения и позволяет сделать вывод, что коннотация, заключавшаяся в переносе с помощью речевого оборота императрицы на место дьявола, означала ее демонизацию.

Вероятно, одним из первых данный оборот употребил в своих поучениях причисленный к лику святых Константинопольский архиепископ Иоанн Златоуст. В его поучении о сквернословии были следующие слова: «О таком человеке, не удержавшемся от проклятого матерного слова, Ангел хранитель плачет, а дьявол — радуется». Русская церковь, активно боровшаяся с матерными выражениями как пережитком языческого прошлого, использовала для этого все возможные ресурсы. Матерная брань преподносилась в качестве козней дьявола, и оппозиция «плачет — смеется (радуется)» подчеркивала демонические истоки обсценной лексики. Вместе с тем матерщина несла в себе важное коннотирующее значение в крестьянском политическом дискурсе. Однако и в ней необходимо различать идиоматические выражения, выступавшие оборотами речи, усиливающими экспрессивность, и сознательное употребление

---

[1] См.: *Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965; *Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В.* Смех в Древней Руси. Л., 1984; *Пропп В.Я.* Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре (по поводу сказки о Несмеяне). М., 1999; *Фрейденберг О.М.* Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.

[2] *Пропп В.Я.* Проблемы комизма и смеха… С. 26.

[3] См.: Полное собрание русских летописей. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Вып. 1. Повесть временных лет. Л., 1926.

[4] *Манн Т.* Доктор Фаустус. М., 2009. С. 67.

матерного оскорбления в тот или иной адрес. Правда, нередко два этих значения сливались.

Например, постоянно встречавшаяся просторечная идиома «еб.ть бога и царя». Хотя ее семантика не выводится из значений составляющих компонентов и народ использовал фразу в совершенно разных контекстах, для усиления эмоциональной, а не смысловой составляющей, само появление подобного словосочетания указывало на определенные сдвиги в сознании православного народа. В итоге появлявшиеся разнообразные сочетания слов в фразеологических оборотах дополняли эмоциональную сторону новой семантикой, например выражающей отношение к налогам. Так, на станции «Зима» Томской железной дороги 27-летний Петр Длугопольский, покупая в кассе билет и дав кассиру один рубль без учета 25% военного налога, на требование кассира уплатить еще 24 копейки сказал: «… вашу мать, царя и налог»[1]. На обсценную направленность подобных оборотов указывали также и другие заявления крестьян. Например, вслед за фразой «… бога, веру, царя и правительство» следовало утверждение «я сам царь и бог»[2]. Это свидетельствует о том, что в крестьянском политическом дискурсе происходила десакрализация истоков царской власти, царь-простак (дурак) воспринимался таким же человеком, как и любой деревенский мужик. Примечателен в этом плане ответ 35-летней Варвары Андреевой на заявление собеседницы, что «царь дан нам богом»: «А мы чертом, что ли, даны?»[3]

Другим часто встречающимся в крестьянских высказываниях элементом речи, также несущим в себе печать мифологии, является упоминание сорокалетнего промежутка, в течение которого царь ничего не делал, а лишь на печи сидел, спал или водкой торговал: «Немецкий царь знал, что ему надо, и сорок лет собирался к войне, а наш царь пьянствовал и по заведениям ходил», — объяснил крестьянин Томской губернии Ефим Утка свое нежелание жертвовать на нужды Красного Креста; «Германия готовилась к войне сорок лет, а наш государь только переименовывал города», — говорил крестьянин Виленской губернии; «Германцы сорок лет готовились к войне, и царь это знал и спал», — произнес мещанин Подольской губернии; мещанка местечка Хотовичи Могилевской губернии, муж которой находился на войне, сказала: «Нашему государю не следовало войной заниматься: германец сорок лет к войне готовился, а наш — родимчик его убей — готовился шинковать, пробками занимался. Если бы он мне попался, я бы его, сукина сына, так, вот так разорвала»[4]. Особенно часто число сорок в своих высказываниях использовали евреи, для которых с сорокалетним промежутком связан ряд событий: странствование по пустыне, сорокалетнее правление Давида и Соломона. В контексте последнего упоминание того, что

---

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 138.

[2] Там же. Л. 362 — 362 об.

[3] Там же. Л. 476.

[4] Там же. Л. 165, 214 об., 268, 309.

Николай II за сорок лет ничего не сделал, носило характер приговора, констатации дурости: «Дал бы бог, чтобы немецкий царь забрал нашего государя… Немецкий царь заберет его, так как готовился к войне сорок лет, а наш государь только задаром потребляет народ, так как он дурной», — произнес мещанин Подольской губернии Цая Рабинович в мае 1915 г.

Встречалось число сорок и в иных случаях. Так, например, крестьянин Смоленской губернии Игнатий по фамилии Романов, делавшей его, по-видимому, в глазах крестьян обладающим особенным, тайным знанием о царе, находясь 27 декабря 1915 г. в чайной в Москве, пересказывал свой сон, в котором ему было сказано, что в России должен царствовать великий князь Михаил Александрович, что «ныне царствующий государь император завел у себя во дворе сорок девок» и что «наследник Алексей рожден от Пуришкевича»[1]. Значимость слов Романова усиливалась также и тем, что сон приснился ему накануне Нового года — в период, когда мысли обывателей устремлялись в будущее, стараясь предсказать, что в нем таится. Упоминание в этой связи «сорока девок» звучит неким знаком проклятия, павшего на императора.

Помимо обсценного характера матерная лексика играла роль магических заклинаний в культуре крестьянской повседневности. Матерные выражения применялись как заговор от нечистой силы, для исцеления человека, так и, наоборот, использовались с целью наведения порчи, проклятия. Подкрепленные жестами, они формировали определенный ритуал, в котором проявлялся крестьянский политический дискурс. Примечательно, что связанный с православной традицией иконопочитания, предусматривавшей отождествление образа и первообраза и допускавшей возможность воздействия на изображаемого через изображение, ритуал был следствием в том числе и особенностей иконического визуального мышления крестьян[2]. В составленном в феврале 1916 г. протоколе по поводу осквернения портрета государя читаем: «На портрете изображены государь император, государыня императрица и великие княжны: Ольга, Татьяна и Мария Николаевны, причем на местах глаз, носа, рта у всех дыры; на груди государя императора также дыры, а на руках государыни и великих княжон проколы. Портрет внизу на лицевой стороне слегка испачкан кровью, а на обратной стороне — большие кровяные пятна»[3].

Выкалывание глаз на царских портретах было распространенной формой проявления отношения крестьян к власти. Само по себе ослепление в религиозной структуре народного сознания означало божью кару, и, наоборот, евангелический сюжет возвращения слепцу зрения — схождение на него

[1] Там же. Л. 362.

[2] Более подробно о визуальном мышлении крестьян см.: *Аксенов В.Б.* Убить икону: визуальное мышление крестьян и функции царского портрета в период кризиса карнавальной культуры 1914–1917 гг. // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. Вип. 6. Київ: Інститут історії України, 2012. С. 386–410.

[3] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 114.

благодати. Многие крестьяне, не сомневаясь в том, что царь заслуживает наказания, делали выводы: «Никакого бога нет, а если бы был бог, то Николку … ослепил бы»[1]. Крестьянин Самарской губернии 26-летний Андрей Правдин в январе 1916 г., явившись в дом крестьянки Юрьевой и увидев висевший на стене групповой портрет императора, императрицы и цесаревича, выколол оба глаза императору и один глаз наследнику, после чего произнес: «Два слепца, третий поводильщик»[2].

Но есть другая семантика слепоты, уходящая в архаичные обряды инициации и связанная с переходом в мир мертвых: заклеивание/замазывание глаз неофитам. В русских сказках обитатели поту- и посюстороннего мира слепы по отношению друг к другу, условием же перехода героя в иной мир является его временное ослепление[3]. В делах по статье 103 Уголовного уложения встречаются случаи, когда крестьяне угрожали заклеить или заклеивали глаза на изображениях государя почтовыми марками[4]. Семантика ослепления, таким образом, связывается с отправкой объекта в мир мертвых, выступает ритуальной формой народного проклятия-убийства изображенного и может быть интерпретирована в качестве дискурсивного высказывания — пожелания императору отправиться в ад (пойти к черту).

Смерть императора мыслилась в качестве единственно возможного предотвращения эсхатологических последствий. Упомянутый «благонадежный» астраханский извозчик Поляков, обещавший «всадить нашему царю осиновый кол в задницу», объяснял это тем, что он «всю Россию и нас мучит»[5]. Во время отступления русской армии летом 1915 г., когда в среде крестьян зазвучал вопрос о заключении мира, грамотный крестьянин Казанской губернии Порфирий Яковлев на вопрос, что пишут о мире, ответил: «Какой тебе мир. Скоро будет Всероссийское собрание, проберут государя императора и наследника, затем их кончают (убьют), а правительство сожгут. Как Иисуса Христа распяли, так и распнут государя императора и наследника, после чего жить станет легче»[6]. Любопытно, что сравнение императора с распятым Иисусом не означало наделение самодержца святостью, но было использовано в качестве яркого образа переломной вехи, должной ознаменовать конец прежней, несчастной жизни и начало новой эпохи.

Крестьянское массовое сознание интерпретировало политические слухи с помощью тех моделей, которые обнаруживались в фольклорной традиции, в результате чего происходила интеграция мифического и реального,

---

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 141 об.
[2] Там же. Л. 465 об. — 466.
[3] *Пропп В.Я.* Исторические корни… С. 167.
[4] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 25 — 25 об.
[5] Там же. Л. 178.
[6] Там же. Л. 278 об.

сказочного и политического, приводившая к рождению нового высказывания. В этом отражалась полифоническая природа крестьянской картины мира: она не сводилась к простой сумме включенных в нее сказок и слухов, а порождала следующий уровень высказывания — метадискурс, — вырабатывающий собственную систему объяснения обсуждаемых феноменов.

Будучи вписанным в эсхатологическую систему народных представлений, метадискурс уже не был направлен только на поиск причин нехватки земли, начала войны или военных неудач российской армии. Он носил онтологический характер, призван был ответить на извечные вопросы «кто виноват» и «что делать». Политические слухи о греховности царской семьи и народные представления об исключительной ответственности царя перед богом давали очевидный ответ на первый вопрос и наталкивали крестьян на мысль о цареубийстве как способе отвода от народа божьего гнева за прегрешения императора.

Учитывая, что сюжеты политического интрадискурса коррелируются с сюжетами русских сказок, можно предположить, что морфология политического дискурса была таким же образом связана с морфологией русских волшебных сказок. Согласно В. Я. Проппу, народные волшебные сказки строились по общим принципам, имели типичную внутреннюю структуру, включавшую в себя ряд общих сюжетов, образовывавших связное повествование. Основные морфологические элементы сказочной композиции Пропп выводит из функций главных персонажей, в результате чего насчитывает 31 сказочный сюжет, в каждом из которых отмечается несколько вариантов развития[1]. Кратко их можно обобщить в следующей схеме: описание исходной ситуации (жили-были), запрет-наставление главных героев (не делай того-то), нарушение запрета и начало козней антагонистов, путешествия героя (завершается приобретением волшебных вспомогательных средств), победа над антигероем и начало новой жизни. Сюжеты-функции представляли собой определенные модели поведения, в фольклоре они взаимозаменялись, переставлялись местами, вследствие чего становилось возможным не только появление разных вариантов одной сказки, но и рождение новых типов.

Заметим, что сами крестьяне признавались, что воспринимают свое участие в войне как сказку: «Сколько, бывало, я сказок слушаю, об одном жаль, что не так в жизни бывает. На войне же я сказок понасмотрелся собственными глазами: и разбойники-то, и сироты замученные, и воскресших сколько, и мертвые стоят, — чего только, чего нету. Чистая сказка, да только больно уж страшная»[2].

К сожалению, обнаруженные сказочные сюжеты в крестьянском политическом дискурсе не позволяют собрать воедино все морфологические элементы

---

1 *Пропп В. Я.* Морфология волшебной сказки. М., 1998. С. 23–51.

2 *Федорченко С.* Народ на войне… С. 74.

сказки, но это и не нужно: в отличие от аутентичных сказок, сказка о царе и мировой войне функционировала в виде метадискурса, была представлена распыленными, не связанными местом и временем высказываниями крестьян о власти, однако типичные сказочно-архетипические формы коннотаций слухов, в основе которых порой лежали реальные события, свидетельствуют об общих для крестьян способах интерпретации политической информации и рождении композиционно связанного повествования, что позволяет предпринять попытку реконструкции «сказки о царе и войне».

Примечательно, что сам состав семьи Николая II способствовал интерпретации его жизни в сказочном контексте: как в большинстве сказок при описании исходной ситуации упоминаются три брата или три сестры, так и крестьянский политический дискурс обращает внимание на трех дочерей императора (забывая, вероятно по причине несовершеннолетия, о четвертой, младшей из них — царевне Анастасии). Кроме того, в народной среде был широко известен портрет императорской четы с тремя дочерьми, созданный до рождения Анастасии и наследника Алексея. Любопытно, что Алексей редко фигурировал в крестьянских политических высказываниях, а если упоминался, то с эпитетом «хромой» (т.е. больной). Крестьяне, слышавшие о врожденной болезни цесаревича, скорее сочувствовали ему и, считая больным-хромым, не наделяли ни чертами главного героя, ни его антагониста, частые же пожелания смерти определялись ненавистью к его отцу.

Как уже было отмечено, завязкой сказочного конфликта становилось неудавшееся сватовство. Упоминание в крестьянском дискурсе «министров-сволочей», которые куда-то ездили, после чего началась война, позволяет интерпретировать данный сюжет в качестве следующего важного морфологического элемента сказки — козней антигероя. Этот антигерой, находящийся при дворе и манипулирующий императором, соответствует сказочному «ложному герою». Часто в сказках роль ложного героя отводится злой мачехе, однако встречаются варианты, когда и родные родители выступают отрицательными персонажами и стараются сгубить своих детей. При отсутствии в семье российского императора мачехи ее сказочная роль переходит к императрице-матери Марии Федоровне или императрице-супруге Александре Федоровне. Антагонисты, по мнению крестьян, либо шпионили в пользу Германии, либо вели дискредитирующий царскую династию распутный образ жизни (прикидываясь сестрой милосердия, царица вывозит своих дочерей из дворца и развращает их). Царь-дурак, лежащий на печи и не видящий того, что творят под его носом ложные герои, наделяется отрицательными характеристиками и, по логике сказочного нарратива, должен быть либо изгнан (слухи о бегстве по подземному ходу), либо убит (слухи о покушениях). Третьим обобщающим вариантом окончания сказочной роли Николая выступает его ослепление, семантически связанное со смертью и попаданием в ад. Правда, в других вариантах этого сказочного

метадискурса царь выступал главным антигероем (слухи о том, что Николай — это царь-Ирод, Антихрист), отправлявшим своего слугу на смертельные испытания. В сказках этот сюжет также заканчивался победой простоватого Иванушки-дурачка над злым царем.

Главная недостающая деталь сказочного метадискурса — отсутствующий главный герой-протагонист, вследствие чего ряд сказочных функций-сюжетов не обнаруживается. Можно предположить, что им мыслился сам народ, тем более что в слухах проскальзывали известия о попытках матросов или солдат убить царя. Вероятно, и мотив странствий этого собирательного героя-народа косвенно обнаруживается в событиях Первой мировой войны, на полях которой, по-видимому, и должна была состояться встреча героя и антагониста, завершавшаяся убийством последнего (угрозы крестьян пойти на войну лишь с целью убить Николая). Отмеченное выше уважение крестьян к странникам как к людям «бывалым» состоит в известной корреляции с архетипом бывалого солдата — героя русских сказок.

Помимо реконструированной метасказки «о царе и мировой войне» нельзя не упомянуть о том, что в народе ходили сказки на конкретные сюжеты современности. Крестьяне называли их «наиновыми сказками» — весьма удачное название, учитывая их одновременно новый и наивный характер. В этих сказках нередко героями становились известные персонажи. Крестьяне в тылу склонны были героизировать солдат, а сами солдаты в 1917 г. попытались найти другого кандидата на роль сказочного положительного героя. Им становится разрекламированный антимонархической пропагандой Григорий Распутин. Солдатская молва слагает наиновую сказку о царе с его участием: «Жили-были царь с царицей. Всего у них через силу много. Соскучились с перебытков разных. „Подавай ты нам, — говорят, — во дворец царский сермяжного самого мужика со смердьими словами. А то князья-графы нам до некуда тошны стали“. Вот и пришел Гришечка и так их царские утробы распотешил, что уж всего им для Гришечки того мало: „Гадь, Гришечка, на наши царские головы“. Призавидовали тут графы и князи, Гришечку заманили и убили. А чудо было — царя с престола свалило»[1].

М. М. Бахтин, изучая европейскую смеховую культуру Средневековья, пришел к выводу, что бранная лексика и акты, связанные с дефекацией, суть метафорическое ниспровержение сакрального «верха» до телесно-профанного «низа»[2]. Примечательно также, что испражнения играли большую роль в распространенных в Европе праздниках глупцов (представленных в русской традиции скоморошьими травестиями), что архетипически оправдывает мотив дефекации на голову царя-дурака. Образ испражняющегося на царя и царицу Распутина

---

[1] *Федорченко С.* Народ на войне... С. 87–88.

[2] См.: *Бахтин М. М.* Франсуа Рабле...

соответствовал также и сказочному персонажу мужика-простака, благодаря природной хитрости обманывающего глупого царя. Не случайно акт дефекации в сказке логически связан с произошедшим после этого чудом — «царя с престола свалило». Дефекация на царя, таким образом, являясь метафорой профанации сакрального, выступает ритуальной формой свержения самодержца.

Показательно, что костромские крестьяне, узнав об убийстве Распутина, наделили его статусом народного мученика: «Он был из народа; он доводил до царя голос народа; он защищал народ от придворных — и вот придворные его убили»[1]. Те же самые разговоры записала со слов раненых солдат и С. Федорченко: «Сказывали, от народа будто Распутин к царю приставлен был всю правду говорить. Не простой люд его извел», «У нас разно про того Распутина знали. Кто и за святого считал. Сказывали, будто один он правду царям говорил. За то будто и убили его вельможи»[2].

Тем не менее, несмотря на архетипические мотивы в сказке о царе и Гришке, стать подлинным героем Распутину не позволил ряд факторов: это и убийство, произошедшее ранее «финала» всей сказки; нераспространенность упоминаний о нем в крестьянском политическом дискурсе до 1917 г.; общая негативная оценка Распутина как царского приспешника, символа грехопадения двора. «Сперва-то он хорошо будто народу служил, да переманили его баре, золотом купили, и на баб обласел. Вот и продал он народ, хоть и наш был, серый человек», — объясняли солдаты грехопадением конец Распутина[3]. В результате приведенная сказка про Гришку может рассматриваться лишь в качестве более позднего исключения формировавшегося сказочного метадискурса.

С помощью наиновых сказок формировалась народно-мифологическая картина Гражданской войны. Солдаты из крестьян, например, передавали такую версию приезда В.И. Ленина в Россию в апреле 1917 г.: «Как ему в родную землю попасть? Не пускают его ни короли, ни вельможи, ни военные разные власти. Чуют власти, что на вред он им, народу же на помощь. Бьется этот человек, как птичка в стекло, — не пробьет никак. А лететь ему вольно хочется на свою далекую родину. Он туда, он сюда — нет проезда! И видит он — русский солдат идет теми чужими землями, и идет в нашу сторону. „Куда ты?“ — спрашивает. „Отпускной я, иду проведать родину и родню“, — отвечает солдат. „Ох, прошу тебя, возьми ты меня с собой и невидимо, и незнаемо! Если возьмешь, всей нашей земли жизнь облегчится!“ Посмотрел на него солдат со вниманием: стоит перед ним невелик ростом человек и насквозь разумом светится, от добра, от ума лобастый, простой весь. Солдат же народ дошлый, при случае и наколдовать умеет. Дунул-плюнул солдат и подвез нужнейшего

[1] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 716.
[2] *Федорченко С.* Народ на войне… С. 88.
[3] Там же.

нам человека, прямо в Питер к Николаевскому вокзалу. А там уж его дружки встретили. Вот самая наиновая сказка»[1]. Как видим, в народном сознании мотив пломбированного вагона был заменен колдовством дошлого солдата, что делало Ленина подлинным героем от народа. Конечно, ходили среди крестьян и прямо противоположные слухи о председателе СНК, в том числе наделявшие его инфернальными характеристиками. Впрочем, многие исследователи считают большинство комплиментарных сказок о Ленине псевдофольклором, текстами, сфальсифицированными в сталинскую эпоху[2], другие авторы все же настаивают на подлинности некоторых из них[3]. А. А. Панченко, критически настроенный относительно ленинианы, признает, что сказки о советском вожде возникли «не на пустом месте»[4].

Следует заметить, что использование литературных дискурсов как интерпретационных моделей было характерно и для деревни, и для города. Если необразованные или малообразованные крестьяне в качестве когнитивной модели использовали народную сказку, то образованные слои также находили себе тексты, с помощью которых наполняли смыслом новую фронтовую повседневность, — как правило, ими становились известные литературные произведения. Так, Пол Фассел выделяет роман Дж. Баньяна «Путь паломника», который формировал у британских солдат своеобразные смыслы войны в религиозно-мистическом ключе[5]. В дневниках некоторых русских офицеров встречались упоминания героя популярного в России писателя Кнута Гамсуна лейтенанта Глана[6]. Показательно, что Глан, тяготясь бессмысленностью своего существования, ищет и находит свою смерть. Первая мировая война предоставила современникам, поставив их лицом к смерти, возможность переосмыслить свою жизнь и свои ценности.

Таким образом, мы видим, что в крестьянском политическом многоголосии периода Первой мировой войны обнаруживается пласт близких по семантике и форме высказываний, складывающихся в единый дискурс. Его полифоническая структура, связанная с архетипическими стереотипами, религиозно-идеологической пропагандой, распространяемыми странниками слухами соответствовала уровням массового сознания и определяла интерпретацию актуальных

---

1 Там же. С. 364.

2 *Tumarkin N.* Lenin Lives! The Lenin Cult in Soviet Russia. Cambridge, Mass.; London, 1983; *Miller F. J.* Folklore for Stalin: Russian Folklore and Pseudofolklore of the Stalin Era. New York; London, 1990; Рукописи, которых не было: Подделки в области славянского фольклора / Изд. подгот. А. Л. Топорков, Т. Г. Иванова, Л. П. Лаптева, Е. Е. Левкиевская. М., 2002; *Панченко А. А.* Культ Ленина и «советский фольклор» // Одиссей. Человек в истории. 2005. М., 2005. С. 334–366.

3 Советский эпос 1930-х — 1940-х годов // Рукописи, которых не было… С. 403–968.

4 *Панченко А. А.* Культ Ленина и «советский фольклор»… С. 334–366.

5 *Фассел П.* Великая война и современная память. СПб., 2015. С. 188.

6 К. Гамсуном увлекались и революционеры, в частности один из членов Боевой организации эсеров Б. В. Савинков (Три брата (То, что было): Сборник документов / Сост., авт. предисл. и коммент. К. Н. Морозов, А. Ю. Морозова. М., 2019. С. 205).

событий. Отдаленность крестьянского мышления от рациональной текстовой культуры наделяла фольклорно-архетипические модели особенным значением, в результате чего период военных неудач и хозяйственный кризис в империи рассматривались крестьянами в соответствии с эсхатологическими представлениями как божья кара за царские прегрешения. Массовость подобных воззрений проявилась в формировании метадискурса, в основу которого легли высказывания, семантически и стилистически связанные с народной сказкой, которая в традиционной культуре несла важную дидактико-социализирующую функцию. В соответствии со сказочным фольклором для преодоления бедствий необходимо было наказать или устранить основных антигероев, однако жизнь в итоге оказалась куда более жестокой, чем сказка. Если по логике последней погрязшие в разврате (оказавшиеся в беде) по вине ложного героя-антагониста царские дети должны были быть спасены героем, который в результате этого становился царем, то в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. они вместе с родителями-антигероями были расстреляны в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге по решению Уральского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

* * *

Изучение массовых настроений российского крестьянства как носителей устной культуры затрудняется не только известной ограниченностью источниковой базы, но и спецификой народной ментальности, которую исследователи характеризуют как синкретичную. Синкретизм крестьянского мышления приводил к амбивалентности попадавших в поле зрения народа категорий. В этом отношении внешняя покорность мобилизации согласовывалась с внутренним неприятием войны, а желание проучить немца соседствовало с признанием, что если немец победит, то при нем жить будет лучше. Показательны метаморфозы образа Николая II, воспринимавшегося некоторыми крестьянами олицетворением зла, воплощением Антихриста; вместе с тем, согласно другим высказываниям, именно Антихрист должен осуществить вековую мечту народа — дать крестьянам землю. Тем не менее массовое оскорбления царя и членов его семьи позволяет говорить о десакрализации императорской власти, внутреннем отречении народа от своего царя. Крестьянский дискурс о войне и царе, выражавшийся в слухах, а также высказываниях, обнаруживающих фольклорную основу, может быть интерпретирован в качестве сказки, в которой царь оказывался главным антагонистом героя — народа, вовлеченного в мировую бойню в результате измены верхов. Образ царя-антагониста наполнялся в конечном счете политическим содержанием, предопределяя будущее крушение монархии.

Раздел 4

Текст

Письменная городская культура и иррационализация массового сознания обывателей

В данном разделе речь пойдет о тех представлениях обывателей, которые были формально закреплены в письменной городской культуре. Следует оговориться, что хотя раздел посвящен «тексту», последний будет пониматься в узком смысле этого слова, как результат вербального письма. В предыдущем разделе уже было показано, что совокупность устных высказываний крестьян также создавала свой вполне структурированный текст-нарратив, который был реконструирован в форме «сказки о царе и мировой войне». В следующем разделе мы рассмотрим существовавшие визуальные тексты. Тем не менее очевидно, что письменный текст, в отличие от устного или визуального, имеет более строгую упорядоченную структуру и, что самое главное, предполагает меньшую вариативность его интерпретаций реципиентом.

Признание различных форм текста пришло в лингвистику не сразу. И. Р. Гальперин, например, отрицал существование устного текста, полагал, что акт коммуникации порождает текст, когда он упорядочен и лишен спонтанности[1]. Ю. М. Лотман, признавая существование устного текста, все же обращал внимание на зыбкую и подвижную его форму, предлагал «разовые» тексты-речи называть «не-текстами», так как они не остаются в культуре[2]. Вместе с тем уже рассмотренные теории полифонизма М. М. Бахтина и интертекстуальности Ю. Кристевой демонстрируют возможности реконструкций устных текстов и тем самым возвращение их культуре. Тем не менее нельзя не согласиться с К. В. Чистовым, что «любой письменный текст есть некая

[1] *Гальперин И. Р.* Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981. С. 18–19.

[2] *Лотман Ю. М.* Устная речь в историко-литературной перспективе // Семантика номинации и семиотика устной речи. Тарту, 1978. С. 113–121.

стабилизированная структура, реально существующая к моменту, когда начинается его восприятие», что отличает его от устного текста[1].

Любая речь строится по определенным логическим законам, но ее устная, разговорная форма недостаточно структурирована и может содержать невербальные элементы, мешающие восприятию смысла. Письменная форма, наоборот, призвана максимально упростить восприятие сообщения. Возможность «отмотать назад», вернуться к началу чтения, позволяет читателю точнее понять смысл авторской интенции. Люди, вовлеченные в культуру письменного текста, вырабатывают навыки непротиворечивого логического мышления, системы аргументации. Даже чтение священных текстов, сомнительная практика их зазубривания на уроках закона божьего формируют стремление точного, буквального понимания высказывания. Городская среда, предполагающая высокую конкуренцию, ориентирована на получение образования и, вместе с ним, рационального знания. В этом отношении «письменный город» рациональнее «устной деревни». Вместе с тем еще раз отметим, что противопоставление слова письму во многом условно, так как элементы того и другого наблюдаются в мышлении любого человека. Жак Ле Гофф, изучая проявления «ученой» (текстовой) и «народной» (устно-фольклорной) культур в европейской средневековой литературе, обращал внимание на то, что даже в работах клириков заметно влияние фольклорных традиций[2]. Тем интереснее исследовать процесс, захвативший столичное общество в годы Первой мировой войны, — проникновение иррациональных, настоянных на слухах «знаний» устной культуры в письменную городскую среду.

Хотя слухи изначально относятся к устной форме сведений и о них уже говорилось в разделе, посвященном устной культуре, ниже речь пойдет о тех слухах, которые отразились в эпистолярном наследии образованных слоев (материалы перлюстрации), проникли в периодическую печать, стали предметом разбирательств Департамента полиции в результате доносов. Очевидно, что между слухами необразованных или малообразованных сельских жителей и образованных представителей высших слоев общества есть известные различия, которые, как будет показано в дальнейшем, стирались по мере приближения к революции 1917 г.

Патриотизм как фобия городских обывателей: от антинемецких настроений к слухам о предательстве в верхах

В теории патриотизм описывается в позитивной терминологии, в которой акцент делается на чувстве любви, но на практике, особенно во времена войн и революций, чувство любви сменяет противоположное чувство ненависти.

[1] *Чистов К. В.* Фольклор. Текст. Традиция. М., 2005. С. 70.

[2] *Ле Гофф Ж.* Средневековый мир воображаемого. М., 2001. С. 142.

Исследователи неоднократно обращали внимание на то, как важно для поддержания патриотической сплоченности общества создать простой и понятный образ врага, однако опасность заключается в том, что массовое сознание очень легко от реального врага внешнего переключается на поиск вымышленных врагов внутренних, так называемой «пятой колонны». Последнее грозит расколом общества и может быть симптомом приближающейся гражданской войны. Собственно, в 1917–1922 гг. разделение граждан России на «своих» и «чужих», проводившееся в красной и белой пропаганде, проникавшее на уровень бытового сознания людей, во многом выступало движителем Гражданской войны. Однако опыт ненависти был приобретен современниками задолго до революции 1917 г.

Современная психологическая теория дифференциальных эмоций признает наличие эмоциональной системы, в которой ее элементы (дискретные эмоции) взаимосвязаны динамическим и статическим образом, при этом между отдельными элементами наблюдаются иерархические отношения[1]. Как правило, эмоции не могут длиться долго и перетекают друг в друга. К. Изард использовал понятие эмоциональной триады, описывавшей родственные эмоции, тесно связанные между собой. Например, триада враждебности, по мнению американского психолога, включает в себя три дискретные эмоции — отвращение, гнев, презрение. «Ситуации, активирующие гнев, часто в той или иной мере активируют эмоции отвращения и презрения. В любой комбинации эти три эмоции могут стать главным аффективным компонентом враждебности. Большинство причин, вызывающих эмоцию гнева, подпадают под определение фрустрации», — отмечает психолог[2]. При этом если говорить об эмоциях не в нейрофизиологическом, а историческом контексте (т.е. иметь в виду не столько эмоции в нейрофизиологическом смысле, которые имеют весьма непродолжительное время действия, а чувства и настроения, им соответствующие), можно уточнить причины конкретной враждебности. В нашем случае в основе травмирующей эмоции, запустившей триаду враждебности к немцам, лежал страх. Страх войны, персонифицированный в страхе перед внешним врагом, привел к распространению гнева, отвращения и презрения не только к подданным Германской империи, но и в конечном счете к русским этническим немцам. Настоянная на триаде враждебности «патриотическая» пропаганда приводила к развитию германофобии, которая в отдельных случаях выливалась в настоящее психическое расстройство.

В политических исследованиях XXI в. все больше внимания уделяется роли положительных и отрицательных эмоций. В 2016 г. Оксфордский словарь английского языка назвал словом года понятие «постправда». Он получил

[1] См.: *Изард К.Э.* Психология эмоций. СПб., 1999.
[2] *Изард К.Э.* Психология эмоций... С. 266.

развитие благодаря публикации в 1992 г. эссе Стива Тесича «Правительство лжи», в котором он на примере «Уотергейтского», «Ирангейтского» и «Ирако-Кувейтского» кризисов проиллюстрировал тезис о том, что ложь американского правительства в этих случаях опиралась на желание самого общества быть обманутым во имя психологического комфорта (чувства национального самоуважения)[1]. Тем самым массовое сознание отторгало правду, предпочитая ей пропагандистские мифы, которые соответствовали эмоциональным потребностям. Страх перед «чужим», лежащий в основе ксенофобии, таким образом, может появляться не только перед лицом опасности физического уничтожения, но и морального дискомфорта. Роль эмоций в принятии политических решений была изучена в оригинальном экспериментальном исследовании Дрю Уэстона «Политический мозг. Роль эмоций в решении судьбы нации», показавшем, что поведение избирателей во многом определяется не наличием рациональной информации, а «сменой компаса от националистической гордости и надежды к гневу и беспокойству»[2]. За последние несколько лет на эту тему вышли публикации Дж. Стейгер, А. Цветкович, А. Рейнолдс, С. Томпсона и П. Хоггета, М. Нассбаум, Н. Демертзиса, Д. Леммингса и А. Брукс, Н. Уолфа и др.[3] Современная историография показывает, что патриотизм является эмоциональным феноменом, основанным на взаимосвязанных положительных и отрицательных эмоциях.

В советской историографической традиции термин патриотизм применительно к событиям лета — осени 1914 г. заменялся на шовинизм, источником которого считалась как государственная пропаганда, так и мелкобуржуазное сознание обывателей. Современные историки чаще говорят о национализме как политических практиках. Оригинальную концепцию предложил американский историк Эрик Лор, который по аналогии с «военным коммунизмом» ввел в научный оборот термин «военный национализм». По мнению автора, инициированные властями кампании по выселению подданных враждебных государств, массовые депортации евреев из прифронтовой полосы, борьба с экономическим и культурным «немецким засильем» — все это складывалось в систему государственных чрезвычайных мероприятий как национально-имперских практик. «В центре этой кампании лежала идея использовать войну в качестве оправдания для таких радикальных мер, как депортации,

[1] *Tesich S.* A Government of Lies // The Nation. 1992. Vol. 254. January 6/13.

[2] *Weston D.* The Political Brain. The Role of Emotions in Deciding the Fate of the Nation. New York, 2008.

[3] Political Emotions / Ed. by J. Staiger, A. Cvetcovich, A. Reynolds. Routledge, 2010; *Thomson S., Hoggett P.* Politics and the Emotions: The Affective Turn in Contemporary Political Studies. Bloomsbury Academic, 2012; *Nussbaum N.* Political Emotions: Why Love Matters for Justice. Belknap Press, 2013; Emotions in Politics: The Affect Dimension in Political Tansion / Ed. by N. Demertzis. Palgrave Macmillan UK, 2013; Emotions and Social Change: Historical and Sociological Perspectives / Ed. by D. Lemmings and A. Brooks. Routledge, 2014; *Wolff N.* Not Quite Hope and Other Political Emotions in the Gilded Age. Oxford University Press, 2019.

национализация, массовое насилие с целью радикального перераспределения собственности и экономики от немцев, евреев и прочих инородцев к этническим русским и другим коренным группам империи»[1]. Следует заметить, что, хотя формально никакой единой программы «военного национализма» не было, отдельные заявления и действия военных и гражданских властей, общественных деятелей, а также массовые стихийные акции обывателей создают впечатление согласованности и системности мероприятий «верхов» и «низов». Однако при более детальном изучении проблемы здесь обнаруживается не столько организованное, сколько стихийное начало: заражение массового сознания вирусными раздражителями (как, например, страх перед тайными темными силами) обуславливает типичные реакции и стереотипное поведение его носителей. Не случайно, что у современников, наблюдавших за массовыми погромами, постоянно было ощущение, что толпой кто-то управляет. Публичные эмоции обладают способностью организации масс, пробуждают стадные чувства.

Начало войны естественным образом спровоцировало рост антинемецких настроений, отразившихся в слухах о германском шпионаже. Петербуржцы отмечали, что в первые дни войны «как-то странно сильно» стали говорить о шпионах. У всех на устах была фамилия графини Клейнмихель, «у которой, будто бы, был политический салон, где немцы почерпали много нужных сведений»[2]. Рассказывали, что ее арестовали, а также и бывшего градоначальника Д. В. Драчевского (вероятно, поводом к слухам послужила его отставка в июле 1914 г. из-за растраты денежных средств), которого якобы тут же расстреляли. Находились очевидцы расстрела[3].

Поэт и писатель М. Кузмин с некоторым пренебрежением встретил начало войны и игнорировал на страницах своего дневника военные и политические сюжеты, но после того как 14 августа 1914 г. его знакомый показал ему немецкие политические карикатуры, записал в дневнике: «Не шпион ли? Слухи самые плохие»[4]. Симптоматично, что Кузмин, страдавший от гомофобии окружающих (в том числе своего сына, который не мог смириться с гомосексуальностью отца), жаловавшийся, что за ним установлен «духовный шпионаж», сам поддался германофобии и шпиономании (впрочем, другой волновавшей его темой был «жидомасонский заговор»).

Толпы «патриотов» выражали свои верноподданнические чувства разгромом немецких торговых заведений. В провинции малообразованные обыватели

---

[1] *Lohr E.* War Nationalism // The Empire and Nationalism at War. Bloomington, Indiana, 2014. P. 97.

[2] *Спиридович А. И.* Великая Война и Февральская революция 1914–1917 гг. Кн. 1. Нью-Йорк, 1960. С. 17.

[3] Там же.

[4] *Кузмин М.* Дневник 1908–1915 / Предисл., подгот. текста и коммент. Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина. СПб., 2009. С. 470.

нередко принимали за немецкие магазины представительства датских фирм. Как уже отмечалось, 22 июля в Барнауле во время погрома пострадали датские заведения. Помимо датчан, часто доставалось русским голландцам, особенно в случае, если они не забывали своего языка, который был созвучен германскому. Проживавший в Екатеринославе К. Гейнрихс в письме от 17 января 1915 г. жаловался на несправедливое выселение из квартиры, ставшее следствием распространения бытовой германофобии, и рассказывал о своих корнях: «Нам пришлось внезапно выехать из дома русского купца, потому что он, из-за немецкой фамилии, считает нас пруссаками, воюющими теперь против России. Между тем, мы даже не немцы, и уж никак не пруссаки. Мы — фламандские голландцы, из Бельгии… приглашенные в 1700 г. польским королем Сигизмундом осушить болота близ Данцига и Мариенвердера… Когда эта провинция перешла к Пруссии, императрица Екатерина пригласила наших предков переехать в Россию. Теперь мы уже более 135 лет верные подданные России… Мой сын — русский офицер и, как русский патриот, прольет наравне с коренными русскими свою кровь за царя и отечество»[1].

Однако помимо естественных для войны страха и отвращения к врагу официальная пропаганда искусственно разжигала ненависть к немцам, фабрикуя свидетельства их зверств в отношении мирного населения. Одним из самых известных примеров стала «Черная книга германских зверств», выпущенная уже в 1914 г. под редакцией «доктора» М.В. Головинского — сотрудника Охранного отделения, которому многие историки приписывают авторство известной фальшивки — «Протоколов сионских мудрецов»[2]. В обращении к русскому читателю Головинский писал: «Действительность иногда бывает неожиданнее всякой фантазии и ужаснее всякого кошмара. Нам не нужно ни сильных выражений, ни красочных сравнений для того, чтобы изобразить весь ужас передаваемых нами фактов, которые всякого беспристрастного историка заставят записать современных немцев в „черную книгу“ варваров и дикарей. Бесконечный вопль страданий несчастной Туган-Барановской, у которой сдирают кожу с черепа, плач детей героя долга казначея Соколова, искалеченные жизни изнасилованных в Ченстохове, крики несчастных сошедших с ума во время ужасного обратного путешествия из Германии, все эти картины так живо стоят перед глазами каждого русского, что не нуждаются в особом художественном таланте для их изложения»[3]. Истории о зверствах немцев подхватывались периодической печатью и быстро распространялись по России.

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1003. Л. 39.

[2] Впрочем, есть и другие версии. Так, Л.В. Бибикова, считая недостаточно убедительными главные показания против Головинского С.Г. Сватикова, склонна усматривать истоки «Протоколов» в деятельности не «Охранки», а черносотенных публицистов начала XX в. См.: *Бибикова Л.В.* С.Г. Сватиков и происхождение «Протоколов сионских мудрецов» // Российская история. 2018. № 5. С. 141–157.

[3] Черная книга германских зверств / Под. ред. д-ра М.В. Головинского. СПб., 1914. С. 3.

Заголовки «Немецкие зверства» пестрели в газетах и журналах, появлялись на эту тему и постоянные рубрики.

В мае 1915 г. в газете «Киев» появилась статья на «беспроигрышный» для пропаганды сюжет, как немцы-звери насиловали беззащитную русскую медсестру: «В главном управлении Красного креста получена телеграмма от особоуполномоченного Красного креста… Немцы отправили захваченную сестру в тыл и около двух недель держали в окопах. На ночь ее раздевали до-нага и привязывали за ногу к колу. Несчастную изнасиловало более ста человек. Когда упавшую в беспамятстве сестру милосердия оставили на произвол судьбы, местные крестьяне спрятали ее и привезли в расположение наших войск. В настоящее время у несчастной обнаружены признаки острого помешательства, воспаление брюшины и венерические болезни. Главное управление постановило затребовать все подробности этого ужасного факта, произвести расследование и принять меры к выражению самого резкого протеста против выходящих из всяких границ диких зверств немцев»[1]. На статью обратили внимание в Департаменте полиции, посчитав, что она может иметь негативные последствия для внутренней жизни[2].

Для выяснения достоверности всех этих сведений в мае 1915 г. начала работу Чрезвычайная следственная комиссия, которая за все время работы разобрала около 20 000 дел. Однако в качестве этого разбора исследователи сомневаются, указывая, что за одно заседание члены ЧСК умудрялись рассмотреть 100–300 случаев[3]. Основным источником информации для комиссии стали рассказы раненых солдат, беженцев, военнопленных, сведения, полученные из иностранной печати. А. Б. Асташов отмечает, что убедительных документов, подтверждающих зверства немцев по отношению к мирному населению, найдено не было[4]. И. Зырянов рассказал, как готовились соответствующие газетные разоблачения на основе показаний раненых воинов. Лазареты прифронтовой полосы ежедневно осаждались журналистами, которые за те или иные подарки выпытывали у раненых нужную информацию. Последние, понимая, чего от них ждут, не скупились на «истории»: «Солдаты добродушно курят папиросы, уплетают за обе щеки шоколадные плитки и в знак признательности врут корреспондентам в три короба о своих подвигах, о немецких зверствах»[5]. Однако не все свидетели шли на сознательное утрирование или искажение фактов. Многие беженцы, впервые попавшие под артиллерийский обстрел и во время паники потерявшие ориентацию в пространстве, искренне

---

1 Киев. 1915. 18 мая.

2 ГА РФ. ДП-ОО. Ф. 102. Оп. 245. Д. 33. Т. 3. Л. 156.

3 *Асташов А. Б.* Нарушение законов и обычаев войны на русском фронте Первой мировой (по материалам российской Чрезвычайной следственной комиссии) // Новая и новейшая история. 2014. № 2. С. 40.

4 Там же.

5 *Арамилев В.* В дыму войны… С. 137.

верили в то, что немцы стреляют по мирным жителям, а не по расположенной поблизости воинской части.

Одна из самых резонансных историй была связана с капитуляцией города Калиш 20 июля 1914 г. Пропаганда описывала, как немцы из мортир обстреливали мирный город и расстреливали из пулеметов женщин и детей. В реальности ситуация была несколько иной, хотя жертв среди мирного населения было много. После того как немцы без боя вошли в город и взяли управление в свои руки, среди солдат началась попойка, во время которой произошла стрельба. В начавшейся панике начали обстреливать из пулемета окна домов, так как показалось, что это мирные граждане открыли стрельбу. Чтобы прекратить пьянство и разложение солдат, на следующий день было принято решение выйти из города, но на этом беды не прекратились. Ревизор Калишско-Петроковского акцизного управления З.И. Оппман, чьи показания использовались в качестве обвинения немцев в зверствах, сообщал, что 25 июля паника среди немецких солдат повторилась: «От стрельбы из пушек, винтовок и пулеметов повреждены были многие телефонные столбы, и телефонные провода в большом количестве застилали улицы. Лошадь одного молодого офицера так запуталась в проволоку, что упала на передние ноги; офицер, не отдавая себе отчета о происшедшем, выстрелил из револьвера. Выстрел послужил поводом к всеобщей панике; опять началось обстреливание окон домов, некоторых открытых магазинов и расстрел людей, случайно проходивших по улицам. Стреляли из пулеметов по всему городу»[1].

В ноябре 1915 г. появился очередной «памфлет», обличающий немецкие зверства, авторства известной «исследовательницы» мирового масонского заговора (иудейско-английского происхождения) графини С.Д. Толь (урожденной Толстой) «Причины осатанения немцев: историческая справка». Теперь к англичанам и иудеям присоединялись немцы, а истоки немецкого масонства Толь обнаруживала в Реформации. Писательница шла дальше Головинского и перечисляла самые жуткие истории о немцах, ходившие в обществе: как расстреляли семилетнего бельгийского мальчика за то, что он пригрозил немецким солдатам деревянным игрушечным ружьем, как у бельгийских мальчиков отрезали правую руку, чтобы они, когда вырастут, не смогли держать ружья, как на глазах матерей подбрасывали на штыках грудных младенцев, как насиловали маленьких девочек и затем отрезали им обе руки и пр.[2] По мнению Толь, растлевающее влияние масонства привело к развитию у немцев «сатанинской гордыни», а самого Вильгельма II сделало параноиком и неврастеником. Как отмечают исследователи, дегуманизация и демонизация врага являются важной составляющей патриотической пропаганды, снимающей с солдата моральную

[1] Русская армия в Великой войне: Документы о немецких зверствах в 1914–1918 гг. М., 1942. С. 13.

[2] Голос Руси. 1915. 23 ноября.

ответственность за убийство неприятеля, однако побочные эффекты этой стратегии давали о себе знать в психологическом климате тыла, способствуя невротизации общества.

Кроме описания немецких зверств, на театре военных действий доставалось и «внутренним немцам». «Московский листок» писал, что в торговом доме «Мандль и К» заведующий Отто Блюме призывает своих русских служащих свистом, как собак[1]. Периодическая печать публиковала абсурдные слухи, часто основанные на банальном невежестве, однако в новых психологических условиях сознание городских обывателей как будто блокировало навыки критического восприятия информации. Так, в сентябре 1914 г. «Петроградский курьер», «Русский инвалид», «Русское знамя», а также некоторые провинциальные газеты опубликовали «историю» отъезда из России некой гувернантки Эльзы Шютгоф: «В семье одного известного петроградского профессора в течение двух лет служила бонной немка Эльза Шютгоф. Помимо пылкой любви к фатерлянду и кайзеру, Шютгоф старательно собирала… свинцовую бумагу из-под чая, шоколада, мыла и т. д. Семья профессора сначала недоумевала над этим, но потом привыкла. Когда же немку спрашивали, зачем ей нужны свинцовые бумажки, то последняя отделывалась молчанием. Так прошло два года. В июле была объявлена война с Германией и Австрией. Шютгоф тотчас же заявила профессору, что она едет на родину. В момент отъезда в квартире находилась вся семья профессора. Уложив все вещи на извозчика и холодно простившись со всеми, Шютгоф вышла из квартиры. Не прошло и минуты, немка снова возвратилась. Оказывается, она забыла какой-то пакет. От излишней торопливости пакет выскользнул из ее рук, и по полу разлетелись комочки свинцовой бумаги. Тут-то перед недоумевающей семьей профессора и раскрылась тайна коллекционирования бонной свинцовой бумаги. Собирая рассыпавшийся свинец, разозленная этим немка разразилась следующими словами: „Вы еще не догадались, зачем я собирала у вас в течение двух лет свинцовую бумагу? Так знайте. Когда я жила в деревне, близ Штеттина, наш пастор, во время проповеди, говорил, чтобы женщины Германии, в особенности же те, которым приходится жить в чужой стране, с особым рвением собирали кажущуюся негодной в хозяйстве свинцовую бумагу из-под чая, шоколада, мыла и т. п. Присылайте собранный свинец мне, говорил он, а я буду передавать его на заводы для изготовления пуль. Помните же, дети, говорил он, какую пользу вы можете оказать своей родине“… Не успели слушатели прийти в себя, как торжествующая немка хлопнула дверью, успев еще крикнуть: „Мною собрано и выслано в Германию десять таких мешков, по пяти фунтов каждый!“»[2] Весьма показательно в этой истории почти алхимическое превращение пищевой

[1] Московский листок. 1914. 9 августа.

[2] Русский инвалид. 1914. № 208. 21 сентября; Минская газета-копейка. 1914. 29 сентября.

алюминиевой фольги в свинцовую бумагу. Впрочем, следует отметить, что в условиях невротизации общества в головы травмированных войной обывателей могли приходить куда более безумные идеи.

Страх перед «внутренним немцем», врагом порождал бытовую подозрительность и агрессию, поэтому неудивительно, что патриотические акции часто оборачивались хулиганскими выходками. 10 октября 1914 г. патриотическое празднование, посвященное победам русской армии, перетекло в Москве в первый погром, в котором пострадали немецкие магазины и их служащие. Особенно долго продолжался разгром магазина «Мандль», что привело к прекращению трамвайного движения[1]. Петроградский городской голова И.И. Толстой записал по поводу развившейся в прессе германофобии: «Вообще наша цензура совершено нелепая, и правительство не осознает, что, поощряя травлю немцев известного рода газетами, оно играет в опасную игру чисто демагогического свойства, забывая, что палка о двух концах»[2]. Замечание о палке о двух концах оказалось пророческим, и начатая война с выдуманным «внутренним врагом» в конечном счете обернулась против власти.

В.Л. Дьячков и Л.Г. Протасов отметили, что ненависть к «внутреннему врагу» оказалась сильнее, чем к внешнему. Исследователи объяснили это тем, что образ врага в массовом сознании складывался на опыте и примере прошлых войн с представителями более далеких в культурном отношении народов от русских — турок и японцев, «понять же, за что надо заставить себя убивать немца, мадьяра, чеха, русина, поляка, было труднее»[3]. В то же время ненависть к внутреннему врагу подпитывалась негативно осмысленным опытом прошлой жизни, пережитыми обидами. Ранее уже обращалось внимание на то, что крестьянские доносы в адрес немцев-колонистов, якобы занимавшихся шпионской деятельностью, во многом объяснялись страхом конкуренции с технически более подкованными хозяйствами. Но помимо рационального страха присутствовали и иррациональные фобии, усиленные психологическими особенностями времени.

В Прибалтийском крае германофобия подпитывалась застарелыми национально-бытовыми конфликтами немцев, с одной стороны, и латышей с эстонцами, с другой. Первых обвиняли в том, что они игнорировали патриотические манифестации, избегали поставок лошадей в армию. Товарищ министра внутренних дел и командир отдельного корпуса жандармов В.Ф. Джунковский специально отправился в Прибалтийский край, чтобы разобраться в ходивших о местных немцах слухах, и отметил их сильную преувеличенность. Так, было

---

[1] Московский листок. 1914. 11 октября.

[2] *Толстой И.И.* Дневник… С. 581.

[3] *Дьячков В.Л., Протасов Л.Г.* Великая война и общественное сознание: превратности индокринации и восприятия // Россия и Первая мировая война. Материалы международного научного коллоквиума. СПб., 1999. С. 64.

подтверждено лишь два случая уклонения от военно-конской повинности, да и то со стороны латышей. «Поведение местных немцев,— писал Джунковский,— носило в общем сдержанный, холодный характер, не выходя за пределы, диктуемые благоразумием и личными интересами»[1]. Департаменту полиции приходилось расследовать многочисленные доносы местных жителей о шпионской деятельности немцев, в том числе с аэропланов, а также о якобы имевших место планах по подрыву стратегических объектов. Товарищ министра внутренних дел, изучив ситуацию на месте, так их прокомментировал: «Обращаюсь к различным агентурным сведениям, полученным департаментом полиции по Лифляндской губернии и содержавшим в себе указания на изменнические действия местных немцев, как, например, на покушение помещика Липгардта с сыном взорвать мост через реку Эмбах, на спуск немецких аэропланов в Коховском лесу барона Норинга, на обнаружение у одного из помещиков склада бомб и динамита; все эти слухи возникли на почве чрезвычайной нервности и подозрительности к немцам, являясь иногда отголоском имевших в действительности место, но вполне легальных событий. Так, например, после разрешенного губернатором съезда лесоводов в Юрьевском уезде распространился слух, что в замке Ярсевель происходили тайные собрания немцев. Покрытие лютеранской церкви оцинкованным железом или окраску в белый цвет столбов по дороге рассматривали как желание обозначить путь для полета аэропланов и т. п.»[2] Зачастую именно лежащий в основе слуха сильно искаженный и неверно интерпретированный факт обеспечивал слуху массовую распространенность.

Необходимо учитывать и «технологический» аспект шпиономании как политической стратегии. Как отмечают исследователи, борьба со шпионами в Прибалтике была инициирована весной 1915 г. главнокомандующим великим князем Николаем Николаевичем[3]. После дела Мясоедова, с помощью которого удалось подорвать авторитет противника великого князя министра Сухомлинова, главнокомандующий решил собрать компромат на великого князя Кирилла Владимировича, что поручил генерал-майору М. Д. Бонч-Бруевичу. К делу подключилась пресса. Журналист А. Селитренников (псевдоним Ренников) опубликовал брошюру «В стране чудес. Правда о Прибалтийских немцах», в которой рисовал картины массовой измены прибалтийских баронов, объединявшихся вокруг национальных обществ и лютеранских приходов[4]. В основу «расследования» были положены собранные Селитренниковым слухи (преимущественно ходившие среди эстонского крестьянства и русских),

---

[1] *Джунковский В. Ф.* Воспоминания. Т. 2. С. 408.

[2] Там же. С. 414–415.

[3] *Хутариев-Гарнишевский В. В.* Призраки измены. Русские спецслужбы на Балтике в воспоминаниях подполковника В. В. Владимирова, 1910–1917 гг.: Сборник воспоминаний и документов. М., 2019. С. 19.

[4] *Ренников А.* В стране чудес. Правда о Прибалтийских немцах. Пг., 1915.

а также рапорты и письма нервнобольного ротмистра пограничной стражи И.И. Рябцева. После отставки великого князя дела о баронах-шпионах прекратились, однако следы германофобии в отношении прибалтийских немцев продолжали жить в массовом сознании. Кроме того, участники следствия оказались под сильным впечатлением от собранной хотя и односторонней, но весьма эмоционально-окрашенной и потому хорошо запоминающейся информации. У некоторых из них развивалась профессиональная аберрация и формировались этнические стереотипы. Так, например, жандармский подполковник В.В. Владимиров до конца своих дней сохранил уверенность в том, что прибалтийские бароны и графы — немецкие шпионы и что «тысячи агентов были рассеяны повсюду в обществе, в придворных и дипломатических кругах, торговых фирмах, на фабриках и заводах, в банках, в войсках и, наконец, в сельских местностях»[1].

Российские немцы в городах ощущали повышенное к себе внимание населения. Распространение шпиономании приводило к тому, что в каждом немце массовое сознание готово было увидеть шпиона, а если эти немцы еще и собирались группами на квартирах, то больное воображение современников рисовало картины всеобщего антироссийского заговора. Свидетель тех дней И. Зырянов выражал сочувствие этническим немцам столицы, обращая внимание, что германофобия захватила представителей разных слоев: «Немцев ругают и профессора, и уличные проститутки, и нотариусы, и кухарки, и лакеи, и „писатели“, и водовозы. Петербургские немцы чувствуют себя, вероятно, так же, как здоровый человек чувствует себя среди прокаженных»[2]. Примечательно, что в условиях всеобщего возбуждения газетным заметкам о «немецких зверствах» верили многие, включая и русских немцев. Последним казалось естественным, что в условиях распространившегося массового психоза их сородичи вмиг сбросили с себя все культурные одежды и обратились к архаичным инстинктам. Показательно отношение к теме зверств молодого военного врача, этнического немца Фридриха Краузе. 23 августа 1914 г. в письме своей невесте он осуждал произошедшие в обществе психологические изменения на почве отношения к немцам и призывал не поддаваться этим явлениям: «Люди стали говорить совсем другим языком. То, что казалось нерушимым, разлетается в два дня. Все культурные устои — насмарку, повсюду одичание и озверение. Где же наша хваленая европейская культура? Какое взаимное ожесточение! Какая ненависть друг к другу, к людям, которые тебе никакого зла не сделали, которые случайно принадлежат к другой национальности! Мы, Шурочка, с тобой не поддадимся! Мы найдем в себе достаточно твердые устои, верно?!»[3] Однако

[1] *Хутариев-Гарнишевский В.В.* Призраки измены. Русские спецслужбы на Балтике в воспоминаниях подполковника В.В. Владимирова… С. 97.

[2] *Арамилев В.В.* В дыму войны… С. 61.

[3] *Краузе Ф.* Письма с Первой мировой (1914–1917). СПб., 2017. С. 43.

под воздействием печатной пропаганды спустя три дня Краузе уже готов был поверить в жестокость немцев (толпы) и писал с возмущением будущей жене: «Читала официальные сообщения о жестокостях германского населения по отношению к русским? Целый ряд проверенных фактов! Как гнусна везде бывает толпа! Плевки в лицо, удары палками беззащитных людей! Какая гнусность!»[1] Через некоторое время вследствие массовой демонизации немцев у Краузе стали закрадываться подозрения относительно правдивости пропагандистской машины, и он начал интерпретировать эти сообщения в психологическом русле, признавая преступления отдельных лиц, но отрицая проявления жестокости как национального характера. Противник войны и космополит В. А. Городцов также поддавался пропаганде, возмущаясь на страницах дневника массовым изнасилованием немцами несовершеннолетних, якобы возведенное ими в правило, и призывая всех немцев, включая русскоподданных, сослать в Сибирь[2]. При этом важно отметить, что пропаганда о немецких зверствах в большей степени влияла на тыловое население, запугивая его, нежели на солдат, которые на личном опыте сталкивались со «зверствами» обеих воюющих сторон. Один из раненых, читая очередную статью в газете, так ее прокомментировал: «Ну, это и у нас бывает, когда наши к ним в плен попадутся, они им говорят, что мы вас за то, что ваши казаки наших мучают, добивают, — это есть и у них, и у нас отдельные такие»[3].

Летом 1915 г. германофобия распространялась еще большими темпами. Это было связано с начавшимся отступлением русской армии, что опять-таки объяснялось предательством и шпионажем «внутренних врагов». Жильцы домов подглядывали за своими соседями с немецкими фамилиями и вели учет: когда, кто и в каком часу к ним приходил, после чего нередко писали доносы военному начальству или в полицию. Так, в июне 1915 г. С. Л. Облеухова, член Главной палаты Русского народного союза Михаила Архангела (РНСМА), а также активная деятельница «Союза русских женщин в помощь самобытным кустарным промыслам», не определившись с тем, куда донести на организованное по соседству с ней «гнездо» немецких шпионов, жаловалась лидеру РНСМА В. М. Пуришкевичу: «Сейчас сижу и думаю: кому бы сказать о сборищах немцев, которые происходят рядом с нами в квартире д-ра Шредера, русского подданного? Глубоко убеждена, что тут гнездо шпионов. Сходятся, запираются и говорят по-немецки до глубокой ночи. Ездят какие-то барышни, военные и пр.»[4] В другом письме к тому же Пуришкевичу Облеухова оправдывала ужасающий немецкий погром, прошедший в мае 1915 г. в Москве и, помимо имущества немцев, унесший жизни людей, попавшихся под руки взбунтовавшейся

[1] Там же. С. 47.
[2] *Городцов В. А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 75.
[3] *Краузе Ф.* Письма с Первой мировой… С. 79–80.
[4] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1006. Л. 71.

толпе: «…Зачем народ доводят до того, что он сам должен чинить суд? До сих пор во главе крупнейших предприятий стоят немцы. Это — издевательство над русским народом»[1]. Другой обыватель из Екатеринодара за подписью «сосед» писал в августе 1915 г. донос директору Департамента полиции на живущего рядом с ним австрийца Франца Кауда, который на своей квартире устраивал «ночные оргии с употреблением немецкого языка»[2]. Шпиономания приобретала форму эпидемии.

Помимо шпионажа в пользу Германии, русских немцев обвиняли в экономическом засилье. Разговоры об этом стали актуальны еще в 1912 г., когда министр внутренних дел А. А. Макаров 14 декабря передал в Государственную думу так и не реализованный законопроект «О мерах к ограждению русского землевладения в губерниях Юго-Западного края и Бессарабской», направленный против немецких колонистов. Его преемник Н. А. Маклаков 10 октября 1914 г. отправил в Совет министров докладную записку «О мерах к сокращению немецкого землевладения и землепользования», в которой утверждал, что увеличение немецкого землевладения способствует подготовке германского вторжения в Россию. В российских городах стали появляться всевозможные патриотические общества, ставившие себе задачу «освобождения русской духовной и общественной жизни, промышленности и торговли от всех видов немецкого засилья»[3]. Ряд периодических изданий публиковали статьи откровенно погромного характера, приводя адреса и списки фирм, якобы принадлежащих подданным Германии и Австрии. В итоге в Государственной думе была создана комиссия «О борьбе с немецким засильем во всех областях русской жизни». Процветанию данной кампании способствовало и то, что сам Николай II вынашивал идею наделения землей за счет немецких колонистов крестьян-фронтовиков[4]. Эти же мысли встречались и в частных письмах рядовых подданных империи. В результате замораживания счетов ряда предприятий, в которых был обнаружен немецкий капитал, экономике России был нанесен удар, усугубивший трудности в снабжении городов продовольствием, в промышленном производстве.

Рука об руку с борьбой против засилья экономического шла борьба против засилья культурного. Важным знаком здесь стало решение императора о переименовании Санкт-Петербурга в Петроград 18 августа 1914 г. Впоследствии волна переименований населенных пунктов прокатилась по различным губерниям России, особенно в тех регионах, где жили немецкие колонисты. 15 октября 1914 г. министр внутренних дел Н. А. Маклаков направил губернаторам

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1013. Л. 5.

[2] ГА РФ. Ф. 102. ДП-ОО. Оп. 245. Д. 33. Т. 4. Л. 13—13 об.

[3] *Соболев И. Г.* Борьба с «немецким засильем» в России в годы Первой мировой войны. СПб., 2004. С. 30.

[4] Там же. С. 129.

циркуляр с предписанием выявить подобные селения и подготовить предложения по их переименованию. Наибольший размах этот процесс приобрел в Томской губернии, где в годы массового переселения крестьян возникло немало немецких поселков, которым давались имена, повторявшие названия немецких колоний Европейской России. Так, в Орловской волости было выявлено 23, а в Новоромановской волости — 11 поселков с немецкими названиями. По предложению заведующего водворением переселенцев в 1-м Кулундинском подрайоне им были даны новые топонимы, которые являлись либо русским переводом немецкого, либо соответствовали названию переселенческого участка. По мнению чиновника, переименование селений было необходимо «сверх прочих соображений, также в видах удобства русского населения, ибо немецкие названия трудно запоминаются»[1]. Некоторые публичные заведения переименовывались с целью недопущения против них бесчинств толпы. Например, уже упоминавшийся столичный ресторан «Вена», которому «досталось» во время петербургского погрома, был переименован в «Белград».

Хоть правая общественность и встречала с восторгом подобные инициативы, полностью соответствовавшие моменту, даже относительно Петербурга — Петрограда абсолютного единства мнений не сложилось. В «Петроградском листке» было помещено стихотворение Сергея Копыткина, посвященное новому имени города:

Петроград!
С каким восторгом это слово
Русь приняла из царских рук!
И сброшен с детища Петрова
Немецкий выцветший сюртук…

Долой германскую отраву!
Долой германские слова!
Отныне Русскую Державу
Венчает Русская глава![2]

В ряде изданий, однако, обращали внимание на то, что город был наречен Петербургом своим основателем русским царем Петром Алексеевичем. Общество ревнителей истории передало в комиссию по переименованиям ходатайство о том, чтобы старое название вернули хотя бы Петербургской стороне, где жил сам Петр и называл это место «Питербурх». Также Общество ревнителей истории выступило против планов переименования Кронштадта в Венцеград, аргументируя это тем, что название «Кронштадт» не немецкое, а голландское[3].

---

[1] *Вибе П.П.* Немецкие и менонитские колонии Западной Сибири в годы Первой мировой войны // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. 2003. № 10. С. 200.

[2] Петроградский листок. 1914. 21 августа.

[3] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1915. 29 января.

Зинаида Гиппиус, в отличие от Копыткина, резко отрицательно отреагировала на смену названия столицы, пригрозив властям в декабре 1914 г. в стихотворении «Петроград», что это приведет к революции:

Кто посягнул на детище Петрово?
Кто совершенное деянье рук
Смел оскорбить, отняв хотя бы слово,
Смел изменить хотя б единый звук?

Не мы, не мы… Растерянная челядь,
Что, властвуя, сама боится нас!
Все мечутся да чьи-то ризы делят,
И всё дрожат за свой последний час.

Изменникам измены не позорны.
Придет отмщению своя пора…
Но стыдно тем, кто, весело-покорны,
С предателями предали Петра.

Чему бездарное в вас сердце радо?
Славянщине убогой? Иль тому,
Что к «Петрограду» рифм гулящих стадо
Крикливо льнет, как будто к своему?

Но близок день — и возгремят перуны…
На помощь, Медный Вождь, скорей, скорей
Восстанет он, все тот же, бледный, юный,
Все тот же — в ризе девственных ночей,

Во влажном визге ветреных раздолий
И в белоперистости вешних пург, —
Созданье революционной воли —
Прекрасно-страшный Петербург!

В. Ф. Джунковский встретил известие о переименовании столицы «без большого сочувствия», отметив, что «оно не произвело вообще того впечатления, на которое рассчитывали те, по представлению коих это повеление последовало»[1]. Некоторой пикантности добавлял тот факт, что решение о переименовании столицы появилось тогда, когда стало известно о гибели 2-й армии генерала А. В. Самсонова. Современники интерпретировали переименование Петербурга в качестве мести немцам: «Зловещие слухи подтвердились, и сегодняшнее правительственное сообщение гласит о серьезных неудачах. Тем бестактнее высочайшее повеление, опубликованное сегодня, о переименовании Петербурга в Петроград. Не говоря о том, что это совершенно бессмысленное распоряжение, прежде всего, омрачает память о великом преобразователе

[1] *Джунковский В. Ф.* Воспоминания. Т. 2. С. 405.

России, но обнародование этого переименования „в отместку немцам“ именно сегодня, в день нашего поражения, должно быть признано крайне неуместным. Кто подбил Государя на этот шаг — неизвестно. Но весь город глубоко возмущен и преисполнен негодования на эту бестактную выходку», — записал в дневнике Н. Н. Врангель[1].

Среди широких слоев населения массовые переименования населенных пунктов не вызывали симпатий. Показательны слова, произнесенные 19 сентября 1914 г. мещанином г. Стародуба Черниговской губернии Яковом Клименко, за которые он был обвинен по статье 103 Уголовного уложения об оскорблении императора: «Вот Вильгельм победит, потому что у него сыновья в армии и он сам в армии со своими солдатами, а где нашему дураку царю победить. Он сидит в Царском селе и переделывает немецкие города в русские»[2].

В связи с переименованием столицы не обходилось без курьезов. Так, на одно судебное разбирательство не явился ответчик Зейдлер, прислав мировому судье уведомление, что он переехал из Петербурга в Петроград и потому просит направить повестку по новому адресу. Правда, хитрость не удалась, и судья разобрал дело в его отсутствие[3]. Вслед за переименованием Петербурга в печати начал обсуждаться вопрос о внесении изменений в российский герб, так как в XVIII в. якобы было сделано в его рисунке отступление от византийской традиции по инициативе чиновника департамента герольдии немецкого барона Кюне. Среди геральдистов начались дискуссии, в результате которых была доказана абсурдность предположения об изменении герба под немецким влиянием[4].

Однако патриотическая пропаганда не ограничилась наступлением на топонимику. Рядом публикаций был объявлен крестовый поход на немецкую культуру: в печати начали появляться статьи, в которых проповедовалась идея о крайне низком уровне современного германского искусства. В статье, опубликованной в «Биржевых ведомостях» за подписями таких известных деятелей, как А. В. Маковский, Ю. Ю. Клевер, Н. К. Рерих, проводилось сравнение немецкого искусства с английским, французским и русским в пользу стран — союзниц по Антанте[5]. Мариинский и Большой театры срочно меняли свой репертуар, из которого вычеркивались произведения Вагнера, Штрауса. Под запретом оказалась практически вся классическая музыка. В императорских театрах запрещено было исполнять даже английский гимн «God save the King», вместо которого нужно было играть народную песню «Rule Britania», так как английский гимн совпадал по мелодии с германским «Heil dir im Siegerkranz»[6]. В императорском

---

[1] *Врангель Н. Н.* Дни скорби. Дневник 1914–1915 годов. СПб., 2001. С. 44.

[2] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 142.

[3] Петроградский листок. 1914. 23 августа.

[4] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1914. 11–16 декабря.

[5] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1914. 4 сентября.

[6] В «Биржевых ведомостях» (Веч. вып. 1914. 15 сентября) ошибочно был указан «Wacht am Rhein».

Александринском театре из репертуара были исключены пьеса В. Майера-Фестера «Старый Гейдельберг», пьесы Ф. Шиллера «Коварство и Любовь» и «Мария Стюарт». В «Биржевых ведомостях» появилась ироничная статья на злобу дня, повествовавшая о неудачах композитора И. Стравинского: сообщалось, что минувшим летом он начал писать балет на сюжет сказок братьев Гримм, но с началом войны вынужден был отказаться от немецких сказок и перешел на арабские сказки из «Тысяча и одной ночи», однако после начала войны с турками ему пришлось бросить и эту затею[1].

Удивительно, что служители муз часто первыми демонстрировали обывателям негативный пример того, как нужно относиться к немецкому вкладу в мировое культурное наследие. Так, порадовала квазипатриотов известная балерина Т.П. Карсавина, публично отказавшаяся от музыкальных сочинений, написанных специально для нее Рихардом Штраусом[2].

Следует отметить, что поведение немецких патриотов мало чем отличалось от поведения их русских «коллег», и схожая русофобская борьба велась и в Германии. В частности, Артур Шницлер обругал русскую и английскую литературу[3]. Летом в Берлине прошло общее заседание немецких деятелей искусств, посвященное бойкоту искусства воюющих с Германией держав. Однако директор королевского оперного театра Р. Штраус занял иную позицию. От имени музыкантов он заявил: «воюют государства, а наука и искусство должны стоять вне политики, вне войны, и нам, представителям искусства, не следует становиться посмешищем для всего мира»[4].

Русских «патриотов» идея стать посмешищем для всего мира не смущала. Современники отмечали особенные старания женщин-патриоток, которые помимо высмеивания германской культуры стали одеваться в русские народные костюмы, щеголяли в нарядах боярынь, как, например, графиня Дитрих из «Союза русских женщин». Подобные гендерные особенности не укрылись от глаз газетчиков. «Московский листок» писал, что когда специально созданная комиссия в подтверждение слухов начала собирать материал о немецких зверствах, в ней отказались допрашивать русских женщин, сославшись на их чрезмерную эмоциональность и привычку все преувеличивать[5].

Чрезмерную эмоциональность русских женщин по отношению к Германии можно рассмотреть на примере княгини Е.М. Шаховской. В своем письме С.Л. Шаховскому от 18 августа 1914 г. она писала: «Пока он (тевтон. — *В.А.*) будет в Европе, снова и снова будет возникать война за войной. Нельзя ли

---

[1] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1914. 21 ноября.

[2] *Стайтс Р.* Женское освободительное движение в России: феминизм, нигилизм и большевизм, 1860–1930. М., 2004. С. 381–382.

[3] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1914. 23 сентября.

[4] Петроградский листок. 1914. 6 сентября.

[5] Московский листок. 1914. 23 августа.

отправить всех их в Африку. Пусть они цивилизуют там негритян, если только германская цивилизация окажется выше негритянской, в чем позволительно усомниться»[1]. В 1914 г. имя Шаховской как женщины-летчицы, добившейся высочайшего соизволения на отправку добровольцем на войну, становится широко известно в русском обществе. Примечательно, что диплом летчицы княгиня получила в немецкой летной школе; была известна как первая в мире женщина, исполнившая петлю Нестерова. В декабре 1914 г. она была определена в Ковенский авиационный отряд, где получила звание прапорщика. Однако вскоре по злой иронии судьбы Шаховская была вычеркнута из списков русских патриотов: ее обвинили в шпионаже в пользу Германии и приговорили к расстрелу. Только личным распоряжением Николая II высшую меру заменили пожизненным заключением в монастыре, из которого опальная княгиня была освобождена большевиками, после чего поступила на службу в ЧК следователем. Увлекавшаяся наркотиками, погибла в 1920 г. во время пьяной перестрелки с сослуживцами.

Однако помимо культурной борьбы с немецким засильем шла тыловая война и с «засильем» физическим: уже с первых дней объявления войны началась высылка из российских столиц и западных губерний всех германских и австрийских подданных, невзирая на их возраст, род занятий в России, семейное положение. В частности, многие из них к тому времени были женаты на подданных Российской империи, проживали в России в течение продолжительного времени, владея фирмами и предприятиями, которые на протяжении нескольких поколений принадлежали их предкам. Их дети отчислялись из частных и казенных учебных заведений, исключение делалось лишь для детей лиц, подавших прошение о получении русского подданства. В высочайшем указе от 28 июля 1914 г. повелевалось: «Задержать подданных неприятельских государств, как состоящих на действительной военной службе, так и подлежащих призыву, в качестве военнопленных, и предоставить подлежащим властям высылать подданных означенных государств, как из пределов России, так и из пределов отдельных ее местностей, а равно подвергать их задержанию и водворению в другие губернии и области»[2]. Хотя в указе шла речь о призывном населении от 17 до 45 лет, военные власти, губернаторы игнорировали данную оговорку и из Санкт-Петербурга и других городов России шло массовое выселение всех без исключения подданных воюющих с Россией держав[3]. Первые их партии отправлялись в Вологду, затем, когда город переполнился, — в Сибирь. Переселение происходило этапным порядком и всем переселенцам определялся арестантский паек[4]. Не все вынужденные переселенцы

---

[1] ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 994. Л. 1304.
[2] Особые журналы Совета министров Российской империи. 1914. М., 2006. С. 236.
[3] Там же.
[4] Там же. С. 427.

оказались психологически готовыми к такому повороту судьбы: газеты сообщали о череде самоубийств германских подданных как во время переселения, когда на перевалочных станциях вешались в уборных, так и непосредственно перед депортацией[1]. В 1915 г. главноначальствующему над Москвой Ф.Ф. Юсупову пришла идея воссоздать в городе «немецкие слободы» — резервации, в результате чего он издал распоряжение о переселении остававшихся в городе иностранных подданных на Яузу, чем вызвал неудовольствие министра внутренних дел, посчитавшего это распоряжение превышением должностных полномочий[2]. Также Юсупов в июле 1915 г. выпрашивал разрешение вооружить московскую полицию пулеметами, дабы пресекать в будущем массовые погромы, что вызвало неудовольствие членов Совета министров, назвавших его «сатрапом с фантазиями»[3]. Впоследствии слухи о вооружении полиции пулеметами спровоцировали появление слухов о пулеметной стрельбе городовых с крыш в февральские дни 1917 г.

Процесс переселения сопровождался унижениями и оскорблениями со стороны военных чинов. Способствовала такому отношению к переселенцам позиция августейшего верховного главнокомандующего, дяди российского императора великого князя Николая Николаевича, призывавшего по архаичному принципу талиона («око за око, зуб за зуб») мстить немцам в России за зверства германской армии. Так, в телеграмме на имя председателя Совета министров от 3 октября 1914 г. великий князь писал: «Невероятные ужасающие зверства, чинимые германскими и отчасти австрийскими войсками, все более и более подтверждаются. Зверства германцев относятся не только к нашим раненым, но и к мирным жителям. Не щадят даже стариков, женщин и детей. Грабеж повальный. Ввиду этого считаю необходимым просить Вас о безотлагательном принятии самых решительных и суровейших мер относительно подданных воюющих с нами государств, без различия их общественного положения, на всем пространстве, приравнивая их к военнопленным. Непринятие подобных мер может вызвать справедливое чувство негодования»[4]. При обсуждении телеграммы в Совете министров против предложения великого князя приравнять к военнопленным всех иностранных подданных, т.е. не только мужчин призывного возраста, но и женщин, стариков и детей, выступил министр иностранных дел С.Д. Сазонов, который предупредил о возможном симметричном ответе Германии в отношении русских подданных, оставшихся за границей, и предложил оставить принимаемые по отношению к немцам меры в экономическом русле. В итоге министры, отметив, что ввиду

---

[1] Петербургский листок. 1914. 30 июля.

[2] *Джунковский В.Ф.* Воспоминания. Т. 2. С. 556–557.

[3] Совет министров Российской империи в годы Первой мировой войны. Бумаги А.Н. Яхонтова. СПб., 1999. С. 207.

[4] Особые журналы… 1914. М., 2006. С. 427.

начавшейся в обществе стихийной борьбы с немецким засильем для подданных воюющих с Россией держав и так создано тяжелое положение в правовом, нравственном и экономическом отношении, оставили телеграмму верховного главнокомандующего без последствий[1].

Но даже тем, кому не грозило в ближайшее время выселение, приходилось трудно. Газета «Петроградский листок» сообщила о драме, разыгравшейся 20 августа 1914 г. в доме № 102 по Горушечной улице, где проживал двадцатилетний немец-парикмахер Александер фон дер Фур. С началом войны он лишился работы и не мог найти себе новый заработок. Не рассчитывая на помощь и отчаявшись, он принял яд, и хотя соседи доставили его в больницу, он скончался, не приходя в сознание[2]. Подобные истории вошли в привычную картину дня.

Для многих обрусевших немцев последним шансом на сохранение привычной жизни оставалось принятие русского подданства. 4 августа 1914 г. в 10 часов утра в канцелярии московского градоначальника собралась толпа немцев и австрийцев, желающих подать на высочайшее имя прошение о переходе в русское подданство. Для демонстрации своих патриотических чувств собравшиеся запели российский гимн, закончив его громким криком «ура»[3]. Однако из-за охватившей общество шпиономании удовлетворялись далеко не все прошения. Как правило, в первую очередь шли навстречу славянским уроженцам Австро-Венгрии при поручительстве за них заслуживающих доверия лиц или существующих в империи чешских и иных славянских организаций.

Получение русского подданства не защищало этнических немцев и австрийцев от унижений со стороны русского населения. Всем носителям нерусских фамилий приходилось испытывать на себе последствия распространившейся в стране шпиономании. Выходом в этом случае становилась подача прошений о смене фамилий, к чему прибегали многие обрусевшие немцы. Подозревали русских немцев, не сменивших фамилий, и в прямом вредительстве. В частности, появлялись слухи о врачах-вредителях. В июле 1915 г. крестьянин Московской губернии Андрей Гончаров написал донос на женщину-врача Нехорошевской земской лечебницы А.Г. Гамбургер, которая якобы вела пропаганду против всего русского, хвалила немецкую армию и ругала русскую. Пристав Связавский и урядник Орлов провели негласное расследование, опросили больных и сослуживцев Гамбургер в больнице, крестьян близлежащих сел, которые охарактеризовали ее с положительной стороны, не подтвердив ходивших о ней слухов[4].

15 октября появилось распоряжение МВД ускорить процесс выселения и в двухнедельный срок очистить Петроград от подданных враждебных держав.

[1] Там же. С. 429–430.
[2] Петроградский листок. 1914. 21 августа.
[3] Московский листок. 1914. 5 августа.
[4] ГА РФ. Ф. 58. Оп. 7. Д. 334. Л. 55.

Петроградский городской голова И. И. Толстой возмущался предполагавшимися методами действий: «Вчера… объявлено о выселении в двухнедельный срок всех германских и австрийских подданных всех возрастов и обоих полов; кто в этот срок не выедет добровольно, тому угрожают насильственным удалением… Таких подлежащих выселению, оказывается, в Петрограде и губернии около 20 000! Между выселяемыми есть многолетние сожительницы русских „мужей“, от которых они имеют детей, не видавших иной страны, кроме России, есть гувернантки и бонны, живущие в русских семьях по 30 и по 40 лет, есть старики и старухи, забывшие, что они нерусские, и сохранившие подданство или из лени, или из-за паспортных удобств… даже лица подавшие прошения (после начала войны, но также и раньше) о переходе в русское подданство, не исключены из общего правила о выселении… В петроградской газетной семье ликует по поводу этой чисто каннибальской меры, кажется, только „Суворинская лавка“: и „Новое время“ и „Вечернее время“ захлебываются от восторга, расхваливая „мудрость“ и патриотизм российских администраторов»[1].

Некоторые обыватели вызванную войной дезорганизацию общей инфраструктуры империи отнесли на счет тайного вредительства немцев. 16 августа 1914 г. некий Назимов писал из Варшавы своему куму в Царское Село: «Ровно сутки прошло для переезда с одного вокзала на другой. Вопиющее отношение Варшавско-Венской ж. д. Полная неприспособленность и халатность, если не умышленная преступность. Вся администрация этой дороги с немецкими фамилиями. Начальник дороги — Паукер, начальник службы движения — Вейс. Всю эту ночь не спал из-за этих непорядков…»[2]

В августе 1914 г. проживавший в Стрельне Петроградской губернии часовой мастер Ф. Ю. Шультхейс по почте получил весьма грозное письмо, написанное красным карандашом: «По постановлению тайного кружка бойкота немцев и истребления всех немецких товаров и торговых заведений, предлагаем внести добровольно в пользу раненых триста рублей». В результате возникшего разбирательства выяснилось, что автором письма был чиновник канцелярии соединенного и первого кассационного департамента Правительствующего сената Н. В. Паршин, которого Петроградский губернатор граф А. В. Адлерберг приговорил к штрафу в 50 рублей[3]. Русская этническая немка 30 октября 1914 г. писала из Екатеринослава на немецком языке своему сыну: «Ах, хоть бы кончилась наконец война. Сколько горя она уже принесла и сколько его еще будет, особенно для нас, немцев. Русские никак не могут поверить, что мы действительно верноподданные, и сколько мы приносим жертв, чтобы доказать это. Дай Бог им поверить, что мы любим дорогого государя не меньше всякого коренного русского»[4].

---

[1] *Толстой И. И.* Дневник… С. 560.

[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 993. Л. 1274.

[3] Петроградский листок. 1914. 29 августа.

[4] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 998. Л. 1737.

Доходившие до обывателей известия о поражении русских армий в Восточной Пруссии порождали слухи об измене среди генералов. Главным изменником народная молва объявляла, естественно, П.К. Ренненкампфа (героя сражения 7 августа 1914 г. при Гумбиннене, где потерпела поражение немецкая 8-я армия М. фон Притвица). Однако в феврале 1915 г. в столице прошел слух, что немецким шпионом является главнокомандующий армиями северо-западного фронта генерал Н.В. Рузский (настоявший ранее на отстранении Ренненкампфа)[1].

Массовая германофобия, временно оттеснившая антисемитизм, пустила настолько глубокие корни в массовое сознание обывателей, затуманив их разум, что в конце концов борцы с внутренней изменой «добрались» и до императрицы Александры Федоровны. В декабре 1914 г. английский журналист рассказывал М. Палеологу: «Во всех московских салонах и кружках очень раздраженно оценивают ход военных событий. Не могу себе объяснить эту приостановку наступления и эти беспрерывные отходы, которые, как кажется, никогда не кончатся. Однако обвиняют не великого князя Николая Николаевича, а императора и еще более императрицу. Об Александре Федоровне распускают самые нелепые рассказы, обвиняют Распутина в том, что он продался Германии, а царицу называют не иначе, как „немка“»[2].

Следует заметить, что и до появления Александры Федоровны некоторые современники посмеивались над «русскостью» Романовых. В светских кругах ходил слух-легенда о том, что А.С. Пушкин как-то вечером, чтобы проиллюстрировать свое саркастическое отношение к династии, попросил принести несколько стаканов, бутылку красного вина и графин воды. «Он расставил стаканы в ряд и наполнил первый стакан вином до краев: „Этот стакан, — заявил поэт, — представляет собой нашего славного Петра Великого: это полностью русская кровь со всей своей чистотой и мощью. Посмотрите, как сверкает этот рубин!“ Во втором стакане он смешал вино с водой в равном количестве. Третий стакан он наполнил на одну четверть вином и на три четверти водой, а затем продолжал таким же образом наполнять каждый пустой стакан… В шестом стакане, представлявшем цесаревича, будущего Александра III, доля вина стала уже настолько малой (1/32), что жидкость в стакане была только слегка окрашена им»[3]. Показательно, что французский посол М. Палеолог продолжил эксперимент поэта, констатировав, что в стакане царевича Алексея оказалась фактически одна вода. При этом посла едва ли можно заподозрить в антироссийских настроениях и неуважении к императору.

В начале 1915 г. в российские столицы проник впоследствии один из самых популярных слухов об императрице, согласно которому она якобы по секретному телефону/телеграфу передавала в Берлин тайные сведения, что и стало

[1] Дневник Л.А. Тихомирова… С. 42.
[2] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 211.
[3] Там же.

причиной череды поражений русской армии. Едва ли этот абсурдный слух мог родиться в сознании образованных слоев общества, однако весной 1915 г. его можно было услышать в разных публичных местах. Слух этот проникал в частную переписку современников, достигал ушей агентов охранного отделения, появлялся в доносах обывателей в Департамент полиции. В конце концов его массовое распространение посеяло зерно сомнений у директора Департамента полиции В. А. Брюн-де-Сент-Ипполита, и в мае 1915 г. он поручил направить начальнику дворцовой охраны запрос, в котором осторожно поинтересовался, действительно ли в Зимнем дворце имеется такой телеграф. Из официального ответа выяснилось, что радиотелеграфная станция действительно раньше работала, но около пяти лет назад была упразднена[1].

Императрица Александра Федоровна не была единственной подозреваемой в шпионаже. В марте 1915 г. в Петрограде заговорили об измене великой княгини Марии Павловны (Макленбург-Шверинской), окружение которой считалось, если верить характеристике начальника канцелярии Министерства императорского двора А. А. Мосолова, одним из самых популярных и влиятельных в Петрограде[2]. При этом Мария Павловна находилась в оппозиции к императрице Александре Федоровне, считала, что последняя дурно влияет на императора, о чем прямо говорила французскому послу. Великая княгиня активно занималась благотворительностью, покровительствовала искусствам, однако ее немецкое происхождение перевесило все добродетели. В марте появилось обвинение в том, что она передавала немцам секретные сведения[3]. Впоследствии, когда Февральская революция 1917 г. сняла цензурные ограничения, в журналах появился карикатурный образ Марии Павловны с фотокамерой в руках, снимающей из автомобиля крепостные укрепления. Нужно сказать, что в начале XX в. увлечение фотографией быстро распространялось в высших слоях общества, фотолюбительницей, в частности, была и Александра Федоровна, однако в глазах малообразованных слоев фотокамера в годы войны казалась обязательным атрибутом шпиона.

Не обошла молва стороной и родную сестру императрицы великую княгиню Елизавету Федоровну. Ей, в частности, в вину вменялось то укрывательство в основанной ею Марфо-Мариинской обители своего брата принца Гессенского, то особое отношение в лазарете к раненым немцам. Первые слухи о том, что она отправляет в Германию собранные по благотворительности деньги, появились в Москве еще в августе 1914 г.[4] В ноябре 1916 г. старший писарь Департамента полиции Семен Павлов провел наблюдение за настроениями рядовых и офицеров Западного и Северного фронтов, отметив, что отношение

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 245. ДП-ОО. 1915. Д. 33. Л. 300.

[2] *Мосолов А.* При дворе императора. Рига, 1938. С. 54.

[3] Дневник Л. А. Тихомирова… С. 47.

[4] *Городцов В. А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 81.

офицеров к Елизавете Федоровне не менее враждебное, чем к Александре Федоровне: «Ходят два слуха: во-первых, будто бы когда привезли зимой с фронта в 1915 году несколько вагонов раненых и не хватило полушубков и вообще теплой одежды, то великая княгиня Елизавета Федоровна приказала сначала раздать одежду австрийцам, так как они, дескать, более резко чувствуют холод, а наши солдаты привыкли, и перенесут; во-вторых, рассказывают о происшествии в офицерском госпитале: обходя офицеров, великая княгиня Елизавета Федоровна остановилась около одного австрийского офицера, тяжелораненого, который сильно грустил о своей семье. Выслушав его, великая княгиня сказала: „Не волнуйся, я о твоей семье позабочусь“. Рядом с этим австрияком лежал капитан русской службы, совершенный калека, который, слыша разговор Великой княгини с австрийцем, спросил: „А что же, ваше императорское высочество, о моей семье, которой я теперь не могу быть полезным, тоже я могу быть спокойным?“ На это ему великая княгиня ответила довольно холодно: „Да, о ней тоже позаботятся“. Офицер раздраженно ответил на это: „О семье его — австрийца — вы лично побеспокоитесь, а о семье русского офицера кто-то возможно побеспокоится, так знайте, что такого отношения мы, русские офицеры, не допустим и не простим вам“»[1].

Слух о предательстве Елизаветы Федоровны был одним из стимулов самого резонансного случая массового аффективного проявления германофобии — московского антинемецкого погрома мая 1915 г. Как уже отмечалось, это были не первые беспорядки в Москве на националистическо-«патриотической» почве, но если погром 10 октября 1914 г. стал следствием патриотического подъема, вызванного успехами русской армии под Варшавой, то погром 26–29 мая 1915 г. отчасти явился результатом озлобленности из-за вынужденной сдачи Перемышля неприятелю 21 мая. К другим слухам-стимулам майского погрома следует отнести молву о том, что немцы организовали взрывы на военных складах, а также о том, что немцы отравили питьевую воду на Прохоровской мануфактуре, где было зарегистрировано тридцать случаев отравления рабочих[2]. Постфактум началось расследование, которое выяснило, что в бак с питьевой водой протекла грязная вода из бани, однако образ немца-отравителя оказался намного ярче и поразил воображение современников.

Об абсурдных слухах как эмоциональном стимуле майского погрома говорили и писали многие современники, например журналист И. В. Жилкин, пытаясь спустя несколько месяцев осмыслить случившееся: «Слухи были преувеличенные, многие — явно нелепые, вздорные, на которые спокойные люди лишь плечами пожимали. Говорили о тайных минах, заложенных немцами под мосты через Москву-реку, говорили об отравленной, будто бы, воде в водопроводах,

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 246. ДП-ОО. 1916. Д. 291. Л. 32–42.

[2] *Краузе Ф.* Письма с Первой мировой… С. 173 (примеч.)

речках и колодцах. Потом начали даже называть фабрики, где рабочие стали якобы десятками умирать от зараженной предательской отравой воды. Говорили о каких-то проводах, будто бы найденных в реке. Говорили о шпионах, об иностранных подданных, захвативших в Москве промышленные предприятия... Слухи ползли непрерывной дымной полосой. Казалось даже, что кем-то они усердно раздуваются и подогреваются»[1].

Массовые шествия рабочих с требованием «Долой немцев» начались 26 мая. Когда толпа громила мануфактуру Э. Цинделя, в ней уже насчитывалось не менее 10 000 человек. Во время разгрома был схвачен управляющий Карлсен, швед; его сначала жестоко избили, а потом бросили в реку. Воспоминания современника позволяют реконструировать эмоциональное состояние участников беспорядков, в которых явно проявлялось аффективное начало. Проводивший официальное правительственное расследование антинемецких беспорядков действительный статский советник Н. П. Харламов писал впоследствии в мемуарах: «На берегу стояла огромная толпа народа, кричащая: „бей немца, добить его", и бросала в Карлсена камни. Двум городовым удалось достать ветхую лодку без весел и втащить в нее барахтавшегося в воде Карлсена. Озлобленная толпа с криками: „зачем спасаете?" стала бросать камни в лодку. На берег в это время прибежала дочь Карлсена — сестра милосердия, которая, увидев происходившее, упала перед рабочими на колени, умоляя пощадить ее отца. С теми же просьбами обращался к толпе полицмейстер Миткевич, который, указывая на дочь Карлсена, говорил: „какие же они немцы, раз его дочь наша сестра". Но озверевшая толпа с криком „и ее забить надо" продолжала кидать камни. Лодка быстро наполнилась водою, Карлсен упал в воду и пошел ко дну. Было это в шестом часу дня...»[2]

Вечером 27 мая была разгромлена фабрика Р. Шредера. Толпа, состоявшая преимущественно из рабочих, ворвалась сначала в квартиру уже выселенного из нее директора-распорядителя этой фабрики, германского подданного Германа Янсена, а затем в соседнюю квартиру русской подданной, потомственной дворянки Бетти Энгельс, два сына которой состояли прапорщиками русской армии. В квартире Энгельс прятались жена Янсена Эмилия, его сестра Конкордия Янсен — голландская подданная, и теща Эмилия Штолле — германская подданная. Все четыре женщины были схвачены, причем двух из них — Бетти Энгельс и Конкордию Янсен — утопили в водоотводном канале, а двух остальных избили так сильно, что Эмилия Янсен умерла на месте избиения, а 70-летняя старуха Эмилия Штолле скончалась в больнице, куда была доставлена отбившей ее полицией[3].

---

[1] *Жилкин И. В.* Московский погром // Вестник Европы. 1915. № 9. С. 302.

[2] *Харламов Н. П.* Избиение в Первопрестольной. Немецкий погром в Москве в мае 1915 года // Родина. 1993. № 8–9. С. 129–130.

[3] Там же. С. 130

28 мая толпа действовала более разборчиво: появились списки с адресами немцев. Свидетели отмечали, что когда жильцы доказывали принадлежность квартиры подданным Российской империи, предъявляя паспорта хозяев и демонстрируя православные иконы, погромщики уходили. В противном случае ломали всю мебель, уничтожали личные вещи, выкидывая их на улицу. Хотя среди погромщиков было много мародеров, которые стремились похитить вещи для последующего сбыта, в некоторых случаях громилы не допускали грабежей, отбирали украденные вещи и тут же, на месте, уничтожали их. И. Жилкин описывал, с каким остервенением толпа набрасывалась на товары: «С жестоким увлечением уничтожала толпа предметы. Разрывали руками, распарывали ножами… Улица была усеяна лоскутами шелка, сукна, атласа, драпа. В озорстве толпа навешивала эти клочья на экипажи, автомобили, которые продирались сквозь толпу»[1]. Историк В. Деннингхаус отмечает, что толпа настолько была заражена германофобией, что забыла об антисемитизме: «Один из очевидцев так описывает поведение толпы, дискутировавшей по поводу определения национальности жертвы: „В толпе, собравшейся у магазина Левинсона, шли горячие споры, кто такой Левинсон — еврей или немец. Убедившись, что он еврей, толпа проходила мимо, но подходила новая манифестация, и все начиналось сначала…“ Отмечен только один преднамеренный случай разгрома дачи еврея — барона Гинцбурга — „единственного на всю Россию еврея-барона“, так как толпа просто не поверила, что баронский титул мог быть присвоен еврею»[2].

По мере увеличения числа погромщиков беспорядки усиливались, тем более что часть толпы к тому времени успела разгромить аптеки с хранившимся в них спиртом. Важно отметить, что в сознании погромщиков господствовала уверенность в том, что в их действиях нет ничего противозаконного и что они лишь помогают правительству избавиться от шпионов. Так, например, в некоторых случаях толпа ловила немцев и отводила их в полицейские участки. Иногда доставленные в участок немцы — подданные Российской империи отделывались лишь испугом, иногда по дороге их сильно избивали. Был зафиксирован случай смерти избитого толпой и доставленного в участок Германа Филиппа[3]. Чувство исполняемого долга подкреплялось присутствием генерал-майора, градоначальника А. А. Адрианова, который пытался не допустить разгрома торговых заведений, но на деле фактически оказался во главе восстания, выражая молчаливое сочувствие громилам. Он встал во главе толпы, шедшей с портретами царя из центра города к Красным воротам и громившей по пути магазины

---

[1] *Жилкин И. В.* Московский погром… С. 306.

[2] *Деннингхаус В.* Немцы в общественной жизни Москвы: симбиоз и конфликт (1494–1941). М., 2004. С. 352.

[3] *Гатагова Л. С.* Москва во власти охлоса (о немецких погромах в 1915 г.) // Проблемы этнофобии в контексте исследования массового сознания: Сб. научных статей. М., 2004. С. 120.

с иностранными вывесками[1]. В июне 1915 г. по требованию министра внутренних дел Н. А. Маклакова Адрианов подал прошение об отставке, а в октябре 1916 г. постановлением Московской судебной палаты бывший градоначальник был обвинен в бездействии и превышении власти во время беспорядков в мае 1915 г.

По мере распространения погрома не участвовавших в нем москвичей охватила паника. Толпы погромщиков врывались не только в торговые заведения, которые, по слухам, принадлежали немцам, но и вламывались в частные квартиры, где якобы прятались немецкие шпионы. Обыватели предпочитали в эти дни не выходить на улицу и оставались дома, заперев двери. Ненависть погромщиков и испуг обывателей — вот две доминировавшие эмоции во время майских событий. «Город явственно охватывало дрожью испуга. Мирное население пряталось по домам», — писал свидетель тех дней[2].

В частной корреспонденции современников обнаруживается разделение авторов на сочувствовавших погрому и осуждавших его. Первые делали акцент на высокой сознательности толпы, громившей, но не грабившей немецкие магазины, где немцы якобы прятали оружие: «Прошлый четверг все немецкие, австрийские и турецкие магазины были разгромлены и разграблены под благосклонными взорами полиции, которой было приказано не вмешиваться. Все было сломано, но не единой вещи не было украдено. В одном разгромленном немецком магазине нашли бомбы, револьверы и каски прусские»[3].

Впрочем, об истинном лице погромщиков мы узнаем из письма одного из активных участников беспорядков, которое он написал своему товарищу Матвею Егорову в действующую армию: «Дорогой товарищ Мотя, живем мы слава Богу; обижаться не на что — одеты и сыты, а лишние деньжонки пропиваем на одеколоне. Мы так к нему привыкли, что и не вспоминаем о водке, а достанется — и той попьем… 28 мая здесь был разгром немецких магазинов. Вот когда обогатилась и оделась нищета. Тут тащили все и кто как успел. Многие возили прямо на извозчиках. Мы с Петушком пошли на Ильинку к Вильборну; напились в лоскутки; много принесли домой, а также продали рублей на 25. Мы большей частью пили и тащили коньячек. Пришли с ним домой в семь часов утра вдрызг; костюмы порвали и оба без шапок. Немного отдохнули, похмелились и пошли к Роберту Кенцу; тут мы натаскали много вещей, но у нас все отобрали, так как после семи часов утра вышел приказ задерживать и арестовывать, кто тащит награбленное. Арестованных очень много, много также раненых и мертвых, прямо напивались до смерти, а некоторые просто захлебнулись в бочке, потому что пили прямо из бочек. Вот когда было пьянство, как никогда, была пьяна почти вся Москва»[4].

---

[1] *Гатагова Л. С.* Москва во власти охлоса… С. 115.

[2] *Жилкин И. В.* Московский погром… С. 310.

[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1006. Л. 45.

[4] Там же. Л. 100.

Другие, помимо осуждения эксцессов с морально-нравственной стороны, отмечали нанесенный городскому бюджету экономический ущерб: «Самое яркое и точное описание того, что было двое суток в Москве, не может дать настоящего понятия. Ведь разрушили и уничтожили не только на 100–120 миллионов (тем более „скромный подсчет“), не только по миру пустили 80 000 рабочих и служащих, но бессмысленно испортили массу заготовок для армии. Хотели разгромить Меллера, но его с оружием в руках отстояли московские летчики, для этого же командированные. А ведь удайся злодейский, прямо-таки изменнический замысел, вся наша армия была бы без летательных машин, ибо в России это единственный завод с настоящим оборудованием. Просто сердце кровью обливается»[1].

Известия о московских событиях распространялись по городам России, вызывая такую же неоднозначную реакцию обывателей. В письме из Варшавы в Москву автор предлагал отправить на фронт столичных борцов с немецким засильем. «У вас хулиганы опять разгулялись. Я бы всю эту сволочь на улице же перехватил и отправил на передовые позиции: пусть здесь проявляют свой патриотизм. Здесь люди погибают, а они грабят магазины и бесчинствуют, прикрываясь патриотизмом. Прямо совестно за Москву, что в такое время там находят место такие мерзавцы»[2].

С другой стороны, в самой действующей армии встречались случаи злорадства относительно пострадавших от московского погрома немцев: «Не знаем, что было у вас в Москве за эти последние дни, но все-таки здесь большинство радуется той крупной победе над внутренними (более опасными) немцами, которая была одержана московским народом. Говорят, что за последнее время было две крупных победы: на Днестре у Журавно над прусской гвардией и в Москве»[3]. Однако у солдат с немецкими фамилиями падал воинский дух и возникал вопрос, за что же они воюют, раз дома избивают их родных: «Вчера узнал, что 28-го в Москве устроили погром и выселили всех с немецкими фамилиями. Очень беспокоюсь. Обидно было бы пострадать ни за что, ни про что. Неужели мы виноваты, что носим немецкую фамилию. Кажется, все мы, насколько могли, приносили и приносим пользу нашему дорогому отечеству. Стыдно и горько становится от мысли, что мы еще настолько некультурны и грубы, что можем принести зло человеку от того, что у него немецкая фамилия, не разбирая, полезен он или нет отечеству. Мы, например, хотя и носим немецкую фамилию, но все по духу чисто русские, о тебе тут уж и говорить не приходится. И у нас тут, в действующей армии, у таких же, как и я, русских с немецкими фамилиями, опускаются руки. Думаешь, за что сражаться, что защищать. Семьи наши гонят, неужели же защищать тех, кто

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1013. Л. 43.
[2] Там же. Л. 30.
[3] Там же. Л. 21.

гонит мою семью? И горько, и обидно становится, что, вместо покоя для семьи, на что мы могли бы рассчитывать, мы, проливающие свою кровь за отчизну, их подвергают гонению»[1].

Москвичи, пытавшиеся разобраться в причинах случившегося, важным фактором считали постоянно появлявшиеся в газетах статьи о немецких зверствах, разжигавшие ответную ненависть, а также неосторожные заявления властей: «У нас здесь толпы народа совершенно разгромили все германские и австрийские предприятия. В погроме виноваты три фактора: статьи газет о беспрерывных германских зверствах, многократные отсрочки ликвидации немецких предприятий и, главное, бестактное интервью, данное кн. Юсуповым двум интервьюерам еще до приезда сюда, когда он сказал, в общем, что стоит на стороне немецких коммерсантов»[2]. Другие, наоборот, считали главноначальствующего над г. Москвой кн. Ф.Ф. Юсупова (старшего) чуть ли не организатором беспорядков. Эта позиция отразилась в стихотворении известного поэта-современника В.П. Мятлева, в котором были следующие строки:

Пока у Мандля стекла били,
Он, разодет как на парад,
Стоял в своем автомобиле
И делал жесты наугад.

И до сих пор еще не ясно,
Что означал красивый жест:
«Валяйте, братцы! Так прекрасно!»
Или высказывал протест…[3]

Некоторые современники считали, что погром был непосредственно организован полицией. В частности, об этом в своем дневнике писал Л.А. Тихомиров, который выделял две группы погромщиков: первая, под прикрытием полиции, со списками магазинов, принадлежавших немцам, обходила торговые заведения и сверяла полученную информацию с документами, которые предоставляли управляющие; вторая шла следом и устраивала погром в тех заведениях, которые не прошли проверку первой группы. «Когда регулярные отряды удалялись, на груды погромленного начали набрасываться разные лица, бабы и прочие — растаскивать… Тут же явился и грабеж, особенно когда появились пьяные. Пьянство началось с разгрома немецких винных складов. У Шустера в погребах ходили по колено в водке. Разумеется, начали пить, поили и публику. Таких складов разбито несколько. Утром наша Маша, выйдя

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1013. Л. 49.

[2] Там же. Л. 26.

[3] *Мятлев В.П.* Стихотворения (1901–1919 гг.). Биографическая справка и комментарии А.А. Григорова. Публикация Н.А. Дружневой // Костромская земля. Краеведческий альманах Костромского общественного фонда культуры. Вып. 6. 2007. С. 219.

на Смоленский рынок, видела по Новинскому бульвару и рынку множество спящих пьяных, около которых валялись бутылки. В том числе валялся и городовой», — писал Тихомиров[1].

Остававшиеся в городе немцы, пережившие эту трагедию, понимали, что вслед за майским погромом могут последовать и другие. Даже спустя месяц в письме из Москвы за подписью «Адольф» к брату в Швейцарию от 30 июня чувствовалась тревога за пережитое: «Мою телеграмму относительно выдержанного нами погрома ты, кажется, не понял, а то не написал бы такую равнодушную карточку. В нашем совершенно разграбленном доме работают теперь плотники, надеюсь, в последний раз. Мебель мы опять купили, одежду и белье заказали. Но мы все не можем отделаться от ужаса пережитых впечатлений. Марго живет в постоянном страхе и потому как нам ни жаль, мы хотим продать нашу престижную дачу в Сокольниках и переселиться в центр города и сделать это как можно скорей несмотря на чудную погоду. Здесь наверно еще будут большие волнения, хотя пока… спокойно, но глухая ненависть народа ко всему иностранному продолжается. Нас просто считают за паразитов, если не за воров даже. В Лосине все было спокойно и теперь тоже; мою дачу там также хотели разграбить, но полиция не допустила»[2].

Однако майские события несли в себе опасность не только для немцев и различных иностранных торговцев. Как вспоминал генерал Ю.Н. Данилов, протест толпы приобретал политическую направленность: звучали оскорбления в адрес «немки» императрицы Александры Федоровны, от которой требовали ухода в монастырь по примеру ее сестры, вдовы великого князя Сергея Александровича, а также раздавалась брань по отношению к Гришке Распутину[3]. О том же в своем дневнике писал М. Палеолог, отмечая антидинастическую направленность беспорядков: «Московские волнения носили чрезвычайно серьезный характер, недостаточно освещенный отчетами печати. На знаменитой Красной площади, видевшей столько исторических событий, толпа бранила царских особ, требуя пострижения императрицы в монахини, отречения императора, передачи престола великому князю Николаю Николаевичу, повешения Распутина и проч. Шумные манифестации направились также к Марфо-Мариинскому монастырю, где игуменьей состоит великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра императрицы и вдова великого князя Сергея Александровича. Эта прекрасная женщина, изнуряющая себя в делах покаяния и молитвах, была осыпана оскорблениями: простой народ в Москве давно убежден, что она немецкая шпионка и даже что она скрывает у себя в монастыре своего брата, великого герцога Гессенского»[4].

---

1 Дневник Л.А. Тихомирова… С. 66.

2 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1007. Л. 6.

3 *Данилов Ю.Н.* На пути к крушению. М., 2000. С. 130.

4 *Палеолог М.* Дневник посла… С. 313.

Хотя газеты не упоминали об антицарских выступлениях масс и пытались представить погром исключительно в националистическом русле недовольства народа «немецким засильем», в императорской семье о них знали. Александра Федоровна в письме к Николаю II упомянула о происшедшем тогда с сестрой инциденте: «Феликс (князь Юсупов-старший. — *В. А.*) сказал Ане (Вырубовой. — *В. А.*), что тогда бросали камнями в карету Эллы (вел. кн. Елизаветы Федоровны. — *В. А.*) и плевали в нее, но она не хотела об этом ничего говорить нам — опять боялись беспорядков в течение этих дней неизвестно почему»[1].

Напуганные московскими событиями петроградские немцы в июне ожидали повторения этих событий в столице, а спустя ровно год в Москве появились слухи о новом готовящемся антинемецком погроме. В. П. Булдаков пишет о том, что московский погром уместно считать своеобразной репетицией Февральской революции и апробацией известного лозунга «грабь награбленное»[2]. Исследователь обращает внимание на архаично-стихийные проявления действий погромщиков, стимулированные распространявшимися слухами о том, что «немцы воду отравили». Подобный слух был характерен для массовых фобий чумных времен и с тех пор был закреплен на архетипическом уровне массового сознания. Фобии Первой мировой войны открывали двери самых темных инстинктов коллективного бессознательного.

История майского погрома демонстрирует особенности массового сознания, когда навязанные пропагандой и закрепленные стихийно распространявшимися слухами стереотипы провоцировали мощные эмоции, как правило, из «триады враждебности», которые затем выливались в агрессивные и аффективные коллективные действия — бунт. Вместе с тем, помимо аффекта, в погроме можно усмотреть и некоторые рациональные изменения общественного сознания. Генерал Ю. Н. Данилов не без основания считал, что в майских беспорядках проявилось и некоторое разочарование действиями союзников на фронте, в связи с чем разгромы французских магазинов не были случайными. Русский посол в Париже А. П. Извольский сообщал, что французское правительство в майских погромах в Москве «склонно видеть враждебное отношение русского народа не только к немцам, но и вообще к иностранцам»[3]. С этим можно отчасти согласиться, если принять во внимание, что погромы, германофобские по форме, по содержанию являлись протестом против наступавшей хозяйственной разрухи, были попыткой поиска внутренних виновных в неудачах как на фронте, так и тылу. В конечном счете природа этих погромов рано или поздно проявлялась в более политически направленном революционном протесте. Не случайно среди московских рабочих ходили разговоры о том, что майский погром был лишь

---

[1] Письма императрицы… Т. 1. С. 120.

[2] *Булдаков В. П.* Хаос и этнос. Этнические конфликты в России, 1917–1918 гг.: условия возникновения, хроника, комментарий, анализ. М., 2010. С. 91–92.

[3] *Данилов Ю. Н.* На пути к крушению… С. 131.

репетицией того, что должно повториться в Петрограде, причем в этом случае главной целью бунтовщиков должен был стать Зимний дворец. Б.И. Колоницкий, разбирая проявления англофобии в России в годы войны, указывает, что первоначально источником антианглийских слухов являлась германская пропаганда, пытавшаяся посеять раздор среди союзников, однако по мере затягивания войны в России формировалась собственная благодатная почва. Так, издававшийся П.Ф. Булацелем «Российский гражданин» занимался неприкрытой антианглийской пропагандой, что вызывало протест со стороны Дж. Бьюкенена[1]. Английский посол считал, что англофобия исходила от С.Ю. Витте, изначально занявшего антивоенную позицию. Накануне нового 1915 года Бьюкенен произнес в Английском клубе речь, в которой упомянул «некоторых известных германофилов», настраивавших общество против Англии. Витте справедливо записал этот выпад на свой счет[2]. В это же время М. Палеолог отмечал распространение в русском обществе «галлофобии», сопровождавшейся утверждениями, что Франция втянула Россию в войну, чтобы вернуть себе Эльзас и Лотарингию. Подобные настроения распространялись и в армии. Англия и Франция считались главными виновниками потерь России в войне.

Вместе с тем противоречия между союзниками по Антанте носили более глубокий характер. Республиканская Франция и конституционная монархия Великобритании рассматривались русскими правыми кругами как источник опасности для российского самодержавия, тем более что западная антигерманская пропаганда и отечественная демократическая представляли войну как борьбу демократии с царизмом и деспотией. Л. Андреев 4 октября 1914 г. иронизировал, что будь российские власти умнее, «они дрались бы с Вильгельмом против Франции и Англии»[3]. К концу 1916 г. в правых кругах возросла настоянная на слухах уверенность, что Дж. Бьюкенен поддерживает российских революционеров[4].

Несмотря на то что, по мнению некоторых современников, массовая германофобия вытесняла антисемитизм, последний также расцветал в годы войны. Тульский обыватель в октябре 1914 г. в письме сделал точное замечание: «Антигерманизм, антисемитизм, антиукраинство — это все ягоды одного поля, растущие на одном корне и друг друга питающие. Чем полнее расцветет антигерманизм, тем ярче распустится юдофобство»[5].

Прежде всего резкий всплеск юдофобии прокатился по прифронтовым регионам. Так, польская националистическая печать, вдохновленная обещаниями

---

[1] *Колоницкий Б.И.* Политические функции англофобии в годы Первой мировой войны // Россия и Первая мировая война… С. 275.

[2] *Бьюкенен Дж.* Мемуары дипломата… С. 144–145.

[3] Цит. по: *Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г.* Война, породившая революцию… С. 121.

[4] *Спиридович А.И.* Великая война… Кн. 2. С. 230.

[5] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 997. Л. 1652.

Николая Николаевича и желая засвидетельствовать свою преданность России, принялась «разоблачать» поведение евреев, умудрившись перещеголять в антисемитизме даже правые российские издания. Наряду с русскими немцами евреи обвинялись в массовом шпионаже в пользу Германии. Учитывая ущемленное положение евреев в России, многие априори считали их предателями. Однако ущемленное положение других народов России также могло являться поводом к подобным подозрениям. В частности, в перлюстрированной корреспонденции можно усмотреть проявления коллаборационизма среди мусульман Кавказа, не желавших воевать с мусульманами-турками, украинцев, чьи соплеменники в Австрии пользовались большими национальными правами, и тех же самых поляков, мечтавших о независимости и считавших Россию тюрьмой.

Политика великого князя Николая Николаевича по массовому выселению «неблагонадежных элементов» из прифронтовой полосы подвергалась критике не только обывателями, но и высшим чиновничеством. Так, дворцовый комендант В. Н. Воейков писал о главнокомандующем: «Великий князь, будучи неуравновешенным, поддавался впечатлениям минуты; никогда не имея определенного плана действий, он, под влиянием многочисленных советчиков, нередко отдавал, как говорят французы, „ordre“ (приказ), „contre ordre“ (отмена), тем самым создавал „désordre“ (путаница). Особенно много жалоб поступало на его распоряжения по эвакуации Царства Польского. Несмотря на неоднократные обращения по этому поводу Совета Министров к штабу Верховного Главнокомандующего, продолжалось полнейшее разграбление нашими отступавшими войсками мирного населения, разгром богатейших усадеб с историческими дворцами и совершенно ненужные выселения местных жителей, приводившие польский край к полному разорению и к наводнению центральных губерний России насильно эвакуируемыми из черты оседлости евреями»[1].

У обывателей претензий в адрес евреев было больше, чем в адрес этнических немцев. Если последних обвиняли в сочувствии Германии и шпионаже, то евреи, торговавшие продуктами, обвинялись в намерении отравить русских солдат, а поддавшиеся юдофобии раненые пугали друг друга, что врачи-евреи в лазаретах специально без необходимости ампутируют воинам конечности. Генерал Н. Н. Янушкевич, начальник штаба Верховного Главнокомандования, распространение в армии сифилиса объяснял кознями евреев, которые на свои деньги содержат зараженных женщин и предлагают их русским солдатам[2]. Абсурдность слухов не смущала массовое сознание в условиях распространения коллективных фобий. В конце концов юдофобия привела к тем же результатам, что и германофобия: образ еврея-врага перенесся на представителей правящей династии. Так, крестьянин Ярославской губернии Василий Трофимов

---

[1] *Воейков В. Н.* С царем и без царя. Гельсингфорс, 1936. С. 158–159.

[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1008. Л. 2; *Гольдин С.* Евреи и шпиономания в русской армии в годы Первой мировой войны // Лехаим. 2007. № 3.

сказал 15 августа 1915 г.: «Николай Николаевич… из евреев, боится немцев и находится в их руках; государыни наши тоже из евреев»[1]. В кругах образованных антисемитов, понимавших цену слухам о еврейском происхождении членов династии, говорили о связях Распутина с евреями-банкирами и уже через него переходили на демонизацию императрицы Александры Федоровны.

В начале ноября 1914 г. население Львова жило ожиданиями еврейского погрома. В качестве профилактической меры евреи выставляли в своих окнах православные иконы, причем то же самое делали представители и других национальностей, включая русских, опасавшихся, что возбужденная толпа может перепутать их с евреями[2]. Антисемитский мотив часто вспыхивал во время продовольственных погромов, когда агрессивные крестьянки, солдатки, начиная громить рыночные лавки, обвиняли еврейских торговцев во взвинчивании цен. Подобные события разыгрались 7 мая 1916 г. в Красноярске: торговка мясом еврейка Ф. Я. Синец поругалась с одной покупательницей-солдаткой, возмущавшейся ценами. Покупательницу поддержала толпа, и в результате начавшегося погрома были разграблены 51 еврейская и 11 русских лавок, десятки людей были избиты (включая и русских торговцев)[3]. Исследователи отмечают, что в этих погромах доминировали не столько этнические, сколько социально-экономические причины. Вместе с тем в Енисейской губернии в годы мировой войны ходили слухи о существовании тайной еврейской организации, помогавшей с побегами пленным немцам и австрийцам.

Следует дополнить, что образ внутреннего врага в «патриотическом» дискурсе формировался не из одних только немцев и евреев. Первая мировая война подняла мутную волну ксенофобии, которая всколыхнула застарелые национальные конфликты. Понимая это, власти с большим подозрением относились к иноверческим народам. МВД отчитывалось перед дворцовым комендантом В. Н. Воейковым в октябре 1915 г.: «С возникновением войны в МВД стали поступать сведения о подозрительном поведении некоторых групп татарского населения и о возможности, якобы, с их стороны враждебных выступлений, в случае успеха турецкого оружия. С своей стороны турецкое правительство, в связи с подготовлением к войне, было озабочено возбуждением против России племен, населяющих, главным образом, Кавказ и Туркестан, и с этой целью, по имеющимся сведениям, командировало туда турецких эмиссаров для пропаганды среди мусульманского населения идей панисламизма. Под влиянием этой пропаганды среди некоторой части мусульман Кавказа и Туркестана, действительно, стало замечаться стремление к оказанию в той

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 404.

[2] *Джунковский В. Ф.* Воспоминания. Т. 2. С. 449.

[3] *Хоменко Д. Ю.* Рост антиеврейских настроений в Енисейской губернии в годы Первой мировой войны // Сибирь и войны XIX–XX веков: Сб. материалов всероссийской научной конференции. Новосибирск, 2014. С. 53.

или иной форме активной помощи Турции. Симпатии в единоверной Турции среди проживающих в империи мусульман, по-видимому, и в настоящее время поддерживаются турецкими и афганскими эмиссарами, так как среди турецких и кавказских мусульман стало замечаться стремление к проявлению симпатий в более реальной форме, в виде денежных сборов на военные нужды Турции, а среди сартовского населения Туркестана образовались даже „маджахиддины" — тайные комитеты, имеющие своей целью ведение агитации за восстание против России и объединение всех мусульман под властью турецкого султана. Комитеты эти, по сведениям, вошли в сношение с афганским правительством, подстрекая его к выступлению против России и обещая свою помощь, в случае открытия военных действий. Вообще же, некоторая часть мусульманского населения империи, сохраняя внешнюю лояльность, сочувственно относится к туркам и немцам и с интересом следит за действиями турецких и германских войск»[1].

Если описанный московский майский погром проходил под знаменем борьбы с внутренними немцами, то продолжавшийся два дня Астраханский погром, помимо немецкого фактора, включал и персидский. Ситуация с продуктами питания в Астрахани обострилась еще в августе 1915 г., когда на имя губернатора пришло анонимное письмо «от жителей Астрахани»: «Если торгующими готовым платьем и обувью, а также мучниками не будут понижены вздутые цены на их товары, то мы (заявители) принуждены будем учинить над ними и их товарами свою инквизицию, как это было в других городах»[2]. Любопытна в данном контексте апелляция к «другим городам»: ходившие среди народа слухи о погромах в разных уголках империи являлись руководством к действию. Однако губернатор И. Н. Соколовский, рассчитывая на собственный авторитет в городе (он попал в немецкий плен, но бежал и вернулся в Астрахань героем), не придал значение этому письму. Вместе с тем межнациональные отношения в городе накалялись. Кроме виновных во всех бедах немцев и евреев, астраханцы с большим подозрением стали относиться к проживающим в городе персам. Поводом для выплескивания накопившейся злости послужил конфликт именно на национальной почве: 8 сентября на берегу Волги был избит перс — чистильщик обуви. В толпе зазвучали призывы к избиению персов, и женщина, бывшая тому свидетелем, предупредила торговавшего фруктами в Малых Исадах перса Кафарова. Кафаров и другие торговцы-персы заперли свои лавки, но это только еще больше разозлило толпу, во главе которой стоял ратник-ополченец татарин Карбасов. Те же ратники, числом около пятидесяти человек, переправившись на другой берег Волги, избили еще одного чистильщика сапог, далее — вафельщика, разграбив имущество

[1] ГА РФ. Ф. 1с/97. Оп. 4. Д. 10. Л. 51—51 об.
[2] РГИА. Ф. 1284. Оп. 47. Д. 363. Л. 5.

и товар в бакалейной и посудной лавке и в квартире Касима Рахманова. Вслед за тем толпа, разогнанная было полицией, перешла в соседний со станцией Архиерейский поселок, где также избила и ограбила зеленщика и бакалейщика. Все избитые были персами, причем толпа проявляла известную разборчивость и каждый раз удостоверялась в национальной принадлежности своей жертвы, в чем обнаруживается сходство с московскими событиями. Если выяснялось, что лавка, где уже начался погром, принадлежала не персу, люди прекращали громить ее и уходили. Такая организованность говорит о спланированной заранее акции и об авторитете ее руководителей, так как в условиях стихийно вспыхнувшего бунта остановить погромщиков практически невозможно. На следующий день расширился не только состав погромщиков (к ратникам присоединились женщины, подростки и прочий люд), но и национальный состав жертв. 9 сентября беспорядки начались в мучном ряду, где с толпой в пререкания вступил торговец-немец Кильтау. Погромщики по акценту узнали в нем немца и с криками «бей его» кинулись на Кильтау. Тот скрылся, пробежав через мучную лавку Степашкина, на которой толпа и выместила свою злость. Далее были разгромлены лавки Бореля, Герляха, Шмидта, Фиша и Мезера, Рейнеке и др. Всего пострадало 9 немецких и 2 русские лавки. Свидетели отмечали, что пока одни погромщики просто уничтожали товар, другие, преимущественно женщины и дети, аккуратно его заворачивали и забирали с собой. Многих удивляло, с какой легкостью некоторые женщины убегали от полиции с мешками-пудовиками (16,3 кг) с мукой. Полиция предпринимала робкие попытки остановить погром, но в силу своей малочисленности не справлялась, в то время как вызванные казаки играли роль пассивных наблюдателей, а по словам некоторых свидетелей — даже выражали сочувствие громилам. Полицмейстер Робуш было задержал выбежавшего из лавки Бореля татарина, которого передал казакам, но те его отпустили. Днем на место погрома приехал И. Н. Соколовский и лично стал убеждать толпу разойтись. Слова губернатора имели временный успех, но как только он уехал, погром возобновился. Из мучного ряда толпа, минуя несколько лавок, начала громить на Шоссейной улице магазин Зингера, откуда вытаскивали швейные машинки. Их либо разбивали о каменный тротуар, либо те, что поменьше, швыряли в окна расположенного по соседству посудо-лампового и стекольного магазина Штейна. От полного разгрома магазин Штейна спас его приказчик Абрамов, убедивший толпу не подниматься на второй этаж, так как там якобы располагались жилые помещения, на самом же деле на втором этаже находился склад самоваров. Любопытно, что действия громил проходили не только с известной долей организованности, но еще и с музыкальным сопровождением: было разгромлено отделение фирмы «Граммофон» на Никольской улице, управляющим которого был Гульденбальдт. Ратники вынесли из него гармони, и дальнейший погром шел под музыку. Скрупулезность громил

в выборе жертв проявилась у аптекарского магазина Керна, находившегося на Большой Демидовской улице: в толпе возникли разногласия по поводу национальности владельца: одни говорили, что он немец, другие — что русский. Второе мнение подтвердилось, так как Керн оказался православным. Правда, щепетильность толпы в национальном вопросе дала сбой у магазина золотых и серебряных вещей Раппопорта. Кто-то в толпе предложил не громить магазин, так как Раппопорт русский, на что был дан ответ: Раппопорт — жид, германский подданный. В конце концов погром был остановлен вызванными двумя сотнями Астраханского казачьего полка[1].

В.П. Булдаков в монографии «Хаос и этнос» обратил внимание на то, что российская власть понимала патриотизм как «безоглядное верноподданничество», а потому любые проявления протеста, как, например, в связи с попытками привлечь коренное население Северного Кавказа и Средней Азии к тыловым работам, вызывало среди чиновников чувство бессознательного страха перед панисламизмом и пантюркизмом[2]. Хотя власти и отмечали, что эти идеи в силу их утопичности не пользовались популярностью.

Бытовая ксенофобия, периодически выливавшаяся в погромы, предоставляла властям враждебных государств возможность использовать ее в своих интересах. Немцы и австрийцы распространяли в прифронтовой полосе агитационные листовки, которые убеждали представителей «угнетенных народов России», что «свобода идет из Европы», а российские погромщики будут изгнаны из Польши, Литвы, Белоруссии, Украины[3].

Бытовая ксенофобия становилась также фактором невротизации российского общества. Причем страдали не только те, чьи права ущемлялись, но и сочувствующие им современники, чей уровень эмпатии не позволял участвовать в развязанной травле. Нередко конфликты вспыхивали среди родственников, по-разному понимавших природу патриотизма. А.Н. Бенуа описал скандал, разгоревшийся 11 декабря 1916 г. за обедом у его брата. К десерту подошли две кузины, которых в семье прозвали Гамбургскими, так как они родились в Германии. А.Н. Бенуа в шутку обратился к ним с приветствием на немецком языке, вследствие чего его брат Л.Н. Бенуа громко, с крайним раздражением воскликнул: «Я запрещаю говорить в моем присутствии на этом поганом языке!» После этого с дочкой А.Н. Бенуа случился приступ: «Она вскочила, подошла к дяденьке и стала в истерике на него кричать ужасные слова. „Кровопийцы, мерзавцы, убийцы!.. — так и посыпались!.. — Мало вам пролитой крови? Бог вас накажет!!!“ Несчастный Леонтий от такой неожиданности совсем оторопел… Насилу Атечку оттащили и увели в другую комнату, где с ней сделался

---

[1] РГИА. Ф. 1284. Оп. 47. Д. 363. Л. 3 — 4 об.

[2] *Булдаков В.П.* Хаос и этнос. Этнические конфликты в России, 1917–1918 гг.: условия возникновения, хроника, комментарий, анализ. М., 2010. С. 52–53, 63.

[3] Там же. С. 36–37.

форменный припадок. А вообще все менее выносима семейная атмосфера»[1]. Война и пропаганда разливали в обществе ненависть, создавая почву для будущих социальных, этнических и политических конфликтов. Патриотическая пропаганда и действия военных властей, в основе которых лежала эксплуатация образов внешнего и внутреннего врага, способствовали распространению массовых фобий, не дававших воспринимать действительность рационально и порождавших абсурдные слухи, которые по мере ухудшения внутриполитической ситуации в стране стали переноситься на представителей дома Романовых. Общая социально-экономическая ситуация обостряла застарелые этнические конфликты и превращала национальный вопрос в революционизирующий фактор.

Слухи и настроения городских обывателей: между войной, политикой и повседневностью

На протяжении Первой мировой войны физиономию российских городов неоднократно перекашивало: сначала истеричными псевдопатриотическими манифестациями, организованными «союзниками» и полицией, затем продовольственными погромами, под конец страхом ожидавшейся революции. При этом постоянно менялась социально-демографическая структура городского населения: уход мужчин на фронт повысил активность женщин, которые заменяли своих мужей и братьев не только у станков, но и в кабинах трамваев, у прилавков магазинов и пр. Источником конфликтов стали запасные, которые вызывающе вели себя в публичных местах перед отправкой на фронт. С весны 1915 г. города наводнили беженцы, что обострило социально-экономическую ситуацию, а в отдельных регионах привело к росту эпидемий. Помимо ухудшения продовольственной ситуации, кризис городской повседневности проявлялся в недостатке топлива, перебоях в трамвайном движении, росте цен на квартиры. Однако в психологическом отношении чуть ли не самым тяжелым оказался информационный кризис — в условиях военной цензуры, получившей право не пропускать сообщения как на политические, так и на острые экономические темы, обыватели плохо представляли себе объективную ситуацию в империи, вследствие чего распространялись всевозможные конспирологические версии о кознях тайных темных сил. Современники переставали верить газетам и учились читать между строк. Так, в сентябре 1914 г. В.А. Городцов учил директора Исторического музея в Москве князя Н.С. Щербатова правильно читать газеты: «Читайте между строк. Если бы мы двигались вперед, мы занимали бы города, и об этих фактах сейчас сообщалось бы. Таких сообщений нет… Писали, что немцы перешли в наступление; о прекращении

[1] *Бенуа А.Н.* Мой дневник… С. 60.

этого наступления ни разу не говорилось; значит, оно продолжается, а если это так, то, по моему расчету, немецкие передовые отряды должны быть уже недалеко от Варшавы»[1]. Недоверие к газетам порождало страх и слухи: «Страх всегдашний спутник неправды» — процитировал У. Шекспира В. А. Городцов[2].

Вряд ли можно полностью согласиться с позицией канадской исследовательницы Корин Годэн, считающей, что «слухи порождались не недостатком информации и не особенной доверчивостью малограмотных слоев, а самой войной»[3]. Действительно, война как время экстремальной повседневности создавала особенную эмоциональную обстановку, способствовавшую зарождению и распространению слухов вне зависимости от информационной политики государства, но в условиях недостатка официальных сведений, падения доверия к подцензурной печати для них формировалась исключительно благодатная почва. Главным образом это справедливо для городской письменной среды, в меньшей степени — для устной деревенской. Но следует учитывать значение информации, поступавшей из городов в деревни: городские слухи производили особенное впечатление на сельских жителей, поднимая еще выше градус абсурда.

Следует заметить, что официально предварительной цензуры в России не было, она была отменена Временными правилами о печати (указами Николая II Сенату в ноябре 1905-го — апреле 1906 г.), цензурные комитеты были переименованы в комитеты по делам печати, однако давление на прессу сохранялось. Штрафами, конфискациями тиражей и арестами редакторов и издателей власти сохраняли контроль за периодикой. За 1913 г. было закрыто 20 газет[4]. Начало войны также сопровождалось закрытием периодических изданий. 20 июля 1914 г. было введено «Временное положение о военной цензуре», предусматривавшее предварительный просмотр всех произведений печати в местах военных действий и «частично» вне их, при этом цензурные обязанности возлагались на военные власти. Последнее обстоятельство вызывало возмущение Совета министров, который, обвиняя Ставку в том, что она не справляется со своими обязанностями и пропускает крамольные публикации, летом — осенью 1915 г. обсуждал возможности по ужесточению цензурных правил. Однако то, что властям казалось недостаточным, в обществе, наоборот, воспринималось в качестве перегибов. З. Н. Гиппиус считала, что с началом войны цензура в России стала строже, чем во времена Николая I: «У нас цензура сейчас — хуже николаевской раз в пять. Не „военная“ — общая.

---

[1] *Городцов В. А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 111.

[2] Там же. С. 112.

[3] *Gaudin C.* Circulation and Production of News and Rumor in Rural Russia during World War I // Russian Culture in War and Revolution, 1914–1922. Book 2. Political Culture, Identities, Mentalities, and Memory. Bloomington, Indiana, 2014. P. 55.

[4] *Рейфман П. С.* Цензура в дореволюционной, советской и постсоветской России: в 2 т. Т. 1. Вып. 3: 1855–1917 гг. / Науч. ред. Е. С. Сонина; библиогр. ред. Н. В. Градобоева; предисл. И. А. Пильщикова и В. С. Парсамова. М.: Пробел-2000, 2017. С. 194.

Напечатанное месяц тому назад — перепечатать уже нельзя. Рассказы из детской жизни цензурует генерал Дракке… Очень этичен и строг»[1].

Цензура проявлялась не только в запрещении публикации военных сведений и политических статей оппозиционной направленности или замалчивании негативных фактов внутренней жизни, но и в навязчивой патриотической пропаганде, которая со временем все больше и больше раздражала обывателей. Музыковед-историк Н. Ф. Финдейзен записал в дневнике 13 июня 1915 г., когда в обществе распространялись слухи о «великом отступлении»: «Начинается обычное лганье. Всякий неуспех выставляется в розовом свете. О главном замалчивают. Снова печать сведена на роли гимновоспевательницы. Скучно, тошно, больно»[2].

Контроль за печатью усиливался по мере ухудшения общественно-политической ситуации в стране, и в марте 1916 г. Дума пошла на утверждение законопроекта о военной цензуре на всей территории империи. Белые полосы вырезанных колонок в газетах стали характерной особенностью российской прессы. В этих условиях устная коммуникация оставалась единственным способом обмена информацией на актуальные политические темы, однако если наиболее абсурдные сведения игнорировались и отфильтровывались рационально мыслящими современниками, то та информация, которая, по мнению обывателей, соответствовала фактам и сложившимся представлениям о ситуации в стране, становилась достоянием письменного текста. Не случайно многие газеты заводили у себя рубрику «Слухи и вести».

Со временем слухи образовывали тематические группы и складывались в нарративы. В некоторых случаях превращались даже в мифемы, формируя целостный образ верховной власти. В. В. Кабанов считал, что слухи обречены играть важную информационно-коммуникативную роль в обществе, где нет свободы печатного слова: «В обществе, где нет гласности, слухи становятся обязательным, непременнейшим фактом общественной жизни. Они необычайно активно распространяются и нередко переходят в мифы»[3]. При этих условиях историк считал слухи «объективной стихийной неизбежностью».

Разная степень достоверности информации подводит к проблеме классификации слухов. Одним из первых напрашивается деление их на достоверные и недостоверные. Вместе с тем такое противопоставление во многом лишено практического смысла для исследователя массового сознания, так как в восприятии современников достоверным могло казаться то, что современный историк отнесет на счет безусловной выдумки. При этом зачастую именно «недостоверные» слухи становились стимулами социальных действий, производили больше эмоциональной и политической энергии. Таким образом, связь с фактом слабо коррелирует с социально-политической значимостью слуха.

---

[1] *Гиппиус З. Н.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 165–166.

[2] *Финдейзен Н. Ф.* Дневники. 1915–1920. СПб., 2016. С. 154.

[3] *Кабанов В. В.* Источниковедение истории советского общества: Курс лекций. М., 1997. С. 360.

В.В. Кабанов, изучая слухи как источник информации, употребил в качестве одного из вариантов их классификации деление на «пессимистические» и «оптимистические», выполняющие разные социальные функции в зависимости от вызываемой ими эмоциональной реакции[1]. В качестве других вариантов классификации предлагалось деление на «сбывшиеся» и «несбывшиеся», слухи как причины и катализатор событий, «слухи-формулы», передававшие массовое представление о функционировании какого-то явления, «слухи-легенды», оставшиеся в исторической памяти народа. Все это указывает на многофункциональную роль слухов в обществе, наличие в пространстве слухов собственной морфологической структуры: некоторые из них привязаны к конкретному событию, являются реакцией на него определенной группы лиц. К такого рода слухам можно отнести дезинформацию, запущенные журналистами «газетные утки». Отличительной характеристикой подобной группы является их узкая «специализация». Как правило, они не получают широкого распространения в обществе и долго не живут, теряя актуальность по прошествии некоторого времени. В годы войны дезинформация нередко приобретала тактический характер, путая планы противника. В прифронтовой зоне немцы практиковали разбрасывание с аэропланов листовок с текстами, способными подорвать боевой дух солдат. В частности, в листовках говорилось о предательстве внутри офицерского корпуса. Были случаи, когда таким образом немцы заранее сообщали русским солдатам о местах их дальнейшей дислокации. Понимая роль дезинформации, ее использовало и русское офицерство. Так, в своих мемуарах полковник П.А. Половцов рассказал, как в 1916 г. от лица командующего германской 8-й кавалерийской дивизией Эберхарда Шметтова он отправил телеграмму с целью недопущения сокращения казачьей конницы. Командующий якобы радовался сокращению русской кавалерии. Текст перехваченной телеграммы был доведен до государя, и поэтому он якобы отказался подписать соответствующий приказ[2]. Вне зависимости от истинных причин сохранения кавалерии ясно, что Половцов понимал важность слухов в военно-политических делах. Хотя подобного рода информация, имевшая узколокальный характер, обычно была мало актуальна в тылу, когда речь заходила о дискредитации верховной власти, ее значимость для широких слоев населения резко возрастала. В этом случае повышалась универсальность слуха, он мог использоваться не по прямому назначению, а в качестве общей когнитивной схемы, объяснявшей те или иные события. Часто в основе подобных когнитивных слухов лежали фольклорные, религиозно-мифические или конспирологические мотивы. Как правило, автором подобного рода слухов был сам народ.

---

[1] *Кабанов В.В.* Источниковедение истории советского общества… С. 370.

[2] *Половцов П.А.* Дни затмения (Записки главнокомандующего войсками Петроградского военного округа генерала П.А. Половцова в 1917 году). М., 1999. С. 20.

Вопрос об источниках слухов был актуален для современников, сохраняет он актуальность и для современных исследователей. Так, например, Ф. А. Гайда ответственной за распространение слухов называет либеральную прессу, с чем соглашается О. Р. Айрапетов[1]. Едва ли это мнение можно признать обоснованным. В данном случае идеологические взгляды историков затмевают критический анализ источников: в условиях цензурной политики властей и правая, и центристская, и левая печать вынужденно обращалась к малодостоверным, устным источникам информации, заводя на своих страницах колонки под названием «слухи». Что же касается масштабов и степени скандальности публикуемых материалов, то, вероятно, либеральная пресса в этом плане уступит место неофициальным социалистическим изданиям, а также черносотенным газетам, которые в неприкрытой форме занимались юдо- и германофобской пропагандой, разжигая ненависть среди российских подданных. Одно из первых обвинений в адрес либеральной прессы о распространении слухов с целью дестабилизации внутренней обстановки принадлежит черносотенной «Земщине», которая 23 июля 1914 г. отругала либеральные издания за публикацию недостоверной информации о грядущей отставке министра внутренних дел Н. А. Маклакова, неоднократно выступавшего за роспуск Государственной думы. Те слухи были вызваны иллюзиями о наступившем после начала войны единении власти и общества, что предполагало удаление наиболее одиозных министров. В сентябре 1915 г., после отказа царя идти на диалог с Прогрессивным блоком и прерывания сессии Думы, уже сама «Земщина» распространяла слух о скором введении в России предварительной политической цензуры, объясняя это тем, что «нельзя не понимать того страшного вреда, который причиняет печать, захваченная жидами»[2]. Подобные заявления на страницах газеты, субсидировавшейся из «рептильного фонда» МВД[3] и позиционировавшей себя в качестве патриотической, только дискредитировали верховную власть и монархическое движение, которое к концу 1916 г. оказалось в тяжелом кризисе. На секретном заседании Совета министров 16 августа 1915 г. министр внутренних дел кн. Н. Б. Щербатов и государственный контролер П. А. Харитонов признавали, что «„Земщина“ и „Русское Знамя“ вредят не меньше разных „Дней“, „Ранних Утр“ и т. п. органов»[4]. Министр иностранных дел С. Д. Сазонов крайне

---

[1] См.: *Гайда Ф. А.* Либеральная оппозиция на путях к власти (1914 — весна 1917). М., 2003; *Айрапетов О. Р.* Участие Российской империи в Первой мировой войне (1914–1917). Т. 2: 1915 — апогей. М., 2014.

[2] Земщина. 1914. 13 сентября.

[3] Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства. Т. 7. М.; Л., 1927. С. 231.

[4] *Яхонтов А. Н.* Тяжелые дни (Секретные заседания Совета министров 16 июля — 2 сентября 1915 года) // Архив русской революции. Т. XVIII. Берлин, 1926. С. 76. В первоначальных записях А. Н. Яхонтова фраза П. А. Харитонова была лаконичнее: «„Земщина“ и „Русское знамя“ раздражают» (Совет министров Российской империи в годы Первой мировой войны. Бумаги А. Н. Яхонтова. СПб., 1999. С. 223).

вредными считал суворинские «Новое» и «Вечернее время», предлагая их «прихлопнуть», однако Харитонов сообщал, что эти две газеты «неприкасаемые», так как находятся под особым покровительством Ставки». Главноуправляющий землеустройством и земледелием А.В. Кривошеин предлагал нанести удар по желтой прессе: петроградской и московской «Копейкам»[1]. В августе 1915 г. во время всеподданнейшего доклада А.В. Кривошеина император «выражал неудовольствие по поводу резкого тона газет и вмешательства их в неподлежащие сферы»[2]. Как следствие, министры обсуждали закрытие крайне правых и крайне левых газет с целью устрашения издателей, а также возможности по ужесточению цензуры, игнорируя тот факт, что именно последняя подстегивала фантазию газетчиков. Не желая допускать независимость «четвертой ветви власти», министры обвиняли всю прессу в «распространении слухов в заведомо агитационных целях». «Особенно надо обратить внимание на статьи, которыми в обществе возбуждаются неосновательные надежды и ожидания. Здесь вранье с расчетом — оповестить, а потом свалить на правительство или, еще хуже, на влияния», — возмущался министр юстиции А.А. Хвостов[3].

Если провокационные слухи распускались черносотенными изданиями в целях борьбы с «внутренним врагом», то либеральная пресса в большей степени оказывалась заложницей цензурных запретов и собственных иллюзий на то, что власти в конце концов пойдут навстречу обществу. Однако следует признать, что периодическая печать в целом создавала для читателей гнетущую психологическую атмосферу. Историк и издатель С.П. Мельгунов, тесно сотрудничавший с газетой «Русские ведомости», во время выступления в московском обществе деятелей периодической печати 28 февраля 1916 г. говорил: «Наша печать за самым малым исключением повинна в тяжком грехе распространения тенденциозных сведений, нервирующих русское общество, культивирующих напряженную атмосферу шовинистической вражды, при которой теряется самообладание и способность критически относиться к окружающим явлениям»[4]. Тем не менее, изучая общественное сознание указанного периода, нельзя не отметить, что вся пресса в совокупности публиковала лишь малую толику тех слухов, которые блуждали на рынках, в очередях, в трамваях, пересказывались в светских салонах. Поэтому считать даже желтую прессу главной «фабрикой слухов» будет большой ошибкой.

В Государственной думе любители кулуарных пересудов встречались во всех партиях. Известно, что монархист В.М. Пуришкевич вносил собственную лепту в дискредитацию правительства не только обсуждением политических

---

[1] Совет министров Российской империи в годы Первой мировой войны. Бумаги А.Н. Яхонтова. СПб., 1999. С. 217.

[2] *Яхонтов А.Н.* Тяжелые дни… С. 75.

[3] Там же.

[4] *Мельгунов С.П.* О современных литературных нравах. М., 1916. С. 65.

сплетен, но и оформлением их в стихотворную форму с последующим чтением крамольных строк своим знакомым. Так, например, в сентябре 1916 г. после известия о назначении А. Д. Протопопова министром внутренних дел он прочитал в стенах Думы стихотворение собственного сочинения «Штюрмерия»:

От беспрерывной «Штюрмерии»
Сейчас нельзя ни встать, ни сесть,
Пускай нет многого в России,
Зато министров всех — не счесть!
В ней государственный порядок
Системой прочно водружен;
К портфелю нынче всякий падок
И, как ничто, доступен он…[1]

Д. И. Стогов, И. С. Розенталь указывают на роль светских, в первую очередь правомонархических, салонов в распространении слухов[2]. Л. А. Тихомиров причислял к «правящим силам» Императорский яхт-клуб, ставя его выше правительства и Думы, подчеркивая его влияние «в придворных сферах»[3]. Министерство внутренних дел интересовалось содержанием «клубных разговоров», хотя последние и характеризовались информаторами как басни[4]. Однако следует учитывать специфику аристократических сплетен, которые редко становились достоянием широких народных слоев. Б. И. Колоницкий, разбирая различные версии о «фабрике слухов», которую относили на счет германской пропаганды, правой, либеральной или революционной агитации, отмечает «горизонтальный», а не «вертикальный» характер их распространения, а также обращает внимание на сближение «народного» и «элитарного» пространства слухов в годы мировой войны[5]. Обычно сторонники конспирологической интерпретации слухов в качестве аргумента указывают на невероятно быстрое их распространение, в чем усматривают хорошо организованную работу агитаторов. Вместе с тем очевидно, что, несмотря на агитационную работу, слух лишь в том случае будет подхвачен широкими слоями, если будет соответствовать образам и представлениям масс. В этом случае наиболее жизнеспособными оказываются не искусственные пропагандистско-диверсионные слухи, а те, которые возникли внутри массового сознания. При этом есть рациональное объяснение невероятной скорости распространения актуальной информации. В. В. Кабанов связал ее со свойствами математических чисел, ссылаясь

---

[1] Дневник члена Государственной Думы В. М. Пуришкевича. Рига, 1924. С. 115.

[2] См.: *Стогов Д. И.* Правомонархические салоны Петербурга-Петрограда (конец XIX — начало XX века). СПб., 2007; *Розенталь И. С.* Политические клубы, кружки, салоны // Очерки русской культуры. Конец XIX — начало XX века. Т. 2: Власть. Общество. Культура. М., 2011. С. 192–195, 197–199.

[3] Дневник Л. А. Тихомирова… С. 111.

[4] Донесения Л. К. Куманина из Министерского павильона Государственной думы, декабрь 1911 — февраль 1917 года // Вопросы истории. 1999. № 7. С. 8.

[5] *Колоницкий Б. И.* «Трагическая эротика»… С. 530–551.

на Я. И. Перельмана, доказавшего, что провинциальный 50-тысячный город может узнать свежую новость в течение 1–2,5 часов[1].

Помимо коммуникативной функции, массовые слухи обладали еще одним характерным свойством — прогностицизмом. Случалось, что слух о чем-то предвосхищал само событие. Учитывая, что природа массовых слухов была связана с некими формами коллективного бессознательного, основывалась на архетипическом уровне мышления, массовое сознание в слухах продуцировало вытекавшие из логики современных событий вероятные варианты развития. В этом проявлялась способность массового сознания интуитивно предугадывать будущее. Вместе с тем отрицать влияние массовых слухов на развивающиеся события тоже нельзя. Как будет показано в дальнейшем, власти реагировали на слухи, порой совершенно абсурдные, и, пытаясь предотвратить предсказанные в них события, сами того не желая, приближали их. Тем самым реализовывался упоминавшийся принцип «самоисполняющегося пророчества».

Несостоятельность попыток конспирологическо-политтехнологической интерпретации происхождения и влияния слухов демонстрируется вариативностью когнитивных моделей, разных для тех или иных социальных слоев, для города и деревни. Вместе с тем в этих моделях обнаруживаются и общие черты. Чаще всего общими для деревенской и городской среды являлись слухи как когнитивные модели, направленные на поиск виновных. Один из самых распространенных мотивов слухов в годы Первой мировой войны — это предательство. Причем если Генеральный штаб способствовал распространению информации о деятельности шпионов в России, то в народе ходили слухи о шпионах среди высшего командного состава армии, а также в правительстве. Типичным было обвинение правительства в сознательном провоцировании революции с целью либо перехода к реакции, либо, в зависимости от периода распространения, заключения сепаратного мира. Подобная когнитивная схема применялась представителями разных социальных групп. В период рабочих беспорядков июня — июля 1914 г. в Петербурге вину за их разгар горожане возлагали на товарища министра внутренних дел В. Ф. Джунковского[2]; весной 1915 г., когда начинается кризис снабжения городов, растет социальная напряженность, виновным уже назначается министр внутренних дел Н. А. Маклаков: «Шингарев выразил убеждение, что Маклаков занимается провокацией, стараясь вызвать недовольства и беспорядки, чтобы построить свою карьеру на подавлении их. Я сам почти уверен, что это так», — писал в своем дневнике петроградский городской голова И. И. Толстой[3]; в феврале 1917 г. распространяется слух о том, что февральские события — это продуманная провокация

[1] *Кабанов В. В.* Источниковедение истории советского общества… С. 381.
[2] *Никольский Б. В.* Дневник. 1896–1918. Т. 2: 1904–1918. СПб., 2015. С. 194.
[3] *Толстой И. И.* Дневник. 1906–1916. СПб., 1997. С. 611.

нового министра внутренних дел А. Д. Протопопова, который заблаговременно расставил на крышах пулеметы с целью расстрела манифестантов. Живучесть подобной когнитивной схемы кроется, по-видимому, в психологии обывателей, точнее — в человеческом страхе перед предательством. В эпоху смуты, когда рушатся системные основы общества, обыватель, теряя почву под ногами, опасаясь удара в спину, впитывает в себя всевозможные конспирологические теории. Поэтому изучение слухов должно идти одновременно с изучением массовых настроений обывателей, учитывать наиболее резонансные общественно-политические события и их восприятие массовым сознанием. За июль 1914-го — февраль 1917 г. мы можем выделить несколько хронологических отрезков, когда наиболее заметно менялись массовые настроения городских обывателей: период мобилизации и первых боев в Галиции и Восточной Пруссии (июль — сентябрь 1914 г.), во время которого в прессе доминировали оптимистические слухи о военных победах русской армии, надежды на скорую победу (при сохранении тем не менее значимой доли пессимистических слухов, вытекавших из неприятия войны народом); октябрь 1914-го — лето 1915 г. — период распространения пессимистических настроений, массовой шпиономании, осознание затяжного характера войны; осень 1915-го — весна 1916 г. — время усиления предчувствий внутриполитической катастрофы; лето 1916 г. — короткий промежуток надежд, связанных с Брусиловским наступлением; осень 1916-го — зима 1917 г. — предчувствие надвигающейся революции. В целом вектор массовых настроений был обращен в сторону постепенной иррационализации. Вместе с тем на каждом отрезке обнаруживается целый букет иногда взаимоисключающих эмоций и представлений, динамику массовых настроений нельзя описать однолинейной кривой, хотя на каждом из этапов можно выделить доминирующую эмоцию, настроение.

В городской среде понимание причин войны было иным, нежели в деревенской. Уже отмечалось, что среди крестьян ходили фольклорные версии мирового конфликта, объяснявшие его то неудачным сватовством, то проигрышем в карты, продажей России за бочку золота либо и вовсе апокалиптическими версиями об антихристовых намерениях царя истребить весь народ. Однако и среди аристократии были свои иррациональные слухи, объяснявшиеся значимостью мистических настроений. Так, в окружении Анны Вырубовой были уверены, что война началась из-за того, что Распутин, на которого в июне было совершено покушение, отсутствовал в Петербурге, иначе бог вдохновил бы его на предотвращение конфликта. «Скептики» по этому поводу возмущались: «Только посмотрите, от чего зависит судьба империй. Шлюха в силу личных мотивов мстит грязному мужику, и царь всея Руси сразу теряет голову. И вот, пожалуйста, весь мир охвачен огнем»[1].

[1] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 71.

В Департамент полиции поступали сведения об отправлявшихся в армию письмах, в которых ответственность за развязывание войны возлагалась на главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Как правило, в них разыгрывалась понятная народу карта доброго царя и обманувшего его злого окружения. Иногда эти письма составлялись от имени самого государя. В одном из таких царских обращений в 1914 г. говорилось следующее: «Солдаты! В самых трудных минутах своей жизни обращается к вам, солдатам, ваш царь. Возникла сия несчастная война против воли моей: она вызвана интригами великого князя Николая Николаевича и его сторонников, желающих устранить меня, дабы ему самому занять Престол. Ни под каким видом я не согласился бы на объявление сей войны, зная наперед ее печальный для матушки России исход; но коварный мой родственник и вероломные генералы мешают мне в употреблении данной мне Богом власти, и, опасаясь за свою жизнь, я принужден выполнять все то, что требуют от меня. Солдаты, отказывайтесь повиноваться вашим вероломным генералам, обращайте оружие на всех, кто угрожает жизни и свободе вашего царя, безопасности и прочности дорогой Родины. Несчастный ваш царь Николай II»[1]. Джунковский полагал, что это письмо являлось примером немецкой пропаганды, которая разбрасывалась с аэропланов в прифронтовой полосе. Однако недоверие к великому князю Николаю Николаевичу испытывали и российские элиты.

Как уже отмечалось, период мобилизации оставил у современников неоднозначные впечатления. Вопреки официальным сообщениям прессы о всеобщем ликовании и патриотическом подъеме обыватели в частной переписке делились друг с другом совершенно иными наблюдениями, обвиняя прессу в искажении фактов, рисуя противоположные картины всеобщего горя, охватившего простых людей[2]. Другие находили объяснение изменившейся социально-психологической обстановке во временном прекращении продажи питей: «Народ в дни мобилизации не пил, т.е. ему не давали пить, и это есть результат того спокойствия и серьезности, какие мы наблюдали в настоящую войну»[3]. При этом определенные круги политиков, интеллигенции, поддавшейся на патриотическую пропаганду, вызывали осуждение у критически мыслящих современников: «Конечно, Вильгельм II не заслуживает снисхождения, но ведь от этого и наша патриотическая вакханалия не становится „приемлемее“ и приличнее»[4].

Все это угнетало сознание определенной части общественности, создавая тягостное ощущение захватывающей все области лжи: «И сколько сейчас разлито вокруг отчаяннейшей лжи. Всюду ложь под самыми благовидными предлогами,—и в обществе, и в печати, и где хочешь. Ложь благонамеренная,

---

[1] *Джунковский В.Ф.* Воспоминания. Т. 2. С. 421.

[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 14, 48.

[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 977. Л. 6.

[4] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 42.

с которой очень трудно бороться. С одной стороны, для возбуждения энтузиазма в массах, выставлены лживые девизы, с другой — тщательно прикрываются все большие и малые недостатки государственного механизма, и выходит, действительно, как будто война представляется достаточно стройной картиной борьбы за право, свободу и цивилизацию»[1].

Вместе с тем образованные слои оказались в большей степени подвержены пропаганде, чем малограмотное крестьянство. В перлюстрированной корреспонденции лета — осени 1914 г. встречаются высказывания, как будто переписанные из центральных газет. Общей уверенностью было, что война не может продлиться долго по экономическим причинам. Некий наивный москвич писал 31 июля 1914 г.: «Война, конечно, не может продолжаться долго, так как через три месяца будет мировой крах и Германия закричит „караул"»[2]. Успехи русской армии в Галиции подкрепляли уверенность обывателей в верности данных прогнозов, однако неудача в Восточной Пруссии, наоборот, вселяла в сердца патриотов беспокойство. Вместе с тем, пересказывая содержание газет, обыватели успокаивали друг друга, приводя чисто рационалистические доказательства скорого окончания войны. В декабре 1914 г. надежда на скорый исход мирового конфликта еще сохранялась, но уверенности в безусловной победе союзников поубавилось, что в письмах стало синтаксически выражаться использованием конструкции «либо — либо»: «Война не может продолжаться дольше чем 4–5 месяцев. По вычислениям статистиков шестимесячная европейская война принесет Европе чистого убытка 52 млрд рублей. Продолжать ее дольше чем 10 месяцев при таких условиях нельзя. Через 4–5 месяцев либо Германия будет разбита, либо создастся для всех держав безвыходный тупик, который придется разрешить миром»[3].

Очень скоро обыватели столкнулись с противоречием официальных и неофициальных сведений о войне. Печать молчала об истинном положении дел в Восточной Пруссии, однако раненые воины распространяли информацию, угнетавшую современников. В этом случае оставалось либо не верить подцензурной печати, либо сведения о неудачах русских войск относить на счет происков вражеских агентов. Часть населения выбирала второй вариант, и параллельно распространявшимся слухам о военных неудачах множились слухи о массированной германской пропаганде и еврейской агитации. У некоторых подобные иллюзии, нежелание мириться с очевидным сохранялись и в январе 1915 г.: «Несмотря на постоянные, время от времени повторяющиеся слухи о некоторых неуспехах у нас, я в самом оптимистическом настроении, так как убежден, что это дело немецких рук и евреев, которые пользуются всем, чтобы поселить в обществе неуверенность в конечном исходе кампании»[4].

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 996. Л. 1540.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 992. Л. 1109.
[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 980. Л. 61.
[4] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1010. Л. 49.

Впрочем, когда в мае 1915 г. начинается массовое «великое отступление» русской армии, оценка «некоторых неуспехов» меняется. Однако, даже не сомневаясь в благоприятном окончании войны, очень многие представители образованных слоев начинали задумываться, что же она привнесет во внутреннее устройство России. Представители социал-демократии, особенно большевики-пораженцы, опасались, что победа в войне может вызвать реакцию во внутренней политике. Другие весьма аргументированно возражали, имея в виду подъем народного духа и свободолюбия, ссылаясь на опыт 1812 г., приведший к возникновению движения декабристов. Представитель университетских кругов писал своему знакомому-оппоненту в ноябре 1914 г.: «Всякая революция вызывает контрреволюцию. Война окончится и крестьянство сдвинется с места психически, внутренне. Раненые, убитые, изувеченные — все это оставит след. Наконец, крестьянин чувствует, что это он „спас родину“, что это он завоевал новую землю. Отсюда идея награды, психическое „право на награду“, компенсации. И если крестьянину ничего не дадут, то он начнет требовать… И это понятно. Поговорите с ранеными солдатами и вы увидите (я с ними лежал в больнице две недели и видел их сотни), что у всех живет одно убеждение, что эта война, подобно японской, даст что-то новое… И к интеллигенции, пролетариату еще прибавится крестьянство. Чего-же при этих условиях бояться реакции?»[1] Житель Ярославля в декабре 1914 г. также не сомневался в революции в России, которая, по его мнению, должна была произойти несмотря на итоги мирового конфликта: «Должен тебе сообщить новость, которая тебе, вероятно, не пришла бы в голову: когда кончится война, в России непременно будет большая революция. Дядя не хочет дождаться ее и думает уехать сейчас же по окончании войны. Я, конечно, поеду с ним. Правительство слишком угнетало и обманывало народ. С самого начала войны продажа алкоголя совершенно запрещена, что тоже много способствует революции. Дядя боится, что рабочие восстанут против своего начальства»[2]. Впрочем, более прозорливым современникам еще летом 1914 г. революция казалась неизбежной при любом исходе войны, которая ее лишь оттягивала: «Нужно быть готовым к революции или к крайне, во всяком случае, интенсивному противоправительственному движению, каковыми бы ни были результаты войны», — говорил петербургский голова И. И. Толстой 27 августа 1914 г. собравшимся у него дома «общественным деятелям»[3].

Условно тех, кто верил в революционную угрозу после войны, можно представить двумя группами. Первые, преимущественно представители либеральных кругов, считали, как и Толстой, что любое окончание войны всколыхнет народные массы и вызовет революционное брожение, для противодействия

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 979. Л. 72.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 980. Л. 35.
[3] *Толстой И. И.* Дневник. 1906–1916. СПб., 1997. С. 544.

которому властям придется пойти на уступки общественным силам. Другие — как правило, представители консервативных кругов — считали, что лишь поражение в войне таит в себе опасность революции, так как победа приведет к сплочению власти и общества. В октябре 1914 г. протоиерей И. Восторгов писал архиепископу Антонию в Харьков: «Если не будет победы, нас ждут ужасы новой революции»[1]. Позиция консерваторов демонстрировала плохое знание массовой психологии, впрочем, по мере развития событий в тылу и на фронте пессимистические прогнозы охватывали все более широкие слои общества.

Тем не менее до сентября 1914 г. в целом пресса фиксировала преобладание оптимистических настроений в обществе. 16 августа в статье «Настроение Петербурга» корреспондент «Петербургского листка» писал: «Последние наши успехи в Восточной Пруссии сильно отразились на настроении столицы: на скачках, на островах и в ресторанах масса публики, оживилась торговля в Гостином и Пассажах, воспрянули духом и биржевые тузы»[2]. Вместе с тем в августе появились первые тревожные упоминания о стремлении немецкой партии при дворе заключить сепаратный мир[3]. Период эйфории отдельных городских слоев закончился осенью 1914 г. Хотя в своей массе население еще не делало открыто пессимистических прогнозов, частная корреспонденция все чаще начинает фиксировать появление слухов о сепаратном мире[4]. Отношение к этим слухам в городской среде было критичным, но и печатное слово уже не вселяло былой веры. «У нас носятся упорные слухи, что наши хотят заключить с Германией сепаратный мир, что в высших сферах сильно немецкое течение. Избави нас бог от такой глупости», — писал в октябре 1914 г. священник О.М. Никольский из Москвы П.В. Гурьеву[5].

Вероятно, толчком к разговорам о сепаратном мире стал появившийся еще в августе 1914 г. слух о том, что великий герцог Эрнст-Людвиг Гессенский, брат императрицы Александры Федоровны, прислал ей письмо, в котором предупреждал, что если Германия будет разбита, то в стране обязательно вспыхнет революция, монархия будет заменена республикой, что приведет в скорейшем времени и к революции в России. Императрица с императором были напуганы этим прогнозом, и Николай II немедленно вызвал в Царское Село главнокомандующего, который якобы ответил, что он сам не против заключения сепаратного мира, но армия ему этого сделать не позволит. Кулуарно письмо обсуждали разные деятели, одни верили, другие нет. И.И. Толстой был среди последних, однако он не мог не обратить внимания на то, что сам по себе слух отражал тревожные общественные настроения: «Вздорность слуха для меня

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 996. Л. 1575.

[2] Петербургский листок. 1914. 16 августа.

[3] *Городцов В.А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 118–119.

[4] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 996. Л. 1573.

[5] Там же.

очевидна, но думается, что само возникновение его симптоматично»[1]. Слухи о сепаратном мире подпитывались нежеланием низших слоев идти на войну, о чем с тревогой сообщали друг другу представители «патриотической» общественности. Л. А. Тихомиров записал в дневнике о «скверном настроении народа», что «по рынкам, по лавкам будто бы говорят, что не хотят идти на войну, не пойдут на призыв, разграбят лавки и устроят забастовку»[2].

Впрочем, у слухов на тему мира была и оптимистическая версия. В этом случае мир запрашивала Германия ввиду признания проигрыша в войне, исчерпания своих экономических и людских ресурсов. В конце ноября 1914 г. по Петрограду пронесся слух, что Вильгельм II взят в плен и уже доставлен в столицу. Находились свидетели, которые видели его в Петровском парке. Как выяснилось, за настоящего кайзера взбудораженное сознание свидетелей приняло загримированного актера, участвовавшего в съемках фильма «Заговор против короля Альберта»[3].

В январе 1915 г. появилась новая версия происхождения разговоров о сепаратном мире. Якобы на этот раз инициатива исходила от министра внутренних дел Н. А. Маклакова, который представил императору записку о необходимости скорейшего прекращения войны, так как в России назревает революционное брожение и войска необходимы для подавления политических выступлений[4]. В марте — апреле тема революции получила новое развитие: возник слух (одним из его активных распространителей был М. Горький), что Министерство внутренних дел готовит к окончанию войны крупные беспорядки с тем, чтобы подавить их силой и тем самым не дать разгореться революции[5]. Говорили, что есть опасность более серьезной революции, чем в 1905–1906 гг. Петроградский городской голова И. И. Толстой, обращая внимание на антиобщественную позицию Н. А. Маклакова, находил подобные разговоры не лишенными оснований, отмечая страх министра внутренних дел перед революцией.

На рубеже 1914–1915 гг., когда населению становится известно, что не хватает оружия и боеприпасов для фронта, по стране прокатывается серия показательных расправ с якобы предателями (дела княгини Шаховской, полковника Мясоедова и др.), современников посещают пессимистичные мысли об исходе войны: «Да, видно не судьба нам иметь с таким правительством ничего, кроме позора, проигрыша всех интересов России, — и, вероятно, революций, от которых конечно ни на грош пользы не прибавится. Какая злосчастная эпоха. И какое неумение находить людей. Сухомлиновы, Григоровичи и Сазоновы — прямо пиковые карты», — писал 10 февраля 1915 г. в своем дневнике

---

[1] *Толстой И. И.* Дневник… С. 553.
[2] Дневник Л. А. Тихомирова… С. 58.
[3] Утро России. 1914. 25 ноября.
[4] *Толстой И. И.* Дневник… С. 589.
[5] Там же. С. 623.

Л. А. Тихомиров[1]. Обыватели начинают пересматривать свои представления об истинных причинах войны, вспоминается назревание революции в июле 1914 г. Если в первые недели войны мысль о том, что война спасает монархию от революции, с досадой посещала умы социал-демократов и вызывала вздох облегчения у правых, то к концу 1914 г. она приходит в головы более широких слоев городских обывателей, приводя их к неожиданным предположениям о наличии между Вильгельмом и Николаем некоего сговора. В среде разных социальных групп уже летом появилось мнение о том, что Вильгельм напал на Россию, ожидая, что революция заставит русское правительство пойти на заключение мира; осенью — зимой 1914 г. обыватели задумывались о политической выгоде, которую получил российский император с началом мирового конфликта. Менее радикальная точка зрения была представлена высказываниями о том, что война явилась результатом преступного замысла одних (в одних случаях немцев, в других русских министров) и результатом преступного ротозейства других (русского правительства или лично Николая): «Банда разбойников затеяла войну, другая банда разбойников не сумела вовремя, благодаря своему ротозейству, предотвратить ее и заставили миллионы других, ни в чем невиновных, мирных людей расхлебывать их ротозейство, расплачиваться за их разбойничьи души»[2].

В декабре 1914 г. в письменном пространстве российских столиц был зафиксирован слух о том, что изменницей является императрица Александра Федоровна. В это же время то же самое говорили и о Г. Распутине, поэтому уместно предположить, что распутинский фактор был одной из главных причин дискредитации императрицы, которой с удовольствием указывали на немецкое происхождение, якобы плохое знание русского языка и пр.

Крах иллюзий и оптимистических прогнозов на счет скорого завершения войны сопровождался повышением общей нервозности, в условиях которой обыватели обращали внимание на малозначительные факты, приписывая им мистические значения. Так, в самом начале января 1915 г. случилось два происшествия, которые были интерпретированы мистически настроенными горожанами в качестве тревожных знамений: 2 января А. Вырубова стала жертвой «железнодорожного происшествия», вследствие которого она сломала бедро и вывихнула руку, а 6 января Г. Распутин на Невском попал под тройку и получил ранение головы. Даже рационально мысливший и с сарказмом относившийся к мистикам М. Палеолог не удержался и записал по этому поводу в дневнике: «После несчастного случая с госпожой Вырубовой пять дней назад, это новое предупреждение небес более чем красноречиво! Как никогда, Бог недоволен войной!»[3] Когда в мае 1915 г. до петроградцев дошли известия

[1] Дневник Л. А. Тихомирова… С. 40–41.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 980. Л. 59.
[3] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 233.

о наступлении немцев в Галиции (Горлицкий прорыв, ставший началом «Великого отступления русской армии»), в городе заговорили о прошедшем в некоторых его частях мистическом дожде, вместе с каплями которого с неба падали длинные белые нити, одинаковой толщины и длины, с заостренными и слегка оттянутыми концами[1]. Хотя это природное явление если и имело место на самом деле, могло быть объяснено научно, обыватели предпочитали интерпретировать подобные случаи в качестве знамений.

В это время в небольших провинциальных городах распространялись деревенские слухи, демонизировавшие вдовствующую императрицу, рассказывавшие о ее покушениях на жизнь царевича и пр. Приведем письмо обывателя из Благовещенска, отправленное на имя директора Департамента полиции 7 января 1915 г.: «С дня самого начала военных действий России с Германией, здесь начали распространяться между населением всевозможные нелепые и очень вредные слухи, касающие военных действий… Но вот мне пришлось быть свидетелем такого слуха: один из местных жителей явился к хозяйке квартиры, начал ругать местную полицию и обвинять нижних чинов во взяточничестве… В разговоре же про войну он начал горячиться и он, как заметно из его разговора, настроен враждебно по отношению к России и это все… выражалось в следующих выражениях: — а вы знаете, он говорит, где находится в настоящее время наша государыня императрица Мария Федоровна с бывшим наследником Михаилом Александровичем? и, не дав мне ответить на этот вопрос, он начал доказывать, говоря, что они где-то арестованы якобы за измену России; — затем он продолжает и говорит: а знаете, наш наследник цесаревич Алексей Николаевич находится без ног и по вине якобы государыни императрицы Марии Федоровны? — на это я ему тогда ответил говоря, что это самая наглая и невероятная ложь. — Он говорит: нет, говорит, это правда, так как здесь про это я слышал из самых достоверных источников. — Тогда я стал его просить чтобы он сказал от кого именно он слышал подобный слух? — Он на этот вопрос ответить мне отказался и после чего стушевался. После этого я прекратил с ним разговор и во мне осталось очень тяжелое впечатление, о котором я, как верноподанный своего государя императора, не могу скрывать подобные слухи, которые могут вызвать смуту между здешнего населения и, для предотвращения таковой, довожу до сведения кого следует при посредстве печати»[2].

Массовое распространение абсурдных слухов в городах приводило обывателей в замешательство; они не знали, как реагировать на подобное: то ли смеяться, то ли пугаться. Лаконичнее всего выражались, как всегда, одесситы: «Вообще у нас в городе от всяких слухов так весело, что волосы дыбом становятся», — писал обыватель в феврале 1915 г.[3]

---

[1] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1915. 21 мая.
[2] ГА РФ. Ф. 102. ДП-ОО. Оп. 245. Д. 33. Т. 1. Л. 1–2.
[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1012. Л. 283.

Май 1915 г. оказался наиболее урожайным месяцем по количеству новых пессимистических слухов. Начальник императорской дворцовой охраны генерал А. И. Спиридович так описывал это время: «Петербург кипел. Непрекращающееся отступление в Галиции и слухи о больших потерях подняли целое море ругани и сплетен. Говорили, что на фронте не хватает ружей и снарядов, за что бранили Сухомлинова и Главное Артиллерийское Управление с В. Кн. Сергием Михайловичем. Бранили генералов вообще, бранили Ставку, а в ней больше всего Янушкевича. Бранили бюрократию и особенно министров Маклакова и Щегловитова, которых уже никак нельзя было прицепить к неудачам в Галиции. С бюрократии переходили на немцев, на повсеместный (будто бы) шпионаж, а затем все вместе валили на Распутина, а через него уже обвиняли во всем Императрицу… Она, бедная, являлась козлом отпущения за все, за все»[1]. Английский посол Дж. Бьюкенен противопоставлял психологическую атмосферу двух столиц, отмечая господство пессимистических слухов в северной столице и патриотических настроений в первопрестольной. При этом майский погром в Москве он ошибочно считал проявлением патриотического энтузиазма: «Атмосфера вообще была пессимистическая, в обществе постоянно циркулировали преувеличенные слухи о безнадежном положении нашей армии. В Москве было иначе. Там национальный дух все время стремился к новым усилиям, не смущаясь безнадежными известиями с фронта, а антигерманское настроение было так сильно, что в июне (московский погром датирован по Григорианскому календарю. — *В. А.*) все лавки с немецкими фамилиями и те, владельцы которых были заподозрены в сношениях с немцами, были разграблены»[2]. Отличия в настроениях двух столиц отмечали многие современники. Бюрократическому Петрограду противопоставлялась Москва как центр общественных сил, с которыми связывались надежды на преодоление кризиса. Эта роль была возложена на первопрестольную с лета 1914 г., когда 30 июля на съезде представителей земств был образован Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам, а 9 августа — Всероссийский союз городов. 10 июля 1915 г. оба союза сформировали Главный по снабжению армии комитет Всероссийских земского и городского союзов (Земгор), также находившийся в Москве.

Отчасти весеннюю волну сплетен можно объяснить сезонностью обострений психических заболеваний, но все же череда негативных известий как с фронта, так и с внутриполитической арены борьбы приводили образованных обывателей, пытавшихся предугадать логику дальнейшего развития России, к неутешительным выводам. В обществе более явственно ощущался запах возможной революции. М. Палеолог привел монолог, которым разразился

---

[1] *Спиридович А. И.* Великая война… Кн. 1. С. 151.

[2] *Бьюкенен Дж.* Мемуары дипломата. М., 1991. С. 160.

в его присутствии А.И. Путилов: «Дни царской власти сочтены, она погибла, погибла безвозвратно; а царская власть — это основа, на которой построена Россия, единственное, что удерживает ее национальную целостность… Отныне революция неизбежна, она ждет только повода, чтобы вспыхнуть. Поводом послужит военная неудача, народный голод, стачка в Петрограде, мятеж в Москве, дворцовый скандал или драма — все равно; но революция — еще не худшее зло, угрожающее России. Что такое революция в точном смысле этого слова?.. Это замена, путем насилия, одного режима другим. Революция может быть большим благополучием для народа, если, разрушив, она сумеет построить вновь. С этой точки зрения революции во Франции и в Англии кажутся мне скорее благотворными. У нас же революция может быть только разрушительной, потому что образованный класс представляет в стране лишь слабое меньшинство, лишенное организации и политического опыта, не имеющее связи с народом. Вот, по моему мнению, величайшее преступление царизма: он не желал допустить, помимо своей бюрократии, никакого другого очага политической жизни. И он выполнил это так удачно, что в тот день, когда исчезнут чиновники, распадется целиком само русское государство. Сигнал к революции дадут, вероятно, буржуазные слои, интеллигенты, кадеты, думая этим спасти Россию. Но от буржуазной революции мы тотчас перейдем к революции рабочей, а немного спустя — к революции крестьянской. Тогда начнется ужасающая анархия, бесконечная анархия — анархия на десять лет… Мы увидим вновь времена Пугачева, а может быть, и еще худшие»[1].

Массовое сознание было настолько заражено шпиономанией, что интерпретировало в ее ключе практически все более или менее подходящие факты. Так, например, когда в феврале 1915 г. умер С.Ю. Витте, тут же в светских кругах появился слух, что он покончил жизнь самоубийством, когда стало известно, что он является немецким шпионом. Говорили, что Витте был разоблачен при участии французского посла. Последнему даже пришлось оправдываться перед великой княгиней Марией Павловной, поверившей слуху, и доказывать, что Витте умер естественной смертью от церебральной опухоли (на самом деле от менингита)[2].

Весна 1915 г., на которую пришлась волна беженцев, нахлынувшая в центральные города России, сведения об отступлении русской армии, перебои с поставкой продовольствия в города, ознаменовалась наплывом пессимистических слухов. Причем как появлялись новые сюжеты, так и развивались старые. В апреле произошло такое резонансное происшествие, как взрыв Охтенского порохового завода. У обывателей не было сомнений в том, что это дело рук немецких шпионов. Появился абсурдный слух о том, что шпионы

---

[1] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 311–312.

[2] Там же. С. 275.

провели подкоп под завод и заложили в нем бомбу с часовым механизмом[1]. Было начато расследование, которое, ввиду уничтожения большей части завода и гибели большого числа свидетелей, не смогло установить точную причину взрыва[2]. Тем не менее нужно отметить, что взрывы на Охтенском заводе случались и ранее, причем носили регулярный характер. Подобные происшествия с человеческими жертвами имели место в декабре 1912 г., в январе 1913 г. Генерал В.С. Михайлов, принимавший участие в расследовании инцидента, пришел к выводу о ненадлежащих условиях хранения взрывчатых веществ, в результате чего взрыв плавильного аппарата привел к цепной реакции и уничтожил половину завода[3]. Регулярный характер также носили взрывы на Самарском заводе взрывчатых веществ, имевшие место 14 ноября 1912 г., 1 мая 1914 г., 21 ноября 1916 г.

Одновременно со слухами о диверсиях распространялись и мистические интерпретации произошедшего — как «плохого знака от Бога»[4]. Приехавшего на место взрыва французского посла поразила атмосфера, которую он сам сравнил с видением Дантова ада. Взрыв на Охтенском заводе и связанные с ним слухи породили массовую фобию — боязнь тайных подкопов. Уже в середине апреля в Департамент полиции поступил донос в адрес русскоподданного Германа Эйлерса, от чьего садоводства, расположенного на Безбородкинском проспекте, к артиллерийскому складу и Охтенским пороховым заводам, якобы были прорыты подземные ходы. Полиция обыскала садоводство, но не нашла никаких признаков тайных ходов[5]. Находились свидетели, которые не только видели подкопы, но и своими ушами слышали удары, регулярно доносившиеся из-под земли. В частности, говорили, что в подвале часового магазина Бейлина по ночам ведутся какие-то подземные работы[6]. Шпиономания заметно усиливала невротизацию российского общества.

Весной 1915 г. военные власти пытались отвлечь общественность сфабрикованным делом Мясоедова, однако его раскрутка привела к тому, что обыватели заговорили о предательстве министра внутренних дел Маклакова и военного министра Сухомлинова, чьи фамилии всплыли в деле неудачливого полковника, объявленного шпионом. Вероятно, стоявший за этим обвинением великий князь Николай Николаевич сознательно пытался поквитаться со своим противником-министром, однако политические последствия «дела Мясоедова» в конце концов ударили и по нему, и в целом по династии. М. Палеолог

---

[1] Генерал В.С. Михайлов, 1875–1929: Документы к биографии. Очерки по истории военной промышленности. М., 2007. С. 278.

[2] *Джунковский В.Ф.* Воспоминания. Т. 2. С. 548–549.

[3] Генерал В.С. Михайлов… С. 278–279.

[4] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 293.

[5] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 244. Д. 33. Т. 3. Л. 63 об.

[6] Там же. Л. 84.

записал в дневнике в начале марта: «В общественные круги стала просачиваться новость о предательстве Мясоедова, несмотря на молчание прессы. Как бывает в таких случаях, у людей разыгралось воображение вплоть до поиска соучастников измены среди самых высших рядов императорского дворца. Царит всеобщее возбуждение»[1]. А.И. Спиридович в своих воспоминаниях назвал «историю с Мясоедовым» «главным фактором (после Распутина), подготовившим атмосферу для революции»[2].

Интриганство Николая Николаевича — «Николаши» — окончательно настроило против него Александру Федоровну, которая еще в мае 1915 г. лишь сожалела о том, что у главнокомандующего не ладятся отношения с Распутиным (в ноябре 1914 г. в Москве даже появился слух, что по приказу Николая Николаевича Распутин повешен[3]), а в письме императору от 16 июня высказывалась уже более определенно: «У меня абсолютно нет доверия к Н<иколаше> — я знаю, что он далеко не умен и, так как он пошел против человека, посланного Богом, его дела не могут быть угодны Богу, и его мнение не может быть правильным… Враги нашего Друга — наши собственные враги»[4]. Однако больше всего Александру Федоровну волновали слухи о росте авторитета великого князя Николая Николаевича в обществе. Возмущаясь тем, что он якобы поддерживает Думу и вмешивается во внутренние дела, в то время как император «должен бегать в Ставку и там собирать своих министров», императрица писала Николаю II: «Никто не знает, кто теперь император»[5]. Конечно, в городах слухи не достигали того градуса абсурда, который обнаруживается в деревенских слухах о том, что главнокомандующий арестовал полковника-царя, что сам собирается править, но кое-какие разговоры столичной публики пересекались с представлениями крестьян. В июне царская свита обсуждала сплетню о том, что великий князь собирается арестовать императрицу. Лейб-хирург С.П. Федоров рассказывал, что он как-то застал плачущей великую княжну Марию Николаевну, которая на вопрос о причине своего состояния ответила, что не хочет, чтобы «дядя Николаша» запер «мама» в монастырь[6]. В августе Л.А. Тихомиров зафиксировал в дневнике слух, что Николай II бежал из России в Германию (не уточнялось только, по подземному ли ходу и на каком транспорте)[7]. Многие образованные подданные констатировали рост популярности Николая Николаевича на фоне дискредитации его племянника. Городская молва считала поездки царя в Ставку дурным знаком.

---

[1] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 273.

[2] *Спиридович А.И.* Великая война… Кн. 1. С. 104.

[3] *Городцов В.А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 192.

[4] Письма императрицы Александры Федоровны к императору Николаю II. Т. 1. Берлин, 1922. С. 133.

[5] Там же. С. 139.

[6] *Спиридович А.И.* Великая война… Кн. 1. С. 163.

[7] Дневник Л.А. Тихомирова… С. 95.

Распространился слух, что после каждой такой поездки русскую армию начинали преследовать неудачи[1].

В начале июня некоторые монархисты еще пытались объяснить политические слухи немецкой пропагандой. Тогда же распространялся слух, что Германия финансирует деятельность революционных организаций. Доцент Юрьевского университета Б. В. Никольский записал в своем дневнике 15 июня: «На войне затишье, но в России слухи-слухи-слухи… Я совершенно убежден, что немецкие деньги питают антинемецкие судороги низов и особенно антидинастическое озлобление. В частности, рекламирование Главнокомандующего с целью посеять разлад»[2]. Ситуация еще более усугубилась после падения Варшавы. С. А. Толстая записала в дневнике 24 июля: «Известие о взятии немцами Варшавы повергло весь дом в уныние. С самого начала войны я не верила в нашу победу, и вот все хуже и хуже»[3]. В августе поползли разговоры об эвакуации Петрограда. Объяснять катастрофу на фронте вредительством отдельных шпионов становилось все труднее.

Итогом развязавшейся кампании стало смещение великого князя с поста главнокомандующего и отправка его на Кавказ, мыслившаяся современниками ссылкой. Примечательно, что слухи об этом появились еще в начале августа 1915 г. — нередко слухи точно фиксировали перемены общественных настроений и тем самым предугадывали развитие реальных событий. Однако решение царя самолично возглавить армию и тем самым поднять солдатский дух и разделить ответственность за ход военных действий лишь ускорило падение его авторитета. Кроме того, определенная щекотливость этого решения заключалась в том, что незадолго до него Московская городская дума вынесла постановление о доверии великому князю, в результате чего поступок императора казался неким демаршем против общественности. На секретном заседании Совета министров А. В. Кривошеин предупреждал о пагубности смещения Николая Николаевича и предлагал компромиссный вариант назначения великого князя помощником главнокомандующего императора: «Со всех сторон приходится слышать о самых мрачных ожиданиях, если не будет сделано решительных шагов к успокоению общественной тревоги. Об этом говорят люди, преданность которых Монарху не может вызывать никаких сомнений. У меня был граф Коковцов и настойчиво обращал внимание на то, что так дальше не может продолжаться, что раздражение растет повсюду, что из Москвы идут зловещие слухи. Нельзя же не считаться с тем, что постановление о доверии Великому Князю было принято Московскою городскою думою единогласно»[4]. В качестве другого варианта предлагалось временно, до улучшения ситуации

[1] *Толстой И. И.* Дневник… С. 639.

[2] *Никольский Б. В.* Дневник. 1896–1918. Т. 2: 1904–1918. СПб., 2015. С. 219.

[3] *Толстая С. А.* Дневники: в двух томах. Т. 2… С. 426.

[4] *Яхонтов А. Н.* Тяжелые дни… С. 85.

на фронте назначить главнокомандующим генерала М.В. Алексеева, главнокомандующего армиями Западного фронта. Министр иностранных дел С.Д. Сазонов прямо говорил на заседании Совета министров: «Пусть будет Алексеев козлом отпущения»[1].

Узнав о решении Николая II стать во главе армии, Л.А. Тихомиров записал: «Все кончено… мысль отказывается работать при таких событиях»[2]. Среди петроградцев тут же появился слух, что император потому решил стать во главе армии, что не чувствует себя в безопасности в Царском Селе и намеревается спастись в Ставке[3]. А.И. Спиридович искренне верил, что отставкой великого князя удалось предотвратить государственный переворот[4]. Чуть позже массовое сознание нашло объяснение снятию Николая Николаевича с должности в привычном ключе. Граф А.Н. Игнатьев писал 13 октября 1915 г.: «Сведения о не особо хорошем поведении Николая Николаевича подтверждаются. Говорят, что пьет ужасно на Кавказе. Теперь до публики доходят слухи, что пьянство его началось еще в Ставке и доходило до громадных размеров, что, отчасти, и заставило государя взять командование в свои руки. А мы-то молились за его здоровье!.. Говорят, после завтрака Николай Николаевич бывал невменяем и Бог знает, к чему его это состояние привело бы»[5]. В окопах некоторые сокрушались по поводу снятия великого князя с поста главнокомандующего потому, что тем самым исчезал «последний заступник» солдат, который держал в узде офицеров и генералов[6].

Когда катастрофа русских войск стала очевидной, вновь зазвучали разговоры о сепаратном мире, но теперь инициатива якобы исходила от самого Николая II. Эти слухи показались обоснованными даже М. Палеологу, и он решил выведать в беседе с великим князем Павлом Александровичем, так ли это на самом деле. Павел Александрович рассказал об этом императрице Александре Федоровне, которая написала возмущенное письмо мужу. Императрица полагала, что слухи являются результатом германской пропаганды[7]. Немцы действительно использовали тему сепаратного мира в своей диверсионно-пропагандистской политике, однако нельзя сбрасывать со счетов, что слухи о сепаратном мире могли возникать как подсознательное стремление окончить войну у широких слоев населения. А.В. Краузе писала на фронт своему жениху из деревни Марфино Владимирской губернии 31 мая 1915 г.: «Здесь, по рассказам, отношение

---

[1] Совет министров Российской империи в годы Первой мировой войны. Бумаги А.Н. Яхонтова. СПб., 1999. С. 222.

[2] Дневник Л.А. Тихомирова… С. 105.

[3] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 355.

[4] *Спиридович А.И.* Великая война… Кн. 1. С. 199.

[5] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1034. Л. 1696.

[6] *Яхонтов А.Н.* Тяжелые дни… С. 85.

[7] Письма императрицы Александры Федоровны к императору Николаю II. Т. 1. Берлин, 1922. С. 127–128.

к войне вполне сознательное, следят за военными событиями и разбираются в них. „Мир" — самое желанное слово. Все письма солдат кончаются словами: „Не слышно ли что о мире?"»[1] С другой стороны, образ императора, идущего на сепаратный мир с Германией, соответствовал уже разобранным представлениям низших слоев населения о Николае II как о предателе. Появление данного мотива в городской среде, да еще на посольском уровне, свидетельствует о сближении сельского и городского пространств слухов.

Шпиономания не обошла стороной императорскую семью. Сама Александра Федоровна верила слухам о том, что в Ставке находится шпион, подозревала, что это генерал Ю.Н. Данилов, и предлагала мужу поручить Воейкову установить за Даниловым слежку[2]. Данилов в свою очередь вспоминал, что когда императрица посещала Ставку, генералы старались не обсуждать в ее присутствии стратегически важных вопросов. Однако шпиономания выражалась не только в подозрениях относительно других, но и часто выливалась в манию преследования. Императрица очень болезненно реагировала на расспросы со стороны придворных дам о своей жизни и подозревала фрейлину Марию Васильчикову в том, что та за ней следит из своего окна дома напротив, регистрируя, кто, когда выходит от императрицы[3]. Причиной подозрительности стала ссора между императрицей и фрейлиной: М. Васильчикова, которую война застала в Австрии, по своей наивности приняла в 1915 г. предложение герцога Гессенского выступить посредником между ним и Николаем II в переговорах о мире. Васильчикова с немецким паспортом прибыла в Петроград и передала министру иностранных дел Сазонову ноту от герцога Гессенского, а также письмо для Александры Федоровны, оканчивавшееся словами: «Я знаю, насколько ты сделалась русской, но тем не менее я не хочу верить, чтобы Германия изгладилась из твоего немецкого сердца»[4]. Российский император и императрица восприняли это как предательство, тем более что поведение Васильчиковой подпитывало массовые слухи о действии «немецкой партии» при дворе. По воспоминаниям генерала А.И. Спиридовича, якобы с подачи М.В. Родзянко появилась версия, которую обсуждали в салонах, что за инициативами Васильчиковой стояла сама императрица[5]. Какое-то время фрейлине позволяли находиться в Царском Селе, но затем она была выслана в родовое имение к сестре. История с Васильчиковой настолько взбудоражила высший свет, что впоследствии Дж. Бьюкенену начало казаться, что фрейлина немедленно была отправлена императором в монастырь, о чем он написал в мемуарах[6].

---

[1] *Краузе Ф.* Письма с Первой мировой… С. 176 (примеч.)

[2] Письма императрицы… Т. 1. С. 128.

[3] Там же. С. 129.

[4] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 424.

[5] *Спиридович А.И.* Великая война… Кн. 1. С. 287.

[6] *Бьюкенен Дж.* Мемуары дипломата… С. 164.

Забегая вперед, отметим, что на этом сложности императорской семьи с Васильчиковыми не закончились. В декабре 1916 г. С.Н. Васильчикова, урожденная княжна Мещерская, на клочке бумаге написала императрице письмо, в котором советовала убрать Распутина и перестать вмешиваться в политику государства. Письмо являлось оскорбительным как по форме, так и по содержанию, в результате чего княгиня была выслана из столицы в свое имение в Новгородской губернии, а ее муж, в знак солидарности с супругой, вышел из Государственного совета и добровольно отправился в провинциальную ссылку. В.Н. Воейков вспоминал: «Императрица получила от княгини Васильчиковой письмо с указанием, как ей себя держать и что делать. Поддавшись неприятному впечатлению от этого письма, ее величество, вместо того чтобы оставить его без ответа, как советовал граф Фредерикс, настояла на высылке княгини из Петрограда, что создало последней ореол пострадавшей за правду»[1]. В перлюстрированной корреспонденции Софья Васильчикова, действительно, упоминалась в контексте мученицы. В дворянских кругах обсуждалась инициатива придворных дам написать императрице коллективное письмо в поддержку Васильчиковой, однако инициатива так и не была реализована во многом из-за противодействия со стороны графини Воронцовой-Дашковой. Подавляющее большинство авторов писем поддерживало эту инициативу. Так, В. Трубецкая писала Н. Васильчиковой, сестре Софьи: «Можешь ли ты прислать мне копию письма твоей сестры? Неужели правда, что проект адреса твоей сестре от лица петроградских дам не приведен в исполнение? Это очень печально. Хотелось бы во всеуслышание выразить ей сочувствие и восхищение. Не знаю ее адреса, а потому прошу тебя ей это еще раз высказать, когда ты будешь ей писать»[2]. Правда, раздавались и голоса, в которых звучало сомнение в действенности подобных методов: «Мне предложили подписать, но я считаю, что ради Пипа не имею права, да и что это поможет»,— писала дочь А.С. Пушкина М.А. Гартунг[3]. Почетный член Российской академии наук Н.С. Мальцов считал поступок Васильчиковой необдуманным и полагал, что это может привести к какой-то катастрофе: «Когда в политику вмешиваются дамы и вносят в нее отличающую их страстность, необдуманность и непрактичность, то это верный признак, что нас ожидает какая-нибудь катастрофа»[4]. При этом Мальцов отмечал, что в поддержку княгини собрано 200 подписей. «Много говорят о письме кн. Васильчиковой и все ее хвалят за гражданское мужество. Но все эти протесты мало влияют там, где следует, и не думаю, чтобы обыкновенными приемами можно было бы чего-нибудь добиться»,— считал автор за подписью «Лев» в письме

[1] *Воейков В.Н.* С царем и без царя…

[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1066. Л. 1705.

[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1065. Л. 1566.

[4] Там же. Л. 1699.

к княгине Л.В. Голицыной в Москву[1]. Очень скоро вслед за «обыкновенным приемом» последовал и прием «необыкновенный» — убийство Распутина 16 декабря 1916 г. Впрочем, обыватели и на это событие отреагировали достаточно скептически, предполагая, что «свято место пусто не бывает» и не один Распутин был виновником того социально-политического и экономического кризиса, который разрастался в империи в 1916 г. Автор за подписью «А.П.» писал из Калуги бывшему министру внутренних дел А.Г. Булыгину 29 декабря 1916 г.: «Конечно, хорошо, что одной темной личностью меньше, но ужасно, что не нашлось другого способа от нее избавиться. Весь ужас в том, что, очевидно, существует благоприятная почва, на которой все дурное может достичь такого пышного расцвета»[2].

Но вернемся к атмосфере 1915 г. Слухи рядовых обывателей весной — летом 1915 г. касались не только высших сфер, но и бытовых проблем. Правда, все они так или иначе связывались с темой шпионажа — страх, засевший на уровне подсознания, переводил любой разговор на тему внутренней измены. Наплыв беженцев ухудшил санитарно-гигиеническое состояние городов, в результате чего стали распространяться опасные инфекции. Уже в апреле 1915 г. Петроградская городская дума озаботилась вопросами борьбы с эпидемиями тифа и холеры, проникавшими в города с потоками сельских жителей[3]. Особенно остро этот вопрос встал в сельской местности прифронтовой полосы, лишенной водопровода, где питьевую воду получали из колодцев. Военные санитарные врачи в июле 1915 г. получили предписание проверить местность на предмет выявления острозаразных болезней. Военный врач Ф.О. Краузе решил проинспектировать несколько сел в окрестностях Риги, где обнаружил больных без надлежащего ухода: «В первом селе все оказалось прекрасно, в другом же я наткнулся на свежую холеру! Третьего дня там захворал старик, вчера утром умер, его уже похоронили. В другой избе вчера вечером заболел мужчина, который сегодня утром уже умер, по рассказам — типичная asiatica (азиатская холера). Напротив этой избы, через дорогу, сегодня утром захворала женщина, бывшая вчера еще вполне здоровой… При мне у нее появилась сильнейшая рвота. Все это в течение нескольких часов!!! По-моему, к вечеру будет exitus (смертельный исход)… Пила она сырую воду из колодца, который стоит во дворе предыдущих, где сегодня умер мужчина! Колодезь я тотчас же велел заколотить и поскакал сюда»[4]. Однако вид заколоченных колодцев рождал панику и приводил к выводам, что воду в колодцах отравили шпионы. Впервые о том, что германцы отравляют воду в колодцах, газеты написали еще 31 августа 1914 г. — в самом начале германофобской

---

[1] Там же. Л. 1597.

[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1067. Л. 1811.

[3] *Толстой И.И.* Дневник… С. 623.

[4] *Краузе Ф.* Письма с Первой мировой… С. 205–206.

пропаганды[1]. Однако тогда этот слух не подтверждался видом заколоченных колодцев. В мае, как уже отмечалось, слух об отравлении немцами питьевой воды предшествовал московскому погрому. Развитие слуха привело к рождению почти детективных историй о том, как немецкие шпионы приезжают на велосипедах (велосипед как техническое новшество, не распространенное в деревне, воспринимался крестьянским сознание знаком чужого, в данном случае шпионо-немецкого, мира) и отравляют колодцы, бросая в них бутылки с ядом (рассказчики добавляли, что бутылки были проверены врачами и те подтвердили, что в них была какая-то отрава). В июле 1915 г. в Москве говорили, что таким образом отравили несколько колодцев в Сергиевом Посаде[2]. В некоторых случаях отмечалось, что крестьяне на лошадях бросались преследовать шпионов-велосипедистов, но догнать их не могли — демоническая неуловимость врага была обязательным атрибутом шпионского дискурса. Показательно, что такой образованный человек, как Л. А. Тихомиров, записав подобные рассказы в своем дневнике, не мог определить свое отношение к этим слухам: «Что тут правда — не знаю»[3].

Август 1915 г. отметился проникновением и распространением в городах деревенских слухов. Тихомиров передавал услышанный спор с торговкой-крестьянкой: «Правительство не слышит народного голоса, властям никто не сказал того, что в народе толкуют промеж себя. Вот, например, толкуют бабы, крестьянки, привезшие на продажу всякие продукты. Она громко говорит, что везде во власти изменники. На возражение, что не нужно верить этому вздору, — она говорит: „Какой там вздор, царица чуть не каждый день посылает в Германию поезда с припасами; немцы и кормятся на наш счет, и побеждают нас“. Напрасны возражения, что это нелепость, и что физически невозможно посылать поезда… баба отвечает: „Ну уж там они найдут, как посылать“… Ей говорят, неужто она, дура, не понимает, что Государь ничего подобного не допустит? Она отвечает: „Что говорить о Царе, его уже давно нет в России“. — „Да куда же он девался?“ — „Известно, в Германию уехал“. — „Да, глупая баба, разве Царь может отдать свое царство немцам?“ — Она с апломбом отвечает: „Да ведь он уехал на время — только переждать войну“. Кто распространяет такие чудовищные бессмыслицы? Это вопрос неважный. Могут распространять не только наши революционеры, но даже сами немцы. Но дело не в том, что распространяют, а в том, что верят»[4]. Последнее замечание Тихомирова представляется особенно важным. Действительно, вне зависимости от источника подобных слухов их распространение говорит об иррационализации массового сознания. Проникновение абсурдных слухов в письменные тексты городской

[1] *Краузе Ф.* Письма с Первой мировой… С. 54.

[2] Дневник Л. А. Тихомирова… С. 84–85.

[3] Там же. С. 85.

[4] Там же. С. 95–96.

культуры свидетельствовало о том, что они становились частью и городского политического фольклора. Археолог В. А. Городцов, который на страницах своего дневника регулярно записывал удивившие его слухи, отмечал, что «и в нелепых слухах есть крупки некоторой правды»[1].

Среди «бытовых» слухов этого времени можно отметить связанные с «монетным голодом». В августе в петроградских и московских газетах появились статьи с заголовками «Куда исчезла разменная монета». Количество медных и серебряных монет в свободном хождении, действительно, сократилось. Обыватели стали придумывать объяснения, которые увидели в том, что евреи, предчувствуя кризис и обесценивание бумажных денег, собрали у себя всю медь и серебро. По другой версии — медные и серебряные монеты были вывезены в Германию, чтобы спасти ее от экономического кризиса. Была и более реалистичная версия: сокращение хождения разменной монеты было вызвано оккупацией русских областей немцами, в результате чего разменная монета выбыла из внутреннего обращения. Тем не менее в торговых заведениях возникали нешуточные ссоры из-за отказов продавцов давать сдачу. 17 августа в Петрограде произошли крупные беспорядки, было разгромлено несколько рынков на почве недостатка разменных денег[2]. Петербуржец писал в Москву: «Вообще в городе был большой переполох из-за мелкой разменной монеты, разгромили везде много лавок. И у нас, на Охте, бабы устроили бунт, разбили почти все лавки в д[оме] П. Иванова... Были вызваны солдаты и конные городовые; убили одного городового»[3]. Участились конфликты в трамваях, где кондукторы не могли дать сдачу, а отдельные пассажиры этим пользовались[4]. Подобные мелкие бытовые столкновения создавали в повседневности обывателей конфликтное поле, негативно влиявшее на массовые настроения и становившееся в конце концов фактором революционизирования общества.

Находились решения «монетного голода». Кухарки и прислуга требовали у хозяев мелочных лавок открывать им счет несданной сдачи, кухарки разных хозяев кооперировались, совершая покупки на круглые крупные суммы[5]. 18 августа Государственный банк открыл несколько меняльных касс, к которым тут же выстроились длинные «хвосты». Корреспонденты писали: «18 августа с раннего утра у Государственного Банка опять огромные толпы у разменных касс. Запружены не только вестибюль и коридоры банка, его двор, но и тротуары на Екатерининском канале, Малого Гостиного Двора до Чернышева переулка, а также часть Садовой»[6]. Следует заметить, что очереди являлись

---

[1] *Городцов В. А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 104.

[2] *Толстой И. И.* Дневник... С. 665.

[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1008. Л. 24.

[4] Вечернее время. 1915. 17 августа.

[5] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1915. 18 августа.

[6] Там же.

настоящими фабриками слухов, и по мере их увеличения рос удельный вес абсурдной информации, в той или иной степени дискредитировавшей власть и накалявшей общественную атмосферу. В итоге решено было организовать новые пункты размена денег — при полицейских участках. 24 августа, в понедельник, впервые за всю историю были открыты государственные сберегательные кассы, которые ранее не работали из-за поверья, что если отдать деньги в понедельник, то платить придется всю неделю.

Л. А. Тихомиров считал монетный кризис спланированной акцией Германии, распространившей недостоверные слухи о нехватке медных и серебряных денег, а также результатом действий евреев-шпионов. Зараженный ксенофобией и шпиономанией, автор дневника склонен был в любом беженце и представителе иной национальности видеть врага. Тем не менее, когда открылись обменные кассы, он сам отправился в банк: «В лавочках отказывают в сдаче, даже и в крупных магазинах, потому что все только берут мелочь и не дают ее. Государственный банк осажден толпой, принесшей свои трехрублевки для размена на мелочь. Там пустили для выдачи этой дурацкой монеты один ряд касс. Я был в субботу в банке и видел эту безумную толпу… Рожи психопатические, рассерженные. Противно смотреть. Эта нелепая штука выдумана, как слышно, немцами чтобы уронить курс бумажек. К нам эта подлинная эпидемия пришла с беженцами, среди которых, конечно, явились и евреи — немецкие шпионы. Еще на Западе распространили слухи, что немцы не будут брать русских бумажек, а только звонкую монету… Сегодня, как слыхал в этом же банке, на Ярославской дороге арестовано два жида со шкатулками мелкой монеты»[1].

«Вечернее время» находило гендерно-психологические объяснения медному кризису: в статье «Разменный психоз» ответственность за исчезновение монеты возлагалась на женщин, которые, поддавшись «общему настроению, без всякой нужды собирали мелкую разменную монету, но теперь выяснилось, что она очень неудобна для ношения и хранения, а потому они стараются сдать ее обратно поскорее»[2]. Корреспонденты писали, что у петроградского губернского казначейства появились очереди из женщин с мешочками, которые стремились обменять медную монету обратно на бумажные деньги.

Если «медный голод» был в итоге удовлетворен, то ситуация с серебряной монетой так и не была стабилизирована, и власти нашли выход, который стоил императору части его престижа: осенью по распоряжению министра финансов в оборот были выпущены вместо серебряных монет разменные марки в 10, 15 и 20 копеек, за основу которых была взята серия почтовых марок с представителями Романовской династии, включая Николая II. Марки были неудобны для

[1] Дневник Л. А. Тихомирова… С. 103–104.
[2] Вечернее время. 1915. 27 августа.

использования, часто липли к рукам, что вызывало ругательства и проклятия современников, в том числе по адресу изображенного на марках императора. Однако ажиотаж вокруг «таинственного» исчезновения разменных монет по инерции продолжался и после введения марок. 2 октября газеты писали, что в меблированных комнатах на Троицкой улице в Петрограде был задержан скупщик, собравший 5 пудов медных денег[1]. Ситуацию с разменной монетой В. М. Бехтерев назвал массовым психозом, списав его на специфику «нервного времени»[2].

Военные события также продолжали волновать современников в августе 1915-го. В частности, это выразилось в разговорах о возможном взятии Петрограда немцами. Слухи о капитуляции столицы обсуждались в столичной прессе еще в августе 1914 г. Однако тогда газетчики представляли их в юмористическом ключе, писали, что их выдумывают «доморощенные стратеги-любители»[3]. Тогда этот слух скорее был ближе анекдоту, чем пессимистическим ожиданиям. В августе 1915 г. уже представители высших слоев общества были в замешательстве. Даже фрейлина императрицы А. А. Вырубова 2 августа 1915 г. на обеде в Царском Селе у великого князя Павла Александровича расспрашивала гостей, какова вероятность того, что немцы в скором времени захватят Петроград, указывая, что этот вопрос сильно беспокоит Александру Федоровну[4]. Б. В. Никольский, также напуганный разговорами о приближении немцев, пытался смотреть на это рационально: «Кругом трусость, паника, малодушие, истерические крысы, мечтающие эвакуироваться заблаговременно… Ну, хорошо, ну, придут немцы, ну сожгут, разграбят, — что же делать? И чего метаться? Если мы всегда работать должны, то теперь должны сугубо»[5].

Скудные известия о поражениях русских войск рождали слухи о новых наборах. Среди оригинальных слухов августа можно отметить известие о том, что в ближайший набор будут брать девок. Возможно, толчком стала публикация «Биржевыми ведомостями» заметки об аналогичном слухе в 1807 г., вызвавшем тогда свадебную эпидемию. На этот раз обошлось без последствий.

В целом летом — осенью 1915 г. заметно ощущался эмоциональный спад в российских городах. В. М. Бехтерев попытался объяснить это цикличностью эмоциональных состояний, когда за подъемом неизбежно следует спад и наоборот. В итоге психиатр приходил к оптимистическому выводу, что Россию в ближайшее время ждет очередной подъем патриотических настроений и чувства национальной гордости[6]. Но он ошибался. Осень 1915 г. только усилила меланхолию городских обывателей.

---

1 Биржевые ведомости. Веч. вып. 1915. 2 октября.
2 Биржевые ведомости. Веч. вып. 1915. 19 августа.
3 Петроградский листок. 1914. 7 августа.
4 *Палеолог М.* Дневник посла… С. 349.
5 *Никольский Б. В.* Дневник… С. 229.
6 Биржевые ведомости. Веч. вып. 1915. 17 июля.

В политической сфере актуальными были разговоры о создании «Прогрессивного блока» в Государственной думе и последующем ее роспуске. Закрытие Думы казалось страшной ошибкой, выбивавшей из-под ног самодержавия шаткую опору общественного доверия. Житель Тифлиса писал в сентябре 1915 г.: «Смена командования армиями, роспуск Государственной думы — признаки весьма зловещие, особенно последнее событие. Для того, чтобы распустить Гос. Думу в такое время, нужно абсолютное отсутствие ума, любви к родине. Очевидно, в верхах убедились, что война проиграна, что, следовательно, нужно спасать свою шкуру, а для этого необходимо создать соответствующую атмосферу. Нужно провокациями вызвать беспорядки с тем, чтобы заключить позорный мир, умыть руки и сказать: беспорядки, забастовки не дали нам возможность уничтожить врага, пеняйте, мол, на Гос. Думу, рабочих инородцев и т.д.»[1] З.Н. Гиппиус описывала атмосферу, царившую в Петрограде в начале сентября 1915 г., дополняя ее бытовыми проблемами: «В Петербурге нет дров, мало припасов. Дороги загромождены. Самые страшные и грубые слухи волнуют массы. Атмосфера зараженная, нервная и… беспомощная. Кажется, вопли беженцев висят в воздухе… Всякий день пахнет катастрофой»[2]. В сентябре обыватели и особенно те, кому была небезразлична свобода прессы, обсуждали намерение властей ввести общеполитическую предварительную цензуру. «Биржевые ведомости» в связи с этим давали верный прогноз: «Печати подцензурной, печати в наморднике верить не будут. Ее заменят слухи, эти страшные чудовища, дыхание которых ядовито, как убийственные газы, стелящиеся по земле и вливающиеся в окопы… Общественную горячку можно лечить разбитием термометра?»[3] Череда ошибок власти — военные просчеты, смена верховного командования, роспуск Думы, усиление цензуры — создавала впечатление фатальной обреченности.

Общая психологическая атмосфера порождала взрывоопасную ситуацию, когда малейший повод мог привести к беспорядкам и бунту. В десятых числах сентября «рвануло» в Москве. К этому времени в городе три дня шла трамвайная забастовка против прерывания сессии Государственной думы, а также ходили слухи о новом призыве. При этом обыватели говорили о том, что депутаты намеревались сделать полицейских военнообязанными и начать их призывать в армию, но за это их распустили. Подобные слухи еще больше настраивали обывателей против правительства и полиции. 10 сентября начались беспорядки в рабочих районах: призывавшиеся рабочие били городовых, выпороли околоточного и выбили все стекла в казармах. Вечером 14 сентября в районе Страстного монастыря постовой городовой по просьбе кондуктора помог вывести из трамвая пьяного раненого солдата, георгиевского кавалера,

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1014. Л. 706.

[2] *Гиппиус З.Н.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 179.

[3] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1915. 13 сентября.

который вел себя весьма агрессивно. Оказавшись на улице, солдат набросился на городового. Во время потасовки полицейский оторвал солдату рукав и георгиевскую медаль, которая упала на мостовую. Увидев это, собравшаяся толпа набросилась на городового. На помощь товарищу прибыли еще два городовых, но их также избили, после чего полицейские отступили в помещение трамвайной станции, где забаррикадировались от толпы. Толпа начала осаду станции, требуя выдачи городовых, стали бить окна. Через два часа прискакали конные городовые, но их начали забрасывать камнями с криками «опричники!», «долой!». Затем на помощь конным городовым прибыл эскадрон жандармов, но все они под натиском толпы также отступили на станцию и в конце концов открыли огонь по толпе. Обыватели в письмах передавали, что было убито 16 человек и 40 ранено, в том числе и несколько солдат[1]. Среди погибших оказался студент, что в свою очередь привело к трехдневной студенческой забастовке[2]. Появились слухи о том, что «побоище» было организовано градоначальником Е.К. Климовичем: якобы заранее к памятнику А.С. Пушкина на Страстной площади свезли груду камней, а у Страстного монастыря в засаде засела полиция, ожидая трамвайную провокацию. После начала беспорядков конные городовые оттеснили народ к памятнику, где появились прапорщики, кричавшие «Долой полицию!» Прапорщики якобы были переодетыми полицейскими. Смысл этих действий усматривали в том, чтобы, спровоцировав революционный бунт, заключить сепаратный мир[3]. Некоторые образованные люди, как, например, археолог В.А. Городцов, склонны были верить подобным объяснениям. По другой версии провокация была организована из Петрограда с целью разгромить московское общественное движение. В это время в Тюмени говорили о том, что в Москве началась революция, а Петроград захватили немцы[4].

Стоит заметить, что разговоры о необходимости призыва полицейских являлись фактором протеста с самого начала войны и по мере ее затягивания лишь усиливали свою актуальность. В первых числах октября 1916 г. серьезные беспорядки на этой почве случились в Харькове. Во время начавшегося призыва студентов в городе произошли манифестации, в которых помимо студентов и курсисток участвовали и рабочие. Главным требованием рабочих была отправка полицейских на войну. Полиция попыталась разогнать толпу, но началось побоище, многих стражников сильно избили, была вызвана рота солдат для успокоения толпы, но до стрельбы не дошло, хотя жертвы побоев были[5].

В условиях распространявшейся меланхолии появлялись и политические слухи-надежды, связанные с политическим переворотом, хоть и очевидно

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1008. Л. 41—41 об.

[2] Там же. Л. 62.

[3] *Городцов В.А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 476–477.

[4] Там же. С. 477.

[5] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1046. Л. 93.

абсурдные для сохранивших способность рационально мыслить современников. Так, один столичный житель писал 16 сентября 1915 г.: «Относительно общих дел ходят разные слухи. Говорят, что „САМОГО“ хотят пригласить в отставку, учредив затем регентство над А<лексеем> — Мих<аила> Ал<ександровича>. Глава дома, будто бы, ничего против не имеет, только заместителем Себя желает видеть Супругу, что совершенно неприемлемо»[1].

Наступившая в 1915 г. ранняя зима, сокращение светового дня, погружавшее обывателей во тьму, приводили к распространению меланхолии. «Сумрачные снежные дни, полные печали. По мере того, как зима развертывает над Россией свой гробовой саван, дух понижается, воля ослабевает. Везде я вижу одни мрачные лица, везде слышу только унылые речи; все разговоры о войне сводятся к одной и той же мысли, высказанной или затаенной: „К чему продолжать войну? Разве мы уже не побеждены? Можно ли верить, что мы когда-нибудь подымемся вновь?“ Эта болезнь распространяется не только в гостиных и в интеллигентских кругах, где ход военных событий может доставить изобильную пищу для духа критики. Многочисленные признаки показывают, что пессимизм развит не меньше среди рабочих и крестьян», — писал современник в начале ноября 1915 г.[2] Можно обратить внимание, что в периоды повышенной чувствительности и нервозности обывателям свойственно более чутко реагировать на изменения в природе, в которой ищут созвучные собственным настроениям состояния, и ранняя зима, как и ранняя весна, способствует во время социально-психологической нестабильности распространению меланхолии или, наоборот, возбужденного состояния.

Упоминание погодных условий в дневниках современников в годы мировой войны мы можем классифицировать по трем направлениям: 1) формально-техническое — когда автор регулярно приводит метеоданные из газет, однако между ними и высказанными автором мыслями нет никакой видимой связи; 2) психологическое — когда автор пытается связать реальные погодные условия с массовыми настроениями, общественной психологией; 3) метафорическое — когда явления природы рассматриваются как знаки глобальных перемен (нередко в эсхатологическом русле). Нужно отметить, что эсхатологическая тематика была распространена в годы Первой мировой войны и особенно в период революции. По-видимому, принадлежность к тому или иному направлению определялась, во-первых, психотипом автора, а во-вторых — личным опытом взаимодействия с природой. Так, например, в дневниках грамотных крестьян природным явлениям по понятным причинам уделялось особое внимание.

И. И. Толстой на страницах своего дневника очень точно фиксировал температуру воздуха, осадки. Вероятно, это было связано с его метеочувствитель-

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1014. Л. 757.

[2] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 391.

ностью, так как метеоданные никакого отношения к тем событиям, которые он описывал и комментировал, не имели. К примеру, если запись о забастовке рабочих 1 мая 1914 г. начинается с констатации «дождливого утра» и тем самым могла бы означать негативное отношение автора к протестной активности рабочих, то следующая запись от 2 мая, в которой Толстой с досадой упоминает о том, что в столице не вышли газеты, начинается, наоборот, с упоминания «солнечного утра»: «1 мая. Дождливое утро при 7 градусах. Забастовало до 150 000 рабочих в Петербурге, в том числе почти все булочники… 2 мая. Солнечное утро при 9 градусах в тени; большинство газет из-за вчерашних забастовок не вышло»[1]. Л. А. Тихомиров в дневнике регулярно не фиксирует погодные изменения, однако в отдельные моменты пытается увязать природу с тем, что происходит в обществе. В марте 1915 г., комментируя распространявшиеся слухи об измене верхов, он как бы между прочим проводит параллель с природой: «Но вот мерзкие рассказы: о немецких шпионах. Говорят, генерал По приехал специально для сообщения французских сведений о ряде крупных и даже „высокопоставленных" изменников, передающих все наши секреты немцам. В том числе назвал будто бы и Великую княгиню Марию Павловну… Говорят, несколько человек уже казнены. Не понимаю, почему правительство не публикует хоть о смертных казнях. Это бы успокаивало общественное мнение. Ночь. Сейчас раздались несколько ударов грома и молнии. Это удивительно, что делается в природе»[2]. В другом случае прямо связывает дожди с распространяющейся в обществе меланхолией: «Дождь способен привести в отчаяние. Льет каждый день по нескольку раз, всюду потоки воды, грязь, лужи, и нет этому конца. Вообще — такая неприятная жизнь, что выразить трудно. На фронте, конечно, по-прежнему застопорка… Кстати сказать, и там дожди»[3]. Метафорическое использование природных явлений для описания надвигающейся революции часто применялось в корреспонденции ноября — декабря 1916 г. Л. А. Тихомиров писал о революции как водовороте, П. Эрн в письме от 12 декабря использовал образ грозы: «С каждым месяцем становится все труднее и труднее жить. Тучи закрывают уж весь горизонт. По-видимому, надвигается небывалая гроза. То, что надвигается на Россию — стихийно»[4]. Вероятно, не последнюю роль в использовании погодных метафор играла связь стихии с ощущением неизбежности надвигающихся грандиозных событий, для кого-то катастрофических, для кого-то, наоборот, связанных с началом новой жизни. Однако в грандиозности и стихийной неизбежности их мало кто сомневался.

В октябре — декабре 1915 г. меланхолия выразилась, в частности, в падении интереса обывателей к политическим событиям и в прекращении появления

---

[1] *Толстой И. И.* Дневник… С. 502.

[2] Дневник Л. А. Тихомирова… С. 46–47.

[3] Там же. С. 241.

[4] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1066. Л. 1644.

новых пессимистических слухов. Горожане муссировали преимущественно старые политические темы, а также погрузились в повседневные заботы. Так, наиболее волновавшие современников темы были затронуты в беседе корреспондента «Биржевых ведомостей» с Петроградским градоначальником князем А. Н. Оболенским 24 октября. Среди них продовольственный вопрос (перебои с поставкой муки, мяса, сахара), растущие уличные очереди, проблема перегруженности Петрограда беженцами, квартирный вопрос (резко возросли цены), топливный кризис[1].

Новый год не прибавил оптимизма. Пытавшийся держаться бодро и до последнего не желавший примириться с мыслью о военной катастрофе Б. В. Никольский оставил в дневнике парадоксальную запись: «Я верю в победу, но я не верю в будущее»[2]. Первая половина 1916 г. ознаменовалась развитием старых сюжетов слухов: о заговорах в верхах (правда, теперь эти заговоры были направлены против царя, в чем обнаруживается усиление предчувствия революции или государственного переворота), ростом раздражения к Распутину (говорят о заговоре министра внутренних дел А. Н. Хвостова с целью убийства старца). На фоне активизации протестных настроений появляется слух, что арестованные на демонстрациях и во время беспорядков студенты и рабочие бесследно исчезают в полиции[3].

Вместе с тем современники отмечали, что весной 1916 г. оскорбительные для власти слухи вышли из подполья и стали в открытую обсуждаться в публичных местах. В ряде случаев их распространяли лица из высшего света и даже некоторые представители власти. Так, например, министр внутренних дел А. Н. Хвостов, осознав, что его план по устранению Распутина провалился, в феврале 1916 г. начал целенаправленно распускать слухи о том, что «старец» — немецкий шпион[4]. Несмотря на попытки властей защитить образ Распутина, его персона время от времени появлялась в публичном пространстве. Так, в постановке «Хованщины» в Музыкальной драме Досифей был загримирован под Гришку. Впрочем, некоторые зрители были этим разочарованы: «Думаю, что настоящий Распутин куда интереснее, внушительнее, страшнее», — записал А. Н. Бенуа[5]. Столичные жители отмечали, что провинция в этот период начала вести себя куда смелее. Депутат Государственной думы от Московской губернии В. А. Ржевский писал 14 марта 1916 г.: «В дороге, в вагоне, я не принимал участия в разговорах на злобы дня… Врали там без конца — ехали все провинциалы, и диву даешься, какие слухи ходят в провинции. Удивляешься даже тому, какие речи теперь громко говорятся, нисколько не стесняясь.

[1] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1915. 24 октября.
[2] *Никольский Б. В.* Дневник… С. 235.
[3] *Толстой И. И.* Дневник… С. 699.
[4] *Спиридович А. И.* Великая война… Кн. 2. С. 51.
[5] *Бенуа А. Н.* Мой дневник. 1916–1917–1918. М., 2003. С. 18.

В купе набралось офицеров, речи были на политические темы, но такие, что наши речи в Думе — ничто сравнительно с этими. Удивительно»[1].

К годовщине майского погрома в Москве появились слухи о подготовке очередных аналогичных действий. 8 апреля 1916 г. московские власти предприняли неуверенную попытку противодействия распространявшимся слухам. Градоначальник В. Шебеко опубликовал объявление, в котором говорилось: «В последнее время в городе все больше распространяются слухи о каких-то готовящихся избиениях или погромах то поляков, то евреев, то просто людей состоятельных и разносе магазинов… напоминаю, что распространение ложных слухов, возбуждающих тревогу в населении, обязательным постановлением командующего войсками Московского военного округа карается заключением в тюрьме на срок до 3 месяцев или денежным штрафом до 3000 рублей»[2]. Учитывая, что в развитии ксенофобии и страхов перед возможными еврейскими, польскими, немецкими погромами ответственными являлись военные власти и черносотенные издания, подобные заявления звучали весьма противоречиво. Власти демонстрировали удивительное непонимание как причин, так и механизма стихийного распространения слухов, лишь подпитывая своими действиями страхи и подозрения обывателей. 2 мая 1916 г. крестьянин Курской губернии писал редактору «Русского слова» В. Дорошевичу, что постоянные призывы молчать, не распространять слухи и не выдавать информацию, которой могут воспользоваться шпионы, оскорбляют русского человека, который в условиях информационной антишпионской кампании начинает подозревать, что «утечка» секретов идет сверху: «Меня еще удивляет вот что: везде на станциях и в присутственных местах есть афиши такого содержания: „Молчите и не вступайте в разговоры: враг может услышать и будет вред“. Хорошо было бы, если бы добавили к этому — „русский скот“… Русский народ и так молчит. И что он знает, деревенский человек? А через кого пошла сдача всех западных крепостей: Варшавы и Вильны, не говоря уже о Карпатах, Перемышле, Львове и Галиче? Я думаю, что возле государевых кумушек и министра-немца идут все военные и государственные тайны, а не от нас, у коих сапог нет (дороги), лаптей нет (лыка нет), мяса и скота нет, земли нет. Да будет им судьей за их обман народный суд и гнев! Да погибнут они!»[3]

Период с мая по август, самый насыщенный в 1915 г., в следующем году, наоборот, характеризуется затишьем. Вероятно, в это время массовое сознание было отвлечено известиями о генеральном наступлении, с которым обыватели связывали надежды на перелом в войне и во внутренней жизни. Временно пессимистические слухи отступили перед оптимистическими известиями. Однако, когда стало ясно, что наступление захлебнулось, пессимизм

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1054. Л. 17.
[2] Дневник Л. А. Тихомирова… С. 218.
[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1045. Л. 34.

вернулся[1]. Вернулась также тема измены. Известие о гибели 23 мая тайно ехавшего в Россию военного министра Великобритании Г. Китченера (его крейсер подорвался на мине, установленной немецкой подводной лодкой) породило слух, что императрица Александра Федоровна выдала его путь Вильгельму II[2].

В июле Л. А. Тихомиров, рассуждая о ситуации на фронте, внутри России, задавался вопросом, глупость это или измена: «Какой же смысл всего этого? Недостатком сил это необъяснимо. Трудно объяснять и простой глупостью. Наконец — не может быть при этом и простой банальной измены»[3]. Подхваченная и популяризированная спустя несколько месяцев П. Н. Милюковым фраза была «народной», естественным образом вытекавшей из настроений современников. Позже Тихомиров еще раз вернулся к этой дилемме, рассуждая о власти: «Я постоянно колеблюсь: идиоты? изменники? Или смесь того и другого?» Другой распространенной осенью 1916 г. фразой, популяризированной впоследствии уже М. А. Булгаковым, стала констатация разрухи (дезорганизации) в головах, провоцировавшая слухи об измене: «В действительности, имеется дезорганизация власти… Но у нас дезорганизация не во внешнем механизме, а в головах. Эти знаменитые „твердые цены", оставившие нас без хлеба и муки, — результат глупости власти, сующей свой нос туда, где она явно не может совершить умного действия… В результате — получается такая чертовщина, что народ начинает кричать об „измене"»[4].

В сентябре 1916 г. усилились ощущения надвигавшейся катастрофы. Примечателен спор, случившийся в ресторане у Донона между бывшим председателем Совета министров В. Н. Коковцовым и промышленником А. И. Путиловым: первый утверждал: «мы идем к революции», второй возражал — к анархии[5]. Палеолог описывал атмосферу на устроенном великим князем Павлом Александровичем обеде в честь своего тезоименитства: «Все лица как бы покрыты вуалью меланхолии. Действительно, надо быть слепым, чтобы не видеть зловещих предзнаменований, скопившихся на горизонте»[6].

В октябре 1916 г. в сводке начальника петроградского губернского жандармского управления рисовалась картина нарастания «грозного кризиса» в общественных настроениях: «К началу сентября месяца сего года среди самых широких и различных слоев столичных обывателей резко отметилось исключительное повышение оппозиционности и озлобленности настроений. Все чаще и чаще начали раздаваться жалобы на администрацию, высказываться

---

[1] Об итогах «Брусиловского наступления» см.: *Нелипович С. Г.* Цена победы. Генеральное наступление российской императорской армии летом — осенью 1916 года: поставленные задачи и достигнутые цели // Военно-исторический журнал. 2011. № 10. С. 3–10.

[2] *Спиридович А. И.* Великая война… Кн. 2. С. 93.

[3] Дневник Л. А. Тихомирова… С. 253.

[4] Там же. С. 292.

[5] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 586.

[6] Там же. С. 598.

резкие и беспощадные осуждения правительственной политики. К концу означенного месяца эта оппозиционность настроений, по данным весьма осведомленных источников, достигла таких исключительных размеров, каких она, во всяком случае, не имела в широких массах даже в период 1905–1906 гг. Открыто и без стеснения начали раздаваться сетования на „продажность администрации", неимоверные тяготы войны, невыносимые условия повседневного существования; выкрики радикальствующих и левых элементов о необходимости „раньше всего уничтожить внутреннего немца и потом уже приниматься за заграничного" — начали встречать по отношению к себе все более и более сочувственное отношение»[1]. В сводке отмечались распространявшиеся слухи о том, что Петроград стоит на пороге вооруженного восстания. Эти слухи относились на счет пропаганды тайных немецких агентов, вместе с тем обращалось внимание, что хотя «слухи подобного рода значительно преувеличены в сравнении с истинным положением вещей, но все же положение настолько серьезное, что на него должно и необходимо обратить внимание незамедлительно». Обоснованность опасений жандармского управления подтвердили прошедшие 17–20 и 26–31 октября рабочие забастовки и стачки в Петрограде, начавшиеся со стихийного разгрома продовольственных лавок и магазинов и приобретшие в процессе политическую направленность. Особенную тревогу властей вызвало пассивное поведение солдат петроградского гарнизона, которые отказались участвовать в разгоне демонстраций и частично выразили сочувствие рабочим. Приставы сообщали, что солдаты подначивали рабочих против городовых криками «Бей их, сволочей, фараонов»[2]. В данном случае уместно говорить если не о сознательном идейно-политическом единстве солдат и рабочих (главной претензией запасных к полиции оставалось освобождение последних от призыва), то о единении эмоциональном, что не менее важно с точки зрения революционизирования ситуации. Солдаты 181-го запасного пехотного полка, казармы которого располагались на рабочей Выборгской стороне, оказывали сопротивление полиции и жандармам, но в конце концов были вынуждены капитулировать и были арестованы. Вскоре появилось известие о том, что 150 солдат, поддержавших рабочий протест, были расстреляны, что стало толчком к новой волне забастовок.

Октябрьские забастовки рабочих неожиданно для союзников окрасились в цвета франкофобии. Рабочие открыто выступили против продолжения войны и теперь к агрессии против внутренних немцев добавилась агрессия к англичанам и французам. В конце октября французские промышленники Сико и Бопье, представители автомобильной фабрики «Рено», директора завода на Выборгской стороне, жаловались французскому послу на поведение русских

[1] Буржуазия накануне февральской революции… С. 129.

[2] ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 17. Д. 213. Л. 128.

рабочих соседних предприятий: «Вы знаете, господин посол, что мы никогда не имели повода быть недовольными нашими рабочими, потому что и они, со своей стороны, никогда не имели повода быть нами недовольными. Они и на этот раз отказались принять участие во всеобщей стачке… Сегодня днем, в то время как работа шла полным ходом, толпа стачечников, пришедших с заводов Барановского, окружила нашу фабрику, крича: „Долой французов! Довольно воевать!“ Наши инженеры и директора хотели поговорить с пришедшими. Им ответили градом камней и револьверными выстрелами. Один инженер и три директора-француза были тяжело ранены. Подоспевшая в это время полиция скоро убедилась в своем бессилии. Тогда взвод жандармов кое-как пробрался через толпу и отправился за двумя пехотными полками, расквартированными в близлежащих казармах. Оба полка прибыли через несколько минут, но вместо того, чтобы выручать завод, они стали стрелять по полицейским»[1].

Недоверие к союзникам было характерно не только для рабочих. В семье профессора Московского университета И. Т. Тарасова говорили, что на смену немецкого засилья может прийти засилье английское: «Говорят, после 19 ноября будут опять какие-то перемены. Во всех этих переменах играет огромную роль английский посол Бьюкенен, у которого шпионство над всеми до такой степени развито, что ему положительно все известно. За это наша придворная камарилья потребовала его удаления, но было отвечено, что другого подходящего лица нет… Тогда струсили и оставили его в покое. Теперь он стал еще более нахально совать нос, куда следует и не следует. Значит начало английского засилья вместо немецкого. Насколько оно будет лучше — не знаю»[2].

Директор Департамента полиции А. Т. Васильев 30 октября 1916 г., сравнивая общественные настроения в столицах и провинции, обратил внимание на то, что Петроград и Москва лидировали по степени оппозиционности и общего напряжения. Вместе с тем он отметил, что провинция не сильно отстала от центра: «Таким же напряженным, но все же в несколько меньшей мере, нежели в столицах, рисуется настроение во внутренней России… Общее же недовольство в городах, а также даже среди казаков земли войска Донского, настолько разрослось вширь и вглубь, что, по единогласному отзыву начальников розыскных органов, стихийные беспорядки могут вспыхнуть повсеместно при ближайших к тому поводах или под влиянием слухов о возникновении таких беспорядков в столицах»[3].

Вероятно, наиболее обсуждаемые темы этого периода, помимо дороговизны и рабочих забастовок, — императорская семья и Дума. В разговорах о царе и царице на первый план неожиданно вышла тема сумасшествия. К тому времени в массах распространялась дешевая лубочная продукция, иллюстрировавшая

[1] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 619.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1061. Л. 1110.
[3] Буржуазия накануне февральской революции… С. 137.

слухи об интимных отношениях Александры Федоровны и Распутина. «Политическая порнография» ходила в виде дешевых литературных произведений, открыток, фальшивых фотографий, на которых якобы изображались обнаженные члены императорской семьи в компании старца. Петроградский студент в декабре 1916 г. упоминал засилье политической порнографии в письме своему московскому товарищу: «По Петрограду ходит очень много стишков, карикатур и т.п. изображений нашей милой действительности, в большинстве случаев порнографического характера»[1]. Большой популярностью пользовались незамысловатые стишки поэта В.П. Мятлева. В известном стихотворении об интимной связи Распутина и «титулованной дамы» были следующие строчки: «И даже толстому амуру / Смотреть противно с потолка / На титулованную дуру / И на пройдоху-мужика»[2].

В 1916 г. по рукам столичных жителей ходил текст бывшего иеромонаха Илиодора (С. Труфанова) «Святой черт. Записки о Распутине», в котором выносилась лаконичная и категоричная оценка Александре Федоровне: «Императрица Александра. Красивая, нервная, впечатлительная женщина, отдалась в руки „старца“ еще тогда, когда он явился в Питер в больших мужицких сапогах»[3]. Образованные подданные, понимавшие абсурдность подобных разговоров, пытались, возможно неосознанно, перевести разговор с темы морального падения царицы на ее душевное состояние. Так, бывший председатель Совета министров В.Н. Коковцов, протестуя против сплетен о связях императрицы с Распутиным, отзывался о ней: «Это благороднейшая и честнейшая женщина. Но она больна, страдает неврозом, галлюцинациями и кончит в бреду мистицизма и меланхолии»[4]. О нервных припадках царицы писал В.М. Пуришкевич, объясняя влияние Распутина на царицу тем, что сибирский шарлатан каким-то образом восстанавливал нервное здоровье Александры Федоровны: «Царица страдала припадками в крайне тяжелой форме; эти припадки, по заключению профессора Бехтерева, были на нервной почве, как следствие тяжелого душевного потрясения; услуги врачей были тщетны. Государь был в отчаянии. Ожидали, что императрица сойдет с ума»[5].

При этом ходили слухи о том, что от нервного расстройства страдает и сам император. В других случаях рассказывали, что он злоупотребляет гашишем[6]. Диагностирование психических расстройств у политических оппонентов стало осенью 1916 г. характерной особенностью внутриполитических интриг. Впрочем, «психиатрическая терминология» использовалась и ранее, в том числе

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1065. Л. 1527.

[2] *Аксакова-Сиверс Т.А.* Семейная хроника: В 2 кн. Кн. 1. Париж, 1988. С. 275.

[3] *Быв. иер. Илиодор.* Святой черт. М., 1917.

[4] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 573.

[5] Дневник члена Государственной Думы В.М. Пуришкевича. Рига, 1924. С. 136.

[6] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 641.

членами правительства в адрес друг друга. Так, после того как И.Л. Горемыкин объявил о роспуске Государственной думы 3 сентября 1915 г., С.Д. Сазонов назвал его «чокнутым» и «безумцем»[1]. Тем не менее в 1916 г. констатация душевных расстройств тех или иных политиков казалась современникам более обоснованной.

Наверное, больше других досталось новому министру внутренних дел А.Д. Протопопову. Когда-то член партии октябристов, товарищ председателя IV Государственной думы, Протопопов считался представителем умеренно-оппозиционного лагеря, однако назначение его на пост министра в сентябре 1916 г. резко изменило к нему отношение бывших соратников по парламенту. Протопопов во многом сам спровоцировал критику со стороны бывших коллег чрезвычайно резкими заявлениями консервативного толка, что было расценено в Думе как предательство. Среди депутатов получили хождение следующие сатирические строчки о новом министре:

Из недалека от окопов
Приходят вести в Петроград —
Министром будет Протопопов,
Ни либерал, ни ретроград;

Царю и родине служитель
На новый собственный манер
Избранник Думы, предводитель
И бывший конно-гренадер…

Далее в стихотворении в вину Протопопову вменялись связи с иностранными дипломатами во время заграничной поездки депутатов Думы, заискивание перед Штюрмером и другими «внутренними немцами», предательство прежних либеральных ценностей. Эти строчки отсылали к ходившим в столицах слухам о том, что во время встречи Протопопова с сотрудником немецкого посольства в Швеции Ф. Варбургом последний якобы передал для императрицы два письма от Вильгельма II. В одном предлагалось заключить мир с Германией и начать войну с Англией, а в другом — сделать Протопопова министром[2]. Заканчивалось же стихотворение хлестким вопросительным четверостишьем:

Да будет с ним святой Егорий!
Но интереснее всего,
Какую сумму взял Григорий
За назначение его?[3]

Но еще большую известность приобрело стихотворение поэта Мятлева «Про то Попка ведает», начинавшееся со строк:

---

[1] *Яхонтов А.Н.* Тяжелые дни… С. 128.
[2] *Городцов В.А.* Дневники ученого… Кн. 2. С. 193.
[3] Дневник члена Государственной Думы В.М. Пуришкевича. С. 118.

У премьера Трепова
В клетке золоченой
Есть для блока левого
Попугай ученый.

Кто про что беседует,
Кто кого ругает —
Про то Попка ведает,
Про то Попка знает…[1]

Близко знавшие Протопопова люди отмечали, что он всегда был карьеристом, мечтавшим о министерской должности, ради чего стал осведомителем директора Департамента полиции С. П. Белецкого, в чем последний признался во время следствия в 1917 г. Октябристом он также стал из карьеристских соображений — быть с большинством в III Думе и стать со временем ее председателем. Но современники в 1916 г. объясняли перемену взглядов Протопопова состоянием его здоровья: «Внезапные перемены характера, экзальтация, призраки и образы, неожиданно рождающиеся в его мозгу, составляют типичные симптомы, предвещающие общий паралич»[2]. «Не совсем психически здоровым» называл министра внутренних дел генерал А. И. Спиридович[3]. Согласно воспоминаниям князя Н. Д. Жевахова, Николая II очень раздражали разговоры о сумасшествии его нового министра, и он задавался вопросом: «С какого же времени он стал сумасшедшим? Вероятно с того момента, когда я назначил его министром»[4]. Но критики Протопопова припоминали ему и ранние признаки расстройства. Гиппиус рассказывала, что еще до того, как стать в 1914 г. товарищем председателя Государственной думы, он несколько лет провел в сумасшедшем доме, причем считала, что у него была форма религиозного умопомешательства. Протопопов действительно лечился в санатории у придворного доктора тибетской медицины, авантюриста П. А. Бадмаева, с которым был в тесных отношениях. Последний раз он попал к нему в санаторий осенью 1914 г. с сильным нервным расстройством, сопровождавшимся припадками страха и отчаяния. Его супруга обращалась даже к В. М. Бехтереву с просьбой поместить ее мужа на лечение в психиатрическую клинику. Впрочем, А. Я. Аврех считал, что нервное состояние Протопопова объяснялось отнюдь не душевным расстройством, а сифилисом[5].

Для Гиппиус и других современников констатация сумасшествия была синонимом рассуждений о разрухе в головах — подобные оценки нельзя воспринимать буквально, как диагнозы, они передавали психологическое состояние

---

[1] Там же. С. 119.
[2] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 602.
[3] *Спиридович А. И.* Великая война… Кн. 2. С. 170.
[4] *Жевахов Н. Д.* Воспоминания. Т. 1. М., 1993. С. 178.
[5] *Аврех А. Я.* Царизм накануне свержения. М., 1989. С. 139.

воспринимающего реальность субъекта, демонстрировали его собственную растерянность. 29 октября 1916 г. поэтесса делилась своими ощущениями психологической атмосферы, царившей в обществе: «Россия — очень большой сумасшедший дом. Если сразу войти в залу желтого дома, на какой-нибудь вечер безумцев, — вы, не зная, не поймете этого. Как будто и ничего. А они все безумцы. Есть трагически помешанные, несчастные. Есть и тихие идиоты, со счастливым смехом на отвисших устах собирающие щепочки и, не торопясь, хохоча, поджигающие их серниками. Протопопов из этих „тихих“»[1].

Об иррациональности происходящего осенью 1916-го — зимой 1917 г. писали разные современники вне зависимости от политических взглядов. В состоянии растерянности пребывал монархист протоиерей И. Восторгов: «Я спокоен тем страшным спокойствием, которое является следствием состояния и настроения, потерявшего способность чему-либо удивляться. Я именно потерял такую способность… Главное: все иррационально, т. е. совсем не поддается учету здравого разума. При таких условиях, чему же удивляться? Мы в царстве пьяных, невменяемых людей, и что они выкинут в следующем номере и колене, это никому неведомо. Не знаю, долго ли удержится в Синоде „старцево настроение“, но думаю, сии персонажи пока уйдут, много зла сотворят, а те, кои могут и должны бы им помешать, приемлют Пилатово положение, умывают руки…»[2]

Некий поручик Новиков писал из действующей армии своей знакомой в Орловскую губернию: «Тяжелая картина русского разлада, краха власти больно отзывается на душе. Я не из „квасных“ патриотов, многое меня не удовлетворяло ни раньше, ни теперь. Сам я от родины имел больше горького, чем сладкого. И все-таки я пошел добровольцем на войну. Теперь этот патриотизм, жизнь на пользу родины стали обманчивы. Чаще и чаще всего выходит так, что тебя заставляют по-рабски служить лицам, а не делу»[3].

Если для думской и сочувствующей ей общественности главными раздражителями выступали Протопопов, Распутин и императрица, то у властей с осени 1916 г. усиливались подозрения, что именно Дума является провокатором революционных беспорядков. Вместе с тем на протяжении всей Первой мировой войны представители реакционных кругов настаивали на ее ликвидации. Продолжительность сессии думы сократилась втрое в сравнении с довоенным периодом. Фактическое препятствие работы российского парламента со стороны царской власти естественным образом настраивало против последней прогрессивные круги общества, вместе с тем не позволяло Думе наладить взаимоотношение с правительством. Компромиссное предложение Прогрессивного блока о создании «правительства общественного доверия», поддержанное главноуправляющим землеустройством и земледелием А. В. Кривошеиным

[1] *Гиппиус З. Н.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 194.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1066. Л. 1674.
[3] Там же. Л. 1676.

и объединившимися вокруг него министрами, привело к досрочной отправке Государственной думы на каникулы и увольнению министров, выступавших за диалог с обществом. Открытие очередной сессии Государственной думы 1 ноября 1916 г., в условиях ухудшения ситуации на фронте, роста внутриполитической напряженности и углубления экономического кризиса, поставило на повестку дня более принципиальное требование создания ответственного перед Думой правительства, что, в отличие от компромисса августа 1915 г., предполагало ограничение власти царя. Дума пошла на ужесточение требований с целью недопущения скатывания России в революционную анархию. Реакционные круги находили иное объяснение: якобы депутаты, вернувшиеся из заграничной поездки, выполняют полученные от масонского центра инструкции[1]. При этом отношение к революции у самих депутатов было неоднозначным. Как правило, революционный фактор использовали в качестве предлога давления на власть, но для представителей Прогрессивного большинства Думы революция представлялась нежелательной крайней мерой. В этом отношении показательно выступление лидера кадетов П. Н. Милюкова на конференции партии, проходившей в Петрограде 22–24 октября 1916 г., который предостерегал соратников от того, чтобы не заиграться в революцию: «Нравственный кредит правительства равен нулю; в последний момент, охваченное ужасом, оно, конечно, ухватится за нас, и тогда нашей задачей будет не добивать правительство, что значило бы поддерживать анархию, а влить в него совершенно новое содержание, т. е. прочно обосновать правовой конституционный строй. Вот почему в борьбе с правительством, несмотря на все, необходимо чувство меры»[2].

Современники живо интересовались тем, что говорили депутаты в ноябре 1916 г. Однако ввиду того, что власти решили вопреки обыкновению не публиковать выступления депутатов в связи с резкостью их речей, по рукам стали распространяться поддельные тексты выступлений, в которые их «авторы из народа» вкладывали собственные ожидания того, о чем следовало говорить. Наибольшей популярностью пользовались поддельные выступления Милюкова и Чхеидзе. Забегая вперед (подробный разбор депутатских речей будет дан в соответствующем разделе), отметим, что они оказывались куда более резкими, чем реальные выступления депутатов. Когда 29 ноября подлинные речи все-таки были изданы, обыватели с некоторым разочарованием отметили, что ничего революционного в них нет.

Слухи о речах опередили сами речи депутатов и казались обывателям более актуальными в силу того, что содержанием их наполнили народные массы. Депутат от Воронежской губернии С. И. Шидловский 22 ноября 1916 г. обращал внимание, что всеобщая вера в «чудовищные слухи» являлась верным

[1] *Спиридович А. И.* Великая война… Кн. 2. С. 164.
[2] Буржуазия накануне февральской революции… С. 147.

симптомом политического кризиса: «Я не буду вам указывать и приводить те чудовищные слухи, которые разносятся по всей стране, я не стану вам повторять многих отдельных эпизодов, которые были здесь вам сказаны ораторами, передо мной говорившими, но я нахожу, что самая возможность появления этих слухов и самая возможность того, что им все везде верят, это есть лучший показатель, что доверия этому правительству нет»[1].

В ноябре обыватели полагали, что после произнесенных в Думе речей властям оставалось либо навсегда закрыть Думу, либо пойти ей на уступки. Фантазировали и на другие темы. Так, появился слух, что Николай II решил избавиться от дурного влияния Александры Федоровны, к тому же изменившей ему с Распутиным, и разводится с ней. Говорили также, что император откажется от верховного командования и передаст его то ли А. А. Брусилову, то ли М. В. Алексееву[2]. В некоторых салонах поговаривали, что государственный переворот с целью заставить императора отречься от престола готовит председатель Совета министров Б. В. Штюрмер. По слухам, он, будучи немцем, добивался единоличного правления императрицы-немки Александры Федоровны, рассчитывая при ней еще более укрепить свое положение, а в будущем заключить сепаратный мир с Германией[3]. В аристократических кругах демонизация императрицы была связана не столько с ее немецким происхождением, сколько с сильной волей, которой она подчиняла императора. Великая княгиня Мария Павловна характеризовала Александру Федоровну как обладательницу «действенной, настойчивой, неугомонной воли», а императора Николая II считала носителем «отрицательной воли»: «Когда он сомневается в себе, когда он считает себя покинутым Богом, он перестает реагировать; он умеет лишь замыкаться в инертном и покорном упорстве… Посмотрите, как велико уже теперь могущество императрицы. Скоро она будет править Россией»[4]. В это время в московских салонах, магазинах, кафе открыто рассуждали о возможности повторения Николаем II участи Павла I, а также о желательности «запереть на замок, как сумасшедшую» императрицу-немку, которая губит Россию[5]. Следует заметить, что, согласно воспоминаниям А. И. Спиридовича, тема Павла I впервые появилась в столичных салонах еще в августе 1915 г., но тогда она вызывала скорее недоумение. Генерал считал, что за подобными разговорами скрывалась досада сторонников великого князя Николая Николаевича, потерявших после его отправки на Кавказ надежду на государственный переворот[6].

---

[1] Стенографический отчет. Государственная дума. Четвертый созыв. Сессия пятая. Пг., 1917. Стб. 390.

[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1066. Л. 1430.

[3] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 601, 608.

[4] Там же. С. 618.

[5] Там же. С. 661.

[6] *Спиридович А. И.* Великая война… Кн. 1. С. 237.

Осень 1916 г. обернулась серьезным «штормовым предупреждением». Еще в октябре З.Н. Гиппиус описывала свое состояние как оцепенение перед грозой, используя характерную метеосимволику: «Мое странное состояние (не пишется о фактах и слухах и все ничтожно) не мое только состояние: общее. Атмосферное. В атмосфере глубокий и зловещий ШТИЛЬ. Низкие-низкие тучи — и тишина. Никто не сомневается, что будет революция. Никто не знает, какая и когда она будет, и — не ужасно ли? — никто не думает об этом. Оцепенели»[1]. Схожие предчувствия и метеометафоры рождались в голове у Тихомирова: «В народе назревают самые бесшабашные бунтовские инстинкты, и грозят реками крови. Мы находимся в положении рыбачьей лодки, попавшей в водоворот Мальштрома: медленное опускание к горлу страшной воронки, которая должна нас поглотить. Интересно знать: видит ли это положение государь и на что он надеется? Или ни на что, и просто пассивно идет к роковому исходу?.. Кажется, общенародный психоз может разрешиться только в кровавом безумии. А впрочем, на все Воля Божья…»[2] В декабре 1916 г. З.Н. Гиппиус уже не сомневалась в крушении монархии, вопрос для нее заключался в том, будет ли в России сознательная и не лишенная организованного начала революция или стихийный бунт, грозящий анархией: «Да каким голосом, какой рупор нужен, чтобы кричать: война ВСЕ РАВНО так в России не кончится! Все равно — будет крах! Будет! Революция или безумный бунт: тем безумнее и страшнее, чем упрямее отвертываются от бессомненного те, что ОДНИ могли бы, приняв на руки вот это идущее, сделать из него „революцию“. Сделать, чтоб это была ОНА, а не всесметающее Оно»[3]. Обращает на себя внимание тенденция выделения в тексте отдельных слов и фраз, злоупотребления восклицательными знаками. Психологи отмечают, что так бывает в тех случаях, когда автор чувствует необходимость дополнительной эмоциональной коннотации своего текста, а также когда писателю не хватает привычных способов передачи мысли, его покидает уверенность во владении словом. Очень часто крупными буквами отдельные слова или целые фразы выделяли в своих письмах во власть душевнобольные. Изучение синтаксических особенностей письменной речи тем самым помогает понять психологическое состояние авторов и подтверждает в случае с Гиппиус, что констатация ею состояния подавленности и оцепенения соответствовала действительности.

Убийство в ночь на 17 декабря 1916 г. Г. Распутина, в целом благосклонно встреченное российским обществом, мыслилось как неизбежное следствие создавшегося положения. Характерно, что, как будто в соответствии с теорией «самоисполняющегося пророчества», слухи об убийстве Распутина предшествовали самому акту, они распространялись по Петрограду в начале декабря

[1] *Гиппиус З.Н.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 191.
[2] Дневник Л.А. Тихомирова… С. 314.
[3] *Гиппиус З.Н.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 198.

(правда, тогда предсказывали также убийство А. Вырубовой и императрицы)[1]. Большинство обывателей склонно было рассматривать казнь Распутина как выход из тупика и начало нового, здорового витка истории. Так, статс-дама Е. А. Нарышкина писала 23 декабря в Тамбов: «Совершившееся событие показывает нам, что мы не забыты Господом. Святое провидение в нашу жизнь входит с властной силой и пониманием того, что требует в данный момент родина. Мой чудный Царь, высокой, чистой души, не будет оставлен Господом»[2]. «Должно сказать, что вообще убийство Распутина возбуждало решительно всеобщую радость. Я не видал еще никогда, чтобы убийство, во всяком случае, дело трагическое, возбуждало такую радость и — прямо сказать — сочувствие», — писал в своем дневнике правый религиозный публицист Л. А. Тихомиров[3]. Так же считала и дочь историка А. Сиверса Т. А. Аксакова-Сиверс, хотя и отмечала «революционный» характер предприятия, считала убийство «дворцовым переворотом» во имя спасения династии: «Многие расценивали убийство на Мойке, как первый революционный шаг — попытку вывести Россию — вернее царствующую династию — из тупика путем дворцового переворота»[4]. Другие, наоборот, усматривали в этом начало нового, кровавого этапа, который может довести страну до настоящей революции. Появились слухи, что сторонники Распутина собираются мстить и готовят покушение на великого князя Дмитрия Павловича[5]. А. И. Гучков писал Н. И. Гучкову в Москву: «Допрыгались! Никакие предостерегающие голоса не помогли. Помогут ли кровавые события? И где эти события остановятся?»[6] Другого петербуржца убийство Распутина привело к предсказанию наступления русской смуты как симбиоза марксизма с пугачевщиной: «Среди общего хаоса надвигается трагедия во вкусе не то 14-го не то 18-го века, только уже не знаю, русского или французского. Или мы будем самостоятельны и разыграем что-нибудь своеобразное, вроде пугачевщины с марксизмом, или с чем-нибудь западноевропейским?»[7] Тем самым приближение Нового года происходило в атмосфере почти что милленаристских ожиданий и ощущений то ли начала нового этапа истории, то ли скорого конца истории старой.

Сохранявшееся состояние неопределенности, смутных тревог и надежд перед наступавшим новым годом усиливало конспирологическое мышление, которое часто выступает в качестве психического механизма поиска ответов в ситуации недостатка информации или неспособности сознания субъекта

---

[1] *Спиридович А. И.* Великая война… Кн. 2. С. 197.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1067. Л. 1756.
[3] Дневник Л. А. Тихомирова… С. 321.
[4] *Аксакова-Сиверс Т. А.* Семейная хроника… Кн. 1. С. 274.
[5] *Спиридович А. И.* Великая война… Кн. 2. С. 208.
[6] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1067. Л. 1751.
[7] Там же. Л. 1762.

осмыслить ситуацию в целом. В результате ситуация конфликта рассматривается с помощью упрощенной модели, когда те или иные неблагоприятные события преподносятся в качестве происков внутренних или внешних врагов. Шпиономания, слухи о предательстве в верхах являлись порождением конспирологического мышления. Однако в конце 1916 г. конспирология начинает кристаллизоваться в более конкретные теории о борьбе различных тайных сил и партий, что приводит к рождению новых слухов о планах этих таинственных сил. Убийство Распутина как раз и представляется в качестве этапа подобных интриг. Депутат А. А. Эрн писал в декабре 1916 г.: «Идет упорная борьба между двумя придворными партиями. Он будто бы склонен на уступки, согласен, чтобы за Короной было оставлено назначение четырех министров, Председателя Совета министров, военного, морского и министра двора. Она убеждает, что на это он не имеет права идти, так как Он самодержец. Ожидалось торжественное заседание в Зимнем Дворце, где то или другое решение (возможность распространяется на линию от „бессмысленных мечтаний“ до ответственного министерства) должно быть провозглашено. Ни во Вторник, ни в Четверг однако такого решения не состоялось и теперь откладывается на 6 декабря… Ходят слухи, что Он намерен отказаться от Верховного командования и передать его Брусилову или Алексееву, так как Николай Николаевич отказался»[1]. П. Ф. Гетье писал своему брату в Москву, развивая эту историю борьбы двух партий: «Декабрь месяц мы живем с большими волнениями. К 6-му декабря ожидался благоприятный поворот, но 4-го декабря немецкая партия взяла верх. Это дало окончательный толчок, и 17-го русская партия покончила со ставленником распутной немки. Борьба между русской и немецкой партиями стала принимать кровавый оборот. Идет явная провокация бунта»[2].

Ходили слухи и о бескровном преодолении кризиса путем добровольных политических уступок со стороны императора: «На днях предвидится крупное историческое событие — обнародование акта об ответственном министерстве, а тем самым и „отставки“ старому строю. Однако, положение вещей еще далеко не радостное и ожидаемый акт будет только иметь моральное значение, а условия жизни, разумеется, так сразу ни на капельку не улучшатся… Но, как никак, а мы на пороге великих событий»[3]. Однако разброд мнений, ожиданий только подтверждал констатированное рядом современников состояние «разрухи в головах».

В определенных кругах вновь возникали миражи готовящегося дворцового переворота. На ум современникам опять приходили аналогии с событиями марта 1801 г. В. Н. Коковцов в декабре 1916 г. прямо сравнивал судьбу двух императоров — Павла I и Николая II. Воображение современников, возбужденное

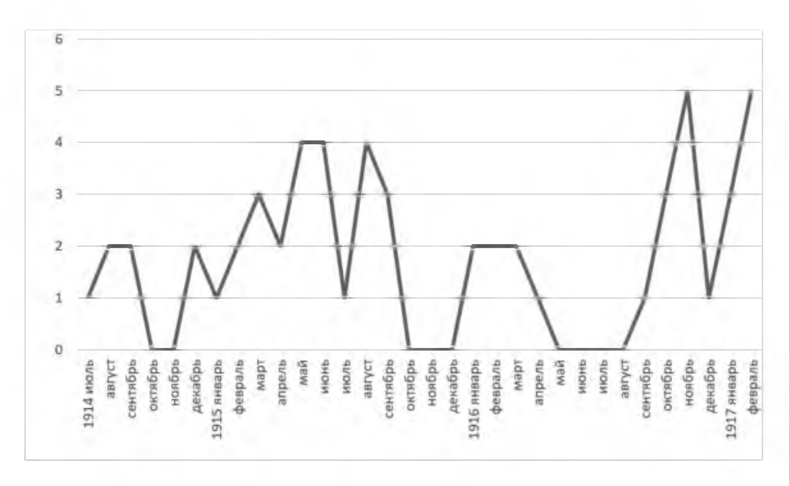
[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1064. Л. 1430.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1067. Л. 1775.
[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1064. Л. 1431.

убийством Распутина, не желало успокаиваться и рисовало развитие дворцового заговора с участием великого князя Дмитрия Павловича. В высших сферах говорили, что дети великой княгини Марии Павловны Мекленбург-Шверинской (которую средние слои подозревали в шпионаже в пользу Германии ввиду ее немецкого происхождения) Кирилл, Борис и Андрей Владимировичи, разработали план по спасению монархии путем дворцового переворота, выполнить который должен Дмитрий Павлович, чье участие в убийстве Распутина сделало его популярным в войсках. По задумке с помощью четырех гвардейских полков заговорщики двинутся ночью на Царское Село, захватят царя и царицу, императору докажут необходимость отречься от престола, императрицу заточат в монастырь и затем объявят царем наследника Алексея под регентством великого князя Николая Николаевича[1].

Заканчивая разбор предреволюционных слухов, следует отметить одну произошедшую с ними любопытную трансформацию: отражая наиболее травматичные для современников политические, экономические или бытовые сюжеты, слухи в конце концов теряли свой первоначальный сенсационный характер и начинали казаться обыденными. Конечно, это не означало, что обыватели готовы были простить императриц за шпионаж в пользу Германии, а Распутина — за вмешательство в государственные дела. Авторитета властям они точно не прибавляли, однако из области политических сенсаций переходили в область светских сплетен, становились модными и даже обязательными темами для разговоров в определенных кругах общества. Даже романтические свидания не проходили без обсуждения поведения августейших особ. Так, например, О.Н. Гильдебрандт-Арбенина вспоминала о свидании с Н.С. Гумилевым в мае 1916 г.: в отдельном кабинете ресторана они говорили о войне, Африке и царице[2].

Разбор основных сюжетов пессимистических политических слухов и их появления в столичном обществе позволяет представить динамику массовых настроений городских слоев (см. ил. 16). Всего можно выделить 55 распространенных сюжетов, которые относятся к семи общим группам: слухи о царской семье; об измене генералов и членов правительства; о тайной деятельности шпионов; о заговорах и приближающейся революции; ситуация на фронте; «распутиниада»; бытовые проблемы. При этом по всем группам прослеживаются сквозные мотивы: шпиономания и формы ксенофобии, эсхатологические предчувствия, предчувствия революции. Как и рассмотренная «сказка о царе и мировой войне» в деревенской среде, отдельные городские слухи можно связать в некий нарратив. Так, например, можно реконструировать представления обывателей о политической эволюции России сквозь призму августейших

[1] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 676.
[2] См.: *Гильдебрандт-Арбенина О.* Девочка, катящая серсо: Мемуарные записи, дневники. М., 2007.



Ил. 16. Диаграмма появления новых сюжетов пессимистичных слухов в Петрограде и Москве

семейных отношений: Александра Федоровна, занявшись шпионской деятельностью, изолирует Николая II от генералов и министров, добивается того, что император ее назначает регентом, настраивает мужа против Государственной думы, однако когда царь узнает о ее адюльтере с Распутиным (благодаря Милюкову?), он разводится с царицей, отправляет ее в монастырь и передает Думе часть своей власти (а верховным главнокомандующим делает Брусилова). Обнаруживается некоторая эволюция индивидуальных образов августейших особ, среди которых можно отметить противопоставление деревенских и городских образов. Так, императрица, считавшаяся крестьянами распутной, в городском фольклоре становится сумасшедшей, а Николай II, представляемый крестьянами в образе алкоголика, в городе превращается в наркомана.

Приведенная диаграмма демонстрирует колебания массовых настроений. Нужно заметить, что по месяцам учитывалась не вся совокупность циркулировавших в Петрограде и Москве слухов, а лишь фиксация новых сюжетов. Таким образом, нулевые точки говорят не об общественном успокоении, а о временном иссякании коллективных фантазий, вероятно, под воздействием внешних событий, отвлекавших обывателей, или же по причине некоего эмоционального перегрева, приводящего к апатии. В.М. Бехтерев справедливо отмечал циклический характер массовых настроений. З.Н. Гиппиус осенью 1916 г. писала, что перестала фиксировать слухи из-за потери интереса к ним. С мая по август 1916 г. не было выявлено новых сюжетов, что может объясняться отвлечением современников на «Брусиловское наступление» и развитие в связи с этим оптимистических слухов. Тем не менее прежние слухи никуда не делись, они продолжали накапливаться в массовом сознании, вследствие чего психологическое напряжение постоянно возрастало. Вместе с тем диаграмма демонстрирует несколько пиков активного мифотворчества: май 1915 г., центральным событием которого стал московский погром, август — сентябрь

1915 г. — создание Прогрессивного блока и таяние надежд на преодоление внутреннего кризиса вследствие роспуска Думы, ноябрь 1916 г. — открытие думской сессии как «штурмовой сигнал революции» и собственно февраль 1917 г. Корреляция слухов с важными событиями внутриполитической жизни показывает значимую роль этого феномена в социально-политической истории и актуальность изучения слухов в качестве исторического источника.

Поиск и последующее изучение слухов, свидетельствующие о высокой их концентрации в общественном сознании, могут вывести за рамки исследования ту часть общества (вероятно, меньшую группу), в чьих дневниках и эпистолярном наследии слухи, война и внутриполитические перипетии практически не отразились. Увлеченность внешними, т.е. не связанными с профессиональной деятельностью или семейными вопросами, темами, как война, политика, или, наоборот, игнорирование таковых связаны, по-видимому, с определенным психическим складом человека. В ряде дневников война и политика практически отсутствуют, однако это не лишает их источникового потенциала. В случае, когда современники регулярно вели свои дневники, к ним может быть применим квантитативный анализ с целью изучения частотных характеристик определенных тем для выявления периодов их повышенной актуальности. Данная часть общества оказывается лакмусовой бумажкой, реагирующей на периоды особого общественного возбуждения. Среди этой категории выделялись люди творческих профессий, погруженные в свое дело, для которых война оказывалась не более чем досадным внешним раздражителем, а также молодежь пубертатного возраста. Ранее уже были приведены в пример дневники сестер Саводник, практически не отразившие тему войны. В этом отношении близко к ним стоит дневник известного литератора М.А. Кузмина. С 18 июля 1914 г. по 28 октября 1916 г. (конец дневника) им было сделано 427 записей и лишь в 19 из них была упомянута война (4%). При этом 8 записей пришлись на самое начало мирового конфликта (с 18 июля по 14 августа 1914 г.) и 7 на этот же период 1915 г. Повторение периода объясняется призывом сына Кузмина Юрия, по поводу чего отец сильно переживал и оставлял близкие по смыслу комментарии: «смутно от войны», «дела на войне неважны», «когда-то кончится эта дурацкая война?», «как надоела эта война, кому она теперь нужна»[1]. За 1915 г. был лишь один случай упоминания военных событий, не связанный с личными интересами Кузмина, — взятие Перемышля 9 марта. Основная часть дневника писателя посвящена его семейным, дружеским и деловым встречам, творческим планам, на фоне которых война и политика представлялись незначительными сопутствующими явлениями жизни. Кузмин стоял на пацифистских позициях, не испытывал патриотического экстаза первых месяцев войны, задаваясь гуманистическими вопросами: «Сколько будет

[1] *Кузмин М.* Дневник… С. 550–571.

убитых. Жизнь единственно невозвратная вещь… Сколько падет молодых. Боже мой»[1]. На таких же позициях стоял и А. Н. Бенуа, который тяготился окружавшими его разговорами о войне: «К сожалению, почти все заполнено войной. Как людям просто не надоест и не опротивеет этот ужас?»[2] Тем не менее, в отличие от Кузмина, Бенуа занимал более принципиальную гражданскую позицию и нередко ввязывался в споры о войне, о политике, фиксируя это без особого удовольствия в своем дневнике. С 14 сентября по 31 декабря 1916 г. им было сделано 108 записей, из которых в 25 упоминалась война. На дневник Кузмина похожи записи сельского священника Стефана Смирнова. Подавляющее большинство из них — вопросы, связанные с пчеловодством, на втором месте — приходские дела. Из 151 записи за июль 1914-го — декабрь 1916 г. лишь в 6 (4%) упомянута война. Характерна его запись от 20 сентября 1915 г.: «Народ к войне как будто привык и разговоров о войне стало меньше»[3]. Действительно, по сравнению с летом 1914 г. война уже не вызывала былого ажиотажа. За 1916 г. Смирнов лишь один раз упомянул войну (1,2% от всех упоминаний за этот год). Вдова Л. Н. Толстого С. А. Толстая с июля 1914-го по декабрь 1916 г. оставила в дневнике 264 записи, из которых война упоминалась в 29 (11%). Причем их динамика свидетельствовала о постепенном угасании интереса: 17,4% упоминаний войны за 1914-й, 11,4% за 1915-й и 6% за 1916 г.[4] В дальнейшем на примере динамики сюжетов журнальных карикатур будет показано, что с лета 1915 г. внимание общества переключилось с внешнего врага на внутреннего, что частично объясняет исчезновение войны со страниц частных дневников.

Дневники историка, археолога В. А. Городцова, наоборот, являются примером глубокого погружения человека в процесс пересказа, интерпретации и систематизации полученной за день информации. Записи Городцова сопровождаются рисунками, схемами, вклеенными вырезками из газет, открытками. Любопытно, что автор периодически выражает неудовольствие такой увлеченностью, отмечает, что теряет понапрасну время, отвлекается от научной работы, однако война занимает все его мысли и у него формируется подобие болезненной зависимости от дневника (что можно сравнить с «компульсивным сочинительством», о распространении которого на фронте пишут современные исследователи, о чем пойдет речь ниже). Тем не менее объем записей от 1914 к 1916 г. постепенно уменьшается.

Заметное сокращение с 1915 г. упоминаний войны и внутриполитических тем свидетельствует о естественном стремлении людей даже в чрезвычайные времена сохранять привычный уклад жизни, образ мыслей, а также о привыкании

---

1 Там же. С. 466.

2 *Бенуа А. Н.* Мой дневник… С. 26.

3 *Смирнов С.* Записки сельского священника. М., 2008.

4 *Толстая С. А.* Дневники в двух томах. Т. 2. С. 411–440.

современников к известиям с фронта. Игнорирование войны, политических слухов в ежедневных записях, которые сами по себе носят некоторый терапевтический эффект, может быть истолковано в качестве попытки сохранить маленькое личное пространство, свободное от наиболее раздражительных тем. При этом затягивавшаяся война оставалась серьезным травмирующим фактором, отрицательно сказываясь на психике отдельных индивидов и всего общества. «Эта война убивает всех медленным огнем», — записала С. А. Толстая в июне 1915 г.[1]

Таким образом, мы видим, что цензурная политика властей, а также отказ верховной власти от прямого диалога с общественными организациями, провоцировали ситуацию, когда рациональное письменное слово подменялось иррациональным устным слухом. В результате падения доверия к власти и официальным источникам информации пространство городских слухов начинало обнаруживать сближение с крестьянской устной традицией. В городах фиксировались процессы десакрализации власти в формах, близких крестьянскому сознанию. Хотя городские обыватели за редким исключением не демонизировали вдовствующую императрицу, зная, что она была датчанкой, а не немкой, а также будучи осведомленными о ее натянутых отношениях с главных антагонистом политических слухов Александрой Федоровной, некоторые слухи устной культуры проникали в письменные тексты. Так, например, это касается известий о бегстве царя за границу, переправки царицей в Германию вагонов с мукой, покушении Марии Федоровны на жизнь царевича Алексея и т. д. Массовое распространение слухов иллюстрируется тем фактом, что Департамент полиции по некоторым из них, в том числе заранее абсурдным, начинал проверки. Так, запрос директора Департамента полиции дворцовому коменданту по поводу наличия в Зимнем телеграфа/телефона демонстрирует податливость представителей образованных слоев перед ежедневной бомбардировкой сознания известиями, противоречащими здравому смыслу. Несмотря на большей частью абсурдный характер, слухи демонстрировали колебания общественных настроений и становились важным фактором дестабилизации общества.

Список наиболее резонансных тревожных слухов, циркулировавших в Петрограде и Москве

1914

Июль: Слух о немецких зверствах.

Август: Слухи о предопределенности революции после войны; Императрица Александра Федоровна и великая княгиня Елизавета Федоровна склоняют императора к сепаратному миру.

---

[1] *Толстая С. А.* Дневники в двух томах. Т. 2. С. 425.

Сентябрь: Слухи о предложениях Германии заключить сепаратный мир; Слухи о поражениях русской армии.

Октябрь — ноябрь: Новых сюжетов не выявлено.

Декабрь: Распутин — немецкий шпион; Александра Федоровна — немецкая шпионка.

1915

Январь: Слух о предложении Н. А. Маклакова заключить сепаратный мир.

Февраль: Слух об измене Н. В. Рузского; Слух, что С. Ю. Витте покончил с собой, когда стало известно, что он шпион.

Март: Слух об измене вел. кн. Марии Павловны; Слух о том, что МВД готовит провокации к окончанию войны; Слух о массовых изменах в связи с делом Мясоедова.

Апрель: Слух об организации агентами Мясоедова взрыва на Охтенском пороховом заводе; Слух об оргиях Распутина.

Май: Слух об организации шпионами взрывов в Москве; Слух о выселении всех евреев из столицы в связи с тем, что в синагоге нашли телеграф; Слух о предстоящем погроме в Петрограде; Слух о том, что после каждой поездки Николая II на фронт начинаются поражения русской армии.

Июнь: Слух о финансировании Германией русских революционных организаций; Слух о скором взятии Петрограда немцами; Слух о скором смещении с должности верховного главнокомандующего Николая Николаевича; Слух о намерении царя заключить сепаратный мир.

Июль: Слух о том, что немецкие шпионы отравляют колодцы.

Август: Слух о бегстве Николая II в Германию; Слух о скупке евреями и немцами медной монеты; Слухи о заговоре с целью заточить императрицу в монастырь; Слух об отправке императрицами хлеба в Германию.

Сентябрь: Слух о том, что Николай II собирается передать регентство Александре Федоровне; Слух о том, что на войну будут брать девок; Слух о регентстве Михаила Александровича.

Октябрь: Правительство готовит на январь 1916 г. революцию, для чего на предметы первой необходимости искусственно подняты цены.

Ноябрь — декабрь: Новых сюжетов не выявлено.

1916

Январь: Слух о смерти Вильгельма II и скором окончании войны; Слух об антицарском заговоре.

Февраль: Слух о том, что императрица Александра Федоровна сумасшедшая; Слух о том, что Распутин — Антихрист.

Март: Слух о подготовке Хвостовым убийства Распутина; Слух о том, что арестованные за акции протеста рабочие и студенты потом бесследно исчезают.

Апрель: Слухи о новом готовящемся погроме в Москве.

Май — август: Новых сюжетов не выявлено.

Сентябрь: Слух о том, что Николай II собирается стать патриархом.

Октябрь: Слух о том, что полицию вооружают пулеметами для подавления возможных в скором времени возмущений; Слух о новом наборе новобранцев; Слух о том, что Протопопов сумасшедший.

Ноябрь: Слух о разводе царя с царицей; Слух о том, что царь будет советоваться с народом, продолжать ли войну; Слухи о дерзкой речи П.Н. Милюкова, оскорбившего царя и царицу; Слухи о наркотической зависимости Николая II; Слух о передаче Николаем командования армией А.А. Брусилову или М.В. Алексееву.

Декабрь: Слух, что Распутин жив.

1917

Январь: Слух о покушении офицера на Александру Федоровну; Слухи о приближении голода; Слух о том, что правительство советуется с духом Распутина.

Февраль: Слухи о рабочих выступлениях 14 февраля; Слухи о расставленных на крышах «протопоповских пулеметах»; Слухи, что хлеб не привозят по приказу Протопопова, планирующего спровоцировать беспорядки; Слух о введении в Петрограде карточек и ограничениях продажи хлеба; Слух о том, что П.Н. Милюков ходит по заводам и раздает рабочим оружие.

Мистификация общественного сознания: от оккультизма к слухам о «спиритическом министерстве» и рождению лжепророков

Время Первой мировой войны характеризовалось иррационализацией массового сознания, повышением роли слухов, которые провоцировали бурные эмоции. Наступала новая эпоха масс, чувственное начало подчиняло себе начало рациональное. Впрочем, как заметили В.В. Шелохаев и К.А. Соловьев, подобные опасения высказывала русская либеральная интеллигенция с самого начала XX в., предчувствуя «конец той эпохи, которая безусловно верила в торжество человеческого разума»[1]. Одним из признаков иррационализации массового сознания оказывалось увлечение мистикой.

Начавшаяся война ожидаемо повысила религиозность общества. В городе это проявилось в возросшем внимании к восточным мистическим учениям. Особенным успехом пользовались различные формы оккультизма, спиритуализма, обыватели увлеклись гаданиями, включая хиромантию, нумерологию и пр. Вероятно, не последнюю роль в этом сыграло августовское солнечное

[1] *Шелохаев В.В., Соловьев К.А.* Российские либералы о Первой мировой войне // Новейшая история России. 2014. № 3. С. 185.

затмение 1914 г., заставившее некоторых представителей общества интерпретировать войну в эсхатологическом ключе, а также появление «кометы войны» той же осенью. «На небе к удовольствию суеверных людей появилась комета»,— иронизировал 2 сентября В.А. Городцов, а через год сам увлекшийся чтением «Первоначальных сведений по оккультизму» Папюса[1]. Вместе с тем следует отметить, что проявившийся интерес к мистицизму имел более глубокие корни. Кризис официальной православной церкви выражался, в частности, в развитии мистических сект — скопцов, хлыстов, малёванцев, к которым проявляли интерес и представители высшего света.

Определенный этап популяризации мистического спиритуализма в Европе и России связан с именем известной путешественницы, литератора-философа, а также практикующей мистификаторши Е.П. Блаватской, которая, совершив кругосветное путешествие, вернулась в 1858 г. в Россию, чтобы, по мнению некоторых исследователей, заразить увлечением спиритуалистическими сеансами петербургское общество[2]. Слава первой женщины, проникшей в Тибет, создавала вокруг Блаватской ореол таинственности, способствовала ее успешной практике гипнотизера и распространению соответствующих увлечений. Впрочем, помимо Блаватской слава хранительниц тайных, оккультных знаний еще ранее принадлежала баронессе Варваре фон Крюденер, под чье влияние попал Александр I, Екатерине Татариновой, организовавшей в Михайловском замке мистический кружок. Все они пытались соединить оккультные науки с христианством, интересовались русским сектантством.

На рубеже XIX–XX вв. в российской семиосфере отчетливо проявляются мотивы мистической мифологии, причем, если в произведениях Н.В. Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вий»), А.К. Толстого («Упырь», «Семья вурдалака») заметно влияние славянского фольклора, в творчестве В.Ф. Одоевского обнаруживается связь с западной демонологией и алхимией (не помешавшей ему, впрочем, в романе «4338-й год» предсказать появление интернета в 1837 г.), то в ряде произведений Серебряного века мистицизм обнаруживает восточные корни: например, в одном из самых известных оккультных романов рубежа XIX–XX вв. «Жар — цвет» А.В. Амфитеатрова или в скандально известных произведениях писательницы Анны Мар, один лишь псевдоним которой, взятый из буддистской канонической поэзии (злое божество Мара — враг Будды), указывал на восточно-мистические корни.

А. Эткинд проводит мысль о том, что в семиосфере Серебряного века и психологии российских революционеров обнаруживаются общие традиции хлыстовства и скопчества. Так, например, в 1905 г. В. Розанов, В. Иванов и Н. Минский проводили «собрания», на которых устраивали мистерические

---

[1] *Городцов В.А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 86, 495.

[2] См.: *Писарева Е.Ф.* Елена Петровна Блаватская. Биографический очерк. Киев, 1991.

кровопускания и коллективные испития крови, характерные для русского сектантства[1]. Некоторое время жил в хлыстовской общине поэт Николай Клюев, но сбежал перед угрозой оскопления, однако хлыстовские мотивы сохранил в своем творчестве. Клюев впоследствии признавался: «Лучшие мои произведения всегда вызывали у разных ученых, у людей недоумение и непонимание. Во всем Питере и Москве мои хлыстовские распевцы слушал один Виктор Сергеевич Миролюбов. Зато в народе они живы за их красоту, глубину и подлинность»[2]. Клюев явно скромничал, ибо его народная мифология оказала определенное влияние на С. Есенина, В. Брюсова, А. Блока. По воспоминаниям современников, А. Блок как-то сказал о Клюеве: «Христос среди нас» (христос — одно из названий хлыстов). Эткинд обнаруживает хлыстовские идеи в образах героев-революционеров из поэтических произведений Блока, Мандельштама. В апреле 1918 г. Блок написал эссе «Катилина», в котором назвал римского заговорщика «большевиком», а его бунт представил через сопоставление с сюжетом стихотворения Катулла «Аттис», где юноша оскопляет себя в порыве ненависти к Венере. Акт оскопления Блок посчитал революционным актом. А. Эткинд дает следующую характеристику философским исканиям Серебряного века: «Стремление смешать полы и полярности вообще характерно для Серебряного века. Новое религиозное сознание пыталось соединить мужское и женское, природное и культурное, земное и небесное в единых мистико-эротических образах»[3]. Действительно, поиски новых духовных опор ввиду краха официальной православно-патерналистской государственной доктрины были характерны практически для всей российской интеллигенции: от крайне правых до левых. Любопытно, что Эткинд в этих поисках, соединяющих оппозиционные начала, усматривает признаки амбивалентности, т.е. алогизма, характерные для устной народной культуры. Д.С. Мережковский, которого также не обошли поиски мистических идеалов Модерна, писал об амбивалентности религиозно-мистического атеизма русских революционеров: «Вера и сознание веры не одно и то же. Не все, кто думает верить, — верит; и не все, кто думает не верить, — не верит. У русской интеллигенции нет еще религиозного сознания, исповедания, но есть уже великая и все возрастающая религиозная жажда… Иногда кажется, что атеизм русской интеллигенции — какой-то особенный, мистический атеизм»[4].

Мистико-садомазохистская тематика проявлялась в разных формах в произведениях Серебряного века. В романе «Женщина на кресте» А. Мар соединила садомазохизм декаданса с актуальными проблемами равноправия женщин.

---

1 *Эткинд А.М.* Содом и Психея: очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М., 1995. С. 48.

2 *Клюев Н.А.* Словесное древо. Проза. СПб., 2003.

3 *Эткинд А.М.* Содом и Психея… С. 73.

4 *Мережковский Д.С.* Грядущий хам // Полярная звезда. 1905. № 3. С. 185–186.

В работах А. Эткинда, М. Могильнер, Л. Энгельштейн и других авторов, исследовавших семиотическое пространство начала XX в., прослеживается связь революционной психологии и сексуальной революции в контексте мифологем Серебряного века[1]. Л. Энгельштейн связала социально-психологические особенности городской повседневности с нереализованными революционными ожиданиями российской интеллигенции, что вылилось в сексуальную революцию начала XX в., проявившуюся не только в семиотическом пространстве (главным образом в литературе символизма), но и в общественной жизни молодежи[2]. Даже усвоившие социал-демократическую риторику, но зараженные сектантскими идеями представители интеллигенции умудрялись сочетать эти мировоззренческие системы. Ярче всего подобное сочетание, вероятно, проявилось в поэзии Н. А. Клюева, сочувствовавшего левым эсерам, писавшего стихи о Ленине, но вместе с тем рассуждавшего и о Христе: «Мой Христос не похож на Христа Андрея Белого. Если Христос только монада, гиацинт, преломляющий мир и тем самым творящий его в прозрачности, только лилия, самодовлеющая в белизне, и если жизнь — то жизнь пляшущего кристалла, то для меня Христос — вечная неиссякаемая удойная сила, член, рассекающий миры во влагалище, и в нашем мире прорезавшийся залупкой — вещественным солнцем, золотым семенем непрерывно оплодотворяющий корову и бабу, пихту и пчелу, мир воздушный и преисподний — огненный»[3]. Подобные хлыстовские интерпретации сущности Христа гармонично сочетались с утопическими представлениями о природе революции как огне, порождающем новую жизнь. Так, Е. Замятин в статье «О литературе, революции, энтропии и о прочем» записал: «Багров, огнен, смертелен закон революции, но эта смерть — для зачатия новой жизни, звезды»[4]. Даже находившийся в вынужденной эмиграции А. Аверченко в предисловии к сборнику своих «антиреволюционных» рассказов «Дюжина ножей в спину революции» писал: «Революция — сверкающая прекрасная молния, революция — божественно красивое лицо озаренного гневом Рока, революция — ослепительно яркая ракета, взлетевшая радугой среди сырого мрака!»[5] Таким образом, в семиосфере начала века происходило скрещивание божественного начала в образе Христа с другим созидательным началом в образе революции. Это неизбежно приводило к ревизии религиозных

---

[1] См.: *Эткинд А. М.* Содом и Психея: очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М., 1995; *Могильнер М. Б.* Мифология «подпольного человека»: радикальный микрокосм в России начала XX века как предмет семиотического анализа. М., 1999; *Энгельштейн Л.* Ключи счастья: Секс и поиски путей обновления России на рубеже XIX–XX вв. М., 1996.

[2] См.: *Энгельштейн Л.* Ключи счастья: Секс и поиски путей обновления России на рубеже XIX–XX вв. М., 1996.

[3] *Клюев Н. А.* Словесное древо. Проза. СПб., 2003. С. 53.

[4] *Замятин Е. И.* Мы: Роман, повести, рассказы, пьесы, статьи и воспоминания. Кишинев, 1989. С. 511.

[5] *Аверченко А. Т.* Трава, примятая сапогом. М., 1991. С. 317.

представлений россиян, чей Христос освобождался от православных одежд и облачался в хлыстовские одеяния. Один из самых популярных в молодежной среде литературных героев арцыбашевский Санин артикулировал модный религиозно-философский нигилизм, сводившийся к формуле «Христос был прекрасен, христиане — ничтожны»[1]. Распространявшиеся революционная идеология и религиозное сектантство являлись, таким образом, звеньями одной цепи.

Гремучая смесь восточно-мистических, русско-сектантских, западно-декадентских мотивов культуры Серебряного века, опыты использования наркотических веществ заставляют современных авторов пересматривать известные стереотипы об этой эпохе. Эткинд приходит к выводу, что «культура Серебряного века насыщена то явными, то смутными, то скрытыми отсылками к опыту русских сектантов. Секты по-своему решали те же проблемы русской жизни, на которых сосредотачивались интеллигентские салоны и политические партии»[2]. В.П. Булдаков и Т.Г. Леонтьева отмечают, что в семиосфере Серебряного века явственно проступали краски приближающегося заката: «Часто предвестьем конца бывает пышный закат. Психическое и интеллектуальное пространство обреченной империи достигает невиданного напряжения. Отсюда и российский Серебряный век — эта лебединая песнь старой культуры, обычно принимаемая за ее естественное цветение»[3].

Мистические мотивы обнаруживаются в творчестве пролетариев. М. Стейнберг, изучив лексику рабочих поэтов, писателей начала XX в., обратил внимание на присущую их произведениям трансгрессивность: попытку выйти за границы известной им материальной реальности. По мнению исследователя, «рабочие писатели были вдохновлены ярко выраженной пролетарской эпистемологией, которая, исходя из повседневного опыта, признавала, что мир невозможно понять только рационально, а требует эмоциональной интуиции и знаний»[4].

В 1914 г. известный в прошлом московский спирит В.П. Быков, руководитель кружка «Спиритуалистов-догматиков», издатель соответствующих журналов, выпустил пятисотстраничную книгу «Спиритизм перед судом науки, общества и религии», в которой с позиции христианской церкви описал историю, дал философскую и научную оценку этого явления. Он отмечал огромное распространение оккультных идей в обществе и на примере подписчиков своих журналов приводил социальный срез увлекающихся спиритуализмом: эти идеи пользовались популярностью у 27% крестьян, у 53%, чиновников, служащих,

---

[1] *Арцыбашев М.П.* Санин. М., 1990. С. 239.

[2] *Эткинд А.М.* Содом и Психея… С. 92.

[3] *Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г.* 1917 год. Элиты и толпы: культурные ландшафты русской революции. М., 2017. С. 137.

[4] *Steinberg M.* «A Path of Thorns»: The Spiritual Wounds and Wandering of Worker-Poets // Sacred stories: religion and spirituality in modern Russia. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 2007. P. 308.

у 12% лиц свободных профессий, у 8% представителей духовенства[1]. Быков, разочаровавшийся в оккультизме и вернувшийся в Церковь, предпринял в книге попытку разоблачения сеансов магии, с которыми был знаком, однако признавал при этом, что в некоторых случаях спиритуалистам удается вызвать настоящих духов, но это он объяснял проделками Сатаны[2].

Столкновения модернистских и традиционных основ проявлялись не только в сфере литературных изысков интеллигенции. Они захватывали сознание всех образованных слоев общества, включая императорскую чету. Ю.Н. Данилов упоминает особую роль при дворе доктора тибетской медицины П. Бадмаева, которого генерал считал авантюристом[3]. Вместе с тем Бадмаев был крестником Александра III, пользовался большим доверием Николая II и Александры Федоровны, лечил цесаревича Алексея. У тибетского врача лечился также Иоанн Кронштадтский, впоследствии к его услугам прибегал и Г. Распутин. Не меньшими почестями при дворе пользовался французский маг-медиум, экстрасенс Мастер Филипп (Филипп Антельм Ницье), который предсказал рождение у императрицы наследника престола, а также начало Русско-японской войны и революции. В период Первой мировой войны императрица часто припоминала супругу сказанные Филиппом слова о том, что конституция гибельна для России, министров нужно крепко держать в руках и пр. 16 июня 1915 г. Александра Федоровна в письме Николаю II вспоминала Филиппа, называя его «первым Другом» («вторым Другом» был Распутин, с которым императорская семья познакомилась сразу после смерти Филиппа в 1905 г., вовремя подыскав, таким образом, ему замену): «Наш первый Друг дал мне икону с колокольчиком, которая предостерегает меня от злых людей и препятствует им приближаться ко мне. Я это чувствую и таким образом могу и тебя оберегать от них…»[4]

Многие современники отмечали веру императрицы в сверхъестественное, выходящую далеко за рамки православия, в сферы языческого фетишизма. По их словам, двери дворцов были открыты для всевозможных юродивых странников и в разное время определенным влиянием пользовались такие юродивые, как Митя Коляба и Дарья Осипова. В высшем свете знали эти имена, и даже М. Палеолог считал, что Митя Коляба является наиболее вероятным преемником на место Распутина, если с последним что-то случится. В мае 1915 г. французский посол посвятил биографии этого юродивого несколько страниц своего дневника: «Митя Коляба — простак, безвредный слабоумный, юродивый, похожий на того юродивого, который произносит вещие слова в „Борисе Годунове“. Рожденный примерно в 1865 году в окрестностях Калуги,

[1] *Быков В.П.* Спиритизм перед судом науки, общества и религии. Пг., 1914. С. 78.
[2] Там же. С. 99.
[3] *Данилов Ю.Н.* На пути к крушению… С. 227.
[4] Письма императрицы… Т. 1. С. 135.

он глухонемой, полуслепой, кривоногий, с деформированным телосложением и с двумя обрубками. Его мозг, столь же атрофированный, как и все его тело, способен понимать крайне ограниченное количество мыслей, которые он выражает гортанными возгласами, с заиканием, неразборчивым бормотанием, рычанием, писком и беспорядочной жестикуляцией своими обрубками. В течение нескольких лет его принимали, проявляя милосердие, в монастыре Оптиной пустыни близ Козельска. Однажды его увидели находившимся в состоянии сильнейшего возбуждения, время от времени прерывавшегося полнейшим оцепенением. Это его состояние напоминало приступ экстаза. Все в монастыре сразу же решили, что через его недоразвитое сознание о себе дает знать божественное воздействие; но, что именно, никто понять не мог. Пока все терялись в догадках, одного монаха озарило. Когда он преклонил колени в темной часовне, чтобы помолиться, ему явился святой Николай и открыл ему значение выкриков и судорог юродивого: монах записал под диктовку самого святого Николая точный смысл поведения калеки. Монастырская община была поражена глубоким смыслом информации и предвидением, выраженными в бессвязных восклицаниях слабоумного: ему было известно все — прошлое, настоящее, будущее. В 1901 году Митю Колябу привезли в Петербург, где император и императрица высоко оценили пророческую прозорливость калеки, хотя в то время они всецело находились в руках чародея Филиппа. Казалось, что в губительные годы японской войны Мите Колябе предназначено сыграть огромную роль, но его неумелые друзья втянули его в крупную ссору между Распутиным и епископом Гермогеном. Калека был вынужден исчезнуть на некоторое время, чтобы избежать мести своего грозного соперника. В настоящее время Митя живет в кругу небольшой тайной, но ревностной секты и ждет своего последнего часа»[1].

Императрица собирала амулеты, подаренные ей различными старцами, и особенно среди них выделяла амулеты Мастера Филиппа и Распутина. Помимо иконы с колокольчиком, в письмах императрицы упоминается палка, подаренная Николаю Распутиным, которую Александра Федоровна заставила мужа взять с собой в Ставку. Причем это была вторая палка — первую палку благословил Филипп, дотронувшись до нее. Вторая палка с изображением рыбы, держащей птицу, была привезена с Афона, Распутин какое-то время пользовался ею сам, но потом отдал царю. В конце концов Николай, очевидно испытывавший определенные неудобства от этой палки, приспособил ее для занятий гимнастикой. Также в письмах упоминается гребенка Распутина, которой, по мнению Александры Федоровны, император должен был каждый раз причесываться перед ответственными мероприятиями. А. Кизеветтер, в прошлом профессор истории Московского университета, покинувший его

[1] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 308–309.

в 1911 г. по известному «делу Кассо», а также бывший член ЦК партии кадетов, писал в 1922 г.: «Рассматриваемые письма с полною ясностью устанавливают, в чем состояла тайна того психического плена, в котором Распутин держал Александру Федоровну. Легенду о физической связи между ними нужно признать совершенно опрокинутой. Полная и безусловная покорность Александры Распутину проистекала из совершенно иных источников. Прежде всего, здесь сказался тот религиозный фетишизм, который уже владел душою Александры задолго до появления Распутина. Она сама несколько раз вспоминает в письмах 1915 года про доктора Филиппа и уподобляет таинственную силу Распутина над людьми былым чарам Филиппа»[1].

Практически все слои населения были увлечены гаданиями, как русскими народными, так и оккультными, с помощью хиромантии. Императрица Александра Федоровна во время нечастых разъездов по губерниям всегда старалась посетить известных старцев и стариц, славившихся своими способностями к ясновидению. Особенно эта тяга усилилась в ней в период Первой мировой войны. Превозмогая боль (Александра Федоровна мучилась болезнью ног, которая, по мнению некоторых исследователей, носила психосоматический характер, была следствием сильной неврастении), она часто на носилках посещала кельи. Офицер из Старой Руссы, сопровождавший императрицу в Десятинном монастыре, описал посещение государыней кельи старицы в декабре 1916 г.: «Еще на вокзале нам стало известно, что будет посещен Десятинный монастырь, и никто не мог понять почему. Только когда Она туда поехала и начала спрашивать про какую-то „старицу", то догадались, что дело идет о некой Марии Михайловне, старухе 107 лет, которая живет в этом монастыре и славится не только некоторым ясновидением, но еще и тем, что никогда не моется. Архиепископ Арсений счел долгом Ее об этом предупредить, на что получил ответ: „Ничего, ничего, дух над плотью". Войдя в келью М.М., Она подошла к кровати, где лежала старуха. Эта последняя спросила ее: „Ты царица" — „Да" — „Это твои дочери" — „Да". Она подошла к М.М. ближе и поцеловала ее руку, после чего Ее дочери сделали то же. Затем М.М. сказала: „Не беспокойся, все будет хорошо; война скоро кончится; не плачь (Она заплакала и начала покрывать М.М. поцелуями), но смотри, царица, не серди!" Заставила наклониться ближе и что то еще тихо говорила. Нужно сказать, что до этого свидания Она по лестнице поднималась на руках санитаров, а после всюду всходила сама и говорила, что давно так хорошо и добро себя не чувствовала»[2].

Кизеветтер, связавший последующую трагедию России с судьбой Александры Федоровны, характеризовал императрицу как женщину с «душою честолюбивой, порывисто-страстной и бурной и с мыслью, безнадежно затуманенной

---

[1] *Кизеветтер А.А.* Письма царицы // Современные записки. 1922. Кн. XIII. Культура и жизнь. С. 327–328.

[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1066. Л. 1702.

предрассудками и признаками расстроенного воображения»[1]. Князь Ф. Юсупов и В.М. Пуришкевич считали, что сознание императрицы с помощью гипноза запутал Г. Распутин (само по себе такое объяснение свидетельствует об определенных взглядах и склонностях Юсупова и Пуришкевича): «Трудно судить о характере этого специфического распутинского воздействия, в котором своеобразный, хотя и в достаточной степени грубоватый привкус мистицизма все же был; ясно одно, что этот мужик внушил Александре Федоровне сознание наличия в нем какого-то Христова начала, Божества, благодаря которому все, чего он касается, получает благодать и освящение»[2]. Юсупов уверял, что «лицо с такой магнетической силой, как Распутин, появляется раз в тысячу лет»[3]. По мнению Пуришкевича, в мировоззрении императрицы болезненно смешалось несочетаемое — ценности английского воспитания и идеи русского сектантства и восточного мистицизма, что позволило сравнить ее с известными дамами-мистиками и сектантками XIX в.: «Немецкая принцесса, английского воспитания на русском троне, впавшая в мужицкую хлыстовщину пополам со спиритизмом в общей истории русского мистицизма, столь странно и оригинально казалось бы смешавшая в себе совершенно не смесимые основные элементы от курной избы до английской школы, не оригинальна. Это г-жа Крюденер или г-жа Татаринова, взобравшаяся на трон»[4].

Последний протопресвитер русской армии Г. Шавельский отмечал сильно развитый фатализм у царя и царицы[5], Пьер Жильяр считал, что у императора развилась «мистическая покорность судьбе, которая его побуждала скорее подчиняться обстоятельствам, чем руководить ими»[6]. Князь Е.Н. Трубецкой, рассуждая о трагедии Николая II в выступлении на заседании Религиозно-философского общества 15 апреля 1917 г., находил ее причины в отступлении от православной веры, в «повреждении первоисточника духовной жизни»: «Он поставил свою власть выше Церкви, и в этом было и самопревозношение, и тяжкое оскорбление святыни. Он безгранично верил в субъективное откровение, сообщающееся ему — помазаннику Божию — или непосредственно, или через посланных ему Богом людей, слепо верил в себя как орудие Провидения. И оттого он оставался слеп и глух к тому, что все видели и слышали… Повреждение первоисточника духовной жизни — вот основная причина этого падения»[7]. Современные богословы, обращающиеся к проблеме веры

---

[1] *Кизеветтер А.А.* Письма царицы… С. 324.

[2] Дневник члена Государственной Думы В.М. Пуришкевича. Рига, 1924. С. 135.

[3] Там же.

[4] Там же. С. 138–139.

[5] *Шавельский Г.И.* Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. Нью-Йорк, 1954. Т. 2. С. 296.

[6] *Жильяр П.* Император Николай II и его семья. Л., 1990. С. 174.

[7] *Трубецкой Е.Н.* О христианском отношении к современным событиям // Русская свобода. Пг., 1917. № 5. С. 3–8.

августейшей семьи, приходят к выводу, что Николай II и Александра Федоровна демонстрировали интерконфессиональный мистицизм, плохо сочетавшийся с официальным православием: «Религиозность царской четы при всей ее внешне традиционной православности носила отчетливо выраженный характер интерконфессионального мистицизма», — пишет профессор Московской духовной академии А. И. Осипов[1].

Интерконфессиональный мистицизм был характерен для многих представителей российской элиты. Считавшие себя православными подданные империи, в том числе и генералы русской армии, искренне поддерживали борьбу церкви с сектантством и одновременно так же искренне интересовались мистицизмом. Оккультными науками увлекался А. А. Брусилов, вероятно, под влиянием своей жены — племянницы Е. П. Блаватской. Большой популярностью в городах пользовались хироманты. Жена революционера-террориста А. Иванова писала своему любовнику в июне 1914 г.: «Ты знаешь, я ведь в Петербурге была у хиромантки. Она мне предсказала три смерти близких мне людей в этом году. Через 2 недели после моего визита к ней умерла тетя Женя. Глупо, быть может, это, но я теперь так боюсь за дядю»[2]. В том же месяце сидевшие в тюрьме политические арестанты, дожидавшиеся окончательного приговора, гадали о сроках наказания и вместе с тем сами предсказывали скорое начало войны: «Сейчас мы гадали. Брут написал десяток билетиков с разными выигрышами и я вытянул 12, а он 1 год. О, если бы так… Я не боюсь никакой казни, пусть дадут 1, 2, 3, 5, 10 лет я уверенно говорю, что тюрьмы откроются или амнистией или войной не позднее чем через год»[3]. Как известно, начавшаяся через месяц война не открыла двери тюрем, это сделала произошедшая спустя два с половиной года революция.

С самого начала войны мистицизм порождал пессимизм: мистически настроенные подданные считали, что император, родившийся в день святого Иова Многострадального, обречен на неудачи как во внутренней, так и во внешней политике. Один из посетителей М. Палеолога в августе 1914 г. рассказывал о распространении «мрачных предсказаний», основанных на слухах о лежащем на Николае злом роке. В качестве доказательства приводили Ходынку, затонувший на глазах императора пароход на Днепре, болезнь единственного наследника, поражение в войне с Японией, а также «ужасные линии его руки»[4].

Первая мировая война породила естественный интерес к предсказаниям и спросу на услуги хиромантов, ясновидцев, гадалок. Косвенным свидетельством распространения хиромантии в деревенской среде могут служить случаи

---

[1] *Осипов А. И.* О канонизации последнего русского царя // Благодатный огонь. Православный журнал. Обращение 13 октября 2018. http://www.blagogon.ru/biblio/844/.

[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 967. Л. 31 об.

[3] Там же. Л. 51 — 51 об.

[4] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 97–98.

доносов прихожан на священников, в которых последние обвинялись в занятиях хиромантией[1]. Хиромантия в годы войны стала доходным делом, поэтому за нее брались многие бедняки. Ссыльный Енисейской губернии рассказывал в письме, что среди уголовников встречаются освоившие хиромантию, причем это занятие оказывается более доходным, чем кузнечное дело[2]. Столичную печать переполнили сообщения о прибытии известных магов-гипнотизеров, рассказы о чудесных спиритических сеансах, сбывшихся предсказаниях или просто загадочных происшествиях. Так, например, «Биржевые ведомости» опубликовали историю про одну известную в Париже скрипачку, муж которой по имени Реми был призван в армию. Уезжая на фронт, он сказал жене: «Если меня убьют на войне, я дам тебе знать об этом прежде, чем ты получишь официальное извещение». Скрипачка на все время, пока ждала мужа, забросила скрипку, но в один день почувствовала очень сильную тягу к инструменту. Как только она открыла футляр, раздалось два сухих звука — это лопнули струны Ре и Ми. На следующий день она получила официальное уведомление о том, что ее муж сержант Реми погиб[3].

В столичной печати ходили истории про мадам де-Берг, которую сравнивали с французской оккультисткой мадам де-Тэб. Де-Берг, изучив «множество рук людей разных положений, пришла к выводу, что 1914 и 1915 годы сулят нам много перемен, каких уже не было сто лет», — писал «Исторический вестник»[4]. Якобы еще в 1908 г. она предсказала начало большой войны и сулила Германии утрату ее положения. При этом перспективы России рисовались в радужном свете в духе квасного патриотизма: «Могущество России достигнет в 1915 году небывалого расцвета. „Славянские ручьи сольются в русском море". Русская армия раздавит немецкий милитаризм. Вообще планеты сулят России светлое будущее»[5]. Однако с течением времени индивидуальные пророчества вытесняли глобальные, геополитические предсказания. Частная сфера жизни в силу ухудшения быта, кризиса повседневности приобретала большую актуальность. Люди устремлялись к хиромантам, чтобы узнать свою собственную судьбу и судьбу близких.

В Петрограде популярностью у непритязательной публики пользовался предсказатель «дядя Миша», который специализировался на предсказаниях солдатским женам. Гадал кухаркам и горничным на картах по 30 копеек за сеанс, но по мере роста популярности поднял таксу и, когда к нему стали обращаться представители образованных слоев, стал требовать за визит 1 рубль.

---

[1] РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Отд. 3. Ст. 5. Д. 22. Л. 32 об.

[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1005. Л. 2.

[3] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1915. 28 января.

[4] *Ювачев И.П.* Роковой год (Предсказания войны) // Исторический вестник. 1915. Т. 139. Январь. С. 253.

[5] Там же. С. 254.

Постепенно клиентов стало столько, что гадать им на картах уже не хватало времени, в результате чего «дяде Мише» пришлось освоить новую технику предсказаний: давать пророчества, мельком взглянув в лицо клиента[1]. Подобные истории сообщают многое не столько о предприимчивых дельцах, сколько об их клиентах. Успех «дяди Миши» свидетельствует о мистическом кризисе массового сознания обывателей в годы войны.

Если «Биржевые ведомости», сообщая о «дяде Мише», иронизировали на его счет, то желтая пресса нередко делала подобным типам рекламу. Так, «Петроградский листок» рассказывал об «известной предсказательнице М. И. Гавриловой», указывая адрес ее проживания и приводя примеры ее чудесных пророчеств, включая предсказание о начале войны[2]. Публиковались и случаи разоблачения мошенников. Так, к тюремному заключению на один месяц была приговорена столичная гадалка Карболаева. К последней за помощью обратилась солдатка Василиса Рябкова, долго не получавшая известий от мужа. Карболаева во время сеанса попросила Рябкову положить все наличные деньги в сверток, произвела с ним какие-то манипуляции, а после велела клиентке взять сверток, идти домой, спрятать его в сундук и не вынимать до конца войны, что наивная женщина и сделала. Однако вскоре после этого с партией раненых вернулся ее муж, и она решила достать деньги из свертка. Каково же было ее удивление, когда там денег не оказалось. Рябкова обратилась в полицию, и Карболаеву арестовали[3].

Помимо авантюристов появлялись и те, кто искренне верил в свои способности. Среди таких можно назвать семнадцатилетнюю Валентину Соколову-Лебедкову, которую даже называли «русской Жанной д'Арк». В 1914 г. она приехала в Петроград из Иркутска, чтобы поступить на курсы, но обнаружила у себя провидческие способности по поводу течения военных действий, якобы предсказав поражение немцев под Варшавой. От гаданий по запросам частных лиц девица отказывалась и отправилась в Варшаву, поближе к фронту, помогать военному командованию советами[4].

В октябре 1914 г. в Москве появился «трамвайный пророк»: разъезжая в трамваях, он предсказывал скорое окончание войны вследствие самоубийства Вильгельма II[5]. По городам и деревням ходили шарманщики, продававшие билеты с предсказаниями о военных событиях. Популярностью пользовались гадания, основанные на магии чисел: обыватели искали закономерности, позволявшие определить дату окончания войны. Так была выведена формула определения даты мира на основе Франко-прусской войны 1870–1871 гг.: если сложить оба числа, то сумма первых двух чисел полученного результата будет

[1] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1915. 10 января.

[2] Петроградский листок. 1914. 10 октября.

[3] Петроградский листок. 1914. 4 октября.

[4] *Ювачев И. П.* Война и вера // Исторический вестник. 1915. № 2. С. 586–587.

[5] *Городцов В. А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 125.

означать день, а сумма оставшихся — месяц окончания войны, т.е. 10 мая. Действительно, 10 мая 1871 г. был подписан мирный договор между Францией и Пруссией. Будучи уверенными в том, что современная война не продлится дольше текущего года, петроградцы решили, что Германия подпишет капитуляцию 11 ноября 1915 г. (1914 + 1915 = 3829; 3 + 8 = 11; 2 + 9 = 11)[1]. Как известно, Германия действительно подписала в Компьенском лесу перемирие 11 ноября, фактически означавшее окончание войны, но только в 1918 г. Таким образом, жаждавшие скорейшего мира предсказатели ошиблись ровно на три года.

Журналы публиковали примеры «знаков», указывающих на неизбежность заключения мира с Германией. «Синий журнал» опубликовал в 1916 г. статью с интригующим названием «Интересная связь между законами природы и божественными указаниями», в которой автор обращал внимание читателя на то, что если загнуть длинную полоску бумаги определенным способом и обрезать, то получится девять обрезков, один из которых образует крест, а остальные восемь образуют слово *hell*, что по-английски означает «ад», а по-немецки «светло». В этом автор статьи увидел указание бога на то, что Германии пора заканчивать войну[2].

В погоне за счастьем и удачей, если не помогали духи, карты и лотерейные билеты с предсказаниями, люди пытались в силу своих возможностей и в меру известных суеверий самостоятельно влиять на судьбу. Так, например, россияне бросились скупать «брутовские рубли» — бумажные деньги, подписанные кассиром Государственного банка Брутом, который повесился в 1914 г., по слухам, проигравшись в карты. Согласно суеверию, некоторые вещи, оставшиеся от самоубийц, приносят счастье, вот обыватели в условиях распространения мистицизма и поддались массовой психологии. Появлялись в печати и разоблачающие публикации. В 1915 г. рядом столичных газет освещалась история «деятельности» и суда над известной брачной аферисткой Ольгой Штейн, умудрявшейся периодически выходить замуж за состоятельных мужчин, получая от них различные титулы и состояние. Отмечалось, что причина популярности Штейн у сильного пола была в ее спиритуалистических способностях: она одними глазами гипнотизировала своих жертв и внушала им свои желания[3]. На популярность оккультизма среди городских слоев реагировала литература. Так, модная писательница Е. А. Нагродская в четырехактной пьесе «То, чему не верят» описала страстное увлечение мистицизмом молодой девушки, которая вступила в тайное оккультное общество, на деле оказавшееся бандой аферистов.

В результате роста подобных явлений 9 января 1915 г. приказом по полиции было запрещено заниматься хиромантией и гаданием на картах. Петроградская обывательница в письме приветствовала данную меру: «Зато запретили

---

[1] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1915. 29 июня.
[2] ГА РФ. Ф. 1с/97. Оп. 4. Д. 19. Л. 90 об.
[3] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1915. 5 февраля.

хиромантов. Спасибо большое, а то эта дрянь заползала в семьи, разрушая их, играла роль сводней, а в последнее время сочиняла предсказания насчет войны»[1]. В следующем месяце власти взялись за шарманщиков. Нужно заметить, что в отношении последних были подозрения и иного рода: «Земщина» сообщала о появлении на Дальнем Востоке шпионов, которые якобы под видом шарманщиков (в шарманки будто были вставлены фотографические аппараты) собирают сведения о переброске войск[2]. 19 февраля 1915 г. от имени товарища министра внутренних дел всем губернаторам было отправлено циркулярное письмо: «Прошу воспретить бродячим шарманщикам продажу публике билетов с предсказаниями о войне и мире»[3]. Некоторые губернаторы пошли еще дальше и тут же издали запрет на всякую публикацию статей, оттисков и прочего с предсказаниями о войне[4]. Конечно, эффект от запретительных мер был нулевой, так как война и усугублявшийся внутренний кризис в империи рождали спрос на поиск ответов в оккультных сферах.

В марте 1915 г. известный в Москве хиромант В.Д. Филимович, автор книги «Чистая хиромантия», пытался выпускать «научно-популярную газету» «Вестник оккультизма и спиритизма», в которой подводил научную базу под мистические учения. В ней хиромант рекламировал свои лекции, а также делал прогнозы. В частности, опубликовал «ономантический гороскоп» Вильгельма II, в котором предсказывал смерть последнего в 1917 г.[5] Торговцы книгами (книгоноши) жаловались, что на серьезную литературу спрос был крайне низким, а вот брошюры про оккультизм, апокрифические жития, книги про магов и волшебников разбирали куда охотнее[6].

М. Палеолог обращал внимание, что в великосветском обществе Петрограда разговоры о мистике были очень модными, при этом не только связывал моду на них с текущими событиями, но и считал, что тяга к тайным знаниям является национальной чертой русского народа: «Со времени Сведенборга и баронессы Крюденер все спириты и иллюминаты, все магнетизеры и гадатели, все жрецы эзотеризма и чудотворцы встречали радушный прием на берегах Невы». Посол избегал подобных обществ, но иногда оставался, чтобы понаблюдать за поведением и настроениями собравшихся. Так, он описал обстановку в гостиной одной своей знакомой в ноябре 1915 г.: «Сегодня вечером, довольно поздно, я заглянул на чашку чая к госпоже С. У нее уже были гости, примерно человек двенадцать. В весьма оживленной беседе принимали участие все собравшиеся.

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1010. Л. 85.

[2] Земщина. 1915. 18 июля.

[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 73. Д. 86. Л. 2.

[4] Там же. Л. 4.

[5] Вестник оккультизма и хиромантии. 1915. 1 марта.

[6] Книга и читатель, 1900–1917: Воспоминания и дневники современников / Сост. А.И. Рейтблат. М., 1999. С. 8.

Говорили о спиритизме, привидениях, гадании по ладони, предчувствиях, телепатии, метемпсихозе и колдовстве. Почти все присутствовавшие мужчины и женщины поделились историями и случаями из собственного опыта. Когда я появился, эти волнующие проблемы уже горячо обсуждались в течение двух часов, поэтому, выкурив сигарету, я удалился — как только разгорается разговор подобного рода, он может продолжаться до утра»[1].

Впрочем, среди «мистиков»-аристократов не было единства. В.М. Пуришкевич, считавший мистицизм «высоким жизненным направлением, связанным со всем творческим и возрождающим, что только есть в жизни и природе человека», разоблачал салоны типа графини Игнатьевой, где «самым мелким и пошленьким характером отличался мистицизм наших аристократических кругов, которые связали свое поверхностное и модное увлечение оккультными науками и спиритизмом в одну нелепую смесь с распутинством и спиритическими сеансами»[2].

В ноябре 1916 г. Палеолог зафиксировал беспокойство среди петроградских элит по поводу неизбежности революции. Уверенность в последней была вызвана известиями о смерти во Франции мага Папюса, который в октябре 1905 г. якобы предсказал царю и царице, что революция не повторится в России, пока он жив. В высшем свете столицы о нем ходила следующая легенда. Во время разгара всеобщей забастовки 1905 г. «маг был немедленно приглашен в Царское Село. После краткой беседы с царем и царицей он на следующий день устроил торжественную церемонию колдовства и вызывания духов усопших. Кроме царя и царицы, на этой тайной литургии присутствовало одно только лицо: молодой адъютант императора капитан Мандрыка, теперь генерал-майор и губернатор Тифлиса. Интенсивным сосредоточением своей воли, изумительной экзальтацией своего флюидического динамизма духовному учителю удалось вызвать дух благочестивейшего царя Александра III, несомненные признаки свидетельствовали о присутствии невидимой тени. Несмотря на сжимавшую его сердце жуть, Николай II задал отцу вопрос, должен он или не должен бороться с либеральными течениями, грозившими увлечь Россию. Дух ответил: „Ты должен во что бы то ни стало подавить начинающуюся революцию, но она еще возродится и будет тем сильнее, чем суровее должна быть репрессия теперь. Что бы ни случилось, бодрись, мой сын. Не прекращай борьбы“. Изумленные царь и царица еще ломали голову над этим зловещим предсказанием, когда Папюс заявил, что его логическая сила дает ему возможность предотвратить предсказанную катастрофу, но что действие его заклинания прекратится, лишь только он сам исчезнет физически. Затем он торжественно совершил ритуал заклинания»[3].

---

[1] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 402–403.

[2] Дневник члена Государственной Думы В.М. Пуришкевича. Рига, 1924. С. 135.

[3] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 642.

Известность Г. Распутина также была связана со слухами о его мистических силах, способностях предсказывать будущее. Лично встречавшиеся с ним люди рассказывали, что он обладал даром гипнотического воздействия на собеседника. О том, что Распутин брал уроки гипноза, рассказывал в 1917 г. С.П. Белецкий[1]. В определенных кругах распространялись слухи, что Распутин с помощью внушения манипулирует Николаем II. В других случаях речь шла о том, что царская семья стала жертвой группы гипнотизеров-шпионов. Дж. Маннгерц обратила внимание на распространенные с начала войны слухи об использовании немецкими солдатами гипноза в качестве оружия[2]. Неудивительно, что Распутина-гипнотизера считали также и немецким агентом.

Ходили слухи о неуловимости Распутина, чудесных спасениях от покушений. Поэтому как только 17 декабря 1916 г. появилось известие об убийстве Распутина, тут же родился слух, что он жив-здоров. По другой версии, Распутин хоть и умер физически, но его душа успела вселиться в одного из членов правительства. Обычно упоминали фамилию Протопопова. Хотя чаще всего данные утверждения встречаются в саркастическом контексте, широкая распространенность этого мнения в частной корреспонденции с учетом иррационализации общественного сознания позволяет предположить в ряде случаев их искренность. Так, если в письме сенатора И.С. Крашенинникова от 20 января 1917 г. указывается на то, что Протопопов всего лишь «перешел на амплуа Распутина», то в письме другого автора передается слух о том, что он «заявил где надо, что в него вселился дух Распутина»[3]. В.М. Пуришкевич также передавал молву, что во время отпевания Распутина с Протопоповым случился припадок — он упал на колени перед гробом и начал кликушествовать и кричать: «Я чувствую, что на меня сошел дух великого старца»[4]. Великая княгиня Мария Павловна Мекленбург-Шверинская рассказывала в январе 1917 г. Палеологу, что «императрица вполне овладела императором, а она советуется только с Протопоповым, который каждую ночь спрашивает совета у духа Распутина»[5]. О том же сообщал Дж. Бьюкенен: «Протопопов, на плечи которого упала мантия Распутина, был теперь более могущественен, чем когда-либо. Будучи не совсем нормален, он, как говорят, на своих аудиенциях у императрицы передавал ей предостережения и сообщения, полученные им в воображаемом разговоре с духом Распутина»[6].

---

[1] Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства. Л., 1925. Т. 4. С. 501.

[2] *Mannherz J.* Hipnosis in Russian Popular Culture during the Era of War and Revolution // Russian Culture in War and Revolution, 1914–1922. Book 1. Popular Culture, the Arts, and Institutions. Bloomington, Indiana, 2014. P. 108.

[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1069. Л. 186.

[4] Дневник члена Государственной Думы В.М. Пуришкевича. Рига, 1924. С. 143.

[5] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 724.

[6] *Бьюкенен Дж.* Мемуары дипломата… С. 200.

Убийство Распутина некоторыми интерпретировалось в эсхатологическом ключе как предзнаменование скорой гибели России. Опять вспоминали Папюса — якобы в 1915 г. он написал императрице письмо, заканчивавшееся словами: «С каббалистической точки зрения, Распутин подобен сосуду в ящике Пандоры, содержащему в себе все пороки, преступления и грязные вожделения русского народа. В том случае, если этот сосуд разобьется, мы сразу же увидим, как его ужасное содержимое разольется по всей России»[1].

Иррационализация сознания горожан нашла неожиданное выражение в политической риторике, которая с 1916 г. стала наполняться соответствующей терминологией. Вероятно, отчаявшись объяснить происходящее в стране рационально, обыватели приступили к поиску мистических улик. Так, устав от «министерской чехарды», они в частных письмах друг другу называли правительство «спиритическим», причем в это слово вкладывалось одновременно несколько значений: министерство, состоявшее из духов, и министерство, занимавшееся спиритическими, а не правительственными делами. Примером употребления словосочетания «спиритическое министерство» в первом значении служит письмо за подписью «Лида», отправленное из столицы 13 января 1917 г.: «Все наши ожидания так и остались ожиданиями, что вполне соответствует русской действительности. Быть может теперешнее объединенное спиритическое министерство удивит мир своими решениями, продиктованными посторонними силами, но и не думаю. Ведь подобное стремится к подобному, следовательно и духи должны быть равного качества. Вот уж тогда в пору петь „уж не жду от верха ничего я“»[2]. В последней строчке перефразированы слова из известного в начале XX в. романса на стихотворение М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу»:

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Оба значения словосочетания «спиритическое министерство» вытекали из представлений российских подданных о министрах как временных ставленниках Г. Распутина и министрах, не способных самостоятельно действовать. Так, петербуржец характеризовал нового министра просвещения, доктора медицины Н. К. Кульчицкого, попадавшего по следующему описанию под понятие «духа»: «Про Кульчицкого одна особа, хорошо его знающая, рассказывала, что он круглый дурак и ничтожество (будто бы в Казани его звали „пареной репой“). Кассо выдвинул его как подставное лицо, чтобы спихнуть кого-то и сдать Кульчицкого потом в Совет министерства. Назначение объясняется

[1] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 704.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1068. Л. 95.

тем, что К. был в фаворе у Р-на (Распутина. — *В.А.*)»[1]. В другом письме Кульчицкого прямо называли спиритуалистом и даже связывали его с сектантским кружком Д.С. Мережковского: «Новый министр спирит; в свое время привлекался к суду по делу 193 (революционная пропаганда), но затем покаялся; должен был подвергнуться суду по делу Мережковского, но по милости министра Кассо был спасен переводом на должность попечителя Петроградского учебного округа, изгнание его с которой было первым делом Игнатьева»[2]. Любопытно, что в английском языке слово «spirit» имеет еще одно значение, весьма актуальное для городских слоев эпохи сухого закона, — алкоголь. В народе был распространен образ царя-пьяницы и такого же правительства.

Некоторые современники предсказывали, что накануне революции Россию захлестнет нашествие массы юродивых, сопоставляя современность с событиями Смуты XVII в.: «Да, у нас даже не будет самозванца, будет только взбунтовавшийся народ да юродивый, будет даже много юродивых. Мы не переменились со времени наших предков… по части мистицизма…»[3] Это оказалось верным наблюдением: временам социально-политических кризисов соответствуют кризисы психологические. Далеко не все субъекты оказываются способными выдерживать крутые виражи динамики массовых настроений, в результате чего на почве мистицизма у многих развиваются психические отклонения. Современник был не прав лишь в том, что самозванцы накануне революции тоже появлялись.

Любопытным источником по формам мистического юродства в российском обществе являются доносы, поступавшие в Департамент полиции, а также письма, приходившие на имена высших должностных лиц. Как правило, их авторами во все времена являются люди определенного психического склада, предрасположенные к известным заболеваниям, обычно из числа низших слоев общества. В годы войн и революций их активность резко возрастает. В ряде случаев авторы обрушивали проклятия на представителей власти, требовали прекратить войну, пугая страшными пророчествами. Показательно, что даже в письмах очевидных сумасшедших прослеживается некоторая общая мысль о современном положении, о бедах, вызванных войной. Иоганн Цейтнинг рассылал «божественные предсказания» министрам и Николаю II, в которых в вольной форме пересказывал стихи из книги пророка Исайи, угрожая судом божьим тем «сильным народам», которые продолжают войну: «Он „Агнец-Спаситель“ будет судить по людям и наказать сильных народов, которые охотно воевают и обличит многие племена. Потом они перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы, не поднимает народ на народа меча и не будет

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1069. Л. 186.

[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1068. Л. 86.

[3] *Палеолог М.* Дневник посла…

больше учится воевать. Тогда Бог через Агнца-Спасителя основает „Велико-Миро-Славию“ и будет государить мир народов»[1].

Накануне Февральской революции 1917 г. Департамент полиции разбирал один из случаев самопровозглашенного лжецаря. 28 декабря 1916 г. и затем повторно 3 января 1917 г. на имя главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта А.А. Брусилова пришло письмо за подписью Царя Иоанна (орфография и пунктуация оригинала сохраняются):

> Высочайший манифест.
>
> Божиею Милостию Мы Иоанн Первый и Родитиль Мой Александр Сын Императора Александра II Цари Российские.
>
> Объявляем армии нашей и флоту: что всемогущему благоугодно возвести Иоанна на престол Царей Российских и восстановить патриархальный порядок. Я Иоанн согласно Воле Всемогущего: объявляю себя законным Царем Российским, и восшествие мое на престол Царей российских узаконил в двадцать шестой день месяца декабря тысяча девять сот шестнадцатого года от Рождества Христова. А по сему и объявляю Армии Моей и Флоту «Мир!»
>
> — И что не достигнуто Армией и Флотом — войной, то с помощью Божией будет достигнуто Миром — а дальше продолжать войну невозможно потому что она приняла затяжной характер, что было раз завоевано русскими войсками, то перешло опять в руки немцев, и наоборот; такая война может продолжатся несколько лет — подобно Троянской войне, а люди должны гибнуть как мухи, и голодать на все возможные лады. «Довольно крови и страданий!» А по сему поручаем Генералу Брусилову заключить с Германией и с Австрией бесконечный мир.
>
> Не заботясь о территориальных приобретениях а главное: только устранить с нашей стороны уплату контрибуции.
>
> И Россия опять выйдет из тупика, и с Божией помощью будет трудиться всесторонне с небывалым единодушием, и отстранит партийные распри, и прекратит религиозные ереси — и Сектанства, и весь как один совершенный человек обратятся с совершенною молитвою к Отцу Небесному, да ниспошлет он нам Милосердное Покровительство, и неисчислимые щедроты свои: «Мир! Мир! Мир!»[2]

Далее «царь» поручал образовать «ответственный» кабинет министров из числа депутатов Государственной думы и провести в стране реформы.

По всей видимости, автором письма был провинциальный священник из г. Вязники Владимирской губернии или церковнослужитель, который в целом верно выразил общие настроения низов: прекращение войны без аннексий и контрибуций. Примечательно, что автор считает Брусилова главнокоманду-

---

1 ГА РФ. Ф. 102. ДП-ОО. Оп. 245. Д. 33. Т. 5. Л. 77.

2 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 246. 1916. ДП-ОО. Д. 33. Л. 119–120.

ющим всей армией и флотом. В низах такие слухи распространились в период активного пропагандирования успехов русской армии во время Брусиловского наступления и чуть позже, когда появился слух, что Николай II передает Брусилову свои полномочия главнокомандующего. Также обращает на себя внимание доверие, которое «царь Иоанн» выражает Государственной думе и ее председателю, а вот из всей прессы автор письма доверяет лишь официальным изданиям — Сельскому и Церковному вестникам. В 1916 г. в типографии «Сельского Вестника» вышла пропагандистская брошюра «Деревня и война», которая в упрощенной форме объясняла причины дороговизны[1]. Проводилась простая мысль, что дороговизна вызвана тем, что масса людей, ранее задействованных в хозяйственной жизни, теперь оказалась на войне. Авторы тем самым хотели отвратить читателей от конспирологических версий, однако эффект получался иной: народ решил, что раз причины всех бед в мобилизации людей, то их нужно вернуть, а войну закончить. Примечательно, что, как отметила М. Стокдэйл, популярность «Сельского Вестника» возрастала в крестьянской среде в 1914–1916 гг. благодаря государственным субсидиям, с помощью которых власти пытались привить народу патриотизм[2]. Число подписчиков этого проправительственного издания увеличилось с 34 000 летом 1914 г. до более 150 000 к началу 1916 г., но результат оказался неоднозначным[3].

Сохранявшие рациональное мышление современники фиксировали массовую мистификацию сознания и рассматривали ее в русле проходивших психических процессов в обществе. Известный лингвист, почетный член Петербургской академии наук Д.Н. Овсянико-Куликовский в 1916 г. в статье «Что такое мистика?» относил ее к архаичной форме сознания, считал «первобытным психоневрозом» и в качестве одного из последствий ее массового распространения называл подавление индивидуального сознания коллективным[4]. Симптомы массового «мистического психоневроза» обыватели обнаруживали в современную им эпоху.

Таким образом, рост обывательского мистицизма в годы Первой мировой войны был связан как с предшествовавшими войне процессами модернизации, выразившимися в культурной сфере в сочетании традиций восточного мистицизма, русского сектантства, европейского декаданса, так и с естественным развитием мистической религиозности, фатализма в военное время. Мистификация массового сознания создавала благоприятную атмосферу для развития соответствующих слухов. Вместе с тем отдельные проявления мистицизма в условиях ухудшения психологической атмосферы общества

[1] См.: Деревня и война. Пг., 1916.

[2] *Stockdale M.* Mobilizing the Nation: Patriotic Culture in Russia's Great War and Revolution, 1914–20… P. 10.

[3] Ibid. P. 12.

[4] *Овсянико-Куликовский Д.* Что такое мистика? // Вестник Европы. 1916. № 10. С. 172–173.

обнаруживают пограничные состояния психики адресантов, что предполагает обращение к вопросу психического состояния российского общества рассматриваемого периода.

«Красный смех»: война и психические расстройства

Войны и революции относятся к тем массовым историческим явлениям, которые нельзя понять без изучения социально-психологических процессов. В противном случае возникает опасность конспирологических интерпретаций. Однако анализ массовых настроений, в силу специфической источниковой базы и неразработанной методологии, вызывает определенные трудности и часто недооценивается историками. В свое время С. П. Мельгунов высокомерно отозвался о «психологическом подходе» в истории российской революции: «Пусть социологи и моралисты ищут объяснение… в искажении идеологических основ человеческой психики и мышления. Пусть психиатры отнесут все это в область болезненных явлений века; пусть припишут это влиянию массового психоза. Я хотел бы прежде всего восстановить реальное изображение и прошлого, и настоящего»[1]. Как результат — Мельгунов и Февральскую революцию, и октябрьский переворот рассмотрел в качестве «заговоров элит», упустив из виду вызревание объективных предпосылок в виде социокультурных трансформаций общества. Ради справедливости отметим, что современные Мельгунову «психологические теории» грешили некоторой односторонностью, неверифицируемыми обобщениями. Так, в 1923 г. П. А. Сорокин делал вывод о том, что в революции происходит «„примитивизация“ механизма нервной системы», которая «не может не вести к „примитивизации“ всей психической жизни и деятельности»[2]. Система аргументации Сорокина, или, например, отказ от таковой у Н. И. Кареева, приходившего к аналогичным заключениям[3], не может удовлетворить современного историка, что тем не менее не означает ошибочности выводов русских социологов.

В конечном счете даже советская историография, рассматривавшая революцию как проявление классовой сознательности беднейших слоев населения, стала допускать роль стихийных процессов, поднимала проблему нравственного и морального облика революционных масс, «психологического климата», о чем писали П. В. Волобуев, Г. Л. Соболев, Ю. И. Кирьянов, В. Ф. Шишкин, Б. Ф. Поршнев, А. Я. Грунт и др.[4] В современной историографии эпохи войн

---

[1] *Мельгунов С. П.* Красный террор в России. М., 2017. С. 79–80.

[2] *Сорокин П. А.* Социология революции. М., 2004. С. 165.

[3] См.: *Кареев Н. И.* Общие основы социологии. Пг., 1919.

[4] См.: Историческая наука и некоторые проблемы современности. Статьи и обсуждения. М., 1969; Российский пролетариат: облик, борьба, гегемония. М., 1970; *Волобуев П. В.* Пролетариат и буржуазия России в 1917 г. М., 1964; *Соболев Г. Л.* Письма в Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов как источник для изучения общественной психологии в России в 1917 г. // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1968. Т. 1. С. 159–173.

и революций возрастает интерес к ее психоэмоциональному измерению. Исследования В. П. Булдакова, Б. И. Колоницкого, И. В. Нарского, М. Д. Стейнберга, Р. Г. Суни, У. Розенберга, А. Майера, П. Холквиста и некоторых других авторов в той или иной степени затрагивают проблематику «истории эмоций», вне которой едва ли возможно понять феномен насилия, выходящего за рамки политической истории[1].

Серьезной проблемой изучения эмоциональной истории является то, что эмоции мимолетны, быстро приходят на смену друг другу, кроме того, зафиксированные в источниках личного происхождения, в большой степени относятся к сфере субъективных переживаний. Одним из выходов является исследование не самих эмоций, а их психических последствий. Любая затянувшаяся эмоция приводит к эмоциональному перегреву. В случае позитивных эмоций возникает эустресс, при негативных — дистресс[2]. Оба вида стресса отрицательно сказываются на нервно-психическом состоянии индивидов. На протяжении Первой мировой войны резкие колебания массовых настроений — от сильного воодушевления, порожденного оптимистическими слухами, до глубокой депрессии, вызванной слухами пессимистическими, — расстраивали психическое здоровье населения, что подтверждается как объективными статистическими данными (динамикой поступлений душевнобольных в городские психиатрические лечебницы), аналитическими заметками врачей-психиатров, так и наблюдениями рядовых обывателей.

Проблема психического здоровья общества включает в себя не только реакции на относительно кратковременные события (война, революция), но и на процессы культурной модернизации, изменения длительных структур

---

[1] См.: *Булдаков В. П.* Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997; *Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г.* Война, породившая революцию. М., 2015; *Колоницкий Б. И.* Символы власти и борьба за власть: к изучению политической культуры российской революции 1917 г. СПб., 2001; *Колоницкий Б. И.* «Товарищ Керенский»: Антимонархическая революция и формирование культа «вождя народа». М., 2017; *Нарский И., Хмелевская Ю.* «Упоение» бунтом в русской революции (на примере разгрома винных складов в России в 1917 году) // Российская империя чувств: Подходы к культурной истории эмоций. Сб. статей / Ред. Я. Плампер, Ш. Шахадат, М. Эли. М., 2010. С. 259–281; *Rosenberg W.* «Reading Soldiers» Moods: Russian Military Censorship and the Configuration of Feeling in World War I // The American Historical Review. 2014. Vol. 119. № 3. P. 714–740; *Mayer A.* The Furies: Violence and Terror in the French and Russian Revolutions. Princeton University Press, 2000; *Steinberg M. D.* Proletarian Imagination. Self, Modernity, and the Sacred in Russia, 1910–1925. Itaca; London, 2002; *Holquist P.* Making war, forging revolution: Russia's Continuum of Crisis, 1914–1921. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2002; *Suny R. G.* Thinking about Feelings. Affective Dispositions and Emotional Ties in Imperial Russia and the Ottoman Empire // Interpreting Emotions in Russia and Eastern Europe. DeKalb, 2011; *Aksenov V.* Rumors and Mythologems of the Russian Revolution // Russian Studies in History. 2017. № 56: 4. P. 225–249.

[2] В медицине, физиологии, психологии встречаются разные определения дистресса и эустресса. В одном случае эустресс рассматривается как мобилизующее организм напряжение, в то время как дистресс — напряжение, нарушающее работу различных систем организма; в другом случае имеется в виду эмоциональная природа: эустресс вызывается положительными, а дистресс — отрицательными эмоциями. В настоящей книге используется второй подход.

повседневности. Не случайно Й. Радкау период с 1880-х до 1930-х гг. определил как «эпоху нервозности», признавая в то же время, что во многом этот дискурс искусственно подогревался как определенной модой в обществе на неврастению, так и самими публикациями на эту тему[1]. А. Бринтлингер считает, что российские психиатры на рубеже веков «агрессивно» писали историю психиатрии в целях самолегитимации[2]. Близкую позицию занимает И. Сироткина, рассматривая развитие в России патографического жанра как стигматизацию психиатрическим сообществом определенных групп населения[3]. Особенно доставалось творческой интеллигенции, которую обвиняли то в слабости воли, то в патологическом альтруизме. М. Миллер пишет о формировании в начале XX в. в России феномена «политической психиатрии»: тенденции использовать психиатрические диагнозы и теории в целях политической борьбы[4].

На связь психических заболеваний и массовых действий, таких, например, как, войны и революции, психиатры обратили внимание достаточно давно. Еще в 1880-х гг. один из основоположников русской психиатрии В.Х. Кандинский писал о феномене психических эпидемий, распространение которых объяснял «душевной контагиозностью» — инстинктом подражания, объяснявшего заразительность чувств и эмоций, — и в качестве примеров приводил массовые религиозные движения, а также революции[5].

Изучение влияния политических катаклизмов на психическое состояние общества вели во Франции в XIX в. Ж.-Э. Бельхом, исследуя последствия Великой французской революции, использовал термин «политический психоз». При этом другие психиатры, как, например, Ж.-Э. Эскироль, В. Гризингер, отмечали, что революции не приводили к увеличению числа душевнобольных в клиниках, хотя и окрашивали бред сумасшедших в те или иные идеи[6]. В разгар первой российской революции в 1905 г. во Франции вышла книга О. Кабанеса и Л. Насса «Революционный невроз», через месяц, в декабре 1905 г., переведенная и изданная на русском языке. Написанная как популярное социально-психологическое исследование, книга переносила акцент с психического на нервное расстройство. Вместе с тем путаница в определении

[1] См.: *Радкау Й.* Эпоха нервозности. Германия от Бисмарка до Гитлера. М., 2017.

[2] *Brintlinger A.* Writing about Madness: Russian Attitudes toward Psyche and Psychiatry, 1887–1907 // Madness and the Mad in Russian Culture / Ed. by A. Brintlinger, I. Vinitsky. Toronto; Buffalo; London, 2007. P. 173.

[3] См.: *Сироткина И.* Классики и психиатры: Психиатрия в российской культуре конца XIX — начала XX века. М., 2008.

[4] *Miller M.* Psychiatric Diagnosis as Political Critique: Russia in War and Revolution // Russian Culter in War and Revolution, 1914–1922. Book 2. P. 246–255.

[5] *Кандинский В.Х.* Общепонятные психологические этюды // Санкт-Петербургская психиатрическая больница св. Николая Чудотворца. К 140-летию. Т. III. В.Х. Кандинский. СПб., 2012. С. 111–112.

[6] Более подробный историографический обзор изучения «революционного психоза» см.: *Осипов В.П.* О политических или революционных психозах. Казань, 1910.

революционного состояния общества в качестве психоза или невроза свидетельствовала об относительности их использования по адресу исторических реалий. Так, например, к невротической сфере можно отнести обстоятельства появления патологии, вызванной внешними травмирующими факторами, к психической — некоторые ее симптомы (бред, слуховые и зрительные галлюцинации, внезапные вспышки агрессии и пр.). По всей видимости, с учетом того что неврозы и психозы не перетекают друг в друга, революционная эпоха способствует проявлению того и другого у лиц, имеющих к ним предрасположенность. Таким образом, нервно-психические больные являются своеобразной лакмусовой бумажкой в исследовании социально-психологических процессов в переломные эпохи. Бред сумасшедших отражает, в частности, наиболее волнующие общественные темы, а локальные вспышки заболеваний — кризисные этапы революции.

Среди российских психиатров первым к проблеме влияния революции на душевное здоровье общества обратился Ф. Е. Рыбаков, который на клиническом материале 1905–1906 гг. отметил следующие характерные признаки «революционного психоза»: быстрое начало и развитие болезни; заметно выраженный элемент психического угнетения; резко выраженные явления страха, тревоги и ожидания чего-то ужасного; нестойкость и изменчивость бредовых идей; наклонность к послабляющему течению; обилие галлюцинаторных и иллюзорных явлений[1]. Вместе с тем Рыбаков не считал, что политические события вызывают новую форму болезни, а полагал, что они всего лишь дают определенную окраску заболеванию. При этом Н. М. Скляр раскритиковал позицию Рыбакова, отметив, что неврозы и психозы революционного времени ничем существенным не отличаются от заболеваний мирной эпохи и развиваются исключительно у лиц, имеющих к ним предрасположенность, а также сделав вывод, что политические события нельзя рассматривать в качестве главной причины психического расстройства[2]. А. Н. Бернштейн поставил под сомнение тезис об увеличении числа душевнобольных под влиянием политических событий на материалах статистики центрального приемного покоя для душевнобольных в Москве за октябрь 1905-го — февраль 1906 г.[3] При этом большинство психиатров соглашалось с тем, что политические события определенным образом «проявляют» болезни.

Отдельная дискуссия развернулась на тему, какая часть общества — политически-активная или пассивная — оказывается в зоне риска. Ф. Е. Рыбаков

---

[1] См.: *Рыбаков Ф. Е.* Душевные расстройства в связи с текущими политическими событиями // Русский врач. 1905. № 51. С. 1593–1595; 1906. № 3. С. 65–67; № 8. С. 221–222.

[2] *Скляр Н. М.* О влиянии текущих политических событий на душевные заболевания // Русский врач. 1906. № 8. С. 222–224.

[3] *Бернштейн А. Н.* Психические заболевания зимой 1905–1906 гг. в Москве // Современная психиатрия. 1907. Апрель. С. 49–67.

и А.С. Шоломович полагали, что больше всего заболеваний среди пассивных участников политической жизни (для которых грандиозные события оказались неожиданной психологической травмой), С. Ярошевский считал, что склонность к расстройству в первую очередь проявляют политически-активные субъекты (продолжительная вовлеченность в подпольную революционную работу расстраивает нервы и психику)[1]. У подобных дискуссий имелась и политическая подоплека: консервативно настроенные авторы считали, что революцию «делают» маньяки-сумасшедшие, либерально настроенные врачи указывали, наоборот, на отрицательные последствия для душевного здоровья населения реакционной политики власти. Земский врач В.И. Яковенко предложил собственное решение вопроса о связи революции/реакции с душевным заболеванием: он заявил, что невротики тяготеют к революционной деятельности, а алкоголики-дегенераты — к консервативной[2].

Также споры вызывал вопрос, развивается ли «революционный психоз» у пациентов, имеющих предрасположенность к психическим заболеваниям, или он может затрагивать и здоровых людей. Н.М. Мухин отмечал, что в целом дискуссия демонстрировала сильную политическую предвзятость многих исследователей, на которых революционные события оказали психологическое воздействие[3].

На прошедшем в 1905 г. II Съезде отечественных психиатров в Киеве обсуждалось влияние революции и правительственных контрмер на психическое здоровье населения, в результате чего была принята резолюция, в которой призывалось устранить «административно-полицейский произвол», приводивший к росту душевных расстройств[4]. Под влиянием декабрьского вооруженного восстания в Москве в 1905 г. один из основоположников русской судебной психиатрии В.П. Сербский на дверях своего кабинета повесил табличку: «Жандармы и полицейские в качестве пациентов не принимаются». Неудивительно, что в специализированных журналах периода первой революции появляются публикации о влиянии общественно-политических событий на душевное здоровье населения[5]. В это время активно изучается феномен «травматического психоза/невроза» — расстройства, вызванного внешними факторами психического характера.

---

[1] *Шоломович А.С.* К вопросу о душевных заболеваниях, возникающих на почве политических событий // Русский врач. 1907. № 21. С. 715–720; *Ярошевский С.* Материалы к вопросу о массовых нервно-психических заболеваниях // Обозрение психиатрии. 1906. № 1. С. 1–9.

[2] *Яковенко В.И.* Здоровые и болезненные проявления в психике современного русского общества // Журнал Общества русских врачей в память Н.И. Пирогова. 1907. № 13. С. 269–276.

[3] *Мухин Н.М.* Психозы войны и революции // Варшавские университетские известия. 1909. VII. С. 1–48.

[4] Труды второго съезда отечественных психиатров, происходившего в Киеве с 4 по 11 сентября 1905 г. Киев, 1907. С. 503.

[5] В дополнение к приведенным статьям см.: *Павловская Л.С.* Два случая душевного заболевания под влиянием общественных событий. Отдельный оттиск из журнала «Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии». Июнь 1906. СПб., 1906.

Вместе с тем следует заметить, что на данном этапе изучения «революционного психоза/невроза» авторам не было доступно достаточное количество клинических случаев. Как правило, выводы делались на материалах наблюдений за 5–12 пациентами. Некоторым шагом вперед стал обобщающий обзор проблемы В.П. Осипова, проанализировавшего, помимо литературы, 72 случая «революционного психоза» и пришедшего к выводу, что хотя «психическая политическая травма не может быть рассматриваема как первичная причина душевного расстройства, она является моментом вызывающим», приводит «к возникновению разнообразных душевных заболеваний… отражаясь на содержании бреда»[1]. Считая революционные эпохи травмирующими психику, Осипов полагал, что они способствуют увеличению числа душевнобольных[2].

Однако не только политическая борьба давала пищу психиатрическим исследованиям. В социокультурной сфере происходили не менее острые конфликты «старого» и «нового» искусства, модерна и архаики, столкновения эмоциональных режимов разных сообществ (сельского и городского), раскалывавших общество и затруднявших взаимопонимание между его членами. Многие исследователи отмечают, что нервозность была социокультурной особенностью эпохи модерна, в культуре Серебряного века зримо присутствовали психопатические черты[3]. Из представителей нового искусства чаще других диагноза безумия удостаивались футуристы.

Оригинальную этиологию русского футуризма предложил профессор-психиатр Е.П. Радин. Он связал его появление с нервно-психическими потрясениями молодежи, пережитыми в 1905–1907 гг.[4] Романтическую интерпретацию футуризма как психического отклонения предложил А. Закржевский, называвший их «огненными рыцарями безумия», которые должны были оживить застывшую культуру[5].

Футуристы объявлялись безумцами потому, что являлись революционерами в искусстве. Неудивительно, что революционерам в политике ставили те же диагнозы. В.В. Розанов, описавший революцию 1905 г. в психиатрической терминологии, увидел на картине И.Е. Репина «17 октября 1905 г.» сумасшедших революционеров: «Несут на плечах маньяка, с сумасшедшим выражением лица и потерявшего шапку… Лицо его не ясно в мысли, как

---

1 *Осипов В.П.* О политических или революционных психозах… С. 46, 54.

2 Вместе с тем В.П. Осипов не смог доказать свой тезис, указав на нерепрезентативность статистики ввиду того, что в России лишь 10% душевнобольных обращаются за врачебной помощью.

3 См.: *Эткинд А.М.* Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М., 1996; *Сироткина И.Е.* Классики и психиатры: психиатрия в российской культуре конца XIX — начала XX века. М., 2008; *Радкау Й.* Эпоха нервозности. Германия от Бисмарка до Гитлера. М., 2017.

4 См.: *Радин Е.П.* Футуризм и безумие. СПб., 1914.

5 См.: *Закржевский А.* Рыцари безумия (футуристы). Киев, 1914.

именно у сумасшедшего, и видны только „глаза в одну точку“... Репин, не замечая сам того, нарисовал „масленицу русской революции“, карнавал ее, полный безумия, цветов и блаженства»[1]. Выступивший в поддержку лейтенанта П. П. Шмидта В. П. Сербский настаивал на проведении судебно-психиатрической экспертизы, которая должна была доказать, по его мнению, что преступление было совершенно под воздействием маниакальной экзальтации.

Проблема безумия, остро вставшая перед интеллектуальными элитами накануне Первой мировой войны, привела к нетривиальным попыткам увидеть в этом феномене общественную ценность. Н. В. Вавулин выделил низшие формы безумия (тупоумие, слабоумие, кретинизм и пр., свойственные недоразвитым субъектам) и высшие (паранойя, истеричность, неврастения и пр., свойственные людям с утонченными и более совершенными, чем у обычных людей, душевными способностями), считая последние степенью гениальности. Он полагал, что «высшее безумие двигало человечество вперед, освещая будущее, подобно Моисееву столпу», «вносило содержание в эмоциональную жизнь народов», «способствовало развитию культуры и цивилизации»[2]. Впрочем, И. Сироткина отметила, что в годы первой революции Вавулин, дважды подвергавшийся аресту, сам приобрел психическое расстройство, что может объяснять его парадоксальные выводы[3].

Вероятно, в русской художественной литературе самым сильным произведением на тему безумия войны следует назвать рассказ Л. Андреева «Красный смех», в котором в форме дневника описывался процесс схождения с ума — на фронте и в тылу. Написанный в годы Русско-японской войны, он более соответствовал картинам Первой мировой. Словосочетание «красный смех», в котором прилагательное «красный» выступало синонимом «кровавый», а смех имел форму зловещей истерики, было эсхатологической метафорой наступавших «последних времен». Заметим, что массовое распространение религиозного мистицизма, эсхатологии, свойственное военному времени, В. Х. Кандинский рассматривал в качестве «душевной эпидемии»[4]. Тем не менее начало войны в очередной раз раскололо русскую интеллектуальную элиту. Военно-патриотическая эйфория, захватившая часть общества (показательно, что ей поддался и Л. Андреев), воспринималась другой ее частью как психоз. Н. А. Бердяев отреагировал на книгу В. В. Розанова «Война 1914 г. и русское возрождение», уличив ее автора в алогизме и назвав его «мистической бабой», подчиняющейся первородной стихии. Баба-крестьянка, как представительница архаичного эмоционального сообщества, для которого не характерно

---

[1] *Розанов В. В.* О картине И. Е. Репина «17-е октября» // Новое время. 1913. № 13 290.

[2] *Вавулин Н. В.* Безумие, его смысл и ценность. СПб., 1913. С. 128.

[3] *Сироткина И.* Классики и психиатры... С. 169–170.

[4] *Кандинский В. Х.* Общепонятные психологические этюды... С. 120.

подавление эмоций, вызывала ужас в среде великосветского эмоционального сообщества, предписывавшего подавление эмоций. Горожан пугала не только эмоциональность «баб», но и тот алогизм, который звучал в их рассуждениях о верховной власти на городских рынках и в трамваях[1].

Метафоры «красного смеха» и «мистической бабы» как предчувствия приближающегося безумия-катастрофы были визуализированы в серии работ художника Ф. Малявина «Бабы». Одна из первых работ называлась «Смех», и на ней были изображены крестьянки в красных одеждах. Ярче всего эта тема раскрылась в написанной в разгар первой революции картине «Вихрь». В дни февральского социального взрыва разрушительная функция «красной бабы» проявилась в полной мере: нередко роковую роль эмоциональных провокаторов играли женщины, которые своей истеричностью заражали мужчин и провоцировали насилие[2]. «Красный смех» «красной бабы» оказался предвестником безумия «красной смуты», одним из образов которой впоследствии стала красная Богоматерь, рубившая секирой россиян[3].

Взгляд на начавшуюся войну сквозь призму вероятных психиатрических последствий не позволил российским врачам в полной мере испытать патриотические чувства. И. Сироткина отмечает, что психиатры в большей степени, чем представители других врачебных специальностей, были настроены оппозиционно[4]. Во время войны и в Германии, и в России зазвучали прогнозы, что победит та страна, в которой нервы солдат окажутся крепче. Однако в этом отношении первые боевые действия не внушали оптимизма. Уже в сентябре 1914 г. В.М. Бехтерев, описывая линию фронта как гигантский сумасшедший дом, предложил начать срочную эвакуацию душевнобольных для лечения в городских больницах в тылу[5]. В декабре 1914 г. он попытался подвести итоги психической динамики российского общества в статье «Психические заболевания и война», связав в ней рост душевных расстройств как с травмами головы, полученными на фронте, так и с нервно-эмоциональным перенапряжением в прифронтовой зоне[6]. Такие же неутешительные картины рисовал профессор П.Я. Розенбах, отмечая, что если до войны всевозможные формы истерии были характерны преимущественно для женского пола, то в период войны они начали захватывать и мужчин[7]. Со ссылкой на Розенбаха «Биржевые ведомости» поместили описание заболевания рядового Ф.Д. Кирволидзе,

1 Дневник Л.А. Тихомирова… С. 95–96.

2 *Булдаков В.П.* Красная смута… С. 55.

3 Образ Богоматери в кроваво-красном хитоне с секирой был создан поэтом В.П. Мятлевым в 1921 г. В дальнейшем мы еще вернемся к этому образу.

4 *Sirotkina I.* The Politics of Etiology: Shell Shock in the Russian Army, 1914–1918 // Madness and the Mad… P. 117–129.

5 Московский листок. 1914. 20 сентября.

6 Биржевые ведомости. Веч. вып. 1914. 15 декабря.

7 См.: *Розенбах П.Я.* Современная война и истерия. Пг., 1915.

который каждый день с 9 до 12 часов утра впадал в летаргический сон[1]. Первая мировая война затягивалась и начинала восприниматься как гибель культуры и цивилизации. При этом тема безумия из художественно-философского пространства чаще стала переходить в область военно-психиатрической практики.

Понятие травматического психоза/невроза широко использовалось врачами-психиатрами в годы войны. Нейрохирург Л. М. Пуссеп считал травматический невроз функциональным заболеванием нервной системы, для которого важна наследственная и приобретенная предрасположенность, но оговаривался, что «травматический невроз развивается далеко не всегда у лиц с наследственно-ослабленной сопротивляемостью нервной системы, а приходится считаться с другими условиями, вызвавшими ослабление сопротивляемости»[2]. К таким условиям автор относил волнение, страх, недосыпание, недоедание — все то, что испытывали не только солдаты, но и жители тыловых районов.

Современные исследователи Первой мировой все чаще обращают внимание на феномен «шелл-шока», распространенного в солдатской среде, применяя как собственно психиатрические подходы к теме, так и эмоциологические[3]. Так, например, Я. Плампер изучает эмоцию страха и его преодоления в русской армии сквозь призму существовавшего «эмоционального режима», отчасти прописанного военным теоретиком генералом М. И. Драгомировым; К. Фридлендер обращается к опыту русской психиатрической школы по изучению «травматического невроза» среди раненых солдат, при этом указывает на расплывчатость понятия и перенос внимания с длительного стресса на кратковременное физическое воздействие взрывной волны или осколка на мозг пациента, вследствие чего психическая болезнь начинала рассматриваться как ранение. Однако следует отметить, что данное утверждение не верно относительно изучения душевных болезней среди мирного населения, где акцент делался как раз на долгих переживаниях. Врач Московской городской психиатрической больницы им. Н. А. Алексеева А. А. Бутенко, называя войну «психиатрическим экспериментом», писал: «Если на передовых позициях наряду с психической травмой главную роль в этом эксперименте играют физические травмы всякого рода, поранения, контузии и т. д., то в глубоком тылу, несомненно, дело идет во многих случаях исключительно о психической травме,

---

[1] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1915. 13 января.

[2] *Пуссеп Л. М.* Нервная система и война // Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. 1917–1918. № 1–12. С. 87.

[3] *Фридлендер К.* Несколько аспектов шелл-шока в России, 1914–1916 // Россия и Первая мировая война: Материалы международного научного коллоквиума. СПб., 1999. С. 315–325; *Плампер Я.* Страх в русской армии в 1878–1917 гг.: К истории медиализации одной эмоции // Опыт мировых войн в истории России: сб. ст. Челябинск, 2007. С. 453–460; *Асташов А. Б.* Русский фронт в 1914 — начале 1917 года: военный опыт и современность. М., 2014; *Merridale C.* The Collective Mind: Trauma and Shell-Shock in Twentieth-Century Russia // Journal of Contemporary History. 35. Heft 1. (January 2000). P. 39–55.

о тяжелых психических переживаниях, связанных с войной»[1]. В этом же ключе изучает тему «шелл-шока» А.Б. Асташов, однако исследователь пошел дальше и сделал важный вывод о том, что травмирующий фронтовой опыт открыл для испытавших психосоциальный стресс мотивацию изменения социальной среды: революционное и социальное творчество стало инструментом компенсации, социальной терапией, направленной на устранение первоначальной травматической ситуации[2]. Впрочем, могут быть и иные, более простые объяснения психоэмоциональной связи эпохи мировой войны и революции с Гражданской войной: приобретенный опыт насилия снял моральные ограничения с бывших комбатантов и приучил их к новым способам самовыражения в социуме. В.П. Булдаков писал, что новый тип «человека с ружьем» стал одним из центральных акторов революции и Гражданской войны[3]. При этом считать «человека с ружьем» душевнобольным — значит сильно упрощать проблему.

С другой стороны, нельзя отрицать проникновение душевнобольных солдат в тыл и вызванные этим некоторые изменения общей психологической атмосферы, располагавшей к распространению нервозности. Пророческий рассказ Леонида Андреева «Красный смех», как представляется, очень точно описывает стресс, который переживает молодой человек, встречающий вагон с ранеными. В годы Первой мировой войны встреча поездов с фронта вошла в практику патриотического поведения. Писатель представил впечатление, которое могло возникнуть при встрече «психиатрического вагона»: «Опять я был на вокзале — теперь я каждое утро хожу туда — и видел целый вагон с нашими сумасшедшими. Его не стали открывать и перевели на какой-то другой путь, но в окна я успел рассмотреть несколько лиц. Они ужасны. Особенно одно. Чрезмерно вытянутое, желтое как лимон, с открытым черным ртом и неподвижными глазами, оно до того походило на маску ужаса, что я не мог оторваться от него. А оно смотрело на меня, все целиком смотрело, и было неподвижно, — и так и уплыло вместе с двинувшимся вагоном, не дрогнув, не переводя взора. Вот если бы оно представилось мне сейчас в тех темных дверях, я, пожалуй, и не выдержал бы. Я спрашивал: двадцать два человека привезли. Зараза растет. Газеты что-то замалчивают, но, кажется, и у нас в городе не совсем хорошо. Появились какие-то черные, наглухо закрытые кареты — в один день, сегодня, я насчитал их шесть в разных концах города. В одной из таких, вероятно, поеду и я»[4].

[1] *Бутенко А.А.* Война и психические заболевания у женщин // Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. Ежемесячный журнал. 1914–1915. № 10–12. С. 523.

[2] *Асташов А.Б.* Русский фронт… С. 413.

[3] *Булдаков В.П.* От войны к революции: рождение человека с ружьем // Революция и человек: быт, нравы, поведение, мораль. М., 1997. С. 55–75.

[4] *Андреев Л.* Красный смех. Отрывки из найденной рукописи. Берлин, б.г. С. 54.

Тем не менее, несмотря на известное проникновение травмирующего фронтового опыта в мирную жизнь, мы сделаем акцент не на фронтовой, а на тыловой специфике психических расстройств.

Начало Первой мировой войны практически сразу вызвало серьезную обеспокоенность врачей, причем обращалось внимание на распространенность психических болезней не только на фронте, но и в тылу среди мирного населения, не выдерживавшего эмоционального напряжения. Некоторые врачи — например, Розенбах — увлекались гендерными особенностями душевных болезней, в частности истерии, отмечали, что если до войны женщины страдали этим заболеванием чаще мужчин, то с июля 1914 г. истерия стала захватывать и представителей сильного пола. В действительности доставалось не только мужчинам-солдатам, но и женщинам-санитаркам: «Чистые, молодые, жизнерадостные уезжали девушки из дому, а через год это были бледные, нервные женщины», — вспоминала сестра милосердия Х. Д. Семина[1]. От регулярных приступов и перепадов настроений страдали молодые женщины-врачи в тыловых клиниках[2]. А. А. Бутенко обратил внимание, что с февраля 1915 г. усилился приток душевнобольных женщин. В некоторые месяцы увеличение поступлений достигало 25% в сравнении с довоенным периодом[3]. Бутенко усматривал прямые связи между войной и начавшимися женскими неврозами и психозами: тяжелые переживания войны, крушение надежд в связи с расстройством личной жизни, быта становились фактором психической травмы. При этом в группе риска оказывались не только беженцы, но и женщины, постоянно проживавшие в Москве. Врач отмечал, что с июля 1914-го по 15 октября 1915 г. через два женских отделения Алексеевской больницы прошло 36 больных, психическое заболевание которых было связано с событиями военного времени. Из них 22 пациентки постоянно проживали в Москве, одна была сестрой милосердия, служившей на передовых позициях, и 13 были беженками, привезенными из района военных действий. Из 22 душевнобольных женщин, постоянно живущих в Москве, 13 заболели впервые после перенесенных тяжелых переживаний, а 9 уже раньше были больны, и психическая травма усилила болезнь. В 8 случаях это был маниакально-депрессивный психоз, 5 пациенток страдали сенильными и пресенильными психозами, 2 женщины преждевременно впали в слабоумие, в 2 случаях наблюдался прогрессивный паралич, по 1 случаю приходилось на артериосклероз головного мозга, хронический алкоголизм, полиневритический психоз, истерию и затяжное аффективное состояние. У 8 пациенток с маниакально-депрессивным психозом в 5 случаях болезнь обнаружилась впервые[4].

---

[1] *Семина Х. Д.* Записки сестры милосердия: Кавказский фронт. 1914–1918. М., 2016. С. 48.

[2] *Краузе Ф. О.* Письма с Первой мировой… С. 223.

[3] *Бутенко А. А.* Война и психические заболевания у женщин // Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. 1914–1915. № 10–12. С. 521–522.

[4] Там же. С. 525.

Некоторые психиатры пытались даже использовать термин «военный психоз», выделяя его по форме из психических заболеваний мирного времени, однако А.А. Бутенко писал: «Меланхолические и маниакальные состояния в наблюдавшихся нами случаях не носили какой-либо специальной окраски, ничем существенно не отличаясь от обыкновенных приступов маниакально-депрессивного психоза»[1]. В.М. Бехтерев предпочитал термин «военный психоз» заменять «травматическим нерво-психозом» или «невро-психозом» (что указывает на то, что термин не устоялся и природа явления до конца не была осознана), полагая, что он имеет одинаковые проявления во время кризисных периодов, приводящих к перенапряжению психических сил человека: «Существование особого „психоза войны“ следует подвергнуть сомнению уже потому, что подобные же явления могут наблюдаться и при других аналогичных условиях (революционные волнения, нападения толпы, землетрясения и другие внезапные народные бедствия). Несомненно, впрочем, что депрессивный отпечаток в острых невро-психозах, развивающихся на войне, составляет явление более или менее обычное»[2].

Бутенко приводил подробные описания течения болезни своих пациентов. Так, описывал больную Марию Яковлевну К-ву, 70 лет, поступившую в больницу из богадельни 29 октября 1914 г., тотчас же после отъезда сына на войну. У нее появился наплыв бредовых идей преследования и всевозможных обманов чувств, главным образом слуховых и общего чувства. Больная совсем почти не спала. Все время слышала «голоса», которые то угрожали ей, то звали к себе, соблазняли, подробно рассказывая о тех мучениях, которым подвергается ее сын, находящийся на передовых позициях. Голоса раздавались со всех сторон, иногда на очень близком расстоянии, но чаще слышались сверху над потолком или внизу под полом, как бы в подвале. Иногда больная отчетливо воспринимала стоны и жалобы сына, которого истязали, резали где-то под полом. Ей казалось, что ей жгут живот и грудь, дуют в уши. «Супостаты» наседают ей на голову, садятся на спину и везде пускают ветер; кругом все гудит как саранча. Все мучения, которые испытывала больная, она приписывала то нечистой силе, то своей соседке по богадельне «Борисовне»[3].

У другой больной — Евдокии Исааковны И-вой, 50-летней девы, — психическое расстройство обнаружилось в связи с ожиданием, что на войну возьмут ее любимого брата. Она всем высказывала свои опасения. Ей стало казаться, что за ней следят, преследуют, над ней смеются. Слышала, как говорили о Варшавских колоколах, которые везут в Москву, о том, что из Польши понаедет

[1] Там же. С. 526.

[2] *Бехтерев В.М.* Война и психозы // Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. 1914. № 4–6. С. 321.

[3] *Бутенко А.А.* Война и психические заболевания у женщин… С. 526–527.

много народа, что варшавские торговцы захватят всю торговлю на русской земле и русским крестьянам нечем будет жить[1].

Врачи отмечали, что психиатрические заболевания развивались не только у тех женщин, кто имел предрасположенность к подобным заболеваниям, кто уже находился под наблюдением ранее или у кого в семье были случаи душевного расстройства, но и у совершенно здоровых в прошлом людей. Так, 14 апреля 1915 г. в Алексеевскую больницу поступила 22-летняя крестьянка Екатерина Петровна Р-на, в семье которой душевнобольных не было. Сама Екатерина росла здоровым ребенком, нормально развивалась и хорошо училась в начальной школе. Серьезных болезней не переносила, вина не пила и не курила. Настроение у женщины было всегда ровное, без перепадов. В 1914 г., в 21 год, вышла замуж (до этого 4 года жила со своим избранником вне брака). В декабре того же года у Екатерины случился выкидыш на 3-м месяце беременности, но она вскоре поправилась и чувствовала себя хорошо. Никаких изменений психического состояния у нее тогда замечено не было. В январе 1915 г. муж больной был призван на военную службу. Больная была сильно потрясена разлукой с мужем, часто плакала, тосковала. Постоянно с тревогой ждала писем с передовых позиций. Когда письма запаздывали, она высказывала опасения, что ее мужа, может быть, уже нет в живых. С апреля 1915 г. состояние Екатерины ухудшилось: она непрерывно плакала, возбужденно, сквозь слезы, говорила, что не может больше терпеть и должна сейчас же ехать к мужу на войну, перестала спать. Пришедшему врачу стала рассказывать, что вокруг нее все постоянно пляшут и поют песни, сбивают ее, подсыпают в еду какой-то порошок, в результате чего она начала отказываться от пищи. Оказавшись в больнице, Екатерина во всем начала винить свою свекровь, при этом постоянно рыдала, демонстрируя на лице сильный испуг, умоляла поскорее отпустить ее, так как ей срочно нужно ехать на фронт. Она собиралась переодеться в солдатскую шинель и отправиться на передовые позиции на правый берег Вислы, где якобы находился ее муж. В июне 1915 г. Екатерина поправилась и была выписана из больницы родными[2]. Приводились также случаи нервно-психических расстройств у беженок, переживших тяжелые мытарства по пути следованию в Москву.

Хотя врачи-психиатры в 1915 г. писали о значительном увеличении поступлений душевнобольных в городские клиники, общая статистика не позволяет говорить о резком росте психических расстройств, вызванных войной[3]. Наоборот, за 1914 г. число душевнобольных, поступивших в петроградские

---

[1] *Бутенко А.А.* Война и психические заболевания у женщин… С. 528.

[2] Там же. С. 532–535.

[3] В настоящей главе приводятся данные только по городским больницам (Николая Чудотворца, Св. Пантелеймона, Охтинские богадельни), т.е. состоявшим на балансе города, без учета частных клиник, отделений при военных госпиталях и академий. Тем не менее в январе 1912 г. на городские больницы приходилось 73,8% всех коек в Петрограде, предназначенных для пациентов с психическими отклонениями.

клиники, сократилось на 11,3% по сравнению с 1913 г. При этом сокращение в большей степени произошло за счет мужчин (14,3%), чем за счет женщин (4,2%). Данный спад объясняется в первую очередь мобилизацией на фронт мужчин — основных клиентов петроградских психиатрических клиник, при том что с 1915 г. начинается рост поступлений женщин в психиатрические лечебницы. Так, если до июля 1914 г. поступление женщин столицы постепенно снижалось, то с началом войны, наоборот, начинается его рост (правда, так и не достигнув пика 1914 г., который пришелся на май — традиционный период обострений у душевнобольных). В результате по сравнению с июлем в декабре 1914 г. в больницах для душевнобольных оказалось на 28% женщин больше[1]. В Москве наблюдалась примерно та же картина, только с опозданием на 1 месяц. В сентябре был резкий скачок поступлений — 204 человека (рекордная отметка для всего года), в дальнейшем количество поступавших в лечебницы постепенно снижалось. Показательна также кривая смертности среди душевнобольных за годы войны. Так, среднемесячная смертность душевнобольных в Петербурге в 1913 г. составляла 69,9 человека в месяц, в 1914 г. она поднялась до 72,4 человека, а в 1915 г. составила 81,6 человека в месяц[2].

В 1915 г. из 50 болезней, вызвавших смерть пациента, душевные болезни находились на 4-м месте, составляя 979 человек, и уступали только туберкулезу — 3273 человека, хирургическим — 1296, скарлатине — 1102. Причем именно с июля 1914 г. смертность от психических расстройств окончательно опережает смертность от алкоголизма. При этом и к началу 1915 г., и к началу 1916 г. душевные болезни безусловно лидировали по количеству находившихся в больницах пациентов: 3873 и 3706 человек соответственно.

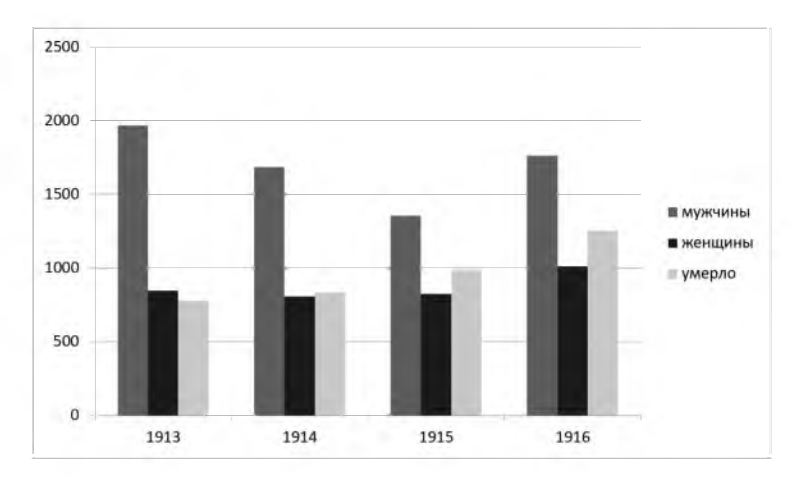
Следует отметить, что в представлявшихся больницами городским управам отчетах под смертностью душевнобольных скрывались разные причины: это и самоубийства, и смерти в результате эпилептических припадков, от алкогольных психозов и, вероятно, от врачебных ошибок. Учитывая специфику динамики смертности, ее зависимость от внешних факторов, а также нехватку персонала в городских больницах[3], можно предположить, что в большинстве случаев речь шла именно о самоубийствах. Однако врачи и родственники покойных предпочитали не употреблять в документах этот термин, дабы не лишать покойного обряда отпевания. В любом случае динамика смертности связана с ухудшением самочувствия душевнобольных и поэтому подлежит учету при исследовании психического состояния общества. В Петрограде в 1914 г. рост смертности этой категории пациентов по сравнению с предыдущим годом составил 6,7%, в 1915 г. — 15%, в 1916-м — 22% (ил. 17).

---

[1] Подсчитано по: Ежемесячник статистического отделения СПб. городской управы. № 1–12. 1914.

[2] Подсчитано по: Ежемесячник статистического отделения петроградской городской управы. 1913–1915.

[3] *Юдин Т. И.* Очерки истории отечественной психиатрии. М., 1951. С. 283–285.

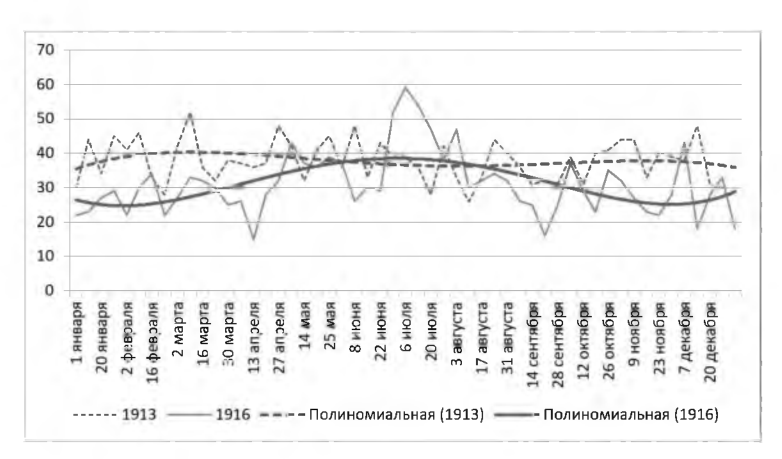


Ил. 17. Поступления душевнобольных в клиники Петрограда и их смертность[1]

Обращает на себя внимание кривая поступлений душевнобольных в петроградские клиники за год: если за предвоенный 1913 г. в полиномиальной линии тренда не наблюдается значительных колебаний (разница между максимальными и минимальными значениями не превышает 5 единиц), то в 1915 и 1916 гг. можно видеть большую амплитуду колебаний (до 15 единиц), что связано с усилившимся воздействием на обывателей внешних раздражителей (ил. 18). Так, в 1916 г. наибольшее количество поступлений душевнобольных мужчин приходится на период «Брусиловского прорыва». Нельзя забывать и об экономическом кризисе, меняющейся повседневности: падении качества питания, увеличении физических нагрузок (в первую очередь на женщин), ухудшении коммунальных условий — все это становилось значимыми факторами стрессов.

Вместе с тем анализ отдельных случаев умопомешательства позволяет выявить их особенности, связанные с внутриполитической ситуацией в стране. На психическое состояние общества воздействовали не только события на фронтах Первой мировой, но и пропагандистская кампания, проводившаяся властями. Самым распространенным симптомом психозов являлась навязчивая идея о шпионах. Шпиономания достигла размеров настоящей эпидемии. В особый отдел Департамента полиции от бдительных граждан приходили сотни писем, в которых рассказывалось о деятельности «темных сил», но в большинстве случаев после опроса заявителя выяснялось, что он невменяем. В Департаменте отмечали, что «ярый патриотизм» являлся симптомом душевного расстройства[2]. Тем не менее полиция обязана была реагировать и устанавливать наружное наблюдение за подозрительными лицами. Известны случаи, когда участвовавшие в слежке за «шпионами» полицейские сами приобретали

[1] Здесь и далее подсчитано по: Еженедельник статистического отделения Петроградской городской управы. 1914–1917.
[2] ГА РФ. Ф. 102. ДП-ОО. Оп. 245. Д. 33. Т. 4. Л. 318 об.



Ил. 18. Полиномиальные линии трендов для поступлений мужчин за 1913 и 1916 гг.

манию преследования и увольнялись со службы, уезжали в другие города, а потом начинали жаловаться на якобы установленное за ними наблюдение[1]. На развивавшиеся мании преследования у официальных лиц обращали внимание многие современники: «Жаль беднягу. Он очень порядочный, честный человек, и вот, — свихнулся!» — писал военный врач о знакомом следователе, у которого появилась *idée fixe*, что его хотят повесить за шпионаж[2]. В частной переписке, доносах в Охранное отделение обыватели жаловались, что соседи-шпионы устраивают тайные сходки и «ночные оргии с употреблением немецкого языка», а одна знакомая Л.А. Тихомирова набросилась с кухонным ножом на своего кота, решив, что он немецкий агент, посланный ее убить[3]. Один из сумасшедших — эстонский учитель Р.М. Сальман (примечательно, что душевное расстройство он приобрел в декабре 1905 г., в чем можно усмотреть некоторую связь психологической ситуации периода Первой мировой войны с временем Первой революции) — распространял в 1915–1916 гг. слухи об изобретении в Германии машины для шпионов, которая с помощью рентгеновского луча передавала сообщения на большие расстояния, считывала мысли человека и могла даже убивать[4]. Многие были склонны этому верить.

Правда, патриотическая пропаганда приводила и к случаям «позитивного умопомешательства»: активное тиражирование визуальной продукции с портретами молодых княжон в образах сестер милосердия в специфических условиях военного времени провоцировало нездоровый интерес к ним со стороны мужского населения, часто оборачивавшийся перверсиями. Одним из невинных примеров стала история 39-летнего врача Никанора Руткевича, который

[1] ГА РФ. Ф. 102. ДП-ОО. Оп. 245. Д. 33. Т. 3. Л. 129 — 129 об.

[2] *Краузе Ф.О.* Письма с Первой мировой… С. 335.

[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1006. Л. 71; ГА РФ. Ф. 102. ДП-ОО. Оп. 245. Д. 33. Т. 4. Л. 13; Дневник Л.А. Тихомирова. 1915–1917. М., 2008. С. 164.

[4] ГА РФ. Ф. 102. ДП-ОО. Оп. 245. Д. 33. Т. 6. Л. 54–55.

заочно влюбился в Ольгу Николаевну, вообразил, что его любовь взаимна, и на протяжении января — февраля 1915 г. забрасывал княжну любовными телеграммами непристойного содержания, иногда по нескольку в день. Руткевич внушил себе, что великая княжна неравнодушна к нему, ему казалось, что она ему отвечает письмами или какими-то тайными знаками, поэтому по тексту телеграмм можно представить себе воображаемое Руткевичем развитие их отношений. В одной из телеграмм он грозил самоубийством, в другом раскаивался в этом и признавался, что женат и имеет ребенка: «Царское село ее императорскому высочеству великой княжне ольге николаевне опять вам непонятно как вам объяснить что я живу совсем один и хоть неразведен но нет жены у меня семь лет и мы не знаем друг друга надеюсь ясно вам теперь живу я как холостой был случай грешный и сын трех лет результат сего а теперь я совершенно одинок вот я и заговорил про стрихнин и потому если бы нужно было то получу развод и было бы только лицо которое я бы хотел кажется ясно хотя в письмах вам все я описал кстати не сердитесь за злобное письмо на нем номер стоит 12 руткевич»[1]. Поздравительные телеграммы, отправлявшиеся по поводу тех или иных праздников, носили романтический характер. Очевидно, адресант был эмоционален и легко поддавался общим настроениям. Так, поздравляя Ольгу Николаевну с Масленицей, он писал: «Позвольте выразить Вам все лучшие пожелания к наступившей маслянице: покушайте блинков, покатайтесь на тройке, а вот вывалить в снежок лишь я бы вас сумел, но так чтобы потом все долго любовались беленьким лицом; так ежедневно Вы просто лишь беляночка, тогда же вы были изящная снежиночка. Руткевич»[2]. В другой раз отправлял любовное признание: «Люблю, люблю Вас как Матерь Пресвятую, как сияние звезд, как Божеское Око, как искупителя моих грехов…» Но затем настроение менялось и в телеграмме звучала угроза предать их «отношения» огласке: «Итак, вы писем моих не читаете, тем лучше: пусть будет так и для других их почитать еще полезней: вы в них прочтете лишь любовь, другие пользу извлекут»[3]. Несмотря на то что его дважды вызывали в Охранное отделение и уговаривали не беспокоить Ольгу Николаевну, Руткевич не унимался, и в результате по распоряжению градоначальника был выдворен из Петрограда[4].

По всей видимости, душевное здоровье молодого врача подорвали два обстоятельства. Первое — это его увольнение с должности главного доктора Николаевского морского госпиталя в Кронштадте, когда стало известно о его уклонении от следствия по обвинению в производстве аборта и допущенных врачебных ошибках (ст. 870, 1462, 1463 Уложения о наказаниях).

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. ДП-ОО. Оп. 245. Д. 33. Т. 1. Л. 37.

[2] Там же. Л. 153.

[3] Там же. Л. 155.

[4] Там же. Л. 41–220.

Второе — знакомство с образом Ольги Николаевны в роли медсестры. Возможно, Руткевич влюбился в фотографию, не исключено, что ему и лично довелось встретиться с великой княжной, когда она посетила лазарет, в котором он работал. Так или иначе, врач внушил себе мысль, что его дальнейшая судьба связана с Ольгой Николаевной, поэтому, переехав из Кронштадта в Петроград, Руткевич попытался устроиться в Царскосельский госпиталь, а затем принялся посылать княжне телеграммы. Вероятно, на поведение Руткевича также повлияли слухи о романтических отношениях великих княжон с ранеными и персоналом Царскосельского лазарета, которые породили в нем определенные надежды.

Грандиозные события мировой войны подрывали душевное равновесие склонных к психическим расстройствам людей, награждали их видениями и уверенностью в том, что они обладают сокровенным знанием, которым необходимо поделиться с царем, на имя которого поступали письма и телеграммы от данной категории адресантов. Одно из таких писем, занявшее 20 машинописных листов, поступило в феврале 1916 г. в управление дворцового коменданта. Его автором была известная писательница-публицистка и издательница Е. А. Шабельская-Борк, которая сообщала императору о заговорах с целью убийства его и наследника престола, а также предостерегала от некоторых политических шагов, давала советы по управлению империей. В феврале 1916 г. Шабельская-Борк написала пять писем царю, при этом упомянула, что пишет ему уже на протяжении 10 лет, иногда по нескольку раз в месяц, иногда по письму в год (вероятно, регулярность эпистол связана с периодами психических обострений). В одном случае поводом к написанию стал сон-видение Александра III, в другом случае сам Николай II приснился писательнице: «Ваше Императорское Величество, Всемилостивейший, Великий Возлюбленный Государь… теперь только понимаю я почему Твой покойный Родитель являлся трижды мне во сне, призывая „скажи ему… скажи Государю“… Да, в том светлом мире, где находится теперь душа великого праведника Отца Твоего, ОН видел вперед опасности угрожающие его России и его сыну и внуку… И если Господь допустил меня грешную быть в этом случае ТЕЛЕФОННОЙ ПЛАСТИНКОЙ передающей предупреждения — то… да будет ВОЛЯ ЕГО… Не нам червям земным сопротивляться воле Божией…»[1] Далее Шабельская-Борк переходила к раскрытию плана «заговорщиков», к которым она относила мировое масонство и еврейство, рекомендуя царю познакомиться с главным доказательством — «Протоколами сионских мудрецов». План, по ее мнению, состоял в том, чтобы «загноить голову русской церкви», а также споить русский народ водкой. Помимо евреев, в соучастии в заговоре Шабельская обвиняла Государственную думу, союз земств и городов и прочие общественные

[1] ГА РФ. Ф. 97. Оп. 4. Д. 124. Л. 16.

организации. Примечательно, что она обращала внимание на уличные слухи, которые способны были вылиться в бунт: «Видит Бог я не шучу, а пишу СО СЛЕЗАМИ ЗЛОБЫ И ОТЧАЯНИЯ — Ибо все это ИЗВЕСТНО УЛИЦЕ-НАРОДУ и улица НАЧИНЕНА ЗЛОБОЙ И НЕГОДОВАНИЕМ как динамитом. — Одна спичка, один толчок и… у нас УЛИЧНЫЙ БУНТ — ПОЧИЩЕ МОСКОВСКОГО — Ибо немецкие НАЙМИТЫ-СОЦИАЛЫ и т.д. УЖЕ ПОДГОТОВИЛИ И РАЗРАБОТАЛИ ПЛАН ПОГРОМА — и пойдет он не против ЖИДОВСКИХ БАНКОВ — а против ЗАВОДОВ ГОТОВЯЩИХ ОРУЖИЕ»[1]. Несмотря на то что автор писем высказывала вполне распространенные в реакционной среде идеи, которые поддерживали далеко не одни сумасшедшие, форма писем указывала на душевные проблемы их автора: демонстрация убежденности в обладании истинным, тайным знанием и исключительности своей миссии, что позволяло ей снисходительно обращаться к императору на «ты», путаное повествование, злоупотребление заглавными буквами. Примечательно также, что письма изначально носили анонимный характер — Шабельская-Борк подписывалась как «верноподданная старуха». Впоследствии о душевной трагедии этой женщины в эмиграции упомянул А. Амфитеатров в статье «Тяжелая наследственность», посвященной ее крестнику — участнику покушения на П.Н. Милюкова и убийства В.Д. Набокова в 1922 г., — попытавшись вывести причины террористического акта из особенностей семейной атмосферы. По мнению Амфитеатрова, личная трагедия Шабельской (страстная увлеченность театром при отсутствии актерского таланта) привела ее к морфию и алкоголю, что вконец подорвало здоровье женщины: «Истерия, морфий и портвейн сделали ее одною из самых диких женщин, каких когда-либо рождало русское интеллигентное общество, при всем плачевном изобилии в нем неуравновешенных натур. Даже в женской галерее Достоевского нет такой причудливой и опасной фигуры. Подчеркиваю — опасной, — потому что изменчивое буйство ее отравленного характера никогда не позволяло даже самым близким к ней угадывать, скажем, поутру, чего от нее можно ожидать в полдень, уже и не помышляя о такой отдаленности, как вечер. А весьма значительная и разносторонняя одаренность и бурно настойчивая капризная воля облекали ее безудержные порывы в хаотическую „инфернальность“, весьма неразборчивую в целях и средствах»[2]. Именно на почве начавшихся психических проблем Шабельская познакомилась со своим будущим мужем — главным врачом Нижегородской психиатрической клиники А.Н. Борком.

Крушение традиционных ценностей, разочарование в верховной власти приводило к тому, что многие слухи формировали эсхатологические настроения. Грань между риторикой больных и здоровых людей начинала стираться. Тем

---

[1] ГА РФ. Ф. 97. Оп. 4. Д. 124. Л. 64 об.

[2] *Амфитеатров А.В.* Тяжелая наследственность // За свободу! 1922. 20, 21 апреля.

не менее чаще всего именно первые писали письма на имя Девы Марии, Агнца-Спасителя, отправляя их, как правило, в Зимний дворец[1]. В это же время появлялись люди, выдававшие себя за новых царей[2]. Так, некий А. А. Гоголев писал на имя вдовствующей императрицы в 1915 г.: «Приближается время Оно уже теперь на коротке, Будет злое и великое несчастье которо небывало вжизне родине Царя нашего Императора Николая Александровича, это злое и великое несчастье должно пасть на долю великова князя наследника цесаревича Алексея Николаевича… (сохранена орфография оригинала. — *В. А.*)»[3]. Доносы душевнобольных, в которых сообщалось о заговорах против императора, стали серьезной проблемой для Департамента полиции, который вынужден был отвлекать свои силы для их расследования, а потому, при выяснении личности отправителя, с ними проводились беседы и брались подписки о прекращении отправки подобных писем под угрозой применения административных мер[4]. Однако остановить развившееся доносительство умалишенных было непросто, тем более что фантазии душевнобольных резонировали с эмоционально-экспрессивными высказываниями-угрозами в адрес верховной власти простых людей.

Эмоциональный спад или даже элементы общественной депрессии, меланхолии, в частности, можно было наблюдать по такому явлению, как рост рассеянности столичных жителей, проявившийся в потере личных вещей. Как писал один журналист в июле 1915 г., «Богиня Мнемозина окончательно покинула петроградцев»[5]. В стол находок управления городских железных дорог (трамваев) с 1 января по 16 июля 1915 г. поступили 1403 забытые вещи. Женщины оказались забывчивее мужчин и в зимнее время «любили» терять в вагонах трамвая муфты, сумочки, кольца, браслеты, иногда умудрялись оставить верхнюю юбку или корсет. В оправдание рассеянных петроградок 1915 г. можно упомянуть, что накануне войны кто-то умудрился «забыть» в трамвае сверток с новорожденным младенцем, о котором также сообщили в стол находок, но, по-видимому, в той истории все же были иные мотивы. Довольно часто петроградцы теряли галоши (причем по одной), трости, зонты[6].

Другим косвенным следствием упомянутых психических процессов в обществе стали участившиеся несчастные случаи с летальным исходом. Так, например, за 1913 г. от несчастных случаев погибло 1098 петроградцев. В 1914 г. их количество хоть и сократилось до 1066, но в декабре показало рекордную отметку в 152 погибших человека (против 71 в декабре 1913 г.). Однако уже в 1915 г. от несчастных случаев погибло 3343 человека, т. е. смертность увеличилась

[1] ГА РФ. Ф. 102. ДП-ОО. Оп. 245. Д. 33. Т. 5. Л. 78, 239 об. — 240 об.
[2] ГА РФ. Ф. 102. ДП-ОО. Оп. 246. 1916. Д. 33. Л. 119–120.
[3] ГА РФ. Ф. 102. ДП-ОО. Оп. 245. Д. 33. Т. 2. Л. 106.
[4] ГА РФ. Ф. 102. ДП-ОО. Оп. 245. Д. 33. Т. 1. Л. 18; Д. 33. Т. 5. Л. 237.
[5] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1915. 20 июля.
[6] Там же.

на 214%. Пик пришелся на октябрь, в котором в городе погибло 445 человек (против 90 в октябре 1913 г.)[1]. Для Москвы была характерна та же тенденция, и против 796 погибших от несчастных случаев в 1913 г. в 1915 г. оказалось уже 2538 жертв[2]. В 1916 г. количество смертельных исходов после несчастных случаев незначительно снижается примерно на 17% — вероятно, по причине психологической адаптации горожан к постоянным неутешительным сведениям, поступающим с фронта, хотя по-прежнему продолжает превышать подобную смертность довоенного периода.

К следствию массового психического кризиса следует также отнести суицидальную активность населения. Правда, здесь скорее можно говорить об обратном — о снижении числа самоубийств с началом войны. Отчасти это связано с увеличением смертности душевнобольных. Так, например, вслед за начавшимся в апреле 1914 г. снижением количества самоубийств среди петроградцев в мае начала расти смертность от психических расстройств, а ее падению с октября 1914 г. соответствовал рост самоубийств, начавшийся на месяц раньше[3]. Таким образом, обратно пропорциональная кривая колебаний самоубийств и смертности душевнобольных позволяет предположить, что в обоих случаях мы имеем дело с почти одной и той же группой населения, страдающей психической неуравновешенностью. В конце 1916 г. некоторые современники обратили внимание на увеличение случаев самоубийств: «Среди симптомов, позволявшим мне сделать весьма мрачное заключение о моральном состоянии русского народа, одним из наиболее тревожных является неуклонный рост в последние годы количества самоубийств»[4]. Врач и депутат Государственной думы А. И. Шингарев считал, что причинами большинства самоубийств, приходившихся на долю молодежи, являются неврастения, меланхолия, ипохондрия и полное отвращение к жизни, а также психические расстройства. Депутат отмечал, что, когда общество прочно интегрировано и все его политические, гражданские и религиозные органы хорошо адаптированы для выполнения своих функций, число самоубийств остается ничтожным, поэтому рост числа самоубийств демонстрирует, что в самых недрах русского общества действуют скрытые силы дезинтеграции[5].

Как уже говорилось, осенью 1916 г. метафора «безумие» встречалась во многих описаниях современного состояния общества. Соответственно, и самые популярные эпитеты представителям власти подбирались из лексики на тему сумасшествия. Монархист Б. В. Никольский называл Николая II неврастеником,

---

[1] Подсчитано по: Ежемесячник статистического отделения петроградской городской управы. 1913–1915 гг.

[2] Подсчитано по: Ежемесячный статистический бюллетень по г. Москве. 1913–1915.

[3] Подсчитано по: Ежемесячник статистического отделения петроградской городской управы. 1913–1915 гг.

[4] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 640.

[5] Там же. С. 640–641.

М. Палеолог в начале ноября 1916 г. также упоминал, что император «часто страдал от приступов нервного заболевания, которое проявлялось в состоянии нездорового возбуждения, беспокойства, в потере аппетита, в депрессии и бессоннице», но роль главной безумицы досталась все же императрице. Французский посол считал психическое заболевание Александры Федоровны наследственным, которое усугубилось в условиях русской жизни, предрасполагавшей в конце войны к меланхолии, тоске и постоянным перепадам настроения: «Я уже отмечал в этом дневнике болезненные наклонности, которые Александра Федоровна получила по наследству от матери и которые проявляются у ее сестры Елизаветы Федоровны в благотворительной экзальтации, а у ее брата, великого герцога Гессенского, — в странных вкусах. Эти наследственные наклонности, которые были бы незаметны, если бы она продолжала жить в позитивистской и уравновешенной среде Запада, нашли в России самые благоприятные условия для своего полного развития. Душевное беспокойство, постоянная меланхолия, неясная тоска, перепады настроения от возбуждения до уныния, навязчивая мысль о невидимом и потустороннем, суеверное легковерие — все эти черты характера, которые кладут такой поразительный отпечаток на личность императрицы, — разве они не укоренились и не стали повальными в русском народе?»[1] Впрочем, не только Палеолог, но многие современники, лично знавшие супругу императора, считали ее сумасшедшей или в лучшем случае неврастеничкой[2].

По мере приближения к февралю 1917 г. подозрительность, неврастения захватывали все большее число обывателей, заставляя их повсюду видеть слежку. Приехавший в отпуск в Петроград офицер И. Ильин отметил ощущение чего-то необычного и записал в дневнике, что «по телефону, как только берешь трубку, кто-то сейчас же подслушивает, очевидно шпики»[3].

Таким образом, Первая мировая война стала травмирующим фактором для нервно-психологического состояния общества. Главным образом пострадали те категории населения, которые, во-первых, имели генетическую, наследственную предрасположенность, а во-вторых — были вырваны войной из привычной повседневности (беженцы, оставшиеся без мужей женщины с детьми и т. д.). При этом официальная пропаганда усугубляла общественную атмосферу: развязанная властями шпиономания превращалась в навязчивую идею, страх перед шпионом разрастался до массовой фобии, что, в частности, отразил тогдашний бред сумасшедших. В конце концов «сумасшедший дискурс» вышел за рамки сугубо медицинской проблемы, из специальной психиатрической литературы вошел в повседневное пространство, в результате чего политические оппоненты начали воспринимать друг друга безумцами. Андреевская

---

[1] Там же. С. 212.

[2] См.: *Зимин И. В.* Последняя российская императрица Александра Федоровна // Вопросы истории. 2004. № 6. С. 112–120.

[3] Скитания русского офицера… С. 181.

метафора «красного смеха» воплощалась в жизнь. Впрочем, учитывая возраставшую к 1917 г. невротизацию российского общества, такие оценки были недалеки от правды.

* * *

Рациональная городская культура несколько иначе, чем деревенская среда, отреагировала на начало Первой мировой войны. В отличие от неграмотных крестьян, горожане лучше воспринимали и усваивали посылы патриотической пропаганды. Тем не менее последняя апеллировала к эмоциям, и уже с первых дней войны в Петрограде и других городах патриотические манифестации стали оборачиваться антинемецкими погромами. При этом существенный недостаток информационной стратегии властей заключался в наличии жесткой цензуры, которая, помимо военных сведений, касалась политических и экономических оценок положения в стране. Недостаток печатной информации компенсировался слухами, но городские и деревенские слухи на первом этапе войны имели разную степень рациональности. В городах ходили слухи о предательстве императрицы Александры Федоровны, в деревнях же предательницей считали вдовствующую императрицу Марию Федоровну. Несмотря на то что даже первые являлись абсурдными, их хождение в городском социуме было настолько широко, что даже начальник жандармского управления Брюн-де-Сент-Ипполит направлял дворцовому коменданту официальный запрос о том, действительно ли во дворце имеется секретный телеграф.

По мере ухудшения продовольственной ситуации, нарастания общей хозяйственной разрухи в обществе накапливалось недовольство по поводу затягивавшейся войны, в результате чего германофобия начинала разбавляться англо- и франкофобией. Таким образом, массовые страхи имели как иррациональную, так и вполне рациональную форму, однако последующее развитие слухов городской среды приводит ко все большей их иррационализации, в результате чего пространства устной и письменной информации сливаются. Косвенно этому процессу способствуют мистические кружки, популярные с конца XIX в., но получившие новое развитие в связи с мировой войной. Мистицизм в условиях общей невротизации, роста нервных и психических расстройств усиливал иррациональные пласты массового сознания, вследствие чего даже самая абсурдная информация начинала казаться городским слоям реальностью. Эти черты массовой психологии способствовали распространению аффектов, создавали почву для архаичного бунтарства, неоднократно проявлявшегося в погромных акциях 1915–1916 гг. Тем самым российское общество подошло к началу 1917 г. в состоянии глубокого социально-психологического кризиса; сформировавшиеся образы внутренних врагов в лице представителей династии обеспечивали возможность перерастания безадресного стихийного бунта в массовый политический протест.

Раздел 5

Образ

Визуальное пространство Первой мировой войны

В предыдущих разделах были рассмотрены образы власти и войны в устном и письменном пространстве деревни и города. Противопоставление устного и письменного образа не сводится исключительно к проблеме способа фиксации информации, так как в устной и письменной культурах образы различаются особенностями функционирования. Устная среда в большей степени динамична и менее структурирована, поэтому подвержена случайным, иррациональным формам сообщений, письменная, наоборот, тяготеет к более статичной структуре и оперированию рациональным, фактическим знанием. Однако в условиях общего информационного кризиса, падения доверия к властям, невротизации общества происходило смешение устной и письменной культур, слухов и фактов, рациональной и иррациональной информации.

Вместе с тем исследование массового сознания и массовых настроений населения будет неполным без учета визуальных образов. Устная и письменная речь являются формами вербального общения, которое подразумевает артикулирование определенных категорий. При этом в некоторых случаях участники дискурса по тем или иным причинам затруднялись артикулировать собственные ощущения, отношение к тем или иным явлениям. Способы невербальной коммуникации, к которым относится визуальная информация, позволяют выйти за ограничительные рамки слова.

Разные психологические направления признают большую роль образов в процессах восприятия и мышления, связывая это с тем, что окружающая реальность дана человеку в предметной форме, поэтому когда речь не идет об абстрактных понятиях, восприятие формы предшествует восприятию содержания или значения, имеющих вербальное выражение. Некоторые

формы-образы закреплены в подсознании в качестве архетипов и вызывают при определенных условиях стандартные реакции. Обращение к образно-архетипической природе крайне важно для изучения особенностей массового сознания, а также массовых настроений, так как в ряде случаев образы оказываются проекцией человеческих эмоций. Именно приоритет чувственно-эмоционального восприятия событий над рассудочно-логическим, свойственный представителям художественной интеллигенции, обеспечивает искусству прогностическую функцию, проявляющуюся зачастую тогда, когда пасует разум.

Изобразительная продукция, которая была как результатом пропагандистских кампаний, способом официальной репрезентации образов войны и власти, так и формой стихийного народного творчества, создает собственное пространство образов и смыслов, дополняющих общее семиотическое пространство Первой мировой войны.

Наряду с массовой изобразительной продукцией, отражающей психологические изменения в обществе, реагирующей на динамику отношения современников к определенным событиям политической истории и ее акторам, нельзя не обратить внимания и на авторские художественные произведения, выражавшие индивидуальную позицию художника. Тем не менее проблема соотношения коллективного и индивидуального начала во многом условна, так как любой автор является членом общества и подвержен влиянию со стороны общественного мнения, коллективных настроений, а потому в его работах также отражаются характерные для эпохи черты и тенденции.

Визуальные произведения, так же как информация, передававшаяся в устной и письменной форме, будут рассматриваться как тексты, имеющие внешние и внутренние связи, структуру, что позволяет провести их декодификацию и интерпретацию. Для этого важно рассмотреть изображения с применением разноуровневого подхода: на иконографическом уровне выявить характерные приемы, формы, создающие первичную структуру изображения, на иконологическом — выяснить символическое содержание произведения, на семиотическом — рассмотреть дискурсивную структуру визуального текста-сообщения и его взаимодействие со зрителем. Исследование визуального документа, таким образом, выходит за рамки классического искусствоведения или — тем более — истории искусства и оказывается в области антропологии образов. На рубеже XX и XXI вв. именно об этом писали Дэвид Фридберг и Ханс Белтинг — видные протагонисты антропологического поворота[1], — а еще раньше — основоположники иконологии Аби Варбург и Эрвин Панофски.

---

[1] Мир образов. Образы мира. Антология исследований визуальной культуры / Ред.-сост. Н. Н. Мазур. М.; СПб., 2018. С. 10.

Искусство как источник: проблемы «визуальной истории» и «интеллигентоведения»

В последние десятилетия «визуальная история» активно проникает в историческую науку. Издававшийся в 2004–2008 гг. журнал «Историк и художник» (основатель и главный редактор — С. С. Секиринский) активно вводил в научный оборот новые визуальные исторические источники — кино, фотографию, живопись, графику, моду[1]. Проводились конференции и публиковались сборники статей, посвященные вопросам визуального в истории[2]. Вместе с тем говорить о состоявшемся «визуальном повороте» в истории, в отличие от антропологии, культурологии, вероятно, рано: у авторов часто встречается терминологическая путаница, отрицание самодостаточности визуального сообщения. Так, в статье А. Б. Соколова «Текст, образ, интерпретация: визуальный поворот в современной западной историографии» употребляется словосочетание «визуальное изображение» (sic!), последнее противопоставляется тексту (отрицание визуального текста) и делается вывод о том, что «визуальный поворот» означает «отказ от „научного“ стиля и переход к нарративу»[3]. В действительности использование изображений в качестве иллюстрации вербального текста или даже его подмены не является визуальным исследованием, так как не подразумевает использование изображения в качестве самодостаточного источника, визуальной знаковой системы, нуждающейся в дешифровке. Собственно статья Соколова противоречит опубликованному в том же сборнике исследованию К. Л. Лидина и М. Г. Мееровича, в котором на основе контент-анализа образов пропагандистского плаката предпринята попытка «перевода» эмоциональной структуры визуального текста на вербальный язык[4]. Вместе с тем «закрытость» использованного авторами инструментария, отсутствие ясной методологической базы вызвали замечания в адрес работы Лидина и Мееровича[5].

---

[1] См.: *Секиринский С. С.* Об историках, художниках и о нашем журнале // Историк и художник. 2004. № 1. С. 4–6; *Янковская Г.* Книжный идеал художника и живописцы позднего сталинизма // Историк и художник. 2005. № 1. С. 124–138; *Смирнова Т.* Советская повседневность, народное творчество и массовая культура 1920–1930-х годов // Историк и художник. 2005. № 2. С. 57–73; *Кабанова Е., Ципоркина И.* В поисках понимания: историк и язык изобразительного искусства // Историк и художник. 2005. № 3. С. 68–77; *Журавлев С., Гронов Ю.* Власть моды и советская власть: история противостояния // Историк и художник. 2006. № 1. С. 133–147; *Булдаков В. П.* Где вы, доктор Живаго? Революция и человек в литературе и на экране // Историк и художник. 2006. № 3. С. 173–187 и др.

[2] См.: История страны/История кино / Ред. С. С. Секиринский. М., 2004; Оче-видная история. Проблемы визуальной истории России XX столетия: сборник статей. [Редкол. И. В. Нарский и др.] Челябинск, 2008.

[3] *Соколов А. Б.* Текст, образ, интерпретация: визуальный поворот в современной западной историографии // Оче-видная история… С. 10–24.

[4] *Лидин К. Л., Меерович М. Г.* «Визуальный кадр» как метод анализа элементов визуальной среды обитания (на примере рекламно-пропагандистских плакатов 1920–1950-х гг.) // Оче-видная история… С. 25–34.

[5] *Бойцова О.* Рец. на кн.: Оче-видная история. Проблемы визуальной истории России XX столетия. Сборник статей / [Редкол.: И. В. Нарский и др.] Челябинск: Каменный пояс, 2008. 476 с.: ил., табл. // Антропологический форум. 2009. № 10. С. 365–373.

Очевидно, что в рамках прежних, ориентированных на работу с письменными источниками методов крайне сложно развивать визуальные исследования. При этом существующие в западной историографии иконологический, семиотический, дискурс-аналитический, контент-аналитический, психоаналитический и пр. подходы также не предлагают готовых рецептов анализа визуального, хотя теоретические наработки позволяют выстраивать обобщенные модели, учитывающие конкретные задачи исследователя[1]. Вследствие этого отечественной историографии свойственна некоторая излишняя теоретическая осторожность, которая, впрочем, может быть оправдана тем, что нередко кажущиеся перспективными теории визуального «пасуют» при встрече с конкретно-историческим материалом.

Учитывая, что методология визуальных исследований в исторической науке еще только начинает формироваться, следует обозначить некоторые актуальные положения: во-первых, это подход к изображению как знаковой системе, тексту, чье значение как сообщения не сводится к функции иллюстрирования вербального текста; во-вторых, изучение специфики взаимодействия визуального знака и слова, когда вербальные метафоры находят оригинальные визуальные прочтения, формирующие новые смыслы; в-третьих, учет соотношения авторских приемов и существующих визуальных традиций, клише; в-четвертых, изучение особенностей восприятия одних и тех же визуальных образов различными социальными группами. Важно, что в последнее время многие исследователи признают, что визуальный образ включает в себя больший объем информации, чем вербальный, что автоматически повышает его значимость в качестве исторического источника[2]. Другой особенностью визуального материала является непосредственное эмоциональное воздействие на зрителя, не требующее вербально-логической дешифровки, как при работе со словом. Учитывая развитие в последние десятилетия такого научного направления, как эмоциология, эмоциологический анализ графических произведений представляется особенно перспективным.

Исследование художественных образов предполагает обращение к проблеме особенностей психологии творческой личности. В основе художественного образа, как правило, лежит более тонкое и противоречивое ощущение реальности, чем может дать прямое, буквальное восприятие. Художественное творчество основывается на чувственно-эмоциональном отношении к действительности, которое нередко вступает в противоречие с отношением рациональным. Следствием расхождения чувственного и рационального восприятия может быть уход в крайности, при котором художник как предельно

---

[1] *Rose G.* Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of the Visual Materials. London: SAGE Publication, 2001.

[2] *Голиков А. Г., Рыбаченок И. С.* Смех — дело серьезное. Россия и мир на рубеже XIX–XX веков в политической карикатуре. М., 2010. С. 5.

упрощает действительность, впадает в крайности, так и создает новые, более сложные системы, которые в итоге могут оказаться провидческими. Именно свобода интерпретации действительности, не ограниченная никакими методологическими или — тем более — идеологическими рамками, позволяет искусству успешно выполнять прогностическую функцию. Вместе с тем едва ли в каждом творении уместно разглядывать провидение. Художник как часть общества в периоды кризиса впитывает в себя многие его заблуждения, подчиняется общей эмоциональной атмосфере, в результате чего даже талантливейшие люди опускаются на уровень банальных штампов, что далее будет проиллюстрировано примерами.

Согласно Эриху Фромму, само творчество можно сопоставить с так называемым продуктивным характером деятельности, это характерно для творческой, художественной натуры: «Настоящий художник — наиболее показательный пример продуктивности»[1]. Именно художник способен безвозмездно отдавать результаты своего труда обществу. В то же время продуктивность ставит проблему соотношения бытия и творческого сознания. «Продуктивное отношение к миру может выражаться в понимании, умозрении. Человек производит, делает вещи, применяя свои силы к веществу, материи»[2]. Человек создает вещь, имея представление о ней, помещая в создаваемое свою идею. Иными словами, бытие личности, связанное непосредственно с продуктивной деятельностью, определяется творческим поиском личности, той идеей, которой личность заражена в данный момент. Окружающий мир, преобразовываясь в сознании творческой, художественной натуры благодаря ее идеалам, закрепленным в мировоззрении, выливается в новое идеальное представление об этом мире. Такое идеализированное представление об окружающей действительности М.О. Гершензон определял как автономное от действительности индивидуальное сознание интеллигента, которое, будучи не подконтрольным воле, «начинает блуждать вкривь и вкось, теряет перспективу, ударяется в односторонности, впадает в величайшие ошибки»[3]. По мнению Гершензона, трагедия России состоит в том, что данное «блуждание автономного индивидуального сознания», разрыв между чувственно-эмоциональным восприятием окружающей действительности и рассудочно-логическим стал «не просто общей нормой, но, больше того, был признан мерилом святости… Этот распад личности оказался роковым для интеллигенции в трех отношениях: внутренне — он сделал интеллигента калекою; внешне — он оторвал интеллигенцию от народа, и, наконец, совокупностью этих двух причин он обрек интеллигенцию на полное бессилие перед гнетущей ее властью»[4]. Тем самым веховцы, наделяя

---

1 *Фромм Э.* Психоанализ и этика. М., 1993. С. 77.

2 Там же. С. 86.

3 *Гершензон М.О.* Творческое самосознание // Вехи. Интеллигенция в России. М., 1997. С. 88.

4 Там же. С. 93.

интеллигенцию ответственностью за социально-политические катаклизмы России начала XX в., усматривали одну из проблем в психологии творческой личности. Вместе с тем критики Гершензона указывали на неоправданные обобщения в его концепции. Так, Р. Виппер выделял два противоположных психотипа интеллигенции — индивидуалиста и общественника — и обращал внимание на циклический характер их взаимоотношений[1].

Близкую випперовской концепцию представил в 1990-х гг. Б. Успенский. Противопоставляя русскую интеллигенцию западным интеллектуалам, ученый отметил, что исторической особенностью русской интеллигенции являлось противостояние либо с властью, либо с народом; обратил внимание на ее своеобразный традиционализм: «Одним из фундаментальных признаков русской интеллигенции является ее принципиальная оппозиционность к доминирующим в социуме институтам. Эта оппозиционность прежде всего проявляется в отношении к политическому режиму, к религиозным и идеологическим установкам, но она может распространяться также на этические нормы и правила поведения и т. п. При изменении этих стандартов меняется характер и направленность, но не качество этой оппозиционности. Именно традиция оппозиции, противостояния объединяет интеллигенцию разных поколений: интеллигенция всегда против — прежде всего она против власти и разного рода деспотизма, доминации. Соответственно, например, русская интеллигенция — атеистична в религиозном обществе (как это было в императорской России) и религиозна в обществе атеистичном (как это было в Советском Союзе). В этом, вообще говоря, слабость русской интеллигенции как идеологического движения: ее объединяет не столько идеологическая программа, сколько традиция противостояния, т. е. не позитивные, а негативные признаки. В результате, находясь в оппозиции к доминирующим в социуме институтам, она, в сущности, находится в зависимости от них: при изменении стандартов меняется характер оппозиционности, конкретные формы ее проявления»[2]. Тем самым акцент с характера деятельности смещается в сторону мировосприятия, универсальных психологических установок интеллигенции, которые имеют определенную историческую обусловленность. Однако отмеченная онтологическая связь интеллигенции с народом, с одной стороны, и государством — с другой, предполагает отражение в ее продуктивной, творческой деятельности различных состояний взаимоотношения общества и власти, поэтому результаты творчества являются ценным историческим источником.

Критика и самокритика русской интеллигенции не остались для нее безнаказанными — в строившемся пролетарском государстве ей была отведена роль классовой прослойки, а потому изучение художественной интеллигенции

[1] *Виппер Р.* Две интеллигенции и другие очерки. М., 1912. С. 24–25.

[2] *Успенский Б.* Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры // Русская интеллигенция и западный интеллектуализм: История и типология. М., 1999.

интересующего нас периода в исторической литературе сильно уступало исследованиям различных аспектов истории пролетариата и крестьянства. Долгое время главным классическим трудом советского «интеллигентоведения» оставалась работа В.Р. Лейкиной-Свирской «Русская интеллигенция в 1900–1917 годах», изданная в 1981 г. Исследование продолжало и дополняло монографию 1971 г. «Интеллигенция в России во второй половине XIX в.», в нем появилась новая глава о русских художниках. Описывая материальные трудности, с которыми сталкивались русские художники рубежа XIX–XX вв., в том числе конфликты внутри Академии художеств, Лейкина-Свирская создавала в соответствии с традицией классового подхода некий образ пролетария художественного труда и тем самым обращала внимание на накапливавшиеся противоречия между творческой интеллигенцией и самодержавием. Одной из особенностей развития русского искусства исследовательница считала как постоянную борьбу с навязываемой государством бюрократической системой, так и борьбу за новые жанры и направления. Вместе с тем анализ складывавшихся направлений проведен не был, а среди художников 1900–1917 гг. ни разу не было названо ни одного имени представителя русского авангарда (исследовательница явно отдала предпочтение передвижникам и «мирискуссникам», а из «нового направления» вскользь упомянула К.С. Петрова-Водкина, З.Е. Серебрякову, К.Ф. Юона). При этом Лейкина-Свирская считала, что в некоторых случаях живопись сильнее отражала «демократические идеи и эмоции», чем подцензурная литература, но заявляла, что «политическое сознание массы художников отставало от темпа революционных событий»[1]. Забегая вперед, отметим, что обращение к художественному и теоретическому наследию русского авангарда позволяет опровергнуть тезис Лейкиной-Свирской, так как предчувствие надвигавшейся новой эпохи, революции, характерное для художников-авангардистов в годы Первой мировой войны, в некоторых случаях, наоборот, опережало прогнозы профессиональных революционеров. Несмотря на заявленные хронологические рамки, Лейкина-Свирская проигнорировала период Первой мировой войны в самоорганизации и творческом наследии художников. «Забытыми» оказалась и война, и русский авангард.

Немногим лучше обстояли дела в советской истории искусства. Более-менее комплексно художественная жизнь России начала XX в. была освещена в трудах Г.Н. Стернина, В.П. Лапшина[2]. При этом если Стернин доводил свое исследование до 1914 г., то Лапшин посвятил его исключительно 1917 г. Первая мировая война оказалась выпавшей из фокуса искусствоведов. Тем не менее В.П. Лапшин небезуспешно попытался показать то, как художественной

---

[1] *Лейкина-Свирская В.Р.* Русская интеллигенция в 1900–1917 гг. М., 1981. С. 171, 175.

[2] *Стернин Г.Ю.* Художественная жизнь России начала XX века. М., 1976; *Лапшин В.П.* Художественная жизнь Петрограда и Москвы в 1917 г. М., 1983.

интеллигенции удавалось предчувствовать и предугадывать приближавшиеся события социально-политической жизни.

В 1990-е гг. интерес к интеллигенции значительно вырос как среди столичных, так и среди провинциальных отечественных исследователей. В 1998 г. при Ивановском государственном университете был открыт даже НИИ интеллигентоведения. Впрочем, говорить о каком-то существенном прорыве в изучении темы в рамках исторической науки не приходится. Изменился ракурс исследований, в отличие от веховцев, смотревших на интеллигенцию как на обвиняемую, на новом этапе ее все чаще представляют в качестве жертвы. Однако при этом зачастую методологическая база историков остается прежней.

То, что недооценивала советская историография, привлекало внимание западных исследователей. В 1950–1980-х гг. С. Томпкинс, М. Малиа, А. Бесанкон, Дж. Бурбанк, Р. Хингли пытались понять роль российской интеллигенции в революции 1917 г.[1] Однако и в этом случае исследования за редким исключением велись вне контекста создаваемой творческой интеллигенцией системы образов, так как преимущественно речь шла об интеллектуальной, а не художественной продукции. Вместе с тем проблема взаимодействия литературных образов и фронтовой повседневности мировой войны была поднята в монографии П. Фассела, вышедшей в 1975 г.[2] Американский историк обратился к британским поэтическим и прозаическим текстам фронтовых поэтов, которые он назвал «пространством возрожденных мифов», в котором отражалась новая мифическая, ритуализированная повседневность[3]. Но тексты не только отражали сознание современников, они влияли на формирование дальнейшего опыта и исторической памяти. Исследователи культуры России периода Первой мировой войны отмечают слабоизученность этой темы. Р. Стайтс в качестве одной из причин называл заслонение в культурном пространстве памяти о Первой мировой памятью о революции и Гражданской войне[4]. Тем не менее в последнее время ученые все активнее привлекают художественные произведения для реконструкции массового сознания эпохи[5]. В этом контексте возникает проблема перевода языка: образы, символы эпохи складываются в тексты, формирующие новые значения. Новый подход к дискурсивным

---

[1] *Tompkins S. R.* The Russian Intelligentsia: Makers of the Revolutionary State. Norman, 1957; *Malia M.* What is the Intelligentsia // The Russian Intelligentsia / Ed. R. Pipes. New York; London, 1961; *Besancon A.* The Intellectual Origins of Leninism. Oxford, 1981; *Hingley R.* Nightingale fever: Russian poets in revolution. New York, 1982; *Burbank J.* Intelligentsia and Revolution: Russian Views of Bolshevism, 1917–1922. New York; Oxford, 1986.

[2] *Фассел П.* Великая война и современная память. СПб., 2015.

[3] Там. же. С. 160.

[4] *Stites R.* Days and nights in wartime Russia: cultural life, 1914–1917 // European Culture in the Great War. The arts, entertainment and propaganda, 1914–1918 / Ed. by Aviel Roshwald and Richard Stites. Cambridge University Press, 2002. P. 8.

[5] См.: *Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г.* 1917 год. Элиты и толпы: культурные ландшафты русской революции. М., 2017.

практикам прошлого, отраженным в вербальных и визуальных актах коммуникации, присутствует в исследованиях Х. Яна, Б. Колоницкого, О. Файджеса, М. Стейнберга[1]. М. Стейнберг обратил внимание на произошедший методологический поворот: если социальные историки старой школы обращали внимание на язык эпохи как отражение социальных, экономических, политических реалий, то историки нового направления воспринимают язык как непосредственный предмет исследования, самодостаточный феномен[2]. Но в этом случае происходит казус: попытка изучить всю совокупность образов (сакральные и профанные, или образы высокого и массового искусства, ставшие достоянием целой эпохи) выводит из исследовательского фокуса их творца — художника. По-видимому, в качестве актуальной задачи следует признать проведение такого исследования, которое позволило бы воспринимать художественные образы и как продукт творческих исканий определенного автора, и как отражение автора коллективного, общества, и как язык эпохи.

Визуальному искусству периода мировой войны посвящена монография А. Коэна «Воображая невообразимое: мировая война, искусство модерна и политика массовой культуры в России, 1914–1917»[3]. Автор небезосновательно считает, что Первая мировая война оказала большее влияние на российское искусство, чем революция, так как считает ее не просто прологом к 1917 г., а важным этапом переоценки подданными российской империи политических, социальных и культурных ценностей[4]. В исследовании встречаются упрощения, например что только в культурной сфере летом — осенью 1914 г. отразились истинные патриотические настроения, в которых не было места апатии и пораженчеству, встречавшимся среди низов[5]. В действительности, как будет показано далее, палитра эмоциональных реакций на войну у художественной интеллигенции была более разнообразна, чем представляет себе Коэн. Недостаточно убедительно звучат слова об отходе художников от эстетики модерна в угоду времени, подкрепленные несколькими примерами фигуративных работ Бурлюка и Кандинского (художники-абстракционисты вольны делать реалистические зарисовки на любых этапах творчества). При этом Коэн делает важное замечание, что реализм в искусстве терял жизнеспособность в условиях, когда сама реальность оказывалась непрезентабельной[6]. Тем самым война

---

[1] *Jahn H.* Patriotic culture in Russia during World War I. Ithaca; New York: Cornell University Press, 1995; *Figes O., Kolonitsky B.* Interpreting the Russian revolution: the language and symbols of 1917. New Haven; London, 1999; *Steinberg M.* Voices of Revolution, 1917. New Heaven; London: Yale University Press, 2001.

[2] *Steinberg M.* Voices of Revolution… P. 4.

[3] *Cohen A.* Imagining the Unimaginable: World War, Modern Art, and the Politics of Public Culture in Russia, 1914–1917. Lincoln; London: University of Nebrasca Press, 2008.

[4] Ibid. P. 1, 4.

[5] Ibid. P. 68.

[6] Ibid. P. 87.

способствовала развитию абстрактного искусства как способа переосмысления или ухода от реальности. Однако как таковой анализ визуальных образов отсутствует в исследовании; когда же историк пытается проанализировать картины, как, например, «На линии огня» К.С. Петрова-Водкина, то демонстрирует недостаточное владение теорией. Так, интерпретируя произведение в нарративном ключе, Коэн упускает из виду вполне модернистскую задачу, решавшуюся Петровым-Водкиным, — разработку «сферической перспективы» (более явно выразившуюся в будущей работе «Смерть комиссара», которая и сюжетно, и структурно развивала «На линии огня»). Фигуративность и нарративность картины художника помешала Коэну увидеть за узнаваемыми персонажами модернистскую структуру произведения, что доказывает условность деления изобразительного искусства на фигуративное/нефигуративное как реалистическое/авангардное. Также обнаруживается некоторый перекос в сторону анализа супрематизма в ущерб другим направлениям. Недостаточно внимания уделено творчеству В. Кандинского (при образцовом анализе «Черного квадрата», интерпретация картины «Москва. Красная площадь» оставляет желать лучшего), практически обойден стороной П. Филонов, хотя его теория «Мирового расцвета» очень важна для понимания художниками эпохи, мыслившейся в милленаристских категориях.

Говоря о массовом визуальном искусстве, нельзя не упомянуть монографию немецкого историка Хубертуса Яна «Патриотическая культура в России периода Первой мировой войны»[1]. В ней речь идет о «низком» искусстве, причем литературный жанр не рассматривается автором, который ограничивается изучением визуальной продукции (лубок, карикатура, плакаты, открытки), театрального искусства и кинематографа. Историк пишет о необходимости изучения «мира образов» и тех значений, которые этот мир формировал, подчеркивает большой потенциал визуальных источников, однако на практике Ян слишком осторожно подходит к анализу визуального, что оборачивается описательностью. Вместе с тем работа содержит ценные заключения. Одним из важных тезисов является констатация культурной конвергенции представителей разных социальных групп как следствия воздействия на зрителей разнообразной визуальной пропаганды[2]. Можно согласиться с утверждением Яна, что с 1915 г. карикатура отказывается от патриотической тематики и обращается к социальному критицизму, который он, к сожалению, не подтверждает количественными данными (ниже этот недостаток будет исправлен данным исследованием); отмечает разнообразие и вариативность патриотических форм и патриотического содержания, приходя к выводу о трансформации героического патриотизма в социально-критический к 1917 г.

---

[1] *Jahn H.* Patriotic culture in Russia during World War I. Ithaca; New York: Cornell University Press, 1995.
[2] Ibid. P. 83.

В отечественной историографии одной из немногих работ последнего времени, посвященных художественной интеллигенции, является монография И. В. Купцовой «Художественная жизнь Москвы и Петрограда в годы Первой мировой войны», в которой значительное внимание уделено именно представителям изобразительного искусства[1]. Купцова, по сравнению с Лейкиной-Свирской, существенно расширяет методологическую и источниковую базу исследования, учитывает как общественную деятельность, повседневную жизнь, так и творческие поиски художественной интеллигенции 1914–1916 гг., не выходя при этом за ограничительные рамки сложившейся исторической традиции изучения данной социальной группы вне контекста анализа созданных ею произведений. Исследовательница, в отличие от Коэна, обращает внимание на неоднозначное отношение художественной интеллигенции к войне, выделяя две условные группы: «патриоты» и «пацифисты». Само по себе противопоставление кажется неудачным: как уже было показано в предыдущих главах, в российском обществе вполне имел место «патриотический пацифизм» и даже «революционный патриотизм». Более точным, оппозиционным пацифизму термином является «милитаризм», тем более что некоторые представители творческой интеллигенции действительно поддались влиянию милитаристских настроений, в обществе появилась мода на военную форму, люди вмиг стали «экспертами» по военно-техническим вопросам, обсуждали численность и качество армий воюющих держав, тактику и стратегию войны, новые изобретения. При этом Купцова делает важное наблюдение, что большинство деятелей искусств восприняли войну не в международно-политическом, а в цивилизационном аспекте: как столкновение двух культур Запада и Востока[2]. Следует заметить, что хотя в этом ключе работала официальная пропаганда, в художественном мире задолго до начала войны встала проблема национально-культурной идентификации художников, что проявилось, в частности, в расколе «Бубнового валета», из которого выделилась группа «Ослиный хвост», обвинявшая бубновowалетовцев в подражании западноевропейскому искусству и игнорировании русских художественных традиций. Таким образом, национальные тенденции творчества (включая, например, стилизацию высокой живописи под народный лубок) стали естественным следствием объективных процессов, происходивших в художественной среде. Разбирая мобилизационное поведение представителей художественной интеллигенции, Купцова выделила три его типа: добровольцы, призывники и командированные. «Добровольцы» автоматически попали в группу «патриотов», однако, как уже писалось, в их числе было немало вольноопределяющихся, стремившихся получить выгоду от этого статуса (самостоятельный выбор рода войск,

[1] *Купцова И. В.* Художественная жизнь Москвы и Петрограда в годы Первой мировой войны (июль 1914 — февраль 1917 г.). СПб., 2004.
[2] Там же. С. 36.

изначально более высокий статус в солдатской среде и вежливое обращение со стороны офицеров, перспектива самому стать офицером).

Купцова делает наблюдение о столкновении в культуре Серебряного века двух моделей: «ренессансной», идеализировавшей гармонию, и «модернистской», разрушающей целостность прежнего мира[1]. Этот конфликт ярче всего проявился в период Первой мировой войны. Литературовед Г.А. Белая в работе «Взорванный мир», не соглашаясь с мнением о том, что 1914–1917 гг. выпали из художественной жизни российского общества, обращает внимание на то, что именно в это время происходят важные изменения художественного сознания, начинается сублимация идей, вопросов, решением которых занялись последующие поколения: «Вопреки широко распространенному мнению, будто период Первой мировой войны оставил пробел в истории русской культуры, 1914–1917 гг. были временем сублимации трагических противоречий русской истории, коренных изменений в общественном и художественном сознании русского общества, началом всемирного кризиса, разрешение которого заняло впоследствии весь XX век»[2]. Метафора взрыва использована Белой не случайно. Проницательные исследователи давно обратили внимание, что коллизии культурного развития как бы предопределяли пути социально-политического движения России. В монографии В.П. Булдакова и Т.Г. Леонтьевой «1917 год. Элиты и толпы» революция и Гражданская война рассмотрены как социокультурный конфликт архаики и модерна, нашедший отражение еще в культуре Серебряного века[3]. Авторы используют понятие «культура взрыва», выводя его из откровений представителей русской художественной элиты начала XX в., в которых предсказывались грядущие бури мировой войны и революции. Причем первым в качестве цитаты приводят слова В. Кандинского, которого справедливо называют художником, «наиболее ощутимо отразившим состояние внутренней разорванности на всех „этажах“ русской культурной жизни»[4]. Ранее понятие «культуры взрыва» было разработано семиотиком и лингвистом Ю.М. Лотманом, который определял культуру как динамичную систему, в которой новое рождается благодаря взрывному выплескиванию энергии вследствие столкновения со старым[5]. Яркой работой, в которой творческие поиски представителей Серебряного века показаны в контексте культурных метаморфоз революционной эпохи, стала «Содом и Психея» А.М. Эткинда. Автор выявил связь революционных идей с традициями русского сектантства,

---

[1] *Купцова И.В.* Художественная жизнь Москвы и Петрограда… С. 162.

[2] *Белая Г.А.* Взорванный мир. Первая мировая война в русской поэзии // Москва — Берлин (1900–1950). М., 1996. С. 105.

[3] *Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г.* 1917 год. Элиты и толпы: культурные ландшафты русской революции. М., 2017.

[4] Там же. С. 18.

[5] См.: *Лотман Ю.М.* Культура и взрыв. М., 1992.

проникавшего в эстетствовавшую интеллигентскую среду[1]. Участие интеллигенции в революции и Гражданской войне, поиск стратегий и ее эмоциональные реакции изучены Ю. В. Аксютиным и Н. Е. Гердт[2].

На сегодняшнем этапе развития гуманитарных исследований представляется необходимым более активно привлекать междисциплинарные методы исследования, использовать искусствоведческий подход, методы семиотического, иконографического и иконологического анализа образов. Ведь отношение художника к окружающей реальности проявляется прежде всего в его творчестве, позиции человека-гражданина и человека-художника не всегда совпадают, поэтому изучение творческой деятельности должно подразумевать более тесную работу с произведениями искусства. Не случайно Ю. М. Лотман писал, что «интеллигентский дискурс есть своего рода метаязык русской культуры, порожденный ею, гомоморфный ей и семантически от нее зависимый»[3]. Следовательно, познать художественную интеллигенцию вне контекста культуры и конкретно формирующих ее произведений нельзя.

Современные исследования, посвященные эпохе мировой войны и последующим социально-политическим коллизиям, не обходятся без анализа символов различного уровня: художественных, политических, бытовых[4]. Собственно визуальные исследования набирают в последнее время все больший вес. Так, интерес представляют работы Т. Филипповой, П. Баратова, Е. Орех, О. Бойцовой, в которых анализ конкретных визуальных документов проводится с использованием современной методологии[5]. В других работах, посвященных изобразительным источникам, к сожалению, визуальный документ часто остается не более чем иллюстрацией авторской мысли или исторического события.

Художественные образы эпохи: между патриотическим миражом и реальностью

Прежде чем обратиться к непосредственному предмету исследования настоящего раздела — визуальным образам, рассмотрим для наглядности образы поэтические. Поэзия, вероятно, является одним из самых образных жанров

---

[1] *Эткинд А. М.* Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М., 2015.

[2] *Аксютин Ю. В., Гердт Н. Е.* Русская интеллигенция и революция 1917 года: в хаосе событий и в смятении чувств. М., 2017.

[3] *Лотман Ю. М.* Интеллигенция и свобода (к анализу интеллигентского дискурса) // Русская интеллигенция и западный интеллектуализм: История и типология. М., 1999. С. 149.

[4] Более подробно см.: *Figes O. G., Kolonitskii B. I.* Interpreting the Russian Revolution: The Language and Symbols of 1917. New Haven; London: Yale University Press, 1999; *Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г.* Война, породившая революцию. М., 2015; *Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г.* 1917 год. Элиты и толпы: культурные ландшафты русской революции. М., 2017.

[5] *Филиппова Т., Баратов П.* «Враги России». Образы и риторики вражды в русской журнальной сатире Первой мировой войны. М., 2014; Гражданская война в образах визуальной пропаганды: словарь-справочник / Ред. Е. А. Орех. СПб., 2018.

вербального искусства, причем, обращаясь к описательности, наблюдению за внешним миром, она создает в воображении читателя образы зрительные, поэтому ее можно рассмотреть как своеобразное связующее звено между вербальным и визуальным мышлением. Это кажется тем более актуальным, если учесть, что один из авторов понятия «пикториального поворота» (пришедшего на смену теории постмодернизма в визуальных исследованиях) Уильям Митчелл отстаивает текстуальную природу изображения и изобразительную природу вербальных текстов. Он полагает, что граница между словом и изображением не тождественна границе между вербальным и невербальным, она подвижна и проходит внутри них[1]. Отчасти Митчелл объясняет это универсальными процессами современности, связанными со стиранием различий элитарного и массового (впрочем, последнюю тенденцию подметил еще Вальтер Беньямин в известной статье «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» в 1936 г.). «Разделение гуманитарных дисциплин на вербальные и визуальные, с очевидным преобладанием первых, рухнуло вместе с границей между высоким искусством и массовой культурой», — писал Митчелл в 1995 г.[2]

Однако поэтическое творчество имеет в рамках настоящего исследования и вполне утилитарное значение: поэт, как правило, быстрее реагирует на вызовы времени, чем живописец. Большее количество поэтических образов, посвященных войне, нежели живописных (о массовой изобразительной лубочной продукции, возможно, опередившей по количеству стихотворное творчество, речь пойдет в отдельной главе), позволяет составить первое впечатление об основных сюжетах и отношениях к ним представителей творческой интеллигенции. Кроме того, поэтические образы нередко оказывались источником образов живописных, это также оправдывает обращение в данной главе к поэтическому наследию.

Начавшаяся война сильно повлияла на мироощущение творческой интеллигенции, причем сразу в нескольких направлениях: во-первых, она потрясла людей эмоционально (кто-то из поэтов и художников вследствие этого проникся милитаризмом, кто-то, наоборот, стал отстаивать пацифистские позиции), во-вторых, она изменила рыночные отношения в области искусства, так как резко снизился спрос на довоенную тематику, вследствие чего авторам волей-неволей пришлось переключаться на новые, актуальные военные темы; в-третьих, многие представители творческих профессий оказались под угрозой мобилизации, что также было встречено ими неоднозначно (от энтузиазма и желания записаться добровольцем до попыток уклониться от воинской повинности). Как и все общество, творческая интеллигенция оказалась расколотой по отношению к войне на несколько лагерей, что не замедлило отразиться в поэзии. Доминировали, конечно же, героико-патетические стихотворения, утверждавшие

[1] Мир образов. Образы мира. Антология исследований визуальной культуры / Ред.-сост. Н.Н. Мазур. М.; СПб., 2018. С. 8, 502.
[2] *Митчелл У.* Что такое визуальная культура? // Мир образов. Образы мира… С. 504.

состояние всеобщего единения и готовности к самопожертвованию. В этом, вероятно, проявилась специфика чувственно-эмоционального отношения к действительности представителей художественной интеллигенции, при котором порывы, эмоциональные реакции на внешние события превалировали над рассудочно-логическим восприятием. Стихотворение «Война» С. Маковского начиналось со строк, воспевавших день войны как день славы и грозного суда:

Война! Пророки не солгали:
Мы не напрасно долго ждали,
Когда наступит он, когда —
День славы предопределенный,
День, кровью мира обагренный,
День грозный Божьего суда![1]

Поэт и критик Г.В. Иванов, разбирая военные стихи и осуждая многие из них за художественную невыразительность, банальность, жеманство, в то же время образцом поэтического мастерства считал, например, казенно-патриотическое стихотворение Ф. Сологуба «Гимн», восхищаясь его ритмикой, отточенными рифмами и слогом:

Да здравствует Россия,
Великая страна!
Да здравствует Россия!
Да славится она!

Племен освободитель,
Державный русский меч,
Сверкай, могучий мститель,
В пожарах грозных сеч…

Очевидно, патриотический пафос Сологуба соответствовал настроениям Г. Иванова, который сам писал следующие строчки:

Германия! Союзники твои —
Насилие, предательство, да плети!
В развалинах Лувен и Шантальи,
Горят книгохранилища столетий.

Но близок час! Уже темнеет высь
От грозного возмездья приближенья.
И слышен гром побед: то начались
Возмездие забывших пораженья.

Смятенные, исчезнут дикари,
Как после бури исчезает пена,
Но светом вечной залиты зари
Священные развалины Лувена!

---

[1] Аполлон. 1914. № 6–7. С. 5.

Вместе с тем Иванов содержанию нередко предпочитал форму, и когда в 1915 г. Ф. Сологуб издал книгу своих последних военно-патриотических стихов, критик воспринял ее отрицательно, посчитав, что балласт слабых произведений слишком велик. Иванов приводил в пример следующие строки: «То, что было блеск ума, / Облеклося тусклою рутиной, / И Германия сама / Стала колоссальною машиной», — и заключал: «Разумеется, эти вялые, пресные и не то чтобы хорошего вкуса стихи Ф. Сологуб мог написать под влиянием патриотических или других каких нибудь сторонних соображений. Но включать их в книгу (вернее, заполнять книгу такими стихами) — не следовало, хотя бы в целях охраны вкусов среднего читателя»[1]. Показательно, что патриотические настроения для Иванова хоть и выступают некоторым оправданием написания отдельных плохих стихов, но являются недостаточным поводом для издания сборника. Таким образом, поэты пытались сохранить некоторый водораздел между поэзией на злобу дня и «чистым» искусством.

Серией патриотическо-пафосных виршей откликнулся на войну Игорь Северянин, например, в стихотворении «Все вперед!»:

Кто рушит Германию, скорее на станцию! —
Там поезд за поездом стремится вперед.
Да здравствует Сербия! Да здравствует Франция!
И сердце Славянии — наш хлебный народ!

Впрочем, у Северянина просматриваются и наивно-гуманистические мотивы, поэт не только призывает идти и бить врага, но обращается ко всем воюющим солдатам с призывом стать человечнее:

Начальники и рядовые,
Вы, проливающие кровь,
Да потревожат вас впервые
Всеоправданье и любовь!
О, если бы в душе солдата, —
Но каждого, на навсегда, —
Сияла благостно и свято
Всечеловечности звезда!..

Конечно, патриотическим угаром тема начавшейся войны не исчерпывалась. Многие поэты смогли противопоставить массовой патриотической пропаганде собственную наблюдательность и, обратившись к теме «маленького человека», отразить тему горя застигнутого войной врасплох обывателя. На гуманистическую составляющую мобилизации обратил внимание М. Кузмин в стихотворении «Ушедшие»:

Старые лица серьезны,
Без крика плачет жена,

[1] *Иванов Г. В.* О новых стихах // Аполлон. 1915. № 3. С. 51.

На отроках девственно-грозно
Пылает печать: «война»…[1]

При этом самого Кузмина война тяготила с самого своего начала. В дневнике литератор фиксировал бытовые и творческие моменты жизни, как бы нехотя отвлекаясь на мировые темы. Не чувствуя в войне источника вдохновения, Кузмин уже 4 августа 1914 г. поспешил выдать желаемое за действительное: «Война рассасывается и публика охладевает к ней»[2]. Возможно, в его окружении так и было. Сам Кузмин впервые констатировал начало войны еще 18 июля, когда была объявлена мобилизация («Война. Сколько будет убитых. Жизнь единственно невозвратная вещь»[3]), и до 1 августа еще пять раз написал о ней. Как уже отмечалось, всего за 18 июля — 31 декабря 1914 г. он сделал 160 записей в своем дневнике, но прямо и косвенно о войне упомянул лишь в девяти из них.

Поэт-сатирик Валентин Горянский в стихотворении «Запасные» выразил аналогичные чувства от мобилизации, взглянув на нее глазами тех, кто навсегда провожал своих родных и близких, оставаясь в осиротевших домах и деревнях:

Сеялась нудная мгла,
Шли серединой дороги,
Черная грязь оплыла
В лапти обутые ноги…

В зареве красном погас
День, не дождавшись заката,
Бабы голосили враз,
С плачем бежали ребята.

Дед вдоль завалины полз…
В бороду, сбитую паклей,
Прятал непрошеных слез
Едкую каплю за каплей…

А. Ахматова отозвалась на начало войны стихотворением «Июль 1914», в котором от темы вдовьего плача переходила к описанию эсхатологических картин:

Стало солнце немилостью Божьей,
Дождик с Пасхи полей не кропил.
Приходил одноногий прохожий
И один на дворе говорил:

«Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил.

1 Аполлон. 1914. № 6–7. С. 7.

2 *Кузмин М.* Дневник 1908–1915 / Предисл., подгот. текста и коммент. Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина. СПб., 2009. С. 468.

3 Там же. С. 466.

Ждите глада, и труса, и мора,
И затменья небесных светил»…[1]

В этих строчках поэтесса точно подметила характерную особенность периода мировой войны — распространение странниками предсказаний о грядущем Апокалипсисе. Другое стихотворение «Утешение» было написано, по всей видимости, под впечатлением ухода на войну добровольцем Н. С. Гумилева. Тут уже в роли потенциальной вдовы оказывалась сама Ахматова: «Вестей от него не получишь больше, / Не услышишь ты про него. / В объятой пожарами, скорбной Польше / Не найдешь могилы его. / Пусть дух твой станет тих и покоен, / Уже не будет потерь: / Он Божьего воинства новый воин, / О нем не грусти теперь»[2]. Сам же Гумилев, сохраняя верность принципам акмеизма, видел в войне романтическое приключение:

И залитые кровью недели
Ослепительны и легки.
Надо мною рвутся шрапнели,
Птиц быстрей взлетают клинки.
Я кричу, и мой голос дикий,
Это медь ударяет в медь.
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.
Словно молоты громовые
Или воды гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.
И так сладко рядить Победу,
Словно девушку в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.

Игорь Северянин занял весьма «удобную» позицию: он осуждал милитаристский дух, для которого война оказывалась «забавой, игрой, затеей шалуна», обращая внимание на ее кровавую, разрушительную природу, но вместе с тем адресовал свои обличительные вирши исключительно немцам, хотя первые строчки стихотворения вполне можно отнести и на счет Н. С. Гумилева:

Война им кажется забавой,
Игрой, затеей шалуна.
А в небе бомбою кровавой
Летящая творит луна
Солдата липою корявой
И медью — злато галуна.
…

[1] Аполлон. 1914. № 6–7. С. 9.
[2] Там же. С. 10.

Что ж, забавляйтесь! Льет отраду
Во всей Вселенной уголки
Благая весть: круша преграду,
Идут, ловя врага в силки,
К Берлину, к Вене и к Царьграду
Благочестивые полки!

З. Гиппиус иронизировала над Игорем Северяниным, который чуть не был призван в армию, отправлен в казарму, но многочисленные поклонницы модного поэта бросились во все инстанции, канцелярии и освободили своего кумира. Поэт вернулся к привычному богемному образу жизни, однако по-прежнему продолжал воспевать войну и мобилизацию, которой ему чудом удалось избежать. При этом, несмотря на общий воинственный тон стихов, он оправдывал свое уклонение от воинского долга, осторожно проводя мысль о том, что служители муз в окопах лишь будут мешать солдатам сражаться, зато, когда армия врага будет окончательно разбита, поэт согласится повести в поверженную столицу армию-победительницу:

Неразлучаемые с Музою
Ни под водою, ни в огне,
Боюсь, что будем лишь обузою
Своим же братьям на войне…

— Друзья! Но если в день убийственный
Падет последний исполин,
Тогда ваш нежный, ваш единственный,
Я поведу вас на Берлин!

На фронте над Северянином смеялись, чувствуя его фальшь. И. Зырянов вспоминал эти северянинские строчки, называя его «кумиром дегенеративных психопаток и скучающих барышень»: «И кто бы мог подумать, что этот худосочный неврастеничный юноша с лошадиным лицом, с идеальным пробором на голове обладает таким воинственным характером и метит в Наполеоны?! Воистину уж „война родит героев“»[1]. Молодой военный врач Ф. Краузе писал своей невесте о военных буднях: «Вечером по просьбе Барченкова я принес к ужину Игоря Северянина. Барченков громко и с выражением читал его стихи, а мы покатывались. Впрочем, есть у него и отдельные красивые, неподдельно искренние стихотворения»[2]. Впоследствии Краузе «без сожаления» отдал северянинский сборник стихов.

Молодые художники-авангардисты также подшучивали над поэтом. Михаил Ле-Дантю написал шаржированную картину «Поход на Берлин Игоря Северянина, вождя эгофутуристов», на которой были изображены члены Союза

[1] *Арамилев В. В.* В дыму войны… С. 151–152.

[2] *Краузе Ф. О.* Письма с Первой мировой… С. 282.

молодежи и поэты-эгофутуристы. Тем самым война, являвшаяся для одних сакральной категорией, для других представлялась поводом для «карнавала».

Впрочем, записывать Северянина в милитаристы или Наполеоны было бы неверно. При всей внешней браваде и стремлении к эпатажу поэт ощущал безумие эпохи и создал в одном из стихотворений 1914 г. образ сошедшей с ума планеты, причем вплел его в контекст эсхатологических предчувствий, тем самым весьма точно запечатлев настроения определенных кругов общества:

На днях Земля сошла с ума
И, точно девка площадная,
Скандалит, бьет людей, в дома
Врывается, сама не зная —
Зачем ей эта кутерьма.
Плюет из пушек на поля
И парится в кровавых банях.
Чудовищную чушь меля,
Извиртуозничалась в брани
Умалишенная Земля.
Попробуйте спросить ее:
«В твоей болезни кто в ответе?»
Она завоет: «Сети — в лете!
Лишил невинности мое
Святое тело Маринетти!..
Антихрист! Антихрист! Маклак!
Модернизированный Иуда!
Я немогу… Мне худо! Худо!»
Вдруг завопит и, сжав кулак,
От себя бросится, — отсюда.
Она безумна — это факт…

Северянинский образ сошедшей с ума Земли перекликается с метафорой «красного смеха» Л. Андреева: «Это красный смех. Когда земля сходит с ума, она начинает так смеяться. Ты ведь знаешь, земля сошла с ума. На ней нет ни цветов, ни песен, она стала круглая, гладкая и красная, как голова, с которой содрали кожу»[1].

Стоит заметить, что в некоторых случаях обращение поэтов к военной тематике являлось вынужденным шагом. Как было отмечено, начавшаяся война переформатировала издательский рынок, значительно понизив спрос на «мирные» темы; на актуальные военные сюжеты спрос, наоборот, вырос. Это заставило многих авторов обратиться к ранее чуждым для себя темам, заняться халтурой ради сохранения средств к существованию. Чуковский вспоминал, как 24 сентября 1914 г. к издателю З. Гржебину пришла голодная и исхудавшая поэтесса М. Моравская, специализировавшаяся на стихах для детей («Жили-были

---

[1] *Андреев Л.* Красный смех… С. 62.

два жука / Два жука / Жизнь была у них легка: / Пляшут, взявшись за бока / Полевого трепака, / Дразнят ос и паука»), узнать, не согласится ли тот опубликовать ее стихи, так как прежним издателям ее жуки да моржики оказались более не нужны. Гржебин ответил, что готов ей немедленно выплатить гонорар в три рубля, если она тут же напишет стихотворение на военную тему, что Моравская и сделала:

Быть может, это будет последняя война.
Все горе мировое высушит до дна,
И порешит вражду, и разрешит все узы,
Всю землю примирит, весь мир обезоружит,
Всю злобу мировую выправит до дна
Большая, мировая, последняя война[1].

Отметим, что, несмотря на наивность, доставшуюся, вероятно, по наследству от детской поэзии, стихотворение отличается некоторой долей искренности. Сам Чуковский оценил эти строки как «по-дамски жеманные», заметив спустя много лет, что читать их без улыбки теперь невозможно, однако в 1914 г. Гржебин остался ими доволен. Вместе с тем Г. Иванов в «Аполлоне» скептически оценивал женскую «военную» поэзию в целом, делая исключения лишь для А. Ахматовой и З. Гиппиус, но на примере М. Моравской отмечая «сентиментальный тон, жеманно невыразительный язык и развинченный стих» женской поэзии. Комментируя строчки Моравской («Неустанно мне снится война, / Хотя далеки сраженья. / Часовых бесшумные тени / Проходят мимо окна… / И на горном шоссе, у маслины, / На повороте пустынном, / Я вижу с крыши низкой — / Умирает кто-то близкий…»), Иванов вопрошал: «Кому нужны эти „всхлипывания“ — неизвестно. На наш вкус это не трогательно и не жалостливо, а просто скучно»[2]. В другой статье Иванов вынес еще более строгий вердикт Моравской: «Неврастенический стих сочетается здесь с бессодержательностью»[3]. При этом критик благосклоннее характеризовал серию стихов Л. Столицы «Песни девицы-доброволицы» по их тону и общему подходу к теме:

Стаи дикие лебяжие
С кликом по небу летят.
Силы яростные вражие
Уж уходят на закат.

И звучат уж, их преследуя,
Чую! Наши стремена…
И алеются победою,
Знаю! Наши знамена…

---

[1] Чукоккала… С. 86.
[2] *Иванов Г. В.* Военные стихи // Аполлон. 1915. № 1. С. 58.
[3] *Иванов Г. В.* О новых стихах // Аполлон. 1915. № 3. С. 53.

Только я между убитыми,
В сердце — смерть, не страх! не страх!
И кидается копытами
На меня могильный прах.

Не звенит уж серебрёная
Шпора с маленькой ноги,
Сабля выпала дарёная
Прочь из тоненькой руки…

Поэты, как правило, обращались к смерти, описывая героические баталии. Намного реже рождались стихи, в которых акцент с войны смещался на трансформацию повседневности, смерть героя представала через образовавшуюся пустоту после его ухода. В этом случае маленькая трагедия в связи с гибелью очередного солдата, кусочка пушечного мяса, превращается в большое горе множества связанных с этим человеком людей или даже вещей. Возможно, одним из самых тонких стихотворений этого направления стало произведение В. Горянского «Липа», написанное в 1915 г.:

Липа на огороде росла у Яна,
К тыну прижавшись горбатым боком.
Каждую весну цвела медвяно,
Пчел оделяя душистым соком…

Каждую весну торопились птицы
От берега до берега океан измерить,
Липе рассказать красивые небылицы,
А та и не знала — верить или не верить?

Развешивала низко зеленые лапы,
Тайное на себя принимала обличье,
Чтоб дети-баловники, когда идут из школы,
Не заприметили в ветвях гнезда птичьи…

У листьев — шорохи, у сучьев — скрипы,
У цветов — ароматы медово-пьяны,
Было и лыко для Яна у липы,
Были и лапти к зиме у Яна…

Но только однажды со свинцовым градом
Налетели тучи; сверкая ало,
Липу ударило стальным снарядом,
И была липа — и как не бывало…

Ветер не играет еще зелеными волосами,
Ни шороха не слышно, ни протяжного скрипа,
Ну, люди — так люди разберутся сами,
А причем дерево? А причем липа?..

Осень прошла, слезы капели
Застыли в хрустальные острые веретенца,
Зима миновала, и льдинки запели
О большом счастье умереть от солнца…

Вылетели пчелы за липовым цветом,
Ветры весенние свежи и знобки,
Липа, разбитая прошлым летом,
Щепьем лежала поперек тропки…

По старой памяти прилетели птицы
Липу поздравить с Новым годом, —
Да так и не нашли, где и приютиться,
И долго в тревоге кружили над огородом…

И только Ян не пришел за лыком —
За лыком для лаптей по весенним росам,
Потому что Яну перед Судьей Великим
Можно было предстать и босым…

Ажиотаж издателей вокруг военной темы продолжался до первых месяцев 1915 г., когда количество стихов батального жанра резко пошло на спад. Г. Иванов, патронировавший эту тему в «Аполлоне», писал: «Стремление печатать только „военные" стихи и никаких больше — наконец благоразумно оставлено нашими журналами. Это новшество прежде всего благотворно отразилось на качестве именно военной поэзии. Прекратившийся усиленный спрос на „боевую" макулатуру — естественно сократил ее производство, и печать серьезного отношения к темам военной поэзии и разработке их лежит на большинстве произведений, появившихся за последние два-три месяца. Молодечество дурного тона, изложение политических программ в плохо срифмованных строфах, изображение „немецких зверств" — стали достоянием уличных листков»[1].

Обобщая поэтическое наследие войны, можно отметить амбивалентность созданных образов, демонстрировавших психологический раскол художественной интеллигенции, пестроту взглядов. Среди наиболее часто встречавшихся образов, отличавшихся дуализмом, следует назвать образ войны (как высшего суда, последнего боя добра и зла перед Апокалипсисом или как человеческого безумия, трагической ошибки, допущенной самими людьми), смерти (жертвенной, геройской или тихой, незаметной), боя (как творческого экстаза и пути в рай или как грязи, ада на земле), врага (как правило, дегуманизированный образ варвара-немца, разрушающего культурные ценности, крайне редко — образ человека, против своей воли оказавшегося на войне). В большинстве стихов романтический, лирический герой отступает на второй план.

---

[1] *Иванов Г. В.* Военные стихи // Аполлон. 1915. № 4–5. С. 82.

Исключение составляла поэзия Н.С. Гумилева, сохранившего романтические представления о войне.

Вынужденное обращение к военно-патриотической тематике в конце концов заставляло молодых поэтов поддаться ее пафосу и проникнуться милитаристскими настроениями. На этой почве в художественной среде происходили конфликты, иногда выливавшиеся в творческие дискуссии. Интересным источником по настроениям творческой интеллигенции выступает рукописный альманах «Чукоккала», придуманный К.И. Чуковским. Гости писателя, посещавшие его дачу в финском местечке Куоккала, оставляли в альманахе свои замечания, четверостишия, рисунки на злободневные и бытовые темы, нередко подтрунивая друг над другом. Чуковский вспоминал, что Л. Андреев искренне проникся боевым духом и очень переживал по поводу того, что не может пойти на войну из-за болезни сердца. Поэтому он «отыгрывался» на бумаге, сочиняя патриотические тексты и в то же время критикуя многочисленных дельцов, пытавшихся нагреть руки на модном направлении: «Сейчас только на одном великом театре идет великая трагедия — это война; но посмотрите, с какой тоской и отвращением принимаются ее страшные трагические формы и суть, с какой поспешностью тысячи маленьких театриков стараются заглушить ее синайский голос писком Петрушки, с какой яростью растревоженных кур ее дикой мощи и грозным призывам противопоставляют свои драмы и комедийки. Ибо что это значит: услышать голос войны? Это пойти на исповедь и покаяние, переоценить себя, жену, детей и дом, перестроить жизнь, поднять душу и напоить ее крестными страданиями уста, ожечь желчью. Услышать войну — это услышать самого разгневанного бога — нет, пусть лучше кричит Петрушка-Балиев и тихий, как туфля, Тургенев рассказывает про подобие драмы и подобие любви у индеек!» — писал Андреев в августе 1915 г. Прочитав в «Чукоккале» патриотические строки Л. Андреева и А.Н. Толстого, художник И. Бродский не выдержал и вступил с патриотами-от-искусства в заочную полемику, нарисовав на странице альманаха обобщенный портрет беженки под названием «Жертва патриотизма», создававший образ уставшей и состарившейся от обрушившихся невзгод женщины, предположительно еврейки (ил. 19)[1]. Следует заметить, что хотя тема беженства не была популярна среди художников-патриотов, время от времени они вынужденно обращались к ней. Так, например, портрет беженки написал художник С.Т. Шелковой. Зрителю сразу бросалась главная особенность «патриотического жанра» — на него смотрела, улыбаясь, молодая, пышущая здоровьем крестьянская девушка, как будто с работ Ф. Малявина[2].

Обращение к теме беженства, весьма непопулярной внутри патриотического дискурса, особенно когда речь заходила о депортированных военными

[1] Чукоккала… С. 158–161.

[2] ЦГА КФФД СПб. Д. 19269.



Ил. 19. И.И. Бродский. Жертва патриотизма // Чуккокала. 1915. С. 158–161

властями евреях, было скорее исключением в творчестве поэтов и художников. Один из редких образов беженца-еврея был создан М. Шагалом в рисунке под названием «Война». Война оказалась стариком с котомкой, стоящим в тени пустого, темного помещения, за стенами которого солдаты прощались с близкими и уходили на фронт. Мало кто осмеливался взглянуть на войну так, как Шагал, — глазами не воина-героя, а безликого старика-беженца. Работа отличалась не только содержанием, но и формой: смелое противопоставление пятен света и тени, первого и заднего планов, утрированный, условный рисунок главного персонажа, а также рама окна, черным крестом ложившаяся на спину старика, создавали сильный и запоминающийся образ. При этом Шагал сохранил верность своей главной теме: за спиной центрального персонажа он изобразил фигурки прощающихся любовников.

Другой непопулярной в патриотическом дискурсе темой Шагала стали раненые солдаты. Портрет старшего унтер-офицера с перевязанной головой, сильно склоненной набок, с закрытым глазом, создавал образ безумца-калеки. Тема психических расстройств была актуальна для этого времени, как уже было показано, война способствовала распространению психических болезней как на фронте, так и в тылу. Вместе с тем описание ужасов войны мало соответствовало эстетическим исканиям художника, для которого война не стала источником вдохновения и материалом для создания новых, оригинальных образов. Шагал скорее стремился уйти от военной темы, обращаясь к поэтизации мирных будней и маленьких бытовых человеческих радостей. На период войны пришелся важный этап личной жизни — Шагал женится на Белле Розенфельд, ставшей его главной музой. Поэтому, когда возникает угроза быть призванным на войну, Шагал поступает на службу в Военно-промышленный комитет в Петрограде и избегает мобилизации. Во время войны была создана одна из самых лиричных и поэтичных картин мастера — «Над городом» (1914–1918), изображавшая любовников, поднявшихся над городом с его бытовыми заботами (и войной). В эти же годы появляется серия «любовников» — голубые,

зеленые, серые, розовые, — в которых мастер изображает себя и Беллу. В этих картинах едва ли можно усмотреть хоть какой-то намек на бушевавшую Великую войну.

В производстве работ на военную тематику высокое искусство ожидаемо уступило массовому. Многие художники, как и поэты, поддались всеобщей патриотической эйфории и начали плодить на злобу дня поспешные, халтурные произведения, изобразительные штампы. Одним из центральных вопросов общественных дискуссий этого периода был вопрос «молчат ли музы, когда говорят пушки?» Большинство отвечало на него отрицательно, хотя и признавало повысившуюся моральную ответственность представителей искусства перед обществом. В журнале «Аполлон» рецензент иронизировал над брошюрой художника-единомышленника П. Филонова по «аналитическому искусству» Е. Псковитинова «Искусство и война — что делать современному художнику?», отмечая, что в книге больше вопросов, чем ответов, и множество противоречивых суждений[1]. Псковитинов, рассуждая о зависимом от меценатов и государства положении представителей искусства, обращал внимание, что в связи с войной положение молодых художников стало еще хуже, так как у общества пропал интерес к искусству, а сами художники отвлеклись от творчества: «Когда на полях сражений льется кровь, до искусства ли?.. Картин никому не нужно. Да и сами художники вряд-ли могут спокойно работать в столь тяжелое время»[2]. При этом автор высказывал надежду, что с окончанием войны интерес к искусству восстановится, и вместе с тем утверждал, что в войне есть своя красота, которую художникам нужно стремиться запечатлеть: «Я утверждаю, что война не только ужасна, но и красива… Красива смерть за идею. Да разве не красиво зрелище мчащихся в атаку кавалеристов? Ужасно красиво. Красота тут особенная. Красота — стихии. Имена художников-изобразителей современной величайшей борьбы народов будут вписаны в историю. Их картины будут долго нас волновать. Вывод — для группы художников война — неоценимый материал для творчества, имеющего помимо своего самодовлеющего значения общечеловеческое значение»[3].

При этом некоторые деятели искусства полагали, что война в действительности не умалила художественную жизнь страны, а, наоборот, в связи с необходимостью организации благотворительных мероприятий вызвала ряд новых явлений. Например, в 1914 г. в залах Общества поощрения художеств прошла тепло встреченная критиками выставка «Искусство союзных народов», на которой экспонировалась старинная европейская живопись. Прошла в Петрограде выставка «Война и печать», на которой демонстрировались рисунки на военную тематику, а также печатная продукция в виде лубков

[1] Чукоккала… С. 65.
[2] *Псковитинов Е.К.* Искусство и война. Что делать современному художнику? Пг., 1914. С. 12, 13.
[3] Там же. С. 14.

и открыток. Современники, правда, отметили низкую художественную ценность этих произведений[1].

С июля 1914-го по апрель 1915 г. в Петрограде прошло двенадцать художественных аукционов — явления, вызванного исключительно войной. Вырученные средства шли «на нужды войны», в пользу военных лазаретов, поступали русским художникам, застигнутым войной за границей и находившимся в бедственном положении, и т. д. Общая выручка художественных аукционов достигла 60 000 рублей. Учитывая популярность и прибыльность аукционов, Общество поощрения художеств решило отдать свой малый зал исключительно под аукционы, пожертвовав выставками. Однако современники обращали внимание на оборотную сторону этого: в отличие от выставок, организовывавшихся известными художественными объединениями, профессиональными художниками и искусствоведами, организаторы аукционов оказывались зачастую случайными людьми в мире искусства, в результате чего на аукционах вместе с подлинными шедеврами соседствовали откровенно слабые, пошлые работы, что извращало вкусы непритязательной публики и создавало некий когнитивный диссонанс в умах компетентных зрителей.

Война также подняла спрос на русское искусство среди союзников по Антанте, что быстро почувствовали предприниматели от искусства. При этом английских коллекционеров интересовали отнюдь не картины на злободневные темы войны, которых хватало в самой Европе, а живопись, отражавшая культурно-национальные особенности России. Большой популярностью пользовались работы Б. М. Кустодиева — в первую очередь его купчихи[2].

В 1915 г. ситуация в художественном мире не изменилась. Критик Всеволод Дмитриев охарактеризовал 1915 г. для изобразительного искусства как «время творческого бесплодия», полагая, что во время войны, когда запрос общества на искусство снизился, художникам нужно с особенным усердием предаться согласованной, напряженной работе, а не демонстрировать разобщенность и противоречия[3]. Искусствовед Николай Радлов описал организованную Академией художеств весеннюю 1915 г. выставку живописных работ, иронично отметив, что Академия решила вдвое сократить число выставляемых произведений, в результате чего количество плохих работ сократилось: «вместо обычных 500–600 никуда не годных холстов на ней всего 200–300, хотя и таких же не годных»[4]. Он заметил, что новой чертой выставки стала эксплуатация военной тематики: «Новинку сезона составляют только картины, намекающие на современные события. Одна из них, удачно названная „Тревожным моментом", изображает „пикантное ню", причем созерцателем сего

[1] Аполлон. 1914. № 9. С. 62.

[2] *Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г.* Война, породившая революцию… С. 97.

[3] *Дмитриев Вс.* Противоречия «Мира искусства» // Аполлон. 1915. № 10. С. 11.

[4] Аполлон. 1915. № 2. С. 60.

является бесчеловечно изуродованный художником немецкий солдат, другая — „Пленные турки“ — свидетельствует о жестокости художника не только по отношению к врагам, но и к русским солдатам; на третьей — с мастерством, достойным сотрудника „Петроградского листка“, представлено горе матери при виде жестокости ребенка, истязающего своего родного отца; удрученная этой сценой сестра милосердия выразительно показывает свою непричастность к делу… Подобных произведений на выставке немало. Мы давно привыкли к спекуляции художников на дурном вкусе г.г. премирующих и покупающих, но игра на патриотизме — явление новое и, надо сознаться, уже вконец отталкивающее»[1]. При этом запрос на военную тематику в искусстве сохранялся, но современники ждали, когда же она выльется в значительные с художественной точки зрения произведения. В начале 1915 г. Н. Радлов не без некоторой доли наивности рассуждал об оторванности искусства от жизни, сокрушаясь, что на злобу дня производится много суррогатной продукции, в то время как «настоящее» искусство молчит: «Мы ждем от искусства нового слова, потому что мы хотим верить в то, что оторванность его от жизни была случайной, и утерянная связь возобновится. А когда же и случиться этому, как не теперь, в минуту такого высокого напряжения жизни? Я говорю — „искусство“, но разве оно есть у нас? Разве у нас есть большое, цельное художественное дело, которое могло бы определенно, стихийно вступить на новый путь? Конечно, нет: — у нас есть „течения“ и „направления“… Будущее искусство должно быть в состоянии отражать современную жизнь… мы привыкли видеть, как современные темы питают суррогат искусства, вся ценность которого именно в его злободневности, и боимся запачкать сближением с ним настоящее высокое художество. А разве это не трусость, не явное сомнение в своих силах? Великие события — испытания искусству. Великая современность требует художников, и не принявшие вызова сознаются в своей слабости»[2].

Вероятно, отвлекала талантливых художников от темы войны угроза быть мобилизованными. Если в первые месяцы войны некоторые художники добровольцами уходили на фронт, то в 1916 г. мода на военно-патриотическое поведение спала. В первые дни войны собирались идти добровольцами на фронт В. Маяковский и В. Хлебников, но в это время неблагонадежных пока еще не брали. Впоследствии они были призваны на военную службу, но к тому времени их отношение к войне уже изменилось на противоположное. Многие обращались к более именитым собратьям по цеху с просьбами о протекции. По военным бегали А.Н. Бенуа, Н.К. Рерих, выпрашивая отсрочки для своих протеже. Так, например, в октябре 1916 г. в панике от предстоявшего призыва

---

[1] Аполлон. 1915. № 2. С. 60.
[2] *Радлов Н.Э.* Будущая школа живописи // Аполлон. 1915. № 1. С. 14–15.

пребывал И. Грабарь[1]. Боялся призыва З. Гржебин. И. Билибина Н.К. Рерих заблаговременно зачислил «в какую-то квазипричастную к войне организацию при мастерских школы Общества поощрения художеств»[2]. Первоначально патриотично настроенный К.С. Петров-Водкин растерял весь свой боевой пыл, когда был призван на военную службу. Он жаловался, что военные власти не пожелали считаться с тем, что он «знаменитый художник». Тем не менее он был определен в военные учреждения Петрограда и мотался из одного в другое: «Естественно, вследствие этого полная перемена во взглядах на войну. Куда пропало его боевое настроение? Его геройство? Даже не пытается скрыть своего ужаса перед тем, что его могут послать на фронт. Самые пацифистские речи!» — иронизировал по адресу Петрова-Водкина изначально не принявший войну А.Н. Бенуа[3]. Был призван в армию Н.К. Калмаков, однако по ходатайству М.В. Добужинского его зачислили в Историческую комиссию Красного Креста[4].

Для тех художников, кому не удавалось избежать призыва, уход на фронт становился вынужденным перерывом в занятиях живописью. В зависимости от тяжести полевых условий жизни они в той или иной степени могли рисовать или писать этюды. В 1916 г. был призван в армию, но отправлен на относительно безопасный румынский фронт П. Филонов, где ему удавалось, пусть и не в прежнем темпе, заниматься любимым делом. Сам он лаконично написал об этом времени в автобиографии: «С осени [19]14 до отправки на Германский фронт сделаны: „Ломовые“, „Рабочие“, „Крестьяне“, „Купеческая семья“, ряд натуралистических и абстрактных работ без названия, два портрета сестер, цветы, Формула мирового расцвета, Война, Нищие (кому нечего терять) в нескольких вариантах, Разрез воды; чисто биологическая картина „девочки“ как ряд процессов, происходящих в человеке и в сфере вокруг его и ряд эманаций из человека в сферу и др. В [19]16 г. осенью был отправлен на фронт как ратник ополчения II разряда, сначала в Ревель и Гапсаль, затем через Богоявленск, Николаев и Одессу на Румынский фронт в устьях Дуная г. Сулин. В Посаде Богоявленска... сделал на стене клеевою краской картину „Десант“ квадратурою саженей 6. На Дунае возле Тульчина сделано 4 работы акварелью — „Офицеры“, „Рыбак-липованин“ и „Солдат“, и „Разведчики“»[5].

Художникам, увлекавшимся сюжетами на злобу дня, порой отказывало чувство меры. В лучшем случае они выдавали сложные, многофигурные композиции-иллюстрации газетных сообщений о тех или иных подвигах русских

---

[1] *Бенуа А.Н.* Мой дневник... С. 20.

[2] Там же. С. 32.

[3] Там же. С. 59.

[4] *Боулт Дж. Э., Балыбина Ю.В.* Николай Калмаков и лабиринт декадентства, 1873–1955. М., 2008. С. 225.

[5] *Правоверова Л.Л.* Павел Филонов: реальность и мифы. М., 2008. С. 41–42.



Ил. 20. И.А. Владимиров. Военное столкновение. 1915 (?)

войск. Патриотично настроенный художник И. Владимиров, ничтоже сумняшеся, рисовал лубочные открытки и затем дублировал некоторые из них в масляной живописи. Так, например, многократно воспроизведен был сюжет захвата казаками немецких автомобилей, другая картина иллюстрировала атаку русских солдат на немецкий артиллерийский обоз. Случалось и обратное: лубочные рисовальщики копировали простенькие композиции художников батального жанра. Например, была перерисована и выпущена в виде открыток картина Владимирова «Попался немецкий летун», изображавшая захват казаками германского аэроплана. Как правило, в подобных работах художники избегали детальной прорисовки лиц, характеров своих персонажей, акцент делался на технических деталях. Общие композиционные построения также не отличались оригинальностью, в основном в качестве композиционной схемы использовались для простоты уже известные находки других художников. Так, композиция владимировского «Военного столкновения» повторяет суриковскую «Боярыню Морозову» (ил. 20). С художественной точки зрения подобные штампы не представляли особой ценности; заполняя собой художественные выставки, воспринимались как навязчивая пропаганда и вызывали раздражение зрителей, в том числе и к самой теме войны. В 1915 г. в Обществе поощрения художеств в Петрограде прошла выставка батальных картин И.А. Владимирова. Посетивший ее корреспондент «Огонька» благосклонно отозвался о произведениях художника, но в заключение отметил, что «как иллюстратор, он стоит гораздо выше живописца»[1].

Художники не жалели красок на бравые портреты генералов. Самым распространенным персонажем являлся главнокомандующий великий князь Николай Николаевич. Помимо его статуса и популярности в некоторых кругах общества, в глазах художника генералу добавляла привлекательности его внешность: высокий рост и статная фигура, худощавое лицо с орлиным носом,

[1] Огонек. 1915. № 37. Без пагинации.

Ил. 21. Н.К. Самокиш. Портрет великого князя Николая Николаевича © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург; Портрет вел. кн. Николая Николаевича. Лубок типолитографии «Е. Коновалова и К»; П. Бурский. Портрет вел. кн. Николая Николаевича // Великая война в образах и картинах. Вып. V. М., 1915

седина аккуратно подстриженной бородки. Тем не менее оригинальный художественный образ главнокомандующего так и не появился. Художники, писавшие портреты Николая Николаевича, не пошли дальше известных штампов, самым распространенным из которых стал конный портрет великого князя (впрочем, следует заметить, что российским августейшим особам «не везло» на визуальные образы, разве что Николай II мог похвастаться портретом кисти В.А. Серова, который он «хранил» на антресолях в одном из кабинетов Зимнего дворца). Один из самых известных портретов главнокомандующего был выполнен Н.К. Самокишем — действительным членом Императорской академии художеств, одним из ведущих художников-баталистов академии. Освещенный солнцем генерал был изображен на фоне неестественно синего неба. Противопоставление теплых и холодных цветов, подчеркнутое противопоставлением темных и светлых оттенков, скорее напоминало ученическую работу на заданную тему, чем живопись мэтра. К тому же художник перемудрил с правой рукой, сделав ее визуально длиннее левой. Не лучше оказался аналогичный портрет главнокомандующего кисти П. Бурского. Складывалось впечатление, что художников не очень вдохновляла персона портретируемого, их работы были данью моде военного времени. Даже лубочная картинка, выпущенная типолитографией торгового дома «Е. Коновалова и К», изображавшая главнокомандующего с вырастающим из его головы двуглавым орлом, казалась оригинальнее и эмоциональнее, чем работы известных художников-академистов (ил. 21).

В 1915 г. начался выпуск периодического издания «Великая война в образах и картинах», призванного не только вербально в кратких статьях передать читателям историю и ход боевых действий, но и выстроить визуальную картину войны. Основной акцент делался на документальной фотографии,



Ил. 22. Н.К. Самокиш. Встреча с германским разъездом // Великая война в образах и картинах. Вып. IV. М., 1915. С. 157

однако выпуски были также снабжены графическими черно-белыми и цветными иллюстрациями. В них были опубликованы рисунки, графика, акварели П. Бурского, И. Владимирова, Н. Самокиша, С. Корсакова, Г. Ридигера, Г.К. Лукомского, В.В. Мазуровского, Н. Кравченко, К. Маковского, Е. Лансере, М. Добужинского, Н.К. Рериха и др.

Большинство иллюстраций представляло собой рисунки-наброски или акварели-этюды батальных сцен. Среди последних доминировали иллюстрации Н.К. Самокиша, который с высочайшего соизволения сформировал в 1915 г. «военно-художественный отряд» из своих учеников батальной мастерской (Р.Р. Френц, П.И. Котов, П.В. Митурич, П.Д. Покаржевский, К.Д. Трофименко) и отправился с ними на фронт, где было сделано около четырехсот рисунков. Н. Самокиш, принадлежавший к реалистической школе, не ставил перед собой каких-то особенных художественных задач, стараясь максимально точно, фотографически передать подсмотренные или представленные сцены. Иногда это у него получалось. Особенно удавались Самокишу графические работы, отличавшиеся лаконизмом и чистотой линий. Эти работы публиковались, в частности, в журнале «Нива». Акварели, напечатанные в «Великой войне», едва ли можно признать особо удачными (ил. 22).



Ил. 23. Г. Ридигер. Переправа казачьего отряда // Великая война в образах и картинах. Вып. VI. М., 1915. С. 263

Некоторые иллюстрации «Великой войны» отличались не только банальностью сюжета и композиционной лубочностью, но имели также технические огрехи в рисунке. Так, в работе Г. Ридигера «Переправа казачьего отряда» обращают на себя внимание ошибки в изображении казаков: пропорции их тел соответствуют детям, но не взрослым людям, а прием светотональной перспективы, выраженный в затухающей линии уходящих в сторону горизонта казаков, противоречит отсутствующей воздушной перспективе в изображении основных планов. Кроме того, персонажи рисунка произвольно, как им вздумается, отбрасывают тени (ил. 23).

На фоне большинства батальных иллюстраций две работы Е. Лансере и М. Добужинского выделялись особой пластичностью рисунка, оригинальными композиционными решениями. Акварель Лансере «Пластуны, роющие окопы» покоряла зрителей красиво бегущей линией людей от первого плана к дальнему (ил. 24). При этом сами солдаты изображались предельно-упрощенно, орнаментально, отчетливыми темными пятнами на фоне белого снега, а падающие при этом снежинки создавали новый орнаментальный слой уже на темном фоне самих людей. Ритмически с линией пластунов взаимодействовала линия вставленных в снег ружей. Собственно, ничего другого и не следовало ожидать от художника, стоявшего у истоков «Мира искусства», для которого приемы стилизации, внимание к эстетической составляющей были превыше всего.

Вероятно, одной из лучших акварелей русских художников на тему Великой войны можно признать работу М. Добужинского «Пленные австрийцы



Ил. 24. Е. Е. Лансере. Пластуны, роющие окопы // Великая война в образах и картинах. Вып. VII. М., 1915. С. 305

в Галиции» (ил. 25 на вкладке). Вопреки названию главным объектом работы является природа — пленные австрийцы бледной горизонтальной линией тянутся лишь на заднем плане. При этом на первом плане акцентированы тонущие в талом снегу раскореженные то ли ветром, то ли снарядами деревья — именно они кажутся главными персонажами этой работы. Орнаментальная фактура переднего плана противопоставлена более строгому, ритмичному рисунку заднего плана, при этом линия бредущих пленных повторяется в линиях облаков. Тем самым художник создает метафору слияния земного и небесного, войны и природы. В западноевропейской живописи тема войны и природы стала особенно популярной с 1916 г. после боев при Вердене, когда сотнями тысяч выпущенных снарядов окружавшие город леса были превращены в пустыню из редких деревьев и снарядных лунок, что впоследствии отразилось во многих живописных произведениях. Изредка рисунки на эту тему появлялись и в русских иллюстрированных изданиях. Так, участник военных действий Н. Шурц опубликовал в «Огоньке» рисунок «Боржимовский лес», на котором в стилизованной форме изобразил скошенные шрапнелью березы[1]. Однако акварель Добужинского стала наиболее ярким примером развития темы «природа и война» в отечественном визуальном искусстве.

[1] Огонек. 1915. № 22. Без пагинации.



Ил. 26. С. Прайс. Немцы прошли // Великая война в образах и картинах. Вып. I. М., 1915. С. 36

По-видимому, в связи с ощущавшимся недостатком художественной выразительности батального жанра русских художников в выпуски «Великой войны» были включены картины и рисунки европейских авторов. Так, одновременным лаконизмом и глубиной производил на зрителя впечатление рисунок английского художника С. Прайса «Немцы пришли» (ил. 26). Несмотря на банальность и некоторую плакатность сюжета (признаком последнего можно посчитать то, что главный персонаж смотрит на зрителя, напрямую обращается к нему), художник через противопоставление насыщенного переднего и пустынного заднего планов, скошенной линии горизонта сумел передать ощущение внутренней опустошенности, оставшейся у женщины после убийства ее супруга немцами. Обращает на себя внимание простота, обыденность позы, в которой сидит героиня. Лубочные художники в этом случае изображали убитых горем женщин в театральных позах, заламывающими руки, с низко опущенными или поднятыми вверх головами. Прайс сумел уйти от подобных штампов и создать простой, но правдивый художественный образ. Можно также заметить, что композиция и особенности передачи перспективы (как будто «сферической») обнаруживают некоторую связь с последующей известной работой К.С. Петрова-Водкина «Смерть комиссара».

Не были застрахованы от неудач даже признанные мэтры — т.е. тиражирование халтуры не было производным от скромных способностей, степени таланта автора, а являлось некоторой психологической характеристикой эпохи. Так, в декабре 1914 г. критик весьма пренебрежительно отозвался о работах И.Е. Репина, демонстрировавшихся в большом зале Общества поощрения художеств в рамках выставки товарищества передвижников: «Не обошлось,

конечно, без репинских „гвоздей“ в виде больших, но очень слабых картин на темы событий: „Король Бельгии Альберт I“ и „Казак Козьма Крючков“. И тот и другой неприятно позируют среди изображенных ужасов войны и как бы взяты с дешевых иллюстраций»[1]. В конце 1915 г. Репин вновь обратился к заезженному лубочной продукцией сюжету — подвигу медсестры Р. Ивановой, написав ее портрет. Даже корреспондент «Нового времени» назвал эту картину худшей из всех, что были представлены на выставке[2].

Ценителям искусства было известно, что Репин, несмотря на свой грандиозный талант, периодически выдавал более чем сомнительные работы. Когда в годы войны художник приглашал знакомых посмотреть новые картины, то его друзья соглашались прийти с некоторым чувством тревоги, опасаясь увидеть безвкусицу и не зная, как на нее реагировать. При этом Репин был достаточно самокритичным и признавал собственные неудачи. Чуковский записал в дневнике в апреле 1917 г.: «Илья Еф(имович) повел меня показывать свои картины. Много безвкусицы и дряблого, но не так плохо, как я ожидал. Он сам стыдился своей „Сестры, ведущей солдат в атаку“, и говорит: — Приезжал ко мне один покупатель, да я его сам отговорил. Говорю ему: дрянь картина, не стоит покупать»[3].

Отсутствие художественно значимых работ на актуальные темы заставляло организаторов выставок экспонировать старые полотна, которые перекликались с современностью. Так, в марте 1916 г. зрители проявили интерес к малоизвестной в то время картине И. Е. Репина «Проводы новобранца», написанной в 1879 г. и находившейся во дворце великой княгини Марии Павловны. Картина демонстрировалась на выставке произведений искусства в пользу инвалидов-поляков[4]. Главным отличием произведения 1879 г. от репинских работ 1914–1917 гг. было отсутствие патриотического пафоса, художник запечатлел сцену расставания новобранца с семьей, и хотя рекрутские наборы в то время были уже пять лет как заменены всеобщей воинской повинностью, картина запечатлела сцену «маленькой трагедии» отдельно взятой семьи. В 1916 г., когда от патриотического пафоса уже практически не осталось никакого следа, обращение к гуманистическим аспектам войны казалось особенно важным, поэтому работа в эмоциональном отношении соответствовала настроениям современников периода Великой войны.

Вероятно, ощущения художественной интеллигенции состояния мира искусства отразил новый титульный лист журнала «Аполлон» 1916 г. с изображением руин заросшего травой храма, рисунок которого выполнил Е. Нарбут (ил. 27). Показательно, что между критиками «Аполлона» и А. Н. Бенуа в 1916 г. начинается полемика. Сотрудники журнала обвиняют «Мир искусства»

---

1 Аполлон. 1914. № 10. С. 70.

2 Новое время. 1916. 22 февраля.

3 *Чуковский К. И.* Дневник… С. 75.

4 Аполлон. 1916. № 3. С. 47.



Ил. 27. Г.И. Нарбут. Титульный лист // Аполлон. 1916. № 1

в консервации и академичности, в том, что объединение перестало развиваться. Бенуа отвечал «Аполлону» тем же, считая, что тот давно превратился в музей. Впрочем, сам Бенуа признавал общий упадок и на его фоне не высоко оценивал выставки «Мира искусства»: «Днем на выставке „Мира Искусства". Общее впечатление, скорее, безотрадное, хотя и имеется несколько приятных вещей… А вообще разумеется ощущение упадка, но то не наше общество клонит к упадку, а вообще все падает!»[1]

С другой стороны, когда на выставке «Мира искусства» появлялись авангардные произведения, объединение художников обвиняли в «никчемном манерничаньи». «Искания Натана Альтмана к утверждению кубических начал в круглых формах разрешились размалеванной бездарностью», — писал обозреватель «Огонька» об одном из лучших произведений художника — «Портрете Анны Ахматовой»[2]. Показательно, что, рассуждая об отсутствии нового направления в русской живописи, а также ведя хронику художественной жизни столиц, «Аполлон» пропустил выставку супрематистов «0,10» (она вскользь была упомянута лишь в критической статье Радлова о футуризме в январе

[1] *Бенуа А. Н.* Мой дневник… С. 32.

[2] Огонек. 1915. № 13. Без пагинации.

1917 г.), тем самым подтверждая вердикт «мирискусника». Впрочем, всерьез к супрематизму тогда относились только самые передовые ценители. Бенуа в этом отношении был не многим прогрессивнее. Только в 1915 г. он стал принимать новые художественные направления, которые громил в своих предшествовавших работах, за что удостаивался насмешек со стороны Д. Бурлюка.

Несмотря на раздражение, вызываемое суррогатной патриотической продукцией, некоторые художники, очевидно по инерции, продолжали ее плодить. Разглядывая иллюстрированные журналы, современники с досадой отмечали: «К сожалению, почти все заполнено войной. Как людям просто не надоест и не опротивеет этот ужас?»[1] Вот как критики, уставшие к 1916 г. от военно-патриотической тематики, описывали работы отдельных скульпторов и художников, употребляя словосочетание «художник-патриот» как синоним халтурщика на примере «феномена Порфирова»: «Война, вернее сказать — ее отражение в бульварной прессе вдохновило г-на Денисова-Уральского к созданию чрезвычайно безвкусных „аллегорических групп“ из цветных камней: выставка этих групп была устроена чуть ли не в собственном его магазине. Можно только пожалеть, что красивые камни потрачены на грубо-карикатурное опорочивание „кайзера“ с его присными и жалкие иллюстрационные апофеозы. К сожалению, руку „приложил“ к этому художеству недурной скульптор И. Малышев, которому удались некоторые отдельные фигуры. Превративший себя из автора античных картин с голыми телами в художника-патриота Иван Порфиров также воспел войну в смехотворной по безграмотности и наивности „символизма“ картине „Смертный бой“ („Русь святая и лютый враг“), выставленной отдельно и не имевшей никакого успеха. Мораль: куда доходней даже деревянные „голые тела“, чем патриотические сюжеты с деревянными витязями, комическими драконами и обилием красной краски»[2]. Тем не менее картина И. Порфирова, выставленная в доме № 25 по Невскому проспекту, была удостоена внимания непрофильных периодических изданий. О ней в комплиментарном ключе писали, например, «Биржевые ведомости». Критики недоумевали: «Неизвестно, почему среди других бездарных и безграмотных произведений оказан такой почет картине г. Порфирова… Неужели таково влияние „прессы“»[3]. Помимо патриотического сюжета, другим «достоинством» картины был ее размер: «Картина таких размеров, что Магомет должен был двинуться к горе». По-видимому, именно эти два «достоинства» и впечатлили непритязательную в вопросах искусства публику. Общественный резонанс привел к тому, что члены Академии художеств получили официальные повестки с предложением посетить выставку картины Порфирова и дать свое заключение. Итогом посещения стал единогласно отрицательный вердикт.

---

[1] Огонек. 1915. № 13. С. 26.

[2] Аполлон. 1916. № 3. С. 47.

[3] Аполлон. 1916. № 4–5. С. 72.



Ил. 28. Л.Р. Сологуб. Убитый австрийский офицер. 1914–1915. Рисунок. Частная коллекция

Если в большинстве своем монументальные работы на военную тему подвергались разгромной критике, то рисунки и наброски, выполненные художниками-солдатами с натуры, наоборот, вызывали неподдельный интерес. На одном из собраний Общества архитекторов-художников Л. Сологубом были показаны многочисленные наброски и рисунки войны, которые автор, ушедший добровольно на войну в самом ее начале, исполнял с натуры. Критики благосклонно встретили работы художника[1]. Сологуб запечатлел различные сюжеты фронтовой повседневности — марши, рытье окопов, организацию питания солдат, наблюдательных пунктов, отдельные моменты боя, досуга, создал цикл портретов своих боевых товарищей и т.д. Некоторые рисунки содержат подписи. Художника привлекала тема смерти, поэтому один из рисунков — убитый австрийский офицер — копируется несколько раз (ил. 28). На одном из них автор подробно фиксирует в подписях положение тела, рук и т.д. Журнал «Нива» в 1916 г. опубликовал военные рисунки Л. Сологуба. Автор материала писал о художнике: «Это его художественные наблюдения, памятки, заметки. Это что-то вроде записной книжки, куда вносятся разные, поразившие внимание, черточки жизни, быта, событий. Несомненно, потом художник создаст из них что-нибудь крупное по масштабу и пронизанное общей художественной идеей, но для нас даже эти разрозненные, почти мгновенно набросанные эскизы на ходу имеют громадный интерес, как явления войны, отразившиеся сквозь призму художественного наблюдения. Это не фотография, в большинстве случаев точно, но безжизненно и бестемпераментно передающая все живое и мертвое. Это глаза художника, и его ум, и его личный темперамент»[2]. Благожелательно отозвался о Сологубе посетивший его выставку Бенуа, назвав архитектора «очень любопытной личностью»

[1] Аполлон. 1916. № 2. С. 37.

[2] Нива. 1916.

и отметив, что «как все, побывавшие на фронте, он, скорее, склонен к миру»[1]. Действительно, в его набросках отсутствовал военно-патриотический пафос. Критик журнала «Аполлон» также выделил рисунки Сологуба из числа других работ батального жанра на выставке в Академии художеств. Невысоко оценив уровень учеников академии, критик писал: «Зато выдающийся интерес представляла другая половина (выставки. — *В. А.*) — многочисленные рисунки и наброски из альбомов архитектора-художника Л. Р. Сологуба… Особенность его работ в том, что многие из них сделаны буквально под огнем, чем отчасти и объясняется особенный их нервный лаконизм. Они не равного достоинства, но Л. Сологуб бесспорно владеет оригинальным схематизмом формы, нередко давая сжатыми чертами, примитивной расцветкой цельное и выразительное впечатление картин»[2].

Подобное «бытописание» военных будней профессиональными художниками или художниками-любителями представляло собой отдельный изобразительный жанр, однако в подобных реалистических зарисовках с натуры, как правило, было мало художественной образности, составляющей собственно предмет настоящего раздела, а все больше документальной фиксации фронтовой повседневности. В этом отношении такие рисунки сближаются с документальной фотографией, так как преследуют одну и ту же цель: не интерпретировать реальность, а зафиксировать конкретное мгновение жизни. Конечно, степень художественности подобных документальных свидетельств была прямо пропорциональна степени таланта художника, некоторые реалистические наброски цепляли зрителя своими неожиданными решениями. Так, например, можно упомянуть рисунок М. Добужинского «Ребенок-доброволец», опубликованный в журнале «Лукоморье». Особенностью его было то, что ребенок был изображен со спины, уходящим в неизвестное. В то время как журналы перепечатывали портреты конкретных юных героев, изображавшие их довольными, улыбающимися, с трофеями и медалями, Добужинский создал абстрактный образ ребенка — жертвы военного времени. Обращает на себя внимание палочка в его руке — намек на долгий путь и возможные ранения. Вместе с тем говорить о какой-то самодостаточной художественной значимости этого рисунка не приходится, он приобретает ценность лишь в контексте типичных военных набросков, поэтому выставки даже удачных рисунков в целом не удовлетворяли жажду современников по серьезным, значимым работам. Но на общем фоне рисунков на военно-патриотическую тематику военные серии Л. Сологуба, М. Добужинского, Е. Лансере достаточно тепло были встречены критиками. Военные рисунки последнего высоко оценил с художественной точки зрения К. Коровин, однако с некоторым разочарованием отметил, что войны в них

[1] *Бенуа А. Н.* Мой дневник… С. 61.
[2] Аполлон. 1917. № 1. С. 55.

нет[1]. При этом попытки Академии художеств организовать фронтовые этюды с натуры, для чего был сформирован и командирован в прифронтовую полосу военно-художественный отряд учеников батального класса, воспринимались холодно. Критики отмечали, что часть рисунков военно-художественного отряда, «представляя документальный интерес, не поднималась выше обычного уровня батального художества»[2]. Тем самым в русском изобразительном искусстве складывалась парадоксальная картина: в военных работах отсутствовала художественность, а в художественных отсутствовала война.

Можно предположить, что отсутствие картин войны в высокой живописи было связано с тем, что последняя еще не успела «дозреть» до осознания масштаба и ужасов войны; наброски, сделанные художниками, должны были в будущем воплотиться в масштабные произведения, однако тему Первой мировой войны затмила революция и война гражданская. С другой стороны, нельзя не отметить, что часть художников была отвлечена от творчества угрозой мобилизации. В этом отношении спасти ситуацию могли бы мэтры или совсем молодые авторы. Действительно, некоторые учащиеся воображали грандиозные проекты на тему войны. Так, Л. Британишский описывал в дневнике задуманный триптих, в котором бы война предстала сквозь призму столкновения трех религиозных духов: мрачности и строгости иудаизма, радости и просветленности христианства, опьяняющей дикости язычества[3]. Однако его уровень мастерства вкупе с материальными трудностями не позволили осуществить столь грандиозный проект. Вместе с тем известные художники, работая над крупными произведениями и развивая свои прежние темы, все же вносили в них некоторый дух времени, пытаясь переосмыслить настоящее. В этом случае частные сюжеты войны заменялись характерными знаками времени, художники обобщали и глобализировали тему войны в соответствии со своими философскими представлениями.

Возможно, самым масштабным полотном этого направления стала картина М. В. Нестерова «На Руси (Душа народа)», над которой он работал с 1914-го по 1916 г. (ил. 29 на вкладке). Одной из главных тем художника было противопоставление государственной греховности (правление Николая II он оценивал как «крайне неудачное (едва ли сознательно преступное)», полностью подорвавшее монархическую идею[4]) и народной святости. Время мировой войны стало для Нестерова очередным народным бедствием, кризисом взаимоотношений общества и власти, и задуманное им полотно мыслилось как главный, итоговый труд, который он ценил выше, чем «Святую Русь» 1905 г. В «Душе народа» художник

---

1 *Купцова И. В.* Художественная жизнь Москвы и Петрограда в годы Первой мировой войны (июль 1914 — февраль 1917 г.). СПб., 2004. С. 113.

2 Аполлон. 1917. № 1. С. 55.

3 *Британишский Л.* Дневник, 1913–1915... С. 100.

4 *Вакар И. А.* 1917 год и художники: новые аспекты темы // Некто 1917. М., 2017. С. 11.

попытался собрать всех живших в России людей в одной группе (в толпе узнаются портреты Л.Н. Толстого, В.С. Соловьева, Ф.М. Достоевского, боярыни Морозовой, царя, напоминающего Ивана Грозного с картины В.М. Васнецова, патриарха (Никона?) и первосвященника (протопопа Аввакума?)), ведомой деревенским мальчиком к Христу. В картине как бы присутствует эсхатологический мотив Страшного суда, характеризующий период мировой войны. Неслучайным кажется написанный в чересчур темных тонах лик Спаса Нерукотворного, как будто почерневшего от человеческих грехов. Но еще более важным знаком современности являются две фигуры на первом плане — раненого слепого солдата и ведущей его за руку медсестры, причем композиционно эти персонажи более значимы, чем все остальные, включая царя и патриарха. Примечательно, что в одном из первых вариантов на переднем плане располагалась слепая девушка аристократического вида, но затем художник заменил ее на солдата. Нестеров своей работой как бы объявлял «конец истории», призывал современников осмыслить пройденный путь, и появление картины накануне краха Российской империи, по-видимому, не было случайностью (тем более что незадолго до краха СССР к этому же приему прибегает И.С. Глазунов, но в куда более эпатажной и менее живописной форме). Зрители не считали картину Нестерова удачной, смысловая составляющая в ней взяла верх над визуальной, да и в преддверии ожидавшихся революционных событий умиротворяющая атмосфера холста казалась фальшивой. В результате, несмотря на тематику Страшного суда, созвучную массовым настроениям современников, полотно Нестерова «На Руси (Душа народа)» не стало знаковым для своей эпохи, тем паче что более сильные и выразительные образы настоящего и грядущего создавали художники «левых направлений» в искусстве.

Провидческая функция искусства: отражение эпохи и предчувствия революции в живописи авангарда

Нельзя утверждать, что сюжеты войны отразились лишь в этюдах и набросках, но прошли мимо больших работ высокого искусства. Из произведений последнего, наверное, одним из самых первых и целенаправленных обращений к теме войны стала литографическая серия Н. Гончаровой «Мистические образы войны» 1914 г. Гончарова тоньше многих современников почувствовала природу открывшейся эпохи. При этом, с одной стороны, литографиям не были чужды основные посылы официальной пропаганды, представлявшей войну в свете религиозно-мистического столкновения двух культур, цивилизаций, церквей, с другой стороны — художница выразила эсхатологические предчувствия, серия полна тревоги и мрачных предзнаменований. Такие работы, как «Конь бледный», «Град обреченный», «Дева на звере», прямо отсылают к Апокалипсису Иоанна. Гончарова сознательно обратилась в «Мистических



Ил. 30. Н.С. Гончарова. Дева на звере // Мистические образы войны. М.: Изд. В.Н. Кашина (Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°). 1914. № 5



Ил. 31. Н.С. Гончарова. Видение // Мистические образы войны. М.: Изд. В.Н. Кашина (Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°). 1914. № 8

образах» к предельно упрощенным формам, декоративности, в ее серии можно найти мотивы народного лубка, детского рисунка. Тем самым художники пытались обнаружить некие изначальные, чистые архетипические формы и образы, способные сильнее всего через подсознание воздействовать на зрителей. Некоторые, как, например, В. Кандинский, изучали изобразительное творчество душевнобольных (при этом основоположник абстракционизма исследовал и народное искусство, совершал этнографические экспедиции в российскую глубинку). Гончарова также не обошла эту тему стороной: один из мотивов серии — мистические видения на фронте. В годы войны солдаты часто упоминали чудесные явления Богородицы, спасавшей их от врагов, психиатры относили это на счет коллективных галлюцинаций, характерных для периода массового психического перенапряжения. В целом серия была тревожным предчувствием надвигающегося Апокалипсиса.

Критики неоднозначно восприняли стилистику образов Гончаровой. Я. Тугендхольд сожалел, что ее «талант расходуется так торопливо и непродуманно», он отдавал должное ее широкому сочному штриху и большому чувству «blanc et noir», но замечал, что «в ее образах войны нет сознательно выраженной цельности: фигуры стилизованы орнаментально, а фон заштрихован эскизно». С.П. Бобров, напротив, утверждал, что альбом «производит самое отрадное впечатление»: «Какая художественная аскеза, какая новая Фиваида духа

приводит к такому творчеству!.. особенность Гончаровских литографий — соединение чистой и характерной линии византийского характера с крепко сколотой и несколько приближающейся к Сезанну манерой растушевки»[1].

Война затронула Гончарову лично — на фронт отправился ее муж, известный художник-лучист и неопримитивист М. Ларионов. Любопытно, что сам Ларионов, вскоре демобилизованный по ранению, не стремился отобразить войну в своем творчестве, вероятно, не найдя в ней источника для вдохновения. Для многих участников война оборачивалась психологической травмой, о которой хотели поскорее забыть, вернувшись к довоенным, будничным заботам или погрузившись целиком в творчество. Собственно последнее и происходит с Ларионовым, получившим от С. Дягилева предложение поработать над костюмами и декорациями к «Русским балетам». Правда, Ларионов в 1911–1912 гг., во время пребывания на лагерных сборах, написал серию картин в неопримитивистской стилистике, посвященных солдатскому быту, развивая традиции лубка, включая в картины современные «граффити». Возможно, этим тема солдатского быта была для него исчерпана.

Гончарова не собиралась останавливаться на пути визуального осмысления войны, она планировала издать альбом литографий «Военный пейзаж», целью которого было показать, как войска действуют среди природы, альбом «Ужасы войны» и третий, который был бы посвящен повседневности войны[2]. Однако планы были нарушены отъездом супругов из России.

Кроме Гончаровой, в технике литографии фиксировала военную современность О. Розанова. В 1915 г. она подготовила серию цветных наклеек-аппликаций для книги поэта А. Кручёных «Вселенская война. Ъ», которая, по мнению исследователя А. Крусанова, натолкнула К. Малевича на идею супрематизма[3]. В конце 1916 г. вышла совместная гравированная книга-альбом художницы О. Розановой и поэта А. Кручёных «Война», в некотором роде продолжившая опыт Н. Гончаровой. При этом авторы отмечали, что их произведение — первый опыт супрематизма в книжной графике. В отличие от «Мистических образов», «Война» стала калейдоскопом газетных заметок, слухов, случайных образов, из которых складывалась повседневность военного времени. Несмотря на кажущийся патриотический уклон альбома, акцентировавший, в частности, тему немецких зверств, книга стала скорее фиксацией различных состояний больного общества, пропагандистский пафос в ней отсутствовал. Авторы попытались визуализировать, в частности, газетные сообщения, распространявшие слухи о жестокости немецких солдат. Одна из страниц, изображавшая

[1] Цит. по: *Крусанов А. В.* Русский авангард 1907–1932 гг. Исторический обзор. В 3 т. Т. 1. Боевое десятилетие. Кн. 2. М., 2010. С. 514–515.

[2] *Крусанов А. В.* Русский авангард 1907–1932 гг. Исторический обзор. В 3 т. Т. 1. Боевое десятилетие. Кн. 2. М., 2010. С. 515.

[3] Там же. С. 640.



Ил. 32. О.В. Розанова, А.Е. Кручёных. Лист из книги-альбома «Война» (Пг.: Типография «Свет», 1916. Без пагинации)

расстрел мирных жителей и рытье могил, содержала надпись: «Во время расстрела мирных граждан заставляли приговоренных к казни рыть себе могилы… (Отрывок из газетного сообщения)» (ил. 32).

Комбинирование вербального текста и визуального образа не было нововведением Розановой и Кручёных, это был модный прием, к которому обращались художники-авангардисты. Например, в 1915 г. И. Пуни в картине «Парикмахерская» ввел в изображение часть страницы как будто какого-то дневника, в котором читались слова «сквозь стекло», «двое», «брезжит», «насморк», «осенний», дополняющие художественный образ. Однако тексты Кручёных были более конкретны, выхватывали из современности знаковые фразы, формулировки, придавали художественной работе признак документа, своеобразного слепка эпохи. Следует заметить, что вообще период Первой мировой войны, несмотря на отдельные заявления критиков «Аполлона», с нетерпением ждавших смычки искусства и современности, стал более чем плодовитым для русской живописи, вот только значительная часть работ не отразила реалий военного времени, решая более глобальные и абстрактные вопросы формотворчества «чистого искусства». Р. Стайтс отметил, что модернистское и авангардное искусство — литература, поэзия, живопись — вместо полей сражений предпочитало описывать «ландшафты души»[1].

[1] *Stites R.* Days and nights in wartime Russia: cultural life, 1914–1917… P. 11.

Оторванность высокой живописи от современных событий накануне войны, увлеченность исследованием задач «чистого искусства» тем не менее не помешала ряду художников сделать предсказания относительно надвигавшейся катастрофы. В то время как часть обывателей вела привычное существование, не подозревая о грядущих потрясениях, некоторые представители художественной интеллигенции умудрились почувствовать в общей атмосфере некоторое напряжение. В.П. Булдаков, обращая внимание на сбывшиеся предсказания революции, сделанные поэтами-футуристами, задается вопросом: «Как знать, может быть, именно полусумасшедшие гении лучше других улавливали безумный надрыв целой эпохи?»[1] Действительно, при определенных обстоятельствах, когда человеческий разум пасует при попытке понять круговорот социально-политических страстей, эмоционально-чувственное восприятие действительности может открыть перед субъектом новые когнитивные возможности. Вместе с тем переоценивать когнитивно-провидческие способности искусства не стоит. Предчувствие катастрофы (войны, революции) у художников родилось задолго до складывания международного кризиса, приведшего к мировому конфликту, оно вытекало из внутренней, противоречивой природы культуры Серебряного века, в котором обнаруживалось столкновение подчас взаимоисключающих тенденций, направлений. Революция в искусстве началась задолго до революции политической, и ощущение внутреннего напряжения от борьбы разных культур вызывало предчувствия возможной трагической развязки.

Тем не менее современники наделяли картины художников понятными и актуальными смыслами. В 1915 г. на выставке «Мира искусства» демонстрировались работы Н.К. Рериха, и критики отметили перемену, произошедшую с художником: новые картины казались переходными, в них отсутствовало прежнее стилистическое единство. При этом обращалось внимание на произведения, написанные художником накануне начала войны,— в их цветовой гамме, а также в сюжетах современники усматривали предчувствие надвигавшейся катастрофы («Зарево», «Град обреченный», «Вестник»)[2]. Сложно сказать, действительно ли Рерих предчувствовал войну и связанные с ней трагические последствия для России, но «Град обреченный», изображавший белый город, окруженный огненным змеем, стал символичной работой не только для зрителей, но и для самого художника, наполнившего ее историческим и политическим смыслом (ил. 33). Так, в 1918 г. он написал «продолжение» истории «Града обреченного» — картину «Град умерший», на которой в кольце громадного змея разлагался позеленевший и полуразрушенный город. Художник подчеркнул фактурное сходство городских зданий с окружающими скалами, чем создал образ окаменевшего града. К теме «обреченного города» Рерих

---

[1] *Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г.* Война, породившая революцию… С. 85.

[2] Аполлон. 1915. № 4–5. С. 33.



Ил. 33. Н.К. Рерих. Град обреченный // Лукоморье. 1914. № 32. С. 16

обращался и ранее — в 1912 г. создал полотно «Пречистый град», изображавшее в близкой к иконописной традиции объятый пламенем город, в который бесы мечут камни. Тем самым все три работы были объединены Рерихом в некий нарратив. Учитывая, что к теме «Града обреченного» обратилась и Н. Гончарова в серии «Мистические образы войны», данный образ, действительно, можно считать интуитивистским. Именно такую, собственно, характеристику дал картине М. Горький, назвавший ее пророческой, а Рериха — «величайшим интуитивистом»[1]. Он даже хотел приобрести работу у художника, но тот подарил ее писателю[2]. Искусствовед и критик А.И. Гидони, посетивший в 1915 г. выставку работ Рериха, в большой статье «Творческий путь Рериха» писал о «Граде обреченном» и других картинах, написанных перед самой войной: «Невольно хочешь многое в них объяснить интуитивными предчувствиями художника. Потому что стихия этих картин — пожар. И кажется, что художник, ставший мужем в своем мастерстве, окрепший и определившийся, бродя в мире творческих видений, ощутил внезапно некую тревогу. Как в историческом рассказе, он припал ухом к земле, прислушался. И был шум, крики, смятение в одном стане, тишина великая — в другом»[3].

---

[1] *Беликов П.Ф.* Рерих и Горький // «Горьковский сборник», Ученые записки Тартуского государственного университета, Труды по русской и славянской филологии, XIII. Тарту, 1968. С. 258.

[2] Николай Рерих. Творческий путь: альбом-биография. М., 2015. С. 82. По другим данным, Горький все-таки заплатил за картину: *Беликов П.Ф.* Рерих и Горький… С. 258.

[3] *Гидони А.И.* Творческий путь Рериха // Аполлон. 1915. № 4–5. С. 32.

Рерих был не единственным художником, использовавшим метафору гибнущего города. Охваченные пожаром заката города, летающие над ними змеи были элементами символического мира М. К. Чурлёниса, не дожившего до начала Первой мировой. Под впечатлением работ Чурлёниса находился начинающий художник Н. А. Бенуа (сын А. Н. Бенуа). В 1916 г., когда юному художнику было 15 лет, он написал картину «Город», изображавшую погруженные во мрак ночи футуристические здания, над которыми сгущались тучи в образе зловещих птиц. На следующий год он продолжил развивать эту тему и написал город в красном зареве заходящего солнца[1]. Важно отметить, что метафора «града обреченного», заимствованная из Апокалипсиса Иоанна, была характерна для русской религиозной миниатюры и лубка. Так, например, в коллекции М. Ларионова имеется автоолеографический лист авторства А. И. Шаньгина (Л. А. Гребнева?) «О сластолюбии», выполненный во второй половине XIX в., изображающий змея-сладострастие, окружившего город и пожирающего его жителей. Внутри города люди поклоняются антихристову Лжепророку, а в центре на звере восседает вавилонская блудница (ил. 34). Поэтому рериховский образ змея, пленившего град, вполне можно считать архетипическим, связанным с народной эсхатологической традицией. Змеи, ангелы, парившие над охваченными пламенем городами, появлялись на картинах художника-декадента Н. К. Калмакова. Исследователи Дж. Боулт и Ю. В. Балыбина объединили произведения Гончаровой, Рериха и Калмакова в общий апокалиптический дискурс[2].

Вместе с тем следует помнить, что художники-концептуалисты не являются документалистами, автоматически фиксирующими изменения окружающей реальности, а работают над крупными темами, растягивающимися на десятилетия, и эмоциональное напряжение их работ может быть следствием не внешней объективной реальности, а внутреннего творческого кризиса. Поэтому «предчувствие» катастрофы вполне может родиться и в относительно благополучные времена. Тем не менее в кризисные периоды художники нередко обращались к старым темам, обретшим актуальность. Переосмысление своих прежних тем в контексте новых сюжетов в целом свойственно творческим людям. Так, например, К. С. Петров-Водкин в 1915 г. пишет полотно «Жаждущий воин», в котором развивает тему «Купания красного коня»: мальчиком на коне оказывается юный Георгий Победоносец, собирающийся убить притаившуюся в песке змею (ил. 35). Картина была показана на выставке «Мира искусства» в марте 1916 г., и критики высоко оценили ее художественное достоинство, посчитав, что Петров-Водкин от фресковости и плакатности сделал шаг в сторону большей живописности[3]. Кроме того, в отличие от упомянутой

[1] Некто 1917. М., 2017. С. 185–187.

[2] *Боулт Дж. Э., Балыбина Ю. В.* Николай Калмаков и лабиринт декадентства, 1873–1955. М., 2008. С. 280.

[3] Аполлон. 1916. № 3. С. 51.



Ил. 34. Л. А. Гребнев (А. И. Шаньгин?). О сластолюбии. Лубок.
М.: Типография Г. К. Горбунова, 1907

картины Порфирова, также посвященной теме убийства врага-зверя, Петров-Водкин намного тоньше обыграл этот сюжет в композиции. Художник пошел по пути объединения двух разных сюжетов, известных мировой живописи: сакрального змееборчества и профанного девичьего купания (впрочем, в 1917 г. в картине «Утро. Купальщицы» художник, наоборот, сакрализирует последний сюжет, включив в него мотив богородицы), в результате чего полотно обрело многогранность интерпретации и глубину скрытых подтекстов. Важно, что автор не акцентировал внимание на образе змея-врага (чем грешила патриотическая визуальная пропаганда), а представил подвиг героя как обыденный, повседневный акт. Умение в повседневных, профанных сценах обнаруживать элементы сакрального, высокого — одна из особенностей мастера. И если картина «Богоматерь. Умиление злых сердец», написанная в начале мировой войны, являлась достаточно буквальным высказыванием художника, то в работе 1915 г. «Мать» тот же образ богородицы предстает уже в портрете крестьянки, кормящей младенца в тесном интерьере избы. Другим примером оригинального развития темы змееборчества стала работа В. Кандинского «Святой Георгий и дракон», написанная в том же 1915 г. Однако здесь можно заметить другую тенденцию авангардной живописи — переосмысление народных лубочных картинок и фольклорных сюжетов, проникновение «наивного» в высокое искусство. Кандинский интерпретирует мировой конфликт в рамках сказочного дискурса (герой-богатырь защищает царевну от притаившегося в пещере Змея Горыныча), что, как уже было показано, характеризовало крестьянское восприятие войны. Сближение, тем самым, наивной картины мира широких слоев населения и образов высокого искусства свидетельствовало



Ил. 35. К.С. Петров-Водкин. Жаждущий воин. 1915 © Русский музей, Санкт-Петербург

об универсальности процессов, происходивших в массовой психологии. Несмотря на некоторую декоративность композиции, холсту Кандинского, как и Петрова-Водкина, нельзя отказать в живописности. Известна картина «Святой Георгий Победоносец» и кисти П. Филонова, также 1915 г. Как и Кандинский, Филонов отразил в ней мотивы фольклора, окружив центрального персонажа сказочными животными. Тем самым тема змееборчества стала одной из важнейших в визуальном искусстве периода Первой мировой войны, с помощью которой художники переосмысливали свое время.

Примечательно, что хотя современники отмечали некоторый воинственный настрой Петрова-Водкина в начале войны, в живописи художника он не отразился. Наоборот, мастер оставался верен теме гуманистического измерения окружающей реальности и ее интерпретации в контексте известных религиозных сюжетов. Вероятно, именно такое мировосприятие позволило Петрову-Водкину дать свое предсказание надвигавшейся катастрофы в эскизе 1914 г. к картине «Ураган (Гибель)», изображавшей обнаженных людей, пытавшихся спастись от красных вспышек то ли молний или пожара, то ли взрывов бомб.

Вместе с тем интерпретация работ художников в контексте современности, связи с социально-политическими событиями, несет опасность упустить из виду конкретные творческие задачи, решением которых были заняты авторы. Например, известное полотно Петрова-Водкина 1916 г. «На линии огня», изобразившее момент, когда пуля попала в грудь бегущего в атаку офицера, помимо очевидной литературно-драматической интерпретации имеет еще



Ил. 36. П.Н. Филонов. Пир королей. 1913 © Русский музей, Санкт-Петербург

и технический уровень решения конкретной визуальной задачи: отработки приема сферической перспективы. Уход от перспективы итальянской (линейной) к сферической должен был изменить передачу пространства на плоскости так (за счет завышенной линии горизонта и сочетания выпуклого первого плана с вогнутым задним), что центральный персонаж оказывался как бы над всем миром, пространство раскрывалось зрителю с новой точки. В приведенной картине это удачно взаимодействовало с сюжетом: создавалось ощущение, что за мгновение до смерти офицера мир раскрывался перед ним во всей своей красе, а сам он оказывался как будто парящим над оставшимися внизу рекой, дорогой, облаками. Впоследствии Петров-Водкин еще более выразительно решит эту задачу в картине «Смерть комиссара», где убегающие в атаку в направлении от зрителя товарищи комиссара как бы оставляют героя наедине со зрителем.

Но вернемся к прогностической функции искусства. Еще более явным предчувствием мировой катастрофы стала картина П. Филонова «Пир королей», написанная в 1913 г. (ил. 36). Близкий друг художника поэт-футурист Велимир Хлебников в период войны обратился к «Пиру королей» и дал ее описание в повести «Ка»: «Художник писал пир трупов, пир мести. Мертвецы

величаво и важно ели овощи, озаренные подобным лучу месяца бешенством скорби»[1]. Полотно можно рассмотреть как аллегорию распада старого миропорядка: глаза некоторых персонажей закрыты, на лицах зеленоватый трупный оттенок, руки сложены то ли для молитвы, то ли для погребения, в последнем случае спинки кресел ассоциируются с гробами. Складывается ощущение, что это их последнее застолье, после которого наступит смерть. От картины веет эсхатологическим предчувствием. «Пир королей» можно связать с другими двумя значимыми работами Филонова, написанными в годы войны и уже непосредственно с ней связанными,—«Германской войной» и «Цветами мирового расцвета». Если в «Пире королей» распад лишь приближается, то в «Германской войне» он запечатлен в своей высшей стадии (ил. 37 на вкладке). Картина демонстрирует атомизацию фигур, распад их на составные элементы. Разрабатываемый Филоновым принцип «аналитического искусства» предусматривал движение от частного к общему. Картина должна была прорасти, как брошенное в землю зернышко, художественный образ должен был собраться из множества пятен, однако в контексте мировой войны (название произведения, указывающего на войну как причину массовой смертности) ощущение распада преобладало над ощущением синтеза. Вместе с тем филоновская теория «мирового расцвета» предусматривала построение нового мира, первыми побегами которого и были «Цветы мирового расцвета». Таким образом, все три произведения складываются в некий нарратив, демонстрирующий движение от распада к возрождению. Показательно, что Филонов в качестве синонима «аналитического метода» использовал термин «интуитивный метод»[2]. Анализ, таким образом, был результатом совокупности как интеллектуальных усилий художника, так и его интуиции, дающей возможность предсказывать будущее.

Художники-философы воспринимали войну одновременно как конец старой эпохи и начало новой. Именно в таком контексте К. Малевич разъяснял суть супрематизма и написанного в 1915 г. «Черного квадрата» в частности—как точки, конца старой живописи и начала нового этапа искусства. А.Г. Раппапорт в статье «Утопия и авангард: портрет у Малевича и Филонова», сравнивая двух таких разных художников, находил и принципиальное сходство: «Вневременность образов Малевича и Филонова соответствует глубокой потребности русского футуризма выйти за рамки времени, победить время, историю, породить вневременность, сочетающую вневременность архаики с вневременностью футуристического будущего… Казимир Малевич и Павел Филонов были воодушевлены романтической верой в жизнестроительную силу искусства, способного преобразовать мир по новому, грандиозному проекту—будь это

---

[1] *Хлебников В.* Творения. М., 1987. С. 524.

[2] *Ершов Г.Ю.* П.Н. Филонов (1883–1941). Проблемы историографии, мировоззрения, тематики и творческого метода. Дис. … канд. искусствоведения. СПб., 1999. С. 80.

„супрематический космос“ либо организм „мирового расцвета“»[1]. Конец и начало, смерть и жизнь воспринимались в диалектическом единстве. Не случайно В. П. Булдаков определил настроения части художественной интеллигенции в это время как «оптимистический апокалипсис»[2].

Разрабатывая теоретические обоснования открытых направлений и творческих методов, художники не выпускали из виду развивавшиеся политические идеологии. Учитывая революционность авангарда, невольно напрашивалось его сравнение с революционной идеологией — социализмом. Н. Пунин в одном из своих писем от 28 июля 1916 г. рассказывал о своей беседе с В. Татлиным, в которой художники сошлись во мнении о социалистичности футуризма: «Социалистичность футуризма, конечно, не в том, что это искусство для каждого рабочего, но в том, что та совокупность эстетических ощущений, которую выработает социализм, вложена или выражена футуристическим искусством… Ибо, в целом, футуризм представляется мне достаточно мощным и достаточно богатым, чтобы стать мировоззрением, чтобы охватить все стороны человеческой жизни и законы человеческих отношений»[3].

Показательно, что, несмотря на разницу стилей, творческих поисков, и Петров-Водкин, и Филонов обращались зачастую к одним и тем же образам. Так, например, переосмыслением водкинской «Матери» 1915 г. можно считать одноименную филоновскую работу 1916 г., где также выражен мотив Богородицы за счет сопоставления образа матери с младенцем с благословляющим их священником с чашей в руке (у Петрова-Водкина на месте священника расположены иконы), но, в отличие от умиротворения и попытки уйти от будничной суеты в работе Петрова-Водкина, Филонов, наоборот, усиливает внутреннюю напряженность техникой «аналитической живописи», показывает распад мира вокруг матери с младенцем. При этом распад затрагивает и лик Богоматери — правая щека ее начинает как будто осыпаться, образ становится зыбким, готовым исчезнуть с холста. Таким образом, художники по-разному интерпретируют и репрезентуют образ Богоматери: для Петрова-Водкина это неподвластный времени архетип, а для Филонова — разрушающийся и возрождающийся под влиянием времени образ (ил. 38; 39 на вкладке).

Тем не менее, несмотря на то что многие художники-концептуалисты были увлечены реализацией собственных теорий, поиском ответов на глобальные вопросы искусства, нельзя сказать, что окружающая действительность проходила совсем мимо их творчества. Так, например, П. Филонов в 1916 г. в работе «Офицеры» неожиданно обращается к весьма рискованной теме офицерского

---

[1] *Раппапорт А. Г.* Утопия и авангард: портрет у Малевича и Филонова // Вопросы философии. 1991. № 11. С. 240.

[2] *Булдаков В. П.* Россия, 1914–1918 гг.: война, эмоции, революция // Россия в годы Первой мировой войны, 1914–1918: Материалы Международной науч. конф. М., 2014. С. 12.

[3] Цит. по: *Крусанов А. В.* Русский авангард 1907–1932 гг. Исторический обзор. В 3 т. Т. 1. Боевое десятилетие. Кн. 2. М., 2010. С. 629.



Ил. 38. К.С. Петров-Водкин. Мать. 1915
© Русский музей, Санкт-Петербург

досуга, изображая в автомобиле военных с парой разрумяненных дам. Такая социальная направленность нетипична для творчества художника, вместе с тем обращение Филонова в этой картине к теме распространенных слухов о неблаговидном поведении офицеров и их дам, в первую очередь сестер милосердия, подтверждает роль подобных разговоров в качестве весьма раздражающего фактора массового сознания накануне революции, мимо которого не смог пройти автор произведения. Однако высокая живопись в целом оставалась в стороне от острых социальных вопросов, отдав это направление на откуп сатире, в первую очередь журнальной карикатуре, в которой в 1916 г. заметно усиливается социальная направленность. С другой стороны, для самого художника эта картина едва ли имела социальное содержание: разрумяненные лица дам стилистически включают данное произведение в визуальный дискурс нового наивного искусства — от лубочных картинок до кустодиевских купчих.

Хотя во время Первой мировой войны в целом были заметны активные творческие искания художников, пусть напрямую и не связанные с военными реалиями, некоторые критики сетовали на то, что война не стала объединяющим фактором для деятелей искусств. С. Маковский в небесспорной статье «По поводу „Выставки современной русской живописи“» на примере «Мира искусства» обратил внимание на многогранный раскол художественных элит, пришедшийся на период мировой войны. Он отмечал, что если ранее «Мир искусства» выступал против казенного академизма и передвижничества в пользу

сохранения изысканного вкуса и культурного аристократизма, то теперь в него вошел ряд молодых художников-футуристов, выступающих против былого эстетизма мирискусников: «Если на выставке „Мир Искусства“ участвуют Илья Машков рядом с Сомовым, Кончаловский рядом с Билибиным, Бруни рядом с Бразом и т. д., то это только доказывает неспаянность нынешнего поколения бунтарей… тут два искусствопонимания, два способа видеть, две непримиримые психологии творчества»[1]. Подобные сожаления критика кажутся более чем наивными, учитывая, что именно в разнообразии стилей и «искусствопониманий» заключается главное условие для насыщенной художественной жизни, характерной для периода расцвета, а не упадка. При этом важно отметить, что сами художники-авангардисты понятия стиля не использовали, так как мыслили иными искусствоведческими категориями, исследуя чистые формы. Именно поэтому попытки современных им критиков проанализировать и понять авангард в традиционных терминах оборачивались крахом.

Впрочем, подобные дискуссии о стиле велись в российской искусствоведческой среде еще с начала XX в., на что обращали внимание Г. Ю. Стернин, Д. В. Сарабьянов[2]. Сарабьянов в статье «Стиль и индивидуальность в русской живописи конца XIX — начала XX века» писал, что в России на рубеже столетий началось смешение двух разных стилистических направлений — импрессионизма и модерна — в силу того, что они не сменяли друг друга в исторической последовательности, как на Западе, а наслаивались, развиваясь параллельно[3]. Наслоение порождало конфликт. Развитие стилей приводит к повышению роли личности художников и складыванию вокруг них школ и направлений. Среди наиболее ярких — «Голубая роза» в 1907 г. (вокруг наследия В. Борисова-Мусатова), «Ослиный хвост» в 1911 г. (вокруг М. Ларионова), «Супремус» в 1915 г. (вокруг К. Малевича): «По мере раскручивания мощной пружины, сообщившей стремительность художественно-изобретательскому порыву, все более определенно вырисовывается самый типичный и самый кардинальный вариант взаимоотношения личности художника и стиля. Художник-новатор превращался в непосредственного создателя нового стиля. Школе надлежало идти по его следам, распространяя стиль, закрепляя за ним завоеванную территорию»[4]. Разрыв с предшествующей традицией художника-новатора, художника-революционера вызывал естественный протест в среде искусствоведов, мысливших традиционными категориями. По мере развития авангарда конфликт обострялся, причем проявлялось это в разных сферах. Конфликт

---

[1] *Маковский С. К.* По поводу «Выставки современной русской живописи» // Аполлон. 1916. № 8. С. 1.

[2] *Стернин Г. Ю.* Русская художественная культура второй половины XIX — начала XX в. М., 1984. С. 168.

[3] *Сарабьянов Д. В.* Стиль и индивидуальность в русской живописи конца XIX — начала XX века // Сарабьянов Д. В. Русская живопись. Пробуждение памяти. М., 1998. С. 189.

[4] Там же. С. 193.

индивидуальности и общепринятого (или вырабатываемого) стилистического канона в годы войны выразился в противоречиях между внешним общественным единением (или его попытками) и внутренними, индивидуалистическими поисками художников.

Поднимая проблему стиля в современной живописи, Маковский особенно набрасывался на лубочность, которая, по его мнению, убивала живописность, превращая картину в декоративную иллюстрацию: «„Лубком“ заразилась живопись, и мало-помалу стерлись границы, отделяющие ее от книжной графики, от театрального макета… В смысле „огрубления“ живописи трудно идти дальше»[1]. Следует заметить, что понятие лубочности живописных полотен как оценки художественной значимости картины варьировалось в зависимости от жанра и направления. При изображении батальных сцен в реалистической манере это был очевидный недостаток, термин использовался для констатации производства суррогатной изобразительной продукции, ориентированной на массового зрителя. Однако в рамках модернистских и авангардистских направлений искусства — символизма, постимпрессионизма, фовизма, неопримитивизма, абстракционизма и т. д. — лубочность воспринималась в контексте поиска новых визуальных форм. Обращение к лубку, к миниатюре, к детскому наивному рисунку позволяло художникам нащупывать первичные, архетипичные формы-образы, с помощью которых продолжавшаяся война интерпретировалась в глобальном контексте. Почва для обращения к фольклору как к источнику новой визуальности созрела накануне Первой мировой войны. Еще в марте — апреле 1913 г. в Москве в художественном салоне К. И. Михайловой прошла организованная М. Ларионовым выставка «Мишень», на которой помимо произведений авангардистов были представлены народные иконы, лубок, а также детские рисунки. Кроме того, Ларионов интересовался бытовыми настенными рисунками (граффити), которые отразились в его «казарменной» серии. Исследователи обращают внимание на лубочные мотивы в творчестве раннего В. Кандинского, М. Ларионова, И. Клюнкова, К. Малевича[2]. Сарабьянов в качестве парадоксальной особенности авангарда обнаруживает стремление порвать со своими прямыми предшественниками, но обратиться к более ранней традиции — русской иконописи, народному творчеству, африканскому искусству и искусству стран Востока, первобытным рисункам[3]. В «квадратной серии» Малевича «Эскизы фресковой живописи» 1906–1908 гг., в которой бытовые сцены представлены в иконописной стилистике, а также в его

[1] *Маковский С.* По поводу «Выставки современной русской живописи» // Аполлон. 1916. № 8. С. 12.

[2] *Алексеева Т. П., Винницкая Н. В.* Фольклоризм в неопримитивизме русского авангарда первых десятилетий XX в. // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствознание. 2016. № 4 (24). С. 18–20.

[3] *Сарабьянов Д. В.* К ограничению понятия авангард // Сарабьянов Д. В. Русская живопись. Пробуждение памяти. М., 1998. С. 271.

«крестьянском кубизме» 1909–1912 гг. усматриваются мотивы будущей супрематической «нуль-формы», провозглашенной на выставке «0,10» в 1915 г. Тем самым и знаменитый «Черный квадрат» оказывается тесно связан с народно-религиозным творчеством (выставленный там же «Красный квадрат» имел второе название — «Живописный реализм крестьянки в трех измерениях», что технически связывает период супрематизма с «крестьянским кубизмом»). В любом случае обращение авангардистов к наивному искусству дало свои плоды. Т. П. Алексеева и Н. В. Винницкая считают, что «фольклоризм в примитивизме русских художников-абстракционистов оказался струей живой воды… раскрыл совершенно необычную, очень жизненную, вечную природу образов, а также великолепные возможности новых направлений русского авангарда»[1].

Вероятно одним из немногих образцов военно-патриотического жанра, выполненного в авангардной технике живописи и с применением лубочных мотивов, стала картина А. Лентулова 1914 г. «Победная битва», на которой в свойственной мастеру манере футуристического панно представлена сцена битвы как калейдоскоп динамично взаимодействующих цветовых пятен (ил. 40 на вкладке). Лентулов пришел к подобной манере письма, развивая идеи западноеврепейского кубизма и фовизма. Примечательно, что, хотя С. Маковский и констатировал раскол художественных элит и отсутствие единого «искусствопонимания», именно эта картина демонстрирует сближение бывших оппонентов. В 1912 г. распалось художественное объединение «Бубновый валет», одним из основателей которого был А. Лентулов, и ряд художников (во многом по инициативе Гончаровой и Ларионова), обвиняя бубнововалетовцев в подражании западноевропейскому искусству, создают собственную группу «Ослиный хвост», которая должна была избавиться от европейского влияния и создать новое русское искусство. Не случайно в связи с этим обращение Гончаровой и Ларионова к русскому лубку, который они коллекционировали. Совместное экспонирование работ Лентуловым и Ларионовым в 1915 г. говорит о некотором «примирении» художественных направлений.

И. Шевеленко, исследуя творческие противоречия художественных элит России начала XX в., обращает внимание на оппозицию двух условных направлений: «космополитического» (выраженного в первую очередь «Миром искусства») и «национального» (реализованного в авангарде)[2]. Д. Бурлюк в статье «„Дикие“ России», написанной для немецкого сборника творческого объединения «Синий всадник», одним из организаторов которого был В. Кандинский, подчеркивал архаическую природу авангарда, не столько связанную с новомодными направлениями французской живописи, сколько уходящую корнями

[1] *Алексеева Т. П., Винницкая Н. В.* Фольклоризм в неопримитивизме русского авангарда… С. 23–24.

[2] *Шевеленко И.* Модернизм как архаизм. Национализм и поиски модернистской эстетики в России. М., 2017.

в искусство древнего мира. В другом случае Давид Бурлюк и его брат Владимир прямо заявляли: «наше искусство национально». Обращение к национальной фольклорной традиции отчасти было результатом переосмысления европейского примитивизма и фовизма, приведшего к открытию русского неопримитивизма, с другой стороны, как оригинально заметила Т. Горячева, являлось реакцией на европейский дискурс об «азиатской России», который русские художники-теоретики попытались представить в качестве «органической принадлежности к самым разнообразным пластам культурной традиции Востока»[1]. В условиях происходившей в России социокультурной модернизации поиск национальных основ культурной идентичности становился закономерным явлением общественной жизни. В этом ракурсе начало Первой мировой войны совпало с поисками национального искусства: мировой конфликт, на первых порах приведший к всплеску национально-патриотических чувств среди интеллигенции, стал поводом для дальнейшего развития фольклорных мотивов русского изобразительного искусства и обращения к архаичным образам, в связи с чем и произошло отмеченное сближение «западников»-бубнововалетовцев со «славянофилами» — участниками «Ослиного хвоста». Как уже говорилось, выставки, организованные «Миром искусства», также включали представителей разных художественных направлений, что подразумевало их сближение на общей платформе национального искусства. В этом плане война, давшая объективный толчок к развитию национально-патриотического дискурса, вопреки заявлениям Маковского, способствовала преодолению прошлых споров и поиску точек соприкосновения между бывшими идейными оппонентами. Добавим, что Лентулов не только использовал мотивы лубка в станковой живописи, но в 1914 г. активно сотрудничал с издательством «Сегодняшний лубок», рисуя юмористические лубочные картинки на военные темы. Можно сказать, что в визуальном пространстве России периода мировой войны происходила некоторая архаизация образов, обращение к архетипическим пластам сознания, что имело как предпосылки, связанные с развитием художественных направлений, так и психологические причины — актуальные реакции на войну, мыслившуюся в мистико-эсхатологическом контексте.

Искусствовед Я. А. Тугендхольд, ранее ругавший бубнововалетовцев за следование французской моде, пересмотрел свои взгляды после посещения выставки «Художники — товарищам воинам», проходившей с 30 ноября 1914-го по 11 января 1915 г., организованной Союзом художественных обществ. На выставке были представлены практически все направления живописи: «Вообще, заблуждением была оценка живописи „Бубнового валета“ как беспочвенной французомании. Достаточно взглянуть на „Хлеба“ и „Бананы“ Машкова, чтобы

[1] *Горячева Т.* К проблеме национальной самоидентификации русского футуризма // Русское искусство между Западом и Востоком. М.: Гос. институт искусствознания, 1997. С. 292.

увидеть в них исконно русскую, лубочную, веселую любовь к колерам. Она есть и у Кончаловского, и у Федорова, и у Лентулова, и у Мильмана»[1].

Помимо дискуссий о стиле, период войны, давший толчок дальнейшему развитию авангардных направлений, в частности супрематизма, более остро поставил вопрос об оценке новых направлений живописи. Традиционное искусствоведение, справлявшееся с анализом классицистских, романтических, реалистических произведений, продемонстрировало свою несостоятельность, столкнувшись с нонфигуративным искусством. Для его понимания еще не сложилась необходимая визуальная культура и не были разработаны искусствоведческие подходы. Одной из самых скандальных в этом отношении стала организованная в декабре 1915 г. И. Пуни, К. Малевичем, В. Татлиным «Последняя футуристическая выставка картин „0,10"», положившая начало супрематизму. Ноль означал нулевую фигуративность картин, а число десять — первоначальное число участников. Посетители выставки разошлись о ней во мнениях: кто-то говорил, что к «разновидностям психических заболеваний прибавился новый род их — супрематизм», другие пытались понять задумку художников исходя из актуальных тенденций развития авангарда, третьи просто веселились фантазией художников, но некоторые все же увидели в этой выставке революционные и даже апокалиптические знамения. Посетивший выставку А. Н. Бенуа весьма эмоционально отзывался о «Черном квадрате», считая его предвестником гибели: «Без номера, но в углу высоко, под самым потолком, на месте святом, повешено „произведение"... г. Малевича, изображающее черный квадрат в белом обрамлении. Несомненно, что это и есть та икона, которую гг. футуристы предлагают взамен мадонн и бесстыжих венер, это и есть... вся наша „новая культура" с ее средствами разрушения и с ее еще более жуткими средствами механического „восстановления", с ее „машинностью"... с ее царством уже не грядущего, а пришедшего Хама. Черный квадрат в белом окладе — это не просто шутка, не простой вызов... это один из актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем мерзость запустения и которое кичится тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через попрание всего любовного и нежного приведет всех к гибели»[2]. Бенуа был прав в том отношении, что «Черный квадрат», по задумке автора, не являлся живописным произведением, а был в первую очередь манифестом конца старого и начала нового искусства, являлся жирной точкой в истории живописи.

Несмотря на нонфигуративность большинства выставленных работ, у посетителей выставки рождались вполне предметно-оформленные аналогии, в общей концепции современники ощущали дух эпохи. Один из зрителей писал:

---

[1] Цит. по: *Крусанов А. В.* Русский авангард 1907–1932 гг. Исторический обзор. В 3 т. Т. 1. Боевое десятилетие. Кн. 2. М., 2010. С. 492.

[2] Цит. по: Там же. С. 654.

«Я расхаживал по выставке 0,10 и все вспоминал: да, где это я видел такие разбитые „кувшины“, такие угловатые „контррельефы“… И вот я вспомнил: точно такие же дома с выпотрошенной внутренностью я видел на фронте в сфере действия шрапнельного огня… „Мертвая природа“. Двенадцать номеров. Превращение живой природы в мертвую. Таков, очевидно, девиз футуризма и принцип войны»[1].

Художники пытались подтолкнуть зрителей к пониманию своих поисков, выпускали манифесты, публиковали статьи, однако в большинстве случаев им просто не верили. Хулиганы или сумасшедшие — наиболее распространенные эпитеты, закрепившиеся за художниками нового поколения. Даже именитые, опытные критики отказывали абстракционистам в теоретических обоснованиях. С. Маковский, Н. Радлов хотя и готовы были признать талантливость отдельных художников-футуристов, в целом оценивали это явление как проявление кризиса. В начале 1917 г. Н. Радлов даже называл их «недоучками» и гимназистами: «Со свойственной всем недоучкам любовью к философским отвлеченностям, художники „Союза молодежи“, „выставки 0,12“ и других подобных организаций услаждаются рассуждениями о „субстанции“, „реальности“, „концепции“, „вещи в себе“. В их теоретических исследованиях сквозит глубокомыслие гимназиста, проповедывающего свои опровержения доказательств бытия»[2]. Особенно доставалось от Радлова художникам Татлину, Пуни, Малевичу, Лентулову, Гончаровой, Розановой. Н. Пунин написал статью, в которой решил защитить живопись от того, что, по его мнению, живописью не являлось. Одним из объектов критики стал В. Кандинский: «Кандинский не знает, просто не понимает формы; он заменил ее приблизительным, интуитивно познанным и случайным отражением образов. Закономерность пространственных отношений его просто не интересует; он повинуется темпераменту, настроениям… в его мускулах нет настоящей воли мастера… Не чувствуется нарастания творчества, чувствуются лишь творческие конвульсии… Кандинский не знает и краски; он совершенно, например, не считается с принципом изменения цвета в зависимости от величины и качества поверхности; его цвета не проработаны, фактура бледна…»[3] Сейчас, конечно, смешно читать такие отзывы о признанном во всем мире основоположнике абстракционизма, посвятившем не только живописные, но и теоретические работы именно анализу формы. В 1911 г. в книге «О духовном в искусстве» Кандинский изучал возможности формы и цвета передавать духовное содержание, сравнивая живопись с музыкой: «Во всяком случае форма в более узком смысле есть не что иное, как отграничение одной плоскости от другой. Такова ее внешняя характеристика. А так как во всем внешнем обязательно скрыто и внутреннее

[1] *Крусанов А. В.* Русский авангард 1907–1932 гг. Т. 1. Кн. 2. С. 651.

[2] Аполлон. 1917. № 1. С. 8–9.

[3] *Пунин Н. Н.* В защиту живописи // Аполлон. 1917. № 1. С. 62.

(обнаруживающееся сильнее или слабее), то каждая форма имеет внутреннее содержание. Итак, форма есть выражение внутреннего содержания. Такова ее внутренняя характеристика. Здесь следует вспомнить недавно приведенный пример с фортепиано, пример, где вместо „цвета“ мы ставим „форму“; художник — это рука, которая путем того или иного клавиша (формы) должным образом приводит человеческую душу в состояние вибрации. Ясно, что гармония форм должна основываться только на принципе целесообразного прикосновения к человеческой душе»[1]. Однако подобные нападки на авангардистов являлись характерным примером раскола художественных элит, которые, возможно, являлись частным случаем более серьезного социокультурного раскола, поразившего российское общество накануне революции. Его общая черта — люди вдруг заговорили на разных языках, перестав понимать и слышать друг друга. Как Пунин не слышал того, о чем говорил Кандинский, так и представители разных политических партий переставали понимать друг друга. Начало войны и сцены «братания» идеологических оппонентов в стенах Государственной думы оказались лишь иллюзиями, мечтами о внутреннем примирении общества и отдельных его представителей с властью.

Состояние раскола обнаруживалось не только в искусствоведческих сферах, но и по части взаимоотношений художников и государства. Попытки цензурных властей подчинить задачам пропаганды и упорядочить набор художественных тем и сюжетов вызывали ненужное раздражение и оппозиционность в творческой среде. Так, еще в самом начале войны в газете «Речь» вспыхнула полемика по поводу приостановки выпуска журнала «Старые годы». Художникам начинало казаться, что в условиях войны в них перестали нуждаться. А.Н. Бенуа возмущался по этому поводу: «Одно из двух, или искусство есть нечто великое и святое, полезное и необходимое, или это игра, которой забавляешься, пока все обстоит благополучно, и которая вдруг может потерять смысл, когда в жизнь вступают вопросы истинно-серьезного смысла»[2]. В 1914 г. был арестован только вышедший из печати сборник «Рыкающий Парнас», иллюстрации для которого выполнил П. Филонов. Его рисунки были названы «непристойными» комитетом по делам печати (в свое время Н. Гончаровой пришлось доказывать в суде, что ее работы не являются порнографией). Неприятие властью и частью общества новых направлений в искусстве усугубляло конфликт и предопределяло уход в оппозиционность, революционизацию наиболее перспективных художников-новаторов. Не случайно большинство из них приветствовали события как Февраля, так и Октября 1917 г., — принцип уничтожения старого ради построения нового мира был созвучен их философско-творческим исканиям, но сказывался и предшествующий опыт

[1] *Кандинский В.В.* О духовном в искусстве. М., 1992. С. 49.
[2] Аполлон. 1914. № 8. С. 59.

противостояния с цензовыми ограничениями царской России. Вместе с тем революционность художников и даже их участие в политических акциях не всегда имели партийную основу. Показательно, например, что в 1917 г. П. Филонов сначала был избран председателем Солдатского съезда в г. Измаиле, а затем стал председателем Исполнительного военно-революционного комитета Придунайского края. Местные большевики первоначально считали его «своим» и предложили ему вступить в партию, на что художник ответил, что давно уже является членом партии — «Партии Мирового Расцвета». Обескураженный «товарищ»-большевик впоследствии вспоминал: «Мне до сих пор остались неведомы ни эта партия, ни ее программа, но что мы все хорошо после поняли — это то, что он не раз в трудные минуты нас обманывал». В конце концов пути революционных художников-авангардистов и революционной советской власти разошлись.

Размышляя о путях дальнейшего развития живописи, а также ее связи с современностью, искусствоведы в 1915 г. констатировали состояние временного перехода от прошлого к будущему. Так, Н. Радлов писал: «История проводит новую, резкую грань. Быть может, „двадцатый век" начнется с 1915 года. На рубеже новой эры пульс истории бьется быстрее и громче; мы как будто начинаем ощущать Время. Да, этот деятельный, живой дух — не простая априорность!.. Будущее кажется особенно неизбежным и загадочным, прошлое отодвинулось в глубь, отдельные моменты его расчленились и стала яснее их последовательность, а настоящее… разве оно есть теперь? Разве это не только мелькающая тень проходящего мимо нас Времени?»[1] Казалось, что лучше всего новую эпоху почувствовали представители авангардных направлений, в первую очередь футуристы. Если одни критики считали футуристов сумасшедшими, то другие называли их революционерами, покусившимися на сакральные ценности высокого искусства, пошедшие против его духовных основ. В журнале «Аполлон» близкую позицию озвучивал С. Маковский: «Футуристы, революционеры во имя наступающего царства машин, электричества, железобетона и аэропланов, увлеченные техническими победами „нового человека", не хотят считаться с вечными основами творящего духа. Мысли их слишком привязаны к земле, к вещественной стихии жизни; слишком упрямо отвернулись они от неба и далей неземных. Возлюбив материю и власть разума над природой превыше самой природы и божественного смысла ее, они создали кумир из праха и „гроба повапленного". Круг замкнулся. Живопись вернулась к культу вещи, к деревянному идолу и „каменному веку"»[2]. Конечно, Маковский слишком узко подошел к анализу феномена авангарда, противопоставление машины и природы, духа и вещи, через которое он попытался понять

[1] *Радлов Н.Э.* Будущая школа живописи // Аполлон. 1915. № 1. С. 14.

[2] *Маковский С.К.* По поводу «Выставки современной русской живописи» // Аполлон. 1916. № 8. С. 20.

природу футуризма, кажется сегодня наивным. В конце концов ни Н. Гончарова, ни П. Филонов, ни К. Малевич не отказывались от духа и природы, просто они пытались обнаружить духовные основы в том, что ранее ускользало от внимания художников, предпочитавших смотреть в прошлое, а не в будущее. Вместе с тем критик верно отметил черты культа машин. Начало XX в., ставшее эпохой машин (а Великая война рассматривалась как война машин), нельзя понять вне контекста технических изобретений, входивших в повседневную жизнь городских слоев и вносивших в нее новые особенности (например, иное ощущение повседневного времени, которое благодаря телефону и автомобилю начинало ускорять свой ход). Русское авангардное искусство фиксировало эти новые характеристики современности. Однако считать их обязательным атрибутом русского авангарда нельзя. Маковский ошибся, когда обвинил отечественных художников в тяге к «культу вещи». Наоборот, увлечение вещественностью больше соответствовало западноевропейской живописи. В 1920-е гг. в Германии сложилась «новая вещественность» — направление, которое пересматривало ценности авангарда и переосмысляло реалистические традиции. Одним из его направлений был «магический реализм», наделявший обыденные предметы мистическим содержанием.

Однако и в годы Первой мировой войны уже обозначились разные пути западноевропейского и русского искусства. Если в России в эти годы уверенно набирал популярность нонфигуративный абстракционизм, то в Европе война дала мощную подпитку развивавшемуся экспрессионизму с его обращением к психико-эмоциональной сфере. В итоге в русском и западноевропейском искусстве параллельно формировались две разные картины войны: в одном случае — обращение к глубинным, архетипическим образам мирового конфликта, с другой — запечатление внешних деталей, материального преображения мира. Экспрессионизм особенно способствовал поискам во втором направлении, не случайно впоследствии он вылился в такие течения, как «новая вещественность», «магический реализм». Рассмотрим лишь несколько наиболее характерных работ. Уже упоминалось, что на Западе особенно популярной стала тема войны и природы. На нее обращали внимание художники по обе стороны фронта. Так, британский автор Джон Нэш в картине «Лес у Оппи» создал почти апокалиптический, но вместе с тем вполне реалистичный пейзаж последствий ожесточенных боев, к этой же теме обратился немецкий художник Отто Дикс в картине «Траншеи», где изрезанная окопами и залитая кровью земля повторялась в такой же фактуре грозового красно-черного неба. Некоторую связь с этими работами можно обнаружить в акварели Добужинского «Пленные австрийцы», однако эта тема развития в русской живописи не получила. Не менее впечатляющими были графические работы О. Дикса, в которых он обратился к теме безумства войны. Одна работа так и называлась — «Ночная встреча с безумцем». Несмотря на свой экспрессионистко-символический

характер, она поднимала вполне реальную проблему массовых нервных расстройств, полученных участниками мирового конфликта. Психическую сферу в своих полотнах исследовал британский художник Уильям Орпен. Картина «Безумная женщина в Дуэ» была посвящена истории сумасшествия женщины, изнасилованной отступавшим немецким отрядом, а полотно «Бомбежка. Ночь» передавало страх людей перед ночными налетами, впервые примененными в годы Первой мировой войны.

Следует заметить, что в немецком и английском «высоком» изобразительном искусстве Великая война отразилась более выпукло, фактурно, чем в русском. Русские батальные художники обращались к определенному набору патриотических сюжетов, но за редким исключением делали это на низком художественном уровне, а настоящие мастера (Шагал, Петров-Водкин, Филонов, Лентулов, Гончарова и др.) игнорировали мелкие, частные темы, обращаясь к философско-религиозным интерпретациям войны как таковой. Уход от материальной реальности ради поисков новой визуальности характерен для многих представителей русского авангарда, которые все чаще обращались к нонфигуративной живописи. Не случайно ее расцвет пришелся на период Первой мировой войны. Супрематизм К. Малевича, абстракции В. Кандинского, аналитическая живопись П. Филонова и другие направления русского авангарда постепенно уходили в беспредметные сферы. Эта тенденция не способствовала фиксации отдельных вещей или актуальных сюжетов окружающей реальности, зато позволяла перейти на более высокий уровень философских обобщений и тем самым почувствовать Время и приближение новой эпохи — революции.

Помимо филоновских «Цветов мирового расцвета», ставших скорее результатом аналитических, концептуальных рассуждений художника, интуитивные предсказания надвигавшейся революции 1917 г. отразились в некоторых произведениях В. В. Кандинского, в частности в картине «Москва. Красная площадь», на которой обращают на себя внимание противоречивые тенденции: с одной стороны возникает ощущение рождающегося в пробивающихся сквозь тучи лучах солнца нового города, с другой — тревожным знаком оказываются кружащие над городом стаи черных птиц (ил. 41 на вкладке). В образном пространстве кануна революции черные птицы, главным образом вороны, олицетворяли собой внутренние «темные силы», в которых конспирологическое сознание усматривало причины всех бед. Тем самым Кандинский попытался (возможно, бессознательно) передать состояние тревожности, характерное для городских слоев осени 1916-го — зимы 1917 г. Также обращает на себя внимание композиция: расположенные под разными углами дома и церкви создают впечатление осколков, разлетающихся от взрыва нового мира. Сам художник, работая над картиной с лета 1916 г., пытался совместить трагическое с оптимистическим. Осенью 1916 г. он уже был доволен эскизом будущего полотна,

но отмечал, что все еще «мало трагического»[1]. Впоследствии художник признавался, что задумкой его было передать «лучший московский час», симфонию Москвы, «торжественный крик забывшего весь мир аллилуйя», но потомки увидели в его работе нечто иное: «апокалиптический образ катастрофы, видение рушащегося мира»[2]. Тем самым в восприятии зрителя картина наделяется более широким и глубоким содержанием, чем было задумано автором. Забегая вперед, отметим, что в ноябре 1917 г. художник-график Д. Мельников визуализировал октябрьский переворот большевиков в апокалиптическом образе рушащегося города, который он изобразил в кубофутуристической стилистике, напоминавшей картины А. Лентулова и В. Кандинского[3].

Исследуя особенности массового сознания, необходимо учитывать подобную эволюцию значений художественных образов от авторской интенции к зрительской интерпретации. Сочетание оптимистических задумок и трагических предчувствий характеризовало свойственное творческой интеллигенции кануна революции настроение «оптимистического апокалипсиса» как художников, так и их зрителей. Вероятно, картина «Москва. Красная площадь» — один из лучших примеров этого настроения.

Однако в русской живописной традиции к этому времени уже успел сформироваться другой, более конкретный и мощный образ революционной бури. Еще во время Первой российской революции современники были потрясены картиной Ф. Малявина «Вихрь», продолжавшей его работы из серии «Бабы». Обращаясь к тематике крестьянской жизни, художник стремился показать безудержную стихию женского начала, в котором революционный мотив прослеживался в буйстве ярких красок и смуглых лицах героинь. На таких полотнах, как «Смех» (1899), «Баба в желтом» (1903), «Две бабы» (1905), крестьянские женщины имели иронически-высокомерный и таинственно-распущенный вид, их смех скорее пугал, нежели веселил зрителя. Накануне первой революции в 1904 г. критик С. Глаголь писал о «бабах» художника: «Разве не веет от этих образов какой-то особой, смутной, титанической силой? Сила эта темна, стихийна и животна, но не таковы ли и должны быть бабы, рожавшие сподвижников Ермака, чудо-богатырей Суворова и понизовую вольницу? В этих кроваво-огненных красках чудится отблеск каких-то необъятных пожаров, какой-то оргии кровавой»[4]. Одной из самых знаменитых работ художника, продолжавшей серию «Бабы», стала написанная в разгар революции в 1906 г. картина «Вихрь», на которой его бабы вдруг пустились в безудержный пляс,

[1] *Сарабьянов Д. В., Автономова Н. Б.* Василий Кандинский: Путь художника. Художник и время. М., 1994. С. 142.

[2] Смутное // Некто 1917. М., 2017. С. 206.

[3] *Мельников Д.* Футуро-ретроспективный взгляд на Москву (Москва в октябре-ноябре). Будильник. 1917. № 37–38.

[4] *Стернин Г. Ю.* Художественная жизнь России начала XX века. М., 1976. С. 72.

имевший что-то от древнеязыческой мистерии (ил. 42 на вкладке). И.Е. Репин в эссе «О моде в искусствах и о последней моде в изобразительном искусстве» оставил о ней восторженный отзыв, почувствовав кроваво-оргиастическую атмосферу картины: «А у нас в России гениальным представителем нового вида искусства я считаю Ф. Малявина. А самой яркой картиной революционного движения в России — его „Вихрь". Еще издали это большое полотно поражает вас цветом свежей крови, залившей всю картину… Подходя, вы замечаете в хаосе окровавленных лохмотьев загадочно пляшущих русских баб… В лицах и движениях фигур видна холодная оргия медленных движений и затаенной жестокости на спокойных с виду лицах»[1].

В конце 1916 г. в Москве состоялась очередная выставка работ Малявина, на которой он представил как прежних своих «баб», так и новых. Критик записал впечатления от выставки: «Красная баба идет… Кажется, она все испепелит и своротит на своей дороге. Гудит эта картина, к зрительному впечатлению как будто примешивается и слуховое… Страшные бабы… Недаром Малявин возвращается к ним так настойчиво. Он в них почуял Россию»[2]. Помимо Малявина, тему «красной бабы» в этот период развивали живописцы-абстракционисты: данный образ появляется на картине Л.А. Бруни «Радуга» (1916), а также весьма примечательно второе название картины К.С. Малевича «Красный квадрат» — «Живописный реализм крестьянки в двух измерениях» (1915). Как известно, предчувствия не обманули Малявина: женское бунтарство действительно сыграло свою роль в событиях 23 февраля 1917 г.

Тем не менее в малявинских предчувствиях важен не только гендерный аспект, но и социальный. Важно, что художника вдохновляли именно крестьянки, а не, скажем, рафинированные интеллигентки или феминистки с суфражистками, среди которых также хватало решительных и безумных «баб». Как уже отмечалось, некоторые исследователи рассматривают начало XX в. сквозь призму «аграрной революции». Период Первой мировой войны является здесь особенным этапом, так как начало мобилизации порождает надежды на окончательное решение земельного вопроса в связи с послевоенным перераспределением земли (за счет немецких и австрийских земель, земель внутренних немцев-колонистов, помещиков и пр.). По мере рассеивания подобных иллюзий происходило обострение социальных противоречий в деревне, и с 1916 г. началось, как писали горожане, «баловство» — самовольные захваты помещичьих угодий, усадеб, поджоги поместий и т.д. Вопреки конспирологическому сознанию представителей власти и консервативных кругов общественности опасность исходила не сверху, со стороны тех или иных элит, а снизу, революция закипала среди просыпавшегося баловства-бунтарства простого народа.

---

[1] Новое о Репине. Л., 1969. С. 20.

[2] Московский листок. 1916. 20 декабря.



Ил. 43. П.Н. Филонов. Ломовые. 1915 © Русский музей, Санкт-Петербург

И это почувствовал не один Малявин. После Первой революции К. Малевич создает серию работ в стилистике «крестьянского кубизма», в которой неизменно присутствует красный цвет, а от портрета «Косарь» веет чем-то угрожающим. В годы Первой мировой войны П. Филонов пишет картину «Ломовые», в которой подчеркнута природная, звериная сила с виду спокойных мужиков (ил. 43). За их мощными спинами дрожит хрупкий город, на них лает собака, но временно извозчики остаются невозмутимыми, хотя их лошадиные лица демонстрируют скрытую угрозу. Такое же впечатление оставляет и другое произведение Филонова, законченное в 1916 г., — «Рабочие». Таким образом, можно сказать, что обращение к народным образам было не простой данью моде на развивающийся неопримитивизм, а являлось предчувствием, возможно, подсознательным страхом, вскипавшего народного бунтарства.

Конечно, русский авангард не был следствием усугублявшихся социальных противоречий, его едва ли можно считать рупором народного протеста, несмотря на косвенное отражение социальных явлений в визуальных образах. Что не менее важно, авангард зафиксировал иное измерение русской революции, выражавшееся в социокультурных коллизиях эпохи и представленное

столкновением разных культур, модерна и архаики. Именно поэтому современники усматривали в футуризме апокалиптические знамения, он весьма тонко выразил настроения, дух своей эпохи. Причем осознание этой провидческой силы авангарда пришло именно в годы Первой мировой войны. Ранее общество склонно было недооценивать феномен авангарда, но теперь относилось к нему как предвестнику революции: «Рассматривая футуристическое движение в широком социальном контексте как одно из проявлений происходившего у всех на глазах крушения старого мира со всеми его культурными ценностями, как один из эпизодов апокалипсического действа, А.Н. Бенуа видел в футуризме знамение времени, а Н.А. Бердяев говорил о футуризме как о части нарождающегося нового мира. Футуризм виделся уже отнюдь не бытовым явлением, а проявлением грозной силы мирового порядка»[1].

Также футуризм можно рассмотреть в контексте уже отмеченных тенденций начала XX в. — столкновения двух разных эмоциональных режимов. Если до сих пор речь шла о механическом перенесении деревенского эмоционального режима в городскую среду посредством миграционных процессов, то в контексте развивающегося авангарда можно говорить о развитии культурно-антропологического типа homo ludens («человека играющего»), описанного Й. Хёйзингой. Выше уже обращалось внимание на то, что критики отказывали Кандинскому в понимании формы. Однако причина этого парадокса в том, что традиционное искусствоведение предписывало миметическое (иконическое) отношение к форме, тогда как авангардисты экспериментировали с формой, играли с ней. Результаты этих игр казались неискушенным в современном искусстве зрителям старшего поколения кощунством, оскорбляли их чувства, вызывая гнев, вместе с тем молодежь большей частью веселилась на футуристических выставках и восхищалась полетом фантазии, оригинальными находками художников. Можно сказать, что выставки футуристов оказывались лакмусовой бумажкой эмоционального состояния общества, в котором закипали взаимоисключающие эмоции — гнев и страх, с одной стороны, и радость с интересом, с другой, — проявившиеся на первом этапе революции.

Таким образом, русское живописное искусство фиксировало время, эпоху, однако на период Первой мировой войны пришлось время глобального взгляда: вместо внимания к отдельным военным темам, сюжетам, деталям художники переходили на уровень онтологических обобщений, предчувствуя, что война становится переломным, ключевым моментом для всего XX в. Особенно показательна в этом отношении история русского авангарда. Не случайно

---

[1] *Крусанов А.В.* Русский авангард 1907–1932 гг. Исторический обзор. В 3 т. Т. 1. Боевое десятилетие. Кн. 2. М., 2010. С. 927.

Н.И. Харджиев, говоря о его периодизации, выделял первый этап — 1907–1917 гг., так называемый этап «боевого десятилетия»[1]. В этот период русский авангард сделал невозможный для современного ему западноевропейского искусства прыжок, при том что художественная традиция как база для такого прыжка в России отсутствовала[2]. Сарабьянов объяснил это революционным порывом, превратившим «все пространство между революциями 1907–1917 гг. в своего рода электрическое поле», а также складывавшейся «традицией разрыва» нового с прошлым, когда художники предпочитали смотреть не назад, а вперед, ломая любые стереотипы, в то время как их западные коллеги были последовательны в развитии художественных направлений. Тем самым художественные искания интеллигенции резонировали с социально-политическими процессами, происходившими в российском обществе, что также отразилось в живописных аллюзиях на распространенные в массовом сознании стереотипы и слухи (о «темных силах», например, или о «бабьих бунтах» и крестьянском «баловстве», характерных для неопримитивизма), а раз так, то и период 1914–1916 гг. может быть выделен в отдельный подэтап начала русского авангарда, обострившего отдельные художественные вопросы. Война в этом контексте отразилась лишь косвенно в живописи авангарда, как повод затронуть глобальные вопросы мироздания: «Маниакальная последовательность (художников-авангардистов в стремлении исчерпать все возможности направления. — *В.А.*)… объясняется тем, что искусство было поглощено „вышестоящими“ задачами. Решались общие проблемы бытия — соотношения земного и космического (Малевич), приоритета духовного над материальным (Кандинский), единства человечества в его историческом, современном и будущем состоянии (Филонов), реализации человеческой мечты в ее слиянии с людской памятью (Шагал). Эти общие проблемы были более доступны философии, чем живописи. Однако они решались именно в живописных формулах, а формулы получали философскую окраску»[3]. Тем самым визуальные образы русской живописи, в первую очередь авангарда в его широкой трактовке (включающей М. Шагала, К. Петрова-Водкина), в целом, в отличие от западноевропейского искусства, игнорировали отдельные сюжеты Первой мировой войны, переходя к более широким, философским обобщениям, в которых отражались бытийные проблемы эпохи мировой войны. Не случайно, что наиболее распространенными стали образы змееборчества, богоматери, а также мистические сюжеты, связанные с народной эсхатологией. Развитию последней способствовал проявлявшийся интерес к народному наивному искусству, в первую очередь лубку, и если лубочность реалистической школы

---

1 *Харджиев Н.И.* К истории русского авангарда. Стокгольм, 1976. С. 131.

2 См.: *Сарабьянов Д.В.* К своеобразию живописи русского авангарда начала XX в. // Сарабьянов Д.В. Русская живопись. Пробуждение памяти. М., 1998. С. 277.

3 Там же.

оказывалась признаком творческого кризиса или проявлением халтуры, то «новое искусство» смогло почувствовать в нем мощный творческий потенциал, обнажение скрытых архетипических образов, дававших импульс для осмысления современности. В этом можно усмотреть некое объединяющее начало многовариантного русского авангарда, проявившееся в 1914–1916 гг. Первая мировая хоть и не смогла надолго объединить общество на платформе военно-патриотической риторики, но заставила творческую интеллигенцию проникнуться общими настроениями эпохи. Война мыслилась в контексте решающей битвы «последних времен», за которой должен был наступить новый мир. В этом отразилось ощущение неизбежности революции, представавшей в двух измерениях: высоком, сакральном, как рождение нового мира, и низком, профанном, как народный бунт, предчувствовавшийся в серии крестьянских образов Малявина, Малевича, Филонова.

Лубочная продукция: между пропагандой и отражением массовых настроений

В то время как высокая живопись обращалась к лубочной визуальности, народный лубок, наоборот, избавлялся от своей наивно-фольклорной основы и сближался с пропагандистским плакатом. Тем не менее с начала войны периодическая печать отмечала возросшую популярность изобразительного сатирического лубка, который в доступной народу форме описывал предысторию мирового конфликта, основных участников, ход военных действий. Функции лубочной продукции достаточно разнообразны: это, безусловно, патриотическая пропаганда, воспевавшая героизм и отвагу русского воина и умалявшая достоинства врага (что само по себе несло терапевтическое содержание, являлось профилактикой страха), информационная функция, сообщавшая о реальных успехах русских и союзных войск в известных битвах, применявшихся технических средствах ведения войны, коммуникативная, обеспечивавшая через соотношение спроса и предложения обмен информацией между участниками дискурса, эстетическая функция и др. Показательно, что от произошедшего события до выхода его визуальной интерпретации в форме лубочной картинки могло пройти не более трех дней.

В 1916 г. начинающий художник и историк искусства В. А. Денисов опубликовал одно из первых исследований на тему отражения Первой мировой войны в народном лубке, в котором обратил внимание на информативную функцию этого вида искусства: «Лишь только раздались на границе первые боевые выстрелы, сейчас же звонким эхом отозвались они в лубке и тысячи, сотни тысяч ярко расцвеченных листков полетели с печатного станка в глубины России, обгоняя газеты и правительственные сообщения. Прежде чем деревня разобралась, как следует, „за что“ и с кем „погнали народ воевать“,

она уже видела немца — в каске, в синей одежде»[1]. Тем самым изобразительная продукция, по мнению автора, предшествовала официальной пропаганде и создавала свою, отличную от правительственной версии, картину войны. Примечательно, что Денисов, учитывая неофициальный характер народного лубка и его популярность среди малограмотных слоев населения, называл его «бойким приемным сыном» слухов и россказней[2]. Денисов сделал и другое важное наблюдение, связав динамику выпуска лубочной продукции с изменениями народных настроений. По его мнению, художественное творчество подпитывалось в первую очередь позитивными слухами и фактами об успехах русских войск в Галиции, «и чем более близким казалось сокрушение врага, тем смелее и заносистее становился лубок… Но как только началось обратное движение из Галиции, остепенился и лубок, а потом и вовсе замолк»[3]. Денисов не подтверждал свои наблюдения количественными данными, однако если обратиться к коллекции военно-патриотических лубочных картинок из собрания Государственного центрального музея современной истории России, то окажется, что из 387 изображений 307 картинок были изданы в 1914 г., 79 — в 1915-м и лишь 1 — в 1916-м[4]. Учитывая, что в 1914 г. лубок на тему начавшейся войны выпускался лишь в течение 5 месяцев, то получится, что в первый год в месяц в среднем выходило 61,4 патриотического лубочного изображения, а в 1915 г. — только 6,5, т. е. произошел десятикратный спад выпуска патриотической продукции.

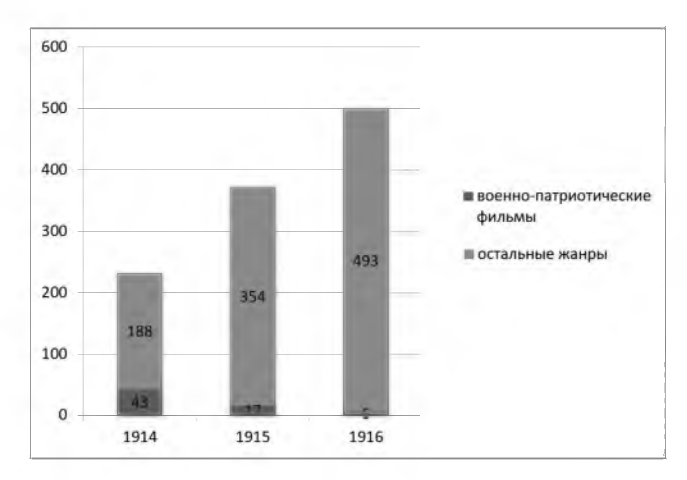
Вряд ли причина заключалась, как считал Денисов, исключительно во влиянии Галицийского отступления. Как уже отмечалось, патриотический дискурс имел не столько идейно-сознательное содержание, сколько эмоциональное. Эмоционально-патриотический перегрев первых месяцев войны неизбежно должен был смениться если не апатией, то снижением интереса к патриотической тематике в образованных городских слоях общества. Военные поражения, а также начавшиеся в стране в 1915 г. продовольственные затруднения и инфляция способствовали переключению внимания населения с внешних проблем на внутренние, являлись дополнительными стимулирующими факторами, рассеивавшими былой энтузиазм. Следует заметить, что иссякание творческого потенциала по мере затягивания войны и начала периода неудач характерно не только для лубка, но и, например, для кинематографического производства, которое фактически прекращает выпуск военно-патриотических лент в 1916 г. В отношении последнего правомерно предположить, что главной

1 *Денисов В. А.* Война и лубок. Пг., 1916. С. 1.

2 Там же. С. 2.

3 Там же. С. 4.

4 Подсчитано по: Лубочная картинка и плакат периода Первой мировой войны. 1914–1918 гг. Из собрания Государственного центрального музея современной истории России. Иллюстрированный каталог. Ч. 1. М., 2004.



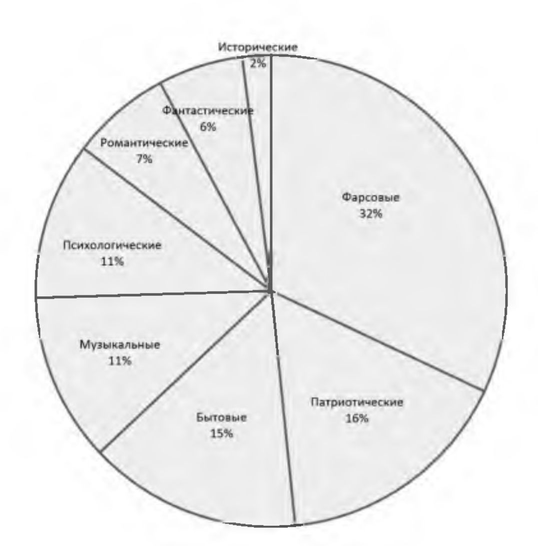
Ил. 44. Количество снятых военно-патриотических фильмов из общего числа лент

причиной сокращения и прекращения производства стали не столько усталость или творческий кризис режиссеров (хотя и это имело место), сколько падение спроса на патриотическую продукцию — зритель устал от агрессивной пропаганды, вступавшей в противоречие с реалиями.

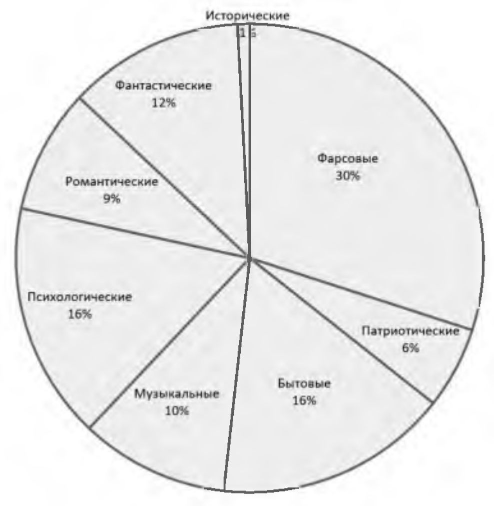
Жанровая статистика свидетельствует, что бум спроса на патриотизм, характерный в первую очередь для лета — осени 1914 г., иссяк в 1915 г. Военно-патриотические фильмы, снятые за август — декабрь 1914 г., составили 18,6% от всех вышедших кинолент. В первый год войны в среднем выпускалось 8,6 военно-патриотического фильма в месяц. Если учесть, что темпы кинопроизводства всех прочих фильмов за 1914 г. составили в среднем 15,6 фильма в месяц, то оказывается, что военно-патриотическая тематика задействовала более половины всех кинопроизводственных ресурсов. В дальнейшем темпы производства военно-патриотической продукции сильно упали: за 1915 г. было выпущено всего 17 фильмов (4,6% от общего числа лент), а за 1916-й, на который пришелся пик отечественного кинопроизводства, — всего лишь 6 картин (1,2%) (ил. 44).

Та же ситуация наблюдалась с театральными пьесами. Согласно отчетам петроградской драматической цензуры, количество военно-патриотических пьес заметно снижается в 1915 г.[1] Если за весь 1914 г. военно-патриотические пьесы (фактически появившиеся лишь во втором полугодии) составили 16% (заняли второе место) от общего числа, то в 1915 г. их процент падает до 6 (опустились на предпоследнее место, опередив только исторический жанр). При этом общая структура жанровых предпочтений современников принципиально не изменяется. В 1914 г. по степени популярности шли фарсовые на первом месте, патриотические — на втором, бытовые — на третьем, музыкальные — на четвертом и далее психологические, романтические, фантастические, исторические пьесы. В 1915 г. их порядок (за исключением потери патриотическими

[1] Подсчитано по: РГИА. Ф. 776. Оп. 25. Д. 1180. Л. 1—30 об.



Ил. 45. Пьесы, допущенные к постановке цензурой, по жанрам, за 1914 г.



Ил. 46. Пьесы, допущенные к постановке цензурой, по жанрам, за 1915 г.

пяти позиций) принципиально не изменился: фарсовые, бытовые, психологические, фантастические, музыкальные, романтические, исторические (ил. 45, 46).

Возвращаясь к лубку, заметим, что Денисов допустил одну принципиальную ошибку, по инерции сложившуюся с исследований Д. А. Ровинского, — отождествил понятие «военный лубок» применительно к хромолитографической продукции 1914–1915 гг. и «народные картинки». В отличие от гравюр, вырезавшихся на дереве анонимными народными умельцами со второй половины XVII в., значительная часть продукции периода Первой мировой войны народной не являлась. Строго говоря, лубок с XVIII в. становится более «профессиональным»: если в предшествующее столетие его вырезали торговцы на рынке, то теперь все чаще авторами оказывались иконописцы-знаменщики и граверы типографий, которые таким образом подрабатывали. Сатирический лубок в виде отдельных листов продавался на рынках, в мелочных лавках, книжных магазинах. Лубок создавался и кустарным способом, художники на тряпичной бумаге рисовали изображение и вручную его раскрашивали. Центром лубочного производства России была Москва, производством простонародных изданий славился купец И. Логинов. В московской губернии существовали села, для населения которых иллюминовка лубочных картинок являлась главным промыслом. У Спасских ворот, а также в торговых рядах лубочные картинки тысячами скупали офени и затем разносили по всей России, продавая по 2–3 копейки за лист[1]. Впрочем, многое зависело от способа изготовления и качества картинки. Так, согласно рассказу И. А. Голышева, в 1858–1866 гг. 100 картинок простовика крашеного, изготовлявшегося ручным способом народными умельцами (простовиками), можно было купить

[1] *Денисов В. А.* Война и лубок... С. 14.

за 60 копеек (0,6 копейки за лист), а 25 картинок листовой литографии стоили 1 рубль 25 копеек (5 копеек за лист)[1]. По мере совершенствования техники печати стоимость лубка падала, тем не менее в крупных городах, где покупатели были побогаче, лубок стоил дороже. В 1914 г. в Москве и Петрограде некоторые раскрашенные ручным способом картины стоили 20 копеек[2]. Офени занимались не только перепродажей, но и гравировкой: успешный офеня И. А. Сокоркин завел свою металлографию в деревне Богдановке Ковровского уезда Владимирской губернии. Занимались производством лубочной продукции на религиозную тематику и в монастырях.

Несмотря на разнообразие техник печатания, разный уровень народных умельцев, лубочные картинки XVII–XIX вв. имели одну принципиальную, важную особенность — демонстрировали наивный, неискушенный взгляд на события истории «снизу», из гущи народной массы. В соответствии с мировоззрением художника исторические события интерпретировались в религиозном или сказочном ключе, отражая тем самым не официальную позицию властей, а народное массовое сознание. Именно этим обстоятельством объясняется интерес, который проявляли к народным картинкам профессиональные художники, коллекционировавшие лубок и организовывавшие его выставки. Первой публичной выставкой лубка считается прошедшая в сентябре — октябре 1891 г. в здании Императорского вольного экономического общества и организованная Комитетом грамотности. С 24 марта по 7 апреля 1913 г. проходила устроенная М. Ф. Ларионовым «Выставка иконописных подлинников и лубков» в Художественном салоне на Большой Дмитровке. В феврале 1914 г. в здании Московского училища живописи, ваяния и зодчества состоялась «Первая выставка лубков», организованная Д. И. Виноградовым. На ней экспонировался лубок из собраний известных художников — М. Ларионова и Н. Гончаровой, И. С. Ефимова, Н. Ф. Роговина. В каталоге к выставке Ларионов обращал внимание на архетипическую природу лубка, которая позволяла связать современность с Древним миром, обнаруживала параллели народного творчества и футуризма: «Должно быть совершенно безразлично, когда возник лубок вообще, а русский лубок в частности… Самое удивительное, самое современное учение футуризм может быть перенесено в Ассирию или Вавилон, а Ассирия с культом богини Астарты, учение Заратустры, в то, что называется нашим временем. Ощущение новизны и весь интерес нисколько не пропадает, так как эти эпохи по своему существу, развитию и движению равные и рассматривать их под углом времени может только обездоленная ограниченность»[3]. Как было показано выше, интерес к архаичным техникам и архетипическим

---

[1] *Голышев И. А.* Картинное и книжное народное производство и торговля, 1858–1866 гг. // Русская старина. 1886. Март. С. 705.

[2] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1914. 13 ноября.

[3] *Ларионов М. Ф.* 1-я выставка лубка организована Д. Н. Виноградовым. М., 1913. С. 3.

образам соответствовал не только общей тенденции архаизации социальных отношений периода Первой мировой войны, проявившейся, в частности, в эсхатологической интерпретации современности, но и тенденциям развития живописного искусства.

Тем не менее в годы мировой войны с лубком происходят принципиальные изменения. Ужесточение цензуры вкупе с начавшейся патриотической пропагандой приводят к тому, что собственно народные картинки вытесняются с рынка картинками, прошедшими цензуру и изданными профессиональными хромолитографиями. Все чаще указываются фамилии профессиональных художников, рисовавших лубок. Иногда лубочные картинки являлись копиями работ профессиональных авторов. Среди художников — авторов лубка — Н. Самокиш, И. Владимиров, Г. Нарбут, О. Шарлеман, Н. Богатов, Д. Моор, Н. Ремизов, А. Апсит, А. Лентулов, К. Малевич и другие представители различных жанров и направлений русского изобразительного искусства. Правда, значительную часть составляют анонимные работы, вероятно полупрофессиональных авторов, включая и народных умельцев. В частности, типолитография И.Д. Сытина, выдававшая до четверти всей лубочной продукции, привлекала как профессионалов, например Д. Моора, так и художников-самоучек с Никольского рынка. Однако важно заметить, что при этом с лубком происходили важные стилистические изменения: народные художники старались копировать рисунки профессионалов, избавляясь от наивно-архаичных элементов (утрированного изображения персонажей, использования обратной перспективы, орнаментальности и пр.), тем самым лубок переставал отражать то, что так ценили в нем Ровинский, Ларионов и другие коллекционеры народного творчества. Искусствовед В.А. Славенсон в 1916 г. отмечала, что военно-патриотический лубок из «народных картинок» превратился в «картинки для народа», относя его к жанру «милитарной карикатуры»[1]. Вместе с тем исследовательница отмечала его многослойную структуру, связь с мировоззрением простого народа, считала его важным источником при изучении массовой психологии: «Лубок, в особенности современный, явление сложное и многоструйное, и если в нем есть струя подлинно народного творчества, то имеются и элементы, чуждые народной душе, навязанные ей и, к сожалению, значительные по своему влиянию»[2].

Последующие исследователи лубка начала XX века поддержали этот тезис. В частности, он был высказан советским искусствоведом М.М. Никитиным[3]. Такие современные авторы, как М.А. Алексеева, Е.А. Мишина, А.Г. Сакович, разделяют мнение о лубке как не столько о народном искусстве, сколько

---

[1] *Славенсон В.А.* Милитарная карикатура // Русская мысль. 1916. № 6.

[2] *Славенсон В.А.* Война и лубок // Вестник Европы. 1915. № 7. С. 92.

[3] *Дубин Б.В., Рейтблат А.И.* Из истории изучения «народной» культуры города: незавершенная книга М.М. Никитина о русском лубке // Советское искусствознание. Вып. 20. М., 1986. С. 395.

об «искусстве для народа»[1]. Вместе с тем О.Р. Хромов и вслед за ним Л.В. Родионова попытались «реабилитировать» лубок XX в., рассматривая его с полиграфической точки зрения и приходя к выводу, что хромолитографическая картинка начала XX в. являлась естественным продолжением развития лубочных изданий[2]. Авторы именуют лубок 1914–1915 гг. «народными картинками», имея в виду не народное производство и стилистику народного творчества, а их массовую распространенность и популярность в народе. Вместе с тем некоторые издательства, наоборот, стилизовали военный лубок под старинные народные картинки, пытаясь совместить старинную стилистику с современными сюжетами. Помимо этого, в лубке обнаруживаются приемы иконописи, присутствуют религиозные сюжеты, на основании чего Х. Ян предположил, что лубок играл определенную роль в религиозной жизни деревни, мог появляться в отдельных домах в «красных углах»[3]. В целом лубок Первой мировой войны в первую очередь относится к жанру пропаганды и при этом остается и источником при изучении массового сознания, так как происходившие с ним изменения отражали важные социально-психологические процессы, имевшие место в российском обществе.

Другой проблемой классификации является разграничение сатирического лубка и карикатуры. Если сравнить карикатуру периода Первой отечественной войны 1812 г. и сатирический лубок Второй отечественной войны 1914 г., то мы не обнаружим между ними принципиальных различий. Рассмотрим карикатуру одного из самых известных художников первой половины XIX в. И. Теребенёва «Русский Сцевола» 1813 г. (ил. 47) и сатирический лубок Д. Моора «Богатырское дело Козьмы Крючкова» 1914 г. (ил. 48). И то и другое изображение являются авторскими произведениями, посвящены высмеиванию врага, которое достигается одними и теми же приемами (гротескность и утрированность изображения), за основу сюжета взят один из мифов войны (источником теребенёвского сюжета стало газетное сообщение о том, как клейменный французами русский крестьянин отрубил себе руку), изображения содержат пояснительные надписи и авторские подписи (другие карикатуры Теребенёв нередко сопровождал сатирическими четверостишиями). Близки и размеры листов: 33,4×42,1 см у Теребенёва и 36,5×52 см у Моора. Отличается лишь техника печати: в одном случае это гравюра, раскрашенная вручную,

[1] *Алексеева М.А.* Русская народная картинка. Некоторые особенности художественного явления // Народная картинка XVII–XIX вв: материалы и исследования. СПб., 1996. С. 3–14; *Мишина Е.А.* Термины «лубок» и «народная картинка» (к вопросу о происхождении и употреблении) // Народная картинка… С. 15–28; *Сакович А.Г.* Московская народная гравюра второй половины XIX века (к проблеме кризиса жанра) // Народная картинка… С. 138–159.

[2] *Хромов О.Р.* Русская цельногравированная лубочная книга: исследование по истории книжной культуры и техники производства. М., 1998. С. 55; *Родионова Л.В.* Историко-книговедческие аспекты изучения русского лубка периода Первой мировой войны. Дис. … канд. ист. наук. М.: РГБ, 2004. С. 49.

[3] *Jahn H.* Patriotic culture in Russia… P. 28.



Ил. 47. И.И. Теребенёв. Русский Сцевола. 1813 // Верещагин В.А. Отечественная война. СПб., 1912. Т. II. С. 55



Ил. 48. Д. Моор. Богатырское дело Козьмы Крючкова. М.: Лит. Т-ва И.Д. Сытина, 1914. Хромолитография

в другом — профессиональная хромолитография, что объясняется разными эпохами в истории печатного дела. Таким образом, с визуальной точки зрения эти два листа должны принадлежать одному типу изобразительного источника — лубку или карикатуре. Однако принципиальное различие заключалось в целевой аудитории: карикатура начала XIX в. стоила дорого (от 1 до 3 рублей и более за лист), в то время как цена хромолитографических листов периода Первой мировой войны исчислялась копейками. Впрочем, разница в стоимости не зависела от самого изображения и его художественных достоинств, а всего лишь была следствием технического прогресса, удешевления печати. Но это создавало принципиальную разницу между лубком и карикатурой по их адресату: одна предназначалась для зажиточных городских слоев, другая — для простого народа. Тем не менее, если придерживаться подобного принципа разграничения лубка и карикатуры, то окажется, что в начале XX в. листовая авторская карикатура исчезает, что неверно в свете массового издания карикатур Д. Моора, Н. Ремизова и других известных художников-графиков. Поэтому на материале массовой сатирической изобразительной

продукции периода Первой мировой войны можно говорить о слиянии карикатуры и лубка.

Кроме условности границ между карикатурой и сатирическим лубком, также весьма зыбки различия между лубком и плакатом. Советское искусствоведение для разрешения этого парадокса пыталось использовать термин «массовое графическое искусство», которое объединяло и лубок, и плакат, и открытки, однако он не прижился в среде специалистов по отдельным видам графики. Тем не менее в настоящей главе под лубком будет пониматься вся совокупность массовых листовых изображений (как анонимных, так и авторских) в соответствии со сложившейся традицией и современной практикой хранения музейных, архивных и библиотечных коллекций. Использовались изображения из коллекций Российской государственной библиотеки[1], Государственной публичной исторической библиотеки, Государственного центрального музея современной истории России.

Выпуск патриотической продукции на первом этапе войны естественным образом вызвал повышенный интерес к лубку и привел к первым попыткам его классификации. Корреспонденты осенью 1914 г. отмечали громадный успех сатирического лубка у публики и обращали внимание на различия лубка московских и петроградских издательств: первые якобы ориентировались на вкусы простого народа, использовали карикатурные образы, в то время как столичные издательства уделяли больше внимание художественной стороне, стилизации под старину[2]. Вряд ли такая классификация точно соответствовала реалиям, скорее всего речь шла о продукции петроградских издательств «Хромо-лит. В.М. Шмигельского» и «Литографии Ш. Бусселя», выпустивших популярную серию «Картинки — война русских с немцами», ближе всего повторявших стилистику народного лубка, и московского объединения «Сегодняшний лубок», предлагавшего зрителям также стилизованные, но более карикатурные образы. Вместе с тем крупное московское издательство И.Д. Сытина выпускало наиболее распространенный тип реалистического батального лубка, не вписывавшийся в классификацию корреспондента. Сытинская продукция отличалась наибольшим стилистическим и качественным разнообразием, так как издавала авторские работы профессиональных художников и анонимные художников-любителей.

И.Д. Галактионов, посетив в 1914 г. выставку «Печать и война», опубликовал доклад, посвященный военному лубку, в котором сделал вывод о возрождении жанра лубочной продукции в связи с войной и предложил сюжетно-стилистическую классификацию лубочной продукции, выделив следующие группы:

---

[1] Автор выражает благодарность заведующей отделом изоизданий РГБ Любови Витальевне Родионовой и хранителю открыток отдела изоизданий РГБ Анне Николаевне Лариной за помощь при работе в хранилище.

[2] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1914. 13 ноября.

«Первая — портреты героев войны, иногда похожие, а иногда имеющие самое отдаленное сходство с теми, кого они должны изображать. Вторая — эпизоды войны, воспроизводимые как бы с фотографий… которые представляют собой просто плохую хромолитографию. Третьи — целый ряд сражений на суше, на море и в воздухе, очень похожие на картины, изображающие войну русских с турками, и глядя на них, просто кажется, что все они скалькированы со старых картинок… Четвертая — довольно многочисленная группа, в которой современные нам художники, создавая лубок, иногда придавали ему вид футуризма… пятая — тот лубок или скорее подражание лубку, которого так много собрано и описано Д. Ровинским… Весь же отдел лубка на этой выставке подтверждает мнение, что лубок не умер, а был в летаргии и теперь разбуженный громом пушек опять воспрянул и отразил в своем многообразии нашу жизнь, и опять все услышали его безобидный русский смех»[1].

В целом классификация лубка Первой мировой войны по стилистике позволяет выделить следующие группы: реалистический лубок (доминирующая группа), стилизованный под старинный народный (псевдонародный), стилизованный под детский рисунок (также современники его называли футуристическим, учитывая, что именно художники-футуристы чаще всего прибегали к подобной стилистике). С точки зрения жанров — портретные изображения, батальный лубок (морские сражения, на суше и в небе), бытовой (проводы и встречи солдат, фронтовые будни), аллегорический лубок (часто сближался с плакатом). По эмоциональной составляющей можно отметить сатирический (высмеивающий врага), героический (возвышающий своих), трагический (зверства немцев) и смешанный, в котором гротескно-карикатурные изображения врагов соседствуют с реалистическим и героическим изображением русских воинов. Последний жанр часто был следствием неумелости народных художников, старавшихся изобразить героическое действо, но в итоге добивавшихся лишь комического эффекта.

Больше всего лубочных произведений относилось к реалистическому героико-трагическому лубку батального жанра, в котором доминировали сухопутные сражения. Чаще всего художники отражали события Юго-Западного фронта, так как именно на этом направлении в начальный период мировой войны ситуация для России складывалась удачнее всего. Л.В. Родионова по собранию лубка из фонда Российской государственной библиотеки подсчитала, что 86 картинок описывают события на Юго-Западном фронте, 57 — на Кавказском, 52 — на Северо-Западном и 34 касаются Варшавского направления[2]. Если рассмотреть военно-событийный лубок и плакат из собрания Государственного центрального музея современной истории России, то окажется, что

---

[1] *Галактионов И.Д.* Лубок. Русские народные картинки: доклад, прочитанный на Общем собрании членов [Общества служащих в печатных заведениях] 15 ноября 1914 г. Пг., 1914. С. 34.

[2] *Родионова Л.В.* Историко-книговедческие аспекты изучения русского лубка… С. 102–108.



Ил. 49. Великая европейская война. Воздушный бой. Геройский подвиг французского летчика Гарроса. М.: Лит. т./д. «А. П. Коркин, А. В. Бейдеман и К°». Хромолитография. Текст: Война рождает героев… / …Неувядаемая слава славному сыну Великой Франции!

77% изображений приходится на сухопутные сражения, 6,5% — на бытовые картинки, включая лазарет и плен, 6% — на морские баталии, 5,5% — на зверства немцев (преимущественно) и турок, 4,5% — на воздушные бои[1]. Преобладание картинок, изображающих сухопутные сражения, не означает, что именно сухопутные схватки прочнее всего врезались в сознание современников, так как художественный объект необходимо оценивать по силе (оригинальности, целостности, выразительности) художественного образа. С этой точки зрения относительно ярко и драматично изображались воздушные и морские сражения (ил. 49). Правда, беспомощность многих художников как в рисунке, так и в композиции сводила на нет все попытки эмоционального воздействия на зрителя. Вероятно, единственное чувство, которое испытывали зрители, рассматривая подобные картинки, — непродолжительное любопытство.

Несмотря на низкую художественную ценность отдельно взятых картинок и использование штампов, даже в реалистическом лубке можно заметить некоторую исполнительскую иерархию. Так, обращаясь к батальному жанру, многофигурным композициям художники проявляли свою степень владения

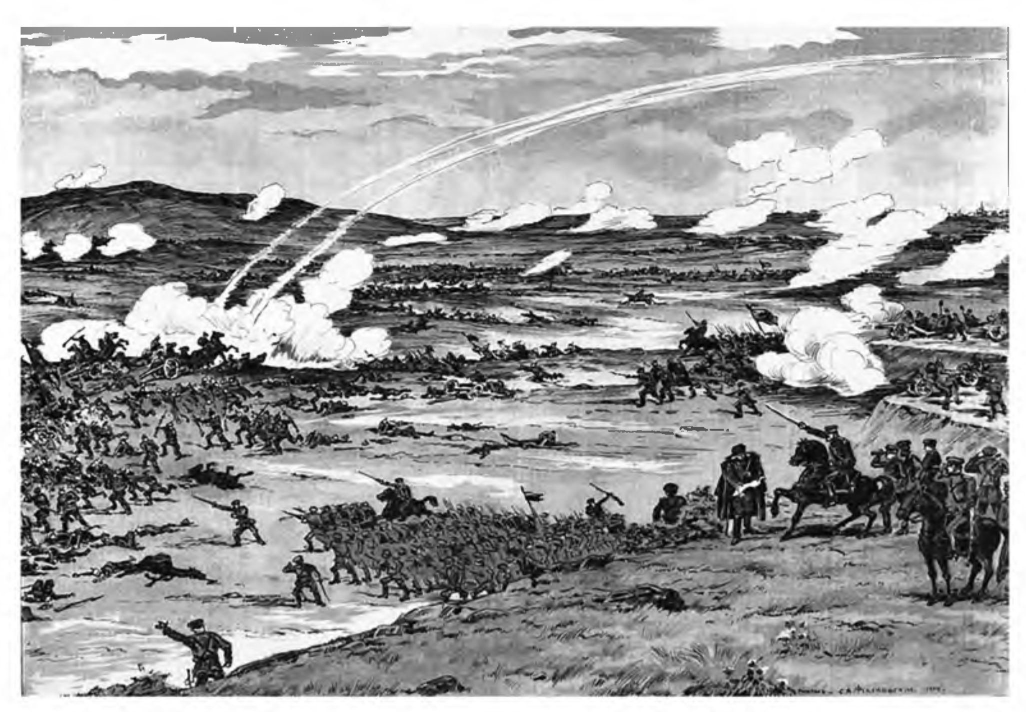
[1] Лубочная картинка и плакат периода Первой мировой войны. 1914–1918 гг. Из собрания государственного центрального музея современной истории России. Ч. 1. Событийный лубок. М., 2004.



Ил. 50. Н.А. Богатов. Сражение под Варшавой. М.: Лит. Т-ва И.Д. Сытина, 1914. Лубок

ремеслом рисовальщика. Допустим, известный художник-иллюстратор Н. Богатов, сотрудничавший с издательством И.Д. Сытина, намного успешнее справлялся с такими картинками, чем, к примеру, полупрофессиональный художник С.Я. Фиалковский, чьи картинки издавало одесское издательство М.С. Козмана (ил. 50, 51). В богатовском лубочном рисунке «Сражение под Варшавой» удачно были прописаны три плана, каждому из которых соответствовал свой период битвы: в то время как на переднем плане разыгрывалась самая жаркая сеча, средний план был заполнен убитыми и ранеными воинами, а третий представлял собой пустынный пейзаж с редкими деревьями. Фигуры персонажей на переднем плане были хорошо прописаны, с мельчайшими деталями, позы их разнообразны, в то время как Фиалковский намного хуже владел рисунком людей и изображал солдат в повторяющихся позах и ракурсах. На другом лубке Фиалковского, посвященном подвигу К. Крючкова, художник умудрился нарисовать скачущую лошадь с вывернутыми в обратную сторону суставами передних ног.

Также к смешанному героико-трагическому типу лубка можно отнести бытовой жанр, изображавший будничные сюжеты военного времени. Один из центральных — мобилизация и проводы воинов — лучше всего сочетал тему героизма отправлявшихся на фронт солдат с горем прощавшихся с ними жен и матерей. Вместе с тем акцент, по понятным причинам, делался на позитивных эмоциях. Так, например, известна лубочная картина «Проводы на войну

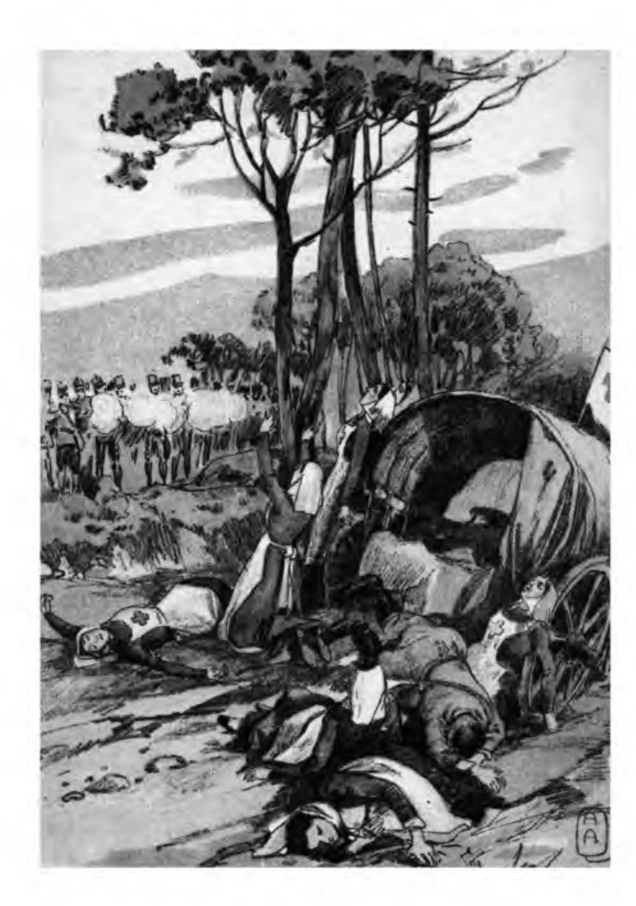


Ил. 51. С.Я. Фиалковский. Сражение под Гумбиненом. Одесса: Книгоизд. М.С. Козмана, 1914. Лубок



Ил. 52. Проводы на войну за святое дело. М.: Б.В. Кудинов, б.г. (Типолит. т./д. «Бр. Евдокимовы»). Лубок

за святое дело» московского издателя Б.В. Кудинова, на которой изображались проводы солдатками запасных на вокзале (ил. 52). Атмосфера была написана праздничной, солдаты прощались с женами, играли на гармошке, весело размахивали фуражками. Под картинкой размещался текст «Новой солдатской песни»: «Трудно братцы собираться, / Оставлять детей, жену / Да приходится прощаться / Отправляться на войну / Как ни тошно, как ни горько / Но мы все перенесем / Лишь приедем к месту только / На позиции пойдем / Император ихний гордый / Хочет нас он покорить / Мы покажем тебе подлый / Как с Россией надо жить / Ты не знаешь русской силы / Не пытал ее штыка / Как



Ил. 53. А.А. Калиш. Во время столкновения австрийцев с русскими в Подволочиске австрийцы убили 15 сестер милосердия Красного Креста. М.: Соб. издание Типолитография «Виктория», б.г. Лубок

копать себе могилу / Или корчить дурака / Не пришлось живьем вам сглотить / Белорусского царя / Лишь придется прокричать нам / Наше русское ура!» При этом центральные персонажи — стоящие в обнимку солдатка с солдатом — контрастировали с праздничной толпой.

В целях пропаганды иллюстрировались сфабрикованные слухи о немецких зверствах. Для придания им большей убедительности указывалось, где именно и когда произошло описанное событие. Так, на одной открытке изображался расстрел немецкими солдатами русских сестер милосердия, якобы имевший место в Подволочиске (ил. 53). Наибольшей популярностью у художников пользовалась трагедия, произошедшая в Калише, где 22 июля 1914 г., как уже упоминалось, вследствие начавшейся паники действительно имела место стрельба немцев по мирным жителям (ил. 54). Этот сюжет эксплуатировался художниками в разных формах.

Однако лубок 1914 г. был направлен не только на высмеивание и обличение «чужих», но и на создание позитивного образа «своих». Как правило, в этом случае использовались традиции средневековой книжной миниатюры, иллюстрации сказок и собственно народного лубка предшествовавших столетий. Среди героев патриотического лубка — генералы и рядовые русской армии, чья отвага воспевалась петроградским «Биохромом», московскими издательствами



Ил. 54. Война России с немцами. Зверства немцев. М.: Типо-лит. торгового дома А.В. Крылов, 1914. Лубок



Ил. 55. Генерал от кавалерии А.А. Брусилов. М.: Издание И.Д. Сытина, 1915. Лубок

И.Д. Сытина, «А.В. Крылов и К», киевским издательством И.Т. Губанова, одесскими М.С. Козмана, Б.И. Нордега, вильновским Х.И. Ласкова, казанским «В. Еремеев, А. Шашабарин и К» и др. Условно можно выделить два типа изображений: портреты полководцев и отличившихся в реальных военных операциях офицеров и рядовых. Помимо главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, лубочные листы запечатлели командующих фронтами и отдельными армиями, известных генералов. Они были выполнены либо в форме традиционных парадных портретов, либо жанровых. Среди жанровых портретов после главнокомандующего лидировал А.А. Брусилов. Патриотический лубок начал героизацию А.А. Брусилова задолго до его «прорыва» в 1916 г. Славу генерал получил еще в августе 1914 г. после взятия Галича. В 1915 г. литография И.Д. Сытина выпустила в свет картину, изображавшую генерала-кавалериста несущимся галопом и на ходу принимающим донесение офицера (ил. 55). Несмотря на характерную для лубка невыразительность цветотонального решения,



Ил. 56. М.Г. Равицкий. Геройский подвиг донского казака Козьмы Крючкова. М.: Т-во типолит. И.М. Машистова, б.г. Хромолитография. Лубок



Ил. 57. Геройский подвиг Донского казака Козьмы Крючкова во время схватки с немецкими кавалеристами. М.: Хромо-лит. И.А. Морозова, б.г. Хромолитография. Лубок

сам по себе рисунок был достаточно динамичен. Тем не менее изображения генералов в количественном отношении уступали образам героев из народа, так как патриотический лубок призван был подчеркнуть народный характер войны.

Среди народных героев по частоте изображений лидировал К. Крючков. Художники не стремились точно воспроизвести расписанный в печати героический миф о нем. Так, в одном случае казак рубал врагов саблей (даже не шашкой), в другом — колол пикой с винтовкой за спиной, хотя по официальной версии он выронил винтовку, когда немец ударил его саблей по кисти руки. Х. Ян пишет, что практически все издательства, выпускавшие лубок, имели собственные версии этого подвига[1]. Л.В. Родионова насчитала в собраниях РГБ и РНБ 36 разновидностей лубков, посвященных подвигу казака, и хотя исследовательница отметила идентичность композиционной структуры сюжета, обратила внимание, что Крючков предстает перед зрителями то в пешей, то в конной схватке, то старым, то молодым, то с усами, то без них[2] (ил. 56, 57).

[1] *Jahn H.* Patriotic culture in Russia… P. 24.

[2] *Родионова Л.В.* Образ Кузьмы Крючкова в русской лубочной картинке Первой мировой войны // Румянцевские чтения — 2003. Культура: от информации к знанию. М., 2003. С. 203–204.



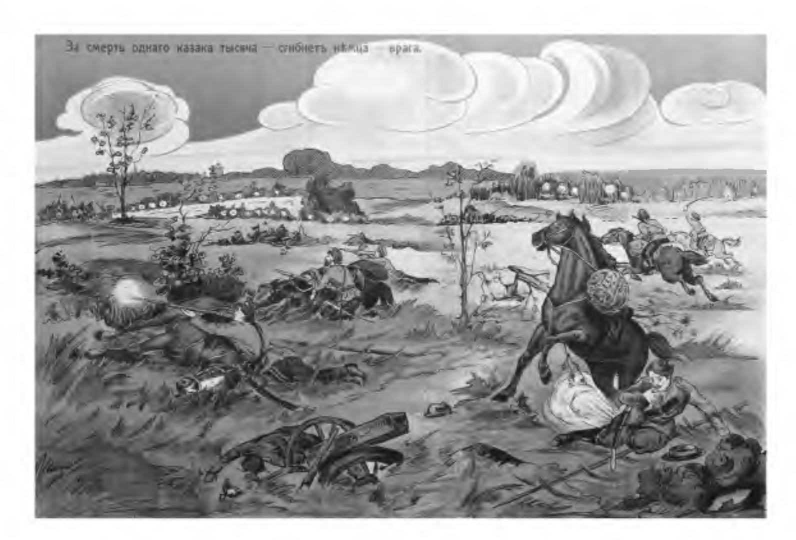
Ил. 58. С.Я. Фиалковский. Геройский подвиг рядового Каца. Одесса: книгоизд-во М.С. Козмана, 1914. Лубок

При этом Ян и Родионова склонны переоценивать культурно-историческую роль образа героя К. Крючкова, не учитывают ни низкий художественный уровень военно-патриотического лубка, ни известное по свидетельствам современников раздражение в солдатской среде раскручиванием его истории (выпускались даже папиросы «Козьма Крючков»). Среди скептиков имя К. Крючкова становилось нарицательным, в ходу был даже термин «кузьмокрючковство», обозначавший выпуск патриотической продукции сомнительного качества[1]. Среди казаков ходили альтернативные истории «подвига», согласно которым Крючков получил ранения во время бегства от немцев.

Чуть реже воспевался подвиг штабс-капитана П.Н. Нестерова, впервые применившего в воздухе боевой таран. Сцены воздушных боев были самыми зрелищными и потому привлекали художников. Но не всем хватало технических знаний, чтобы релевантно передать подробности боя, конструкцию и тип самолета. Так, гродненское товарищество «С. Лапин с С-ми» издало хромолитографию, на которой Нестеров совершал таран, стреляя одной рукой из револьвера в выпавшего из самолета австрийского летчика (в действительности, вражеских летчиков было двое, и после того, как Нестеров разбился, они еще какое-то время продолжали лететь, пока не упали вместе с самолетом), а другой держащегося за баранку своего моноплана (Нестеров летел на легком французском моноплане «Моран», а австрийцы на тяжелом биплане «Альбатрос»). Неудивительно, что такое небрежное управление самолетом привело к трагедии.

Кроме Крючкова и Нестерова, прославлялись подвиги полковника Комарова, поручика Смирнова, унтер-офицера Панасюка, казачьего сотника Боткина, рядового Выжимоки и др. Вопреки шедшим из Ставки слухам о повальном предательстве евреев, одесское книгоиздательство М.С. Козмана напечатало лист «Геройский подвиг рядового Каца», иллюстрировавший подвиг солдата-еврея, награжденного Георгием III степени за то, что, укрывшись со своим отрядом в засаде, ночью атаковал превосходящие силы немцев, воспользовавшись тем,

[1] *Купцова И.В.* Художественная жизнь Москвы и Петрограда в годы Первой мировой войны (июль 1914 — февраль 1917 г.). СПб., 2004. С. 108.



Ил. 59. За смерть одного казака тысяча — сгибнет немца-врага.
М.: Типолит. П. А. Пескеронова и Н. И. Горюнова, б. г. Лубок

что в темноте немцы не смогли точно определить силы русских солдат (ил. 58). Как и в случае с Крючковым и Нестеровым, художника мало интересовали фактические детали: штыковая атака на лубке происходила при свете дня. Вместе с тем низкий профессиональный уровень художника С. Я. Фиалковского, плохо владевшего как рисунком, так и композицией, едва ли мог позволить стать популярным этому сюжету.

В изображении своих доминировали позитивно-героические образы, подчеркивавшие удаль, смекалку, отвагу русских воинов. Как правило, они иллюстрировали удачные вылазки, военные операции тех или иных частей армии. Но иногда встречались и трагические сюжеты, изображавшие гибель русских войск, как, например, на лубке под заголовком с сомнительным синтаксисом «За смерть одного казака тысяча — сгибнет немца — врага». На первом плане картинки были изображены убитые и раненые казаки, некоторые пытались отстреливаться. Наивная подпись под изображением предполагала, что все убитые будут отомщены: «Пуля шальная разит казака, / Пуля шальная не доблесть врага. / Пика — не пуля и с пикой казак / Ринется в бой и рассеется враг!» (ил. 59). Тем не менее в подавляющем большинстве лубочных картинок доминировал образ войны как забавы, наказания зарвавшегося врага. Враг был представлен как отступивший от правды, Бога, а потому слабый и обреченный на поражение. В конце концов такая недооценка противника в виртуальной картине войны начинала раздражать солдат, которые в реальных боевых условиях сталкивались с силой и мощью военной машины Германии, превосходившей по количеству тяжелой артиллерии, пулеметов, боеприпасов русскую армию.

Несмотря на то что война способствовала распространению народной религиозности, слухов о чудесных явлениях богородицы, Христа и святых, что



Ил. 60. Суворов и Слава. Текст: Суворов. Что такое там творится?.. / Ничего не разберу. / Слава. То казачья лава мчится, / Чтоб рубить всю немчуру! / …Побеждай не уставая, / Славный чудо богатырь!.. Хромолитография. Б. м., б.г. Лубок



Ил. 61. Явлюся ему Сам. М.: Литография т-ва И.Д. Сытина, 1914. Лубок

активно поддерживалось официальными церковными изданиями, пропагандирующими войну как священную, последнюю битву добра со злом, патриотическая лубочная продукция эти тенденции отразила очень слабо. Главная причина — цензурные ограничения на изображение чудесных явлений, что в случае неканонической формы могло быть интерпретировано как кощунство. Тем не менее можно привести в пример как минимум две картинки религиозной тематики. На одной был представлен А.В. Суворов, наблюдающий с небес вместе с архангелом за битвой Первой мировой, на другой, изданной в типографии И.Д. Сытина и названной словами из Евангелия от Иоанна «Явлюся ему сам», изображался Христос, спустившийся к раненому воину (ил. 60, 61). Это изображение было распространено в годы войны, публиковалось в иллюстрированных журналах, а среди сытинской продукции известно два его варианта.

Вероятно, наибольшей популярностью в народе пользовался сатирический лубок, по причине как более ярко выраженной эмоциональной составляющей, так и большей визуальной оригинальности. Сатирический лубок отличался жанровым и стилистическим разнообразием, среди издававшихся серий можно отметить как дешевые, наспех напечатанные карикатуры на тонкой бумаге низкого качества, так и высококачественные картинки, ориентированные на коллекционеров и ценителей лубочного искусства.



Ил. 62. Немецкий Вильгельм по русским пословицам. М.: Типолитография И. М. Машистова, 1914. Хромолитография

В отличие от героического лубка, сатирический в большей степени соответствовал исконным традициям подлинного лубочного искусства. Народный лубок не просто отражал какие-то события или образы, он также был призван рассказывать истории, просвещать народ, поэтому народный лубок нарративен. Довольно часто использовалась структура житийных икон, при которой главный персонаж располагался в центре (среднике), а вокруг него в клеймах — основные события биографии. Народный лубок часто обращался к религиозной тематике, но при этом отходил от иконописных канонов, создавая свою, народно-апокрифическую версию библейской истории. В произведениях периода Первой мировой войны структура житийной иконы часто использовалась как прием героизации и сакрализации главного персонажа. Однако встречается этот прием и в сатирическом лубке, превращаясь в комикс. Тем самым создается инверсивный образ — прием, являющийся сакрализацией персонажа, используется, наоборот, в целях его профанизации. Такой

конфликт высокого и низкого, типичный для карнавальной культуры, призван был усилить комический эффект и, нужно полагать, имел успех в определенных кругах зрителей (ил. 62).

Типичным примером подобного приема является лубок «Немецкий Вильгельм по русским пословицам», изданный в московской типолитографии И.М. Машистова. В среднике был изображен голый Вильгельм II, плывущий в тазу-феске по морю с мечом в одной руке и полудохлым немецким орлом в другой. Надпись под центральным рисунком гласила: «Большому кораблю — большое плавание. / Хоть нагишом да с палашом. / Хоть телишом да в шапке. / По Сеньке шапка». По краям в клеймах располагались рисунки основных направлений деятельности Вильгельма, а в правом нижнем углу в рисунке под названием «Конец» германский император был изображен в аду.

Близким этому типу изображения был сказочный лубок, повествующий в юмористическом ключе о подвигах русских народных героев. Один из них под названием «Сказка о немце, казаке и русском скипидаре» рассказывал о том, как по пути на рынок казак встретил немца (был изображен Вильгельм II), чья кобылка медленно плелась, и предложил намазать ее под хвостом скипидаром, чтобы бежала резвее. Немец согласился, но кобыла после этого взбесилась и ускакала. Расстроенный немец спросил казака, как ему теперь быть, на что казак предложил и немца подмазать скипидаром. После этого рванул уже немец, обогнав свою кобылу. В последнем клейме был изображен бегущий мимо жены-Германии и приятеля Франца Иосифа Вильгельм. Подпись передавала короткий диалог: «„Стой! Куда, завоеватель!“ — кричат ему жена и Франц приятель. — „Вы тут кобылку мою переймите, а меня не скоро ждите, от русского скипидара, — вот досада, — мне еще бежать надо!“»

Народный лубок в ряде случаев содержал политический контекст, что особенно характерно для старообрядческого лубка XVIII в., в котором в роли антагониста выступал Петр I. Исследователи отмечают, что один из самых известных сюжетов народного лубка — «Как мыши кота хоронили» — имел антипетровскую направленность, так как царя нередко изображали в кошачьем образе[1]. Для подцензурного, официально издававшегося сатирического лубка подобная оппозиционная составляющая не была характерна, но иногда встречались исключения. Так, на лубке под названием «Что русскому здорово, то немцу смерть» рассказывалась история о том, как казак сбежал из немецкого плена, прихватив с собой вражеского полковника (ил. 63). На последней картинке был изображен казак с плененным немцем и командир. Однако у всех троих персонажей угадываются портретные сходства с распространенными визуальными образами известных исторических лиц: казак представлен в образе К. Крючкова (характерные рыжие кудри, выбивающиеся из-под сдвинутой

[1] *Ровинский Д.А.* Подробный словарь русских граверов XVI–XIX вв. СПб., 1895. Т. 1. Стб. 235.



Ил. 63. Что русскому здорово, то немцу смерть. М.: Литография т-ва И.Д. Сытина, 1914. Фрагмент лубка



Ил. 64. Карта Европы в лицах (в начале войны). Текст: Немка — старая вояка / Тычет в шею австрияка, / …А не то его клыки / Разорвут тебя в клоки! М.: ДIXI, б.г. Хромолитография

набекрень фуражки), немец — Вильгельм II (отличительным атрибутом кайзера были усы, германского императора чаще всего изображали в каске пикельхельме, но когда без каски, то часто лысым или с короткой стрижкой «бобриком»), а командир казака — Николай II (подчеркнутая курносость, рыжий цвет волос, характерные усы и бородка, хотя, нужно отметить, что некоторые офицеры сознательно стригли усы и бороду под Николая). Сама по себе роль командира-Николая в этом лубке нейтральная, однако карикатурное изображение царя не допускалось цензурой и противоречило патриархальным основаниям самодержавной власти. Кроме того, двусмысленностями отличалась подпись под картинкой: «Извольте, ваше благородие, получить немецкую певицу в полковничьем чине». Как известно, в чине полковника был сам российский император, а неожиданное и не обоснованное сюжетом лубка упоминание певицы могло быть интерпретировано в качестве намека на слабость царя к артисткам оперы и балета (в обществе ходили слухи о любовных похождениях Николая II, в частности о его связи с балериной М. Кшесинской).

К сатирическому лубку можно также отнести карты Первой мировой, на которых страны-участницы представлены в характерных национальных образах зверей или человеческих персонажей (ил. 64). Подобная продукция была особенно популярна на Западе, но российские художники нашли оригинальное развитие этой темы: страны-персонажи были выведены из профилей границ. Так, Россия была представлена носатым и бородатым «храбрым русским молодцем»: «Храбрый русский молодец, / Зубоскал и удалец. / Добродушен

он покуда, / Разозлится — будет худо»; Германия — старухой: «Немка — старая вояка / Тычет в шею австрияка»; Турция — свиньей: «Только Турция для слуха / Подняла свиное ухо» и т. д. Выпуск доступных для простого народа политических карт (впрочем, упомянутая карта стоила не демократично — целых 25 копеек) выполнял важную национально-идентификационную функцию, актуальную в условиях недостаточного развития национального самосознания низших слоев населения.

Издавались также карты с изображением завоевательных планов Германии. На одной из них, под названием «Бред Вильгельма. Карты будущей Европы в представлении у германцев», к Германии отходили земли по Санкт-Петербург включительно, а Австро-Венгрия получала территории вместе со Смоленском. Издавался комбинированный лубок, в котором сочетались карта военных действий и сатирический сюжет. Издательство «Петроградское печатное производство» наладило выпуск оригинальной серии «движущей карикатуры». На оборотной стороне листа была изображена карта европейской войны, а на лицевой располагались элементы изображения, которые следовало вырезать и соединить ниткой, после чего картинки «оживали»: воин в форме астраханских казаков начинал лупить Вильгельма нагайкой по «мягкому месту», а донской казак размахивал огромными кулачищами с татуировками «для немца» и «для турка».

Одной из известных лубочных серий был изданный в 1914 г. набор «Картинки — война русских с немцами», относившийся к жанру стилизации. Серия издавалась тремя петроградскими типолитографиями — Ш. Бусселя, А. П. Павловой и В. М. Шмигельского. Первоначально изображение вырезалось на дереве, а затем печаталось на высокосортной бумаге верже или на ткани, что обусловливало высокую стоимость этой серии. Впрочем, картинки продавались и по отдельности, а не только набором, могли печататься на бумаге более низкого сорта. Рисунки были выполнены известным художником-графиком Н. П. Шаховским. К серии прилагался «лицевой летописец» «О тевтонской брани на Словене», автором которого был В. И. Успенский. В большинстве случаев Шаховский перерисовывал старинные русские лубочные картинки, добавляя им некоторые черты современности. Искусствовед В. А. Славенсон была в 1915 г. не высокого мнения об этой серии: «Одно петроградское издательство стало выпускать „лубочные картинки“, недоступные, впрочем, по цене широким массам, которые писаны якобы в старинном народном стиле. Эта „стилизация“ есть не что иное, как плохо замаскированное копирование народных картинок из собр. Д. Ровинского»[1].

Осенью 1914 г. основная масса лубочной продукции была посвящена высмеиванию Вильгельма II и Франца Иосифа. Серия «Картинки — война русских в немцами» не стала здесь исключением. Вероятно, самое известное лубочное

[1] *Славенсон В. А.* Война и лубок… С. 111.



Ил. 65. Н.П. Шаховской. Васька кот прусский — враг русский.
Из серии «Картинки — война русских с немцами».
Пг.: Хромолитография Шмигельского, 1914–1915

изображение германского императора из этой серии — лубок «Васька — кот прусский, враг русский» (ил. 65), бывшее подражанием известному лубку XVIII в., который Д. А. Ровинский считал сатирой на Петра I: «Кот Казанский, ум Астраханский, разум Сибирский, славно жил, сладко ел, сладко бздел» (ил. 66)[1].

Развитием кошачьего образа германского императора стал лубок этой же серии, изображавший повешенного кота — Вильгельма II и сопровождавшийся подписью «Кайзер-кот был бешен, на войне помешан и за то будет повешен». В другом случае эксплуатировалась птичья тематика. Если ассоциация с котом возникала, по всей видимости, благодаря усам императора (усатый император как усатый кот), то одноглавый орел Германии высмеивался как

[1] *Ровинский Д. А.* Подробный словарь русских граверов XVI–XIX вв. СПб., 1895. Т. 1. Стб. 235.



Ил. 66. Кот Казанской, ум Астраханской, разум Сибирской, славно жил, сладко ел, сладко бздел. Лубок XVIII века

курица или ворона. «Паршивая ворона, мнящая себя орлом» — характеризовал кайзера другой лубок.

Вариантов изображения императора Германии было множество. Особенно выделяется инфернальная серия образов, подчеркивавшая «нечистую природу» Вильгельма II: это образ Антихриста, чернокнижника, в виде «чертовой волынки», которую надувал черт («Чертова волынка, или почему Вильгельм II так много говорит») (ил. 67, 68). Примечательно, что «Чертова волынка» являлась переосмыслением немецкой реформаторской гравюры 1530 г., изображавшей дьявола, играющего на голове-волынке римско-католического священника (использовалась также противниками Реформации для высмеивания М. Лютера)[1].

[1] См.: *Smith P.* Continuity and Change in Renaissance Satire. University of Hull Press, 1993.



Ил. 67. Н.П. Шаховской. Чернокнижник. Из серии «Картинки — война русских с немцами». Пг.: Хромолитография Шмигельского, 1914–1915



Ил. 68. Н.П. Шаховской. Чертова волынка, или почему Вильгельм так много говорит. Из серии «Картинки — война русских с немцами». Пг.: Хромолитография Шмигельского, 1914–1915



Ил. 69. Д. Иванов. Шут и шутиха. Гравюра на меди. Вторая половина XVIII в.

Россия и Германия имели слишком сильные традиции культурных связей, поэтому даже антигерманская визуальная пропаганда не обходилась без помощи немецкой изобразительной традиции. Но были и иные мотивы обращения к творчеству немецких художников XVI в.: идейная борьба лютеран с католиками сопровождалась активной визуальной пропагандой, заложившей определенные стандарты использования сатиры как инструмента разоблачения противника. С другой стороны, антипапская сатира прошлого соответствовала пропагандистско-патриотическим установкам современной войны, интерпретировавшим ее как духовную битву западной и восточной христианских церквей.

Обнаруживаются заимствования антигерманского лубка с немецкой карикатурой эпохи наполеоновских войн: на русском лубке 1914 г. был изображен Вильгельм в виде запеленатого младенца в руках черта («Черт няньчает своего сына из Берлина»), что композиционно повторяло немецкую картинку, изображавшую Наполеона. Но заимствовали образы не только у немцев. Другой лубок — «Вильгельм играет Францу и радуется его танцу» — повторяет композицию русского лубка «Шут и шутиха», описанного Д. А. Ровинским[1] (ил. 69, 70). Н. П. Шаховской не утруждал себя придумыванием оригинального антуража, ограничившись лишь переодеванием своих героев в военную форму. Кресло и даже ромбовидный узор коврового покрытия были перерисованы с оригинала. Вот только Франца Иосифа, заменившего шутиху, художник не очень удачно попытался нарисовать танцующим, не справившись с изображением правой поднятой ноги, получившейся визуально сильно короче левой. Впрочем, подобные неряшливости рисунка соответствовали общей жанровой тональности. Кроме того, можно усмотреть сюжетную связь разбираемого изображения с карикатурой 1813 г. русского художника Ивана Теребенёва

[1] *Ровинский Д. А.* Подробный словарь русских граверов XVI–XIX вв. СПб., 1895. Т. 1. Стб. 238.



Ил. 70. Н.П. Шаховской. Вильгельм играет Францу и радуется его танцу. Из серии «Картинки — война русских с немцами». Пг.: Хромолитография Шмигельского, 1914–1915

«Наполеоновская пляска», изображавшей Бонапарта пляшущим под дудку русского мужика: «Не удалось тебе нас переладить на свою погудку: попляши же басурман под нашу дудку!»[1] Однако композиция изображения была иной. Обращение к карикатурам эпохи Наполеона было не случайно: в печати война именовалась Второй Отечественной и проведение параллелей с 1812 г. предполагало такой же победоносный исход. Впоследствии сюжет и композиция «наполеоновской пляски» были использованы в карикатуре на Николая II, пляшущего под дудку Распутина. В целом следует отметить, что в техническом плане лубочные картинки периода Первой мировой войны, использовавшие более ранние образы, сильно уступали оригиналам, в ряде случаев художники не справлялись с перерисовыванием источников, что свидетельствует о непрофессиональном происхождении ряда лубочных произведений.

Надо сказать, что сочетание двух взаимоисключающих подходов в изображении Вильгельма — инфернализация и высмеивание (первый предполагает некоторую сакральность образа, второй — профанность) — создавало когнитивный диссонанс у зрителя и мешало построению целостного образа врага. Тем более, как уже отмечалось, что крестьяне, в конце концов поверившие, что наступают Последние времена, начали сомневаться, какой из царей в большей

[1] *Успенский В.М., Россомахин А.А., Хрусталев Д.Г.* Медведи, казаки и русский мороз. Россия в английской карикатуре первой трети XIX в. СПб., 2016. С. 124–129.



Ил. 71. Германский антихрист. «Император Вильгельм, Тиран Европы, последний Гогенцоллерн, презрев все высокие заветы Христовы, в безумном ослеплении своим мнимым величием». Пг.: Издание типографии «Содружество», 1914

степени достоин звания Антихриста — Вильгельм или Николай. Подобные разговоры фиксировались в деревне уже в октябре 1914 г., т.е. в период наиболее активного распространения лубка[1].

Инфернализация и демонизация врагов была характерна для лубка большинства издательств. Распространенным был образ Германии, Австро-Венгрии и Турции в виде сказочного трехголового змея. Известен плакат Н.К. Рериха, выполненный в лубочной стилистике, под названием «Враг рода человеческого», на котором Вильгельм представал с хвостом и копытами. На другом плакате Вильгельм являлся хоть в демоническом, но человеческом образе, несущимся на свинье, однако название рисунка не оставляло сомнений в интерпретации изображения — «Германский антихрист» (ил. 71, 72).

Наряду с Вильгельмом, но в меньшей степени, высмеивался австрийский император Франц Иосиф. Так, был известен его портрет в виде «Индюка цесарские земли» со значительно пощипанным хвостом. Рядом валялись выпавшие перья, подписанные названиями потерянных Австрией городов: Галич, Львов. В виде сидящего на ветке попугая изображался турецкий султан. Встречается сатирическое изображение кронпринца Гессенского, с бутылкой в руке и поющего песенку: «Я и пьяница, и вор, бутылку вина упер».

[1] *Краузе Ф.О.* Письма с Первой мировой... С. 95 (примеч.)



Ил. 72. Н.К. Рерих. Враг рода человеческого. 1915. Плакат

Сатирическая графика закрепляла за народами стереотипные анималистические образы. Причем если российская журнальная карикатура, ориентированная на городские слои общества, чаще всего изображала немцев в виде собаки-таксы или одноглавого орла, то лубок для народа часто использовал образ рыжего таракана-пруссака. В одном случае художник изображал начало войны как нашествие тараканов, которые пытаются пересечь границу, но сторож гонит их метлой, в другом случае действие разворачивается в казачьей хате, в которой тараканы атакуют сидящего на кровати солдата. Жена ему говорит: «Не жалей, Ванюха, ног / Двинь по таракану / Я-ж персидским порошком / Посыпать их стану». На что Ванюха отвечает: «Брось, Матреха, все сумленья / У Российских казаков / Есть такое положенье / Каблуком бить пруссаков» (ил. 73; 74 на вкладке).

Помимо дискредитации образа «чужих», серия «Картинки — война русских с немцами» воспевала «своих». Из героев этой серии изображались преимущественно генералы — А.А. Брусилов, Н.И. Иванов, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, А.Н. Селиванов, Р.Д. Радко-Дмитриев, — что подтверждает тезис о преимущественной ориентации этой дорогой серии на средние и зажиточные городские слои. Все — в образе сказочных героев-богатырей. Характерен лубок с портретом Н.И. Иванова — генерал изображен скачущим на коне, под копытами которого в традиции средневековой миниатюры утрированно обозначены горы,



Ил. 73. К современным событиям. На границе. Текст: Сторож: Откуда это, служивые, так много прусаков привалило? Метешь, метешь, а он как саранча через шлагбаум лезет… Киев: Издание И. Т. Рубанова, б. г. Хромолитография

леса и поля. Это изображение было перерисовано из книги Д. Ровинского, а другой конный портрет генерала Н. И. Иванова повторял лубочное изображение Александра Македонского. Следует заметить, что такое копирование старых картинок с минимальными изменениями может рассматриваться как сознательное высказывание художника, включающего своего персонажа в известный визуальный дискурс и наполняющего его новым содержанием. Конечно, сравнение главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта генерала Н. И. Иванова с Александром Македонским было чересчур смелым ходом, но оно подчеркивало важность наступления России именно на этом направлении, где разыгрывались наиболее драматические события русского фронта Первой мировой.

Присутствует в серии литографий и единственное изображение рядового «удалого казака» — по всей видимости, Кузьмы Крючкова. Вместе с тем недостаток портретов героев из народа в петроградской лубочной серии «Картинки — война русских с немцами» с лихвой компенсировался другими издательствами.

Среди лубков-стилизаций, уступавших в количественном плане реалистичным картинкам, помимо уже упомянутой серии «Картинки — война русских с немцами», оригинальностью отличались работы петроградского «Биохрома» (с которым сотрудничали художники Н. Ремизов, Г. Нарбут, О. Шарлеман, Д. Митрохин), «В. Ф. Т. Литейный, 58», а также московского издательства «Сегодняшний лубок», для которого создавали лубочные картинки такие авторы,

как К. Малевич, А. Лентулов, И. Машков, а подписи к ним придумывал В. Маяковский, выступавший и в качестве художника. Денисов критически отзывался о работах «группы московской молодежи» издательства «Сегодняшний лубок» за то, что, «заботясь о декоративности лубка, стремясь дать яркое и веселое пятно, эти художники впали в крайность — в плакатность, лишающую их картинки настоящей двигательной силы»[1]. Снисходительное упоминание о молодости главных художников издательства — 32-летнего А. Лентулова и 35-летнего К. Малевича со стороны 27-летнего В. Денисова объясняется, вероятно, разницей вкусов и понимания задач лубка. Еще более резкую оценку продукции «Сегодняшнего лубка» дал критик С. Глаголь: «Это прямо уже нечто невыносимое, какое-то непозволительное кривляние и гаерство. На картинах уродливые квази-человеки, грубо размалеванные в желтую, синюю и красную краски, то засучивают рукава перед дракою, то просто дерутся, то проделывают что-то уже совсем неизвестное. Дополнено все это хлесткими виршами, с подделкою под раешник: „Под Варшавой и под Гродно / Лупим немца как угодно“, или „У Вильгельма Гогенцоллерна / Размалюем рожу колерно“»[2].

Представляется, что эти картинки, стилизованные под детский рисунок, раскрашенные в примитивистской манере, смотрелись намного свежее и оригинальнее, чем подавляющее большинство лубочных изображений, перенасыщенных фигурами действующих лиц, деталями, неудачными цветотональными решениями, от которых у зрителей начинало рябить в глазах. В годы Гражданской войны утрированные, но визуально яркие образы «своих» и «чужих» обеспечивали «красному лагерю» более успешную кампанию по визуальной пропаганде. Малевич, Маяковский, Моор, Апсит и другие художники, отточившие свое мастерство в плакатной графике в первые годы мировой войны, внесли определенную лепту в идеологическую победу большевиков.

В отличие от Денисова, критик журнала «Аполлон», посетивший в ноябре 1914 г. в Петрограде выставку «Война и печать», где демонстрировалась лубочная продукция, наоборот, отметив в целом крайне низкий уровень лубка, особенно «массу бездарнейших баталий, ничего общего не имеющих с народным лубком», положительно оценил продукцию «Биохрома» и «Сегодняшнего лубка». В отношении последнего он писал: «Авторы лубков, судя по раскраске и схематической выразительности рисунка, очевидно умелые и далеко не бездарные художники, местами близко подошли к народному лубку»[3]. Другой обозреватель также восхищался находчивостью и смелостью художников, находивших меткие образы и словечки, заставлявшие хохотать зрителей: «Пусть до крайности упрощен рисунок этих карикатур, но как не хохотать при виде

---

[1] *Денисов В. А.* Война и лубок… С. 32.

[2] Цит. по: *Крусанов А. В.* Русский авангард 1907–1932 гг. Исторический обзор. В 3 т. Т. 1. Боевое десятилетие. Кн. 2. М., 2010. С. 488.

[3] Аполлон. 1914. № 9. С. 62.



Ил. 75. К.С. Малевич, В.В. Маяковский (текст). Шел австриец в Радзивилы… М.: Сегодняшний лубок, 1914

турок, штопающих похожий на черепаху перевернутый „Бреслау“, при виде кругленького немца, напыщенно сидящего на красной лошади, у которого ядром оторвало голову, сохранившую горделивое выражение лица… автору-художнику принадлежат и подписи под карикатурами. Сжатые, краткие, они в большинстве очень метко передают содержание: „Эх, и грозно, эх и сильно / Жирный немец шел на Вильно / Да в бою у Осовца / Был острижен как овца“»[1]. Комплиментарно отозвалась о «Сегодняшнем лубке» искусствовед В.А. Славенсон, опубликовавшая в 1915 г. в «Вестнике Европы» одну из первых статей на тему «Война и лубок»: «Наша характеристика лубка оказалась бы незавершенной, если бы мы не упомянули о целой серии своеобразных художественных картинок, выпускаемых издательством „Сегодняшний лубок“ и носящих на себе несомненную печать крайнего левого течения нашей современной живописи. Приведем несколько образчиков этой карикатуры, сверкающе веселыми и наивными красками, забавной и удачливой рифмой. Каламбур и механизация живого человеческого материала — самые употребительные ее приемы»[2].

Хотя авторами являлись профессиональные художники-футуристы, в продукции «Сегодняшнего лубка» лучше всего отразилась традиция народного творчества. Одной из характеристик профанной карнавальной культуры М.М. Бахтин считал инверсию высокого и низкого. В соответствии с этим признаком художники-авангардисты использовали иконописные и миниатюрные композиции, в которых обыгрывали профанные сюжеты. Упоминание проблем

[1] Цит. по: *Крусанов А.В.* Русский авангард 1907–1932 гг. Исторический обзор. В 3 т. Т. 1. Боевое десятилетие. Кн. 2. М., 2010. С. 489.

[2] *Славенсон В.* Война и лубок // Вестник Европы. 1915. № 7. С. 107.

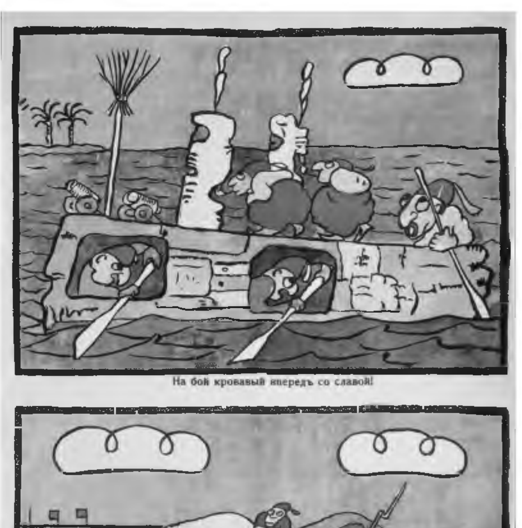
с пищеварением, с работой кишечника у немцев должно было вызвать в среде непритязательной публики смех: «Глядь, поглядь, уж близко Висла / Немцев пучит — значит кисло!» — подписывал В. В. Маяковский рисунок К. Малевича, изображавший раздутого немца, на котором лопается мундир и сползают штаны. Другая известная картинка «Сегодняшнего лубка» — «Шел австриец в Радзивиллы, да попал на бабьи виллы» (К. Малевич, В. Маяковский), тиражировавшаяся и на открытках, — апеллировала к народной лубочной традиции, другая — «Эх ты, немец, при да при же» — в композиционно-пространственном отношении была построена в традиции средневековой миниатюры (ил. 75; 76 на вкладке). Миниатюрно-иконописную композицию использовал и А. Лентулов в лубке «Сдал австриец русским Львов / Где им зайцам против львов? / Да за дали, да за Краков / Пятить будут стадо раков!» Карнавал продукции «Сегодняшнего лубка» проявлялся на визуальном и вербальном уровнях, дополняя друг друга.

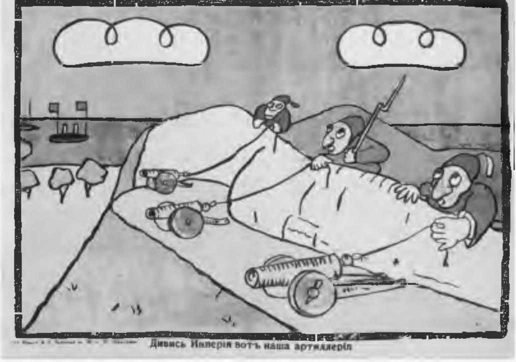
Оригинальностью также отличались работы издания «В. Ф. Т. Литейный, 58». Современные искусствоведы пока не идентифицировали это издательство и тех анонимных художников (художника), которые с ним сотрудничали, но по технике рисунка, мастерству и лаконичности композиции отдельные лубки напоминают творчество художников-футуристов (впрочем, в издании ГЦМСИР «Лубочная картинка и плакат периода Первой мировой войны» указано, что полное наименование издательства «В. Т. Хромолитография А. Ф. Александра»[1]). В них художник стилизовал свои работы под детский рисунок, причем в рисунке «На бой кровавый вперед со славой», высмеивающей турецкий флот, умудрился сострить и в адрес русских социалистов, перефразировав строку из «Варшавянки» (ил. 77). В другом случае художник также обратился к песенному жанру, но на этот раз обыграл русскую народную песню с приговором «ой, дид-ладо». На карикатуре были изображены танцующие друг перед другом враги, причем союзники по «Антанте» напевали «А нашего-то полку прибыло / Ой, дид-ладо, прибыло», а страны центрального блока отвечали: «А нашего-то полку убыло, ой, дид-ладо, убыло». Сильной стороной продукции «Сегодняшнего лубка» и «В. Ф. Т.» являлось достижение карнавального эффекта не только за счет изобразительных решений, но и удачного сочетания визуального и вербального текстов.

«Сегодняшний лубок» и «Издание В. Ф. Т. Литейный, 58» представляли собой в первую очередь творческие объединения художников, которые в авторской, оригинальной манере переосмысливали традиции народного лубка. Однако некоторые яркие художники сотрудничали и с крупными издательствами, выпускавшими посредственные картинки в реалистической манере. Так, например, талантливый художник-график и карикатурист Д. Моор (Д. Орлов), тесно сотрудничавший с сатирическими журналами, рисовал лубок для издательства

---

[1] Лубочная картинка и плакат периода Первой мировой войны… Ч. 2. С. 52.





Ил. 77. На бой кровавый вперед со славой! Дивись империя: вот наша артиллерия. Издание В.Ф.Т. Литейный, 58. Б. м., б.г.



Ил. 78. Д. Моор. Баба тоже не чурбан — может взять аэроплан. Текст: На русской границе опустился неприятельский аэроплан, в котором / находилось… Скоро прискакали / стражники и арестовали неприятеля. М.: Лит. Т-ва И.Д. Сытина, 1914. Хромолитография



Ил. 79. В плену у баб. Казань: Типолитография «В. Еремеев, А. Шашабарин и К», 1914. Хромолитография

И.Д. Сытина. Его работы резко контрастировали с основной массой сытинской продукции. Одно из изображений — «Баба тоже не чурбан — может взять аэроплан» — иллюстрировало известную историю о том, как австрийский летчик по ошибке приземлился на поле, где работали русские бабы, которые, не растерявшись, захватили австрийца в плен (по другой версии, у австрийского аэроплана отказал мотор) (ил. 78). Художник решил всю сцену в динамичном ключе с точки зрения как композиции (выставленная нога австрийца создавала активную диагональ, акцентируя внимание зрителя на его «пятой точке» в центре рисунка, по которой шлепала врага крестьянка), так и цветотонального решения (активные пятна красного в одеждах баб на зеленом фоне заметно оживляли работу). В качестве «бонуса» Моор добавил детей-карапузов, с восторгом наблюдавших избиение австрийца из-за тына и лопухов.

К данному сюжету обращались и другие художники. Так, казанская типолитография Торгового дома «В. Еремеев, А. Шашабарин и К» издала в 1914 г. плакат с картинкой «В плену у баб». В то время как лубок Д. Моора нес в себе карнавальный эффект, вся сцена была решена в ярких красках, бабы изображались в веселом, приподнятом настроении, казанский художник попытался решить сценку в драматическом ключе, нарисовав крестьянок, удерживающих аэроплан и раздирающих его крыло граблями и руками. При этом лица были прорисованы плохо, зрителю приходилось додумывать эмоции героев, композиционное построение также было лишено динамики. С визуальной точки зрения получилось малоубедительно и невыразительно, едва ли такое изображение могло запасть в память или душу современнику (ил. 79).



Ил. 80. Ре-Ми (Н.В. Ремизов).
Голод в Германии.
М.: Лит. т./д. «А.П. Коркин, А.В. Бейдеман и К», б.г.
Хромолитография

Среди сатирического направления стоит отдельно выделить лубочные картинки, авторами которых являлись известные художники-карикатуристы. Помимо Д. Моора, сатирический лубок рисовали Н. Ремизов (творивший под псевдонимом Ре-Ми), Ю.К. Арцыбушев. Ремизов, активно сотрудничавший с «Новым Сатириконом», рисовал для лубка утрированно наивные, стилизованные карикатуры с добавлением надписей. В качестве декоративно-лубочного элемента изображал антропоморфное смеющееся солнце с чертами лица К. Крючкова, а германского императора — в образе немца Михеля в колпаке, национальной персонификации Германии (ил. 80). На другой карикатуре издательства «Художественный лубок» художник Е.Н. Косвинцев изобразил Вильгельма, отрезающего половину булки у Михеля. Михель при этом кричит: «Что вижу я, о небо! Меня лишает кайзер картофеля и хлеба!» Помимо образа Михеля, кайзер и Германия изображались в виде немецких колбасок или собаки-таксы.

Другим примером сатирических картинок для народа можно считать работы художника Ю.К. Арцыбушева, издававшиеся в серии «Русские поговорки в лицах» московской типолитографией В. Рихтера (ил. 81). Правда, стилистика лубка в них отсутствовала, а сами работы отличались повышенным психологизмом и более смелыми экспериментами с формой. Несмотря на то что некоторые исследователи атрибутируют их как лубочные картинки, вернее было бы отнести их к жанру карикатуры. Картинки эти издавались отдельными листами.

Петроградскому акционерному обществу «Биохром» удалось привлечь к работе над лубком ряд талантливых, известных художников-иллюстраторов.



Ил. 81. Ю.К. Арцыбушев. Два друга — колбасник и его супруга. М.: Типолитография В. Рихтера, б.г. Хромолитография



Ил. 82. О. Шарлемань. Атака л.-гв. конным полком прусской артиллерии. Пг.: Биохром, 1914. Хромолитография

В частности, с ним сотрудничал О. Шарлемань, потомственный художник-баталист, иллюстратор и декоратор, близкий к «Миру искусства». Его лубочные картинки отличались достаточно ритмичными композициями, гармоничными цветовыми гаммами. Лубок «Атака л.-гв. конным полком прусской артиллерии» обыгрывал ритм поднятых вверх сабель, который взаимодействовал с ритмом синих мундиров и белых штанин немцев, в результате чего создавалось впечатление передававшейся энергии от русских сабель прусским солдатам (ил. 82).



Ил. 83. Г.И. Нарбут. Казак и немцы. Пг.: Биохром, 1914. Хромолитография



Ил. 84. Д.И. Митрохин. Морской бой. Пг.: Биохром, 1914. Хромолитография

Вместе с тем подобные художественные изыски в картинках, адресованных простому народу, вряд ли могли помочь в достижении пропагандистского эффекта, для простого народа они были слишком неочевидны, а для искушенных зрителей — просты. Отбывавший воинскую службу при поезде Красного Креста в Царском Селе художник-геральдист и иллюстратор, член «Мира искусства» Г. Нарбут создавал живые и сложные с точки зрения композиции рисунки, в которых использовались приемы миниатюры и народного лубка (ил. 83). В отличие от Шарлеманя, Нарбут смело экспериментировал с обратной перспективой,



Ил. 85. А.П. Апсит. Лубок двухчастный «Благослови, отец, всех четверых...», «Железные сердца». М.: Типолитография Е.Ф. Челнокова, б.г. Хромолитография

не боялся декоративности, некоторые из его лубочных рисунков приближались к работам Лентулова и Машкова из «Сегодняшнего лубка». Оригинальными графическо-композиционными решениями отличались картинки другого члена «Мира искусства», художника-графика Д. Митрохина, также сотрудничавшего с «Биохромом». Его особенно привлекала тема морских сражений. При этом в лубке «Морской бой», несмотря на смелую композицию, выстроенную посредством двух активных диагоналей, образованных лучами прожекторов, ему отказало чувство стиля: художник позволил себе эклектичное смешение реалистического рисунка военных кораблей и стилизованную à la Хокусай волну на переднем плане (ил. 84). Профессиональные художники вряд ли всерьез относились к жанру патриотического лубка, если позволяли себе подобные огрехи.

Несколько особняком стояли работы профессионального иллюстратора А. Апсита, рисовавшего жанровые сценки на темы прощаний родителей с мобилизованными солдатами, немецких зверств и пр., которые стилистически были весьма далеки от жанра лубка, а более подходили для иллюстраций печатных изданий (ил. 85). Тем не менее они выпускались типолитографией Е.Ф. Челнокова.

Несмотря на разнообразие лубочной продукции и отдельные удачные произведения русских графиков, открытым остается вопрос, насколько удалось лубку выполнить свои пропагандистские задачи. Лубок мог развеселить обывателя, реже — заострить его внимание на тех или иных событиях войны, однако ярких художественных произведений, способных пробудить ненависть к врагу или вызвать сильное чувство эмпатии по отношению к жертвам войны, назвать нельзя. Картинки, иллюстрировавшие «немецкие зверства», были весьма банальны с художественно-изобразительной точки зрения, а потому не могли всерьез задеть чувства зрителей. В. П. Булдаков справедливо отмечает отсутствие мобилизационного эффекта от лубочной продукции: «Воинственная графика порождала скорее недоумение, нежели патриотические чувства. Образованного человека она скорее всего отталкивала своей искусственной легковесностью, а простой человек ни трагедии происходящего, ни опасности поражения не ощущал — мобилизационный эффект лубка вряд ли мог быть высок»[1]. И. В. Купцова также невысоко оценивает художественные и пропагандистские характеристики лубка, считая его «подделкой», полагая, что хоть лубок и «отражал психологию народа и был искусством для народа», но на появившихся в первые месяцы войны лубочных картинках «отсутствовали непосредственность и искреннее настроение, лежала печать надуманности и подделки под народное творчество»[2]. Вероятно, отсутствие искренности и надуманность не являются характеристиками продукции «Сегодняшнего лубка» или издательства «В. Ф. Т.», однако такая оценка вполне соответствует основной массе картинок. Б. И. Колоницкий, цитируя письмо находящегося в действующей армии художника Н. Зайцева, и вовсе отмечает раздражение, которое вызывало патриотическое изобразительное искусство в среде фронтовиков: «Я видел всевозможные картины, иллюстрирующие войну, они у нас здесь имеются, но какая горечь в душе. Пусть художники, если они желают добра ближнему, бросят заниматься этими гнусными делами. Войну надо иллюстрировать, как чуму, язву, как народное горе, зло и раскрывать эту язву без содрогания с ужасом анатома и преподносить людям весь ужас…»[3]

Фальшь героико-реалистического лубка заключалась не только в тенденциозной передаче военных событий, но и в том, что в целом лубочная продукция не передавала характер индустриальной, окопной войны. Лубочное визуальное пространство, акцентируя внимание на рукопашных схватках и массовых пеших баталиях, генеральных сражениях, иллюстрировало тем самым войны далекого прошлого. Художники, среди которых преобладали народные умельцы-любители, плохо себе представляли реалии Первой мировой, поэтому среди побывавших на фронте солдат подобные картинки вызывали отвращение.

1 *Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г.* Война, породившая революцию… С. 89.

2 *Купцова И. В.* Художественная жизнь Москвы и Петрограда… С. 115.

3 Цит. по: *Колоницкий Б. И.* Первая мировая война: культура эпохи и социальная память // Звезда. 2014. № 11. http://magazines.russ.ru/zvezda/2014/11.

Впрочем, воспевание героизма войны в любые времена будет фальшивым. Кровь, боль, вши, венерические болезни — эти спутники фронтовой повседневности не находят себе места в пропаганде.

Однако констатация того, что лубок не добивался должного эффекта, имеет важное значение для изучения массовых настроений общества, может свидетельствовать о том, что художники не испытывали достаточно сильных эмоций, патриотических чувств, чтобы передать их своим зрителям. Кроме того, угасание жанра патриотического лубка в 1915–1916 гг. свидетельствует о психологических процессах, протекавших в русском обществе, сделавших патриотическую продукцию более не актуальной.

Тем не менее военный лубок, особенно издательств «Сегодняшний лубок», «В. Ф. Т.», «Биохрома», обращавшихся к фольклорным образам войны, отразил, пусть и поверхностно, ее оборотную сторону: отсутствие высокой идейности, искренних патриотических чувств и наличие архаичных инстинктов в их чистой, народной, подчас карнавальной форме. Не случайно художники «высокого жанра», почувствовавшие искренность лубка, обращались к нему за вдохновением в поиске новых, более выразительных образов.

Таким образом, не только собственно лубочная продукция, но и особенности ее издания и последующего функционирования отражают черты массовых настроений общества. Не случайно В. Денисов сопоставил лубок как визуальный документ со слухами как устным источником народных настроений, в какой-то степени они выполняли схожие функции, раскрывали архетипическую природу визуального дискурса о войне. В целом низкий художественный уровень основной массы лубочной продукции, при наличии безусловно талантливых авторов, говорит о том, что Первая мировая война не стала тем событием, которое могло всколыхнуть творческие силы народа и привести к созданию выдающихся произведений. Особенно это заметно по динамике выпуска лубочной продукции, фактически прекратившейся к 1916 г. Вместе с тем необходимо отметить сюжетную особенность лубочной продукции — обращаясь к народным образам, нередко фольклорным мотивам, лубок подчеркивал стихию народной энергии, воспевал в этом контексте не только героя-воина, но и героя-бунтаря. В контексте уже приводившихся высказываний современников летом — осенью 1914 г. о том, что война неизбежно приведет с собой революцию, данная характеристика лубка наделяет его прогностической функцией в той степени, в которой визуальный образ способен отражать скрытые предчувствия эпохи.

Открытка как форма сентиментальной пропаганды: от символической политики к манипуляциям детскими образами

Открытка являлась самым тиражируемым и самым разнообразным как по видовой характеристике, так и по информативности в качестве исторического

источника визуальным документом. Достаточно сказать, что она распространяла как образы высокого, элитарного искусства (репродукции живописных произведений, графики), так и массовой продукции (лубок, карикатуры). Популярной была фотооткрытка (видовая, художественно-постановочная и документальная). Кроме иллюстрированных открыток, выпускались текстовые, воспроизводившие царские манифесты, приказы военных властей, отрывки из публицистических статей; картографические; открытки с изображением национальных гербов и флагов союзных держав, а также с нотами и текстами национальных гимнов. Весьма разнообразной была открытка и по эмоциональному наполнению: героическая, трагическая, сатирическая, сентиментальная. Последняя группа открыток особенно интересна для исследования, так как ни лубок с плакатом, ни карикатура сентиментальностью не отличались.

Почтовая карточка, или открытое письмо (открытка), появилась в России во второй половине XIX в. В 1868 г. от министра внутренних дел А.Е. Тимашева (бывшего ранее министром почт и телеграфов) поступило предложение ввести открытые письма. Новые почтовые правила появились в 1871 г., а «Временные постановления по почтовой части» 1872 г. упоминали и открытки. В 1875 г. Россия вступила во Всемирный почтовый союз, и на почтовых карточках появились надписи «Всемирный почтовый союз. Россия» на русском и французском языках. В 1878 г. на Всемирном почтовом конгрессе в Париже был принят международный стандартный формат открытки 9×14 см, просуществовавший до 1925 г. Первоначально в России Почтовое ведомство обладало монопольным правом на выпуск открытых писем, но в ноябре 1894 г. Министерство внутренних дел разрешило их выпуск частным издательствам, что стало началом золотого века иллюстрированных карточек. Среди художественных открыток большим спросом пользовалась продукция издательства Общины св. Евгении Красного Креста. Во главе издательства стояла художница В.П. Шнейдер, ее сестра А.П. Шнейдер, также художница, рисовала пейзажи для открытых писем. Издательство сотрудничало и с известными художниками, преимущественно из «Мира искусства», представители которого входили в состав Комиссии художественных изданий при Общине св. Евгении (А.Н. Бенуа, Н.К. Рерих, С.П. Яремич и др.). По мнению Н.А. Мозохиной, художественные открытки «мирискусников», издававшиеся Общиной св. Евгении, представляли собой лучшие достижения в этом виде прикладной печатной графики[1].

Начало Первой мировой войны способствовало переформатированию рынка иллюстрированных почтовых карточек. Это приводит исследователей к противоречивым оценкам развития открыток в эти годы. А.Н. Ларина указывает на спад интереса общества к большей части иллюстрированных открыток

---

[1] *Мозохина Н.А.* Открытки Общины св. Евгении как художественный проект мастеров объединения Мир искусства. Проблемы истории и художественной практики. Дис. … канд. искусствоведения. М., 2009. С. 8.

(прежде всего видовых), что проявилось в сокращении тиражей, уменьшении числа издательств[1]. Н. А. Мозохина, наоборот, отмечает «новый бурный всплеск издательской деятельности в годы Первой мировой войны»[2]. О буме издания открыток в годы войны пишет Х. Ян, оценивая их число в несколько миллионов[3]. Вероятно, можно говорить как минимум о расширении тематического разнообразия открытых писем в связи с началом войны, однако по мере ее затягивания появлялись новые издательства, в том числе при создававшихся общественных организациях, которые за счет издания открыток занимались благотворительностью. Кроме того, массовая мобилизация, разлучив призванных на войну с семьями, способствовала активизации почтовых сообщений. А. Б. Асташов приводит следующие цифры фронтовой корреспонденции: в 1914 г. через 11 главных полевых почтовых контор прошло 58 млн писем, в 1915 г. — 319 млн, в 1916-м — 600 млн, в 1917 г. — 724 млн (впрочем, из-за массового дезертирства в 1917 г. количество потенциальных авторов начало снижаться)[4]. В западной историографии уже отмечалось, что в начале XX в. происходит «взрыв» частной корреспонденции, особенно характерный для периода Первой мировой войны, когда написание писем становится для некоторых солдат синонимом самого существования. Австралийский исследователь Мартин Лайонс этот рост числа писем назвал булимией, а португальский ученый Энрикио Родригес обозначил как «компульсивное сочинительство»[5]. Письма солдат домой были не просто обменом информацией с близкими, а связью с мирной жизнью и надеждой на возвращение к ней, необходимой для выживания в чрезвычайных условиях окопной войны. Вологодский крестьянин И. Юров вспоминал, что минуты, когда он писал письма жене, были лучшими в его фронтовых буднях, позволяли мысленно переноситься в круг близких людей: «Когда я писал жене, я забывал все окружающее, мысленно был со своей дорогой семьей»[6]. Таким образом, письма несли важную терапевтическую функцию в условиях вовлечения человека в экстремальную повседневность.

Однако когда до солдат посредством писем доходили дурные вести, ниточка, связывавшая их с домом, сохранявшая надежду на лучшую жизнь, разрывалась, провоцируя сильную депрессию. Солдаты делились такими историями: «Получил он письмо, заперся часа на три. А потом меня зовет: „Иван, — говорит, —

[1] *Ларина А. Н.* Документальная открытка конца XIX — начала XX в. как источник по истории культуры Москвы. Дис. … канд. ист. наук. М., 2004. С. 83–84.

[2] *Мозохина Н. А.* Открытки Общины св. Евгении… М., 2009. С. 8.

[3] *Jahn H.* Patriotic culture in Russia… P. 39.

[4] *Асташов А. Б.* Русский фронт в 1914–1917 гг.: военные письма // Исторический вестник. 2014. Т. 9. № 156. С. 150–151.

[5] *Lyons M.* New Directions in the History of Written Culture // Culture and History Digital Journal. 2012. Vol. 1. № 2. P. 3. doi: http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2012.007.

[6] *Юров И.* История моей жизни… С. 164.

прибери халупу!..“ А прибрана с утра. Слушаю, мол… Кручусь, с места на место переставляю. Покрутился, ушел… Опять погодя кличет. Сидит с письмом в руке, чудной какой-то… „Иван, прибери халупу!“ — говорит… Я опять покрутился, вышел… Погодя опять зовет, за тем же. Что это, думаю, разобрало его? А как вышел я из халупы, он и застрелись…»[1]

Возрастание потока корреспонденции привело к увеличению военных цензоров, вскрывавших солдатские письма. Однако ресурсов для этого не хватало, вводилась «предварительная» офицерская цензура, когда солдатам предписывалось передавать своим офицерам письма в незапечатанных конвертах для последующей их проверки и пересылки. Решением проблемы мог бы стать переход на использование открытых писем. А. Б. Асташов приводит пример, как на Северном фронте попытались ввести в качестве единственно обязательных почтовые карточки, но солдаты из крестьян отказывались ими пользоваться, так как не хотели, чтобы их читала вся деревня, поэтому от затеи пришлось отказаться[2].

Тем не менее почтовые карточки использовались. Так как часть рядового состава армии была неграмотной, популярностью пользовались открытки с заранее напечатанными стандартными текстами, суть которых сводилась к главному сообщению: адресант живой. Впрочем, даже те карточки, которые предусматривали собственноручное написание текстов, могли уместить не более нескольких строчек, так как иногда поле для письма было существенно уже, чем для адреса.

Другие карточки и вовсе не предусматривали поле для текста: на лицевой стороне размещалась иллюстрация, которая сама по себе являлась неким сообщением (патриотическим или романтическим), а на обратной от руки писался только адрес.

Некоторые из текстов отличались хорошим стилем и нетривиальными фразами. Так, Киевская художественная печатня предлагала открытое письмо со следующим содержанием: «Дорогая моя возлюбленная! Спешу уведомить тебя, моя дорогая, что я, слава Богу, жив и здоров чего и тебе от души желаю. Вспоминая постоянно о тебе, о твоей любви и ласках и о проведенном с тобой счастливом времени, утешаюсь мыслью, что и ты не забываешь там меня и, что снова настанет для нас счастливые минуты встречи. Почаще посылай мне весточки о себе и какие у вас новости и помни, что для меня получение от тебя писем — всегда большая радость. Передай мой поклон всем родным и знакомым. Целую тебя горячо и крепко. Твой, любящий тебя…»

Бывали и более пространные послания, облаченные в художественные формы: «Если бы ты только знала, как подчас тоскует сердце мое по Вас, и если-б,

[1] *Федорченко С.* Народ на войне… С. 41.

[2] Письма с войны 1914–1917 / Сост. А. Б. Асташов, П. А. Симмонс. М., 2015.

Дорогая моя возлюбленная!

Спѣшу увѣдомить тебя, моя дорогая, что я, слава Богу, живъ и здоровъ чего и тебѣ отъ души желаю. Вспоминая постоянно о тебѣ, о твоей любви и ласкахъ и о проведенномъ съ тобою счастливомъ времени, утѣшаюсь мыслью, что и ты не забываешь тамъ меня и, что снова настанетъ для насъ счастливыя минуты встрѣчи. Почаще посылай мнѣ вѣсточки о себѣ и какія у васъ новости и помни, что для меня полученіе отъ тебя писемъ—всегда большая радость. Передай мой поклонъ всѣмъ роднымъ и знакомымъ. Цѣлую тебя горячо и крѣпко

Твой, любящій тебя

Ил. 86. Дорогая моя возлюбленная! Спешу уведомить тебя… Киев: Худ. печатня, 1914–1917. Иллюстрированная почтовая карточка

кажется, я имел крылья, то прилетел бы к Вам, прижал бы Вас к сердцу и расцеловал бы от души… Я только твоими письмами и живу. Как получу от тебя письмо, так несколько раз его прочитываю и кажется мне, что вижу тебя и деток, что побывал вместе с Вами»[1].

В тексте одного из таких открытых писем обращают на себя внимание умышленно оставленные редакторами (или автором) речевые и грамматические ошибки («тоскует сердце по Вас», использование обращения «Вы» с большой буквы во множественном числе и др.), а также уменьшительно-ласкательные формы некоторых слов («сторонушка»), что должно было сделать в глазах деревенских жителей текст письма «своим». Можно предположить, что в основе подобных текстов лежали оригинальные письма простых солдат из крестьян. В некоторых случаях авторы таких текстов переусердствовали с лирической и метафорической составляющей, и тогда становилось неясным, на какую именно аудиторию были рассчитаны подобные письма: сентиментальные и высокопарные слова о любви и ласках мало соответствовали эмоциональному режиму российской деревни, представители же образованных слоев могли сочинить и более оригинальные послания своим близким (ил. 86).

Публичная демонстрация интимных переживаний в открытых письмах не соответствовала эмоциональному режиму деревни, предусматривавшему открытость в проявлениях веселья и злобы, но предписывавшему сдержанность в вопросах лирических. В больших патриархальных семьях даже между супругами внешне устанавливались деловито-сдержанные отношения, сменявшиеся на романтические и душевные лишь во время интимного уединения, как правило по ночам. Показательны в этом плане воспоминания вернувшегося домой из германского плена после четырехлетнего отсутствия крестьянина Юрова. Несмотря на то что он тосковал по своему дому, любил мать и жену, встреча прошла внешне достаточно сухо — с матерью и женой он поздоровался за руку: «И вот я пришел домой… Мать слезла, сторонясь меня, прошла

[1] Первая мировая война на почтовых открытках. 1914–1918. Кн. 2. Новое лицо войны. Киров/Вятка, 2014. С. 121.

к печке и зажгла лучину. При свете она меня, конечно, сразу узнала, и мы с ней поздоровались за руку: я был противником поцелуев даже в таких случаях, и даже с самыми близкими… Тут пришла и жена… Авдотья моя, как жена Лота, остолбенела у двери… Лишь когда я ей сказал „Ну, что ж ты, иди, поздороваемся“, она пришла в себя и подошла. Поздоровались мы с ней также без поцелуев, а поговорить нам с ней, как хотелось бы, при других было неудобно»[1]. Соответственно возможное публичное чтение открытых писем с изливанием чувств и интимных переживаний могло в патриархальной деревне стать предметом насмешек.

Несмотря на это, иллюстрированные открытки достаточно активно раскупались. Часто сбор от продажи почтовых карточек шел на военные нужды, благотворительность, поэтому в некоторых случаях современники скупали десятки открыток и рассылали их своим знакомым, вписывая только адрес назначения и имя адресата.

Особенность иллюстрированной почтовой карточки как исторического источника — в своеобразной связи визуального и вербального образов. Первый, безусловно, принадлежал пропаганде, но, приобретая открытку и отправляя ее адресату, человек как бы присваивал себе значение изображения, становился соавтором нового вербально-визуального сообщения. Благодаря этому пропаганда посредством открытых писем распространялась изнутри самого социума, исходила не от официальных властей, а от родных и знакомых адресатов, что усиливало ее воздействие на массовое сознание. Война способствовала использованию открыток как способа официального информирования населения о наиболее важных событиях. На почтовых карточках повторялись темы периодической печати, в частности фотооткрытки изображали оглашение царского манифеста перед собравшейся на Дворцовой площади толпой 20 июля 1914 г., проведение мобилизации в разных городах империи, организацию конской повинности и т. д. Издавались открытки с царским манифестом, распоряжениями военных властей. Особое внимание было уделено символической патриотической пропаганде: выходили карточки с национальными флагами союзных держав, нотами и словами их гимнов.

В августе 1914 г. в России появился «новый национальный флаг», представлявший собой бело-сине-красный триколор, совмещенный с императорским штандартом (черный орел на желтом фоне в прямоугольнике). Эта композиция должна была подчеркивать единение царя и народа, вместе с тем флаг не получил официального статуса государственного символа, циркуляром Министерства внутренних дел его предписывалось использовать на патриотических митингах. 8 сентября 1914 г. Николай II разрешил использовать новый флаг для украшения зданий, ношения в виде нагрудного значка в частном быту и на

[1] *Юров И.* История моей жизни… С. 218–219.



Ил. 87. В единении сила! Пг.: Печатня «Современное искусство», 1914–1917. Иллюстрированная почтовая карточка

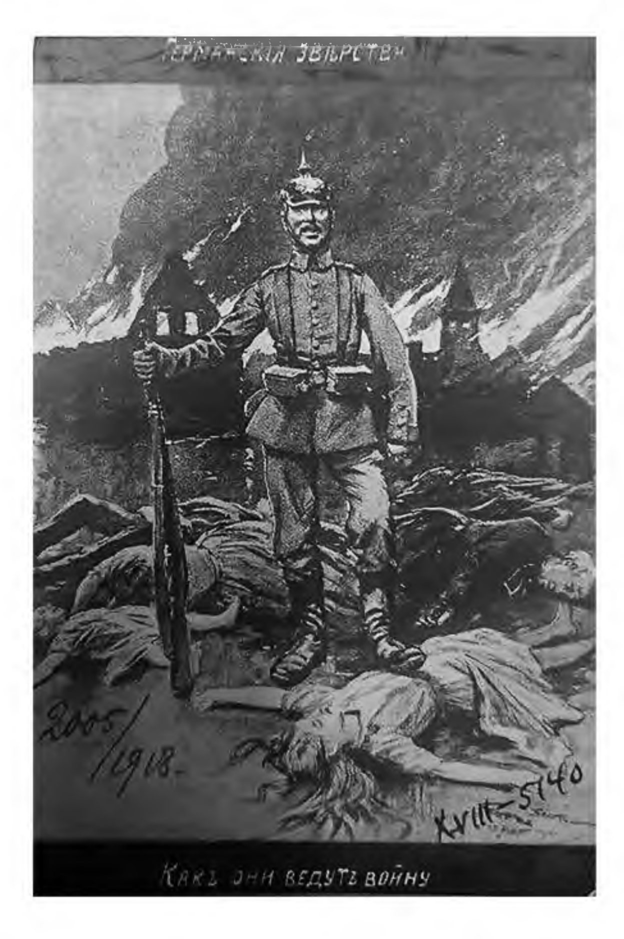
разрешенных собраниях, однако запретил его использование на официальных мероприятиях, в те праздничные дни, когда полагалось поднимать национальный флаг России — бело-сине-красный, без штандарта. Тем не менее издатели почтовых карточек начали пропагандировать новый флаг в качестве государственного символа России, в частности помещали его вместе с государственными флагами стран-союзниц (ил. 87).

Просветительская функция патриотической открытки проявлялась также в информировании ее пользователей о численности армий воюющих держав, запасах зерна, количестве лошадей и пр. По всем этим показателям Россия уверенно опережала Германию и Австро-Венгрию, не считая союзников, при этом, по понятным причинам, о количестве тяжелой артиллерии, пулеметов, аэропланов и другой военной техники и боеприпасов к ней, в производстве чего Россия сильно уступала противнику, не сообщалось. Фотооткрытки изображали военные будни русской армии, солдаты и офицеры представали полными сил, бодрыми духом и готовыми к подвигам. Одна из фотооткрыток называлась «С театра войны. Всегда довольны!» и изображала двух смеющихся рядовых, спрятавшихся в двухместном окопе, укрытом сеном (ил. 88). Подобные изображения должны были выполнять в том числе терапевтическую функцию, убеждая оставшихся в тылу адресатов в том, что их близкие на войне находятся в относительной безопасности и не пали духом.

Так же как в лубке и плакате, образ врага на почтовых карточках представал в двух дискурсах: демоническом и комическом. Формированию первого способствовала пропаганда о немецких зверствах. Открытки воспроизводили многие сюжеты патриотического лубка о расстрелах немцами мирного населения. С целью дегуманизации противника врага представляли как садиста, получающего удовольствие от массовых убийств и насилия. На одной из открыток с рукописным заглавием «Германские зверства. Как они ведут войну», изданной без указания издательства и обычного для почтовых карточек бланка



Ил. 88. С театра войны. Всегда довольны! Фотоэтюд З. Корсаковой. М.: Изд. Д. Хромов и М. Бахрах, 1914–1915. Иллюстрированная почтовая карточка



Ил. 89. Германские зверства. Как они ведут войну. 1914–1915. Иллюстрированная почтовая карточка



Ил. 90. А. Лентулов. Сдал австриец немцам Львов.
Изд-во «Сегодняшний лубок». 1914. Плакат

и подписей, в реалистической манере был изображен довольный немецкий солдат на фоне горящего города, стоящий среди мертвых тел и попирающий ногой труп молодой женщины. Подобные изображения должны были вызывать гнев и ненависть к врагу (ил. 89). Сатирический дискурс о немецких зверствах эксплуатировал те же сюжеты, но направлен был на выработку иных эмоций, прежде всего презрения и насмешки. Он принижал морально-волевые и физические качества врага, что должно было убедить реципиента в том, что немца легко победить.

Сатирическая пропаганда на почтовых открытках была достаточно разнообразна. Издавались карточки с рисунками известных художников-карикатуристов, например Д. Моора, кроме того, выпуск почтовой открытки наладило издательство «Сегодняшний лубок». Причем для маленького формата открыток изображения рисовались отдельно, хоть и преимущественно теми же авторами (вероятно, за исключением А. Лентулова). Лубок в открыточном формате приобретал еще большую условность и декоративность, а также черты стилизации не столько под народное творчество, сколько под детский рисунок. Разницу хорошо видно при сравнении двух изображений одного и того же сюжета — сдачи Львова. Открытка стала визуально упрощенной версией лубочного плаката. Причем упрощению подверглось не только изображение, но и сопроводительная надпись. На оригинале она звучала как «Сдал австриец русским Львов, / Где им зайцам против львов? / Да за дали, да за Краков / Пятить будут стадо раков!» (ил. 90). В открыточной версии подпись не только



Ил. 91. Как Австрийцы да за Краков. Изд-во «Сегодняшний лубок». 1914. Иллюстрированная почтовая карточка



Ил. 92. К. Говояров. Текст: С корнем вырвал дерево казак… Иллюстрированная почтовая карточка № 8 из серии «Похождение казака в неметчине». М.: Издание общества призрения сирот лиц, павших жертвами долга, 1914



Ил. 93. К. Говояров. Текст: Берлинки да венки, счетом под сто… Иллюстрированная почтовая карточка № 11 из серии «Похождение казака в неметчине». М.: Издание общества призрения сирот лиц, павших жертвами долга, 1914

сократилась, но изменилась ее грамматическая форма: «Как австрийцы да за Краков / Пятят будто стадо раков» (ил. 91). Смысл при этом остался прежним.

В лубочной стилистике в 1914 г. вышла серия сатирическо-патриотических открыток, иллюстрированных художником К. Говояровым, «Похождение казака в неметчине». Серия состояла из 12 изображений, в сказочной форме повествовавших об участии казака-героя в мировой войне. Первая открытка, изображавшая главного героя на коне, была посвящена мобилизации и содержала пояснительную надпись: «Объявили мобилизацию / И казак стал как гроза /

Хватит с немцами лизаться / Намозолили нам глаза». Последняя была посвящена демобилизации казака, дошедшего до Берлина: «Воин славно бился. / Георгий на груди. / Едет на поправку, отдых впереди. / Эх, Россеюшка, Россия милая родина, / А немецкая земля совсем даже уродина!» Несмотря на то что открытки Говоярова были цветными и сделаны достаточно качественно, они стали одним из самых дешевых изданий в России: по отдельности каждая открытка стоила всего 0,5 копейки (ил. 92, 93). Серия была издана в московской литографии Шушукина «Обществом призрения сирот лиц, павших жертвами долга», и доход от их продажи шел в фонд общества.

Хотя тематически открытка дублировала прочую изобразительную продукции, были у нее и свои характерные особенности. Одно из принципиальных отличий почтовой карточки как исторического источника от лубка, плаката и прочего в том, что открытка предполагала более личное, интимное воздействие на получателя. Запечатленный на карточке образ оказывался принадлежностью двоих — адресанта и адресата, наполнялся дополнительным смыслом в зависимости от сопровождавшего его вербального сообщения и обстоятельств, контекста его отправки. Благодаря этому и визуальное сообщение воспринималось иначе, чем на прочих средствах изобразительной пропаганды. Визуальный образ, связанный с родным, близким человеком, приобретал лирическую коннотацию. Издательства использовали эту особенность, и потому открытые письма тиражировали практически все известные изобразительные жанры и типы визуальных образов, расширяя их способность воздействовать на зрителя. При этом наиболее характерной оказывалась лирическо-романтическая направленность открытки.

Вряд ли можно согласиться с Х. Яном в том, что пронаталистские иллюстрированные открытки полностью отсутствовали в России[1]. Вероятно, этот жанр не отличался таким разнообразием, как во Франции, однако и модницы, и любовные парочки, и счастливые семьи с детьми обнаруживаются на почтовых карточках. Романтическая открытка активно развивалась с начала XX в., поэтому многие издательства продолжили выпуск уже проверенных и полюбившихся покупателям серий, адаптировав их под реалии военного времени. Так, например, до войны в России были распространены открытки из серии «Привет с дороги», значительное число которых выпускалось издательством «А. С. Суворин и К». Открытки эти были посвящены различным железнодорожным линиям. Иллюстрированные карточки этой серии были видовыми (печатались видовые фотографии городов, располагавшихся на определенной железнодорожной ветке) и художественными (фотографическими и живописными). В последнем случае на фоне поезда или пейзажа изображались женщина или мужчина, славшие весточку (ил. 94). Часто это

[1] *Jahn H.* Patriotic culture in Russia… P. 42.



Ил. 94. Сердечный привет с дороги. Изд. К-во А.С.С. и К. Фотоколлаж. Довоенная иллюстрированная почтовая карточка



Ил. 95. Привет с дороги. Изд. К-во А.С.С. и К, 1915. Иллюстрированная почтовая карточка

было выполнено в технике коллажа, как правило не отличавшегося высоким качеством.

Стоила открытка недорого, 7 копеек, и в первую очередь предназначалась для городских слоев населения, учитывая типаж изображенных персонажей — модных дам и кавалеров. В одних случаях изображения были фотографическими, в других — хромолитографии акварелей.

Однако Первая мировая война внесла свои коррективы в эту серию: модных дам стали заменять санитарки, а импозантных кавалеров — офицеры. Встречались образы и городских модниц, но при этом они, как правило, размещались в вагонах II класса, в то время как сестры милосердия — в I классе, т.е. актуальный образ медсестры ценился выше отступившего на второй план образа светской дамы. Типаж медицинской сестры в годы войны отличался от предшествовавших популярных женских образов большей аскетичностью, чему способствовала сестринская форма — исключающее глубокое декольте платье, закрывающая лоб косынка (ил. 95). Однако фотографы находили способы обхода этих условностей — порой из-под косынки выбивалась аккуратная, игривая челочка, а выразительные глаза, брови могли сказать отвыкшему от женщин солдату гораздо больше, нежели фотографии модниц довоенного времени. Фотографы выбирали выразительных моделей, причесывали их и накладывали легкий макияж, подыскивали оптимальный свет и ракурс для съемки, в результате чего получался не менее привлекательный для мужчин образ,



Ил. 96. Сестра милосердия. Б. м., б. г. [1914–1917]. Иллюстрированная почтовая карточка

которому не могло помешать даже кольцо на безымянном пальце (ил. 96). Тем самым чувственные образы медсестер несколько разрушали официальный образ аскетичной и асексуальной сестры милосердия. Художники и фотографы пытались сделать их желанными для потребителей своей продукции, в результате чего происходило смешение разных типажей — распущенной модницы и целомудренной медсестры. Вторая наследовала признаки первой, что, как будет показано в дальнейшем, негативно сказывалось на патриотических настроениях общества. Помимо городских модниц и сестер милосердия, появлялись в этой серии и образы простых крестьянских девушек, ожидавших возвращения своих возлюбленных.

Однако открытки «Привет с дороги» пользовались популярностью не только благодаря своим женским типажам. Сам по себе тиражировавшийся «железнодорожной» серией образ дороги был удачен, так как передавал мотив постоянного движения армии и, главное, предполагал тему возвращения, которая постепенно становилась в сознании обывателей более важной, чем тема победы. По мере истощения патриотических эмоций общество начинало смотреть на войну под углом повседневных забот, как на главную помеху возвращения к полноценной жизни.



Ил. 97. С. Ягужинский. Наконец вернулся он домой,—Христос Воскресе, наш герой! М.: Типо-литография Бр. Менерт, 1915. Иллюстрированная почтовая карточка

Романтическому жанру было свойственно изображать итог войны не как повержение врага или захват чужой территории, а как возвращение воина к своей любимой. Поэтому основные персонажи визуальной коммуникации—солдат (часто раненый) и возлюбленная (жена или невеста), реже использовался образ матери или детей. Лирическая составляющая открыток как средства патриотической пропаганды проявлялась в поздравительных сериях, посвященных, в первую очередь, религиозным праздникам. Рождество, Пасха, Троица—эти праздники казались удачным поводом для воссоединения разлученных войной семей. «Наконец, вернулся он домой,—Христос Воскресе, наш герой!»—восклицала надпись на одной из пасхальных открыток художника С. Ягужинского (ил. 97). Присутствие маленьких детей в мизансцене возвращения солдата было важным элементом этого дискурса—предполагалось, что обязанность воспитания сыновей и дочерей не менее, а возможно и более важная в новых условиях, чем воинская обязанность. Правда, легитимировать возвращение солдат к семейной жизни могло лишь ранение, поэтому героем темы возвращения выступал именно раненый воин. Естественно, художники предпочитали изображать легкие ранения—как правило, в руку. Калекам в лирическом дискурсе возвращения места не находилось.

Другая часть пасхальных открыток, по-видимому, намеренно уводила зрителя от актуальных трагических мыслей, погружая его в мир довоенных образов, эксплуатировавших чувственность. На них главными героями пасхальных праздников становились молодые дамы с кавалерами, чьи отношения явно выходили за рамки платонических, религиозно-возвышенных чувств.



Ил. 98. Христос воскресе!
М.: Т-во И.Н. Кушнерев и К., 1915. Иллюстрированная почтовая карточка



Ил. 99. А.П. Апсит. С Рождеством Христовым! Текст: Малютка спит... Погасли огоньки...
М.: Типо-литография Бр. Менерт, 1914–1916. Иллюстрированная почтовая карточка

В одном случае дама оказывалась пасхальным подарком кавалеру, вылезала из яйца и, запрокинув назад голову, страстно целовала мужчину (явная ассоциация с серией роденовских поцелуев) (ил. 98). Очевидно, подобные серии иллюстрированных открыток ориентировались на относительно узкую целевую аудиторию городских слоев населения.

Несмотря на понятное стремление художников и издателей к приукрашиванию действительности, лирическая направленность предполагала не только праздничные, но и меланхолические настроения. Поэтому вместе с относительно позитивным мотивом возвращения раненого солдата домой художники использовали мотив снов, видений, тоскующих друг о друге супругов. На одной из рождественских открыток художника А.П. Апсита была изображена детская, в которой мать убаюкивала младенца. В углу стояла елка, а рядом с ней мерцал призрачный образ солдата. Рисунок сопровождали наивно-лирические строчки М. Гальперина (М. Галь): «Малютка спит... Погасли огоньки... / И светом комната полна таинственным... / Затихла ночь, а думы далеки,— / Они летят за ним, родным, единственным» (ил. 99).

Конечно же, видения должны были посещать не только тех, кто остался в тылу, но и солдат на передовой. Художник Г. Заборовский в 1916 г. посвятил серию акварелей теме окопных снов солдат, изданной Скобелевским комитетом о раненых. На одном рисунке спящему в окопе рядовому явилась во сне



Ил. 102. М.И. Игнатьев. Смертельно раненный. М.: Типография Бр. Менерт, 1914–1917. Иллюстрированная почтовая карточка

его мать и осенила крестом (ил. 100 на вкладке), на другом офицеру-связисту приснилась жена, склонившаяся и приобнявшая его (ил. 101 на вкладке). Открытки имели соответствующие названия: «Благословение матери всегда с тобою» и «Твоя жена везде с тобою». На этих карточках лирические образы сочетались с изображенными тяготами военных будней: солдаты засыпали от усталости, сидя в окопе на голой земле или на ящике от снарядов, вечером или днем, съежившись от холода. Патриотизм таких рисунков заключался прежде всего в их честности и откровенности и, нужно полагать, они имели более сильное эмоциональное воздействие на зрителя, чем приукрашенные пропагандой образы. Следует учитывать и выход серии — март 1916 г. С одной стороны, общество уже устало от войны, с другой — сохранялись надежды на успех готовившегося наступления. В акварелях Заборовского присутствовал мотив затишья перед бурей. Тем самым являвшиеся во снах женщины как бы призывали утомленных войной защитников собраться с силами и дать решающий бой врагу ради скорейшего возвращения домой.

Ряд открыток изображал неприглядную сторону войны — гибель солдат и их погребения. На рисунке М. Игнатьева был изображен смертельно раненный солдат, зажимающий рукой пулевое ранение в грудь, из которого сочилась кровь (ил. 102). Лицо его при этом казалось безумным — вытаращенные глаза, полуоткрытый рот, — мимика мало соответствовала героическому стандарту изображения мученической смерти. Художник, кажется, хотел напугать зрителя. На другой открытке художник В. Табурин нарисовал процесс захоронения воинов в братской могиле (ил. 103). При этом могильные кресты уходили вереницей за горизонт. Возможно, в серии подобных карточек угадывалась визуальная традиция изображения оборотной стороны войны, заложенная еще В.В. Верещагиным. Похороны настолько прочно вошли в повседневность военного времени, что Московское городское братское кладбище начало издавать серию фотооткрыток с изображением похорон. Решение было весьма



Ил. 103. В. А. Табурин. У братской могилы.
М.: Типография Бр. Менерт, 1914–1917. Иллюстрированная почтовая карточка

неоднозначным, так как на открытках у гроба стояли попавшие в кадр люди, на некоторых можно разглядеть плачущих детей. Издавались открытки с солдатскими могилами в зоне боевых действий. Тем самым, благодаря тиражированию образа на открытках, могилы входили в символическое пространство повседневности военного времени.

Военная повседневность характеризовалась не только актуализацией «высокой» темы смерти, но и «низкими», вполне будничными заботами, связанными с ухудшением снабжения городов товарами первой необходимости, инфляцией и ростом цен на продукты питания, дрова, квартиры, кризисом городского общественного транспорта и в целом коммунального хозяйства и пр. Сатирические открытки пытались в духе официальной пропаганды акцентировать внимание на экономических трудностях Германии, повторяли известные сюжеты лубка, журнальной карикатуры, сводившиеся к тезису, что не сегодня — завтра Германия либо запросит мира, либо помрет с голода. Однако встречались и рисунки, поднимавшие тему внутренних российских проблем. Так, на поздравительной открытке, выпущенной киевским издательством «Новь», было изображено пасхальное яйцо в виде дирижабля, к которому была привязана корзина с подарками — мешком муки, куском окорока, поленом, галошей; в разных городах империи наблюдался дефицит этих товаров (ил. 104).

Религиозные праздники таили в себе известную опасность для патриотической пропаганды. Война внесла в сознание верующих людей некоторый



Ил. 104. ХВ. Киев: Новь, 1915–1917. Иллюстрированная почтовая карточка

когнитивный диссонанс, вызванный попытками примирить взаимоисключающие положения: необходимость, с одной стороны, убивать врагов, а с другой — проявлять христианское милосердие и всепрощение. Особенности времени, подогретые пропагандой ненависти, распространявшей образы зверствующих «немецких варваров», делали лозунг «убей врага» более актуальным, чем принцип «возлюби ближнего своего». Короткие промежутки праздников воспринимались как шанс вернуть христианские добродетели на положенное им в системе общественных ценностей место. Уже первое Рождество 1914 г. на фронте отметилось случаями братания солдат враждующих держав. Примирение на фоне появившейся Вифлеемской звезды стало важным атрибутом некоторых почтовых карточек. На одной из них, называвшейся «Рождественская ночь», было изображено поле битвы, на котором раненые русский казак и немецкий солдат любовались символом Рождества, вспыхнувшим в ночном небе (ил. 105). На рисунке А. Апсита появившиеся в ночи ангелы несли людям новогодние елки как символы мира (ил. 106). О мире были и приводившиеся на открытке строчки стихотворения М. Гальперина: «Как будто десница Господня / Рассыпала мир и покой… / То ангелы Божьи сегодня / Проходят над спящей землей…»

Ожиданиям мира были посвящены и новогодние карточки. Особенно показательными стали открытки, выпущенные в преддверии 1916 г., — в конце



Ил. 105. Рождественская ночь. М.: Изд. Типо-литографии Челнокова, 1915–1917. Иллюстрированная почтовая карточка



Ил. 106. А.П. Апсит. Грядущий день. Текст: Как будто десница Господня / Рассыпала мир и покой… М.: Типо-литография Бр. Менерт, 1915–1917. Иллюстрированная почтовая карточка

1914 г. тема мира была еще не столь актуальна, как после переломного 1915 г. Как правило, Новый год на них изображался маленьким мальчиком, сменявшим Старый год (ил. 107). Главным пожеланием в новом году оказывалась победа, поэтому атрибутами Нового года становились меч, пальмовая ветвь, в другом случае мальчик — Новый год нес в руках сноп пшеницы и серп, в то время как черт уволакивал Вильгельма II в ад. На рисунке художника Н. Самокиша Старый год в корзине уносил с собой Вильгельма, Франца Иосифа, Энвер-пашу и Фердинанда Болгарского (ил. 108). Таким образом, тема мира шла



Ил. 107. В. Н. Михайлов-Северный. 1916. Давно пора освободить землю от этого мусора. Пг.: Изд. Скобелевского комитета о раненых, 1915. Иллюстрированная почтовая карточка

в паре с темой победы, и, несмотря на отдельные непатриотические сюжеты и расхождения с официальной героической пропагандой, иллюстрированные открытые письма оставались в рамках принципа «войны до победного конца».

Изображение Нового года в образе ребенка вытекало не только из противопоставления старого и нового, но опиралось на устоявшуюся традицию художественных поздравительных открыток, эксплуатировавших детские образы как наиболее сентиментальные и способные манипулировать настроениями зрителей. Самыми популярными открытками этого направления были карточки, иллюстрированные художницей Елизаветой Бём, заложившей стандарты «детского жанра» в России. Сотрудники издательств отмечали, что картинки Бём были всегда обречены на успех, в то время как предугадать продажи иллюстраций других авторов было крайне сложно[1]. Помимо мастерства рисовальщика, Бём обладала умением выбирать такие сентиментальные темы, которые эмоционально воздействовали на максимально широкие слои зрителей.

[1] *Мозохина Н. А.* Открытки Общины св. Евгении как художественный проект мастеров объединения Мир искусства… С. 26.



Ил. 108. Н.С. Самокиш. 1916. Туда им и дорога. Пг.: Изд. Скобелевского комитета о раненых, 1915. Иллюстрированная почтовая карточка

Хотя ее творчество обладало всеми признаками массового искусства, художница получила признание в профессиональной среде, в том числе за границей, альбомы ее иллюстраций и открыток выходили в Париже, Берлине, Лондоне, Вене, были известны и в Америке. Само по себе обращение к детской теме было выигрышным по нескольким причинам. С одной стороны, дети — наивысшая ценность любого семейного человека, с другой — образ ребенка, в первую очередь младенца, имеет и глубокие архетипические корни, являясь символом святости и непорочности, олицетворяя собой ангела или самого Христа. Однако летом 1914 г. Бём умерла, поэтому ее тему начали параллельно развивать несколько известных художников: В. Табурин, Н. Богатов, А. Лавров. Обращение к теме детей-ангелочков в условиях разгоравшейся мировой бойни обретало особое значение. Тем не менее вышеназванные художники ушли от приторной сентиментальности акварелей Бём. Главной темой «детских открыток» стала война как игра. В этой теме можно выделить две подтемы: детская игра в войну и детская война как игра.

Первую подтему успешнее всего развивал художник Н. Богатов. Источником его образов становилось наблюдение за детьми, увлеченными войной



Ил. 109. Н. А. Богатов. Плачет горько мальчик Вилли, — его здорово побили. М.: Галерея, 1914–1917

и разыгрывавшими ее эпизоды. Выше уже упоминалось, что, по наблюдению родителей, педагогов, психологов, начиная с лета 1914 г. дети, независимо от пола и возраста, играли в войну. В своих забавах дети нередко переходили границы дозволенного и демонстрировали жестокость: обстреливали друг друга не только гнилыми яблоками да грушами, но и камнями, в ходе «сражений» пускали в ход кулаки и палки (и даже «заимствованное» у взрослых холодное или огнестрельное оружие). Полученные в процессе таких игр ранения иногда требовали безотлагательной медицинской помощи. Богатов документировал подобные игры в своих акварелях. Проигранную врагом битву художник представлял как ссору во время игры двух карапузов: у ног плачущего ребенка в немецкой каске валяется поломанная игрушечная пушка, а рядом стоит его довольный товарищ, в лаптях и косоворотке с засученными рукавами. Подпись к изображению проецирует сюжет детской ссоры на уровень мирового конфликта: «Плачет горько мальчик Вилли, — его здорово побили» (ил. 109). На другой открытке показан момент боя с сидящим в «окопе» юным бойцом:



Ил. 110. Н. А. Богатов. Достал языка. М.: Галерея, 1914–1917

«окоп» сконструирован из перевернутых стола, стула и подушек, покрытых скатертью. Еще одна композиция также создана по мотивам упомянутых детских игр, трагически заканчивавшихся для некоторых участников поневоле: в руках мальчика в военной амуниции — испуганный щенок (ил. 110). Принимая во внимание, что во время игр дети нередко мучили животных, отводя им роль вражеских пленников, подпись на открытке не внушает оптимизма относительно его дальнейшей судьбы: «Достал языка». Присутствует и лирический мотив в сюжетах: на одном рисунке мальчонка, сидя на полу под горшком с цветком, пишет «письмо на родину», на другом задумавшаяся девочка сидит за столом у окна, а на стену позади нее спроецировано изображение героя на коне. Называлась эта открытка «Мечты о нем». Военно-патриотическая пропаганда предполагала известную динамику гендерных отношений: привлекательным для женского пола должен был стать образ воина, в то время как уклонившийся от призыва или тем более дезертир проигрывал в глазах подруг. Поэтому на акварели Богатова девочка локтем грубо отмахивается от ухажера со словами: «Уходи-ка, паренек, ты любови не достоин, — у меня есть мил-дружок, — богатырь и храбрый воин».

Характерной особенностью акварелей Богатова было изображение антуража, декорированного под военную реальность с помощью подручных предметов:



Ил. 111. В.А. Табурин. Уж лучше не свыкаться, коли нужно расставаться. Художественное издание компании «Зингер», 1915–1917. Иллюстрированная почтовая карточка

стульев, палок, игрушек. Иной принцип лежал в серии рисунков В.А. Табурина, который рисовал не детские игры, а войну, замаскированную под детскую забаву. В его композициях присутствовал реалистичный антураж фронтовой повседневности, однако солдаты были изображены детьми. Художник инсценировал сюжеты, уже знакомые по другим визуальным источникам, а также по газетным и журнальным публикациям, устным рассказам. Как и Богатов, Табурин эксплуатировал сентиментальную тематику, изображая романтические отношения своих героев, поэтому частые персонажи его акварелей — раненые дети-солдаты и медицинские сестры. На открытке Табурина «Уж лучше не свыкаться, коль нужно расставаться» изображался драматический момент прощания девочки-медсестры и раненого мальчика-солдата, держащихся за руки (ил. 111). В другом случае рисунок, содержавший сцену встречи солдата с медсестрой, содержал надпись: «Глаза не пули, а сердце насквозь разят». Не обходил художник стороной и тему боевых действий, иллюстрируя, например, подвиги медсестер на поле боя: девочка оказывала первую помощь получившему ранение мальчику со словами «Терпи казак — атаманом будешь!».



Ил. 112. В.А. Табурин. В тесноте, да не в обиде. Художественное издание компании «Зингер», 1915–1917. Иллюстрированная почтовая карточка

Табурин фиксировал различные сцены войны: отдых солдат, пишущих письма домой, рытье окопов. Открытка, изображавшая сбитого немецкого летчика-ребенка содержала ироничную надпись: «Ни с небом, ни с воздухом не дружись, а земли-матушки держись».

Следует отметить, что в целом детские сентиментальные серии отличались весьма лояльным отношением к врагу. Война превращалась в детскую ссору, подразумевалось, что вскоре взаимные обиды пройдут и дети вернутся к совместным играм, забудут о прежних распрях. Отсюда и тема гуманного отношения к пленным: на одной из табуринских открыток под названием «Хоть шуба овечья, да душа человечья» ребенок-казак кормил из ложки пленного немца. Однако, развивая тему гуманизма и милосердия, по крайней мере в одном случае Табурин вышел за дозволительные рамки патриотической пропаганды. На открытке «В тесноте, да не в обиде» (ил. 112) была изображена сценка совместной трапезы в землянке русских и немца зимой. Если предположить, что дело было в декабре, то рисунок оказывается на тему братания. Подобную интерпретацию усиливало изображение висящей над землянкой красной тряпки. Вероятно, некоторая острота отдельных табуринских акварелей объяснялась тем, что художник не понаслышке знал о военных реалиях — он состоял военным фотокорреспондентом журнала «Нива», а потому чувствовал настроения солдатской массы, жаждавшей скорейшего мира. Нельзя не отметить, что изданием открыток с табуринскими рисунками занималась компания «Зингер» — один из главных объектов для выплеска негативных эмоций толп во время антинемецких погромов в империи в годы войны (а также объект



Ил. 113. А.А. Лавров. Для врага здесь горе и с суши и с моря. Издание Никольской общины Р.О. Красного Креста, 1914–1917. Иллюстрированная почтовая карточка

сатиры художников-карикатуристов, изображавших германского кайзера за швейной машинкой этой компании[1]).

В близкой Табурину манере работал другой иллюстратор — А. Лавров. Его акварели уступали в художественном отношении богатовским и табуринским, да и в содержательном плане они были попроще — изображали детей-героев, увешанных георгиевскими крестами, или скучающих в окопе детей-солдат, мечтающих, чтобы поскорее грянул бой. Впрочем, открытки Лаврова относились к обеим подтемам — игре в войну и войне как игре. На одной из них под заголовком «Для врага здесь горе и с суши и с моря» изображались карапузы, расстреливавшие из деревянных пушек игрушечный корабль с солдатиками, плавающий в речке или пруду. Один ребенок сидел на суше за бревном-крепостью, а другой — в деревянном корыте-корабле (ил. 113). На открытке «Лишь пробрался через лес встретил вражеский разъезд» был нарисован выглядывающий из кустов ребенок-разведчик, мимо которого на деревянных лошадках скакали дети-«немцы».

Оригинальную серию открыток выпустило вильновское издательство Artistique. Она включала пронумерованные сатирические рисунки на тему детской войны (удалось обнаружить более дюжины открыток), иллюстрировавших основные этапы войны. Художник, скрывшийся за монограммой M.L., несмотря на юмористическую направленность серии, передал широкий спектр эмоций — от горя расставания с любимыми (ил. 114) до радости и упоения первым боем. При этом в данной серии «игра в войну» и «война как игра» были перемешаны: с одной стороны, масштаб действия, экипировка детей далеко

[1] См.: Худ. Мешанин. «Швейная компания Зингер». Будильник. 1915. № 34.



Ил. 114. M.L. Отъезд на войну. Вильна: Artistique, 1914–1917. Иллюстрированная почтовая карточка



Ил. 115. M.L. Военные трофеи. Вильна: Artistique, 1914–1917. Иллюстрированная почтовая карточка

выходили за организационно-технические возможности детских забав, с другой стороны, «первыми трофеями», отбитыми у врагов, оказались игрушечные лошадки, пушки, барабаны и паровозики, которые на телеге везли довольные победители (ил. 115). Дети в штатском с завистью смотрели на них. Художник также с юмором обыграл тему бегства детей на фронт. На открытке под названием «Юный доброволец Петя Карапузов убежал на войну» была изображена сценка высмеивания 7–10-летними «бывалыми» вояками прибежавшего к ним 3–4-летнего карапуза.

Визуальная пропаганда при помощи почтовых карточек создавала мифологизированный образ «детской войны», для которого были характерны преувеличение участия детей в ней, игровой характер событий, наивная героика, национально-патриотический пафос. При этом подобная картина детской войны создавалась взрослыми художниками, однако в визуальном пространстве периода мировой войны распространялся и непосредственно детский

взгляд на войну, отразившийся в рисунках школьников. Педагоги начальных и средних общеобразовательных учреждений поднимали тему войны на уроках истории, литературы, рисования, проводили воспитательные беседы с детьми. Учителя рисования отмечали, что война настолько поглотила учащихся, что они обращались к ней, даже когда рисунки давались на вольные темы, или переводили мирные темы на военный лад. Так, учащиеся киевского Фрёбелевского общества самостоятельно сюжетом своих рисунков на тему Рождества выбирали «Елку в лазарете» или «Встречу Рождества на позициях». Согласно анкетированию, 76% детей черпали знания о войне именно из изобразительных источников, причем после 10-летнего возраста интерес к визуальной информации только возрастал, поэтому неудивительно желание юных художников выразить свое восприятие войны через рисунок[1]. Кроме того, школьники вступали в переписку с солдатами, навещали их в госпиталях, вносили посильный вклад в благотворительность: шили кисеты, теплые вещи. Тем самым дети оказывались вовлеченными в деятельность, связанную с войной, и у них начинала формироваться собственная картина войны, отличавшаяся от представления о ней взрослых.

Одним из первых педагогов, понявшим значение детского рисунка как исторического свидетельства эпохи и начавшим его коллекционирование, стал художник, педагог, искусствовед В.С. Воронов. Уже в январе 1915 г. он организовал в залах Строгановского училища в Москве большую выставку «Война в рисунках детей», включившую более 5000 листов. Весной 1916 г. Воронов провел в Москве еще одну выставку «Детское творчество», широко и вполне благосклонно освещенную в московской и петроградской прессе. Сотрудничавший с журналом «Аполлон» критик и искусствовед Я. Тугендхольд писал о выставке, восторгаясь искренними, идеалистическими образами, созданными детьми: «Самые ошибки детских рисунков, столь огорчавшие „здравый смысл“ родителей, нашли свое объяснение в порыве ребенка возможно экономнее и синтетичнее запечатлеть свои представления о мире. Ибо творчество детей — идеалистично; ребенок дает лишь символ действительности, ее душистый и яркий экстракт. С другой стороны, благодаря ряду специальных исследований, выяснилась близость детского творчества к творчеству архаических эпох, творчеству народа — точно не ребенок рисует, но рукою ребенка водят изначальные века»[2].

Рассматривая детский рисунок как исторический источник, следует учитывать специфические особенности, отличающие его от рисунка взрослого человека. Если классическое искусствознание склонно было рассматривать детский рисунок в качестве учебной работы на пути овладения ремесленными

---

[1] *Зеньковский В.В.* О влиянии войны на детскую психику // Дети и война… С. 50.

[2] *Т-д. Я.* [Я. Тугендхольд] Письмо из Москвы // Аполлон. 1915. № 3. С. 58.

рисовальными навыками, то современные искусствоведы отводят детскому творчеству место самостоятельного культурного феномена, обладающего характерными признаками. Изучая семантику детского рисунка, исследователи в первую очередь отмечают его символизм как следствие мифопоэтической особенности мышления ребенка, а также психосоматическую природу самого процесса рисования[1]. Таким образом, детский рисунок является высказыванием, в котором преобладают черты бессознательного, нередко обретает форму автоматического письма, позволяющего исследовать психологию его автора. Вместе с тем ряд детских рисунков создавался под впечатлением уже увиденных картинок, повторяя их сюжетный и композиционный уровни. Изобразительными источниками детского творчества являлись лубок, фотография, кинематограф. Дети переосмысливали образы «взрослого мира», наделяя их чертами собственного воображаемого пространства. Однако внимание к деталям помогает обнаружить, помимо подражательного, и оригинальный пласт творчества. Воронов считал возможным говорить даже о некоторой объективности детского рисунка: «Карандаш ребенка по-своему объективен. Он далек от мысли растрогать вас, хотя и достигает этого постоянно; если ребенок-художник предпочитает одну черту другой, то делает он это безо всякой авторской предвзятости, руководствуясь лишь своим впечатлением и интересом в данную минуту; с этой точки зрения он с одинаковой любовью рисует фуражку и повязку офицера, гудок и фонарь автомобиля, флаг красного креста и костюм шофера»[2].

Несмотря на отсутствие комплексного исследования детских рисунков периода Первой мировой войны, эта тема уже привлекала внимание современных исследований[3]. Ю. А. Жердева отмечает, что в детских рисунках на военную тему соединяется несколько сторон психологического содержания: образная, повествовательная, декоративная и конструктивная. При этом эмоционально-образное содержание, отражающее психологические переживания или настроение ребенка, явно уступает преобладающему в военном рисунке повествовательному и конструктивному содержанию[4]. Преобладающими оказывались батальные сцены, однако мирные тыловые сюжеты также отразились в творчестве школьников. Помимо личного опыта (наблюдений за организацией

[1] *Некрасова-Каратеева О. Л.* Детский рисунок: комплексное искусствоведческое исследование. Дис. … д-ра искусствоведения. СПб., 2005. С. 210.

[2] *Воронов В. С.* Война в рисунках детей // Вестник воспитания. 1915. № 2. С. 45.

[3] См.: Москва. 1917 год. Рисунки детей — очевидцев событий. Из коллекции Государственного исторического музея / Сост. и авт. текста Н. Н. Гончарова. М., 1987; *Лукьянов Е. А.* Великая война глазами детей: Коллекция детских рисунков времен Первой мировой войны из собрания ГИМ // Первая мировая война: Исследования. Документы / Ред.-сост. И. Л. Журавская. М.: Гос. ист. музей, 2014. С. 308–317; *Аксенов В. Б., Жердева Ю. А.* Рисуя эпоху: дети, война и революция в пропаганде и творчестве школьников 1914–1917 гг. // Quaestio Rossica. Т. 6. 2018. № 2. С. 487–503.

[4] *Аксенов В. Б., Жердева Ю. А.* Рисуя эпоху… С. 487–503.

призрения беженцев, ухода за ранеными воинами в тылу), официальной репрезентации войны в визуальном пространстве, в воображаемой детской картине войны обнаруживается сказочно-мифологический пласт. Сказка наполняла детские рисунки этическими категориями (добро побеждает зло), задавала общую повествовательную линию. Сказочные протагонисты — царевичи и царевны — превращались в героев-казаков и сестер милосердия. Даже батальные сцены приобретали сказочные мотивы. Таково, например, одно из изображений поля боя, наполненного окровавленными и обезглавленными трупами немецких солдат, разбросанными повсюду ружьями, саблями и портупеями; мрачная картина дополняется лиричной сценой перевязки раненого русского солдата сестрой милосердия. Фигуры эти помещены в самом центре композиции, а за ними находится не менее сентиментальное изображение лесной опушки, на которой автор весьма достоверно обозначил деревья и даже грибы под ними. Такое внимание к деталям и лиризм композиции вполне типичны для сказочных детских сюжетов, а персонажи этой сцены легко заменяются героями сказок. Жердева обратила внимание, что один из детских портретов казака К. Крючкова обнаруживает сказочную атрибутику: на рисунке герой стоит под огромным деревом, усыпанным плодами, напоминающими «молодильные яблоки», к стволу дерева приставлена лестница, а над ним сияет солнце, гигантские лучи которого опускаются прямо к земле.

В то время как взрослые художники рисовали играющих в войну детей, дети изображали играющих взрослых. Один из рисунков был посвящен солдатскому досугу: взрослые солдаты, как дети, катаются с горки и играют в снежки. Можно отметить общую позитивно-эмоциональную направленность детских рисунков: даже тяжелораненые воины на них выглядят довольными, улыбающимися. Тем самым подсознательно дети следовали установке на тиражирование «терапевтических» образов войны как трагического, но посильного испытания, которое должно было завершиться триумфом.

Создаваемые официальной пропагандой и детским творчеством картины войны коррелировались друг с другом при том, что, являясь источником для детских рисунков, визуальные образы печатных изданий интерпретировались в соответствии с возрастными, мифопоэтическими особенностями детского мышления. В сохранившейся коллекции рисунков нет однозначных свидетельств полученной детьми психологической травмы, однако в ней встречаются образы, ставшие знаковыми в последующий период революции и Гражданской войны.

Сентиментализм открыток детского жанра вкупе с сентиментальностью детских рисунков, обращенный к «позитивным» эмоциям, противостоял милитаристской направленности пропаганды, ориентированной на развитие германофобии и шпиономании и тем самым эксплуатировавшей «негативные» эмоции. По мере затягивания войны и эмоционального истощения российского

общества, устававшего от квазипатриотической риторики, сентиментальное направление печатной графики, обращенное к универсальным ценностям мирного времени, вносило некоторую лепту в дело антивоенной пропаганды.

Журнальная карикатура: от смеха к страху

Карикатура как жанр изобразительного искусства тесно связана с феноменом комичного, однако им не ограничивается. В кризисные периоды журнальные карикатуры выполняют функцию профилактики страха — преображают тревожные образы, присваивая им новые смыслы, смещают акценты со страшного на комичное, выступают средствами адаптации зрителя к грядущим переменам. В этих функциях присутствует как авторско-сознательный, так и дискурсивно-бессознательный компонент. Первый связан с авторской интенцией — в этом случае в карикатуре обнаруживается пропагандистская функция. Журнальная карикатура, тесно связанная с текстом, часто выполняет иллюстративную роль; подпись раскрывает задумку художника, наталкивая зрителя на почти буквальное прочтение изображения. Как правило, такие карикатуры отличаются относительной простотой визуальной формы. Г.Ю. Стернин обратил внимание на то, что российская карикатура до начала XX в. зависела от текста, и только с периода 1905–1907 гг. акцент был перемещен с литературной фабулы на сам рисунок[1]. Период первой русской революции не случайно стал «поворотом» в развитии журнальной сатиры: экстремальная эпоха мобилизует общество, в том числе — в желании осмысления происходящих глобальных перемен. Когда слов оказывается недостаточно, а тягостные предчувствия не поддаются четкой вербализации, на помощь приходят визуальные образы, не имеющие однозначных трактовок, апеллирующие не столько к рациональному, сколько эмоциональному восприятию сообщения. В этом заключается дискурсивно-бессознательный компонент, выходящий за рамки первоначальной авторской интенции. Любое произведение является творением не только своего автора, но и той дискурсивной формации, общей культурной традиции, в которой оно возникает. Изучая произведение, всегда важно, помимо голоса автора, услышать голоса «других» — тот самый полифонизм, о котором писал М.М. Бахтин, а затем развитый в дискурсивную теорию трудами Р. Барта, М. Фуко, Ю. Кристевой, У. Эко. Журнальная карикатура в этом отношении представляет интереснейший материал, так как, обладая признаками массового исторического источника, оказывается ценнейшим документом для исследования массового сознания эпохи.

Отечественные исследования журнальной карикатуры периода Первой мировой войны развиваются преимущественно в русле имагологического подхода,

[1] См.: *Стернин Г.Ю.* Очерки русской сатирической графики. М., 1964.

что определяется изучением пропагандистских функций данного изобразительного жанра. Образы «своих» и «чужих» оказываются главным предметом исследования, иногда в ущерб другим темам, освещающим внутренние пороки общества. Тем не менее изучение образов «чужих» позволяет лучше понять мышление «своих» и тем самым является некоторой формой самопознания.

Д. Е. Цыкалов, Т. А. Филиппова, П. Н. Баратов обращают внимание на взаимные стереотипы, которые изначально доминировали при изображении участников мирового конфликта с обеих сторон[1]. Начавшаяся война как будто дала выход накопившимся взаимным претензиям, демонстрируя искаженное восприятие друг друга противоборствующими сторонами, и тем самым из физического поля переходила на театр ментальных и культурных столкновений. Однако очень скоро произошло «обновление» старых форм репрезентаций врагов благодаря конкретным событиям военного времени. Так, для русской сатирической графики новым стало изображение немцев как варваров. Примечательно, что данный стереотип в предшествующее время больше соответствовал немецкой репрезентации своих восточных соседей. Цыкалов обращает внимание на карикатуру из газеты «Голос Москвы», на которой был представлен образ «цивилизованного варвара» (он же «культурный зверь» или «просвещенный вандал»): немец изображен дикарем, сидящим на томах Канта, Гегеля и других немецких ученых, закусывающим детской ножкой[2]. Подобная деприватизация немецкого культурного наследия, попытка противопоставить современных немцев их цивилизованным предкам соседствовала с попытками отрицания культурной значимости всей научной традиции Германии. В какой-то момент акцент с прусской военщины стал смещаться в сторону рядового немца или ученого, в чем проявлялась распространявшаяся в обществе германофобия. Т. А. Филиппова отмечает раскультуривание немцев в журнальной карикатуре: «Антикультурность, антигуманность, дикарство, презрение к международному праву и любым нормам цивилизации становятся главными „красками“ в портретировании немца-противника»[3]. В. П. Булдаков и Т. Г. Леонтьева обратили внимание и на трансформации образа немецкого ученого: бульварная печать изображала его с ослиной мордой и очками на носу, тупо пожирающего сосиски с картошкой[4].

П. Н. Баратов считает, что карикатурный образ австрийца сформировался ранее образа немца, так как еще со времен аннексии Боснии и Герцеговины в 1908 г. в российской сатирической журналистике утверждается тема вины

[1] См.: *Филиппова Т. А.* Аспиды и готтентоты: Немцы в русской сатирической журналистике // Родина. 2002. № 10. С. 31–37; *Цыкалов Д. Е.* Карикатура как орудие пропаганды в период Первой мировой войны // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4. История. 2012. № 1 (21). С. 85–90; *Филиппова Т. А., Баратов П. А.* «Враги России». Образы и риторики вражды в русской журнальной сатире Первой мировой войны. М., 2014.

[2] *Цыкалов Д. Е.* Карикатура как орудие пропаганды… С. 87.

[3] *Филиппова Т. А., Баратов П. Н.* «Враги России»… С. 178–179.

[4] *Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г.* Война, породившая революцию… С. 113.

Австро-Венгрии за развязывание военного конфликта. При этом политическая антиавстрийская карикатура включила в себя дискурс культурного соперничества: русские художники высмеивали австрийцев, используя типажи венской оперетты[1]. Карикатуристы обыгрывали возраст старейшего монарха Европы — Франца Иосифа, которому доставалось амплуа «живого мертвеца», — подчеркивая мотивы болезни, тяжелых травм и возрастных недугов, в результате чего образ империи в русской журнальной сатире балансировал на грани насмешки и опасения, иронии и фобии. Болезненность императора передавалась австрийскому вооружению. В этом плане политическая карикатура выполняла важную терапевтическую функцию по профилактике страха. В обывательском сознании существовал страх перед образом «австрийской пушки». Это словосочетание часто использовалось в устной и письменной речи современников в качестве тропа, архетипической метафоры разрушительного оружия, указывало на существование в русском обществе фобии относительно военно-технического превосходства Австро-Венгрии, которая против самой тяжелой российской 280-миллиметровой мортиры уже в 1914 г. имела 420-миллиметровую гаубицу производства концерна «Шкода», а 305-миллиметровые мортиры «Шкода» обстреливали русскую крепость Осовец в феврале 1915 г. Однако русские карикатуристы создали образ австрийской пушки, которая стреляла во все стороны, разрывая на куски собственный расчет. Исследователи обращают внимание, что в образе Австро-Венгрии отсутствовали венгерские черты, он был преимущественно австрийским. Вероятно, объяснение этому кроется в персонификации империи в фигуре австрийского монарха Франца Иосифа, а также в том, что венгры намного охотнее австрийцев и немцев сдавались в плен русской армии: среди военнопленных габсбургской армии совокупная доля австрийцев и немцев составляла 20–22%, в то время как одних венгров было 24–25%[2]. Образ не желавшего воевать с Россией венгра подкреплялся бытовыми картинками занятых на сельхозработах в русских деревнях военнопленных венгров (хотя они считались менее благонадежными, чем пленные славяне).

Образ турка, как и австрийца, частично основывался на существовавших стереотипах — образах «врага с Востока». Филиппова отмечает ориенталистские штампы в отношении турка — слабость, безволие, алчность, завистливость, — не способствовавшие демонизации образа в той же степени, как в отношении немцев. Хотя карикатуристы подчеркивали «восточную хитрость» Турции, ей отводилась второстепенная роль «третьесортной шансонетки, обманутой коварным кавалером»[3]. Демаскулинизация врага становилась распространенным приемом высмеивания противника и применялась в адрес как

[1] *Филиппова Т.А., Баратов П.Н.* «Враги России»… С. 68.

[2] Интернационалисты: Участие трудящихся стран Центральной и Юго-Восточной Европы в борьбе за власть Советов. М., 1987. С. 33–34.

[3] *Филиппова Т.А., Баратов П.Н.* «Враги России»… С. 119.



Ил. 116. Д. И. Мельников. В саду ли, в огороде девица гуляла // Будильник. 1915. № 9. С. 9



Ил. 117. Ре-Ми (Н. Ремизов). Шансонетный дух // Новый Сатирикон. 1915. № 32. С. 9

немцев с австрийцами, так и по отношению турок и болгар. В 1915 г. российская пропаганда проводила мысль об исчерпании продовольственных запасов Германии, и художник Д. Мельников выпустил карикатуру, на которой германский кайзер в женском платье прогуливался по площади Берлина, превращенной в огород (ил. 116). Позиция Болгарии, ее заигрывания в условиях войны с врагами России воспринимались национальным предательством и приводили к использованию ее образа в роли девицы легкого поведения (ил. 117). Когда же в октябре 1915 г. Болгария вступила войну, войдя в блок Центральных держав, появился образ короля Фердинанда в роли Иуды. На обложке 40-го номера «Нового Сатирикона» вышла карикатура, на которой изображался Фердинанд с чеком на 5 000 000 000, рядом с которым стоял с мешочком с 30 сребрениками завидующий Иуда. Фердинанд его успокаивал: «Не завидуй, Иуда, ведь я продаю целый народ».

Филиппова и Баратов вступают в полемику с Цыкаловым, утверждающим, что основной мишенью русских карикатуристов стал германский кайзер Вильгельм II[1]. Тезис Цыкалова выглядит вполне обоснованно, если вспомнить, что раненые солдаты в своих разговорах склонны были недооценивать австрийцев и опасаться немцев: «Австрийцы — те ничего, а вот немцы — те сукины сыны»[2], — что ожидаемо настраивало фокус журнальной сатиры на более опасного противника. Филиппова и Баратов возражают, что «в большинстве проанализированных изданий противники России в Первой мировой

[1] *Цыкалов Д. Е.* Карикатура как орудие пропаганды…

[2] Взыскующие града… С. 589.

войне получают вполне „сбалансированное“ количество уколов»[1]. Конечно, хотелось бы узнать более точное количественное выражение «большинства» и «сбалансированности», тем более что мои собственные подсчеты объектов карикатур в журнале «Новый Сатирикон» (Филиппова и Баратов признают, что материалы именно этого издания составили основу источниковой базы монографии) за 1915–1916 гг. подтверждают выводы Цыкалова. Так, доля карикатур на Германию из всех карикатур на внешнего врага составляет 60,1%, при этом карикатуры на Турцию — 15,7%, на Болгарию — 12,9%, на Австрию — 11,2%. Любопытно опережение Болгарией Австрии, что свидетельствует не о том, что болгарская армия вызывала большие опасения, чем австрийская, а об эмоциональном резонансе, который вызвало вступление Болгарии в войну на стороне врагов, что перечеркнуло одну из главных стратегических линий российской военной пропаганды — войну славянства против германизма, — тем более что в 1916 г. доли антиболгарских и антиавстрийских карикатур уравниваются. Можно отметить динамику структуры образов внешнего врага в указанный период: если в 1915 г. образ немца составлял 58,7% из всех изображений врагов (немцы, австрийцы, турки, болгары), то в 1916 г. — 63,8%, что свидетельствует об усилении опасений в отношении Германии. Также возросло количество упоминаний турок — с 14,5 до 18,1%, в то время как частота образов австрийцев упала с 12,2% в 1915 г. до 8,5% в 1916 г., а врага-болгарина — с 14,5 до 8,5%.

Однако чрезмерное увлечение имагологическим подходом оставляет вне исследовательского фокуса не менее важную тему: вольную или невольную констатацию художником внутренних проблем общества. Журнальная карикатура привлекает внимание зрителей к больным темам, и в определенный момент внутренние проблемы начинают волновать современников больше, чем внешние. Не случайно исследовательница сатиры Лесли Милн отметила в качестве одной из функций юмора периода Первой мировой войны «организацию протеста» и противостояние с цензурными ограничениями[2].

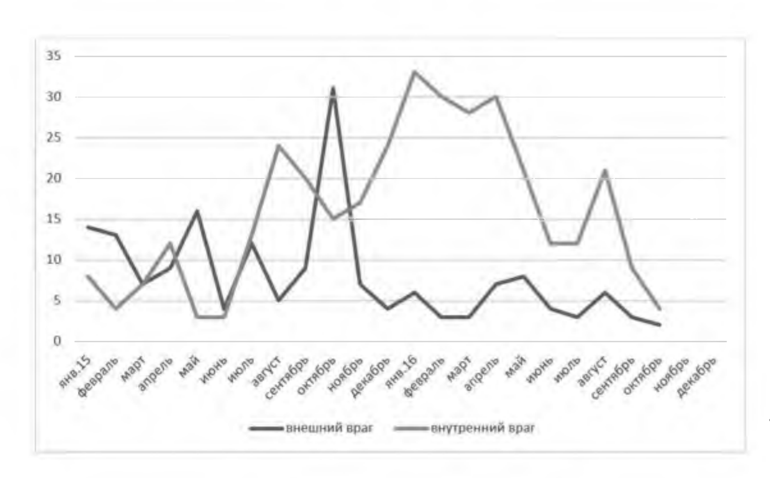
Несмотря на то что политическая карикатура в целом поддалась ксенофобским настроениям первых месяцев войны, отдельные художники высмеивали квазипатриотические тенденции, охватившие образованные слои общества. Одной из них стал бойкот товаров вражеских фирм. В январе 1915 г. Николай Ремизов (Ре-Ми) опубликовал серию карикатур в виде комикса под названием «Бойкот всего немецкого или не бывать бы счастью, да несчастье помогло», в которой рассказал, как обыватель последовательно отказывался от немецкого шницеля, немецкого платья, произведений Шуберта и пианино Шредер и, оставшись с одной бритвой, решил зарезаться, но выяснилось, что и она немецкая[3].

---

[1] *Филиппова Т.А., Баратов П.Н.* «Враги России»... С. 21.

[2] *Milne L.* Laughter and War. Humorous-Satirical Magazines in Britain, France, Germany and Russia 1914–1918. Cambridge, 2016. P. 215.

[3] Новый Сатирикон. 1915. № 3. С. 5.



Ил. 118. Динамика внешней и внутренней угрозы в карикатурах «Нового Сатирикона» в 1915–1916 гг.

С помощью квантитативного анализа можно уточнить время начала трансформации патриотических настроений в оппозиционные на примере динамики частотности упоминаний внешней и внутренней угроз. Так, за 1915 г. на 131 упоминание внешних врагов России приходится 74 упоминания внутренних экономических (46) и политических (28) проблем. Таким образом, тема внешней угрозы оказывается в 1,77 раза более актуальной, чем тема угрозы внутренней. Общее соотношение упоминаний внешнего врага со всей совокупностью прочих внутренних сюжетов — 148 к 155, т. е. 48,8% из общего числа сюжетов. Правда, если рассмотреть динамику тем по полугодиям, окажется, что перелом в настроениях обывателей происходит в июле 1915 г.: экономические проблемы во втором полугодии упоминаются в карикатурах в 4,75 раза чаще, чем в первом, а политические — в 6 раз. Все это приводит к тому, что в 1916 г. структура сюжетов принципиально меняется, и уже на 47 совокупных упоминаний внешних проблем России (агрессии немцев, австрийцев, турок и болгар) приходится 70 упоминаний внутренних экономических проблем, при этом 30 сюжетов посвящено коррупции среди чиновников, мародерству и спекуляциям (образ внутреннего врага) и 19 — политическому кризису. Таким образом, внутренние проблемы, включая образ внутреннего врага, оказываются более актуальными в 1,89 раза, чем угрозы внешние.

Общая же доля образов внешнего врага во всей совокупности сюжетов за 1916 г. (кроме упомянутых экономических и политических тем, это тема социального расслоения общества, адюльтера, сухого закона и пьянства, криминальные сюжеты) — 47 из 201, что составляет 18,9% (против 48,8% за 1915 г.). При этом необходимо учитывать, что в условиях жестких цензурных ограничений издатели не могли себе позволить в полной мере сосредоточиться на критике внутренних проблем империи, поэтому реальная степень актуальности внутренних проблем перед внешними была еще выше. Отмена цензуры в 1917 г. демонстрирует, вероятно, более адекватную общественным настроениям тематическую структуру карикатур — из 323 сюжетов внешней угрозе посвящено лишь 13, т. е. 3,8%. Таким образом, можно утверждать, что образ



Ил. 119. Ре-Ми (Н. Ремизов). Корыстолюбие // Новый Сатирикон. 1915. № 17. Обложка

врага в годы Первой мировой войны переживает трансформацию от врага внешнего к врагу внутреннему (падение актуальности образа внешнего врага почти в 12,8 раза: от 48,8% из всех образов в 1915 г. до 3,8% в 1917 г.) (ил. 118).

Среди самых актуальных образов внутренних врагов, пробивавшихся сквозь цензурные ограничения, был образ мародера-спекулянта, наживающегося на войне. Уже в апреле 1915 г. Ре-Ми выпускает карикатуру под названием «Корыстолюбие», на которой изображен сидящий на мешках с продовольствием толстый купец, на пальцах у него блестят перстни с драгоценными камнями (ил. 119). Забегая вперед, отметим, что в годы Гражданской войны этот образ использовался красной пропагандой для дискредитации зажиточных крестьян (кулаков). Помимо внутреннего врага, формировался негативный образ аристократа, имитирующего общественную работу и укрывающегося за счет этого от участия в боевых действиях. Художник В. Млынарский запечатлел представления о «земгусарах» в рисунке «Панорама весенних мод», изображавшем женоподобного молодого аристократа и сопровождавшемся подписью: «Элегантные костюмы для господ уполномоченных,— по последним моделям. Для театров и прогулок по Кузнецкому мосту» (ил. 120).

Эти образы свидетельствовали об усилении социальных противоречий в российском обществе. Тема обогащения на войне одних неизбежно подводила к теме пауперизации других. Помимо «мародеров тыла» (как правило, деляг средней руки), популярность получал образ крупных воротил



Ил. 120. В. Млынарский. Панорама весенних мод // Будильник. 1916. № 13. С. 12



Ил. 121. А. Курган. Прелестная брюнетка Ниниш — питается исключительно акулами // Будильник. 1916. № 5. С. 12

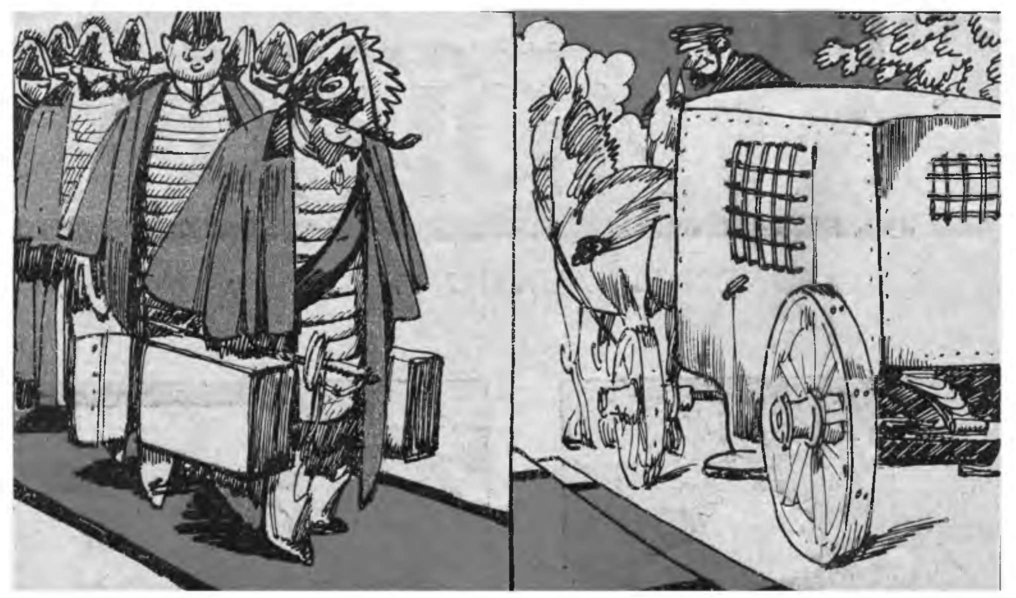
(промышленников и банкиров) — «акул». В январе 1916 г. Д. Мельников в «Будильнике» публикует аллегорический рисунок, на котором плывущую в древнерусских латах женщину-Россию (сам по себе не особенно удачный образ) кусает и тянет на дно акула. Художник А. Курган обыграл тему «круговорота акул в обществе», изобразив дородную даму в ресторане, на тарелке которой лежали маленькие черные и белые акулы (ил. 121). Авторы часто обращались к сюжету, в котором набившие карманы на военных предприятиях нечистоплотные дельцы растрачивали свои накопления в ресторанах и кабаках, спускали средства на дам легкого поведения. Падение нравов тем самым рассматривалось в качестве одной из причин социального кризиса. Вместе с тем Д. Моор высмеивал позицию, согласно которой коррупция объяснялась «соблазном со стороны лиходателей», в карикатуре, изображавшей соблазнение змеем Адама и Евы (Ева была изображена усатым гермафродитом) на обложке специального выпуска «Будильника», посвященного «Акулам тыла». Рисунок содержал саркастическую подпись: «И Ева ела, и Адам ел… и змий сыт остался»[1].

От высмеивания и порицания великосветских львиц и денди художники переходили к критике представителей власти. И. Малютин опубликовал карикатуру, которая отражала общественное недовольство тем, что полицейские чины освобождены от призыва в армию. Его рисунок сопровождала надпись, предполагавшая переодевание городового в солдата: «К этой серой шапке да

[1] Будильник. 1916. № 5. Обложка.



Ил. 122. И. Малютин. К этой серой шапке да серую бы шинель // Будильник. 1916. № 1. С. 4



Ил. 123. Ре-Ми. Текст: Губернаторы (хором): Пойдем искать по свету, / Где оскорбленному есть чувству уголок! / Карету нам, карету! // Новый Сатирикон. 1915. № 34. С. 3

серую бы шинель» (ил. 122). В августе 1915 г. появляется новый внутренний враг — собирательный образ губернатора-коррупционера-предателя. Часто изображается в треуголке — аллюзия на изгнанного из России Наполеона. На одной из карикатур Ре-Ми губернаторы в наполеоновских треуголках, понурив головы, с чемоданами шли к поджидающей их тюремной карете[1] (ил. 123).

[1] Новый Сатирикон. 1915. № 34. С. 2.

Как ни парадоксально, тема коррупции тесно переплеталась с темой женской эмансипации и адюльтера. Одна из вероятных причин — влияние теории классика немецкой социологии и экономики Вернера Зомбарта, который в работе 1912 г. «Роскошь и капитализм» взглянул на проблему сквозь призму гендерных отношений. Исследователи отмечают популярность идей Зомбарта в российском обществе накануне войны[1]. В главе «Секуляризация любви» автор исследует формирование феномена «экономики куртизанок» и приходит к выводу, что «все безумства моды и роскоши, тщеславия и расточительства испробуются сперва куртизанками и лишь затем, в смягченных тонах, принимаются дамами света»[2]. Тем самым тяга к роскоши рассматривалась в качестве производной от сексуального раскрепощения женщин. Первая мировая война, повысившая общественную роль женщин и усилившая эмансипацию, акцентировала проблему как гендерных отношений, так и тяги к роскоши, в результате чего очень часто в среде консервативной общественности между эмансипацией, сексуальной распущенностью и мотовством ставился знак тождества. Под одним из рисунков Н. Ремизова приводился диалог богатых мужчины и женщины: «Он: — Знаешь, милая, у меня был раньше баритон, но один профессор пения убедил меня, что я тенор, — и что же! — теперь у меня, действительно, тенор! Она: — Это что! А мой диапазон еще шире: вчера у меня баритон, сегодня бас, завтра тенор, а послезавтра нефтяной король с Кавказа»[3].

В августе 1915 г. и в июне 1916 г. в Государственной думе рассматривался проект депутата от фракции прогрессистов А. А. Бубликова, который предлагал запретить ввоз в Россию предметов роскоши. Дума не поддержала эту инициативу, и только в октябре 1916 г. по постановлению правительства ввоз предметов роскоши в Россию был остановлен[4]. Учитывая неоднозначный характер проекта, некоторые художники, признававшие проблему, скептически относились к борьбе с роскошью, высмеивая ее в своих карикатурах. Сестра Николая Ремизова Анна Ремизова-Васильева, выступавшая под псевдонимом Мисс, снабдила свой рисунок, изображавший беседу двух дам в богатом интерьере гостиной, расшифровкой разговора: «С тех пор, как я вступила в общество для борьбы с роскошью — я перестала даже ездить на извозчиках!.. — Вот это, действительно, гражданское мужество! Значит, пешком ходите? — Нет, — пришлось купить автомобиль»[5].

---

[1] *Агеева Е. А.* Роскошь в российском обществе в период Первой мировой войны: экономический и социальный аспекты // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2014. № 9 (47). Ч. 2. С. 17.

[2] *Зомбарт В.* Собрание сочинений: В 3 т. Т. 3. Исследования по истории развития современного капитализма. Роскошь и капитализм. Война и капитализм. СПб., 2008. С. 86.

[3] Новый Сатирикон. 1915. № 15. С. 9.

[4] *Агеева Е. А.* Роскошь в российском обществе... С. 20.

[5] Новый Сатирикон. 1916. № 8.



Ил. 124. Ре-Ми (Н. Ремизов). Беженцы // Новый Сатирикон. 1915. № 33. С. 9

Не обходили авторы стороной и изнанку богемной жизни — расползавшуюся по России бедность, самым ярким проявлением которой стало массовое беженство (ил. 124). Пауперизация и усиление ментальных различий между разными имущественными слоями также становились объектом внимания карикатуристов. В июле 1916 г. в «Новом Сатириконе» появился рисунок, на котором богатая дама с собачкой брезгливо смотрела на нищенку с ребенком и думала про себя: «Какие глупые эти бедняки! Брали бы с собой розовых, нарядных, хорошеньких бэби, а таким грязным уродам кто же подаст»[1]. Поднимали художники и тему растущей детской беспризорности, чему, например, был посвящен рисунок А. Радакова «Дети третьего двора», сопровождавшийся стихотворением художника: «Сырые, угрюмые, темные колодцы, / В них смотрят куски слезливого неба, / Смотрят, как внизу бледные уродцы / Вечно мечтают о куске хлеба...»[2] (ил. 125).

Акцентирование внимания на внутренних проблемах меняло эмоциональную атмосферу российского символического пространства, семиосферы, что можно рассмотреть на примере специальных праздничных выпусков журналов. Так, динамику масленичных настроений от 1915 к 1916 г. демонстрируют два рисунка Н. Ремизова, открывавшие праздничные номера «Нового Сатирикона». В начале 1915 г. еще доминировала тема внешней угрозы, и потому художник создал веселый, карнавальный образ пышной, розовощекой Масленицы, уносившей на лопате тевтонца (ил. 126), однако спустя год Масленица

[1] Новый Сатирикон. 1916. № 29. С. 9.

[2] Новый Сатирикон. 1916. № 35. С. 16.



Ил. 125. А. Радаков. Дети третьего двора // Новый Сатирикон. 1916. № 35. С. 16



Ил. 126. Ре-Ми. Масленица // Новый Сатирикон. 1915. № 5. Обложка



Ил. 127. Ре-Ми. Масленичный номер // Новый Сатирикон. 1916. № 8. Обложка

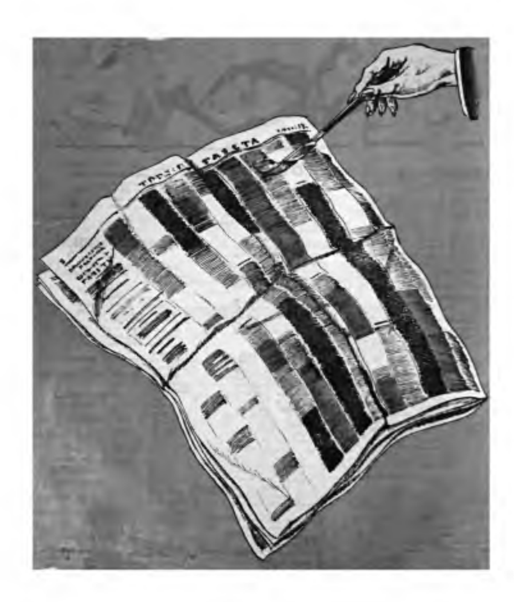
превратилась в исхудавшую беженку-крестьянку с ребенком на руках, вокруг которой устроили пляску акулы и мародеры тыла (ил. 127). Последний рисунок сопровождался подписью: «Если кто знает, когда кончится вечная масленица для одних, вечный пост для других, — протелефонируйте в редакцию „Нового Сатирикона". Очень просим!»

Несмотря на то что власть и общественные организации занимались благотворительностью, эта тема постоянно освещалась в печати, публицисты призывали к милосердию, художники фиксировали лицемерие великосветского общества, обратившегося к призрению малоимущих под влиянием моды. Карикатура Ре-Ми под названием «Свежее зрелище» изображала даму и господина в кабриолете. Женщина обращалась к своему спутнику: «Ах, Серж! У вас золотая голова: сегодня все театры закрыты, а вы так удачно придумали — ехать смотреть беженцев!»[1]

[1] Новый Сатирикон. 1915. № 39. С. 7.

На фоне визуализации усиливающегося социального раскола общества революционным содержанием наполнялась патриотическая графика. Так, рисунок Д. Моора «Все для войны» открывал июльский 1915 г. номер «Будильника» (ил. 128 на вкладке). Надпись под ним гласила: «В огне и буре родилась русская промышленность». Очевидно, что рождение новой русской промышленности художник связывал с образованием военно-промышленных комитетов и началом нового этапа взаимоотношений правительства, Думы, промышленников и общественных организаций. Вместе с тем изобразительный язык графического произведения позволяет существенно уточнить данную интерпретацию. Обращение к композиционным приемам средневековой миниатюры и иконописи (обратная перспектива и условность изображения скал и города) допускает анализ рисунка в милленаристско-эсхатологическом ключе. Учитывая, что главным героем является рабочий, рожденный в военно-промышленном огне, речь идет о рождении нового человека, возможном Мессии, которому предстоит вступить в последнюю схватку со злом. Не случайна и цветовая символика изображения: красному пламени (революции?) противопоставлены черные пятна репейника (символа внутренней реакции), который стремится сдержать движение нового рабочего. В этом плане молот, который высоко поднял над головой рабочий, из орудия производства превращается в оружие последней битвы. Нет сомнения, что обращено оно будет не только против внешнего, но и против внутреннего врага. Не случайным кажется также треугольник направленных взглядов: «рабочий-Мессия» смотрит на расположившегося на названии журнала шута-эмблему, грозя ему своим молотом, в то время как сам шут хитро посматривает на зрителя, как бы переадресуя ему исходящую от рабочего угрозу (и грозя зрителю собственным молоточком). Следует заметить, что графика Д. Моора очень тонко фиксировала социально-политические процессы, происходившие в российском обществе, и данную работу можно рассматривать как предчувствие событий 1917 г.

В отличие от социальной тематики, политическая критика «звучала» в графике приглушенно. Чтобы донести до зрителей свои интенции, художники вынужденно использовали иносказание, Эзопов язык. При этом не забывали и о главном враге свободной прессы — цензуре. После того как 5 июня 1915 г. князь Н. Б. Щербатов, известный стремлением к диалогу с оппозицией, был назначен управляющим Министерства внутренних дел, у художников, публицистов, издателей появились надежды на цензурные послабления. 30-й номер «Нового Сатирикона» за 1915 г. открывался карикатурой, изображавшей, как представители разных печатных изданий перед кабинетом князя спорят о том, в какую краску им теперь следует выкрашиваться: в красную или в черную. Однако надежды на Щербатова, возглавлявшего МВД всего неполных четыре месяца, не оправдались, и в 1916 г. пресса оказалась под еще большим давлением. В февральском номере «Будильника» Д. Мельников публикует рисунок



Ил. 129. Д.И. Мельников. Блинный разгул // Будильник. 1916. № 8. С. 4

«Блинный разгул», на котором рука цензора вымарывает в газете столбцы, закрашивая их красной, черной и белой красками. Художник невесело шутит в подписи к карикатуре, сводя воедино политическую и экономическую темы: «Кушайте на здоровье. С черной, красной икрою, да со сметаной» (ил. 129).

В то время как отцензурированные газеты выходили с белыми полосами, в иллюстрированных изданиях цензоры наклеивали на неподходящее изображение черные прямоугольники. В некоторых случаях цензоров можно было заподозрить в излишней мнительности, когда страдали даже невинные пейзажи. В результате власти добивались прямо противоположного эффекта: воображение зрителей начинало дорисовывать закрашенные элементы изображения, наделяя их вымышленным политическим содержанием. В этом случае политический эффект оказывался более сильным, чем могли себе представить художник и цензор. Так, например, в 1915 г. читатель журнала «Лукоморье» был обескуражен вымарыванием пасторального пейзажа Г. Нарбута, на котором цензор заклеил центральных персонажей, расположенных на зимней опушке леса (ил. 130). Зрителю приходилось напрягать фантазию, чтобы понять, какие именно персонажи могли вызвать недовольство бдительного представителя власти. Оригинально тему цензуры проиллюстрировал Д. Моор. Он решил опередить цензора — собственноручно нарисовал цензурный квадрат во всю страницу, но сделал его не черным, а красным. Тем самым художник расширил семантику своего рисунка, дав отсылку к скандально известной выставке супрематистов 1915 г. «0,10». Экспонировавшийся на ней «Красный квадрат» К. Малевича, по признанию современников, мыслился в качестве «сигнала революции». Цензор оставил этот сигнал Моора нетронутым.

Пытаясь обойти цензуру, художники нередко прибегали к приему «переадресации»: адресовали критику характерных для России проблем Германии, тогда как у читателя возникала правильная аналогия. Самым ярким примером



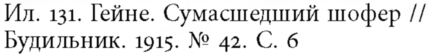
Ил. 130. Заклеенная цензором акварель Г.И. Нарбута // Лукоморье. 1915. № 6. Обложка

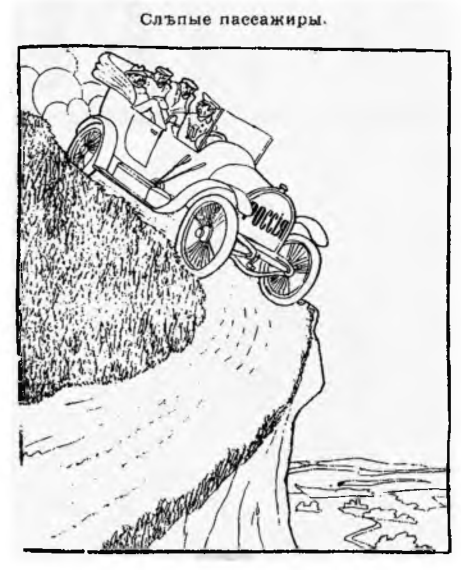
«переадресации» может быть карикатура под названием «Сумасшедший шофер» из раздела «Немцы о себе», опубликованная в октябрьском 1915 г. номере журнала «Будильник», на которой изображалась германская императрица, несущаяся в автомобиле прямо в пропасть (ил. 131). В качестве автора указывался немецкий карикатурист Т. Гейне, однако среди его известных произведений не удалось найти эту карикатуру, кроме того, подобная тематика была совсем не типична для немецких политических карикатур 1915 г., в которых господствовала патриотическая тематика. В действительности этот рисунок был иллюстрацией к известной статье депутата-кадета В.А. Маклакова, опубликованной 27 сентября 1915 г. в «Русских ведомостях», в которой он сравнил Россию с автомобилем, ведомым в пропасть безумным шофером, под которым он подразумевал премьер-министра И.Л. Горемыкина. Для придания картине большего трагизма Маклаков предложил читателю представить, что в автомобиле сидит его мать.

Образ летящего в бездну автомобиля оказался востребован в политической лексике, к нему в 1916 г. возвращались депутаты Государственной думы, а в 1917 г. в одесском журнале «Театр» была опубликована карикатура, повторявшая композицию рисунка из «Будильника» с той разницей, что в роли шофера был изображен председатель Временного правительства А.Ф. Керенский. Нет сомнения в том, что образованные круги общества в 1915 г. правильно считали смысл карикатуры.

Другим примером приема «переадресации» может быть рисунок Д. Моора, изображавший аудиенцию русских представительниц Красного Креста у германской императрицы в Берлине. Речь шла о делегации русских сестер милосердия, отправленных в августе 1915 г. в Германию для ознакомления с условиями содержания русских военопленных в лагерях. Пресса критически




Ил. 131. Гейне. Сумасшедший шофер // Будильник. 1915. № 42. С. 6



Ил. 132. Слепые пассажиры // Театр. Одесса, 1917. Август

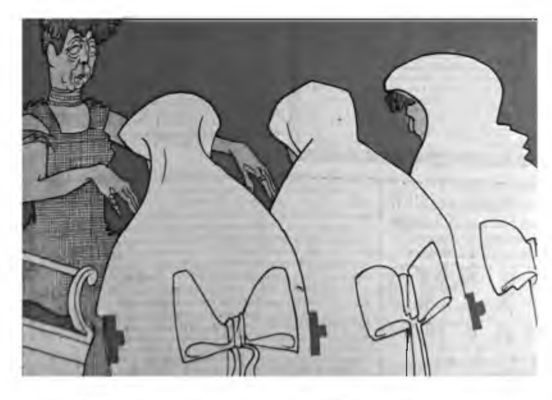
освещала это событие, обвиняя медицинских сестер (у двух из них в плену находились мужья) в антипатриотическом поведении[1]. Однако в рисунке Моора обращает на себя внимание портретное сходство супруги Вильгельма II с Александрой Федоровной, которую в народе называли «немкой» и считали немецкой шпионкой[2] (ил. 133). Получалось, что карикатура была не про сестер милосердия, а про российскую императрицу. Играя таким образом на больных темах общества и предлагая зрителям в завуалированной форме негласно обсуждаемые сюжеты, карикатура вызывала не менее, а может и более сильный эмоциональный отклик, чем подпольная политическая продукция («политическая порнография»), распространявшаяся в виде самодельных открыток на рынках городов. Меньше ясны интенции художника, рисовавшего под псевдонимом Ятак: в карикатурной форме он изобразил Болгарию в виде царицы, к которой пристает мужиковатый и одетый в лохмотья «Махмутка»[3]. В образе Болгарии зритель вполне мог рассмотреть черты российской императрицы, а в Махмуте — Распутина.

Вероятно, схожий эффект достигался некоторыми карикатурными изображениями Вильгельма II. Так, образ Вильгельма-алкоголика плохо коррелировал с представлениями низов российского общества о германском императоре, зато хорошо соотносился со слухами о Николае II, который, по мнению крестьян и мещан, «к войне не готовился, а только сорок лет водкой торговал».

[1] *Срибная А. В.* Сестры милосердия в годы Первой мировой войны. М., 2017. С. 123.

[2] Более подробно см.: *Колоницкий Б. И.* «Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М., 2010.

[3] Огонек. 1915. № 37. Без пагинации.



Ил. 133. Д. Моор. Сестры милосердия из Петрограда // Будильник. 1915. № 38. С. 12



Ил. 134. Д.И. Мельников. Пьяная трезвость // Будильник. 1915. № 15. С. 9

В связи с этим уместно предположить, что карикатура Д. Мельникова «Пьяная трезвость», изображавшая германского кайзера на поле, усеянном пустыми бутылками, вызывала ассоциации с русским самодержцем (ил. 134). С другой стороны, снабжение германской армии алкогольными напитками — в первую очередь шнапсом — действительно привлекало внимание российских солдат и вызывало некоторую зависть, которую и следовало погасить подобными карикатурными образами.

Следует отметить, что официальная пропаганда заметно облегчала задачу художникам, критиковавшим политику российских властей. В условиях роста цен на продукты, введения в ряде городов карточной системы, перебоев с поставкой в города предметов первой необходимости сообщения печати о продовольственном кризисе в Германии казались российским обывателям издевкой. Москвичи



Ил. 135. Ре-Ми. Жертва быстрой автомобильной езды // Новый Сатирикон. 1917. № 3. Обложка

отмечали в дневниках, что в Берлине продукты дешевле[1]. Полковник П. А. Половцов вспоминал, что даже 1 марта 1917 г., в самый разгар революции, петроградские типографии были полны сводок, поступавших из Министерства иностранных дел, о том, что «вся Германия через несколько дней помрет с голода»[2].

Помимо приема «переадресации» темы, художники использовали и более тонкие средства критического описания действительности посредством визуальных метафор, выстраивавших по принципу аналогии связи с обсуждаемыми в обществе сюжетами. Так, несмотря на цензуру, журнальная карикатура не могла обойти вниманием такое громкое событие, как убийство 17 декабря 1916 г. Г. Распутина. Известный поэт-сатирик В. П. Мятлев отреагировал на убийство стихотворением, получившим народное признание, заканчивавшееся строчками «…Тут, после ряда небылиц,/ „Лицо“ на снег упало ниц, / И унеслись, быстрее птиц, / С „лицом“ автомобили лиц…». Сюжет стихотворения был обыгран в карикатуре Ре-Ми «Жертва быстрой автомобильной езды», опубликованной в «Новом Сатириконе» (ил. 135). Помимо сюжетного сходства с поэзией Мятлева, в ней обнаруживается аллюзия образа «безумного шофера» из упоминавшейся статьи Маклакова. Примечательно, что в ряде случаев, когда критика карикатуристов обрушивалась не на верховную власть, а на отдельных сановников, цензоры могли пропустить неблагонадежное произведение. Распутин был тем персонажем, который объединял цензоров и авторов.

[1] Дневник Л. А. Тихомирова. 1915–1917 гг. М., 2008. С. 260.

[2] *Половцов П. А.* Дни затмения. М., 1999. С. 33.



Ил. 136. Д. Моор. История. Текст: Ну что, боярин, как думаешь о прошлом?.. // Будильник. 1917. № 2. Обложка

Только этим можно объяснить появление в печати другой карикатуры Д. Моора, на которой в одном из двух бояр, с горечью рассуждающих о прошлом, зритель без труда узнавал знакомый по открыткам лик Распутина (ил. 136).

Вместе с тем оппозиционной сатирической печати требовался образ врага, который бы символизировал закостенелые пороки российской политической системы. По понятным причинам, им не мог стать император или его супруга, выбирать подобного персонажа из числа членов правительства в условиях «министерской чехарды» было не рационально, Распутин пользовался защитой МВД. Оставался кто-то из одиозных представителей правого блока. Как нельзя лучше на эту роль подошел скандально известный депутат Н. Е. Марков 2-й, благодаря не только своим крайне реакционным политическим взглядам, выражавшимся как с думской трибуны, так и на страницах издававшейся им газеты «Земщина», но и легко узнаваемой внешности: большая голова, маленькие глазки, тонкие топорщившиеся усики и зализанные назад волосы позволяли художникам сделать его образ наиболее ярким и запоминающимся. Для усиления образа Ре-Ми добавил ему атрибут — отрезанную голову еврея, которую Марков носил с собой как игрушку. Вместе с тем к открытию очередной сессии в июле 1915 г. либерально настроенные художники лелеяли надежды на то, что политические разногласия депутатов перед лицом новых внутренних угроз будут временно преодолены, поэтому Ре-Ми снабдил карикатуру, изображавшую появление депутатов в первый день заседания в гардеробе Думы, словами М. В. Родзянко: «Свой багаж оставьте в передней, в зал не берите. Дада, — и вы, г. Марков, еврейскую голову, и вы, г. октябрист, свой лакейский картуз» (ил. 137). Однако уже в сентябре 1915 г., после роспуска Думы, когда стало ясно, что, несмотря на создание Прогрессивного блока, полного единения



Ил. 137. Ре-Ми. К открытию Думы // Новый Сатирикон. 1915. № 31. Обложка



Ил. 138. Ре-Ми. Защитный цвет для России // Новый Сатирикон. 1915. № 37. Обложка

депутатов не произошло, а верховная власть по-прежнему отказывается от диалога, Ре-Ми создает рисунок под названием «Защитный цвет для России», на котором Марков 2-й мажет черной краской лежащую на земле Россию на фоне кружащей над ней стаи черных ворон. За всем этим с грустью наблюдает лидер кадетов П.Н. Милюков (ил. 138). Марков 2-й оставался популярным



Ил. 139. Н. Р. Проснувшаяся // Новый Сатирикон. 1915. № 24. Обложка

персонажем, символизирующим российскую реакцию и в 1916 г., а 23 февраля 1917 г. карикатура А. Радакова, изображавшая тонущего монархиста, стала символом начавшейся революции.

Если художники в персоне Маркова 2-го нашли воплощение реакции, то комплиментарный образ политика в карикатурном жанре так и не появился (в отличие от 1917 г., когда в рамках революционно-патриотической карикатуры художники создавали культ А. Ф. Керенского). По понятным причинам авторы «Нового Сатирикона» испытывали определенные симпатии к П. Н. Милюкову, в то время как художники более левого «Будильника» были явно критично настроены к лидеру кадетов, однако говорить о культивировании этой фигуры не приходится. Карикатуристы предпочитали создавать абстрактные и аллегорические комплиментарные образы. Так, демократически настроенные художники в первой половине 1915 г. эксплуатировали образ России-богатырки, на щите которой красовалось здание Таврического дворца (ил. 139). На этом этапе были еще сильны иллюзии, что верховная власть ради победы пойдет на союз с обществом. К открытию очередной сессии Думы летом 1915 г. Д. Моор создал несколько ироничный образ Таврического дворца в форме броневика, ведомого председателем Думы М. В. Родзянко на вражеские позиции. Следует заметить, что в подобных работах художники скорее выдавали желаемое за действительное, нежели констатировали реальные возможности и силы

Государственной думы. Последняя заняла определенное место в визуальной картине эпохи, однако место это было в большой степени символическим.

В то время как власти не желали замечать революционизацию общественного сознания, скармливая читателям сведения о внутреннем разложении врагов России, современники всерьез говорили о надвигающейся революции. Для консервативного религиозного философа Л. А. Тихомирова это было сродни концу света: «Время какое-то апокалипсическое, что-то сходное с тяжким мраком „последних времен“», — записал он 11 мая 1916 г., а уже в декабре сделал более прямой прогноз: «Революция назревает и надвигается»[1]. Показательна в связи с этим инверсия фемининного образа внешнего врага, германской валькирии, в призрак российской революции — красную бабу, цветовая семантика которой начинала ассоциироваться с кровавыми событиями. В ряде случаев художники бессознательно переносили черты «красных баб» или валькирий на другие женские типажи, в чем проявлялся скрытый уровень визуального письма. Так, например, иллюстратор журнала «Лукоморье» Г. А. Заборовский на одной из карикатур под названием «Юдифь тройственного согласия» изобразил валькирию, держащую в руках отрезанные головы Франца Иосифа и Энвер-паши (ил. 140 на вкладке). Спустя пару недель Заборовский для титульного листа «Лукоморья» пишет картину «Лето», изображавшую славянскую девушку в березовой роще, однако ракурс, поза девушки и мимика лица повторяли «Юдифь тройственного согласия». Сходство усиливал красный платок, спускавшийся с плеч к рукам девушки и вызывавший ассоциации с льющейся по рукам кровью (ил. 141 на вкладке).

Едва ли художник сознательно пошел на подобное сопоставление. Здесь скорее следует говорить о механическом повторении уже отработанного рисунка, в котором художник «набил руку». Вместе с тем такие повторы не случайны, в них проявляется функция письма, раскрывающая бессознательную природу рисунка, вписывающая произведение в ту или иную традицию, дискурс. Заборовский тем самым выразил бессознательный страх перед надвигавшейся революцией, олицетворявшейся бабьим бунтом, дополнив, сам того не желая, бедовые образы русских крестьянок Малявина, Архипова, Бруни. В декабре 1916 г. «Вечернее время» опубликовало карикатуру «Упрямая баба», изображавшую крестьянку в национальном платье и с кокошником на голове с надписью «Россия», которая, подбоченившись, стояла напротив городового. Последний, засучив рукава и схватившись за саблю, кричал на нее: «Да что ты, оглохла что ли? Тебе говорят осади назад, а ты все вперед прешь!!!»[2] Метафора революции как столкновения красной бабы — России с полицией материализовалась в международный день женщины-работницы 23 февраля 1917 г.

---

[1] Дневник Л. А. Тихомирова. С. 279, 315.

[2] Вечернее время. 1916. 27 декабря.

Таким образом, журнальная карикатура выполняла разнообразные функции: пропагандистскую — по формированию образа врага, терапевтическую — как профилактика страха, алармистскую — по привлечению внимания к актуальным социально-экономическим проблемам, политическую — в плане критики пороков системы. В этом отношении эмоциональная палитра изобразительного пространства отличалась пестротой: от тонкой иронии или радости к страху и отчаянию. Учитывая, что последние негативные эмоции были вызваны в первую очередь внутренними проблемами, мы можем отметить в качестве рубежа лето (июнь — июль) 1915 г., когда акцентирование художниками внимания на внутренних проблемах начинает вытеснять образы внешних врагов. Важно, что этот же хронологический рубеж (май — июнь) уже был отмечен при анализе динамики городских слухов. Совпадение подобных максимумов не кажется случайным. Лето 1915 г. стало переломным моментом в массовых общественных настроениях. Изучение не только сюжетного, но и синтаксического уровня изображения позволяет полнее интерпретировать семантику карикатуры, которая в некоторых случаях оказывается намного шире сопровождавших ее текстовых расшифровок.

* * *

Образы выражали часто неартикулированное (либо вследствие цензурных ограничений, либо по причине того, что сами авторы затруднялись с формулировками своих ощущений) отношение к окружающей реальности. Этот скрытый эмоциональный фон эпохи в не меньшей, чем вербальные тексты, степени характеризовал массовые настроения и влиял на отношение современников к войне и власти. Автор в этом контексте оказывался не только активным творцом произведения, но и пассивным проводником общественных настроений. Тем не менее война объективно обострила творческие поиски художественной интеллигенции и стала некоторым стимулом для самовыражения в русле поиска новых направлений, форм высказывания.

Основная масса визуальных образов соответствовала патриотической пропаганде, однако в ряде произведений настойчиво звучала тема грядущего апокалипсиса, не случайно сюжет «града обреченного» встречается в творчестве разных авторов. Среди образов эпохи можно выделить условные сакральную и профанную группы, отражавшие милленаристские представления о конце эпохи. К первой относятся изображения Георгия Победоносца и богоматери, ко второй — разбушевавшиеся крестьянские бабы и полные решимости мужики. Важно, что в творчестве отдельных авторов происходило слияние сакральных и профанных символов, темы Апокалипсиса и Революции, что в конце концов выразилось в сакрализации революционного действа в 1917 г. Обращение художников к архетипическим пластам массового сознания проявилось, в частности, в стилизации картин под народный лубок.

В отличие от высокой живописи, массовые жанры — прежде всего лубок, открытка, карикатура — в большей степени соответствовали пропагандистским задачам. Не случайно большинство исследователей относят лубок не к «народным картинкам», а к «картинкам для народа», хотя при этом и отмечается его низкий мобилизационный эффект. Вероятно, большего эффекта добивалась почтовая карточка благодаря своей интимной связи между адресатом и адресантом, в которую вмешивалась иллюстрация визуальной пропаганды.

Квантитативный анализ лубочной продукции позволяет сделать вывод об иссякании запроса на патриотизм в российском обществе в 1915 г. Некоторые издательства, выпускавшие патриотический лубок, воспевали в нем народную удаль, достигали карнавального эффекта, при котором война превращалась в народный бунт, восстание. В ряде случаев лубок, открытка и карикатура демонстрировали даже некоторую оппозиционность. В почтовых карточках с 1915 г. можно обнаружить некоторую тоску по миру, что проявилось в развитии сентиментального направления. Журнальная сатира демонстрирует те же тенденции: с июля 1915 г. отмечается сюжетный перелом, когда внутренние экономические проблемы начинают высмеиваться в карикатурах чаще, чем связанные с военными действиями, и более актуальным становится образ внутреннего врага (купца-мародера или губернатора, министра-предателя), а не внешнего. Некоторые художники-карикатуристы для обхода цензуры прибегали к приему «переадресации»: высмеивая актуальные для России проблемы, переадресовывали их Германии, что свидетельствовало о росте оппозиционности российского общества.

Изучая динамику тех или иных визуальных образов, максимумы и минимумы тех или иных сюжетов, можно отметить совпадения общественных настроений, зафиксированных в перлюстрированной корреспонденции, дневниках современников, пересечения устных слухов и визуальных образов. Все это позволяет говорить о семиотическом единстве устных, письменных и визуальных текстов.

Раздел 6

Символ

Православие — самодержавие — народность: дискредитация и инверсия патриотических смыслов

Слухи, мифы, образы, эмоции, символы как элементы массового сознания находятся в постоянной взаимосвязи и вращении несмотря на то, что их природа может различаться. Так, политический символ, навязываемый властью обществу, основывается на определенной идеологеме и, таким образом, носит рациональный характер, в то время как рожденные в массовом сознании образы являются зачастую результатом эмоционального и иррационального восприятия действительности. В периоды социально-психологического кризиса, когда рациональное уступает место эмоциональному, запускаются инверсивные процессы — идеологемы становятся мифами, слухи — фактами, а символы обретают опасную амбивалентность.

Слухи, образы, эмоции при достижении определенной концентрации в массовом сознании, а также при обретении общего вектора (в данном случае направленности на верховную власть) приводили к разрушению политических символов и идеологем, на основе которых власть пыталась выстроить фундамент патриотизма. Негласной идеологической основой власти в России была сформулированная еще в первой половине XIX в. графом С.С. Уваровым так называемая «теория официальной народности», предполагавшая незыблемость самодержавной формы правления, православной веры и авторитета Церкви в обществе и ощущения подданными народного единства. Все вместе это должно было питать патриотические чувства россиян. Вместе с тем время Первой мировой войны в полной мере выявило фальшь навязываемых сверху устаревших идеологических конструкций. Обострившиеся конфликты прихожан с духовенством на фоне общего расцерковления, падения престижа Церкви, неспособной, в силу тесной смычки с государственным аппаратом, в полной мере выполнять пастырские функции, а также позиция верховной

власти, которая в условиях функционировавшего парламента продолжала воспринимать себя и навязывать обществу свой образ в качестве самодержавной, несмотря на процессы десакрализации власти в сознании широких слоев крестьянства, — все это приводило к дискредитации и инверсиям смыслов политических символов.

В предыдущих разделах изучение слухов, образов происходило во внеинституциональном контексте. Здесь же будет предпринята попытка сопоставления институциональных практик (церкви, власти) с ментальными реакциями, которые они вызывали в определенных кругах общества. В семиотике этот раздел познания известен как прагматика, изучает взаимоотношения между знаковыми системами (в нашем случае — народными образами, мифемами, символами) и теми, кто их использует, а также реакции реципиентов. Уже отмечалось, что слухи о предательстве императрицы в городском обществе адресовались Александре Федоровне, а в деревенском — Марии Федоровне. Точно так же и проповеди приходского духовенства, и стратегии визуальной репрезентации самодержца приводили к неожиданным интерпретациям в разных слоях общества.

Анализ символов не ограничится рамками уваровской триады. Будет уделено внимание новым символическим конструктам, раскрывающим природу эпохи мировой войны, отразившейся в массовом сознании. В первую очередь это касается милленаристских ощущений и в их контексте отношений к символам войны — оружию и технике в целом. В технообразах Первой мировой отразился конфликт традиционного и модерного мировосприятия, что особенно заметно на примере крестьянского мышления: запечатленный фотографией образ императора в автомобиле противоречил патерналистским представлениям о самодержце на белом коне; аэропланы ассоциировались с «железными птицами» из апокалиптических предсказаний и пр. Этот конфликт можно описать как когнитивный диссонанс. В поисках способов его преодоления, обретения консонанса, народное сознание нередко обращалось к архетипическим образам, фольклорным когнитивным моделям, что еще более усиливало степень иррациональности психологической атмосферы общества.

Церковь, образы духовенства и народная религиозность: расцерковление прихожан и вера в окопах

Изучая причины крушения Российской монархии, нельзя обойти вниманием вопрос о роли церкви в начале XX в. Самодержавие репрезентировало себя в качестве власти православной, известная триада теории «официальной народности» предполагала охранительную функцию церкви в обществе. Эта функция имела и вполне формальное выражение в нормативно-правовой системе империи, предписывала духовенству исполнение ряда административных

обязанностей. Однако власть, пытавшаяся удержаться за счет народной веры, в период революционного крушения утянула за собой и церковь, в которой успели разочароваться достаточно широкие слои общества.

Проблема религиозности российского общества поднимается во многих исследованиях массовых настроений периода Первой мировой войны, однако нередко внешние проявления (публичные молебны, посещения церквей) заслоняют изучение собственно религиозного сознания общества, его внутренней структуры. Некоторые исследователи, например О.С. Поршнева, Е.Ю. Семенова, констатирующие подъем религиозных чувств на первом этапе войны, не различают православные, сектантские, языческие компоненты религиозности, а также обходят стороной вопрос о противопоставлении народной религии и официальной синодальной церкви в мировоззрении широких слоев населения[1]. Вместе с тем В.П. Булдаков и Т.Г. Леонтьева обращают внимание на то, что формы публичного выражения религиозности россиян в годы Первой мировой войны нередко приобретали казенно-фарисейский характер[2].

В историографии взаимоотношениям церкви и государства уделено достаточно внимания, при том что образ священнослужителей в глазах народа остается куда менее изученным вопросом[3]. Вместе с тем церковная печать начала XX в. констатировала не только спад религиозности прихожан, но и определенную дискредитацию духовенства среди широких слоев населения, писала даже о «народном презрении»[4]. В современных исследованиях тезис о спаде религиозности россиян и расцерковлении прихожан в 1910-е гг. практически не подвергается сомнению[5]. Также сложилась определенная традиция объяснения данного феномена тяжелым материальным и правовым положением российского духовенства, не позволявшего священникам достаточно исправно выполнять присущие им обязанности и вынуждавшего либо искать дополнительный заработок, либо повышать плату за требы, что вызывало народное возмущение и порождало в среде крестьян образ жадного и корыстолюбивого священника. Правда, в историографии приводятся разные данные относительно материального положения духовенства. Так, если Т.Г. Леонтьева определяет среднегодовой доход приходского духовенства в 80–100 рублей, сравнивая

---

[1] См.: *Поршнева О.С.* Крестьяне, рабочие и солдаты России…; *Семенова Е.Ю.* Мировоззрение городского населения Поволжья в годы Первой мировой войны (1914—начало 1918 гг.): социальный, экономический, политический аспекты. Самара, 2012.

[2] *Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г.* Война, породившая революцию… С. 261.

[3] См.: *Карташов А.В.* Очерки по истории Русской Церкви. Т. 1, 2. М., 1991; *Фирсов С.Л.* Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х—1918 г.). М., 2002; *Федоров В.А.* Русская православная церковь и государство. Синодальный период 1700–1917. М., 2003; *Бабкин М.А.* Священство и Царство (Россия, начало XX в.—1918 г.). Исследования и материалы. М., 2011, и др.

[4] См.: Церковный вестник. 1905. № 32; 1914. № 31. 31 июля. Стб. 933.

[5] См.: *Леонтьева Т.Г.* Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX—XX в. М., 2002; *Белоногова Ю.И.* Приходское духовенство и крестьянский мир в начале XX века (по материалам Московской епархии). М., 2010, и др.

с доходом тверского рабочего вагоностроительного завода в 344 рубля, то в работе Ю. И. Белоноговой, разделяющей мнение о низком материальном статусе духовенства, приводятся доходы приходских священников московской епархии в 600–800 рублей, тогда как среднегодовой доход рабочих составлял 263 рубля[1]. С. Л. Фирсов определяет средний оклад священнослужителей в 300 рублей, не включая в него доходы от требоисполнения, сдачи земли в аренду и пр.[2] Вместе с тем И. К. Смолич, считая церковные доходы, наоборот, достаточно высокими, объясняет материальные затруднения духовенства нерациональностью их использования[3]. О преувеличении бедности российского духовенства пишет Б. Н. Миронов, объясняя повышенное внимание к данной теме в источниках личного происхождения возраставшими материальными потребностями священников[4]. В. Н. Якунин, изучая доходы священнослужителей Самарской губернии, отмечает, что значительная часть городских священников получала ежегодно 1000–2000 рублей, а большинство сельских священников и диаконов — 500–1000 рублей. При этом Якунин реальные доходы духовенства считает еще более высокими, потому что в приходно-расходных книгах плата за требы и молебны фиксировалась не всегда[5]. «Внушительными» называет совокупные доходы ростовского духовенства О. Д. Дашковская, в начале века они увеличивались за счет получения процентов с капиталов в кредитных учреждениях[6]. Современники, которые писали о материальных трудностях российского духовенства, среднегодовой доход священников в самых бедных центральных и восточных губерниях определяли в 500–600 рублей, отмечая более зажиточное положение клира в южных регионах[7].

Тем не менее расхождения в оценках материального положения духовенства объясняются целым рядом факторов: это и разница в размерах прихода, распространенных формах хозяйствования прихожан (в местностях, где большая часть мужчин уходила в город на заработки, священники не могли рассчитывать на достаточный доход от треб). Городские священники за счет лучшего материального положения прихожан и концентрации в их руках денежной массы получали больший доход, чем их сельские собратья. Кроме того, существовали безокладные причты, в которых священники не получали жалованья, а существовали за счет требоисполнения и дохода с причитавшегося земельного надела

---

[1] *Леонтьева Т. Г.* Вера и прогресс… С. 29; *Белоногова Ю. И.* Приходское духовенство… С. 35, 53.

[2] *Фирсов С. Л.* Русская Церковь накануне перемен… С. 26.

[3] *Смолич И. К.* История Русской православной церкви (1700–1917). М., 1997. Ч. 1. С. 150.

[4] *Миронов Б. Н.* Американский историк о русском духовном сословии // Вопросы истории. 1987. № 1. С. 153–158.

[5] *Якунин В. Н.* Хозяйственная культура Самарской епархии: формирование доходов духовенства в 1850-е — 1950-е гг. // Вектор науки ТГУ. 2011. № 4 (18). С. 128.

[6] *Дашковская О. Д.* Ярославская епархия в конце XVIII — начале XX в.: проблемы экономического развития. Автореф. дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 2005.

[7] *Розанов В. В.* Бегство из духовного сословия // Новый путь. 1904. № 8. С. 249–251.

в 33 десятины. Нельзя не учитывать и огромную разницу в окладах священников высшей и низшей степеней. Так, если доход правящего архиерея мог составлять 25 тысяч рублей в год, то доход сельского священника в бедном приходе — 300 рублей[1]. При разнице доходов в 83 раза едва ли представляется оправданным выводить общую среднеарифметическую величину дохода российского духовенства, тем более что, как будет показано ниже, духовенство являлось весьма пестрой социальной группой, внутри которой обнаруживались различия не только материального и правового статусов, но и симпатии к диаметрально противоположным политическим силам — от монархических до социалистических.

Вместе с тем, признавая бедность священников в провинциальных безокладных причтах и вызванную ею объективную потребность в повышении платы за требы, едва ли проблему «расцерковления прихожан» оправданно сводить только к экономическим факторам. В канцелярии Синода сохранились многочисленные жалобы на священников, подававшиеся прихожанами в начале XX в. Анализ статистики показывает, что рост числа конфликтов шел параллельно улучшению экономического положения в империи вплоть до 1914 г., но при этом определенным образом коррелировал с периодами социально-политической напряженности. Первый резкий всплеск пришелся на период Первой революции. Так, против 125 жалоб 1903 г. в 1907 г. их насчитывается 497, т.е. количество конфликтов, дошедших до синодального начальства, возросло на 297,6%. В дальнейшем средний ежегодный прирост числа конфликтов с 1907 по 1912 г. составил всего 15,6 дел, т.е. 2,7%. Однако в 1913 г., накануне войны, число конфликтов резко возросло — на 43% по сравнению с 1912 г. — и составило 821 случай[2]. Сомнительно, что данная динамика объясняется одними только сложностям требоисполнения, вызванными ухудшением материального положения клира.

Также существует традиция объяснения причин конфликтов падением «качества» службы духовенства. В историографии констатируется недостаточное количество клириков на 98-миллионное православное население России. Согласно данным С.Л. Фирсова, в среднем на 1 представителя белого духовенства в 1914 г. приходилось более 820 человек[3], а по мнению Т.Г. Леонтьевой — и того больше: 2000 человек на 1 священника[4]. Отчасти недостаток клириков был связан с нежеланием детей священников продолжать дело отцов. Б.Н. Миронов характеризует последнее термином «утечка мозгов», имея в виду переход наиболее талантливых семинаристов в светские учебные заведения[5]. В начале XX в. В.В. Розанов посвятил данной проблеме заметку «Бегство из духовного сословия»,

---

[1] *Якунин В.Н.* Хозяйственная культура...

[2] Подсчитано мной по: РГИА. Ф. 796. Оп. 183, 188, 189-2, 190-2, 191-2, 193, 195, 197.

[3] *Фирсов С.Л.* Русская Церковь накануне перемен... С. 24.

[4] *Леонтьева Т.Г.* Вера и прогресс... С. 17.

[5] *Миронов Б.Н.* Социальная история России. Т. 1. СПб., 2000. С. 107.

в которой писал: «Что же, дождемся ли мы, дождется ли само духовное ведомство, а, наконец, и государство, чтобы на ниве, именуемой „сельское духовенство“, остались одни только тупицы? Ибо дело идет к этому…»[1] Однако если Розанов, а вслед за ним и ряд современных авторов сокращение числа молодых священников связывали с материальными трудностями, то другой современник эпохи — Н. А. Бердяев — объяснял «утечку мозгов» ментальными конфликтами периода модернизации, отмечая, что у семинаристской молодежи бурный протест против «упадочного православия», «обскурантской атмосферы духовной школы» созревал вместе с идеями просвещения[2]. Французский посол М. Палеолог также обратил внимание на «великую религиозную драму русского сознания», которая заключалась в том, что народ оказывался более религиозным и по-христиански настроенным, чем сама церковь: «В простой вере масс есть больше духовности, мистицизма и приверженности Евангелию, чем в православной теологии и обрядах». При этом причину расцерковления народа он усматривал в той политической роли, которую на себя возложила церковь: «Официальная церковь ежедневно теряет свою власть над людскими сердцами, позволяя себе становиться орудием самодержавия, административных органов и полицейских сил»[3].

Для современной англоязычной историографии истории церкви в России, которая, как отмечают Г. Фриз, Д. Б. Павлов, развивалась под влиянием русской эмигрантской традиции, также характерно внимание к модернизационной теории, подчеркивающей важность конфликта церкви и общества[4]. К. Чулос отмечает, что общество конца XIX — начала XX в. переставали устраивать консерватизм и традиционализм православной церкви, которые вступали в противоречие с меняющимися в эпоху модернизации социальными отношениями[5]. Дж. Хедда также рассматривает политику церкви в ситуации модернизационного вызова[6]. Примечательно, что в среде российского духовенства начала XX в. существовали схожие взгляды. Однако если в современной историографии модернизационный вызов рассматривается как системный, затрагивавший разные сферы взаимоотношений церкви и общества, то официальная церковь предпочитала относиться к нему как к случайному проникновению чуждых западноевропейских веяний в русскую традиционную культуру по вине отдельных представителей «западничества».

---

[1] *Розанов В. В.* Бегство из духовного сословия… С. 249–251.

[2] *Бердяев Н. А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 40.

[3] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 221.

[4] *Freeze G. L.* Subversive Piety: Religion and the Political Crisis in Late Imperial Russia // Journal of Modern History. 1996. № 68. P. 308–350; *Freeze G. L.* The Parish Clergy in Nineteenth Century Russia. Crisis, Reform, Counter-Reform. Princeton, 1983; *Павлов Д. Б.* Отечественная и зарубежная историография государственно-церковных отношений 1917–1922 гг. М., 2011.

[5] *Chulos Chris J.* Converging Worlds. Religion and Community in Peasant Russia, 1867–1917. Northern Illinois University Press, 2003. P. 85–86.

[6] *Hedda J.* His Kingdom Come: Orthodox Pastorship and Social Activism in Revolutionary Russia. Northern Illinois University Press, 2008.

Качество службы определялось не только соотношением количества прихожан к священникам, но и уровнем компетентности последних. В 1914 г. церковная печать обращала внимание, что в 1910-е гг. среди духовенства лиц с полным семинарским образованием было на 30–50% меньше, чем в 1890-е гг.[1] Обер-прокурор в 1916 г. во всеподданнейшем отчете сообщал, что «по степени образования епархиальное духовенство представляет из себя довольно разнообразную массу, от лиц с высшим богословским образованием до лиц малообразованных. В этом отношении значительное разнообразие наблюдается даже между отдельными епархиями, не говоря уже про состав духовенства одной и той же епархии. В некоторых епархиях, особенно Сибирских и Приуральских, чувствуется большой недостаток в богословски образованных пастырях: например, в Иркутской епархии в 1914 г. из числа 237 священников с полным семинарским образованием был только 91 человек; в Оренбургской епархии в составе 825 священников получивших богословское образование было только 331; в Пермской епархии из 749 священников только 261 чел. получил богословское образование. Обратное явление замечается в Центральной России, где священниками в громадном большинстве состоят лица с полным семинарским образованием»[2].

К следующей группе факторов падения престижа церкви в начале XX столетия относится ее зависимое положение от государства и необходимость исполнения административных функций. Ряд исследователей соглашаются с тем, что ведение метрических книг, регистрация фактов смерти, оглашение царских указов и манифестов, а также увещевание крестьян с целью предупреждения народных волнений — все это отвлекало священнослужителей от их непосредственных обязанностей[3]. С другой стороны, исполнение этих обязанностей, наоборот, сплачивало церковь и общество, делая священника важным свидетелем и участником повседневного существования прихожанина. При этом несомненным представляется другое — в синодальную эпоху в массовом сознании прихожан священник идентифицировался в качестве представителя власти, следовательно, рост или падение авторитета власти в сознании подданных коррелировались с их отношением к церкви. Более того, в сознании крестьян понятия «Царь» и «Бог» были взаимосвязаны и в народной обсценной лексике за оскорблением монарха нередко следовало ругательство в адрес бога[4].

---

[1] Церковный вестник. 1914. № 32–33. 14 августа. Стб. 964.

[2] Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству православного исповедания за 1914 год. Пг., 1916. С. 140.

[3] *Леонтьева Т. Г.* Вера и прогресс… С. 23; *Белоногова Ю. И.* Приходское духовенство… С. 5.

[4] Более подробно о массовом сознании крестьян см.: *Аксенов В. Б.* Война и власть в массовом сознании крестьян в 1914–1917 гг.: архетипы, слухи, интерпретации // Российская история. 2012. № 4. С. 137–145; *Аксенов В. Б.* Убить икону: визуальное мышление крестьян и функции царского портрета в период кризиса карнавальной культуры 1914–1917 гг. // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. Вип. 6. Київ: Інститут історії України, 2012. С. 386–410.

Среди российского духовенства не было абсолютного единства по вопросу о формах взаимоотношения церкви и государства. В 1890–1900-х гг. развивалось обновленческое движение, выступавшее за созыв Поместного собора. С.Л. Фирсов рассматривает данное движение как альтернативный выход из церковного кризиса, но отмечает препятствия, чинимые синодальным духовенством и, в первую очередь, обер-прокурором Святейшего синода К.П. Победоносцевым, видевшим в российских священниках чиновников[1]. А. Попов, М.А. Бабкин также считают идеи созыва Поместного собора и отделения церкви от государства преобладающими в среде православного духовенства, а Л.И. Земцов и вовсе акцентирует внимание на революционизации духовенства, отмечая, что идеи свержения монархии проникали даже в монашескую среду[2].

В условиях социально-политического раскола духовенства непримиримая позиция его синодальной части еще больше дискредитировала церковь. Показательно в этой связи отлучение в 1901 г. от православия графа Л.Н. Толстого, что восстановило против церкви даже оппонентов русского писателя. В.В. Розанов, не разделявший религиозных убеждений Толстого, писал: «Толстой, при полной наличности ужасных и преступных его заблуждений, ошибок и дерзких слов, есть огромное религиозное явление, может быть, величайший феномен религиозной русской истории за 19 веков, хотя и искаженный. Но дуб, криво выросший, есть, однако, дуб, и не его судить механически формальному „учреждению"… Акт этот потряс веру русскую более, чем учение Толстого»[3]. Но отлучение писателя от церкви было только первым потрясением. Следующим стали прошедшие впервые в России публичные похороны писателя 10 ноября 1910 г. Российская православная церковь отказалась проводить по нему панихиду, однако ее провели священники Армянской церкви Петербурга, воспользовавшись конфессиональной обособленностью Армяно-григорианской церкви в Российской империи. В результате 7 и 10 ноября стали в России днями памяти Толстого, регулярно отмечавшимися российским студенчеством, носившими как антицерковный, так и революционный характер.

Тем не менее в официальных церковных изданиях начала XX в. преобладало два условных подхода к объяснению причин падения престижа церкви: конспирологический и культурологический. Согласно первому подходу причины потери духовных связей с прихожанами относили на счет воздействия

---

[1] *Фирсов С.Л.* Русская Церковь накануне перемен… С. 83.

[2] См.: *Попов А.* Отношение крестьян к РПЦ в первой четверти XX в. (по материалам Архангельской губернии). Архангельск, 2004; *Бабкин М.А.* Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии (начало XX в. — конец 1917 г.). М., 2007; *Земцов Л.И.* Крестьянство и приходское духовенство в начале XX века // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. Т. 5. Вып. 1. Белгород, 2008. С. 75.

[3] *Розанов В.В.* Об отлучении от Церкви гр. Л. Толстого // Розанов В.В. В темных религиозных лучах. М., 1994. С. 37.

«разных агитаторов и проходимцев, старавшихся вооружить прихожан против духовенства»[1]. Некоторые представители православного духовенства революционную активность объясняли не иначе как еврейской пропагандой, события 1905 г. называли «еврейской революцией»[2]. Ксенофобская риторика отдельных священников находила определенное сочувствие среди прихожан в периоды обострения национальных отношений в империи и создавала иллюзию временного духовного единения церкви и представителей коронной нации. Вместе с тем конспирологическая теория терпит крах хотя бы в силу того, что спад религиозности проявлялся не только в редком посещении церкви, но и в участившихся случаях бытовых конфликтов между прихожанами и священниками, причиной которых часто выступало неблагоповедение самих священнослужителей. На последнее обстоятельство обращалось внимание в церковной печати, многие авторы связывали это с понижением уровня образования священников.

Несостоятельность конспирологической теории проявляется и в том, что нередко сами православные священники проникались бунтарским духом и занимались пропагандой революционных идей среди своих прихожан, пополняя численность рядов революционеров. Одним из самых ярких примеров был известный профессор Санкт-Петербургской духовной академии архимандрит Михаил (Семенов), который, разочаровавшись в синодальной церкви, начал издавать серию брошюр о христианской природе социализма, вступил в партию народных социалистов и, в конце концов, перешел в старообрядчество[3]. Не менее скандальной славой в столичных кругах пользовался крестьянский сын священник Григорий Петров. Князь Н.Д. Жевахов, товарищ обер-прокурора Святейшего синода, негативно настроенный по отношению к Петрову, отмечал его огромную популярность, вспоминал о том, что «залы, где он читал свои убогие лекции, ломились от публики; многотысячная толпа молодежи сопровождала каждый его шаг; знакомства с ним искало как высшее общество, так и широкая публика»[4]. В 1907 г. Петров был избран депутатом II Государственной думы от конституционно-демократической партии и отправил митрополиту Антонию — главному инициатору отлучения Толстого от церкви — критическое письмо, в котором осуждал Синод: «Правящее монашество своими холодными, бездушными и костлявыми пальцами сжало всю русскую церковь, убило в ней творческий дух, сковало самое Евангелие и предало Церковь правящим властям на службу»[5]. За это письмо Петров был запрещен в служении,

---

[1] Церковные ведомости. 1908. № 12. 22 марта. С. 596.

[2] Московские церковные ведомости. 1915. № 22. 30 мая. С. 351.

[3] *Архимандрит Михаил.* Христианство и социал-демократия. СПб., 1906; Он же. «Священник-социалист» и его социальный роман. СПб., 1906; Он же. Как я стал народным социалистом. СПб., 1907; Он же. Двенадцать писем о свободе и христианстве. СПб., 1909, и др.

[4] *Жевахов Н.Д.* Воспоминания. Т. 1. Сентябрь 1915 — Март 1917. Валаам, 1993. С. 156.

[5] Письмо священника Григория Петрова митрополиту Антонию. Б. м., 1908.

направлен на послушание в Черемнецкий монастырь, а потом и вовсе лишен священнического сана. Толстовские идеи разделял один из будущих активных участников «обновленчества» 1920-х гг., сторонник «христианского социализма» А. И. Боярский, проявлявший интерес к рабочему вопросу и проводивший беседы среди рабочих Спасо-Петровской мануфактуры.

Примечательно, что и Семенов, и Петров в годы Первой революции были членами известного «кружка 32-х» — группы петербургских священников, обратившихся к митрополиту Антонию с предложениями церковных реформ (созыв Поместного собора с выборными от мирян и клира, создание свободных христианских общин), в которых обнаруживаются актуальные для эпохи идеи, в том числе и с социалистическим подтекстом. Хотя Ю. В. Балакшина не считает Братство ревнителей церковного обновления, в которое эволюционировал «кружок 32-х», прямым предшественником обновленчества 1920-х гг., очевидно, что их идейная квинтэссенция была настояна на религиозных и философских дискуссиях начала XX в.[1]

Известны случаи перехода священников от революционной агитации к конкретным насильственным действиям с целью изменения государственного порядка. Так, в мае 1911 г. православный священник Зотик Чиквиладзе примкнул к РСДРП, убедил местное население избрать сотских и десятских, стал разбирать спорные дела, возникавшие между жителями, решал вопросы о лишении жизни лиц, вредных революционному движению, организовал среди молодежи вооруженную дружину, «красную сотню», и повел ее в соседние селения, убеждая жителей идти сражаться с правительственными войсками[2]. Чиквиладзе был лишен прав состояния и приговорен к каторге сроком на 6 лет.

Тем не менее точечные карательные мероприятия Синода не решали проблему намечавшегося религиозного раскола общества, тем более что лишенные сана бывшие православные священники переходили либо в близкое по духу старообрядчество, либо вовсе в мистическое сектантство. Конспирологическая теория была также удобна тем, что соответствовала принятому в православном богословии традиционному объяснению истоков ересей и сектантства, об активном распространении которых заговорили с 1907 г.

В историографии можно выделить три основных направления в изучении природы сект. В богословии, как дореволюционном, так и современном, история сект традиционно связывается с иудейско-языческой пропагандой[3]. Марксистской историографии было свойственно рассматривать сектантство

[1] *Балакшина Ю. В.* Братство ревнителей церковного обновления (группа «32-х» петербургских священников), 1903–1907 гг. Документальная история и культурный контекст. М., 2014.

[2] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 475. Л. 86–88.

[3] *Протоиерей Митрофан Зноско-Боровский.* Православие. Римо-католичество. Протестантизм. Сектантство. Сравнительное богословие. М., 1998. С. 11–12, 140–141.

в русле социально-экономического расслоения деревни[1]. Однако в ряде работ философов и историков начала XX в. обращалось внимание, наоборот, на внутренние истоки этого феномена: как на стадию развития народной веры (П.Н. Милюков), революционный ответ на культурные вызовы эпохи декаданса (Д.С. Мережковский), протест против «упадочного православия» (Н.А. Бердяев)[2]. Религиозный философ Л.А. Тихомиров, занимавший «охранительную» позицию в отношении Синодальной церкви, ждавший созыва Поместного собора, но при этом опасавшийся губительных для церкви последствий, констатировал отсутствие духовного единства внутри православного прихода: «Тут рядом живут и действительно православные, и неверующие, и люди, готовые воспользоваться приходскою организацией для целей политических или социальных, есть и прямые враги Церкви. Тут живут разнообразнейшие оттенки еретичности… Это вовсе не „братья“, добровольно сомкнувшиеся около храма, а совершенно случайные люди…»[3] Тем самым Тихомиров отмечал мозаичность массового сознания россиян, в котором переплетались языческие, православные, рациональные идеи, что особенно характерно было для эпохи культурной модернизации начала XX в., но противоречило теории соборности.

Хотя православные миссионеры, как правило, склонны были объяснять причину распространения сектантства субъективным фактором — лукавством сектантских вожаков, прельщавших паству льстивыми обещаниями[4], — в печати отмечалось, что многие проповеди православных священников не доходили до умов прихожан вследствие тяжелого, высокопарного слога, в то время как руководители сект общались с народом на простом и понятном им языке. С 1907 г. в столичном обществе приобрел известность «братец» Иван Чуриков, агитировавший народ за ведение трезвого образа жизни. Хотя основные идеи Чурикова не противоречили позиции церкви, его возраставшая популярность среди народа привела к тому, что в печати «братца» окрестили сектантом и приговорили к тюремному заключению за незаконную проповедническую деятельность. В 1911 г. миссионер Д.И. Боголюбов, побывавший на проповедях Чурикова, написал статью, в которой рассмотрел его деятельность в контексте объективных потребностей народа иметь «своих» проповедников: «Народ, тоскуя о праведной жизни, выдвигает на проповедническую кафедру своих братцев, по своим мыслям и своим намерениям. То, что говорят „братцы“, конечно, по литературной форме плохо; но народу в словах их чудится

[1] См.: *Клибанов А.И.* История религиозного сектантства в России (60-е годы XIX в. — 1917 г.). М., 1965; *Никольский Н.М.* История русской церкви. М., 1985.

[2] *Милюков П.Н.* Очерки по истории русской культуры. В 3 т. Т. 2. Ч. 1. М., 1994. С. 102; *Мережковский Д.С.* Революция и религия // Русская мысль. М., 1907. Год двадцать восьмой. Кн. II. С. 69; *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. С. 40.

[3] *Тихомиров Л.А.* Современное положение приходского вопроса. М., 1907. С. 6.

[4] Миссионерское обозрение. 1916. № 3. С. 414.

святой смысл, как „живое Евангелие“»[1]. Таким образом, Боголюбов противопоставлял «братцев» от народа приходским священникам от Синода, отмечая при этом наличие духовных потребностей прихожан, которые не могла удовлетворить официальная церковь.

Другим примером успехов «братцев от народа» выступает проходившее в 1910–1915 гг. громкое дело «трезвенников» Колоскова и Григорьева. 7 марта 1910 г. крестьянин Иван Колосков и мещанин Дмитрий Григорьев Московским митрополитом Владимиром были отлучены от церкви за распространение ереси. В обвинении говорилось, что они позволяли себе кощунственные суждения о лице Христа Спасителя и Божьей Матери, ругали святые таинства и не подчинялись церковному священноначалию[2].

Отлучением от церкви преследование Колоскова и Григорьева не закончилось, и вскоре дело из синодального ведомства перешло в сферу уголовного суда, в результате чего оба они были приговорены к 8 месяцам тюрьмы. Владимирский окружной суд и Московская судебная палата признали их «зловредными хлыстами», по поводу чего Колосков и Григорьев подали в Сенат кассационные жалобы. Профессор К. Линдеманн писал из Москвы по этому делу члену Государственного совета, известному юристу А.Ф. Кони в июне 1914 г.: «Из прилагаемых при сем материалов вы усмотрите, что трезвенники, братцы Колосков и Григорьев, по мнению ученых специалистов, вовсе не представляют зловредной секты, как говорят миссионеры, а являются православными людьми, преданными Церкви и лишь вследствие нетерпимости духовенства, подпавшие преследованию»[3].

Церковь продолжала гонения и на последователей «братцев-трезвенников». В июле 1914 г. священник отказался крестить младенца московских мещан Сергея и Ольги Горячих на основании, что те были последователями Григорьева. Супруги обратились с жалобой в Синод, но в крещении было опять отказано на основании, что они ходатайствовали о помиловании «ересиарха» Григорьева[4]. Подобные духовные репрессии не прибавляли доверия к церкви со стороны простого народа.

Другой подход к объяснению причин падения престижа церкви — «культурологический» — искал их в процессах культурной модернизации. В церковной печати битва за умы прихожан сопровождалась критикой некоторых явлений современной культуры, формировавших массовое сознание. В периодике появлялись статьи, направленные против проникновения в российское общество идей европейского просвещения. Свобода личности в них интерпретировалась в качестве эгоизма, ведущего общество к анархии, а культурный прогресс

---

[1] Приходской священник. 1911. № 16.

[2] РГИА. Ф. 796. Оп. 201. Отд. 6. Ст. 3. Д. 73. Л. 1–5.

[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 996. Л. 1516.

[4] РГИА. Ф. 796. Оп. 201. Отд. 6. Ст. 3. Д. 73. Л. 8 (об).

человечества определялся как путь зла: «Шествие культуры знаменует собой не прогресс человечества, а регресс, одичание, эволюцию навыворот — не в сторону добра, а в сторону зла… Европейская культура основана на торжестве стихийно-эгоистичного начала в человеке, и слепое торжество стихийных законов везде и всюду признается за норму и непреложный принцип»[1].

Столь радикальная критика европейской культуры была связана с ощущением опасности для принципа православной соборности, исходящей от рационального индивидуализма. Не случайно именно тягой рационального познания бога некоторые православные миссионеры объясняли популярность сектантства среди прихожан. Миссионер Московской епархии Н. Варжанский отмечал в своем отчете за 1915 г.: «Сектантство всех видов всегда выдавало себя как силу сознательную, свое учение оно рекомендовало как обосновательное разумное, на Слове Божием, как лучший вид христианства. При желании же народа веровать сознательно, самому разбираться во всем, при невозможности быть для него ближе не только к архипастырям, но даже и пастырям, сектантство естественно захватило для себя выгодное положение»[2].

Доставалось в церковной печати и конкретным направлениям искусства эпохи модерна. Так, в «Церковном вестнике» была напечатана обличительная статья под названием «Футуризм, его идеология и сущность», в которой футуризм был назван «хулиганством» и «гнойным нарывом, наподобие тех, какие бывают на теле, если внутрь, под кожу попадет какая-нибудь нечисть»[3]. Примечательно, что в статье давалась ссылка на работу Д.С. Мережковского «Еще один шаг грядущего хама», в которой футуризм сравнивался со своего рода хулиганством. Однако автор упустил из виду, что Мережковский писал о трехликом хаме, и если лицо хама грядущего он видел в хулиганстве, босячестве и черносотенстве, хама настоящего — в самодержавии, то третьим ликом хама прошлого философ называл «лицо православия, воздающего кесарю Божие», «мертвый позитивизм православной казенщины, служащий позитивизму казенщины самодержавной»[4]. Кроме того, значительную роль в духовном возрождении народа философ отводил декадансу, усматривая в нем альтернативу православной соборности: «Декадентство, которое кажется концом старой одинокой личности, страшным „подпольем“, глухим тупиком, есть на самом деле начало новой соборной общественности, узкий, подземный ход в темное звездное небо всенародной, вселенской стихии»[5]. В конечном счете Мережковский, один из создателей «Религиозно-философского собрания»,

---

[1] Церковный вестник. 1914. № 27. 3 июля. Стб. 812.

[2] РГИА. Ф. 796. Оп. 201. Отд. 6. Ст. 3. Д. 109. Л. 6.

[3] Церковный вестник. 1914. № 27. 3 июля. Стб. 823–824.

[4] *Мережковский Д.С.* Грядущий хам. СПб., 1906. С. 37.

[5] *Мережковский Д.С.* Революция и религия // Русская мысль. М., 1907. Год двадцать восьмой. Кн. III. С. 25, 31.

идеолог «Новой церкви» и проповедник Третьего Завета, устраивавший на своей квартире мистические ритуалы, был обвинен церковью в сектантстве. Важно отметить, что конфликт Мережковского с церковью не был частным событием, а вытекал из общего разрыва российской художественной интеллигенции с официальным православием, характеризовал культуру Серебряного века, в которой поиски новых духовных основ совмещали восточный мистицизм с опытом русского сектантства.

Критика церковной печатью современных веяний культуры, вынужденные апелляции к таким сомнительным с точки зрения Синода авторитетам, как Мережковский, выдавала серьезную обеспокоенность духовенства изменениями, происходившими в общественной психологии и отвлекавшими россиян от идей православной соборности. Причем довольно часто еретические, по мнению официальной церкви, положения выдвигались по благим намерениям преодоления духовного кризиса, чем особенно были увлечены представители российской аристократии. Н. Д. Жевахов описал захватившую столичные салоны моду на религиозно-философские беседы: «Салоны столичной знати точно соревновались между собою в учреждении всевозможных обществ и содружеств, преследовавших высокие религиозные цели… Нужно ли говорить о том, что при этих условиях ни одно явление церковной жизни не проходило мимо без того, чтобы не найти своей оценки и отражения в этих салонах! Излишне добавлять и то, что такое отражение было часто уродливым и свидетельствовало об изумительном незнакомстве столичного общества с церковной областью и о религиозном невежестве»[1].

Отказ прежде всего синодальной части духовенства учитывать веяния эпохи, игнорирование церковной властью объективных требований церковного обновления, обвинения философов в невежестве — все это лишь способствовало углублению раскола между официальной церковью и ее прихожанами и, наоборот, создавало почву для распространения как старых, так и новых сект.

Государство поддерживало борьбу церкви с религиозными сектами, рассматривая последние как рассадник революционности лишь потому, что они оказывались в оппозиции к официальному православию или его отдельным представителям. Первая мировая война, активизировавшая наступление в России на общины штундо-баптистов, положила начало нового этапа взаимоотношений власти и общества в сфере свободы вероисповедания. Так, в марте 1915 г. директор Департамента полиции В. А. Брюн-де-Сент-Ипполит разослал секретный циркуляр всем начальникам губернских, областных и городских жандармских управлений: «Не подлежит сомнению, что между разрушительными стремлениями революционеров и колебанием устоев господствующей в России Православной церкви существует тесная связь, так как те и другие

[1] *Жевахов Н. Д.* Воспоминания. Т. 1. Сентябрь 1915 — март 1917. Валаам, 1993. С. 155.

усилия в конечном результате направляются к единой цели — ниспровержению существующего в империи строя… Поэтому сектантство в России, объединяющееся на почве враждебного отношения к православию, искони уже признается, с государственной точки зрения, явлением безусловно вредным»[1]. В циркуляре отдельно досталось баптизму, названному «рассадником германизма».

Вместе с тем начало Первой мировой войны предоставило высшим архиереям возможность попытки преодоления мозаичности массового сознания под новыми лозунгами духовного сплочения нации. С объявлением Германией войны России в церковной периодике утвердилось два основных подхода к определению природы этого конфликта. Первый, традиционный, рассматривал войну как божью кару за грехи россиян, главным из которых, в свете вышеупомянутых дискуссий, назывался отход от православной соборности в сторону чуждой европейской культуры. Так, в июле 1914 г. во время молебна в Московской городской думе по случаю начала войны епископ Арсений в своей речи сказал следующее: «Господь посылает нам, дорогие братья, великое испытание. Над нами нависла грозная, страшная гроза — война… За что же нам такое испытание? Видно, мы виноваты перед Родиной, что несется нам такая скорбь. Да, всякое общественное бедствие есть наказание Божие за грехи людские. Не станем говорить, какая наша вина пред Родиной. Каждый из нас хорошо это знает, если вспомнит последнее десятилетие, когда проявилось шатание умов, неуважение к заветам старины, святой вере»[2]. Те же мотивы звучали в речи профессора Московской духовной академии архимандрита Иллариона, произнесенной перед всенародным молебствием на площади в Сергиевом Посаде: «Пробил грозный час суда над русской землей. За последние десять лет мы все не мало грешили. Мы, русские люди, допустили в нашей родной земле распространиться неверию. У нас небывалое прежде развращение нравов. Мы, русские люди, грешны перед нашей славной историей. Мы грешны перед памятью и заветами наших предков. Мы грешны перед нашими родными святынями. Стали мы терять страх божий»[3].

Второй подход рассматривал войну как возможность искупления этого греха и решение якобы имевшего места в мировой истории противостояния славянства и германизма. Германия в связи с этим называлась источником тех культурных веяний, которые представляют для православной соборности смертельную опасность. Один из авторов «Московских церковных ведомостей» писал: «Горят наши старые раны мучительным огнем. Болят нестерпимо удары и язвы, нанесенные славянству и России за тысячу лет от немцев. Вопиют к небу реки предательски пролитой немцами славянской крови»[4]. Архимандрит

---

[1] ГА РФ. Ф. 58. Оп. 7. Д. 298. Л. 110 — 110 об.

[2] Московские церковные ведомости. 1914. № 30–31. 26 июля. С. 552.

[3] Московские церковные ведомости. 1914. № 32. 6 августа. С. 585.

[4] Московские церковные ведомости. 1914. № 30–31. 26 июля. С. 554.

Илларион, рассуждая о европейской теории прогресса, сводил ее к германскому милитаризму: «Что такое прогресс? Самая теория прогресса есть лишь применение к человеческой жизни общего учения об эволюции, но эволюция ведь узаконяет борьбу за существование… Война и есть борьба за существование, которую ведут между собой целые народы, целые нации… В теории прогресса усматривается смысл германского милитаризма, германского железного кулака. Прогресс требует войны, а война несет с собой жестокость»[1]. Выводом из статьи был отказ от прогресса, от достижений западной рационалистической мысли и возврат к патриархальным истокам православной соборности, в чем и заключалось, по мнению определенной части духовенства, искупление грехов и воцерковление россиян.

Подобные антигерманские пассажи, естественные для периода войн, приводили к появлению ксенофобских мотивов. В частности, богословы пытались снять противоречие между христианским смирением и долгом защищать родину, убивая врага. Так, в «Московских церковных ведомостях» в ноябре 1914 г. появилась статья профессора-богослова Московской духовной академии С. Глаголева «Патриотизм и христианство», в которой автор выступил против тезиса, что все люди братья, оправдывая утверждение, что русского нужно любить сильнее, чем немца[2]. Подверженная германофобии церковная печать неоднозначно отреагировала на немецкий погром в Москве в мае 1915 г.: осудив хулиганскую акцию москвичей, «Московские церковные ведомости» тем не менее выразили сочувствие политике выселения немцев из первопрестольной[3].

Следует напомнить, что демонизация немецкой культуры и германофобия не были свойственны одному только духовенству периода Первой мировой войны. Германофобией, как уже было показано, оказались охвачены представители разных слоев российского общества, и в среде светской интеллигенции порой звучали не менее одиозные речи.

Начало войны обострило взаимоотношения церкви и общества в сфере проблем, связанных с душевным здоровьем и, в частности, по вопросу отпевания самоубийц. Проходившая по деревням мобилизация мужчин не могла не отразиться на душевных переживаниях сельского населения, в связи с чем в июле — августе 1914 г. началась череда самоубийств, вызванных уходом родных на фронт[4].

Чаще всего в делах о самоубийствах прихожане и священники оказывались по разные стороны баррикад. Любопытно, что расследования самоубийств были тем редким случаем, когда общество, в лице семей погибших и их близких, могло испытывать чувство благодарности к полиции: когда не было явных

---

[1] Московские церковные ведомости. 1914. № 47–48. 28 ноября. С. 953.
[2] Московские церковные ведомости. 1914. № 44. 1 ноября. С. 882.
[3] Московские церковные ведомости. 1915. № 25–26. 20 июня. С. 401.
[4] РГИА. Ф. 796. Оп. 201. Отд. 6. Ст. 2. Д. 82. Л. 7—7 об.

улик, указывающих на самоубийство, полиция иногда предпочитала оформить происшествие как несчастный случай, чтобы родственники могли захоронить погибшего по православному обряду, подсказывали близким, что обойти церковные нормы можно, добыв врачебную справку о сумасшествии суицидента. Но даже в этом случае последнее слово оставалось за священником. Так, мещанин Сергиева Посада Московской губернии Григорий Зотов умер, приняв в больнице, где лечился от нервного расстройства, смертельную дозу сулемы. Полицейский оформил смерть как самоубийство в состоянии умственного помешательства, что подтвердил и врач Гаврисевич. Да и сам факт совершения самоубийства душевнобольным, состоявшим на стационарном лечении, мог быть достаточным основанием для неприменения к нему известных церковных санкций. Вместе с тем священнику отцу Тополеву, хорошо знавшему Зотова, было известно, что последний накануне гибели находился в здравом уме, о чем он донес епархиальному начальству. Вдова покойного направила прошение о разрешении захоронения мужа по православному обряду, но ей было отказано. В постановлении Святейшего синода было сказано: «Хотя полицейский надзиратель в своем сообщении и говорит о временном помешательстве Зотова при самоотравлении сулемой, но это свидетельство полицейского надзирателя, помимо того, что оно вообще не может иметь решающего значения по вопросу о психическом состоянии самоубийцы, покрывается противоположным показанием местного священника о сознательном самоубийстве Зотова»[1]. Таким образом, мнение одного священника перевесило мнения полицейского надзирателя и врача. Подобные конфликты отдаляли друг от друга церковь и общество, особенно в случаях, когда дело касалось детей-самоубийц.

Другим фактором конфликта церкви и общества выступало менявшееся в деревне и городе брачное поведение, связанное как с механизмом оформления брака, так и с более глубокими проблемами пола.

В бытовом контексте проблема выражалась в том, что уходившие на фронт мужчины стремились оформить свои отношения с женщинами, дабы в случае смерти мужей вдовы могли рассчитывать на пособия. Тем не менее такая экстренная свадьба могла прийтись на пост, в других случаях на одном из брачующихся могла лежать какая-то епитимья. Так, прапорщик Михайлов, находившийся на излечении в Тифлисе, телеграфировал в Синод накануне отъезда на фронт: «Период болезни после раны не мог венчаться по выздоровлении вновь девятнадцатого февраля отправляюсь позицию по сему покорнейше прошу разрешить венчаться восемнадцатого каковая награда увеличит мою боеспособность царя родину»[2]. В Синод поступала масса ходатайств на этот счет, но если ходатайства о вступлении в брак до окончания сроков епитимьи Синодом

[1] РГИА. Ф. 796. Оп. 201. Отд. 6. Ст. 2. Д. 121. Л. 9 об.—10.

[2] РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Отд. 2. Ст. 3. Д. 14. Л. 83.

беспрепятственно удовлетворялись, то венчание накануне и в дни Великого поста воспрещалось. Ответ Синода Михайлову не заставил себя долго ждать: «Венчание на масленице церковными правилами воспрещено»[1]. Хуже обстояло дело, когда для вступления в новый брак нужно было сначала развестись: даже при всех имеющихся доказательствах нарушения одним из супругов верности бракоразводный процесс мог затянуться на три года[2].

Однако «брачный вопрос» как фактор кризиса отношений церкви и общества был намного шире проблемы времени венчания. В эпоху модерна проходившая сексуальная революция меняла отношения обывателей к вопросам пола и плоти, что особенно проявляется в литературе, как публицистической, так и художественной. Д. С. Мережковский, вступив на эту тему в заочную полемику с В. В. Розановым, задавался вопросом: «Если бы, действительно, Христос благословил брак, то почему же предельною святостью христианскою оказался все-таки не брак, а девство?» В итоге Мережковский приходил к выводу: «Христианство, несмотря на словесное принятие брака, только что переходит от слова к делу, неудержимо скользит по уклону безбрачия, до совершенного вытравления пола, до скопчества… Семя, величайшая святыня Ветхого Завета, становится в христианстве величайшею скверной»[3].

Попытки понять причины сексуальной революции в России в контексте христианского учения были предприняты в журналистской среде. Один из театральных критиков, сетуя на разгул порнографии, возложил всю вину на церковь: «Христианство в упорном почти двухтысячелетнем гонении на наготу добилось своего: у нас совершенно атрофировалось чувство красоты по отношению к живому обнаженному телу, атрофировалось и превратилось в чувственность»[4]. Согласно этой концепции, сексуальная революция стала реакцией на политику церкви, пытавшейся сдержать развитие естественно-биологической природы человека, и хотя данная природа все-таки одержала верх, однако нравственных основ для сдерживания собственной чувственности выработано не было, в результате чего общество захлестнула волна непристойности. Один из героев романа А. Амфитеатрова «Закат старого века» говорил: «Сейчас в обществе мода: словесное сладострастие всякое смаковать — неслыханное дело, что и о чем дамы вслух говорят с нашим братом, состоящим при них кавалером развлекательным… Послушаешь — точно в эротическом отделении сумасшедшего дома находишься… И любовники, и влюбленности, и самоудовлетворения, и извращения…»[5]

---

[1] Там же. Л. 84.

[2] РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Отд. 2. Ст. 3. Д. 259. Л. 48–49.

[3] *Мережковский Д. С.* Революция и религия // Русская мысль. М., 1907. Год двадцать восьмой. Кн. III. С. 21–22.

[4] Обозрение театров. 1917. 4 июня. С. 8.

[5] *Амфитеатров А. В.* Закат старого века… С. 326.

В литературе главными певцами сексуальной революции считались А. Каменский и М. Арцыбашев, разрабатывавшие философию «социализации красоты», которая коррелировалась как с религиозно-философскими исканиями российской интеллигенции, так и с борьбой женщин за равноправие, клеймила ханжеский стыд перед обнаженным человеческим телом. Санин, герой одноименного романа Арцыбашева, воплотивший идеалы сексуальной революции, артикулировал популярный среди молодежи религиозно-философский нигилизм: «Христос был прекрасен, христиане — ничтожны»[1].

Культурные веяния эпохи модерна находили отражение в фактическом репродуктивном поведении россиян, нарушавшем церковные правила. В частности, в посты запрещались не только венчания, но и интимные отношения. Однако если за торжествами церкви следить удавалось, то супружеские ложа были ей недоступны. В результате на запреты венчаний в праздники столичные обыватели отвечали повышением половой активности в дни постов. Так, если в 1914 г. в Великий пост количество браков в Петрограде по сравнению с предыдущим месяцем сократилось на 96,4%, то количество зачатий увеличилось на 0,92%, в Петров пост браки сократились на 74,6%, а зачатия увеличились на 0,36%. Только в Рождественский пост сокращение числа браков на 94,13% совпало с незначительным сокращением зачатий — на 2,28%. По-видимому, Рождественские праздники относились к тем немногим событиям, когда церковные порядки соответствовали желаниям петроградцев. За весь 1914 г. был только один месяц, когда количество зачатий действительно заметно снизилось, — на 63,59%. Это был месяц начала войны.

Для Москвы была характерна несколько иная тенденция, и единственным месяцем, когда зачатия незначительно сокращались вместе с падением числа заключенных браков, был март — Великий пост. Вероятно, рост половой активности в дни Великого поста был в большей степени явлением столичным, связанным с определенными социокультурными особенностями Петрограда, в том числе, возможно, и с меньшей религиозностью обывателей. Но, несмотря на незначительный спад репродуктивного поведения провинциальных городских слоев в дни Великого поста, в том числе и москвичей, не следует забывать, что он заметно уступал спаду брачности (для марта 1914 г. падение зачатий на 22,02% против падения брачности на 97,51%). В случае же, если бы россияне в своей половой активности руководствовались церковными правилами в той же мере, как при заключении браков, процент падения брачности соответствовал бы проценту сокращения зачатий.

Несмотря на сокращение браков и зачатий в Великий пост в отличие от Петербурга, Москва в целом соответствовала столичной динамике брачности и репродуктивного поведения. Так же как и в Петербурге, в первый месяц

[1] *Амфитеатров А.В.* Закат старого века... С. 239.

войны в Москве резко увеличилось количество заключенных браков — с 452 в июне до 1282 в июле. Тем не менее с началом войны зависимость зачатий от религиозных праздников еще более снижается. Так, если в Москве в марте 1914 г. количество зачатий падает на 22% по сравнению с февралем, то в марте 1915 г. оно, наоборот, возрастает на 16%. Таким образом, война подавляла религиозную составляющую брачного и репродуктивного поведения городских слоев населения.

Вместе с тем, если отделить внебрачные зачатия от брачных, то окажется, что последние имели бóльшую зависимость от церковных правил. Так, например, в Великий пост в Москве количество брачных зачатий сократилось на 24,26%, а количество внебрачных всего на 11,19%. Это объясняется тем, что значительная часть внебрачных зачатий не была запланирована, в то время как намеренное брачное зачатие супруги старались произвести в соответствии с церковными канонами.

Изучая динамику половой активности столичных жителей, можно отметить еще одну особенность — в течение Первой мировой войны происходило постепенное снижение зачатий в браке с одновременным ростом зачатий внебрачных: в 1915 г. условное количество внебрачных зачатий в Москве по сравнению с предыдущим годом возросло на 25%[1]. Вероятно, отчасти это было связано с чинимыми церковью препятствиями на срочное венчание по причине призыва жениха на войну в случаях, когда венчание приходилось на дни поста или если молодые не могли предоставить все требующиеся документы.

Если в городах изменения брачного поведения можно отнести на счет развития нуклеарных отношений и общих модернизационных процессов, то в деревнях распространение фактических браков, согласно сообщениям провинциальной прессы, являлось следствием повышения платы за совершение треб и общим обеднением крестьянских хозяйств: «Чтобы избежать непосильного расхода, родители жениха и невесты соглашаются на гражданский брак своих детей. Для этого пишется условие, которое скрепляется свидетелями со стороны жениха и невесты, а затем удостоверяется сельским старостой с приложением на условии должностной печати. В условие вводится неустойка, что если кто-то из сторон откажется от дальнейшего сожительства, то эта сторона должна оплатить другой стороне определенное денежное вознаграждение»[2].

Помимо мистификации массового сознания война вызвала к жизни ряд иных явлений, портивших отношения между крестьянами и священнослужителями. Например, сухой закон, обрушившийся всей тяжестью административной и уголовной ответственности за домашнее изготовление алкогольных напитков на обывателей, но сохранивший в этой сфере определенные свободы

[1] Подсчитано по: Еженедельник статистического отделения Петроградской городской управы. 1913–1916; Ежемесячный статистический бюллетень по г. Москве. 1914–1916.

[2] Саратовский листок. 1915. 10 февраля.

для церкви, или мобилизация скотины. Массовое недовольство последней приводило к тому, что крестьяне свою злость вымещали на присутствовавших при переписях скотины и населения священниках[1]. В Святейший синод с мест приходили рапорты священников об оскорблениях и избиениях, которым они подвергались со стороны местных жителей. Так, например, беспорядки, сопровождавшиеся избиениями и оскорблениями священнослужителей, произошли в конце июня 1916 г. в некоторых приходах Балтского уезда[2]. Когда-то давно, в 1865 г., в Вятской губернии при схожих обстоятельствах, когда священники встали на сторону непопулярной в среде народа политики властей, возникла массовая секта «немоляков»: крестьяне отказывались принимать урезанные по реформе земельные наделы и платить выкуп. Священники, к которым крестьяне обратились за содействием, дали крестьянам в ответ «положительное и твердое слово пастырей о необходимости подчиниться распоряжениям, исходящим от высшей власти»[3].

В период Первой мировой войны до синодальной власти также доходили слухи об образовании новых сект. В частности, говорили о сектах «бегунов» и «скрытников», занимавшихся укрывательством беглых дезертиров, преступников, политических ссыльных. Правда, эти слухи не всегда подтверждались при проверке[4]. Тем не менее в отдельных губерниях империи из-за перехода православного населения в иные вероисповедания формировалась отрицательная динамика численности православных. Одним из самых популярных течений был штундо-баптизм. В январе 1915 г. обыватель в письме из Подольской губернии к студенту Киевской духовной академии рассуждал о распространении в России штундизма, связывая это с недовольством населением своими попами и проникновением в общество ценностей западной (немецкой) культуры[5].

Согласно отчетам миссионера Н. Варжанского за 1914 г., по Московской епархии совращенных из православия насчитывалось 146 человек, из них: в евангельские христиане — 25, в баптизм — 35, в адвентизм — 4, в «евангельские христиане, приемлющие крещение детей» — расшатано и приготовлено к совращению несколько человек; в латинство — 27, в лютеранство — 49, в армяно-григорианство — 5 и в англиканство — 1 человек. Примечательно, что за отчетный период сам Варжанский из сект в православие смог вернуть только двух человек[6]. Учитывая, что в Московской епархии было лишь два миссионера (Варжанский и Соколов), их работу едва ли можно признать удовлетворительной.

[1] Более подробно о сухом законе см.: *Аксенов В.Б.* «Сухой закон» 1914 г.: от придворной интриги до революции // Российская история. 2011. № 4. С. 126–139.

[2] РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Отд. 3. Ст. 5. Д. 129. Л. 1.

[3] *Никольский Н.М.* История русской церкви. М., 1985. С. 369.

[4] РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Отд. 2. Ст. 3. Д. 102. Л. 4—4 об.

[5] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1012. Л. 227.

[6] РГИА. Ф. 796. Оп. 201. Отд. 6. Ст. 3. Д. 109. Л. 2 об.

Разочаровавшееся в церкви население скептически относилось к проповедям миссионеров, а иногда, в случае их рвения, прибегало к физическому насилию. Так, Варжанского, пришедшего в январе 1914 г. на собрание «пашковцев» в Головин переулок в Москве, толпа избила, раздела и вытолкнула голым на мороз[1].

В Смоленской епархии количество штундо-баптистов в 1915 г. возросло на 23% (с 441 в 1914 г. до 531 в 1915 г.)[2]. В 1915 г. в Ставропольской епархии из православия в другие религии и секты ушел 481 человек, из них 401 в секту духовных христиан, 56 — в секту «Новый Израиль» (произошла из позднего хлыстовства), 8 — в секту субботников, по 4 человека — в усювисты и армяно-григорианскую веру, 3 — в лютеранство, 2 — в старообрядчество и по 1 — в хлыстовство, ламаитство и римско-католическую веру[3]. При этом в Ставропольской епархии в 1915 г. 335 человек вступили в православие, из них 42 перешли из иудаизма. Учитывая, что Ставропольская губерния не входила в черту оседлости, можно предположить, что это были евреи-выселенцы, которые, приняв православие, пытались тем самым избежать конфликтов с местным населением и начальством. Таким образом, динамика численности православного населения Ставропольской епархии в 1915 г. составила минус 146 человек. Можно предположить, что данная динамика была бы положительной, не будь само духовенство и церковь столь нетерпимы к инакомыслию. По крайней мере, православные миссионеры нередко выдвигали обвинения в сектантстве против людей, в силу личных разногласий с епархиальным начальством позволявших себе некоторые «вольности», но сектантами не являвшихся.

Хотя до войны наблюдался перманентный рост количества поступавших жалоб на священников со стороны прихожан, после ее начала обнаруживается тенденция к сокращению количества подобных конфликтов ежегодно в среднем на 13%. Однако, с учетом ухода на фронт значительной части крестьян, едва ли можно говорить о том, что отношения духовенства и деревни стали на 13% лучше, тем более что, как было отмечено, к прежним поводам для конфликтов прибавились новые. Да и достигнутый минимум конфликтов в 1916 г. (531 дело) превосходил минимум 1907 г. (497 дел) на 6,8%.

Рассмотрим структуру наказаний духовенства по содержанию правонарушения на примере ведомости секретаря Ставропольской духовной консистории о священно-церковно-служителях, присужденных к наказаниям по решениям Епархиального начальства за первую половину 1917 г. Всего за этот период было рассмотрено 42 дела, по которым было предъявлено 46 обвинений. В них фигурировало 15 случаев недобросовестного исполнения своих обязанностей (32,6%), причем отказу от их исполнения (отказ причастить умирающего

[1] Там же. Л. 3.
[2] РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Отд. 3. Ст. 5. Д. 136(а). Л. 47 об.
[3] Там же. Л. 159.

больного) было посвящено еще 4 дела (8,7%), в 9 случаях (19,5%) имело место обвинение в пьянстве, в 8 случаях (17,4%) — в финансовых махинациях (непомерное повышение платы за требы, вымогательство денег у прихожан, растрата церковных средств), в 7 случаях (15,2%) — в сквернословии (возможно, в том же состоянии алкогольного опьянения); также отмечались 2 случая прелюбодеяния священников (4,3%) и 1 обвинение выдвигалось за участие в маевке[1].

Похожая картина вырисовывается по Донской духовной консистории согласно ведомости ее секретаря за вторую половину 1916 г. о священнослужителях, присужденных к наказаниям. Из 14 дел 6 касаются «неблагоповедения» (оскорбления прихожан, пьянство), в 3 случаях имел место отказ исполнять свои обязанности (причастие больных), в 2 случаях совершались попытки прелюбодеяния (приставание к девицам)[2]. За тот же период в Казанской духовной консистории из 11 дел в 8 случаях речь шла об оскорбления разных лиц как словами, так и действием, в 3 случаях священники обвинялись в пьянстве, также в 3 случаях — в недобросовестном исполнении обязанностей и в 1 случае — в растрате церковных сумм[3]. Также среди возбужденных против священников дел встречались обвинения в убийстве прихожан в пьяных драках, обвинения в изнасиловании крестьянских жен, грабежах[4].

Нужно отметить, что не всегда обвинения в адрес священников подтверждались при проверке. Так, обер-прокурору Синода поступила анонимная жалоба на священника Тверской епархии А. Завьялова в мае 1917 г.: «Этого попа зовут Алексей Завьялов он в нашем Дубровском приходе служил 25 годов и что он делал вот мы вам раскажим. Он держал явных 5 любовниц да столько же не явных. Первая его любовница была Варвара Иванова сестра нашего церковного старосты из деревни Пелешкина она жыла у него работницей и все ихнии безобразии были у нас на глазах она родила от него дочку вылитый евоный патрет. Вторая его любовница была дер. Власова Анна Клементьева мужния жана с горя муж уехал в Питер и погубил от этого всю свою жизнь у ней от попа трое незаконных детей…»[5] Хотя Тверская епархия опровергла содержащуюся в доносе информацию и против Завьялова не было возбуждено дело, тем не менее, несмотря на некоторые преувеличения, присущие тексту анонимки, в ней перечислены весьма типичные обвинения крестьян в адрес местных священников, которые подтверждались в ряде других случаев. Ю. Белоногова, изучая жалобы крестьян на священников Московской епархии, отмечает, что нередко эти жалобы были своеобразной формой мести и сведения личных счетов, часто носили анонимный характер; после расследования такие жалобы

[1] РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Отд. 3. Ст. 5. Д. 32. Л. 22–25.
[2] Там же. Л. 13 — 15а об..
[3] Там же. Л. 2–5.
[4] РГИА. Ф. 796. Оп. 199. Отд. 4. Ст. 1. Д. 315, 36.
[5] РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Отд. 3. Ст. 5. Д. 59. Л. 6–7.

оставались без последствий[1]. Однако статистика отдельных епархий позволяет усомниться в таком выводе. Так, за 1915 г. в Новгородской духовной консистории было рассмотрено 89 дел по обвинениям священников, из них по 58 делам (65%) священники были признаны виновными и подвергнуты наказаниям[2].

Помимо жалоб прихожан на своих священников, нередко и сами клирики возмущались поведением своих «коллег». 7 мая 1915 г. архиепископ Финляндский Сергий получил письмо от священника Черниговской епархии, в котором шла речь как о неблаговидном поведении духовенства, так и о покрывательстве оного церковным начальством на примере Черниговского епископа Василия Богоявленского: «Пр. Черниговский Василий возбудил перед Синодом ходатайство о снятии подсудности с дьякона Преображенской церкви села Гужовки Борбенского уезда Стефана Якимовича. Дьякон Якимович за десять лет своей службы на девятом месте. В каждом приходе был судим. В последнем приходе д. Якимович избил до смерти жену своего настоятеля и благочинного. Был осужден в монастырь. Недавно д. Якимович обесчестил 16-ти летнюю свою прислугу, но уплатил ей 200 руб. и тем прекратил дело. Якимович дал по квитанции на Ляличи 200 р., да бывшему секретарю Пр. Василия Духовскому 300 р. Духовский теперь член консистории и зять Пр. Василия. Якимович всем хвалится, что получит место священника… Якимович известный пьяница и развратник, но богатый, вот почему Преосвящ. и ходатайствует за него. У нас буквально Пр. Василием продаются места. Есть лица, которые дали по 1000 р. за священство… Такие дела творятся у нас в Черниговской епархии, когда им будет конец?»[3]

По письмам российских священников можно констатировать, что духовенство более низких степеней иерархии достаточно критически относилось к священникам высшей (третьей) степени — архиереям (епископам, архиепископам, митрополитам). Так, минский протоиерей (вторая степень иерархии) писал 28 октября 1916 г. о местном епископе Георгии (Ерошевском), занимавшем до этого должность ректора Петербургской духовной академии, пришедшем на смену Митрофану (Краснопольскому) в июле того же года: «Трудно даже в мечтах представить себе такого архиерея, как наш. Это какая-то мумия, без жизни, деятельности, ума и толку. Нужно удивляться, что такое убожество стояло во главе столичной Академии. Как говорят некоторые, наш архиерей сплошное недоразумение… Проповеди его прямо детские; лучше бы не говорил. Отпечатанные его проповеди поражают своей ничтожностью и скудостью. А напыщенности, самомнения, гордости без конца, что в конце концов очень смешит всех… Грубостью и резкостью превзойдет даже Митрофана…

---

[1] *Белоногова Ю. И.* Приходское духовенство… С. 141.

[2] РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Отд. 3. Ст. 5. Д. 136а. Л. 14.

[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1006. Л. 82.

Грустно становится за будущность церкви. И верхи-то ее, кажется, совсем сгнили. Я держусь в стороне пока...»[1]

Критическое отношение низшего духовенства к высшему прослеживается в статистике епархиальных ведомостей по наказаниям, налагавшимся на священников. Хотя число наказаний за случаи оскорблений священниками друг друга значительно уступает числу конфликтов священников с прихожанами, они были весьма распространены в церковной жизни.

По мере разочарования крестьян в священниках власти начинали подозревать духовенство в оппозиционных настроениях. Так, Казанский губернатор в 1914 г. характеризовал местное духовенство как левое, в связи с чем ходатайствовал о выделении священников в особую курию на съезде землевладельцев[2]. В Самарской губернии отмечалось двуличное поведение духовенства: «официально записывалось в умеренные организации, оно на выборах иногда подавало записки с именами левых»[3]. В Рязанской губернии избранный членом Думы священник Остроумов записался сначала националистом, а затем перешел в октябристы[4].

Следует отметить, что представители духовенства в Государственной думе, участники религиозно-философских обществ Петрограда, Москвы, Киева, признавая серьезность церковного кризиса, предлагали в рамках идеи созыва Поместного собора пересмотреть не только отношения церкви и государства, но и функции ее в обществе. На заседании религиозно-философского общества Петрограда 11 октября 1915 г. священник Константин Аггеев, констатируя факт «церковного развала» в России, возложил вину за него на епископат, который своими действиями губил приходское духовенство, а также, считая вредным догматический авторитет церковных канонов, раскритиковал думских священников за умалчивание того, «что жизнь настолько ушла вперед, что подчиниться канону уже не может, и что сами каноны нуждаются в пересмотре, а может быть, и в отмене»[5]. В качестве примера новой организации православной церкви Аггеев обращался к опыту старообрядческих общин. Однако в условиях синодальной церкви и жесткого диктата епископата решить вопросы обновления было невозможно.

Фронтовая повседневность, предопределявшая рост религиозности солдат, тем не менее не улучшала их отношения к духовенству. Молодые офицеры в письмах с фронта описывали настроения солдат как дикое отчаяние,

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1047. Л. 24.
[2] РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 732. Л. 26.
[3] Там же. Л. 49 об.
[4] Там же. Л. 58 об.
[5] Прения по докладу К.М. Аггеева «Ближайшие судьбы Русской Церкви. По поводу записки думского духовенства» // Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде): История в материалах и документах. 1907–1917 гг. Т. 3. 1914–1917 гг. М., 2009. С. 192–193.

противопоставляя собственные наблюдения официальной патриотической пропаганде: «Весь тот героизм, который описывается в газетах, может только сниться самому пылкому фантазеру, и все мужество и гордость, приписанные сему герою, сплошная выдумка горячих голов»[1]. Еще резче в своих письмах высказывались рядовые[2]. Поскольку составной частью навязываемого солдатам патриотизма была вера, сознание солдат начинало протестовать и против ее приписывания всем подряд: «Тошно читать бесконечное вранье. В какой номер газеты ни заглянешь, каждый русский воин — альтруист, христианин, герой»[3]. Это раздражение в конце концов переносилось на полковых священников, которым вменялось следить за настроениями солдат и поддерживать в них боевой дух соответствующими патриотическими речами.

Современники отмечали, что в первые месяцы войны участились посещения простым народом церквей, однако этот подъем религиозности был следствием распространения мистических и фаталистических представлений, говорить о росте именно православной религиозности вряд ли оправданно. Один из солдат писал с фронта: «А нам здесь слезы: налево пойдешь — огонь, направо — вода, вперед пойдешь — пули и снаряды рвутся, а сзади зарежут шашкой. Некуда деваться. Так таки приходится нам погибать во славу русского оружия»[4]. На фронте формировался феномен «окопной религиозности» — перед лицом смерти даже не веривший в Бога человек проникался мистическими настроениями, искал потаенный смысл в знамениях и пр. Однако это далеко не всегда сближало солдат с полковыми священниками. Некий солдат Кузнецов писал знакомому священнику в феврале 1915 г.: «У меня сложилось такое представление о бое: поле битвы есть Храм, в который одинаково благоговейно, безо всякого бахвальства, идут как верующие, так и неверующие; в этом Храме присутствие Божества чувствуется, осязается ежесекундно… Как жаль, что наши солдаты не настолько развиты, чтобы постигнуть это… А знаете, кто в этом виноват? — Вы, священники, т. е. — та нелепая система, по которой воспитывают наши пастыри. Ну где вам, схоластикам, повлиять на душу нашего русского народа, когда вас разговаривать-то с ним не обучают? От интеллигенции нашей вы отстали, а к народу не пристали, и больше книжной морали ничего дать ему не умеете»[5].

Солдаты в письмах с фронта жаловались на то, что священники большую часть времени проводят с офицерами, а рядовым недоступны, что служат, когда хотят, поднимают цены на свечи, недогоревшие собирают и повторно перепродают солдатам по нескольку раз и т. д.[6] «А которые здесь служат священники,

[1] Письма с войны 1914–1917 / Сост. А. Б. Асташов, П. А. Симмонс. М., 2015. С. 236.

[2] Там же. С. 490.

[3] *Арамилев В. В.* В дыму войны… С. 97.

[4] Письма с войны… С. 141.

[5] Там же. С. 119–120.

[6] Там же. С. 451.

те отталкивают от себя наших страдальцев-героев, к ним нет доступа, многих не видишь совсем, а если и видишь, то опасно подойти, ибо они держат себя как начальники, вращаются лишь только среди начальников, солдатики относятся к ним неуважительно, с презрением»[1]. Примечательно, что фотодокументы периода мировой войны позволяют подтвердить справедливость солдатских претензий: на публиковавшихся в иллюстрированных журналах фотокадрах священники изображались в достаточно комфортабельной обстановке, в окружении офицеров, попивающими чаек[2]. Традиционно доставалось военному духовенству от церковнослужителей. Один псаломщик писал домой в октябре 1916 г.: «Поп мой такое золото, что лучше бы он и на свете не родился… Все священники, сколько я знаю их здесь, все поголовно играют в карты и при случае выпивахом. А тут же рядом с ними за спиной мучается и умирает без исповеди и причастия раненый, серый герой, который теперь становится уже никому и не нужным. А дома остаются сироты»[3]. «Поп хотя и есть в полку, но лентяй, и сидит при обозе и никакие силы небесные не заставят его поехать в штаб полка на позицию», — сообщал солдат 8-го Сибирского стрелкового полка[4]. В 1916 г. среди солдат ходила история, как накануне Пасхи немцы совершили дерзкую вылазку и застали врасплох штаб полка, в котором шла попойка с участием местного священника. Захватили пленных, однако на следующий день попа вернули, написав сзади на его рясе «нам чертей не нужно»[5].

Конечно, далеко не все полковые священники были презираемы солдатами. В части корреспонденции описывались примеры героизма военного духовенства, когда священники поднимали солдат в атаку или под градом вражеских пуль причащали умирающих на поле воинов. Ходили рассказы о том, как прочитанная в безысходной ситуации молитва приводила к неожиданному перелому в сражении. Однако помимо образа священника-героя, читающего молитву во время битвы, существовал и образ священника-труса, вздрагивающего во время молебна в тылу от любого громкого звука. Примечательно, что в дискурсе о полковых священниках существовали две почти одинаковые истории, но с разными концами: священник неподалеку от линии фронта проводил молебен, как внезапно появились вражеские аэропланы, сбросившие бомбы. В одном случае бомба разнесла часть церкви, но священник даже не вздрогнул, в то время как молившиеся солдаты все попадали на землю, в другом случае от прогремевшего вдалеке взрыва священник сбежал, бросив молившихся солдат, или упал в обморок. Вторая версия этой истории была приведена в мемуарах

---

[1] Письма с войны… С. 361–362.
[2] Нива. 1915. № 38. С. 706.
[3] Письма с войны… С. 463.
[4] Там же. С. 732.
[5] Там же.

А. А. Брусилова, правда в его рассказе молебен был все же доведен до конца после некоторой заминки[1]. Как правило, в этих историях воин противопоставлялся попу: первый героически исполнял свой долг, а второй трусил, был «чужим» на фронте. Крестьянин И. Юров вспоминал: «Неподалеку от шоссе мы увидели, как старенький поп дрожащим голосом отпевал лежащего на земле убитого молоденького прапорщика… Пока шло отпевание, немец открыл по этому месту артиллерийский огонь. На нас это большого впечатления не произвело, мы уже привыкли к этому, но поп заметно побледнел, начал бестолково комкать слова последнего напутствия христолюбивому воину. Когда же один снаряд упал очень близко, он не выдержал, подобрал полы и, не закончив обряд, побежал к своей повозке. Солдаты насмешливо кричали ему вслед: „Что, батюшка, аль не хочется тебе в царство-то божье?“»[2] Некоторые солдаты под впечатлением от поведения священников становились атеистами и начинали заниматься антирелигиозной пропагандой. Крестьянин Аврам Макаров вспоминал, как однажды в их часть приехал полковой священник. Он проводил молебен и произносил патриотические речи, звал солдат в бой. Когда с немецкой стороны посыпались снаряды, поп бросился бежать. Эта картина подействовала на Макарова, после чего он начал «саботаж на бога», за что был отдан под суд[3].

Несмотря ни на реальные примеры героизма духовенства, ни на соответствующую пропаганду, образ священника-героя не занял достойного места в визуальной картине эпохи. Если рассмотреть патриотический плакат и лубок периода Первой мировой войны из коллекции Государственного музея современной истории России, то на 391 единице хранения мы не найдем ни одного изображения священника[4]. В качестве участников войны присутствуют воины всех родов войск (пехота, моряки, авиаторы, артиллеристы, кавалерия), мирные жители — например, деревенские женщины, захватывающие в плен вражеские аэропланы, дети, врачи и сестры милосердия, ведущие в атаку пехоту, но вот полковое духовенство отсутствует. Правда, иную картину дает материал почтовых карточек — в выпускавшихся отдельными религиозными центрами открытках встречались сюжеты, в которых священники вдохновляли солдат на бой.

В официально издававшейся иллюстрированной «Летописи войны» визуальный образ полковых священников составил всего 0,8% от общего количества рисунков и фотографий, причем основная масса — это групповые,

[1] *Брусилов А. А.* Мои воспоминания. М., 1963. С. 192.

[2] *Юров И.* История моей жизни… С. 175–176.

[3] Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 гг. / Отв. ред. А. К. Соколов. М., 1997. С. 67.

[4] Лубочная картинка и плакат периода Первой мировой войны. 1914–1918 гг. Иллюстрированный каталог. В 2 т. Т. 1. М., 2004.

многофигурные композиции (фотографии молебнов), на которых представителей духовенства едва можно разглядеть, а снятых крупным планом портретов священников было опубликовано в Летописи лишь три за три года войны: один портрет протоиерея И.С. Яроцкого, получившего контузию на фронте и попавшего в плен, и два портрета главы военного духовенства протопресвитера Г. Шавельского. Примечательно, что с вербальными образами духовенства в Летописи дела обстояли лучше, подвиги некоторых из них — например, иеромонаха Антония Смирнова, служившего священником на линейном заградителе «Прут», отказавшегося от места в шлюпке и спустившегося в трюм тонущего корабля к раненым морякам, — описывались в журнале, но не сопровождались иллюстрациями. Тем самым можно говорить о некотором расхождении вербальной и визуальной картин войны.

В литературно-художественном журнале «Нива» изображения священников на фронте за 1914–1916 гг. составляли немногим больший процент, чем в «Летописи», — 1,5. При этом нельзя сказать, что религиозная тема была настолько же непопулярна в иллюстрированных журналах, как портреты духовенства. В ряде случаев публиковались фотографии молебнов, крестных ходов, на которых священники просто отсутствовали. Художник Э. Бутримович специально для пасхального номера «Летописи» в 1915 г. нарисовал картину «В Галиции. Крестный ход в пасхальную ночь», где во главе процессии шли медсестра, офицер, врач, далее следовали рядовые, но полкового священника нигде не видно[1]. В этом же номере священники также отсутствовали на картине С. Колесникова «Красное яичко в Галиции», изображавшей крестьянок, угостивших яйцами, куличами с пасхой раненых солдат, на рисунке А. Петрова «В госпитале. Христос Воскресе!». В указанном пасхальном номере было 27 иллюстраций и лишь на одной — «Его императорское высочество Верховный Главнокомандующий среди офицеров одного из казачьих полков» — с краю примостился представитель церкви[2]. Пришедшийся на Пасху апрельский номер «Нивы» не был целиком посвящен празднику Воскресения, тем не менее на двух фотографиях из 42 иллюстраций присутствовало духовенство[3].

Визуальные источники позволяют говорить о том, что фактически религиозные праздники были деприватизированы у церкви и отданы на откуп народу. Данные тенденции не вызывают удивления с учетом специфики упомянутой «окопной религиозности». Солдаты с фронта писали, что, потеряв надежду на помощь священников, сами приобретали иконки и устраивали в окопах, землянках нечто наподобие молельных мест, куда приглашали своих товарищей: «Имею икону порядочного размера, сделал подсвечник у ней и горят свечи восковые, покупаю на последнее солдатское жалованье, солдатики те которые

[1] Летопись войны. 1915. № 31. С. 499.
[2] Там же. С. 490.
[3] Нива. 1915. № 16. С. 303.

любят молиться, приходят ко мне и молятся и читают евангелию»[1]. В связи с этим развивалось народное религиозное творчество: крестьяне сами рисовали иконки, нередко нарушая каноны, изготавливали образки и крестики и продавали солдатам и офицерам. Такая фотография была даже опубликована в «Ниве», судя по ней, подобные изделия народного творчества пользовались популярностью среди военных[2]. В «Ниве» публиковались фотографии примеров солдатской изобретательности: то соорудят распятие на вековом дубе, то соберут походную церковь из еловых ветвей[3]. Вместе с тем религиозные настроения солдат периода мировой войны не исключали духовенство как таковое полностью из религиозного дискурса, но часто заменяли современных полковых священников на легендарных представителей церкви. Так, чаще других в визуальном религиозно-историческом дискурсе по понятным причинам появлялись Пересвет и Ослябя.

В «окопной религиозности» проявлялись не только мистические и фаталистические, но и эсхатологические настроения, что, например, отразилось в уже упоминавшейся серии литографий Н. Гончаровой «Мистические образы войны». В народной среде мировая война воспринималась в контексте Последних времен, крестьяне рассказывали о том, что родился новый царь Ирод, некоторые считали, что это Николай II[4]. В качестве примера расхождения официальной и народной картин войны можно отметить, что официальная пропаганда сознательно эксплуатировала эсхатологическую тематику, называя Вильгельма II Антихристом. Выпускались соответствующие плакаты, изображавшие германского императора в образе зверя. Вместе с тем между крестьянами случались споры, кто на самом деле является Антихристом: германский или русский царь. Но, вероятно, одним из самых парадоксальных поворотов народного религиозно-эсхатологического сознания стала серия слухов о том, что скоро явится Антихрист, Иисус очередной раз будет распят, и после этого крестьянам сразу дадут землю, о которой они так давно мечтали[5].

Подобное если не комплиментарное, то достаточно терпимое отношение к Антихристу свидетельствовало о некоем мировоззренческом кризисе, инверсии добра и зла, что вполне соответствует экстремальным временам мировой войны. Солдаты с фронта сообщали, что для них поле битвы представляется адом: «Снаряды гудят, ружья трещат, бомбы рвутся, стоишь и думаешь, что вокруг тебя кромешный ад»[6]. Однако вскоре вся фронтовая жизнь превращалась в сплошной ад: «Здесь все суета, все тот же ад, — раньше был ад опасности,

---

1 Письма с войны… С. 379.
2 Нива. 1915. № 13. С. 251.
3 Нива. 1915. № 12, 17.
4 РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 332.
5 Там же. Л. 278 об.; *Мельгунова-Степанова П.Е.* Дневник. 1914–1920. М., 2014. С. 41–42.
6 Письма с войны… С. 242.

тревог, ад смерти, а теперь — ад движений без отдыха и срока, ад тыла со всей его грязью», — писал рядовой нестроевой роты Житомирского полка[1]. Привыкание к аду вызывало примирение и с его посланником — Антихристом. Тем более что по мере затягивания войны в народе распространялись коллаборационистские настроения, говорили, что если победит Вильгельм (Антихрист), то жить станет лучше[2]. Казенно-православные молитвы полковых священников с точки зрения подобных эсхатологических настроений не могли удовлетворить новые религиозные потребности солдат. Один из них писал из действующей армии в январе 1915 г.: «Не знаю, можно ли на войне уверовать в Бога, но в Сатану поверить можно»[3].

Рано или поздно солдаты начинали обращать внимание на противоречия церковной военно-патриотической риторики христианской этике. Так, в «Московских церковных ведомостях» еще в ноябре 1914 г. появилась статья профессора-богослова Московской духовной академии С. Глаголева «Патриотизм и христианство», в которой автор выступил против тезиса, что все люди братья, оправдывая утверждение, что русского нужно любить сильнее, чем немца, а значит, последнего можно и убить[4]. С новобранцами, пока их не отправляли на фронт, в лагерях проводили занятия, учили воинский устав, а также интерпретировали Катехизис Филарета, в частности шестую заповедь, таким образом, что выяснялось, что убивать можно не только врага, но и офицер имеет право убить ослушавшегося его солдата и такое убийство не противоречит христианству[5]. Новая этика проникала и в визуально-символическое пространство военного времени. В журнале «Нива» в 1915 г. появилась весьма двусмысленная иллюстрация под названием «Волхвы XX века», на которой цари подносили младенцу Иисусу в дар снаряды и оружие[6]. Очевидно, что восприятие ее зрителем было неоднозначно. Солдат, ежедневно сталкивавшийся со смертью, видевший, как рушатся прежние гуманистические ценности, тоньше ощущал крушение всей христианской цивилизации, ему начинало казаться, что мир погружается в языческие времена с их жертвоприношениями кровожадным богам: «После первого боя под Белой при виде обезображенных, истекающих кровью людей и лошадей, невольно всплыл передо мною неразрешенный вопрос: для чего это все?.. В жертву стратегическим, политическим и т. п. целям приносятся сотни тысяч человеческих жизней. Это не прежнее идолопоклонство, осуждаемое нами без всякого сожаления, а усовершенствованное поклонение Богу-Войне. Прежде приносились единичные

[1] Письма с войны… С. 573–574.
[2] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 141.
[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1010. Л. 28.
[4] Московские церковные ведомости. 1914. № 44. 1 ноября. С. 882.
[5] *Арамилев В. В.* В дыму войны… С. 62–63.
[6] Нива. № 44. 1915. С. 809.

жертвы богам ради удовлетворения религиозных чувств, теперь губят целые государства с миллионным населением… Куда ни взгляни, всюду носится призрак смерти»[1]. Малограмотные солдаты из крестьян рассуждали попроще, но в том же духе: «Я уже проклял эту войну это разве от Бога дано что я убивал и также меня это не от Бога, Бог дал нам жизнь чтобы мы жили друг друга не убивали чтобы помнили шестую заповедь»[2]. Логика солдата была крайне проста: коль скоро война противоречит заповедям, то она не от бога, но тогда и духовенство, призывающее идти и убивать, также не от бога. В декабре 1916 г. солдат писал со злостью и сарказмом о полковом духовенстве: «Я собираюсь эту зиму геройски здохнуть и переселиться в обетованный рай, который там строили наши попы от создания мира для положившего жизнь за Другов, попы эти непрестанно нам сулят в облаках Орла, а в руки суют бомбы да винтовки, идти смело и геройски погибнуть за Веру, Церковь и дорогое и обильное наше Отечество»[3].

Оппозиционные политические акции на фронте оборачивались уголовными преступлениями, при этом критика верховной власти, как правило, подразумевала антицерковную позицию. Депутату IV Государственной думы от крестьян И. Т. Евсееву в августе 1915 г. было отправлено коллективное письмо раненых солдат, в котором вслед за критикой правительства, не желавшего покончить с войной, сразу следовали жесткие обвинения в адрес церкви: «Наша отсталая от культуры Православная Церковь во главе с грубыми, некультурными, грязными, растрепанными, жестокими, алчными, честолюбивыми эгоистами-попами и архиереями, является причиною одних страданий народных. Идеал христианского священника — смирение и прочие христианские добродетели от терпения до самоуничижения. А наши попы мерзейшие вмешиваются в политику, уклоняясь от христианских обязанностей и порождая религиозные распри и вражду»[4].

Вместе с тем антицерковные высказывания солдат не стоит интерпретировать как атеизацию. Нахождение на передовой в состоянии постоянного ощущения опасности, близости смерти требовало осознания присутствия высшей силы и продолжения жизни после смерти. Поэтому даже атеисты в моменты опасности вдруг становились верующими. Крестьянин И. Юров, прошедший Первую мировую, вспоминал свои фронтовые будни: «Мы часто беседовали на всевозможные темы. Например, о боге. Очень многие выдавали себя неверующими. Но помню такой случай. Однажды в разгар нашей беседы немцы открыли по нашему участку орудийный огонь. Беседа, конечно, прервалась, ребята побежали по окопу в ту сторону, где реже ложились снаряды. Пошел

1 Письма с войны… С. 640.

2 Там же. С. 652.

3 Там же. С. 724.

4 Там же. С. 645–646.

последним, не спеша, и я. По пути попалась землянка… Но, заглянув туда, я увидел, что там один солдат, только что шумевший, что он не признает ни бога, ни святых, стоит на коленях и усиленно отбивает поклоны, слезливым голосом взывает: „Господи, спаси и помилуй!“ Я из деликатности ничего ему не сказал ни тогда, ни после, а он, бедняга, был так занят молитвой, что меня не заметил»[1].

Отторжение официальной религиозности требовало заполнения образовывавшихся лакун религиозного сознания, что порождало альтернативные формы культа, близкие сектантству. Так, среди солдат большую популярность получили «заговорные письма» — молитвы, которые нужно было переписывать и отправлять далее по окопной почте, а текст выучить и регулярно повторять. В одном из таких писем говорилось: «Во имя отца и Сына и Святого духа. Аминь. Господи помилуй — и благослови меня на сей день и пошли ангела для охраны — меня грешного раба твоего… Шел Христос с семи небес, нес Христос животворящий крест; заговариваюсь я раб Божий Владимир на 24 часа, на все круглые сутки от меча штыка от свинцовых стальных медных пуль и от чугунных гранат шрапнелей и от других металов и будь моя жизнь крепче Петрацаря и тело мое крепче камня дикого. Враги мои будут стрелять из ружей пулеметов и пушек; пули летайте и в меня не попадайте летите в чистое поле в сырую землю был бы я невредим во все веки веков Аминь Аминь Аминь»[2]. Периодическая печать сообщала, что подобные заговоры обнаруживались и у пленных немцев с австрийцами[3]. Как отметил Д. Байрау, публиковавшиеся в прессе сообщения о найденных у немцев амулетах первоначально пытались использовать в качестве доказательства варварской, языческой природы германского лютеранства, однако по мере усугубления разрыва народной религиозности с официальным православием эта стратегия терпела крах[4].

Распространены были письма — сны Богородицы. И. Юров вспоминал, что популярность этих писем носила территориальный характер: крестьяне северных губерний, в частности его вологодские земляки, более скептически были настроены в адрес этих «снов», нежели крестьяне южных губерний: «Както среди солдат появился листок „Сон Богородицы“. Написана в нем была какая-то бессмысленная белиберда, но солдаты его переписывали друг у друга и держали на груди, веря, что это спасет их от пуль и снарядов врага. Вполне серьезно отстаивал чудодейственную силу этого листка даже наш ротный писарь Мочалов, парень довольно начитанный. Он с самым торжественным

---

1 *Юров И.* История моей жизни… С. 173–174.

2 Письма с войны… С. 359.

3 Вокруг света. 1915. № 4. С. 64.

4 *Байрау Д.* Фантазии и видения в годы Первой мировой войны: православное военное духовенство на службе Вере, Царю и Отечеству // Петр Андреевич Зайончковский: Сборник статей и воспоминаний к столетию историка. М., 2008. С. 761–762.

видом хранил листок с этой писаниной в нагрудном кармане гимнастерки. Чтобы поколебать эту его нелепую веру, я, помню, говорил ему, что ведь если бы эта писанина действительно имела такую силу, то наше начальство отпечатало бы ее в типографии и роздало бы каждому солдату; тогда не нужно было бы ни окопов, ни блиндажей, поперли бы мы прямо открыто на немцев. Вообще, южане, как я заметил, были легковернее северян: из моих земляков никто этих листочков не имел и даже неграмотные над этим смеялись, как над детской глупостью»[1].

Борьба с сектантством в годы войны затронула солдат, попавших под влияние «окопной религиозности» и придававших большое значение всевозможным знамениям, которые интерпретировались в мистическом ключе. Военная цензура изымала подобные письма, содержавшие неканонические описания Христа, Богородицы. Так, в августе 1916 г. из всей корреспонденции, изъятой военной цензурой при главном почтамте Петрограда, 12% составляли письма, содержавшие сектантскую пропаганду (неканоническую интерпретацию Священных текстов, мистических знамений и пр.)[2]. Однако то, что запрещалось простым солдатам, позволяла себе официальная печать, как светская, так и религиозная. Один из самых распространенных на фронте мистических сюжетов — явление ангелоподобной «белой дамы» — появился в 1915 г. в «Летописи» в перепечатанной картине британского художника Г. Скотта, изображавшей полупрозрачную женщину в белых одеждах, парившую над павшими воинами[3]. Нужно заметить, что образ «белой дамы» следует отделить от образа белой женщины-привидения, чье появление предвещало беду. Журнал «Огонек» рассказывал, что Вильгельму II ночью явился призрак белой женщины — бранденбургской Альмы, которая навещала Гогенцоллернов накануне трагических поворотов истории[4]. На Западном фронте среди союзников также ходили слухи о появлении белой женщины-привидения, однако русские солдаты, пересказывая слухи о «белой даме», чаще наделяли ее более знакомыми православной визуальной традиции чертами Богородицы. Одно из самых известных массовых видений якобы случилось в ночь с 7 на 8 сентября 1914 г. накануне битвы под Августовым — на небе появилась Божия Матерь с младенцем Иисусом на руках, одной рукой она указала на Запад, затем видение преобразилось в большой крест и исчезло[5]. Слух об этом быстро распространился по армии, «Биржевые ведомости» напечатали заметку, в том же году был выпущен соответствующий патриотический плакат «Знамение Августовской

[1] *Юров И.* История моей жизни… С. 172.
[2] РГВИА. Ф. 13838. Оп. 1. Д. 18. Л. 1–544.
[3] Летопись войны. № 71. 1915.
[4] Огонек. 1915. № 1. Без пагинации.
[5] *Преображенский И.* Величайшая из великих войн за правду Божию, за свободу народов. Чудесное на войне. Пг., 1916. С. 55.



Ил. 142. Видение на небе. Издательство Марфо-Мариинской обители, 1915. Иллюстрированная почтовая карточка

победы», народные художники стали писать иконы Августовской Богоматери. В 1915 г. издательство Марфо-Мариинской обители выпустило почтовую карточку «Видение на небе», включавшую перепечатку текста сообщения «Московских ведомостей» о видении под Августовым (ил. 142).

Синод завел дело «О расследовании чудесного события явления Божией Матери» и 31 марта 1916 г. официально признал явление Богородицы и принял решение благословить чествование в храмах Августовской иконы. Примечательно, что в первоначальном, народном варианте Августовской Богоматери она была одета в неканонические белые одежды, что соответствовало изначальной этимологии слуха о «белой даме».

В ноябре 1914 г. «Вестник военного и морского духовенства» описал явление Божией Матери на небе близ г. Мариамполя Сувалкской губернии: «1-го сентября 1914 г., в одиннадцать часов ночи обоз второго разряда бригады лейб-гвардии кирасир Его и Ея Императорских Величеств, находившийся близ Мариамполя, внезапно был застигнут немцами: получено было донесение, что неприятель на автомобилях с пулеметами и пушками находится вблизи на шоссе. Не надеясь отразить врага своими силами, многие из воинов обратились с молением о помощи к Державной Заступнице, крепкой в бранях Помощнице. И что же? Матерь Божия услышала молитву их. Воины увидели на небе необыкновенно яркую звезду, из которой постепенно образовалось

сияние из маленьких звезд, и чудный образ Богоматери с Предвечным младенцем, причем Божия Матерь рукою указывала на запад»[1]. Когда кирасиры пришли в себя — немцы исчезли.

Следует упомянуть и о другой интерпретации явлений Богородицы: в феврале 1915 г. в Москве распространился слух, что видения возникали вследствие запуска немцами специальных ракет, рисовавших в небе Богоматерь с целью напугать русские войска и остановить их наступление[2].

Видения Богоматери продолжались на протяжении всей войны. Солдат писал в Москву из действующей армии 29 января 1915 г. о том, что над русскими позициями регулярно появляется Богоматерь со Спасителем на руках: «Она проплывает по небу над окопами и когда исчезает, то на небе появляется туманный белый крест»[3]. Также солдаты передавали рассказы военнопленных: они видели, как над русскими позициями появляется «белая женщина», что сулит поражение немцам и австрийцам.

Помимо явления под Августовым, признанного церковью, существовало множество частных историй солдат о явлениях Богородицы. В ряде случаев рассказчики были контуженными, находились в полуобморочном состоянии. В условиях войны среди солдат распространялся травматический психоз, сопровождавшийся бредом, обманами зрения и слуха, поэтому видения и слуховые галлюцинации вследствие контузий становились неотъемлемыми спутниками военной повседневности[4]. Так, переживший шок рядовой, чудом выбравшийся из-под вражеского артобстрела и добравшийся до госпиталя, находясь в состоянии аффекта, поведал историю, как выжил один из своей роты, а когда ночью вылез из окопа, то увидел Богородицу, которая спустилась к мертвым его товарищам и каждому на голову надела по венцу, затем подошла к солдату и, указывая на север, сказала: «Иди туда, к своим. Не бойся! Смело иди по этому пути. Никто тебя не заденет». Несмотря на то что бой продолжался и кругом летали пули, солдат невредимым дошел до госпиталя, где и рассказал все сразу первой попавшейся медсестре[5]. В.М. Бехтерев в статье «Война и психозы» рассмотрел явление «Августовской Богоматери» в качестве типичной коллективной галлюцинации, испытанной группой лиц, находившихся в состоянии аффекта: «Появление таких галлюцинаций

---

[1] Вестник военного и морского духовенства. 1914. № 21. 1 ноября.

[2] *Городцов В.А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 317.

[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1012. Л. 238.

[4] О психических расстройствах на фронте см.: *Фридлендер К.* Несколько аспектов шелл-шока в России, 1914–1916 // Россия и Первая мировая война: Материалы международного научного коллоквиума. СПб., 1999. С. 315–325; *Асташов А.Б.* Русский фронт в 1914 — начале 1917 года: военный опыт и современность. М., 2014. С. 340–414; *Merridale C.* The Collective Mind: Trauma and Shell-Shock in Twentieth-Century Russia // Journal of Contemporary History. 35. Heft 1 (January 2000). P. 39–55.

[5] *Преображенский И.* Величайшая из великих войн… С. 59–60.

объясняется тем аффективным состоянием, в котором находится масса лиц в ожидании того или другого захватывающего всех события. Благодаря этому внимание обостряется до наивысшей степени, а так как все находятся под влиянием испытываемого волнения, то малейший повод дает основание к развитию иллюзии, а затем и галлюцинации, по содержанию отвечающей настроению присутствующих»[1]. Психиатры отмечали, что подобные массовые видения были неотъемлемым явлением всех затяжных войн, приводивших к крайним формам нервного переутомления и истощения людей. Еще в 1904 г. в «Вестнике психологии» М. П. Никитин в статье «О массовых галлюцинациях и иллюзиях» писал, что в условиях переживаемого группой людей сильного возбуждения, когда люди связаны общей верой, общей идеей, у них формируется однородное настроение[2]. В соответствии с концепцией В. Х. Кандинского, эта общность настроения способствует душевной контагиозности: как только один член этой общности начинает галлюцинировать и рассказывать о своих видениях, тут же прочие члены группы начинают «видеть» эти знамения.

Следует также заметить, что появление иллюзий помимо психической стороны имело еще и культурно-историческую традицию: в печати, писавшей о чудесных явлениях, проводились параллели с известной легендой о появлении перед войском Константина Великого накануне решающей битвы креста на небе с надписью «Сим побеждаю». Подобные небесные кресты склонны были видеть и солдаты Первой мировой. «Биржевые ведомости», напечатавшие письмо об очередном коллективном видении Богоматери под Мариамполем, сопроводили его комментарием: «Люди науки по поводу всего этого скажут: массовые галлюцинации, внушение, психическая зараза. Но да будет у нашего войска побольше таких галлюцинаций и зараз! В них — ободрение и животворящая сила. И пусть наше воинство земное почаще зрит воинство небесное»[3].

Кроме слухов о «белой даме», были распространены, но в меньшей степени, слухи о «белом генерале». Во время боев под Варшавой в октябре 1914 г. рассказывали, что в самый трудный момент над русским войском появился «белый генерал», который парил над солдатами и командовал ими. «Белый генерал» встречался иногда солдатам на марше: если посмотрит в глаза солдату, то быть тому живым до конца войны, а если мимо пройдет и не взглянет — не миновать смерти[4]. Истоки этого образа менее ясны. Уместно вспомнить, что прозвище «белый генерал» получил в свое время М. Д. Скобелев, что нашло отражение в народном лубке, рисовавшем его на белом коне в белых одеждах.

---

[1] *Бехтерев В. М.* Война и психозы // Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. 1914. № 4–6. С. 329–330.

[2] См.: *Никитин М. П.* О массовых галлюцинациях и иллюзиях // Вестник психологии. 1904. Вып. 2.

[3] *Ювачев И. П.* Война и вера // Исторический вестник. 1915. Т. 139. № 2. Февраль. С. 583.

[4] *Кандидов Б.* Церковный фронт в годы мировой войны. М., 1927. С. 52.

И. П. Ювачев считал, что именно образ Скобелева стоит за этими легендами: «Русская легенда о „Белом генерале“ давно известна среди наших войск. Народ не может скоро расстаться со своими любимыми героями, вождями-защитниками. Он верит в их бессмертие. И если говорят, что Белый генерал турецкой кампании 1877 г., Михаил Дмитриевич Скобелев, умер, то любовь к нему русского народа воскрешает его в своих ожиданиях, как защитника государства»[1]. С ним соглашался А. И. Кривощеков, отмечая, что среди оренбургских казаков — участников туркестанских походов ходили легенды, что Скобелев жив, но тайно скрылся в одежде странника, потому что за царским столом при публике обругал англичанку и та потребовала немедленной казни генерала, угрожая войной. Государю было жалко Скобелева, и он разрешил ему скрыться[2]. Впоследствии Скобелев якобы появлялся перед своими бывшими соратниками в образе божьего странника, предупреждая: «Хожу по святым местам пока до времени. А как начнется великая война, я снова возьму меч, надену всю форму и соберу своих старых товарищей-воинов». Один из номеров иллюстрированного петроградского еженедельника «Война», посвященный чудесам на фронте, открывался портретом Скобелева в образе «белого генерала»[3].

Известна также лубочная картинка 1914 г. «Суворов и Слава», на которой седовласый русский полководец изображался наблюдающим с небес за сражением русских с немцами рядом с белокрылым архангелом в доспехах и с мечом. Вероятно, следует признать собирательный характер образа «белого генерала» из числа героев-полководцев. Учитывая специфику народной религиозности по аналогии с «белой дамой», можно предположить, что под «белым генералом» мог скрываться и образ Христа, тем более что журнальными иллюстрациями и лубочными картинками тиражировался образ Иисуса в белых одеждах, спустившегося на землю благословить солдат[4] (ил. 143). При этом известна открытка, изображавшая явление всадника в бело-пурпурном одеянии с копьем ранним утром русскому пехотинцу (ил. 144). В данном случае, по всей видимости, речь идет о Георгии Победоносце. Пытаясь реконструировать легенду о «Белом генерале», И. П. Ювачев вспоминал древние легенды о «белом вожде», в частности о библейском Израиле, которому во время завоеваний в ханаанской земле сопутствовал «вождь воинства Господня». В качестве другого источника образа Ювачев вспоминал Апокалипсис Иоанна, описавший двойное явление белого всадника: в первом случае — чтобы снять печать и победить, во втором — чтобы судить народы. Нельзя не вспомнить и русскую традицию, описывавшую появление небесных всадников — святых

---

[1] *Ювачев И. П.* Война и вера… С. 584.

[2] *Кривощеков А. И.* Легенды о войне // Исторический вестник. 1915. № 10. С. 205.

[3] *Jahn H.* Patriotic culture in Russia… P. 34.

[4] Нива. 1916. № 46.



Ил. 143. Ф. Пауэльс. С вами Бог. СПб.: Тип. И.В. Леонтьева, 1914. Иллюстрированная почтовая карточка



Ил. 144. Явление Георгия Победоносца русскому пехотинцу. 1914–1917. Иллюстрированная почтовая карточка

Георгия, Дмитрия, Бориса и Глеба — накануне решающих битв (в 1240 г. на Неве, в 1380 г. на Куликовом поле)[1].

Несмотря на явную неканоничность образов, церковная печать поддавалась мистическим настроениям и тиражировала их на своих страницах. Так, «Волынские епархиальные ведомости» сообщили в 1916 г., что Богородица в виде женщины в белом одеянии пугает немцев огненными глазами. Способствовал распространению ряда слухов о чудесных знамениях протопресвитер Г. Шавельский, понимавший необходимость адаптации официальной веры к солдатской религиозности. При этом он сам рассказывал журналистам о собственных вещих снах[2]. Вероятно, за распространением легенд о «белом генерале» стояли полковые священники, так как некоторые версии осуждали матерную традицию: говорили, что «белый генерал» помогает лишь тем, кто не сквернословит. Передавали следующую историю: «Как только узнали от пленников о белом всаднике, собрались всею сотнею и порешили не браниться поматерно и черным словом. Все время сотня была в беспрерывных боях, но все оставались невредимыми, лишь ранило двух-трех человек. Но однажды перед самой атакой командир за что-то осердился на казаков и несколько раз выругался. И что же? В этой атаке сотня сразу потеряла около двадцати человек убитыми и ранеными»[3]. Тем самым создавалась противоречивая картина: власти, официально препятствовавшие распространению солдатских мистических слухов, позволяли себе печатать близкие по смыслу истории, как бы приватизируя народный мистический дискурс. Однако престиж духовенства это не поднимало, так как подобные истории считались достоянием солдатской «окопной религиозности» и распространялись вне зависимости от того, как на них реагировала церковь.

В целом неэффективность пропаганды фронтового духовенства накладывалась на психологическую атмосферу в окопах, не способствовавшую усвоению казенных лозунгов в условиях возраставшей усталости от войны. Косность и бюрократизм церковной организации не оставляли ей возможности для адаптации к новым условиям. А. Б. Асташов справедливо указал на бинарность проблемы окопной религиозности, при которой субъективные ошибки в действиях священников накладывались на объективные психологические факторы: «Главной проблемой проповеди на фронте были, однако, не успехи или недостатки пропаганды военного духовенства, а нехватка религиозного чувства у солдат. Ритм и темп современной войны не оставляли места сохранению набожности, уступая место циничным взглядам. Церкви не удалось приспособить свою христианскую доктрину для военной агитации, сделать из солдат „христовых воинов“, военное духовенство не смогло долгое время

---

[1] *Ювачев И. П.* Война и вера… С. 585.

[2] Новое время. 1915. 15 декабря.

[3] *Кривощеков А. И.* Легенды о войне… С. 207.

поддерживать высокий морально-боевой дух войск, успешно бороться с массовым дезертирством и антивоенными, революционными настроениями среди солдат»[1]. В конце концов объяснения расцерковления россиян как на фронте, так и в тылу приобретали следующую форму: «Сидел господь высоко, на людскую тьму глядеть не любил, живите, мол, как придется. Мы и обиделись: ты без нас, так и мы без тебя»[2].

Таким образом, мы видим, что церковь в начале XX в. оказалась в ситуации модернизационного вызова, что требовало от иерархов определенных шагов по адаптации к меняющимся запросам общества. Часть прогрессивного духовенства осознавала необходимость обновления, однако бюрократизированная и сросшаяся с государством синодальная церковь не была способна на внутренние реформы. В то же время выполнение церковью административных задач, ее официальная полная поддержка правительственного курса (в отличие от оппозиционности отдельных священнослужителей) дискредитировали духовенство в глазах части общественности, критически настроенной по отношению к верховной власти. Начавшаяся Первая мировая война, которая была ошибочно воспринята светской и духовной властями как шанс на единение власти и общества, лишь усугубила существовавшие конфликты. Военно-патриотическая пропаганда в условиях роста народного недовольства мобилизацией, военными поражениями, общим вздорожанием жизни звучала фальшиво и способствовала расцерковлению прихожан. Часть из них подавалась в секты, увлекалась проповедями «братцев», разрабатывала альтернативные обрядовые формы, проникалась мистицизмом. Последнее оказалось особенно характерно для «окопной религиозности», которая выходила за границы официального православия.

Царь в кривом зеркале: визуальное мышление и крах стратегии демократической фоторепрезентации

Дискредитация царской власти, отразившаяся в народном «хулительном дискурсе», разобрана нами ранее. В настоящей главе речь пойдет о крушении символа самодержавия, визуализированного в официальных практиках репрезентации в многочисленной изобразительной продукции, в первую очередь — в фотографии. Фотография в начале XX в. еще не была признана в качестве самостоятельного вида искусства, и к нарисованному и фотографическому изображению современники относились по-разному: если в первом усматривали прежде всего художественный образ, то во втором — документальное свидетельство. Впрочем, признание за фотографией художественной природы пришло лишь во второй половине XX в.

[1] *Асташов А. Б.* Фронтовая повседневность российских солдат, август 1914 — февраль 1917 г. Автореферат дис. … д-ра ист. наук. М., 2018. С. 32–33.

[2] *Федорченко С. З.* Народ на войне… С. 138.

Советской искусствоведческой традиции, не наделявшей фотографию ценностью самостоятельного вида искусства, было свойственно подчеркивание утилитарных функций фотоизображения (хранение памяти о прошлом, пропаганда, иллюстрирование и т.д.)[1]. Не лучше обстояли дела в историческом источниковедении, изучавшем фотографию в формальном ключе в качестве фотодокумента. Вместе с тем пренебрежение к художественной природе не позволяло в полной мере осознать диалектику документального и творческого в фотографии, в результате чего вплоть до 1970-х гг. господствовало понимание фотографии как отражения прошлого, памятки прошлого («памятки смерти», по выражению С. Зонтаг). Однако как минимум несколько аспектов разоблачают ее документальность, обращая внимание на субъективно-творческую природу: во-первых, это проблема кадрирования пространства (фрейминга), выступающего, если рассматривать фотоизображение как форму высказывания, в качестве вырывания фразы из общего контекста; во-вторых, это использование фотографом приемов визуализации, направленных на донесение до зрителя своей собственной идеи. Третьим аспектом «дедокументализации» фотографии выступает роль зрителя, который из пассивного созерцателя давно уже превратился в соавтора изображения. Е. Петровская в книге «Антифотография» пишет, что «без других фото остается непроявленным, его вообще нельзя увидеть»[2]. На тех же позициях стоит французский исследователь Андре Руйе, отмечающий, с опорой на теорию М. Бахтина, отразившуюся, в частности, в творчестве М. Дюшана, диалогический характер фотографии, отказывающийся говорить о фотографии-в-себе, о фотографии в единственном числе как отдельном изображении: «Покидая развоплощенный мир чистых сущностей, мы попадаем в живой и многообразный мир практик, произведений, переходов и слияний, поскольку „фотография“ в единственном числе, фотография в себе, не существует. В реальном мире мы всегда имеем дело с „фотографиями“: с практиками и отдельными произведениями на неких территориях, в определенных контекстах и условиях, с конкретными деятелями и отношениями»[3]. Таким образом, изображение существует в определенном культурном пространстве, определяющем особенности его социального функционирования и интерпретации.

Говоря о способах считывания визуальной информации и последующей интерпретации, необходимо отметить три из них, исторически сложившиеся. Первый способ — иконический. Он основан на распознавании знакомых образов, связан с мышлением по аналогиям. Никаких специальных знаний, зрительского визуального опыта он не требует. Второй способ — символический. Предполагает наделение узнанных объектов дополнительными значениями

[1] См., например: *Вартанов А.* Место фотографии в культуре // Советское фото. 1986. № 10.
[2] *Петровская Е.* Антифотография. М., 2003. С. 12.
[3] *Руйе А.* Фотография. Между документом и современным искусством. СПб., 2014. С. 11–12.

(коннотациями), исходя из закрепленных в конкретной социальной группе, культуре, эпохе тех или иных символов. Третий способ, абстрактно-индексальный, — это уровень считывания синтаксиса изображения, его структуры, композиции, в которой визуальными приемами закреплена та или иная семантика. Как правило, в восприятии изображения участвуют все три способа, но при доминировании какого-то одного подхода. Причем на ранних этапах становления зрительской культуры можно отметить преобладание того или иного способа в той или иной социальной группе, ввиду доминирования определенного способа мышления. Так, например, в неграмотной крестьянской среде не было достаточных предпосылок для развития абстрактно-логического мышления, свойственного для культуры письменного текста. В результате, компенсационно, развивалось иконическо-символическое визуальное мышление.

Мышление людей, занятых в аграрном хозяйстве, во многом определялось особенностями повседневной жизни. Российские крестьяне, вынужденные заниматься интенсивным трудом из-за малой продолжительности сельскохозяйственного года, оказывались в большой зависимости от капризов природы. В этих условиях любые приметы рассматривались в качестве знаков, способных повысить эффективность хозяйствования. Это в свою очередь развивало в крестьянине наблюдательность, созерцательность. Известную роль играли и климатические особенности среднерусской равнины: «Кто по календарю сеет, тот редко (мало) веет», — говорили крестьяне, имея в виду непостоянство сельскохозяйственного календаря[1]. Любопытным источником являются дневники грамотных крестьян, которые, несмотря на свою образованность и в известной степени большую рациональность мышления в сравнении с неграмотными односельчанами, уделяют народным приметам пристальное внимание[2]. Их описания предельно денотативны, лишены авторской интенциональности, но при этом наблюдательность и интерес к деталям как знакам создают художественный образ: «Первый день не выпускали скотину со двора. Несло изморозь», «Весь день шел небольшой снег. Умер Кокорев», «Весь август почти стоял дождливый. Носят рыжики и волнухи»[3]. Снег во втором случае выступает знаком смерти так же, как дождь является условием грибного сезона. О наличии художественного мышления у крестьян говорят и встречающиеся метафоры, вполне соответствующие канонам европейской литературы: «Сухая, хорошая погода, но ветер весь день выл, как голодный волк», «Птицы уже поют и кричат, пернатое царство оживляет лес и поля»[4].

---

[1] *Даль В.И.* Пословицы и поговорки русского народа. М., 2009. С. 451.

[2] См.: Дневник тотемского крестьянина А.А. Замараева. 1906–1922 годы. М., 1995; На разломе жизни. Дневник Ивана Глотова, пежемского крестьянина Вельского района Архангельской области. 1915–1931 годы. М., 1997; «Дневные записки» усть-куломского крестьянина И.С. Рассыхаева. 1902–1953 гг. М., 1997.

[3] Дневник тотемского крестьянина А.А. Замараева. 1906–1922 годы. М., 1995. С. 26, 32.

[4] Там же. С. 52, 61.

Похожую иконичность, основанную на сходстве-подобии, обнаружил в европейском средневековом сознании М. Фуко: «Вплоть до конца XVI столетия категория сходства играла конструктивную роль в знании в рамках западной культуры. Именно она в значительной степени определяла толкование и интерпретацию текстов; организовывала игру символов, делая возможным познание вещей, видимых и невидимых, управляла искусством их представления. Мир замыкался на себе самом: земля повторяла небо, лица отражались в звездах, а трава скрывала в своих стеблях полезные для человека тайны. Живопись копировала пространство. И представление — будь то праздник или знание — выступало как повторение: театр жизни или зеркало мира — вот как именовался любой язык, вот как он возвещал о себе и утверждал свое право на самовыражение»[1]. К тем же выводам приходит и М. Бахтин, отмечая миросозерцательную природу различных форм (смех, игрища, брань и пр.) средневековой карнавальной культуры: «Внешняя свобода народно-праздничных форм была неотделима от их внутренней свободы и от всего их положительного миросозерцательного содержания. Они давали новый положительный аспект мира и одновременно давали право на его безнаказанное выражение»[2].

Крестьянская картина мира синкретична, ей свойственна неразделенность явлений природы и событий общественной жизни, которые выступали звеньями одной онтологической цепочки, иногда предшествуя друг другу, выступая друг по отношению к другу знаками, иногда образуя единое целое. Познание окружающего мира в архаичном сознании обретало формы прорицания: «Прорицание всегда предполагало знаки, которые предшествовали ему: так что познание целиком размещалось в зиянии открытого или подтвержденного или тайно переданного знака», — писал М. Фуко[3]. Так, засуха начала июня 1907 г. в дневниковых записях крестьян оказывается знаком-предвестником политической реакции: «Стоит жаркая погода, надо бы дождя. Травы худые. Государственную думу разогнали»; а затянувшиеся в 1917 г. до мая зимние холода и вовсе обретают эсхатологические коннотации: «Погода студеная, пролетает снег. Нашему государству едва ли не приходит конец»[4]. Природа и политика оказываются онтологически связанными, пролетающий снег выступает метафорой смерти, гибели. Показательно, что в изобразительной семиосфере российской революции снег, как и различные холодные оттенки цвета, тоже символизирует гибель, но только связывается с контрреволюционными попытками реставрации самодержавия. Так, в качестве примера можно привести картину П. Филонова «Формула революции», на которой значение революции складывается из переменных, представленных холодными (реакция) и теплыми (реформа) оттенками.

---

[1] *Фуко М.* Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. С. 54.

[2] *Бахтин М. М.* Творчество Франсуа Рабле… С. 154–155.

[3] *Фуко М.* Слова и вещи… С. 94.

[4] Дневник тотемского крестьянина А. А. Замараева. 1906–1922 годы. М., 1995. С. 24, 160.

Сложность апеллирования к крестьянскому символизму обусловливалась также и его зависимостью от условий, в которых находился интерпретатор. За теми или иными вещами, предметами, явлениями однозначные образы не закреплялись, в результате чего знаковость вещей была динамичной. Можно предположить, что крестьянский мистицизм был порождением не столько труда на земле как такового, непосредственного контакта с природой, но и невзгод, случайностей, которые, вопреки стараниям крестьян, обрушивались на них по причине погодных аномалий: «Давно ль ты стала ворожить? — А как нечего стало в рот положить»[1]. В этом смысле ворожба, обращение к мифологии являлись последней надеждой, средством преодоления казуальности сельскохозяйственного цикла. Вероятно, народный мистицизм был особенно распространен в кризисные периоды и, наоборот, отступал на второй план, когда крестьянам не на что было жаловаться: «Гром не грянет, мужик не перекрестится».

Кроме того, в полной мере синкретизм проявлялся в период деревенских празднеств, карнавального поведения, сочетавшего языческие ритуалы с христианской символикой и мистицизм с прагматизмом. Карнавал, как и труд на земле, был важной сферой повседневного существования крестьян. Двойственность мистико-реалистического подхода к феноменам выступала причиной амбивалентности образов вещей, знак которых легко менялся в сознании народа в зависимости от тех или иных условий. При этом амбивалентность образов была непосредственным следствием крестьянской миросозерцательности: одни и те же явления природы при известных условиях могли нести как жизнь, так и смерть, восприниматься в положительном или же в отрицательном смысле.

Крестьянская наблюдательность и известная метафоричность мышления заставляли их с особенным пиететом относиться к изобразительному искусству. Усть-куломский крестьянин Иван Рассыхаев увлекался рисованием и сам иллюстрировал свои дневники. Более того, он записывал сны и видения, создавая с помощью слов целые живописные полотна, что демонстрирует наличие у него композиционного мышления. В отдельных случаях в описанных снах угадываются композиции известных работ, репродукции которых могли попадаться крестьянам. Так, Рассыхаев, пересказывая свой сон, сразу упоминает плоскость картины и далее расставляет на ней персонажей, указывая их местоположение справа или слева, а также обозначая передний, средний и задний планы: «Видел во сне Иордан реку, как бы на картине, идущей с левой стороны на переднюю сторону. Река Иордан и видимая местность представляли то самое место, где св. Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа и народ, и имела прекрасный вид, берег с заречной стороны не круто пускался к реке и здесь образовалась уже по песчанистому берегу от ходьбы к реке пешая дорога. На том же берегу несколько далее от реки, стоял народ и впереди от них

[1] *Даль В.И.* Пословицы и поговорки русского народа. М., 2009. С. 464.

стоял и учил народ св. Иоанн Предтеча. В это время с правой стороны к тому месту явился и приходил из пустыни Господь Иисус Христос, который имел светлый вид и озарил светом от себя всю местность и стоящий народ и св. Иоанна. Как увидел Иоанн Иисуса Христа, обратился к народу и, указывая рукой на Господа, сказал: „Се агнец Божий вземляй грехи мира". При этом стоящий народ и св. Иоанн смотрели на идущего Господа и представляли с собой как бы сонм лика св. апостолов и пророков и держались стоящими от земли несколько выше на воздухе, чем и кончилось сновидение»[1]. За исключением образа воспаривших свидетелей пришествия Иисуса описание сна напоминает известное полотно А. А. Иванова «Явление Христа народу».

Отличавшийся немногословностью тотемский крестьянин А. Замараев, описывая совершенное путешествие в Соловецкий монастырь, отдельно отметил свои впечатления от картин: «В соборе (Преображенском. — *В. А.*) очень красиво. Иконостас и живопись заслуживают внимания. Особенно мне понравились живописные картины „Избиение младенцев вифлеемских", „Укрощение бури" и „Христос на Голгофе"»[2]. Примечательно упоминание Замараевым картины «Избиение младенцев вифлеемских», которую можно считать одним из источников восприятия императора Николая II в качестве царя Ирода, виновного в мировом побоище.

XX век принес новую форму запечатления внешнего мира и создания иконичного образа — фотографию. К началу Первой мировой войны наряду с громоздкими форматными камерами распространение получили компактные пленочные фотокамеры со складным мехом фирмы Kodak. Несмотря на широкий разброс цен (от 19 до 120 рублей), в массовом порядке они не использовались из-за отсутствия единого стандарта пленки и известных сложностей с проявкой и печатью.

Правила работы военных фотографов регулировались «Положением о военных корреспондентах в военное время» (1912) и принятым 20 июля 1914 г. «Временным положением о военной цензуре», допускавшими до зоны боевых действий лишь двадцать корреспондентов (включая десять иностранных), которым разрешалось пользоваться фотокамерами, а также трех военных фотографов. Кроме них, никому не разрешалось делать фотографии на фронте. Однако когда генерал Н. Н. Янушкевич вступил в должность начальника Генштаба, он отправил начальникам военных округов телеграмму: «Корреспонденты в армию допущены не будут»[3]. Верховный главнокомандующий вел. кн. Николай Николаевич также первоначально отклонял просьбы издателей о допуске их журналистов на театр боевых действий, но 26 сентября 1914 г. двенадцати

---

[1] «Дневные записки» усть-куломского крестьянина И. С. Рассыхаева. 1902–1953 гг. М., 1997. С. 56–57.

[2] Дневник тотемского крестьянина А. А. Замараева… С. 46.

[3] *Лемке М. К.* 250 дней в царской ставке (25 сентября 1915 — 2 июля 1916 гг.). Пг., 1920. С. 133.

корреспондентам (включая шестерых иностранцев) все же разрешили отправиться на фронт на две недели (следующей группе журналистов позволили побывать в армии только в июне 1915 г.). В результате, как вспоминал журналист и военный цензор в Ставке верховного главнокомандующего М. К. Лемке, «корреспонденты нашлись в изобилии среди самих офицеров и разного рода тыловых работников»[1], чему способствовало развивающееся в обществе фотолюбительство. «Вечернее время» на первой полосе рекламировало «Кодак для военных»: «Запечатлейте пережитые Вами в настоящую великую войну эпизоды при помощи Вашего жилетно-карманного Кодака», — гласила реклама[2].

Война вызвала издательский бум, росли тиражи периодических изданий. Один только иллюстрированный журнал «Огонек» насчитывал шесть миллионов читателей[3]. В целях пропаганды, максимально широкого охвата социальных слоев, включая малограмотных, печать наполняла свои страницы рисунками и фотографиями, в том числе документальными. Это способствовало формированию различных традиций считывания визуального сообщения. Распространение в прессе фоторепортажа имело, как отметил К. Столарски, важное значение: «Фоторепортаж позволял зрителям интерпретировать увиденное в соответствии с их собственной социально-политической перспективой и жизненным опытом… включал культуру чтения в акт рассказывания новостей»[4]. Исследователь отмечает хаотичность фотографических образов, обрушившихся на зрителя, что приводило к тому, что читатель с их помощью мог выстроить свой собственный нарратив о войне. Образ не всегда воздействовал на зрителя так, как задумывал фотограф или издатель. Например, акцентирование внимания в фотографиях на зверствах немцев вместо решимости к борьбе с Германией могло вызвать уныние и подорвать боевой дух солдат. Стремясь показать читателям войну с разных ее сторон, но, не имея возможности ввиду действовавших «Правил для русских и иностранных корреспондентов», некоторые фотографы прибегали к постановкам и даже инсценировкам тех или иных боевых операций. Так, например, на одной из почтовых фотооткрыток со спины были запечатлены немецкие разведчики, сидящие в укрытии с собаками. Принимая во внимание ракурс съемки и фокусное расстояние, фотограф должен был находиться от них на расстоянии не более нескольких метров. Другие кадры удивляли театральными позами героев и исключительно удачным освещением. Учитывая технические возможности фототехники, было ясно, что снимать динамичные сцены, да еще без вспышки, невозможно. Подобные казусы не ускользали от глаз внимательных зрителей, в результате

---

[1] *Лемке М. К.* 250 дней в царской ставке… С. 134.

[2] Вечернее время. 1915. 24 августа.

[3] *Stolarski C.* Press Photography in Russia's Great War and Revolution // Russian Culture in War and Revolution, 1914–22, Book 1: Popular Culture, the Arts, and Institutions… P. 143.

[4] Ibid. P. 140.

чего в сатирической печати появлялись карикатуры на фотографов, которые в корыте разыгрывали морское сражение, или на «бравых солдат», позировавших фотографам на фоне задника с изображением жаркого боя. С другой стороны, часть населения, отличавшаяся меньшей критичностью мышления, вполне могла принимать такие постановки за чистую монету. Однако по мере развития фотографии наивных зрителей оставалось все меньше, тем более что технический прогресс добирался и до деревни.

Часто увлекающиеся фотографией горожане приезжали в села и фотографировали местных жителей. А. Замараев упоминает один из таких случаев, считая его показательным, важным и вошедшим в привычную картину сельской жизни[1]. Доминирующим жанром в этом случае выступал постановочный семейный бытовой портрет. Семья выстраивалась на фоне избы, мужчины надевали рубашки, пиджаки, причесывались, женщины наряжались в выходные сарафаны и накидывали платки — важно было создать образ благополучной, зажиточной семьи. Полученную фотографию вешали на стену как знак, символ материального достатка. Вероятно, при помощи фотографии, сохранявшей образ прошлого, крестьяне надеялись сохранить сопутствующую им в то время удачу, благополучие. В связи с этим иконичность как подобие первообразу, документальность, уступала место созданию искусственного, индексального: значение похожести лиц снижалось по сравнению со значением сопутствующих им индексов богатства. Акт фотографирования становился символическим ритуалом закрепления за своей семьей благодати. В итоге висящая на стене фотография наделялась не меньшим символическим содержанием, в некотором роде мистицизмом, чем размещенные в красном углу избы иконы.

Функциональное значение портрета было связано с православной традицией иконопочитания (лобызание, молитва, каждение и пр.). В догмате отцов церкви об иконопочитании говорилось: «Честь, воздаваемая образу, переходит первообразному»[2], — что предполагало возможность воздействия через изображение на изображенного. Правда, как отметил Л. Леви-Брюль, данная особенность восприятия графического или изваянного образа как единого целого с прообразом была вообще характерна для пралогического первобытного мышления[3], следовательно, христианство лишь сохранило архаичные представления, которые в славянском язычестве были выражены идолопоклонством. В результате традиция, соответствовавшая как языческим, так и христианским обрядовым формам, прочно вошла в структуры крестьянского мышления. Это создавало известные функциональные практики: прославление или проклинание образа на портрете. В описаниях интерьеров парадных помещений

---

[1] Там же. С. 80.

[2] См.: Догмат о иконопочитании трехсот шестидесяти семи святых отцов Седьмого Вселенского Собора Никейского.

[3] *Леви-Брюль Л.* Первобытное мышление. М., 1980. С. 134.

крестьянских домов (горниц и «залов») часто среди настенных украшений упоминаются живописные картины, приобретенные в дни ярмарок, а также фотографии родственников, а также членов царской фамилии[1]. Таким образом, в кризисные периоды образ царя на портрете мог превращаться в объект вымещения собственной злобы в форме мистического ритуала проклятия. Примеры подобного будут рассмотрены далее.

Развитие технических средств тиражирования визуальных образов на рубеже XIX–XX вв. приводит к активизации новых форм репрезентации царской власти. Историки С.И. Григорьев, Б.И. Колоницкий, вслед за Р. Уортманом изучая сценарии репрезентации власти как своеобразной формы мифотворчества, рассмотрели изменения визуального образа монарха в разбираемый период на примере изобразительной продукции[2]. Оказалось, что на протяжении XIX в. власть жестко контролировала посредством цензуры репрезентацию своего образа, на выпускавшихся ограниченным тиражом календарях, портретах преимущественно изображались цари прошлые, а не настоящие. Ситуация резко изменилась в период правления Николая II, стремившегося к «личной репрезентации своего индивидуального образа самодержца», чтобы «установить глубоко личную, даже интимную, верноподданническую связь между монархом и его подданными»[3]. В результате в начале XX в. происходило столкновение двух традиций визуальной репрезентации образа монарха: самодержавной и демократической. Первая была призвана подчеркнуть исключительный, сакральный характер власти императора путем подчеркивания его уникальности; вторая, наоборот, делала акцент на «народности» царя, его близости к простым подданным.

В конце XIX в. в кругах придворных художников господствовала традиционная, самодержавная концепция репрезентации власти. Художники-академисты, а вслед за ними и фотографы, использовали технические приемы для создания образа самодержца, возвышающегося над подданными. На одиночных поясных или ростовых парадных портретах царь представал запечатленным с низкой ракурсной точки, что рождало ощущение, как будто он сверху вниз смотрит на зрителя. В подобной стилистике выполнены работы И. Галкина, Э. Липгарта. Некоторые фотографии повторяли известные по живописным портретам композиции.

Определенный простор для развития образа величественного монарха предоставили художникам и фотографам коронационные торжества 1896 г.

[1] *Трифонова Л.В.* Традиционный интерьер парадных помещений крестьянского дома Заонежья конца XIX — начала XX вв. // Кижский вестник (Сборник статей). Вып. 9. Петрозаводск, 2004.

[2] См.: *Уортман Р.* Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. В 2 т. М., 2002; *Григорьев С.И.* Придворная цензура и образ верховной власти (1831–1917). СПб., 2007; *Колоницкий Б.И.* «Трагическая эротика»: образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М., 2010.

[3] *Григорьев С.И.* Придворная цензура и образ верховной власти (1831–1917). С. 214.



Ил. 145. Коронация Николая II. Николай II въезжает в Кремль на белой лошади 9 мая 1896 г. Иллюстрированная почтовая карточка

В сложных многоплановых композициях нужно было выделить самодержца из толпы подданных, подчеркнув его исключительность и богоизбранность. Строгий коронационный церемониал, в достаточной степени театрализованный, помогал фотографам акцентировать внимание зрителя на фигуре императора, снятой издали. На фотографии, запечатлевшей въезд государя в Кремль на белом коне 9 мая 1896 г., передана атмосфера пышной торжественности и символичности момента. Фигура императора, тонально выделенная из общей серой массы, без труда угадывается в центре нижней половины работы, а располагающиеся на заднем плане Екатерининский храм Вознесенского монастыря вместе со Спасской башней усиливают впечатление сакральности происходящего (ил. 145).

Одна из самых известных живописных работ, выполненных придворным датским художником Л. Туксеном, создавала почти эпическое действо, участниками которого выступали не только изображенные присутствовавшие на торжествах подданные императора, но и взирающие на его возвышающуюся по центру фигуру святые с фресок Успенского собора. Тем самым художник подчеркивал как святость императора, так и историческую преемственность самодержавной власти (ил. 146).

Примечательно, что приведенная выше фотография въезда императора в Кремль и полотно Туксена имеют одно и то же композиционное построение: линия почетного караула на фотографии, как и линия гостей на заднем плане картины, горизонтально делит плоскость изображения почти по центру, а угол Малого Николаевского дворца и колонна внутри собора образуют центральную вертикаль, в результате чего плоскость оказывается поделенной на четыре прямоугольника, в нижнем левом из которых располагается фигура императора. Подобное совпадение композиций не случайно, так как указывает на известную преемственность изобразительного языка фотографии



Ил. 146. Л. Р. Туксен. Коронация Николая II и Александры Федоровны в Успенском соборе Кремля. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

от живописи и принадлежность двух художественных произведений к единой традиции репрезентации самодержавного образа.

Однако в 1896 г. появилась и альтернативная работа на тему коронации, свободная от идеологической подоплеки, в которой акцент с персоны императора был смещен на толпу гостей, вереницей вьющуюся в храме. Автор эскиза, один из лучших портретистов эпохи, художник-передвижник В. А. Серов, созданию мифического образа государя предпочел импрессионистическое изображение сопутствующей торжествам атмосферы, в которой растворялись отдельные ее участники. Эскиз был представлен во дворце, но Серов так и не получил заказ на создание по нему окончательного живописного полотна.

Хотя в 1896 г. услуги Серова не были востребованы, спустя четыре года Николай II заказал ему свой портрет в форме шотландского полка для отправки в дар подшефным ему «серым драгунам» в Англию. Во время сеансов художник начал одновременно писать второй портрет Николая — в простой тужурке, за столом. Как вспоминал князь Ф. Юсупов, работа не нравилась императрице, присутствовавшей на сеансах, она докучала художнику советами, в результате чего Серов не выдержал и позволил себе дерзость: подал ей палитру и предложил за него закончить портрет царя[1].

[1] *Юсупов Ф. Ф.* Мемуары. В 2 кн. М., 1998. С. 69.

Несмотря на то что обе картины были выполнены в присущей Серову живописной манере, поза императора на официально заказанном портрете была типичной для традиционного академического портрета, хотя художник уходил от реализма в сторону смелых экспериментов с формами и цвето-тональными массами. Второй же портрет был в известной степени революционным, в нем Серов разрывал сложившиеся стереотипы репрезентации образа самодержца: император был запечатлен в повседневной одежде, выбранный ракурс создавал иллюзию, что царь и зритель сидят друг напротив друга за столом и их глаза находятся на одном уровне. Складка сзади над воротником добавляла фигуре легкую сутулость и создавала образ уставшего человека. Позднее с портрета делали копии, и акварельный вариант художника М. Рундальцова публиковался в журналах в годы Первой мировой войны. Забегая вперед, отметим, что в октябре 1917 г. красногвардейцы, ворвавшиеся в Зимний, уничтожили портрет Николая в тужурке (но сохранилась его авторская копия).

Эксперимент Серова был одобрен Николаем II, и с его легкой руки стали появляться другие «простые» державные образы. Однако в целом парадно-торжественная репрезентация власти продолжала доминировать, что особенно проявилось в 1913 г., когда вся империя праздновала 300-летний юбилей дома Романовых. К юбилейным торжествам публиковались парадные портреты российского самодержца и выходили иллюстрированные издания на историческую тематику; журнал «Нива» публиковал фотоотчет о торжествах, проходивших в различных городах империи, а «Русский паломник» выпустил бесплатный «Юбилейный альбом в память 300-летия дома Романовых», в котором появился парадный портрет Николая II со скипетром и державой.

Пышная свита, парадные одежды, торжественные приемы — все это запечатлевали фотокамеры, создавая у зрителей образ преуспевающей и счастливой династии в богатой империи. Однако в действительности общество постепенно охватывала волна протеста. Из секретного циркуляра директора Департамента полиции МВД В. А. Брюн-де-Сент-Ипполита, направленного губернаторам, становится ясно, что власти летом — осенью 1914 г. не питали никаких иллюзий по поводу народного единения, понимая его временный характер и опасаясь, что революция в империи может вспыхнуть с новой силой[1]. Необходимо было укрепить связь народа с монархом, и в этих условиях происходило изменение стратегии репрезентации образа власти: в фотоотчетах официально издававшейся «Летописи войны» (редактор-издатель придворный историограф императора Д. Н. Дубенский) создавался образ народного царя, переносившего невзгоды военной жизни вместе со своим народом. Первый номер журнала открывался портретом Николая II в традиционным ключе — лицо анфас, снято чуть снизу, взгляд направлен в сторону от зрителя, — однако форма одежды

[1] ГАРФ. Ф. 58. Оп. 7. Д. 298. Л. 75.



Ил. 147. Его императорское величество, государь император Николай Александрович, самодержец всероссийский // Летопись войны. 1914. № 1

царя была не парадной, что отвечало трагичности момента и, кроме того, на груди императора одиноко красовался орден Св. Владимира IV степени — выдававшийся чиновникам среднего ранга, жаловавшийся за благотворительную деятельность купцам и промышленникам, а также офицерам в звании от подполковника (ил. 147).

Вскоре, правда, в «Летописи войны» появляются и более пышные образы самодержца: в № 5 печатается парадный портрет Николая, выдержанный в стилистике портретов Липгарта, а в № 6 — парадный портрет наследника престола царевича Алексея, однако ставка редакции на документирование реальности непостановочными репортажными кадрами постепенно вытесняет традиционную стратегию репрезентации. В «Летописи войны» публикуются фотографии поездок Николая II в Ставку, на которых он изображен в походной форме, в мундире полковника, создающем контраст с генеральскими знаками отличия царского окружения. Кроме того, подчеркивается аскетичность и непритязательность императора в военном быту. На одной из фотографий представлен интерьер общей спальни императора и цесаревича в Ставке: в центре стоят две походные кровати-раскладушки, между ними на столике расставлены иконы, а на кресле у камина в углу лежит балалайка, на которой учился играть наследник престола. В октябрьском номере «Летописи войны»



Ил. 148. Николай II и Н. В. Рузский // Летопись войны. 1914. № 8



Ил. 149. Николай II в действующей армии. 1914–1916. Иллюстрированная почтовая карточка

1914 г. появилась репродукция картины 1911 г., изображавшей Николая II в походном снаряжении с шинелью в скатке через плечо.

На многих фотографиях, посвященных поездкам Николая II в Ставку, композиция выстраивалась уже без акцентирования величия императора; на фотографии встречи царя и генерала Н. В. Рузского центральным персонажем композиции оказался генерал Н. Н. Янушкевич, государя же можно опознать лишь по более свободной позе (ил. 148). Однако если на упомянутой фотографии царь хотя бы находился на первом плане, то на почтовых карточках иногда печатались и вовсе неумело снятые фотокадры, переэкспонированные, нерезкие, на которых царь терялся в группе прочих людей или отворачивался в сторону от зрителя (ил. 149). На одной из карточек император был заснят в просвете между окружившими его офицерами, причем ракурс съемки был выбран такой, что царь визуально оказывался намного ниже ростом других членов своего окружения, едва доходя офицерам до плеч. Вероятно, фотограф хотел донести до зрителя идею, что царь находится в постоянных делах



Ил. 150. Николай II в действующей армии. 1914–1916.
Иллюстрированная почтовая карточка

и заботах о состоянии российской армии, в соответствии с природой документальной фотографии передать отдельное мгновение, остановить и поймать время, однако неискушенный визуальной продукцией зритель смотрел и видел на подобных карточках совсем другое — маленького, суетливого человека, внешние данные которого уступают царскому окружению (ил. 150).

Акцент на народности и демократичности царя приводил к невыгодному для него сравнению с генералами из ближайшего круга. В первую очередь Николай II проигрывал своему дяде, верховному главнокомандующему великому князю Николаю Николаевичу, имевшему более яркие внешние данные (ил. 151).

Аристократический профиль, уверенный взгляд великого князя контрастировали с некоторой простоватостью черт лица императора. Особенно контраст был заметен на фотографиях, где Николай II и Николай Николаевич оказывались рядом (ил. 152).

На фотографии, опубликованной в Летописи хроники посещения царем Ставки, маленького роста император, оглядываясь, снизу вверх смотрел на осанистую фигуру главнокомандующего. В данном случае фотограф (вероятно, А. К. Ягельский, сопровождавший императора во время его поездок на фронт) и издатели допустили репрезентационную ошибку: первый выбрал невыгодный для статуса портретируемого ракурс съемки (хотя этот ракурс полностью соответствовал идеологии документального репортажа), вторые отобрали для публикации фотографию, явно принижавшую образ самодержца, при том что существовал другой кадр, на котором высокий главнокомандующий неуклюже сгибался перед невысоким, но полным достоинства царем.

Б. И. Колоницкий обнаружил и более вопиющий и весьма символичный случай фотомонтажа: на одной из фотографий, изображавших Николая II и Николая Николаевича, император был просто замазан, и в виде открытки тиражировался портрет одного великого князя.



Ил. 151. Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич // Летопись войны. 1915. № 30



Ил. 152. Николай II и Николай Николаевич // Летопись войны. 1915. № 38



Ил. 153. Красносельские маневры в высочайшем присутствии. Киев: Рассвет, 1914. Иллюстрированная почтовая карточка

На выходившей в годы войны серии фотооткрыток, изображавших Красносельские маневры накануне войны, проходившие в высочайшем присутствии, также были допущены репрезентационные ошибки. На одной из фотографий Николай II скакал на черной лошади впереди группы офицеров, однако кадр был скомпонован так, что в центре него оказывался великий князь Николай Николаевич, к тому же единственный на белом коне, что еще больше выделяло его на фоне спутников (ил. 153).

Ошибки в изображении императора, а также недовольство народа внутренним положением России не замедлили сказаться на авторитете царя, который резко упал. Величественный образ Николая Николаевича, его более высокое офицерское звание порождало в среде крестьян слухи о том, что он полномочен принимать карательные санкции в отношении самого государя. Так, в июле 1915 г. в Вятской губернии появился слух о том, что «государь император продал неприятелю Перемышль за 13 миллионов рублей, и за это верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич разжаловал государя в рядовые солдаты»[1]. В это же время крестьяне Тобольской губернии говорили: «Надо молиться за воинов и за великого князя Николая Николаевича. За государя же что молиться, он снарядов не запас, видно прогулял»[2]. В феврале 1916 г. крестьянин Уфимской деревни, рассуждая о военном и внутриэкономическом положении России, пришел к выводу, что царем вместо нынешнего государя следовало быть Николаю Николаевичу[3]. А когда царь сместил великого князя с поста верховного главнокомандующего и сам занял его, многие крестьяне начали предрекать поражение России в войне[4].

---

1 РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 530.

2 Там же. Л. 53 об.

3 Там же. Л. 244.

4 Там же. Л. 102.



Ил. 154. Николай II беседует с крестьянами на станции Дрисса. Январь 1916 г. // Летопись войны. 1916. № 83

В царской семье догадывались, что в глазах народа образ Николая Николаевича имел более высокий статус. Императрица Александра Федоровна сообщала своему мужу в Ставку 25 июня 1915 г., что в обществе Николая Николаевича называют вторым императором, «который во все вмешивается»[1]. Позже она оправдывала смещение Николая Николаевича с поста верховного главнокомандующего тем, что он «действовал неправильно» по отношению к царю и своей стране, подозревая его в предательстве и связях с думской оппозицией[2]. Несмотря на перевод Николая Николаевича на Кавказ, он сохранял популярность в обществе и его портреты публиковались в «Летописи войны» вплоть до 18 февраля 1917 г., в то время как портреты Николая II после 26 ноября 1916 г. в журнале не появлялись. По количеству напечатанных в «Летописи войны» портретов (27) великий князь уступал только Николаю II (115) и царевичу Алексею (41, включая и те, где тот был запечатлен с отцом).

Демократическая стратегия репрезентации предусматривала запечатление встреч царя с простым народом. Фотохроника фиксировала не только посещение членами императорской семьи военных лазаретов, но и общение государя с крестьянами (ил. 154, 155). Однако в условиях начавшегося падения авторитета самодержавной власти это приводило к неожиданным интерпретациям[3].

[1] Письма Александры Федоровны. Т. 1. Берлин, 1922. С. 156.

[2] Там же. С. 160.

[3] Более подробно о высказываниях крестьян в адрес членов императорской семьи см.: *Аксенов В. Б.* Война и власть в массовом сознании крестьян в 1914–1917 гг.: архетипы, слухи, интерпретации // Российская история. № 4. 2012. С. 137–145.



Ил. 155. Николай II беседует с лесником при встрече на прогулке в окрестностях Царской ставки. Август 1915 г. // Летопись войны. 1916. № 99

Глядя на портреты императора, крестьяне нередко сравнивали внешность царя с внешностью односельчан и в условиях общего критического отношения к власти проводили сопоставления не в пользу Николая II: «Наш-то государь император дурак, у него и рожа-то, если посмотреть, так похожа на Ельку Абрамовского (местный дурачок-пропойца. — *В.А.*)», «Он ничего не понимает, не может править этим делом на войне, государь наш — Акимиха (местная умственно отсталая крестьянка. — *В.А.*)»[1]. Доставалось не только изображениям царя, но и членам его семьи. 20 апреля 1915 г. в Киеве 25-летний крестьянин Орловской губернии Иван Захаров, рассматривая показанный ему знакомой девицей портрет великой княжны Татьяны Николаевны, произнес: «Какая она дочь государя! Она такая же … (брань) как и ты!»[2]

Кроме сравнений внешности царя с внешностью Николая Николаевича и односельчан, крестьяне сопоставляли Николая II с его главным внешнеполитическим соперником Вильгельмом II и в этом случае сравнение опять оказывалось не в пользу русского императора. 20-летняя крестьянка Евгения Урсини в феврале 1916 г. гадала по портрету государя об исходе войны: «Вряд ли Россия победит Германию, потому что у России нет снарядов, а также по наружности наш русский государь выглядит против Вильгельма мужик — мужиком»[3]. Последнее обвинение приводит к мысли о парадоксе: мужики и бабы ругают

1 РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 61, 102.
2 Там же. Л. 519 об.
3 Там же. Л. 180.

императора за мужиковатость. В сказочном фольклоре простота Ивана-дурака нередко помогала ему справиться и с чертом, и с хитрым царем и самому занять место на троне, однако царям по рождению предписывалась сакральная мудрость.

По воспоминаниям сестры милосердия С. Федорченко, солдаты из крестьян обсуждали изменившуюся стратегию царской авторепрезентации: «За стенами в красных палатах жили, народу царя словно икону показывали. Так на нем ни пятнышка не приметить было. А теперь война-то его под самый нос подсунула: на, мол, крестьяне, смотри, что это за чучелок воробьиный ото всякого ветру рукавом машет. А куда нам такой?»[1]

Вместе с тем позитивная визуальная репрезентация «своего» императора предполагала негативную репрезентацию «чужого», что также было встречено неоднозначно. Особенно это касалось жителей западных губерний. Так, в ноябре 1915 г. латышская крестьянка, разглядывая висевший на стене известный сатирический лубок «Дракон заморский и витязь русский», где русский витязь со щитом и мечом поражает трехголового дракона с человеческими головами германского императора Вильгельма, австрийского Франца Иосифа и турецкого султана, сказала: «Напрасно Вильгельма рисуют таким, он не такой, а умный, красивый, образованный, из его страны выходят всякие фабриканты, а вот наш Николашка — дурачок»[2]. Крестьянин-колонист Самарской губернии в последних числах декабря 1914 г., рассматривая с другими крестьянами календарь с изображениями царствующих особ разных государств, указывая на портрет германского императора Вильгельма, сказал: «Этого я бы чайком напоил», — а как дошел до изображения Николая II, произнес: «а этому бы я выколол глаза» — и тут же шилом проколол на изображении один глаз[3]. Крестьянин Виленской губернии Бронислав Насуро признался в ноябре 1914 г.: «У нас были портреты государей, а своему государю на портрете выколол глаза»[4].

Следует заметить, что крестьяне развешивали портреты не только Николая II, но и иностранных государей. Императорский портрет в избе совсем нельзя считать знаком политической лояльности или преданности короне, прежде всего это был признак формировавшейся в быту новой визуальной традиции. Причем в годы Первой мировой войны из развешанных на стенах изображений глав государств часто критика раздавалась именно в адрес «своего» императора. Крестьянка Харьковской губернии Мария Радченко, проводив 18 августа 1915 г. на войну мужа, придя в дом соседей, принялась рыдать и, увидев на стене портреты государей, сказала: «Что вы этими чертями красуетесь?» Когда ей сделали замечание, что среди портретов есть и портрет

---

[1] *Федорченко С.З.* Народ на войне. М., 1990. С. 84.

[2] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 203.

[3] Там же. Л. 219.

[4] Там же. Л. 214 об.



Ил. 156. Августейшие братья по оружию: Николай II, Георг V, Альберт I // Нива. 1914. № 34

Николая II, она сказала: «А что же? И наш государь тоже черт, берет только людей и губит их на войне»[1].

Вместе с тем, если Николай II в плане представительной внешности уступал своему дяде и, возможно, германскому императору, то это вполне можно было «исправить» репрезентацией, направленной на сопоставление российского и британского монархов: Николай II и Георг V, приходившиеся друг другу двоюродными братьями, были очень похожи (ил. 156). Их портреты публиковались как до, так и во время войны, в частности в августовском номере журнала «Нива» за 1914 г. Однако репортажная хроника, принижавшая статус самодержца, вызывала больше доверия в глазах подданных империи, нежели постановочные парадные портреты, в результате чего в крестьянской среде зрели представления о «низкой» природе российского самодержца.

Появлялись также слухи о подмене царя или о его бегстве на автомобиле в Германию[2]. В последнем случае можно обнаружить определенную связь с фоторепортажной хроникой посещения императором фронта: было видно, что Николай часто ездил на автомобиле. Образ царя в автомобиле казался

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 274, 99 об.—100.

[2] Там же. Л. 99 об.—100.



Ил. 157. Принятие Николаем II рапорта перед автомобилем // Летопись войны. 1915. № 40

народу менее державным, чем традиционный образ царя на белом коне. Принятие рапорта верхом на коне в визуальном отношении являлось более торжественным актом, соответствующим статусу самодержца, нежели стоя у автомобиля перед лицом подчиненного (ил. 157).

В свое время Н.М. Карамзин, задавшись вопросом, почему москвичи начала XVII в. не приняли самозванца Г. Отрепьева,— который активно позиционировал себя в качестве народного царя, объявил политическую амнистию оппозиции, удвоил жалованье сановникам, вместе с солдатами участвовал в военных учениях, ходил по Москве без охраны и вообще вел себя исключительно демократично,— нашел тому очень точное объяснение: «Низость в государе противнее самой жестокости для народа»[1]. Стратегия демократической саморепрезентации царской власти приводила к профанации образа самодержавного правителя, делала последнего «низким».

Официальные царские портреты в присутственных местах, государственных и общественных учреждениях в ситуации усиливавшихся оппозиционных настроений периодически становились раздражающими стимулами и поводом для сопоставления царского лика с лицами известных общественных деятелей и политиков. Примечательно в связи с этим признание З.Н. Гиппиус, которая случайно во время собрания сопоставила лик Николая II с лицом А.Ф. Керенского в ноябре 1916 г.: «Керенский стоял не на кафедре, а вплотную за моим стулом, за длинным зеленым столом. Кафедра была за нашими спинами,

[1] *Карамзин Н.М.* История государства Российского в XII т. В 3 кн. Кн. 3. М., 2004. С. 532.



Ил. 158. Николай II и царевич Алексей // Летопись войны. 1916. № 119

а за кафедрой, на стене, висел громадный, во весь рост, портрет Николая II. В мое ручное зеркало попало лицо Керенского и, совсем рядом, — лицо Николая. Портрет очень недурной, видно похожий (не Серовский ли?). Эти два лица рядом, казавшиеся даже на одной плоскости, т. к. я смотрела в один глаз, — до такой степени заинтересовали меня своим гармоничным контрастом, своим интересным „аккордом", что я уже ничего и не слышала из речи Керенского. В самом деле, смотреть на эти два лица рядом — очень поучительно. Являются самые неожиданные мысли, — именно благодаря „аккорду", в котором, однако, все — вопящий диссонанс»[1].

М. Палеолог обращал внимание, что портреты русских императоров, развешанные во дворцах, клубах, театрах, общественных зданиях, представляли собой скучную и банальную иконографию. Вместе с тем французский посол отмечал, что в целом художники передавали характер портретируемого, и считал, что Николай II выделялся из всего царского чина своей простотой: «Александр I, с его элегантной фигурой, с выставленным вперед торсом, с его внешностью фата и странствующего рыцаря… Николай I, с напряженной осанкой, высокомерный и деспотичный… И Николай II, простоватый и застенчивый, словно просит, чтобы на него не смотрели»[2].

Демократическая репрезентация царской власти могла бы быть успешной лишь в том случае, если бы такой же демократической модернизации подверглась общественно-политическая жизнь империи. В условиях же, когда

---

[1] *Гиппиус З. Н.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 197.

[2] *Палеолог М.* Дневник посла. С. 522.

верховная власть продолжала себя мыслить в качестве самодержавной, но при этом пыталась создать демократический визуальный образ, общество ощущало исходившую от этой стратегии фальшь.

Власти игнорировали неприятие народом образа простого царя, продолжая «демократическую» традицию. В Летописи войны дважды был напечатан парный портрет императора и царевича, на котором оба были изображены в простой полевой форме, с одинокими, но почетными знаками отличия: орденом Св. Георгия IV степени у Николая и Георгиевской медалью IV степени у Алексея (ил. 158). Формальным поводом вручения этих желанных для всех солдат наград была царская инспекция армий Юго-Западного фронта, проходившая в зоне артиллерийского огня австрийской армии.

В воскресенье 25 октября 1915 г. Николай II записал в дневнике: «Незабвенный для меня день получения Георгиевского Креста 4-й степ… В 2 часа принял Толю Барятинского, приехавшего по поручению Н. И. Иванова с письменным изложением ходатайства Георгиевской думы Юго-Западного фронта о том, чтобы я возложил на себя дорогой белый крест! Целый день после этого ходил как в чаду… Все наши люди трогательно радовались и целовали в плечо»[1].

В народе неоднозначно восприняли известие о награждении Романовых этими почетными военными наградами. Проливавшие свою кровь на войне и вернувшиеся после ранений домой солдаты с возмущением комментировали газетные сообщения о награждениях, сопровождая их бранью в адрес самодержца. Так, крестьянин Рязанской губернии Герасим Овсянников в октябре 1915 г. в грубой форме высказал мысль, что не успел царевич родиться, «а уж на него вешают медали»[2]. Другой крестьянин на Балтийском вокзале Петрограда вопрошал прохожих: «За что нашему государю повесили георгиевский крест?»[3] Собственно говоря, сам Николай II из 24 наград только две (Владимирский и Георгиевский кресты низших степеней) получил за «заслуги», а остальные носили «статусный» характер, большинство было даровано ему еще при крещении. Поэтому отношение народа к царским орденам было довольно скептическим, и акцент в репрезентации образа монарха на его военных наградах не достигал намеченной цели. В. М. Пуришкевич вспоминал, что в 1916 г. молодые солдаты-семеновцы на улице столицы громко шутили: «Царь с Егорием, а царица с Григорием»[4]. Эта шутка стала крылатой, и в конце концов в кинотеатрах Петрограда было запрещено демонстрировать кадры кинохроники, запечатлевшие награждение императора крестом, в связи с тем, что в зрительном зале всегда находился «шутник», громко повторявший эти

[1] Дневники императора Николая II. Т. II. 1905–1917. М., 2007.
[2] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 279 об.
[3] Там же. Л. 58.
[4] Дневник члена Государственной Думы В. М. Пуришкевича. Рига, 1924. С. 49.

слова под общий хохот. Дискредитировавшие императора и его семью слухи стали в 1916 г. частью публичного пространства.

Также не достигали цели фотографии, посвященные гуманитарной деятельности членов императорской семьи. В «Летописи войны» публиковались кадры работы императрицы и двух ее старших дочерей сестрами милосердия в лазаретах, в организации по сбору и отправке гуманитарной помощи на фронт, однако в народной массе в силу неприятия демократической концепции царской власти, а также на фоне развивавшейся в обществе шпиономании, затрагивавшей и императрицу-немку, зрели подозрения относительно иных мотивов этой работы. В деревне ходили слухи, что царица отправляла в Германию собранные по пожертвованиям средства, а также устраивала взрывы на военных складах как в России, так и в союзных странах, а лазареты строила и вовсе для разврата[1]. Не было среди крестьян доверия и к царским постановочным семейным портретам, акцентировавшим внимание зрителя на простоте и скромности.

Разочарование в царе, подкреплявшееся традицией демократической визуальной репрезентации, приводило к внутреннему отречению народа от своего монарха, что выливалось в коллаборационистские настроения и угрозы убийством[2]. Можно лишь гадать о том, насколько далеко могли зайти угрозы простых людей в адрес царя в реальности, однако изобразительная традиция и тут играла негативную роль, способствуя усилению антимонархических настроений. Уже упоминалось, что визуальное мышление крестьян во многом формировалось под влиянием христианского догмата об иконопочитании, подразумевавшего возможность воздействия через образ святого, его иконографическое изображение, на первообраз, т. е. самого изображенного. В результате изображение императора выступало объектом вымещения злобы, ненавидевшие самодержца сельские жители ругали царя, глядя на его портреты, а некоторые совершали нечто наподобие мистического ритуала насылания порчи, протыкая императору глаза, произнося матерные проклятия и обрызгивая изображение кровью.

Помимо устных проклятий, совершались символические жесты в отношении царских изображений. В правление Николая II начали тиражироваться визуальные образы самодержца и членов его семьи, они публиковались в иллюстрированных журналах, продавались в городских лавках[3]. В домах крестьян можно было встретить висевшие на стенах царские портреты. Однако

---

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 90 об., 92.

[2] Там же. Л. 38—38 об., 141, 178.

[3] О визуальных стратегиях саморепрезентации верховной власти см.: *Уортман Р.* Сценарии власти. Мифы и церемониал русской монархии. Т. 1. М., 2000; *Григорьев С. И.* Придворная цензура и образ верховной власти (1831–1917). СПб., 2007; *Колоницкий Б. И.* «Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М., 2010; *Аксенов В. Б.* Царь в кривом зеркале. Образы монарха и их народная интерпретация в 1914–1917 гг. // Родина. 2014. № 11. С. 31–34.

в минуты гнева крестьяне нередко вымещали на них свою ненависть, выкалывая глаза на ликах царствующих особ[1]. Были случаи, когда деревенские жители били портреты палками, кидали на пол, плевали на них и топтали ногами, крестообразно разрезали грудь изображенному, а горожане стреляли в царские портреты из револьверов[2]. Для придания бранной речи большей экспрессивности и, в первую очередь, наглядности часто по адресу царских портретов крестьяне совершали неприличные жесты и действия: мужчины обнажали половые органы, тыкая ими в лики царственных особ, женщины задирали юбки, поворачиваясь задом к портретам, бросали их в печь[3]. В деревне слово, подкрепленное жестом, считалось особенно вызывающей грубостью[4]. Во времена зарождения устной речи каждое слово требовалось сопровождать жестом, подобные традиции сохранились в патриархальном укладе российской деревни во многом благодаря архаике матерного языка. М.М. Бахтин рассматривал единство слова и жеста в контексте рождения знака-образа, как вполне закономерное и соответствующее карнавальному поведению явление[5]. Вербальный и невербальный знак вступали во взаимодействие, порождали новый смысл, значение которого было шире семантики составляющих компонентов.

В одном из протоколов описывался случай, произошедший 2 февраля 1915 г.: «Анна Жирохова, крестьянка Вологодской губернии, 38 лет, во время ссоры с местными крестьянами по поводу бревен кричала: „… ваш закон, Корону и Государя“, потом, подняв подол платья и хлопая ладонью по детородным частям, кричала: „вот вам закон, корона, государь, все тут“»[6]. Нередко подобные действия производились непосредственно перед портретами царствовавших особ. Так, 14-летний Саша Савин, отца которого призвали на фронт, ругая императора «прохвостом», встал на стул «и, вынув свой половой член, ткнул им в лицо его величества и его высочества со словами: „вот вам“»[7]. Подобное поведение также может быть рассмотрено в контексте архетипов первобытного мышления, сохранившихся в крестьянском массовом сознании, которое ставило «знак семантического равенства и между речью и действием»[8].

В августе 1915 г. в поселке Орловском Томского уезда в доме Власия Романчука собрались на ужин поденщицы. Присутствовавший неизвестный немой, взяв с полки календарь с изображением на обложке государя императора и указывая на изображение, произнес «пу-пу-пу», что, по объяснению

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 465 об. — 466.

[2] Там же. Л. 46 об., 232, 350.

[3] Там же. Л. 361, 366 об.

[4] *Буров Я.* Деревня на переломе. М.; Л., 1926. С. 186.

[5] *Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. С. 83.

[6] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 366 об.

[7] Там же. Л. 361.

[8] *Фрейденберг О.М.* Поэтика сюжета и жанра… С. 112.

Романчука, означало «нужно государя взять на войну и убить». Когда же после этого поденщица Ионова, упрекнув немого за его жест, взяла календарь в руки и поцеловала изображение государя, Романчук, вырвав календарь из рук Ионовой, приложил изображение к своему заду и сказал: «Надо им жопу подтирать, а не целовать», за что был привлечен по статье 103[1].

Конечно, утверждать, что у всех крестьян образы императора вызывали одни и те же чувства и реакции, нельзя. Многие по привычке целовали царские портреты, кто-то даже крестился на них, период войны поднял спрос на изображения Николая II. Однако, с другой стороны, и развешивание портретов в своих домах не свидетельствовало о преданности государю и глубоких монархических чувствах российских подданных, как не свидетельствовала об этом закупка августейших портретов владельцами магазинов. Крестьянин Лифляндской губернии Рихард Треман, владелец писчебумажного магазина, предлагая купить портрет Николая Николаевича, спросил покупателя: «Не правда ли, он на дурака похож?»[2] В первую очередь развешивание портретов в частных домах необходимо воспринимать в качестве определенного ритуального действия, как элемент традиционной повседневной культуры. Нарушение же традиционных практик являлось признаком просыпавшегося бунтарства, в котором архаичные, стихийные мотивы соседствовали со стремлением рационального понимания вины верховной власти. Крестьянин Томской губернии Петр Маклаков 20 ноября 1914 г. в селе Ново-Чемровском, придя в столярную мастерскую почитать газеты и услышав, как Андрианов просит своего зятя вставить в рамку и застеклить полученный по почте портрет государя императора, громко сказал: «Его … не застеклить, а облить керосином и сжечь надо. Да его самого-то … убить надо, чтобы не мучить крестьян и солдат… Государя надо выбирать из высших людей, на несколько лет, как выбирают старост»[3].

Визуальная царская саморепрезентация в условиях роста социальных конфликтов порождала новые способы сведения личных счетов, когда царское изображение становилось инструментом наказания оппонента. Некоторые крестьяне носили с собой солдатские памятки с изображением императора. Во время разгоревшейся ссоры, когда оппонент терял над собой контроль, можно было достать памятку и попросить визави перестать ругаться перед царским изображением, на что, как правило, следовала еще более сильная ругань. Такой прием, например, был применен в ссоре двух односельчан села Натальино Самарской губернии 25 сентября 1915 г.[4]

С большой вероятностью привлечением по статье 103 заканчивались споры крестьян и мещан с чиновниками в присутственных местах, где висели портреты.

---

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 134.

[2] Там же. Л. 151.

[3] Там же. Л. 133.

[4] Там же. Л. 141.

26 января 1915 г. московский мещанин Александр Воробьев, 20 лет, зашел вечером в канцелярию полицейского надзирателя Ново-Александровской слободы города Рязани, не сняв шапки. Находившийся в канцелярии письмоводитель заметил, что Воробьев зашел в присутственное место, где находятся портрет государя императора и образ. В ответ на это Воробьев, указав пальцем на портрет государя императора, сказал: «Этот мне не нужен», затем, указав на икону Спасителя, произнес: «а это — пожалуй» и очень неохотно снял шапку. На дознании Воробьев не отрицал, что произнес приведенные выше слова, объяснив, что портрета государя императора он не рассмотрел, так как письмоводитель заслонил его собой и, кроме того, ему ударял в глаза свет висевшей в канцелярии электрической лампочки; не рассмотрев хорошо, он подумал, что это портрет какого-нибудь должностного лица. 6 июня 1915 г. Воробьев был призван на военную службу и помещен под надзор военного начальства[1]. Крестьянин Киевской губернии Никифор Бреус, 20 лет, незадолго до этого зачисленный в 27-й пехотный запасной батальон, в феврале 1915 г., находясь в нетрезвом состоянии, зашел в сельскую управу села Селище и, подойдя к висевшему портрету государя, ударил по нему палкой, грубо выругался и сказал: «За что я иду за тебя служить»[2].

Вероятно, самой серьезной из допущенных репрезентационных ошибок стало уже упоминавшееся решение властей об удовлетворении «разменного голода» выпуском соответствующих марок. 30 сентября 1915 г. согласно распоряжению министра финансов в оборот были выпущены вместо исчезнувших из обращения серебряных монет разменные марки в 10, 15 и 20 копеек. За основу взяли известную юбилейную Романовскую серию почтовых марок, выпущенную в 1913 г., только теперь их печатали на более плотной бумаге. На лицевой стороне изображались портреты императоров: Николай II (10 копеек), Николай I (15 копеек) и Александр I (20 копеек). В 1913 г. выпуск марок сопровождался казусами в почтовых отделениях: некоторые почтовые чиновники первое время не решались штемпелевать эти марки, боясь «замарать царский портрет», что в соответствии со статьей 103 Уголовного уложения весьма строго наказывалось[3]. В 1915 г. также не все шло гладко: мелкие марки были неудобны, терялись, часто липли к рукам. Глядя на 10-копеечного императора, обыватели шутили: «Что-то цари нынче дешевы стали», — а хозяйки, расплачиваясь неудобными разменными марками, иногда в сердцах плевали на императорский портрет. В обоих случаях следовало обвинение в нарушении статьи 103. 2 декабря 1915 г. 22-летняя крестьянка Ульяна Тужилкина, зайдя за покупками в мелочную лавку в г. Покрове Владимирской губернии и получив сдачу рваными и грязными марками, в присутствии нескольких лиц сказала: «Этими марками царю бы

1 Там же. Л. 127—129 об.

2 Там же. Л. 46 об.

3 См.: *Ольденбург С.С.* Царствование императора Николая II. Т. 2. Думская монархия. Мюнхен, 1949.

глаза залепить». На допросе обвиняемая объяснила, что в день происшествия привезли домой ее раненного на войне мужа и потому она была «растерянная какая-то и голова не работала». В лавку она пришла иззябшая — пальцы на руках окоченели, и она никак не могла захватить ими марки[1].

Тем самым царские изображения в условиях роста социальной напряженности сами по себе становились сильным раздражающим стимулом и вызывали агрессию подданных даже в тех случаях, когда они могли и не питать личной неприязни к изображенному. В других случаях осознанная ненависть к царю выливалась в некие жесты и действия в отношении портретов в ритуально-мистических формах. В полицейских донесениях отмечалось, что иногда изображения царских особ забрызгивались кровью при совершении неких обрядов[2]. Как уже отмечалось, характерным способом символического вымещения злобы на императора было вырезание глаз на его портрете. Лишенный всех прав состояния сын купца города Минска Лев Михаленко в ноябре 1915 г. в г. Пржевальске Семиреченской области, будучи в нетрезвом виде и разговаривая с товарищами о войне, подошел к висевшему на стене портрету, на коем были изображены государи и правители всех стран, перочинным ножом проколол глаза на изображении государя императора и крестообразно разрезал грудь, произнеся при этом площадную брань[3].

В других случаях обвиняемые по статье 103 не совершали ритуалов проклятия, а просто высмеивали царя через его изображение. Так, в квартире крестьянина Лифляндской губернии Георгия Торка, проживавшего в Сыр-Дарьинской области, было обнаружено на стене несколько портретов императора, императрицы, царевича, а также всей царской семьи. На одном из портретов государыни на раму были надеты штаны Торка, которые были застегнуты и служили как бы продолжением от пояса фигуры государыни. На другом портрете императрицы части тела были подписаны разными словами, например «мандавошка», «молотилка», «локомотив» и др., на лбу портрета была наклеена сорванная со спичечной коробки надпись «фабрика», на волосах и около правого уха — четыре дыры от гвоздей. На портрете августейшей семьи на груди государя написано «тиски» и «шраубшток», на паспарту портрета намазан чернилами и обведен пером восьмиконечный могильный крест; на копии такого же портрета приколота иглой вырезанная картина скачущей без всадника лошади, спина лошади замазана под цвет фона фотографии, так что создается впечатление, что вся царская семья посажена на эту лошадь; к открытому письму с изображением их величеств и наследника цесаревича приколота иглой вырезанная картинка околелой лошади[4].

---

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 25—25 об.
[2] Там же. Л. 114.
[3] Там же. Л. 232.
[4] Там же. Л. 192—192 об.

О массовой распространенности подобных действий над царскими портретами говорит тот факт, что иногда крестьяне даже в присутственных местах без видимого повода совершали с изображениями оскорбительные акты. Крестьянин Томской губернии Федор Аренштам, находясь в сельском управлении, приставил к портрету императора папиросу и сказал: «Смотрите, он курит и дым в нос пускает»[1].

Таким образом, выбранная властями стратегия репрезентации царского образа, соответствовавшая документальной природе военного фоторепортажа, вступила в противоречие с символическим визуальным мышлением крестьянства, которому ближе был традиционный облик самодержца-царя. Первая мировая война, воспринимавшаяся в народе в контексте эсхатологических ожиданий, поставила проблему ответственности царя за невзгоды, которые со временем начинали интерпретироваться в качестве божьей кары за царские прегрешения. Детали документальной фотохроники рассматривались народом в качестве знаков-индексов профанности самодержца и приводили к развитию коллаборационистских настроений, предусматривавших убийство императора, что, в частности, выразилось в совершении над царскими портретами мистического ритуала проклятия. Усугубляло ситуацию расхождение выбранной демократической стратегии саморепрезентации с самоидентификацией Николая II в качестве самодержавного монарха. В результате Николай II переставал быть сакральным символом, индексальные знаки его профанности, подчеркнутые документальной фотографией, рушили сложившиеся традиции. Этот символический конфликт стал одним из проявлений противоречий архаики и модерна, который в политической системе сказывался в столкновениях официальной власти и общественных организаций, исполнительной и законодательной ветвей власти империи.

Народ как антигерой: десакрализация образов русских воинов и сестер милосердия на фоне патриотической пропаганды

Патриотическая пропаганда строилась не на одних только идеях защиты таких абстрактных для человека из народа категорий, как отечество, царь, славянство. Она предполагала создание героико-символической системы, которая должна была моделировать стратегии патриотического поведения народа, выполнять роль некоего образца для подражания. Главными героями этой позитивной пропаганды становились выходцы из народа — рядовые воины и сестры милосердия (не случайно эти два образа как олицетворение современной России выбрал М.В. Нестеров для своей знаковой картины «Душа народа»). Однако реалии фронтовой повседневности вступали в противоречие

[1] Там же. Л. 187.

с создававшимися в официальной печати «гламурными» образами, и метафора союза солдата и медсестры как символов общенационального единения со временем начала обрастать совсем не героическими подробностями.

В соответствии со стратегией противопоставления «своих» и «чужих» русские солдаты автоматически освобождались от всех ярлыков, навешанных на врага. Если немцев считали варварами, новыми гуннами, насильниками и убийцами, то русские солдаты в патриотической пропаганде выглядели как хранители нравственности, защитники угнетенных, женщин и детей. Этому способствовала и официальная символическая риторика, использовавшая словосочетание «святое воинство», употреблявшееся в царских манифестах, выступлениях представителей церкви, политической публицистике. Однако ставка на сакрализацию русского воина, которая в визуальной пропаганде была выражена образом Св. Георгия, противоречила реалиям войны, сбивавшей морально-нравственные ориентиры.

Другой навязываемой оппозицией в описании «своих» и «чужих» была оппозиция «смельчак» — «трус». В первые месяцы войны, учитывая, что славянские народы в составе австро-венгерской армии охотно сдавались в плен, казалось, что эта схема работает. В действительности, как показывают современные исследования, Первая мировая война, задействовавшая невиданную ранее на полях сражений военную технику, изменила не только тактику и стратегию воюющих армий, но и моральный дух солдат. Я. Плампер обращает внимание, что русская военная школа благодаря теоретическим разработкам генерала М. Драгомирова основывалась на профилактике и преодолении страха при столкновении с противником лицом к лицу во время штыковых атак. Плампер полагает, что русское военное искусство выгодно отличало русского солдата от западного тем, что позволяло «высвобождать и снова брать под контроль свою агрессию без употребления современного огнестрельного оружия и теми способами, которые ставили его выше декаденствующего западного солдата. Эта доктрина вылилась в формулу „штыки вместо пуль“»[1]. Однако эта система дала сбой, когда смерть посыпалась на солдат сверху артиллерийскими и аэроплановыми обстрелами, пулеметным огнем, газовыми атаками. Выяснилось, что даже бывалые солдаты оказались психологически неподготовленными к боевым действиям в новых условиях. Страх стал доминирующей эмоцией во всех армиях, и, вероятно, историю Первой мировой войны следует описывать не как историю геройства, а как историю страха (и попыток, успешных и безуспешных, его преодоления) — естественного защитного инстинкта в экстремальных условиях. Вместе с тем обвинять в трусости подавляющее большинство солдат было бы неверно по нескольким причинам:

[1] *Плампер Я.* Страх в русской армии в 1878–1917 гг.: к истории медиализации одной эмоции // Опыт мировых войн в истории России… С. 456.

во-первых, по сравнению с мирным временем сдвигаются границы «трусости», во-вторых, человек достаточно быстро адаптируется к новым условиям выживания и перенимает у коллектива те формы поведения, которые ведут его к выживанию, в-третьих, формы героизма в ряде случаев оказывались обычными аффектами, к доблести не имеющими никакого отношения, в-четвертых, сам «страх» нередко оказывался посттравматическим стрессовым расстройством.

Солдаты вспоминали, что каждый приказ о наступлении менял настроение к худшему, люди мрачнели, меньше разговаривали и о чем-то думали про себя[1]. Некоторые впоследствии признавались, что были плохими вояками, толком не умели стрелять, а если оказывались в окружении, то вместо попыток выбраться из него, чтобы не злить немцев, сдавались. Крестьянин Иван Юров вспоминал эпизод, закончившийся для него пленом: «Выглянув из окопа, я увидел, что к нам движется цепь немцев, и пулеметы с собой тащат. Тут подбегает к нам наш ротный. „Ребята, — говорит, — не открывайте по немцам огонь, зря только себя погубим, они разозлятся, не оставят никого живым“. Я ему ответил: „Будьте спокойны, ваше благородие, мы такой глупости не сделаем“»[2]. 15 апреля 1915 г., вероятно, под впечатлением известий о пасхальных братаниях, был высочайше утвержден закон о лишении семей добровольно сдавшихся в плен солдат пайков, а также о «широком осведомлении населения о позорном поступке»[3]. Но практика продолжалась.

Медсестры вспоминали, что между солдатами, с одной стороны, и добровольцами и офицерами, с другой, были некоторые различия в готовности к смерти. Х.Д. Семина отмечала, что не помнила, чтобы «раненый простой человек, чувствуя приближение смерти, говорил, что он хочет жить; что ему тяжело и не хочется умирать… Но мне приходилось слышать офицеров, которые умирали от ран. — Не хочу умирать, сестра! Я не хочу умирать! Не хочу! Я жить хочу!»[4] При этом добровольцы, оказавшись на передовой, часто просились назад домой, прочь из армии, аргументируя это тем, что раз они добровольно пришли, то могут также свободно и уйти. Вероятно, психологические различия солдат и офицеров объяснялись фаталистической покорностью первых, воспринявших мобилизацию как неизбежную повинность, и чувством патриотического долга вторых, который довольно быстро выветривался в условиях реальной, а не сконструированной патриотической пропагандой войны. А.Б. Асташов обращает внимание, что рядовые солдаты, как правило, не боялись смерти, но были в ужасе от самой обстановки войны[5]. Можно

---

[1] *Юров И.* История моей жизни… С. 176.

[2] Там же. С. 178.

[3] Приказы начальника Штаба Верховного главнокомандующего за 1915 год. № 1–423. 6 сентября — 31 декабря. [Б. м.], 1915. № 63.

[4] *Семина Х.Д.* Записки сестры милосердия… С. 173.

[5] *Асташов А.Б.* Русский фронт… С. 373.

предположить, что обученные молодые офицеры, наоборот, были лучше подготовлены к ужасам военного времени, но острее воспринимали вероятность смерти. Свидетели фиксировали проявления трусости даже среди казаков, хотя именно их образ активнее всего тиражировался пропагандой в качестве образцового воина-героя. Медицинская сестра Семина со слов мужа-врача передавала панику среди пластунов при защите Сарыкамыша: «Скоро из переулка появились одиночные казаки, бежавшие с криком: „Спасайся кто может!“ Мы их всех задержали и старались успокоить. Спрашиваю: „Где ваше оружие?“ А они спорить стали со мной: „Да какое оружие, когда турки по пятам за нами бегут!“ Тут я их, как полагается, обложил по военному времени! Говорю им, что мы будем защищаться. Но они спорят и норовят удрать. Тогда я им пригрозил револьвером. Они моментально подчинились, сами сделали вылазку за брошенными винтовками и присоединились к нам»[1].

А. Б. Асташов отметил, что в письмах с фронта солдаты писали, что воевать может только «ненормальный человек»[2]. В военной психиатрии известно явление, когда солдат, успешно прошедший обучение, в условиях боя не может заставить себя выстрелить в живого человека — сказываются полученные в процессе социализации культурные коды. В США после Второй мировой войны были проведены опросы солдат, показавшие, что во время боя более 60% комбатантов даже не стреляли в сторону противника, менее 25% стреляли не целясь, и только 2% сознательно целились во врага. Психологи считают эти 2% психопатами, от которых часто и зависит исход боя. И. Юров вспоминал, как, стоя с сослуживцем в карауле, он обратил внимание, что часть немецкого окопа оказалась размыта водой и в нем виднелись немецкие солдаты. Его напарник прицелился и хотел выстрелить, но Юров его остановил: «Брось, Попов. Представь себе, что ты убьешь человека, которого, как и нас с тобой, забрали из дома насильно и у него, быть может, как и у нас с тобой, есть дети и они ждут его»[3].

Проблема трусости не ограничивается вопросами осознания патриотического долга или натренированности солдат к рукопашным схваткам — в первую очередь это психологическая проблема, и то, что со стороны кажется трусостью, на самом деле может являться психической травмой. Известны случаи, когда ранее рвавшиеся в бой комбатанты, получив ранение или в иной форме столкнувшись со смертью, приобретали посттравматическое стрессовое расстройство, не позволявшее им совершать определенные действия, связанные с риском для жизни. У некоторых солдат перед боем от страха случался паралич.

Избежавшие смерти солдаты рассказывали в тылу истории своего чудесного спасения, как бежали от немцев под градом пуль, побросав ружья[4].

---

[1] *Семина Х. Д.* Записки сестры милосердия… С. 216.

[2] *Асташов А. Б.* Русский фронт… С. 343.

[3] *Юров И.* История моей жизни… С. 172.

[4] *Городцов В. А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 315.

Патриотично-настроенные подданные возмущались этими историями, полагая, что у таких солдат нет чести, раз они не скрывают свою трусость, другие, наоборот, слушали с интересом.

Уже в августе 1914 г. в письмах солдат зазвучало разочарование тем духом, который царил в прифронтовой полосе. Немецкий историк Й. Радкау обратил внимание, что с потерей чувства физической незащищенности в армии стала распространяться неврастения[1]. Первая ее стадия, известная как гиперстеническая неврастения, характеризуется повышенной возбудимостью и раздражительностью, частыми формами немотивированной агрессии. Солдаты приводили примеры мародерства русской армии, жестокого обращения с мирными жителями, в том числе и с российскими подданными, что выходило за рамки норм поведения психически здорового человека мирного времени. Один из комбатантов писал в августе 1914 г. в Москву: «Стали мы похожи на зверей: немытые, обросшие, грязные и жестокие, жестокие без конца: все грабится, сжигается. Мирные жители (преимущественно евреи) в ужасе покидают свои дома, оставляя все грабежу. Вчера казаки даже торы не пощадили и рвали ее на части. Безумие!»[2] Большинство таких писем задерживалось военными цензорами, но какая-то часть передавалась через раненых, демобилизованных. Последние и сами рассказывали правду о том, что творится на фронте. Раненые офицеры в поездах говорили, что зверство к противнику — обычное дело на войне, одинаково характерное для русских и немцев[3]. В итоге довольно скоро сложились две картины войны — официальная и «народная», — которые вступали в противоречие друг с другом и дискредитировали власть в глазах обывателей. При этом дискредитации подвергался и создаваемый пропагандой образ русского воина. На фронте было мало общего с патриотическими картинами, которые описывались в газетах, восхваляя русское воинство как бодрое, полное желания идти в атаку. Крестьянин И. Юров, призванный по мобилизации, обращал внимание на расхождение официальной и народной картин войны: «Вообще мне ни разу не приходилось наблюдать того, о чем писали газеты: доблестные части рвутся в бой, в атаку идут с песнями, приказ о наступлении встречают радостно, песнями и пляской и т.п. Не знаю, где такие доблестные войска водились, а у нас каждый приказ о наступлении менял настроение к худшему, лица мрачнели, разговоры обрывались, каждый думал про себя тяжелую думу — долго ли еще суждено ему жить на белом свете»[4].

Несоответствие газетных сообщений действительности часто фигурировало в частных письмах. Прозорливые современники подмечали, что восторженность риторики официальных газет была прямо пропорциональна

---

[1] *Радкау Й.* Эпоха нервозности. Германия от Бисмарка до Гитлера. М., 2017. С. 420.

[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 994. Л. 1366.

[3] *Краузе Ф. О.* Письма с первой мировой… С. 90.

[4] *Юров И.* История моей жизни… С. 176.

неофициальным известиям о поражениях русских войск[1]. Сын сельского священника писал из Петрограда отцу в Тверскую губернию, передавая столичные разговоры в ноябре 1914 г.: «Пишут, что немцы грабят; наши же офицеры рассказывают, как приходится стрелять в своих же мародеров»[2]. Несмотря на существование запретов, мародерство было массовым явлением, офицеры часто закрывали на него глаза, а то и сами проводили «реквизиции». Тому было вполне понятное оправдание: «Не мы, так немцы возьмут. На то и война, чтобы брать»[3]. Психология фронтовой повседневности разрушала те нравственные барьеры, социальные нормы, которые существовали в мирной жизни. Если уж комбатант находил моральное оправдание тому, что солдаты ежедневно убивали себе подобных, то какой-то грабеж воспринимался вполне легитимным и даже необходимым в условиях военного времени явлением. «Сегодня убиваем мы, завтра убивают нас. В этом нет и не может быть ни принципов, ни морали, ни цели, ни границ… Мы — солдаты. Технические исполнители», — вспоминал монологи своих сослуживцев И. Зырянов[4]. О подобных признаниях русских солдат писала в своем дневнике в июле 1915 г. семнадцатилетняя гимназистка Н. Миротворская, замечая: «Сколько смут могут посеять в народе такие разговоры»[5].

Один из служащих медного завода под Варшавой, начальство которого бежало в город, а они с женой остались, рассказывал в январе 1915 г., как вели себя немцы и русские при переходе завода от одних к другим: «Пришли немцы, взяли десять лучших лошадей и отправились дальше, не заходя даже ко мне на квартиру… Во второй раз немцы явились 5 октября, забрали остальных лошадей, овес и сено, прогостили недельку, были очень любезны, за лошадей, овес и сено выдали удостоверения… Вообще немецкие офицеры вели себя в высшей степени корректно. Солдаты имели все свое и просили только дать посуду, причем при уходе все возвращалось и даже вымытое. Когда же подошло наше христолюбивое воинство, то пошло такое воровство, что мне самому теперь больно и стыдно за наши войска и за наших офицеров, которые на мои жалобы заявляли: „ну, что же поделать, на то война“. Особенно в этом отношении отличился один гусарский полк, солдаты которого взломали все замки и поколотили наших сторожей. Когда я одному офицеру сказал, что это не полк воинов, а полк воров (между прочим, офицеры стянули серебряные ложечки и мои галоши), то офицер закричал на меня: „Прошу не оскорблять полка, это полк ее императорского величества“»[6].

---

[1] *Городцов В. А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 73–74.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 967. Л. 152.
[3] *Арамилев В.* В дыму войны… С. 93.
[4] Там же. С. 77.
[5] Две тетради. Дневник Н. А. Миротворской… С. 63.
[6] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1003. Л. 16.

Любопытны свидетельства медсестры и жены врача Х.Д. Семиной, вспоминавшей, что когда они отступали из Сарыкамыша, надеясь вернуться, прятали под пол продукты не от турок, а от своих: «Свои-то уж, наверное, разграбят дочиста»[1]. Когда позднее она возвращалась на поезде в город, где недавно шли бои, то из вагона наблюдала горы трупов, с вывернутыми карманами, расстегнутыми штанами, босых и без верхней одежды. Семина предположила, что это дело рук турок, на что сидевший рядом чиновник возразил: «Ну, я это не думаю!.. Вернее всего, это дело рук наших солдат и казаков! Это наши занимались мародерством»[2]. В одном из писем с войны рассказывалось: «Я видел одного русского солдата, который занимался тем, что после битвы добивал раненых своих и австрийских и отбирал у них деньги и ценности… Когда его застал за этим делом другой солдат, он бросился на него, чтобы уничтожить единственного свидетеля»[3]. Мотивы такого поведения были различными: это и бедственное положение солдат, корыстный интерес «нажиться на войне», и, вероятно, психические сдвиги, которые случались с людьми, попавшими в экстремальные условия. Рост психических заболеваний фиксировали и военные врачи, и сами солдаты. Даже если человек и не сходил с ума в медицинском отношении, то его психологическое состояние было близко умопомешательству: «Дорогая Мама. Я если не сойду с ума так повешусь я не могу жить хуже как в тюрьме…» — писал домой в Херсон солдат 40-го пехотного запасного полка. «Кажется нам всем здесь, что мы уже мертвые души и ходим как угорелые от напряжения ума и сил. Частенько стало появляться душевно больных, да и не мудрено сойти с ума от такой жизни», — писал солдат домой в Самару. «Живется очень худо, крепко стонал, дошел до отчаяния и стал как сумасшедший», — описывал свое состояние другой рядовой[4].

Сами солдаты пытались объяснить мародерство голодом в частях: «Голод. Пайки урезали. Кашу дают почти без масла. Мародерство принимает угрожающий характер»[5]. Однако это была далеко не единственная причина, в ряде случаев мародерство объяснялось желанием получить военный трофей.

Чаще всего в мародерстве обвиняли казаков. Молодой военный врач Ф. Краузе, остановившийся на ночлег в частном доме во время отступления, утром обнаружил, что пока он спал, в дом пробрались казаки и перевернули его. Краузе даже с некоторым восхищением описал то, как «профессионально» они сработали: «Ночью в верхнее помещение пробрались казаки и к утру перерыли там все вверх дном… Но удивительно, с каким талантом казаки перерыли

[1] *Семина Х.Д.* Записки сестры милосердия… С. 119.
[2] Там же. С. 197.
[3] Письма с войны… С. 334–335.
[4] Там же. С. 528, 516, 523.
[5] *Арамилев В.* В дыму войны… С. 156.

этот хлам, даже шкаф с книгами весь распотрошили»[1]. Офицеры вспоминали, что если случайно на передовой попасть в расположение казачьей сотни, то можно всегда поесть мяса, «реквизированного» у местных: «Все всегда у них есть, у этих казаков! Говорят, что ждут не дождутся, когда можно будет пограбить»[2]. Мародерство казаков было направлено не только на провиант, но в ряде случаев имело форму обычного вандализма. Офицер-артиллерист И.С. Ильин вспоминал, как в одном из домов в разоренной наступавшей русской армией Галиции он наткнулся на прекрасный рояль, который был весь изрублен шашками. У него не было сомнений в том, что это сделали именно казаки[3]. Хотя чаще всего жестокость оправдывалась военным временем и преподносилась в качестве мести врагу, разгрому подвергались как свои деревни и местечки при отступлении, так и чужие при наступлении.

5 сентября 1915 г. на имя Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта поступило письмо крестьян-беженцев из села Киверцы Луцкого уезда Волынской губернии: «Ваше Высокопревосходительство! Мы, крестьяне села Киверцы Луцкого уезда, беженцы, имеем честь настоящим донести Вашему Высокопревосходительству на бесчинства и грабежи казаков, кои они проявляют над мирным населением в местах, где грозит нашествие неприятеля. Доносим Вам, что казаки в тысячу раз хуже грабят и издеваются над мирным населением. Они, въезжая в села, поголовно нагайками изгоняют все население из сел, лошадей заводят в дома и амбары, режут скот, бьют птицу, поджигают постройки, и все это делается без надобности, все хаты перерывают, все имущество выворачивают, ценные предметы забирают, везде и всюду ищут денег, нахальство и разнузданность их доходит до того, что они обыскивают крестьян, раздевая и снимая обувь, думая, что деньги у крестьянина лежат за голенищами или зашиты в складках платья. Все строения сжигаются дотла, и все это делают русские воины и над своим же населением; действия эти хуже в тысячу раз действий наших врагов, те, мы знаем по рассказам бежавших из неволи, не мародерствуют»[4]. Генерал А.А. Брусилов, получив письмо, отметил, что это далеко не первая жалоба, доходящая до него в адрес казаков, и поручил командирам корпусов сформировать сотни казаков-жандармов для пресечения мародерства.

Бесчинства военных властей при насильственной эвакуации местного населения, согласно воспоминаниям А.Н. Яхонтова, обсуждались 16 августа 1915 г. на секретном заседании Совета министров: «С общегосударственной точки зрения недопустимо поголовное выселение населения с уничтожением имущества и всеобщим разорением. К тому же производится грубо и с насилиями,

[1] *Краузе Ф.О.* Письма с первой мировой… С. 231.

[2] *Ильин И.С.* Скитания русского офицера. Дневник Иосифа Ильина. 1914–1920. М., 2016. С. 36.

[3] Там же. С. 86.

[4] РГВИА. Ф. 2754. Оп. 2. Д. 306. Л. 161.

вплоть до убийства карательными отрядами землевладельцев, отказывающихся покинуть усадьбу. Сжигание построек и урожая крайне раздражает, и крестьяне даже вооружаются, чтобы охранять свое имущество от уничтожения. Разрушаются фабрики и заводы с запасами сырья и продуктов, к вывозу которых мер никаких не принимается»[1]. Министр внутренних дел кн. Н.Б. Щербатов, ссылаясь на поступавшие к нему донесения, обвинял казаков в нравственном растлении (пьянстве, грабеже и разврате), указывал на практику совращения женщин-беженок, которых удерживали при себе во время походов для приятного времяпрепровождения[2]. Главноуправляющий землеустройством и земледелием А.В. Кривошеин характеризовал ситуацию в прифронтовой полосе как «массовый психоз»[3]. Председатель Совета министров И.Л. Горемыкин соглашался с тем, что «на фронте совсем теряют голову»[4].

Особенно «отличились» казаки в захваченной Галиции. «Путешествие по Галиции — одно горе: так все разорено, в таком все запустении, что на душе делается грустно. Все разрушено, все в полусожженном виде, и в этих развалинах живут полуголодные оборванные женщины с кучей таких же ребятишек… Стыдно сказать, на три четверти потрудились над этим наши казаки. И все в один голос говорят это, все от них в ужасе», — записал Ильин в феврале 1915 г.[5] Некоторые казаки открывали торговлю разворованным добром, продавали консервы, маринад, кетовую икру. Прапорщик Ф.А. Степун, оказавшийся в Галиции, описывал те же картины. Он также бóльшую часть ответственности за мародерство возлагал на казаков, считая их «профессиональными мародерами», но отмечал некоторую разницу между казаками и мобилизованными солдатами, полагая, что последние все же испытывали некоторые угрызения совести: «Лихая публика. Какие они вояки, щадят или не щадят они себя в бою, об этом мнения расходятся, я своего мнения пока еще не имею, но о том, что они профессиональные мародеры, и никого и ни за что не пощадят — об этом двух мнений быть не может. Впрочем, разница между казаками и солдатами заключается в этом отношении лишь в том, что казаки с чистой совестью тащат все: нужное и ненужное; а солдаты, испытывая все же некоторые угрызения совести, берут лишь нужные им вещи»[6]. Другой анонимный автор рисовал все те же сцены казачьих зверств на Западной

[1] *Яхонтов А.Н.* Тяжелые дни (Секретные заседания Совета министров 16 июля — 2 сентября 1915 года) // Архив русской революции. Т. XVIII. Берлин, 1926. С. 74.

[2] Там же.

[3] Впрочем, в первоначальных записях Яхонтова слова «общий психоз» адресовались думским настроениям, что же касается обсуждения проблемы с беженцами, то, при отсутствии расхождений с «Тяжелыми днями» по сути, в них нет уточнений, кто из министров что именно говорил (Совет министров Российской империи в годы Первой мировой войны. Бумаги А.Н. Яхонтова. СПб., 1999. С. 221).

[4] *Яхонтов А.Н.* Тяжелые дни… С. 74.

[5] *Ильин И.С.* Скитания русского офицера… С. 87.

[6] *Степун Ф.А.* Из писем прапорщика-артиллериста. Томск, 2000. С. 20.

Украине: «Побывал в Черновицах, Снятыне и Коломые. В последней был свидетелем грабежа квартир, магазинов и вообще ужасных сцен вплоть до убивания мирных жителей нашими казаками»[1].

Весьма показательно, что хотя патриотическая пропаганда использовала термины «варвар», «гунн» в отношении немцев, современники практически с самого начала войны начали их переадресовывать казакам. В одном из писем с фронта в сентябре 1914 г. солдат возмущался поведением последних, называя их гуннами: «Пришли мы сюда вчера под вечер. Первый уездный город. Жаль на него смотреть, так казаки его разграбили. Я вообще слыхал только легенду о казаках, но то, что увидел на самом деле, превосходит все писанное. Они берут что надо и не надо. В имении графа Тышкевича удивительно благоустроенном, с чудным парком, фруктовым садом, массой построек, прудами для разводки рыб, статуями, мостиками и т.п. они хозяйничали так, что больно глядеть. Все поломано, раскидано, мебель вспорота. Книги древней библиотеки разбросаны и разорваны… картины старых мастеров тоже изорваны… Эти господа — стыд русской армии… Это какие-то гунны»[2]. Правда, солдаты и к самим себе были критично настроены, признавая, что озверение коснулось всех родов войск, что также вызывало в воображении ориенталистские штампы: «Мы все здесь превратились в каких-то скифов. Обросли, вечно грязные, потеряли человеческую физиономию… Спишь в грязных сапогах на бархатном диване, а уходят офицеры — солдаты просто сдирают обивку с мебели себе на шапки»[3].

И. Зырянов приводил слова одного казака-ординарца с лихо зачесанным чубом, хваставшего особым положением казаков: «Мы, казаки, где пройдем походом, там никакой живности не останется — все разворуем и поедим. Мы, казаки — народ вольный. Нас даже куры боятся. Как увидят казака, сейчас захквохчут, точно оглашенные, и улепетывают куда-нибудь в куток. Удочкой теперь ловим, так в руки нипочем не даются»[4]. Справедливости ради нужно отметить, что тяга казаков к разбою была связана с тем, что, не являясь частью армии, при призыве они все снаряжение приобретали за свой счет. Поэтому неудивительно, что бедные казаки на войне пытались компенсировать свои траты на войну. Помимо имущественного расслоения казачества следует учитывать и традиционные отличия разных войск. Некоторые современники отмечали, что лучше всего служат уральские казаки-старообрядцы, а хуже всех — оренбуржцы: «Хуже остальных — оренбургские казаки… На грабеж они тоже мастера и их невозможно убедить, что этого делать нельзя»[5]. Некоторые

---

[1] Письма с войны… С. 437.

[2] Там же. С. 335.

[3] Там же. С. 344.

[4] *Арамилев В.* В дыму войны. С. 158.

[5] Письма с войны… С. 336.

современники объясняли склонность казаков к чрезмерной жестокости и вообще разного рода правонарушениям своеобразной психологической компенсацией за состояние повышенного стресса, так как на их долю приходились наиболее рискованные операции. Находясь в постоянно возбужденном состоянии, они оказывались в итоге первыми во всем: в бою и мародерстве. Солдаты обращали внимание на особую роль казаков в зоне боевых действий: «Видишь ли казаки в настоящую войну играют совершенно другую роль. Кто первый едет после пехотного боя для преследования неприятеля? Казаки. Кто грабит мирных жителей? Казаки. Кто насилует, убивает мирных жителей? Казаки и т. д.»[1]

Психологические различия казаков и солдат объясняются прежде всего довоенным опытом: первые росли в военизированной среде, сызмальства воспринимали военное дело как профессию, в результате чего мирное население и имущество оккупированных территорий считали платой за свою «работу», полагающимися им по праву войны трофеями. В обычном мирном населении казаки, чья довоенная повседневность отличалась от повседневности «гражданских» лиц, не видели себе подобных. Солдаты из крестьян, наоборот, в местных землепашцах, ремесленниках, торговцах нередко узнавали самих себя. Отсюда — более гуманное отношение к мирному населению. Тем не менее война, приучавшая человека убивать себе подобных, в конечном счете стирала различия между казаками и солдатами, здоровыми людьми и садистами-убийцами. Правда, хотя последних и не осуждали, но к ним сохранялось некоторое настороженное отношение.

Мародерство лишь отчасти носило рациональный характер и было связано с жаждой наживы, в целом оно относилось на счет проснувшихся архаичных инстинктов человека в условиях десоциализации личности. Поэтому рука об руку с воровством шли убийства и насилие над мирными жителями. В последнем также отличались казаки: «Опять жалобы на казаков. Говорят, что они не только грабили, но и насиловали всех женщин и девушек. Были случаи, что евреек выбрасывали из окон второго и третьего этажей… Это же слышал и от многих офицеров», — описывали в своих дневниках события в Галиции современники[2].

Особенную жестокость казаков современники отмечали в отношении еврейского населения: в этом плане казачество выступало симптомом имперских болезней России — великодержавного шовинизма, помноженного на спровоцированное войной всеобщее озлобление. Недостаток культуры казачьих масс являлся одним из катализирующих факторов. Один из офицеров писал в тыл в ноябре 1916 г., с одной стороны, явно осуждая действия казака, с другой — демонстрируя риторикой собственную ксенофобию: «Зашли в еврейскую хату, где

[1] Там же. С. 455.
[2] *Ильин И. С.* Скитания русского офицера… С. 90.

еврейку прошлую ночь казак было чуть не зарезал, отрубил ей нос, порезал руки, как она хваталась за кинжал, и в грудь, раны слабые — просил денег — отказала и он и стал ее резать, но на крик прибегли жиды — казак удрал, нас приняли ласково и было совестно за казака»[1]. Раненые солдаты в госпиталях не только бахвалились своими подвигами, но, бывало, признавались сестрам милосердия в минуты слабости: «Что я детей порченых здесь перевидел. Жиденка одного — так забыть не могу. Почитай, в час один его солдатня кругом осиротила. И матку забили, отца повесили, сестру замучили, надругались. И остался этот, не больше как восьми годков, и с им братишка грудной. Я его было поласковее, хлеба даю и по головенке норовлю погладить. А он взвизгнул, ровно упырь какой, и с тем голосом драла, бежать через что попало. Уж и с глаз сгинул, а долго еще слыхать было, как верезжал по-зверьи, с горя да сиротства…»[2]

Не завидным было положение австрийских женщин. Военнослужащий В. Тихомиров из 1-й батареи Заамурского конногорного дивизиона в составе Терской казачьей дивизии писал в Москву 1 августа 1915 г.: «Австрийские женщины роют нам окопы, днем нельзя, а роют ночью со слезами, идет страшное насилье среди солдат, что солдаты делают с этими женщинами, стыдно писать, на все это насилье жалко смотреть, кругом все воруют, женщин и девиц насилуют и это все наши солдаты, нисколько не лучше немцев. Странно, неужели начальство не видит, прямо не понимаю»[3]. В письме солдата домой в ноябре 1914 г. передавалось, что есть «масса рассказов», как на австрийской территории русские солдаты убивали мирных жителей. В одном случае убили мальчика 8–10 лет, который не мог сказать, где пасется скот, изнасиловали, а потом свернули шею девочке[4].

Конечно, насиловали женщин не одни казаки и не в одной Галиции. Доставалось и русским девушкам прифронтовой полосы. Один батальонный каптенармус рассуждал: «Грабят не каких-нибудь там косоглазых китайцев, о которых я имею самые смутные представления, а наших родных, русских мужиков, насилуют девок и баб, и, представьте себе, мне никого и ничего не жалко. Черт с ними со всеми! Война как война! Лес рубят — щепки летят!»[5] И. Зырянов приводил историю, как во время отступления в одном местечке была изнасилована несовершеннолетняя девочка. Ее истерзанная мать вся в слезах прибежала к ротному со своим горем. Ротный пытался выяснить, чего она от него хочет, но женщина только рыдала и ничего не могла ответить. Офицер рассуждал: «Сколько лет твоей дочери? Шестнадцать? Так. Ну, хорошо, предположим, соберу я их всех, подлецов, всю роту выстрою и всех

[1] Письма с войны… С. 623.
[2] *Федорченко С.З.* Народ на войне… С. 35.
[3] Письма с войны… С. 576.
[4] Там же. С. 346.
[5] *Арамилев В.* В дыму войны… С. 127.

заставлю расплачиваться… Ведь ста рублей не соберешь? Так иль нет? Под суд кого-то отдать? Можно. Но ведь опять-таки невинность и по суду не воротишь… На то и война, бабушка. Выезжать надо было отсюда в тыл. А то все равно не спасешься: не наши солдаты, так изнасилуют немцы, которые не сегодня — завтра будут здесь»[1]. Фронтовая повседневность коверкала психику комбатантов, поднимала порог морально дозволенного. Насилие, становившееся рутиной, обыденностью, заставляло солдат примиряться с ним: «Привычка — великое дело. Я теперь хорошо привык: ни своего, ни чужого страху больше не чую. Вот еще только детей не убивал. Однако, думаю, что и к тому привыкнуть можно», — откровенничали рядовые[2].

Массовые изнасилования «своих» и «чужих» женщин нельзя объяснить исключительно затянувшейся половой воздержанностью здоровых мужчин, тягой к сексу. В этих перверсивных практиках было больше тяги к насилию, удовлетворению не столько плоти, сколько извращенного, исковерканного войной духа. Вильгельм Райх полагал, что в патриархальном обществе традиции авторитарной семьи используют секс как инструмент властвования[3]. В нем удовольствие затмевается инстинктами оплодотворения и самореализации в качестве самца. На отдельных участках фронта изнасилования женщин, усиленные национальными стереотипами, восприятием иностранных подданных как представителей «низшей расы», приобретали характер массовой демонстрации своего этнического превосходства. Особенно тревожные известия приходили с Кавказа. Один из солдат 18-го кавказского стрелкового полка писал шурину в Самарскую губернию не позднее июля 1916 г.: «У нас здесь постоянный праздник. Водки и вина вдоволь, постоянно пьяны, ебем турчанок и армянок. Очень весело, но турки за это злятся, если попадется русский солдат в руки курдов, то они вырезывают хуй и кладут ему в рот, а язык вырезывают и всуют в жопу. А некоторые турчанки, чтобы их не ебали, серут себе друг друга в пизду и размазывают. Прямо безобразие. Ну ничего»[4]. Издевательства над женщинами превращали военное противостояние на участках Кавказского фронта в настоящую войну за этническое выживание местных народов. Впрочем, турки поступали не лучше в отношении армянских женщин и детей, вырезая их целыми семьями. Когда под Сарыкамышем в русский плен попало около четырехсот турецких солдат и офицеров, конвоировавшие их армяне перебили всех, мстя за резню в Ардагане[5].

Хотя информация о зверствах русских солдат начала появляться в частной корреспонденции с первых же месяцев войны, ситуация усугубилась после

---

[1] Там же. С. 94.

[2] *Федорченко С.З.* Народ на войне… С. 70–71.

[3] См.: *Райх В.* Психология масс и фашизм. СПб., 1997.

[4] Письма с войны… С. 605.

[5] *Семина Х.Д.* Записки сестры милосердия… С. 186.

того, как в 1916 г. начали призывать в войска уголовников-каторжан. Один из солдат писал в 1916 г.: «Пишут о немецких зверствах, грабежах, насилиях. Я сейчас больше, чем уверен, что мы, если и не превзошли их, то не уступаем им. У немцев зверство, говорят, в систему проведено. У нас оно бестолковое, как и все, но чисто азиатское… Волосы дыбом встают… А рожи у православных воинов — арестантские. Глядишь и не знаешь, кто раньше тебя штыком пырнет, свой брат или австриец»[1]. К слову сказать, вспыхивавшие в частях конфликты иногда заканчивались убийствами: обидчиков находили с простреленными головами, спинами так, как будто их убила шальная пуля, но возникали подозрения, что с ними расправлялись свои же. Так, Зырянов приводил рассказ об убийстве некоего фельдфебеля Табалюка: «Да, представь себе, убит и Табалюк. И, знаешь что — только не болтай об этом — странно так убит. Кажется, своими солдатами; его недолюбливали многие. Пошел в уборную оправиться, и там пуля настигла его. Прямо невероятно, как это могло случиться. Яма глубокая, голова идущего почти на аршин ниже уровня насыпи… Рикошетные пули редко убивают насмерть, она уже обессилевшая… Табалюку снесло пол черепа, мозги упали в уборную»[2]. Некоторые солдаты в письмах просили бога, чтобы тот послал смерть их командирам[3].

Случалось, что местные жители пытались защитить свое имущество от разграбления: давали отпор солдатам, ловили их с поличным и запирали в погреба. Однако при разбирательстве офицеры могли встать на сторону солдат и приговорить мирного жителя к расстрелу. Так, один старик запер двух солдат в погребе, когда те воровали его картошку, но утром, когда их часть собиралась двигаться дальше, забыл их отпустить. Во время разбирательства офицер, бывший в плохом расположении духа из-за вынужденного отступления армии, решил, что старик собирался дождаться прихода немцев и сдать им этих двух солдат в плен. Через несколько минут старик был расстрелян[4].

Законы военного времени делали недействительными нормы поведения мирной эпохи, судьба человека могла решиться в считанные минуты под воздействием какого-нибудь абсурдного, случайного фактора, будь то настроение вышестоящего по званию или того, у кого в данный момент в руках было оружие. В первую очередь в зоне риска оказывались военнопленные. Отношения последних с солдатами едва ли можно описать известными штампами: в некоторых случаях на пленных пытались выместить свою злость, в других — проявляли милосердие и сочувствие, ощущая некое чувство родства, братства. Тем не менее убить пленного могли просто из-за плохой погоды: «Погода была мерзкая. Свирестелкин пустил обоих пленников в расход», — писал

[1] Письма с войны… С. 437.
[2] *Арамилев В.* В дыму войны… С. 155.
[3] Письма с войны… С. 539.
[4] *Арамилев В.* В дыму войны… С. 121–122.

И. Зырянов[1]. Военный врач Ф. Краузе передавал услышанную от раненого историю: «Взяла наша рота в плен нескольких австрийцев, — ну ведут. Сначала молчим, потом там насчет табаку и все такое. Одним словом, разговорились. Ничего себе ребята. Тоже и им плохо приходится. Вдруг встречаем патруль казаков: „Кого там ведете?“ — „Австрийцев“. Ну, они выхватили шашки и тут же их всех перерубили»[2].

Жестокость по отношению к пленным проявлялась по обе стороны фронта и, как правило, являлась формой мести за какие-то предшествовавшие действия, нередко порожденные слухами. Случалось, что пленные спорили со своими конвоирами, кто первым начал проявлять необязательную жестокость. Разматывая клубок фактов и слухов, добирались до самых первых дней войны и здесь упирались в тупик: русские солдаты утверждали, что разгром Германского посольства в Петербурге 22 июля 1914 г. был спровоцирован известиями о расправах немцев над русскими туристами в Германии, немецкие и австрийские пленные убеждали, что эти расправы начались в качестве ответных действий на разгром посольства[3]. В действительности в стихийных проявлениях архаичных эмоций бессмысленно искать рациональное начало, выстраивать причинно-следственные связи, так как они носят характер аффектов, поводом к которым может стать любое ничтожное событие. Обыденная жестокость войны наводила офицеров на философские размышления, вскрывала противоречия официальной пропаганды, ставила под сомнение религиозные основания. «На помощь, чтобы успешнее убивать, люди призывают Бога, служат молебны, говорят громкие фразы о чести, праве, справедливости, прикрываются гуманностью и лицемерно сваливают вину за убийства один на другого. И очевидно же, что война — преступление, раз каждый старается оправдаться и прежде всего торопится заявить, что не он начал ее», — писал в дневнике офицер-артиллерист И. С. Ильин[4].

Вместе с тем, если рассмотреть претензии немецких и русских солдат друг к другу, можно обнаружить любопытные содержательные различия приводившихся примеров зверств, являвшихся следствием ментальных различий двух армий. А. Б. Асташов объясняет разницу во взглядах разным уровнем технической оснащенности воюющих сторон: «Важным было и то, что у каждого из противников был свой взгляд на „зверства врага“. Русские видели „зверства“ германской армии именно в методичном применении техники, особенном упорстве, „варварских“ приемах борьбы: газовых атаках, применении огнеметов. Немцы же видели „варварскую“ жестокость русских в нерациональном использовании живой силы: рукопашных и штыковых атаках, хождении „в лоб“

[1] Там же. С. 75.
[2] *Краузе Ф. О.* Письма с первой мировой… С. 80.
[3] Там же. С. 80.
[4] *Ильин И. С.* Скитания русского офицера… С. 35.

на пулеметы»[1]. Впрочем, тяготение к рукопашной схватке можно списать на несколько факторов: недостаточную техническую оснащенность, ставку на традиционную тактику ведения боя, на ментальные и культурные особенности воюющих народов. Наверное, не случайно, что помимо казаков в жестокости и мародерстве свои же солдаты обвиняли представителей кавказских народов. Солдат писал в октябре 1914 г.: «Дагестанцы страшно горячий народ, не признают другого ведения боя, как только рукопашную схватку, ну да и рубятся же они, это что-то особенное… Грабят дагестанцы тоже очень хорошо»[2].

Официальная печать игнорировала реалии военного времени, по законам которого и немцы, и русские демонстрировали одинаковую жестокость к мирному населению, и продолжала пропагандировать образы немца-варвара и русского святого воина. У современников это вызывало лишь отвращение: «Печать подлеет с каждым днем все больше. Тошно читать бесконечное вранье. В какой номер газеты ни заглянешь, каждый русский воин — альтруист, христианин, герой, а каждый немец — природный громила, варвар, дикарь и зверь»[3]. Расхождение официальной и народной картин войны разрушало патриотическо-символическую систему и усугубляло внутренний социально-политический кризис в империи. Образ «чужого», врага, необходимый для консолидации общества, таял по мере того, как обыватели в тылу получали неофициальными путями информацию с фронта. Пропаганда на фоне последней казалась умышленной дезинформацией, проводимой властями, распускаемыми ими слухами. «Ты пишешь, что немцы звери. Здесь тоже распространяют этот слух, но наши солдаты отзываются иначе», — писала в декабре 1914 г. петербурженка Нелли казачьему хорунжему в Варшаву. Параллельно деинфернализации врага проходила и десакрализация воина-героя, что лишало войну символического смысла и усиливало жажду мира: «Жизнь собачья. Хотя в газетах пишут иначе, приписывают нам героизм, патриотизм — на деле же этого ничего нет. Все мы с нетерпением ждем конца этой проклятой войны», — писал пехотинец 317-го Дрисского полка в Пензу в декабре 1914 г.[4] В это же время то же самое писал старший врач 241-го пехотного Седлецкого полка: «Как попадается нам московская или петроградская газета, мы зеленеем от злости, читая бумажно-патриотические статьи против заключения мира да еще со ссылкой на армию, которая, дескать, горит желанием воевать и рвется в бой. А между тем армия вся целиком, я смело делаю это сообщение, горит желанием замириться и рвется домой. Это касается и солдат, и офицеров. Все

---

[1] *Асташов А.Б.* Нарушение законов и обычаев войны на русском фронте Первой мировой (по материалам российской Чрезвычайной следственной комиссии) // Новая и новейшая история. 2014. № 2. С. 46.

[2] Письма с войны… С. 105.

[3] *Арамилев В.* В дыму войны… С. 97.

[4] Письма с войны… С. 490.

уже слишком устали, измотались и только и говорят и мечтают о мире. Воевать желают только в Москве и Петрограде, да различные герои тыла, которым слишком хорошо живется»[1].

Примером десакрализации героического дискурса могут служить скептические высказывания в адрес первого георгиевского кавалера войны — казака Кузьмы Крючкова, чей подвиг широко освещался средствами вербальной и визуальной пропаганды. История Крючкова стала одним из самых значимых героических мифов Первой мировой войны и, как и в любом мифе, обнаружила смесь правды и вымысла. Событие, по официальной версии, произошло 30 июля, но подробно о нем писать начали с 20-х чисел августа. 23 августа 1914 г. журнал «Нива» опубликовал относительно короткую заметку о подвиге казака: «Находясь вместе с четырьмя своими товарищами в разведке, он заметил немецкий разъезд в 22 всадника. Выждав время, донской казак Козьма Крючков с гиком бросился на неприятеля и, сидя на хорошем резвом коне, раньше всех врезался в сбившихся в кучу немецких кавалеристов. Ловко владея шашкой, вертясь волчком среди врагов, он первым ударом свалил офицера, начальника разъезда, а затем, несмотря на полученные раны, продолжал рубить направо и налево. Когда у него, уже слабеющего от ран, выбили из рук шашку, он вырвал у кого-то пику и, то защищаясь, то нанося ею удары, продолжал этот неравный бой. Подоспевшие товарищи с неменьшим натиском обрушились на многочисленных противников Козьмы Крючкова и после непродолжительного боя обратили немногих оставшихся в живых в бегство. Сильно израненного героя товарищи казаки без всякой помехи доставили на место стоянки своей сотни»[2]. В вышедшем на следующий день журнале «Искры» количество врагов с 22 увеличилось до 27, а также появились точные цифры полученных ранений: сам Крючков получил 16 ранений шашками, пиками и одно пулевое, а его конь — 11 ранений. При этом Крючков лично убил 11 немцев, а его четверо товарищей — 12. Четверо немцев спаслись. По финальной версии, товарищей у Крючкова было трое (расхождение в цифрах объяснялось тем, что одного казака отправили с донесением, хотя встречается версия, что казаков изначально было шестеро и тогда уже двоих отправили с донесением в часть) и спаслись также трое немцев. Эти цифры стали «каноническими» и озвучивались позже самим Крючковым. Ходили и тиражировались лубком другие версии, причем количество немецких кавалеристов и количество полученных Крючковым ран увеличивалось. Например, по одной из версий немцев было 30 человек, а Крючкову нанесли 13 ранений: «Небольшой казачий разъезд в шесть человек, перейдя прусскую границу, неожиданно наткнулся на неприятельский кавалерийский отряд, состоявший из тридцати всадников. Два наших казака

---

[1] Там же. С. 635.

[2] Нива. 1914. № 34. С. 3.



Ил. 159. Геройский подвиг донского казака Кузьмы Крючкова во время схватки с немецкими кавалеристами. М.: Хромо-Литография И. А. Морозова, 1914–1915. Лубок

отправились с донесением по начальству… Четыре казака вскочили на коней и с гиканьем помчались прямо на немцев. Среди пруссаков произошло смятение, они закричали: „Кашланы! Кашланы!" (так немцы называют русских казаков) и все тридцать всадников в ужасе обратились в бегство.

Кузьма Крючков на своей резвой лошади, обогнав товарищей и, далеко впереди, один врезался в неприятельский отряд. Он колол пикой, рубил шашкой и топтал конем немцев. Таким образом храбрый казак Кузьма Крючков один уложил на месте одиннадцать человек врагов, а остальные были поголовно добиты подоспевшими товарищами (в этой версии никто из врагов не спасся. — *В. А.*). Сам же Крючков получил тринадцать легких ран». Выпущенный плакат «1-й герой» описывал подвиг Крючкова в поэтических строках и ради рифмы увеличивал число неприятелей: «Четыре русских казака, / А немцев было тридцать два». Были и менее героические варианты этой истории: вражеских кавалеристов был «всего» 21 человек, а Крючков убил «всего» 10 немцев (ил. 159).

В геройской арифметике бросается в глаза подозрительная парность: двадцать семь немцев, двадцать семь ранений (Крючкова и лошади), четверо или трое товарищей Крючкова, четверо или трое спасшихся немцев (также обнаруживается некоторая фонетическая связь тридцати немцев и тринадцати ран), что может свидетельствовать об ограниченной фантазии штабных офицеров или редакторов печатной продукции, придумывавших все эти цифры для конструирования патриотического мифа. Последующие пересказы подвига имели некоторые расхождения: в одном случае Крючков первым нападал на немцев, в другом это русские казаки были застигнуты врасплох немцами и вынужденно приняли неравный бой, Крючков то стрелял из винтовки, то ее выбивали

у него ударом сабли и пр. Удивление вызывало и то, как после удара саблей по кисти руки он успел выхватить свою шашку и продолжить бой, несмотря на то что был окружен одиннадцатью вражескими всадниками (по другой версии, получив ранение пальцев рук, он бился не шашкой, а отобранной у немцев пикой). Едва ли в реальных боевых условиях попавшему в окружение воину удалось бы выстоять против такого количества врагов. Наименее пафосная, но более вероятная версия передавала, что Крючков определенно убил лишь одного врага, но им был немецкий унтер-офицер. Оставшись без командира, немецкий отряд кавалеристов ускакал почти в полном составе. Все эти нестыковки, разночтения, числовые повторы вызывали подозрение у современников и по мере распространения скептического отношения к официальной военно-патриотической пропаганде усиливали сомнения в подлинности истории.

Даже среди казаков начали появляться альтернативные версии «подвига», того, как было на самом деле. Так, некоторые казаки считали, что превращение Крючкова в героя — чистое недоразумение, тогда как в действительности он не стремился сразиться с немцами, а пытался от них ускакать, но старая лошадь не позволила ему скрыться. И. Зырянов приводил рассказ одного штабного ординарца:

> Прогремел на всю Россию байстрюк. На папиросных коробках его портреты печатают… А последний казачишко был из нестроевых и подвигов никаких во сне не видывал. Вот ведь подфартило человеку.
>
> — Как же так?
>
> — Очень просто. Ездили наши казаки в разъезд, напоролись на немецкую кавалерию и айда назад. Немцы взялись преследовать. У Кузьмы Крючкова лошаденка была нестроевая, хуже всех, он и поотстал. Немцы догонят его, ткнут слегка кончиком пики, он от того укола гикнет, как сумасшедший, пришпорит лошаденку и оставит немцев на некоторое время позади… Лошади-то у немцев заморенные были. Так вот немцы и гнали наш разъезд верст пять. Кузьку все время ковыряли пиками в задницу, ну и наковыряли ему ран пятнадцать. А все из-за лошади…
>
> — Ну, а как же писали, что он убил больше двадцати человек немцев.
>
> Казак звонко хохочет. Дородное тело его раскачивается в маленьком желтом седле.
>
> — Да кто их видел? Байки бабьи. Вранье! Все казаки об этом знают. И офицеры знают, да молчат. Свои соображения имеют. Тут политика хитрая. Всем выгода от этого[1].

Наверное, не было ни одного периодического издания, которое бы не упомянуло подвиг Крючкова; его портрет печатался на коробках папирос, спичек,

[1] *Арамилев В.* В дыму войны… С. 166–167.

конфет, что в конечном счете стало раздражать современников. Мифотворчеству способствовал кинематограф. В январе 1915 г. вышла лента «Донской казак Козьма Крючков» в двух действиях. Первое действие называлось «За царя и родину», второе — «Один против двадцати семи». Показательно, что в журналах, где шла реклама фильма о Крючкове, параллельно рекламировался другой фильм о разбойнике XIX в. Ваське Чуркине, который из-за несчастной любви собрал банду и залил кровью несколько губерний[1]. Между образами Крючкова и Чуркина было много общего — они были представлены как народные богатыри-романтики. Сопоставление двух персонажей приводило к инверсии образов героя и разбойника, что соответствовало формировавшимся представлениям обывателей о ситуации в прифронтовых областях.

Перегибы патриотической пропаганды снижали доверие к официальным источникам информации и настраивали обывателей против властей. Коммерциализация образа Крючкова приводила к тому, что в народе стали поговаривать о корыстных мотивах боевого подвига героя. Так, поселянин Самарской губернии в Царицыне в конце 1914 г. в разговоре с рабочими, обсуждая газетное сообщение о подвиге Крючкова и пожалованной ему шашке и часах, сказал: «Вот так герой, у нас все за деньги»[2]. Скептическая версия корыстных мотивов раскрутки истории Крючкова отразилась в шолоховском «Тихом Доне»: «Из этого после сделали подвиг. Крючков, любимец командира сотни, по его реляции получил Георгия. Товарищи его остались в тени. Героя отослали в штаб дивизии, где он слонялся до конца войны, получив остальные три креста за то, что из Петрограда и Москвы на него приезжали смотреть влиятельные дамы и господа офицеры. Дамы ахали, дамы угощали донского казака дорогими папиросами и сладостями, а он вначале порол их тысячным матом, а после, под благотворным влиянием штабных подхалимов в офицерских погонах, сделал из этого доходную профессию: рассказывал о „подвиге“, сгущая краски до черноты, врал без зазрения совести, и дамы восторгались, с восхищением смотрели на рябоватое разбойницкое лицо казака-героя. Всем было хорошо и приятно».

Реальную историю схватки 30 июля 1914 г. у деревни Любово реконструировал С.Г. Нелипович[3]. Прежде всего нужно отметить, что первым взвод немецких конных егерей в количестве 20 человек, двигавшихся по русской территории, встретил огнем 3-й батальон 105-го пехотного Оренбургского полка, нанеся потери и заставив врага отступить в болото у деревни Любово, где с ними столкнулся казачий разъезд из 4 человек во главе с В. Астаховым. Казаки бросились на увязших в болоте оставшихся 15 немцев, причем потери

[1] Обозрение кинематографов, скетинг-рингов и театров. 1915. № 211. 19 января.

[2] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 269.

[3] *Нелипович С.Г.* Крючковиана: мертворожденная легенда // Время великой войны: от глобального переустройства до трансформаций повседневности. М., 2016. С. 35–51.

противника в том бою составили всего 2 человека убитыми: В. Астахов убил офицера, а К. Крючков конного егеря (еще двое остались в болоте). Остальные смогли уйти. Главной причиной, по которой казакам удалось выстоять против втрое превосходившего числом противника, стала своевременная помощь пехоты под командованием поручика Штейна, обстрелявшей немцев и заставившей их бросить казаков и отступить. При этом лишь двое казаков сумели самостоятельно вернуться в часть — Астахов и Иванков, — раненых Крючкова и Щеголькова пришлось доставлять в телеге. Казаков посетил в лазарете командующий 1-й армией генерал П. К. фон Ренненкампф, ошибочно посчитавший Крючкова командиром разъезда и наградивший его первой Георгиевской медалью (медалью скорее следовало наградить Астахова, однако даже ему она не полагалась, так как п. 7 параграфа 67 Статута Георгиевского креста, упомянутый в приказе, предусматривал награждение командира взвода, отбившего противника силою не менее роты). Ошибка генерала была раздута пропагандистской машиной в миф, ставший источником скепсиса для многих свидетелей той истории. Нелипович справедливо указывает и на другие пропагандистские просчеты в деле мифологизации подвига Крючкова: «Превознося индивидуальные способности, расписывая казаков как чуть ли не части специального назначения, „мастера пропаганды“ забывали о необходимости спайки, взаимовыручки и взаимодействия на войне. Именно эти качества проявились в действиях русских солдат в бою у деревни Любово и фольварка Александрово 30 июля 1914 года, именно они нуждались в массовой пропаганде. На деле вышло противопоставление „богатырей“ и „серой массы“, которое мало помогало тылу и вредило отношениям на фронте»[1].

Следует заметить, что генералы, посещавшие лазареты, нередко допускали подобные ошибки, жалуя «с барского плеча» награды случайным раненым, вызывая недовольство тех, кто имел большие основания для орденов и медалей. Можно привести случай, как в сентябре 1914 г. в Виленском госпитале Николай II наградил легкораненого солдата Георгиевской медалью лишь за то, что он был однофамильцем командира отдельного корпуса жандармов В. Ф. Джунковского, желая тем самым показать свое расположение жандармскому генералу (к которому в итоге быстро охладел, когда Джунковский осмелился высказаться против Распутина)[2].

Десакрализация символического героического пространства, приводившая к уравниванию своих и чужих, к оправданию зверств, превращала войну в бессмысленную в глазах народа затею верхов. Вместо единения всех общественных сил лишь усиливались социальные противоречия и дезинтеграционные процессы. Кроме «пострадавшего» образа воина-героя «досталось»

[1] Там же. С. 43.

[2] *Джунковский В. Ф.* Воспоминания. Т. 2. С. 428.



Ил. 160. Худ. А. Найден. Сюжет А. Колишина. Москва в дни священной войны. М.: Т-во Скоропечатни А. А. Левенсон, 1914–1916. Иллюстрированная почтовая карточка

и связанному с ним образу сестры милосердия. Здесь также можно отметить противопоставление на «своих» и «чужих» медсестер. Образ немецкой медсестры, как и немецкого солдата, с самого начала войны подвергся демонизации. Патриотическая пропаганда рассказывала жуткие истории о том, как вражеские медсестры выползали после боя, чтобы убивать раненых русских солдат. Соответственно образ отечественной сестры милосердия сакрализировался.

Если в визуальной пропаганде воин мыслился мужем-спасителем, героем-змееборцем, то образ сестры милосердия был составной частью фемининной репрезентации России. Он стал олицетворением героизма, самопожертвования и в то же время христианского смирения. В визуальном символическом пространстве образ медсестры по частоте мог соперничать с аллегорическими изображениями России-матушки. Иногда эти символы сливались. Так, распространенным был фемининный образ Москвы в одеждах сестры милосердия. Причем на одной из открыток художника А. А. Найдена (на сюжет А. Колишина) Москва сбрасывала с себя царские одежды, жертвовала их вместе со своими драгоценностями в помощь раненым воинам, а сама оставалась в форме сестры милосердия (ил. 160). На другой открытке того же художника был



Ил. 161. Худ. А. Найден. Сюжет А. Колишина. Поможе сотворить… М.: Т-во Скоропечатни А. А. Левенсон, 1914–1916. Иллюстрированная почтовая карточка

создан собирательно-эклектичный образ ангела-медсестры в русском кокошнике, милосердно закрывающей раненых русских, немцев, австрийцев и турок (ил. 161).

В иллюстрированном каталоге патриотического плаката и лубка, составленном по фондам Государственного центрального музея современной истории России, представлено 23 изображения женщин. Из них 7 рисунков (30%) — это медсестры, их образ уступает по частоте лишь изображениям женщины — жертвы немецких зверств — 9 раз (39%). Этот образ, понятный всем слоям общества — и крестьянам, и аристократам, был очень востребован. Часто медсестру на поле боя на своих рисунках изображали дети, которые чутко реагировали на увиденные картинки войны или рассказанные взрослыми истории. Даже противники войны считали этот образ позитивным, и курсистки, стоявшие на пацифистских позициях, тем не менее записывались в сестры милосердия из патриотических соображений[1]. Патриотический плакат наделил образ сестры милосердия почти сакральной ценностью, противопоставив

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 14.

его профанному, модернистскому образу декадентствующей «дамочки», также весьма распространенному в визуальной пропаганде.

Форма медицинской работницы Красного Креста использовалась представительницами разных социальных групп для акцентирования или поднятия собственного статуса. Императрица Александра Федоровна с дочерьми, великие княгини устраивались сестрами милосердия в госпитали; их портреты в образах санитарок тиражировались в печатной продукции. На фронт санитарками отправлялись патриотически настроенные студентки и молодые дамы, поддавшиеся патриотической эйфории.

Между тем далеко не всегда запись женщин в сестры милосердия была следствием исключительно искренних чувств и желания послужить на благо отечества. Преследовались и личные, меркантильные интересы. В обществе существовали взгляды на Красный Крест как коррумпированную организацию, наживающуюся на войне. В. А. Городцов приводил разговоры, в которых обыватели заявляли, что передать деньги в Красный Крест — то же, что «бросить в помойную яму»: «Известно, что в России Красный Крест и интендантства ждут войны, как ворон крови; тут им и пожива»[1]. Говорили, что санитары снимают с мертвых золотые и серебряные кресты — «многие из этих мародеров привозят большие капиталы»[2].

Существовал и другой образ Красного Креста — как борделя. Некоторые романтично настроенные молоденькие курсистки отправлялись сестрами на войну ради приключений и поиска подходящего жениха. Тиражировавшийся образ бравого офицера казался им лучшей кандидатурой. Очень скоро в военных кругах заговорили о флиртующих с офицерами медсестрах. Б. И. Колоницкий обращает внимание на трансформацию массового образа сестры милосердия из терпеливого и кроткого «белого ангела» в грубую и воинственную женщину в кожаной куртке: «Со временем сестра милосердия для солдат-фронтовиков стала символом разврата, „тылового свинства“. Наряду с „мародерами тыла“ и штабными офицерами, отсиживающимися вдали от передовой, сестра милосердия становится олицетворением легкомысленного тыла, забывающего о нуждах окопников. Появились такие термины, как „сестры утешения“, „кузины милосердия“, а штабные автомобили стали именоваться в солдатских разговорах „сестровозами“»[3]. К тем же выводам приходит и П. П. Щербинин. А. Б. Асташов более осторожен, предпочитает отделять сложившийся образ медсестры от того, что она представляла собой на самом деле и как себя вела на фронте. Исследователь полагает, что в первую очередь критическое отношение к сестрам вызревало в среде рядовых, для которых женщины были недоступны, в отличие от офицеров, а также отмечает общее

[1] *Городцов В. А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 109.
[2] Там же. С. 132.
[3] *Колоницкий Б. И.* «Трагическая эротика»…

критическое восприятие женщины на фронте, характерное для традиционного сознания[1]. Е.С. Сенявская, признавая определенные перверсивные формы взаимоотношений офицеров и медсестер, предпочитает вторых рассматривать как своего рода жертв «пренебрежительно-потребительского отношения к женщине как средству удовлетворения половой потребности мужчин»[2]. Эта точка зрения представляется односторонней, не учитывающей явных изменений в сексуальном поведении самих девушек, оказавшихся в прифронтовых районах, а также проходившей в целом в российском обществе начала XX в. сексуальной революции (одним из женских образов которой был образ женщины донжуанского типа) и многочисленных источников личного происхождения, раскрывающих в ряде случаев мотивы женского кокетства на фронте.

Встречается в литературе (преимущественно в научно-популярных изданиях) некоторая идеализация медицинских сестер, являющаяся следствием некритичного отношения к источникам. Так А.В. Срибная, признавая проникновение на фронт в качестве сестер милосердия легкомысленных девиц, считает это исключением из правила и полагает, что дискредитация образа медсестры происходила в тылу из-за сплетен и слухов, тогда как «люди, непосредственно видевшие работу сестер на войне, относились к ним с благоговением»[3]. Автор считает, что наиболее достоверную информацию об отношении к сестрам милосердия можно почерпнуть из слов врачей, раненых солдат, представителей Красного Креста и военных корреспондентов. Оставим на совести Срибной утверждение, что сотрудники Красного Креста, равно как участвовавшие в конструировании патриотической мифологии корреспонденты, предоставили историкам «наиболее достоверную информацию». Показательно то, что сами врачи и раненые солдаты зачастую описывали картины распутства сестер, до которых не могли додуматься фабриканты тыловых сплетен. Впрочем, противоречивые оценки поведения медсестер отчасти были вызваны разными представлениями современников о долге, морали, нравственности, месте и роли женщины в обществе. Противники эмансипации склонны были сильно преувеличивать неблаговидное поведение сестер милосердия. Нужно также заметить, что процент легкомысленных медсестер на фронте не столь важен — важно, что дискредитирующих случаев поведения было достаточно для формирования в массовом сознании определенного образа, вступавшего в противоречие с официальной пропагандой.

Разные источники подчас рисуют идентичные картины поведения медсестер на фронте, а их корреспонденция раскрывает подлинные мотивы «романтических душ». Молодой врач Ф.О. Краузе не без презрения отзывался о санитарках,

---

1 *Асташов А.Б.* Русский фронт… С. 634, 639.

2 *Сенявская Е.С.* «Без бабы и без вина и война не нужна»: проблемы фронтовой морали в период Первой мировой войны // Историческая психология и социология истории. 2013. № 1. С. 40.

3 *Срибная А.В.* Сестры милосердия в годы Первой мировой войны… С. 146.

умудрявшихся кокетничать с офицерами даже на вокзалах во время погрузки раненых: «А на платформе гуляют „сестры милосердия“ из местного общества (как ненавижу я этих глупых пустых барышень, рисующихся Красным Крестом), около них увиваются кавалеры из военных и нашей братии. Подойдут к носилкам, бросят пустой любопытный взгляд на страдающих и, виляя задом, грациозно поплывут дальше, кокетливо улыбаясь»[1]. Практически идентичную картину из окна поезда наблюдал студент-вольноопределяющийся В. Арамилев (И. Зырянов): «На перронах разгуливают целыми группами сестры милосердия. Сестры отчаянно кокетничают с офицерами, поставщиками, земгусарами, интендантами. Быстро знакомятся. Вслух, во всеуслышание объясняются мужчины в любви… Отношения между полами тоже „упростились“»[2]. Изменение нравов отмечали многие современники, говорили даже о некоем «половом психозе», охватившем российское общество в годы войны, причем невзирая на сословные различия: «А все женщины сейчас охвачены небывалым половым психозом и мистицизмом. Почва благодарная. Но особенно двор, двор!» — обсуждали солдаты в 1916 г. слухи об «успехах» Г. Распутина при дворе[3].

В ноябре 1914 г. в Москве обсуждали слух о конфликте главнокомандующего великого князя Николая Николаевича и его племянника великого князя Кирилла Владимировича. Якобы последний «обзавелся гаремом из так называемых сестер милосердия». Когда Николай Николаевич лично убедился в этом, то схватил хлыст и отстегал «племяша», после чего отдал приказ по армии, «чтоб на передовой линии ни одной сестры милосердия не было»[4].

В силу возрастных особенностей в определенную «зону риска» попадали молоденькие гимназистки — главный «резерв» медсестер для фронта. Изучение их перлюстрированной корреспонденции показывает довление романтических мотивов, вызванных психологической незрелостью, возможно чрезмерной увлеченностью бульварной литературой. Не случайно многие «блюстители нравственности» в последней видели причину упадка нравов, развращения молодого поколения, призывая к ее запрету. Литература, действительно, отражает многие психологические веяния эпохи, однако едва ли ее запрет способен както повлиять на проходящие в социуме процессы, связанные с ростом женского образования, овладение «мужскими» профессиями, общей эмансипацией. Именно к последней относятся появившиеся новые формы межполовых отношений. Кроме того, обычная городская среда ограничивала свободу общения молоденьких девушек и мужчин, в то время как на фронте любые барьеры разрушались, что воспринималось как более легкий способ найти себе пару. Одна сестра милосердия писала домой в Москву в январе 1916 г., рисуя свою

[1] *Краузе Ф. О.* Письма с Первой мировой… С. 71–72.
[2] *Арамилев В.* В дыму войны… С. 67.
[3] Там же. С. 164.
[4] *Городцов В. А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 145.

жизнь в самых ярких красках, передавая атмосферу постоянного веселья и кутежа: «Живем здесь куда лучше, чем в Москве, веселье царит во всю; все балы, да разные приглашения. Готовит нам повар Московской гостиницы, украшает стол разными фигурами из дорогих продуктов и если бы не служба, то осталось бы надолго. Предложений масса, ухаживают за мной все. Лизе передайте поклон и скажите, что если желает выйти замуж за богатого человека, пусть едет скорее сестрой на войну»[1]. Обделенные вниманием мужчин и подарками в мирной жизни девушки, став медсестрами, почувствовали свой новый, более высокий социальный статус, который позволял им войти в сообщество избранных: «За мною здесь много ухаживают, чиновники из союза дарят мне цветы, духи; ах, как все это приятно»[2].

Правда, существовали принципиальные гендерные различия во взглядах на то, как и с кем медсестрам следует проводить время. Если для части девушек это был всего лишь легкий флирт, поднимавший их самооценку, то для некоторых неопытных офицеров — любовь на всю жизнь. Из-за дам сердца вспыхивали нешуточные конфликты, иногда кончавшиеся самоубийством или убийством. Опять-таки, кого-то это лишь интриговало, отвлекало от рутинной скуки и забот по уходу за ранеными. «А меня чуть было не зарезали как теленка и хотели обязательно застрелить. Влюбился в меня грузин-прапорщик, меня приревновал и хотел убить за то, что я его не люблю. Ужасно. За меня заступились и я тут то и сама влюбилась в защитника. Милые девчонки, как он хорош, зовут его Юрий, только он женат и имеет ребенка. Ну да это ничего. Мы с ним в Тифлисе очень весело провели время, а прапорщику показала длинный нос… Вообще здесь очень хорошо. Мужчины по нас сходят с ума, масса интересного, тут уж не до дела. Есть дела более интересные», — писала сестра милосердия из 25-го Восточно-Персидского отряда Всероссийского Земского союза в августе 1916 г.[3] Прапорщик Валентин Полянин из 15-го стрелкового Е. В. Николая I Короля Черногорского полка писал в Киев не позднее марта 1916 г.: «Милая Оленька. Я уже давно на позиции и очень скучаю по Киеву… Офицеры молодые и старые гуляют, ухаживают за „офицерскими дамами“ (крестьянскими девушками)… Приезжают „сестры“, но из-за них происходят чуть ли не драки, ревность пробуждается не только у холостых, но и женатых и старых офицеров. Дело чуть-ли не доходит до дуэли. Вот вчера, например, устроили бал, было несколько сестер, конечно, офицеры выпили… Под звуки вальса падали, пели, орали, шумели. Сестры с к-ром батальона оставили бал, офицеры обиделись, подняли такую стрельбу из револьверов, как будто пошли в наступление…»[4]

[1] Письма с войны… С. 583.

[2] Там же.

[3] Там же. С. 612.

[4] Там же. С. 588.

Офицер И. Ильин, прибывший в Люблин принимать транспорт, остановился у знакомых и обнаружил там «любовную атмосферу»: «Миша открыто живет со старшей сестрой милосердия, которая была замужем, но с мужем разошлась еще до войны, кажется. Высокая, с орлиным носом, очень эффектная и, пожалуй, интересная женщина»[1]. Как оказалось, этим отношениям предшествовал мелодраматический роман: двадцатилетний санитар от неразделенной любви к старшей медсестре и ревности к Мише решил покончить жизнь самоубийством и пытался отравиться, однако его спасли и отправили в Москву.

Однако не только прифронтовая полоса становилась территорией свободных отношений. В тылу усиливалась диспропорция мужчин и женщин, и романы между ранеными офицерами и замужними дамами становились нормой военного времени. Зырянов приводил весьма типичную историю, как некий поручик Фофанов, получив после контузии месячный отпуск, без предупреждения после долгого отсутствия отправился к жене в Воронеж, но та оказалась в больнице после аборта. Придя в больницу, Фофанов тремя выстрелами убил жену[2]. Сослуживцы не осуждали убийцу, даже сочувствовали ему, так как он был отличным офицером, однако жалели, что он убил жену, а не того, кто наставил ему «рога». При этом знавшие Фофанова отмечали, что сам он никогда ни одной юбки не пропускал и охотно пользовался услугами проституток. Газеты были полны подобными сообщениями. В качестве приметы времени с полным основанием можно отметить рост ревности, как правило мужской, доводившей до преступлений. Так, например, сообщалась история любви студента юридического факультета московского Императорского университета А. И. Исарова, который застрелил свою возлюбленную Н. А. Тамазову, работавшую сестрой милосердия в офицерском лазарете. Причина — ревность к раненым офицерам, с которыми слишком много времени на работе проводила девушка. Кроме того, Исаров застал Тамазову с ранеными офицерами в театре, куда она их сопроводила из госпиталя[3].

Противоречия двойной морали проявились также в столкновениях традиционной и модерновой психологии: первая имела патриархально-мускулинные основания и отрицала равноправие полов, вторая основывалась на идеях эмансипации и предполагала большую активность женщин. «Женщины очень распустились. Ужасно, что теперь творится в народе. По окончании войны и половина не сойдется и не найдет своих честных жен, а жены мужей. Творится что-то ужасное. Матери на произвол судьбы бросают своих маленьких детей, а мужья их кровь свою проливают, а они с любовниками гуляют. Страшное время пришло. Люди забыли Бога и потеряли совесть», — рассуждали современники[4].

---

[1] *Ильин И. С.* Скитания русского офицера… С. 66.

[2] *Арамилев В.* В дыму войны… С. 162.

[3] Саратовский листок. 1915. 13 января.

[4] Письма с войны. С. 629.

Сама по себе запись в сестры милосердия уже была проявлением эмансипации и некоторым вызовом патриархальным укладам общества. В знатных семьях запись на курсы медсестер воспринималась как блажь. Будущая медсестра Х.Д. Семина вспоминала, что родственники не поняли ее желания ехать на фронт за мужем-врачом в качестве медсестры и неоднократно над ней подшучивали: «Нина и Яша относились безразлично к моим курсам и считали, что это блажь, никому не нужная. И всегда с насмешкой и издевательством расспрашивали меня о работе в госпитале»[1]. В связи с этим нельзя сбрасывать со счетов и того, что в ряде случаев через обвинения медсестер в разврате проявлялись солдатские гендерные стереотипы. Практически не вызывает никаких сомнений существование флирта между выздоравливавшими офицерами и медсестрами, легкие домогательства военных к девушкам, однако вряд ли можно точно сказать, как далеко это заходило. В каком-то смысле это была игра, принятая в определенных экстремальных условиях для снятия стресса: «Палату обслуживают санитарки. Легкораненые офицеры охотятся на них в коридорах, затаскивают в ванную, запираются там на крючок. Когда один запрется, другие на цыпочках подходят к двери, в замочную скважину подсматривают»[2].

Тем не менее, как писали современники, несмотря на повсеместные изменения моральных норм, по мере приближения к фронту с женщинами и мужчинами происходили определенные метаморфозы. Казалось, что фронт представлял собой иную систему морально-нравственных отношений, предлагал более свободную (что характерно для экстремальной повседневности) систему межполовых отношений. Поэтому зашедшие в купе отправлявшегося на фронт поезда люди оказывались в рамках новой системы отношений, что немедленно сказывалось в проявлениях флирта. Поезд в этом контексте наделялся новыми функциями, становился неким хронотопом, обеспечивая переход из одного мира в другой. Зырянов описал такой случай: в купе поезда, идущего на фронт, сели поручик и молодая женщина, ехавшая на фронт к мужу в качестве медсестры. Между молодыми людьми достаточно быстро начался флирт, и поручик всю ночь провел под одеялом у дамы. Ехавший в этом же купе пожилой поставщик на следующий день возмущался: «Ишь кобыла нагайская! Всю ночь под одеялом целовались. Двадцать лет ездию по всем дорогам, а такого паскудства, чтоб баба в вагоне чужого мужика под одеяло на всю ночь пустила, не видывал… И когда они снюхаться-то успели? Хотел я утром, грешным делом, по-стариковски отчитать, одернуть их маленько, да побоялся. Чего доброго, прапор еще в морду даст. Ныньче народ пошел аховый, особливо которые в погонах»[3].

[1] *Семина Х.Д.* Записки сестры милосердия… С. 51.
[2] *Арамилев В.* В дыму войны… С. 138.
[3] Там же. С. 153.

С другой стороны, непосредственно у мест боевых действий, когда от медперсонала требовалась исключительная слаженность работы всей врачевательной системы, врачи и медсестры, работая на пределе сил, демонстрировали подлинную готовность к самопожертвованию. Случалось, что молоденькие медсестры, не выдерживая нервного напряжения от тяжелой работы и вида ужасных ран, сходили с ума[1]. Свидетели передавали, что «отношение полковых врачей на поле битвы безукоризненное, полное самопожертвование, но чем дальше в глубь России, тем хуже отношение. Врачи всюду занимались только флиртом с сестрами милосердия»[2]. По всей видимости, в ряде случаев это объяснялось снятием стресса после физического и психического перенапряжения.

Вероятно, одним из определяющих на фронте чувств было ощущение переживаемого каждого мгновения как последнего, отсюда — желание воспользоваться всем, что предлагает обстановка. Война способствовала развитию крайней формы актуалистического восприятия времени, при котором прошлое и будущее теряло важность в сравнении с настоящим, а потому стыд и чувство ответственности заглушались. У кого-то относительно быстро наступало похмелье и женщинам становилось противно от того, в какой ситуации они оказывались: «Дорогая, после двух недель, так угарно и безумно проведенных в Петрограде, я очутилась вот где. Чувствую себя отвратительно, больная, вся разбитая. Мы ведь столько пили в эти три недели… И в вине я не нашла забвенья… Вот теперь мой доктор предлагает выйти за него замуж, отказала и бросила его, флиртую с другими, но и в этом я не забываюсь… Так в чем же забвенье? В работе? В больных? Эх, это все только на словах, а на деле совсем иное… Доктор мой все вино предлагает и мы сидим с ним и пьем до потери сознания, ну а потом после этих угощений еще ярче и глубже сознаешь, как все беспросветно, мрачно, холодно вокруг и тут же скорей сама идешь и просишь у него выпить, скорей, скорей, чтобы хотя немножко уйти от ужасной действительности»[3].

Не подозревавшие ни о чем наивные курсистки, оказавшись в госпиталях, первое время искренне возмущались царившими там нравами, осуждали коллег, но со временем мирились с новыми обстоятельствами: «И попала же я в госпиталь. Это не госпиталь, а что-то ужасное в смысле распущенности. Жаворонки к сестрам в форточки лазят, ужас, да и только. А Наташе видно нравится, говорит весело. Зовет меня переходить к ним в госпиталь. Говорит, что хотя работы и много, но жить очень весело и можно даже… пристроиться»[4].

Распространявшиеся слухи о жизни сестер милосердия в госпиталях десакрализировали их образ и делали эту работу чуть ли не постыдной. Один

---

[1] *Городцов В. А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 378.

[2] *Краузе Ф. О.* Письма с первой мировой… С. 48.

[3] Письма с войны… С. 616.

[4] Там же. С. 615.

солдат писал из действующей армии своей знакомой, отговаривая ее идти в сестры в 1916 г.: «Ты писала о своем намерении быть сестрой милосердия, не делай этого, не надо, я их много видел, очень много, и знаю, как они живут и что делают. Прежде всего и самое главное, очень уж тяжелы просто условия жизни, а потом… Ну да тебе этого знать не надо, но поверь мне на слово, что в настоящее время красный крест на груди или рукаве уже не является прежним символом чуть не святости, а наводит на иные мысли»[1].

Впрочем, молоденькие санитарки иногда становились жертвами обстоятельств, когда офицеры устраивали вечера, на которые собирали сестер милосердия. Отказов не принимали. В программу вечера входили культурные мероприятия, танцы, выпивка, которая в условиях действовавшего сухого закона была особенно желанна. К ночи, если позволяла погода, отдыхавшие парами расходились по укромным местам. Арамилев, которого пригласили в качестве переводчика на вечер, устроенный в честь приезда английского полковника, описывал окончание мероприятия: «Мимо нас пробирается в сад высокий кавалергард с сестрой. Оба пошатываются. Он обнял ее за талию и вполголоса мурлычет какую-то песенку. Спутница еще плотнее прижимается к нему и отвечает низким, приглушенным смехом. На лестнице он целует ее в губы долгим поцелуем и затем, подняв на руки, несет в кусты… Она притворно повизгивает и колотит его ладонью по шее»[2]. Конечно, это не скрывалось от глаз простых солдат.

Следует признать, что, несмотря на распространенность проституции, различных форм сексуальных перверсий, характерных для экстремального времени, в ряде случаев отношения между ранеными офицерами и медсестрами не заходили дальше невинного флирта. Однако в глазах носителей традиционного крестьянского сознания подобные отношения были недопустимы и свидетельствовали о разврате. Солдаты из крестьян торопились делать неутешительные прогнозы об окончании войны, имея в виду царящее среди офицеров распутство: «Так и знай, Федя, что эту войну офицеры и сестры милосердия проебут, потому что блядство между ними в действующей армии хуже, чем в бардаке»[3]. В этом просматривалась и некоторая обделенность рядовых солдат сестринским вниманием из-за классовых различий. Дело в том, что на курсы сестер милосердия брали только грамотных девушек, имевших свидетельство об окончании как минимум 4-классного училища, как правило бывших курсисток. Обычным девушкам-крестьянкам попасть в Красный Крест было крайне сложно. П. Е. Мельгунова-Степанова вспоминала, как плакала молодая неграмотная крестьянка, желавшая даром поработать на больных, когда ей всюду отказали из-за отсутствия свидетельства об окончании

---

[1] Там же. С. 628–629.

[2] *Арамилев В.* В дыму войны… М., 2015. С. 177–178.

[3] Письма с войны… С. 577.

4-классного училища[1]. Вероятно, именно таких простых деревенских девушек, «своих» сиделок, не хватало солдатам из крестьян[2]. Они вынуждены были с раздражением смотреть на то, как бывшие курсистки одаривали вниманием офицеров. Таким образом, социальное расслоение на фронте выражалось в разных правах на секс: офицеры могли рассчитывать на бывших гимназисток, а рядовые солдаты — на профессиональных жриц любви. Проституция в прифронтовой полосе приобретала значительный размах, так как бедственное положение женщин вследствие общего вздорожания жизни толкало их на панель, не говоря уже о беженках. Современники все это прекрасно понимали: «По случаю вздорожания жизни, некоторые жены мобилизованных за неимением средств к жизни вынуждены взяться за труд проститутничества, ради куска хлеба даже несовершеннолетние девушки губят свою девственность»[3].

В некоторых прифронтовых городах, где квартировались запасные части, очереди рядовых солдат в дома терпимости были самыми длинными и в первую очередь бросались в глаза приезжим, далеко расползаясь по улице[4]. Постепенно разница между флиртующей медсестрой и отдающейся за деньги проституткой стиралась, разве что проститутка оставалась главным рассадником венерических болезней. Так, довольные обилием водки и пищи рядовые солдаты высказывали лишь одно сожаление: «Только беда, больных баб много и делают эти бабы нашего брата несчастным»[5]. Некоторые предприимчивые няньки прямо в лазаретах организовывали «квартиры свиданий»[6].

Сексуальное поведение солдат и офицеров на фронте не ограничивалось флиртом с медсестрами или посещением публичного дома. В тыловых районах начала действовать целая система по заманиванию симпатичных барышень с тем, чтобы устраивать им встречи с состоятельными мужчинами. Предварительно девушки должны были отправить свои фотографии «с подробностями», по которым уже можно было договариваться о встречах с определенными «кавалерами». «Сутенеры» собирали собственные фотоальбомы с карточками девиц, их адресами, примерной стоимостью, и за деньги распространяли эту информацию в армии. В августе 1916 г. некой одесской курсистке Л. Шлиффер пришло письмо из действующей армии: «Передайте Розе, что она напрасно не согласилась сняться так же как Вы, здесь уже один ею заинтересовался и сказал, что если бы он увидел на фотографии все ее подробности, то может быть не пожалел бы и 1000 руб. Хотя вообще, как я не старался для Вас, но предлагают

---

[1] *Мельгунова-Степанова П.Е.* Дневник: 1914–1920. М., 2014. С. 46–47.

[2] Правда, девушки из низших сословий могли устроиться в лазарет няньками, когда это позволял штат.

[3] Письма с войны… С. 610.

[4] *Юров И.* История моей жизни… С. 169.

[5] Письма с войны… С. 585.

[6] *Городцов В.А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 251.

только 100–150 руб., причем требуют от меня еще гарантий, понимаете каких? Вчера был один и сказал, что пожалуй дал бы 200 руб. Но ему нужно знать и хотя на фотографии увидеть все подробно. Может быть, мне удастся приехать скоро в Одессу, тогда, если Вы напишите, что согласны, я и сфотографирую Вас еще раз, но лучше подробнее. Здесь была (приехала с одним офицером) одна барышня, погостила 2 недели, уехала в Одессу и увезла подарок 200 рублей. Дорога конечно, ничего ей не стоила. Вероятно скоро опять приедет. Вот говорил я вам, поедемте, уже вероятно, набрали бы необходимую вам 1000 руб. Ну, да еще не поздно, можно будет устроить, если захотите»[1].

Под контролем старших офицеров действовали полузакрытые клубы для «своих», в которых работали уже проверенные девушки из приличного общества — как правило, гимназистки или медсестры. Нравы этих обществ и предоставляемые сексуальные услуги в условиях растущего сексуального раскрепощения могли обескуражить неподготовленных офицеров «старой школы». Один из них писал домой из Киева в ноябре 1915 г.: «Изредка бываю в очень милой и гостеприимной семье командира дружины; сослуживцы, среди которых имеются ребята, не любящие пропускать мимо баб, ввели меня в такие интимные кружки, нравы которых приводят даже меня, сорокалетнего старика, в немалое смущение. Так например: меня познакомили с кружком гимназисток, которые занимаются весьма почтенным делом — миньеткой. Воистину и „невинность соблюдают и капиталец приобретают". Все они при физической девственности, говорят, достигли большого совершенства. Конечно, я, как представитель старой классической школы, ничего не могу сказать о степени прогресса в этом направлении… В этом обществе я чувствовал себя слишком незрелым, посему счел за лучшее благородно ретироваться, вызвав весьма иронические улыбки некоторых почтенных коллег и не менее почтенных девиц»[2].

Таким образом, следует признать, что прифронтовая зона представляла собой пространство особого сексуального поведения, которое, усиленное стрессовым состоянием комбатантов, порождало у прибывавших из тыла современников ощущение массового полового безумия, полового психоза. Эта атмосфера действовала определенным образом на психически незрелых вчерашних гимназисток, поддававшихся порокам новой, взрослой, «свободной» от присмотра родителей жизни.

В некоторых случаях развязное поведение медсестер было следствием гиперстенической неврастении. О нервных заболеваниях медицинских сестер сообщали современники. Романы с офицерами для кого-то становились способом отвлечься от гнетущей действительности, добавить в тяжелые, будничные заботы романтических красок.

---

[1] Письма с войны… С. 614.

[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1009. Л. 44.



Ил. 162. Медсестра и раненый. № 193. М.: Изд. Тамаркин, 1914–1916. Иллюстрированная почтовая карточка



Ил. 163. Медсестра и раненый. № 191. М.: Изд. Тамаркин, 1914–1916. Иллюстрированная почтовая карточка

Часто поводом к рождению негативного образа медсестры становилась разница эмоциональных состояний, в которых находились молоденькие гимназистки, только прибывшие в места боевых действий, и раненые солдаты. Первые были полны возвышенно-патриотическими чувствами, романтическим восприятием действительности, вторые находились в пограничном психическом состоянии, их раздражало поведение медсестер. Попытки девушек поддерживать боевой дух, патриотические настроения в сердцах солдат вызывали иногда большее раздражение, чем распутное поведение: «Сестра милосердия Шатрова, симпатичная пройдоха, утешая меня на перевязках, говорит: „Потерпите, голубчик! Будьте мужественны до конца. Помните, что все это вы переносите во имя родины, веры, царя“. Слова ее кажутся мне наглой иронией», — писал И. Зырянов[1].

Удар по образу сестры милосердия был нанесен и репрезентационными ошибками патриотической пропаганды. Некоторые изображения как будто «выдавали» и подпитывали распространенные в обществе слухи о распутстве медсестер. На них сексапильные блондинки и брюнетки заигрывали с солдатами и офицерами, строили им глазки. В ряде рисунков угадывалась стилистика

[1] *Арамилев В.* В дыму войны… С. 136.

декаданса. Можно допустить, что иногда это было следствие неудачного «перепрофилирования» художника-иллюстратора, работавшего в мирное время в сфере рекламы определенной продукции для высшего света. Поэтому медицинские сестры автоматически обретали черты модных кокеток, а раненые офицеры — увивавшихся вокруг них щеголей. В одном случае художник хотел изобразить раненого воина, которому подняться на ноги помогала медсестра, но в итоге получилась страстная сцена: полулежащий мужчина, обнимая, притягивает к себе слабо сопротивляющуюся женщину. Обращала на себя внимание лежавшая на плече мужчины рука медсестры — в таком положении женщина не могла помочь встать воину, но сама опиралась на него. К тому же по рисунку было неясно, действительно ли солдат является раненым, — повязки или раны на нем отсутствовали (ил. 162). На другой открытке молодой офицер был изображен с перебинтованной головой. При этом он смотрел на стоящую рядом молоденькую сестричку каким-то осоловевше-похотливым взглядом, держал ее за руку, в то время как девица стыдливо отводила глаза в сторону и прятала в кармане другую руку. Создавалось впечатление, что ей было чего стыдиться. Здесь также примечательны сапоги офицера — лакированные, с тонкими, длинными носками и на высоких каблуках (ил. 163). В условиях распространенных слухов о нравственном падении медсестер сложно было придумать менее удачные образы. Впоследствии рижское издательство Х. Кноппинг сделало некоторые выводы и слегка изменило рисунки, дополнив их текстом, который должен был помогать зрителю «правильно» считывать визуальное сообщение. Так, картинка с сидящим на коленях и притягивающим к себе медсестру солдатом получила подпись «Приятель в нужде». Другая открытка, изображавшая раненого солдата, обнимающего медсестру, называлась «Человеческая любовь» (вероятно, тем самым человеческую любовь хотели противопоставить любви между мужчиной и женщиной).

В результате вместо сакрализации сестер милосердия происходила профанация и даже демонизация образа. Среди крестьянских высказываний в адрес медсестер встречается уже разбиравшийся фольклорно-архетипический оборот речи «смеются, когда раненые стонут». Грамотный крестьянин Курляндской губернии в феврале 1915 г. описал прифронтовую полосу как сплошной бордель: «Там нет никакого порядка: офицеры разъезжают на автомобилях с б…, а сестры милосердия смеются в то время, когда раненые стонут»[1].

В действительности сложно переоценить значение сестер милосердия, спасших, выходивших сотни тысяч солдат: вынесших их с поля битвы, спасших благодаря вовремя сделанным перевязкам, ассистировавших на операциях, кормивших их с ложечки и т. д. Медперсонала не хватало, и в некоторых

---

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 398.



Ил. 164. Подвиг сестры милосердия Е.П. Коркиной. 1915. Лубок

госпиталях четыре сестры приходились на пятьсот раненых[1]. От сестер требовалось не только героическое исполнение своих непосредственных обязанностей, но и участие в боевых действиях. Одной из первых медийных героинь первого типа стала медсестра Евгения Коркина, которая в марте 1915 г. под обрушившимся на лазарет неприятельским огнем самостоятельно эвакуировала в безопасную зону остававшихся раненых (ил. 164). Ее подвигу были посвящены журнальные статьи, лубочные картинки. Еще активнее воспевался подвиг другой сестры — Риммы Ивановой, — которая 9 сентября 1915 г., вынося раненых с поля боя и обнаружив, что все старшие чины погибли, сама попыталась повести оставшихся солдат в наступление, но была убита. Практически все газеты России написали о подвиге 21-летней девушки, прозванной «ставропольской девой» на манер Орлеанской девы — Жанны д'Арк. Началась повсеместная визуализация героической смерти санитарки, и очень скоро из обычной медсестры она превратилась в очередной символ. Даже британский журнал The War Illustrated в октябрьском выпуске поместил картину, изображавшую подвиг Ивановой, на обложку номера.

Однако здесь пропагандистская машина дала сбой. Художники дали волю своим фантазиям, и на свет стали появляться фантастические образы сестры-

[1] *Семина Х.Д.* Записки сестры милосердия… С. 144.

воительницы. С. В. Животовский изобразил Р. Иванову с поднятой над головой саблей в самой гуще рукопашной схватки[1]. Редакторы «Русского инвалида», «Огонька» изменили ее имя с Риммы на Мирру — неуклюже попытавшись обыграть мысль о том, что русские медсестры ведут солдат в атаку ради скорейшего окончания войны[2]. Кинематографисты, почувствовав прибыльность подобных сюжетов, в кратчайшие сроки по заказу военного ведомства сняли фильм «Героический подвиг сестры милосердия Риммы Михайловны Ивановой», в котором актриса, игравшая Иванову, со зверским выражением лица и саблей наголо на высоких каблуках бежала в атаку, стараясь при этом не растрепать модную прическу. Фильм вызвал возмущение родителей Ивановой и ее сослуживцев. 9 декабря 1915 г. в газетах появилось письмо отца Риммы, коллежского асессора Михаила Павловича Иванова, в котором он назвал киноленту грубым фарсом и отметил, что образ, созданный в картине, не имел ничего общего с его дочерью: «Под именем моей дочери на экране появилось совершенно другое, мне неизвестное лицо, да и сама картина не соответствует действительности: в ней изображена „артистка“ довольно высокого роста, в узкой модной юбке, модных лакированных туфлях на высоких каблуках при белом апостольнике и переднике и, в довершение всего этого, с саблею наголо. Между тем, покойная моя дочь была небольшого роста, воинственного вида не имела, с саблею не выступала и была убита на передовых позициях при исключительных обстоятельствах, как о том гласили первые телеграммы о ее беспримерном подвиге. Никакой ходульности и показного героизма в трагической смерти моей дочери не было. Слившись душой с серыми воинами, покойная была проста, подвиг свой совершила в серой шинели, и она пошла не с винтовкой или саблей в руках, а с крестом на груди — символом милосердия и чистой любви, не покидая при этом своей кожаной сумочки с перевязочными средствами и медикаментами, с которой она никогда не расставалась, носивши ее на простом ремне через плечо»[3]. Под давлением общественности особым циркуляром товарища министра внутренних дел в феврале 1916 г. фильм был снят с проката по всей территории России. Однако определенный удар по образу сестры милосердия уже был нанесен, и когда до малограмотных крестьян доходили известия о награждениях сестер милосердия медалями, они делали выводы, что получили их женщины совсем за другие заслуги. Например, крестьяне Енисейской губернии в ноябре 1915 г. в поселке Жуковском Ачинского уезда комментируя известие из газеты о том, что Николай II наградил сестер милосердия Георгиевскими медалями, объяснили это просто: он спал с ними. Добавив, что сестрам стоило кресты повесить на другое место[4].

---

1 Огонек. 1915. № 40. Без пагинации.

2 Русский инвалид. 1915. 19 сентября; Огонек. 1915. № 40. Без пагинации.

3 ГА РФ. Ф. 102. Д. 2. 1915. Д. 64. Л. 1.

4 РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 390 об.

Тем не менее медиатизация символа сестры милосердия привела к недобросовестной и даже преступной эксплуатации этого образа женщинами, никак не связанными с Красным Крестом. Согласно уставу Российского общества Красного Креста и российскому законодательству за незаконное ношение формы сестры милосердия предусматривалось наказание в виде штрафа или ареста до трех месяцев. Вместе с тем современники обращали внимание, что авантюристки и проститутки использовали форму медсестры в корыстных целях, еще более дискредитируя и без того подпорченный образ. Переодевание проституток в медицинскую форму преследовало как минимум две цели: привлекало клиентов новомодной разрекламированной одеждой и позволяло временно поднять собственный социальный статус в своих глазах и глазах окружающих. В этом отношении характерно, что и некоторые рядовые солдаты незаконно присваивали себе офицерскую форму и навешивали на себя не причитавшиеся им медали. Весьма колоритную парочку заметил 1 марта 1915 г. в Петрограде прапорщик 347-й пешей Новгородской дружины Холодковский. Он обратил внимание на неизвестного нижнего чина в какой-то странной форме с двумя Георгиевскими крестами и в сопровождении сестры милосердия весьма подозрительного вида. На требование офицера предъявить удостоверение на право ношения Георгиевских крестов нижний чин сказал, что он в комендантском управлении, а когда офицер пригласил его следовать за ним в комендантское, то последний сорвал с себя кресты и бросил их в снег. При удостоверении личности задержанный нижний чин оказался добровольцем Гаврилом Матвеевым, а бывшая с ним сестра милосердия оказалась женщиной легкого поведения[1]. Проститутки в форме сестер милосердия ревностно охраняли свои территории. В декабре 1915 г. в Москве на Тверской проститутка Козельская набросилась на женщину-доброволицу Белобородову, которая в шинели и с Георгиевской медалью прогуливалась вместе с вольноопределяющимся. Козельская, по всей видимости, приняла ее за свою конкурентку[2].

На общей волне помощи фронту форма медсестры помогала собирать пожертвования, поэтому в разных уголках империи появлялись женщины-мошенницы, наживавшиеся на благотворительности. Однако наиболее «отважные» дамы шли еще дальше и помимо образа медсестры присваивали себе имена великих княжон. В форме медсестры сойти за Ольгу Николаевну или Татьяну Николаевну было куда легче. «Саратовский листок» приводил резонансную историю похождений крестьянки Елизаветы Базарновой, которая выдавала себя за великую княжну Ольгу Николаевну и в одежде сестры милосердия собирала пожертвования на военные нужды. Базарнова предпочитала «работать» в небольших деревнях, заранее отправляла в сельские управы

---

[1] РГВИА. Ф. 1352. Оп. 1. Д. 1988. Л. 67—67 об.

[2] Саратовский листок. 1915. 2 декабря.

телеграммы о высочайшем визите, но в конце концов в мае 1915 г. была арестована в колонии немецких переселенцев Голом Карамыше. Первые подозрения в адрес самозванки возникли, когда она приехала в колонию не на автомобиле, а в таратайке на земских лошадях. Встречавшие «княжну» голокарамышинцы решили, что это фрейлина из свиты, и не последовали за Базарновой. Авантюристка же поднялась в управление, представилась, после чего ее отвели обедать. За обедом опять возникли подозрения, так как Базарнова даже не сняла пыльное пальто. После обеда самозванка решила поговорить с народом, во время чего продемонстрировала свое косноязычие, а позже выяснилось, что она и писать не умеет[1]. Поволжские немцы разоблачили самозванку и выдали властям.

Вероятно, самой известной, широко освещенной столичной печатью и вместе с тем неоднозначной стала история девушки с «обязывающей» к самозванству фамилией Романова. Согласно «Записке о происшествиях по г. Гатчино» от 26 февраля 1915 г. предыдущим днем в 6 часов 30 минут вечера постовой городовой площади станции вокзала Горин передал по телефону, что на станцию ожидается приезд ее императорского высочества великой княжны Татьяны Николаевны, для чего уже открыты и освещены императорские комнаты. Однако у гатчинского полицмейстера возникли сомнения в приезде великой княжны, и на станцию для проверки был отправлен околоточный надзиратель Щипин. Но Щипин прибыл с опозданием и узнал, что «княжна» уже уехала на извозчике с отставным генерал-майором Львовым. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что именующая себя великой княжной 23 февраля прибыла из Варшавы, остановилась в Петрограде в гостинице, где для прописки предъявила билет на имя сестры милосердия Варшавского госпиталя Аглаиды Дмитриевны Смирновой. Около 3 часов дня, уходя из гостиницы, заявила, что едет в Гатчино. В Гатчинском госпитале девушка была задержана и при допросе заявила, что она дочь генерал-лейтенанта Дмитрия Ивановича Смирнова, замужем за подпоручиком 24-й Сибирской бригады Николаем Дмитриевичем Смирновым; что она, Смирнова, в декабре 1914 г. была ранена в ногу (по заключению врача, у нее действительно имеется поверхностная рана, но ранение это не похоже на ранение от ружейной и шрапнельной пули), а в январе 1915 г. контужена в голову. Местом своего постоянного проживания Смирнова называла Томск, но сообщила, что с объявлением войны была на передовых позициях[2]. В ходе допроса у присутствовавшего старшего врача Гатчинского госпиталя возникли сомнения относительно умственных способностей Смирновой, а также ввиду разноречивости ее показаний было решено продолжить расследование, и девушку отправили в распоряжение начальника

---

[1] Саратовский листок. 1915. 9 мая; 29 ноября.
[2] ГА РФ. Ф. 1с/97. Оп. 4. Д. 36. Л. 1—1 об.

Петроградской сыскной полиции, где и была раскрыта вся правда: девушка оказалась дочерью крестьянина Тверской губернии Еленой Федоровной Романовой шестнадцати лет. Проживала она вместе с родителями в Петрограде, где ее отец держал мелочную лавку. Елена Романова сестрой милосердия никогда не была, но трижды убегала из дома, последний раз родители сообщили о ее побеге в Сыскную полицию 3 февраля. Во время побегов Романова останавливалась у знакомых в Петрограде, а также разъезжала по городам Петроградской губернии. При Романовой нашли ломбардные квитанции и три женских пальто, ей не принадлежавших.

После раскрытия личности Елена рассказала собственную версию произошедшего. Она сообщила отцу, что поступила на службу в Царскосельский госпиталь, и отец, желая удостовериться в правдивости слов дочери, решил проводить ее до места службы. Но на вокзале девушка скрылась от отца и встретилась со знакомой сестрой милосердия Сокольской, служившей во втором дворцовом госпитале имени императрицы Марии Федоровны, и вместе с ней уехала в Царское Село. Сокольская передала Романовой форму медсестры, после чего последняя явилась на перевязочный пункт при Варшавском вокзале, где работала пять дней и там же ночевала. На вокзале она познакомилась с дочерью солистки императорских театров Варварой фон Дервиз, переехала к ней жить и начала посещать лазарет имени фон Дервиз на 10-й линии Васильевского острова. Уйдя оттуда, вернулась на Варшавский вокзал, сняла номер в гостинице и, пробыв там три дня, отправилась в Гатчину. Доехав до станции Александровская, Романова сошла с поезда и встретила двух сестер милосердия — Колтышеву и Дебякину, которые и подкинули ей идею назваться великой княжной Татьяной Николаевной, отправиться в Гатчинский лазарет, затем вернуться в Петроград, познакомиться с богатой дамой, взять у последней побольше денег и уехать в Варшаву, где ей следовало найти Колтышеву и Дебякину, которые за эти деньги обещали устроить ее под видом вольноопределяющейся в какой-нибудь полк. Именно Колтышева и Дебякина наняли для Романовой лучшего извозчика, сказав ему, что он везет великую княжну, который опять довез ее до станции Александровская, где ее встретил начальник вокзала, посадил в вагон второго класса (первого в поезде не было), высадив предварительно из купе всех пассажиров, и отправил в Гатчину. В поезде Романова познакомилась с генералом Львовым и по прибытии на конечную станцию вместе с ним отправилась в Гатчинский госпиталь, где и была задержана.

Из показаний отца Елены Романовой следовало, что в детстве девочка несколько раз падала и сильно ушибалась, вследствие чего у нее случались частые и сильные головокружения. После начала войны у Елены появилась идея бежать на фронт, а потом она раздобыла форму сестры милосердия и несколько раз убегала из дома. При этом неоднократно жаловалась на свое положение

и мечтала быть богатой и знатной. Федор Романов попросил выдать ему Елену и обязался лечить ее от психического расстройства. Полиция вернула девушку в семью, однако спустя несколько дней возбудила уголовное дело против нее по факту кражи золотого кольца и привлекла к административной ответственности за сокрытие своего звания, имени и отчества при задержании[1].

Однако история на этом не закончилась, она перешла в медийную плоскость, где стала обрастать мелодраматическими и детективными подробностями. 1 марта 1915 г. в «Вечернем времени» появилась статья, предлагавшая свою версию произошедшего. Романова в ней была представлена опытной авантюристкой, обиравшей богатых дам, а героем детективной истории был назначен Ораниенбаумский полицмейстер Г. М. Ветлугин (вероятно, сообщивший корреспонденту подробности этой истории), который якобы и разоблачил аферистку:

> Несколько времени назад в городе Ораниенбауме появилась в форме сестры милосердия, с георгиевской лентой на груди, молодая красивая девушка. «Сестрица» начала объезжать дома местных богачей и под тем или иным благовидным предлогом брала взаймы на некоторое время различные суммы. В некоторых местах после визита «сестрицы» была обнаружена недостача кой-каких вещей. О похождениях таинственной «сестрицы», якобы лишь на днях возвратившейся с передовых позиций и участвовавшей во многих боях, стало известно местному полицмейстеру Г. М. Ветлугину. Заподозрив неладное, он отдал распоряжение установить за «сестрицей» негласный надзор. Узнав о том, что за ней следят, «сестрица» исчезла из Ораниенбаума и появилась в Петрограде. Здесь она также начала посещать преимущественно семьи офицеров, главы которых находятся на войне, и, рассказывая разные небылицы, либо брала взаймы, либо совершала кражи. Довольно часто «сестрицу» можно было видеть в магазинах гвардейского экономического общества, где она также брала взаймы у находившихся там в качестве покупателей офицеров, заявляя, что либо у нее утащили портмоне с деньгами, либо, что она забыла дома свой кошелек. Два дня назад «сестрица» появилась в Гатчине, где начала обходить различные лазареты. В одном из лазаретов «сестрицу» почему-то приняли за очень высокопоставленную особу. Администрация лазарета поспешила по телефону уведомить должностных лиц о том, что в лазарет прибыла и обходит палаты высокопоставленная особа. Немедленно же туда помчались различные администраторы. Увидав, за кого ее принимают, аферистка решила продолжить свою роль и, милостиво отвечая на поклоны различного начальства, продолжала обход палат. Затем, поблагодарив за образцовый порядок, аферистка села в поданный экипаж и, провожаемая начальством, отбыла на вокзал для следования в Петроград. О прибытии важной «сестры» на вокзале все были уведомлены и соответствующим образом

[1] ГА РФ. Ф. 1с/97. Оп. 4. Д. 36. Л. 7, 30 об., 37 об.

> она была встречена и там. В вагоне первого класса аферистка отбыла из Гатчины. В то же самое время ораниенбаумский полицмейстер Ветлугин, получив сведения о различных похождениях «сестрицы» в Петрограде, решил принять самые энергичные меры к ее задержанию и дал срочные телеграммы по всем ближайшим станциям железных дорог об установлении наблюдения за проезжающей девушкой в форме сестры милосердия с георгиевской лентой. В телеграмме указывались самые подробные ее приметы. Когда гатчинский поезд, в котором следовала в качестве важной сестрицы аферистка, прибыл в Петроград, один из жандармов, находившийся на перроне и только что получивший копию телеграммы ораниенбаумского полицмейстера, увидя вышедшую из салон-вагона сестрицу, опознал в ней ту самую, которую разыскивает полицмейстер Ветлугин. Немедленно же сестрица была задержана и препровождена в жандармское управление.

Спустя три дня появилось продолжение истории в статье под названием «Похождения самозванной сестрицы». Очевидно, у журналиста появились новые сведения из полиции, так как добавился сюжет о сообщницах-медсестрах Давыдовой и Чебякиной (имелись в виду Колтышева и Дебякина), которые сами готовили в Гатчине крупную аферу в отношении богатой графини, но когда афера сорвалась, решили заслать в Гатчину Романову под видом княжны. Была также изменена концовка истории в Гатчинском лазарете: «В тот момент, когда обход уже близился к концу, в лазарет прибыл извещенный по телефону флигель-адъютант полк. Мордвинов. Зная отлично в лицо высокопоставленную особу, полковник Мордвинов немедленно же разоблачил самозванку. Произошла сцена, сильно напоминающая последний акт из „Ревизора“. Не выдержав роли, юная сестрица залилась искренним смехом. На смену высшего начальства в лазарет спешно прибыло вызванное по телефону начальство из местного участка. Уже под другим эспортом (так в оригинале вместо эскорта. — *В.А.*) и в вагоне 3 класса юную самозванку из Гатчины повезли в сыскное отделение. Доставленная в сыскное отделение, Романова подробно рассказала о всех своих похождениях. Установлено, что еще два месяца тому назад она пыталась неудачно совершить крупную аферу в одном из лазаретов в гор. Минске (это уже чистые фантазии автора статьи, который превращает Романову в аферистку всероссийского масштаба. — *В.А.*). Заведующим этим лазаретом, князем Ухтомским, она была уличена и после телеграфной переписки отправлена в Петроград. Производя дознание, чины сыскной полиции выяснили, что преступные наклонности у молодой девушки появились сравнительно недавно… (далее автор статьи добавляет истории мелодраматическую линию совращения малолетней в духе дешевой беллетристики. — *В.А.*). Миловидная наружность девушки привлекла к себе внимание одного из местных околоточных надзирателей. Он начал часто навещать молодую кассиршу. Знакомство быстро перешло в связь. В это время Романовой еще шел 16 год. Когда

девушка узнала, что о связи ее начали догадываться родители, она скрылась из дому. С этого момента и началось падение Романовой. Шатаясь бесцельно по улице, она познакомилась с различными проститутками, которые, пользуясь ее молодостью, начали ее во всю эксплуатировать. Вскоре девушка начала заниматься кражами, совершая их преимущественно в лазаретах. Удачи во всех ее подвигах еще более воодушевляли ее, и Романова начала задумываться о чем-то крупном, что заставило бы долго говорить о ней»[1]. В заметке говорилось, что после поимки Романова была выдана на поруки отцу, но «не успели девушку привести домой, как она, воспользовавшись удобным случаем, снова скрылась. По имеющимся сведениям Романова уже в минувшее воскресенье снова разыграла роль Хлестакова на Финляндском вокзале на вновь открытом пункте приема раненых. Как раз в этот день была привезена первая партия раненых, и на вокзал прибыло все петроградское начальство. Появление молодой сестрицы с георгиевской лентой на груди произвело сенсацию. Молодую девушку обступили, начали подробно расспрашивать, где и в каких боях она участвовала… Лишь на другой день, когда в сыскную полицию поступило заявление о побеге из дому Романовой, многие из лиц столичной администрации поняли, с какой „сестрицей“ они вели беседу. Пока розыски Романовой оказались безрезультатными». Концовка заметки оставляла читателям надежду, что рассказ о похождениях аферистки — сестры милосердия будет продолжен.

Однако медийная версия умолчала о реальной жертве этой истории — начальнике Александровской станции Дятлове, который был переведен на другую станцию (правда, без понижения оклада). Вина Дятлова состояла в том, что он вовремя не разоблачил самозванку. Фактически Дятлов был сделан «крайним» в этой истории. В вину ему была поставлена «нерасторопность». Вместе с тем начальник станции стал жертвой слухов нового времени, согласно которым княжны якобы самостоятельно разъезжали по лазаретам без надлежащего сопровождения. Упор на этих слухах сделала и сама Романова. Приехав на извозчике на станцию Александровскую, она отправилась в кабинет начальника вокзала, которого в тот момент в здании не было. Когда Дятлов вернулся, он столкнулся с весьма самоуверенной молодой особой, которая высказала возмущение, что ее не узнали, затем все-таки нехотя назвалась великой княжной и в приказной форме потребовала обеспечить ее проезд в Гатчину. Дятлов удивился, почему великая княжна путешествует одна, на что Романова заявила, что теперь времена другие, им с мамой можно ездить одним, а папе одному нельзя, его всегда должна сопровождать свита. Позже Дятлов признался, что нашел это объяснение правдоподобным: «Мне часто приходилось слышать, что великие княжны носят форму сестер милосердия и запросто посещают местные лазареты». Все еще сомневавшийся Дятлов вышел

[1] Вечернее время. 1915. 4 марта.

из вокзала, где столкнулся с извозчиком Назаровым, который подтвердил, что привез великую княжну. Это рассеяло сомнения начальника станции. Вместе с агентом дворцовой охраны и жандармским офицером Дятлов посадил Романову в поезд, после чего агент охраны вдруг выразил сомнение в том, что это настоящая княжна, так как Татьяна Николаевна была выше ростом. Дятлов спросил его: «Раз вы сомневаетесь, то отчего вы ее не поехали сопровождать?» — и получил ответ: «А может быть это и княжна, так как я не уверен, что это действительно не она»[1]. Дятлов тут же по телефону сообщил в Александровский дворец дежурному чиновнику об отправлении с поездом великой княжны и просил узнать, действительно ли это ее высочество. Через 15 минут последовал ответ, что Татьяна Николаевна находится во дворце. После этого Дятлов сообщил в Гатчину о самозванке. Можно только догадываться о том состоянии счастья, которое охватило Дятлова, когда он оказал услугу великой княжне, и том глубоком разочаровании, которое его охватило, когда выяснилось, что он стал жертвой аферистки и распространенных в обществе слухов о «похождениях» великих княжон.

История Елены Романовой показательна в том отношении, что оказалась на пересечении трех актуальных для ее времени дискурсов: криминального (печать представила ее воровкой-авантюристкой в духе историй о том, как форма медсестры помогала мошенницам под видом благотворительности обирать наивное население), психиатрического (в ее душевном здоровье усомнились врачи, чины полиции, да и отец частично подтвердил их опасения), патриотического (сама Елена делала упор на том, что стремилась ухаживать за ранеными и предполагала поехать на фронт), каждый из которых был характерным явлением эпохи Первой мировой войны и свидетельствовал о дискредитации образа сестры милосердия. Проститутка, авантюристка, сумасшедшая — вот те коннотации, которые сопровождали этот «патриотический» образ.

Таким образом, народные образы героев Первой мировой — солдата и медсестры — сильно отличались от тех образов героев из народа, которые навязывались патриотической пропагандой. На фоне конструирования патриотического мифа о святом русском воинстве поступавшая с фронта неофициальная информация создавала собственные, далеко не героические картины войны, в которых русские солдаты нередко представали мародерами, насильниками, убийцами, а сестры милосердия — проститутками, аферистками и сумасшедшими. Можно предположить, что народная фантазия прямо пропорциональна официальной мифологии: чем агрессивнее пропаганда пытается навязать массам те или иные символы, тем сильнее сопротивление массового сознания и его собственное творчество. В этом отношении народные образы являются антиобразами официальной пропаганды.

[1] ГА РФ. Ф. 1с/97. Оп. 4. Д. 36. Л. 22 об.

Государственная дума как символ: надежды и страхи общества и власти

Крушение официальных патриотических символов требовало их замены в массовом сознании на истинно народные. При этом не потерявшая актуальности тема борьбы с опасностью, как внешней, так и внутренней, предполагала институциональную базу нового символа, который мог бы олицетворять преодоление усугубленных войной противоречий. Таким объединяющим общество символом естественным образом становилась Государственная дума. Ее внеочередное заседание 26 июля 1914 г., как и сконструированное пропагандой «коленопреклонение стотысячной толпы на Дворцовой площади», прочно вошло в мифологию патриотического подъема лета 1914 г., при том существенном отличии, что относительно патриотизма большинства депутатов, в отличие от толп на организованных «союзниками» и полицией митингах, сомневаться не приходится.

Высочайший 20 июля 1914 г. указ о возобновлении занятий Государственной думы вселял в сердца депутатов надежду, что взаимоотношения верховной, исполнительной и законодательной власти в годы войны изменятся, поднимется статус представительного учреждения. М. Палеолог замечал, что созыв Думы 26 июля 1914 г., «который показался бы вполне естественным и необходимым в какой угодно другой стране, был истолкован здесь как обнаружение „конституционализма". В либеральных кругах за это благодарны, особенно императору, потому что известно: председатель Совета Горемыкин, министр внутренних дел Маклаков, министр юстиции Щегловитов и обер-прокурор Святейшего синода Саблер смотрят на Государственную думу как на самый низкий, не стоящий внимания государственный орган»[1]. Однако даже представители реакционных кругов декларировали начало нового этапа взаимоотношений власти и общества. Прозвучавшие в царском манифесте слова «да будут забыты внутренние распри, да укрепится еще теснее единение царя с его народом» для кого-то создавали иллюзию преодоления политических разногласий. Ярким символом-жестом стало рукопожатие бывших ярых противников — лидера правых В.М. Пуришкевича и лидера кадетов П.Н. Милюкова, о котором сообщили многие газеты. Черносотенная «Земщина» посвятила этому жесту заметку под заголовком «Между членами Гос. Думы забыта рознь», добавив, что Милюков также пожал руку и Н.Е. Маркову[2].

И.Л. Горемыкин 26 июля в стенах Таврического дворца давал повод предположить, что заседания Государственной думы будут проходить чаще и степень ее участия в государственных делах возрастет: «Законодательные учреждения

---

[1] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 61.

[2] Земщина. 1914. 27 июля.

должны знать, что и впредь они будут досрочно созываемы, если по чрезвычайным обстоятельствам это будет признано необходимым. На вашу долю, господа, выпала великая и ответственная задача быть выразителями народных дум и народного чувства… В эту торжественную историческую минуту я от имени правительства призываю вас всех, без различия партий и направлений, проникнуться заветами Царского манифеста: да будут забыты внутренние распри»[1]. Депутаты, очевидно, были польщены речами министров правительства. О полном доверии к Думе говорил министр иностранных дел Сазонов: «Правительство с горячим доверием обращается к вам, народным избранникам, убежденное, что в вашем лице отражается образ нашей великой родины, над которой да не посмеются наши враги»[2].

Соответственно и народные избранники выражали в порыве патриотических чувств доверие правительству. Вместе с тем некоторым рефреном звучали и прошлые критические замечания, хотя они и были заметно приглушены новой патриотической риторикой. Первым 26 июля 1914 г. выступал А. Ф. Керенский, который от имени фракции трудовиков выразил уверенность, что «великая стихия российской демократии вместе со всеми другими силами дадут решительный отпор нападающему врагу», хотя при этом вставил в свои слова туманную фразу об освобождении в итоге страны «от страшных внутренних пут». Керенский выразил и претензию, что «власть наша даже в этот страшный час не хочет забыть внутренней распри: не дает она амнистии боровшимся за свободу и счастье страны, не хочет примириться с нерусскими народностями… и вместо того, чтобы облегчить положение трудящихся классов народа, именно на них возлагает главную тяжесть военных издержек, усиливая бремя косвенных налогов»[3]. Вслед за Керенским от лица социал-демократов Хаустов также обвинил правительства всех воюющих стран в развязывании войны, но при этом выразил уверенность, что «пролетариат, постоянный защитник свободы и интересов народа, во всякий момент будет защищать культурные блага народа от всяких посягательств»[4]. П. Н. Милюков солидаризировался с двумя первыми ораторами, заявив, что «никакие внешние обстоятельства не могут изменить» позиции партии, но высказал уверенность, что «в эту минуту всех нас слишком глубоко захватили другие вопросы, и иная задача, грозная и величественная, стоит перед нами и повелительно требует немедленного разрешения», «каково бы ни было наше отношение к внутренней политике правительства, наш первый долг — сохранить нашу страну единой и неделимой… Отложим же внутренние споры, не дадим врагу ни малейшего повода

[1] Стенографический отчет заседания Государственной Думы, созванной на основании Высочайшего указа Правительствующему Сенату от 20 июля 1914 г. СПб., 1914. Стб. 8.

[2] Там же. Стб. 11.

[3] Там же. Стб. 19.

[4] Там же. Стб. 19.

надеяться на разделяющие нас разногласия»[1]. Тем самым даже оппозиционно настроенные депутаты озвучили готовность на время забыть о своих претензиях и выдали правительству и верховной власти определенный кредит доверия. Однако власть распорядилась этим кредитом весьма своеобразно. Вопреки обещаниям постоянного сотрудничества с Думой на практике оказалось, что Дума была не «досрочно созываема», а «досрочно распускаема», что как раз таки провоцировало внутренние распри и не позволяло Думе выполнять свою миссию.

Противоречия верховной власти и Думы имели глубокую, системную природу. Прежде всего они вытекали из саморепрезентации верховной власти как самодержавной и противодействия императора реформаторским инициативам «снизу». В последние десятилетия в исторической литературе распространяется апологетика личности Николая II[2]. Несмотря на критику специалистов[3], встречаются попытки представить последнего царя чуть ли не главным реформатором в России. Так, С. В. Куликов приписывает личной инициативе Николая II практически все главные преобразования конца XIX — начала XX в., включая и столыпинскую аграрную реформу, игнорируя вынужденный характер уступок, личное противодействие царя ряду реформаторских проектов, а также нежелание менять самодержавную форму правления[4]. Именно последнее обстоятельство становилось важным фактором назревания внутриполитического кризиса и главным противоречием «думской монархии».

Самодержавная природа власти была закреплена в Основных государственных законах Российской империи: «Императору Всероссийскому принадлежит Верховная Самодержавная власть» — сообщала статья 4[5]. При этом противоречие сохранения самодержавия при действующем парламенте и принятых Основных государственных законах должно было сниматься разделением «власти верховного государственного управления», принадлежавшей императору нераздельно, и «власти законодательной», принадлежавшей императору, Государственному совету и Государственной думе. Учитывая широкие права

---

[1] Там же. Стб. 24, 25.

[2] Вероятно, одним из самых известных апологетов выступает П. В. Мультатули, который, несмотря на наличие ученой степени кандидата исторических наук, высказывает откровенно антинаучные конспирологические идеи, подменяя анализ исторических источников подгонкой фактов под заранее сформулированные идеологизированные выводы, в основе которых лежат монархические взгляды автора. По ряду вопросов с Мультатули солидаризируются В. М. Лавров, Л. А. Лыкова и др. Следует заметить, что на историографические настроения в некотором роде повлияло решение РПЦ о причислении царской семьи к лику страстотерпцев.

[3] См., например: *Ганелин Р. Ш.* Первая мировая война и конец Российской империи: Февральская революция. Т. 3 Февральская революция. СПб., 2014. С. 38–41; *Шубин А. В.* Конспирологи о причинах Февральской революции // Историческая экспертиза. 2014. № 1. С. 75–99.

[4] *Куликов С. В.* Император Николай II как реформатор: к постановке проблемы // Российская история. 2009. № 4. С. 45–60.

[5] Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т. XXVI. 1906. Отделение I. СПб., 1909. С. 457.

императора, в том числе по досрочному прекращению сессии и созыву Думы, самоличного принятия указов, утверждения законов, а также констатации того, что император в единении с Государственным советом и Думой осуществляет законодательную власть, область «верховного государственного управления» представляла существо самодержавия и включала в себя законодательную функцию лишь как один из подчиненных элементов.

Однако многие депутаты думали иначе и полагали, что в России сформировалась ограниченная (дуалистическая) монархия с основными ее признаками: двухпалатным парламентом и Конституцией в лице Основных государственных законов. В пространстве политических символов началась своеобразная эквилибристика, когда представители власти и либерально-демократической общественности интерпретировали Основные законы на свой лад. Представители либерального лагеря пытались объяснить парадокс «самодержавия в условиях парламентаризма», понимая под первым не более чем суверенитет. Представители власти попросту отрицали существование парламента в России. Еще 24 апреля 1908 г. министр финансов В.Н. Коковцов во время дискуссии с П.Н. Милюковым, говорившим о создании парламентской комиссии в Думе, бросил фразу: «Слава Богу, парламента у нас нет!», на что бурным рукоплесканием отреагировал один из лидеров правых В.М. Пуришкевич. Милюков же настаивал, что есть не только парламент, но и Конституция в виде Основных государственных законов.

Примечательно, что накануне войны, 12 июля 1914 г., на заседании Совета министров Николай II предложил лишить Государственную думу законодательного статуса и сделать ее законосовещательным органом, что должно было поставить точку в разногласиях о существе политического строя империи, но большинство министров высказалось против этого. Конфликт Государственной думы и верховной власти также был предопределен, как ни парадоксально, спецификой «патриотического настроения» 1914 г. В период «патриотической эйфории» части общества летом 1914 г. звучали восторженные голоса о начале новой эпохи сотрудничества представительного учреждения с правительством и верховной властью. 25 июля появился слух о том, что «Москва намерена просить настоящей конституции, и тогда она обещает положить все средства и силы для выигрыша начатой войны»[1]. И депутаты, и представители высшей власти говорили о единении царя с народом, однако смотрели на это единение под разными углами: власть надеялась на полную лояльность Думы к своей политике и предоставление карт-бланша по наиболее актуальным вопросам, депутаты же, наоборот, рассчитывали на уступки со стороны власти, расширение деятельности общественных организаций. 15 сентября 1914 г. на обеде в московском «Эрмитаже» П.Н. Милюков заявил, что «настоящая война

---

[1] *Городцов В.А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 28.

открывает новую эру для русского общества, когда оно снова может приступить к социальному строительству, что теперь общество не может и не должно обрекать себя на пассивное отношение к общественным вопросам»[1].

В августе распространились слухи, перепечатанные газетами, что вскоре будет опубликован указ, касающийся целого ряда льгот в правовом положении инородцев в России. Со ссылкой на главноуправляющего землеустройством А.В. Кривошеина сообщалось, что «этот указ будет представлять собой нечто схожее с манифестом 17-го октября»[2]. Но надежды не оправдались. Как верно заметил В.М. Шевырин, «призыв царя к единению, прозвучавший в манифесте 20 июля 1914 г., был, в сущности, лишь призывом к смирению верноподданных. „Единение" с высоты престола виделось как забвение прошлого лишь со стороны общества»[3].

В начале ноября 1914 г. начальник московского охранного отделения А. Мартынов передавал, что в Петрограде в интеллигентских кругах возникла идея подготовки всеподданнейшего адреса в результате несбывшихся ожиданий: «После известного исторического заседания Государственной Думы в общественных кругах царила твердая уверенность, что правительство ответит на патриотический подъем каким-нибудь либеральным актом. После воззвания верховного главнокомандующего к полякам со дня на день ожидали подобного же акта в отношении евреев и финляндцев. Затем настойчиво стали говорить об амнистии и вообще о ряде мер, направленных к „примирению с обществом". Когда все эти ожидания не сбылись, в радикальных кругах общества стало возрастать раздражение, сперва глухое, а в последнее время все более острое и явное»[4]. Предполагалось, что в адресе будет указано на безотлагательную необходимость созыва Государственной думы и привлечение общественности к обсуждению важных вопросов, на пагубность реакционной политики. Обсуждалось, что адрес будет передан императору либо лично председателем Думы М.В. Родзянко, либо объединенной делегацией представителей Всероссийского земского союза и Всероссийского союза городов. Однако составлению и передаче адреса воспрепятствовали сохранявшиеся надежды на либерализацию политики власти. Под влиянием «оптимистических» настроений в ноябре появились слухи, что 6 декабря будет опубликован «особый высочайший акт, в котором выражена будет благодарность народу за патриотические воодушевления и жертвы и вместе с тем будут даны некоторые обещания или даже конкретные указания о новом курсе внутренней политики»[5].

---

[1] Буржуазия накануне Февральской революции… С. 2.

[2] Минский голос. 1914. 6 августа.

[3] *Шевырин В.М.* Сотрудничество и борьба: власть и общественные организации в годы Первой мировой войны // Россия и современный мир. 2015. № 1. С. 100.

[4] Буржуазия накануне Февральской революции… С. 2–3.

[5] Там же. С. 3.

Тем не менее реальные шаги властей указывали на неизменность их представлений о месте общественных сил в политической жизни России. Символичным стало появление в августе 1914 г. нового национального флага, совмещавшего императорский штандарт с триколором, что олицетворяло единение общества и власти, и последовавший уже в сентябре царский запрет на его использование на официальных мероприятиях и в праздничные дни. Осенью прозвучали первые тревожные нотки: аресты В.Л. Бурцева и пятерых депутатов от социал-демократической фракции. В августе 1914 г. В.Л. Бурцев, проживавший в эмиграции во Франции и получивший известность благодаря разоблачениям тайных агентов-провокаторов Департамента полиции (Е.Ф. Азефа, Р.В. Малиновского и др.), объявил о поддержке российского правительства в войне с Германией: «Теперь, когда Россия стала лицом к лицу с могущественным врагом, когда все народы, ее населяющие, как один человек, откликнувшись на призыв борьбы с Германией, не может быть и речи о какой бы то ни было национальной, политической или общественной розни. Я еду в Россию, спокойный за свою судьбу»[1]. Однако Бурцев, поддавшись эмоциям, сильно переоценил свою безопасность: при переходе границы он был арестован, а в январе 1915 г. за ряд революционных довоенных публикаций, содержавших прямые оскорбления императора и призывы к его свержению, приговорен к ссылке. Арест пятерых депутатов-большевиков, принявших участие в сходке в Озерках 2–4 ноября 1914 г., стал еще одним симптомом неправомерности массовых ожиданий. Департамент полиции и Охранное отделение не готовы были прощать депутатам-большевикам их роль в рабочих беспорядках начала июля 1914 г. Причем, согласно донесениям охранки, именно депутат социал-демократической фракции А.Е. Бадаев, опубликовавший в газете «День» «заведомо лживую картину о жестоком подавлении 1 июля полицией рабочих забастовок, что якобы он лично сам видел убитых, раненых и более ста арестованных, над которыми издевалась полиция», спровоцировал дальнейшую волну протеста: «Появление подобных статей произвело на рабочую массу исключительное по силе и результатам впечатление; читая означенные измышления… рабочие донервировались до крайней степени, результатом чего и начались массовые забастовки и уличные выступления»[2]. После ареста Бадаева, Петровского, Самойлова, Шагова, Муранова, 12 ноября 1914 г. на некоторых фабриках и заводах имели место случаи нарушения порядка, отказа от работ. На заводе Русского общества для изготовления снарядов и военных припасов (бывший Парвиайнен) 1050 человек отказались приступать к работам и разошлись в знак протеста против ареста депутатов по домам, однако охранка все эти события сочла

[1] Искры. 1915. № 30. 2 августа.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 123. Д. 108. Ч. 61. Л. А. Л. 25 об.

«незначительными»[1]. Правда, хотя было отмечено, что «громадное большинство» рабочих не проявило сочувствия к демонстрациям в поддержку арестованных депутатов, более выраженно свою политическую позицию проявили студенты. Громче всего это удалось учащимся Петроградского университета: «12 ноября. В 12½ часов дня в главном коридоре Университета близ 9 аудитории состоялась летучая сходка, по окончании которой толпа студентов прошла по всему коридору с пением революционных песен, после чего часть студентов пыталась сорвать лекции профессоров Грибовского, Введенского, и Жилина, но, благодаря противодействию со стороны академистов, лекции эти были прочитаны до конца, причем профессора доканчивали свои лекции при страшном шуме и криках студентов; в двух аудиториях были разбиты стекла. После перерыва в 1 час 30 минут дня в 9 аудиторию, где читал лекцию профессор Мигулин, ворвалась толпа студентов и потребовала прекращения чтения лекции, причем в окне аудитории было разбито несколько стекол; бывшие в аудитории академисты бросились к входным дверям и начали теснить демонстрантов. После этого ректор Университета распорядился ввести в здание наряд полиции»[2]. Помимо Университета, сходки студентов состоялись в Психоневрологическом, Политехническом институтах, на Высших женских курсах.

Нарушение принципа неприкосновенности депутатов воспринималось актом агрессии власти в отношении Думы, поэтому в определенных кругах общества с тревогой ожидали последствий этого конфликта. Издатель и редактор журнала «Новый экономист» П. П. Мигулин 12 декабря 1914 г. так описывал общественные настроения: «Положение теперь таковое: Государственную думу очень боятся. Хотели бы ее созвать самое большее на три дня, а еще лучше на один день. Есть серьезное течение отложить созыв даже до февраля. Боятся запросов, обструкции со стороны социал-демократов»[3].

Власти опасались ответных шагов депутатов, однако даже кадеты предпочитали не обострять отношений с правительством. В январе 1915 г., накануне открытия третьей сессии Государственной думы, кадеты на совещании членов центрального и петроградского комитетов партии в Петрограде обсуждали целесообразность оппозиционных выступлений от имени партии в Думе и, в частности, постановки вопроса о неприкосновенности депутатов в связи с арестом пятерых социал-демократов, В. Л. Бурцева и пр. Однако было решено «ни в коем случае не делать от имени партии оппозиционных выступлений, так как это, по общему мнению, произвело бы в широких кругах неблагоприятное впечатление и скомпрометировало бы партию»[4]. При этом отмечалось,

[1] Там же. Л. 30.
[2] Там же. Л. 33.
[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1001. Л. 2046.
[4] Буржуазия накануне Февральской революции… С. 5.

что запросы на эти темы могут быть предъявлены трудовиками, и кадеты тогда должны будут к ним присоединиться.

До начала процесса над социал-демократами часть населения верила, что арестованные депутаты были изменниками, но вскоре стало ясно, что власти продолжают проводить прежний курс в отношении левой оппозиции, к тому же грубо нарушая независимость Думы вопреки надеждам на всеобщее единение и оставление прежних обид. В печати зазвучали ноты разочарования действиями власти. В «Вестнике Европы» профессор юридического факультета Санкт-Петербургского университета В. Кузьмин-Караваев писал: «Когда в ноябре прошлого года были арестованы пять членов Государственной Думы, принадлежавшие к большевистскому крылу фракции социал-демократов, с этим арестом связывались толки о раскрытии если не изменнической организации, то, во всяком случае, попытки совершения изменнических действий. Эти толки имели подтверждение и в официозных сообщениях. Но при судебном рассмотрении дела, которое происходило 10–13 февраля, обнаружилось, что в действиях судившихся членов Думы, а также их соучастников по процессу, не было и тени измены. Отпали даже все намеки, имевшие, или, вернее, предполагавшиеся в данном отношении. Предметом суждения была принадлежность подсудимых к сообществу, предусмотренному ст. 102 уголовного уложения. В этом только деянии они признаны виновными и за него приговорены к ссылке на поселение»[1].

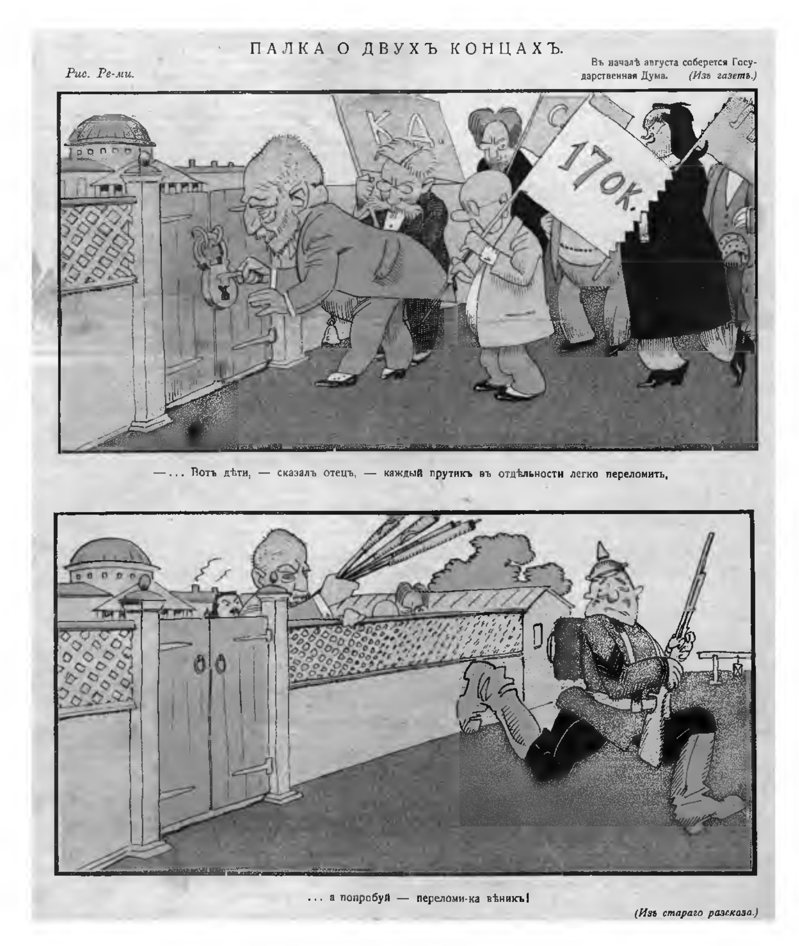
Показательно, что председатель Совета министров И. Л. Горемыкин предлагал перевести дело о пятерых депутатах под юрисдикцию военного суда, что могло означать вынесение смертного приговора, но, если верить В. Ф. Джунковскому, он отговорил от этого главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, указав, что будет неправильным дать повод говорить о том, «что правительство поступило недостойно, воспользовавшись военным положением, чтобы избавиться от враждебно настроенных к нему депутатов»[2]. Однако и без того высылка депутатов подорвала авторитет властей.

Третья сессия Думы открылась 27 января 1915 г. и, приняв государственный бюджет, закрылась спустя два дня. Полноценные заседания начались только на четвертой сессии, начавшейся 19 июля и распущенной императором 3 сентября. Несмотря на уже подпорченные ожидания единения власти и общества, городские слои надеялись, что открытие Думы вдохнет новую жизнь в дело внутренней и внешней обороны. Наивные ожидания граждан выразил художник Ре-Ми в карикатуре «Палка о двух концах», на которой М. В. Родзянко раздал П. Н. Милюкову, Н. С. Чхеидзе, Н. Е. Маркову 2-му прутики с партийными флагами, после чего, сложив все прутики вместе, прогнал подошедшего к Таврическому дворцу немца (ил. 165).

---

[1] Вестник Европы. 1915. № 3. С. 369.

[2] *Джунковский В. Ф.* Воспоминания. Т. 2. С. 525.



Ил. 165. Ре-Ми. Палка о двух концах // Новый Сатирикон. 1915. № 27. Обложка

На период четвертой сессии пришлось наиболее резонансное и непосредственно связанное с Думой событие: создание Прогрессивного блока. Четвертая сессия интересна произошедшим сближением Государственной думы и правительства. С началом войны Совет министров оказывается в двойственном положении: с одной стороны, он принимает множество постановлений в перерывах между думскими сессиями, с другой — эти постановления касаются мелких вопросов, «законодательной вермишели», так как реальная власть смещается в Царское Село и Ставку, вследствие чего, как справедливо отметил К. А. Соловьев, «все чаще „отказывали“ прежние алгоритмы принятия решений. При этом сохранялись и даже обострялись проблемы довоенных лет. Теперь в еще большей степени, чем раньше, сказывалась дисперсность российской „политической элиты“»[1]. Попыткой преодоления этой дисперсности в мае

[1] *Соловьев К. А.* Взаимодействие Совета министров и представительных учреждений России в годы Первой мировой войны // Российская история. 2014. № 5. С. 54.

1915 г. стала инициатива главноуправляющего землеустройством и земледелием А. В. Кривошеина по обновлению состава правительства путем включения в него представителей общественности. По сведениям П. Н. Милюкова, князя В. Н. Шаховского, Кривошеину также принадлежала идея создания Прогрессивного блока[1]. Впрочем, если точны записи помощника управляющего делами Совета министров А. Н. Яхонтова, то Кривошеин в августе 1915 г. предлагал подумать о роспуске Государственной думы, считая, что она «зарывается, обращает себя чуть ли не в учредительное собрание и хочет строить русское законодательство на игнорировании исполнительной власти»[2]. Очевидно, что ясного понимания принципов взаимодействия исполнительной и законодательной власти в создавшихся условиях в правительстве не было. При этом отдельные министры, как, например, кн. Н. Б. Щербатов, были готовы идти на диалог с представительным учреждением только для того, чтобы «снять с одного правительства всю ответственность… и разделить ее с Государственною Думою»[3]. Министр внутренних дел сообщал, что, согласно донесениям, «через два-три дня после роспуска Думы неминуем взрыв повсеместных беспорядков». Распространявшиеся в Петрограде слухи о грядущем роспуске Думы заставляли бастовавших рабочих требовать неприкосновенности парламента, что укрепляло отдельных министров во мнении о связи рабочих беспорядков с действиями депутатов. Колебания по поводу досрочной отправки парламента на каникулы также были вызваны опасениями, высказывавшимися, в частности, министром народного просвещения гр. П. Н. Игнатьевым, что Дума может отказаться прерывать сессию и продолжит заседать, пойдя тем самым на прямую конфронтацию с исполнительной властью и монархом. А. А. Хвостов на заседании Совета министров передавал слухи, что П. Н. Милюков якобы хвастает, что в день роспуска Думы он нажмет на кнопку и начнутся беспорядки[4]. Позиция Игнатьева и Хвостова показывает, что они сильно переоценивали степень революционности Думы, которая даже 27 февраля 1917 г. формально подчинилась указу о роспуске (но создала Временный комитет под видом «частного совещания»).

Следует отметить, что и внутри Прогрессивного блока не было единых представлений о путях развития России. В августе происходила некоторая радикализация депутатов, красноречивым примером чего могут послужить

---

[1] *Соловьев К. А.* Взаимодействие Совета министров и представительных учреждений России в годы Первой мировой войны // Российская история. 2014. № 5. С. 54.

[2] *Яхонтов А. Н.* Тяжелые дни… С. 72. В первоначальных записях А. Н. Яхонтова в реплике Кривошеина вместо учредительного собрания стоит термин «конвент» и дается характеристика думским настроениям как «общий психоз» (Совет министров Российской империи в годы Первой мировой войны. Бумаги А. Н. Яхонтова. СПб., 1999. С. 221).

[3] *Яхонтов А. Н.* Тяжелые дни… С. 102.

[4] Совет министров Российской империи в годы Первой мировой войны. Бумаги А. Н. Яхонтова. СПб., 1999. С. 243.

взгляды прогрессивного националиста А.Н. Брянчанинова. В августе 1914 г. он пропагандировал «народный, а не придворный монархизм»[1], а ровно через год ратовал за «национальную революцию» (которая и должна была реализовать принцип народного монархизма): «Революция — такая, какую я предвижу, какой я желаю, — будет внезапным освобождением всех сил народа, великим пробуждением славянской энергии. После нескольких дней неизбежных смут, положим, даже месяца беспорядков и паралича, Россия встанет с таким величием, какого вы у нас не подозреваете. Вы увидите тогда, сколько духовных сил таится в русском народе», — говорил он Палеологу[2]. Теория Брянчанинова о «национальной революции», которую он противопоставлял «социалистической (классовой) революции», явилась реакцией на страх перед предательством «немецкой партии», с одной стороны, и социалистической агитацией — с другой. Впрочем, такие крайние и абсурдные мысли не были свойственны большинству депутатского корпуса, хотя в целом и характеризовали состояние умов общественности. В отличие от периода «патриотической эйфории» лета 1914 г., летом 1915 г. депутаты часто критиковали Совет министров. Депутат-кадет В.А. Маклаков противопоставлял гипотетическое правительство «общественного доверия» действовавшему «правительству общественного недоверия».

27 августа 1915 г. государственный контролер П.А. Харитонов провел частную встречу министров с представителями Прогрессивного блока, на которой обсуждалась программа депутатов относительно правительства. Министры отметили, что Блок не настроен революционно и готов к компромиссам, хотя и признали наличие взаимного недоверия. По итогам встречи некоторые министры — Харитонов, Кривошеин, Сазонов, Игнатьев, — не отказываясь от решения скорейшей отправки Думы на каникулы, заявили на заседании Совета министров о готовности поддержать идею формирования нового правительства «общественного доверия», при условии что инициатива будет исходить от императора[3].

Несмотря на поддержку проекта о правительстве «общественного доверия» рядом министров, 3 сентября 1915 г. Николай II прерывает сессию Государственной думы[4], а затем из правительства выводятся министры, делавшие ставку на союз с общественностью. Надежды на преодоление политического кризиса и объединение власти и общества очередной раз оказались иллюзиями.

---

1 Новое звено. 1914. № 33. С. 4.

2 *Палеолог М.* Дневник посла… С. 342.

3 *Яхонтов А.Н.* Тяжелые дни… С. 125.

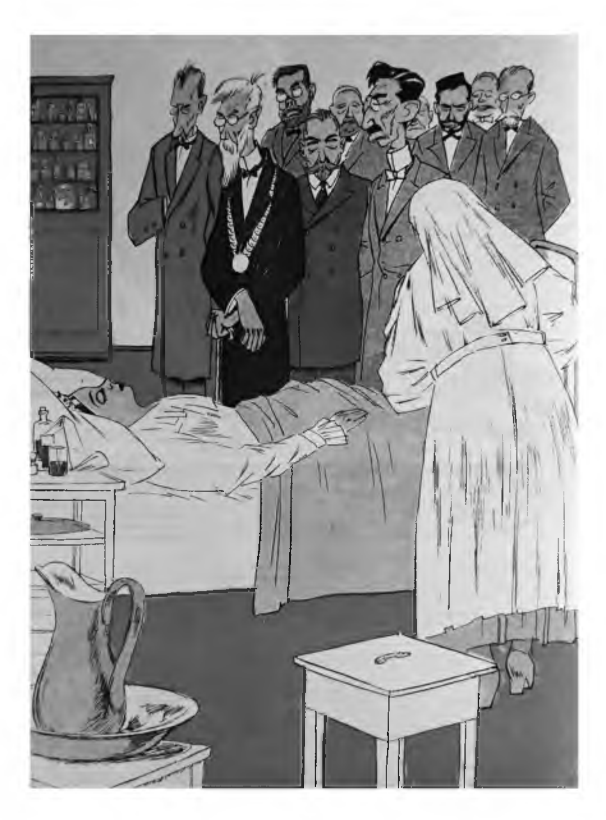
4 Николаем II были заранее подписаны указы о прерывании сессии Государственной думы и переданы председателю Совета министров И.Л. Горемыкину с тем, чтобы он сам проставлял необходимые даты роспуска, однако в создавшихся условиях, учитывая возникшую оппозицию внутри правительства, председатель Совета министров отправился к императору за августейшей санкцией.

В обществе известия об отправке депутатов на каникулы были встречены достаточно болезненно. Описывая ситуацию, современники часто использовали слова «роспуск», «разгон» Думы, выражая свои подсознательные страхи перед возможной ликвидацией парламента. Можно отметить, что члены правительства также периодически путали слова «разгон» и «перерыв в сессии» во время обсуждения вопроса о Думе в конце августа 1915 г. С.Д. Сазонов, выступая против досрочной отправки парламента на каникулы без предварительной встречи с депутатами, использовал термин «разгон», на что получил замечание от И.Л. Горемыкина: «Речь идет не о разгоне, а о перерыве до ноября». «Дело не в форме, а в существе или, вернее, в политическом впечатлении от правительственного акта»,— парировал министр иностранных дел[1].

Впечатление от прерывания сессии Думы оказалось удручающим. Московские обыватели в частных письмах отмечали, что роспуск Думы вызвал «угнетенные и подавленные настроения»[2]. «Ко всем мерзостям присоединилась еще одна — это роспуск Государственной Думы. Есть афоризм: „когда господь захочет наказать, так отнимет разум“. Ведь это какая-то свистопляска на вулкане. Этому негодяю Горемыкину, наверно, это так не пройдет»,— писал офицер из Петрограда 7 сентября 1915 г.[3] О том же рассуждали в Тифлисе, дополняя общую картину слухами о готовящихся верхами провокациях с целью заключения сепаратного мира: «Смена командования армиями, роспуск Государственной думы — признаки весьма зловещие, особенно последнее событие. Для того, чтобы распустить Гос. Думу в такое время, нужно абсолютное отсутствие ума, любви к родине. Очевидно, в верхах убедились, что война проиграна, что, следовательно, нужно спасать свою шкуру, а для этого необходимо создать соответствующую атмосферу. Нужно провокациями вызвать беспорядки с тем, чтобы заключить позорный мир, умыть руки и сказать: беспорядки, забастовки не дали нам возможность уничтожить врага, пеняйте, мол, на Гос. Думу, рабочих инородцев и т.д.»[4]

Рост общественного недовольства прерыванием сессии приводил к росту подозрительности властей к общественным организациям. 7–9 сентября 1915 г. в Москве прошли съезды Всероссийского союза земств и Всероссийского союза городов, на которых главным вопросом значилось «О задачах политического момента»[5]. Николай II в телеграмме Горемыкину назвал представителей съездов «самозванцами»[6]. Совет министров в сентябре 1915 г. также склонен был демонизировать общественные организации, в частности на заседаниях

[1] *Яхонтов А.Н.* Тяжелые дни... С. 106.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1014. Л. 705.
[3] Там же. Л. 702.
[4] Там же. Л. 706.
[5] *Шевырин В.М.* Земский и городской союзы (1914–1917 гг.) Аналитический обзор. М., 2000. С. 31.
[6] Совет министров Российской империи... С. 269.



Ил. 166. М. Диков. Москва в положении // Будильник. 1915. № 41. С. 4

министры Щербатов, Сазонов и Кривошеин воспроизводили слухи (и верили в них), что Земский союз создает свою собственную армию с 300 бронированными автомобилями[1]. Власть и общество оказывались во власти искаженных слухами образов.

Осенью карикатура выражает обеспокоенность тем положением, в котором оказались общественные силы России. Рисунок М. Дикова изображал Москву в образе умирающей больной, у постели которой столпились бессильные ей помочь общественные деятели (ил. 166).

Резонансной реакцией на роспуск Думы со стороны представителей депутатов стала статья В. А. Маклакова «Трагическое положение», в которой автор описывал политическую ситуацию через образ несущегося по узкой горной дороге автомобиля, за рулем которого сидел неумелый шофер. Маклаков поднимал вопрос, стоит ли вырывать руль у этого шофера, рискуя сорваться в пропасть, или необходимо дождаться момента, когда автомобиль минует опасный участок дороги. И хотя Маклаков предлагал второе решение, сама постановка вопроса, общий тон статьи выглядели почти революционно. В зависимости от настроений и степени собственной оппозиционности читатели в образе «безумного шофера» узнавали премьер-министра И. Л. Горемыкина или даже самого Николая II (в письмах депутатов этого периода именно

[1] Там же. С. 271.

Горемыкин упоминался в качестве «злого гения», поэтому наиболее вероятным «прототипом» шофера выступает председатель Совета министров).

Показательно, что массовое сознание городских слоев в целом верно оценивало мотивы и дальнейшие перспективы действий властей — в материалах перлюстрации за сентябрь 1915 г. отразились слухи о готовящемся наступлении на общественные организации и об увольнении министров, выступавших за союз с Думой[1]. Слухи иногда довольно точно предсказывали развитие дальнейших событий. 2 сентября «Новое время» комментировало возможность роспуска парламента: «В связи с возвращением из Ставки И. Л. Горемыкина в обществе усиливаются слухи о предстоящем на днях роспуске Государственной Думы. Мы отказываемся верить этим сведениям, откуда бы они ни исходили, и считаем их злостной попыткой внести смуту в общественные настроения в момент, когда внутренний мир дороже стране, чем когда-бы то ни было»[2]. 3 сентября о том же писали «Русские ведомости»: «Слухи о предстоящем роспуске Думы продолжают служить главной темой, приковывающей к себе внимание печати... Чувство тревоги, вызываемое этими слухами, объединяет органы печати, существенно разнящиеся между собой по политическому направлению»[3].

Реакционная пресса, наоборот, не скрывала своего торжества. На протяжении июля — августа «Земщина», используя антисемитскую риторику, нападала на Прогрессивный блок, обвиняя его в том, что он пользуется трудным внутренним положением ради собственных корыстных интересов. После прерывания сессии Думы член Русского собрания и Союза русского народа С. К. Глинка-Янчевский опубликовал статью «Неотложные меры», в которой выразил характерное для реакционных кругов «понимание» разногласий «государственников» («русских людей») и «общественников» («жидов») по проекту «правительства общественного доверия»: «Так русские люди и жиды признают, что война требует сильной власти, пользующейся доверием. Но русские люди желают, чтобы сильной была власть, оставленная Царем, т. е. та власть, которой Он доверяет. Жиды-же признают, что только та власть может быть сильной, которая ими будет поставлена и которой они доверяют... Напомню тот исторический факт, что все государственные перевороты совершались при безволии правительства и при содействии свихнувшихся царедворцев (намек на «группу Кривошеина». — *В. А.*)»[4].

Расхождение взглядов на роль Думы обнаруживается в Совете министров. Так, Горемыкин был уверен, что депутаты провоцируют рабочие беспорядки, а Прогрессивный блок создан для захвата власти в стране. Сазонов возражал председателю: «Я держусь иного мнения и считаю, что в дни величайшей войны отметать общественные элементы недопустимо, что надо единение всех

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1033. Л. 1505.
[2] Новое время. 1915. 2 сентября.
[3] Русские ведомости. 1915. 3 сентября.
[4] Земщина. 1915. 6 сентября.

слоев населения… Я нахожу, что нам нужно во имя общегосударственных интересов, этот блок, по существу умеренный, поддержать. Если он развалится, то получится гораздо более левый. Что тогда будет? Кому это выгодно? Во всяком случае не России»[1]. Император поддержал Горемыкина, а в сентябре — октябре 1915 г. отставку получили Щербатов, Сазонов, Кривошеин. Власть постепенно демонстрировала обществу, что «единение» может происходить лишь на этатистской основе.

В январе 1916 г. министры (Хвостов, Трепов, Барк) признавали, что внутриполитическая ситуация ухудшилась и необходимо идти на более тесный контакт с Думой. Причем в случае готовности Думы к компромиссам допускался созыв бессрочной сессии[2]. Однако в итоге сессию решили все же ограничить. В начале 1916 г. В. Кузьмин-Караваев подводил промежуточные итоги взаимоотношений власти и общества, выстраивая некую не лишенную наивности динамику общественных настроений. На первом этапе начало войны привело к замене эгоистических устремлений патриотическими и воцарению внутреннего мира, символом которого стало рукопожатие Милюкова и Пуришкевича. В обстановке надежд и твердой веры в победу был встречен 1915 г., но с весны подъем пошел на убыль. «Каждый новый день и каждый новый шаг во внутренней политике показывали, что власть понимает лозунг „все для войны“ исключительно в смысле моральной обязанности общества беспрекословно исполнять ее желания и требования», — писал автор. Образование военно-промышленных комитетов и деятельность земского и городского союзов отразили новый этап воодушевления общественных сил. Образование Прогрессивного блока вызвало всеобщий вздох облегчения, но он жизни не получил, а Дума была распущена. «А потом, — продолжал В. Кузьмин-Караваев, — как по мановению, зашевелились „истинно-русские“ союзники, со дня объявления войны спрятавшиеся было по своим мрачным углам… Сейчас от внутреннего мира остались только следы. В средних политических слоях разрушить его до конца пока еще не удалось»[3].

Ограничивая компетенции Государственной думы, досрочно прерывая ее сессии, верховная власть на фоне усугублявшегося социально-экономического и политического кризисов, распространявшихся слухов о массовом предательстве в верхах превращала Государственную думу в символ некоего сопротивления, поднимала ее престиж в глазах широкой общественности. Современники начинали наделять Думу не характерными для ее реального институционального положения признаками. Так, в журнале «Будильник» еще накануне открытия четвертой сессии 12 июля 1915 г. появилась карикатура Д. Моора, изображавшая Таврический дворец как ощетинившийся пушками броневик, мчавшийся на вражеские позиции (ил. 167). За его рулем

[1] *Яхонтов А.Н.* Тяжелые дни… С. 107.
[2] Совет министров Российской империи… С. 312–313.
[3] *Кузьмин-Караваев В.Д.* Вопросы внутренней жизни // Вестник Европы. 1916. № 1. С. 412–417.

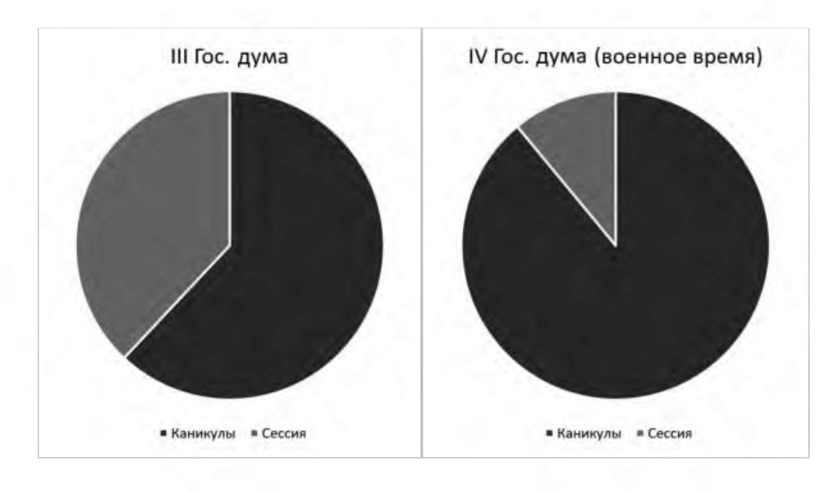

Ил. 167. Д. Моор. На позиции! // Будильник. 1915. № 28. Обложка

располагался М.В. Родзянко, по обе стороны от него — П.Н. Милюков и князь Г.Е. Львов. Зрителям оставалось додумать, на какие именно позиции, внешнего или внутреннего фронта, несется бронемашина. Д. Моору было свойственно скептическое отношение к Государственной думе. К открытию следующей сессии в 1916 г. он сравнивает ее с маскарадом.

Многие понимали, что у Думы не было реального ресурса переломить ситуацию в свою пользу. Ограничиваемая императором в своей работе, она могла лишь с запозданием реагировать на те или иные политические события. Из 950 дней Первой мировой войны — с 19 июля 1914 г. по 23 февраля 1917 г. — IV Государственная дума в сумме проработала всего 103 дня. Тем самым процент рабочих дней за этот период составил 10,8%. Для сравнения: этот же коэффициент у III Государственной думы равнялся 38%, а у довоенных сессий IV Государственной думы — 32,4%. Тем самым за годы Первой мировой войны Дума собиралась в три раза реже, чем до войны (ил. 168). Конечно же, депутаты и общество в целом не могли не отреагировать на такое существенное снижение статуса и роли представительного учреждения, вследствие чего вопрос о полномочиях Думы становился фактором социально-политического кризиса. В.В. Шелохаев, К.А. Соловьев, В.М. Шевырин отмечают, что радикализация либеральной общественности в 1916 г. носила вынужденный характер, при этом многие оппозиционные деятели осознавали свое бессилие и, упустив «руководство событиями», вели лишь «словесную борьбу с правительством»[1].

В глазах широких слоев авторитет Думы рос обратно пропорционально падению престижа высшей власти. В сентябре — октябре 1916 г. в столице

[1] *Шевырин В.М.* Сотрудничество и борьба… С. 118; *Шелохаев В.В., Соловьев К.А.* Российские либералы о Первой мировой войне… С. 193.



Ил. 168. Работа Государственной думы в мирное и военное время

усиливается рабочее движение, растет недовольство населения продовольственной ситуацией. Начальник петроградского губернского жандармского управления в октябре 1916 г., незадолго до открытия той сессии Государственной думы, которая была прозвана «штурмовым сигналом революции», признавал, что «грозный кризис уже назрел и неизбежно должен разрешиться в ту или иную сторону. Характерным подтверждением изложенному может служить и отмечаемое сейчас в массах населения особо встревоженное настроение. К началу сентября месяца сего года среди самых широких и различных слоев столичных обывателей резко отметилось исключительное повышение оппозиционности и озлобленности настроений. Все чаще и чаще начали раздаваться жалобы на администрацию, высказываться резкие и беспощадные осуждения правительственной политики. К концу означенного месяца эта оппозиционность настроений, по данным весьма осведомленных источников, достигла таких исключительных размеров, каких она, во всяком случае, не имела в широких массах даже в период 1905–1906 гг.»[1] Таким образом, революционные настроения сложились в широких слоях общества в межсессионный период, Дума не имела прямого отношения к революционизации общества, созревавшей в условиях распространявшейся хозяйственной разрухи, на фоне «министерской чехарды», однако, справедливо считая себя выразителем народных дум, нижняя палата российского парламента считала своим долгом озвучивать царившие в массах настроения. Это было особенно важно, если учесть цензурную политику властей, при которой периодическая печать лишалась возможности критиковать власть. В результате депутаты брали на себя функции средств массовой информации, и общество жадно следило по газетам за речами, раздававшимися в стенах Таврического дворца. При этом большинство депутатов, за исключением представителей социалистических фракций, негативно относились к перспективе революции.

[1] Буржуазия накануне Февральской революции… С. 129.

В сентябре — октябре 1916 г. в донесениях, сводках петроградского и московского охранных отделений отмечалось, что кадеты рассчитывают, что в условиях надвигающейся революции власти будут вынуждены ради собственного спасения пойти на союз с Думой. Оппозиционная риторика кадетов не означала, что они жаждут революции, наоборот, в некотором роде это было предостережение, адресованное властям в надежде на более тесное сотрудничество. Не случайно Палеолог сказал, что Милюков — не оппозиция его величеству, а оппозиция его величества. Вместе с тем в петроградском жандармском управлении отмечалось, что среди кадетов есть и пессимисты, выражавшие «сомнения в том, чтобы правительство могло согласиться на кадетских министров и полную ломку давнишнего направления внутренней политики» и критиковавшие своих товарищей за то, что «кадеты надеются на свои силы и на свое влияние в стране более, чем следует»[1]. При этом Шингарев, Александров и другие полагали, что до «революции осталось всего лишь несколько месяцев, если только таковая не вспыхнет стихийным порядком гораздо раньше». Многие современники утратили надежды на достижение компромисса между Думой и правительством. Депутат от Томской губернии кадет А. А. Дутов писал домой в октябре 1916 г.: «Трудно сейчас сказать, что нас ожидает. Дума с правительством, которое сейчас у власти, работать не может. Поэтому она или добьется смены многих министров, или же ее распустят. Во всяком случае, время сейчас тревожное и что-то будет впереди — мы не знаем — но, должно быть, что-то серьезное»[2].

Открывшаяся 1 ноября 1916 г. пятая сессия в целом оправдала тревожные ожидания современников — речи депутатов звучали резче обычного, и кадеты, призывавшие в начале 1915 г. не делать оппозиционных заявлений от лица партии, теперь оказались чуть ли не главными возмутителями спокойствия. Однако даже в открывавшей первое заседание речи председателя М. В. Родзянко содержались осторожные намеки на политическую ситуацию, уточнявшиеся выкриками с места. Так, Родзянко говорил: «Первейшей обязанностью Государственной Думы должна быть спокойная и тщательная оценка положения и немедленное устранение того (голос слева: не того, а кого), чего быть не должно и что мешает стране достигнуть единой намеченной цели… Правительство не может идти путем, отдельным от народа… Вне этого пути идти нельзя и уклонение от него лишь может задержать успех и отдалить победу (Голоса слева: долой их, пусть уйдет правительство)»[3]. Первым из депутатов внеочередное слово получил Гарусевич, сделавший заявление от имени польского кола по поводу объявленной Германией независимости Царства Польского, указав, что это стало шагом к насильственной германизации польского

[1] Буржуазия накануне Февральской революции… С. 135.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1058. Л. 839.
[3] Стенографический отчет. Государственная дума. Четвертый созыв. Сессия V. Пг., 1916. Стб. 3–4.

народа. Следующие выступления депутатов были посвящены внутриполитическому положению. Депутат Шидловский от группы прогрессивных националистов, группы центра, фракции земцев-октябристов, фракции Союза 17 октября и фракции Народной свободы заявил, что «деятельность правительства за истекший год создавала серьезные препятствия успешному ходу борьбы» за правое дело. Шидловский обратил внимание на перемены общественных настроений и призвал к смене правительства: «Недоверие к власти сменилось чувством, близким к негодованию. Население не верит, чтобы могло быть неясным правительству то, что ясно для него самого. Население ищет объяснений таких действий, которые, создавая внутренние затруднения, служат на пользу врагу и, не находя их, готово верить самым чудовищным слухам. Такое состояние умов уже само по себе представляет чрезвычайную опасность… Печать взята в тиски. Цензура давно перестала быть военной и занимается охраной несуществующего престижа власти… Во имя достижения той великой национальной задачи победы над врагом, которая побудила большинство сплотиться и поддерживать даже не пользующуюся его сочувствием власть, мы решительно заявляем, что лица, дальнейшее пребывание которых во главе управления грозит опасностью успешному ходу нашей национальной борьбы и которые вызывают к себе открытое недоверие, должны уступить место лицам, объединенным одинаковым пониманием задач переживаемого момента и готовым в своей деятельности опираться на большинство Государственной Думы и провести в жизнь его программу»[1].

Шестым, пропустив Шидловского, Чхеидзе, Левашова, Керенского и Балашева, выступал Милюков. Именно его речь оказалась наиболее резонансной, вызывавшей в обществе различные толки и подделки в течение того времени, что власти опасались ее публиковать. Милюков в своем выступлении признавался, что обвинения, которые он вслед за иностранной и русской прессой повторил в адрес Штюрмера и К°, основаны не на подтвержденных объективных фактах, а на «инстинктивном голосе всей страны и ее субъективной уверенности». В этом заключался пропагандистский замысел — открыто перейти на язык уличных эмоций, впустить «улицу» в стены Таврического дворца и тем самым подчеркнуть единство Думы и определенных слоев общества, показав властям, что далее игнорировать общественное мнение нельзя. При этом важно подчеркнуть, что приводившиеся Милюковым слухи об измене в верхах не передавали и десятой части того, о чем говорили в стране, по сравнению с народным пространством политических слухов выступление Милюкова было довольно «беззубым», но не типичным для стен Таврического дворца. Пока выступление лидера кадетов не было опубликовано, слухи приписывали ему, помимо нападок на Штюрмера и правительство в целом, оскорбительные

[1] Там же. Стб. 11–13.

выпады в адрес императрицы. Повторявшийся рефреном вопрос: «Что это, глупость или измена?», распространенный в обывательской среде в предшествующий период, зазвучал с новой силой, будучи поставленным с думской кафедры.

2 ноября газеты вышли с белыми полосами вместо обзоров первого дня заседания Думы. Колонка «Вечернего времени» «В Таврическом дворце» была заполнена лишь на треть, причем содержала располагающую к домысливанию фразу «выступления А.Ф. Керенского и П.Н. Милюкова сделали думский день ярким и значительным», после чего следовала очередная белая полоса[1]. На следующий день белых полос стало еще больше. В ноябрьском номере «Будильника» появился рисунок Д. Моора, на котором мужики рассматривали чистый газетный лист. Один из них говорил: «Очень я газетину с Государственной Думой люблю — свернешь цыгарку и краской не пахнет»[2]. 3 ноября М. Палеолог записал в дневнике: «Позавчера цензура запретила прессе публиковать или комментировать нападки Милюкова на Штюрмера. Но текст речи Милюкова пересказывался в общественных кругах, и эффект от речи оказался еще большим, поскольку каждый вносил свою лепту в преувеличении фразеологии выступления Милюкова и в добавлении к нему собственных разоблачений»[3]. 29 ноября власти все-таки позволили опубликовать оригинальный текст речи, и среди современников она вызвала некоторое разочарование своей относительной «невинностью»: «Сегодня в „Русском слове“ напечатана речь Милюкова… При всей резкости речи Милюкова нельзя, однако, найти в ней (она все-таки с пропусками) такого места, где он мог бы упоминать об императрице — о чем кричат все», — писал Л.А. Тихомиров[4]. П.Н. Милюков в достаточно осторожных выражениях, со ссылкой на немецкие газеты упомянул о слухах о засилье в России «немецкой партии». Императрица была упомянута лишь однажды, в цитате из немецкой газеты, однако именно этот факт, а также ее соседство с перечислявшимися «предателями» создавал известную пикантность: «Я вам называл этих людей — Манасевич-Мануйлов, Распутин, Питирим, Штюрмер. Это та придворная партия, победою которой, по словам „Нейе Фрейе Прессе“, было назначение Штюрмера: „Победа придворной партии, которая группируется вокруг молодой Царицы“»[5].

По сравнению с выступавшими до него А.Ф. Керенским и Н.С. Чхеидзе речь Милюкова была менее «революционной». Впрочем, и речи социалистов казались многим беззубыми по сравнению с тем, что давно уже открыто говорили обыватели. Слушательница московских женских курсов писала в Читу 11 ноября 1916 г.: «Мне удалось прочесть речи Милюкова, Шульгина

[1] Вечернее время. 1916. 2 ноября.
[2] Будильник. 1916. № 47. С. 5.
[3] *Палеолог М.* Дневник посла…
[4] Дневник Л.А. Тихомирова… С. 311.
[5] Стенографический отчет. Государственная дума. Четвертый созыв. Сессия V. Пг., 1916. Стб. 45.

и Керенского. Право, я не нашла в них ничего такого, что давало бы повод их не выпускать. Там говорилась лишь та правда, что мы, смертные, не редко высказывали в четырех стенах»[1].

Тем не менее из-за действий цензуры общественное воображение включилось в творческую гонку по сочинению речей, которые обыватели хотели услышать от депутатов. По всей России стали выходить альтернативные тексты депутатских выступлений. В Саратове губернатор издал распоряжение, предусматривавшее наказание за распространение фальсифицированных речей. Обыватели недоумевали: «Не проще ли вместо этого познакомить население с настоящими речами?»[2]

Следующей по популярности после выступления Милюкова шла речь меньшевика Н.С. Чхеидзе, которую распространяли распечатанной на машинке среди рабочих, а также из-под полы продавали газетчики по огромной цене — 10–25 рублей. Начальник Охранного отделения по Москве сообщил, что сначала «речь» Чхеидзе ходила в интеллигентских кругах, но затем проникла в рабочую среду, причем предварительно была размножена в одной из легальных типографий. В ее распространении подозревали студентов Московского коммерческого института. У одного из них, Якова Андреева, нашли два рукописных экземпляра текста со множеством помарок, исправлений и вставок[3]. «Речь» обнаруживалась в разных городах Московской губернии. Среди москвичей ходил такой ее вариант: «Господа Члены Государственной Думы Вы только что выслушали заявления как прогрессивного блока, так и его отдельных членов Мил., Шидл., Шульгина (следует заметить, что в реальности Чхеидзе выступал перед Милюковым и Шульгиным. — *В.А.*) и наверное достаточно утомлены. Но я буду краток. Мое внимание обращено выше, чем внимание г. Милюкова. Смешно толковать о работах и о их наказаниях, когда виновник всего господин остается свободным и безнаказным… А здесь в стенах государственной Думы, где каждое слово должно быть ударом молота по наковальне, кующем новую жизнь сотни слов бросаются на ветер. Господину Милюкову мало сказать: Штюрмер изменник, он подходит к этой фразе со всевозможной стороны и не устает повторять одно и тоже. Едва-ли кто назовет его после этого хорошим оратором. Господа, вся страна вот уже ½ года не ложится и не встает без этого ненавистного имени Штюрмера. А кто такой Штюрмер. Это птичка, грамофон, перепевающий слова певца. А кто певец 1, я думаю вы все знаете. Он смотрит сейчас на все мертвыми глазами (указывает на портрет государя). (страшный шум справа, громкие аплодисменты слева и на скамьях прогрессистов голос Маркова-2го „На виселицу эту сволочь", звонок председателя). Да, господа, у нас принято думать, что все самое тяжелое ложащееся на страну

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1047. Л. 30.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1066. Л. 1662.
[3] ГА РФ. Ф. 97. Оп. 1. Д. 51. Л. 172–173.

непосильным гнетом исходит из таких называемых „сфер". Но это ошибочно. Не сферы виноваты в том, что народ дохнет от голода, а вот в ком немецкая кровь принцев Голштинских… Удалите его и вся Россия Вас благословит… Но мало удалить Царя, надо убрать всю его семью. Я приведу Вам несколько фактов, которые говорят сами за себя. Ведь ни для кого ни секрет, что молодая царица — деятельная помощница планам Вильгельма и первоклассная шпионка (аплодисменты слева, несколько правых покидают зал. Марков удивленно шипит). Не секрет, что Государь жаждет неблагополучного конца войны. 5 месяцев тому назад Великий князь Петр Александрович ездил в Берлин для переговоров о мире и только искусное вмешательство Сазонова перемешало карты, за что Сазонов и был изгнан. Вот, г.г., какая семья стоит во главе мировой державы. Вы проиграете войну, если не прогоните эту семью в ссылку (шум справа, многие вскакивают и бросаются к трибуне с кулаками, председатель лишает слова Чхеидзе). На трибуну входит Маклаков»[1].

Как видим, автор этого сочинения не отличался особым воображением и весьма примитивно подделал речь социал-демократа. Согласно массовым слухам, все тяготы войны объяснялись изменой немецкой партии, возглавляемой императором и императрицей, при этом автор фальшивки выступал против заключения сепаратного мира, настаивая на продолжении войны до победы. Подлинная речь Н.С. Чхеидзе была не столь краткой, занимала восемь листов машинописного текста. В ней депутат последовательно коснулся международного и национального вопроса, продовольственной ситуации и в конце подошел к главному требованию — требованию мира без аннексий и контрибуций: «Мы требуем, господа, ликвидации этой ужасной войны, мы требуем, господа, мира. Но какого мира, господа? Мира заключенного дипломатами безответственными? Никогда. Мира заключенного вот может быть г. Штюрмером с Кайзером. Мы никогда на такой мир не согласимся… Господа, мы требуем мира, который был бы выражением воли всех воюющих народов, мы требуем, господа, мира, который получился бы в результате координации сил всей демократии, мы требуем, господа, мира без насильственной аннексии, без насильственного присоединения. Только такой мир, господа, может создать условия для свободного самоопределения национальностей»[2]. Завершал свое выступление Чхеидзе почти неприкрытым призывом поддержать революцию: «Наступила пора и очень решительная минута, когда надо, господа, быть с народом против этого правительства или с этим правительством против народа… Во всяком случае, господа, мы скажем в первую очередь долой правительство. Да здравствует правительство, которое получится в результате народной борьбы за власть (рукоплескания слева. Голос справа: это призыв к революции)»[3].

---

[1] ГА РФ. Ф. 97. Оп. 1. Д. 51. Л. 174 — 174 об.
[2] Там же. Л. 178 об. — 179.
[3] Там же. Л. 180.

При изучении ноябрьской корреспонденции обывателей складывается впечатление, что современников в общем-то не особенно интересовали истинные речи депутатов, они сами знали, о чем должны были говорить в Думе, учитывая общую обстановку. Поэтому каждый интерпретировал думские речи на свой собственный лад, додумывая их за авторов. Крестьянин Тверской губернии писал депутату-кадету А.И. Шингареву 14 ноября 1916 г., успокаивая его тем, что и неопубликованные речи все равно доходят до их деревни, если в них звучит «правда Божия»: «Голос славных депутатов в день открытия Государственной думы достиг до нашей глухой деревни. Для правды Божией нет никаких границ и препятствий. Все что делается в стенах Таврического дворца известно и без печати, несмотря на всю строгость цензуры»[1].

Речи Керенского и Чхеидзе, в которых звучали призывы к миру, больше всего коррелировали с настроениями широких слоев общества, уставших от войны. В то же время позиция либеральных и правых партий, настаивавших на продолжении войны до победного конца, провоцировала рост новых слухов. В частности, осенью 1916 г. появились слухи, что из-за нехватки солдат, требующихся для продолжения войны, будут призывать сорока- и пятидесятилетних. Крестьянин М. Новиков из села Лаптево Тульской губернии писал об этом В.А. Маклакову 17 ноября 1916 г., обвиняя кадетов в потворстве политике уничтожения людей: «Здесь ходят упорные слухи о возможности призыва от 45 до 52 лет. Видимо, поддерживаемые вами и вашей фракцией истребительные лозунги для продолжения никому не нужного безумия войны, не остановятся на 45-летних, а придется еще и приносить жертвы и все только ради удовлетворения какого-то самолюбия небольших групп властолюбцев… В думских кругах царит бодрое настроение — прочел я в газетах… Но в народе нет этого бодрого настроения: ни песни, ни веселого смеха, а уныние, тоска и безысходное горе»[2]. В конечном счете в Милюкове начинали подозревать представителя тех же «темных сил», каковыми считали Штюрмера и Ко. В декабре в армии говорили: «Дума научилась „разговоры разговаривать“, а только не верю я этим „голосам народа“… Ох, и врут же они нахально, что народ хочет воевать „до конца“. Теперь все говорят про „темные силы“, но я, право, думаю, что эти „темные силы“ напускают темноту на народ и не только Штюрмеры и Ко, но и Милюковы и Ко, у которых завязался такой пылкий роман с Англией. Вся эта публика, которая орет изо всех сил, что будет воевать „до конца“, имеет понятие о войне только из газет»[3]. Тем самым психологическая атмосфера, определявшаяся усталостью от войны, предопределяла будущий успех социалистических партий, а кадеты в случае сохранения своих позиций по войне обрекались на политическое поражение, что в конечном счете и произошло в 1917 г.

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1047. Л. 37.
[2] Там же. Л. 51 об.
[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1064. Л. 1470.

Сложно переоценить общественное значение открытия пятой сессии. В докладе петроградского Охранного отделения говорилось, что «Дума в своем нынешнем составе еще недавно считалась левой прессой и демократическими кругами „черносотенной“, „буржуазной“, „собранием прихвостней Горемыкина“ и пр. Заседание 1 ноября 1916 г. заставило широкие массы более доверчиво отнестись к Думе, в которой вдруг сразу увидели „лучших избранников народа“, „представителей Всея Руси“ и пр.»[1]. В ноябре 1916 г. в «Новом Сатириконе» была опубликована красноречивая карикатура А. Радакова «Апоплексическое сложение», изображавшая семейную ссору престарелого супруга-бюрократа с молодой женой — Думой. Бюрократ говорил: «Замечательно: как только ты начинаешь сердиться — ты краснеешь!» Тем самым Дума превращалась в «красную бабу — Россию», олицетворявшую приближающуюся революцию.

Ограничение работы Государственной думы усиливало ее оппозиционность и делало центром притяжения общественного внимания. В силу психофизиологических особенностей больше других возбуждалось студенчество. Слушательница высших женских курсов писала из Москвы: «Последние дни все нервно настроены. События в думе служат центром внимания… Куда ни пойдешь — одни разговоры. На курсах все время идут обсуждения создавшегося положения. Делимся друг с другом мнениями. Заботы о рефератах, подготовки к экзаменам кажутся слишком ничтожными, чтобы о них сейчас думать… Сегодня газеты принесли новость — отставку Штюрмера. Вполне логическое последствие того, что было сказано по его адресу в Думе»[2]. В письме некий Борис из Москвы в Саратов описывал схожие настроения: «До последних дней почти все время проводил за учебниками, готовясь к декабрьским экзаменам. Хотя я не бросаю это делать и теперь, но, вследствие общей политической атмосферы последних дней, которая особенно сильно чувствуется здесь в Москве и проявляется положительно везде, где только встречается несколько человек и начинают о чем-то говорить, выдерживать „учебный дух“ стало чрезвычайно трудно. И в частных кружках, и в организациях только и разговоров, что о думских речах, которые разошлись по всей Москве и дальше, и построение выводов на них… По слухам, в Саратове настроение в общем такое же, как и здесь»[3].

Нервозные настроения и чувство неопределенности были свойственны и депутатам, которые сами плохо представляли, куда приведут демарши. Кулуарно они обсуждали слухи о том, что к Таврическому дворцу будут стянуты войска и Дума будет окончательно закрыта, обсуждали информацию о подготовке убийства П. Н. Милюкова, говорили о том, что осталось лишь два варианта: император распустит либо Думу, либо правительство и пр.[4] Депутат-кадет

---

[1] ГА РФ. Ф. 111. Оп. 5. 1917. Д. 669а. Л. 6.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1047. Л. 30.
[3] Там же. Л. 33.
[4] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1064. Л. 1401; Д. 1058. Л. 891, 899.

В.В. Лашкевич, когда шел в Думу 2 ноября, был уверен, что она уже закрыта[1]. Член Государственной думы М. Воронков писал 30 ноября 1916 г.: «Неопределенность сидеть в Питере. Есть такое предположение, что каждая фракция запретила своим членам разъезжаться по домам. Последние дни передавали слухи о возможности образования общественного кабинета, но теперь все меньше и меньше верят. Положение действительно напряженное, в верхах какие-то комбинации назревают, но об истинных намерениях ничего неизвестно. Упорно говорили, что предполагается высокоторжественное совместное заседание Думы и Совета в присутствии государя»[2]. В тот же день депутат А.Я. Тимофеев делился со своим адресатом схожими мыслями: «Отечество наше в опасности… Кроме врага внешнего отечеству грозит злостный внутренний. Несмотря на открытое выступление Думы, Совета и даже дворян, — „Они“ не уступают. Положение жуткое и совершенно неопределенное»[3].

Погрязшую в слухах и сплетнях Думу изобразил в декабре 1916 г. А. Радаков. На его рисунке «Наша зоология» в образе летучей мыши под сводами Таврического дворца парил депутат П. Крупенский, который отличался тем, что «все время перепархивает от депутатов к министрам и обратно — со всеми шепчется и переносит туда и сюда разные вести и сплетни» (ил. 169).

За противостоянием правительства и Думы следили на фронте. В конце 1916 г. Департамент полиции составил отчет о настроениях в войсках по результатам наблюдений на Западном и Северном фронтах. Было отмечено противопоставление Совета министров и Государственной думы в пользу последней. Отрицательные отношения к правительству были распространены среди офицеров: «Ему ставится в вину подчиненность влиянию немецкой партии, нежелание считаться с нуждами страны, нежелание идти навстречу Государственной думе». Даже те офицеры, кто не одобрял резких высказываний депутатов Думы, «все же с ее существованием, с ее функционированием связывают успокоение страны и возможность благоустроить тыл. Газеты особенно жадно читались, когда Государственная дума функционировала. Говорилось, что в случае роспуска Государственной думы необходимость переворота будет признана самыми умеренными кругами общества». Среди рядового состава царили те же настроения: «К тому, что делается в Государственной думе, чутко прислушиваются и говорят, что только там можно услышать слова правды, но в то, что Государственная дума может что-то сделать — не верят. Возможность больших волнений в случае роспуска Думы вполне допустима»[4]. Перлюстрированная корреспонденция рисует более широкий разброс мнений о перспективах преодоления политического кризиса. В письмах с фронта звучали

---

1 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1059. Л. 904.

2 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1064. Л. 1403.

3 Там же. Л. 1405.

4 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 246. ДП-ОО. 1916. Д. 291. Л. 32–42.



Ил. 169. А. А. Радаков. Наша зоология // Новый Сатирикон. 1916. № 50. С. 8

как скептические ноты, так и надежды на то, что объединенные силы общественных организаций смогут переломить ситуацию в свою пользу и вынудить власть пойти на уступки. 13 декабря 1916 г. из действующей армии писали: «Теперь, когда Гос. Дума, и Гос. Совет, и Съезды, до дворянского включительно, заговорили общим языком, нужны только терпение да выдержка»[1]. А. Б. Асташов обратил внимание на то, что в солдатских письмах к концу 1916 г. резко возросло комплиментарное упоминание Государственной думы, при том что пропорционально этому сократилось упование на бога.

Дума — во многом вынужденно, в условиях наступления власти на общественные организации — приняла на себя роль рупора народного гнева, и общественность в этом ее поддержала, предоставив определенный кредит доверия. Московское охранное отделение сообщало о разогнанном полицией 9 декабря 1916 г. собрании уполномоченных губернских земств, которое успело

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1066. Л. 1663.

единогласно принять резолюцию по политическому моменту. В ее тексте содержались не менее резкие высказывания о правительстве, чем звучали в Государственной думе: «С небывалым одушевлением произнесла Россия свой приговор над теми людьми, которые плотным кольцом сомкнули верховную власть, внесли яд растления в недра народной совести и неустанно продолжают своей работой подтачивать корни нашей государственной крепости и мощи. Весь народ окончательно осудил всю систему управления, которая остается неизменной, несмотря на постоянную смену лиц, при которой возможно лишь правительство бессильное и бездарное, лишенное всякого единства, поглощенное заботами о своем самосохранении и окруженное всеобщим полным недоверием. Государственная Дума и Государственный Совет, земства, города, сословия объединились в чувстве великой тревоги за Россию, историческая власть которой стала у края бездны… Правительство, ставшее орудием в руках темных сил, ведет Россию по пути гибели и колеблет царский трон. Должно быть создано правительство достойное великого народа… Пусть Государственная Дума в начатой ею решительной борьбе, памятуя о своей великой ответственности, оправдает те ожидания, с которыми к ней обращается вся страна»[1].

Съезд Союза городов, состоявшийся в тот же день, принял схожую резолюцию: «Государственная Дума раздвинула завесу, скрывавшую от глаз страны постыдные тайны, которые охраняются режимом, губящим и позорящим Россию… Выход из настоящего положения, ведущего Россию к несомненной катастрофе, один — реорганизация власти, создание ответственного министерства. Государственная Дума должна с неослабевающей энергией и силой довести до конца борьбу с постыдным режимом. В этой борьбе вся Россия с нею»[2].

Следует заметить, что на этом этапе ни Государственная дума, ни общественные организации не требовали ограничения царской власти — речь шла о контроле над правительством ради спасения «исторической власти», о создании ответственного министерства. Произошедшее немногим позднее свержение монархии, таким образом, стало следствием ошибочных действий власти, отказавшейся идти на уступки в условиях ею же спровоцированного кризиса тогда, когда еще сохранялась вероятность избежать революции.

В тех кругах российского общества, где обсуждались стратегии преодоления внутреннего кризиса путем политического устранения императора, Думе должна была принадлежать значимая символическая роль. Так, например, 23 декабря 1916 г. на обеде у крупного промышленника Богданова, на котором присутствовали члены императорской фамилии, князь Гавриил Константинович, член Государственного совета Озеров и промышленник Путилов говорили, что «единственное средство спасти царствующую династию и монархический

[1] Буржуазия накануне февральской революции… С. 156.
[2] Там же. С. 159.

режим — это собрать всех членов императорской фамилии, лидеров партий Государственного совета и Думы, а также представителей дворянства и армии и торжественно объявить императора ослабевшим, не справляющимся со своей задачей, неспособным дольше царствовать и возвестить воцарение наследника под регентством одного из великих князей». Тот вечер закончился тостом «за царя, умного, сознающего свой долг и достойного своего народа»[1]. Дума как представительное учреждение, некий аналог Земского собора, должна была легитимировать государственный переворот в воображении разочарованных в верховной власти современников.

В декабре 1916-го — январе 1917 г. политическая ситуация в стране окончательно вышла из-под контроля власти, пребывавшей в полной растерянности и питавшейся, как и все общество, слухами. В основе этих слухов лежали страхи — страхи перед Государственной думой. Конспирологическое сознание, оживающее тогда, когда теряется связь с реальностью, рисовало картины думского заговора. Петроградское охранное отделение со ссылкой на слухи сообщало: «Передают, как слух, о том, что накануне минувших рождественских праздников или в первые дни таковых состоялись якобы какие-то законспирированные совещания представителей левого крыла Государственного Совета и Государственной Думы»[2]. Тем самым слухи становились источником информации для исполнительных органов власти, определяя их последующие шаги. В другой записке петроградская охранка пыталась реконструировать планы Государственной думы по организации переворота, ссылаясь на сообщение агента о проходившем 30 декабря 1916 г. совещании у П. П. Рябушинского: якобы после роспуска Государственной думы она планирует переехать в Москву и оттуда обратиться к народу с воззванием о том, что правительство ведет страну к гибели. Организацией распространения воззвания на фронте должен был заняться А. И. Гучков[3]. В начале февраля 1917 г. представители консервативных кругов пугали друг друга в письмах слухами о том, что П. Н. Милюков собирается захватить в стране власть[4].

Считая Думу главным источником опасности, власти просчитывали и иные, более реалистичные, комбинации и ресурсы думского давления. Так, накануне открытия Государственной думы 14 февраля 1917 г. в очередной записке петроградского охранного отделения ставился вопрос: «В чем может выразиться тактика Государственной Думы, если к 14-му февраля правительство будет в прежнем составе?» — и тут же следовал на него ответ: «Дума, устами левых ораторов, опять польет потоки резких и обидных слов. Дума, возможно, будет чинить некоторые препятствия по вопросу бюджета. Однако, то и другое является вряд

[1] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 674.
[2] Буржуазия накануне февральской революции… С. 161.
[3] Там же. С. 165.
[4] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1070. Л. 45.

ли страшным и опасным: слову может быть противопоставлено слово (как было при П. А. Столыпине)»[1]. Действительно, иных легальных вариантов воздействия на правительство, кроме потоков известных речей, у депутатов не было, в этом отношении Дума была безопасной для властей. Но последние не учли стихийную природу революции. Демонизация Государственной думы привела к тому, что власть утратила контроль за внутриполитической ситуацией и пропустила настоящий источник опасности — революционизировавшихся обывателей, чей гнев 23 февраля 1917 г. стихийно выплеснулся на улицу. Демонизируя Думу, власти ожидали революционные эксцессы в день возобновления работы пятой сессии — 14 февраля. Начальник петроградского военного округа сообщал, что по планам «революционеров» 14 февраля будет объявлена стачка, после чего «все бастующие должны будут отправиться к Таврическому дворцу и потребовать там от депутатов создания Правительства „народного спасения“, т. е. другими словами создать Государственный переворот». В конце доклада генерал С. С. Хабалов приходил к выводу, что «ныне следует считать неизбежными стачки 14 февраля и попытки устроить шествия к Таврическому дворцу, не останавливаясь даже перед столкновениями с полицией и войсками»[2]. В действительности 14 февраля прошло в столице относительно спокойно, разрозненные группы рабочих пытались как на окраинах, так и на Невском проспекте, а также в районе Думы устроить демонстрации, но их без труда разгоняли наряды полиции[3].

Конспирологическое сознание, требовавшее интерпретации действительности в примитивных политтехнологических схемах, в которых создается понятный образ врага — либеральной общественности, Государственной думы, земских и городских союзов и пр., — привело власть к закономерному краху. Депутаты Думы были не меньше власти озадачены начавшимися 23 февраля беспорядками, первоначально толпы протестующих собирались на Невском у Казанского собора, и Таврический дворец вовсе не являлся центром притяжения революционных сил. Однако после того, как 25 февраля царь подписал указ об очередном перерыве сессии Государственной думы, Таврический дворец стал символом протеста. Власти сами подсказали революционным массам, где и как необходимо самоорганизовываться. Узнав о роспуске Думы, М. В. Родзянко телеграфировал императору, требуя отменить указ и сформировать «ответственное министерство», предупреждая, что роспуск Думы не остановит начавшуюся революцию, а лишь подстегнет манифестантов и приведет к крушению династии. Но власти никак не отреагировали на телеграмму, искренне веря, что роспуск Думы лишит революционизированные массы организационного центра и приведет к спаду протестной активности. В действительности произошло прямо противоположное.

[1] Буржуазия накануне февральской революции… С. 168.
[2] ГА РФ. Ф. 111. Оп. 5. 1917. Д. 669а. Л. 38 — 38 об.
[3] Там же. Л. 46.

Таким образом, вместо того чтобы принять предложенную депутатами альтернативу революции — пойти на создание «ответственного министерства» и окончательно подтвердить за Государственной думой парламентский статус, — власти и лично Николай II до последнего цеплялись за самодержавный статус императорской власти. Палеолог, описывая в январе 1917 г. теорию самодержавной самоидентификации и саморепрезентации императора, очень точно закончил: «Весь вопрос в том, сколько времени он в силу этой теории еще останется на троне»[1]. Поздно ночью 1 марта Николай II уступил требованиям и все-таки согласился на ответственное министерство, однако к тому времени это решение уже устарело и на повестке стоял вопрос об отречении.

Образ Государственной думы как оппозиционного центра, окончательно утвердившийся в широких слоях населения после 1 ноября 1916 г., а также деятельность Временного комитета Государственной думы в условиях начавшейся февральской революции, наделяли в массовом сознании представителей российского парламента нехарактерной революционной активностью, а в воображении неискушенных в политике современников чуть ли не главным революционером представал М.В. Родзянко. В марте 1917 г. московское издательство Д. Хромова и М. Бахраха выпустило почтовую открытку «Вожди русской революции», на которой портреты А.Ф. Керенского, кн. Г.Е. Львова, А.И. Гучкова, П.Н. Милюкова, В.Н. Львова и др. располагались вокруг центрального портрета М.В. Родзянко. На одном из плакатов, изображавших членов Временного правительства, во главе его красовался председатель Государственной думы (ил. 170 на вкладке). Этот плакат соответствовал появившимся 28 февраля в Москве слухам о том, что Родзянко стал премьер-министром Временного правительства[2].

Таким образом, по-разному понятый верховной властью, правительством и Государственной думой лозунг единения власти и общества летом 1914 г. закладывал основу для будущего конфликта. Тем не менее вплоть до открытия четвертой сессии общественность лелеяла надежды на преодоление внутриполитических разногласий, чему способствовало создание Прогрессивного блока и внешнее сближение с Думой так называемой «группы Кривошеина» в Совете министров (при том что сам Кривошеин считал, что Дума выходит за отведенные ей рамки). Однако очередной роспуск парламента в сентябре 1915 г. и последующие отставки министров, готовых к сотрудничеству с депутатами, существенно изменили общественные настроения, подорвав веру в бесконфликтное преодоление внутриполитических противоречий. В 1916 г. по мере ухудшения общей хозяйственной ситуации в империи и разочарования в правительстве в народе формировался образ Думы как единственного

[1] *Палеолог М.* Дневник посла... С. 694.

[2] *Городцов В.А.* Дневники ученого... Кн. 2. С. 209.

оплота оппозиции. Открывшаяся 1 ноября пятая сессия подтвердила надежды общественности и укрепила антидумские настроения власти, которая, переоценивая возможности этого органа, приписывала ему революционно-заговорщическую деятельность. В конечном счете необоснованные страхи власти перед парламентом привели к потере контроля за общественной ситуацией и спровоцировали социальный взрыв февраля 1917 г. В отношении власти к Думе прослеживаются признаки «самоисполняющегося пророчества»: приписав Государственной думе революционизирующую роль, власти повели наступление на полномочия российского парламента, провоцируя с его стороны все большую критику в свой адрес и в конечном счете действительно превратив Думу в один из организационных центров Февральской революции.

Война и символы Апокалипсиса: технофобии в российском обществе в контексте милленаристских предчувствий

1914 г. принято считать рубежом длинного XIX и короткого XX веков. Вместе с тем начало некоторым процессам и ментальным сдвигам было положено еще в конце XIX в. О. Шпенглер техническую перенасыщенность европейской цивилизации считал фактором гибели культуры. За год до выхода «Заката Европы» рядовой московский обыватель Н.П. Окунев в декабре 1917 г. подводил промежуточные итоги XX в.: «Чем культурнее становилась страна, тем, думается, невежественнее сделался наш народ. Я и раньше косился на засилие электричества, а теперь глубоко убежден, что оно не от Бога, а от дьявола. Все нервы, все извращения, все жульничество, все безверие, вся жестокосердность, вся безнравственность и вырождение людей — от этих проклятых звонков, хрипов, катастроф, миганий, смрада, гудков и чудес!»[1] Конечно, пессимизм Окунева был отчасти порождением трагических событий российской революции, однако эсхатологические ощущения, связанные с ускорявшимся техническим прогрессом на рубеже XIX–XX вв., были весьма распространены. В это время в политических кругах обращалось внимание на нараставшие темпы производства оружия. В 1870–1880-е гг. три крупнейших военных предприятия Европы — А. Круппа в Германии, А. Шнайдера во Франции и У. Армстронга в Англии — вступили в гонку вооружений, развивая преимущественно тяжелую артиллерию. В 1897 г. концерн Круппа сконструировал морскую 305-миллимеровую гаубицу «Бета», в 1909 г. появилась 420-миллиметровая мортира «Гамма», весившая 150 тонн, стрелявшая 886-килограммовыми снарядами, а ее расчет составлял 250 человек. 12 августа 1898 г. по инициативе российского императора министр иностранных дел граф М.Н. Муравьев вручил иностранным послам в России текст обращения: «Охранение всеобщего

[1] *Окунев Н.П.* Дневник москвича, 1917–1924. В 2 кн. Кн. 1. М., 1997. С. 124–125.

мира и возможное сокращение тяготеющих над всеми народами чрезмерных вооружений являются, при настоящем положении вещей, целью, к которой должны бы стремиться усилия всех правительств… Положить предел непрерывным вооружениям, изыскать средства предупредить угрожающие всему миру несчастья — таков ныне высший долг для всех государств»[1], — результатом чего стал созыв Первой Гаагской конференции, на которой были приняты декларации, запрещавшие применение разрывных пуль, химических снарядов и бомбометания с воздушных судов. Вместе с тем по мере ухудшения международной обстановки страхи современников перед военно-техническим прогрессом усиливались. Масла в огонь подливала научная фантастика, рисовавшая жуткие образы машин для убийства, а после начала войны — государственная пропаганда, начавшая кампанию по демонизации врага. Пропаганда старалась виновным мировой войны назначить одну Германию, однако в российском обществе постепенно вызревала более глобальная эсхатологическая картина наступавших «последних времен».

В первые недели войны печать озаботилась эсхатологическими настроениями крестьянской массы. Современники замечали, что в деревенской среде «все чаще и чаще слышались рассказы о всемирной последней войне, которая наступит перед страшным судом, о появлении антихриста и близком конце мира. В народной памяти выплывали слышанные когда-то от дедов страшные повествования и предсказания о тех главных признаках, которые должны показать близость второго пришествия Спасителя»[2]. В одной оренбургской станице вспоминали предсказания странника Ивана Митрича: «Как настанут последние времена, все изменится, по иному будет: полетят железные птицы под самые облака и будут клевать православных железными носами и плевать на землю сверху ядрами. А от тех плевков загорится мать сыра земля и дома и люди. Не будет от этих железных птиц спасенья ни старому ни малому. И будет гром великий от полета их, даже голоса человеческого не услышите. Но это еще не все. Опутают землю-матушку железною проволокою да в несколько рядов, точно нитками обовьют, и нельзя будет Божией пташке пролететь кверху… А внизу протянут железо по всей земле, и поставят на это железо медные кувшины громаднейшие; нальют в них воды полнешеньки, а в середине трубы сделают и огня накладут. Закипит от него водица, и побегут кувшины по железу, а в них люди поедут с песнями да с плясками. Все цветочки лазоревые, которые на земле растут да украшают ее, матушку, на людей перейдут. Озвереют тогда люди и пойдут друг на друга войною. Будет эта война последнею и самою страшною, и никуда от смерти не укроешься. Тогда наступит и конец миру»[3].

---

[1] Ежегодник Министерства иностранных дел. 1901. С. 413.

[2] *Кривощеков А. И.* Легенды о войне // Исторический вестник. 1915. № 10. С. 201.

[3] Там же. С. 201–202.

Эсхатологические настроения подпитывались природными явлениями. Наиболее тревожным в этом плане представлялось солнечное затмение, которое должно было произойти над европейской частью России 8 августа. За несколько дней до затмения местные власти через сельских старост, сторожей распространяли среди крестьян информацию о природном явлении, однако, несмотря на это, народ к затмению относился со страхом, полагая, что оно предвещает голод[1]. Больше всего испугались затмения бабы-крестьянки, прекратив полевые работы. Журнал «Нива» предупреждал о солнечном затмении и выражал надежду, что народ российский стал более образован, чем раньше, и не будет его считать предзнаменованием конца света. Для тех же, кто все еще верил в знамения, редакция привела примеры, когда затмение помогало русскому оружию победить врага, демонстрируя тем самым удобную позицию — верить в хорошее вместе с верующими и не верить в плохое вместе с неверующими: «Солнечное затмение 8 августа произойдет главным образом в полосе военных действий. Прежде такие явления действовали на впечатлительность народа. Распускались слухи о кончине мира и Страшном Суде. Теперь наш народ больше знаком с этим явлением. Школы сделали свое дело. К тому же знамения небесные были нам во благо в самые трудные моменты нашей исторической жизни. Во время Куликовской битвы, когда была одержана величайшая победа над несметными полчищами татар, было солнечное затмение. Было оно и в самый разгар Великой Северной войны, в которую Петр Великий разгромил могущественную тогда державу шведов»[2]. Такая двойственная позиция редакции едва ли способствовала профилактике суеверий.

Конечно, образованные слои населения совсем иначе встретили солнечное затмение: были заготовлены специальные затемненные стеклышки, чтобы наблюдать за солнцем без опасности повредить сетчатку глаза, заранее выбирались наиболее удобные места. Самое продолжительное затмение (2 минуты 16 секунд) должно было случиться в Минске, куда приехали английские астрономы. Однако «Минский голос» сообщал, что в городе накануне затмения ощущалась некоторая нервозность населения, хотя газеты за несколько дней стали готовить горожан к этому событию[3]. В среде интеллигенции сохранялось некое мистическое ощущение знаменательности происходящего. Дворянка Т. А. Аксакова-Сиверс вспоминала, что первые дни войны были насыщены разного рода «небесными знамениями»: то затмением, то звездопадами[4]. 28 июля 1914 г. французский посол Палеолог записал, что вечером начал перечитывать «одну из тех немногих книг, которую можно раскрыть в этот час

---

[1] *Голубев П. С.* Дневник крестьянина // Вестник Псковского губернского земства и сельского хозяйства Псковской губернии. 1914. № 40. С. 14.

[2] Нива. 1914. № 32. С. 640.

[3] Минский голос. 1914. 9 августа.

[4] *Аксакова-Сиверс Т. А.* Семейная хроника: В 2 кн. Кн. 1. Париж, 1988. С. 242.

всеобщего смятения и исторического потрясения» — Библию — и начал чтение Откровения Иоанна Богослова, процитировав в дневнике строчки о явлениях коня рыжего и бледного: «И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч… И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть; и ад следовал за ним; дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными»[1].

2 октября 1914 г. среди крестьян Псковской губернии вызвало переполох появление кометы[2]. Комета Делавана была открыта еще в октябре 1913 г., но заговорили о ней именно после начала мирового конфликта, назвав «кометой войны», когда на протяжении сентября — октября 1914 г. она была особенно хорошо видна с земли невооруженным глазом. Солдаты на фронте также с тревогой наблюдали подобные «знамения»: «Сперва мала, потом больше — грознее запылала. И порешили: спалит летучая звезда землю. По всему небу хвостище раскинула, вот с версту ей еще — и у нас. А наутро вечер пришел, сникла звезда, испугалась чего, что ли, в свои края повернула, скоро и след простыл»[3].

Помимо солнечного затмения и появления комет — глобальных явлений космического масштаба, затронувших значительную массу суеверных россиян, — на местах происходили менее значительные события, которые интерпретировались в эсхатологическом русле. Например, в день объявления войны в Архангельске случился ураган, сорвавший с собора крест. Крестьянин И. Юров вспоминал реакцию местных жителей: «Это послужило пищей для толков, что война будет неудачной. С объявлением войны настроение у всех стало какое-то пришибленное, мрачное, каждый как будто ожидал гибели»[4]. Природа как будто противилась войне, которая вторгалась в нее железом, огнем и газами. Последние становились символами Апокалипсиса и формировали массовые технофобии.

Небесные «знамения» интерпретировались на всем протяжении войны, но следует заметить, что даже эсхатологический дискурс имел как негативную (страх перед концом света), так и позитивную (радость перед приходом царства божьего на землю) трактовки. В сентябре 1915 г. в Вологде во время сильного урагана снесло крест с купола церкви св. Кирилла-чудотворца. Крест упал в реку и погрузился в ил. Крестьяне, не найдя его, стали искать объяснения. Одни болтали, что крест, поднявшись на небо, растаял в небесной выси. Бабы увидели в этом знак, что немец «снарядом своим одюжит Христову веру».

---

[1] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 65.

[2] *Голубев П. С.* Дневник крестьянина // Вестник Псковского губернского земства и сельского хозяйства Псковской губернии. 1914. № 48. С. 13.

[3] *Федорченко С. З.* Народ на войне… С. 99.

[4] *Юров И.* История моей жизни… С. 154.

Другие утверждали, что крест поднялся к небу и полетел на восток, в Царьград, где опустился на храм Св. Софии[1].

Связь технических средств с народными эсхатологическими представлениями уже отмечалась в современной литературе. Она относится к мотиву «чудесного мира», или, точнее, «металлического мира»: на рубеже XIX–XX вв. крестьяне считали технические изобретения признаком последних времен и верили, что паровоз движется, потому что им управляет черт, при этом и паровоз, и пароход считали огненными змеями Апокалипсиса (во многом из-за издающихся свистков и вырывающегося из трубы дыма). И. А. Бессонов наиболее характерными эсхатологическими образами «металлического мира» называет «железных птиц», «железную паутину» и «железных коней»[2]. Под первыми понимались аэропланы (прообраз саранчи), под вторыми — телеграф, опутавший землю антихристовой сетью-проволокой, под третьими — автодвижущиеся средства (автомобили, броневики, танки) как кони Апокалипсиса. Впрочем, Бессонов полагает, что окончательно образ «железного коня» сформировался в период коллективизации и под ним крестьяне имели в виду трактор[3]. Следует заметить, что в 1915 г. колесные и гусеничные трактора производились на Сормовском заводе, на заводе «Аксай» в Ростове-на-Дону, на заводе Я. Мамина в Балакове Самарской губернии, но для большей части сельских жителей эти машины оставались диковинными[4]. Встречались и рациональные объяснения отказа от использования тракторов по причине их неэффективности: высокой стоимости эксплуатации и недостаточной надежности[5]. За время Первой мировой войны известны высказывания крестьян об автомобилях и мотоциклах как дьявольских изобретениях (образ «черного автомобиля» как автомобиля дьявола подробно будет рассмотрен ниже). Показательно, что крестьяне с подозрением относились даже к велосипедам, передавая в местах распространявшейся холеры слухи, как на них немецкие шпионы разъезжают по деревням и травят колодцы. При этом догнать шпионов-велосипедистов не удавалось даже на лошадях — они чудесным образом ускользали от погони.

Для понимания обстоятельств формирования массовых фобий необходимо также учитывать, что Первая мировая война усилила невротизацию общества. В историографии уже неоднократно поднималась проблема травматического психоневроза, или шелл-шока (второй термин характерен для западной

[1] Земщина. 1915. 12 сентября.

[2] *Бессонов И. А.* Русская народная эсхатология: история и современность. М., 2014. С. 135–153.

[3] Там же. С. 149.

[4] Земледельческая газета. 1915. № 12. С. 324.

[5] Земледельческая газета. 1916. № 33. С. 906. Впрочем, в иных публикациях доказывалось, что при стоимости запашки одной десятины лошадью от 15 до 20 рублей стоимость запашки трактором составляла 12 рублей (Земледельческая газета. 1916. № 44. С. 1145).

литературы), — посттравматического стрессового расстройства[1]. Уже отмечалось, что с первых месяцев войны врачи-психиатры принялись изучать этот феномен, в специализированных журналах появлялись соответствующие статьи, выходили и отдельные брошюры[2]. Вместе с тем проблема массового умопомешательства была хорошо известна и по предыдущим войнам, причем не только в среде врачей-специалистов, но и широким кругам читателей[3]. Показательно, что в то время, как военные психиатры били тревогу и писали о массовом распространении душевных болезней на фронте, гражданские врачи также констатировали увеличение поступлений в городские психиатрические лечебницы, причем в первую очередь за счет женщин[4]. Особенно выделялись среди них беженки. Часто именно ужас, вызванный бомбежкой, «встречей» со смертоносной военной технологией, запускал механизм разрушения психики. Психиатр А. А. Бутенко наблюдал поступившую в сентябре 1915 г. в московскую Алексеевскую психиатрическую лечебницу крестьянку-беженку из Гродненской губернии сорокалетнюю Агафью Данилову, первым шоком для которой стала бомбардировка аэропланами ее родной деревни[5]. Следует учитывать, что хотя психические болезни не заразны, в психиатрии известен феномен «душевной контагиозности» — инстинкта подражания, объясняющего заразительность чувств и эмоций[6]. Общая атмосфера нервозности создавала благодатную почву для распространения массовых фобий.

Бредовые идеи сумасшедших и слухи «здоровых» обывателей обнаруживали общие сюжеты, среди которых выделялась зловещая роль научно-технических изобретений. Массовая шпиономания, отчасти спровоцированная военными властями, создавала образ ученого-шпиона-вредителя, разрабатывающего дьявольскую машину. Как правило, фамилия этого ученого иностранная.

---

[1] См.: *Фридлендер К.* Несколько аспектов шелл-шока в России, 1914–1916 // Россия и Первая мировая война: Материалы международного научного коллоквиума. СПб., 1999. С. 315–325; *Плампер Я.* Страх в русской армии в 1878–1917 гг.: К истории медиализации одной эмоции // Опыт мировых войн в истории России: Сб. ст. Челябинск, 2007. С. 453–460; *Асташов А. Б.* Русский фронт в 1914 — начале 1917 года: военный опыт и современность. М., 2014; *Аксенов В. Б.* «Революционный психоз»: массовая эйфория и нервно-психические расстройства в 1917 г. // Великая российская революция 1917: Сто лет изучения. М., 2017. С. 465–474; *Merridale C.* The Collective Mind: Trauma and Shell-Shock in Twentieth-Century Russia // Journal of Contemporary History. 35. Heft 1. (January 2000). P. 39–55.

[2] См.: *Розенбах П. Я.* Современная война и истерия. Пг., 1915.

[3] См., например: *Шумков Г. Е.* Первые шаги психиатрии во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. Доклад в заседании Общества киевских врачей 28 октября 1906 г. Киев, 1907; *Андреев Л.* Красный смех…

[4] Московский листок. 1914. 20 сентября; *Бутенко А. А.* Война и психические заболевания у женщин // Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. Ежемесячный журнал. 1914–1915. № 10–12.

[5] *Бутенко А. А.* Война и психические заболевания… С. 539–540.

[6] См.: *Кандинский В. Х.* Общепонятные психологические этюды // Санкт-Петербургская психиатрическая больница св. Николая Чудотворца. К 140-летию. Т. III. В. Х. Кандинский. СПб., 2012. С. 111–112.

Не удивительно, что в среде малообразованных горожан появился слух о таком шпионе-изобретателе по фамилии Маркони — средства радиосвязи постоянно фигурировали в слухах о шпионах. Один из самых распространенных «радио-телефонослухов» касался императрицы (в городской среде — Александры Федоровны, в деревенской — Марии Федоровны), которая якобы регулярно связывалась с Берлином и передавала Вильгельму II секретные сведения. Говорили и о том, что столицу наводнили немецкие шпионы-радисты, устраивавшие в своих квартирах радиостанции. Обыватели внимательно рассматривали крыши домов в поиске подозрительных объектов, напоминавших антенны. В мае 1915 г. в Департамент полиции поступило сообщение, что в Петрограде на крыше дома по Каменноостровскому проспекту появились антенны шпионской радиотелеграфной станции, но произведенное расследование установило, что эти «антенны» располагались на крыше более двадцати лет и предназначались для крепления электрических проводов[1]. Массовое сознание обывателей мало интересовал тот факт, что настоящий Г. Маркони был подданным союзной Италии, записался добровольцем в армию, — его фамилия стала слишком сильным раздражителем для всех зараженных «радиофобией». Летом 1915 г. в Петрограде появился слух, что шпион-немец Маркони устроился служить в Правительствующий сенат. Вероятно, к появлению слуха привело газетное сообщение о том, что Г. Маркони в декабре 1914 г. был назначен пожизненным сенатором Италии, а также информация, что Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов (РОБТиТ) приняло предложение английской компании Маркони увеличить уставной капитал за счет привлечения их акционеров. Тем не менее Департамент полиции был вынужден отреагировать на поступившую анонимку и констатировал, что кроме акционера-Маркони, входившего в состав правления РОБТиТ, никакого другого Маркони, тем более в Сенате, обнаружить не удалось[2].

Однако слухи вокруг фамилии итальянского изобретателя продолжали множиться. Фантазию нервированных обывателей подхлестнула статья о «новом сенсационном изобретении Маркони»: «Из Копенгагена подтверждают сообщение о новом крупном открытии Маркони, представляющем собой усовершенствование в области рентгеновских лучей и дающем возможность видеть через толстые проницаемые оболочки»[3]. Спустя некоторое время Департамент полиции занялся расследованием серии анонимных доносов, в которых сообщалось, что проживавшее на Васильевском острове в доме 25 по Кадетской линии семейство пастора Г. Пенгу является немецкими шпионами, а его сын Герберт — изобретателем аппарата, с помощью которого «можно видеть сквозь стены на далекое расстояние. Посредством своего аппарата он похитил много

[1] ГА РФ. Ф. 102. ДП-ООО. п. 245. Д. 33. Т. 1. Л. 269—270 об.
[2] ГА РФ. Ф. 102. ДП-ООО. п. 245. Д. 33. Т. 3. Л. 354, 357—357 об.
[3] Вокруг света. 1915. № 25. С. 408.

изобретений, а настоящих изобретателей тайком умертвил на расстоянии. При помощи новых изобретений можно гипнотизировать на расстоянии, распространять болезни, умертвить кого угодно»[1]. В одном случае аппарат назывался электрическим дальномером, в другом сообщалось, что в основе его действия — рентгеновский луч. Полиция проводила обыски по указанным адресам, но ничего не находила. В конце концов автор анонимок, распространявший вздорные слухи про аппарат, был обнаружен, им оказался отставной коллежский секретарь Р.М. Сальман. На допросе он во всем сознался и добавил, что сыновья Пенгу сами по ошибке связались с ним по своему аппарату, «причем когда он хотел зафиксировать это событие на бумагу, то из под пола его квартиры при колокольном звоне поднимались газы, во избежание взрыва которых ему пришлось работу прекратить»[2]. Сальман оказался душевнобольным, его заболевание было усугублено распространившейся в годы войны шпиономанией.

Ходили также слухи об изобретении неким революционером Сергеем Лоренсом аппарата, способного на расстоянии уничтожать железные предметы. Примечательно, что соответствующий донос поступил в Главное управление Генерального штаба, который направил в Департамент полиции просьбу выяснить, действительно ли существует подобное изобретение[3]. Летом 1915 г. в Царском Селе пошла молва, что местный садовод Фрейндлих приобрел «скрытный аппарат для принятия воздушных волн»[4].

Страхи обывателей перед невидимыми лучами были связаны с беллетристикой, эксплуатировавшей тему технического прогресса, и усилены войной. В 1897 г. подобие «лучей смерти» описал Г. Уэлс в «Войне миров», в 1903 г. «Научное обозрение» писало о подтверждении гипотезы о передаче на расстоянии человеческому мозгу эфирных волн, которые могут наносить вред (сам основатель и редактор журнала М.М. Филиппов экспериментировал с передачей энергии взрыва на расстоянии)[5]. В 1911 г. на русском языке был издан роман Ж. де ла Ира «Иктанэр и Моизэтта», герой которого, инженер-анархист, изобрел «электроотражатель», поражающий смертью на двадцать миль. Впоследствии эта тема неоднократно поднималась в фантастической литературе[6]. Неудивительно, что «лучи смерти» волновали обывателей в годы мировой войны и могли провоцировать душевные расстройства.

Среди населения под воздействием шпиономании развивались страхи не только относительно непонятных конструкций на крышах домов или незнако-

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. ДП-ООО. п. 245. Д. 33. Т. 2. Л. 65.

[2] Там же. Т. 6. Л. 54—54 об.

[3] Там же. Т. 3. Л. 49.

[4] Там же. Л. 139.

[5] Научное обозрение. 1903. № 1. С. 280; Санкт-Петербургские ведомости. 1903. 11 июня.

[6] *Иваньшина Е.А.* От лучей смерти к лучам жизни: об аппарате Ефросимова в пьесе М.А. Булгакова «Адам и Ева» // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. 2017. Т. 27. Вып. 2. С. 201—209.

мых механизмов, но и в отношении вещей, давно вошедших в пространство повседневности, — биноклей, подзорных труб, фотоаппаратов, автомобилей. Так, разведывательное отделение штаба VI армии провело негласное расследование относительно вдовы поручика Гвардейской пехоты княгини М. Ф. Лобановой-Ростовской, поселившейся вместе с сыном на Беляевской улице Петрограда. Согласно анонимному доносу, княгиня с сыном с балкона регулярно высматривала что-то в бинокль и подзорную трубу, а так как поблизости располагался пороховой завод, «бдительный гражданин» заподозрил их в подготовке диверсии. В результате расследования факты рассматривания окрестностей в бинокль и подзорную трубу Лобановыми-Ростовскими подтвердились, однако был сделан вывод, что «едва ли это может иметь угрожающее значение для пороховых заводов, так как дом, в котором они живут, отстоит от означенных заводов на расстоянии более версты»[1]. Несмотря на развитие фотолюбительства, к фотографам росло недоверие. Газета «Киев» сообщала 18 мая 1915 г., что Полтавская губерния превратилась в «уголок немецкого фатерлянда», где лица с большим общественным положением, принадлежащие к нерусскому подданству, в роли любителей-фотографов снимают планы мостов[2]. Статья была перепечатана 21 мая «Новым временем», однако в результате против редакторов «Киева» и «Нового времени» было возбуждено уголовное дело[3].

Нередко оправдываться приходилось и профессиональным фотографам, зарабатывавшим себе на жизнь этим ремеслом. Так, в селе Медведь Новгородской губернии был сформирован 175-й пехотный запасной батальон. Среди солдат и офицеров была традиция перед переброской на театр боевых действий фотографироваться и отправлять родным свои карточки, поэтому в местное фотоателье потянулись военные. Ситуация изменилась после того, как в село для производства торговли прибыла группа евреев, также посетившая фотографа. Так как шпиономания включала в себя не только германофобию, но и юдофобию, среди местного населения возник слух, что фотограф — шпион, он выведывает у офицеров секретные сведения, а затем передает их по ночам евреям-шпионам, притворяющимся торговцами. Произведенное расследование не подтвердило достоверность данных сведений[4].

Особенные подозрения вызывали случаи, когда фотографии делали пассажиры автомобиля, — в визуальном пространстве закрепился образ фотографа-шпиона на транспортном средстве (автомобиле или велосипеде). Впоследствии образ черного автомобиля стал символом крушения России.

Идея воздействия на человека и неодушевленные предметы на расстоянии была связана с научными открытиями не только в области техники, но и гипноза,

---

1 ГА РФ. Ф. 102. ДП-ООО. п. 245. Д. 33. Т. 3. Л. 6.

2 Киев. 1915. 18 мая.

3 ГА РФ. Ф. 102. ДП-ООО. п. 245. Д. 33. Т. 3. Л. 237.

4 ГА РФ. Ф. 102. ДП-ООО. п. 245. Д. 33. Т. 4. Л. 37—37 об.

а также с псевдонаучными эзотерическими учениями. Последние получили распространение в начале XX в., а мировая война, пробудившая ожидания последних времен, вызвала интерес к оккультизму и, в частности, к лженаучной теории о человеческом магнетизме. Некоторые впечатлительные обыватели, имевшие склонность к психическим расстройствам, свидетельствовали, что на расстоянии слышат голоса немецких шпионов, которые внушают им определенные мысли. Массовые настроения получали развитие в лубочной литературе. В 1916 г. в журнале «Вокруг света» появился рассказ «Конец великой войны», повествующий об изобретателе, который придумал порошок, создающий сильный магнетизм и позволяющий на расстоянии управлять предметами. Приехав на границу Голландии и Германии, герой рассказа издалека произвел взрыв на одном из крупповских заводов, где в этот момент находился Вильгельм II. Упавшее орудие убило императора, что привело к окончанию войны[1]. Рассказ интересен тем, что в нем объединились два обывательских страха — иррациональный перед псевдомагнетизмом и рациональный перед реальными крупповскими гаубицами. Примечательно, что автор не нашел реального способа покончить с германским милитаризмом, придумав способ нереальный, фантастический. Вместе с тем немецкие и австрийские мортиры и гаубицы действительно вселяли ужас в сердца как военных, так и гражданских лиц. В газетах чуть ли не с благоговейным ужасом описывалась крупповская «Большая Берта», с которой русская армия «познакомилась» под Осовцом. В некоторых случаях периодическая печать провоцировала развитие обывательских страхов. Так, «Саратовский листок» сообщал о «Берте»: «Для перевозки одного лишь орудия требуется двенадцать товарных платформ. Для установки его (оно вкапывается в землю на четыре сажени) нужно 80 часов времени. Пристрелка орудия, необходимая, чтобы сделать первый выстрел, требует четверти суток. От заряженной пушки прислуга его отбегает на 150 сажень, надевает на глаза, уши и рот особые предохранители и ложится на живот, иначе от сотрясения воздуха у людей лопаются кровеносные сосуды. Той же силой взрыва ближайшие деревья оголяются, а на расстоянии нескольких верст кругом трескаются стекла. Колоссальный снаряд этого орудия пробивает стальную плиту в два аршина толщиной и бетон в три сажени»[2].

Б. Л. Пастернак сохранил память о «Берте», заставив своего героя немного благоговеть перед мощным орудием: «Как всегда, розовато пламенел горизонт в стороне фронта, и когда в ровную, ни на минуту не прекращавшуюся воркотню обстрела падали более низкие, отдельно отличимые и увесистые удары, как бы сдвигавшие почву чуть-чуть в сторону, Живаго прерывал разговор из уважения к звуку, выдерживал паузу и говорил: — Это Берта, немецкое

[1] Вокруг света. 1916. № 44. С. 662.
[2] Саратовский листок. 1915. 11 ноября.

шестнадцатидюймовое, в шестьдесят пудов весом штучка, — и потом возобновлял беседу, забывая, о чем был разговор»[1]. Грохот мощных орудий был одной из отличительных черт Первой мировой. Врачи-неврологи изучали воздействие ударной звуковой волны на мозг и психику солдат, считали причиной травматического психоневроза. Но свидетельством невротических реакций становились и слухи о прямо противоположном — изобретенной немцами «бесшумной пушке». Так, «Николаевская газета» сообщала, что «германцы в последних боях пользовались бесшумными пушками. Уверяют, что это усовершенствованные пушки, из которых снаряды вылетают без всякого шума»[2]. Любопытна аргументация в пользу этого изобретения: жертвы среди солдат в дни затишья, когда не слышно было артиллерии. «Бесшумная смерть» пугала не меньше грохота, так как могла подкрасться незамеченной, и если в обычных случаях затишье давало солдатам возможность психологически расслабиться, то слухи о бесшумной пушке держали комбатантов в постоянном напряжении.

Образ бесшумной пушки можно связать с образами призрачных пушек из андреевского «Красного смеха», которые стали симптомом массового умопомешательства: «Будто бы появились призрачные отряды, полчища теней, во всем подобных живым. По ночам, когда обезумившие люди на минуту забываются сном, или в разгар дневного боя, когда сам ясный день становится призраком, они являются внезапно и стреляют из призрачных пушек»[3].

Известный физик Я. И. Перельман попытался успокоить читателей статьей «Пояс безмолвия», объяснив причину бесшумных бомбардировок особенностями распространения звуковых волн, их отражения от водородного слоя атмосферы, в результате чего появлялись участки земли, в том числе близко расположенные к источнику шума, где грохота орудий слышно не было[4]. Однако эта публикация породила научную дискуссию, и М. К. Первухин начал оппонировать Перельману, исправляя его ошибки и предлагая иное объяснение «капризов звука»[5].

Пока ученые спорили, обыватели отдавались власти фантазии. Художники представляли, какими гигантскими станут орудия будущего — рядом с ними люди будут казаться муравьями[6]. Потрясенные рассказами взрослых, гигантские пушки рисовали дети в школе. Впрочем, следует заметить, что захваченные в качестве трофеев вражеские гаубицы поступали в русскую армию. Так, согласно приказу начальника штаба верховного главнокомандующего от 5 июля 1916 г. была сформирована отдельная мортирная батарея, вооруженная

[1] *Пастернак Б.* Собрание сочинений в пяти томах. Т. 3. Доктор Живаго. М., 1990. С. 117.

[2] Николаевская газета. 1914. 19 ноября.

[3] *Андреев Л.* Красный смех… С. 64.

[4] Природа и люди. 1916. № 2. С. 30.

[5] Природа и люди. 1916. № 43. С. 615–617.

[6] Вокруг света. 1916. № 12. С. 190.



Ил. 171. Война России с немцами. Действие наших бризантных снарядов. Текст: В боях на р. Висле искусные окопы неприятеля трудно было брать обычным артиллерийским огнем… 1914–1916. Плакат

100-миллиметровыми австрийскими гаубицами[1]. Таким образом, «страшные пушки» должны были устрашать и врагов.

Своеобразной профилактикой страха перед техническим превосходством немецкой армии становились слухи о появлении на русском фронте японской армии — недавний победитель Русско-японской войны, которому также в свое время приписывали техническое превосходство, теперь должен был спасти Россию. Уже в августе 1914 г. упорно повторяли слухи, что японская армия следует через Сибирь на 600 поездах на русско-германский фронт. Даже образованные горожане передавали, что в августе в Восточную Пруссию отправились три корпуса японской армии[2]. Отдельно проговаривалось, что японцы везут с собой новейшую артиллерию — «шимозы»[3]. Во время обороны крепости Осовца рассказывали, что в ней находится 5000 солдат и офицеров японской армии вместе с мощными пушками. Примечательно, что одним из качеств японцев называли умение так маскировать свою артиллерию, что ее никто не мог увидеть[4]. Помимо японцев, народное воображение призывало на помощь индусов: среди москвичей возник слух о том, что 18 августа через Москву на фронт проследовали индусские войска с горной

[1] Приказы начальника Штаба Верховного главнокомандующего за 1916 год / Россия. Штаб Верховного Главнокомандующего (1914–1917). [Б. м.], 1916. Ч. 1. № 914.

[2] *Городцов В. А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 80.

[3] Шимоза — японский химик, работавший над мелинитовыми снарядами, которые в годы Русско-японской войны прозвали «шимозами».

[4] *Городцов В. А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 108–109.



Ил. 172. Лягушка. Текст: Всколыхнулися болота… / Немец пушку увязил / …Ваше дело — из под пушек / Выгонять одних лягушек… М.: Типо-литография Е. Ф. Челнокова, 1914–1916. Лубок

артиллерией[1]. Вероятно, источником слуха стало сообщение о намерении индийских экспедиционных войск высадиться в Марселе (что произошло в сентябре). Превращение Марселя в Москву — стандартное искажение для устной передачи информации.

Конечно, пугались не столько самих пушек или звука выстрела, сколько выпускаемых ими снарядов. Крупнокалиберные снаряды прозвали «чемоданами» — такое «профанное» прозвище должно было выполнять функцию профилактики страха перед ними. Хотя в техническом отношении Россия уступала Германии, в военной пропаганде пытались отметить и достоинство русского оружия. Так, плакаты рекламировали отечественные бризантные снаряды (хотя другие страны предпочитали от них отказываться ввиду их повышенной взрывоопасности). Описывая применение бризантных снарядов русской артиллерией на Висле, автор заключал: «Действие бризантных снарядов настолько ужасно, что прославленное военное искусство немцев оказалось совершенно бессильным» (ил. 171).

В сатирических изданиях в качестве профилактики технофобий мощь техники противопоставлялась стихийной силе русской природы: гигантским пушкам — гигантские лягушки, перед которыми в болотах увязала немецкая артиллерия (ил. 172). В ряде статей авторы старались доказать, что силы природы стоят на стороне русской армии. Корреспондент «Огонька» приводил случай, как немцы заминировали поле, ожидая наступления русских войск,

[1] Там же. С. 80.

однако в результате сами пошли в атаку по заминированному пространству. В это время в землю ударила молния и минные заряды сдетонировали, заставив немцев обратиться в бегство[1].

Противопоставление технологий и природы в некоторых случаях рассматривалось как борьба разума с естественными ресурсами. Журнал «Вокруг света» опубликовал слова одного русского полковника о столкновении немецкой и русской армий как о соперничестве техники с «естественными силами природы»: «Германия, это страна техники, системы; это — гигантский завод, который во время войны превращается в гигантскую крепость. Мы испытываем такое чувство, как будто сражаемся не с армией, а с машиной. Они в избытке обладают всем, что может дать военному искусству превосходно развитая промышленность… Теперь перейдем от техники к естественным силам природы. Вы видите наш полк после нескольких дней непрерывных сражений. Так вот, через 3–4 дня все его потери будут пополнены. Там, в тылу, стоят солдаты, с нетерпением ожидающие взять оружие, выпавшее из рук выбывших из строя товарищей. Германская механика износится, кадры будут постепенно таять. Но ничто не помешает нам иметь на театре военных действий несколько миллионов солдат»[2]. Хотя это интервью, по всей видимости, было выдумано журналистом, подобная позиция, рассматривавшая русских солдат как пушечное мясо, была характерна для части «высоколобой» общественности и, конечно же, не скрывалась от рядовых солдат, усиливая антивоенные настроения. Артиллерист В.В. Савинков вспоминал: «Много раз слышал от офицеров (и хороших, честных, добрых офицеров), что солдат не стоит лошади; что лучше уложить роту, нежели потерять пулемет и т.п. Наша тактика — не писанная, а подлинная, применявшаяся все время на войне, сколько я знаю — заключалась главным образом в подавлении противника массами. Основа ее — убеждение, что солдат — не человек, а материал»[3]. С другой стороны, проигрывая Германии технически, российская пропаганда вынужденно обращалась к теме неисчерпаемости природных ресурсов для поддержания боевого духа армии. Кроме того, в печати постоянно муссировалась тема силы русского духа, его превосходства над немецким. Указывая на рост психических заболеваний на войне, корреспонденты отмечали, что нервы германского солдата, изнеженного городской индустриальной жизнью, слабее, чем у русского крестьянина.

В этой связи уместно вспомнить распространявшийся лубочной продукцией сюжет о захвате русскими бабами немецкого аэроплана, а также сатирические плакаты, на которых бабы врукопашную расправлялись с вражескими полками. Рассказывали истории о захвате крестьянками немецких пушек. Последнее нашло выражение в организованных в Варшаве в октябре 1914 г.

[1] Огонек. 1915. № 35. Без пагинации.
[2] Вокруг света. 1915. № 11. С. IV.
[3] Три брата (То, что было)… С. 440.

«парадах» трофейной техники: по улицам города на двуколках провозили немецкие орудия, на передках которых сидели бабы, управлявшие лошадьми[1]. Баба на пушке становилась своеобразным символом сатирическо-патриотического дискурса.

Однако проблема столкновения техники и природы имела и другую — экологическую — плоскость. Появлялись аэрофотографии земли, изрезанной траншеями и воронками от взрывов крупнокалиберных снарядов. Некоторые из них назывались «Оспа войны». Другая распространенная метафора — «лунный пейзаж». В журнале «Природа и люди» был опубликован снимок изрытого лунками от снарядов поля, сопровождавшийся пояснением: «Пусть читатель не принимает эту фотографию, столь напоминающую лунный пейзаж с кратерами, за астрономическую иллюстрацию. Это небольшой участок земли перед нашими окопами, весь изрытый воронками от разрыва немецких снарядов»[2]. В других статьях воронки от снарядов назывались «лунными кратерами»[3]. Обращалось внимание на урон, нанесенный животному и растительному миру. «Природа и люди» перевел с английского статью профессора В. Пайкрафта, который рассказывал об экологической катастрофе у берегов Англии, вызванной вытекающим из потопленных кораблей маслом. Помимо морских обитателей, от него страдали и птицы, гнездившиеся в прибрежной полосе[4]. В публикациях «Жертвы войны в растительном царстве», «Пулевые раны деревьев» речь шла о погубленных артиллерийским обстрелом лесах. Побывавший на фронте корреспондент описывал отвоеванный у немцев лес: «Шумно и гулко в лесу в это солнечное утро. Но нет в нем радости жизни. Кроме людей, все живущее здесь замерло. Не слышно вечного тысячеголосого гимна природе, ни птичьего щебета, ни стрекотанья насекомых… Лес изрезан окопами и весь в плешинах. Деревья сломаны наполовину или же целиком повалены; местами как бы спилены у корня. Везде следы борьбы и разрушенья»[5]. Осенью 1915 г. современники писали об «эвакуации» из Беловежской пущи зубров, а в октябре 1916 г. в Петроградской губернии было отмечено небывалое нашествие белок[6]. Обыватели решили, что белки бежали от наступающей на Северном фронте немецкой армии.

В журналах писали, что непрекращающаяся канонада крупнокалиберных гаубиц «дразнит атмосферу» и природа отзывается всевозможными стихийными бедствиями, в частности непрекращающимися ливнями[7]. Для рядовых

[1] Минская газета-копейка. 1914. 25 октября.
[2] Природа и люди. 1915. № 27. С. 432в.
[3] Природа и люди. 1915. № 44. С. 704.
[4] Природа и люди. 1916. № 3. С. 46.
[5] Природа и люди. 1915. № 43. С. 688г.
[6] Природа и люди. 1915. № 46. С. 736в; 1916. № 45. С. 644.
[7] Вокруг света. 1915. № 23. С. IV.



Ил. 173. Н.К. Калмаков. Гнев войны. 1915–1917

солдат, проводивших дни в окопах под дождем, это были не просто слова, они вызывали мысли о грядущем потопе и о наступающих последних временах.

Страх перед артиллерией выражался в наделении ее не только гигантскими размерами, но и зооморфными признаками. Чаще всего орудия получали формы насекомых, в чем можно усмотреть проявление инсектофобии (боязни насекомых). В октябре 1915 г. в сатирическом журнале «Будильник» была опубликована карикатура, изображавшая пушку на лапах то ли паука, то ли кузнечика, причем ее дуло было таким же мохнатым, как и лапы. Вряд ли это изображение вызывало беззаботный смех нервированных войной читателей. Вероятно, самый жуткий образ зооморфной пушки был создан художником Н. Калмаковым на картине «Гнев войны»: чудовище на паучьих лапах возвышалось средь дыма и огня, а под его брюхом копошились детеныши-ядра с горящими глазами (ил. 173). Калмаковская пушка «пошла в тираж» и, с небольшими изменениями, выпускалась в виде почтовых открыток (ил. 174). Источники образов калмаковских пушек несложно найти в российских иллюстрированных изданиях, публиковавших фотографии и сделанные на их основе рисунки реальных гигантских гаубиц (ил. 175). Вместе с тем природу живописного образа нельзя объяснить банальным заимствованием. Дж. Боулт и Ю.В. Балыбина считают, что для творчества Н. Калмакова периода Первой мировой войны характерным стало «обескураживающее сочетание монстров, секса и смерти — „культа уродства“»[1]. В этом смысле эстетика декаданса нашла

[1] *Боулт Дж. Э., Балыбина Ю.В.* Николай Калмаков и лабиринт декадентства, 1873–1955. М., 2008. С. 220–221.



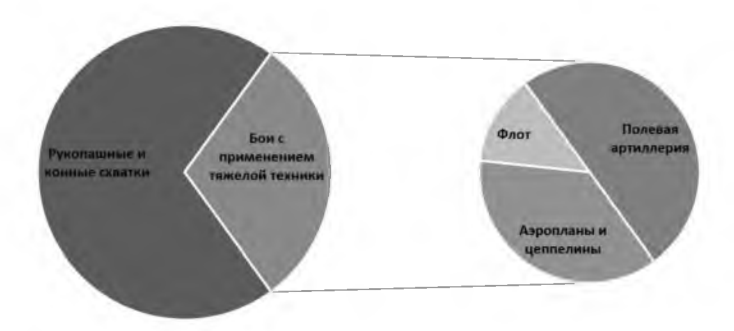
Ил. 174. Н.К. Калмаков. Пушка. 1914–1916.
Иллюстрированная почтовая карточка



Ил. 175. Рисунок французской гаубицы // Вокруг света. 1916. № 30

благодатную почву в психологической (или даже патологической) атмосфере эпохи Великой войны. По-видимому, «культ войны» способствует развитию «культа уродства», хотя возможно и обратное влияние.

Современники отмечали, что привыкание к постоянной опасности изменяло отношение к войне: некоторые комбатанты начинали находить в ней определенную эстетику. Корреспондент П. Васильковский делился собственным опытом привыкания к артобстрелу, отмечая, что он представлял собой «красивую картину, особенно разрывы гигантских „чемоданов“ и шестнадцатидюймовых „Берт“, вздымавших колоссальные столбы песку, дыма и камней. Казалось, будто вокруг нас разом проснулись многочисленные вулканы, выбрасывавшие из жерл своих кратеров целые сонмы мрачных и черных духов подземного царства, потрясавших окрестные горы и стены фортов грохочущим, визгливо радостным хохотом. И хотя сознание подсказывало, что



Ил. 176. Типы сражений с точки зрения их «технологичности» по лубочным картинкам

эти эффективные взлеты несут с собой мучения и смерть,—все же трудно было оторваться от них и отвести в сторону восхищенные глаза»[1]. Артиллерист И. Ильин наслаждался видом небесных «барашков» от выстрелов зенитных орудий: «Очень красиво, когда все небо покрывается белыми барашками и кольцами дымков, словно от гигантской папиросы»[2].

Иногда фантасты, знакомые с наукой, делали весьма точные предсказания: в 1916 г. был опубликован рассказ «Электрическая война будущего. Из дневника военного корреспондента 2014 года», в котором была описана электромагнитная пушка (современный рельсотрон)[3]; также писатели предсказывали появление военных аппаратов, управляемых на расстоянии по радио (современные дроны). С другой стороны, фантазия в условиях распространявшихся технофобий склонна была и преувеличивать разрушительную силу немецких изобретений. Так, например, огнемет представлялся «огненной пилой», способной резать металл, как ножницы. Якобы со слов очевидца журналист рассказывал об этом изобретении: «На расстоянии 8–10 метров от наших позиций из верхней части цилиндра со свистом и шумом показывается огненная струя, которая достигает до 5–6 метров длины. Издали, особенно вечером или ночью, наделенный этим новым адским изобретением, кажется вооруженным как бы огненными пиками. Этот огонь вызывает столь высокую температуру, что направленный на колючие проволоки, режет их как ножницами. Температура огненной струи выше точки плавления сплава, из которого составлена проволока»[4]. Весьма показательно, что в отношении германских технических новшеств часто использовалось прилагательное «адский». Другая газета, публикуя фотографию трофейного огнемета, подписала ее: «Против закона Божьего и человеческого».

Конечно, зооморфные изображения пушек не были доминирующими в общем числе визуальных документов. Основная масса изобразительной продукции на военную тематику (лубок, плакат, журнальные иллюстрации) использовала

[1] Природа и люди. 1916. № 1. С. 2–3.
[2] Скитания русского офицера… С. 156.
[3] Вокруг света. 1916. № 15. С. 232.
[4] Вокруг света. 1915. № 26. С. IV.



Ил. 177. Война в воздухе. М.: Издание литографии Т-ва И.Д. Сытина, 1914. Плакат

реалистичные образы военной техники. Тем не менее частота и характер изображения тех или иных вооружений позволяют говорить о степени тревоги, которые они вызывали в обывательской среде. Если рассмотреть 391 военный лубок и плакат из собрания Государственного центрального музея современной истории России, то окажется, что тяжелые вооружения (пушки, корабли, авиация) представлены на 120 единицах. Другая часть изображений (69,3%) была посвящена пешим рукопашным штыковым и конным схваткам. На оставшихся изображениях доминировала полевая артиллерия (53,3%), на втором месте шли аэропланы и цеппелины (35%), на третьем — флот (10,8%) и на одном изображении присутствовал блиндированный автомобиль[1] (ил. 176).

Однако контент-анализ необходимо дополнить иконографическим методом, который показывает, что наиболее яркие и драматичные образы касались воздушных боев. На втором месте шли морские сражения. Артиллерия, доминировавшая в количественном плане, тем не менее не выступала в качестве главного объекта сцены, а играла роль стаффажа. Значительная часть изображений воздушного боя касалась тарана (между аэропланами или аэропланом и цеппелином). Если безусловным героем конных схваток был К. Крючков, то героем изображений воздушных боев — П.Н. Нестеров, однако художники рисовали и абстрактные воздушные баталии. Наиболее драматичными получались сцены ночных воздушных схваток, несмотря на их фантастичность (или, наоборот, благодаря ей). На одном из плакатов 1914 г. издательства Типографии И.Д. Сытина «Война в воздухе» была изображена ночная схватка

[1] Подсчитано по: Лубочная картинка и плакат периода Первой мировой войны 1914–1918 гг. Иллюстрированный каталог / Сост. В.П. Панфилова, А.П. Слесарев. Ч. 1. М., 2004.

аэропланов с цеппелинами, подсвеченная прожекторами с земли. В клубах дыма и пламени из цепеллина и протаранившего его самолета летели вниз кувыркающиеся в воздухе пилоты (ил. 177). Примечательно, что художник в 1914 г. нарисовал установленный на самолете и стреляющий через его винт пулемет, хотя впервые это было реализовано в феврале 1915 г. французским летчиком Роланом Гарросом.

Сама по себе ночная схватка с использованием такого количества авиатехники была нереальна для 1914 г. — аэропланы не были оснащены необходимыми приборами для полетов в темное время суток, кроме того, отсутствовали подсвечиваемые взлетно-посадочные полосы. Лишь со следующего года Германия начала практиковать ночные полеты, сооружая воздушные маяки и посадочные полосы с подземными огнями. В печати стали появляться упоминания о новой тактике налетов, пугавшие впечатлительных читателей. Ученый и по совместительству писатель-фантаст Я. М. Гольберг (Я. Златогоров) восхищался ночными налетами: «Ночные налеты, ночные нападения, ночные бомбардировки — все это поражает своей таинственностью, своей загадочностью. Тихо, бесшумно крадучись, появляется воздушный пират над беззащитным городом ночью, спокойно и уверенно сбрасывает он свои смертоносные разрушительные бомбы и так же незаметно и безмолвно исчезает»[1]. Едва ли основная масса читателей разделяла восторг писателя. Источники личного происхождения подтверждают, что аэроплан и цеппелин для большинства обывателей оказывались более сильными эмоциональными раздражителями, чем пушка. Способность аэропланов летать на недосягаемой для зенитных орудий высоте и пробираться глубоко в тыл наделяла их особым статусом, и, несмотря на определенные сложности прицельного бомбометания, именно перед аэропланом человек полнее всего ощущал свою беспомощность. Особенно это касается ночных бомбардировок. Страх перед ними приводил к тому, что при звуке, отдаленно напоминавшем стрекотание двигателя самолета, у некоторых современников случались панические атаки. Если ночью происходили взрывы на складах боеприпасов, то первыми под подозрение попадали вражеские аэропланы.

Современники с тревогой рассматривали ночное небо и периодически обнаруживали на нем объекты своих страхов. Так, 17 сентября 1914 г. прошел слух, что над Петроградом летал немецкий дирижабль[2]. 3 октября 1914 г. в 11 часов вечера над Минском был замечен неприятельский аэроплан, освещавший себе путь ярким прожектором. Произошла паника. Но вскоре выяснилось, что никакого аэроплана не было, а возмутителем спокойствия оказался загоревшийся бумажный шар (вероятно, китайский фонарик), запущенный одним

---

[1] Вокруг света. 1916. № 30. С. 452.

[2] *Городцов В. А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 109.

из горожан[1]. Летом 1915 г. в некоторых местностях Российской империи по ночам высоко в небе стали замечать яркий (по-видимому, снабженный прожектором) немецкий цеппелин. Журнал «Природа и люди» успокаивал своих читателей, объясняя, что за дирижабль была принята… планета Юпитер, для которой сложились особенно благоприятные условия видимости, и она засияла яркой звездой, привлекая всеобщее внимание. Летом 1916 г. сияние Юпитера повторилось, и на этот раз паника случилась в Лондоне[2].

Так же как страхи перед артиллерией порождали слухи о «бесшумных пушках», так и страхи перед воздушными судами приводили к разговорам о цеппелинах-невидимках. В «Петроградском листке» в сентябре 1915 г. появилась статья, рассказывавшая об изобретении в Германии невидимого с земли дирижабля. Его отличала специальная вытянутая форма корпуса в виде рыбы, а также особенная покраска, исключающая блики на солнце: «В туманную погоду гигантский цеппелин совершенно сливается с окружающим пространством, и при незначительной высоте его уже совсем не видно»[3]. Вероятно, в качестве ответа появилась информация об изобретении французами невидимых аэропланов: «Главной их конструктивной особенностью является полная прозрачность поддерживающих плоскостей, приготовленных из недавно изобретенного вещества»[4].

Сдавали нервы перед аэропланами и у солдат на передовой. Случалось, что обстреливали своих. И. Зырянов писал: «Третий батальон „по ошибке“ обстрелял свой аэроплан. Летчик возвращался из глубокого тыла противника, где сбросил две бомбы и выдержал сильный воздушный бой. Пролетев немецкие окопы, он вздохнул свободной грудью и стал планировать над нашим лагерем довольно низко. Его подбили. Изрешетили весь кузов, крылья, пилоту прострелили плечо и ногу. Скандал на весь корпус»[5]. Командир батальона оправдывался, что солдаты открыли огонь без приказа, отчасти от страха и злости, стихийно подчинившись чьему-то выкрику. Командир полка при этом не мог понять, как на такой низкой высоте солдаты могли не рассмотреть белые круги на крыльях самолета, впрочем, от страха им могло показаться что угодно. У набранных из числа необразованных крестьян солдат не было доверия даже к своим аэропланам. Часто их демонизировали, считали дьявольской машиной. По воспоминаниям, аэропланы, выполнявшие разведывательные функции и корректировавшие огонь артиллерии, солдаты называли «дьявольскими очами». Обстрелы продолжались даже тогда, когда летчики снижались и всяческими средствами подавали знаки: махали платками, выбрасывали

[1] Минская газета-копейка. 1914. 7 октября.
[2] Природа и люди. 1916. № 5. С. 80.
[3] Петроградский листок. 1915. 3 сентября.
[4] Природа и люди. 1916. № 14. С. 224.
[5] *Арамилев В. В.* В дыму войны… С. 132–133.

записки, связывались по радиотелефону с землей и т.д. Согласно свидетельствам С.Н. Никольского, из Новогеоргиевской крепости регулярно обстреливались «Ильи Муромцы», несмотря на то что в штаб крепости передавали информацию о вылете своих самолетов[1]. Незадолго до гибели своими был обстрелян П. Нестеров. В конце концов Ренненкампф издал приказ, запрещавший солдатам стрелять по любым воздушным целям, включая вражеские самолеты. После того как в нарушение приказа был очередной раз обстрелян русский аэроплан, несколько виновных солдат было расстреляно. В сентябре 1914 г. в районе 1-й армии по низко летевшим четырем русским аэропланам был открыт ружейный и пулеметный огонь, в результате чего погибли несколько русских летчиков. Начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Н.Н. Янушкевич издал распоряжение, запрещавшее обстрел низколетящих или снижающихся аэропланов, но стрельба по своим продолжалась до конца войны[2].

А.Б. Асташов полагает, что в ряде случаев русские солдаты вполне сознательно обстреливали свои самолеты, так как преобладало их восприятие в качестве «бесовских творений»[3]. Уже упоминалось, что в народных эсхатологических легендах существовал прототип аэроплана — образ железной птицы: «Для умерщвления же людей живущих слетят находящиеся до сих пор на небе птицы с длинными железными клювами», — рассказывали крестьяне во второй половине XIX в.[4] В 1915 г. А.И. Кривощеков, встретивший войну в одной из казачьих станиц, указывал на эсхатологические интерпретации германской авиации оренбургскими казаками: «Раздавались голоса, что летательная машина не простой прибор-механизм, изобретенный человеческим умом, а что здесь не обошлось дело без дьявола, с которым немцы живут в большой дружбе давно. Старики принимали аэроплан за легендарную железную птицу, которая явится перед страшным судом и будет клевать православных»[5]. От страха казаки рассказывали, что аэропланы видели над уральскими заводами. Причем аэропланам придумывали птичьи повадки: «Днем скрываются в лесах, а как ночь настанет, полетят на добычу»[6]. Старики рассказывали, что аэропланы могут опускаться на землю и оборачиваться людьми.

И.А. Бессонов указывает, что отношение к самолетам как железным птицам — предвестникам Апокалипсиса сохранялось на протяжении всего XX в., и находит истоки этого образа в саранче пророка Иоиля (чьи образы заимство-

---

[1] *Никольской С.Н., Никольской М.Н.* Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. Воздушные линкоры Российской империи. М., 2008. С. 188.

[2] *Асташов А.Б.* Русский фронт… С. 205.

[3] Там же. С. 204.

[4] Труды статистической экспедиции в западнорусский край, снаряженной Русским географическим обществом: Юго-западный отдел: Материалы и исследования, собранные П.П. Чубинским. Т. 1. СПб., 1872. С. 195.

[5] *Кривощеков А.И.* Легенды о войне // Исторический вестник. 1915. № 10. С. 199.

[6] Там же. С. 200.



Ил. 178. Н.С. Гончарова. Ангелы и аэропланы // Мистические образы войны. М.: Изд-во В.Н. Кашина (Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°). 1914. № 10

вал Иоанн Богослов), которая со временем в лицевых апокалипсисах трансформировалась в антропоморфных птиц в русской книжной традиции[1]. Не случайно Н.С. Гончарова в наполненной апокалиптическими предчувствиями серии литографий «Мистические образы войны» изобразила битву аэропланов с ангелами (ил. 178). В пропагандистской открытке и лубке, изображавших сбитые немецкие самолеты, в качестве их «вины» указывалось, что эти машины, поднимаясь в воздух, оскверняют небо. Очевидно, что те же претензии солдаты могли предъявлять и русским аэропланам, которые точно так же ассоциировались с «железными птицами» Апокалипсиса. В сатирической открытке художника В.А. Табурина содержалось наставление летчику в виде поговорки: «Ни с небом, ни с ветром не дружись, а земли-матушки держись» (ил. 179). Близкий вариант содержится в словаре живого великорусского языка В. Даля: «С водою, с ветром, да с огнем не дружись, а с землею дружись: от земли вышел, земля кормит, в землю пойдешь»[2]. Тем самым отношение к технике выстраивалось через традицию народной мудрости, что приводило к осуждению новых веяний эпохи. В этом также проявлялось столкновение традиционализма (архаичных представлений) и модерна (технических изобретений).

Фантазия современников рисовала воздушные бои будущего, где гигантские самолеты становились летающими крепостями, которые штурмуют десантники.

---

[1] *Бессонов И.А.* Образ чудовищных птиц в эсхатологических рассказах // Живая старина. 2012. № 1. С. 4–7.

[2] *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 2. С. 534.



Ил. 179. В. А. Табурин. Текст: Ни с небом, ни с ветром не дружись, а земли-матушки держись. 1914–1916. Иллюстрированная почтовая карточка

На их гигантских крыльях разыгрывались масштабные рукопашные схватки. «Кроме битвы между аэропланами и наземными силами будут происходить и настоящие воздушные бои между бронированными аэропланами и дирижаблями с металлической оболочкой. И те и другие снабжены пушками и пулеметами, а также вооруженными командами. Битва таких воздушных броненосцев будет поистине ужасна. Не говоря уже о губительном действии снарядов, люди будут постоянно в опасности упасть с аппарата на землю или в море», — пытался представить себе будущие воздушные схватки корреспондент[1]. Писатели предсказывали появление подземных бомбоубежищ, которые со временем будут превращаться в глубинные города.

Вместе с тем аэропланы, еще не успевшие окончательно войти в повседневную картину мира обывателей, у кого-то вызывали любопытство, а не страх. Молодой военный врач Ф. О. Краузе, оказавшись на передовой, мечтал посмотреть хоть на свой, хоть на вражеский самолет, не обращая внимания на то, что встреча с немецким самолетом может закончиться смертью: «Аэропланов

[1] Вокруг света. 1915. № 2.

все нет, хотелось бы посмотреть хоть разочек. Впрочем, говорят, что сегодня утром здесь летал наш русский аэроплан»[1]. Спустя какое-то время любопытство Краузе сменилось более подходящим чувством тревоги: «Последние дни опять усиленно жужжат моторы и пропеллеры. Ждем ежедневно гостинца с неба»[2]. Аэроплан пугал солдат как предвестник наступления противника: немцы перед ним использовали аэропланы для разведки и бомбардировки, поэтому активизация полетов немецких летчиков свидетельствовала о скорых жестоких боях.

Следует заметить, что бомбометание с аэропланов не отличалось особенной эффективностью: в начале войны отсутствовали бомбовые прицелы, а также летчики могли взять с собой лишь пару бомб, которые сбрасывали вручную. Поэтому часто летали группами, а при огне зенитных орудий поднимались на большую высоту, что еще более затрудняло прицельную бомбардировку. Однако недостаточную разрушительную силу (исключение составляли бомбардировки с цепеллинов и многомоторных самолетов, которые поднимали в воздух 600-килограммовые авиабомбы) затмевал психологический эффект от налетов, сеявший панику. Офицер И. С. Ильин в дневнике от 11 марта 1916 г. жаловался на частые налеты, вызывавшие панику среди солдат, но при этом на его восприятии сказывалась выработанная привычка к опасности — он умудрялся в налетах находить свою красоту: «Не дают житья аэропланы. Повадились ежедневно летать целыми эскадрильями, сбрасывая массу бомб… Должен сказать, что это самое неприятное ощущение, которое я когда-либо испытывал. Только начинает светать — слышится густое жужжание где-то высоко в небе. Все, разумеется, поспешно вскакивают. Потом над нами появляются десять-пятнадцать аэропланов в „гусином“ строе, то есть треугольником, очень красиво, надо сказать. Затем раздается резкий свист и грохают разрывы бомб. Они падают со всех сторон, и близко, и далеко, и нет никакой возможности от них скрыться… Вообще же каждый раз начинается с паники и беготни и криков: „Аэропланы! Аэропланы!“ Наши батареи открывают огонь… Но вся стрельба совершенно безрезультатна, и пока что не было ни одного попадания»[3]. Ильин подсчитывал потери после налета таких «бомбардировщиков» — обычно от бомбометания десяти-пятнадцати австрийских самолетов погибало от двух до четырех солдат. Периодическая печать также отмечала низкую эффективность бомбардировок с цеппелинов. В качестве примера приводился групповой налет трех немецких дирижаблей на пять английских городов, в результате которого в сотне домов были выбиты стекла, но при этом убитыми оказались лишь четыре человека[4]. Однако народная фантазия

---

[1] *Краузе Ф. О.* Письма с Первой мировой… С. 182.
[2] Там же. С. 381.
[3] Скитания русского офицера. Дневник Иосифа Ильина. 1914–1920. М., 2016. С. 155–156.
[4] Природа и люди. 1915. № 45. С. 717.

придумала за немцев, как поднять эффективность бомбардировок: в 1915 г. говорили, что с аэропланов начали разливать «горючую жидкость, которая все на своем пути истребляет до мелочей»[1]. В 1942 г. эти фантазии материализовались в изобретенном напалме.

Отношение к аэропланам в прифронтовой полосе стало своеобразным маркером бесстрашия: наблюдая за поведением человека во время налетов, бывалые солдаты делали соответствующие выводы. Тем самым аэроплан стал элементом героического дискурса. Часто он фигурировал в историях о полковых священниках, причем в зависимости от того, как к военному духовенству относился рассказчик (по мере разочарования в войне усиливалась критика полкового духовенства среди солдат), конец истории менялся: в одном случае, когда во время молебна внезапно появились вражеские аэропланы, сбросившие бомбы рядом со священником, он даже не вздрогнул, в то время как молившиеся солдаты попадали на землю, в другом случае от прогремевшего вдалеке взрыва священник сбежал, бросив молившихся солдат, или упал в обморок.

Аэроплан стал символом опасности со стороны врага. Весьма своеобразно этот символ использовался в деревенских слухах; для деревни в условиях усиливавшейся социальной напряженности внутренний враг становился опаснее врага внешнего. Особенно остро складывались отношения крестьян с немцами-колонистами, чье хозяйство оказывалось более эффективным за счет внедрения машин и применения прочих достижений агронауки. Крестьяне традиционно настороженно относились к технике, считая ее дьявольским изобретением, приписывая ей мистические свойства и желание погубить человека[2]. «Присмотрела себе машина хозяина: на, говорит, вот я, пользуйся. И давай машина работать, а хозяин ее умасливать. И так сколько-то времени. Отсытел хозяин, выгоду получил, жирком затянулся,— только и работы у него стало, что спит да со сна пальчиками шевелит. За те сонные пальчики и зацепила его машина»,— рассказывали в народе[3].

В конфликтах помещиков, колонистов и крестьян часто звучала германофобская риторика, использовалась тема повального шпионажа всех этнических немцев. Ситуация усугубилась из-за начавшегося «машинного голода» ввиду прекращения поставок немецких и австрийских сельхозорудий (составлявших в 1913 г. более 40% от всей техники в России), а также сворачивания производства отечественных машин[4]. Современники отмечали, что особенно разительные отличия в механизации земледельческого труда касались Сибири:

---

[1] Две тетради. Дневник Н. А. Миротворской… С. 64.

[2] Заметим, что земства занимались образованием крестьян и организовывали курсы по сельскохозяйственному машиноведению (Земледельческая газета. 1916. № 18. С. 507), а также практиковалась сдача техники в прокат (Земледельческая газета. 1916. № 2. С. 46), однако до технической революции в деревне было еще далеко.

[3] *Федорченко С. З.* Народ на войне… С. 147.

[4] Земледельческая газета. 1915. № 12. С. 321; № 23. С. 635.

в то время как в одних районах применялись соха, косули, деревянные плуги и бороны, «в то же самое время вблизи, часто лишь в полусотне верст от сел с первобытным инвентарем, находятся местности, где в хозяйствах можно встретить новейшие марки нашего внутреннего, североамериканского и германского с.-х. машиностроения»[1]. Традиционные способы обработки почвы, как правило, использовали старожилы, тогда как новоселы, колонисты экспериментировали с новейшей техникой. Наблюдая, как немцы механизируют свои хозяйства, крестьяне, опасаясь конкуренции, шли на хитрость — обвиняли колонистов в том, что они строят аэропланы. Локальные конфликты иногда достигали центральных органов власти. Так, Департамент полиции МВД начал летом 1915 г. расследование относительно обвинений крестьян Воронежской губернии Новохоперского уезда в адрес немецкой колонии «Центральная», где якобы собирали аэропланы и летали на них по окрестностям губернии со шпионскими целями. Подобные слухи появились осенью 1914 г. на базаре в сл. Бурляевке — весьма важное уточнение, так как базарные слухи, распространявшиеся неграмотными торговками, были одними из самых абсурдных, а также часто приводили к массовым погромам, потому что в условиях вздорожания продуктов базары и рынки аккумулировали протестную энергию обывателей. Во время допроса свидетельницы, крестьянки хутора Петренково Феодосьи Черновой, выяснилось, что сама она ничего не видела, но слышала (от кого — не смогла вспомнить), что немец ее хутора Давид Тисен вез домой какой-то механизм, который крестьяне сочли за аэроплан[2]. Слухи вышли за пределы Новохоперского уезда и стали распространяться по Донской области и Тамбовской губернии. Появились новые свидетели, утверждавшие, что 16, 24 и 27 июля 1915 г. в полночь над колонией «Центральная» летал аэроплан и прожектором что-то высвечивал. Начатое негласное расследование не смогло собрать даже косвенных улик, подтверждавших факт появления аэроплана, в результате чего в Департаменте полиции пришли к выводу, что «приведенные слухи умышленно распространяются некоторыми из бывших служащих у немцев окрестных хуторов, враждебно к последним настроенных за их плохое обращение с рабочими: плохо кормят, помещают в конюшнях и сараях и заставляют работать в дни православных праздников»[3]. Тем не менее окружной атаман Хоперского округа Донской области полковник Груднев распорядился устроить повальный обыск у немцев под воздействием слухов о том, что «немцы привозят какие-то короба с вещами, что хутор Центральный охраняется, будто-бы, вооруженными людьми из немцев-же и, наконец, что немецкие хутора Новохоперского уезда имеют общение с жителями Хоперского округа»[4].

---

1 Земледельческая газета. 1915. № 13. С. 354.

2 ГА РФ. Ф. 102. ДП-ООО. п. 245. Д. 33. Т. 4. Л. 90—90 об.

3 Там же.

4 Там же. Л. 92.

Подобные конфликты вспыхивали во многих губерниях империи. Так, например, крестьяне Гжатского уезда Смоленской губернии с началом войны стали подозревать местного барона А. А. Остен-Сакена в шпионаже и создали о нем серию легенд: о строительстве им в своем имении подземных ходов и вылетавших из имения аэропланах[1]. В Пермской губернии пытались использовать слух об аэроплане для сведения счетов с братьями Каменскими, владевшими мельницей на Тисовском заводе. Местные крестьяне, которых, по-видимому, не устраивали цены на мельнице, донесли, что управляющим у Каменских состоит австрийский подданный Фердинанд Вальсер (полиция впоследствии выяснила, что это был вымышленный персонаж), который регулярно общается с иностранцами, а в лесу недалеко от мельницы якобы видели спрятанный аэроплан[2]. В апреле 1915 г. начальник Псковского губернского жандармского управления провел расследование относительно слухов о массовой скупке и вывозе из губернии в Германию хлеба и пришел к следующему заключению: «С возникновения войны среди местного населения Островского уезда циркулируют всевозможные слухи, которые поддерживаются с одной стороны благодаря невежеству населения, а с другой — подходящей почвой для этих слухов, так как владельцами мельниц в этом крае являются латыши — лютеране с немецкими фамилиями, которых местное население называет и считает немцами. Ходят слухи о прилетах немецких аэропланов и даже цеппелинов, которые якобы забирают хлеб, бензин и даже скот и увозят в Германию»[3]. В Грайворонском уезде Курской губернии также циркулировали слухи о ночных полетах аэропланов. Спровоцировал их 75-летний крестьянин Иван Демченко, который рассказывал, что как-то ночью видел пролетавший высоко в небе огненный шар размером с луну, вернувшийся затем обратно. Односельчане решили, что это был немецкий аэроплан, и тут же определили направление его полета — в имение Эмниха (единственного помещика той местности, носившего немецкую фамилию)[4]. Другой крестьянин Херсонской губернии на рассвете увидел в небе непонятный предмет, напоминавший повозку, и, хотя никогда не видел вживую аэроплана, смог его опознать по картинке[5].

Выдумки крестьян о встречах с аэропланами следует отделять от реальных историй, в которых, впрочем, также находилось место фантазии. Так, в одном из писем крестьянин рассказывал, как в их Луцком уезде над полем снизился неприятельский «аироплан» и начал расстреливать людей, которые бросились за подмогой к солдатам, квартировавшимся в их деревне, однако те, услышав шум мотора, сами разбежались. Шум мотора встревожил также и стадо

[1] ГА РФ. Ф. 102. ДП-ООО. п. 245. Д. 33. Т. 3. Л. 39–40.
[2] Там же. Т. 2. Л. 55 — 55 об.
[3] Там же. Л. 83.
[4] Там же. Л. 74 — 74 об.
[5] ГА РФ. Ф. 102. ДП-ООО. п. 245. Д. 33. Т. 5. Л. 377 — 377 об.



Ил. 180. Бой аэроплана с подводной лодкой. СПб.: Тип. И.В. Леонтьева, 1914. Иллюстрированная почтовая карточка

пасшихся неподалеку коров, одна из которых высоко подпрыгнула и сбила летающую машину: «вот одна корова напугалась хуже всех и как скочила на аироплан и спортила что то и он неулетел вот каким героем корова оказалась»[1]. Эта вымышленная история про сбившую самолет корову, а также упоминание о похищении аэропланами скота может быть интерпретировано в контексте восприятия народом войны как противостояния техники и природы.

Слухи об аэропланах оборачивались массовыми фобиями даже в отдаленных от фронта участках, куда вражеские самолеты не могли долететь. Появлялись новые подробности: со временем стали говорить, что немецкие аэропланы воруют не только скот, но и баб. В некоторых оренбургских станицах бабы отказывались поодиночке ездить на пашни из-за страха перед похищением: «Как поеду одна, а вдруг раплан налетит да схватит. Пропаду ни за что»[2].

В то время как неграмотные крестьяне различные природные явления принимали за аэропланы, увлеченные техническим прогрессом грамотные горожане воображали его дальнейшую эволюцию. В журналах появлялись рисунки воздушных судов будущего, которые по ночам ярким лучом сжигали целые города. Другие фантазировали, что аэропланы повысят свою скрытность тем, что научатся нырять и плавать под водой[3]. Художников будоражила тема сражений между разными видами техники: столкновения воздуха и суши, суши и моря. Появлялись рисунки преследования аэропланом автомобиля, вооруженного пулеметом, или схватки самолета с подводной лодкой (ил. 180), изображенной

[1] Письма с войны… С. 621.

[2] *Кривощеков А.И.* Легенды о войне… С. 200.

[3] Вокруг света. 1916. № 19–20. С. 289.



Ил. 181. Самый большой германский блиндированный автомобиль // Великая война в образах и картинах. Вып. VII. М., 1914. С. 345

на почтовых карточках. Характерно, что, несмотря на расширение технических характеристик самолетов будущего, художники в большинстве своем не смогли уйти от привычных им форм винтокрылой машины: даже в XXI в. в воздухе должны были летать трипланы и бипланы с пропеллерами. При этом более смелые предположения касались эволюции наземных средств.

Для жителей прибрежной полосы был характерен страх перед судами вражеского военно-морского флота. В первую очередь это касалось населения Одессы, Севастополя, Феодосии, Новороссийска. 29–30 октября 1914 г. турецко-германский флот обстрелял эти города и потопил русский пароход у крымского побережья. Переехавшая в 1916 г. из Москвы в Феодосию детская писательница С. Н. Шиль обратила внимание, что у гулявшей по набережной публики все еще «живы были страх и потрясение после бомбардировки города турецко-германским крейсером»[1]. В мае 1915 г. общество было взбудоражено известием о потоплении немецкой подводной лодкой пассажирского парохода «Лузитания», следовавшего из Нью-Йорка в Ливерпуль, в результате чего погибло более тысячи человек. Художник С. В. Животовский отреагировал на это рисунком для обложки журнала «Огонек», изображавшим на носу подводной лодки голову Вильгельма II, который освещал глазами-прожекторами тонущих пассажиров.

Опасность исходила не только с неба и с воды, но и от сухопутных самодвижущихся машин — броневиков, или блиндированных автомобилей. В визуальной пропаганде образ бронемашины занимал незначительное место, едва ли можно говорить о серьезной массовой боязни броневиков, однако в воображении художников броневики представали грозными машинами. Так, обращает на себя внимание иллюстрация из книги-альбома «Великая война в образах

[1] *Шиль С. Н.* Крымские записки. 1916–1921. М., 2018. С. 18.



Ил. 182. Современные путешествующие крепости в бою // Вокруг света. 1916. № 47. С. 712

и картинках», изображавшая «самый большой германский блиндированный автомобиль», который, если верить художнику или фотографу, был высотой почти с четырехэтажный дом (ил. 181). В случаях, когда такие фантазии доходили до рядовых солдат из крестьян, они вполне могли вызывать эсхатологические ассоциации с наступавшим «металлическим миром» — эпохой механических чудовищ, созданных антихристом.

В 1916 г. появилась новая фобия — газеты и журналы сообщили об изобретении «лоханок» (так, глядя на созданные художниками по слухам изображения, напоминавшие перевернутые тазы на гусеницах, перевели английское существительное tank). Иначе их называли «путешествующими крепостями». Первые изображения появились в американском журнале Scientific American и вскоре были перепечатаны различными иллюстрированными изданиями России. Примечательно, что на первом изображении «лохани» танк был вооружен одними пулеметами, без пушки. Источником образа, помимо слухов и подтвержденных известий о реальных научно-технических разработках, были иллюстрации к популярным фантастическим произведениям Жюля Верна и Герберта Уэллса. В журнале «Вокруг света» особенно часто приводились ссылки на французского писателя, указывалось даже, что он предсказал мировую войну в произведении «Пятьсот миллионов бегумы», в котором описывалось противостояние свободного города Франсевиля и города-завода Сталеграда. Последний явился детищем немецкого ученого Шульце, который был убежден в превосходстве германской расы над всеми остальными и мечтал уничтожить Франсевиль, разрабатывая чудовищную пушку. Современники в образе Шульце усматривали Вильгельма II. Другой роман Жюля Верна — «Паровой дом» — описывал самодвижущийся дом-автомобиль, который породил идею о появлении в будущем путешествующих крепостей (ил. 182).

Герберт Уэллс подхватил эстафету и в 1903 г. в рассказе «Наземные броненосцы» подробно описал механизированное чудовище будущего: «Бледный



Ил. 183. Нападение путешествующих крепостей будущего на неприятельский город // Вокруг света. 1916. № 47. С. 713

свет открыл нечто вроде огромного, неуклюжего насекомого — жука, размером с броненосный крейсер; оно ползло прямо на первую линию траншей и било огнем через боковые пушечные порты. Пули барабанили по его панцирю словно яростный град по железной крыше. Видение задержалось на единый миг; затем монстра сокрыла вновь наступившая тьма, и лишь крещендо выстрелов указывало на его движение вперед, к траншеям». Важно, что этот рассказ был напечатан в журнале «Вокруг света» в 1916 г. под названием «Путешествующие крепости», чем приобретал известную актуальность для русского читателя. Редакция в предисловии назвала его «изумительным примером пророческого предвидения великого английского романиста».

До появления фотографий настоящих танков художники давали волю фантазии и предсказывали, как благодаря «путешествующим крепостям» изменится ход военных действий в будущем (ил. 183). Они рисовали гигантские многоэтажные колесные, гусеничные танки-крепости, которые стреляли из многочисленных пушек или просто давили дома мирного населения. В конце концов инсектоморфные образы проникли и в художественное «танкостроение», результатом чего стал жукообразный монстр, использовавший помимо пушек и пулеметов гигантские щупальца, разрушавшие любые преграды[1]. Примечательно, что на его «груди» виднелась надпись «Made in England», — напуганным современникам уже было неважно, какая именно страна, союзная или вражеская, построит эту чудовищную машину, так как ход технического прогресса по пути создания механизированных чудовищ представлялся прямой дорогой к уничтожению человечества. В январе 1917 г. в журнале «XX век» появилась иллюстрированная «эволюция подвижной крепости», на которой изображались рисунки реальных и вымышленных колесных приспособлений для

[1] Вокруг света. 1916. № 48. С. 733.

защиты наступающих войск. Обращал на себя внимание один из центральных рисунков: голова дьявола на колесах[1].

Интерес к техническому прогрессу поднимал спрос на фантастику, который резко возрос по сравнению с довоенным временем, что, в частности, отразилось в поступавших в петроградскую драматическую цензуру пьесах: если в 1914 г. фантастических пьес было всего 6% от общего числа и они занимали по популярности предпоследнее седьмое место (опережая исторические), то в 1915 г. они переместились на четвертое место с 12%. Показательно, что в 1914–1915 гг. наибольшие изменения «рейтинга» коснулись только двух жанров — фантастики и патриотических пьес (последние со второго места в 1914 г. опустились на шестое), — что позволяет говорить о некоторой взаимной инверсии патриотического и фантастического сознания в этот период.

Массовое сознание сильнее всего реагировало на тяжелые вооружения, создавая апокалиптические образы, в то время как наиболее весомый вклад в новую тактику военных действий — окопную войну — внесли, помимо артиллерии, пулеметы, не позволявшие бросаться в атаку, как в прежние времена. Важным источником по изучению массового сознания рядовых солдат являются заговорные письма-амулеты, в которых перечислялись виды наиболее опасного вооружения. В одном из таких писем говорилось: «Заговариваюсь я раб Божий Владимир на 24 часа, на все круглые сутки от меча штыка от свинцовых стальных медных пуль и от чугунных гранат шрапнелей и от других металов и будь моя жизнь крепче Петра царя и тело мое крепче камня дикого. Враги мои будут стрелять из ружей пулеметов и пушек; пули летайте и в меня не попадайте летите в чистое поле в сырую землю был бы я невредим во все веки веков Аминь Аминь Аминь»[2]. Периодическая печать сообщала, что подобные заговоры обнаруживались и у пленных немцев и австрийцев, причем, судя по лексике, они передавались из поколения в поколение, добавляя по мере эволюции оружия новые его виды — от алебард до пулеметов[3]. Малограмотные солдаты, месяцами не вылезавшие из окопов, сидевшие там под проливными дождями и дождями из свинца, даже не знакомые с вышеперечисленными фобическими образами техники, создававшимися художниками под впечатлением произведений известных писателей-фантастов, переживали мировоззренческий кризис. В их письмах нередко встречается метафора ада, что свидетельствует о массовом распространении апокалиптических настроений среди различных социальных групп. Таким образом, можно признать, что хотя ряд упомянутых фантастических рисунков и не был известен большинству россиян, их контекст был созвучен массовым настроениям, в которых прослеживается эсхатологическая составляющая: засилье машин для убийства представлялось признаком конца истории.

[1] XX век. 1917. № 4.

[2] Письма с войны 1914–1917 / Сост. А. Б. Асташов, П. А. Симмонс. М., 2015. С. 359.

[3] Вокруг света. 1915. № 4. С. 64.

Следует заметить, что фантастические образы убийственных технических средств существовали не только в эсхатологическом сознании крестьян, художественно-литературных фантазиях творческой интеллигенции, но и воплощались в инженерных проектах. Как правило, речь шла о невежественных попытках горе-изобретателей реализовать собственные фантазии или идеи людей прошлого. Так, например, в 1915 г. в Технический комитет Главного военно-технического управления поступил проект некоего доктора Иодкевича об изменении физической природы металлов путем воздействия на них электрического тока[1]. В другом случае омский мещанин Ф. Н. Щербаков описывал беспилотный летательный аппарат, способный автоматически сбрасывать бомбы: «летательный аппарат который приводитца в действие завадной пружинай, так что, в сказанный апарад кладется снаряд, заводится пружына, и направив его в сторону неприятеля аппарад отпровляется»[2]. Появлялись проекты гигантских бронеавтомобилей, огнеметов нового типа и т. д. Все это указывает на то, как сильно военная техника захватывала массовое сознание.

В. А. Городцов привел на страницах дневника свой сон, по-видимому, явившийся следствием захватившей и его технофобии. В нем он стал участником сражения войск Вильгельма с защитниками города Новомира. Ученые последнего изобрели лучи, которые пускали токи, парализовывавшие людей, останавливавшие технику, сбивавшие самолеты[3].

Всеобщее технобезумие отражалось в сатире. В июле 1917 г. пятигорское «Народное эхо» опубликовало гротескную сказку С. Черного «Техники», в которой рассказывалось о немецких ученых-изобретателях, предлагавших за деньги военному министерству новые смертоубийственные машины. Последний изобретатель принес небольшой черный ящичек с клапанами «Париж», «Лондон», «Петроград», перекрытие которых уничтожало означенные города. Запросив 10 000 марок, ученый получил 20 000 только за то, что пообещал министерскому полковнику уничтожить свое изобретение, так как военные не были заинтересованы в прекращении войны[4]. Подобные образы демонизировали ученых вне зависимости от их подданства, отражая определенные ментальные сдвиги на почве распространявшихся технофобий.

Таким образом, период Первой мировой войны усилил процессы невротизации общества, которые, согласно Й. Радкау, были характерной чертой рубежа XIX–XX вв. Массовая пропаганда, демонизировавшая врага и описывавшая в ярких красках новые военные изобретения, а также наблюдавшиеся обывателями сцены массового беженства, рождавшие библейские ассоциации,

---

[1] *Бахурин Ю.* Бестиарий великой войны. Неизвестные военно-технические проекты Российской империи // Родина. 2014. № 8. С. 42.

[2] Цит. по: *Бахурин Ю.* Бестиарий великой войны… С. 44.

[3] *Городцов В. А.* Дневники ученого. Кн. 1. С. 98.

[4] Народное эхо. 1917. 6 июля.

порождали эсхатологические предчувствия. Первая мировая война стала войной технологий, поэтому фобические образы техники гармонично дополняли апокалиптическую картину «металлического мира» как эсхатологической эпохи. Война представлялась как последняя битва, в которой роль зла играла германская техника, а роль добра исполняла русская природа. Экологические проблемы войны, тем самым, переплетались с эсхатологическими предчувствиями. При этом в распространенных технообразах обнаруживаются разные пласты и аллюзии: влияние литературно-художественной традиции научно-фантастических произведений, прогнозов ученых относительно дальнейшего технического прогресса, иррациональных страхов малообразованных слоев, выраженных в слухах. В условиях разраставшейся шпиономании обывателей начинали пугать не только образы чудовищных вооружений, но и давно вошедшие в повседневный обиход научные изобретения, например бинокли и фотокамеры, приписываемые исключительно шпионам. В некоторых случаях современники использовали массовые фобии для сведения счетов со своими «классовыми врагами». Все вместе это формировало тяжелую психологическую атмосферу, в которой ощущалось крушение основ прежней цивилизации.

* * *

Эпохи внешних вызовов проверяют на прочность национально-государственные основы стран, особенно империй, в которых исключительную важность имеет система политических символов, призванных сплотить разные народы, население различных хозяйственных регионов. Противоречия внутреннего разнообразия империй с политикой ее унификации под теми или иными символами особенно ярко проявляются в периоды кризисов. В Российской империи так и не было создано, несмотря на некоторые попытки, внятной идейной основы. Уваровская триада, с самого начала являвшаяся искусственной надстройкой, после Первой российской революции утратила всякие связи с реалиями. Революция 1905–1907 гг. оказалась испытанием для Русской Церкви, которое она не смогла пройти: вплоть до 1914 г. шел процесс активного расцерковления прихожан, переход из православия в другие религии. Кризис церкви затронул разные уровни: росло напряжение между светской (верховной и высшей) и духовной властью (Синодом), между духовенством разных степеней иерархии, между приходскими священниками и их паствой. Первая мировая война лишь усилила имевшиеся противоречия, добавив новые факторы. Повышение налогов, реквизиции, в которых по долгу службы обязаны были принимать участие священники, не способствовали искоренению конфликтов с местным населением. По мере же нарастания усталости и раздражения от войны патриотическая пропаганда духовенства озлобляла и настраивала против себя людей как в тылу, так и на фронте. В народе усиливались эсхатологические настроения и развивались альтернативные формы народной

религиозности. Православие, тем самым, переставало играть роль национального фундамента. Не лучше обстояло дело с самодержавным принципом. Объективные причины дискредитации Николая II в связи с началом мировой войны дополнились субъективными просчетами в стратегии репрезентации царской власти. Ставка на документальную фотографию и выстраивание образа народного, демократичного царя лишь подкрепляли уверенность крестьян в том, что царь «подмененный», «ненастоящий». Традиционное сознание плохо усваивало продукт индустриальной эпохи. В то же время противоречие политики Николая II заключалось в том, что визуальная демократическая стратегия репрезентации шла вразрез с его самоидентификацией в качестве самодержца и выстраиваемыми отношениями с правительством и Государственной думой. Патриотические настроения 1914 г. депутатами и либеральной общественностью наполнялись надеждами на преодоление разногласий верховной власти и общественных организаций, однако на практике роль Государственной думы на протяжении всей войны лишь снижалась, способствуя росту ее оппозиционности. В конечном счете сама власть начала приписывать Думе не свойственную для большинства ее депутатов революционность. Такие же значения приписывались Думе широкими слоями общества. Дума превращалась в символ политической консолидации, преодоления внутренних разногласий, однако власть продолжала видеть в ней угрозу своему самодержавному статусу. Но кризис политических символов выходил за институциональные рамки. Народ как героический символ дискредитировался слухами и фактами негероического поведения солдат, офицеров, сестер милосердия. Пропаганда, делавшая ставку на демонизацию врага, не срабатывала, потому что в самом обществе обнаруживалась червоточина. Это соотносилось с эсхатологическими предчувствиями: война создавала более актуальные для тыла и фронта символы, пробуждая в народе глубинные фобии. Один из распространенных мотивов — мотив «металлического мира» — проявился в страхе перед военной техникой, которая традиционному сознанию казалась знаком приближающегося Апокалипсиса. В этих условиях война и поддерживающая ее власть (впрочем, как и представители либеральной и консервативной общественности), вызывали враждебное отношение со стороны народа.

Раздел 7

Эмоция

Психологическое измерение российской революции

Канун 1917 г. воспринимался и властью, и российским обществом как системный политический кризис, одним из элементов которого являлся кризис информационный. Его важной характеристикой было падение доверия масс к власти и аффилированным с ней источникам информации при одновременном росте доверия к слухам — стихийно распространявшимся устным сведениям. Принципиально важно, что слухи питали не только представления «темных» масс, но их повторяли в стенах Таврического дворца депутаты, агенты охранного отделения включали их в свои донесения, на основании которых Департамент полиции составлял отчеты и власти вырабатывали план действий.

Слухи являлись лакмусовой бумажкой массовых настроений. В них аккумулировались сознательные и бессознательные страхи общества и представителей власти. Страх порождал ненависть и, выражаясь в социальных действах, приводил к стихийным аффектам. Эмоции начинали руководить толпой и провоцировали неконтролируемое насилие. Вместе с тем эмоции быстротечны и нередко сменяются на противоположные. Февральская революция как нельзя лучше это продемонстрировала: страх и ненависть в ней соседствовали с любопытством и восторгом. События конца февраля — начала марта 1917 г. по своему психическому напряжению могут быть описаны как эмоциональный взрыв, за которым последовала неминуемая расплата — невротизация общества. Слухи сохраняли важную роль на протяжении всего 1917 г., и современники революции, в частности М. Горький, отмечали, что политика подчинена эмоциям.

Значимую роль эмоционального фактора можно обнаружить на основных переломных рубежах российской революции: февраль, апрель — май, июль, август — сентябрь, октябрь 1917 г. Проявлялся он как на уровне массовой активности, так и на уровне принимаемых решений конкретными представителями политических элит. Это затрудняло выстраивание политиками рациональной

стратегии управления, так как стихия эмоционально-аффективного бунтарства разрушала любые логические сценарии. Все это способствовало реализации функции слухов как «самоисполняющихся пророчеств».

Визуальное пространство российской революции позволяет выстроить некую динамику эмоциональных состояний общества. Журнальная карикатура, отражавшая широкий спектр эмоций — от восторга до эсхатологического страха, — фиксировала изменения настроений современников. Использование квантитативных методов работы с визуальным текстом помогает реконструировать психоэмоциональные процессы.

Сильные эмоции воздействовали на нервное состояние обывателей. Эмоциональное выгорание февральско-мартовских дней негативно сказывалось на нервно-психическом здоровье общества. Не только психиатры отмечали увеличение количества душевнобольных. Однако попытки психиатров подвести под революцию медицинскую теорию потерпели крах, потому что они сами оказались под сильным впечатлением от событий. Появлявшиеся теории больше говорили об их авторах, чем о революции. Тем не менее революция отразилась на сознании современников. Эксперименты большевиков меняли привычную повседневность, что травмировало психику наиболее уязвимых категорий населения, меняло их отношение к реальности. Новое, политическое звучание приобрели вопросы, обсуждавшиеся еще до революции.

Информационный кризис кануна революции: слухи как революционный фактор

В исторической науке проблема сочетания объективных и субъективных факторов остается одной из самых актуальных. Особенно это касается изучения таких явлений, как революции, ломающие социально-политические отношения. Очевидно, что чем грандиознее изменения, тем уместнее предположить наличие глубинных причин, предопределивших вызревание глобальных преобразований. Вместе с тем нередко толчком к ним оказываются случайные, непрогнозируемые, стихийные факторы. В российской революции 1917 г. роль случайного фактора сыграли слухи, спровоцировавшие февральские беспорядки. Стихийный характер слухов не отрицает объективного и закономерного характера революции: слух, запущенный в стабильной системе, не способен поколебать ее основ, в то время как в условиях кризиса, нарушения устойчивости и равновесия системы резко повышается значение случайных, стихийных процессов.

Понимание любой революции не может быть полным без учета явлений, которые относятся к сфере аффективного и эмоционального. В исследованиях В.П. Булдакова, Б.И. Колоницкого, М. Стейнберга, Я. Плампера и многих других авторов обращается внимание на эмоциональную подоплеку различных

событий и процессов эпохи российской революции, выражавшуюся в аффективных действиях (погромах, самосудах), художественном творчестве, политической лексике и народной молве[1]. В.П. Булдаков и Т.Г. Леонтьева указывают на методологические препятствия постижения природы революции, которая не поддается рациональной оценке социологизирующих авторов, пытающихся «хаос эмоций перевести на язык удобной для них „логики"»[2]. Не случайно в связи с этим С.В. Леонов, описывая массовое сознание 1901–1917 гг., прибег к известной метафоре «разруха в головах» (употреблявшейся современниками задолго до М.А. Булгакова) — порой именно анализ рожденных в исследуемое время художественных метафор помогает определить специфику общественных настроений, в которых эмоциональное преобладало над рациональным[3].

В современной историографии революции 1917 г. еще встречается недооценка отдельными исследователями значения стихийных процессов как следствия особенностей психологического состояния общества, что можно рассмотреть в качестве некоего наследия марксистско-позитивистского подхода, пытавшегося свести любую надстройку к единому «базису». В этом свете соблазн вызывает попытка объяснить революцию через «объективную» экономическую сферу. На практике это приводит к вульгарно-экономическому детерминизму. Так, характерным примером тупика последнего стала дискуссия между Б.Н. Мироновым и С.А. Нефедовым. Первый, утверждая, что благосостояние населения России неуклонно повышалось (что иллюстрирует, в частности, увеличением среднего роста новобранцев), делает вывод об отсутствии объективных причин революции и предлагает конспирологические объяснения событий февраля 1917 г.[4] Нефедов, отталкиваясь от неомальтузианского подхода, наоборот, утверждает, что планомерное ухудшение экономической ситуации спровоцировало в Петрограде в январе — феврале 1917 г. голод, который вызвал революцию. Пытаясь рассчитать потребление петроградцами хлеба (Нефедов пишет об ограничении отпуска муки в размере 35 тысяч пудов в сутки

---

[1] См.: *Булдаков В.П.* Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997; *Колоницкий Б.И.* Символы власти и борьба за власть: к изучению политической культуры российской революции 1917 года. СПб., 2001; *Steinberg M.* Proletarian Imagination: Self, Modernity, and the Sacred in Russia, 1910–1925. Ithaca, 2002; *Holquist P.* Making War, Forging Revolution: Russia's Continuum of Crisis, 1914–1921. Cambridge, Mass., 2002; *Плампер Я.* Страх в русской армии в 1878–1917 гг.: к истории медиализации одной эмоции // Опыт мировых войн в истории России. Сборник статей. Челябинск, 2007. С. 453–460; *Стейнберг М.* Меланхолия Нового времени: дискурс о социальных эмоциях между двумя революциями // Российская империя чувств: Подходы к культурной истории эмоций. Сборник статей. М., 2010. С. 202–226; *Нарский И., Хмелевская Ю.* «Упоение» бунтом в русской революции (на примере разгрома винных складов в России в 1917 году) // Российская империя чувств… С. 259–281.

[2] *Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г.* Война, породившая революцию. М., 2015. С. 697.

[3] *Леонов С.В.* «Разруха в головах»: к характеристике российского массового сознания в революционную эпоху (1901–1917 гг.) // Ментальность в эпохи потрясений и преобразований. М., 2003. С. 95–172.

[4] См.: *Миронов Б.Н.* Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII — начало XX в. М., 2012.

из городских запасов, при этом не учитывает, что речь шла о предоставлении муки на заимообразной основе продовольственной комиссии в дополнение к остававшимся запасам и ежедневно поступающим вагонам с мукой), автор приходит к выводу, что ситуация с продовольствием в январе — феврале 1917 г. в Петрограде соответствовала ситуации в январе — феврале 1942 г. в блокадном Ленинграде (sic!). При этом Нефедов допускает грубые ошибки при работе с письменными источниками: не подвергая источниковедческой критике донесения агентов охранного отделения и информацию из воспоминаний современников, выдает некоторые слухи за факты. Так, в серии его «юбилейных» публикаций в качестве «фактов» приведены циркулировавшие слухи о том, что английское посольство разрабатывало для российских либералов инструкции по тому, как «делать» революцию, что одна из причин нехватки муки в Петрограде в том, что извозчики скормили ее лошадям, что в дни февральского восстания городовых привязывали к двум автомобилям и разрывали на части, что городовые с крыш домов, церквей и колоколен стреляли из пулеметов по людям и пр.[1] Действительно, некоторые слухи столетней давности были столь убедительны, повторялись то одним, то другим источником, что современный неискушенный исследователь может принять их за реальные события. Но это лишь подтверждает актуальность обсуждаемой темы, указывает на необходимость более глубокого исследования особенностей массовых настроений широких слоев населения в предреволюционное время.

Тем самым экономический детерминизм, присущий и Миронову, и Нефедову, приводит их к одинаково неверным и крайне односторонним представлениям о природе российской революции. Вместе с тем современная экономическая наука позволяет дополнить «объективные» процессы «субъективными» факторами. В 2002 г. была присуждена Нобелевская премия Даниэлю Канеману за развитие такой отрасли, как психологическая экономика, акцентирующая внимание на индивидуальных когнитивных процессах в экономической сфере. Современные экономисты давно уже признали роль так называемых неэкономических факторов производства, обращают внимание на значение массовых настроений в экономике (например, инфляционных ожиданий и т. д.). Историки, всерьез изучающие экономическую историю, также отказываются от монофакторного подхода[2]. Ю. А. Петров, Л. И. Бородкин признают человеческое измерение экономики, обращают внимание на то, что в распределении

---

[1] Следует заметить, что миф о «протопоповских пулеметах» прочно засел в советской историографии, несмотря на его развенчание сначала в работах С. П. Мельгунова, а затем А. Л. Сидорова, П. В. Волобуева. Однако С. А. Нефедов не владеет историографией вопроса, отсюда — повторение ошибок. Из современных работ на эту тему см.: *Румянцев А. Г.* «Полицейские пулеметы» в Феврале 1917 года: миф или реальность? // Революция 1917 года в России: новые подходы и взгляды. Сборник научных статей. СПб., 2015. С. 38–54.

[2] См., например: *Петров Ю. А.* Великая российская революция: проблемы исторической памяти // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2018. № 1. Т. 8. С. 6–9.

материальных благ важны не только цифровые показатели, но и ожидания самих людей[1]. В этом контексте истинный размер потребления хлеба в феврале 1917 г. не так важен, как представления населения о справедливом распределении, ощущение ими тенденций к ухудшению или улучшению ситуации. В источниках личного происхождения за январь и февраль 1917 г. часто встречается слово «голод», однако очевидно, что до настоящего голода 1919–1921 гг. петроградцам и москвичам тогда было очень далеко, но страх приближающегося голода делал свое дело, провоцировал панические настроения, а те в свою очередь порождали слухи, становившиеся стимулами к действиям.

Очевидно, что для понимания такого сложного, многопланового явления, как революция, необходим многофакторный подход, который позволит соотнести «объективные» макроисторические процессы с явлениями микроисторического, субъективного уровня, связать закономерное и случайное, организованное и стихийное. В настоящее время наиболее перспективным представляется подход, предполагающий изучение революции как совокупности синергетических процессов, развиваемый В.П. Булдаковым. Перспективы синергетического подхода в исследовании российской революции подчеркивает Л.И. Бородкин, обращая внимание, что «в рамках синергетической концепции при наличии нескольких возможных вариантов развития выбор между ними в „моменты роковые“ (в точках бифуркации) может происходить в силу „незначительных событий“ и даже случайностей»[2]. Тем самым проясняется роль слухов в точках бифуркации, когда случайное и малозначительное становится движителем глобальных процессов.

Синергетика, изучающая самоорганизацию динамических систем, помогает обнаружить закономерности случайного, объяснить те или иные парадоксы революции как частного (например, почему «голодные» обыватели, ворвавшись в булочные, уничтожали хлеб, разбрасывая его по полу, или почему революция началась не 9 января или 14 февраля — в дни, когда ожидались рабочие беспорядки, — а в ничем не примечательный день женщины-работницы и т.д.), так и общего свойства (как большевики, аутсайдеры политической борьбы, смогли захватить власть). Ответить на эти вопросы без изучения человеческого фактора и исследования массовой психологии общества не представляется возможным.

Изучение пространства слухов кануна революции осложняется тем, что слухами были переполнены как обывательские представления о власти, так и сама власть: вырабатывая политические стратегии, она нередко руководствовалась

---

[1] *Петров Ю.А.* Великая российская революция 1917 года: уроки истории // Научные труды Вольного Экономического общества России. 2017. Т. 204. № 2. С. 181–191; *Бородкин Л.И.* Вызовы нестабильности: концепции синергетики в изучении исторического развития России // Уральский исторический вестник. 2019. № 2 (63). С. 127–136.

[2] *Бородкин Л.И.* Вызовы нестабильности… С. 130.

слухами. Еще в начале 1915 г. товарищ министра внутренних дел В.Ф. Джунковский отмечал, что даже Совет министров зачастую действовал, основываясь на непроверенных слухах[1]. По мере приближения к 1917 г. ситуация лишь ухудшалась. Формирование искаженных взаимных представлений усугубляло социально-психологическое состояние российского общества, нагнетало атмосферу враждебности, предопределяя распространение различных форм насилия в февральско-мартовские дни.

Значительный вес слухов в политической жизни конца 1916-го — начала 1917 г. констатировался как рядовыми обывателями, так и сотрудниками полиции. Александр Вертинский вспоминал зиму 1916/17 г.: «Трон шатался… Поддерживать его было некому. По стране ходили чудовищные слухи о похождениях Распутина, об измене генералов, занимавших командные должности, о гибели безоружных, полуголых солдат, о поставках гнилого товара армии, о взятках интендантов»[2]. Важно отметить, что слухи из способа передачи информации трансформировались в сам предмет разговоров, вследствие чего возникали слухи о слухах. Причем в городах обсуждали слухи, распространяемые в деревнях, и наоборот, но особое значение приобретало устное информационное пространство Петрограда: «Разговоры в Москве двух родов: о дороговизне… и о петроградских слухах», — сообщал москвич 2 февраля 1917 г.[3] Внимание населения было приковано к столице и к тому, что в ней происходит, поэтому любые сведения, поступавшие из Петрограда, казались важными. Слух превращался в самостоятельный феномен предреволюционной ситуации, захватывая сознание представителей совершенно разных слоев населения, как образованных, так и нет, вхожих в политические круги и рядовых обывателей. В ноябре — декабре 1916 г. тема приближавшейся революции была одной из главных в личной переписке, и даже в провинциальной периодической печати появлялись фразы, что новый 1917 г. неминуемо приведет к «серьезному ремонту корабля»: «Откровенно сказать, разруху не поправишь одними словами… Надо, видимо, поступать так, как делает заботливый хозяин, когда протекает крыша или дует в пазы дома… 1917 год и зовет нас или к серьезному ремонту нашего „корабля“, или, наконец, к замене его новым»[4]. 1 января 1917 г. «Саратовский листок» подводил неутешительный итог внутренней политики: «Государственная власть оказалась не объединенной, действующей в противоречии с народным представительством, заботящейся лишь о сохранении „престижа“, бессильной против надвигавшейся в тылу опасности»[5].

---

1 *Джунковский В.Ф.* Воспоминания. Т. 2. С. 482–483.

2 *Вертинский А.Н.* Дорогой длинною… Стихи и песни. Рассказы, зарисовки, размышления. Письма. М., 1990. С. 91.

3 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1071. Л. 17.

4 Старый Владимирец. 1917. 3 января.

5 Саратовский листок. 1917. 1 января.

Более определенно современники высказывались о политическом моменте в своих дневниках: о революции писал и московский обыватель Н.П. Окунев: «Словом, настроение безнадежное — видно, все осознали, что плеть обухом не перешибешь. Как было, так и будет. Должно быть, без народного вмешательства, т.е. без революции, у нас обновления не будет»[1], — и молодая княгиня Екатерина Сайн-Витгенштейн, посетившая Петроград: «Все так гадко, серо, неприглядно, что чем больше думаешь, тем хуже становится на сердце… Наверное это все разрешится в ближайшем будущем, и разрешится, конечно, катастрофой»[2]. Подобные настроения усугублялись распространявшимися по городам слухами о готовившихся в верхах заговорах, покушениях на царствующие особы, особенно на Александру Федоровну. М.П. Чубинский записал в дневнике в первых числах января: «По городу ходят вздорные слухи: одни говорят о покушении на государя, другие о ранении государыни Александры Федоровны. Утверждают (и это очень характерно), будто вся почти дворцовая прислуга ненавидит государя и охотно вспоминает истории с сербской королевой Драгой»[3]. Записи Чубинского подтверждаются перлюстрированной корреспонденцией, согласно которой в январе по Петрограду прошла молва, что в Царскосельском парке в императрицу стрелял, но промахнулся, некий князь Оболенский, за что он и участвовавшие вместе с ним в заговоре офицеры были тут же повешены[4].

Петроградское Охранное отделение также отмечало, что слухи создают нервозную обстановку, напоминающую канун 1905 г. 5 января 1917 г. начальник петроградской охранки генерал-майор К.И. Глобачев писал командующему Петроградским военным округом генерал-лейтенанту С.С. Хабалову: «Настроение в столице носит исключительно тревожный характер. Циркулируют в обществе самые дикие слухи, одинаково, как о намерениях Правительственной Власти (в смысле принятия различного рода реакционных мер), так равно и о предположениях враждебных этой власти групп и слоев населения (в смысле возможных и вероятных революционных начинаний и эксцессов). Все ждут каких-то исключительных событий и выступлений, как с той, так и с другой стороны… Настоящий политический момент в сильнейшей степени напоминает собою обстановку событий, предшествовавших революционным эксцессам 1905 года»[5]. По донесениям агентов охранки можно судить о том, что напуганы разнообразными слухами были и рядовые обыватели, и сама власть, ожидавшие насилие со стороны друг друга. Слухи предсказывали развитие

---

[1] *Окунев Н.П.* Дневник москвича (1917–1924). Париж, 1990. С. 11.

[2] *Сайн-Витгенштейн Е.Н.* Дневник. Париж, 1986. С. 77.

[3] *Чубинский М.П.* Год революции (1917) (из дневника) // 1917 год в судьбах России и мира. М., 1997. С. 233.

[4] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1071. Л. 101.

[5] ГА РФ. Ф. 111. Оп. 5. Д. 669а. Л. 2.

самых трагических сценариев. В докладе Охранного отделения сообщалось, что в январе в обществе ожидаются «неизбежные проявления красного и белого террора»[1]. Дж. Бьюкенен вспоминал, что в начале 1917 г. в обществе открыто обсуждалось, сверху или снизу будет нанесен первый удар: «Революция носилась в воздухе, и единственный спорный вопрос заключался в том, придет ли она сверху или снизу. Дворцовый переворот обсуждался открыто, и за обедом в посольстве один из моих русских друзей, занимавший высокое положение в правительстве, сообщил мне, что вопрос заключается лишь в том, будут ли убиты и император и императрица или только последняя; с другой стороны, народное восстание, вызванное всеобщим недостатком продовольствия, могло вспыхнуть ежеминутно»[2].

В докладе Петроградского Охранного отделения за 19 января, в котором описывались настроения различных слоев общества, подводился вполне определенный итог: «Как общий вывод из всего изложенного выше должно отметить лишь один: если рабочие массы пришли к сознанию необходимости и осуществимости всеобщей забастовки и последующей революции, а круги интеллигенции — к вере в спасительность политических убийств и террора, то это в достаточной мере определенно показывает оппозиционность настроения общества и жажду его найти тот или иной выход из создавшегося политически-ненормального положения. А что положение это, как указывает все вышеизложенное, с каждым днем становится все ненормальнее и напряженнее и что ни массы населения, ни руководители политических партий не видят из него никакого естественного и мирного выхода, — говорить об этом не приходится»[3]. А. Ахматова вспоминала, что в ее окружении революция была «назначена» на 20 января 1917 г. и кто-то уже начинал ее заблаговременно праздновать: «В этот день я обедала у Альтмана. Он подарил мне свой рисунок и надписал: „В день Русской Революции“»[4].

Изменение общей психологической атмосферы фиксировалось в дневниках современников, которые справедливо обращали внимание, что важно не то, откуда берутся эти слухи (в столицах ходили слухи о существовании «фабрики слухов», к которой были причастны немецкие шпионы, занимающиеся распространением дискредитирующей власть недостоверной информации), а то, что люди в них верят, несмотря на абсурдность многих из них[5]. Опасность представляло то, что слух, вызывая с течением времени все большую эмоциональную реакцию, превращался в двигательный импульс. В октябре 1916 г. Департамент полиции давал оценку текущей забастовке в столице, отмечая стихийно-эмоциональный

---

[1] ГА РФ. Ф. 111. Оп. 5. Д. 669а. Л. 3.
[2] *Бьюкенен Дж.* Мемуары дипломата… С. 192.
[3] ГА РФ. Ф. 111. Оп. 5. Д. 669а. Л. 10 об.
[4] *Ахматова А.* Малое собрание сочинений. СПб., 2012. С. 431–432.
[5] Дневник Л. А. Тихомирова. 1915–1917. М., 2008. С. 96.

характер рабочего движения, совпавшего с общей «нервозностью»: «Необычайно повышенное настроение населения столиц дает основание начальникам охранных отделений заключить, что в случае, если не изменятся обстоятельства, вызвавшие подобную нервозность, как в Петрограде, так и в Москве могут вспыхнуть крупные беспорядки чисто стихийного характера»[1]. В начале 1917 г. в Полтавской губернии ожидали, что слухи станут причиной «действий»: «Сознание, что причиной всех наших неурядиц является измена и измена свыше, проникло во всю толщу населения. Говорят об этом всюду и везде, а в будущем надо ожидать и действий»[2]. Слухи формировали нервную атмосферу, поэтому не удивительно, что на абсурдные слухи подчас следовали не менее абсурдные реакции современников, «легитимировавшие» первые.

Можно отметить несколько причин возрастания роли слухов в информационном пространстве. Первые связаны с ошибочными стратегиями властей, в частности с усилением цензуры, что заставляло обывателей искать альтернативный источник информации, другие — с неспособностью властей поддерживать снабжение населения товарами первой необходимости на должном уровне, что провоцировало разговоры о злонамеренности тех или иных представителей администрации, третьи — с демографическими процессами, проникновением в города крестьянской психологии и устной культуры.

Современники отмечали, что именно деревенские слухи были самыми фантастическими. Так, если накануне революции одним из самых актуальных слухов о войне в городах был слух о намерениях «темных сил» заключить сепаратный мир с Германией, то в деревнях говорили, что «воюют потому, что хотят опять сделать крестьян крепостными»[3]. Показательно, что этот слух повторился в Одессе в марте 1917 г.: когда стало известно об образовании Временного правительства, крестьяне решили, что первым мероприятием революционной власти станет восстановление крепостного права[4].

Шпиономания, естественная спутница войны и порожденных ею страхов, провоцировалась военными властями, пытавшимися неудачи на фронте объяснить деятельностью шпионов и предателей. Однако официальная пропаганда, пропускавшая в печать информацию определенного рода, блокировала сведения, которые могли бы бросить тень на представителей власти. Газеты выходили с белыми полосами, и обывателям оставалось лишь гадать, что именно там могло быть напечатано. «Белые места в газетах — хуже прокламаций», — делились современники своими впечатлениями[5]. Цензура подстегивала народную фантазию, которая все чаще своим объектом начинала выбирать верховную

[1] Буржуазия накануне февральской революции. М.; Л., 1927. С. 136.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1070. Л. 48.
[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1064. Л. 1461.
[4] Одесский листок. 1917. 4 марта.
[5] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1064. Л. 1409.

власть. Когда собственной фантазии не хватало — обращались к альтернативному источнику информации, т.е. к слухам. 27 декабря 1916 г. один обыватель писал в Москву из Екатеринослава: «Если бы газеты сообщали правду, т.е. если бы они знали правду, быть может и не было бы такой массы всякого рода иногда самых невероятных слухов»[1]. За несколько дней до начавшейся революции учитель географии коммерческого училища И.Н. Жуков писал из Петрограда: «Общественная жизнь полна всяких слухов, толков и зигзагов. Так как цензура наложила на печать свою тяжелую лапу, то петроградцам ничего не остается делать, как питаться сплетнями, из которых девять десятых совершенно неправдоподобны. Общественное настроение нервное и действительно напоминает канун 1905 года»[2].

Даже в Охранном отделении обратили внимание, что несоответствие напечатанных официальных сведений тому, о чем говорят в стране, еще сильнее настраивает обывателей против властей, становится раздражающим фактором. В петроградском губернском жандармском управлении признавались ошибки цензурной политики. Еще в сводке за октябрь 1916 г. отмечалось: «Все без исключения выражают определенную уверенность в том, что „мы накануне крупных событий“, в сравнении с коими „1905 г. — игрушка“, что „система правительства держать обывателя в неведении потерпела полный крах: обыватель пробудился и, вместо ожидаемого «ура», кричит «караул», и т.п.“»[3]. При этом новый директор Департамента полиции А.Т. Васильев справедливо полагал, что хотя революционное движение организовано плохо, его силы распылены, беспорядки могут развиваться стихийно, во многом благодаря царившей в обществе нервозности[4]. «Все Рождество петроградское общество прожило в таком тумане, как никогда; ежедневно и ежечасно появляются „достоверные“ слухи, сказанные лицом „брат которого побывал у Милюкова или Родзянки“; слухи накопляются и превращаются в бесконечный ком зачастую даже злостных сплетен, в котором трудно что-нибудь разобрать: утром говорят о том, что Дума составляет петицию об отставке 300 высших чинов администрации и с заявлением о необходимости в случае отказа „апеллировать к народу“, — а к вечеру распространяют известие, что обнаружена „организация“ офицеров, постановившая убить ряд лиц, якобы мешающих „обновлению России“… Ясно, что в подобной обстановке слухов обыватель беспомощно мечется из стороны в сторону и готов поверить любой нелепости, лишь бы не сознаться, что он не имеет „осведомленных“ обо всем знакомых», — говорилось в очередном докладе охранки[5].

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1067. Л. 1796.
[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1071. Л. 49.
[3] Буржуазия накануне… С. 129.
[4] Там же. С. 136–138.
[5] ГА РФ. Ф. 111. Оп. 5. 1917. Д. 669а. Л. 6 об.

Вместе с тем цензурная политика давала сбои. В конце января 1917 г. петроградская охранка жаловалась на цензоров, пропускавших «пасквили» А. Амфитеатрова, — в частности, в газете «Речь» от 23 января 1917 г. упоминание приема у А.Д. Протопопова заканчивалось словами, что «во время обеда играл хор балалаечников жандармского дивизиона»[1]. 22 января 1917 г. в «Русской воле» А. Амфитеатров опубликовал заметку, начинавшуюся словами: «„Рысистая езда шагом“, или трусцой — есть ледяное, непоколебимое общественное настроение… И, ох, чтобы его, милое, пошевелить или сбить, адская твердость нужна, едва ли завтра явится предсказуемая!..»[2] Заведующий почтово-телеграфным отделением В.А. Козлов разгадал задумку писателя, зашифровавшего в качестве акростиха следующее послание: «Решительно ни о чем писать нельзя. Предварительная цензура безобразничает чудовищно. Положение плачевнее, нежели тридцать лет назад. Мне недавно зачеркнули анекдот, коим я начинал свою карьеру фельетониста. Марают даже басни Крылова. Куда еще дальше идти? Извиняюсь, читатели, что с седою головой приходится прибегать к подобному средству общения с вами. Но что поделаешь! Узник в тюрьме пишет, где и чем может, не заботясь об орфографии. Протопопов заковал нашу печать в колодки и более усердного холопа реакция еще не создавала. Страшно и подумать, куда он ведет страну. Его власть — безумная провокация революционного урагана»[3]. Филолог Л.В. Успенский, бывший в то время семнадцатилетним гимназистом, вспоминал, в какой восторг он пришел, когда на уроке разгадал акростих Амфитеатрова, и какое возбуждение этот акростих вызвал среди его одноклассников[4]. Однако предварительная цензура пропустила публикацию. Впрочем, некоторые цензоры, по всей видимости, сознательно закрывали глаза на отдельные материалы: так, после убийства Распутина официальная «Летопись войны» опубликовала портрет В.М. Пуришкевича с подписью «герой», а в журнале «Столица и усадьбы» появилась фотография дворца Юсуповых с подписью, что в нем живет очень меткий стрелок. Тем не менее в большинстве случаев цензоры выполняли свою работу: газеты выходили с белыми полосами вымаранных столбцов, на журнальных иллюстрациях появлялись черные квадраты, скрывавшие часть изображения.

Вероятно, убийство Распутина 17 декабря 1916 г. стало определенным психологическим рубежом как для власти, так и для общества, породив череду слухов и сплетен, страхов и надежд. Власть и общество ждали друг от друга следующих шагов. В записке охранного отделения об общественных настроениях указывалось на вероятность развязывания «красного и белого террора»: «Возможность „возобновления красного террора в ответ на белый“ не подлежит

[1] Буржуазия накануне… С. 168.
[2] Русская воля. 1917. 22 января.
[3] РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 1165. Л. 217.
[4] См.: *Успенский Л.* Записки старого петербуржца. Л., 1970.

никакому сомнению, тем более что в действующей армии, согласно повторных и все усиливающихся слухов, террор широко развит в применении к нелюбимым начальникам, как солдатам, так и офицерам... Поэтому слухи о том, что за убийством Распутина — „этой первой ласточкой террора“ — начнутся другие „акты“, — заслуживают самого глубокого внимания»[1].

Стратегически неправильную позицию власти заняли относительно Государственной думы. Отсрочки заседаний порождали слухи о ее окончательном роспуске, а самих депутатов наделяли революционным ореолом. Департамент полиции сообщал в январе 1917 г., что отсрочка открытия сессии накаляет обстановку в Петрограде и становится главной темой слухов[2]. В 1917 г. Охранное отделение и Департамент полиции так же, как и все общество, находились под властью слухов, которые передавались по агентурной линии. Начальник Петроградского охранного отделения Глобачев сообщал Хабалову, ссылаясь на слухи: «Передают, как слух, о том, что накануне минувших Рождественских праздников или в первые дни таковых состоялись якобы какие-то законспирированные совещания представителей левого крыла Государственного Совета и Государственной Думы»[3]. В условиях роста социально-политической напряженности власти искали источник протестной активности и находили его в Государственной думе. Рядовые обыватели, наоборот, смотрели на Думу как на последнее спасение. В январе 1917 г. общественность обсуждала слухи о предстоящей дуэли Протопопова и Родзянко, усматривая в ней столкновение державно-государственной и общественной стратегий (или традиционного и гражданского патриотизма)[4].

Слухи о секретных совещаниях депутатов, вместе с информацией о деятельности рабочей группы Центрального Военно-промышленного комитета, приводят к версии об их тесной связи. Накануне ареста рабочей группы 26 января Глобачев передает информацию, полученную от агентов, что рабочей группой ЦВПК управляют Родзянко и Милюков (sic!), которые с ее помощью пытаются организовать 14 февраля, в день открытия Думы, шествие к Таврическому дворцу, во время которого народ должен потребовать от Думы создать Временное правительство, или «правительство спасения»[5]. А. И. Гучков же в этом донесении, как сторонник «военного переворота», предстает как не имеющий отношения к действиям «рабочей группы». В докладе сообщалось, что Гучков с князем Львовым считают «мечты о захвате власти при содействии демонстративно выступивших масс населения неосуществимыми», поэтому они разработали план, основанный на «уверенности в неизбежности „в самом ближайшем будущем“ дворцового переворота, поддержанного всего-навсего лишь одним-двумя

[1] Буржуазия накануне... С. 173.
[2] Там же. С. 170.
[3] ГА РФ. Ф. 111. Оп. 5. Д. 669а. Л. 2.
[4] Одесский листок. 1917. 4 января.
[5] ГА РФ. Ф. 111. Оп. 5. Д. 669а. Л. 12–13.

сочувствующими этому перевороту воинскими частями»[1]. Эти же слухи приводил в своем докладе и градоначальник А.П. Балк. На основе абсурдных сведений о влиянии Милюкова и Родзянко на рабочую группу 27 января она была арестована. Агенты охранки удовлетворенно сообщали, что арест рабочей группы стал неожиданным и успешным ударом по боевой общественности, при этом сам Гучков, действительно, был обескуражен ее арестом, однако не потому, что возлагал на рабочую группу какие-то революционные надежды, а потому, что считал ее средством предотвращения стихийного бунта в рабочей среде, способного привести к анархии[2]. 8 февраля под председательством петроградского градоначальника генерал-майора А.П. Балка состоялось совещание по выработке дальнейших мер по сохранению порядка в столице 10–14 февраля. Балк обосновал необходимость усилить охрану в городе, также ссылаясь на «циркулирующие слухи»[3]. Таким образом, в январе — феврале 1917 г. слухи стали значимым стимулом действий властей, реализуя функцию упомянутого «самоисполняющегося пророчества». Напуганные предчувствиями грядущей революции власти, поверив слухам о заговорах в Государственной думе, ЦВПК, бросили силы на «предотвращение» революции, чем только ускорили ее приближение.

К слову, не меньше властей был обеспокоен слухами о рабочих беспорядках 14 февраля председатель Думы М.В. Родзянко, который накануне открытия парламентской сессии выпустил обращение к петроградским рабочим, заявив, что считает выступления крайне вредными и играющими на руку немцам[4]. Весьма любопытно появление в Петрограде слуха о том, что накануне 14 февраля П.Н. Милюков ходил по заводам и раздавал рабочим оружие, призывая устроить шествие к Таврическому дворцу. П.Н. Милюкову пришлось даже давать опровержение в кадетской «Речи», при этом депутат не сомневался в том, что какой-то провокатор действительно выступал от его имени[5]. Музыковед и критик Н.Ф. Финдейзен считал, что роль Милюкова сыграл ряженый полицейский, командированный А.Д. Протопоповым с целью организации провокации, доказывая это тем, что лже-Милюков находился под охраной полиции и потому не был задержан[6]. Некоторые современники были уверены в том, что полицейские и агенты охранки по личной инициативе распускали слухи, пытаясь сгустить краски и представить ситуацию с рабочими более опасной, чем она была на самом деле, в корыстных интересах (в частности, чтобы не быть отправленными на фронт за ненадобностью в тылу или же с целью отличиться перед начальством). Чем только подливали масла в огонь.

---

1 Там же. Л. 14.
2 Там же. Л. 17–19.
3 ГА РФ. Ф. 111. Оп. 5. Д. 669. Л. 190.
4 Вечернее время. 1917. 13 февраля.
5 Речь. 1917. 10 февраля.
6 *Финдейзен Н.Ф.* Дневники. 1915–1920. СПб., 2016. С. 180.

Несмотря на арест рабочей группы, а также на агитацию большевиков против демонстраций, 14 февраля в разных частях Петрограда состоялись рабочие сходки, что говорит о переоцененности агентами Охранного отделения роли рабочей группы в связи с массовыми слухами о готовящихся беспорядках. Кроме того, ликвидация рабочей группы затрудняла дальнейшее разрешение конфликтов рабочих с заводской администрацией, что косвенно отразилось на объявленном 22 февраля 1917 г. локауте на Путиловском заводе, вследствие которого 36 тысяч рабочих оказались на улице. Как следует из запроса, подготовленного 23 февраля Государственной думой, забастовка рабочих лафетно-штамповочной мастерской Путиловского завода началась неожиданно для основной массы рабочих-путиловцев, причем ей предшествовал распространившийся «слух о возможном сокращении производства и частично[м] расчет[е] рабочих в связи с недостатком топлива и сырья»[1]. Слух об отсутствии в Петрограде хлеба вывел на улицы города и женщин-работниц Выборгского района 23 февраля. Следует заметить, что начавшиеся в этот день беспорядки нельзя рассматривать исключительно как хлебные, социал-демократки и ранее стремились включить День женщины-работницы в традицию протестного движения. Так, работницы завода «Айваз», меньшевички М.Б. Терликова и Михайлова, пытались организовать 23 февраля 1916 г. забастовку на предприятии, распространив воззвание, призывавшее к борьбе за социализм и немедленное прекращение войны[2]. Однако день 23 февраля не успел приобрести такое же значение, как 9 января, поэтому выпадение на это число начала революции в известном смысле следует признать случайным.

Слухи не только подталкивали рабочих к протестам — они формировали искаженную картину в представлении столичной полиции, приводя к не менее драматичным ошибкам. Показательно, что распространителями слухов невольно оказывались тайные агенты охранки.

В Охранном отделении признавали низкое качество агентурных сведений. Связывали это, как правило, с материальными трудностями, заставлявшими агентов больше времени уделять поискам дополнительного заработка. Заведующий наружным наблюдением петроградской охранки сообщал 18 февраля 1917 г.: «Возрастающие почти с каждым днем цены не только на предметы первой необходимости, но и на питательные продукты, поставили всех филеров… буквально в безвыходное положение… Всегдашняя мысль о добыче насущного хлеба для семьи и плохое состояние здоровья окончательно подрывают в филере способность к продуктивной работе»[3]. Минимальное жалованье филера в Петрограде в феврале 1917 г. составляло 40 рублей в месяц, что было чуть выше среднего заработка рабочего. Поэтому некоторые агенты

---

[1] Стенографический отчет. Государственная дума… Стб. 1638–1661.

[2] ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 17. Д. 213. Л. 176.

[3] ГА РФ. Ф. 111. Оп. 5. Д. 669а. Л. 235 об.

охранки начинали сочувственно относиться к рабочим требованиям. Однако случалось и обратное: желая получить большее вознаграждение, филеры накручивали свои донесения сенсационными сведениями, разоблачающими общественные организации. За полезную информацию филеры получали разовые денежные вознаграждения. Так, за сведения, предоставляемые дважды в неделю, осведомители получали в месяц несколько десятков рублей[1]. Наиболее ценные сотрудники получали до 1000 рублей в месяц, что было вдвое выше генеральского жалованья. Иногда вместо денег получали вознаграждение вещами. Генерал-майор Отдельного корпуса жандармов А. И. Спиридович вспоминал, как в Киеве один рабочий-бундовец за резиновые галоши сдал всех своих товарищей[2]. Он также указывал на то, что идейных сотрудников охранки было немного, но даже они, работая в среде революционеров, устанавливая с последними личные отношения, рано или поздно переживали кризис, во время которого появлялось желание отомстить Охранному отделению за свое предательство, падение. Самой мягкой формой мести была дезинформация. Все указанные особенности филерской работы приводили к формированию у представителей власти неадекватных представлений о реальной политической ситуации в столице.

Впрочем, представления обывателей, также настоянные на слухах, отличались не большей достоверностью. В обществе были распространены разговоры о том, что министр внутренних дел А. Д. Протопопов готовит провокации и с этой целью расставил на крышах домов, колокольнях, пожарных каланчах пулеметы. Среди бытовых слухов горожан выделялись те, которые объясняли нехватку продуктов, главным образом хлеба. В качестве причин называли спекуляцию, неумение властей организовать доставку хлебных грузов, вследствие чего мука сгнивала на железнодорожных станциях, ожидая отправки, обвиняли даже извозчиков, которые якобы в условиях роста цен на овес скупали хлеб и скармливали его лошадям. Однако и в продовольственной теме было место для политики: быстро распространился слух о том, что нехватка хлеба — это и есть задуманная Протопоповым провокация: якобы министр лично распорядился запретить продавать хлеб населению, чтобы спровоцировать голодный бунт и затем жестоко его подавить. По другой версии, министр внутренних дел запретил подвозить в Петроград хлеб с тем, чтобы склонить население к заключению сепаратного мира, полагая, что сытый народ на это не пойдет[3]. Впоследствии, когда революция уже свершилась, в городской смеховой культуре — анекдотах, карикатурах — данный сюжет неоднократно обыгрывался. Протопопову приписывали слова, что он сознательно приближал революцию своими действиями. Появлялись даже шуточные проекты памятника главным

---

[1] *Спиридович А. И.* Записки жандарма. Харьков, 1928. С. 194.
[2] Там же. С. 195.
[3] ГА РФ. Ф. 111. Оп. 5. Д. 669. Л. 25 об.

«революционерам» — Распутину и Протопопову. Были и рациональные объяснения продовольственной проблемы, связывавшейся с банальной рассогласованностью действий властей: «В то время когда в Сибири гниют 4 миллиона пудов мяса, в черноземных губерниях гниют миллионы пуд. ржи и пшеницы, а в самой Москве в Виндавском вокзале сгнили два миллиона яиц, народ Первопрестольной нуждается в корке даже черствого хлеба. Министерство внутренних дел идет против Министерства земледелия; последнее против первого, и оба министерства — против общественных организаций городов и земств»[1]. Слухи о продовольственном мародерстве и спекуляциях уже приводили за годы Первой мировой войны к массовым погромам в Одессе, Москве, Астрахани, во время которых власти оказывались бессильными, и города переходили во власть толп. В феврале 1917 г. настала очередь Петрограда.

Так или иначе, но обыватели бросились скупать хлеб про запас, и ситуация с ним еще более усугубилась. Один из агентов донес содержание разговора лавочника с покупательницей. Хозяин мелочной лавки спрашивал: «И во что вы жрете? Раньше хлеба пекли на три дня и всегда оставалось, теперь пеку два раза в день и никогда не хватает до вечера… А ведь мужики взяты на войну… Кто же это столько стал жрать?»[2] Начальник петроградского военного округа в докладе отмечал, что увеличение потребления хлеба связано с тем, что в условиях роста цен на колбасу и яйца бедные слои населения стали заменять их хлебом[3].

Официальная пресса пыталась сдержать рост панических настроений. «Ведомости петроградского градоначальства» поместили на первую полосу обращение Хабалова, объяснявшего нехватку хлеба в некоторых лавках тем, что «многие, опасаясь недостатка хлеба, покупали его в запас на сухари»: «В последние дни отпуск муки в пекарни и выпечка хлеба в Петрограде производятся в том же количестве, как и прежде. Недостатка хлеба в продаже не должно быть. Если же в некоторых лавках хлеба иным не хватало, то потому, что многие, опасаясь недостатка хлеба, покупали его в запас на сухари. Ржаная мука имеется в Петрограде в достаточном количестве и подвоз этой муки идет непрерывно»[4]. Однако информационный кризис окончательно подорвал доверие общества к любым официальным заявлениям. К тому же с января распространялись слухи о введении карточек на хлеб (на заседании Петроградской городской думы 13 февраля было решено «поручить городской Управе немедленно ввести карточную систему на хлеб»[5]), которые власти предпочитали не комментировать отчасти потому, что до тех пор официальная пропаганда неизбежность поражения Германии в войне из-за голода объясняла

---

[1] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1070. Л. 29.

[2] ГА РФ. Ф. 111. Оп. 5. 1917. Д. 669а. Л. 25а об.

[3] Там же.

[4] Ведомости Петроградского Градоначальства. 1917. 25 февраля. С. 1.

[5] Известия Петроградской городской думы. 1917. № 3–4. С. 171.

наличием карточной системы. Тема хлебных карточек обсуждалась в печати, при этом отмечалось, что сами по себе карточки на хлеб ничего не решат, так как нужно будет обеспечить их правильное распределение, исключить злоупотребления[1]. В качестве примера приводились действующие карточки на сахар. В связи с темой хлебных карточек вставал вопрос о питании домашних животных, которые в условиях вздорожания мяса были переведены своими хозяевами на хлебный рацион. «Вечернее время» писало, что необходимо ввести хлебные карточки и для собак. В конце концов распространились слухи, что выдача хлеба будет ограничена фунтом для взрослых, и половиной фунта для детей. Это привело к новой волне паники.

В некоторых петроградских «хвостах» заговорили о том, что правительство вообще собирается на несколько дней прекратить продажу хлеба, чтобы сосчитать оставшиеся в городе запасы[2]. В действительности произвели ревизию шести пекарен на Выборгской стороне. Был сделан вывод, что в среднем запасов муки в них, без учета хранящейся на складах, должно хватить на 11 дней[3]. Петроградский градоначальник генерал А.П. Балк по результатам проверки запасов хлеба в столице сообщил директору Департамента полиции, что продовольствия в городе хватит на 22 дня; командующий войсками Петроградского военного округа генерал С.С. Хабалов, определяя имевшиеся запасы в 500 000 пудов и исходя из среднего потребления муки в 40 000 пудов в день, называл чуть более скромные сроки — 10–12 дней[4]. Близкое расчетам Хабалова количество дней указывал впоследствии генерал Ю.Н. Данилов, вспоминавший, что на 25 февраля Петроград был обеспечен хлебом на полторы-две недели[5]. При этом подвоз муки в столицу хоть с перебоями, но продолжался. Согласно данным петроградской городской управы за февраль, среднесуточный подвоз пшеничной и ржаной муки составлял около 35 тысяч пудов (при доминировании пшеничной)[6]. И хотя это было чуть меньше средней нормы суточного потребления, учитывая имеющиеся в городе запасы, говорить о критической ситуации с мукой не правомерно.

Депутация от петроградских пекарен, явившаяся к Хабалову с жалобой, что в народе зреет уверенность, будто пекарни прячут муку, объясняла нехватку хлеба отсутствием необходимого числа пекарей для его выпечки[7].

---

[1] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1917. 11 февраля.

[2] *Ломоносов Ю.В.* Воспоминания о мартовской революции 1917 года. М., 1994. С. 221.

[3] Одесский листок. 1917. 28 февраля.

[4] *Курлов П.Г.* Гибель императорской России. М., 1992; Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства. Л., 1924. Т. 1. С. 186.

[5] *Данилов Ю.Н.* На пути к крушению. М., 1992. С. 183.

[6] Подсчитано по: Еженедельник статистического отделения Петроградской городской управы. 1917. Февраль.

[7] Падение царского режима… Л., 1924. Т. 1. С. 185.

Отчасти объяснение перебоев с продажей хлеба ввиду отсутствия пекарей подтверждается тем, что некоторые обыватели в январе — феврале 1917 г. приступили к самостоятельной выпечке хлеба, что говорит о дефиците в лавках именно хлеба, но не муки[1]. Однако в условиях недоверия к официальным источникам информации сдержать стихийно распространявшиеся слухи о критической нехватке муки и хлеба в столице не удавалось. 5 февраля Хабалов дал точный прогноз развития дальнейших событий: «Если население еще не устраивает „голодные бунты“, то это еще не означает, что оно их не устроит в самом близком будущем: озлобление растет и конца его росту не видать… А что подобного рода стихийные выступления голодных масс явятся первым и последним этапом по пути к началу бессмысленных и беспощадных эксцессов самой ужасной из всех — анархической революции, — сомневаться не приходится»[2].

11 февраля Уполномоченный по продовольственной части Петрограда В.К. Вейс отметил, что продовольственная ситуация в Петрограде лучше, чем в Москве. Удалось увеличить отпуск вагонов с мукой с 35 до 40 в день. При этом нормальная потребность Петрограда в муке — 100 вагонов в день. Из-за ограниченности запасов муки у уполномоченного часть муки заимствуется со складов городской продовольственной комиссии. «На окраины, в районы фабрично-заводские, — сказал В.К. Вейс, — мы стараемся направлять сейчас больше черной муки для того, чтобы там несколько ослабить недостаток хлеба. Затруднения при получении черного хлеба вызываются как недостатком муки, так и тем, что многие владельцы булочных и пекарен сокращают или совершенно прекращают производство. Большинство владельцев имеет в своем распоряжении несколько булочных и пекарен и закрывает часть их из-за того, что, по отзывам собственников, выпечка хлеба при нынешних условиях затруднительна и убыточна»[3]. Единственный выход, по мнению уполномоченного по продовольственной части, в том, чтобы усилить хлебопечение на городской хлебопекарне и снабжать население городским хлебом. Вейс отметил, что при строгой экономии Петроград обеспечен продуктами на месяц.

Сами хлебопеки наблюдали явление, как человек, купив в одной лавке хлеб, тут же становился в очередь к другой. «Хвосты» в данной ситуации очень быстро росли, возбуждая беспокойство у другой части публики. Тем не менее печать 16 февраля отметила, что хлебные «хвосты» в городе пропали. Пытаясь объяснить это явление, корреспондент «Биржевых ведомостей» предположил, что ажиотажный спрос на хлеб был вызван слухами о возможном начале революции 14 февраля. Обыватели боялись, что во время беспорядков они останутся без хлеба и потому запасались им впрок. Когда же увидели, что опасность

[1] *Ростковский Ф.Я.* Дневник для записывания… М., 2001. С. 72.
[2] ГА РФ. Ф. 111. Оп. 5. 1917. Д. 669а. Л. 33.
[3] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1917. 11 февраля.

миновала, — вернулись к обычному потреблению[1]. По свидетельствам, накануне 14 февраля хлеб брали по 10 фунтов на человека, причем некоторые приходили в магазины по несколько раз. Предсказывалось наступление настоящего голода, поэтому испуганные хозяйки бросились делать запасы черного хлеба. Выяснилось, что некоторые из них ухитрились запасти до 4–5 пудов хлеба.

18 февраля появилась информация о введении хлебных карточек в Москве. В качестве нормы указывалось не более фунта на человека. Это вызвало новую волну скупки хлеба. В «Русских ведомостях» в статье «Развитие паники» отмечалось: «Откуда причина такой паники — сказать трудно, это нечто стихийное. Но во всяком случае в эти дни для нее не было оснований, ибо в Петрограде все-таки имеется достаточный запас муки»[2].

Однако несмотря на запасы муки, хлеба всем желающим не хватало. Показательным является следующий факт: 23 февраля булочная Филиппова (Петроград, Большой пр., 61) для обеспечения всех желающих хлебом увеличила его выпечку с обыкновенных 80 пудов до 150, т. е. почти вдвое. Однако к 3 часам дня все 150 пудов были распроданы и магазин пришлось закрыть. На улице осталось около 300 человек, не получивших хлеба. В толпе кто-то крикнул: «Надо громить булочную!», после чего в окна магазина полетели глыбы снега и льда. Ворвавшаяся внутрь толпа учинила разгром, часть товара была уничтожена[3]. Характерно, что в некоторых булочных толпы уничтожали хлеб и рассеивали по полу муку — такое поведение для голодных людей не характерно[4]. При разгромах магазинов полиция отмечала особую активность подростков. Последние, как правило, покушались на сладкое: выносили пирожные, конфеты, банки с вареньем. Более «компетентная» в погромах часть публики вскрывала часовые и ювелирные магазины, другие «специализировались» на аптеках, превратившихся в годы сухого закона в монополистов по розничной продаже спирта. Вышедшие на улицы очевидцы отмечали, как в разных местах города происходил разгром винных магазинов «группами солдат и уличных бродяг»[5]. Британский инженер Стинтон Джонс, бывший в февральские дни в Петрограде, отмечал, что в «большинстве случаев толпа врывалась в аптеки, из которых выносились любые виды спирта, который тут же выпивался, в результате чего в „революционной толпе“ было значительное количество пьяных и сошедших с ума элементов»[6].

Хлебные «хвосты» аккумулировали и усиливали эмоции, которые выливались в коллективные формы аффективного действия. Соответствующий

---

[1] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1917. 16 февраля.

[2] Русские ведомости. 1917. 26 февраля.

[3] ГА РФ. Ф. 111. Оп. 5. 1917. Д. 669а. Л. 170 — 170 об.

[4] ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 1. Д. 74. Л. 14 об.

[5] *Сорокин П.* Дальняя дорога. Автобиография. М., 1992. С. 29.

[6] *Jones S.* Russia in Revolution. Being the Experience of an Englishman in Petrograd During the Upheaval. London, 1917. P. 118.

групповым настроениям поступок заразителен и вызывает подражание среди прочих членов толпы. Е. Зозуля оставил описание типичного начала погрома, вспыхнувшего в «хвосте»: «Толпа распалилась. Кто-то, мрачный и оборванный, вбежал в ближайший двор, через минуту выбежал оттуда с несколькими расколотыми поленьями и, коротко размахивая, треснул одним поленьем в окно, другим в вывеску, третьим — в стеклянную дверь»[1].

Уже после начала революционных беспорядков Протопопов телеграфировал в Ставку дворцовому коменданту, описывая обстановку в столице и констатируя значимую роль слухов: «Внезапно распространившиеся в Петрограде слухи о предстоящем якобы ограничении суточного отпуска выпекаемого хлеба… вызвали усиленную закупку публикой хлеба, очевидно в запас, почему части населения хлеба не хватило. На этой почве 23 февраля вспыхнула в столице забастовка, сопровождающаяся уличными беспорядками»[2].

В условиях информационного кризиса и эмоционального напряжения слух часто выступал стимулом массовых аффективных действий, которые становились нормой в январе — феврале 1917 г. Так, 8 января, накануне ожидавшихся беспорядков к годовщине «кровавого воскресенья», сбой в работе электростанции, приведший к остановке трамвая, породил в Петрограде слух о том, что началась забастовка трамвайных служащих, которая, как ожидалось, могла перерасти в массовые беспорядки. В результате на Спасской улице произошла паника, публика штурмом брала трамвайные вагоны. В начале февраля стоявшая за мясом очередь, когда мясо закончилось, чуть не растерзала приказчика из-за слуха, что он якобы припрятал часть товара для перепродажи. Расправу успел остановить подоспевший городовой.

Примечательно, что, хотя накануне предсказывали революцию, в уличных акциях 23 февраля современники не сразу опознали начало грандиозных перемен. В этот день З. Н. Гиппиус записала: «Очень похоже, что это обыкновенный голодный бунтик, какие случаются и в Германии», а А. Н. Бенуа даже 26 февраля заявлял, что «никто не питает иллюзий насчет успеха революционного движения. Представляется более вероятным, что полиция и штыки подавят мятеж»[3]. Н. Ф. Финдейзен вообще не видел в беспорядках ничего революционного, считая шествия рабочих и работниц полицейской провокацией, о чем и написал 24 февраля: «Вчера началась протопоповщина»[4]. Только 28 февраля музыковед засомневался в первоначальной оценке: «Революционное движение в полном разгаре… Не могу еще постигнуть основы всего, подкладки — провокация это немцев или действительно движение

---

[1] *Зозуля Е.* Что запомнилось (Революционные дни в Петрограде). М., б. г. С. 1.

[2] ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 1. Д. 74. Л. 29.

[3] *Гиппиус З. Н.* Синяя книга. Петербургский дневник. 1914–1918. Белград, 1929. С. 72; *Бенуа А. Н.* Мой дневник. 1916–1917–1918. М., 2003. С. 113.

[4] *Финдейзен Н. Ф.* Дневники… С. 179.

против правительства (в таком случае к чему было протопоповское шествие 23 февр.?)»[1]. В дни февральских событий недостаток информации был особенно ощутим. В одних газетах сведений не было, другие издания не выходили, поэтому еще более возросла актуальность устной информации. В этой ситуации спасал телефон. Отставной генерал от инфантерии Ф.Я. Ростковский воссоздавал картину происходящего по телефонным звонкам знакомых, пересказывавших уличную молву и начинавших фразы словами «говорили, что»: «Говорили по телефону, что командиры Литовского и Павловского запасных батальонов убиты и в Волынском полку много убитых офицеров… Вечером по телефону мне сказала И.И. Садовская, что в гавани какой-то армейский полк взбунтовался и запасной батальон Лейб-гвардии Финляндского полка пошел его усмирять… Вечером говорили, что Государственная Дума выбрала Временное правительство в составе 12 человек… Говорят, что министры арестованы»[2]. О телефоне как проводнике слухов писал 27 февраля А.Н. Бенуа: «Масса слухов сообщается по телефону. Будто осаждают (кто осаждает?) Государственную Думу, будто она даже взята (кем?)»[3]. Обстановку усугубило то, что из-за перегруженности телефонных линий связь в отдельных частях города пропала, и некоторые горожане в поисках известий вышли на улицы, пополняя собой протестующие толпы[4]. «Телефон уже не звонит ни к нам, ни от нас, и неизвестность о происходящем полная», — записал 28 февраля Б.В. Никольский[5]. К слову, о перебоях в работе телефона писали газеты еще в ноябре — декабре 1916 г., но тогда повода идти за информацией на улицу не было. Дефицит информации порождал тревогу и страх, а страх вызывал насилие. Так, по воспоминаниям барона Н.Е. Врангеля, толпа, напуганная слухами о засевших на крышах городовых-пулеметчиках, со страхом смотрела на крыши и когда замечала там какое-то движение — открывала огонь. Таким образом был убит трубочист[6]. В другой раз толпа ворвалась в квартиру верхнего этажа, из окон которого «отчетливо» кто-то увидел ствол пулемета, и чуть не убила спрятавшегося от страха под кроватью полотера, приняв его за переодетого городового. Но страх испытывали не только революционно настроенные граждане. Паника овладела и защитниками старого режима: именно тогда в среде полиции родился не менее абсурдный слух о том, что возбужденная толпа разрывает городовых надвое, привязав к автомобилям. Его в своих воспоминаниях повторил Глобачев, а за ним и современные недобросовестные исследователи.

---

[1] Там же. С. 180.
[2] *Ростковский Ф.Я.* Дневник для записывания. М., 2001. С. 48.
[3] *Бенуа А.Н.* Мой дневник. С. 114.
[4] Там же. С. 116; *Ростковский Ф.Я.* Дневник для записывания. С. 53.
[5] *Никольский Б.В.* Дневник. 1896–1918. Т. 2. 1904–1918. СПб., 2015. С. 278.
[6] *Врангель Н.Е.* Воспоминания: от крепостного права до большевиков. М., 2003. С. 355.

Пулеметы и белые кресты: факторы невротизации обывателей в период «медового месяца» революции

В февральские дни одним из самых сильных раздражающих стимулов стал слух о «протопоповских пулеметах». Парадоксально, что власти и восставшие обыватели, верившие в пулеметную стрельбу с крыш, приписывали ее друг другу: если революционеры обвиняли Протопопова, то начальник охранки Глобачев в пулеметной стрельбе с крыш винил, наоборот, революционеров[1]. Однако в массовом сознании остался образ переодетого городового, засевшего на чердаке с пулеметом. В феврале обыватели с испугом посматривали на крыши и верхние этажи зданий. Те, кто был вооружен, периодически обстреливали подозрительные крыши. За стволы пулеметов публика, находившаяся на улице, принимала видневшиеся в окнах карнизы для портьер, концы водосточных труб, выглядывавших с крыш, и пр. Так, например, 27 февраля толпа пыталась взять приступом Мариинский театр, под крышей которого ясно видели торчащие дула пулеметов. Когда же в сопровождении артиста В.В. Киселева и режиссера П.И. Мельникова представители воинственно настроенной публики обошли помещение театра, то убедились, что за стволы пулеметов были ошибочно приняты концы вентиляционных труб[2]. Согласно газетным сведениям, подобные революционные инициативы бдительной публики привели к арестам около 4000 человек, в результате чего Министерству юстиции пришлось создать особую следственную комиссию для проверки формальных причин задержания[3]. Однако обнаружить среди них настоящих переодетых городовых, стрелявших из пулеметов, конечно же, не удалось.

Так или иначе, но о «протопоповских пулеметах» писали многие очевидцы событий. Гиппиус записала в дневнике 28 февраля: «Мы сидели все в столовой, когда вдруг совсем близко застрекотали пулеметы. Это началось часов в 5. Оказывается, пулемет и на нашей крыше, и на доме напротив, да и все ближайшие к нам (к Думе) дома в пулеметах. Их еще с 14-го Протопопов наставил на всех высотах… Но кто стреляет? Хотя бы с нашего дома? Очевидно, переодетые — „верные“ — городовые»[4]. Показательно, что Гиппиус задается вопросом, кто стреляет, у нее нет точной информации на этот счет, но затем, в соответствии с общими страхами и настроениями, приходит к выводу, что виновата во всем полиция. При этом она отмечала и беспорядочную стрельбу на улице, устраиваемую пьяными солдатами, рабочими. 25 февраля Родзянко отправил царю телеграмму, в которой также сообщал о беспорядочной

---

[1] *Глобачев К.И.* Правда о русской революции. Воспоминания бывшего начальника петроградского охранного отделения // Вопросы истории. 2002. № 9. С. 67.

[2] *Безпалов В.Ф.* Театры в дни революции 1917. Л., 1927. С. 23.

[3] *Мельгунов С.П.* Мартовские дни 1917 г. Париж, 1961. С. 313.

[4] *Гиппиус З.Н.* Синяя книга. Петербургский дневник. 1914–1918. Белград, 1929. С. 86.

стрельбе солдат друг в друга на улицах города[1]. Меньшевик Н. Суханов в эти дни рисовал почти апокалиптические картины российской революции, отмечая стрельбу с крыш домов представителей «темных сил»: «В разных концах города громили магазины, склады, квартиры… Уголовные, освобожденные вчера из тюрем, вместе с политическими, перемешавшись с черной сотней, стоят во главе громил, грабят, поджигают. На улицах небезопасно: с чердаков стреляют охранники, полицейские, жандармы, дворники…»[2] Находившийся в Петрограде корреспондент «Одесского листка» вспоминал «по горячим следам», что в Петрограде с крыш стреляли полицейские, переодевшиеся в солдатскую форму[3]. Финдейзен сообщал, что «пулеметчики» с крыш расстреливали солдат, а последние вместе с переодетыми в штатское городовыми ловили их по чердакам[4]. Таким образом, в головах современников царила настоящая разруха, разобраться с тем, кто в кого стрелял и кто кого ловил, было непросто. Хотя пулеметную стрельбу слышали почти все, людей в полицейской форме на крышах не видели. Версия же о переодевании одних представителей власти (городовых) в форму других носителей власти (солдат) кажется лишенной оснований.

Военные власти признавали серьезность положения, но их не покидали надежды на то, что ситуацию удастся взять под контроль. Рано утром 27 февраля Протопопов телеграфировал дворцовому коменданту В.Н. Воейкову, что в отдельных частях столицы войска открывали огонь по революционным толпам и рассеивали их, и выражал надежду на скорое урегулирование обстановки[5]. В тот же день в Петрограде было объявлено осадное положение. С.С. Хабалов сформировал отряд из 6 рот, 15 пулеметов и 1½ эскадронов, всего около 1000 человек, и под командованием полковника А.П. Кутепова отправил его против восставших, однако казачий разъезд вскоре донес, что Кутепов требует подкрепления и сообщает, что не может продвинуться по Кирочной и Спасской. В результате Хабалов согласился с тем, что войск для возвращения контроля над городом недостаточно (верными оставалось не более 2000 солдат), и решено было держать оборону в Адмиралтействе. Но уже 28 февраля, после ареста солдатами Хабалова, дабы не подвергать опасности разгрома здание, остававшиеся в Адмиралтействе части были выведены и распределены по казармам[6]. Таким образом, вплоть до 27 февраля власти сохраняли надежду на подавление восстания силами войск. Создавать разрозненные полицейские огневые пулеметные точки на крышах домов было

---

1 *Блок А.А.* Последние дни императорской власти. Пг., 1921.

2 *Суханов Н.Н.* Записки о революции. Т. 1. М., 1991. С. 108–109.

3 Одесский листок. 1917. 7 марта.

4 *Финдейзен Н.Ф.* Дневники… С. 182.

5 *Блок А.А.* Последние дни…

6 Там же.

бессмысленно, а после того, как с 28 февраля верные части оказались окруженными в Адмиралтействе, начинать операцию по расстрелу демонстрантов из пулеметов в глубоком «тылу революции» силами одной только полиции было самоубийственно. Верившие в слухи про городовых обыватели вместе с тем признавали абсурдность этой затеи и иногда выражали даже сочувствие полиции, понимая тщетность и обреченность подобного плана. Показательно, что хотя А. Н. Бенуа не сомневался в существовании «протопоповских пулеметов», 28 февраля он назвал якобы засевших на крышах домов городовых «обреченными жертвами идиотского плана Протопопова»[1]. К. И. Глобачев впоследствии, не отрицая пулеметной стрельбы с крыш домов, доказывал в своих воспоминаниях непричастность полиции к их расстановке тем, что в местах, на которые указывали свидетели, расставлять их было бессмысленно — оттуда «кроме трескотни и шума, вреда от них никакого не было»[2]. Бывший начальник охранки, наоборот, обвинял «революционеров» в пулеметной стрельбе с целью провокации.

Так как слухи о «протопоповских пулеметах» заняли прочное место в памяти участников февральских событий, образованная 5 марта «Чрезвычайная следственная комиссия для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданского, так военного и морского ведомств» занялась сбором сведений о преступлениях городовых в февральские дни, однако никаких доказательств найдено не было. В показаниях допрошенных Чрезвычайной следственной комиссией относительно пулеметов существенных расхождений не было: никто не подтвердил использование полицией пулеметов, при этом выяснилось, что все подозреваемые узнали о пулеметах из газет или со слухов. Так, бывший председатель Совета министров кн. Н. Д. Голицын на вопрос о пулеметах ответил, что о пулеметах узнал только после того, как молва разнесла этот слух, на вопрос, кто стрелял, сказал: «Молва городская была, что полиция»[3]. Парадоксально, что слухи настолько захватили массовое сознание, прочно обосновались в качестве источника информации накануне революции, что мало кто из допрошенных, узнавших о пулеметной стрельбе из слухов, сомневался в достоверности этих сведений. Не имея при этом точных сведений по своим ведомствам, чины Военного министерства склонны были подозревать чинов полиции и наоборот. Бывший военный министр М. А. Беляев на вопрос председателя Чрезвычайной следственной комиссии, были это военные или полицейские пулеметы, ответил, что полицейские — на том основании, что если бы был приказ об использовании пулеметов военного ведомства, он бы

---

[1] *Бенуа А. Н.* Мой дневник… С. 120.

[2] *Глобачев К. И.* Правда о русской революции. Воспоминания бывшего начальника петроградского охранного отделения // Вопросы истории. 2002. № 9. С. 67.

[3] Падение царского режима… Т. 2. С. 266.

об этом знал[1]. Бывший министр внутренних дел Протопопов на вопрос председателя: «Какое было ваше отношение к пулеметам?» — ответил: «Прочел в газетах, что в полиции применяются пулеметы; я спросил об этом Балка, и он сказал, что должно быть молодые солдаты учатся»[2]. Хабалов, упомянув, что Протопопов предлагал использовать против толпы броневые автомобили, на вопрос о полицейских пулеметах на крышах ответил просто: «Думаю, что их не было»[3]. При этом генерал пролил некоторый свет на историю с пулеметами, сообщив о существовавших противоаэроплановых батареях в Петрограде, располагавших специальными пушками и пулеметами, смонтированными на крышах отдельных зданий и ориентированными для стрельбы вверх. Находились они в подчинении генерала Г.В. Бурмана. Хабалов предположил, что противоаэропланные пулеметы в ответ на стрельбу с улицы могли открыть огонь как по революционерам, так и по правительственным войскам, но точно ему об этом ничего не известно[4]. Причастность противоаэропланных батарей к пулеметной стрельбе не была доказана, и в результате Бурман в августе 1917 г. получил пост начальника противовоздушной обороны Петрограда. Следователь Юзевич-Компанеец допросил несколько сот человек и установил, что все найденные на улицах пулеметы принадлежали воинским частям и были похищены с воинских складов[5]. Революционно настроенный публицист и издатель В.Л. Бурцев, проводивший собственное расследование о пулеметах, соглашался с тем, что многие допрошенные по делу о «протопоповских пулеметах» говорят правду и им ни о каких пулеметах ничего не известно; при этом Бурцев, слышавший в февральские дни доносившийся с улицы треск пулеметов, заметил: «Я сам был под расстрелом пулеметов, но с уверенностью говорить ничего не могу по этому поводу»[6].

Кроме Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, в Петрограде действовали 47 следственных отделов, организованных адвокатским бюро, проводивших обследование действий бывших полицейских участков. 6 июля 1917 г. адвокатское бюро передало во временные суды производство о 1197 полицейских чинах, и ни в одном отчете не оказалось данных, указывающих на их стрельбу из пулеметов.

Все это вынудило С.П. Мельгунова признать, что «„протопоповские пулеметы“ существовали только в возбужденном воображении современников»[7]. Вместе с тем слух о пулеметах обосновался в качестве исторического факта

---

1 Там же. С. 234.
2 Падение царского режима… Т. 1. С. 137.
3 Там же. С. 207.
4 Там же. С. 211.
5 *Мельгунов С.П.* Мартовские дни 1917 г. Париж, 1961. С. 413.
6 Падение царского режима… Т. 1. С. 295.
7 *Мельгунов С.П.* Мартовские дни… С. 401, 413.

в советской историографии, склонной к демонизации царизма. Так, Э. Н. Бурджалов, называя 26 февраля «кровавым воскресеньем» второй революции, описывал организованный властями расстрел безоружных демонстрантов на Невском проспекте и, ссылаясь на воспоминания рабочих, считал использование пулеметов «заранее продуманной мерой царских властей»[1]. Советские историки более позднего времени — например, А. Л. Сидоров, П. В. Волобуев — отказались от этого мифа[2]. Вернувшийся в 2015 г. к рассмотрению этого вопроса А. Г. Румянцев, пытаясь примирить свидетельские показания о пулеметах с установленным фактом непричастности к ним полиции, допустил, что прятавшиеся на чердаках от революционной толпы полицейские случайно могли обнаружить там бесхозные пулеметы, оставленные службой противовоздушной обороны, и открыть из них стрельбу в целях самообороны, но эта версия не лишена противоречий[3]. Прежде всего надо сказать, что точки противовоздушной обороны размещались на крышах правительственных и военных учреждений, заводов, но не частных домов. Румянцев отмечает, что пулеметы некоторых из них были похищены в февральские дни, но остается неясным, кому понадобилось переносить пулеметы с одной крыши на другую, да еще затем и оставлять их там без дела.

Для полного разрешения вопроса о «протопоповском плане» необходимо учитывать, что представляла собой полиция накануне революции, была ли она способна на решительные действия. Сегодня некоторые исследователи выдвигают тезис, что негативный образ полицейского как врага революции сформировался под воздействием «инверсивной логики» уже после событий февраля 1917 г.[4] Это, конечно, не верно: история протестного движения в России показывает, что задолго до 1917 г. неприятие царской власти выливалось в столкновения обывателей с полицией; в июле — августе 1914 г. толпы мобилизованных, не испытывавших энтузиазма по поводу отправки на фронт, забрасывали полицию камнями и устраивали им «кошачьи концерты», в Екатеринославе, дабы не провоцировать призывников, полицию убирали с улиц города[5]. Однако необходимо учитывать, что полицейские чины, как и все российское общество, наблюдавшее за конвульсиями власти накануне революции, не могли не проникаться оппозиционными настроениями. А. Б. Николаев отмечает отсутствие

[1] *Бурджалов Э. Н.* Вторая русская революция. Восстание в Петрограде. М., 1967. С. 174.

[2] *Волобуев П. В.* По поводу числа убитых и раненых в Петрограде в дни Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г. // Академик П. В. Волобуев. Неопубликованные работы. Статьи. М., 2000. С. 76.

[3] *Румянцев А. Г.* «Полицейские пулеметы» в Феврале 1917 года: миф или реальность? // Революция 1917 года в России: Новые подходы и взгляды. Сб. науч. статей. СПб., 2015. С. 38–54.

[4] *Абдурахманова И. В.* Образ полиции в массовом правосознании накануне и во время Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г. // Юридический вестник Ростовского государственного экономического университета. 2006. № 1. С. 27–31.

[5] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 48.

единства политических настроений в среде петроградских полицейских, часть из которых сочувственно относилась к революционерам, в связи с чем предполагает, что противоречия внутри полиции «могли сыграть не на руку царизму в том случае, если бы он решился использовать полицейские силы для активного участия в подавлении назревающей революции»[1]. Некоторые полицейские в февральские дни открыто заявляли приставам, что не будут стрелять в народ[2]. Другие и вовсе присоединялись к революционным толпам. Так, пристав города Луги Филипп Бобров принимал участие в манифестации, так как был рад перемене строя, другой полицейский надзиратель накануне революции укрывал политических эмигрантов и т. д.[3] Таким образом, полиция в февральские дни не была той силой, которая, даже при наличии пулеметов, смогла бы оказать решительное сопротивление восставшим, однако именно ее революционизированные обыватели наделяли всеми признаками контрреволюционного сопротивления.

Источники личного происхождения показывают, что у полицейских чинов в февральские дни было исключительно подавленное настроение, они нехотя отправлялись на свои посты и энтузиазма по поводу вероятных столкновений с восставшим народом не испытывали. Утром 26 февраля полицейский надзиратель Роман Дмитриевич Захаренко, перед тем как идти на дежурство, оставил завещание в пользу своей гражданской жены: «Я иду в наряд на Невский проспект где происходят беспорядки, может быть меня убьют… так все что есть у меня дома должно быть передано мещанке города Чухломы Евгении Александровне Арефьевой, бывшей последние 3½ года моей женой»[4]. Тревожное предчувствие оправдалось. В выписке из ведомостей о погребенных на Петроградском Смоленском православном кладбище читаем: «Роман Дмитриевич Захоренко (очевидно, опечатка, так как в завещании «Захаренко». — *В. А.*) околоточный надзиратель Петроградской полиции умерший от огнестрельной раны головы и груди 28 февраля 1917 г., 73 лет от роду, погребенный 4 марта»[5].

Объяснить получившие массовое распространение слухи о «протопоповских пулеметах» в дни Февральской революции не сложно, если вспомнить, что обыватели заговорили о пулеметах задолго до описываемых событий. Шум вокруг пулеметов начался в 1916 г., когда в Петрограде проходило обучение стрельбе из пулеметов молодых солдат, а народная молва, прослышав, что ранее полицейские испрашивали пулеметы для себя, решила, что идет тренировка полицейских[6]. Не последнюю роль в истории с пулеметами сыграла

---

[1] *Николаев А. Б.* Настроения и политические взгляды петроградских полицейских накануне Февральской революции // Journal of Modern Russian History and Historiography. 2012. № 5. С. 16.

[2] Там же. С. 9 (прим.).

[3] РГИА. Ф. 1279. Оп. 1. Д. 6. Л. 13, 61.

[4] РГИА. Ф. 1279. Оп. 1. Д. 5. Л. 89.

[5] Там же. Л. 90.

[6] *Мельгунов С. П.* Мартовские дни… С. 410–411.

и некоторая демонизация Протопопова, которого общественное сознание воспринимало как властного и жестокого преемника Распутина. Гиппиус передавала ходившие слухи о министре внутренних дел: «За несколько дней до событий Протопопов получил „высочайшую благодарность за успешное предотвращение беспорядков 14 февраля". Он хвастался, после убийства Гришки, что „подавил революцию сверху. Я подавлю ее и снизу". Вот и наставил пулеметов»[1]. Не случайно и указание Гиппиус на якобы имевшие место беспорядки 14 февраля, которых на самом деле не было: в этот день открылась сессия IV Государственной думы, однако накануне ходили слухи о том, что на день открытия Думы запланированы акции протеста, вследствие которых она может быть распущена[2]. Говорили о возможных беспорядках, провокациях и обсуждали вероятные ответные действия властей. Рассказывали, что власти окружили Таврический дворец пулеметами. З. Гиппиус, проживавшая неподалеку, писала, что накануне открытия сессии пулеметами был окружен и ее дом[3]. Впоследствии пулеметы с улиц исчезли, а воображение напуганных обывателей «расставило» их на крышах соседних домов. Характерно появление впоследствии в Москве слуха, что когда толпа явилась арестовывать Протопопова к его дому на Владимирском проспекте, то из окон его квартиры был открыт пулеметный огонь[4]. В действительности Протопопов сам явился в Таврический дворец 28 февраля и сдался, но массовое сознание, связавшее пулеметы с его фамилией, требовало от ненавистного министра обязательного злодейства. Также нельзя отрицать версию, что в ряде случаев некомпетентные в военном деле и напуганные обыватели беглый ружейный огонь принимали за пулеметную очередь.

Помимо городовых, замешанными в слухах о «протопоповских пулеметах» оказались священники. З. Гиппиус, А. Бенуа в дневниках отмечали, что якобы пулеметная стрельба шла с крыши Исаакиевского собора, с колокольни Лютеранской церкви Св. Михаила[5]. Правда, ни поэт, ни художник прямо не обвиняли в этом духовенство, однако народная молва пошла дальше рассказов представителей художественной интеллигенции, и вскоре родился образ священника с пулеметом. В «Новом Сатириконе» в апреле была опубликована карикатура, изображавшая стреляющего из пулемета попа с крестом в руке. Текст под рисунком гласил: «В дни революции много пулеметов стояло на колокольнях, откуда и обстреливался восставший народ»[6] (ил. 184).

---

[1] *Гиппиус З. Н.* Синяя книга. С. 90.

[2] Там же. С. 66.

[3] Там же. С. 69.

[4] *Городцов В. А.* Дневники ученого… Кн. 2. С. 212.

[5] *Гиппиус З. Н.* Синяя книга. Петербургский дневник. 1914–1918. Белград, 1929. С. 90; *Бенуа А. Н.* Мой дневник. 1916–1917–1918. М., 2003. С. 124.

[6] Новый Сатирикон. 1917. № 14. С. 7.



Ил. 184. Б. Антоновский. Один из «батюшек» // Новый Сатирикон. 1917. № 14. С. 7

Находились свидетели, которые рассказывали, что пулеметы тайно развозились по церквям в гробах[1]. Широкое распространение подобных слухов подтверждает тот факт, что размещение пулеметов на крышах соборов в столицах пришлось опровергать в газетах далекого Томска[2]. Примечательно, что даже некоторые священники в провинции поверили разговорам о разрешении Петроградской епархии расставлять на крышах церквей и колокольнях пулеметы для подавления беспорядков 27–28 февраля, по поводу чего отправляли запросы начальству[3]. Отождествление полиции и духовенства проходило на уровне политической лексики: специфические обороты речи, высказывания, приписываемые полицейским, переносились и на представителей духовенства. Так, например, после ареста Протопопова ходили разговоры, что министр на допросах оправдывался тем, что сознательно своими действиями способствовал приближению революции: «Я оставался министром, чтобы сделать революцию. Я сознательно подготовил ее взрыв»[4]. Гиппиус, веря, что министр действительно произнес эти слова, вынесла ему вердикт: «Безумный шут»[5]. В мае 1917 г. появилась карикатура, в которой поп-хамелеон схожим образом оправдывал свое реакционное прошлое: «Братие! Я всегда стоял за свободу, а если я к погромам призывал, так для того, чтобы граждане скорее потеряли терпение и устроили Революцию»[6].

---

[1] *Румянцев А. Г.* «Полицейские пулеметы» в Феврале 1917 года: миф или реальность? // Революция 1917 года в России: Новые подходы и взгляды. Сб. науч. статей. СПб., 2015. С. 49.

[2] Сибирская жизнь. 1917. 8 марта.

[3] РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 3 отд. 5 ст. Л. 157.

[4] *Гиппиус З. Н.* Синяя книга… С. 100.

[5] Там же.

[6] Стрекоза. 1917. № 18. С. 15.

Во время февральского восстания возбужденные обыватели устроили форменную охоту за полицейскими. Начальник Петроградского охранного отделения К.И. Глобачев нарисовал страшную своими подробностями картину поведения толп: «Городовых, прятавшихся по подвалам и чердакам, буквально раздирали на части: некоторых распинали у стен, некоторых разрывали на две части, привязав за ноги к двум автомобилям, некоторых разрубали шашками»[1]. Если начальника столичной охранки можно заподозрить в крайнем субъективизме в отношении тех, кого ему по долгу службы приходилось преследовать в предшествующую эпоху, то воспоминания барона Н.Е. Врангеля, крупного промышленника, должны отличаться меньшей предвзятостью. Тем не менее его свидетельства схожи с тем, что писал Глобачев: «Ряженого городового ищут везде. На улицах, в парках, в домах, сараях, погребах, а особенно на чердаках и крышах… Во дворе нашего дома жил околоточный; его толпа дома не нашла, только жену; ее убили, да кстати и двух ее ребят. Меньшего грудного — ударом каблука в темя»[2]. Примечательна упомянутая картина убийства невинного ребенка — распространенный пропагандистский штамп, апеллирующий к эмоциям воспринимающего субъекта и демонизирующий врага. В годы Первой мировой войны рассказы о немецких зверствах вызывали в воображении населения апокалиптические образы, среди крестьян распространялись слухи о рождении нового царя Ирода. В этом отношении эмоции Февраля во многом были настояны на слухах военного времени.

Переломным днем в отношении толп к полиции стало 25 февраля, когда при пассивной позиции войсковых частей начались нападения на приставов и городовых, однако, как правило, служителей закона не убивали, а отбирали оружие — шашки и револьверы, — при этом нередко сильно избивая их[3]. Различных чинов полиции, пострадавших в ходе февральских беспорядков (ранены и убиты), было 73 человека (включая городовых, общее число которых в Петрограде превышало 2000)[4]. Причем 28 из них получили травмы за первые два дня революции — 23 и 24 февраля, — когда как таковая «охота» еще не могла начаться ввиду неопределенной позиции войск[5]. Таким образом, пострадавших городовых в столице за дни революции было не более 3,6%.

В основе слухов — и тех, что ходили во властных кругах, и тех, что распространялись в обществе, — лежал страх, и этим они были похожи. Слухи, определявшие в качестве главного врага околоточного и городового, провоцировали ненависть к представителям власти, а затем и проявления агрессии. Тем

---

[1] *Глобачев К.И.* Правда о русской революции. Воспоминания бывшего начальника петроградского охранного отделения // Вопросы истории. 2002. № 9. С. 68.

[2] *Врангель Н.Е.* Воспоминания… С. 355.

[3] ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 1. Д. 74. Л. 1–36.

[4] *Мельгунов С.П.* Мартовские дни 1917 г. 1961. С. 181.

[5] *Блок А.А.* Последние дни императорской власти. Пг., 1921.

самым пространство слухов формировало эмоциональную «триаду враждебности» — страх, гнев, ненависть — определявшую психологическое состояние революционного общества.

Особенностью этого периода можно считать повышенную возбудимость населения, на которую обращал внимание еще Л. П. Карсавин, по словам которого, петроградцы в дни революции, несмотря на различие политических взглядов, представляли собой «одну развивающуюся индивидуальность — революционное население»[1]. Показательно, что некоторые современники с раздражением констатировали в это время проявление инстинктов толпы, выразившееся, в частности, в хождении не по тротуарам, а по проезжей части, мешая движению транспорта. Судя по трамвайному пассажиропотоку, нормальное уличное движение было восстановлено лишь к началу апреля[2]. В такой обстановке повышалась роль устной информации, люди начинали более чутко реагировать на перемены коллективных настроений. Одной из характерных черт массовых настроений того времени была их неустойчивость: позитивные эмоции (восторг, счастье) легко сменялись негативными (страхом, отчаянием). В основе тех и других лежали определенные механизмы восприятия окружающей реальности, порождавшие гипертрофированные образы. 3 марта русский монархист, член Прогрессивного блока В. В. Шульгин записал: «Ах — толпа… Подлые и благородные порывы ей одинаково доступны и приходят мгновенно друг другу на смену»[3].

Радостно принявшие революцию современники назвали первые ее недели «медовым месяцем», развивая тем самым аллегорию России-невесты, обвенчавшейся со свободой. Другие окрестили февральские дни «великой бескровной революцией». Некоторые участники событий отрицали имевшие место случаи насилия со стороны революционизированной толпы. Так, член ЦК кадетов А. В. Тыркова в своем дневнике пыталась представить февральские беспорядки в Петрограде в виде всеобщего восторга, безобидного праздника, отметив, что «толпа ни разу не была оскорбительна»[4]. Схожие эмоционально-восторженные оценки, отрицавшие значительную роль насилия, сохранили записи Е. Зозули, Н. Морозова, И. Даинского, Н. Окунева и других очевидцев[5].

Учитывая влияние погодного фактора на самочувствие людей, следует отметить, что их позитивные эмоции были усилены метеорологическими явлениями:

---

[1] *Карсавин Л. П.* Философия истории. СПб., 1993. С. 135.

[2] См.: Еженедельник статистического отделения петроградской городской управы. Пг., 1917.

[3] *Шульгин В. В.* Дни. 1920: Записки. М., 1989. С. 268.

[4] *Тыркова А. В.* Петроградский дневник // Звенья: Исторический альманах. Вып. 2. М.; СПб., 1992. С. 328.

[5] *Даинский И.* Как произошла русская революция. М., 1917; *Зозуля Е. Д.* Что запомнилось (Революционные дни в Петрограде). Пг., б. г.; *Морозов Н. К.* Семь дней революции. События в Москве. Дневник очевидца. 1917 г. М., 1917; *Окунев Н. П.* Дневник москвича, 1917–1924. В 2 кн. Кн. 1. М., 1990.

с 25 по 28 февраля шло постепенное повышение атмосферного давления с 751 до 768 мм рт. ст., развеявшее облака[1]. Обыватели наделяли выглянувшее солнце символическим содержанием, считая его признаком политической оттепели[2]. Даже консервативно настроенному Б. В. Никольскому, не испытывавшему от революции никакого восторга, 28 февраля передалось приподнятое настроение горожан: «День чудесный, солнечный, — с виду сущий праздник»[3]. Примечательно, что на солярную символику тех дней обратили внимание представители таких разных историографических направлений, как Э. Н. Бурджалов, Ц. Хасегава, Б. И. Колоницкий, упомянувшие о показательном эмоционально-символическом жесте: 25 февраля женщина подала казачьему офицеру букет красных роз.

Пока в столице решалось будущее политического устройства России, провинция, лишенная информации из-за временно прекратившейся работы Петроградского телеграфного агентства, переживала период растерянности и неопределенности, что, впрочем, не влияло на повседневную жизнь. Исключение, вероятно, составляла одна Москва, до которой слухи из Петрограда доходили очень быстро. Находившийся в Москве историк С. Б. Веселовский уже 24 февраля записал, что «по слухам — в Петербурге военный мятеж»[4]. 28 февраля Н. П. Окунев констатировал прекращение движения всех трамваев в Москве и отключение телефонов. Как и в Петрограде, отсутствие телефонной связи в первопрестольной спровоцировало рост толков о происходивших в Петрограде событиях: «Из уст в уста передаются сенсационные вести о страшной стрельбе в Петрограде в народные толпы, о совершившемся перевороте на троне и о разных ужасах»[5]. Хотя Окунев еще 15 февраля предсказал неизбежную революцию, спустя 13 дней он не поверил слухам о революции: «Подожду все-таки записывать их (слухи. — *В. А.*) — лично не совсем доверяю таким россказням»[6]. В этот день в Москве начались массовые шествия с пением революционных песен, которым полиция предпочитала не препятствовать, тем не менее в этот день появилась первая жертва революции — на Яузском мосту был убит приставом рабочий-большевик И. Астахов, — а 1 марта на Каменном мосту произошла перестрелка между правительственными и «народными» войсками[7]. Трое солдат, перешедших на сторону революции, погибли и 4 марта

---

[1] См.: Еженедельник статистического отделения петроградской городской управы. 1917. № 8–9.

[2] Более подробно о погодном факторе в революции и символическом пространстве см.: *Аксенов В. Б.* Об одной историографической ошибке или к вопросу о визуальной семантике российских революций // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / НАН України. Інститут історії України. Вип. 7. Київ, 2013. С. 233–243.

[3] *Никольский Б. В.* Дневник. 1896–1918. Т. 2. 1904–1918. СПб., 2015. С. 279.

[4] *Веселовский С. Б.* Дневники 1915–1923, 1944 гг. // Вопросы истории. 2000. № 3. С. 85.

[5] *Окунев Н. П.* Дневник москвича… С. 12.

[6] Там же.

[7] Русские ведомости. 1917. 2 марта.

были в торжественной обстановке похоронены на Всехсвятском кладбище. 19 марта был похоронен еще один человек, убитый 1 марта на Яузском мосту, — А. И. Ефимов-Евстигнеев[1]. Это были не единственные московские жертвы событий 28 февраля — 1 марта, однако в любом случае количество жертв было намного меньше, чем в Петрограде, где 23 марта на Марсовом поле было захоронено 184 человека (правда, К. И. Глобачев утверждал, что среди них было множество людей, умерших в те дни в больницах от естественных причин).

Смена власти в большинстве губерний не сопровождалась сколько-нибудь серьезными эксцессами. В некоторых центральных губерниях, куда устремились представители нового правительства, происходили бескровные столкновения со старой властью. Так, например, 3 марта в 2 часа ночи во Владимир прибыла делегация из Москвы, которую пытался арестовать начальник местного гарнизона, но солдаты перешли на сторону народа, на вокзале вспыхнул стихийный митинг и толпа, ворвавшись в дом губернатора Крейтона, арестовала его вместе с женой и полицмейстером Ивановым[2].

В Поволжье информация об образовании Временного правительства появилась 2 марта, о чем сообщил «Саратовский листок». Общественность города довольно быстро включилась в работу по созданию новых органов власти, начались аресты царской администрации, полиции и «гороховых пальто», как называли агентов охранки. Того же числа информация о перевороте дошла до Сибири: первой газетой, напечатавшей сообщение о революции, стал «Тобольский листок». Томская «Сибирская жизнь» отреагировала лишь 5 марта. Смена власти в Сибири проходила много спокойнее, чем в Центральной России. Так, в Томске городской комитет решил временно сохранить полицию, включив впоследствии ее чинов в новую милицию[3]. Какое-то время старая полиция и новая милиция, образованная из студентов, вместе несли караульную службу.

Куда более нервозная обстановка, судя по сообщениям печати, сохранялась в Одессе. 2 марта население города еще не было уведомлено о петроградских событиях, однако слухи о революции будоражили обывателей. «Одесский листок» 2 марта позволил себе осторожную заметку под заголовком «Слухи»: «Мы вступили в полосу слухов — один другого сенсационнее… Говорят о фактах, которые еще вчера показались сказками из „Тысячи и одной ночи“. Как нам, читатель, ко всему этому отнестись? На это мы можем ответить одним словом: Спокойствие»[4]. 3 марта в Одессе уже появился список членов Временного правительства, однако более подробной информации по-прежнему не хватало, в связи с чем газеты писали: «Жутко, мучительно жутко без телеграмм и „внутренних известий“. Словно где-то там, за наглухо запертыми дверьми

[1] Газета-копейка. 1917. 21 марта.

[2] Известия Владимирского губернского временного исполнительного комитета. 1917. 15 марта.

[3] Сибирская жизнь. 1917. 5 марта.

[4] Одесский листок. 1917. 2 марта.

операционной палаты мрачного больничного корпуса, окруженного высокой оградой, неведомые хирурги третьи сутки кромсают больное тело близкого нам и дорогого существа»[1]. Недостаток информации в конце концов привел к распространению в городе абсурдного слуха, что Временное правительство собирается восстановить крепостное право[2]. Когда же деятельность телеграфного агентства восстановилась в полной мере и одесские газеты получили возможность делиться со своими читателями всей получаемой информацией, в городе в первые дни было замечено появление нового типа «хвостов» — газетных. При этом серьезных эксцессов с участием полиции в Одессе не было. Наоборот, 7 марта на совещании всех одесских приставов при участии начальника сыскной полиции было принято решение отправить председателю Временного правительства телеграмму о присоединении одесской полиции к новому строю, а 9 марта полицейские Одессы провели закрытый митинг с революционными речами[3].

Несмотря на победу революции и исчезновение с улиц столицы главного оплота самодержавия — городовых, — март принес лишь внешнее успокоение. По воспоминаниям современников, в людях царила растерянность. Так, ходили рассказы о том, что даже солдаты и рабочие, принявшие непосредственное участие в февральских событиях, были настолько ошарашены ее немедленными последствиями, что на голосовании вопроса о монархии и республике 210 из 230 солдатских депутатов высказались за монархию[4]. «Революционный невроз» сохранялся и ждал новых форм проявления. Одной из них стала инициатива таинственных «активистов», решивших пометить белыми крестами двери квартир некоторых жителей Петрограда. Шла ли речь о шутке или существовала действительно некая инициативная группа по отлову «внутренних врагов», сейчас сказать трудно, но, учитывая общую социально-психологическую напряженность, можно представить себе чувства и психическое состояние «помеченных» людей. Кое-кто пытался систематизировать кресты по их виду и социальной принадлежности жильцов «крещеных» квартир. В «Петроградском листке» в марте появилась специальная заметка, в которой отмечалось, что перед квартирами офицеров было по два креста; секретарь петроградской городской милиции З. Кельсон писал о распространенных в то время слухах, что «белыми крестами помечают квартиры евреев, собираясь им устроить Варфоломеевскую ночь»[5]. В период революции антисемитизм, отождествлявшийся с царской политикой и идеологией приспешников самодержавия — черносотенных организаций, популярен не был, хотя в апреле в Москве появлялись

[1] Одесский листок. 1917. 3 марта.
[2] Одесский листок. 1917. 4 марта.
[3] Одесский листок. 1917. 7, 9 марта.
[4] *Половцов П. А.* Дни затмения… С. 21.
[5] *Кельсон З.* Милиция февральской революции. Воспоминания // Былое. 1925. № 1 (29). С. 168.

воззвания к еврейскому погрому[1]. Они, конечно же, не привели ни к каким антисемитским выступлениям, но, справедливо отнесенные на счет черносотенцев, вызвали новые беспокойства по поводу заговора правомонархических сил против революции.

16 марта автор «Занимательной физики» Я. И. Перельман предложил свое объяснение таинственным «белым крестам». Так, он обратил внимание, что рядом с крестами располагались и вертикальные палочки, причем в пределах одного дома двух одинаковых сочетаний крестов и палочек не наблюдалось. Перельман заметил, что у дверей квартиры № 12 стоял один крест и две палочки, а у квартиры № 25 — два креста и пять палочек. Исходя из этого он предположил, что эти знаки переводят арабские цифры для тех, кто их не знает. Подобная система записи цифр существует в Китае, а в столице очень много китайцев устраивались на работу дворниками: «Своеобразная нумерация принадлежит дворникам-китайцам, не понимающим наших цифр. Появились эти знаки, надо думать, еще до революции, но только сейчас обратили на себя внимание встревоженных граждан»[2]. Впрочем, была и иная версия — таинственными знаками грабители помечают квартиры, жильцы которых в отъезде, а также квартиры, где есть чем поживиться.

Страх перед таинственными знаками усиливался подтверждавшимися в большинстве случаев слухами о низкой квалификации нового органа правопорядка — милиции. В феврале — марте наспех проходил набор в народную милицию. Множество воззваний, заполнивших улицы Петрограда и Москвы в февральские дни, пестрели призывами к самоорганизации людей в ее отряды[3]. Один из очевидцев вспоминал, как среди всеобщей неразберихи то там, то здесь раздавались призывы: «Кто хочет вербоваться в милицию, идите на Лиговку, к дому Перцова получать оружие…»[4] Секретарь Управления петроградской городской милиции З. Кельсон вспоминал, что только к 1–2 марта милицейских удостоверений в Петрограде было выдано до 10 000 и почти столько же в последующие дни, «поэтому, — делал он вывод, — было бы неудивительно, если все взрослое мужское население Петрограда в эти дни оказалось на службе в милиции»[5]. Не лучше обстояли дела и в Москве, где, по свидетельству журналиста, только за один день — 2 марта — в милицию записалось 6000 человек[6]. Набор происходил в здании университета, поэтому преимущественно в милицию записывались студенты, причем целыми группами. Впоследствии, правда, в соответствии с законом от 12 июля численность милиции Москвы составила

---

[1] Русские ведомости. 1917. 9 апреля.

[2] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1917. 16 марта.

[3] *Морозов Н. К.* Семь дней революции. События в Москве. Дневник очевидца. М., 1917. С. 11.

[4] Солнце России. 1917. № 366. С. 14.

[5] *Кельсон З.* Милиция февральской революции. Воспоминания // Былое. 1925. № 1 (29). С. 166.

[6] Газета-копейка. 1917. 3 марта. С. 3.

3941 человека, что соответствовало 1 милиционеру на 500–650 жителей[1]. В Петрограде же в результате раскола милиции и сепаратистских тенденций со стороны рабочих комиссариатов, привести полностью в соответствие с законом штаты милиции так и не удалось. Существенным недосмотром со стороны властей стало то, что при наборе в милицию у записывающихся не требовали никаких документов, удостоверяющих личность. В Москве начальник Народной милиции А.М. Никитин спохватился только в мае, когда в Приказе № 24, I, §3 постановил обязательную проверку документов у поступающих на службу и у тех, кто уже служит, но при поступлении документов не предъявил[2].

Не случайно в городскую смеховую культуру входят анекдоты о милиционерах, в которых отмечается их непрофессионализм, корысть и связь с уголовным миром. В качестве примера можно привести выдержку из сатирического словаря, где под выражением «кривить душой» понимается: «увидеть своего кредитора милиционером и сделать приятную улыбку на лице»[3]; или из заметки, в которой приводятся общие и различные черты между полицией и милицией: «Между постовым городовым и постовым милиционером есть, однако, существенная разница: городовой не кончал свою жизнь и жизнь своих товарищей через неумелое обращение с оружием...» — и далее в этой же статье: «...если милиционеры вербуются среди уголовных элементов, не следует удивляться, что у них является желание попасть на побывку к своим товарищам по заключению»[4]. О том, что в состав городской милиции изначально попало большое количество уголовных преступников, говорилось в докладе комиссии Главного управления по делам милиции о результатах ревизии петроградской городской милиции[5].

«Черное авто» как символ революционного насилия: от слуха к мифологеме

Пространство слухов, в котором возникали наиболее актуальные для обывателей образы и сюжеты, фиксировало раздражающие стимулы, вызывавшие коллективные фобии. Одним из таких стимулов-раздражителей уже в феврале 1917 г. стал автомобиль, что заставило барона Н.Е. Врангеля назвать начинавшуюся революцию «автореволюцией»[6]; З. Гиппиус также обратила внимание на то, что в февральские дни с улиц исчезли извозчики, вместо них теперь были «только гудящие автомобили»[7].

---

[1] Центральный исторический архив г. Москвы (ЦИАМ). Ф. 179. Оп. 21. Д. 4736. Л. 1 об.

[2] Ведомости комиссариата московского градоначальства. 1917. 2 мая. С. 1.

[3] Солнце России. 1917. № 368. С. 15.

[4] Там же. № 383. С. 16.

[5] ГА РФ. Ф. 5141. Оп. 1. Д. 8. Л. 16.

[6] *Врангель Н.Е.* Воспоминания... С. 351.

[7] *Гиппиус З.Н.* Синяя книга. Петербургский дневник. 1914–1918. Белград, 1929. С. 89.

В психологии страх по отношению к автомобилю как самодвижущемуся средству известен под названием «автокинетофобия» (другой, менее точный термин — «моторофобия», или «амаксофобия», — страх езды на автомобиле)[1]. Исследователи относят к ней не только объективно-рациональный страх перед потенциально опасным транспортным средством, способным нанести механическую травму человеку, но и субъективно-иррациональный, в основе которого лежит одушевление транспорта, восприятие его в качестве агрессивного чудовища, наделенного волей и разумом. В этом случае страх возникает при виде не только движущегося, но и стоящего в безопасном месте автомобиля. Конечно, мы здесь не будем употреблять термин «фобия» в клиническом значении (как патология), да еще ставить подобный диагноз всем участникам дискурса о «черных автомобилях» (иначе, вероятно, пришлось бы говорить об эпидемии автокинетофобии, что едва ли соответствует современным положениям психиатрии как науки), однако обратим внимание на то, что страх перед «черными автомобилями», распространявшийся в среде городских жителей, обладал многими признаками фобии как массового невроза, кроме того, объективно-рациональные основы подобной фобии оказывались тесно переплетенными с субъективно-иррациональными переживаниями.

Массовое распространение образа «черного авто» в 1917 г. прослеживается по разнообразным источникам: это и криминальная хроника желтой прессы, и разоблачительная публицистика более авторитетных изданий, включая карикатуры, дневники и воспоминания современников событий. Все это позволяет нам обнаружить развитие данного феномена. Увиденные в дни революции характерные картины превращались в образы, закреплявшиеся на уровне подсознания. Автомобиль, вытеснивший в февральские дни прочие виды транспорта (попрятавшихся извозчиков и прекративший движение трамвай), становился символом революции, однако, связанный с насилием, он превращался в опасный, плохо управляемый объект, вызывавший у современников страхи. В хаотичном движении автомобилей, создававших в отсутствие полиции опасность для пешеходов, обыватели усматривали проявление какой-то мании, невроза: «Общее впечатление этого дня, да и последующего, — это бестолочь, а особенно гоньба грузовиков и автомобилей. Кажется, что весь город обратился в чудовищный, бестолковый корсо и весь катается, катается и накататься не может. Шины лопаются, машина испорчена, автомобиль бросается тут же на улице, где-то реквизируется другой — и айда! мчатся дальше и катаются, катаются, пока и этот испортится. Это уже не страсть, а раж, мания»[2]. Свидетельства Врангеля подтверждаются фото- и кинохроникой, запечатлевшей многочисленные легковые и грузовые автомобили, ощетинившиеся винтовками солдат.

[1] См.: *Джуан С.* Странности наших фобий. М., 2012.

[2] *Врангель Н. Е.* Воспоминания… С. 352.

Для психиатра Н. Краинского, не принявшего февраль 1917 г., автомобиль стал символом вырождения человеческой культуры в революционном хаосе: «Орудие прогресса и культуры — автомобиль — стал эмблемой революции. Во время войны все автомобили реквизировались, и на них по городам катались офицеры штаба с сестрами милосердия. Теперь ими завладели товарищи, и они стремглав носились по улицам без всякого смысла»[1].

Объяснение неожиданному появлению на улицах столицы массы автомобилей отчасти кроется в деятельности Военной комиссии Временного комитета Государственной думы, создавшей специальный Автомобильный отдел, обеспечивавший перемещение по городу 43 комиссаров Временного комитета, а также прочих представителей нарождавшейся революционной власти. Как подсчитал А. Б. Николаев, уже 27 февраля у Военной комиссии оказалось 60 автомобилей, которые, пользуясь своими связями, достал инженер П. И. Пальчинский; на следующий день под контроль комиссии перешла автомобильная рота, пополнившая автопарк еще 30 единицами техники; кроме того, по приказу председателя Военной комиссии Б. А. Энгельгардта, прямо на улицах производилась реквизиция автомобилей, «катающихся без дела»[2]. В результате в районе Таврического дворца постоянно разъезжало около сотни автомобилей, создавая суету и нервируя прохожих.

Впервые «черное авто» как призрак контрреволюции «появилось» в столице 2 марта. Меньшевик Н. Н. Суханов записал: «Появился в Петербурге некий „черный автомобиль“, мчавшийся, как говорили, из конца в конец столицы и стрелявший в прохожих чуть ли не из пулемета»[3]. Секретарь начальника городской милиции З. Кельсон вспоминал, как 3 марта в 3 часа ночи его разбудил комендант Городской думы и передал только что полученный пакет: «Начальнику милиции. Спешно. Секретно. В собственные руки». В пакете было отношение: «Коменданту города. По сообщению членов Совета Рабочих Депутатов Жукова, Васильева и др., сегодня ночью предполагается выезд черных автомобилей с черными флагами для обстрела милиционных постов. №№ их следующие»[4]. Через некоторое время в Думу был доставлен арестованный гласный Д. А. Казицын, проезжавший на автомобиле под одним из этих номеров.

В газетах активно заговорили о черных автомобилях с 9 марта. Так, «Русские ведомости» написали о предпринятых в Петрограде «таинственными моторами» ночных разбойничьих набегах, что якобы напали на след некоторой черносотенной организации[5]. 16 марта черные автомобили «добрались»

---

[1] *Краинский Н.* Психофильм русской революции. М., 1991. С. 104.

[2] *Николаев А. Б.* Революция и власть: IV Государственная Дума 27 февраля — 3 марта 1917 года. СПб., 2005. С. 304–321.

[3] *Суханов Н. Н.* Записки о революции. Т. 1. М., 1991. С. 178.

[4] *Кельсон З.* Милиция февральской революции. Воспоминания // Былое. 1925. № 1 (29). С. 169.

[5] Русские ведомости. 1917. 9 марта.

и до Москвы, где их обнаружило воспаленное страхами сознание обывателей[1]. Сообщалось, что «в Москве идут толки о появлении в ночное время загадочных автомобилей, которые без номеров и фонарей с бешеною быстротою проносятся по улице. Появление таких автомобилей замечено на Трубной площади и Сретенке». На следующий день в этой же газете появилась статья, начинавшаяся словами: «Похождение таинственных автомобилей продолжается» (на этот раз их видели несущимися по Садово-Спасской улице). Отмечалось, что из машин производились выстрелы, хотя преподносились эти сведения как чистейшей воды слухи. Примечательно, что хотя достоверно о выстрелах никто ничего не знал, тем не менее вести о появлении этих автомобилей вызывали у москвичей серьезное беспокойство.

После некоторого затишья в марте известия об очередных похождениях «черных автомобилей» в Москве распространились 6 апреля: «Нам удалось выяснить, — писал один из журналистов, — что таинственный автомобиль, следуя ночью третьего дня к Поварской улице с потушенными огнями и без номера, был остановлен одним из милиционеров, который потребовал зажечь фонари. В это время из окон автомобиля были выставлены три револьвера, из которых была произведена стрельба, после чего автомобиль быстро умчался. К счастью, милиционер не пострадал»[2]. Через некоторое время этот же автомобиль появился на Воздвиженке, из него стреляли по проходившему с повязкой милиционера на руке студенту Шаповальянцу.

13 апреля в «Петроградском листке» было напечатано сразу о трех случаях задержания «черных автомобилей». Их разбор демонстрирует превращение слуха в массовую фобию, которая организует толпу и заставляет ее подчиняться единому психоэмоциональному, аффективному порыву. Согласно газетной информации, 12 апреля около часа ночи помощник комиссара милиции первого подрайона Спасской части Мысовский, прапорщик Хлебников и милиционеры Домпер и Клейпнер на автомобиле выехали для проведения обыска у одной артистки. Двигались по Невскому проспекту к Николаевскому вокзалу. Неподалеку от Николаевской улицы в автомобиле лопнула шина[3], причем пассажиры мотора за веселым разговором не обратили на это особого внимания и продолжали ехать дальше. Между тем звук взрыва автомобильной шины, подобный звуку выстрела плохого ружья, вызвал тревогу среди дежурных милиционеров. Те свистками стали давать знак автомобилю, чтобы он остановился, но ни шофер, ни пассажиры этих свистков не слышали. Тогда милиционеры открыли отчаянную стрельбу. Стреляли довольно часто,

---

[1] Московский листок. 1917. 17 марта.

[2] Московский листок. 1917. 6 апреля.

[3] О лопнувшей шине написал журналист, хотя более вероятной представляется версия о хлопке из выхлопной трубы, так как на лопнувшую шину вряд ли мог не обратить внимания водитель авто.

не особенно метко. Выстрелом была убита лишь лошадь проезжавшего извозчика. Кроме того, на улице во время стрельбы началась сильная паника, во время которой один из прохожих, спасаясь от выстрелов якобы черного автомобиля, а в действительности милиционеров, угодил под лошадь другого извозчика, в результате чего получил перелом ноги и серьезные ушибы. Весть о появлении черного автомобиля с быстротой молнии разнеслась по Невскому проспекту. В то же время один из милиционеров по телефону предупредил коллег, стоявших на Знаменской площади, что туда следует черный автомобиль, который необходимо задержать. Кроме того, вдогонку черному автомобилю отправился грузовик с отрядом вооруженных солдат. Когда в автомобиле все же заметили преследование и переполох среди дежуривших милиционеров, шофер остановил машину. Автомобиль моментально окружила полная «справедливого гнева» толпа, крайне возбужденная слухом о том, что из машины расстреливали людей, и едва не учинила расправу над находившимися в ней представителями милиции. Подоспевшим милиционерам потребовались большие усилия, чтобы предотвратить самосуд. Тем не менее толпа отправилась провожать автомобиль в комиссариат и по дороге опять чуть было не учинила расправу, но помогли ехавшие следом в грузовике солдаты, пригрозившие открыть огонь. В результате пассажиры «черного автомобиля» отделались лишь легким испугом.

Другой случай произошел за Московской заставой на Можайском шоссе. Стоявший ночью на посту милиционер принял за черный автомобиль броневик с солдатами, который не остановился на свистки. Милиционер открыл стрельбу, солдаты, которые его не заметили, слыша удары пуль о броню, ответили выстрелами в воздух. Никто, к счастью, не пострадал.

Третий эпизод имел место на Каменноостровском проспекте, по которому быстро мчался автомобиль. В нем находились два офицера и две дамы, проводившие вместе время. Дежурившим милиционерам показалось что-то подозрительным в этом авто, и они решили его задержать. Реакции на предупреждения не последовало, и милиционеры открыли стрельбу, после чего машина остановилась. Как сообщается в газете, пассажиры были крайне возмущены действиями милиции[1].

Показательно, что, как правило, свидетели видели черные автомобили в темное время суток: сказывалось и переутомление, накопившееся за день, и плохая видимость в условиях недостаточного освещения улиц, а также страх темноты (никтофобия), характерный для особо впечатлительных граждан. Художники реагировали на слухи о «черных авто», и в иллюстрированных журналах появлялись изображения нападений и погонь. В. Сварог в «Ниве» изобразил погоню за черным автомобилем на лошадях (можно сравнить со

[1] Петроградский листок. 1917. 13 апреля.



Ил. 185. С.В. Животовский. Черный автомобиль // Огонек. 1917. № 12. С. 190

слухами о погонях на лошадях за неуловимыми шпионами-велосипедистами), С. Животовский обратился к «классическому» сюжету: ночному нападению «черного авто» на пост милиционеров (ил. 185).

Слухи о столичных загадочных черных авто, разносимые желтой прессой, обсуждали по всей стране. 17 апреля «Одесский листок» сообщил, что центральные комиссариаты Петрограда получили телефонограмму, согласно которой по распоряжению министра юстиции милиционеры обязаны без предупреждения открывать огонь по автомобилю с номером 4247. Однако проверка установила, что министр никаких подобных распоряжений не давал, а в автомобиле под указанным номером ездил А.Ф. Керенский. Хотя это должно было отчасти демистифицировать роль черного автомобиля, возникли новые вопросы о том, кто же стоял за отправкой подобной телеграммы. Таким образом, страх перед таинственной контрреволюционной организацией сохранялся.

Вскоре, однако, из-за отсутствия доказательств деятельности контрреволюционеров и неоспоримой их связи с пассажирами таинственных автомобилей отношение к ним стало меняться. Начали говорить просто о банде сбежавших уголовников, что действительно весьма соответствовало моменту. Еще 5 апреля появилась обнадеживающая заметка «Ликвидация черных автомобилей» о задержании опасного громилы-рецидивиста Парфенова, возглавившего банду из 13 уголовников, которые на похищенных черных автомобилях разъезжали по ночам по Петрограду, совершали грабежи и провоцировали панику[1]. Кроме того, наибольшую опасность, как было замечено, автомобили представляли для милиционеров, поэтому очень скоро возник слух об охоте криминальных группировок на городскую милицию, и градус напряженности слегла понизился.

[1] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1917. 5 апреля.

Таким образом, мы видим, что слухи о «черных авто» в 1917 г. порождали массовую фобию: они были распространены среди представителей различных социальных групп; несмотря на попытки разоблачения в прессе, вера в них не проходила, распространяясь из Петербурга в Москву; порожденный слухом страх вызывал в людях гнев и толкал их, согласно законам психологии толпы, на коллективные агрессивные действия, оборачивавшиеся самосудом и складывавшиеся в более длительное, чем гнев, чувство массовой ненависти к источнику страха. Слухи о «черных авто» оказывались эмоциональным стимулом, вокруг которого складывалась упомянутая триада враждебности — страх, гнев и ненависть. Лексический анализ слухов позволяет выделить следующие эпитеты, характеризующие «черные автомобили» в рассказах «свидетелей»: таинственные и загадочные; неуловимые и бешено быстрые; ночные; разбойничьи. Эти эмоционально окрашенные определения отличали черные автомобили от иного транспорта сверхвозможностями и наделяли их роковыми, мистическими свойствами. Помимо черного цвета, признаком загадочных автомобилей могли быть черные флаги и выключенные огни. Согласно слухам, черные машины появлялись в темное время суток, как правило ночью, и несли смерть. Это важно для понимания мистической природы слуха, в котором сочетались элементы рациональной картины (автомобиль черного цвета с пассажирами-преступниками) с мистическими, иррациональными характеристиками (таинственность, неуловимость), создававшими архетипическую аллегорию насилия, что наделяло слух признаком мифологемы.

Феномен подобного слуха-мифологемы заставляет более внимательно подойти к вопросу о его источниках, рассмотреть образ автомобиля в семиосфере предшествующего периода. Принимая во внимание эмоциональную природу слуха, едва ли его появление можно свести к единственному рациональному объяснению. Источники образа «черного авто» следует искать в литературной традиции, политической лексике, повседневных картинах — во всем том, что формировало массовое сознание обывателей.

Прежде всего необходимо обратиться к общему образу автомобиля как технического средства. В разговорной речи, дневниках современников, публицистике образ автомобиля нередко наделялся эсхатологическими коннотациями. Показательно, что, согласно дневниковым записям М. Палеолога, накануне войны, в июле 1914 г., находясь в Министерстве иностранных дел, французский и английский послы пытались узнать у австрийского посла настроения Вены, но Сапари был сдержан и повторял лишь одну метафорическую фразу: «Машина катится». Палеолог назвал ее апокалиптической[1]. Символическим стал образ автомобиля из статьи депутата IV Государственной думы кадета В. А. Маклакова «Трагическое положение», опубликованной 27 сентября 1915 г.

[1] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 36.

в «Русских ведомостях», в которой он сравнил Россию с машиной, ведомой в пропасть неумелым шофером. Примечательно не только использование несущегося автомобиля в качестве аллегорического образа России, но и присутствие эсхатологического контекста, наполнявшего образ автомобиля трагической коннотацией, негативной эмоцией. Созданный Маклаковым образ запомнился соотечественникам. В частности, к нему спустя более года вернулся коллега Маклакова по Государственной думе, депутат от Терской области М. А. Караулов. 3 ноября 1916 г. он слегка перефразировал Маклакова, вспомнив «аргумент о преступном шофере, управляющем мотором, где сидит наша родина-мать, направляющем его в пропасть»[1]. Примечательно, что в карауловской редакции образ автомобиля обретает несколько иное значение: если у Маклакова это государство, управляемое неумелым правительством[2], ведущим к гибели подданных империи, то у Караулова пассажиром выступает сама Россия, а автомобиль, в котором она находится, оказывается неким злым роком.

Образ, созданный Маклаковым, оказался настолько ярким, что начинается его визуализация в иллюстрированных изданиях. Вскоре после выхода упомянутой статьи в журнале «Будильник» появляется карикатура под названием «Сумасшедший шофер», изображавшая несущийся по узкой горной дороге прямиком в пропасть черный автомобиль, в котором помимо шофера находилась царица. В августе 1917 г. художник одесского журнала «Театр» повторил эту композицию, причем на автомобиле теперь красовалась надпись «Россия», а в роли шофера был изображен А. Ф. Керенский. Третий раз эта композиция возникла в журнале «Барабан» в октябре 1917 г. — на передних сиденьях несущегося в пропасть автомобиля (на этот раз он был желтого цвета) дрались двое, напоминавшие Керенского и Троцкого (ил. 186).

Популярность этой аллегории, вероятно, объясняется несколькими факторами. Во-первых, с визуальной точки зрения подобный образ мог быть заимствован из киноафиш, рекламировавших фильмы-боевики. Современники отмечали, что именно киноафиши, использовавшие аляповатые краски, а в вечернее время подсвеченные электрическим освещением, имели наибольшее, по сравнению с театральными афишами, воздействие на толпу, легко западали в память обывателей[3]. Интересно, что Ю. Левинг, отмечая воздействие уличной рекламы на массовое сознание, рассматривает ее в контексте мистических представлений, сравнивая светящиеся буквы с горящими письменами,

[1] Стенографический отчет. Государственная дума. Четвертый созыв. Сессия V. Пг.: Госиздат, 1916. Стб. 79.

[2] Л. Сигельбаум, цитирующий В. Маклакова по монографии г. Каткова «Россия в 1917 г.», усматривает в образе шофера образ Николая II [Сигельбаум 2011: 293], тогда как автор, вероятнее всего, намекал на И. Л. Горемыкина, причем приходил к выводу о недопустимости вырывать управление из рук шофера-правительства в условиях, когда автомобиль-государство проходит опасный участок пути.

[3] Вестник кинематографии. 1917. Январь. № 123. С. 8.



Ил. 186. Российское. А пока они грызутся… // Барабан. 1917. № 23. Задняя сторонка обложки

выступившими на стенах дворца Валтасара[1]. В кинематографических сюжетах автомобиль нередко был связан со злым роком, как, например, в фильме «Страшная месть горбуна», в котором миллионер-горбун на автомобиле сбивал бедную модистку[2]; появлялся в кинокомедиях, например в ленте «Сойди же, наконец, с автомобиля» — «забавной комедии, — как анонсировалось в рекламе, — которая показывает нам, какое огромное влияние на любовь может оказать… автомобиль»[3]. Примечательно, что противники кинематографа, настаивавшие на развращающем воздействии его на публику, в качестве аргумента приводили зрелища ужасных автокатастроф, эксплуатировавшихся режиссерами[4]. В качестве примера подобной картины, вероятно, можно привести пользовавшийся большим успехом у зрителей фильм «Шепот Сатаны», снятый в 1916 г. «Русско-датской кинематографической конторой», о котором критики писали: «Обращает на себя внимание момент, когда проламывается висящий мост под мчащимся автомобилем и последний вместе с пассажирами летит в бездну»; на афише фильма «Тайна карт» «красовались» упавший с обрыва автомобиль и лежащие вокруг него трупы пассажиров[5]. Можно сделать вывод, что образ летящего в бездну автомобиля был известен российской визуальной семиосфере.

Во-вторых, следует учесть, что XX век в сознании современников отождествлялся прежде всего с техническими достижениями, а одним из самых заметных из них в городской повседневности был автомобиль. Здесь примечательно

[1] *Левинг Ю.* Вокзал — Гараж — Ангар: Владимир Набоков и поэтика русского урбанизма. СПб., 2004. С. 230.

[2] Обозрение кинематографов, скетинг-рингов и театров. 1915. 10 апреля. № 224.

[3] Сине-фоно. 1915. № 1. С. 75.

[4] Сине-фоно. 1915. № 4. С. 50.

[5] Сине-фоно. 1916. № 11–12. С. 70; № 19–22. С. 63.



Ил. 187. Автомобиль будущего // Автомобилист. 1917. № 5. С. 18

выступление Маклакова в Думе в мае 1916 г., в котором он, по сути, противопоставил «автомобильную Россию» России патриархальной, первобытной: «Есть для нас и для меня в том числе много милого и привычного в этих картинах родной России, в этом сохранившемся кое-где патриархальном строе отношений и даже в этой первобытной культуре, где есть места, куда не захаживал автомобиль»[1]. В московском журнале «Автомобилист» печатались карикатуры, изображавшие деревенских жителей, напуганных проносящимися мимо них автомобилями. Один из художников пытался представить автомобиль будущего, единственным отличием которого от существовавших на тот момент автомобилей было то, что пассажиры в нем сидели под стеклянными куполами (ил. 187). На другой иллюстрации автомобиль на большой скорости проламывал деревенскую избу.

Впрочем, сельским жителям и в реальности приходилось поражаться некоторым усовершенствованным автомобилям. Так, А. И. Спиридович вспоминал, что царский шофер Кегрес сконструировал автомобиль-сани: «Мы летели целиной по снежному полю, преодолевая все сугробы. Надо было видеть удивление останавливавшихся на дороге крестьян, когда наши сани-автомобиль пересекали их дорогу и неслись по ровному полю, вдоль ее»[2]. Автомобиль-сани был изготовлен в нескольких экземплярах.

Использовался образ автомобиля и в журнальной сатире, обличавшей отсталость системы управления в России. В январе 1917 г. в журнале «Будильник» была опубликована карикатура под названием «Система управления»,

[1] Стенографические отчеты. Государственная дума. Четвертый созыв. Сессия IV. Пг.: Госиздат, 1916. Стб. 4725.

[2] *Спиридович А. И.* Великая война… С. 281–282.



Ил. 188. Д. Моор. Система управления // Будильник. 1917. № 3. Обложка

на которой престарелый чиновник, застрявший в автомобиле в снегу, пытался завести машину, хлеща ее плеткой (ил. 188).

Однако для представителей бедных и средних слоев личный автомобиль был знаком принадлежности к высшим слоям общества, часто вызывал классовую ненависть, его пассажиры порой изображались циничными и черствыми людьми. В сентябре 1915 г., когда в столицах остро стоял вопрос размещения и питания беженцев, в «Новом Сатириконе» появился рисунок Н. Ремизова, на котором была изображена молодая пара. Барышня говорила кавалеру: «Ах, Серж! У вас золотая голова: сегодня все театры закрыты, а вы так удачно придумали — ехать смотреть беженцев!..»[1] Личный автотранспорт особенно начал раздражать горожан в 1915–1916 гг., когда по ряду причин в Петрограде и Москве сократилось трамвайное движение и пассажиры вынуждены были штурмом брать вагоны и давить друг друга, в то время как ненавистные им представители «верхов» разъезжали в частных или служебных авто. Неудивительно, что массовое сознание рассаживало по автомобилям внутренних врагов — шпионов; личный автомобиль Вильгельма II в воображении художников был похож на нечто среднее между танком и домом[2].

В то же время автомобиль как символ прогресса (позитивный образ для образованной части общества) обретал в повседневной жизни в глазах ряда обывателей и негативную коннотацию символа насилия. Связано это было,

[1] Новый Сатирикон. 1915. № 38. С. 7.

[2] Будильник. 1915. № 4.

прежде всего, со статистикой несчастных случаев на улицах, и хотя чаще всего в транспортных происшествиях фигурировал трамвай, как правило, он не являлся виновником ДТП с участием прохожих. Курсировавший по заданной рельсами траектории, не превышавший скорость, трамвай мог представлять угрозу разве что для пьяных или зазевавшихся пешеходов; часто травмы получали пассажиры, пытавшиеся запрыгнуть в него на ходу или, наоборот, соскочить. Автомобиль же был символом скорости и свободы движения; маневрировавший среди трамваев и извозчиков, он представлял реальную угрозу для пешеходов в условиях отсутствия регулировки дорожного движения[1]. Обязательные постановления о порядке движения предписывали водителям автомобилей уступать дорогу конному транспорту и запрещали его обгон, однако автомобилисты постоянно их нарушали. Журнальная изобразительная сатира сохранила множество визуальных образов дорожных происшествий с участием автомобилей. В весеннем номере «Стрекозы» за 1917 г. автомобиль сравнивался с танком: так же как танк на полях сражений, автомобиль давит врагов-пешеходов на улицах городов[2]. Ю. Левинг обращает внимание на то, что в русской поэзии поездка на автомобиле окружалась «аурой катастрофизма», а само авто «ассоциировалось с необузданной, стихийной силой с мифологизирующим потенциалом»[3].

Пресса любила «смаковать» происшествия с автомобилями, упоминая тяжелые травмы, которые получали как пассажиры, так и пешеходы. Пассажирами авто, как правило, являлись зажиточные люди или известные государственные деятели, поэтому подобные сообщения нередко вызывали определенный общественный резонанс. Одно из наиболее нашумевших в Петрограде автомобильных происшествий случилось 7 января 1915 г.: автомобиль «настиг» сани, врезался в них сзади, опрокинул и выбросил пассажира на панель. От удара головой о мостовую тот потерял сознание[4]. Хотя пострадавший не получил серьезных травм, эту историю долго обсуждали, так как пассажиром был Г. Распутин. Здесь примечательно то, что автомобиль, вопреки правилам, двигался быстрее извозчика и ударил сани сзади, в чем можно усмотреть некий злой умысел. Кроме того, обращает на себя внимание глагол «настичь», использованный журналистом, — тем самым происшествие противниками Распутина представлялось в качестве постигшей «старца» кары, возмездия. Автомобиль оказывался олицетворением рока, что, как уже было отмечено, является одним из признаков автокинетофобии, предполагающей одушевление

[1] Впрочем, в 1900 г. в Санкт-Петербурге и в 1912 г. в Москве городскими думами были приняты первые правила дорожного движения, устанавливавшие, в частности, предельную скорость для автомобилей на уровне 20 верст в час (21,3 км/ч), которую, конечно же, измерить было невозможно.

[2] Стрекоза. 1917. № 11. С. 5.

[3] *Левинг Ю.* Вокзал — Гараж — Ангар: Владимир Набоков и поэтика русского урбанизма. С. 263.

[4] Русские ведомости. 1915. 8 января.

транспортного средства. Небезынтересно, что слухи о неуловимости и недосягаемости Распутина также были связаны с автомобилем: бывший министр внутренних дел А. Н. Хвостов на допросе в 1917 г. рассказывал, что у агента охранки И. Ф. Манасевича-Мануйлова был специальный быстроходный военный автомобиль, за которым не могли угнаться автомобили охраны, и он периодически на нем куда-то увозил Распутина[1]. Последний раз имя Распутина в связи с темой «черных автомобилей» всплыло в марте 1917 г. В. М. Пуришкевич писал, что ночью перепуганные милиционеры приняли за «черный автомобиль» грузовик с эксгумированным трупом Распутина, который намеревались вывезти и закопать у Выборгского шоссе: «В те дни, как известно, какие-то таинственные черные автомобили разъезжали по Петрограду и постреливали, очевидно, с провокационной целью по народу, после чего на полном ходу скрывались. Автомобиль с гробом Распутина и был принят за один из таких таинственных автомобилей»[2]. Эту историю так дополнял отставной генерал Ф. Я. Ростковский: когда автомобиль под конным конвоем въезжал в Лесной участок, милиционеры на всякий случай выстроили баррикаду[3].

Сравнение техники с живыми существами становилось особенно актуальным в годы Первой мировой войны в условиях распространения мистических эсхатологических настроений, уже рассмотренного ранее мотива «металлического мира», в котором изобретения являлись кознями антихриста. Примечательно описание газетой загадочного желтого тумана, который накрыл Москву вскоре после происшествия с Распутиным: «Трамваи выплывали из мглы какими-то фантастическими призраками с красными глазами», — писали очевидцы[4]. Также следует учесть широкий контекст употребления термина «автомобиль», относившегося к любому самодвижущемуся средству, например к танку. Танк, ставший одним из главных технических чудовищ Первой мировой войны, вызывал ужас в сердцах людей. Играя на чувствах читателей, газеты и журналы публиковали картинки, вызывавшие трепет. Так, в марте 1917 г. в журнале «XX век» была опубликована фотография танка с подписью: «Английский „танки“ (так в источнике. — *В. А.*) — автомобиль-чудовище, переползающий через рвы и окопы»[5].

Подобная демонизация автотранспорта также была связана с беллетристикой, создававшей мистический образ автомобиля-убийцы. Например, он встречался в пользовавшихся большой популярностью в дореволюционной России приключениях Ната Пинкертона. Один из рассказов назывался «Автомобиль

---

[1] Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства. Т. 1. Л., 1924. С. 27.

[2] Дневник члена Государственной Думы В. М. Пуришкевича. Рига, 1924. С. 145.

[3] *Ростковский Ф. Я.* Дневник для записывания… (1917-й: революция глазами отставного генерала). М., 2001. С. 96.

[4] Русские ведомости. 1915. 27 января.

[5] XX век. 1917. № 10. С. 3.

дьявола». Автор описал жуткую машину, повстречавшуюся одному из героев: «Прямо перед ним сверкнули во мраке два огромных глаза гигантского черепа, окруженного синеватым фосфорическим сиянием. Это чудовище неслось на него с невероятной быстротой. Он хотел отскочить в сторону, броситься бежать, но страх сковал холодом его члены и пригвоздил к роковому месту»[1]. И хотя, как выяснилось в рассказе, подобный вид автомобиля был делом рук изобретательных бандитов, в чем Пинкертон изначально не сомневался, основная масса фермеров, терроризируемых «автомобилем дьявола», в силу распространенных предрассудков верила в его мистическую силу. В отечественной поэзии также обнаруживаются тенденции демонизации авто. В. Маяковский в стихотворении «Адище города» (1913) сравнивал его с дьяволом: «Адище города окна разбили / На крохотные, сосущие светами адки. / Рыжие дьяволы, вздымались автомобили, / Над самым ухом взрывая гудки»; С. Городецкий в поэме «Шофер Владо» (1918) «отправлял» автомобиль на службу Сатане: «Как вихрь, гонимый сатаной / Гремя, свистя, вздымая пыль, / Стремглав летел автомобиль».

Предрассудками относительно автотранспорта было наполнено массовое сознание российского крестьянства. В связи в этим интересны эсхатологические слухи, согласно которым Николай II являлся не кем иным, как Антихристом. Подозреваемый в измене в пользу Вильгельма II, он по тайному подземному ходу уезжал из Зимнего дворца на автомобиле прямиком в Германию[2]. Вероятно, таким представлениям об автомобиле способствовала в очередной раз изменившаяся традиция репрезентации верховной власти: в официальных периодических журналах, например «Летописи войны», публиковались фотографии Николая II не на белом коне, что соответствовало прежним народным представлениям о царе, а в черном автомобиле, что порождало слухи о подменном царе, царе-предателе или царе-Антихристе.

Однако вернемся к беллетристической традиции. От созданного в ней «автообраза» было недалеко и до его воплощения в реальной жизни: в криминальных слухах России кануна революции появлялись рассказы об автомобильных бандах уголовников. Если до сих пор мы вели речь о символизме автомобиля как такового, без эпитета «черный», то словосочетание «черный автомобиль» появляется накануне революции, в январе 1917 г., в пригородах Петрограда. В частности, по слухам, в Выборге действовала шайка, совершавшая преступления на «черном автомобиле». 22 января, со ссылкой на собственного корреспондента в Выборге, о них начали писать даже в Одессе: «В Выборге появился таинственный черный автомобиль, который, с наступлением темноты, разъезжает по городу и похищает молодых девушек и дам. Потом трупы похищенных с признаками изнасилования обнаруживаются в пустынных местах

[1] Весь Пинкертон: В кровавом тумане. СПб., 2013. С. 64.
[2] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 261 об.—262.

на окраинах города. За короткое время обнаружено 16 трупов. Молва назвала преступника „Черным Билем“»[1]. В имени «Черный Биль» угадывается игра слов и смыслов: с одной стороны, имя Биль кажется производным от слова «автомобиль», что подтверждается их общей приставкой «черный», с другой, Черный Биль (Билл и Биль — варианты транскрипции одного имени, встречавшиеся в русских переводах иностранной беллетристики) — распространенный в американской литературе уголовный персонаж, появлявшийся, например, в издававшихся в России рассказах О. Генри («Как скрывался Черный Билл»). Семантика черного цвета прочно вошла в российскую криминальную культуру. После Февраля 1917 г. в народе стали распространяться слухи о бежавших из тюрем тысячах уголовных преступников (в действительности освобождены были политические заключенные, а число бежавших уголовников сильно преувеличивалось). В Петрограде пошла молва о том, что бежал легендарный преступник «Черный волк», которому тут же начали приписывать все особенно жестокие убийства и грабежи[2].

Таким образом, неудивительно, что, будучи связан как с визуально-беллетристической традицией, политической лексикой, эсхатологическим дискурсом, так и с криминальной дореволюционной хроникой, в 1917 г. образ черного автомобиля становится одним из самых сильных раздражающих стимулов, провоцируя появление массовой фобии. Однако есть еще один источник происхождения слухов о «черных авто», дополняющий общую картину, связанный с личностью ненавистного обывателям министра внутренних дел А.Д. Протопопова, о котором в среде не слишком образованных горожан ходили слухи, будто он является перевоплощением Распутина[3]. В марте 1917 г. обсуждался слух о том, что Протопопов накануне революции закупил в личных целях 10 автомобилей, которые затем куда-то исчезли[4]. Молва тут же прозвала их «протопоповскими автомобилями», что семантически объединило этот слух со слухом о «протопоповских пулеметах», якобы расставленных в феврале на крышах петроградских домов. В воспоминаниях свидетелей февральских дней сохранился образ автомобиля с пулеметом. Бывший градоначальник Петрограда А.П. Балк вспоминал в 1929 г. происшествие 28 февраля 1917 г.: «Мимо Градоначальства из Гороховой улицы выскочил автомобиль и открыл стрельбу из пулемета. Окружавшую нас толпу охватила паника. Все бросились на землю, и началась беспорядочная стрельба»[5]. Если сведения Балка верны, то едва

[1] Одесский листок. 1917. 22 января.

[2] Россия 1917 года в эго-документах: Воспоминания / Авт.-сост. Н.В. Суржикова, М.И. Вебер и др. М., 2015. С. 162.

[3] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1069. Л. 186.

[4] Саратовский листок. 1917. 22 марта.

[5] *Балк А.П.* Гибель царского Петрограда: Февральская революция глазами градоначальника А.П. Балка / Публ. В.Г. Бортневского и В.Ю. Черняева // Русское прошлое. Кн. 1. Л., 1991. С. 59.

ли эти автомобили принадлежали полиции или контрреволюционной организации, скорее можно предположить, что они были захвачены либо одной из уголовных банд, освободившихся в ходе февральских беспорядков из тюрем, либо анархистами. Тем не менее упоминание о том, что из черных автомобилей стреляли именно из пулеметов, якобы использовавшихся полицией по распоряжению Протопопова, создает причинно-следственную связь между слухами о «протопоповских автомобилях», «протопоповских пулеметах» и «черных автомобилях». В этом случае становится понятной и цветовая символика: если в дореволюционный период прилагательное «черный» было синонимом «дьявольского» (пинкертоновский «дьявольский автомобиль» в этом смысле был «черным автомобилем»), то в 1917 г. «черный» оказывается связан с черносотенными организациями, оказавшимися под запретом и воспринимавшимися как средоточие контрреволюционных сил. Любопытно, что к контрреволюционерам массовое сознание причисляло не только бывших полицейских и представителей националистических партий, но и священников, которые, по другим слухам, с крыш колоколен и соборов расстреливали из пулеметов мирных обывателей. В «Новом Сатириконе» в апреле была опубликована карикатура, изображавшая стреляющего из пулемета попа с крестом в руке[1]. В результате в качестве безумных шоферов черных авто массовое сознание готово было рассматривать и священнослужителей, тем более что к этому предрасполагали и черные одеяния монашеской братии (ниже пойдет речь о том, что священники в качестве автопреступников фигурировали в слухах советского периода о «черной Волге», продолживших традицию «черных авто»). Помимо образа священника с пулеметом, представителей духовенства с «черными авто» связывали слухи об использовании неуловимого быстроходного автомобиля (свойства «черных авто») Григорием Распутиным.

Следует также заметить, что в дни Февральской революции по Петрограду разъезжали для поддержания порядка открытые военные автомобили с установленными на них пулеметами «Льюис». Их вид также вполне мог нервировать прохожих и породить слухи о «черных авто». Однако кто сидел за рулем и пулеметом этих авто — обывателям было неизвестно. Многие принимали их за уголовников. Отправившийся погулять на Васильевский остров 7 марта 1917 г. Палеолог удовлетворенно замечал, что «порядок почти восстановлен… Меньше шумных банд, меньше автомобилей с пулеметами, переполненных иступленными безумцами»[2].

Учитывая массовую распространенность фобии, на ней пытались сыграть отдельные политические партии. Так, в газете «Правда» 10 марта была опубликована статья «Люди черного автомобиля»: «Последние дни в Петербурге

[1] Новый Сатирикон. 1917. № 14. С. 7.
[2] *Палеолог М.* Дневник посла… С. 771.



Ил. 189. Черный автомобиль // XX век. 1917. № 14. С. 14

по ночам носился по улицам черный автомобиль без фонарей. Люди, сидевшие в автомобиле, расстреливали прохожих и в особенности милиционеров. Убито и ранено 15 человек. Кто же они, эти люди черного автомобиля? Оказалось, что это Д. А. Казицын, гласный Городской думы, и его друзья. Итак, петербургская Городская дума находится в руках казицыных. Гласные думы — люди черного автомобиля — давно прославились своим черносотенством и наглым воровством <…> В Петербурге люди черного автомобиля распоряжаются воспитанием наших детей, заведуют больницами, трамваями. Даже милиция учреждена при Городской думе. Такое положение невозможно, недопустимо. Нужно немедленно целиком и без остатка вырвать вовсе городское хозяйство из рук стародумцев, — из рук людей черного автомобиля»[1]. Хотя в статье, как мы видим, давалась вполне рациональная трактовка образа, словосочетание «люди черного автомобиля» демонизировало политических противников большевиков.

Конечно, не стоит переоценивать массовость распространения данной фобии. Образованная публика относилась скептически к подобного рода информации, тем более что городская сатира не могла не отреагировать на представившийся повод высмеивания предрассудков, внося в души своих читателей некоторое успокоение. В сатирических журналах начали появляться карикатуры, связывавшие появление слухов о «черных авто» со страхами неопытных студентов-милиционеров, взваливших на себя в первые месяцы революции непосильное бремя охраны общественного порядка[2]. В журнале «Трепач» создавался образ милиционера, дрожавшего и прятавшегося от каждого звука, похожего на рев приближавшегося автомобиля; в журнале «XX век» появилась

[1] Правда. 1917. 10 марта.

[2] См.: *Аксенов В. Б.* Милиция и городские слои в период революционного кризиса 1917 г. Проблемы легитимности // Вопросы истории. 2001. № 8. С. 36–50.

карикатура, изображавшая мчавшуюся в автомобиле тень с револьвером, из фар бил черный свет, а под рисунком располагалась надпись: «У обывательского страха глаза велики, или таинственный неуловимый автомобиль, разъезжающий по Петрограду и наводящий ужас на ветхих старушек и малых ребятишек»[1] (под последними часто имелись в виду милиционеры. — *В. А.*) (ил. 189). В апрельском номере «Бича» под карикатурой под названием «Милиционеры» был приведен их диалог: «Товарищ, видите — приближается… Уж не черный ли автомобиль? — Да ведь — один человек… И пешком. — Что-ж, что пешком… Черный автомобиль — он тоже не на лошади!»[2]

В том же журнале в мае 1917 г. появился фантасмагорический фарс под названием «Черный автомобиль», высмеивавший обывательские страхи. В нем главарем шайки, разъезжавшей на черном автомобиле и расстреливавшей прохожих, был бывший гусар Акакий Косоворотов, а прочими членами банды — коты и кошки. Автор описывал шофера авто следующими словами: «Была ночь. На углу Невского и Фонтанки остановился черный таксомотор. У рулевого колеса сидел шофер небольшого роста, в толстых перчатках, скрывавших его руки, и в странной, чересчур плотно облегающей тело меховой дохе. Круглые дымчатые очки закрывали верхнюю половину его физиономии, но вглядевшись пристальнее, можно было убедиться, что шофер не человек, а рослый сибирский кот, любимец Косоворотова»[3]. Рассказ заканчивался тем, что пуля милиционера убивала Косоворотова, а кот съедал сердце бывшего хозяина и, закутавшись в плащ, уходил в ночь. Примечательно, что для самого автора этого рассказа образ преступного черного автомобиля не прошел бесследно: спустя 11 лет, будучи уже известным писателем, он вернулся к нему в одном из своих последних романов «Бегущая по волнам», создав образ банды, посягнувшей на городскую легенду: «Нарядный черный автомобиль среди того пестрого и оглушительного движения, какое происходило на площади, был резок, как неразгоревшийся, охваченный огнем уголь. В нем сидело пять мужчин, все некостюмированные, в вечерней черной одежде и цилиндрах… — Вот они! — закричал Бавс. — Вот червонные валеты карнавала!»[4] Любопытно, что А. С. Грин связал легенду о банде «черного автомобиля» с другой легендой из криминальной хроники конца XIX в. — о банде «червонных валетов». Вероятно, обе можно отнести к одной устной традиции городского криминального фольклора, с которыми был хорошо знаком молодой сотрудник столичных газет и журналов. Также нельзя не обратить внимания на то, что кот Васька, главный герой рассказа Грина 1917 г., кажется прототипом другого известного литературного персонажа — кота Бегемота, тем более что о влиянии Грина

---

[1] Трепач. 1917. № 6. С. 14; XX век. 1917. № 14. С. 14.

[2] Бич. 1917. № 14. С. 8.

[3] XX век. 1917. № 18. С. 8.

[4] *Грин А. С.* Бегущая по волнам. Л., 1986. С. 151–152.

на творчество М. А. Булгакова упоминалось в исследовательской литературе[1]. Примечательно, что Бегемот является обладателем «кавалерийских усов», а Васька имеет «гусарское происхождение», а также обращает на себя внимание сходство концовок произведений: у Грина коты разбегаются по городу, у Булгакова начинается массовый отстрел котов.

Продолжая тему литературных аллюзий, нельзя не вспомнить другой рассказ 1917 г. — «Колесница дьявола», написанный менее известным писателем Валентином Франчичем. Главные герои рассказа — чудовищный автомобиль и его изобретатель инженер Рок (еще один возможный литературный прототип булгаковского персонажа). Франчич описывает попытку контрреволюционного мятежа в выдуманной стране, в которой народ только недавно обрел свободу. Отрекшийся царь-палач, опирающийся на остатки полиции и сумасшедшего изобретателя Рока, пытается вернуть себе власть. Построенная Роком «чудовищная машина», «орудие дьявола», давила и резала людей и, перерабатывая их трупы, двигалась дальше: «Я бросил быстрый взгляд в сторону „улицы Шамбора“ и увидел черный силуэт, достигавший в вышину не менее трех этажей, а в длину имевший, по крайней мере, саженей десять-двенадцать. С громким пыхтением и пронзительным воем он прокладывал себе путь в живой человеческой толпе, оставляя позади себя трупы убитых и раненых, сопровождаемый воплями ужаса, бешенства и предсмертными стонами»[2]. В конце концов черная машина сломалась, не выдержав нагрузки. Несмотря на относительно оптимистический финал, Франчич выразил в нем предчувствие гражданской войны, хотя в момент публикации рассказа — июнь 1917 г. — явных признаков ее еще не было[3]. Учитывая широкий контекст значения слова «автомобиль», данный образ черной дьявольской колесницы входит в один дискурс с образом «черного авто». Встречаются в литературе периода революции и прямые указания на демоническую природу именно «черного авто». Так, весной 1917 г. поэт Валентин Горянский (Иванов) в стихотворении «Вселенское» называл черный автомобиль приметой ада-города: «У черных ли машин в аду-городу, / Там ли, где все еще никнут вязы». Эти строки отсылают к упомянутому стихотворению «Адище города» с тем примечательным отличием, что у Маяковского автомобили были рыжими, а у Горянского черными. Таким образом, разбираемые слухи о «черных автомобилях», будучи отчасти порождением беллетристики и устных городских легенд, сами косвенно повлияли на складывавшуюся литературную традицию.

---

[1] *Чудакова М. О.* Присутствует Александр Грин // Сельская молодежь. 1976. № 6. С. 61–63; *Яблоков Е. А.* Александр Грин и Михаил Булгаков // Филологические науки. 1991. № 4. С. 33–42.

[2] XX век. 1917. № 23. С. 3–4.

[3] Тем не менее предупреждения на этот счет появлялись в прессе, а также были озвучены председателем Петросовета меньшевиком И. Г. Церетели на I Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов, проходившем с 3 по 24 июня.



Ил. 190. И. Вандакуров. Кровавый июльский кошмар в Петрограде // Огонек. 1917. № 29. С. 458

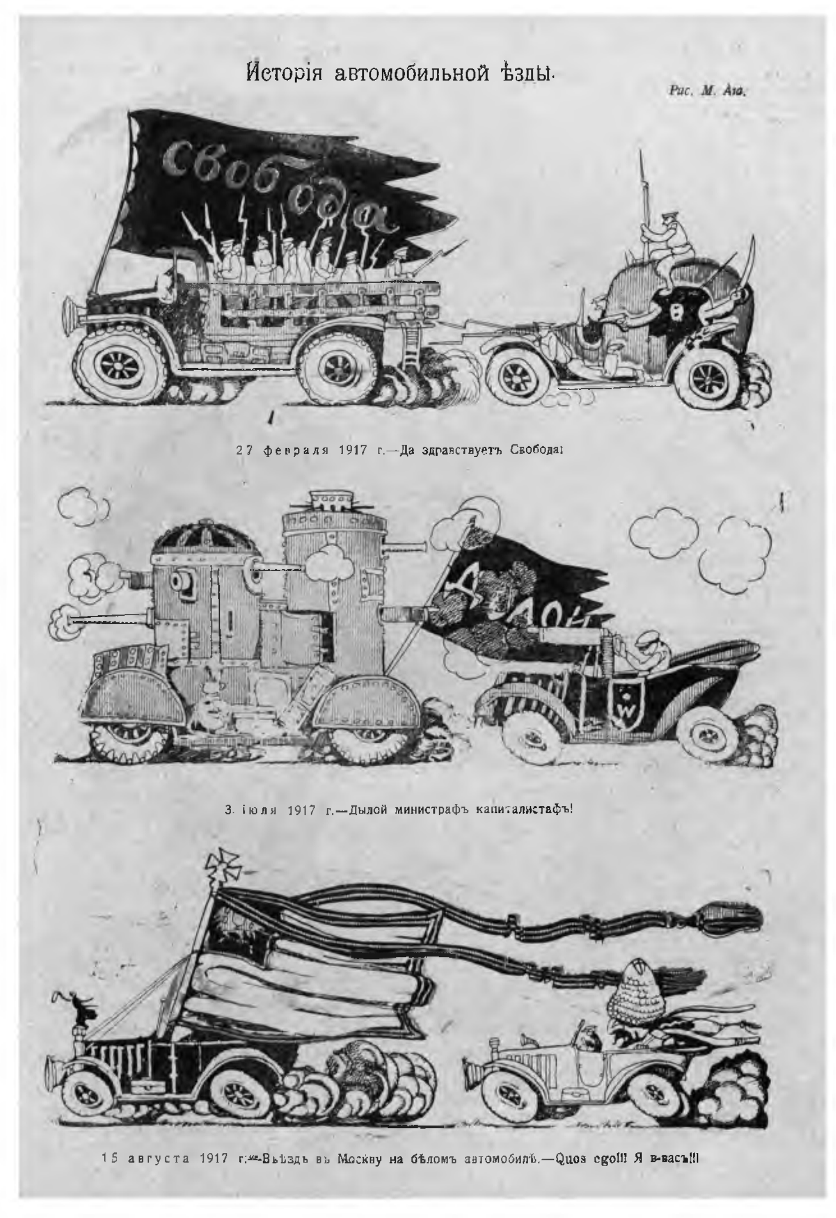
Летом слух о «черных авто» в своем первоначальном варианте исчез. Вызванный определенным эмоционально-психологическим состоянием современников, он переродился вместе со сменой массовых настроений. Эмоции не длятся слишком долго, в противном случае они превращаются в неврозы, тяжелые патологии. Эмоциональный подъем первых месяцев революции, характеризовавшихся сочетанием крайних состояний — восторга свободы и страха расплаты, — к осени сменился депрессией и апатией обывателей. Яркие мистические образы черных легковых авто, несших на себе печать аристократической богемной жизни, сменялись более реалистичными, обыденными картинами грузовиков, набитых солдатами и матросами. Особенно актуальным образ автомобиля-грузовика стал после июльских беспорядков, спровоцированных большевиками. Художник И. Вандакуров опубликовал в «Огоньке» рисунок мчавшегося грузовика, набитого вооруженными матросами и подозрительного вида типами, из которого во все стороны торчали пулеметы, а под его колесами гибли люди. Рисунок сопровождала подпись: «Грузовик с кронштадскими матросами, солдатами и рабочими большевиками терроризирует население столицы» (ил. 190).

Журналисты, описывая беспорядки, проводили параллели с февральскими днями, делая акцент на таких объединяющих признаках, как мчащиеся автомобили и стрельба из пулеметов, реквизиция автотранспорта: «3 июля вечером

на улицах Петрограда появились мчавшиеся автомобили и грузовики с пулеметами и вооруженными солдатами и рабочими; они останавливали частные моторы, высказывали угрозы расстрела шоферов и седоков, устанавливали на них пулеметы и присоединялись к другим, ранее вооруженным моторам. Вскоре открылась беспорядочная стрельба из ружей и пулеметов, результатом которой явились жертвы из мирного населения, случайно или по делу находившиеся на улице»[1]. Однако таких массовых делинквентных реакций, как погоня и самосуд, имевших место в марте — апреле, грузовик уже не вызывал, хотя по ночам постовые милиционеры по-прежнему с подозрением относились к автотранспорту. Например, 13 июля комиссар милиции 2-го Коломенского подрайона с тревогой сообщил начальнику милиции о полученных сведениях по поводу систематического появления по ночам на улицах автомобиля с вооруженными матросами[2]. Но «черными автомобилями» их называть было сложно по причине разницы в значениях цветовых символов: если под черными автомобилями понимали силы правомонархических, черносотенных организаций, то новая опасность исходила из «красного» лагеря. Вместе с тем политические коллизии российской революции приводили к смешению политической палитры. Дело в том, что июльские события сделали слово «большевик» нарицательным. В Томске, например, писали о священниках-большевиках, имея в виду, что они выступали за полное освобождение церкви от синодальной власти[3]. Тем самым образ реакционного священника правого толка легко трансформировался в сознании обывателей в образ священника-радикала слева, а большевик вместе с бывшим городовым мог организовать покушение на Керенского, о чем, например, говорили в Сибири в июле[4].

Кроме того, помимо большевиков, обывателей пугала угроза анархии, также использовавшая черные знамена. Население не усматривало особой разницы между анархистами и большевиками, так как те и другие воспринимались в контексте их призывов к вооруженному насилию. Более того, в конце концов анархистами в прессе стали называть уголовников, занимавшихся открытым грабежом средь бела дня. В газетных статьях под заголовками «Тоже анархисты», «Под флагом анархизма» или просто «Анархисты» рассказывалось о деятельности всевозможных банд уголовников, а в июньском номере журнала «Стрекоза» под карикатурой с изображением анархиста в черном плаще, черной шляпе, с кинжалом и револьвером была помещена «программа анархиста наших дней»: запугать и обобрать[5]. В июле «Стрекоза» опубликовала карикатуру под названием «В ожидании Ренессанса», на которой Николай II, поли-

[1] Сибирская жизнь. 1917. 2 августа.
[2] Петроградский листок. 1917. 13 июля.
[3] Сибирская жизнь. 1917. 28 июля.
[4] Сибирская жизнь. 1917. 30 июля.
[5] Стрекоза. 1917. № 24. С. 1.



Ил. 191. М. Аг. История автомобильной езды // Бич. 1917. № 33. С. 12

вавший цветочки в саду, рассуждал: «„Анархисты“ работают так дружно, что я, спокойно занимаясь цветочками, и не замечу, как опять очутюсь на троне!.. Знал бы раньше, никогда бы не преследовал „анархистов“ и предоставил бы им все права черносотенцев»[1].

29 августа, в разгар так называемого «корниловского мятежа», в Петрограде ночью были замечены «таинственные автомобили» с надписями «автомобиль

[1] Стрекоза. 1917. № 27. С. 4.

Корнилова»[1] — слухи быстро реагируют на изменения конъюнктуры. В это время в журнале «Бич» появилась карикатура М. Ага «История автомобильной езды». Художник представил периодизацию российской революции в качестве автомобильных гонок: на первом этапе участвовали военный автомобиль и грузовик под знаменем «Свобода», на втором — ощетинившийся пушками фантастический броневик, за которым следовал черный автомобиль с пулеметом и буквой «W» (Вильгельм) на двери, на третьем — два легковых автомобиля под монархическими знаменами, в одном из которых сидел офицер-кавказец из «Дикой дивизии» (ил. 191).

Таким образом, в массовом сознании обывателя происходило объединение крайне правых и крайне левых лагерей под знаком насилия, привычным вариантом визуализации которого оставался автомобиль. Только его легковая модификация с осени чаще заменялась более грубой — грузовой. С этим образом И. Бунин впоследствии связал все свои страхи революции: «Грузовик — каким страшным символом остался он для нас, сколько этого грузовика в наших самых тяжких и ужасных воспоминаниях! С самого первого дня своего связалась революция с этим ревущим и смердящим животным… Вся грубость современной культуры и ее „социального пафоса“ воплощены в грузовике»[2]. О распространенности подобных ассоциаций говорит и то, что об автомобиле как о символе революционного насилия, вызывавшем негативные эмоции, писали осенью 1917 г. и М. Горький[3], и П. Сорокин[4], и многие другие современники. В октябре 1917 г., когда петроградцы ожидали очередное выступление большевиков, их прежде всего пугал полный разгул анархии и новая волна преступности. Даже такой «непререкаемый» большевистский авторитет, как М. Горький, записал в октябре, не забыв упомянуть автомобиль как символ: «Все настойчивее распространяются слухи о том, что 20 октября предстоит „выступление большевиков“… Значит — снова грузовые автомобили, тесно набитые людьми с винтовками и револьверами в дрожащих от страха руках»[5]. В дни октябрьского переворота появились слухи об автомобилях, из которых стреляли по прохожим[6].

Произошедший захват власти большевиками и открывшиеся с ним дальнейшие перспективы политического развития России виделись частью средних городских слоев, особенно людьми в возрасте, сквозь призму эсхатологических настроений. В декабре 1917 г. Н. П. Окунев, московский обыватель, прослуживший большую часть своей жизни в пароходстве «Самолет», подвел

[1] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1917. 29 августа.
[2] *Бунин И. А.* Окаянные дни. М., 1991. С. 54.
[3] *Горький М.* Несвоевременные мысли. М., 1990. С. 91.
[4] *Сорокин П. А.* Дальняя дорога. Автобиография. М., 1992. С. 79.
[5] *Горький М.* Несвоевременные мысли… С. 148.
[6] Россия 1917 года в эго-документах… С. 205.

неутешительный итог последним трем десятилетиям развития России, назвав автомобиль среди прочих дьявольских изобретений человечества: «За последние 30 лет пошли разные железнодорожные строительства, телефоны, электрические освещения, трамваи, граммофоны, автомобили, и жить стало с каждым годом все труднее и труднее… Я и раньше косился на засилие электричества, а теперь глубоко убежден, что оно не от Бога, а от дьявола. Все нервы, все извращения, все жульничество, все безверие, вся жестокосердечность, вся безнравственность и вырождение людей — от этих проклятых звонков, хрипов, катастроф, миганий, смрада, гудков и чудес!»[1] Если для Маклакова и Караулова в 1915–1916 гг. приближавшаяся катастрофа была вызвана действиями «безумного шофера» автомобиля, то для Окунева в декабре 1917 г. сам автомобиль как порождение дьявола обретал злую волю, приближавшую гибель государства.

В первой половине 1918 г. автомобиль по-прежнему фигурировал в печати и эпистолярном наследии обывателей в качестве символа, имеющего негативную коннотацию. 5 января в Петрограде и Москве прошли массовые демонстрации в поддержку Учредительного собрания, которые были разогнаны отрядами красной гвардии. Как и в дни Февральской революции, возникали призраки смерти в образе автомобилей и расставленных на крышах пулеметов. В Москве 9 января автомобиль с пулеметом видели на Тверской, «слышали» пулеметную стрельбу с крыш на Лубянской, Страстной и Красной площадях[2].

Помимо политического насилия, в городах активно обсуждалось насилие уголовное, хотя часть обывателей предпочитала не делать между ними различий. Неудивительно, что в столицах бандитам «полагалось» разъезжать на автомобилях. Правда, в условиях начавшейся Гражданской войны и национального самоопределения народов бывшей Российской империи у них появилась еще одна отличительная по сравнению с предыдущей эпохой особенность — часто массовое сознание представляло их инородцами. Так, вечером 16 января 1918 г. в Москве в районе Таганки банда, разъезжавшая на двух авто и разговаривавшая на польском языке, одетая частично в штатское, а частично в военную форму, совершила несколько дерзких ограблений, врываясь в дома москвичей, связывая их и вынося ценные вещи, которые тут же грузились в машины[3]. Спустя некоторое время в газетах было напечатано объявление о запрещении частным лицам разъезжать в автомобилях[4].

Всеобщая нервозность, эмоциональное перенапряжение приводили к новым вспышкам насилия, для которых стимулом становился автомобиль. 21 апреля 1918 г. в Москве было зафиксировано происшествие, напоминавшее уже

[1] *Окунев Н. П.* Дневник москвича, 1917–1920 гг. В 2 кн. Кн. 1. М., 1997. С. 125.

[2] Утро России. 1918. 11 января.

[3] Утро России. 1918. 16 января.

[4] *Окунев Н. П.* Дневник москвича, 1917–1920 гг. С. 155.

описанные сцены охоты на «черные авто» 12 апреля 1917 г. в Петрограде. По Театральной площади двигался грузовик с вооруженными людьми. То ли кто-то из них выстрелил в воздух, то ли опять раздался хлопок выхлопной трубы, но в толпе решили, что солдаты стреляют в народ, и открыли огонь по грузовику. Солдаты ответили. В результате были убитые, пострадало множество прохожих, в том числе дети[1]. Примечательно, что в это время в пространстве московских городских страхов к образу «черного автомобиля» прибавился образ таинственного «ночного парохода», который якобы обстреливал милиционеров и прочих представителей власти, плавая ночью по Москве-реке[2]. Сообщалось, что каждый раз пароход скрывался в направлении Симонова монастыря, в чем усматривается реплика на слухи о священниках-пулеметчиках февральских дней 1917 г.

Об архетипичности образа «черного автомобиля» говорит тот факт, что он остался героем городских криминальных легенд в советском и постсоветском пространствах, а также в странах, входивших в состав Российской империи. Как правило, он возникал в криминальных слухах, где речь шла о банде из представителей социальных или этнических групп, кажущихся враждебными обывателям. О. Великанова обращает внимание на то, что в феврале 1931 г. слухи о черных автомобилях, на которых неизвестные по ночам якобы похищали людей и затем расчленяли, вынудили ОГПУ провести расследование, в ходе которого были выявлены различные версии происхождения «банды»: по одним слухам, это была тайная еврейская организация, совершавшая ритуальные убийства; по другим, наоборот, антисемитская организация, убивавшая евреев; по третьей версии, банда состояла из контрреволюционеров, охотившихся на коммунистов; четвертые видели в черных автомобилях предвестников Антихриста; пятые обвиняли ОГПУ, развязавшее террор в отношении «бывших людей»[3]. Последняя версия подпитывала страхи перед «черными воронками» (легковые автомобили ГАЗ-М-1) и «черными марусями» (грузовики-автозаки ГАЗ-ММ), использовавшимися НКВД, хотя, как отметил Л. Сигельбаум, эти машины красили в разные цвета, распространенным был серо-стальной, встречался цвет морской волны[4]. Однако массовое сознание, хранившее память о демонической природе «черных автомобилей», окрашивало их в черный цвет. Во второй половине XX в. образ «черного авто» был уточнен определенной моделью — «Волгой» (в конце 1950-х — ГАЗ-21 и в 1960–1980-е гг. — ГАЗ-24), — выступавшей в странах соцлагеря признаком достатка

[1] Заря России. 1918. 21 апреля.

[2] Заря России. 1918. 23 апреля.

[3] *Velikanova O. V.* The Myth of the Besieged Fortress: Soviet Mass Perception in the 1920s–1930s. [Toronto, Canada]. UNT Digital Library. http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc174713/. Accessed November 5, 2016. P. 4.

[4] *Сигельбаум Л.* Машины для товарищей. Биография советского автомобиля. М., 2011. С. 338.

и принадлежности ее хозяев к номенклатуре. А. Панченко, разбирая городские легенды о трансплантации органов (baby parts stories), отмечает появление в них «большой черной машины», обычно марки «Волга», и относит слухи к числу «поздних советских легенд 1970–1990 гг.»[1]. Однако, даже не имея в виду очевидную связь этого слуха с «черными автомобилями» 1917 г., следует заметить, что еще в 1958–1966 гг. в Азербайджане ходили слухи о черной «Волге», на которой разъезжала банда уголовников, грабивших магазины и банки и убивавших милиционеров в Баку. Сообщалось, что атаманом являлся бандит по кличке «Львиная лапа», который в итоге оказался переодетой женщиной, задержанной в Москве[2]. В исследованиях городских легенд Д. Чубалы, Дж. Беннетта, В. Орлински отмечается, что схожие сюжеты были также распространены в городском криминальном фольклоре Украины, Белоруссии, Польши и даже Монголии[3]. З. Гренбецка усматривает в этой легенде отголоски рассказов о похищениях и убийствах христианских детей, якобы совершаемых евреями в ритуальных целях, как и слухи о «черных авто», распространенных в начале XX в.[4] Показательно, что и в 1917 г. одна из версий легенд о «черных авто» предполагала их охоту на «детишек-милиционеров», набранных из числа гимназистов. Тем не менее в легендах о черной «Волге» в качестве преступников могли фигурировать как ксендзы с монашками, так и сотрудники органов госбезопасности или просто высокопоставленные советские чиновники, что придавало слухам политический подтекст. А. Кирзюк обращает внимание на такую функцию легенд о «черной Волге», как «трансмиссия страха» перед Большим террором («Черная Волга» как машина Берии, которую можно сопоставить с «автомобилем Протопопова»)[5].

Несмотря на потерю автомобилем «Волга» былого статуса (и даже его романтизацию в современном искусстве — например, в фильме Т. Бекмамбетова «Черная молния», одноименной песне группы «Сплин»), сюжет о нем время от времени появляется в пространстве криминальных слухов XXI в. Так, в наши дни образ черной «Волги» возник 4 сентября 2014 г. в одной из групп социальной сети «ВКонтакте», в сообщении о банде, орудующей в Нижегородской области: «В поселке Копосово в сормовском районе орудуют 3 маньяка кавказской национальности на черной Волге. Меньше чем за неделю они уже

---

[1] *Панченко А.* Страх в большом городе // Отечественные записки. 2014. № 3 (60). С. 246.

[2] Baku Pages. Сообщество Криминальное расследование. http://www.baku.ru/blg-list.php?id=88687.

[3] *Czubala D.* The «Black Volga»: Child Abduction Urban Legends in Poland in Russia // FOAFtale News. № 21. (March 1991). P. 1–3; *Orlinski W.* Legendy polskie // Barber M. Legendy miejskie. Warszawa, 2007. P. 318–330; *Bennett G.* Bodies: Sex, Violence, Disease, and Death in Contemporary Legend. University Press of Mississippi, 2009.

[4] *Гренбецка З.* Черная «Волга» и голые негритянки: современные мифы, городские легенды и слухи о временах Польской Народной Республики // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 2013. № 3. С. 3

[5] *Кирзюк А.* Три черных «Волги»: молчание и страх в советских городских легендах // Новое литературное обозрение. 2017. № 1. С. 167–177.

напали на 4 девушки, изнасиловали их и жестоко убили. Нападают в вечернее и ночное время»[1]. За исключением национальности бандитов, обозначение которой относится к теме современных межэтнических отношений, с точки зрения объектов и форм криминальной деятельности этот слух повторяет выборгские слухи января 1917 г. о банде «Черного Биля».

Таким образом, мы видим, что слух в качестве стимула социальной активности выступает спутником социально-психологической атмосферы, в которой эмоциональное восприятие событий берет верх над рациональным, что объясняется как факторами общего характера — например, информационный кризис, спровоцированный цензурой, повышающий значимость устной информации, — так и частного — эмоциональные колебания толпы как специфического организма, «развивающейся индивидуальности», сложившейся в процессе революционизации общества. В слухах о «черных автомобилях» 1917 г. сплелись несколько дискурсов — оппозиционно-политический, представлявший Россию пассажиркой «взбесившегося шофера», криминальный, связанный с рассказами о банде «Черного Билля», революционный, настоянный на слухах о протопоповских пулеметах и десяти исчезнувших автомобилях, эсхатологический, основанный на представлениях об автомобиле как изобретении дьявола. Динамика образа «черного авто» в 1917 г. от роскошного кабриолета до грузовика отразила развитие обывательских страхов перед насилием — сначала правоконтрреволюционным, далее левоанархистским и затем левоконтрреволюционным. Не случайно разгон в январе 1918 г. Учредительного собрания привел к реинкарнации слухов о пулеметах и автомобилях февраля 1917 г. — применение представителями новой власти оружия по отношению к мирным манифестантам воспринималось как контрреволюционный переворот, антагонистичный событиям годичной давности.

Эмоциональная история революции и журнальная карикатура

Революционная сатира со всем ее спектром эмоций, как позитивных, так и негативных, привлекает внимание исследователей еще с выхода в 1928 г. издания С. Дрейдена; особенно активизировался интерес по мере приближения к 100-летнему юбилею революции[2]. И. Архипов, развивая подход к смеховой культуре М. М. Бахтина, Д. С. Лихачева, А. М. Панченко, А. Бергсона, обращает внимание на дихотомическую природу сатиры 1917 г., скрывающую негативные

[1] Портал ProГород. Нижний Новгород. http://progorodnn.ru/news/view/90395. Орфография и пунктуация оригинала сохранены.

[2] См.: *Дрейден С.* 1917 год в сатире. М.; Л., 1928; *Архипов И.* Смех обреченных: Смеховая культура как зеркало короткой политической жизни «Свободной России» 1917 года // Звезда. 2003. № 8. С. 161–176; *Филиппова Т.* «Враг внутренний» — «враг внешний». Образы революции 1917 г. в русской сатирической журналистике // Российская история. 2015. № 6. С. 90–98.



Ил. 192. М. Аг. История русской революции в одном лице // Бич. 1917. № 16. С. 3

эмоции, соседствующую с грустью, ощущением безнадежности[1]. Сатира часто обращена не вовне, но внутрь самого субъекта, поэтому изучение ее сюжетов способно открыть тайные комплексы и страхи авторов.

В отличие от предшествующего периода освобожденная от цензуры сатира 1917 г. выплеснула на читателей массу прямолинейных, буквальных образов. Можно заметить, что в отдельных случаях это отрицательно сказалось на художественных достоинствах произведений художников, привело к некоторой профанизации, зато появившаяся возможность откровенного визуального высказывания разнообразила семантическую составляющую и еще больше усилила эмоциональность журнальной карикатуры.

Исследуя распространенные сюжеты карикатуры, нельзя не заметить присутствия регулярно повторяющихся тем, выражающих опасения современников по поводу того, куда движется Россия. При этом классифицировав темы и выстроив частотность их повторения на различных стадиях революции, можно понять эмоциональную динамику общества. В вышедшем 23 апреля 1917 г. номере журнала «Бич» был опубликован рисунок М. Ага «История русской революции в одном лице» (надо сказать, что лицо подозрительно напоминало А.Ф. Керенского), в котором визуализировались четыре эмоциональные стадии первого этапа революции — «медового месяца»: сомнения кануна, радость февраля, тревога марта, отвращение апреля (ил. 192). Стадии малого цикла вполне могут быть экстраполированы на весь 1917 г., так как в мае — июне у обывателей благодаря усилиям Временного правительства

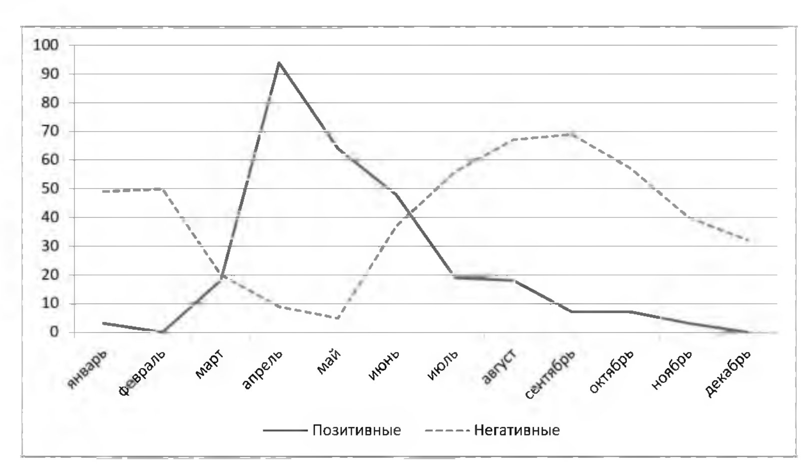
[1] См.: *Архипов И.* Смех обреченных: Смеховая культура как зеркало короткой политической жизни «Свободной России» 1917 года; *Панченко А.М.* Юродивые на Руси // Панченко А.М. О русской истории и культуре. СПб., 2000; *Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990; *Бергсон А.* Смех. М., 1992; *Лихачев Д.С.* Древнерусский смех // Проблемы поэтики и история литературы. Саранск, 1973.



Ил. 193. Динамика сюжетов журнальных карикатур в 1917 г.

и лично А.Ф. Керенского появились надежды на благоприятный исход, связанные с возможностью удачного наступления на фронте. Надежды эти окончились новыми разочарованиями. Однако карикатура М. Ага демонстрирует, что даже на первом этапе, характеризующемся эмоциональным единением большинства граждан России, эмоциональный спектр был достаточно широк.

Проведенный контент-анализ сюжетов карикатур (подсчет велся на уровне сюжетов, причем в одной карикатуре могли присутствовать несколько сюжетов) наиболее известных столичных журналов («Новый Сатирикон», «Стрекоза», «Бич», «Пугач») позволяет выделить самые распространенные темы: высмеивание старого строя (как представителей династии, так и чиновников, представителей бюрократического аппарата), воспевание нового строя (комплиментарно-патриотическая карикатура, славившая завоевания революции и отдельных ее героев), страх перед голодом (в мягких формах выражавшийся в пародиях на рост цен, в более жестких воплощавшийся в образы царя-голода с косой), страх перед анархией (от анархии на бытовом уровне в форме уличных самосудов до анархии политической как предвестницы гражданской войны). Следует заметить, что военные действия, равно как и высмеивание внешних врагов России, не относились к числу тем, доминировавших в 1917 г. Падение интереса к внешнеполитической тематике происходило параллельно с ухудшением внутренней социально-экономической и политической ситуации. Как уже отмечалось, в карикатуре «Нового Сатирикона» в 1915 г. доля «внешнего врага» составляла 48,8%, в 1916 г. она снизилась до 22,5%, а в 1917 г. составила всего 4%. На приведенном графике (ил. 193) видно, что накануне революции главной темой подцензурной печати был экономический кризис. Хотя как такового голода в Петрограде ни в январе, ни в феврале 1917 г. не было, известия о перебоях с поставкой хлеба, приведших к сокращению хлебных запасов, вкупе с «закрытостью» политических тем превращали продовольственный вопрос в главный объект обличавшей власть сатиры. После



Ил. 194. Динамика позитивных и негативных эмоций, выраженных в карикатурах

отмены цензуры внимание художников ожидаемо переключилось на главного «внутреннего врага» — Николая II и всех представителей царского режима. Однако перипетии российской революции приводят к тому, что с середины июня появляется новая тема — угроза анархии, в сентябре временным лидером опять становится продовольственный вопрос, вернувший в октябре лидерство страху перед анархией.

Эту сюжетную динамику можно перевести в эмоциологическую плоскость, классифицировав сюжеты по эмоциональному признаку на «позитивные» (в которых воспевался новый строй или высмеивались «безопасные» пороки и персонажи прошлого) и «негативные» (связанные с неуверенностью в ближайшем будущем). В этом случае мы получим картину изменений эмоциональной атмосферы столичного общества в 1917 г. (ил. 194). Как показано на графике, Февральская революция, накануне которой доминировали негативные эмоции, а поводов для радости по мере удаления от Нового года становилось все меньше, привела к росту позитивных настроений, сохранявшихся в обществе с марта по июнь. Причем пиком эйфории явился апрель 1917 г.: к этому времени улеглись обывательские страхи о временном характере событий и раскрылся творческий потенциал современников, выражавшийся в организации и участии горожан в ряде праздничных мероприятий. Не случайно во время самой революции март — апрель получили название «медового месяца». Однако пришедшаяся на этот период эмоциональная эйфория характеризовалась и негативными с точки зрения психического здоровья тенденциями. Даже позитивные эмоции, достигающие чрезмерной силы и длительности, приводят к нервному перенапряжению, чреватому патологиями. Газеты 1917 г., дневники и воспоминания участников событий рисуют перед нами картины, когда обывательский восторг сменялся форменным массовым безумием. Как правило, это происходило на митингах-концертах, весьма популярных в период «медового месяца» революции, на которых эстрадные номера чередовались

с политическими выступлениями, причем нередко артисты и политики менялись ролями, и политики начинали дирижировать оркестром или пускались в пляс. Наибольший градус эмоционального напряжения приходился на выступления министра А.Ф. Керенского: во время его речей доведенные до экстаза дамы срывали с себя украшения, солдаты — георгиевские кресты и медали и бросали к ногам «вождя революции»[1].

Но не только столичная экзальтированная публика, посещавшая концерты, ощущала на себе психологическую печать времени. Столичные психиатры отмечали рост душевных расстройств среди представителей разных групп населения, вновь заговорили о «революционном психозе». Показательно, что пики самоубийств обывателей в 1917 г. (подробнее будут рассмотрены ниже) приходятся на середину апреля, середину августа и конец сентября, что соответствует трем максимальным точкам эмоционального подъема на приведенном графике «Динамика позитивных и негативных эмоций». Подобная корреляция динамики самоубийств с динамикой эмоционального климата, отраженного в карикатуре, не случайна и подтверждает перспективность использования карикатуры как источника для изучения психологического состояния общества. Эта тенденция проявилась и в сюжетах журнальной карикатуры: в рассматриваемый период появляется множество рисунков с символикой смерти (черепа, скелеты с косами и пр.).

Изучая психологическое состояние общества по письменным источникам личного происхождения, литературно-художественному творчеству современников, а также по разнообразному изобразительному материалу, условно можно выделить следующие эмоциональные стадии российской революции, определяемые через одну доминирующую эмоцию: тревога кануна, восторг медового месяца, страх летне-осеннего периода, отвращение (депрессия) осенне-зимнего, переходящее в эсхатологические настроения. Конечно, на каждой из стадий давали о себе знать разные настроения, тем более что эмоциональные коннотации закреплялись за определенными сюжетами (персонами) — раздражителями.

Эмоциональное состояние российского общества на рубеже 1916–1917 гг. может быть определено через доминировавшее чувство тревоги, которое складывалось из взаимодействия разных базовых эмоций: это и страх перед насилием (со стороны как власти, так и революционеров-бунтовщиков), и гнев, спровоцированный теми, кто может оказаться проводником этого насилия; это радость, вызванная верой в изменения к лучшему (как правило, надежды возлагались на Государственную думу), и печаль в связи с опасениями несбыточности надежд на позитивные перемены. Не следует забывать, что из-за

---

[1] Более подробно о культе Керенского см.: *Колоницкий Б.И.* «Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование культа «вождя народа» (март — июнь 1917 г.). М., 2017.



Ил. 195. Ре-Ми. О политике ни слова! // Новый Сатирикон. 1917. № 6. Обложка

цензуры в стране давно назрел информационный кризис, в условиях которого общество теряло доверие к официальным средствам информации и прислушивалось к альтернативным источникам, как правило устным, поэтому эмоционально-чувственное восприятие событий начинало преобладать над рассудочно-логическим. Это давало простор распространявшимся слухам, нервировавшим массы.

В феврале 1917 г. в письмах друг другу обыватели делились опасениями революции, сравнивали ситуацию с январем 1905 г., объясняя радикализацию общественного сознания «всякими слухами, толками и зигзагами»[1]. Подобные настроения были характерны для всех уголков империи. Ожидания революции порождали сплетни о покушениях на царствующих особ, что только добавляло нервозности общественным настроениям[2]. Тревога и всеобщая нервозность в связи с ожиданием каких-то грандиозных событий — вот общая характеристика эмоциональной атмосферы кануна революции.

Внимание населения было приковано к Государственной думе — ходили слухи, что после ноябрьских 1916 г. демаршей ее больше не откроют. В январском номере «Бича» была опубликована фотография Думы со следующим саркастическим текстом: «Государственная Дума. Вид спереди, сзади и сбоку. Населена депутатами. Иногда наоборот. Работает с перерывами на разные сроки, смотря

1 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1071. Л. 49.

2 Там же. Л. 101; *Чубинский М. П.* Год революции (1917) (из дневника) // 1917 год в судьбах России и мира. М., 1997. С. 233.



Ил. 196. Д. Моор. Последняя подпись // Будильник. 1917. № 10. Обложка

по обстоятельствам». Накануне назначенной даты открытия Ре-Ми публикует карикатуру, изображавшую похожего на П. Н. Милюкова мужчину, поднесшего палец к губам со словами: «Тсс! О политике ни слова!» (ил. 195). Он как будто предупреждал, что не стоит раньше времени провоцировать власти, намекая, что Дума кое-что подготовила.

Конечно, это были всего лишь надежды Н. Ремизова и определенной части общества. Как показали дальнейшие события, депутаты Государственной думы оказались совершенно не готовы к начавшимся беспорядкам, однако Дума являлась символом и именно с ней были связаны определенные надежды людей.

События 23–28 февраля, создавшие информационный хаос, отразились в журнальных иллюстрациях образами носившихся мальчишек-газетчиков и нервных телефонных абонентов, нетерпеливо названивавших друг другу[1]. В состоянии всеобщей растерянности вкупе с ожиданиями перемен информация приобретала особую ценность.

Визуальное осмысление революции происходит лишь в начале марта. В этом отношении журнальная карикатура отстала от политической истории. Одним из первых журналов, вышедших в новой России, стал 10-й номер «Будильника» от 7 марта, на обложке которого красовалась карикатура Д. Моора: изображенный на ней Николай II подписывал манифест об отречении (ил. 196). Собственно в день отречения, 2 марта, вышел сильно «устаревший» номер

[1] Бич. 1917. 26 февраля.



Ил. 197. А. Радаков. Сказочка // Новый Сатирикон. 1917. № 11. Обложка

«Нового Сатирикона», при оформлении обложки которого использовался уже неактуальный прием «переадресации»: изображенный на карикатуре Вильгельм II наблюдал в окно, как полиция разгоняет голодных обывателей (намек на слухи о наступающем на Петроград голоде). И только следующий номер, вышедший 17 марта, уже открыто воспевал победу революции. Номер начинался достаточно оригинальной карикатурой А. Радакова, изображавшей болтавшееся от ветра на ограде сада Зимнего дворца мочало, напоминавшее лицо Николая II (ил. 197).

Хотя рациональное осознание свершившейся революции пришло к художникам после переломных февральско-мартовских событий, на интуитивном уровне карикатуристы, предчувствовавшие надвигавшиеся перемены, отображали их в своих произведениях. Вероятно, в этом смысле первой карикатурой, которая по чистой случайности совпала с начавшейся революцией и при этом точно соответствовала содержанию событий, хотя формально была посвящена несколько иной теме, окажется работа А. Радакова под названием «Спохватился», опубликованная 23 февраля 1917 г. (ил. 198). По задумке автора, она была посвящена попыткам Н.Е. Маркова 2-го спасти правомонархическое движение. На 20-е числа февраля в Петрограде было запланировано проведение Монархического съезда, но правая идеология была полностью дискредитирована политикой верховной власти, некоторые монархисты очень критически высказывались в адрес Николая II (сам Н.Е. Марков 2-й позволял себе оскорбления по адресу другого лидера монархистов — В.М. Пуришкевича), поэтому



Ил. 198. А. А. Радаков. Спохватился // Новый Сатирикон. 1917. № 9. Обложка

состояние, в котором находились правые силы, Радаков передал через метафору кораблекрушения. Эта метафора еще с конца 1916 г. использовалась для описания катастрофы, в которую, как в воронку, затягивало Российскую империю[1]. Выход 23 февраля в свет номера с рисунком на тему кораблекрушения, таким образом, стал весьма символическим событием. На карикатуре также обращают на себя внимание парящие в черном небе буревестники — символы революции.

Свержение самодержавия, которому предшествовала десакрализация монархии вообще и Николая II лично, вылилось в серию оскорбительных для царя рисунков. Статья 103 Уголовного уложения была фактически отменена, и современников, до того сдерживавших эмоции в адрес верховной власти, буквально прорвало. На политических карикатурах царь представал алкоголиком-дегенератом с гидроцефалической головой, маленькими, опухшими глазками, коротким, подчеркнуто курносым носом, топорщащимися в разные стороны усами, большими ушами.

Одна из самых злых карикатур появилась в майской «Стрекозе». Николай был изображен сидящим на троне с виселицей в одной руке и бутылкой водки в другой (ил. 199). Опухшее лицо с заплывшими глазками, съехавшая набекрень корона вызывали у зрителей вполне определенные эмоции. Впечатления усиливала оскорбительная подпись: «Смеются над тобой до колик, /

[1] Дневник Л. А. Тихомирова… С. 314.



Ил. 199. Смеются над тобой до колик… // Стрекоза. 1917. № 19. С. 1

Царь вешатель, кретин и алкоголик». Карикатуристы обосновывали нелестные эпитеты, вспоминая прегрешения Николая, за которые он удостоился прозвища «Кровавый». Обобщающим можно считать рисунок А. Радакова «Его аллея побед», на которой Николай прогуливался по Летнему саду, уставленному гигантскими статуями «Ходынка», «Цусима», «9 января», «Война с Германией» (ил. 200).

Несостоятельность Николая II как политика визуализировалась через его несоответствие царским регалиям. Если в одном случае комический эффект достигался за счет помещения на гидроцефалическую голову маленькой, съехавшей набекрень короны, то в другом случае его голова, наоборот, тонула в не по размеру большом головном уборе. В апреле 1917 г. художники В. Дени (Денисов) и А. Лебедев опубликовали в «Биче» и «Стрекозе» практически идентичные по композиции работы, на которых Николай II пытался вылезти из-под придавившей его шапки Мономаха. Рисунок Дени назывался «Не по Сеньке шапка» (ил. 201), а карикатура Лебедева — чуть более прямолинейно «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха» (ил. 202). Вероятно, такое совпадение визуальных образов нельзя считать случайным, оно отражало общее отношение современников к самодержцу.

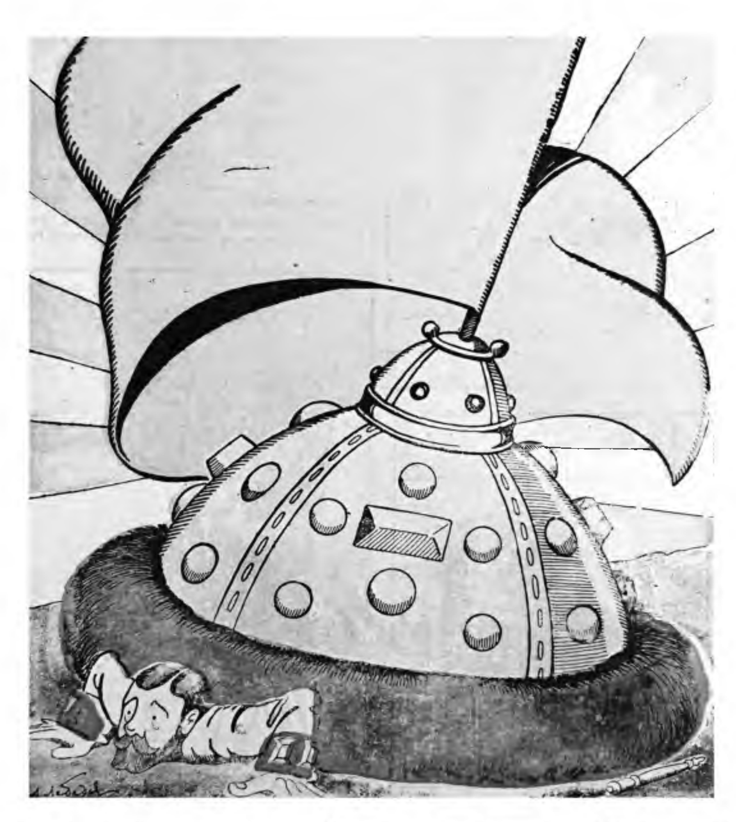
Развитием образа придавленного Николая стала карикатура «Попал в историю» из журнала «Стрекоза», но на этот раз царь лежал под увесистым книжным томом «Истории Гришки Распутина», причем из него вытекала голубая кровь (ил. 203). Следует отметить, что влияние Распутина на внутреннюю



Ил. 200. А. А. Радаков. Его аллея побед // Новый Сатирикон. 1917. № 13. С. 16



Ил. 201. В. Н. Дени. Не по Сеньке шапка // Бич. 1917. № 14. С. 11



Ил. 202. А. Лебедев. Ох, тяжела ты, шапка Мономаха // Стрекоза. 1917. № 14. Обложка



Ил. 203. Попал в историю // Стрекоза. 1917. № 21. Обложка



Ил. 205. Ре-Ми. К папаше // Новый Сатирикон. 1917. № 12. Обложка

политику было преувеличено, причем именно в среде образованных слоев российского общества. В крестьянской среде, согласно упомянутым делам по статье 103 Уголовного уложения, о Распутине практически не говорили. Однако для дворянства «старец» был очень сильным эмоциональным стимулом, дискредитировавшим венценосную семью: Александру Федоровну по интимной части, а Николая — по политической. В 1917 г. появилось целое направление в массовом искусстве — «распутиниада». О «старце» писали романы, наспех снимали фильмы, выпускали открытки непристойного содержания. Не обошла эту тему, естественно, и иллюстрированная сатирическая печать. На графическом рисунке Н. В. Ремизова «Российский царствующий дом» в центре на троне расположился Распутин, а царь с царицей сидели по обе стороны у его ног (ил. 204 на вкладке). Впрочем, еще дальше Ремизова зашла в «распутиниаде» его родная сестра А. В. Ремизова (Мисс). Примечательно, что ее графика всегда была предельно аполитична, посвящена абстрактным романтическим сюжетам. Таковой она оставалась и на протяжении 1917 г., за исключением распутинской темы: в марте 1917 г. Мисс рисует карикатуру, на которой царица целует сапоги «старца»[1]. Правда, и тот и другая на карикатуре были одеты, а вот в мае в «Пугаче» появляется более скабрезный рисунок Г. Мо, на котором царица в нижнем белье целует голые ноги Гришки[2].

[1] Новый Сатирикон. 1917. № 12. С. 11.

[2] Пугач. 1917. № 3. С. 11.



Ил. 206. М. Аг. Стоит комод, на комоде — бегемот, на бегемоте — обормот // Бич. 1917. № 16. С. 4

Политическая карикатура наотмашь била не только по одному Николаю, но практически по всей династии Голштейн-Готторптских, противопоставлявшихся Романовым (при этом в адрес Петра I, как последнего полноценного представителя династии, публиковались комплиментарные рисунки). Характерна карикатура Ре-Ми «К папаше», на которой сгорбленный карлик-Николай пришел за советом к памятнику Александру III (ил. 205). Комический эффект усиливался за счет семантики самого монумента: выполненный известным скульптором Паоло Трубецким он не был принят общественностью. Сразу после открытия появился стишок, приписывавшийся А. Амфитеатрову: «Стоит комод, на комоде — бегемот, на бегемоте — обормот». Примечательно, что в издававшемся А. Амфитеатровым журнале «Бич» в апреле 1917 г. появилась визуализация этих известных строк (ил. 206). В результате посыл карикатуриста Ре-Ми считывался как «царь-неудачник пришел за советом к царю-обормоту».

На обложке майского номера «Пугача» появился очень символичный рисунок Г. Моотсе, перечислявший главных представителей ненавистного царизма. Помимо Николая II, Александры Федоровны и Распутина, там оказались фрейлина А. Вырубова, близкая подруга императрицы, познакомившая ее с Распутиным; врач царской семьи П. А. Бадмаев, представитель тибетской медицины; восьмидесятилетний министр императорского двора В. Б. Фредерикс, главное прегрешение которого заключалось в его немецкой фамилии; балерина Матильда Кшесинская, которую обвиняли в том, что в годы войны

она, пользуясь своим влиянием, прибрала к рукам распределение части оборонных заказов; дворцовый комендант В.Н. Воейков-«Кувака», на которого возлагали ответственность за транспортный кризис в связи с тем, что доставка в Петроград минеральной воды «Кувака», производившейся в его имении, якобы расстраивала железнодорожное сообщение; бывший военный министр В.А. Сухомлинов, обвинявшийся в государственной измене; великая княгиня Мария Павловна Макленбург-Шверинская, будто бы немецкая шпионка; министр внутренних дел А.Д. Протопопов, якобы приказавший в дни Февральской революции расстреливать манифестантов из расставленных на крышах пулеметов; взяточник и аферист, агент охранки и чиновник Департамента полиции И.Ф. Манасевич-Мануйлов. Однако главной находкой художника стало то, что все они были изображены в виде колоды игральных карт, причем наверху лежал бубновый туз — символ осужденных на каторгу преступников. Пикантности добавляло то, что одна из самых популярных колод игральных карт под названием «Русский стиль», разработанная немецкой фабрикой «Дондорф», была напечатана Александровской мануфактурой к празднованию 300-летия дома Романовых, причем портреты королей, дам и валетов рисовались с реальных участников царского костюмированного бала 1903 г.: так, Николай II был изображен королем червей, правда, художники, в точности повторив маскарадное одеяние императора, не рискнули передать полное портретное сходство и слегка изменили черты лица, зато в даме треф, даме пик, бубновом и трефовом валетах без труда угадывались великая княгиня Елизавета Федоровна, княгиня Зинаида Юсупова, великие князья Андрей Владимирович и Михаил Александрович соответственно. Таким образом, ирония Моотсе заключалась в предложении выпустить новую колоду к очередной, последней вехе в истории династии Романовых.

Косвенно переосмысливала трехсотлетний юбилей династии карикатура под названием «Приятное занятие» из журнала «Будильник». Оригинальной находкой художника А. Хвостова стало изображение почтового служащего, «гасившего» марку с портретом императора (ил. 207). Причем у портрета Николая под занесенной с печатью рукой от ужаса были открыты глаза и рот, а с прочих марок, ожидавших своей очереди на гашение, Николай смотрел с не меньшим испугом. Как можно догадаться, художник отсылал зрителя к уже упоминавшейся «романовской серии» марок, которые почтовые служащие нередко опасались штемпелевать из-за страха попасть под действие статьи 103 Уголовного уложения. Когда же изображения с почтовых марок стали использоваться в качестве разменных денег, обыватели шутили по поводу девальвации царя. Так, 7 октября 1915 г. в Москве, в чайной лавке, находясь в нетрезвом состоянии, тверской крестьянин Иван Царьков, расплачиваясь марками с официанткой, громко произнес: «Вот до чего теперь дошло — приходится платить девушкам царями, цари дешевы стали, а Николай II всего



Ил. 207. А. Хвостов. В почтовом отделении. Приятное занятие // Будильник. 1917. № 13. С. 9

10 копеек»[1]. Карикатура Хвостова визуализировала ранее негласную, но всем известную сценку повседневной жизни, переводя ее на новый уровень: занесенная рука со штемпелем над портретом Николая как будто выносила приговор бывшему самодержцу.

Конечно, было бы сильным упрощением говорить, что обыватели испытывали по отношению к бывшему царю лишь ненависть и презрение. В конце концов, эмоция не может длиться долго (в этом случае она превращается в психическую патологию), даже дифференциальная теория эмоций признает, что эмоциональное состояние отдельного человека и тем более целого общества редко сводится к одному-единственному переживанию[2]. Поэтому и среди карикатурных образов царя мы можем обнаружить если и не полностью комплиментарные, то, по крайней мере, вызывавшие у зрителей сочувствие. Художником, оставившим такой портрет Николая, был эстонец Густав Моотсе, сотрудничавший с журналом «Пугач». На обложке первого номера Николай изображался с некоторой симпатией, без видимой карикатуризации, наоборот, его большие грустные глаза создавали печальный образ, вызывавший скорее сочувствие, чем злорадство (ил. 208). Правда, здесь визуальное вступало в легкий

[1] РГИА. Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 51.

[2] См.: *Изард К.Э.* Психология эмоций. СПб., 1999.



Ил. 208. Г. Моотсе. До сих пор в Петропавловскую крепость возили только мертвых царей… // Пугач. 1917. № 1. Обложка



Ил. 209. Г. Моотсе. Видишь, барин приветливый, пиковый туз вышел… // Пугач. 1917. № 6. Обложка

диссонанс с вербальным, так как впечатление корректировала саркастическая подпись: «До сих пор в Петропавловскую крепость возили только мертвых царей, а меня кажется первого повезут живым». Впоследствии под воздействием всеобщей атмосферы презрения к Николаю в царские типажи Моотсе также проникают дегенеративные черты: значительно укорачивается нос, увеличивается голова, непропорционально большими становятся «гусарские» усы (ил. 209).

Вместе с тем рисунки Моотсе, в сравнении с другими портретами Николая из того же журнала, оказываются наиболее щадящими память отрекшегося царя.

Февральская революция стала одним из сильнейших переживаний российского общества начала XX в. Причем во всем эмоциональном спектре доминировавшими оказались позитивные эмоции — радость, восторг. Даже в дни, когда войска еще открыто не перешли на сторону революции и участники манифестаций пребывали в состоянии тревоги, на улицах происходили события, вызывавшие всеобщий восторг, как, например, уже упомянутый случай вручения казачьему офицеру букета красных цветов.

Те, кто давно мечтал о смене режима, как будто сквозь розовые очки смотрели на бушевавшую на улице революцию, сопровождавшуюся ружейной и пулеметной стрельбой, разгромами магазинов и лавок, частных квартир, охотой за представителями царской власти, что зафиксировано в ряде дневников и воспоминаний современников[1]. Более сдержанная в восприятии происходящего З. Гиппиус, видевшая, как шальная пуля 26 февраля убила покупавшего билет в театр студента, записала: «Не надо никого судить. Не судительное время — грозное. И что бы ни было дальше — радостное. Ни полкапли этой странной, вне разумной, живой радости не давала ни секунды война... Все в войне кричит для нас: „назад!“ Все в революционном движении: „Вперед!“»[2]. Спустя несколько дней Гиппиус написала стихотворение «Юный март», созвучное настроениям большинства современников: «По ветру, под белыми пчелами, / Взлетает пылающий стяг. / Цвети меж домами веселыми / Наш гордый, наш мартовский мак!» Вероятно самым популярным поэтом первых недель революции стал В. Брюсов: его осанны свершившейся революции перепечатывали многие периодические издания: «Освобожденная Россия, / Какие дивные слова! / В них пробужденная стихия / Народной гордости жива! / Как много раз в былые годы / Мы различали властный зов: / Зов обновленья и свободы, / Стон — вызов будущих веков!»[3] Революционная лирика в своем большинстве была малооригинальна и порой просто пошла: даже талантливым авторам отказывало художественное чутье под напряжением нахлынувших эмоций. Дневниковые записи современников порой были менее эмоциональны, но также полны оптимизма: «Вся жизнь России как будто налаживается. Везде заметна сосредоточенная тишина» — записал 21 марта В. А. Городцов, но позже отметил, что стал плохо спать из-за охвативших его тревог[4].

---

[1] *Тыркова А. В.* Петроградский дневник // Звенья: Исторический альманах. Вып. 2. М.; СПб., 1992. С. 328; *Даинский И.* Как произошла русская революция. М.: Издание Д. Я. Маковского, 1917; *Зозуля Е. Д.* Что запомнилось (Революционные дни в Петрограде). Пг.: Изд-во Скобелевского комитета, б. г.; *Морозов Н. К.* Семь дней революции. События в Москве. Дневник очевидца. 1917 г. М.: Печатный труд, 1917; *Окунев Н. П.* Дневник москвича, 1917–1924: В 2 кн. Кн. 1. М., 1990.

[2] *Гиппиус З. Н.* Синяя книга. Петербургский дневник. 1914–1918. Белград, 1929. С. 79.

[3] Русские ведомости. 1917. 3 марта. С. 1.

[4] *Городцов В. А.* Дневники ученого. Кн. 2. С. 231.



Ил. 210. Мисс. Труд и Свобода // Новый Сатирикон. 1917. № 11. С. 13

В визуальных источниках позитивная семантика Февральской революции часто выражалась посредством метафоры свадьбы сбросившей оковы России-невесты со Свободой, а также революции как Пасхи — воскрешения России. Иногда февральские события воспринимались в религиозных категориях как акт сотворения нового мира: «Мы теперь, ребята, все как бы бог какой. Сами жизнь сотворили, да еще скорее божьего. Будто бы в три дня»[1].

Персонификация России в фемининных образах в первые месяцы революции была наиболее распространенной. Среди них можно выделить национальные и античные типажи, военные и гражданские. Их анализ позволяет соотнести тот или иной тип с определенными ценностями революции: свобода, справедливость, победа, труд и др.[2] Символически-информативным был рисунок Мисс в «Новом Сатириконе», на котором женщина-херувим летела над городом с красным знаменем и лозунгом «Труд и Свобода», под ее ногами располагался завод, а в облаках парила Государственная дума, из-за которой выглядывало солнце (ил. 210). Следует заметить, что Таврический дворец был постоянным атрибутом новой революционно-патриотической пропаганды. На одном из рисунков в журнале «Бич» над ним вспыхивала Вифлеемская звезда. Тем не менее если образ херувима лишь косвенно являлся олицетворением

[1] *Федорченко С.З.* Народ на войне… С. 141.

[2] Более подробно см.: *Корнаков П.К.* Символика и ритуалы революции 1917 г. // Анатомия революции. М., 1997; *Аксенов В.Б.* 1917 год в художественном восприятии современников // Отечественная история. 2002. № 1. С. 96–101.



Ил. 211. История о том, как Николай Последний, увлеченный министерской чехардой… // Стрекоза. 1917. № 19. Обложка

России, то на обложке «Стрекозы» платье женщины-царицы было подписано словом «Россия». Через нее, заигравшись в «министерскую чехарду», неудачно перепрыгнул Николай II, ударившись лбом оземь и потеряв корону (ил. 211).

В мартовском номере «Будильника» художник А. Хвостов изобразил, как представители разных слоев населения — солдаты, рабочие, крестьяне, интеллигенция — приветствуют одетую в русский национальный костюм Россию-Свободу, бросая к ее ногам пальмовые ветви. В апрельском номере художник Мешакин опубликовал рисунок под названием «Светлое России Воскресение», где близкий хвостовскому фемининный образ России был противопоставлен ее врагам — Николаю II, Вильгельму II, Энвер-Паше, Карлу I, Фердинанду Болгарскому.

Менее распространенным был пролетарский тип. Тем не менее на странице майского «Пугача» появился рисунок молодой женщины с коротко остриженными волосами, в рубашке. В одной руке она держала знамя, а в другой — молот. В следующем номере Г. Моотсе опубликовал рисунок крестьянки, иконографически близкой знаменитой Родине-матери И. Тоидзе. Появился также весьма своеобразный образ женщины-милиционерки М. Бобышова. Правда, в силу сохранения в нем декадентской эстетики он слабо подходил новым демократическим веяниям, да и женщина-милиционерка куда менее соответствовала профессиональной идентификации революционной России, нежели женщина-работница или женщина-крестьянка. Сатирическая печать подсмеивалась над новоиспеченной милицией, состоявшей преимущественно



Ил. 212. А. Лебедев. Свобода // XX век. 1917. № 14. Обложка

из студенческой молодежи, доставалось в том числе и редким женщинам, пошедшим на работу в милицию. А. Вертинский оставил воспоминание о «тоненькой, тщедушной юридического факультета девицы Сонечки Вайль», сидевшей за столом в комиссариате, занимаясь делопроизводством, и при этом испуганно косившейся на лежавший рядом и полагавшийся ей по чину наган[1]. «Милицейская Венера» Бобышова, в одной руке которой была гигантская муфта, а другой она придерживала сползающую с плеча винтовку, с модной шляпкой на голове и перекрестием патронных лент на груди, также создавала весьма комичное впечатление.

С начала апреля развивается пасхальная революционная символика. Однако примечательно, что о Пасхе говорили за месяц до ее наступления. Еще 1 марта историк А.В. Орешников описывал настроения масс в Москве, используя соответствующее сравнение: «Народу всюду масса, настроение как в пасхальную ночь, радостное»[2], — что говорит о сакральном отношении части публики к российской революции и отчасти объясняет природу революционной эйфории. Произошедшая революция вызвала сильное религиозное переживание у некоторых современников. Ф.О. Краузе 8 марта 1917 г. записал в своем дневнике: «Свершилось! Сподобил Господь! Наша родина без цепей! Когда я третьего дня… узнал эту новость и читал первые известия и манифесты,

[1] *Вертинский А.Н.* Дорогой длинною… М., 1990. С. 94.

[2] Алексей Васильевич Орешников. Дневник. 1915–1933. М., 2010. Кн. 1. С. 108.



Ил. 213. В. Лебедев. История Русской Революции // Новый Сатирикон. 1917. № 14. С. 16

у меня голос дрожал, а в глазах стояли слезы. А потом как-то невольно начал креститься, первый раз в жизни, ища внешнего выражения для охватившего меня глубокого чувства»[1].

Когда же пришла «настоящая» Пасха, революция как акт освобождения трансформировалась в акт воскрешения. В пасхальном выпуске «Маленькой газеты» поэт А. Солнечный публикует следующие строки: «Заря пробужденной Свободы / Все ярче в лазури небес! / О, верьте, о верьте, народы: / Отныне сын Божий — воскрес!» Центральным атрибутом революционной Пасхи становится красное яйцо, сияющее подобно солнцу свободы (ил. 212). Но художник В. Лебедев нашел более оригинальное развитие этой темы в карикатуре под названием «История Русской Революции» (ил. 213). Революция представлялась в виде состязания царя и рабочего: первый высиживал черное яйцо, а второй — красное. В итоге из царского вылупился черный двуглавый орел, из рабочего — красный петух, который убил орла и гордо запел над его трупом.

---

[1] *Краузе Ф. О.* Письма с Первой мировой… С. 371.

Вероятно, не случайно схватка красного петуха с черным орлом в левом нижнем углу карикатуры композиционно напоминала известную картину М. Ларионова «Петух и курица» 1912 г., в которой художник путем противопоставления теплых (петух) и холодных (курица) цветов выразил с помощью стилистики «лучизма» идею антагонизма разных стихий, борьбу мужского и женского начала, реакции и революции.

Тема пасхально-революционного красного яйца оказалась востребованной в российской сатире. В тринадцатом номере «Нового Сатирикона» была опубликована иллюстрированная Н. Антоновским «детская побасенка» на тему сказки «Курочка Ряба», в которой вместо разбитого мышкой черного яичка дед с бабкой получали новое — красное. Побасенка заканчивалась бодрыми строчками: «Радуйся, дед да баба! Бодро смотри вперед… / Новое яичко снес тебе народ…»

Хотя Пасха гармонично вписалась в символическое пространство российской революции, последнюю едва ли стоит рассматривать как признак воцерковления обывателей. В журнальной сатире революционной поры устойчивым был негативный образ попа, мниха. В тринадцатом номере журнала «Бич» художник И. Степанов опубликовал иллюстрированную историю того, как попы-«питиримы» пытались отменить Пасху, расклеивая по ночам на заборах соответствующие объявления, однако «в ночь с первого на второе апреля лучезарный Христос все-таки воскрес», — говорилось в подписи к картинке, на которой офицер с солдатом христосовались на фоне сияющего солнца. В том же номере стихотворение «Пасхальной ночью» начиналось строчками: «Круглый год распиная Христа / И глумясь над святыней безмерно, / Этой ночью они лицемерно / Торжествуют победу креста…» — и заканчивалось не менее хлестко: «…Пусть Распятый Пилатом — воскрес, / Он вторично распят был попами». Тем самым революционная Пасха становилась истинно народным праздником, освобожденным от приватизировавшей ее Церкви как придатка царизма.

Помимо духовенства, революционная Пасха отстраняла от праздника императора. Марина Цветаева на Пасху сочинила не лишенное иронии обращение к арестованному царю: «Настежь, настежь / Царские врата! / Сгасла, схлынула чернота. / Чистым жаром / Горит алтарь. / — Христос Воскресе, / Вчерашний царь! / Пал без славы / Орел двуглавый. / — Царь! — Вы были неправы».

Универсальным позитивным символом революции становилась идея Свободы, которая чаще всего выражалась посредством демократических ценностей, лозунгов межклассовой солидарности. В восторженном сознании обывателей всеобщее воодушевление должно было породить новый народ — свободных граждан демократической России, свободных от прежних предрассудков, включая и классовые. Художники часто изображали представителей разных социальных групп — рабочих, солдат (как рядовых, так и офицеров), крестьян,



Ил. 214. Ре-Ми. Слава вам! // Новый Сатирикон. 1917. № 11. С. 8–9

интеллигенцию, студентов, — дружно приветствовавших «солнце свободы» (ил. 214). Идиллия всеобщей солидарности готова была распространиться даже на врагов нового строя. Философия всепрощения, соответствовавшая эмоциональной эйфории революции и этическим принципам христианской Пасхи, предполагала возможность открытия дверей тюрем перед томящимися там служителями царизма. Накануне Пасхи в «Маленькой газете» было напечатано обращение к свободному народу: «Наступает первое свободное Христово Воскресенье. Враг повержен — Он страдает! 4000 бывших слуг бывшего правительства томятся по тюрьмам. Все заправилы, все главари, все главные инициаторы всех мерзостей и подлостей против народа большею частью освобождены. И лишь мелкие сошки, служившие старому кумиру из-за куска хлеба, остались за решеткой: добровольно явившиеся городовые, околоточные, агенты сыскной и охранной полиции, писцы, чиновники, швейцары и прислуги… Условия заключения более чем тяжелые: отвратительная пища, сырое нетопленное помещение, огня нет, люди сидят в темноте, свидания через две решётки, письма не доходят вовсе. Свободный народ! Завтра Пасха! „Прости, пожалей, не мсти, ибо не ведали они что творили“. Были у нас романовские каменные мешки. Не дай Бог, чтобы были республиканские. Пусть первая великая свободная Пасха не будет омрачена слезами томящихся в тюрьмах. Свободный народ! Прости — освободи их»[1].

[1] Маленькая газета. 1917. 1 апреля.

Однако помимо абстрактных, собирательных образов России встречалась вполне конкретная персонификация революции в А. Ф. Керенском. Если не считать карикатурных портретов Николая II, то Керенский был главным персонажем визуальной сатиры в 1917 г. Так, суммарно в журналах «Новый Сатирикон», «Бич», «Пугач» Керенскому было посвящено 36 рисунков, Ленину — 23, Милюкову — 9. Причем, что важно, большая часть изображений Керенского носила не критический, а комплиментарный характер. В патриотической карикатуре художники часто подчеркивали мускулистые, большие руки Керенского: в одном случае он оказывался в роли рабочего, тяжелым молотом с надписью «наступление» разбивавшего голову Вильгельму II, в другом — в роли Св. Георгия, убивавшего змея-контрреволюцию, в третьем случае — Александром Македонским, разрубавшим гордиев узел «партийной неразберихи», в четвертом — в образе рулевого корабля, попавшего в шторм (ил. 215 на вкладке). Молодой поэт Л. Каннегисер в июне 1917 г. написал известные строчки, посвященные военному министру: «…Тогда у блаженного входа, / В предсмертном и радостном сне / Я вспомню — Россия. Свобода. / Керенский на белом коне». В то же время у женщин-поэтов рождались не менее романтические образы, но, возможно, более точные в контексте визуальной символики революции. 21 мая М. Цветаева представила Керенского в образе жениха: «Кому-то гремят раскаты: / Гряди, жених! / Летит молодой диктатор, / Как жаркий вихрь». Учитывая распространенную в период «медового месяца» революции метафору России-невесты, становится ясно, чьим женихом был Керенский.

Хотя главными эмоциологическими характеристиками конца февраля — начала марта являются позитивные эмоции — восторг, радость, ощущение счастья обывателей, — было бы недопустимым упрощением утверждать, что иных чувств никто не испытывал. В первую очередь страх проникал в сердца городовых, околоточных, которым по долгу службы приходилось лицом к лицу встречаться с революционизировавшейся день ото дня улицей. В конце концов затягивавшееся состояние подавленности приводило к депрессии, развивало чувство обреченности, заставлявшее некоторых чинов полиции свыкаться с мыслью о неизбежности скорой смерти. Поэт Валентин Горянский чуть позже в стихотворении «Февраль Семнадцатого», вспоминая эмоциональную атмосферу в преддверии нового месяца, описал тревогу дворников, швейцаров и городовых: «…Уже швейцар с булавой / Не красовался в шитье парадном, / И на перекрестке городовой / Догадывался о неладном».

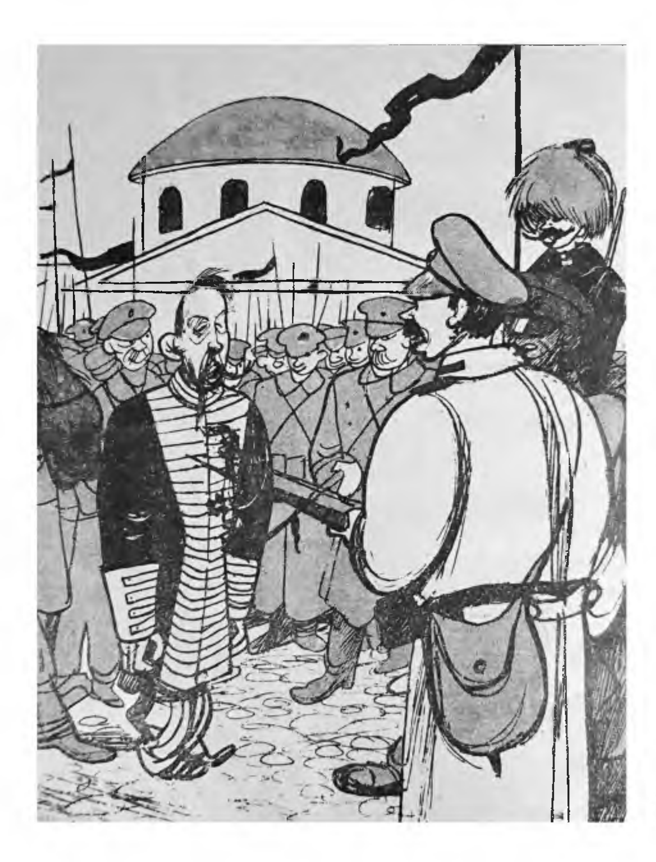
Журнальная карикатура запечатлела аресты бывших полицейских чинов, царских министров. Как правило, в этих карикатурах была не злость, а лишь ирония. Так, в мартовском номере «Бича» появилась карикатура И. Степанова с подписью «Догоремыкался», изображавшая, как солдат с матросом ведут арестованного бывшего председателя Совета министров (ил. 216). Более злые



Ил. 216. И. Степанов. Последыш. Догоремыкался // Бич. 1917. № 10–11. С. 4

комментарии отпускались в адрес министра внутренних дел А. Д. Протопопова за уже упоминавшиеся пулеметы, якобы расставленные на крышах домов по его приказу. В том же номере «Бича» под названием «Иуда всероссийский» был напечатан портрет Протопопова, посаженного за решетку. В десятом номере «Будильника» за 7 марта присутствовал рисунок художника К. Груса, изображавший арест Протопопова у здания Государственной думы (в действительности же бывший министр добровольно явился в Таврический дворец и сдался Временному комитету). Автор обыгрывал слова о том, что «сильна только власть, опирающаяся на штыки»: солдаты, направив штыки на арестанта, издевательски предлагали: «Опирайтесь!» (ил. 217).

Вместе с тем за издевательскими насмешками над бывшими служителями старого строя скрывался страх перед возможной реставрацией режима. Даже политики-победители, понимая всю ответственность своего положения, не долго праздновали победу. Если тревога изначально не сопутствовала триумфу, то быстро приходила ему на смену. Так, адвокат Николай Карабчевский вспоминал свои впечатления от посещения кабинета председателя Временного правительства князя Г. Е. Львова, психологическое состояние которого было описано в меланхоличных тонах: «Сам кн. Львов на своем посту отнюдь не имел вида ликующего представителя нового, победного режима. Какая-то сосредоточенно-покорная грусть, казалось, проникла уже в его существо. Движения



Ил. 217. К. Грус. Опирайтесь! // Будильник. 1917. № 10. С. 4

и слова его были медленны и как-то застенчиво-сдержанны, точно их каждую секунду кто-нибудь намеревался грубо прервать»[1].

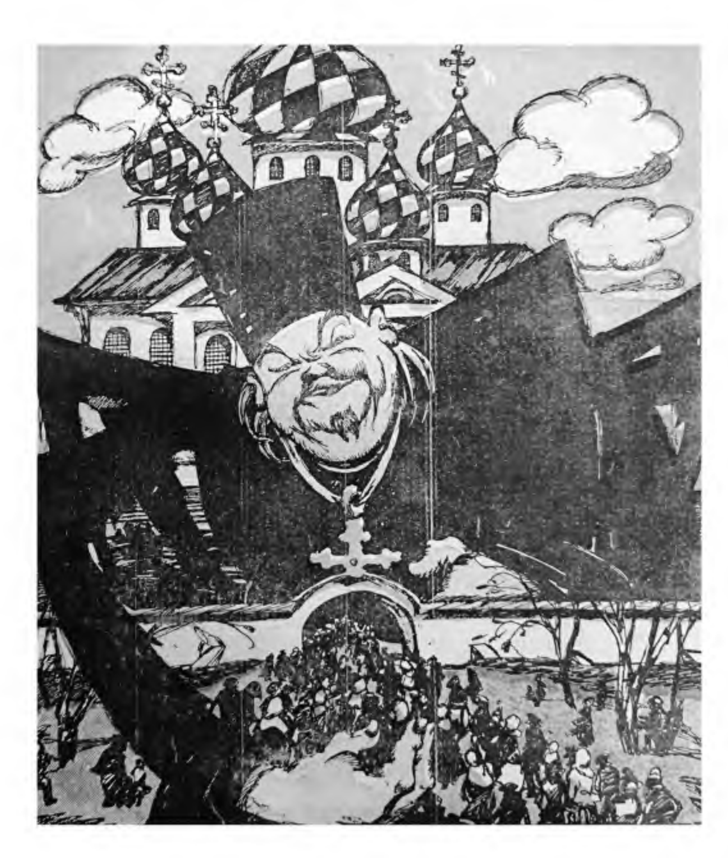
Помимо министров, злая сатира обрушивалась на других представителей старого строя — российское духовенство. Тому были как объективные, так и субъективные причины. Последние были связаны со стихийно возникшими слухами о том, что петроградские священники якобы вместе с переодетыми полицейскими с крыш колоколен расстреливали манифестантов. Объективные причины недоверия к священнослужителям были связаны с синодальным положением церкви, выполнением духовенством ряда административных функций, что превращало их в глазах обывателей в государственных чиновников, т.е. слуг царизма. Рядовые солдаты рассуждали о задачах революции: «Царя сняли, теперь бы попа снять. Одним корнем соки тянули»[2]. Апрельский номер «Барабана» открывала карикатура, изображавшая священника в фуражке городового, с саблей, пистолетом и дубинкой в руке, а рядом стояли городовые в камилавках и с кадилом. Подпись под рисунком гласила: «Русская полиция всегда отличалась религиозностью, а духовенство — любовью к порядку»[3].

---

[1] *Карабчевский Н.П.* Что глаза мои видели // Страна гибнет сегодня. Воспоминания о Февральской революции 1917 г. М., 1991. С. 168.

[2] *Федорченко С.* Народ на войне… С. 85.

[3] Барабан. 1917. № 2. Обложка.



Ил. 219. В.Н. Дени. Паук-крестовик // Бич. 1917. № 18. Обложка

Один из самых ярких образов, подчеркивавших недоверие к духовенству со стороны обывателей, был найден художником А. Хвостовым, на карикатуре которого священники, одетые в черные рясы, перекрашивали друг друга в красный цвет (ил. 218 на вкладке). При этом они обращались друг к другу со словами: «Гуще крась, гражданин, чтобы от прежней черноты ни пятнышка не осталось». Примечательно, что образ священника в красной рясе не был выдуман Хвостовым — некоторые представители духовенства в мартовские дни действительно облачались в рясы «революционно-правильного цвета», хотя более распространенным способом революционной авторепрезентации было ношение красного банта. На майской карикатуре «Бича» священники были изображены стоящими в храме на коленях перед иконостасом с Троицей — Николаем II, Александрой Федоровной и Распутиным. Несмотря на то что в среде духовенства к Распутину было весьма неоднозначное отношение, в глазах рядовых граждан он всегда был представителем церкви, что также стало дискредитирующим фактором в 1917 г.

Весьма показательна визуализация страха перед священством через арахнофобию — боязнь пауков. Журнальная сатира уже обращалась к образу паука, бичуя спекулянтов и мародеров, теперь настала очередь и для попов. На рисунке Дени огромный поп-паук одной из своих лап загребал прихожан в церковь (ил. 219). Другие распространенные, но более щадящие визуальные образы — галки и вороны. Попытки духовенства самоорганизоваться, провести

съезд духовенства и мирян, собрать Поместный собор вызывали недоверие части общества, для которой самой распространенной ассоциацией с возросшей активностью священников был слет ворон.

Кроме контрреволюционности, карикатуристы выдвигали священникам и иные обвинения, имевшие более веские основания: препятствование в бракоразводных процессах, непомерная плата за требы, чрезмерный догматизм и институализация православия, уводившие от истинной веры. Художник А. Радаков создавал образы зажиточных попов, сидящих на мешках с золотом; Д. Мельников обвинял духовенство в уклонении от воинской повинности и на рисунке под названием «Великий постриг» изобразил, как солдаты стригут попов-новобранцев[1].

В освободившихся от цензуры периодических изданиях публиковались тексты, обсуждавшие моральный облик российского духовенства, подозревавшегося в повальном пьянстве, прелюбодеяниях, мужеложстве[2]. Впрочем, критика церковного клира имела зеркальный эффект: революция актуализировала вопросы нравственности и культурного состояния самого мирского сообщества. Демократизация различных сфер жизни общества нередко доходила до крайностей, приводя, с одной стороны, к воцарению суда Линча на улицах городов, с другой — к попыткам создания легальной профсоюзной организации воров и громил («рыцарей ножа и фомки»)[3]. Отмена цензуры привела к появлению порнографической продукции, включая и театральные постановки.

К концу марта рядовых граждан стали раздражать бесконечные парады, митинги, шествия и т. п., и к их участникам, рабочим и солдатам, вскоре стали поступать требования заняться, наконец, делом[4]. На бытовом уровне обывателей больше всего раздражала грязь, которая затопила улицы столиц, причем как периферийные, так и центральные. Дворники, занявшись политическими играми по организации профессиональных союзов или просто просиживая часами во дворах, лузгая семечки и обсуждая «текущий момент», не спешили возобновлять уборку дворов, тротуаров. На эти явления уже в середине марта обыватели со страхом обращали внимание, как бы предчувствуя дальнейшее развитие подобных тенденций: «...теперь, при свободе, всякий поступает, как хочет, и мало найдется таких, которые не за страх, а за совесть относятся к общественной повинности, и вот от этого сейчас на тротуарах опасные тропинки для пешеходов, на улицах кучи навоза и громадные лужи тающего снега. Что называется — ни прохода, ни проезда»[5]. Журнальная сатира не проходила мимо подобных явлений, и появлялись карикатуры, на которых дворники, как

---

1 Будильник. 1917. № 19. С. 10.

2 XX век. 1917. № 18–26.

3 *Вознесенский А. Н.* Москва в 1917 году. М.; Л., 1928. С. 33.

4 War, Revolution and Peace in Russia... P. 52.

5 *Окунев Н. П.* Дневник москвича, 1917–1924. Кн. 1. М., 1997. С. 26–27.

на тронах, восседали на уличных кучах мусора. Грязь проникала и в театры. Публика во время спектакля лузгала семечки, но театралов больше всего пугала опасность подцепить клопов, переносчиками которых являлись бежавшие из окопов солдаты, занимавшие в театрах лучшие ложи.

Главный вопрос революции весенне-летнего периода был сформулирован А.Ф. Керенским в выступлении перед делегатами флота 29 апреля: «Неужели русское свободное государство есть государство взбунтовавшихся рабов?.. У меня нет прежней уверенности, что перед нами не взбунтовавшиеся рабы, а сознательные граждане, творящие новое государство»[1]. В это время к бытовой неустроенности, нерешенности хозяйственных вопросов, росту уличных самосудов добавляется новый виток политической борьбы, центральным персонажем которой постепенно становится вернувшийся в Россию В.И. Ленин. На следующий день после своего приезда он выступил в захваченном большевиками и анархистами дворце Кшесинской с «апрельскими тезисами», которые 7 апреля были опубликованы в «Правде» и вызвали поначалу резкое неприятие товарищей Ленина по партии. В них лидер большевиков не просто отказывал в доверии Временному правительству, но, считая февральскую буржуазно-демократическую революцию завершенной, требовал перехода к подготовке социалистической революции. Оказав психологическое давление на своих соратников, Ленин в конце концов добился принятия апрельских тезисов VII Всероссийской конференцией РСДРП(б) в качестве программных.

Радикализм ленинской программы был отрицательно встречен в Совете рабочих и солдатских депутатов. Там сочли, что ставка на конфронтацию с Временным правительством, а также отказ от «оборончества» в пользу скорейшего мира дестабилизируют внутреннюю ситуацию в России и играют на руку немцам. Несмотря на то что от войны устали все, сепаратный мир воспринимался как позор для России. В этот период антивоенно настроенный поэт В. Горянский пишет следующие строки, передающие «оборонческие» настроения обывателей: «…Германия, стража Железного трона! / На каждую сотню твоих побед / Разве же сотни наших нет? / Есть. Мы равны. / А теперь / Оборона: / Надо волю беречь от Железного трона, / На котором кровожадный сидит зверь, / Не на жизнь, а на смерть…»

Агрессивная риторика вернувшегося из-за границы Ленина утомляла обывателей, ждавших установления внутреннего мира. Во время выступлений лидера большевиков с балкона захваченного дворца балерины юмористы из толпы приветствовали его: «Браво, Кшесинская!»[2] Однако прозвище «Кшесинский» не закрепилось за Ульяновым — обыватели начинали искать немецкие корни большевиков.

---

[1] *Керенский А.Ф.* Речи о революции. Пг., 1917. С. 62.

[2] *Реден Н.* Сквозь ад русской революции. Воспоминания гардемарина. 1914–1919. М., 2006. С. 55.





Ил. 220. Ре-Ми. Все совершенствуется // Новый Сатирикон. 1917. № 15. С. 16

Уже в конце апреля в журналах впервые появляются карикатуры, на которых Ленин и ленинцы представлены немецкими агентами (впрочем, первые слухи о том, что большевики — немецкие шпионы, возникли еще летом 1914 г., когда социал-демократы пытались организовывать антивоенные митинги). Ре-Ми проводил параллель между «пломбированным вагоном», в котором социалисты (включая меньшевиков и эсеров) приехали из Швейцарии в Россию через территорию Германии, и Троянским конем, решившим исход войны греков с защитниками Илиона (ил. 220). Следует отметить, что «желтые» газеты, в отличие от иллюстрированных журналов, учитывая сроки издания, быстрее реагировали на текущие события. Так, тема «Троянского коня» возникла в «Петроградском листке» уже 10 апреля. Апогей же антиленинской карикатуры приходится на июнь — июль 1917 г., когда по вине большевиков в Петрограде происходят беспорядки.

В мае 1917 г. А.Ф. Керенский начинает пропагандистскую кампанию по агитации за летнее наступление на фронте. Хотя договоренности с союзниками о наступлении на Восточном фронте были достигнуты еще до революции, учитывая вклад нового военного министра в пропаганду этой операции, современники ее называли не иначе, как «наступление Керенского». Впрочем, оправданием этого может служить риторика, которая использовалась для агитации: «Мы идем добывать трудовому крестьянству землю и волю и, сильные своей дисциплиной, добудем их. Мы завоюем тот мир, к которому стремимся, никого не желая грабить и обижать», — говорил военный министр[1]. Не случайно еще в самом начале войны среди солдат из крестьян распространился слух, что все раненые получат землю за счет завоеванной у германцев территории[2]. «Земля и воля», названные целью наступления, конечно же, были куда ближе и понятнее чаяниям простого народа, нежели призрачные Босфор и Дарданеллы П.Н. Милюкова. В майском номере «Нового Сатирикона» после того, как Милюков ушел в отставку, появилась карикатура Ре-Ми, изображавшая барахтающегося бывшего министра иностранных дел Временного правительства в водах Босфора. Пытаясь догнать уплывающий от него портфель, Милюков бормотал: «Какое, однако, чертовски быстрое течение в этих проливах!»[3]

Тем не менее переоценивать лозунг «Земля и воля» не следует, в революционную эпоху XX в. он означал уже не то, что в веке XIX. Городская смеховая культура приписывала ему новые значения, и в условиях ухудшения продовольственной ситуации обыватели чаще иронизировали на его счет. М.М. Пришвин вспоминал, что в начале 1918 г. «землей и волей» прозвали лепешки, слепленные из навоза, иногда продававшиеся в Петрограде аферистами[4]. Однако в мае 1917 г. Керенский вкладывал в него прежний, народнический смысл, и какое-то время эта стратегия себя оправдывала.

Антивоенная пропаганда большевиков вступала в противоречие с официальной позицией Временного правительства и поддерживавшего его Петросовета. В сатирической печати в мае — июне громче зазвучала тема большевиков-предателей. Помимо «немецкого следа», в деле ленинцев стали искать следы контрреволюционеров-черносотенцев. Так, на одной из карикатур «Пугача» за спиной выступающего на митинге Ленина расположился Н.Е. Марков 2-й (ил. 221 на вкладке). Однако кроме большевиков у правительства были и другие проблемы в виде усугублявшегося продовольственного, финансового кризиса, ухудшения криминальной обстановки. Сатирическая печать высмеивала страхи обывателей на этот счет, фиксируя тем самым смену общественных настроений. На одной из карикатур «Нового Сатирикона» обыватель стоял

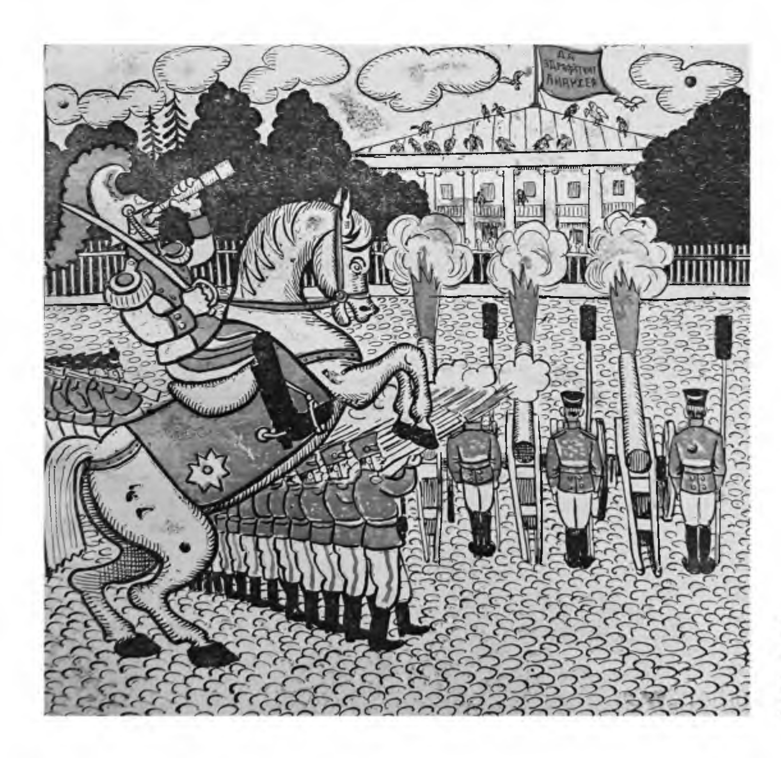
---

[1] Русский инвалид. 1917. 12 мая.

[2] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 997. Л. 1628.

[3] Новый Сатирикон. 1917. № 16. С. 5.

[4] *Пришвин М.М.* Дневники. 1918–1919. Книга вторая. М., 1994. С. 51.



Ил. 223. Сия картина изображает осаду дачи… // Пугач. 1917. № 10. Обложка

на коленях перед тенью городового и жаловался: «О, дорогая тень! Если бы ты знала, как я тоскую о тебе под лучами слишком жаркого для моего организма солнца свободы» (ил. 222 на вкладке).

Июнь стал переломным моментом эмоциональных коллизий российской революции. В соответствии с приведенным графиком «Динамики позитивных и негативных эмоций» именно на этот месяц пришлась точка пересечения падавшей «позитивной» и возраставшей «негативной» кривых, поэтому он оказался особенно богатым на эмоционально противоречивые образы. Помимо упомянутого июньского наступления на фронте, на общественную психологию повлияли события 18–19 июня в Петрограде. 18 июня массовая демонстрация на Марсовом поле, которая, по задумке эсеро-меньшевистских лидеров Петросовета, должна была выразить поддержку Временному правительству, прошла под большевистскими антиправительственными лозунгами, что оказалось неожиданностью для умеренных социалистов и кадетов. В тот же день анархисты совершили вооруженный налет на тюрьму «Кресты», освободив большевика Ф. П. Хаустова и способствовав побегу около 400 уголовников. 19 июня силами одной казачьей сотни была проведена операция по выселению анархистов с захваченной ими дачи П. П. Дурново и аресту бежавших преступников. Эти происшествия отразились как в безобидно-ироничных, так и в пугающе-апокалипсических иллюстрациях. Если у художника «Пугача» выселение анархистов вызвало ассоциацию с детской игрой в солдатики (ил. 223), то Н. Ремизов почувствовал в том грозный симптом надвигавшейся анархии, создав образ гигантского красного бандита, шагавшего по ночному городу (ил. 224

на вкладке). В одной руке он сжимал огромную дубину, а в другой — мешочек с монетами (отсылка к теме немецких денег большевиков). Эта работа перекликается с карикатурой Б. Кустодиева 1905 г. «Нашествие» из журнала «Жупел», на которой по городу шагал гигантский окровавленный скелет. Актуальность карикатуры Ре-Ми определялась тем, что, в отличие от анархистов, большевиков выселить из захваченного ими особняка М. Кшесинской не удалось[1], при этом созданная ими «красная гвардия» представляла не меньшую угрозу для общественного и политического спокойствия, чем боевые группы анархистов.

Для поддержания всеобщего воодушевления и отвлечения широких масс населения от социально-политических эксцессов проправительственная пропаганда начала поиск новых позитивных образов, способных воодушевить современников на подвиг в тылу и на фронте и противопоставить их дезинтегрирующему воздействию анархистов и ленинцев. Как и в период «медового месяца», самыми актуальными оказались фемининные образы. На одном из рисунков Д. Мельникова Россия в кольчуге и красной юбке с красным знаменем в одной руке и мечом в другой вела в бой полки солдат. Ее пыталась удержать маленькая лысая фигурка мужичка в черном, напоминавшая Ленина. Примечателен лозунг: «Вперед! Только русские штыки принесут свободу германскому народу!» (ил. 225 на вкладке). Война обретала значение революционно-освободительной. Неудивительно, что в этот период рождается бонапартистский образ главного идеолога наступления — Керенского. Однако пропаганда вела наступление и на внутреннем фронте: на рисунке А. Лебедева царевна-Россия приставляла меч к горлу «старого строя» (ил. 226 на вкладке). Художники пытались оправдать первые разочарования людей в революции, вернуть им веру в позитивные перемены. В июньском номере «Стрекозы» появился рисунок, на котором царевна-Россия стоит под защитой солдата и говорит: «Он немного опьянел от свободы, но Керенскому удалось его отрезвить, и теперь у меня опять могучий защитник, на которого я могу положиться!»

От эксплуатации абстрактных фемининных образов Керенский перешел к воспеванию реальных женщин-героинь. Практически одновременно с началом наступления на фронте в Петрограде на площади перед Исаакиевским собором прошла торжественная церемония вручения знамени первому в России женскому ударному Батальону смерти, набранному из женщин-добровольцев. 27 июня батальон прибыл в расположение войск Западного фронта. Однако данная пропагандистская инициатива властей привела к неоднозначным реакциям: по преимуществу патриархальное российское общество с подозрением отнеслось к женщинам на фронте, да и солдаты, уставшие от войны, с раздражением встретили такое «пополнение». Разницу во взглядах на войну мужчин и женщин

[1] Большевики покинули особняк Кшесинской во время вынужденного ухода в подполье после событий 3–4 июля 1917 г., в результате чего символическое значение большевистского штаба перешло Смольному.



Ил. 227. Новобранца провожают // Новый Сатирикон. 1917. № 22. С. 8

высмеял «Новый Сатирикон», опубликовавший карикатуру под названием «Новобранца провожают» (ил. 227). На рисунке рыдал муж-дезертир, провожавший на фронт жену-добровольца, вокруг них стояли дети, а на заднем плане маршировали уже ставшие под ружье другие женщины, за которыми с детьми на руках бежали мужья. В свете высмеивания женской эмансипации, характерной для многих либеральных изданий, подобная карикатура воспринималась неоднозначно. В конце концов в августе главнокомандующий Л. Г. Корнилов запретил создавать новые женские батальоны, а старые было решено использовать только в качестве вспомогательных сил. Тем не менее образ женщины-ударницы регулярно встречается на протяжении революции 1917 г. (ил. 228).

Кроме того, эксплуатация женской темы революции на фоне падения нравов в обществе, распространявшейся в печати порнографии порождала иные аллегории революционных завоеваний. 26 мая Марина Цветаева, не поддавшись на новый виток визуальной пропаганды, создает собственный пророческий фемининный образ свободы: «Свершается страшная спевка, — / Обедня еще впереди! / — Свобода! — Гулящая девка / На шалой солдатской груди!» Чуть позднее «шалая солдатская грудь» I пулеметного полка проявила себя в полной красе в дни июньской демонстрации в Петрограде, а также восстания 3–4 июля 1917 г. Для июльского номера «Бича» художники М. Бобышов



Ил. 228. Смутные дни рокового брожения, / Смело ты вышла на поле сражения… // Пугач. 1917. № 16. Обложка

и Б. Антоновский подготовили диптих под названием «Дева Революция», изображавший два ее состояния: в первом варианте 27 февраля 1917 г. она была в образе молодой женщины с красным фригийским колпаком на голове, а во втором случае, 3–4 июля, — в виде вульгарной рыночной торговки, превратившей революционное красное знамя в фартук (ил. 229, 230 на вкладке).

Революция мыслилась как свобода не только политическая, но и морально-этическая: многие нравственные критерии объявлялись буржуазными пережитками. Этому способствовала социальная обстановка в крупных городах, куда хлынули потоки дезертиров и других десоциализированных личностей. Вероятно, самые заметные трансформации в эмоциональной сфере произошли с чувством стыда. К. Изард отметил важную социальную значимость этого чувства: «Эмоция стыда способствует формированию групповых норм и поддержанию общего согласия по отношению к ним. Способность к стыду можно рассматривать как одну из социальных способностей человека, она обуздывает эгоцентрические и эгоистические позывы индивида, а значит, вносит существенную лепту в процесс формирования связи между общением и положительными эмоциями»[1]. В 1917 г. эмоция стыда вытеснялась жаждой сладострастия,

[1] *Изард К.* Психология эмоций. С. 364.

удовлетворения похоти (уместно вспомнить, что лубок XIX в. «Сладострастие» стал основой для серии картин Н.К. Рериха о «Граде», в которых он в 1914–1917 гг. выразил эсхатологические предчувствия). Ярче всего это проявилось в театральной жизни: освобожденные от цензурных ограничений визуально-пластические искусства вывели проблему сексуальности на новый уровень.

Летом афиши большинства частных театров пестрели следующими пьесами: «Дамочка с условием», «В разных спальнях», «Квартирка греха» (Невский фарс), «Любовные шалости», «Брачные мостики» (Буфф), «Парные кровати» (Палас-театр), «Обнаженная», «Секрет новобрачных» (Литейный), «Гаремный надзиратель», «Ночное происшествие», «Девственная супруга» (Вилла Родэ) и др. Чтобы представить себе, о чем могла идти речь в подобных спектаклях и насколько правомерны были разговоры критиков о разгуле порнографии, приведем в качестве примера рапорт комиссара 1-го московского подрайона Я. Кернеса от 14 июля после посещения зала Павловой, в котором демонстрировалась пьеса «Большевик и буржуй»: «Фарс этот — грубейшая и отвратительная порнография. Первое действие ничем не прикрытая лесбийская любовь на сцене. Две влюбленных женщины, изображая крайнее чувственное возбуждение, раздеваются почти догола, производят одна над другой соответствующие манипуляции, сопровождаемые конвульсивной дрожью, стонами и циничными телодвижениями, после чего, потушив огни, однако так, что публике все- видно, ложатся в кровать и предаются удовлетворению своей похоти, впиваясь друг в друга, звонко целуясь и пр. Остальные два действия фарса не лучше: так, например, поклонник напоминает женщине, как он проник к ней „задним проходом“ (т.е. черным ходом); масса слишком прозрачных намеков на то, у кого детородный член больше, у кого меньше; кто сколько раз совершал акт полового совокупления и как его совершал и много другой подобной мерзости»[1].

Среди критиков разворачивается дискуссия по поводу того, где расцвет порнографии достиг высшей точки, в Петрограде или в Москве. Если в Петрограде большинство фарсовых театров встали на этот путь, то в Москве наибольшую скандальную известность получил антрепренер А. Кохманский, поставивший в Камерном театре «Леду». Перед началом спектакля выступил автор пьесы А. Каменский, объяснив свой принцип «социализации красоты», сущность которого заключалась в публичном показе живого обнаженного тела. Критики отметили слабость спектакля с художественной точки зрения. На сцену выходила обнаженная фарсовая актриса г-жа Терек — Леда — и, прогуливаясь по сцене, будто специально выставляя себя на всеобщее обозрение, произносила длинный монолог. Первые спектакли, на которых присутствовала публика, еще не знавшая о характере пьесы, не вызвали сочувствия в зрительном зале[2].

---

[1] Цит. по: *Кельсон З.* Милиция февральской революции. Воспоминания // Былое. 1925. № 1 (29). С. 170.

[2] Московский листок. 1917. 29 апреля. С. 4.

Вместе с тем следует отметить, что «Леду» Каменского ставили не впервые. Она шла несколько лет назад в Петрограде в Интимном театре, где неплохую карьеру сделала себе актриса-натурщица, сыгравшая главную и единственную роль (гонорар обнаженной тогда составил 1000 рублей, а цена билета — 10 рублей). Впрочем, цензура вскоре спохватилась, и «Леда» была снята с репертуара, после чего вновь взойти на сцену ей удалось уже только во время революции.

В 1917 г. режиссеры бросились наверстывать упущенное. Атмосфера во время определенных спектаклей соответствовала атмосфере дешевого борделя. Зрители, по воспоминаниям современников, разглядывали обнаженных исполнительниц из сотен биноклей, оценивали, критиковали, будто лошадей. С мест доносилось не только возбужденное сопение, но и отдельные возгласы, комментарии, вследствие чего весьма немногие драматические актеры могли участвовать в подобных спектаклях. Да и сами режиссеры предпочитали приглашать на роли натурщиц дешевых кафешантанных танцовщиц. Во время одного из показов «Леды» с актрисой, из-за поведения и отношения зрителей, случилась истерика, и она, не «доиграв» до конца роли, убежала со сцены. Деньги зрителям вернули, а в газетах на следующий день появилось объявление о поиске актрисы на роль «Леды». На третий день пьеса вновь шла[1].

Вслед за «Ледой» вышло следующее «творение» — «Хоровод» по А. Шницлеру (инсценировка и постановка того же Каменского). Спектакль состоял из десяти действий, каждое из которых основывалось на одном «любовном положении». Таким образом, десяти действиям соответствовало десять инсценированных половых актов, которые и составляли содержание и главное достоинство спектакля. Журналист писал по поводу этой пьесы: «Театр пока что получил от „свободы" полную свободу порнографии». Далее приводился разговор двух обывателей по поводу «Хоровода», который шел дважды в вечер и собирал большую толпу перед входом в театр: «„На сцене десять раз…" — „Не может быть!" — „Что не может быть, когда голую бабу на сцену вывели". И действительно, свет в зале то и дело гаснет, чтобы скрыть моменты последних содроганий, оставляя только звуки. Публика сочувствующе сопит, с каждым разом все сильнее»[2].

Комиссар московского градоначальства А. Вознесенский с сожалением констатировал: «Крупные театры никак не отразили революцию, мелкие культивировали грязную эротику…»[3] Бывали случаи, когда уставшие от низкопробной продукции зрители останавливали спектакли, освистывая актеров. Городская смеховая культура в конце концов отреагировала на театральную жизнь Петрограда следующими строчками: «„Царскосельская блудница", /

[1] Петроградский листок. 1917. 8 июня. С. 13.
[2] Театр и искусство. 1917. № 23 (4 июня). С. 398.
[3] *Вознесенский А. Н.* Москва в 1917 году… С. 71.

„Черт святой“ и „Благодать“ / Как же тут мне не взбеситься? / Как же тут не заорать / — „К черту пошлость „Благодати“! / „Царскосельский блуд“ долой! / Право, очень будет кстати / Не конфузить новый строй!»[1]

Эротизм проник и в кинематограф. Здесь наблюдались все те же тенденции, что и в театре. Большой популярностью среди подобных лент пользовалась выпущенная одной из московских фабрик картина «Хвала безумию». Учитывая ее популярность, создатели ленты решили развить успех и выпустили под таким же названием еще серию картин. Первой картиной этого цикла стала «Оскорбленная Венера», впервые показанная в «Паризиане». Критик следующим образом писал о ней: «Основная черта картин этой серии — патологическая эротика. И в „Оскорбленной Венере“ мы наблюдаем то же самое»[2].

Летом критики возмущались фильмом «Аборт» — «небывалой сенсационной новинкой», как было написано на афише кинотеатра «Нирвана». Писали, что уже само название картины настолько красноречиво, что не нуждается ни в каких комментариях. «Трудно даже себе представить, что могут придумать после „Аборта“ наши кино-кустари, ловящие рыбу в мутной воде. От них не отстает и кинематограф „Нирвана“. Зазывательный анонс „Стремитесь к нирване в кино «Нирвана»“ в связи с демонстрацией „Аборта“ для самого нетребовательного посетителя звучит грубой рекламой», — писал критик[3].

В октябрьском номере «Огонька» была предложена новая динамика состояний женщины-России. На первой стадии она была воплощением непорочной девы-свободы, на втором этапе изображалась курящей, в неприличной позе сидящей рядом с подозрительным типом, на третьем — пьяной, в разорванном платье и с безумными глазами под знаменем анархии. Карикатурный образ пьяной России коррелировал с поэтическим образом блудницы, встречавшимся, в частности, в 1917 г. в творчестве А. Ахматовой: «…Когда приневская столица, / Забыв величие свое, / Как опьяневшая блудница, / Не знала, кто берет ее…» Свободная Россия, персонифицированная в «медовый месяц» революции в образе невесты или русской царевны, к осени преобразилась посредством совершенного над ней акта насилия. Насилие над женщиной, таким образом, в семиосфере отождествлялось с насилием над идеалами русской революции и Свободной России. Подобная аллегория катастрофы встречалась в переписке обывателей накануне революции. Чаще всего Россию изображали изнасилованной или выставленной на продажу дешевой проституткой. Примечательно, что еще в январе 1917 г. один житель Пензы пророчески написал: «Мне будущая Россия представляется в виде раздетой проститутки, выставленной в витрине мирового магазина. А у продавца на физиономии написано: покупайте, а то все равно %% нечем платить…»[4]

---

[1] Стрекоза. 1917. № 28. С. 5.
[2] Обозрение театров. 1917. 22 марта. С. 11.
[3] Обозрение театров. 1917. 8 июня. С. 11.
[4] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1071. Л. 73.

Если образ блудницы считать метафорой гибели России, то, учитывая, что революция вытекала из войны, можно вспомнить серию литографий Н. Гончаровой 1914 г. «Мистические образы войны», на одной из которых была изображена Вавилонская блудница верхом на многоголовом звере, что являлось символом Апокалипсиса. Народная эсхатология, усилившаяся в годы войны и слегка приглушенная эйфорией «медового месяца» революции, с новой силой возрождалась летом — осенью 1917 г. Впрочем, любая периодизация здесь будет условной, так как эсхатологические настроения в массовом сознании народа присутствуют постоянно, неожиданно, асинхронно проявляясь у разных социальных групп. Так, например, когда городские слои восторженно приветствовали революцию 1917 г. и лично А.Ф. Керенского, среди крестьян Владимирской губернии пронесся слух о том, что министр-социалист «жид-Анчихрист»[1]. В мае, в период активной патриотической агитации Временного правительства за наступление на фронте, крестьянин Вологодской губернии А. Замараев, наблюдая за выпавшим снегом, предрекал гибель России: «Погода студеная, пролетает снег. Нашему государству едва ли не приходит конец»[2]. Очевидно, что в провинции, особенно в деревне, события в 1917 г. развивались не столь стремительно, как в столицах. Журнальная карикатура в первую очередь фиксировала смену настроений горожан, однако отдельные сюжеты коррелировали с глобальными изменениями психологического климата в российском обществе.

Несмотря на личное участие Керенского в пропагандистской кампании, на его поездки на фронт и встречи с солдатами и матросами, усталость от войны давала о себе знать. Символы смерти все чаще проникали в журнальную карикатуру, причем развитие внутриполитических событий только усиливало общую атмосферу разочарования, предчувствия чего-то ужасного. Скелеты, черепа, старуха-смерть с косой становились неотъемлемыми элементами сатирической графики, в которой уже не оставалось места для смеха (ил. 231). Различные круги общества встретили восстановление смертной казни на фронте 12 июля 1917 г. неоднозначно. В августе 1917-го появляется карикатура М. Ага, на которой изображен череп со знаком Сатурна — в римской мифологии древнего бога, пожиравшего собственных детей, — на фоне виселиц (ил. 232). Рисунок сопровождала подпись: «Старый друг — хуже новых двух». Тем самым предлагалось смириться со смертной казнью на фронте перед лицом более страшной опасности — Анархии, Гражданской войны.

Летом 1917 г. А. Ахматова написала стихотворение, выражающее настроения многих современников на этом этапе революции: «И целый день, своих пугаясь стонов, / В тоске смертельной мечется толпа, / А за рекой на траурных знаменах / Зловещие смеются черепа. / Вот для чего я пела и мечтала, / Мне

[1] *Наживин И.* Записки о революции. Вена, 1921. С. 17.

[2] *Замараев А.* Дневник тотемского крестьянина А.А. Замараева. 1906–1922 годы. М., 1995. С. 160.



Ил. 231. Трехлетний юбилей войны // Пугач. 1917. № 16. С. 8

сердце разорвали пополам, / Как после залпа сразу тихо стало, / Смерть выслала дозорных по дворам». Но страхи обывателей провоцировали не только военно-политические события, но и повседневные картинки уличной жизни, для которой типичными стали акты самосудов толпы. В августовском номере «Нового Сатирикона» появилась карикатура В. Лебедева «Смерть и ее производство», где были визуализированы три типа Смерти: официальная, в цилиндре и сюртуке, стоящая у гильотины; насильственная, изображенная в образе крадущегося террориста-убийцы в черном плаще и широкополой шляпе; самосуд — оборванец с ножом в руке и пролетарской кепке.

Восстание большевиков 3–4 июля, а затем «корниловский мятеж» становились сигналами надвигавшейся гражданской войны. Поэтому новые коннотации получили темы немецких денег большевиков и пломбированного вагона. От исторических ассоциаций с Троянской войной художники переходили к религиозным сюжетам, в которых Ленин представал Иудой, продавшим Россию за 30 сребреников (ил. 233 на вкладке). Этот сюжет эксплуатировался карикатуристами еще в годы Первой мировой войны: Иуда завидовал болгарскому царю Фердинанду, получившему бо́льшую сумму от Вильгельма, чем он от Пилата. В 1917 г. появляется карикатура, на которой в роли Иуды изображен Ленин, а в роли Пилата — Вильгельм[1]. На других карикатурах Ленина рисо-

[1] Бич. 1917. № 28.



Ил. 232. М. Аг. Старый друг — хуже новых двух // Бич. 1917. № 19. Обложка

вали с «печатью Вильгельма» (германским одноглавым орлом), которая вызывала ассоциации с печатью Антихриста.

Визуальная антиленинская пропаганда шла параллельно судебному процессу против большевиков, инспирированному министром юстиции Временного правительства П.Н. Переверзевым. Однако обывателям казалось, что суд над большевиками недостаточно быстро проходит из-за чинимых Петросоветом препон. В августе 1917 г. появляется карикатура на тему библейского сюжета жертвоприношения Исаака. В роли Исаака на ней изображался лежащий на жертвеннике голенький Ленин, в роли Авраама, занесшего над ним кинжал, — министр Переверзев, а в роли ангела, остановившего Авраама, — председатель исполнительного комитета Петросовета Н.С. Чхеидзе[1]. В кустах стоял кадет в образе покорной овцы, которой и суждено было стать жертвой. Как видим, художникам-карикатуристам не чужда была политическая прозорливость, позволявшая предугадывать скорое развитие событий.

Религиозный дискурс становился инструментом осмысления происходящего: включая в контекст библейских преданий исторические события, современники, как им казалось, получали ответы на актуальные вопросы. После провала «корниловского мятежа» художник Иван Симаков (Синус) опубликовал в «Биче» две карикатуры, в которых попытался представить интерпретацию

[1] Новый Сатирикон. 1917. № 28.

современных ему событий далекими потомками из XXI века в контексте религиозной иконографии. На одной из них, названной «Сретение неподобных великомучеников большевистских Ленина и Зиновьева», изображалось возвращение из финляндского подполья в Петроград лидеров большевиков, перед которыми на колени падал социал-демократ Ю.М. Стеклов, одетый в черные одежды. У ворот города их встречали представители власти и видные политики: А.Ф. Керенский, Л.Д. Троцкий, В.М. Чернов, А.В. Луначарский и др. Примечательно, что в руках у Ленина были трость и черный котелок, а у Зиновьева — чемоданчик с немецкими деньгами. За всем этим с пальмы наблюдала троица немецких шпионов (ил. 234 на вкладке).

Присутствие в качестве центрального персонажа Стеклова, не являвшегося большевиком, нуждается в дополнительном пояснении. Дело в том, что обывателям Стеклов был хорошо известен по своей первой фамилии — Нахамкис. Фамилия Нахамкис использовалась публицистами и художниками в качестве нарицательной, с ее помощью обыгрывалось представление о большевиках как о сборище хамов. В свою очередь сравнение большевиков с хамами уходило корнями в статью Д.С. Мережковского периода Первой революции «Грядущий хам», в которой он предсказывал гибель России. Июньский номер «Нового Сатирикона» открывала карикатура Ре-Ми, на которой был изображен бандит, развалившийся с ногами на диване в чужой разгромленной квартире и с газетой «Правда» в руке. Его слова передавала подпись к рисунку: «Вот все говорили „грядущий“ да „грядущий“!.. А вот я уже и „пришедший“!..»[1] Одна из июньских карикатур обыгрывала газетное сообщение о том, что семья Нахамкисов держала салон красоты: на рисунке был изображен интерьер парикмахерской, в которой супруга Нахамкиса стригла буржуазного вида женщину, а рядом парикмахер-Нахамкис отрезал буржую волосы вместе с головой. Тем самым «пришедшие хамы» несли с собой не только моральную, но и физическую угрозу. В это время в столице среди обывателей ходила шутка, как при встрече большевика с меньшевиком первый гордо заявил, что в Петрограде теперь очень много большевиков, на что получил ответ: «Поэтому его и называют, не Петербург, а Хам-бург». Ровно через год, в июне 1918 г., Ре-Ми невесело шутил на эту тему: на рисунке под названием «Пророк» был изображен Д.С. Мережковский, опиравшийся на башню из книг с заглавиями «Грядущий хам». Писатель раздумывал: «А, все-таки, напрасно говорят, что нет пророка в своем отечестве»[2].

Нахамкис стал одним из излюбленных персонажей карикатуристов, олицетворяя для антибольшевистской пропаганды фальшь и низость леворадикального течения в революции. Характерно, что в портретах Нахамкиса

---

[1] Новый Сатирикон. 1917. № 21. Обложка.

[2] Новый Сатирикон. 1918. № 13. С. 3.

из журналов «Бич», «Новый Сатирикон» выраженно присутствовали монголоидные черты, с помощью которых проводились параллели между большевиками и гуннами, большевиками и монголо-татарами. В декабрьском номере «Стрекозы» А. Лебедев изобразил гунна, удовлетворенно наблюдавшего за тем, как «большевики» грабят и убивают обывателей. Гунн констатировал: «Мои потомки работают нисколько не хуже меня!»[1] Говоря об источниках образа большевика-гунна, следует заметить его пересечение с «грядущим хамом» в стихотворении В. Брюсова «Грядущие гунны», написанном в первую российскую революцию: «Где вы, грядущие гунны, / Что тучей нависли над миром! / Слышу ваш топот чугунный / По еще не открытым Памирам».

В.И. Ленин некоторыми художниками также изображался представителем монголоидной расы. В этом случае нередко происходило смешение нескольких иконографических типов: Ленин-гунн/монгол, Ленин-анархист, Ленин — немецкий шпион, Ленин — библейский персонаж. Так, на карикатуре под названием «Враг народа» из июньского номера «Барабана» лидер большевиков был изображен в образе белокрылого монголоидного ангела, летящего над городом с мешочком немецких сребреников и бросающего бомбы[2]. Рисунок сопровождала подпись, перефразирующая стихотворение М.Ю. Лермонтова «Ангел»: «По небу полуночи Ленин летел / И песню анархии пел…» На карикатуре в июльском номере «Барабана» Ленин-монголоид вместо тюрьмы «Кресты» получал немецкий крест (ил. 235). В августе А. Лебедев обратился к репинской композиции «Запорожцев» в карикатуре «Пишут „Приказ № 1“». Российское офицерство склонно было именно в этом приказе усматривать причины развала армии (в действительности начавшегося еще раньше) и возлагать на его инициаторов ответственность за провал летнего наступления. На рисунке Лебедева одними из авторов приказа № 1 оказывались отсутствовавшие тогда в России В.И. Ленин и А.В. Луначарский, причем Ленин изображался монголоидом с торчавшей из головы пикой от немецкого шлема[3]. Страх перед большевиками-шпионами и перед реставрацией монархии привел к появлению слуха-химеры в конце 1917 г.: «Кажется, доигрывается последний акт инфернального водевиля большевиков. Упорно и с разных сторон сообщают, что решено (и будет опубликован соответствующий „декрет“ Ленина, — русский народ не дорос до гражданской свободы) посадить на престол Алексея, а регентом назначить не то Гессенского герцога, не то Павла Александровича»[4].

Помимо ассоциаций с гуннами и «монголо-татарами», подобные карикатуры развивали фобии перед «китайской угрозой» — с лета 1917 г. газеты сообщали

---

[1] Стрекоза. 1917. № 48. С. 5.

[2] Барабан. 1917. № 9. Обложка.

[3] Стрекоза. 1917. № 32. С. 14.

[4] *Финдейзен Н.Ф.* Дневники… С. 214.



Ил. 235. Заслуженная награда. Текст: Голос свыше (Ленину). — Твои соотечественники не догадались наградить тебя «Крестами» — носи же этот // Барабан. 1917. № 13. Задняя сторонка обложки



Ил. 236. Д. Моор. На двух полюсах. Два казака — пара // Будильник. 1917. № 37–38. Обложка

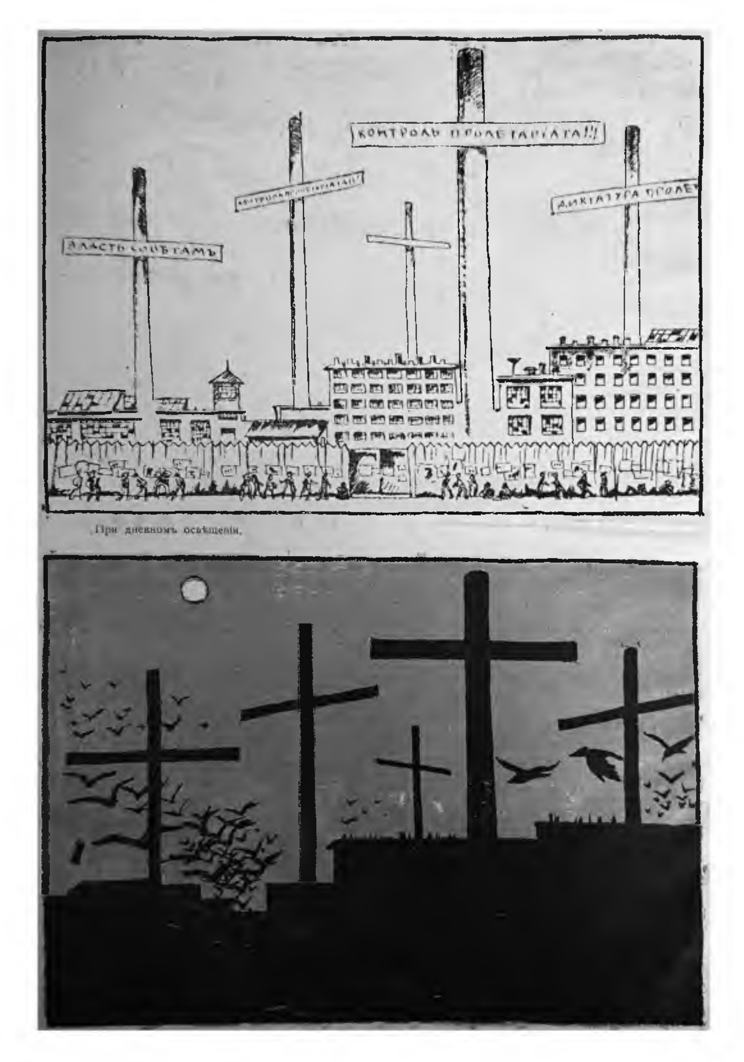
о нашествии китайцев в Петроград, организации ими вооруженных банд, которые якобы устраивали человеческие жертвоприношения. В ситуации, когда антисемитизм стал менее популярен, фобии «кровавого навета» с евреев переадресовывались китайцам (тем более что в годы Первой мировой войны их всячески демонизировали, подозревали в шпионаже и выселяли из столицы). Вероятно, не случайно, что на ноябрьской карикатуре Д. Моора (ил. 236) лидер большевиков представал в образе высоколобого китайского божества Фукурокудзю (который, впрочем, считается одним из семи богов счастья)[1]. Существовал и антисемитский подтекст в акцентировании еврейского происхождения отдельных большевиков и сочувствующих им деятелей (Нахамкиса-Стеклова, Бронштейна-Троцкого и др.). Т. А. Филиппова обращает внимание на семитские черты Ленина в карикатурах 1917 г.[2]

Доставалось от карикатуристов и лидерам правого крыла. В августе художники иронизируют на тему противостояния Керенского и Корнилова, а после провала «мятежа» последнего Д. Моор придумывает достаточно оригинальный сюжет: на рисунке под названием «На дне» в ночлежке изображены Николай II и Л. Г. Корнилов. Кроме отсылки к известному произведению М. Горького, автор обыгрывает фатальную роль железнодорожной станции «Дно» в судьбах

---

[1] Будильник. 1917. № 37–38. Обложка.

[2] *Филиппова Т. А.* «Враг внутренний» — «враг внешний». Образы революции 1917 г. в русской сатирической журналистике // Российская история. 2015. № 6. С. 96.



Ил. 238. Ре-Ми. Русская промышленность // Новый Сатирикон. 1917. № 38. С. 9

царя и генерала: для Николая II станция «Дно» стала последней остановкой перед подписанием отречения, для Корнилова «Дно» — последнее препятствие на пути двигавшейся в Петроград «Дикой дивизии».

Помимо политики, не внушала обывателям уверенности в завтрашнем дне и экономическая обстановка. Тема голода, наряду с анархией, была одной из самых распространенных летом — осенью 1917 г. В октябрьском номере «Нового Сатирикона» была напечатана карикатура Ре-Ми, на которой скелет в рваной мантии и с короной на голове взбирался по ступенькам к пустому трону (ил. 237 на вкладке). Карикатура называлась «Царь-голод», а подпись под ней поясняла: «Трон почти никогда не остается незанятым…» Не менее сильный образ был воплощен в другом рисунке Ремизова, опубликованном в следующем номере. На нем при свете дня и ночи был изображен промышленный пейзаж, но если днем на нем были видны трубы над фабриками и заводами, то при свете луны они превращались в кладбищенские кресты (ил. 238).

Осенью политическое сознание обывателей мечется между страхом перед «красной гвардией», «черной гвардией», а также вступлением в столицу немцев. Приход последних обыватели ожидали после падения Риги 21 августа, тем более что к тому времени уже шла эвакуация правительственных учреждений из Петрограда в Москву. Осенью в «Стрекозе» появляется карикатура под названием «У страха глаза велики», на которой обыватели со страха приняли за вошедших в Петроград немецких кирасиров памятник Николаю I у Мариинского дворца. При этом однозначного ответа на вопрос, что лучше, немцы или большевики, никто дать не мог. Вероятно, настроения значительной части общества удачно передает карикатура А. Радакова «Буриданов осел русской власти», на которой осел с фригийским колпаком на голове изображался между красногвардейцем и текинцем[1]. Автор напоминал зрителю, что, по легенде, буриданов осел умер от голода, так как не смог сделать окончательного выбора.

Примечательно, что октябрьский переворот большевиков не стал главным мотивом карикатур в октябре — ноябре 1917 г. Большевики еще летом превратились в символ анархии и разрухи, поэтому их приход к власти принципиально не меняет образы и сюжеты, с ними связанные. Тем не менее важное отличие образов большевиков лета 1917 г. от образов большевиков осени — зимы заключается в том, что в первом случае они чаще всего представали в качестве немецких агентов, а во втором становились олицетворением животных инстинктов толпы. Заросшие, грязные, оборванные и до зубов вооруженные, они символизировали распространявшуюся по России анархию. Так, на карикатуре из «Стрекозы» громадный большевик-разбойник с ножом охотится на маленького обывателя, решившего бежать в Гонолулу, на карикатуре из «Нового Сатирикона» под названием «Разоблачение» бандиты-большевики раздевают обывателей, считая свои действия «разоблачением контрреволюции»[2].

Недооценка октябрьского переворота вытекала из массовых настроений тех дней, психологической усталости современников, живших последние недели в состоянии постоянного страха, ожидания катастрофы. Показательна реакция П. Сорокина на известие о захвате власти большевиками. В своем дневнике он записал: «Пучина, наконец-то, разверзлась»[3]. Использование наречия «наконец» указывает на некоторое чувство облегчения, испытанное автором, последовавшее за напряженным периодом предчувствий чего-то ужасного. В дни переворота — с 24 по 26 октября 1917 г. — Петроград жил своей обычной жизнью: в отличие от событий конца февраля — начала марта, в городе не прекращалось движение общественного транспорта, работали кафе и рестораны, по вечерам публика посещала концерты и театры. А. Н. Бенуа 25 октября в три часа дня проезжал на трамвае мимо Зимнего дворца, однако, как записал в дневнике,

1 Новый Сатирикон. 1917. № 38. С. 8.

2 Стрекоза. 1917. № 41; Новый Сатирикон. 1917. № 39.

3 *Сорокин П. А.* Дальняя дорога. Автобиография. М., 1992. С. 99.

ничего примечательного на площади на заметил: «Мало того, когда наши девицы, Атя и Надя, изъявили желание отправиться вечером в балет, то мы с женой не сочли нужным их от этого отговаривать»[1]. Даже когда пушки Петропавловки начали обстрел Зимнего, по Троицкому и Дворцовому мостам продолжали ходить трамваи. Наблюдая за ними со стен крепости, большевик А. Тарасов-Родионов, будущий пролетарский писатель, с разочарованием думал: «Странная революция. Рабочий совет свергает буржуазное правительство, а мирная жизнь города ни на минуту не прекращается»[2]. Когда ночью начался обстрел Зимнего, А. Н. Бенуа разволновался. Но причиной волнений были не возможные политические последствия государственного переворота, а культурные — мирискусник переживал за сохранность коллекции Эрмитажа. С другой стороны, сами большевики не считали отстранение от власти правительства Керенского каким-то грандиозным революционным событием. Собственное правительство они назвали «Временным рабоче-крестьянским правительством», чем подчеркивалась некая преемственность власти с предыдущим правительством по крайней мере в вопросе созыва Учредительного собрания — Хозяина земли Русской. Обыватели полагали, что большевики смогут удержаться у власти от силы две-три недели, хотя при этом признавали, что «если большевики не захотят, то Учредительное собрание никогда не съедется»[3]. Поэтому неудивительно, что смена власти в октябре — ноябре 1917 г. не стала центральным сюжетом визуальной сатиры. В этом плане показательна карикатура, опубликованная в журнале «Стрекоза» в ноябре 1917 г.: по столбу с надписью «власть» карабкаются трое, выше всех находится человек, на шляпе которого красуются буквы «с.-р.», под ним расположился господин, чей ремень помечен литерами «к. д.», а ниже всех сидит большевик, ухватившийся за полы кадетского пиджака[4]. Примечательно отсутствие на карикатуре меньшевиков, впрочем, к современникам 1917 г. не стоит предъявлять слишком серьезные требования в знании партийной ситуации — под влиянием газетной и журнальной карикатуры некоторые обыватели были уверены в том, что В. И. Ленин — анархист. Газета «Правда» приводила письмо крестьянина, который считал, что Ленин — это губерния (на вопрос, не ленинец ли он, крестьянин ответил, что он смоленский)[5].

Если сами события 25–26 октября 1917 г. не нашли должного отражения в карикатуре (что отчасти можно считать результатом наступившей политической апатии, потери интереса к очередным правительственным перестановкам), то социальным и культурным последствиям прихода большевиков

[1] *Бенуа А. Н.* Мой дневник… С. 198.

[2] *Тарасов-Родионов А.* Первая операция // Военный Вестник. 1924. № 42. С. 13.

[3] *Ростковский Ф. Я.* Дневник для записывания… С. 318; *Готье Ю. В.* Мои заметки… С. 43; *Окунев Н. П.* Дневник москвича… С. 116.

[4] Стрекоза. 1917. № 43. С. 1.

[5] Правда. 1917. 28 мая.

к власти были посвящены иллюстрации во многих журналах. Ноябрьский номер «Нового Сатирикона» развивал тему большевиков-хамов. Карикатура В. Лебедева создавала образы крестьян, солдат и рабочих Троцкого: разбойника, дезертира, лодыря[1]. В том же номере Ре-Ми изобразил, как большевики грабят Фемиду: повязку сорвали, чтобы душить ею обывателей, меч — заниматься разбоем, а весы — спекулировать на рынке. Следует заметить, что если «желтая» пресса и издания правого толка развивали антисемитскую тему в антибольшевистской пропаганде, то либеральные журналы, наоборот, обвиняли большевиков в провоцировании еврейских погромов. Этому, например, была посвящена карикатура Ре-Ми, на которой с небес за убийствами евреев наблюдал В.К. Плеве (считавшийся ответственным за Кишиневские еврейские погромы 1903 г.) и говорил: «Да если бы я знал, что России такая свобода нужна, да я бы первый ее, свободу такую ввел!..» Рисунок А. Радакова «Последнее завоевание революции» изображал Россию в образе женщины, повешенной большевиками на дереве. Хамы стягивали с нее сапоги, а вдалеке за картиной удовлетворенно наблюдал немец[2]. Ноябрьский номер «Бича» изображал октябрь в образе смерти с косой. При этом одним из главных антагонистов на его страницах оказывался лидер эсеров В.М. Чернов: провозглашение большевиками эсеровской аграрной программы в Декрете о земле и общая популярность партии среди крестьян создавали для кого-то иллюзию победы социалистов-революционеров. На рисунке художника Б. Антоновского крестьяне стояли на коленях перед громадной иконой с образом лидера эсеров[3]. Художник Тэдди и вовсе изображал Чернова как преемника Распутина[4].

Весь 44-й номер «Нового Сатирикона» за декабрь был посвящен «благодарностям» большевикам за то, что они в корне пресекли спекуляцию бумагой, закрыв все газеты, сделали искусство достоянием масс (имелся в виду разгром Эрмитажа и Зимнего), быстро и энергично освободили Россию от иностранного капитала (конфликт с союзниками по Антанте), сумели даже самолюбивых англичан поставить на колени (изображены молящиеся о спасении России от большевиков англичане), смогли сделать так, что всякого русского человека в Европе будут встречать с распростертыми объятиями (иностранная полиция ловит беглеца из России), сразу прекратили всю лишнюю переписку в канцеляриях (игнорирование госслужащими правительства большевиков), сумели вывести добрый русский народ на широкую дорогу (изображен разбойник на большой дороге)[5]. Главным страхом обывателей при этом оставалась боязнь гражданской войны. В ноябрьском номере «Стрекозы» появляется рисунок,

[1] Новый Сатирикон. 1917. № 40.
[2] Новый Сатирикон. 1917. № 43.
[3] Бич. 1917. № 42.
[4] Бич. 1917. № 41.
[5] Новый Сатирикон. 1917. № 44.



Ил. 239. Ре-Ми. Рождество Христово // Новый Сатирикон. 1917. № 45. Обложка

где Россия изображалась как поле битвы маленьких черных человечков, над которыми с пером и бумагой склонилась История, размышлявшая: «Гм… Это самая скверная история из всех, какие мне приходилось записывать»[1].

З. Гиппиус отзывается на захват власти большевиками, восстание юнкеров стихотворением «Веселье», написанным 29 октября: «Блевотина войны — октябрьское веселье! / От этого зловонного вина / Как было омерзительно твое похмелье, / О бедная, о грешная страна!.. / …Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой, / Смеются пушки, разевая рты… / И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, / Народ, не уважающий святынь!»

Настроения обывателей после захвата власти большевиками можно понять по рождественским выпускам сатирических иллюстрированных журналов. Иллюстрации на обложках последних декабрьских номеров «Нового Сатирикона» и «Бича» были подписаны строчкой из Великого славословия «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение», которую, согласно евангелию от Луки, Ангелы пропели пастухам, извещая о рождении Иисуса. Н. Ремизов переосмыслил эту легенду в контексте актуальных российских событий и в образе поющих ангелов изобразил трех пьяных мужиков, аккомпанирующих себе на гармошке (причем центральный персонаж, монголоидного типа, соответствовал иконографической традиции, в которой обычно

[1] Стрекоза. 1917. № 44. С. 1.



Ил. 240. Б. Антоновский. Слава вышних // Бич. 1917. № 43. Обложка

изображали Ленина) (ил. 239), а Б. Антоновский создал композицию поющих славословие ангелов над полем, усеянным трупами, над которыми возвышалась смерть с косой (ил. 240). Эсхатологические настроения совпадали с уже отмеченным ростом самоубийств среди душевнобольных в осенний период. Зимой 1917/18 г. эти тенденции лишь усиливались.

Таким образом, журнальная визуальная сатира 1917 г., отражавшая не только смешное, но и страшное, передавала достаточно широкий спектр эмоций обывателей. Корреляция динамики настроений, зафиксированных в карикатурных сюжетах, с динамикой душевных расстройств современников подтверждает ценность карикатуры в качестве источника по эмоциологическим исследованиям. При этом обращение к отдельным сюжетам, мотивам раскрывает те значения, которыми публика наделяла современные ей события или политических персонажей, помогает глубже понять смыслы эпохи. Приведенная в начале главы карикатура М. Ага «История русской революции в одном лице» в целом соответствует психологической динамике общества рассматриваемого периода, за тем исключением, что в апреле 1917 г. художник еще не был достаточно циничен, чтобы предугадать скорую смену восторженных настроений «медового месяца» революции чувством эсхатологического страха осени — зимы 1917 г.

От «революционного психоза» к «контрреволюционному комплексу»: психическая теория и психоэмоциональная динамика российского общества

В феврале 1917 г. революционные события начали развиваться стихийно во многом под воздействием слухов, выражавших распространенные в обществе фобии. Однако февральское насилие оказалось порождением не злого умысла тех или иных политических групп, а той эмоционально-психологической атмосферы, которая характеризовалась иррациональным страхом. Аффективное состояние революционизированных толп отмечали многие сторонние наблюдатели (несмотря на то что некоторые из них являлись носителями консервативной идеологии, статистика душевных расстройств за 1917 г. подтверждает их оценки). Н. Е. Врангель сравнивал поведение возбужденных людей на улице 27 февраля с поведением душевнобольных; о «значительном количестве» сумасшедших на улицах Петрограда в дни Февральской революции упоминал англичанин С. Джонс[1]. Аффективное поведение становилось синонимом революционных действий. В. П. Булдаков совершенно справедливо отметил психопатологическую природу революции, в которой неконтролируемое насилие снизу выражало инстинкты архаичного бунтарства[2]. В этом плане проблема революционной психопатологии оказывается шире медицинского подхода, предстает как историческое явление интерментальной сферы, в которой эмоции отдельных субъектов, душевные заболевания пациентов клиник проявляют общее состояние социума.

Изучая источники личного происхождения февраля 1917 г., можно отметить распространение таких «негативных» эмоций, как страх, ненависть, презрение, испытывавшихся представителями разных политических лагерей друг к другу. Сильные негативные переживания приводили к развитию дистресса. Вместе с тем скорая «победа» революционеров быстро окрасила эмоциональный фон в позитивные краски: страх сменился надеждами, ненависть — восторгом. Такая относительно быстрая эмоциональная инверсия приводила к эмоциональному выгоранию, развитию эустресса.

В марте 1917 г. в печати стала появляться информация о том, что количество душевнобольных, поступающих в городские клиники, в несколько раз превосходит этот показатель в дореволюционный период[3]. Корреспондент «Биржевых ведомостей» сообщал о «небывалом» наплыве психических больных, указывая, что в одну только больницу Николая Чудотворца за неделю доставили 150 человек[4]. Автор делил вновь прибывших пациентов на страда-

---

[1] *Врангель Н. Е.* Воспоминания… С. 350–351; *Jones S.* Russia in Revolution… P. 118.

[2] См.: *Булдаков В. П.* Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997.

[3] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1917. 8 марта.

[4] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1917. 9 марта.

ющих манией преследования и тех, кто пребывал в возбужденном состоянии, постоянно «звал на баррикады». Среди первой категории журналист выделил вице-адмирала В.А. Карцева (в прошлом командира крейсера «Аврора»): «Адмирал страдает манией преследования; ему все время кажется, что его преследуют, что за ним гонятся по пятам… И мысль о самоубийстве приходит к нему как единственный выход. Он этим бредит, кричит, требует оружия»[1]. Воспоминания К.И. Глобачева, находившегося вместе с Карцевым под арестом в Министерском павильоне Таврического дворца, подтверждают сведения корреспондента. Бывший начальник охранки вспоминал, что вице-адмирал «с первого дня своего ареста стал обнаруживать признаки сильного расстройства нервов. Однажды в 4 часа утра он вскочил со своего кресла, в котором спал, и бросился на часового с намерением выхватить у него винтовку. Тогда другой часовой выстрелил и пробил ему пулей плечо на вылет… Карцева солдаты оттащили от часового и передали двум явившимся на крики санитарам. Оказалось, что на него нашел припадок острого умопомешательства, и он имел намерение, вырвав винтовку из рук часового, покончить самоубийством»[2].

Покушались на самоубийства и в стане «революционеров». Характерным примером стал суицид солдата 3-го железнодорожного батальона Николая Мануйлова, делегированного в Петроград для передачи редакции «Известий Совета солдатских и рабочих депутатов» коллективного приветствия. Редактор, по-видимому, потерял записку в массе поступавших обращений, писем и прочих материалов, но солдат, исключительно эмоционально воспринимавший события последнего времени, не смог вынести эту ничтожную неудачу и застрелился, оставив предсмертное письмо: «Я прибыл в Петроград 3 марта… Приветствие от батальона не попало в „Известия“. Председатель забыл дать записку. Я просил три раза редактора внести поправку. Он забывал. А я терзался и душевно болел, и заболел. Все это сделало меня полоумным, парализованным, нервничал ужасно. Никогда в жизни не находился в таком состоянии. Хочется жить на новой заре лучшей народной жизни. Ведь цепи спали. Великий русский народ, ты стал на лучшую дорогу, сбросив с себя цепи рабства. Решил — шесть часов утра……»[3]

Товарищ председателя петроградского Общества психиатров П.Я. Розенбах в 1917 г. вновь заговорил о «революционном психозе», описывая типичный случай своего пациента — бывшего жандарма: «Он мечется в страхе, слышит, как прислуга сговаривается его убить. Врач пугает его. Он передает свои опасения жене, которая убеждает его, что ему нечего опасаться. Он успокаивается,

[1] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1917. 9 марта.

[2] *Глобачев К.И.* Правда о русской революции. Воспоминания бывшего начальника петроградского охранного отделения. М., 2009. С. 95–96.

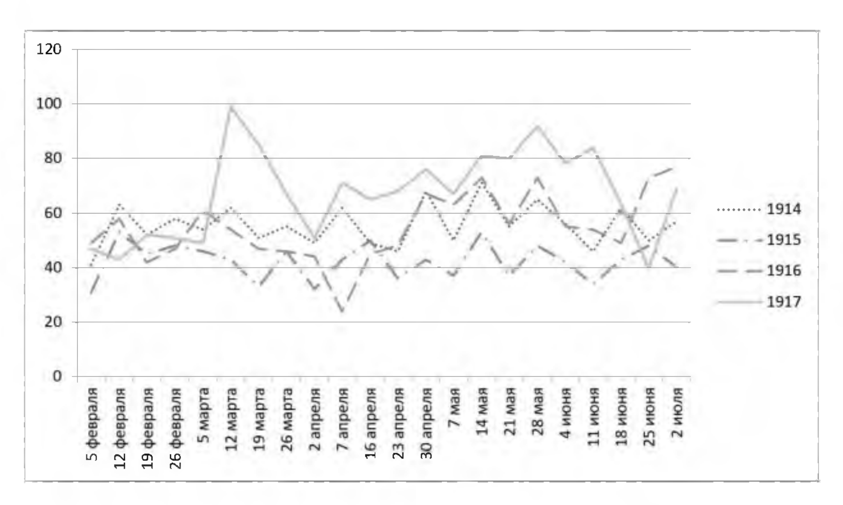
[3] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1917. 16 марта.

но следующая слуховая галлюцинация приводит его в прежнее состояние»[1]. Розенбах приводил те же симптомы «революционного психоза» 1917 г., что и Ф. Е. Рыбаков для психоза 1905 г. При этом психиатр делал вывод о том, что революция оказалась более травмирующим психику современников событием, чем начало Первой мировой войны: «Казалось, что связанные с современной войной душевные переживания и потрясения должны были дать значительный процент психозов войны. Но это оказалось не так. Из 6–7 тысяч душевно-больных воинов, как мне пришлось наблюдать, ни на одном я не видел особенно заметного влияния ужасов войны. В литературе текущей войны тоже до сих пор нет данных для того, чтобы проследить влияние войны, как фактора психического. Не то произошло во время революции. Когда началась революция, во все дома для душевно-больных стало поступать небывало большое количество психических больных. Особенно много их пришлось на март месяц»[2]. Розенбах объяснял парадокс тем, что война в сознании людей и так связана со смертью, страданиями и лишениями, к которым солдат оказался психологически лучше подготовлен, чем к свершившейся революции, перевернувшей все жизненные устои. Розенбах отметил, что осмотренные им в первые дни революции пациенты, страдавшие острыми психозами, за несколько дней до этого были совершенно здоровы. Тем не менее он обратил внимание, что заболевшие субъекты имели наследственную предрасположенность.

Однако дальнейшая попытка Розенбаха составить психический портрет политически активного революционера выявила тенденциозность ученого. Так, психиатр писал: «Вообще среди представителей самых крайних учений на протяжении истории было много полупомешенных с точки зрения публики. Это дегенераты с сохраненной умственной жизнью, но неуравновешенные и склонные усваивать вычурные идеи. Такие типы падки на крайние социальные учения. В искусстве они создавали школы футуризма и кубизма, так как их не удовлетворяли обычные формы… В средние века такие субъекты основывали религиозно-фанатические секты… В наш век, однако, религиозные вопросы мало кого могут привести к фанатизму. Но в области социально-политической наблюдается то же самое… Я не хочу этим сказать, чтобы вообще вожаки крайних течений были психопатами. Но если рассмотреть группу их адептов, то, наверное, среди них процент психопатов и дегенератов гораздо выше, чем среди партий умеренных»[3].

Тем не менее газетные сообщения, воспоминания свидетелей революции о росте психических расстройств, статьи психиатров находят подтверждение в официальной отчетности больниц, которая показывает, что в марте 1917 г. в столице действительно случился двукратный рост сумасшествий

[1] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1917. 18 мая.
[2] Там же.
[3] Там же.



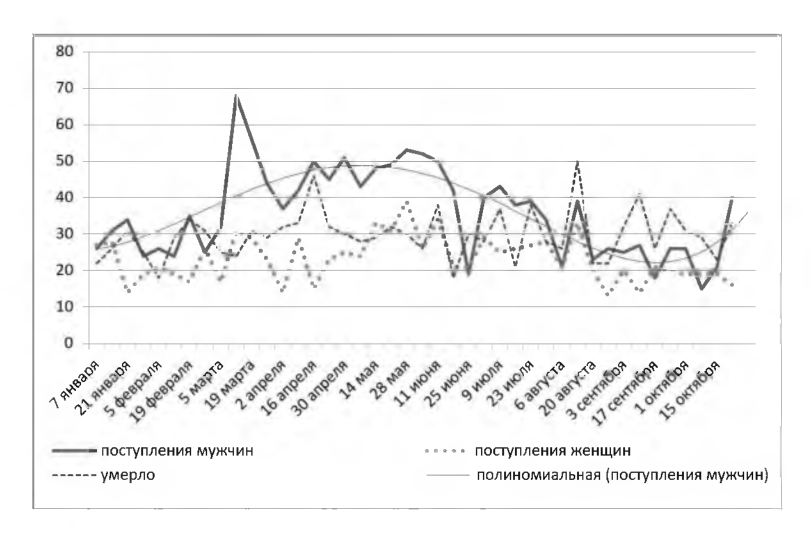
Ил. 241. Сравнительный график поступлений душевнобольных в городские клиники Петрограда за февраль — июнь в 1914–1917 гг.

по сравнению с аналогичным периодом за все годы войны (ил. 241). Пик поступлений пришелся на период с 5 по 15 марта. В среднем в марте 1917 г. 75 человек еженедельно поступали в психиатрические лечебницы, в то время как для февраля 1917 г. среднее еженедельное число поступлений составляло 48 человек.

Примечательно, что в феврале пик душевных расстройств среди мужчин пришелся на неделю с 13 по 19 февраля, а пик обращений женщин — с 20 по 26 февраля, т.е. непосредственно в момент начала революции. Вместе с тем мартовское психическое обострение произошло в основном за счет мужчин, в то время как для женского населения столицы наиболее кризисным временем революции стала неделя 21–28 мая (ил. 242). В это время в столице проходили I Всероссийский съезд крестьянских депутатов и Всероссийский съезд офицерских депутатов, выборы в городские и районные управы, а также по всей России — епархиальные съезды православного духовенства и мирян, на которых избирались делегаты для Всероссийского съезда. Впервые женщины России получили возможность реализации избирательного права, для некоторых из них это оказалось непростым нервным испытанием. При этом, конечно, нельзя сказать, что рост поступлений в психиатрические больницы женщин происходил за счет избирательниц. Вероятно, сказывалось накопленное психологическое напряжение за предшествующий период, которое теперь вылилось во время сезонного весеннего обострения. Б.В. Никольский писал о развившейся в мае 1917 г. тяжелой форме неврастении у его супруги, не включенной в активную политическую жизнь[1].

Обращают на себя внимание также пики самоубийств душевнобольных, пришедшиеся на недели до 16 апреля, 13 августа, 10 сентября. При этом важно отметить, что с августа 1917 г. количество самоубийств среди пациентов

[1] *Никольский Б.В.* Дневник. 1896–1918. Т. 2. 1904–1918. СПб., 2015. С. 287.



Ил. 242. Движение душевнобольных и их смертность в городских больницах Петрограда в 1917 г.

психиатрических лечебниц начинает превышать число вновь поступавших душевнобольных (но больше всего самоубийств было совершено за апрель 1917 г.). Очередной резкий рост поступлений начался 15–22 октября, когда Петроград находился во власти слухов о готовящемся вооруженном восстании большевиков.

Эмоциональный фон отражался на политических процессах, определял поведение отдельных политиков, форму их действий. В разгар апрельского кризиса М. Горький в «Несвоевременных мыслях» писал о том, что вся политика держалась на эмоциях, которые вели к искривлениям психики и вносили в политику темные инстинкты[1]. Учитывая, что 1917 г. отличался чрезвычайно насыщенным эмоциональным фоном, политическим лидерам для поддержания в глазах общества соответствующего реноме необходимо было ему соответствовать. Наибольших успехов в «эмоциональной политике» достиг А.Ф. Керенский. Б.И. Колоницкий, исследовавший его культ, обратил внимание на то, что министр очень тонко чувствовал темп политической жизни, что заметно отличало его от прочих членов Временного правительства[2]. Стремительность Керенского восхищала современников. Газеты с восторгом описывали распорядок дня министра, удивляясь тому, что за три часа Керенский успевал посетить и поприветствовать девять воинских частей[3].

Однако Керенского отличал не только насыщенный график, но в первую очередь — эмоциональная насыщенность его выступлений. Талантливый оратор, он умело манипулировал слушателями, выбрав для себя образ

[1] Новая жизнь. 1917. 20 апреля.

[2] *Колоницкий Б.И.* «Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование культа «вождя народа» (март — июнь 1917 года). М., 2017. С. 188.

[3] Биржевые ведомости. Вече. вып. 1917. 9 мая.

актера-неврастеника, предполагавший истерические пассажи, драматические паузы, полуобморочное состояние, т.е. все то, что соответствовало особенностям психологической атмосферы. Актриса А.Г. Коонен вспоминала одно из собраний, на которых Керенский довел публику до экстаза: «И выступление Керенского, и атмосфера в зале производили впечатление какого-то истерического театрального представления. Керенский показался мне похожим на актера-неврастеника (амплуа, еще не вышедшее из моды), который самозабвенно играл роль вождя, увлекающего за собой толпу. Дамы, слушая его, хватались за голову, рыдали, срывали с рук кольца и браслеты и бросали их на сцену»[1]. Причем в экстаз впадали не только экзальтированные дамы, но и офицеры — георгиевские кавалеры, бросавшие к ногам министра свои кресты, некоторые также падали в обморок. По-видимому, в глазах определенной части общества Керенский олицетворял рыцаря-безумца, носителя высшей формы безумия как двигателя прогресса, о котором писали Н. Вавулин, А. Закржевский[2]. Не случайно Розенбах сравнивал фанатиков-революционеров с художниками-футуристами.

Рано или поздно эмоциональный фон меняется, затянувшиеся эмоции либо затухают, либо приводят к невротическим расстройствам. Современники обращали внимание, что в конце мая на смену буйным психам стали приходить «тихие сумасшедшие»: «Они бродят по улицам и никого не трогают, у них, главным образом, тихое помешательство»[3]. Забегая вперед, отметим, что периодизация революции как этапов буйного и тихого помешательства была предложена П.А. Сорокиным в конце Гражданской войны. Социолог считал, что на первой стадии революции «„чувственно-эмоциональный тон“ общественной техники становится удивительно импульсивным, неустойчиво-беспорядочным. Отчаяние и радость, взрывы ненависти и восторга, подавленности и безудержного веселья, обожания и презрения, мести и великодушия лихорадочно сменяют друг друга… Во вторую половину революции, в силу усталости, истощения, голода и бедствия, это буйное состояние сменяется пассивностью, подавленностью и безразличием. Общество из буйного помешанного становится „тихопомешанным“, мрачным и апатичным»[4].

В августе 1917 г. неврастеник-Керенский уже не удовлетворял эмоциональные потребности общества, на политическую сцену восходил герой иного амплуа — Л.Г. Корнилов. Примечательно, что последующий конфликт Керенского и Корнилова также может быть рассмотрен в эмоционально-психическом ключе: в 20-х числах августа в Петрограде распространились слухи о заговоре

---

1 *Коонен А.Г.* Страницы жизни. М., 1985. С. 233.

2 См.: *Вавулин Н.* Безумие, его смысл и ценность. СПб., 1913; *Закржевский А.* Рыцари безумия (футуристы). Киев, 1914.

3 Биржевые ведомости. Веч. вып. 1917. 30 мая.

4 *Сорокин П.А.* Социология революции. М., 2004. С. 173–174.

Корнилова[1]. С. Н. Дурылин записал в дневнике по их поводу 25 августа: «Тревога всюду, слухи и ожиданье»[2]. В августе одновременно со слухами о готовящемся мятеже Корнилова ходили слухи о подготовке восстания большевиков, газеты писали, что на 27 августа «назначена резня»[3]. 25 августа «Вечернее время» поместило рядом две большие статьи, одна называлась «В ожидании выступления большевиков», другая — «Борьба с контр-революцией». Во второй разбирались слухи о заговоре с целью освобождения Николая II. Современникам приходилось жить с постоянным чувством страха перед опасностью слева и справа или же выбирать для себя того врага, угроза с чьей стороны казалась более актуальной. Керенский совершил выбор «в пользу» правой угрозы и, не выдержав нервного напряжения, первым нанес удар по главнокомандующему, объявив его изменником.

В контексте психиатрической интерпретации «корниловского мятежа» обращает на себя внимание и роковая роль В. Н. Львова — признанного впоследствии психически больным. Наводит на подозрения о неврозе и самоубийство А. М. Крымова. Понять причину конфликта генерала и министра не удастся без учета резко ухудшившейся после падения Риги общей эмоциональной атмосферы. Вот как настроения кануна «мятежа» описал корреспондент в заметке от 25 августа под названием «Нервы Петрограда»: «Наступили страшные дни, когда население Петрограда не может не чувствовать непосредственной тревоги за себя. Совсем на-днях страшные слова о том, что Россия гибнет, еще казались несколько риторическими. Для большинства петроградцев в эти слова еще не вливалось живое, личное, прямо физическое ощущение тревоги. Теперь все сразу переменилось. Переменилась даже погода. После ясных, жарких дней ранней осени тяжелые мрачные тучи затянули серым трауром петроградское небо и льют холодные, нудные дожди… Нервы сразу поддались и началось бегство»[4].

Новое психологическое напряжение пришлось на октябрь 1917 г., когда в столице опять распространились слухи об очередном восстании большевиков, а также о вероятном захвате столицы немцами; начался новый рост поступлений душевнобольных. Слухи расползались по городу, нервируя обывателей, отвлекая от привычных дел. В эти дни А. Блок записал в дневнике: «На улицах возбуждение (на углах кучки, в трамвае дамы разводят панику, всюду говорится, что немцы придут сюда, слышны голоса „все равно голодная смерть“)»[5]. Те же самые разговоры отметил и М. Горький, демонстрируя собственную

---

[1] *Дурылин С. Н.* Из «Олонецких записок» // Наше наследие. 2011. № 100; *Бьюкенен Дж.* Мемуары дипломата. М., 1925. С. 261–262.

[2] *Дурылин С. Н.* Из «Олонецких записок»…

[3] Вечернее время. 1917. 25 августа.

[4] Биржевые ведомости. Веч. вып. 1917. 25 августа.

[5] *Блок А.* Дневник. М., 1989. С. 249.

раздраженность и чувство страха перед возможным повторением насилия июльских дней. 18 октября в статье «Нельзя молчать» он высказался по поводу слухов о большевистском восстании: «Все настойчивее распространяются слухи о том, что 20-го октября предстоит „выступление большевиков“… Вспыхнут и начнут гадить, отравляя злобой, ненавистью, местью все темные инстинкты толпы, раздраженной разрухою жизни, ложью и грязью политики — люди будут убивать друг друга, не умея уничтожить своей звериной глупости. На улицу выползет неорганизованная толпа, плохо понимающая, чего она хочет, и, прикрываясь ею, авантюристы, воры, профессиональные убийцы „начнут творить историю русской революции“»[1]. В Москве Н. П. Окунев также фиксировал начавшуюся панику среди горожан[2]. В некотором роде в октябре повторилась картина января — февраля 1917 г., когда все чувствовали неизбежность революции, ожидали ее. Отличие только в более точных сроках и сопутствующих настроениях. Практически во всех газетах Петрограда и Москвы поднимался один и тот же вопрос: «Что день грядущий нам готовит?» И, по общему убеждению, «готовил он нечто прескверное в образе большевистского восстания»[3]. В. П. Булдаков обратил внимание, что слухи о выступлении большевиков как будто запрограммировали массовое сознание на осуществление этого сценария, так как изначально неуверенные в собственных силах большевики «словно подгонялись слухами об их постоянной готовности к захвату власти»[4].

Раскрыть психологическое состояние представителя средних слоев городского социума осенью 1917 г. может помочь интересный документ — письмо московского обывателя, адресованное «будущему историку наших дней», выдержанное в стиле трагифарса:

> Я человек сложившийся, мне тридцать пять лет, и у меня есть все, что полагается иметь сложившемуся человеку: квартира, жена, дети и кошка… Вы помните, как вышел я на улицу в мартовские дни? Я улыбнулся, мое лицо розовело от скромной гордости и на груди трепыхался торжественный красный бант… И что же пришлось мне увидеть. Передо мной, лицом к лицу оказался никто иной, как Филимон Лушкин… Ну да, да, — тот самый всегда небритый и полупьяный Филимон, которого моя тетушка, сердобольное создание, иногда поила чаем на кухне. Он сбил меня с ног.
>
> — Смотрите! — заорал он. — И ентот выполз. С красным бантом!.. Хо-хо-хо!
>
> Затем он последовательно ударил меня: в глаз, в нос и ухо… В конце концов мне удалось встать на ноги, и я выбрался в тупичек… Все мои друзья и знакомые

[1] Новая жизнь. 1917. 18 октября.

[2] *Окунев Н. П.* Дневник москвича. Кн. 1. М., 1997. С. 95.

[3] Русские ведомости. 1917. 22 октября. С. 3.

[4] *Булдаков В. П.* Понять смуту: историк между мифами о революции // Вестник тверского государственного университета. Серия «История». 2018. № 3. С. 18.

уже были здесь. Кое-кто тихо постанывал… Я подошел к одному из них и с соболезнованием сказал:

— Плохо же вам живется!

— Живется, говорите вы? — задумчиво переспросил меня он. — Кажется наоборот: умирается. Нет трех ребер и через пролом в черепе уходит воздух…

…Я нашел себе тумбочку поудобнее, подстелил под себя, — все-таки мягче, чей-то валявшийся рядом раздавленный котелок, сел, сложил ручки на животике и задумался. И думал, что я, тридцатипятилетний сложившийся человек, — действительно сложившийся: сложил меня кто-то пополам и спрятал в карман[1].

Революция и начавшаяся следом Гражданская война окончательно обеспечили осмысление современниками произошедших событий при помощи психопатологической терминологии. Если до 1917 г. подобные интерпретации были в основном уделом психиатров и представителей правых сил, то теперь более широкие слои, включая тех, кто искренне приветствовал свержение самодержавия, описывали революцию как торжество низших инстинктов в условиях нравственной и психической деградации населения. 1 ноября 1917 г. новониколаевский «Голос Сибири» писал: «Душевные эпидемии так же, как и гипнотические воздействия действуют на массы. Чем невежественнее масса, тем больше она поддается воздействию внушения, тем невоздержанее ее порыв и внутреннее психическое состояние… Рассматривая современные события в России под углом зрения психологии, приходится признать, что русский народ в настоящее время переживает полосу ненормальной душевной эпидемии, развивающейся на почве невежества»[2]. Далее вера в Ленина приравнивалась к вере в дьявола и определялась как «та самая психологическая болезнь, кликушество, состояние невменяемости, исступления, которое проявляют больные „одержимые бесом“». 13 ноября 1917 г. московская газета «Сигнал» вышла с крупным заголовком на первой странице: «Россией управляет сумасшедший! Мы требуем освидетельствования умственных способностей „самодержца“ Ленина!» Как сообщалось, к выводу о том, что Ленин умалишенный, пришли представители армейского комитета юго-западного фронта после беседы с председателем СНК[3].

Были попытки обоснования психопатологического состояния общества перенапряжением физических и психических сил в условиях военного времени, травмой военных лет. Эсеровская газета «Труд» преподносила поддержку Ленина как «массовый большевистский психоз», объясняя его усталостью от войны и порожденными ею иллюзиями насчет возможности заключения

[1] Фонарь. 1917. 23 октября.
[2] Голос Сибири. 1917. 1 ноября.
[3] Сигнал. 1917. 13 ноября.

справедливого демократического мира[1]. Следует заметить, что такая интерпретация соответствует упоминавшемуся феномену «постправды», когда общество желает быть обманутым ради достижения временного психологического комфорта. Идея мира являлась сильнейшим эмоциональным стимулом осени 1917 г.

Летом 1918 г. историк и социолог Н. И. Кареев, уехав из города, в смоленской деревне написал труд, за общими социально-философскими рассуждениями которого скрывались характеристики современной эпохи как периода массового психоза: «Революции в общественной жизни — то же самое, что в природе грозы и бури, в организмах — острые заболевания… В душевной жизни индивидуумов им соответствуют психозы, да и на самом деле в явлениях интерментальной психической жизни они имеют характер коллективных психозов, настоящих психических эпидемий, в которых происходит заражение одних другими»[2]. Идея психического заражения развивала уже упоминавшуюся теорию В. Х. Кандинского о «душевной контагиозности» — инстинкта подражания, определявшего заразительность чувств и эмоций[3]. П. А. Сорокин в задуманных в годы Гражданской войны трудах «Голод как фактор», «Социология революции» также поднимал тему массовых психических девиаций.

По-видимому, российская интеллигенция, подвергнувшаяся в этот период депрофессионализации, терявшая социальный статус, наиболее тяжело адаптировалась к новым условиям. Нормой становилось затягивавшееся состояние психологической подавленности, способствовавшее развитию неврозов и психозов. Депрессия превращалась в классовый признак, и в среде интеллигенции распространялись слухи, что комиссары составляют расстрельные списки из числа «считавшихся по своему душевному строю неспособными стать строителями коммунизма»[4]. Представления о том, что большевики начнут истреблять тех, у кого обнаруживаются нервно-психические расстройства, казалось, находили косвенные подтверждения как в теоретических работах, так и в практических действиях новой власти. В 1919 г. в Москве по инициативе психиатрической комиссии при медико-санитарном отделе Московского совета рабочих и крестьянских депутатов началась реформа организации психиатрической помощи, предполагавшая разделение столицы на психиатрические районы и создание новой системы патронажа. С этой целью в Москве было создано психиатрическое бюро для обнаружения всех душевнобольных в городе[5]. Учитывая возросшую нервозность обывателей, данная инициатива была

---

[1] Труд. 1917. 23 ноября.

[2] *Кареев Н. И.* Общие основы социологии. Пг., 1919. С. 175.

[3] *Кандинский В. Х.* Общепонятные психологические этюды // Санкт-Петербургская психиатрическая больница св. Николая Чудотворца. К 140-летию. Том III // В. Х. Кандинский. СПб., 2012. С. 111–112.

[4] *Лосский Н. О.* Воспоминания. Жизнь и философский путь. Минск, 2012. С. 207.

[5] Известия народного комиссариата здравоохранения. 1919. № 2–3. С. 28.

воспринята в определенных кругах с подозрением. Кроме того, масла в огонь подливали употреблявшиеся психиатрами термины «психически полноценные» и «психически неполноценные» люди. В одной из своих статей В.П. Осипов рассматривал «огонь революции» как условие естественного отбора: «Только физиологически, биологически полноценным людям удалось сохраниться в этом очистительном огне»[1]. Неспособность адаптироваться к новым условиям и принять советскую власть он считал симптомом психического заболевания. В конце революции П.А. Сорокин подтвердил, что нервная система интеллектуалов интенсивнее реагирует на «ужасы революционной борьбы», чем нервная система работников физического труда, что привело к резким изменениям «в психике интеллигенции… История старой — типичной — русской интеллигенции кончилась. На место ее приходит новая, с новым психическим укладом… Романтизм, сентиментализм и жертвенность сдуты революцией с психологии интеллигента»[2].

К интеллигенции власти изначально относились с подозрением, записывая их в категорию «бывших людей». Некоторые профессора, доведенные до отчаяния нищенскими условиями существования (в 1918–1922 гг. смертность профессуры в Петрограде была вдвое выше смертности остального населения[3]), действительно позволяли себе открытые нападки на большевиков. С критикой власти выступил И.П. Павлов, причем пытался подвести под свою политическую позицию естественно-научную базу. 27 мая 1918 г. в Концертном зале Тенишевского училища он читал лекцию «Основы культуры животных и человека», в которой рассматривал периоды стабильности и революции как процессы торможения и возбуждения нервной деятельности: «Что такое революция вообще? Это есть освобождение от всех тормозов, о которых я говорил, это есть полная безудержность, безуздность. Были законы, обычаи и т.п. Все это теперь идет насмарку. Старого не существует, нового еще нет. Торможение упразднено, остается одно возбуждение. И отсюда всякие эксцессы и в области желания, и в области мысли, и в области поведения»[4]. В сентябре 1923 г. перед аудиторией Военно-медицинской академии Павлов раскритиковал брошюру Н. Бухарина «Пролетарская революция и культура». На это отреагировали Г. Зиновьев и Л. Троцкий, подвергнув Павлова критике в обращениях к Конференции научных работников, а в 1924 г. в партийном журнале Военно-медицинской академии был напечатан ответ Н. Бухарина «О мировой революции, нашей культуре и прочем (ответ профессору И. Павлову)». Он в целом

[1] *Осипов В.П.* О контрреволюционном комплексе у душевнобольных // Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. 1926. № 2. С. 86.

[2] *Сорокин П.А.* Социология революции. М., 2004. С. 198, 528–529.

[3] Там же. С. 201.

[4] *Павлов И.П.* Основа культуры животных и человека // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 1999. № 9–10.

уважительно отзывался о научных заслугах ученого, но при этом указывал, что Павлов ничего не смыслит в процессах общественного развития[1].

Спустя некоторое время после этой дискуссии считавший себя последователем Павлова В.П. Осипов публикует статью «О контрреволюционном комплексе у душевнобольных», в которой, ссылаясь на теорию рефлексов и корковых связей, попытался объяснить неприятие российскими учеными большевистских экспериментов тем, что их старые корковые связи не вытеснились новыми корковыми соединениями[2]. Данную публикацию можно было бы расценить как попытку вывести из-под удара советской репрессивной машины представителей старой русской профессуры (и, возможно, в какой-то степени так оно и было), если бы статья не основывалась на клиническом материале, с помощью которого автор доказывал наличие «контрреволюционного комплекса» на примере собственных пациентов, среди которых были и сифилитики. Это приводило его к выводу, что «среди критиков Советской власти больше всего больных поздним сифилитическим психозом»[3].

Чтобы сохранить некоторую видимость объективности, Осипов упоминал и о «революционном комплексе» (революционном психозе) на примере тридцатилетнего пациента, страдавшего эпилепсией, среди симптомов болезни которого было громкое, постепенно усиливавшееся монотонное пение, доводившее больного до сипоты. По объяснению больного, этой мелодией он должен был выразить «мировой протест», «мировую скорбь» против мировой тирании, угнетавшей слабых и обездоленных. Тем самым в системе «политических комплексов» Осипова контрреволюционер-сифилитик противостоял революционеру-эпилептику.

Естественно, что статья была встречена в научной среде критически, и в следующем номере «Обозрения психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии» появился ответ доктора И.И. Розенблюма, в котором он поставил под сомнение не только саму гипотезу Осипова, но обрушился с критикой на развивавшуюся В.М. Бехтеревым и Осиповым рефлексологию, обвинив первого в попытках объяснить явления социального порядка одними биологическими процессами и подменить социологию рефлексологией. В отношении концепции «контрреволюционного комплекса» Розенблюм замечал, что монархисты вместе с меньшевиками и эсерами не приняли Октябрьской революции «не потому, что их нервная система была подготовлена для восприятия только Февральской революции, а потому, что они отражали классовые интересы определенных прослоек буржуазии и крестьянства»[4]. В том же номере

[1] *Бухарин Н.И.* Атака: сборник теоретических статей. М., 1924. С. 173.

[2] *Осипов В.П.* О контрреволюционном комплексе у душевнобольных. С. 87.

[3] Там же. С. 89.

[4] *Розенблюм И.И.* По поводу контрреволюционного комплекса у душевнобольных // Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. 1926. № 3. С. 209.

был опубликован ответ Бехтерева и Осипова. Показательно, что Бехтерев не стал защищать концепцию «контрреволюционного комплекса» своего единомышленника, а только ответил на выпады в адрес собственной рефлексологии (признанной после его смерти «империалистической» дисциплиной).

Впрочем, за вульгарный биологизм при изучении социальных процессов доставалось не только Осипову с Бехтеревым, но и Павлову. В 1920 г. Сорокин критиковал его за отстранение от психологической терминологии и ее замену понятиями психических реакций и рефлексов[1], однако позже солидаризировался с рефлексологическим описанием революции Павлова и Осипова: «Деформация поведения, вызываемая революцией, — писал Сорокин, — в первой стадии знаменует его примитивизацию и приближение его к типу поведения животных. Для человека, знакомого с психологией и с рефлексологией, этого факта достаточно, чтобы определить, в каком направлении меняется психика революционного общества. Всякое угасание условного рефлекса физиологически означает уничтожение проторенной соединительной связи („замыкания“) в сером веществе больших полушарий мозга, образованной при воспитании условного рефлекса»[2]. Показательно, что, описывая социальные процессы как рефлексы, Павлов, Осипов и Сорокин приходили к разным выводам: для Павлова революция была периодом исключительного возбуждения нервной деятельности, для Сорокина — торможения, а Осипов пытался увязать возбуждение и торможение с определенными политическими группами населения.

При этом до того, как представить скандальную гипотезу о «контрреволюционном комплексе», Осипов сам пессимистически оценивал последствия 1917–1918 гг. для общего душевного здоровья. В 1919 г. ученый выдвинул тезис о том, что коль скоро относительно кратковременный революционный период 1905 г. вызвал резкий всплеск душевных расстройств, то затянувшаяся и бурно протекающая новая революция должна более негативно сказаться на душевном состоянии людей[3]. Определяя количество душевнобольных в Петрограде в 1908 г. в 2,8 на 1000 жителей, Осипов рассчитал число сумасшедших в 1918 г. в пределах 3,3–4,2 на 1000 человек, отмечая дальнейший рост этого показателя в 1919 г. Помимо внешних причин душевных расстройств, Осипов обращал внимание на то, что хроническое недоедание, голодание и физическое истощение привели к распространению новой клинической формы душевных недугов — острой спутанности сознания или острого бессмыслия, редко встречавшихся в прежние годы (по всей видимости, речь шла о деменции)[4].

[1] *Сорокин П.А.* Система социологии. Т. 1. Социальная аналитика. Ч. 1. Пг., 1920. С. 54–55.

[2] *Сорокин П.А.* Социология революции… С. 164.

[3] *Осипов В.П.* О душевных заболеваниях и душевной заболеваемости в Петрограде в условиях настоящего времени // Известия Комиссариата здравоохранения Союза коммун Северной области. 1919. № 7–12. С. 22–24.

[4] Там же. С. 23.

Впоследствии, правда, Осипов отмечал, что пик душевных расстройств, толчком для которых стала Октябрьская революция, пришелся на 1923–1924 гг., объясняя это тем, что в годы Гражданской войны голод подавлял политические психозы[1]. О том, что психические расстройства приняли массовый характер именно в голодных районах, писал В. А. Горовой-Шалтан[2]. Сорокин также соглашался с тем, что революция и Гражданская война вызвали рост душевных заболеваний[3].

Следует признать, что травмирующее значение революции не столь однозначно, как кажется на первый взгляд. В некоторых случаях новые травмы вытесняли травмы прошлых лет, оказывая на больных временное позитивное воздействие. Так, на динамику душевного здоровья философа Н. О. Лосского повлияли события и первой революции 1905 г., и революции 1917 г., и последовавшей Гражданской войны. Лосский вспоминал, что подписание царского манифеста 17 октября 1905 г. вызвало среди его знакомых «радостное волнение», но когда на следующий день он узнал, что историк Е. В. Тарле ранен конным жандармом на митинге у Технологического института, то «пришел в состояние крайнего возбуждения, которое закончилось сердечным припадком, чрезвычайно ускоренным сердцебиением и тягостным чувством близости смерти»[4]. С тех пор подобные невротические припадки (по всей видимости, панические атаки) у Лосского стали повторяться регулярно, раз-два в месяц, как правило по ночам, вплоть до весны 1917 г., когда очередная нервно-психическая травма оказала терапевтический эффект: «Сильное впечатление, произведенное на меня началом этой революции, и чувство ужаса перед нею… как будто излечили меня от моего психоневроза»[5]. Однако последующие события вызвали новые припадки, избавиться от которых удалось лишь в эмиграции. Впрочем, по мнению Лосского, главной психической травмой за годы Гражданской войны для него стали не политические катаклизмы, физические лишения и голод, а увольнение из Санкт-Петербургского университета в 1921 г.

В дневниках современников, даже остававшихся в относительном душевном здравии, тема психического расстройства возникала в качестве метафоры общей психологической атмосферы: «Ощущение тьмы и ямы. Тихого умопомешательства»[6]. Впоследствии П. А. Сорокин, соглашаясь с Осиповым относительно распространявшейся спутанности сознания, писал о том, что бедствия эпохи Гражданской войны понижали когнитивные способности

[1] *Осипов В. П.* О контрреволюционном комплексе… С. 90.

[2] *Горовой-Шалтан В. А.* К вопросу о душевной заболеваемости населения при современных условиях // Психиатрия, неврология и экспериментальная психология. 1922. № 2. С. 34.

[3] *Сорокин П. А.* Социология революции… С. 204.

[4] *Лосский Н. О.* Воспоминания. Жизнь и философский путь. Минск, 2012. С. 118.

[5] Там же.

[6] *Гиппиус З. Н.* Собр. соч. Т. 9. Дневники: 1919–1941. Из публицистики 1907–1917 гг. Воспоминания современников. М., 2005. С. 56.

индивидов, заставляя их концентрироваться исключительно на актуальных проблемах, сужая способности восприятия[1]. В психологии это известно под термином «тоннельное мышление». Сорокин отмечал также, что снижение когнитивных способностей способствует усилению внушаемости индивида, что делает его беззащитным перед агрессивной пропагандой, а также снижает контроль над эмоциями. Последнее, по мысли социолога, предопределяло жестокость эпохи Гражданской войны[2].

Факторы невротизации общества можно распределить по таким группам, как биологические (плохое питание ослабляло нервную систему организма), социальные (например, депрофессионализация, которая являлась значимой причиной стресса для специалистов), политические (эксперименты в области управления, которые для противников власти обладали сильным травмирующим эффектом), военные (постоянная угроза жизни в условиях Гражданской войны), лексические (агрессивная риторика пропаганды классовой борьбы пугала потенциальные жертвы), бытовые (расстройство привычной повседневности заставляло постоянно приспосабливаться к меняющимся условиям). Как правило, все они оказывали комплексное воздействие на психику современников, однако в качестве триггера той или иной психической реакции могли выступить события или явления любой группы. Так, например, характерной особенностью повседневности периода Гражданской войны стало погружение крупных городов во тьму по причине топливного кризиса. Улицы не освещались, по вечерам в редких домах горел свет. Темнота на фоне других явлений провоцировала у обывателей депрессию.

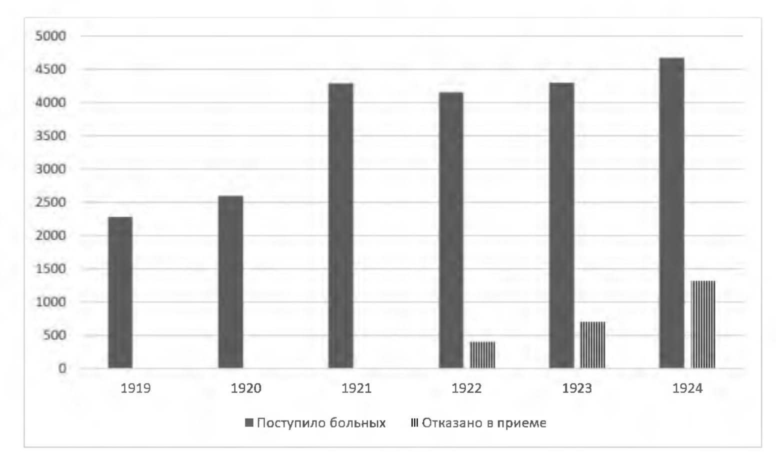
Подтвердить наблюдения психиатров о распространении психоневрозов статистическими данными не просто. За годы Гражданской войны организация психиатрической помощи была существенно перестроена, количество коек сократилось, усилилась миграция населения, в том числе душевнобольных, из городов. Кроме того, психические больные, находившиеся на стационарном лечении, в условиях плохого снабжения оказывались наиболее подвержены эпидемическим заболеваниям — тифу и холере. Л. А. Прозоров отмечал, что смертность душевнобольных от холеры в разных больницах Советской республики за 1918–1919 гг. составила от 65 до 80%[3]. Главным фактором увеличения числа душевных расстройств Прозоров по понятным причинам называл Первую мировую войну, указывая, что к ее окончанию в России был один миллион нервнобольных. При этом официально числившихся душевнобольных весной 1918 г.

---

[1] *Сорокин П. А.* Человек и общество в условиях бедствий. Влияние войны, революции, голода, эпидемии на интеллект и поведение человека, социальную организацию и культурную жизнь. СПб., 2012. С. 36–37.

[2] Там же. С. 40–41.

[3] *Прозоров Л. А.* Холера и сыпной тиф в психиатрических больницах // Известия народного комиссариата здравоохранения. 1919. № 5–6. С. 15.



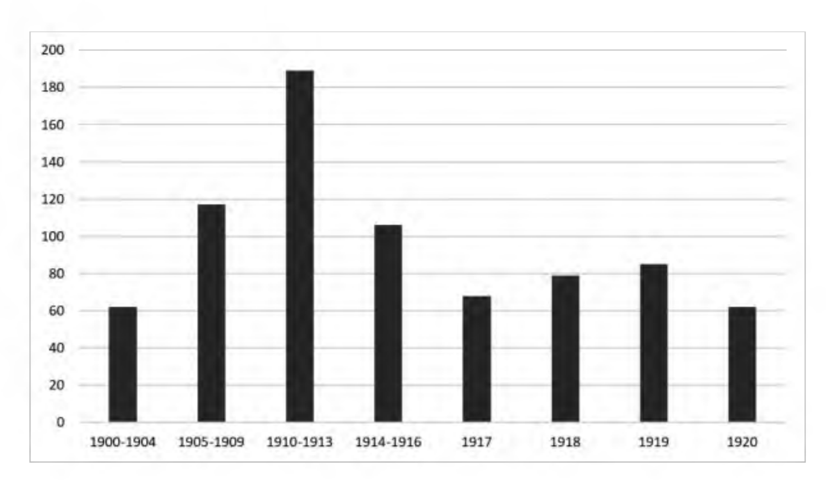
Ил. 243. Поступление душевнобольных в клиники Москвы (по данным В.А. Громбаха)

было 50 000. Учитывая признания психиатров, что в больницах находится не более 10% душевнобольных, можно говорить о том, что психических больных в 1918 г. на территории Советской России было не менее 500 000.

Хотя цифры, отражавшие динамику поступлений душевнобольных в городские клиники, нельзя по вышеназванным причинам соотнести с дореволюционным периодом, имеющиеся данные по отдельным городам позволяют говорить о росте психических заболеваний. Так, В.А. Громбах приводит статистику по московским больницам за 1919–1924 гг., причем фиксируя и случаи отказа от стационарного лечения, что, ввиду переполненности клиник, начало практиковаться с 1922 г., когда решено было определять в стационар лишь «абсолютно нуждающихся в помещении в больницу»[1]. Диаграмма поступления душевнобольных в клиники Москвы (ил. 243) подтверждает выводы Осипова о том, что рост числа психических больных продолжался и после Гражданской войны. Это подтверждает мысль, что Гражданская война не только оказывала кратковременное неврологическое воздействие на человека (травматический невроз), но и способствовала развитию долгосрочных патологических процессов в организме, приводивших к психозам. Психиатры расширяли проблему долгосрочных последствий, указывая, что психические болезни могут передаваться следующим поколениям. Сорокин и вовсе считал революцию «орудием отрицательной селекции».

При легкой форме нервного расстройства, например депрессии, больному нельзя было рассчитывать на государственное лечение, и хотя приведенная диаграмма не отмечает динамику депрессивных расстройств, их число можно проследить по зарегистрированным случаям самоубийств. Корреляция между глобальными внешними факторами, катаклизмами и депрессией индивида

[1] *Громбах В.А.* Московская психиатрическая организация // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 1925. № 1. С. 108.



Ил. 244. Годовое количество самоубийств в Москве на 1 млн человек[1]

достаточно сложна. Так, накануне Первой мировой войны в российском обществе усилились депрессивные настроения, росло число самоубийств (за всю первую четверть XX в. их пик пришелся на последний предвоенный год), но известие о начале мирового конфликта отвлекло потенциальных суицидентов от личных проблем, привело к снижению количества самоубийств, и так продолжалось вплоть до 1915 г. Но в канун революции количество суицидов снова пошло вверх. В Москве 1917 г. дал наименьшее число суицидов за все годы мировой войны, но с 1918 г. начался их новый рост (ил. 244). Конечно, рассматривая диаграмму, необходимо учитывать миграционные процессы: мобилизацию 1914 г., переезд в сельскую местность части городского населения в годы Гражданской войны. В этом случае разница довоенного и военного, дореволюционного и революционного периодов сгладится.

В годы Гражданской войны рост суицидальной активности произошел в основном за счет 15–30-летних — молодежи было тяжелее адаптироваться к изменившимся условиям жизни, лишавшим их будущего. Однако и среди идейных коммунистов начинала распространяться меланхолия. 25 ноября 1918 г. в письме В.И. Ленину молодой человек жаловался, что на улицах его окружают унылые или искаженные злобой лица: «Пройдите по улицам и Вы не увидите ни одного улыбающегося лица. Все ходят угрюмыми, подавленными. Это тогда-то, когда яркое солнце социализма, казалось, должно вернуть всех к радости бытия»[2]. Окончание Гражданской войны не сняло проблему самоубийств молодежи: то, с чем готовы были мириться люди в экстремальные времена, стало фактором нервных срывов тогда, когда видимые причины всеобщей неустроенности пропали. Многие начали подводить итоги пережитому

[1] Статистический ежегодник. 1918–1920 (выпуск второй). Труды Центрального Статистического Управления. М., 1922. С. 101.

[2] Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 гг. / Отв. ред. А.К. Соколов. М., 1997 С. 45.

и приходили к неутешительным выводам. Историк И.И. Литвинов в январе 1922 г. писал в своем дневнике, что тема самоубийства стала одной из самых популярных в разговорах среди коммунистической молодежи и что «стреляются, отравляются коммунисты на каждом шагу»: «И вот теперь, когда революция кончилась, когда буря ушла, когда волны улеглись, многие, четыре года жившие, как в дурмане, считать начинают раны, товарищей считать. И приходят к самым печальным заключениям. Личная жизнь разбита. Одиночество. Семьи нет. Поддержки почти никакой. Нервы расшатаны. Здоровье подорвано. Силы на исходе. Материальное положение не обеспечено. А товарищи многие благоденствуют. У одного теплый уголок: семья, жена и дети. Другой скоро кончает высшее учебное заведение. Третий сумел, бог весть каким способом, себя обеспечить. Четвертый торгует вовсю и богатеет. Пятый сановничает, ему — почет и уважение. И тогда многие и многие из коммунистов, увидя, как они остались в дураках, разочарованные и огорченные, лишают себя жизни по всякому поводу и без всякого повода»[1].

Резкое ухудшение быта травмировало психику и старших поколений. Самоубийство в 1922 г. жены Н.П. Окунев воспринял как почти естественное следствие новой жизни: «Эта проклятая война и все последующее, исковеркавши царства, города, дома, квартиры, — доконала и наше не только счастье, но и относительное благополучие. К концу остались истрепанные нервы, изможденные силы, разочарование и трепет перед грядущими неприятностями… Не стало сил у моего бедного и благородного друга! Окончательно надломилось здоровье от этих кухонных забот, стирок, уборок, колок дров, топок печек, тасканья мешков и разных „торговых“ забот»[2].

Что касается методов сведения счетов с жизнью, то по сравнению с 1917 г. сократилось число огнестрельных самоубийств при росте числа повешений. Как считают некоторые психиатры, такой выбор характерен для особо отчаявшихся людей, связан с большим количеством предварительных действий, исключающих эмоциональный порыв, в то время как застрелиться можно под воздействием спонтанного аффекта. Кроме того, при выстреле сохраняется надежда на осечку, при отравлении — надежда на спасение (последний способ сведения счетов с жизнью чаще выбирают женщины, по одной из версий и потому, что он не уродует внешность). Впрочем, сокращение количества самоубийств с помощью огнестрельного оружия может объясняться и другой причиной — кампаниями по реквизиции оружия у населения.

Таким образом, психиатрическая теория не только демонстрировала научные наработки ученых, но и оказывалась инструментом политической пропаганды. Понятия «революционного психоза», «контрреволюционного комплекса»

---

[1] Иосиф Литвинов: дневник «красного профессора». Февраль — сентябрь 1924 г. / Публ. В.Л. Гениса // Вопросы истории. 2013. № 6. С. 51–74; № 7. С. 59–83.

[2] *Окунев Н.П.* Дневник москвича. Кн. 2. М., 1997. С. 197.

едва ли могут быть признаны научными, в ряде случаев они демонстрировали уязвимость авторов перед характерными эмоциями и вызовами своего времени. Вместе с тем динамика поступлений душевнобольных за 1917 г. показывает определенную корреляцию между политическими событиями и психическим состоянием общества, позволяет сделать вывод, что революция стала травмирующим фактором как для ее приверженцев, так и для противников. Последующие события Гражданской войны принесли серию новых испытаний, способствовавших дальнейшему росту психических расстройств и связанной с ними суицидальной активности населения. Хотя в абсолютных цифрах количество душевнобольных не может быть признано в качестве значимой части населения, изучение динамики нервнопсихических расстройств позволяет лучше понять психологическую атмосферу общества революционного времени, определить наиболее травматичные для массового сознания периоды.

* * *

Российская революция 1917 г. была объективным и закономерным событием. Ее предпосылки вызревали с конца XIX в., но окончательные причины сформировались в годы Первой мировой войны во многом по причине негибкости верховной власти, цеплявшейся за самодержавные основания. Несмотря на это, объективных причин к тому, чтобы революция началась именно 23 февраля, не было. Хлебный бунт, разгоревшийся в политический протест, произошел во многом под воздействием слухов, во власти которых оказались и общество, и полиция, ожидавшая революционные беспорядки 14 февраля. Слухи выражали явные и скрытые общественные фобии (перед голодом, перед полицейскими провокациями и т. д.), поэтому с первых дней революции в ее основу легло стихийное насилие, ставшее некоей защитной реакцией толпы как общественного организма. Первым от этого насилия пострадали городовые — напуганное массовое сознание обывателей приписывало им стрельбу по народу из пулеметов с крыш и чердаков. Однако даже после победы революции, в так называемый период «медового месяца», обстановка в столице оставалась нервозной: на смену страхам перед «протопоповскими пулеметами» пришли страхи перед «белыми крестами» и «черными автомобилями». Последние трансформировались в городскую легенду, а затем в мифему, развитие которой отражало метаморфозы обывательских страхов перед революционным насилием (от черносотенных организаций до уголовников и леворадикальных анархиствующих групп). В революции 1917 г. с первых ее дней стихийные процессы оказывались доминирующими, чувственно-эмоциональное определяло рациональное отношение к событиям, вследствие чего слухи вытесняли «факты» и становились значимым фактором социально-политической истории. Отсюда рождалась их прогностическая способность, а также способность влиять на текущие и будущие события, известная как «самоисполняющееся пророчество». Несмотря

на то что и накануне февраля, и накануне октября власти из слухов «знали» о приближающейся трагической развязке, они своими действиями лишь способствовали реализации наименее благоприятных для себя сценариев. Завладев умами обывателей, слухи как будто программировали массовое сознание на исполнение «пророчества».

Амбивалентность настроений весны 1917 г. отчасти объясняется парадоксальной природой революции, в которой проявились несбывшиеся мечты периода патриотической мобилизации общества 1914 г. Тогда надежды на общенациональное единение провалились, теперь революция дарила новые надежды на начало возрождения страны. Революционный энтузиазм февральско-мартовских дней нес в себе сильнейшую патриотическую составляющую, главной ценностью которой становилась идея свободной демократической России. Революция, ставшая преддверием Пасхи, наделялась сакральным смыслом, что проявилось в ее соответствующей интерпретации: революция как воскрешение. Миф о «великой бескровной» должен был лечь в основу очередной патриотической концепции.

Российская революция, сочетавшая общие как негативные, так и позитивные реакции, оказалась сильным эмоциональным потрясением для публики. Инверсии негативного и позитивного отразились в цикличности эмоциональной динамики 1917 г.: начавшись с тревоги января — февраля 1917 г., она пришла к еще более тревожно-эсхатологическим переживаниям осени 1917 г. При этом даже позитивные эмоции несли печать нервно-психической девиации: с восторгом принявшие революцию граждане России пережили сильный эустресс, негативно сказавшийся на психологической обстановке. Статистика поступлений душевнобольных в городские больницы Петрограда показывает, что 1917 г. стал самым сильным нервно-психологическим потрясением для горожан с 1914 г.

В дальнейшем происходила не просто ломка сложившейся повседневности — менялась социальная структура общества, которая для ряда специалистов оборачивалась депрофессионализацией, потерей социального статуса. Эта категория «бывших» оказывалась наиболее чувствительной к экспериментам советской власти, и слухи в интеллигентской среде о разделении общества на психически полноценных и неполноценных с последующим физическим устранением последних возникали не случайно. В условиях голода и эпидемий современники концентрировались на самых насущных вопросах физического выживания, т. е. удовлетворения первичных, базовых инстинктов. Это приводило к развитию «тоннельного мышления», снижающего когнитивные способности человека. Последующий рост психических расстройств, увеличение числа самоубийств становились характерными признаками эпохи.

Вместо заключения:
смерть царя как «конец истории», или время и его ощущения в условиях эсхатологических предчувствий Гражданской войны

Антропологический поворот в исторических исследованиях акцентировал внимание на повседневной жизни «маленького человека», как в частной сфере, так и в публичной. Одним из направлений истории повседневности является изучение мышления индивида, которое определяет стратегию принятия решений, может свидетельствовать о различных психологических состояниях отдельного человека или общества в целом. В связи с этим категория времени в массовом сознании обывателей периода Гражданской войны является своеобразным маркером мировоззрения, помогающим понять отношения современников к тем или иным процессам, явлениям эпохи.

Условно можно выделить три типа восприятия социального времени: пассеистическое, при котором человек живет прошлым, идеализирует его, актуалистическое, предполагающее погружение человека в текущие проблемы, сужение его видения перспективы, и футуристическое — готовность пожертвовать и прошлым, и настоящим ради «светлого будущего». Конечно, в чистом виде эти категории встречаются крайне редко, однако в определенные исторические периоды конкретные социальные группы могут проявлять склонность к тому или иному типу. Кроме того, государственная политика и пропаганда способны повлиять на восприятие времени гражданами в календарном, религиозном, историческом или повседневном форматах.

Конец года всегда воспринимается как некий эмоциональный рубеж. Но итоги 1917 г. оказались неутешительными: рухнули мечты о свободной, демократической России (современники признавали, что уже в ноябре — декабре надежд на Учредительное собрание у них практически не оставалось), сбылись опасения о погружении страны в пучину Гражданской войны. Пессимизм вкупе с приближающимся концом года порождал эсхатологические предчувствия. Собственно, они сохранялись на всем протяжении Первой мировой войны, но, вероятно, справедливо говорить об их обострении на определенных

этапах, одним из которых и стал рубеж 1917–1918 гг. Москвич Окунев последнюю запись в своем дневнике за 1917 г. (от 29 декабря) начал с известий о массовых убийствах офицеров в Севастополе, а затем перешел к рассуждениям о прожитой жизни, попутно вынося приговор эпохе как культурно-цивилизационному тупику: «Я родился в деревне <…> Одного я тогда не видел: скота в человеке <…> Чем культурнее становилась страна, тем, думается, невежественнее сделался наш народ. Я и раньше косился на засилие электричества, а теперь глубоко убежден, что оно не от Бога, а от дьявола. Все нервы, все извращения, все жульничество, все безверие, вся жестокосердность, вся безнравственность и вырождение людей — от этих проклятых звонков, хрипов, катастроф, миганий, смрада, гудков и чудес!»[1]

1918 г. принес современникам новые ощущения повседневного времени, которое, как правило, воспринимается как интенсивность деятельности индивида и связано с ее характером: рутинные дела растягивают время или даже останавливают его для отдельных людей, активная хозяйственная или социально-политическая деятельность, наоборот, ускоряет бег времени. В этом плане в годы Гражданской войны можно обнаружить некий темпоральный раскол общества: идейные большевики и их противники, а также те, кто активно включился в гонку по выживанию в экстремальных условиях войны, голода, эпидемий, демонстрировали признаки футуристического восприятия времени, жили стремительно (зачастую так же стремительно погибали), в то время как на другом полюсе находились обыватели, пассивно пытавшиеся встроиться в новую социально-экономическую систему, демонстрировавшие апатию и крайнюю степень актуализма, приводившую к неверию в будущее. Вторая темпоральная модель особенно была характерна для российской интеллигенции, а также средних и зажиточных слоев — тех, кого в скором времени назовут «бывшими». Само это прилагательное указывало на то, что их время закончилось и им нет места в новой эпохе. «Бывшие» подвергались депрофессионализации, теряли социальный статус, гарантии на будущее, что приводило к подавленному психическому состоянию. Депрессия превращалась в классовый признак и в среде интеллигенции распространялись слухи, что комиссары будут расстреливать тех, кто пребывает в состоянии меланхолии[2]. При этом психиатры фиксировали рост душевных расстройств в годы Гражданской войны и даже появление их новых форм[3].

Следует заметить, что к психическим отклонениям относится не только подавленное состояние, но и сильное эмоциональное возбуждение, поэтому в некоторых случаях развитие чересчур активной деятельности «футуристов»

---

[1] *Окунев Н.П.* Дневник москвича. Кн. 1. С. 124–125.

[2] *Лосский Н.О.* Воспоминания. Жизнь и философский путь. Минск, 2012. С. 207.

[3] *Осипов В.П.* О душевных заболеваниях и душевной заболеваемости в Петрограде в условиях настоящего времени // Известия Комиссариата здравоохранения Союза коммун Северной области. 1919. № 7–12. С. 22–24.

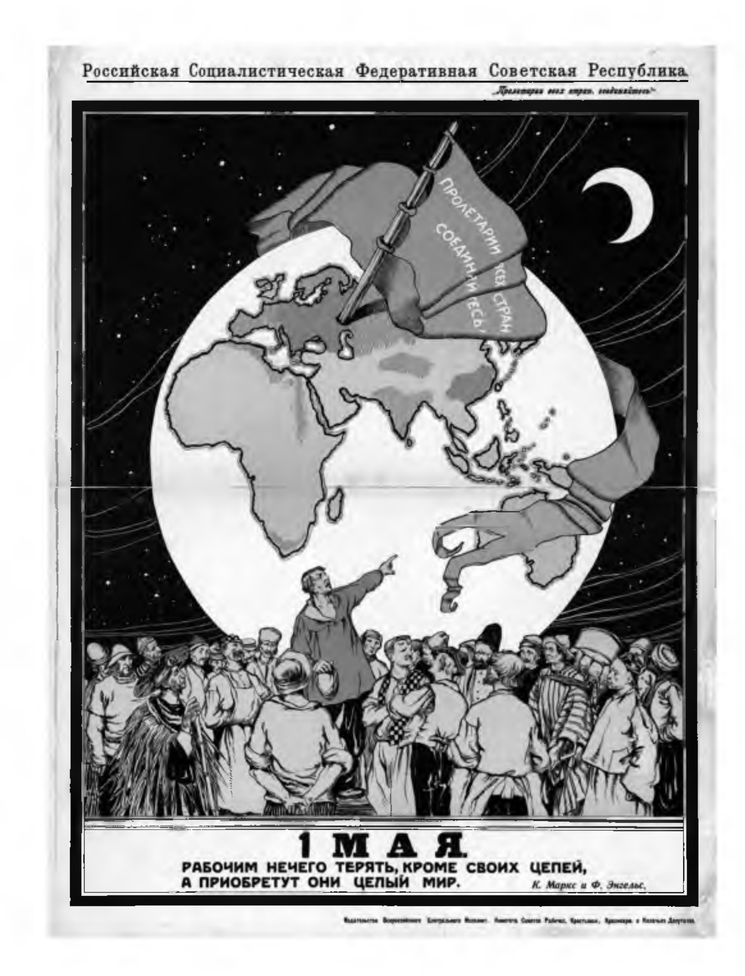
также свидетельствовало о нервно-психических проблемах. Тем не менее исследователи признают, что эпоха Гражданской войны проявилась в том числе в изменении суточного ритма людей. О.М. Морозова отмечает сдвиг рабочей активности советских служащих на ночное время, при этом обращает внимание, что если сами коммунисты оправдывали свои ночные бдения трудолюбием и большими объемами работы, то их оппоненты объясняли это тягой к праздному образу жизни, обвиняя их в пьянстве и прочих пороках, которым они предавались в ночное время по месту службы[1]. Так или иначе, но разница ритмов суточной активности соответствовала новому «классовому» делению советского общества: в условиях топливного кризиса рядовые обыватели не могли себе позволить подолгу засиживаться по вечерам, страна в годы Гражданской войны в буквальном смысле погружалась во тьму, а освещенные по вечерам и ночам окна кабинетов советских учреждений сильно контрастировали с темными фасадами жилых домов, вызывая раздражение современников.

Темное время суток как символ Гражданской войны любопытным образом отразилось в советской визуальной пропаганде. Ощущения времени визуализировались в том или ином времени суток: так, изображение утреннего восходящего солнца соответствовало футуристическим ощущениям, связанным с позитивными надеждами на светлое будущее, в то время как вечер или ночь, наоборот, соответствовали пассеизму, состоянию меланхолии. Революционные плакаты с весны 1917 г. активно использовали солярную символику, Февральская революция мыслилась как утро новой России. В годы Гражданской войны те же самые художники (Д. Моор, В. Дени) продолжали эту традицию, однако примечательно появление новых черт — изображение эпохи Гражданской войны как ночи или времени перед рассветом (первые зори до восхода солнца). Показательна в этом плане литография А. Апсита «1 мая. Рабочим нечего терять, кроме своих цепей, а приобретут они целый мир», на которой земной шар изображался на фоне ночного неба с полумесяцем (ил. 245).

Следует заметить, что изображение ночного неба иногда было вынужденным с визуально-реалистической точки зрения: на ночном небе горели пятиконечные звезды, которые, в отличие от солнца, несли в себе более точное политическое высказывание. Тем не менее игра с символами иногда приводила к полнейшей эклектике. Так, на другом плакате Апсита была изображена толпа рабочих с молотами и красными знаменами, над которой на Пегасе летел полуголый рабочий с факелом в руке, а над всем этим горела пятиконечная звезда, ассоциирующаяся с Вифлеемской[2]. Подобная практика определения настоящего как темного времени суток хоть и соответствовала топливно-экономической и социально-психологической ситуации в стране, но вряд ли она

[1] *Морозова О.М.* Антропология гражданской войны. Ростов н/Д., 2012. С. 332–333.

[2] *Полонский В.* Русский революционный плакат. М., 1925. С. 27.



Ил. 245. А. Апсит. 1 мая. Рабочим нечего терять, кроме своих цепей, а приобретут они целый мир. Литография (*Полонский В.* Русский революционный плакат. М., 1925. С. 26)

удовлетворяла потребностям большинства обывателей, активно не вовлеченных в Гражданскую войну и желавших ее окончания вне зависимости от того, кто окажется победителем.

Большевики проводили целенаправленную политику в сфере «приватизации времени»: календарная и часовая реформы должны были противопоставить старое и новое время через способ их исчисления, в результате чего эксперименты со временем наполнялись политическим подтекстом. Как верно заметила О.М. Морозова, «Гражданская война стала временем, когда малейшее различие приобретало характер политического. Даже решение революционной власти воспринять обе мировые традиции исчисления времени и введение светосберегающего поясного времени повлияло на формирование представлений о разрыве эпох и вызывало разнообразные чувства от удовлетворенности до неприятия»[1].

Большевистская «Правда» перешла на григорианский календарь еще 17 апреля 1917 г. с тем, чтобы вместе с Европой отмечать 1 мая. 26 января 1918 г.

[1] *Морозова О.М.* Антропология гражданской войны. Ростов н/Д., 2012. С. 332.

В.И. Ленин подписал Декрет о введении западноевропейского календаря, в котором в качестве причины реформы указывалось «установление в России одинакового со всеми культурными народами исчисления времени». Формулировка позволяла усомниться в том, была ли Россия «в старом времени» культурной. Новый календарь вступал в действие на следующий после 31 января день — вместо 1 февраля шло 14-е, что вызвало некоторое замешательство современников. Так, например, было не ясно, отмечать ли праздник Сретения или с переменой календаря его нужно считать прошедшим. Следует заметить, что смену летоисчисления нельзя считать идеей большевиков, так как переход на григорианский календарь обсуждался властями еще в XIX в., среди российской интеллигенции было много сторонников унификации российского летоисчисления с европейским. Некоторые газеты, например суворинские «Новое время» и «Вечернее время», еще до революции указывали даты по юлианскому и григорианскому календарям. Историк Ю.В. Готье, негативно относившийся к большевикам в годы революции и Гражданской войны, записал 1 февраля о смене летоисчисления: «Готов приветствовать это первое здравое изменение, проведенное большевиками»[1]. Поэтесса З.Н. Гиппиус даже сожалела, что большевикам выпала подобная честь: «Жаль, что это сделали они, ибо это давно следовало сделать»[2]. Другие более лаконично отреагировали на реформу, которая, по существу, не влияла на актуальные проблемы повседневности: «Начался новый стиль, и продолжаются старые безобразия»[3].

Следует заметить, что реформу календаря поддержала печать даже на неподконтрольной большевикам территории. В Казани, Самаре после установления власти КОМУЧа газеты продолжали указывать григорианское время. При этом столичная «Новая жизнь» перешла на григорианский календарь еще до декрета большевиков: в номере от 14 января была указана в скобках григорианская дата 27 января. Случались на почве пересчета дат старых праздников и забавные курьезы. Так, например, нижегородская меньшевистская газета «Жизнь» объявила, что женский социалистический день, праздновавшийся по юлианскому календарю 23 февраля (т.е. 8 марта по новому стилю), теперь приходится на 10 февраля, и призвала женщин идти в этот день на специально организованные лекции[4]. Пикантности добавляло то, что призыв отправиться на просветительские мероприятия 10 февраля был опубликован в газете за 19 февраля.

Тем не менее нельзя сказать, что современники сразу перешли на новый календарь. Тот же Готье продолжал какое-то время вести дневник, указывая

---

[1] *Готье Ю.В.* Мои заметки. М., 1997. С. 112.

[2] *Гиппиус З.Н.* Собрание сочинений. Т. 9. Дневники: 1919–1941. Из публицистики 1907–1917 гг. Воспоминания современников. М., 2005. С. 384.

[3] *Окунев Н.П.* Дневник москвича, 1917–1924. В 2 т. Т. 1. М., 1997. С. 147.

[4] Жизнь. 1918. 19 февраля.

только старые даты, затем стал помещать их в скобках и продолжал таким образом соотносить оба календаря вплоть до 1922 г. Впрочем, последние записи за июль 1922 г. в его дневнике указаны только по новому стилю. Возможно, в этом выразилась некая форма смирения историка перед новой властью, с которой он пошел на сотрудничество. Гиппиус, несмотря на принятие реформы, не смогла смириться с ее большевистской приватизацией и фиксировала в дневнике даты по старому стилю. То же характерно для дневника П. Е. Мельгуновой-Степановой и других современников. Дневники обывателей подтверждают, что далеко не все встретили Новый 1919 год по новому календарю. Те, кто критически относился к большевикам, иронично именовали себя «староверами» и отмечали первый «старый» Новый год. 13 января 1919 г. Н. П. Окунев с нотками ностальгии по прежней эпохе записал: «Окончился „старый" 1918 год. Новый „старый" год официально, конечно, не празднуется, все присутствия и торговли будут открыты по-будничному, а Церковь справляет новолетие по-прежнему, т. е. 14 января нового стиля. Правоверные „буржуи" тоже старообрядствуют, и весь сегодняшний день с тоскою вспоминали как бывало встречался новый год»[1]. Тем самым «старый новый год» приобретал оттенок политического протеста.

Эксперименты большевиков с исчислением времени не исчерпывались реформой календаря. 31 мая 1918 г. в 22:00 состоялся перевод стрелок на два часа вперед (впервые переход на летнее время был совершен в июле 1917 г. по распоряжению Временного правительства, но уже в декабре большевики вернулись к зимнему времени). А 8 февраля 1919 г. в Советской России были окончательно определены 11 часовых поясов. Слухи о предстоящем переходе на светосберегающее время распространились 15 мая 1918 г. в Петрограде, причем их опубликовали некоторые газеты. Утверждалось, что в Петрограде время переводится на 1 час 30 минут вперед, так как до реформы в крупных городах России действовало местное солнечное время, которое в Москве опережало гринвичское на 2 часа 30 минут (в северной столице — на 2 часа ровно). «Газета-копейка» писала, что для соответствия московскому времени в Петрограде стрелки часов сначала перевели на полчаса вперед, а потом еще на час в целях экономии топлива[2]. В итоге не Петрограду, а Москве пришлось отказаться от 30-минутной погрешности с Гринвичем. Тем не менее показательно, что слухам поверили многие предприятия, вследствие чего 16 мая одни предприятия работали по старому, другие по новому времени. Как правило, по новому заканчивали работу[3]. Возникла путаница на вокзалах с отправкой поездов. 17 мая было опубликовано опровержение. Н. П. Окунев в этот день недоумевал в дневнике: «С декретом о переводе часовой стрелки вышло какое-то недоразумение — официально

---

[1] *Окунев Н. П.* Дневник москвича. С. 251.

[2] Газета-копейка. 1918. 16 мая.

[3] Газета-копейка. 1918. 18 мая.

извещают, что он еще силы закона пока не имеет. Тогда зачем же его напечатали в газетах, и почему вчера, с утра, часы на Главном телеграфе и Почтамте показывали уже новое время?»[1] У Гиппиус игры большевиков со стрелками вызывали сильнейшее раздражение и ощущение приближающегося конца: «Электричество гасят в 12 ч. То есть в 10, так как большевики перевели часы на два часа вперед (!). Веселая жизнь. Я убедилась: нам неоткуда ждать никакого спасения. Нам всем, русским людям, без различия классов. Погибнут и большевики, но они после всех»[2]. В условиях усиливавшегося под тяготой хозяйственной разрухи психологического кризиса экономия электроэнергии, погружавшая обывателей по вечерам во тьму, провоцировала депрессию.

Календарная реформа как часть символической политики советской власти, устанавливавшей атрибуты нового времени, новой эпохи, требовала введения в календарь памятных красных дат. «Кодекс законов о труде», принятый 10 декабря 1918 г., предлагал советским людям предаться «воспоминаниям об исторических и общественных событиях», к которым были отнесены Новый год (1 января), День 9 января 1905 года, День низвержения самодержавия (12 марта), День Парижской коммуны (18 марта), День Интернационала (1 мая), День Пролетарской Революции (7 ноября), объявленных праздничными выходными днями[3]. Однако в ряде случаев возникла путаница: некоторые типографии выпустили календари на 1919 г. ранее декабря 1918 г., поэтому отмеченные на них красные даты не соответствовали принятому закону. Так, на Советском календаре на 1919 г., изданном ВЦИК Советов Р.С.К. и К. Депутатов, отсутствовали День 9 января 1905 г., День Парижской коммуны, зато числились Рождество, Благовещение Богородицы, Пасха, Вознесение, Троица, Успение Богородицы, Воздвижение Креста Господня. Из 10 праздников 7 были религиозными, при этом над календарем были напечатаны слова Интернационала и изображен рабочий в буденовке и с горящим факелом в руках. Такое противоречивое сочетание символов старого и нового времени могло привести к когнитивному диссонансу владельца календаря. Впоследствии появились исправленные версии, однако место религиозным праздникам (которые более не считались нерабочими) нашлось и на них.

Несмотря на антицерковную политику советской власти большевикам приходилось учитывать фактор религиозности народных масс, тем более что начавшаяся Гражданская война спровоцировала усиление эсхатологических настроений. В большей степени эсхатологические предчувствия были свойственны крестьянам. Еще в марте 1917 г. владимирские крестьяне, узнав о свершившейся революции и услышав фамилию Керенского, тут же решили, что

---

[1] *Окунев Н.П.* Дневник москвича. С. 179.

[2] *Гиппиус З.Н.* Собр. соч. Т. 9. С. 426.

[3] См.: Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР. 1918. № 87–88.

он и есть «анчихрист»[1]. В дальнейшем столкновение в сознании народа новых явлений, понятий с традиционным мировоззрением оборачивалось диссонансом, выход которому находился в религиозно-мифологических интерпретациях. Показателен случай, произошедший в одной из деревень в апреле 1918 г.: солдат-агитатор выступал перед крестьянами, объясняя настоящие трудности диверсиями саботажников. Крестьянки, не слышавшие раньше этого слова, долго обсуждали, кто такие саботажники, и в итоге решили, что слово это «собачье» и скоро наступит «светопреставленье»[2].

Российская революция вторгалась в повседневное пространство обывателей новой лексикой. Особенные трудности понимания и в некоторых случаях эсхатологический страх вызывали аббревиатуры, которые религиозному сознанию казались тайными знаками. В 1918 г. в июньском номере «Нового Сатирикона» появилась карикатура под названием «Басурманский язык», изображавшая беседу двух священников. Один спрашивал другого: «А ты чего же, отец, ноне перестал возглашать многолетие правительству? — А шут его разберет, за которое я буду провозглашать „многолетие“, коли у нас каждую неделю перевыборы в Срисд. Да и православные обижаются… Когда возгласишь: „Многа-ая лета Совнаркому, Цику, Исполкому и Срисду-у“ — то так все и ахнут: последние, говорят, времена пришли — батька по-японски заговорил!»[3]

Филологи обращали внимание, что новые слова становились нервирующим фактором. Лингвист С. И. Карцевский, вернувшийся в 1917 г. из политической эмиграции, но вновь покинувший Россию в 1919 г., выпустил в Берлине книгу «Язык, война и революция», в которой, исходя из тезиса, что «чем большим потрясением подвергалась данная область жизни, тем более радикально изменился ее словарный запас»[4], исследовал отражения эпохи «русской смуты» в языке обывателей. Характерными, по его мнению, языковыми символами времени стали: «кребилы» (вместе с «керенками», «думками», «липовками», «ленинками», «вавилонками», «китайками», «деникинками», «врангелевками», «колокольчиками» и другими «дензнаками») и «лимонщики» (новоявленные миллионеры последних, гиперинфляционных, лет Гражданской войны); красный террор проявился в терминах «чайка», «черезчурка», «верочка» (названия ВЧК), «эмочка» (московская ЧК), «женечка» (железнодорожная ЧК), в глаголах, обозначавших расстрел («чекнуть» или «чикнуть», «поставить к стенке» — в красном лагере, «угробить» — в белом). Все эти новые словечки отражали то, как с помощью юмора травмированное сознание обывателей приспосабливалось к новым, экстремальным условиям повседневности. Появлялись карикатурные расшифровки распространенных аббревиатур: РСФСР — «редкий случай

---

[1] *Наживин И.* Записки о революции. Вена, 1921. С. 17.

[2] Новая жизнь. 1918. 9 апреля.

[3] Новый Сатирикон. 1918. № 12. С. 4.

[4] *Карцевский С. И.* Язык, война и революция. Берлин, 1923. С. 32.

феноменального сумасшествия России», ВСНХ — «воруй смело, нет хозяина»; антисемитские настроения отразились в шутливом «переименовании» советских учреждений — «Центрожид», «Прежидиум» и т.д. Карцевский обращал внимание на важную идентификационную функцию обращения «товарищ», которое в устах представителя враждебного лагеря воспринималось советским человеком как оскорбление (более приемлемой формой считалось обращение «гражданин»)[1]. Во время подавления Тамбовского восстания в 1921–1922 г. чекисты, допрашивавшие антоновцев, в ответ на обращение «товарищ» говорили: «Тамбовский волк тебе товарищ» (по всей видимости, именно тогда и появился этот фразеологизм). Карцевский обратил внимание на общее падение культуры речи в Гражданскую войну, отметив в связи с этим массовое хождение вульгаризма «извиняюсь» вместо «извините».

Другой чертой времени Карцевский считал проникновение бранных слов и ругательств в пространство официальной печати, не допускавшееся в прежние времена, причем ответственным за охватившую литературу «словесную несдержанность» он называл М. Горького[2]. По наблюдению З.Н. Гиппиус, постепенно словесное нагнетание ненависти переставало работать, к брани происходила психологическая адаптация: «Мы так давно живем среди потока слов (официальных) — „раздавить“, „додушить“, „истребить“, „разнести“, „уничтожить“, „залить кровью“, „заколотить в могилу“ и т.д. и т.д., что каждодневное печатное повторение непечатной ругани — уже не действует, кажется старческим шамканьем»[3]. Тему отражения процессов и явлений Гражданской войны в лексике поднимали в своих работах Р. Якобсон, Е. Ремпель и др.[4]

Филологические исследования Гражданской войны проводились и в советской России представителями старой русской профессуры. Среди наиболее известных авторов — А. Горнфельд, А. Баранников, В. Шкловский[5]. Правда, их работы лишь с очень большими оговорками можно отнести к советской историографии в силу звучавшей критики «новояза». Горнфельд, призывая очистить литературный язык от вульгаризмов, частично оправдывал тягу большевиков к сокращениям, напоминая, что в царской России существовал Осфрум (Общество содействия физическому развитию учащейся молодежи), не говоря уже о Лензото, Рускабель, Вочето, Катопром и пр.[6] Ученый считал, что массовое

---

[1] Там же. С. 39.

[2] Там же. С. 71.

[3] *Гиппиус З.Н.* Собр. соч. Т. 9. Дневники: 1919–1941. Из публицистики 1907–1917 гг. Воспоминания современников. М., 2005. С. 58.

[4] *Jakobson R.* Vliv revoluce na rusky jazyk // Nove Atheneum. Praha, 1921; *Ремпель Е.* Язык революции и революция языка // Новый путь. 1921. 28 августа.

[5] *Горнфельд А.Г.* Новые словечки и старые слова. М., 2011; *Баранников А.П.* Влияние войны и революции на развитие русского языка // Ученые записки Самарского университета. Вып. 2. 1919; *Шкловский В.Б.* Современный народный юмор // Летопись Дома Литераторов. Пг., 1922.

[6] *Горнфельд А.Г* Новые словечки и старые слова. С. 11–12.

проникновение всевозможных сокращений, непонятных большинству обывателей, вызывало у них раздражение и неприятие, на фоне «косолапой и несуразной» окружающей действительности в конце концов оборачивавшееся против официальной власти. Горнфельд шутил, что если «мухомор» означает «то, что морит мух», то как должны граждане понимать сокращение «военмор». На съезде преподавателей русского языка и словесности в Петрограде 5 сентября 1921 г. он говорил: «Нов не принцип образования этих слов — нова их масса, разом хлынувшая в обиход, нова их обязательность. Их так много, что для них уже нужен толковый словарь <…> Людям кажется, что раздражает их некая „неправильность“ этих слов, некое нарушение законов родного языка, но это не верно: как всегда, в оскорбительной лингвистической новинке, раздражает скорее то, что за ними: раздражает, например, ощущение их ненужности. Ибо они создаются во имя некой стремительности, во имя высшей энергии, высшей целесообразности, а жизнь идет через пень колоду, косолапо и несуразно»[1].

Ощущение «несуразности» эпохи заставляло людей определенного психического склада писать во власть письма. Некоторые обыватели в них называли В. И. Ленина Антихристом. Так, например, в феврале 1919 г. анонимный казак в письме клеймил членов казачьего отдела ВЦИК как предателей народа, заявляя, что пришло время Антихриста[2]. Распространение эсхатологии заставляло обывателей искать знамения. Кто-то считал предзнаменованием наступавших Последних времен начавшиеся эпидемии: «Холера охватила всю Россию, мрут от нее в Петрограде, Москве, Нижнем, Царицыне и везде, где развивается новый флаг с буквами „Ресефесере“ — мрут сотнями в день»[3]. Другие реанимировали средневековые слухи, восходившие к Апокалипсису, о том, что из лесов и рек выходят всевозможные чудища. Так, в 1918 г. появился слух, что из Волги стали вылезать крокодилы. По всей видимости, этот слух продолжал ту традицию, которая отразилась в псковской летописи в записи за 1582 г.: «Того же лета изыдоша коркодили лютии зверии из реки и путь затвориша; людей много поядоша. И ужасошася людие и молиша бога по всей земли. И паки спряташася, а иних избиша»[4]. Азбуковник XVI в. развивал образ пожирающего людей крокодила, дополняя его темой «коркодильих слез»: «Коркодил — зверь водный, егда имать человека ясти, плачет и рыдает, а ясти не перестает»[5]. Постепенно образ крокодила становился антропоморфным, у «коркодила» с известного лубка «Яга баба едет с коркодилом драться» отрастала борода. В старообрядческих лицевых Апокалипсисах XVIII в. в образе крокодила представал

---

[1] *Горнфельд А. Г.* Новые словечки и старые слова. С. 13–14.

[2] Письма во власть. 1917–1927. Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и большевистским вождям / Сост. А. Я. Лившин, И. Б. Орлов. М., 1998. С. 95.

[3] *Окунев Н. П.* Дневник москвича. С. 202.

[4] Псковские летописи. М., 1955. Т. 2. С. 262.

[5] Сказания русского народа. Т. II. СПб., 1849.

Антихрист или его слуга. Причем первый также выходил из воды. В годы Первой мировой войны, давшей новую пищу эсхатологическим ожиданиям, образ крокодила нередко олицетворял Германию. В «Маленькой газете» война изображалась как бой солдат с огромным крокодилом[1]. Этот же образ лег в основу сказки «Крокодил», начатой К.И. Чуковским в 1916 г.

Средневековые мифы реанимировались не только из-за распространявшихся эсхатологических настроений. Порой причиной являлось обычное пьянство. Так, С.А. Павлюченков описал, как в 1920 г. пьяные красноармейцы увидели и расстреляли крокодила, о чем отправили телеграмму в Саратов: «В середине августа близ села Соломатина Камышинского уезда в реке Иловле обнаружен крокодил длиною в 2 аршина и весом в 1 пуд и 8 фунтов. Крокодил расстрелян»[2]. Тем не менее тот факт, что пьяным чекистам привиделся именно крокодил, а не другое экзотическое животное, говорит о сформировавшемся образе крокодила в народном мифологическом сознании.

М.А. Булгаков, тонко чувствовавший массовую психологию эпохи и следивший за появлением фантастических слухов в печати, не без иронии описал эсхатологические страхи обывателей в фантастической повести «Роковые яйца» (1924): «Змеи идут стаями в направлении Можайска… откладывая неимоверные количества яиц. Яйца были замечены в Духовском уезде… Появились крокодилы и страусы. Части особого назначения… и отряды государственного управления прекратили панику в Вязьме после того, как зажгли пригородный лес, остановивший движение гадов…»[3] Впрочем, слухи о крокодилах в Волге в окрестностях Самары могли опираться и на газетную публикацию июля 1916 г., сообщавшую, что во время спровоцированного обильными ливнями наводнения из открытого аквариума уплыл крокодил. Дирекция предупреждала, что когда крокодил проголодается, он начнет издавать жалобные звуки, напоминающие детский плач, поэтому жителям города рекомендовали быть начеку, особенно в Струковском саду, куда он мог направиться[4].

Верующие люди особенно тщательно искали божественные знамения в дни религиозных праздников. Одна из самых резонансных историй, обсуждавшаяся в газетах по всей России и зафиксированная в дневниках современников, произошла 1 мая 1918 г.[5] у стен московского Кремля. В этот день советская

---

[1] Маленькая газета. 1914. 21 сентября.

[2] Цит. по: *Аксенов В.Б., Багдасарян В.Э., Горлов В.Н.* и др. Веселие Руси. XX век. Градус новейшей российской истории: от «пьяного бюджета» до «сухого закона». М., 2007. С. 202.

[3] *Булгаков М.А.* Роковые яйца.

[4] *Семенова Е.Ю.* «У природы нет плохой погоды! Каждая погода — благодать?» (К оценке влияния сезонных условий на повседневную жизнь самарчан в годы Первой мировой войны» // Природно-географические факторы в повседневной жизни населения России: История и современность (региональный аспект). СПб., 2019. С. 178–179.

[5] В источниках указываются разные даты происшествия: вечер 1 мая (Н.П. Окунев), 2 мая (Ю.В. Готье), 3 мая (Газета-копейка) 1918 г.

власть впервые праздновала Первое мая, которое пришлось на Страстную среду. Власти задрапировали Кремль, хранивший следы боев ноября прошлого года, красной материей. В том числе завешенной оказалась икона Николая на Никольских воротах. На улицах звучали «Марсельеза» и «Интернационал», а с колоколен доносился печальный перезвон Страстной недели. Наложение двух праздников — пролетарского праздника трудящихся и христианского праздника Воскрешения — усилило психологическую напряженность между сторонниками и противниками новой власти. Готье записал 2 мая: «Вчера *они* праздновали 1-е мая; *мы* сидели дома» (выделено мной. — *В. А.*)[1]. Впрочем, возмущены были не только верующие: «Дали бы лучше нам на юбки», — зло произнесла женщина, наблюдавшая, как в условиях дефицита текстильной продукции большевики разбазаривают красную материю[2]. Кое-кто из верующих, кого пролетарская музыка отвлекала от молитв, собирались перед Кремлем и недовольно обсуждали его изменившийся облик, видя в этом осквернение христианских святынь. По-видимому, уже вечером 1 мая ветром приподнимало красную материю, приоткрывая икону Николая Чудотворца, в результате чего у Никольских ворот начала собираться толпа. В конце концов ткань порвалась, и верующие увидели в этом знамение. На следующий день «пронесся слух о совершившемся чуде. Толпа бросилась к Казанскому монастырю и к Иверской часовне, требуя служить молебен. Явившееся духовенство Казанского собора отслужило молебен. Толпа все более и более наэлектризовывалась. Часть бросилась к кремлевским стенам и стала срывать красные флаги и плакаты. Были вызваны латышские стрелки, которые, чтобы разогнать толпу, дали залп в воздух. Это не помогло и толпа продолжала бушевать. Тогда были вызваны конные милиционеры, которым в конце концов удалось очистить Красную площадь от толпы»[3]. Рязанская газета «Голос свободной церкви» не обошла вниманием эти события, а попыталась интерпретировать их в историческом контексте, вспомнив, что первое чудо с Никольской иконой произошло в 1812 г., когда она осталась невредимой при взрыве Кремля наполеоновскими войсками. Та же газета сообщала, что в октябре 1917 г. икона, к ужасу толпы, сначала бесследно исчезла, но спустя три дня ко всеобщему ликованию («Угодник помиловал нас!») невредимой явилась вновь[4].

Подлинные и мнимые происшествия с кремлевской иконой Николая Угодника получили большой общественный резонанс. Провинциальная пресса сообщала, что в Великий четверг (2 мая) «завертелся и как будто сгорел» закрывавший ее красный флаг; в эти же дни современники заметили комету[5].

---

[1] *Готье Ю. В.* Мои заметки. М., 1997. С. 137.

[2] *Мельгунова-Степанова П. Е.* Дневник. 1914–1920. М., 2014. С. 207.

[3] Газета-копейка. 1918. 3 мая.

[4] Голос свободной церкви. 1918. 19 мая.

[5] Казанское слово. 1918. 5 мая.

Однако народная эсхатология существует вне официального религиозного культа, ее ощущение широкими социальными слоями оказывается глубже церковных обрядов. По меткому наблюдению М.М. Пришвина, ожидания «последних дней» в народе не столько способствовали развитию антибольшевистского движения, сколько примиряли народ с политикой новой власти, оправдывая ее эксперименты в сфере поисков социальной правды в контексте скорого Суда: «Это чувство конца (эсхатология) в одинаковой степени развито у простого народа и у нашей интеллигенции, и оно именно дает теперь силу большевикам, а не как просто марксистское рассуждение»[1]. Более того, по мнению исследователя С. Смита, «в своем поспешном стремлении построить современное коммунистическое общество большевики запустили в ход, и прямо и опосредовано, процессы, маргинализировавшие политику, оформленную секулярным мирским языком, и вдохнули новую жизнь в религиозный и мифологический языки, претендующие на связь с трансцендентной реальностью, ориентированной на эсхатологическое спасение»[2]. В этом ключе представляется оправданной попытка Ю. Слезкина описать большевиков как милленаристскую секту, пропагандирующую конец старого и начало нового света[3].

Вместе с тем эсхатологические предчувствия крестьян и интеллигенции различались. Первым в меньшей степени было присуще чувство трагизма, скорее «последние времена» обретали обусловленную природными циклами предрешенность, воспринимались в контексте неотвратимых природных явлений, тогда как представители интеллигенции связывали эсхатологию в первую очередь со своим социальным существованием. В этом отношении предчувствия интеллигенции имеют более выраженный депрессивный характер. Показательно, что в начале 1918 г. М.М. Пришвин, описывая в дневнике ситуацию словами из 6-й главы Апокалипсиса Иоанна: «Звезды почернеют и будут падать с небес», переходил к мысли о самоубийстве: «Господи, неужели Ты оставил меня, и, если так, стоит ли дальше жить и не будет ли простительным покончить с собой и погибнуть так вместе с общей погибелью?»[4]

Так или иначе эсхатологическая тема в годы революции и Гражданской войны возникала в произведениях разных религиозных мыслителей. При этом кто-то обращался к прошлому опыту постижения Апокалипсиса, кто-то изучал его проявления в современной истории. В числе первой группы можно назвать С.Н. Дурылина, который в статье «Апокалипсис и Россия» анализировал эсхатологическую тему в творчестве К.Н. Леонтьева и В.С. Соловьева, считая их работы провидческими, таившими «ноуменальную правду». При этом

---

[1] *Пришвин М.М.* Дневники. 1918–1919. Книга вторая. М., 1994. С. 74.

[2] *Смит С.* Небесные письма и рассказы о лесе: «суеверия» против большевизма // Антропологический форум. 2005. № 3. С. 302.

[3] См.: *Слезкин Ю.* Дом правительства. Сага о русской революции. М., 2019.

[4] *Пришвин М.М.* Дневники. 1918–1919. С. 45.

во вводной части он достаточно прямолинейно обозначил актуальность своей темы: «Апокалипсис стал действительностью, потому что действительность стала Апокалипсисом… Апокалипсис, хранимый Россией в утаении, в народной заповедной таинице, стал явен и почти открыт… Слишком многим представляется и не может не представляться, что перепутье России кончилось и началось несение ею… чего? „Скиптра Зверя или „ига Христа“?»[1] В.В. Розанов в «Апокалипсисе нашего времени» главным провидцем Апокалипсиса 1917–1918 гг. назвал Ф.М. Достоевского[2].

Историей эсхатологического учения занялся Л.А. Тихомиров. Хотя он и не смог удержаться от эсхатологической оценки современных ему событий, но был далек от вульгарно-прямолинейного поиска знамений Апокалипсиса, характерного для народной эсхатологии. Тем не менее революция определенно в новом свете поставила перед философом проблему последних времен. Не случайно, что первые статьи, посвященные теме Апокалипсиса, Тихомиров задумывает еще в период Первой российской революции: в 1907 г. в «Миссионерском обозрении» вышла работа «Апокалипсическое учение о судьбах и конце мира» и в журнале «Христианин» статья «О семи апокалипсических Церквях», идеи которых легли в основу книги «Религиозно-философские основы истории», завершенной в 1918 г. Революция, приводящая к социально-политическому перевороту, переобустройству мира, ожидаемо вызывает апокалиптические аналогии. В «Религиозно-философских основах истории» Л.А. Тихомиров, доказывая, что социализм не сможет вытеснить религиозные потребности общества, отказывался рассматривать социализм как конец эволюции, но включал его в контекст эсхатологического христианского учения. Автор полагал, что современная ему эпоха является лишь потенциальным Апокалипсисом (ср. с концепцией Н.А. Бердяева о революции как «малом Апокалипсисе» истории). «Множество мелких „потенциальных“ антихристов, о которых говорил уже апостол Иоанн, немедленно выдвинули бы из своей среды кого-нибудь, способного вырасти в настоящего Антихриста. Такие эпохи, к которым принадлежит и наша, по своему характеру действительно составляют „последние времена“. Но последние ли они хронологически? Этого нельзя знать, потому что если свободная воля людей… воспрянет снова к Богу, Антихрист, уже готовый войти в мир, снова будет отброшен в бездну», — писал Тихомиров в 1918 г.[3] Не принимая большевизма, Тихомиров вместе с тем считал его представителей слишком ничтожными для того, чтобы искать среди них антихриста.

Чуть более прямолинеен был Н.А. Бердяев. В статье «Религиозные основы большевизма» он, называя Ленина хлыстом, проводит параллель и с антихри-

---

[1] *Дурылин С.Н.* Апокалипсис и Россия / Публикация Т.Н. Резвых // Вестник ПСТГУ. I: Богословие. Философия. 2015. Вып. 3 (59). С. 96–97.

[2] *Розанов В.В.* Апокалипсис нашего времени. М., 2000. С. 158.

[3] *Тихомиров Л.А.* Религиозно-философские основы истории. М., 2012. С. 590.

стом, объясняя успех большевизма подменой христианского начала антихристовым: «Диаволом не соблазнить русскую душу, антихристом же легко можно ее соблазнить. Диавол предполагает различение, антихрист же основывается на смешении и подмене»[1]. «В большевизме действуют сатанические начала и на место человека ставится антихрист»[2], — писал Бердяев в 1918 г., а спустя два десятилетия в «Истоках и смысле русского коммунизма» назвал революцию «малым апокалипсисом истории»: «Вся история есть в значительной степени грех, кровопролитие и насилие… История потому и должна кончиться, должна быть судима Богом, что в истории не осуществляется правда Христова. Революция есть малый апокалипсис истории, как и суд внутри истории. Революция подобна смерти, она есть прохождение через смерть, которая есть неизбежное следствие греха. Как наступит конец всей истории, прохождение мира через смерть для воскресения к новой жизни, так и внутри истории и внутри индивидуальной жизни человека периодически наступает конец и смерть для возрождения к новой жизни»[3].

С. А. Аскольдов в апреле 1918 г. в статье «Религиозный смысл русской революции», несмотря на определенные эсхатологические переживания, считая, что революция явила России зверя, также отрицал наступление большого Апокалипсиса: «Христианство есть религия царства небесного, социализм же есть религия царства земного. И в конце концов весь глубочайший смысл этого своеобразного религиозного идеала вовсе не в том, чтобы люди в этом земном царстве были счастливы, свободны и сыты. Все это приманки и внешние движущие стимулы, тяготеющие поистине к одной цели — к богоборчеству. Но антихристово движение в России все же приняло, несомненно, еще сравнительно невинную личину злого зверя. Эта личина имеет и свою специальную персонификацию в третьем герое русской революции, Ленине. Не надо, однако, быть пророком, чтобы предсказать и его крушение. Слишком очевидно, что человечество не подошло еще к последним граням и тяжело больная Россия выздоровеет, хотя бы и приблизив своей болезнью и себя, и все человечество к настоящей смерти»[4].

В отличие от упомянутых религиозных мыслителей антибольшевистского направления, остававшихся на территории Советской России, политическая пропаганда Белого движения создавала куда более прямолинейные образы. Одна из белогвардейских листовок называлась «Что говорит священное писание об антихристе и какие дела его». В ней сообщалось, что «антихрист засел в Кремле»[5]. Основанное летом 1918 г. А. И. Деникиным Осведомительное

---

[1] *Бердяев Н. А.* Духовные основы русской революции. СПб., 1999. С. 50.

[2] Там же. С. 8.

[3] *Бердяев Н. А.* Философия свободы. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1997. С. 360.

[4] *Аскольдов С. А.* Религиозный смысл русской революции // Из глубины. Сборник статей о русской революции. М.; Пг., 1918.

[5] *Бессонов И. А.* Русская народная эсхатология… С. 257.



Ил. 246. В жертву Интернационала. 1918–1922. Плакат

агентство (ОСВАГ) активно эксплуатировало антисемитскую тему и представляло большевистских лидеров то в образе Антихриста, то лжепророков. Так, на плакате «В жертву Интернационала» Ленин был изображен в виде лжепророка, по наставлению которого Троцкий и другие приносили Россию в жертву языческому идолу-Марксу (ил. 246). Другой плакат Харьковского отделения ОСВАГа, «Мир и свобода в Совдепии», в образе красного зверя с пентаграммой на груди изображал Троцкого. Песня «Интернационал» занимала особое место в прихрамовой эсхатологии верующих: указывали, что слова «вставай, проклятьем заклейменный» могут относиться лишь к ритуалу пробуждения Антихриста[1]. Вообще характерно, что в годы Гражданской войны крестьяне незнакомые им слова автоматически относили насчет знаков грядущего Апокалипсиса.

Параллели между Лениным и Антихристом появлялись в народе и без пропаганды. Религиозный деятель В.Ф. Марцинковский вспоминал, как в 1921 г. после его лекции о христианской религии в Политехническом музее он получил от слушателя записку: «Товарищ лектор! Не является ли Ленин Антихристом? Ведь, по Писанию, Антихрист сядет в храме, как и Бог. А Ленин как раз и находится в русском храме, т.е. в Кремле»[2]. Марцинковский на это ответил, что Ленин слишком мал для роли Антихриста. Риторические вопросы о природе большевистской власти приходили от частных граждан и на имя членов правительства: «Ленин! Умоляю Тебя — Владыко насилия, бесправия и поругания человеков — и тобою рожденного растлителя России Троцкого,

[1] *Тарабукина А.В.* Фольклор и культура прицерковного круга. Дисс. … канд. филол. наук. СПб., 2000. http://yakov.works/libr_min/19_t/ar/taro1.html.

[2] Цит. по: *Бессонов И.А.* Русская народная эсхатология… С. 256.

уясните нам, кто вы именно? Подлые ли ставленники Вильгельма, предатели, ведущие окружным путем к монархизму и уже достигшие цели, или глупые идиоты, дегенераты, мечтающие растлить государство; убить культуру, основать пастушескую идиллию, блаженство (Диогеновское) в бочке, так это и без вас было ясно»[1].

Примечательно, что, несмотря на напрашивающиеся сравнения с Антихристом лидеров большевиков, Л. А. Тихомиров допустил, что Антихрист может явиться и с другой стороны: «Общая картина исторической роли Антихриста представляется, стало быть, в таком виде. Он положит конец тому социально-политическому перевороту, который совершили люди, и произведет восстановление исторической государственности, и люди, истомленные бедствиями, порожденными этим переворотом, будут радостно приветствовать произведенное Антихристом восстановление порядка и говорить: „кто подобен зверю сему“. В этом отношении Антихрист является консерватором-контрреволюционером»[2].

Отождествление Ленина, Троцкого и иже с ними с Антихристом имело одну слабость: Антихрист, как верно заметил Бердяев, искушает людей, играя на подмене своей сущности. Не случайно в крестьянской эсхатологии его приход ассоциировался с решением самого заветного вопроса — раздачей земли. Антихрист — это Лжехристос. С этой позиции уместно переосмыслить известную поэму, о которой в своих «Апокалипсисах» в критическом плане упоминали Тихомиров, Розанов и многие другие современники: образ лидера большевиков, у которого на голове белый венчик из роз, а на спине бубновый туз, как нельзя лучше соответствует подменной природе Антихриста.

Навешивание ярлыков на политических лидеров и распределение между ними ролей в эсхатологической пьесе предполагало и решение вопроса о бывшем императоре. Неприятие власти и ее преобразований развивало у некоторых обывателей пассеистическое мышление и приводило к переоценке событий недавнего прошлого. В этом случае Ленин сравнивался если не с антихристом, то с Николаем II, и последний царь на его фоне обретал привлекательные черты. «Честь и слава Вам, Владимир Ильич! Как маг и чародей, Вы сумели заставить русский народ забыть и простить Николаю Второму все его прегрешения и властно повернули его вновь на путь Монархизма», — писал современник 26 декабря 1919 г.[3] Однако, несмотря на отмечавшуюся демонизацию Николая II в годы Первой мировой войны в народном сознании, революция сняла его с главных ролей. В. В. Розанов, переживавший революцию как Апокалипсис, отводил Николаю ничтожную роль отрекшегося от России «царя-декадента»:

---

[1] Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 гг. / Отв. ред. А. К. Соколов. М., 1997. С. 49.

[2] *Тихомиров Л. А.* Религиозно-философские основы истории. М., 2012. С. 635.

[3] Письма во власть. 1917–1927. Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и большевистским вождям / Сост. А. Я. Лившин, И. Б. Орлов. М., 1998. С. 135.

«Но ведь серьезное-то, серьезнейшее из самого серьезного заключается в том, что действительно наступила таинственная и страшная эпоха… когда царю перестало быть нужно его царство… И ростом, и всем, и какою-то безвыразительностью лица… Николай II явно похож на Мережковского. И что это есть „царь-декадент“ — в этом никто не сомневается»[1]. Если Розанов возлагал на Николая II персональную ответственность за то, что в марте 1917 г. «Русь слиняла в два дня», то в распространявшихся в это время слухах об эсхатологических пророчествах роль последнего императора представлялась заранее предначертанной. 26 февраля 1917 г., т. е. за четыре дня до отречения, князь В. Д. Жевахов рассказывал о переданном ему старцем Глинской пустыни дополнении к известному видению схиархимандрита Илиодора. В первоначальном варианте видение заканчивалось на Александре III, в варианте 1917 г. появился Николай II. В дополненном варианте С. Н. Нилус, известнейший ксенофоб и конспиролог, включил легенду в пятую редакцию своей книги:

> Однажды поздно вечером, — сказывал своим ученикам великий старец, — я сидел в своей келии один. Читая послания св. апостола Павла, я остановился на второй главе Второго послания к Солунянам, на стихах 2–10 и т. д., где говорится о явлении миру человека греха и сына погибели — антихриста. На этих страшных известиях св. апостола я остановился и погрузился в размышление, рассуждая о том, каково же будет действие Сатаны… В эту минуту я почувствовал, что кто-то сзади меня положил мне свою руку на правое плечо и сказал: «Ты сам увидишь отчасти». Почувствовав прикосновение и услышав голос, я осмотрелся вокруг себя, но никого не оказалось, и дверь кельи внутри была заперта на крючок… Наконец, положившись на волю Божию, я совершил свое вечернее правило и, помолившись Богу, прилег отдохнуть и, забывшись тонким сном, я увидел такое видение. Ночь. Я стою на каком-то возвышении. Вокруг меня много громадных построек, какие бывают в больших городах. Надо мною небесный свод, весь усеянный ярко горящими звездами, как бывает в чистую безлунную ночь. И вижу: восходит от востока некий звездный круг громадного размера, составленный из ярких звезд различной величины. В середине круга написано большими буквами имя: Александр. Взошел этот круг с востока из-за горизонта, прошел величественно и медленно по небесному своду и скрылся на западе. Смотря на красоту и движение круга, я размышлял в себе, говоря: какая великая и славная Православная вера! Православный Царь — вот и имя его так славно и величественно на небесах!..

После видения имени Александра I поочередно восходили звездные круги с именами последующих правивших царей. Имя Александра II было написано кровавыми звездами. Последним появилось видение имени Николая II:

[1] *Розанов В. В.* Апокалипсис нашего времени… С. 125.

«И когда я вновь обратил свой взгляд на восток, то увидел на нем слабо и бледно очерченное имя: Николай, но уже без звездного ореола. Имя продвигалось как бы скачками и вошло в темное облако, откуда были видны в беспорядке отдельные его буквы… За сим наступила тьма, и все стало разрушаться подобно карточным домикам, как бы при кончине мира. Ужас объял меня, несмотря на то, что я стоял на возвышении, не связанном с разрушающимся миром»[1].

Хотя после отречения 2 марта 1917 г. личность Николая II перестала быть актуальным раздражителем для современников и публика утратила былой интерес к нему, тем не менее Февральская революция сопровождалась сценками народных расправ над самодержавием: обыватели срывали двуглавых орлов, бросали их на землю, топтали, а затем сжигали в разведенных тут же кострах. Накопившаяся ненависть к императору сплачивала революционную толпу, состоявшую из совершенно разных по социальному статусу людей, а потому сжигание символов императорской власти, как и сжигание царских портретов крестьянами в предшествующие годы, воспринималось в качестве символической казни Николая. Особенно чутко на эмоциональную атмосферу реагировали дети. Они плясали вокруг костров, помогали разламывать деревянных орлов и, подбрасывая куски в огонь, приговаривали: «Вот тебе, Николашка! Вот тебе!»[2]

Впрочем, общественная психологическая атмосфера характеризовалась эмоциональной амбивалентностью, которую можно обнаружить в массовом сознании разных групп, включая духовенство: ненависть к царю, от которого официально отрекся Синод, соседствовала с попытками отдельных священников объявить Николая II Иисусом[3].

Тем не менее после ареста императорской семьи накал народной ненависти стал остывать. Газета «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» уже сам факт отречения императора рассматривала в качестве главного завоевания революции, снявшего с повестки дня вопрос о Романовых и поставившего перед Россией новые задачи: «Победоносный народ сбил теперь цепи своей неволи! Эпоха Романовых, эта эпоха угнетения народа, осталась позади нас. Россия должна стать, наконец, свободной и уничтожить все следы крепостничества!»[4] Схожим образом реагировала и столичная интеллигенция: «На меня отречение Государя производит не столько тяжелое и трагическое впечатление, сколько впечатление чего-то жалкого, отвратительного… Точно актер, неудачно выступавший в течение долгого и очень утомительного спектакля, теперь сконфуженно уходит в кулису», — записал 3 марта 1917 г. в своем дневнике А. Н. Бенуа[5]. «Жалко его сейчас только

[1] *Нилус С. Н.* Близ есть, при дверех. М., 2013. С. 137–139.
[2] *Бенуа А. Н.* Мой дневник. 1916–1917–1918. М., 2003. С. 136.
[3] Российская революция 1917 года: власть, общество, культура. Т. 2. М., 2017. С. 33–34.
[4] Известия петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. 1917. 4 марта.
[5] *Бенуа А. Н.* Мой дневник. С. 136.

„по-человечески“, а не как государственного деятеля», — думал о царе москвич Н. П. Окунев[1]. Царь Николай II становился гражданином Николаем Александровичем Романовым.

В то же время большевики пытались «разыграть карту» слухов о якобы сбежавшем царе: «Мощным взмахом стряхнул восставший народ многолетнее иго царского самодержавия… Гидра реакции может еще поднять голову. Черные силы притаились, но не изменилась их скрытая сущность… Скрылся и не арестован отрекшийся царь, пытающийся организовать контрреволюцию», «тиран еще на свободе… Николай со всеми черными силами не сегодня-завтра может начать осуществлять свой план. Мы знаем из истории народных революций, как венценосные палачи пытались, после некоторого успокоения, кровавыми средствами восстановить свои разбитые троны»[2]. Следует заметить, что большевики активно использовали распространенные в обществе слухи, фобии в собственной пропаганде. Однако попытка сыграть на слухах о бегстве бывшего царя не удалась, так как тема отречения от престола стремительно теряла актуальность. Этот акт снял с Николая ответственность за последующие события, и массовое сознание принялось подыскивать на эту роль очередного кандидата.

Вместе с тем освободившаяся от цензуры периодическая печать накинулась на Николая Романова. Больше всего бывшему императору и его семье доставалось от иллюстрированных изданий — визуальный образ не только охватывал более широкие, включая неграмотных, слои населения, но и надолго оседал в памяти. Следует заметить, что высмеивание врага понижает градус напряженности, снижает страх перед ним: вместо дьявола-Антихриста, которого следовало убить, Николай в 1917 г. представал перед обывателями в образе алкоголика-неудачника, над которым хотелось лишь потешаться. После того как 12 марта была отменена смертная казнь, Д. Моор изобразил Николая в красной рубахе, сжимавшим в окровавленных руках гигантский топор, обращающимся к стоявшим вокруг него палачам со словами: «Все-таки новое правительство больше заботится о нас, чем мы заботились о них». От рисунка веяло впечатлением, что гигантские палачи смотрят на своего маленького бывшего хозяина как на будущую потенциальную жертву (ил. 247 на вкладке).

На ряде карикатур царь изображался узником «Крестов» или Петропавловской крепости, каторжанином.

Несмотря на то что царя решено было оставить под охраной в Царском Селе, вопрос о суде над ним и, следовательно, о его последующей участи был открыт. Временное правительство проявило определенный такт по отношению к арестованному монарху, когда 12 марта создало Чрезвычайную следственную

---

[1] *Окунев Н. П.* Дневник москвича, 1917–1924: В 2 кн. Кн. 1. М., 1997. С. 20.

[2] Правда. 1917. 5 марта; 9 марта.

комиссию для расследования действий бывших государственных чиновников, исключая бывшего императора. Более того, в выступлении на I Съезде Советов председатель комиссии Н.К. Муравьев позволил себе выступить в защиту бывшего царя, заявив, что не Николай II был главным врагом Государственной думы, подписывая приказы о ее роспуске, а министры, которые, заполучив подпись Николая, самостоятельно заполняли бланки от его имени[1]. Муравьев планировал закончить следствие к 1 сентября, однако работа затянулась. Несмотря на это, А.Ф. Керенский, опираясь на предварительные выводы комиссии, заявил, что в действиях бывшего царя и царицы не нашлось состава преступления по статье 108 Уголовного уложения (измена).

Впоследствии А.Ф. Керенский старался убедить читателя в постоянной опасности, которая угрожала царю и его семье в 1917 г., что и заставило правительство перевезти узников в Тобольск: «Смертная казнь Николаю II и отправка его семьи из Александровского дворца в Петропавловскую крепость или Кронштадт — вот яростное, иногда исступленное требование сотен всяческих делегаций, депутаций и резолюций, являвшихся и предъявляемых Временному правительству и, в частности, ко мне, как ведавшему и отвечавшему за охрану и безопасность царской семьи»[2]. При этом С.П. Мельгунов оспорил слова мемуариста, отметив, с одной стороны, что на протяжении 1917 г. призрак контрреволюции, с которым незримо была связана тень бывшего царя, постоянно присутствовал в российском обществе, что со стороны радикалов слева действительно раздавались кровожадные призывы, которые, с другой стороны, являлись единичными примерами сохранявшейся ненависти, характерной в первую очередь для «анархо-большевистской словесности»[3]. Тем не менее эти призывы не находили должного отклика в народе и, как правило, отсутствовали в большинстве коллективных воззваний, резолюций, в том числе тех, что публиковались «Правдой». Так, например, из 18 пунктов требований «Основной программы Совета солдатских депутатов на фронте», составленных при участии большевиков 20 марта 1917 г. солдатами 190-й дивизии и примкнувшими к ней частями, не было ни одного, посвященного бывшему царю; 13 апреля рабочие завода «Ст. Парвиайнен» выдвинули резолюцию, поддержавшую требование большевиков о смещении Временного правительства, среди 12 пунктов которой также не упоминалось о бывшем императоре, и т.д.[4] Весной 1917 г. Николай II ушел в прошлое, и хотя изредка слухи о контрреволюционной деятельности черносотенцев и возникали (например, в апреле появился

---

[1] Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства. Т. 1. Л., 1924. С. XII.

[2] *Керенский А.Ф.* Отъезд Николая II в Тобольск // Воля России. Прага. 1921. 28 августа.

[3] *Мельгунов С.П.* Судьба императора Николая II после отречения. Историко-критические очерки. М., 2016. С. 118.

[4] Правда. 1917. 21 марта; 1 мая.

слух, что в Ялте вокруг великого князя Николая Николаевича сформирована некая «партия 33-х»[1]), даже часть монархистов не воспринимала всерьез возможность реставрации монархии. 27 мая Б.В. Никольский за обедом обсуждал слухи о намерениях кубанских казаков и «Дикой дивизии» выкрасть Николая с наследником в целях спасения монархии, которым дал следующую оценку: «Это такой глупый и жалкий бред, что не стоит и слушать. Просто кто-то с дураков деньги сбирает на реставрацию, а тратит собранное на ресторацию»[2].

Тема царя всплывала в определенные исторические дни: на пятилетней годовщине Ленского расстрела 4 апреля рабочие и солдаты Василеостровского района вынесли резолюцию, в которой потребовали «принять меры к изменению места ареста бывшего царя Николая II заключением его в крепость»[3]. Вопрос о содержании царской семьи звучал иногда в рамках популистской риторики. Так, 24 мая на заседании рабочей секции Петросовета представители большевиков предложили отправить бывшего царя в Сибирь на золотые прииски, однако до голосования по этому вопросу дело не дошло, так как большинство участников посчитало обсуждение этого вопроса несерьезным[4]. С другой стороны, между официальными воззваниями, прокламациями и революционной активностью толпы, нередко впадавшей в состояние аффекта, — большая разница. Распространявшиеся в России дикие самосуды, которым не в состоянии была противостоять власть, сохраняли опасность выхода ситуации из-под контроля, тем более что пропаганда леворадикальных сил активно использовала яркие метафоры, апеллируя не столько к разуму, сколько к чувствам и эмоциям толпы: «Растерявшиеся в первые дни революции контрреволюционные мракобесы… начинают обнажать свои змеиные жала. Запрятавшиеся в свои темные норы в дни гнева восставшего народа, они начинают выползать из них, когда революция стала входить в свои берега», — пугала читателей большевистская «Правда»[5]. Неудивительно, что подобная агитация находила своих сторонников среди наиболее маргинализированных слоев общества и становилась все опаснее по мере радикализации и углубления российской революции.

Со временем вопрос о суде над Николаем Романовым все более переходил в сферу символической политики, нежели реальной практики, однако, вне зависимости от действительного положения дел, этот символ всплывал в кризисные моменты в массовом сознании призраком контрреволюции. Так, даже находясь в Сибири, Николай Романов вызывал беспокойство в определенных кругах. Когда в августе в Тобольске была задержана бывшая фрейлина

---

1 *Мельгунов С.П.* Судьба императора Николая II… С. 115–116.

2 *Никольский Б.В.* Дневник… С. 293.

3 Правда. 1917. 6 апреля.

4 *Мельгунов С.П.* Судьба императора Николая II… С. 117.

5 Правда. 1917. 1 апреля.

М. Хитрово, приехавшая повидать Романовых по собственной инициативе, по всей России вышли статьи, рассказывавшие о великокняжеском контрреволюционном заговоре, участницей которого она якобы являлась. В то же время жители Тобольска, который в годы Первой мировой войны числился в списке лидеров по количеству заведенных дел по статье 103, испытывали к прибывшей в их город семье Николая Романова прежде всего любопытство, случаев проявления ненависти к царю со стороны местного населения зафиксировано не было: «Тоболяки простояли в созерцательных позах по колено в воде целые сутки у пристани, высматривая императорскую чету, которая 7 августа оставалась на пароходе по причине неготовности отведенных им апартаментов», — писала «Сибирская жизнь»[1].

Октябрьский переворот, сопровождавшийся разграблением Зимнего дворца, ознаменовался очередными символическими расправами над бывшим государем. Совершивший 28 октября 1917 г. обход Зимнего А. Н. Бенуа отметил, что, хотя личные покои Николая Александровича и Александры Федоровны пострадали сравнительно мало, красногвардейцы «отвели душу» на царских портретах: по традиции штыками протыкали глаза. Был уничтожен портрет Николая II кисти В. А. Серова, над которым «всячески издевались — топтали ногами, скребли и царапали чем-то острым» (в Третьяковской галерее сохранилась авторская копия «Портрета Николая II в тужурке». — *В. А.*)[2]. В 1918 г. художник И. А. Владимиров, создавая по горячим следам реалистические зарисовки, отметил в качестве характерных эпизодов революции уничтожение двуглавых орлов в феврале и царских портретов в октябре в качестве некоего продолжения традиции революционной экспрессии.

Захват власти большевиками и начало Гражданской войны актуализировали образ Николая как потенциального символа Белого движения несмотря на то, что даже среди монархистов к личности бывшего царя не было единого отношения. Историк Готье, имея в виду дискредитацию Романовых в глазах монархистов, летом 1918 г. размышлял над вероятностью раскола русского монархического движения на сторонников Михаила Романова и Вильгельма II[3]. Однако в начале декабря 1917 г. в Петрограде распространился слух, будто Николай II с семьей бежал из Тобольска[4]. После разгона большевиками Учредительного собрания, подписания Брестского мира, реанимировавшего слухи о том, что они — немецкие шпионы, внутренняя политическая борьба усилилась, и на ее фоне опасения советской власти перед возможностью заговора по освобождению Николая II из тобольского плена представлялись обоснованными. Петроградская «Газета-копейка» сообщала о попытке организации побега бывшего

[1] Сибирская жизнь. 1917. 19 августа.
[2] *Бенуа А. Н.* Мой дневник… С. 204–205.
[3] *Готье Ю. В.* Мои заметки… С. 152.
[4] *Бенуа А. Н.* Мой дневник… С. 299.

царя тобольским епископом Гермогеном и приводила слова Я.М. Свердлова, объяснявшего мотивы перевода царской семьи в Екатеринбург и ее участи: «Николай Романов является советским арестантом. До сего времени мы не имели возможность поставить вопрос о судьбе бывшего царя на очередь. Но скоро этот вопрос будет поставлен на очередь и будет разрешен»[1].

На фоне сообщений о массовых убийствах и казнях подобный способ «разрешения вопроса» представлялся обывателям вполне закономерным. Убийство А.И. Шингарева и Ф.Ф. Кокошкина матросами в январе 1918 г., последовавшая резня офицеров в Крыму казались современникам прямым следствием политики новой власти, особенно после восстановления смертной казни в июне 1918 г. В этом плане обыватели не видели особой разницы между самосудами и репрессиями власти — они воспринимались как разные проявления красного террора. В пробуждавшихся во время погромов и массовых убийств низменных инстинктах толпы проявлялась тяга к сведению счетов со всеми потенциальными врагами. Показательно, что в Севастополе в феврале 1918 г. разъяренные матросы убивали мирных жителей лишь за то, что находили в их квартирах царские портреты[2]. Образ Николая II, таким образом, несмотря на существенное изменение статуса в 1917 г., для маргинализированных слоев общества оставался сильным раздражителем.

Еще до упомянутого заявления Свердлова массовое сознание смирилось с неизбежностью «красного суда» над бывшим императором. В этом плане показательны слухи — лакмусовая бумажка общественных настроений — о том, что царя уже везут судить в Москву. В апреле 1918 г. «Наше слово» сообщило, что Верховная следственная комиссия открывает ряд процессов над видными деятелями старого режима, первым из которых станет суд над Николаем II, в вину которому вменяется переворот 3 июня 1907 г., неправильное расходование бюджетных средств и ряд более мелких преступлений. Сообщалось, что за Николаем в Тобольск уже выехали латышские стрелки. Правда, спустя некоторое время было напечатано опровержение — оказалось, что речь шла о полном тезке императора, бывшем провокаторе[3]. Однако в мае о привлечении Николая к суду ревтрибунала заговорили вновь. В начале июня появилась информация, что Романовых перевозят в Москву, на этот раз главным обвинением против Николая II якобы должно было стать тайное заключение в Потсдаме с Вильгельмом II устного договора, направленного против Англии и Франции[4].

Вместе с тем не следует переоценивать значимость для обывателей сведений о судьбе Николая Романова. В газетах информация о нем появлялась крайне редко, касаясь, преимущественно, бытовых вопросов. Еще в марте 1918 г.

[1] Газета-копейка. 1918. 11 мая.
[2] *Крищевский Н.Н.* В Крыму // Красный террор глазами очевидцев. М., 2013. С. 183.
[3] Газета-копейка. 1918. 23 апреля.
[4] Газета-копейка. 1918. 9 июня.

«Газета-копейка» рассказала о жизни «тобольских арестантов»: Романовы сами ходят за водой к колодцу и в баню; Николай стал молчалив, императрица занимает общество рассказами из «прошлой жизни немецкой принцессы, когда она сама ходила на базар за пищевыми продуктами, а затем стала могущественной императрицей»[1]. В дневниках современников бывший император также занимает весьма скромное место. Гражданская война изменила привычную повседневность обывателей, ухудшение криминальной обстановки, надвигавшийся голод отодвигали на второй план политическую злобу дня. Газета «Новое слово» так описывала трансформацию российских ценностей и реалий: от царя в народной памяти остались лишь «распутинские анекдоты», «от великой России — приятные воспоминания, от Учредительного Собрания — рожки да ножки, от русской армии — Крыленко, от русского флота — „нелюдимо наше море", от солдат — мешочники, от офицеров — намогильные кресты и другие знаки отличий, от гражданина — панихиды, от семи повешенных — семь расстрелянных… во что превратилась наша жизнь? — в каторгу. Каторга — в господствующее сословие… Законы — в декреты. Суды — в самосуды»[2].

Тем не менее в июне 1918 г. романовская тема вновь обрела актуальность. С середины месяца распространились слухи о бегстве великого князя Михаила Александровича из Перми (до этого центральные газеты сообщали о его умопомешательстве) в Омск, где он якобы встал во главе сибирских повстанцев и издал манифест с призывом к свержению советской власти и обещанием созвать Земский собор[3] (на самом деле он был казнен чекистами еще 13 июня). Петроградский «Новый вечерний час» писал, что похищение Михаила стало результатом хорошо спланированной операции по его перевозе во Владивосток[4]. Вероятно, слухи о спасительном бегстве Михаила подпитывались народно-эсхатологическими легендами, согласно которым должен явиться справедливый царь и освободить народ от угнетения[5]. В ряде случаев этого странствующего царя-освободителя звали Михаилом (апелляция к Михаилу Федоровичу — последнему царю перед расколом).

17–18 июня в Петрограде и Москве появились слухи об убийстве Николая Романова. 18 июня московская «Газета для всех» сообщила, что в Петрограде «циркулируют слухи об убийстве бывшего царя, совершенном при столкновении советских войск с чехо-словаками»[6]. 19 июня петроградская «Газета-копейка», ссылаясь на прибывшего из Екатеринбурга очевидца, рассказывала: «В Екатеринбурге при наступлении замечалось сильное возбуждение. За несколько

[1] Газета-копейка. 1918. 29 марта.
[2] Цит. по: *Окунев Н.П.* Дневник москвича… С. 159.
[3] Тульская молва. 1918. 23 июня.
[4] Новый вечерний час. 1918. 17 июня.
[5] *Бессонов И.А.* Русская народная эсхатология… С. 262.
[6] Газета для всех. 1918. 18 июня.

времени до этого разнесся слух о бегстве Михаила Романова. Возбужденная толпа, собравшаяся на площади, усмотрела в этом бегстве желание семьи Романовых похитить Николая II. В то же время на площади темными силами велась усиленная монархическая агитация <…> Разнесся слух, что к бывшему царю проник один из красноармейцев, не принадлежащий к охране, и в суматохе выстрелил из револьвера, убив Николая II наповал»[1]. Ходила и другая версия убийства царя: «Семью Николая II посадили в вагон, однако бывший царь вступил в пререкания с красноармейцем по поводу того, что их увозят в неизвестном направлении, и красноармеец заколол царя штыком. Передают, что великие княжны и императрица живы и перевезены в другое место, а наследник содержится отдельно»[2]. Показательную запись в дневнике 18 июня оставил Готье: «Ходят слухи об убийстве Николая II и о бегстве Михаила; я пока не верю ни в то, ни другое, хотя первое возможнее второго»[3].

18 июня корреспондент московского «Нашего слова» задал В. И. Ленину вопрос по поводу слухов о бегстве М. Романова и убийстве Н. Романова, на что председатель правительства ответил, «что сведений об этом до сих пор в Совете комиссаров нет. Что же касается Михаила Романова, то из Екатеринбурга получено подтверждение об его бегстве. Однако в политическом отношении бегство Михаила Романова вряд ли, по мнению Ленина, имеет значение»[4]. Примечательно, что с момента появления слухов ВЦИК десять дней не мог выяснить, соответствуют ли они действительности. Только 27 июня в Москву из Екатеринбурга пришла телеграмма главнокомандующего Североуральским фронтом Р. И. Берзина: «В полученных мною московских газетах напечатано сообщение об убийстве Николая Романова на каком-то разъезде от Екатеринбурга красноармейцами. Официально сообщаю, что 21 июня мною с участием членов военной инспекции и военного комиссара уральского военного округа и члена всероссийской следственной комиссии был произведен осмотр помещений, где содержится Николай Романов с семьей, проверка караула и охраны. Все члены семьи и сам Николай Романов живы, и все сведения о его убийстве и т. д. — провокация»[5].

В июне — июле 1918 г. убийство бывшего царя обсуждали и в Поволжье. Самарская газета «Волжский день» передавала, что царь будто бы «был застрелен двумя конвоирами, охранявшими его. Убийство было совершено после прогулки, вечером, когда царские узники возвращались в свои покои»[6]. Несмотря на опровержение слухов газетами Центральной России, поволжская печать

[1] Газета-копейка. 1918. 19 июня.
[2] Газета-копейка. 1918. 22 июня.
[3] *Готье Ю. В.* Мои заметки. С. 152.
[4] Наше слово. 1918. 19 июня.
[5] Раннее утро. 1918. 29 июня.
[6] Волжский день. 1918. 9 июля.

со ссылкой на германское посольство и иностранные газеты настаивала на их достоверности. 31 июля «Волжский день» на первой полосе опубликовал уже официальное сообщение Свердлова о казни бывшего царя. Похоже, что жители Самары так и не поняли, когда в действительности он был умерщвлен.

В соответствии с формировавшейся столетиями традицией слухи о казни бывшего царя породили разговоры о том, что государь не умер, а пошел странствовать по России. Рассказывали, что в село Грязнуху Саратовской губернии пришел человек в лаптях и зипуне, во время разговора с местными признался, что он Николай Романов, идет пешком из Сибири в Любаву к семье, но заставил поклясться на иконе, что крестьяне эту тайну никому не откроют. Переночевав и выпив водки, «Николай» приказал проводить его до опушки, прокричать ему «ура», после чего попрощался и ушел в лес[1].

После опровержения июньских слухов об убийстве Романова появились слухи о его заточении в Верхнетурский монастырь, а также о его перевозе в Москву[2]. Тем не менее известия о массовых расстрелах заложников едва ли позволяли современникам надеяться на витальный исход екатеринбургского заточения. 10 июля петроградское «Вечернее слово» сообщало о событиях в Екатеринбурге: «На Кусинском заводе, Златоустовского у., расстрелян белогвардейцами взятый ими в плен комиссар златоустовского фронта, член областного совета Малышев. По предложению президиума областного совета уральской областной чрезвычайной комиссией по борьбе с контр-революцией в ответ на белый террор применен красный террор и расстреляны следующие заложники: Первушин, Чистосердов, Мокроносов, Фаддеев, Козлов, Муравьев, Чиков, Андреев, Корсаков, Бронский, Седнев, Нагорный, Дылдин 1-й и Дылдин 2-й, Соколов, Агапов, Мамкини, Нахрятов и Зырянов»[3].

15 июля газеты распространили известие о смерти Алексея Романова. Петроградский «Новый вечерний час» писал: «В Екатеринбурге, в котором находились Романовы, были сделаны приготовления к отражению возможного наступления как чехо-словаков, так и восстания в самом городе. При перевозке артиллерийских снарядов, бомб и т. п., около дома, в котором жили члены семьи Романовых, будто бы разорвалась одна из бомб. Во время поднявшейся суматохи наследник Алексей упал и получил сотрясение всего тела и поранения, которые сопровождались внутренним кровоизлиянием, ибо Алексей, как известно, страдал гемофилией. Спасти его не удалось»[4]. Таким образом, распространявшиеся слухи упорно предрекали смерть царской семье, которая казалась неизбежной на фоне развязанного террора. Регулярные сообщения прессы можно выстроить в хронику заранее объявленной смерти. Подобная

---

[1] Газета для всех. 1918. 29 июня.

[2] Наше слово. 1918. 3 июля; Новости дня. 1918. 3 июля.

[3] Вечернее слово. 1918. 10 июля.

[4] Новый вечерний час. 1918. 15 июля.

способность массового сознания предсказывать гибель исторических персонажей периодически проявляется в кризисные периоды. Так, незадолго до трагических событий в Угличе 1591 г. народная молва известила о смерти другого несовершеннолетнего наследника — царевича Дмитрия[1].

19 июля появилось официальное сообщение о казни бывшего царя. «Правда» напечатала статью «Николай Романов», в которой говорилось: «Мартовская революция убила самодержавие политически. Но когда его захотели воскресить, в Бозе был расстрелян физический носитель этого подлого „порядка“ <…> У русских рабочих и крестьян возникнет только одно желание: вбить хороший осиновый кол в эту проклятую людьми могилу»[2]. Большевики были правы в том, что в предшествующие годы в адрес Николая II неоднократно раздавались проклятия. Конечно, расстрел царя и его семьи нельзя считать народной казнью, однако хладнокровность этого убийства отчасти объясняется тем образом Николая, который сформировался в массовом сознании.

20 июля 1918 г. на первой полосе «Известий» появилась статья «Конец последыша»: «С расстрелом Николая Романова, политически давно умершего, окончательно порвалась цепь великая, связывавшая новую революционную Россию с старой царско-помещичьей Россией. В этом смысле казнь последыша является символической»[3]. Тут же утверждалось, что массы встретят эту весть с полным равнодушием. В действительности современники восприняли ее по-разному. С одной стороны, мученическая смерть царя смягчила отношение к его памяти некоторых его бывших оппонентов. Например, З. Н. Гиппиус, готовя свои дневники к печати, после известия о расстреле бывшего императора сняла многие резкие характеристики Николая II[4]. Вместе с тем, когда в начале июля прошла новая волна слухов о расстреле Николая Романова, Гиппиус записала в дневнике 6 июля о якобы организованной уральским совдепом казни 3 июля: «Щупленького офицерика не жаль, конечно (где тут еще, кого тут еще „жаль“!), он давно был с мертвечинкой, но отвратительное уродство всего этого — непереносно»[5].

Другие современники сожалели о казни, но отмечали, что давно ждали подобную развязку. Москвич Окунев записал в дневнике 19 июля: «Самое скверное, самое страшное сообщение сегодня о том, что болезненно ожидалось целый год, — императора Николая Второго расстреляли». И далее в комментарий

---

1 *Чистов К. В.* Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд). СПб., 2003. С. 60–61.

2 Правда. 1918. 19 июля.

3 Известия. 1918. 20 июля.

4 См.: *Колоницкий Б. И.* К вопросу об источниках «Синей книги» З. Н. Гиппиус // Русская эмиграция: Литература, история, кинолетопись (Материалы международной конференции, Таллинн, 12–14 сентября 2002). Таллинн, 2004. С. 23–34.

5 *Гиппиус З. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. Дневники: 1919–1941. Из публицистики 1907–1917 гг. Воспоминания современников. М., 2005. С. 437.

большевистских сентенций об «осиновом коле»: «Но смотрите, товарищи! Как бы вместо осинового кола эта историческая могила не вырастила пару хороших столбов с перекладиной»; «на могиле Царя мученика не осина будет расти, а прекрасные цветы. А насадят их не руки человеческие, а совесть народная <…> В его предках было больше „царя“, чем человека, а в нем больше „человека“, чем царя»[1]. Незадолго до этого Окунев иронизировал по поводу сделанного М.В. Родзянко в Ростове-на-Дону заявления о том, что России нужна твердая власть царя, выбранного народом: «Старо и, вместе с тем, ново. В самом деле, нам больше по плечу рубище царя, чем тога республики. Не доросли еще до благородных риз!» Свой некролог Окунев завершил эпитафией «своему невозвратному детству, юности, молодости и мужеству», которые пришлись на годы царствования убиенного монарха[2].

Однако далеко не у всех известие об убийстве бывшего царя пробудило столь же сильные ностальгические чувства, многие представители интеллигенции ограничились в своих дневниках простой констатацией факта. П.Е. Мельгунова-Степанова, до этого подробно писавшая в дневнике про убийство германского посла графа В. фон Мирбаха, 20 июля ограничилась скупой фразой: «Расстрелян Николай II в Екатеринбурге по постановлению местного Совдепа»[3]. При этом она была уверена, что данное решение противоречило планам ВЦИК. Пришвин привел довольно циничный диалог своих знакомых по этому поводу: «Столинский сказал: „Это нехорошо, потому что дает лишний повод к реставрации“. Более точная в суждении Мария Михайловна заметила: „Это значит, что чехословаки близко от Екатеринбурга“»[4]. Бывший премьер-министр В.Н. Коковцов так описал реакцию петроградских обывателей на известие о расстреле царя: «В день напечатания известия я был два раза на улице, ездил в трамвае и нигде не видел ни малейшего проблеска жалости или сострадания. Известие читается громко, с усмешками, издевательствами и самыми безжалостными комментариями… какое-то бессмысленное очерствление, какая-то похвальба кровожадностью. Самые отвратительные выражения: „давно бы так“, „ну-ка, поцарствуй еще“, „крышка Николашке“, „эх, брат Романов, доплясался“ — слышались кругом от самой юной молодежи, старшие либо отворачивались, либо безучастно молчали»[5].

---

[1] *Окунев Н.П.* Дневник москвича… С. 202–203.

[2] Там же. С. 203.

[3] В публикации «дневника» П.Е. Мельгуновой-Степановой напечатано: «Расстрелян Николай II (с семьей) в Екатеринбурге» (*Мельгунова-Степанова П.Е.* Дневник. 1914–1920. М., 2014. С. 214). Однако здесь допущена грубая археографическая ошибка. Опубликованный текст представляет собой не подлинник дневника, а рукопись, подготовленную для издания, и в ней слова «с семьей» стоят не в круглых, а в квадратных скобках, которыми П.Е. Мельгунова-Степанова или С.П. Мельгунов отмечали сделанные позднее вставки (ГА РФ. Ф. Р5881. Оп. 2. Д. 781. Ч. 2. Л. 114).

[4] *Пришвин М.М.* Дневники. 1918–1919. С. 163.

[5] *Коковцов В.Н.* Из моего прошлого. Т. 2. Париж, 1933. С. 469.

Часть общества долго оставалась в неведении — в некоторые местности газеты приходили с большим опозданием. Ю.В. Готье, летом 1918 г. живший в своем имении, об убийстве Николая прочитал только 6 августа и записал в дневнике: «Николая без суда, это для русских особенно характерно, убили вдали от столиц, спеша, зря, боясь собственной тени. Сам он все сделал для того, чтобы это случилось; но его исчезновение есть развязка одного из бесчисленных второстепенных узлов нашей смуты, а монархический принцип от этого только выиграет»[1].

Пришвин обратил внимание на предчувствия конца старого и начала нового мира, сильно развитые как у простого народа и интеллигенции, так и у большевиков[2]. В этом контексте слова «Известий» об «окончательно порвавшейся цепи» соответствовали эсхатологически-милленаристским ожиданиям. Июль 1918 г. оказался наполнен трагическими событиями: был убит германский посол граф В. фон Мирбах, прошли восстания левых эсеров в Москве, белогвардейцев в Муроме, Ярославле, Рыбинске, Симбирске, работал V Всероссийский съезд Советов, принявший первую советскую Конституцию, Петроград и Москву поразила эпидемия холеры. На фоне всего этого убийство Николая Романова не выглядело самым важным событием. Не удивительно, что многие газеты поместили известие о расстреле бывшего императора на вторую-третью страницу как одно из рядовых происшествий.

Показательна ничтожная роль Николая Романова на страницах «Апокалипсиса» В.В. Розанова. Лишь трижды в рукописи, насчитывавшей почти 400 записей, упоминается последний российский самодержец. В самом начале Розанов нарисовал образ не умеющего править «царя-декаданта», отрекшегося от собственного царства. Впоследствии уточнил, что отречение царя от народа произошло в ответ на отречение народа от царя из-за распутинской истории. В 1919 г. Розанов еще раз вернулся к теме отречения. Он объяснял гибель России тем, что она была пустой державой, искусственной конструкцией, созданной царями: «Достаточно было Государю не быть, чтобы Россия рассыпалась… Но отчего? Да государи же сделали Россию… Из их утробушки Русь родилась. И больше — из ничего. Русь — ограниченность, ограниченное существо»[3]. При этом события 17 июля 1918 г. в Ипатьевском доме прошли незамеченными для автора «Апокалипсиса». Розанов не посчитал казнь императора достойной упоминания, зато разразился восторженными стихами, когда 30 июля 1918 г. увидел первый «новый картофель»[4]. Картофель в качестве информационного повода оказался важнее бывшего царя, вероятно, потому, что Романов оставался в прошлом, а молодой картофель был символом

[1] *Готье Ю.В.* Мои заметки. С. 168.

[2] *Пришвин М.М.* Дневники. 1918–1919. С. 101.

[3] Там же. С. 276–277.

[4] *Розанов В.В.* Апокалипсис нашего времени. С. 164.

прораставшей новой эпохи. Об отречении царя Розанов впоследствии еще вспоминал, а вот о казни так и не упомянул. По той причине, что царь для него «закончился», как и Россия, в 1917 г.

Напомним, что факт убийства царской семьи и нескольких их приближенных власти скрыли, возможно, потому, что в массовом сознании образы царских дочерей были иными, чем их родителей. Хотя великих княжон до революции злая молва обвиняла в распутстве, смерти им не желали. В 1917 г. циркулировали слухи, будто царские дочери с восторгом приняли революцию, освободившую их от отцовской деспотической власти, и, нацепив красные банты, бежали из дворца. «Дочери бывшего царя рады перевороту, так как давно мечтали о свободе, им хотелось сбежать из дворца, „жить как все“. Княжны часто убегали тайком от матери с сестрами милосердия в город, бывали на лекциях, в театрах, в интимных кабарэ. Часто ночью, подкупив кого нужно, они покидали Село до утра», — писал «Одесский листок»[1]. Еще раньше, в декабре 1916 г., петроградские женщины в «хвостах» обсуждали версию о том, что в убийстве Распутина участвовала великая княжна Татьяна Николаевна, мстившая ему за то, что он пытался ее изнасиловать. По этой причине умирающего Распутина якобы кастрировали на ее глазах[2].

Вслед за убийством Николая газеты сообщали, что его жена и дети живы и находятся «в надежном месте»[3]. Известия об убийстве всей царской семьи стали распространяться в Петрограде лишь в октябре 1918 г.: «Еще слух, что расстреляли и эту безумицу несчастную — Александру Федоровну с ее мальчиком. Да и дочерей. Держат это, однако, в тайне»[4]. Их гибель казалась логичным следствием «конца истории».

Вместе с тем реакционно-консервативные круги пытались использовать казнь императора в целях политической пропаганды. Уже 23 июля «Киевская мысль» негодовала: «Как и следовало ожидать, труп царя подхвачен уже ловкими спекулянтами, которые треплют его теперь на своих монархических и реставрационных вакханалиях. Пошли политические молебны, пока еще робкие манифестации, пошла агитация. Темную массу одурманивают церковными проповедями, и для торжества идеи самодержавия о последнем самодержце полилась самая безудержная ложь. Большевики сделали все для того, чтобы такого рода проповедь пала на благоприятную почву. Растоптав революцию и осквернив ее идеи и идеалы, запятнав ее братской кровью и неслыханными преступлениями, они создали обстановку, в которой даже мрачное царское прошлое стало постепенно вырисовываться в тусклом обывательском

---

1 Одесский листок. 1917. 14 марта.

2 *Палеолог М.* Дневник посла… С. 671.

3 Газета-копейка. 1918. 20 июля.

4 *Гиппиус З.Н.* Собрание сочинений. Т. 9. Дневники: 1919–1941. Из публицистики 1907–1917 гг. Воспоминания современников. С. 447.

воображении окрашенным в радужные краски потерянного рая»[1]. Развивалась также эсхатологическая тематика. Целенаправленно распространялись слухи о каббалистическом характере казни, что якобы у убитых были отрезаны головы и доставлены в Москву, что в подвале Ипатьевского дома были обнаружены тайные письмена и пр. Ксенофоб-конспиролог С.Н. Нилус в послесловии к последнему изданию книги «Близ есть, при дверех», включавшей «Протоколы Сионских мудрецов», интерпретировал падение трех императоров — российского, германского и австрийского — с точки зрения катехонической концепции (три императора являлись представителями «державного начала», олицетворявшего власть «удерживающего» мир от прихода антихриста). Тем самым убийство Николая преподносилось в свете «жидомасонского заговора» с целью впустить Антихриста в мир. Однако подобные настроения были характерны для незначительной части реакционной общественности, по-видимому, в первую очередь тех, кто подвергся психической травме.

В дальнейшем определенные эмигрантские круги продолжали тему большевиков как всадников Апокалипсиса. Философ И.А. Ильин характеризовал психологическую атмосферу послеоктябрьской России как «неутолимую ненависть, как воинствующую пошлость, как беззастенчивую ложь, как абсолютное бесстыдство и абсолютное властолюбие», писал о формировании советского «сатанического человека», который «стал земным инструментом дьявольской воли» к разрушению и «человекомучительству»[2].

Предпринимались попытки осмысления эпохи в эсхатологическом ключе и представителями художественной интеллигенции. Некогда популярный поэт-сатирик В.П. Мятлев написал в 1921 г. стихотворение «Красная Дева», в котором представил Гражданскую войну божьей карой России за предательство царя. В нем Богоматерь в красных одеждах с плачущим младенцем на руках ходила по стране и рубила секирой россиян:

Где-то в глуши необъятной России,
В храме убогом, на сонной реке,
Видел икону я девы Марии
В красном хитоне, с секирой в руке.
…
Ходит по весям безмолвная Дева,
Красная Дева с секирой в руке,
Рубит секирою, справа налево,
Стонет Россия в смертельной тоске:
«Я ли не верила в красное пламя?
Я ль не лелеяла красные сны?
Я ли не куталась в красное знамя?

[1] Киевская мысль. 1918. 23 июля.

[2] *Ильин И.А.* О грядущей России // Ильин И.А. Избранные статьи / Ред. Н.П. Полторацкий. Нью-Йорк, 1991.

Я ли не жаждала красной весны?
Красного я ль не слагала напева,
Красную в нем славословя зарю?»
К ней наклоняется Красная Дева
И отвечает, бледнея от гнева:
«Ты своему изменила Царю!
Ты своему изменила Царю!!!»[1]

Нельзя не заметить, что помимо эсхатологического содержания образ красной Богоматери развивал в российской семиосфере образы малявинских красных баб, ставших предвестницами революции как безумного красного смеха, описанного Л. Андреевым. Трансформация Богоматери в безумную красную бабу, напоминавшую старуху-смерть с косой, стала аллегорией крушения революционных ожиданий, в связи с чем некоторые поэты и художники начинали испытывать ностальгические чувства, приводившие к реабилитации Николая «Кровавого». Фольклорный мотив о Николае II как царе-избавителе, который чудом спасся от большевиков, повторялся в 1918–1927 гг.[2] В апокалиптических слухах 1920–1930-х гг. в качестве царя-избавителя встречался и Михаил Александрович: «Скоро будет конец, последний год доживает советская власть, скоро придет война, приедет на белом коне царь Михаил»[3]. Тем не менее в массовом сознании простого народа сакрализации казненного царя, которого совсем недавно самого считали Иродом-Антихристом, не произошло.

Период Гражданской войны, оставивший глубокий след в психической сфере, стал для многих современников «концом истории» в календарном, историческом и эсхатологическом значениях. Показательно, что начало Первой мировой войны, вызвавшее всплеск эсхатологических слухов в простом народе, не привело интеллигенцию в своей массе к явным интерпретациям событий в контексте Апокалипсиса, хотя представление о мировой войне как решающей битве добра и зла активно пропагандировалось прессой. В годы революции и Гражданской войны, наоборот, происходит сближение «низкой», народной, и «высокой», интеллигентской, картин социально-политической истории, что объясняется, с одной стороны, ломкой дореволюционной социальной стратификации общества вследствие известных мероприятий советской власти, а с другой — глубокой психологической травмой, унифицировавшей массовые настроения и общественную психологию эпохи. Вместе с тем эсхатологические представления крестьян и интеллигенции имели

---

[1] *Мятлев В.П.* После мятежа. Политические памфлеты и стихотворения. 1917–1922. Мюнхен, 1921. С. 42–43.

[2] *Архипова А.* Последний «царь-избавитель». Советская мифология и фольклор 20–30 годов XX века // Русский политический фольклор. Исследования и публикации / Сост. А. Панченко. М., 2013. С. 26.

[3] Цит. по: *Архипова А.* Последний «царь-избавитель»... С. 26.

определенные различия: в то время как апокалиптика первых нередко характеризовалась амбивалентностью (достаточно вспомнить позитивные слухи, что Антихрист даст крестьянам землю), у вторых она имела выраженную политическую направленность.

* * *

Первая мировая война, открывшая новый век, оказалась прелюдией российской революции. Обострившиеся экономические проблемы, социальные и национальные конфликты, политические противоречия привели страну к относительно короткому периоду попыток глубинного обновления в 1917 г., а затем в пожаре Гражданской войны — к радикальной перестройке всей общественно-политической системы. Вместе с тем, как известно, революции сначала происходят в головах и лишь затем вырываются на улицы. Означает ли это, что общество должно осознать необходимость революции, встать на путь сознательного революционного строительства (или подстрекательства?), прежде чем сложится та самая «революционная ситуация», которая сделает революцию неизбежной? Просчеты В. И. Ленина, безуспешно пытавшегося с 1913 г. предсказать революцию и бросившего эти попытки в январе 1917 г. («мы, старики, может быть не доживем до решающих битв грядущей революции»), показали несостоятельность описания революции исключительно объективными показателями экономической и политической истории. Теория «классовой сознательности» на конкретно-историческом материале 1917 г. спасовала перед «массовой бессознательностью» творцов революции — тех обывателей, чьи настроения и действия превращали революцию в стихию, с которой не смогли совладать закаленные в демагогических боях новые «элиты». Бессмысленно в общественном сознании кануна революции искать рациональную идею, заранее продуманный план, алгоритм действий. Революции вспыхивают социальными взрывами, а не верхушечными переворотами. Это понимали и современники, включая одного из «главных», по мнению Департамента полиции, «революционеров» — А. И. Гучкова, мечтавшего о военном перевороте как единственном революционном противоядии.

Состояние умов, или революционное настроение, следует изучать не через противостояние существующих политических идеологий, складывающихся партийных блоков, кулуарных интриг и пр., а посредством исследования куда более тонких материй — тех ментальных форм, в которых выражались массовые настроения современников, отражалась психология эпохи. Для этого необходимо обратиться к изучению культурно-символического пространства России начала XX в., ее семиосфере. Тогда выяснится, что художественная интеллигенция переживала грядущую революцию задолго до того, как ее призрак напугал представителей власти и политически активную общественность. Столкновение «старого» и «нового» искусства имело более глубокие основания,

нежели творческие внутрицеховые разногласия. В работах художников таких разных направлений, как Ф. Малявин, К. Петров-Водкин, П. Филонов, Н. Рерих, В. Кандинский, отразился духовно-культурный кризис эпохи, который порождал милленаристские предчувствия краха старого и рождения нового мира (ярче всего, вероятно, отразившийся в филоновской теории «Мирового расцвета», а накануне революции визуализированный картиной В. Кандинского «Москва. Красная площадь»).

Однако ментальный кризис имел и институциональное выражение, он проявлялся, в частности, в глубоком кризисе синодальной церкви, терявшей контроль над своими прихожанами, погрязшей во внутренних дрязгах, зашедшей в тупик взаимоотношений с властью. Духовные поиски некоторых священников, в первую очередь тех, кто сотрудничал с религиозно-философскими обществами, резонировали с мечтами интеллигенции о построении нового общества. Часть современников усматривала выход из «тупика безвременья» в собственном культурном «перекодировании» — поиске альтернативных культурных основ в восточном мистицизме, мистическом или рациональном сектантстве, а то и просто в социалистических утопиях. Характерно, что накануне Первой мировой войны часть художников ищет вдохновение в примитивном народном творчестве. Обращение к лубочной традиции дает толчок развитию новых направлений (неопримитивизм, абстракционизм), но также проводит в высокую живопись эсхатологическую тематику.

Российское крестьянство интерпретировало начало войны в религиозно-мифологическом ключе. «Война машин» представлялась наступлением «металлического мира». В этом контексте официальная религиозная пропаганда, представлявшая Вильгельма II в образе Антихриста, просчиталась, так как в народе ответственным за угон мужиков на убой посчитали Николая II. Оскорбления российского императора имели массовое распространение, охватили подавляющее большинство губерний и областей России (лидировали Томская, Саратовская, Московская губернии, Область войска Донского и т. д.), были характерны для всех сословий. 13% оскорблений (третье место после «дурака» и «грабителя») касались антихристовой природы императора, при этом в 40% случаев они сопровождались пожеланиями смерти. По мере затягивания войны народная и официальная ее картины все более расходились, приводя к десакрализации власти.

Ментальные процессы имели вполне материальный фундамент в виде растущего рабочего движения, крестьянского недовольства земельным вопросом, ухудшением продовольственного снабжения городов. Многие из этих проблем сохранялись на протяжении всего начала XX в., но Первая мировая война обострила и углубила противоречия. Накануне Первой мировой войны людям казалось, что в Петрограде начинается революция. Начавшаяся мобилизация, вопреки попыткам официальной подцензурной прессы представить

это время в свете общенационального единения, показала, что в широких слоях населения война не вызывает сочувствия.

Первая мировая война впустила эмоции в социально-политическую жизнь. Пропаганда пыталась эксплуатировать патриотические эмоции, чувства сознательных кругов подданных, однако с первых дней войны патриотические митинги стали выливаться в неконтролируемые погромы. Разбор предыстории наиболее известных массовых погромов показывает, что спусковой механизм лежал в области эмоционального, в их основе находился, как правило, иррациональный страх перед «чужим», подпитываемый абсурдными слухами (например, о том, что немецкие шпионы отравляют холерными вибрионами питьевые колодцы). Германофобская пропаганда властей только подливала масла в огонь. Общество захватывала шпиономания, доводившая людей, имевших предрасположенность к нервно-психическим болезням, до умопомешательства. Не только у рядовых обывателей, но и у сотрудников Департамента полиции, рассматривавших сведения о шпионах, участвовавших в наружном наблюдении за подозреваемыми, развивалась паранойя и бред преследования (в просторечии «мания преследования»). Психиатры-современники отмечали, что события военного времени отрицательно сказывались на душевном здоровье общества.

Проводимая властями патриотическая мобилизация общества становилась миной замедленного действия: пропаганда слишком высоко подняла градус риторики общенационального единения среди образованных слоев, вследствие чего первые неудачи на внешнем и внутреннем фронтах привели к сильным разочарованиям. Положительные эмоции радости, восторга, окрашенные в цвета патриотизма, сменялись чувствами разочарования и злости, добавлявших патриотическим основам оттенок досады, оппозиционности, в результате чего новый бурный всплеск патриотических чувств пришелся на февраль—март 1917 г. В эмоциональном отношении революция 1917 г. стала результатом патриотической мобилизации 1914 г., так как, по мнению современников, должна была привести к настоящему сплочению власти и общества, открыть двери новой эпохи.

Одной из главных ошибок царских властей стала цензурная политика в условиях ограничения инициатив общественных организаций и ослабления роли Государственной думы. Это усилило оппозиционность общества и поспособствовало распространению слухов, информационная роль которых неуклонно возрастала. Показательно, что уже в 1915 г. происходит сближение сельского (более иррационального, устного) и городского (более рационального, письменного) пространства слухов. Абсурдные слухи нервировали современников, а на рубеже 1916–1917 гг. под влияние слухов попали и представители власти: агенты охранки составляли свои донесения на их основе. Так, именно слух о якобы имевших место планах (в одном случае П. Н. Милюкова, в другом—А. И. Гучкова) устроить вооруженную демонстрацию рабочих 14 февраля

перед Таврическим дворцом послужил поводом для ареста 27 января рабочей группы ЦВПК. Тем самым осуществлялась функция слуха как «самоисполняющегося пророчества»: напуганные слухами власти своими контрмерами приближали предсказанную (предчувствованную) катастрофу.

Слухи сыграли роль катализатора народного недовольства в феврале 1917 г. Агрессивные действия толпы подпитывались массовыми фобиями: перед наступающим голодом, «протопоповскими пулеметами», позже «черными автомобилями», «белыми крестами» и т.д. Большая роль чувственно-эмоционального фактора в поведении обывателей превращала революцию в неуправляемую стихию, в которой ответную реакцию, действие скорее мог вызвать абсурдный слух, чем реальный факт.

Массовая психология с конца 1916 г. отличалась особенной нервозностью и чувствительностью к происходящим в социально-политическом организме процессам. Это способствовало реализации провидческой функции слухов. Уже в ноябре 1916 г. современники были уверены в неизбежности революции, а также рисовали в своем воображении апокалиптические картины Гражданской войны, предсказывали «реки крови» вследствие «красного и белого террора». Новая волна апокалиптических предчувствий пришлась на лето 1917 г., когда вновь возник призрак Гражданской войны. Сбывшиеся после захвата власти большевиками самые страшные опасения подтверждали в глазах современников неотвратимость крушения прежнего мира и наступления «последних времен», вследствие чего массовое сознание принялось избавляться от символов старого мира, примером чего стали стихийно распространившиеся ровно за месяц до настоящей казни Николая Романова слухи о его убийстве.

Ментальные процессы рассмотренной эпохи продемонстрировали тщетность попыток различных политических сил (от революционеров до сотрудников охранки) повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране с помощью тех или иных «технологий». В условиях усугублявшегося социально-психологического кризиса технологии, в основе которых лежала определенная логика, оказывались малоэффективными по причине пробуждения в массах архаичных инстинктов, движимых не рассудком, а эмоциями, аффектами. В этом отношении время Первой мировой войны продемонстрировало некоторые заблуждения образованной части общества, рассеяло распространенные мифы: невиданная ранее жестокость на полях сражений, применение новых технологий человекоубийства, оружия массового поражения показало несостоятельность романтизированных представлений о культурном прогрессе человечества, способности знания и культуры противостоять архаичному насилию и ненависти в условиях, когда иррациональное начинает довлеть над рациональным. Абсурдные слухи поднимали из глубин массового сознания архаичные образы, вызывавшие эмоциональные реакции, становившиеся стимулами социально-политических действий, нередко принимавших форму аффекта.

Список иллюстраций

Вкладка

Именной указатель

Содержание

Владислав Аксенов

СЛУХИ, ОБРАЗЫ, ЭМОЦИИ

Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914–1918)

Дизайнер обложки *Д. Черногаев*
Редактор *О. Панайотти*
Корректор *С. Крючкова*
Верстка *Д. Макаровский*

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

ООО РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
«НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

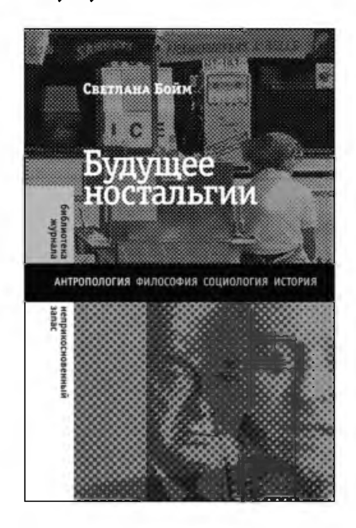
Адрес редакции:
123104, Москва, Тверской бульвар, 13, стр. 1
тел./факс: (495) 229-91-03
e-mail: real@nlobooks.ru
www.nlobooks.ru

Формат 70×100 1/16
Бумага офсетная № 1.
Печ. л. 62. Тираж 1000. Заказ №
Отпечатано в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

в серии: БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА
«НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС»

Светлана Бойм

Будущее ностальгии



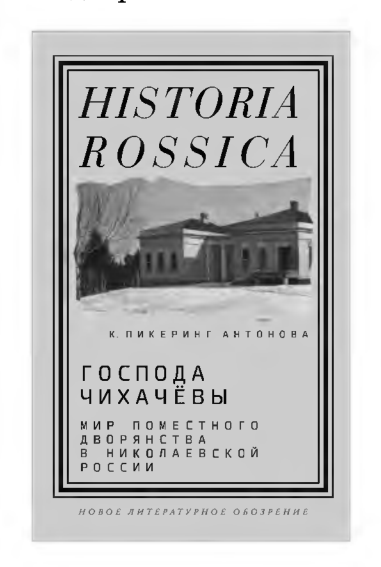
Может ли человек ностальгировать по дому, которого у него не было? В чем причина того, что веку глобализации сопутствует не менее глобальная эпидемия ностальгии? Какова судьба воспоминаний о Старом Мире в эпоху Нового Мирового порядка? Осознаем ли мы, о чем именно ностальгируем? В ходе изучения истории «ипохондрии сердца» в диапазоне от исцелимого недуга до неизлечимой формы бытия эпохи модерна Светлане Бойм удалось открыть новую прикладную область, новую типологию, идентификацию новой эстетики, а именно — ностальгические исследования: от «Парка Юрского периода» до Сада тоталитарной скульптуры в Москве, от любовных посланий на могиле Кафки до откровений имитатора Гитлера, от развалин Новой синагоги в Берлине до отреставрированной Сикстинской капеллы… Бойм утверждает, что ностальгия — это не только влечение к покинутому дому или оставленной родине, но и тоска по другим временам — периоду нашего детства или далекой исторической эпохе. Комбинируя жанры философского очерка, эстетического анализа и личных воспоминаний, автор исследует пространства коллективной ностальгии, национальных мифов и личных историй изгнанников. Она ведет нас по руинам и строительным площадкам посткоммунистических городов — Санкт-Петербурга, Москвы и Берлина, исследует воображаемые родины писателей и художников — В. Набокова, И. Бродского и И. Кабакова, рассматривает коллекции сувениров в домах простых иммигрантов и т.д.

в серии: HISTORIA ROSSICA

Кэтрин Пикеринг Антонова

Господа Чихачёвы:

Мир поместного дворянства в николаевской России



Наши представления о том, как жили русские дворяне XIX века, во многом сформированы чтением классики художественной литературы — от И.С. Тургенева до М.Е. Салтыкова-Щедрина. Микроисторическое исследование К. Пикеринг Антоновой позволяет узнать о повседневной жизни дворян из первых уст. На основе уникальных архивных материалов в книге воссозданы быт и мировоззрение провинциального среднепоместного семейства второй четверти XIX века. В центре внимания — семья жителя Владимирской губернии, мецената и благотворителя Андрея Чихачёва. Документы его архива наполнены заботами о хозяйстве и детях, тревогами об урожае, здоровье, судебных тяжбах с соседями и отношениях с крепостными крестьянами. Анализируя эти материалы, автор раскрывает представления о власти и личности, обществе и вере, просвещении и романтизме, описывает круг общения Чихачёвых и показывает, как понятия и ключевые идеи эпохи распространялись и приживались в условиях российской провинции. В частности, «мужские» и «женские» гендерные роли, присущие господствовавшей в XIX веке идеологии домашней жизни, могли меняться местами (отец семейства занимался воспитанием детей, мать управляла финансами и крестьянами), а консервативные и либеральные идеи мирно сосуществовать в сознании помещиков средней руки. Кэтрин Пикеринг Антонова — специалист по российской истории, преподаватель Куинс-колледжа Городского университета Нью-Йорка (Queens College, CUNY).

Книги и журналы «Нового литературного обозрения»
можно приобрести в интернет-магазине издательства www.nlobooks.ru
и в следующих книжных магазинах:

в МОСКВЕ:

- «Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1, 8 495 781-19-00
- Галерея книги «Нина» — ул. Волхонка, д. 18/2 (здание Института русского языка им. В. В. Виноградова), 8 495 201-36-45
- «Гараж» — ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 32 (Парк Горького, слева от центральной аллеи, магазин в Музее современной культуры «Гараж»), 8 495 645-05-20
- Государственная галерея на Солянке — ул. Солянка, д. 1/2, стр. 2 (вход с ул. Забелина), 8 495 621-55-72
- Книжная лавка историка — ул. Б. Дмитровка, д. 15, 8 495 694-50-07
- Книжный киоск РОССПЭН — ул. Дмитрия Ульянова, д. 19, 8 499 126-94-18
- «Медленные книги» — http://www.berrounz.ru/, 8 499 258 45 03
- «Москва» — ул. Тверская, д. 8, стр. 1, 8 495 629-64-83, 8 495 797-87-17
- «Московский Дом книги» — ул. Новый Арбат, д. 8, 8 495 789-35-91
- «MMOMA ART BOOK SHOP» — ул. Петровка, д. 25 (в здании ММСИ), 8 916 979-54-64
- «MMOMA ART BOOK SHOP» — Берсеневская наб., д. 14, стр. 5А (Институт «Стрелка»)
- «Новое Искусство» — Петровский бул., д. 23, 8 495 625-44-85
- «Порядок слов в Электротеатре» — ул. Тверская, д. 23, фойе Электротеатра «Станиславский», 8 917 508-94-76
- «У Кентавра» — ул. Чаянова, д. 15 (магазин в РГГУ), 8 495 250-65-46
- «Фаланстер» — Малый Гнездниковский пер., д. 12/27, 8 495 749-57-21
- «Фаланстер» (на Винзаводе) — 4-й Сыромятнический пр., д. 1, стр. 6 (территория ЦСИ Винзавод), 8 495 926-30-42
- «Циолковский» — Пятницкий пер., д. 8, 8 495 951-19-02
- «Primus Versus» — Покровка, д. 27, стр. 1, 8 495-223-58-10

в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

- На складе нашего издательства — Лиговский просп., д. 27/7, 8 812 579-50-04, 8 952 278-70-54
- «Академкнига» — Литейный просп., д. 57, 8 812 273-13-98
- «Все свободны» — ул. Некрасова, 23, 8 911 977-40-47, https://www.vse-svobodny.com/
- Галерея «Новый музей современного искусства» — 6-я линия В. О., д. 29, 8 812 323-50-90
- Киоск в Библиотеке Академии наук — В. О., Биржевая линия, д. 1, 8 950 025-64-66
- «Классное чтение» — 6-я линия В. О., д. 15, 8 812 328-62-13
- «Книжная лавка» — Университетская наб., д. 17 (в фойе Академии Художеств), 8 965 002-51-15
- «Университетский книжный салон» — Университетская наб., д. 11, 8 812 328-95-11
- Книжный магазин в Государственном Эрмитаже — Дворцовая пл., д. 2, Зимний дворец, галерея Растрелли
- Книжный магазин в Главном штабе Государственного Эрмитажа — Дворцовая пл., д. 6/8
- Книжный магазин Государственного Эрмитажа в Универмаге «Au Pont Rouge» — наб. реки Мойки, д. 28, 8 800 250-19-07
- Книжный магазин Музея «Эрарта» — 29-я линия В. О., д. 2, 8 812 324-08-09 (доб. 467)
- Магазин Музея Фаберже — наб. реки Фонтанки, д. 21, 8 812 333-26-55
- «Подписные издания» — Литейный просп., д. 57, 8 812 273-50-53
- «Порядок слов» — наб. реки Фонтанки, д. 15, 8 812 310-50-36
- «Порядок слов на Новой сцене Александринки» — наб. реки Фонтанки, д. 49А, эт. 3
- «Росфото» (книжный магазин при выставочном зале) — ул. Большая Морская, д. 35, 8 812 314-12-14
- «Санкт-Петербургский дом книги» (Дом Зингера) — Невский просп., д. 28, 8 812 448-23-57
- «Свои книги» — ул. Репина, д. 41, 8 812 966-16-91
- «Симпозиум» — ул. Достоевского, д. 19/21, лит. М (интеллектуальный кластер «Игры разума»), 8 812 670-25-00
- «Факел» — Лиговский просп., д. 74 (Контейнерная улица), 8 911 700-61-31
- «Фаренгейт 451» — ул. Маяковского, д. 25, 8 911 136-05-66
- «Фотодепартамент» — ул. Восстания, д. 24, 8 901 301-79-94
- «Хувентуд» — Ковенский пер., д. 14, 8 929 116-24-54